В данной книге,
использованы журнальные иллюстрации

Художников:

Бориса ВЛАСОВА
«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»

Игоря ТЮЛЬПАНОВА
«МАЛЫШ»

Игоря ТЮЛЬПАНОВА
«ПАРЕНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»

Е. ШЕФФЕРА
«ЖУК В МУРАВЕЙНИКЕ»

Автор иллюстраций не указан
«ВОЛНЫ ГАСЯТ ВЕТЕР»

ПУБЛИКАЦИИ:

«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
НЕВА 1969 №3-5

«МАЛЫШ»
АВРОРА 1971 №8-11

«ПАРЕНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
АВРОРА 1974 №11,12

«ЖУК В МУРАВЕЙНИКЕ»
Знание-сила 1979 №9-12 и 1980 №1-3,5,6

«ВОЛНЫ ГАСЯТ ВЕТЕР»
Знание-сила 1985 №6-12 и 1986 №1,3

СОВЕТСКАЯ ФАНТАСТИКА

БРАТЬЯ СТРУГАЦКИЕ В ЖУРНАЛЬНЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЯХ

Выпуск 3

Сборник

СТРЕЛА ВРЕМЕНИ

2020

ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ

Часть первая
РОБИНЗОН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Максим приоткрыл люк, высунулся и опасливо поглядел на небо. Небо здесь было низкое и какое-то твёрдое, без этой легкомысленной прозрачности, намекающей на бездонность космоса и множественность обитаемых миров, — настоящая библейская твердь, гладкая и непроницаемая. Твердь эта, несомненно, опиралась на могучие плечи местного Атланта и равномерно фосфоресцировала. Максим поискал в зените дыру, пробитую кораблём, но дыры там не было — там расплывались только две большие чёрные кляксы, словно капли туши в воде. Максим распахнул люк настежь и соскочил в высокую сухую траву.

Воздух был горячий и густой, пахло пылью, старым железом, раздавленной зеленью, жизнью. Смертью тоже пахло, давней и непонятной. Трава была по пояс; неподалёку темнели заросли кустарника, торчали кое-как унылые кривоватые деревья. Было почти светло, как в яркую лунную ночь на Земле, но не было лунных теней и не было лунной туманной голубизны. Всё было серое, пыльное, плоское. Корабль стоял на дне огромной котловины с пологими склонами; местность вокруг заметно поднималась к размытому, неясному горизонту, и это было странно, потому что где-то рядом текла река, большая и спокойная, текла на запад, вверх по склону котловины.

Максим обошёл корабль, ведя ладонью по холодному, чуть влажному его боку. Он обнаружил следы ударов там, где и ожидал. Глубокая неприятная вмятина под индикаторным кольцом — это когда корабль внезапно подбросило и завалило набок, так что киберпилот обиделся и Максиму пришлось спешно перехватить управление, и зазубрина возле правого зрачка — это десять секунд спустя, когда корабль положило на нос и он окривел. Максим снова посмотрел в зенит. Чёрные кляксы были теперь еле видны. Метеоритная атака в стратосфере, вероятность — ноль целых ноль-ноль... Но ведь всякое возможное событие когда-нибудь да осуществляется...

Максим просунулся в кабину, переключил управление на авторемонт, задействовал экспресс-лабораторию и направился к реке. Приключение, конечно, но всё равно рутина. Скука. У нас в ГСП даже приключения рутинные. Метеоритная атака, лучевая атака, авария при посадке. Авария при посадке, метеоритная атака, лучевая атака... Приключения тела.

Высокая ломкая трава шуршала и хрустела под ногами, колючие семена впивались в шорты. С зудящим звоном налетела туча какой-то мошкары, потолклась перед лицом и отстала. Взрослые, солидные люди в Группу Свободного Поиска не идут. У них свои, взрослые, солидные дела, и они знают, что все эти чужие планеты, в сущности, своей достаточно однообразны и утомительны. Однообразно-утомительны. Утомительно-однообразны... Конечно, если тебе двадцать лет, если ты ничего толком не умеешь, если ты толком не знаешь, что тебе хотелось бы уметь, если ты не научился ещё ценить своё главное достояние — время, если у тебя нет и не предвидится каких-либо особенных талантов, если доминантой твоего существа в двадцать лет, как и десять лет назад, остаётся не голова, а руки и ноги, если ты настолько примитивен, что воображаешь, будто на неизвестных планетах можно отыскать некую драгоценность, невозможную на Земле, если, если, если... то тогда... конечно. Тогда бери каталог, раскрывай его на любой странице, ткни пальцем в любую строчку и лети себе. Открывай планету, называй её собственным именем, определяй физические характеристики, сражайся с чудовищами, буде таковые найдутся, вступай в контакты, буде найдётся с кем, робинзонь помаленьку, буде никого не обнаружишь... И не то, чтобы всё это напрасно. Тебя поблагодарят, тебе скажут, что ты внёс посильный вклад, тебя вызовет для подробного разговора какой-нибудь видный специалист... Школьники, особенно отстающие и непременно младших классов, будут взирать на тебя с почтительностью, но учитель при встрече спросит только: «Ты всё ещё в ГСП?» — и переведёт разговор на другую тему, и лицо у него будет виноватым и печальным, потому что ответственность за то, что ты всё ещё в ГСП, он берёт на себя. А отец скажет: «Гм...» — и неуверенно предложит тебе место лаборанта; а мама скажет: «Максик, но ведь ты неплохо рисовал в детстве...»; а Петер скажет: «Сколько можно? Хватит срамиться...»; а Дженни скажет: «Познакомься, это мой муж». И все будут правы, все, кроме тебя. И ты вернёшься в Управление ГСП и, стараясь не глядеть на двух таких же остолопов, роющихся в каталогах у соседнего стеллажа, возьмёшь очередной том, откроешь наугад страницу и ткнёшь пальцем...

Прежде чем спуститься по обрыву к реке, Максим оглянулся. Позади топорщилась, распрямляясь, примятая им трава, чернели на фоне неба корявые деревья, и светился маленький кружок раскрытого люка. Всё было очень привычно. «Ну и ладно, — сказал он себе. — Ну и пусть... Хорошо бы найти цивилизацию, мощную, древнюю, мудрую. И человеческую...» Он спустился к воде. Река действительно была большая, медленная, и простым глазом было видно, как она спускается с востока и поднимается на запад. (Рефракция здесь, однако, чудовищная...) И видно было, что другой берег пологий и зарос густым тростником, а в километре вверх по течению торчат из воды какие-то столбы и кривые балки, перекошенные решётчатые фермы, мохнатые от вьющихся растений. «Цивилизация», — подумал Максим без особенного азарта. Вокруг чувствовалось много железа, и ещё что-то чувствовалось, неприятное, душное, и когда Максим зачерпнул горстью воду, он понял, что это радиация, довольно сильная и зловредная. Река несла с востока радиоактивные вещества, и Максиму стало ясно, что проку от этой цивилизации будет немного, что это опять не то, что контакта лучше и не затевать, а надо проделать стандартные анализы, раза два незаметно облететь планету по экватору и убираться восвояси, а на Земле передать материалы серьёзным, много повидавшим дядям из Совета галактической безопасности и поскорее забыть обо всём. Забыть обо всём...

Он брезгливо отряхнул пальцы и вытер их о песок, потом присел на корточки, задумался. Он попытался представить себе жителей этой планеты, вряд ли благополучной планеты. Где-то за лесами был город, вряд ли благополучный город: грязные заводы, дряхлые реакторы, сбрасывающие в реку радиоактивные помои, некрасивые, дикие дома под железными крышами, много стен и мало окон, грязные промежутки между домами, заваленные отбросами и трупами домашних животных, большой ров вокруг города и подъёмные мосты... Хотя нет, это было до реакторов. И люди. Он попытался представить себе этих людей, но не смог. Он знал только, что на них очень много надето, они были прямо-таки запакованы в толстую грубую материю, и у них были высокие белые воротнички, натирающие подбородок. Потом он увидел следы на песке.

Это были следы босых ног. Кто-то спустился с обрыва и ушёл в реку. Кто-то с большими широкими ступнями, тяжёлый, косолапый, неуклюжий — несомненно, гуманоид, но на ногах у него было по шесть пальцев. Постанывая и кряхтя, сполз с обрыва, проковылял по песку, с плеском погрузился в радиоактивные воды и, фыркая и

храпя, поплыл на другой берег, в тростники. Не снимая высокого белого воротничка...

Яркая голубая вспышка озарила всё вокруг, словно ударила молния, и сейчас же над обрывом загрохотало, зашипело, затрещало огненным треском. Максим вскочил. По обрыву сыпалась сухая земля, что-то с опасным визгом пронеслось в небе и упало посередине реки, подняв фонтан брызг вперемешку с белым паром. Максим торопливо побежал вверх по обрыву. Он уже знал, что случилось, только не понимал почему, и он не удивился, когда увидел на том месте, где только что стоял корабль, клубящийся столб раскалённого дыма, гигантским штопором уходящий в фосфоресцирующую небесную твердь. Корабль лопнул, лиловым светом полыхала керамитовая скорлупа, весело горела сухая трава вокруг, пылал кустарник, и занимались дымными огоньками корявые деревья. Яростный жар бил в лицо, и Максим заслонился ладонью и попятился вдоль обрыва — на шаг, потом ещё на шаг, потом ещё и ещё... Он пятился, не отрывая слезящихся глаз от этого великолепной красоты жаркого факела, сыплющего багровыми и зелёными искрами, от этого внезапного вулкана, от бессмысленного буйства распоясавшейся энергии.

«Нет, отчего же... — потерянно думал он. — Явилась большая обезьяна, видит — меня нет, забралась внутрь, подняла палубу — сам я не знаю, как это делается, но она сообразила, сообразительная такая была обезьяна, шестипалая, — подняла, значит, палубу... Что там в кораблях под палубой?.. Словом, нашла она аккумуляторы, взяла большой камень — и трах!.. Очень большой камень, тонны в три весом, — и с размаху... Здоровенная такая обезьяна... Доконала она всё-таки мой корабль своими булыжниками — два раза в стратосфере и вот здесь... Удивительная история... Такого, кажется, ещё не бывало. Что же мне, однако, теперь делать? Хватятся меня, конечно, скоро, но даже когда хватятся, то вряд ли подумают, что такое возможно: корабль погиб, а пилот цел... Что же теперь будет? Мама... Отец... Учитель...»

Он повернулся спиной к пожару и пошёл прочь. Он быстро шёл вдоль реки; всё вокруг было озарено красным светом; впереди металась, сокращаясь и вытягиваясь, его тень на траве. Справа начался лес, редкий, пахнущий прелью, трава сделалась мягкой и влажной. Две большие ночные птицы с шумом вырвались из-под ног и низко над водой потянули на ту сторону. Он мельком подумал, что огонь может нагнать его, и тогда придётся уходить вплавь и это будет неприятно; но красный свет вдруг померк и погас совсем, и он понял, что противопожарные устройства, в отличие от него, разобрались всё-

таки, что к чему, и выполнили своё назначение с присущей им тщательностью. Он живо представил себе закопчённые, оплавившиеся баллоны, нелепо торчащие посреди горячих обломков, испускающие тяжёлые облака пирофага и очень собой довольные...

«Спокойствие, — думал он. — Главное — не пороть горячку. Время есть. Собственно говоря, у меня масса времени. Они могут искать меня до бесконечности: корабля нет и найти меня невозможно. А пока они не поймут, что произошло, пока не убедятся окончательно, пока не будут полностью уверены, маме они ничего не сообщат... А я уж тут что-нибудь придумаю...»

Он миновал небольшую прохладную топь, продрался сквозь кусты и оказался на дороге, на старой, потрескавшейся бетонной дороге, уходящей в лес. Он подошёл к краю обрыва, ступая по бетонным плитам, и увидел ржавые, обросшие вьюном фермы, остатки какого-то крупного решётчатого сооружения, полупогруженные в воду, а на той стороне — продолжение дороги, едва различимое под светящимся небом. По-видимому, здесь когда-то был мост. И по-видимому, этот мост кому-то мешал, и его свалили в реку, отчего он не стал ни красивее, ни удобнее. Максим сел на край обрыва и спустил ноги. Он обследовал себя изнутри, убедился, что горячки не порет, и стал размышлять.

«Главное я нашёл. Вот тебе дорога. Плохая дорога, грубая дорога и к тому же старинная дорога, но всё-таки это дорога, а на всех обитаемых планетах дороги ведут к тем, кто их строил. Что мне нужно? Пищи мне не нужно. То есть я бы поел, но это работают дремучие инстинкты, которые мы сейчас подавим. Вода мне понадобится не раньше, чем через сутки. Воздуху хватает, хотя я предпочёл бы, чтобы в атмосфере было поменьше углекислоты и радиоактивной грязи. Так что ничего низменного мне не нужно. А нужен мне небольшой, прямо скажем, примитивный нуль-передатчик со спиральным ходом. Что может быть проще примитивного нуль-передатчика? Только примитивный нуль-аккумулятор...» Он зажмурился, и в памяти отчётливо проступила схема передатчика на позитронных эмиттерах. Будь у него детали, он бы собрал эту штуку в два счёта, не раскрывая глаз. Он несколько раз мысленно проделал сборку, а когда раскрыл глаза, передатчика не было. И ничего не было. «Робинзон, — подумал он с некоторым даже интересом. — Максим Крузое. Надо же, ничего у меня нет. Шорты без карманов и кеды. Но зато остров у меня — обитаемый... А раз остров обитаемый, значит, всегда остаётся надежда на примитивный нуль-передатчик». Он старательно думал о нуль-передатчике, но у него плохо получалось. Он всё время видел маму, как ей

сообщают: «Ваш сын пропал без вести», и какое у неё лицо, и как отец трёт себе щёки и растерянно озирается, и как им холодно и пусто... «Нет, — сказал он себе, — об этом думать не разрешается. О чём угодно, только не об этом, иначе у меня ничего не получится. Приказываю и запрещаю. Приказываю не думать и запрещаю думать. Всё». Он поднялся и пошёл по дороге.

Лес, вначале робкий и редкий, понемногу смелел и подступал к дороге всё ближе. Некоторые наглые молодые деревца взломали бетон и росли прямо на шоссе. Видимо, дороге было несколько десятков лет — во всяком случае, несколько десятков лет ею не пользовались. Лес по сторонам становился всё выше, всё гуще, всё глуше, кое-где ветви деревьев переплетались над головой. Стало темно; то справа, то слева в чаще раздавались громкие гортанные возгласы. Что-то шевелилось там, шуршало, топотало. Один раз шагах в двадцати впереди кто-то приземистый и тёмный, пригнувшись, перебежал дорогу. Звенела мошкара. Максиму вдруг пришло в голову, что край настолько запущен и дик, что людей может не оказаться поблизости, что добираться до них придётся несколько суток. Дремучие инстинкты пробудились и вновь напомнили о себе. Но Максим чувствовал, что здесь вокруг очень много живого мяса, что с голоду здесь не пропадёшь, что всё это вряд ли будет вкусно, но зато интересно будет поохотиться. И поскольку о главном ему было думать запрещено, он стал вспоминать, как они охотились с Петером и с егерем Адольфом: голыми руками, хитрость против хитрости, разум против инстинкта, сила против силы. Трое суток, не останавливаясь, гнать оленя через бурелом, настигнуть и повалить на землю, схватив за рога... Оленей здесь, возможно, и нет, но в том, что здешняя дичь съедобна, сомневаться не приходится: стоит задуматься, отвлечься — и мошкара начинает неистово жрать, а как известно, съедобный на чужой планете с голоду не умрёт... Недурно было бы здесь заблудиться и провести годик-другой, скитаясь по лесам. Завёл бы себе приятеля — волка какого-нибудь или медведя, ходили бы мы с ним на охоту, беседовали бы... Надоело бы, конечно, в конце концов, да и не похоже, чтобы в этих лесах можно было бродить с приятностью: слишком много вокруг железа — дышать нечем... И потом, всё-таки сначала нужно собрать нуль-передатчик...

Он остановился, прислушиваясь. Где-то в глубине чащи раздавался монотонный глухой рокот, и Максим вспомнил, что уже давно слышит этот рокот, но только сейчас обратил на него внимание. Это было не животное и не водопад — это был механизм, какая-то

варварская машина. Она хрипела, взрыкивала, скрежетала металлом и распространяла ржавые запахи. И она приближалась.

Максим пригнулся и, держась поближе к обочине, бесшумно побежал навстречу, а потом остановился, едва не выскочив с ходу на перекрёсток. Дорогу под прямым углом пересекало другое шоссе, очень грязное, с глубокими, безобразными колеями, с торчащими обломками бетонного покрытия, дурно пахнущее и очень, очень радиоактивное. Максим присел на корточки и поглядел влево. Рокот двигателя и металлический скрежет надвигались оттуда. Оно приближалось.

Через минуту оно появилось. Бессмысленно огромное, горячее, смрадное, всё из клёпаного металла, попирающее дорогу чудовищными гусеницами, облепленными грязью, не мчалось, не катилось — пёрло горбатое, неопрятное, дребезжа отставшими листами железа, начинённое сырым плутонием пополам с лантанидами, беспомощное, угрожающее, без людей, тупое и опасное перевалилось через перекрёсток и попёрло дальше, хрустя и визжа раздавливаемым бетоном, оставив за собой хвост раскалённой духоты, скрылось в лесу и всё рычало, ворочалось, взрёвывало, постепенно затихая...

Максим перевёл дух, отмахнулся от мошкары. Он был потрясён. Ничего столь нелепого и жалкого он не видел никогда в жизни. «Да, — подумал он, — позитронных эмиттеров мне здесь не достать». Он поглядел вслед чудовищу и вдруг заметил, что поперечная дорога — не просто дорога, а просека, узкая щель в лесу: деревья не закрывали над нею неба, как над шоссе. «Может, догнать его? — подумал он. — Остановить, погасить котёл...» Он прислушался. В лесу стояли шум и треск, чудовище ворочалось в чаще, как гиппопотам в трясине, а потом рокот двигателя снова начал приближаться. Оно возвращалось. Снова сопение, рык, волна смрада, лязг и дребезг, и вот оно опять переваливает через перекрёсток и прёт туда, откуда только что вышло... «Нет, — сказал Максим, — не хочу я с ним связываться. Не люблю я злых животных и варварских автоматов...» Он подождал, вышел из кустов и одним прыжком перемахнул через заражённый перекрёсток.

Некоторое время он шёл очень быстро, глубоко дыша, освобождая лёгкие от испарений железного гиппопотама, а затем снова перешёл на походный шаг. Он думал о том, что увидел за первые два часа жизни на своём обитаемом острове, и пытался сложить все эти несообразности и случайности в нечто логически непротиворечивое. Однако это было слишком трудно. Картина получалась сказочной, а не реальной. Сказочным был этот лес, набитый старым железом, сказочные существа перекликались в нём почти человеческими голосами;

как в сказке, старая, заброшенная дорога вела к заколдованному замку, и невидимые злые волшебники старались помешать человеку, попавшему в эту страну. На дальних подступах они забросали его метеоритами — ничего не получилось, и тогда они сожгли корабль, поймали человека в ловушку, а потом натравили на него железного дракона. Дракон, однако, оказался слишком стар и глуп, и они, наверное, уже поняли свою промашку и готовят теперь что-нибудь посовременнее...

— Послушайте, — сказал им Максим, — я ведь не собираюсь расколдовывать замков и будить ваших летаргических красавиц; я хочу только встретиться с кем-нибудь из вас, кто поумнее, кто поможет мне с позитронными эмиттерами...

Но злые волшебники гнули своё. Сначала они положили поперёк шоссе огромное гнилое дерево, затем разрушили бетонное покрытие, вырыли в земле большую яму и наполнили её тухлой радиоактивной жижей, а когда и это не помогло, когда мошкара притомилась кусать и разочарованно отстала, уже к утру выпустили из леса холодный злой туман. От тумана Максиму стало зябко, и он пустился бегом, чтобы согреться. Туман был липкий, маслянистый, попахивал мокрым металлом и тлением, но вскоре запахло дымом, и Максим понял, что где-то неподалёку горит живой огонь.

Занимался рассвет, небо засветилось утренней серостью, когда Максим увидел в стороне от дороги костёр и невысокое каменное строение с провалившейся крышей, с пустыми чёрными окнами, старое, заросшее мохом. Людей, видно не было, но Максим чувствовал, что они где-то неподалёку, что они недавно были здесь и, может быть, скоро вернутся. Он свернул с шоссе, перескочил придорожную канаву и, утопая по щиколотку в гниющих листьях, приблизился к костру.

Костёр встретил его добрым первобытным теплом, приятно растревожившим дремучие инстинкты. Здесь всё было просто. Можно было, не здороваясь, присесть на корточки, протянуть руки к огню и молча ждать, пока хозяин, так же молча, подаст горячий кусок и горячую кружку. Хозяина, правда, не было, но над костром висел закопчённый котелок с остро пахнущим варевом, поодаль валялась пустая плетёная корзина с круглым дном, моток тонкого металлического троса и ещё какие-то металлические и пластмассовые предметы непонятного назначения.

Максим посидел у костра, погрелся, глядя на огонь, потом поднялся и зашёл в дом. Собственно, от дома осталась только каменная коробка. Сквозь проломленные балки над головой светлело утреннее небо, на гнилые доски пола было страшно ступить, а по углам росли

гроздья малиновых грибов — ядовитых, но, если их хорошенько прожарить, вполне годных к употреблению.

Впрочем, мысль о еде сразу пропала, когда Максим разглядел в полутьме у стены чьи-то кости вперемешку с выцветшими лохмотьями. Ему стало неприятно, он повернулся, спустился по разрушенным ступенькам и, сложив ладони рупором, заорал на весь лес:

— Ого-го, шестипалые!

Эхо почти мгновенно увязло в тумане между деревьями, никто не отозвался, только сердито зацокали какие-то пичуги над головой.

Максим вернулся к костру, подкинул в огонь веток и заглянул в котелок. Варево кипело. Он поглядел по сторонам, нашёл что-то вроде ложки, понюхал её, вытер травой и снова понюхал. Потом он осторожно снял сероватую накипь и стряхнул её на угли. Помешал варево, зачерпнул с краю, подул и, вытянув губы, попробовал. Оказалось, недурственно, что-то вроде похлёбки из печени тахорга, только острее. Максим отложил ложку, бережно, двумя руками снял котелок и поставил на траву. Потом он снова огляделся и сказал громко:

— Завтрак готов!

Его не покидало ощущение, что хозяева где-то рядом, но видел он только неподвижные, мокрые от тумана кусты, чёрные корявые стволы деревьев, а слышал лишь треск костра, да хлопотливую птичью перекличку.

— Ну ладно, — сказал он вслух. — Вы как хотите, а я начинаю контакт.

Он очень быстро вошёл во вкус. То ли ложка была велика, то ли дремучие инстинкты разыгрались не в меру, но он и оглянуться не успел, как выхлебал треть котелка. Тогда он с сожалением отодвинулся, посидел, прислушиваясь к вкусовым ощущениям, тщательно вытер ложку; но не удержался — ещё раз зачерпнул, с самого дна, этих аппетитных, тающих во рту коричневых ломтиков, похожих на трепанги, совсем отодвинулся, снова вытер ложку и положил её поперёк котелка. Теперь было самое время утолить чувство благодарности.

Он вскочил, выбрал несколько тонких прутиков и отправился в дом. Осторожно ступая по трухлявым доскам и стараясь не оглядываться на останки в тени, он принялся срывать грибы и нанизывать на прутик малиновые шляпки, выбирая самые крепкие. «Вас бы посолить, — думал он, — да поперчить немного, но ничего, для первого контакта сойдёт и так. Мы вас подвесим над огоньком, и вся активная органика выйдет из вас паром, и станете вы объедение, и станете вы первым моим взносом в культуру этого обитаемого острова...»

И вдруг в доме стало чуть-чуть темнее, и он тотчас же ощутил, что на него смотрят. Он вовремя подавил в себе желание резко повернуться, сосчитал до десяти, медленно поднялся и, заранее улыбаясь, повернул голову.

В окне смотрело на него длинное тёмное лицо с унылыми большими глазами, с уныло опущенными углами губ, смотрело без всякого интереса, без злобы и без радости, смотрело не на человека из другого мира, а так, на докучное домашнее животное, опять забравшееся, куда ему не велено. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и Максим ощущал, как уныние, исходящее от этого лица, затопляет дом, захлёстывает лес, и всю планету, и весь окружающий мир, — и всё вокруг стало серым, унылым и плачевным: всё уже было, и было много раз, и ещё много раз будет, и не предвидится никакого спасения от этой серой, унылой, плачевной скуки. Затем в доме стало ещё темнее, и Максим повернулся к двери.

Там, расставив крепкие короткие ноги, загородив широкими плечами весь проём, стоял сплошь заросший рыжим волосом коренастый человек в безобразном клетчатом комбинезоне. Сквозь буйные рыжие заросли на Максима глядели буравящие голубые глазки, очень пристальные, очень недобрые и тем не менее какие-то весёлые — может быть, по контрасту с исходившим от окна всемирным унынием. Этот волосатый молодчик тоже явно не впервые видел пришельцев из другого мира, но он привык обходиться с этими надоевшими пришельцами быстро, круто и решительно — без всяких там контактов и прочих ненужных сложностей. На шее у него висела на кожаном ремне толстая металлическая труба самого зловещего вида, и выхлопное отверстие этого орудия расправы с пришельцами он твёрдой грязной рукой направлял прямо Максиму в живот. Сразу было видно, что ни о высшей ценности человеческой жизни, ни о Декларации прав человека, ни о прочих великолепных изобретениях высшего гуманизма, как и о самом гуманизме, он слыхом не слыхал, а расскажи ему об этих вещах — не поверил бы.

...Максим повернулся к двери.

Однако Максиму выбирать не приходилось. Он протянул перед собой прутик с нанизанными грибными шляпками, улыбнулся ещё шире и произнёс с преувеличенной артикуляцией:

— Мир! Всё в порядке! Всё хорошо!

Унылая личность за окном откликнулась на этот лозунг длинной неразборчивой фразой, после чего очистила район контакта и, судя

по звукам снаружи, принялась наваливать в костёр сухие сучья. Взлохмаченная рыжая борода голубоглазого зашевелилась, и из медных зарослей понеслись рыкающие, взревывающие, лязгающие звуки, живо напомнившие Максиму железного дракона на перекрёстке.

— Да! — сказал Максим, энергично кивая. — Земля! Космос! — Он ткнул прутиком в зенит, и рыжебородый послушно поглядел на проломленный потолок. — Максим! — продолжал Максим, тыча себя в грудь. — Максим! Меня зовут Максим! — Для большей убедительности он ударил себя в грудь, как разъярённая горилла. — Максим!

— Маxx-ссим! — рявкнул рыжебородый со странным акцентом.

Не спуская глаз с Максима, он выпустил через плечо серию громыхающих звуков, в которой несколько раз повторялось слово «Максим», в ответ на что невидимая унылая личность принялась издавать жуткие тоскливые фонемы. Голубые глаза рыжебородого выкатились, раскрылась желтозубая пасть, и он загоготал. Очевидно, неведомый Максиму юмор ситуации дошёл наконец до рыжебородого. Отсмеявшись, рыжебородый вытер свободной рукой глаза, опустил своё смертоносное оружие и сделал Максиму недвусмысленный знак, означавший: «А ну выходи!»

Максим с удовольствием повиновался. Он вышел на крыльцо и снова протянул рыжебородому прутик с грибами. Рыжебородый взял прутик, повертел его так и сяк, понюхал и отбросил в сторону.

— Э, нет! — возразил Максим. — Вы у меня пальчики оближете...

Он нагнулся и поднял прутик. Рыжебородый не возражал. Он похлопал Максима по спине, подтолкнул к костру, а у костра навалился ему на плечо, усадил и принялся что-то втолковывать. Но Максим не слушал. Он глядел на унылого. Тот сидел напротив и сушил перед огнем какую-то обширную грязную тряпку. Одна нога у него была босая, и он всё время шевелил пальцами, и этих пальцев было пять. Пять, а вовсе не шесть.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Гай, сидя на краешке скамьи у окна, полировал обшлагом кокарду на берете и смотрел, как капрал Варибобу выписывает ему проездные документы. Голова капрала была склонена набок, глаза вытаращены, левая рука лежала на столе, придерживая бланк с красной каймой, а правая неторопливо выводила каллиграфические буквы. «Здорово у него получается, — думал Гай с некоторой завистью. — Экий старый чернильный хрен: двадцать лет в Легионе, и всё писарем. Надо же,

как таращится, — гордость бригады... Сейчас ещё и язык высунет... Так и есть — высунул. И язык у него в чернилах. Будь здоров, Варибобу, старая ты чернильница, больше мы с тобой не увидимся. Вообще-то как-то грустно уезжать — ребята хорошие подобрались, и господа офицеры, и служба полезная, значительная...» Гай шмыгнул носом и посмотрел в окно.

За окном ветер нёс белую пыль по широкой гладкой улице без тротуаров, выложенной старыми шестиугольными плитами; белели стены длинных одинаковых домов администрации и инженерного персонала; шла, прикрываясь от пыли и придерживая юбку, госпожа Идоя, дама полная и представительная, — мужественная женщина, не побоявшаяся последовать с детьми за господином бригадиром в эти опасные места. Часовой у комендатуры, из новичков, в необмятом пыльнике и в берете, натянутом на уши, сделал ей «на караул». Потом проехали два грузовика с воспитуемыми — должно быть, делать прививки... Так его, в шею его: не высовывайся за борт, нечего тебе высовываться, здесь тебе не бульвар...

— Ты как всё-таки пишешься? — спросил Варибобу. — Гаал? Или можно просто — Гал?

— Никак нет, — сказал Гай. — Гаал моя фамилия.

— Жалко, — сказал Варибобу, задумчиво обсасывая перо. — Если бы можно было «Гал», как раз поместилось бы в строчку...

«Пиши, пиши, чернильница, — подумал Гай. — Нечего тебе строчки экономить. Капрал называется... Пуговицы зеленью заросли, тоже мне капрал. Две нашивки у тебя, а стрелять толком не научился, это же все знают...»

Дверь распахнулась, и в канцелярию стремительно вошёл господин ротмистр Тоот с золотой повязкой дежурного на рукаве. Гай вскочил и щёлкнул каблуками. Капрал приподнялся, а писать не перестал, старый хрен. Капрал называется...

— Ага... — произнёс господин ротмистр, с отвращением сдирая противопылевую маску. — Рядовой Гаал. Знаю, знаю, покидаете нас. Жаль. Но рад. Надеюсь, в столице будете служить так же усердно.

— Так точно, господин ротмистр! — сказал Гай взволнованно. У него даже в носу защипало от восторженности. Он очень любил господина ротмистра Тоота, культурного офицера, бывшего преподавателя гимназии. Оказывается, и господин ротмистр тоже его отличал.

— Можете сесть, — сказал господин ротмистр, проходя за барьер к своему столу. Не присаживаясь, он бегло проглядел бумаги и взялся за телефон.

Гай тактично отвернулся к окну.

На улице ничего не изменилось. Протопало строем на обед родимое капральство. Гай грустно проводил его глазами. Придут сейчас в кантину, капрал Серембеш скомандует снять береты на «благодарственное слово», рявкнут ребята в тридцать глоток «благодарственное слово», а над кастрюлями уже пар поднимается, и блестят миски, и старина Дога уже готов отмочить известное своё коронное насчёт солдата и поварихи... Ей-богу, жалко уезжать. И служить здесь опасно, и климат нездоровый, и паёк очень уж однообразный — одни консервы, но всё равно... Здесь, во всяком случае, точно знаешь, что ты нужен, что без тебя не обойтись; здесь ты на свою грудь принимаешь зловещий напор Леса и чувствуешь этот напор: одних друзей сколько здесь похоронил — вон за посёлком целая роща шестов с ржавыми шлемами... А с другой стороны — столица. Туда какого-всякого не пошлют, и раз уж посылают, то не отдыхать... Там, говорят, из Дома Творцов все плацы просматриваются, так что за каждым построением кто-нибудь из творцов непременно наблюдает, то есть не то, что непременно, но нет-нет да и посмотрит. Гая бросило в жар: ни с того ни с сего он вдруг представил себе, что вот вызвали его из строя, а он на втором шаге поскользнулся и брякнулся носом командиру под ноги, загремел автоматом по брусчатке, разиня, и берет неизвестно куда съехал... Он передохнул и украдкой огляделся. Не дай бог... Да, столица! Все у них на глазах... Ну да ничего — другие же служат. А там Рада — сестрёнка, сестрица... Дядька смешной, со своими древними костями, с черепахами своими допотопными... «Ох и соскучился же я по вас, милые вы мои!..»

Он снова взглянул в окно и озадаченно приоткрыл рот. По улице к комендатуре шли двое. Один был знакомый — рыжая морда Зеф, старшина сто четырнадцатого отряда сапёров, смертник, зарабатывающий себе жизнь расчисткой трассы. А другой был ну совершенное чучело, и чучело жутковатое. Сперва Гай принял его за выродка, но тут же сообразил, что вряд ли Зеф стал бы тащить выродка в комендатуру. Здоровенный голый парень, молодой, весь коричневый, здоровый как бык; одни трусы на нём, какие-то короткие, из блестящей материи... Зеф был при своей пушке, но не похоже было, чтобы он конвоировал этого чужака: шли они рядом, и чужак, нелепо размахивая руками, всё время что-то Зефу втолковывал. Зеф же только отдувался и вид собою являл совершенно одуревший. «Дикарь какой-то, — подумал Гай. — Только откуда он там взялся, на трассе? Может быть, зверями воспитанный? Были такие случаи. И похоже: вон мускулы какие, так и переливаются...»

Он смотрел, как эта пара подошла к часовому, как Зеф, утираясь, принялся что-то объяснять, а часовой — новичок, Зефа не знает и тычет ему автоматом под ребро, велит отойти на положенное расстояние. Голый парень, видя это, вступает в разговор. Руки у него так и летают, а лицо совсем уже странное: никак не поймать выражение — как ртуть, а глаза быстрые, тёмные... Ну всё, теперь и часовой обалдел. Сейчас тревогу поднимет. Гай повернулся.

— Господин ротмистр, — сказал он, — разрешите обратиться. Там старшина сто четырнадцатого кого-то привёл. Не взглянете ли?

Господин ротмистр подошёл к окну, посмотрел, брови у него полезли на лоб. Он толкнул раму, высунулся и прокричал, давясь от ворвавшейся пыли:

— Часовой! Пропустить!

Гай закрывал окно, когда в коридоре затопали, и Зеф со своим диковинным спутником бочком взошёл в канцелярию. Следом, тесня их, ввалился начальник караула и ещё двое ребят из бодрствующей смены. Зеф вытянул руки по швам, откашлялся и, вылупив на господина ротмистра бесстыжие голубые глаза, прохрипел:

— Докладывает старшина сто четырнадцатого отряда, воспитуемый Зеф. На трассе задержан вот этот человек. По всем признакам — сумасшедший, господин ротмистр: жрёт ядовитые грибы, ни слова не понимает, разговаривает непонятно, ходит, как изволите видеть, голый.

Пока Зеф докладывал, задержанный бегал быстрыми глазами по помещению, жутко и странно улыбаясь всем присутствующим, — зубы у него были ровные и белые, как сахар. Господин ротмистр, заложив руки за спину, подошёл поближе, оглядывая его с головы до ног.

— Кто вы такой? — спросил он.

Задержанный улыбнулся ещё жутче, постучал себя ладонью по груди и невнятно произнёс что-то вроде «Махсим». Начальник караула гоготнул, караульные захихикали, и господин ротмистр тоже улыбнулся. Гай не сразу понял, в чём дело, а потом сообразил, что на воровском жаргоне «мах-сим» означает «съел ножик».

— По-видимому, это кто-то из ваших, — сказал Зефу господин ротмистр.

Зеф помотал головой, выбросив из бородищи облако пыли.

— Никак нет, — сказал он. — Мах-сим — это он так себя называет, а воровского языка он не понимает. Так что это не наш.

— Выродок, наверное, — предположил начальник караула. (Господин ротмистр холодно на него посмотрел.) — Голый... —

проникновенно пояснил начальник караула, пятясь к двери. — Разрешите идти, господин ротмистр? — гаркнул он.

— Идите, — сказал господин ротмистр. — Пошлите кого-нибудь за штаб-врачом господином Зогу... Где вы его поймали? — спросил он Зефа.

Зеф доложил, что нынешней ночью он со своим отрядом прочёсывал квадрат 23/07, уничтожил четыре самоходных «баллисты» и одну установку неизвестного назначения, потерял двоих при взрыве, и всё было в порядке. Около семи часов утра на его костёр вышел по шоссе из лесу этот вот неизвестный. Они заметили его издали, следили за ним, укрывшись в кустарнике, а затем, выбрав удобный момент, взяли его. Зеф принял его вначале за беглого, потом решил, что это выродок, и совсем было собрался стрелять, но раздумал, потому что этот человек... Тут Зеф в затруднении подвигал бородой и заключил:

— Потому что мне стало ясно, что это не выродок.

— Откуда же это стало вам ясно? — спросил господин ротмистр, а задержанный неподвижно стоял, сложив руки на могучей груди, и поглядывал то на него, то на Зефа.

Зеф сказал, что объяснить это будет трудновато.

— Во-первых, этот человек ничего не боялся и не боится. Дальше: он снял с костра похлёбку и отъел ровно треть, как и полагается товарищу, а перед этим кричал в лес, видимо звал, чувствуя, что мы где-то поблизости. Далее: он хотел угостить нас грибами. Грибы были ядовитые, и мы их есть не стали и ему не дали, однако он явно порывался нас угостить — по-видимому, в знак благодарности. Далее: как хорошо известно, ни один выродок по своим физическим способностям не превосходит нормального хилого человека. Этот же по пути сюда загнал меня как мальчишку; шёл через бурелом, словно по ровному месту, через рвы перепрыгивал, а потом ждал меня на той стороне и вдобавок зачем-то — из удальства, что ли? — хватал меня в охапку и пробегал со мной шагов по двести...

Господин ротмистр слушал Зефа, всем видом своим изображая глубочайшее внимание, но едва Зеф замолчал, как он резко повернулся к задержанному и в упор пролаял по-хонтийски:

— Ваше имя? Чин? Задание?

Гай восхитился ловкостью приёма, однако задержанный явно не понимал и хонтийского. Он снова показал свои великолепные зубы, похлопал себя по груди, сказавши: «Махсим», ткнул пальцем в бок каторжнику, сказавши: «Зеф», и после этого начал говорить — медленно, с большими паузами, показывая то в потолок, то в пол, то

обводя руками вокруг себя. Гаю казалось, что в этой речи он улавливает некоторые знакомые слова, но слова эти не имели к делу никакого отношения. Когда задержанный замолчал, капрал Варибобу подал голос.

— По-моему, это ловкий шпион, — заявила старая чернильница. — Надо доложить господину бригадиру.

Господин ротмистр не обратил на него внимания.

— Вы можете идти, Зеф, — сказал он. — Вы проявили рвение, это вам зачтётся.

— Премного благодарен, господин ротмистр! — рявкнул Зеф и уже повернулся было, чтобы идти, но тут задержанный вдруг издал негромкий возглас, перегнулся через барьер и схватил пачку чистых бланков, лежавших на столе перед капралом.

Варибобу перепугался до смерти (тоже мне капрал!), отшатнулся и швырнул в дикаря пером. Дикарь ловко поймал перо на лету и, примостившись тут же на барьере, принялся что-то чертить на бланке, не обращая внимания на Гая и Зефа, ухвативших его за бока.

— Отставить! — скомандовал господин ротмистр, Гай охотно повиновался: удерживать этого коричневого зверя было всё равно что пытаться остановить танк, схватившись за гусеницу.

Господин ротмистр и Зеф встали по сторонам задержанного и смотрели, что он там чёркает.

— По-моему, это схема Мира, — неуверенно сказал Зеф.

— Гм... — отозвался господин ротмистр.

— Ну конечно! Вот в центре у него Мировой Свет, это вот Мир... А здесь мы, по его мнению, находимся.

— Но почему всё плоско? — недоверчиво спросил господин ротмистр.

Зеф пожал плечами.

— Возможно, детское восприятие... Инфантилизм... Вот, глядите! Это он показывает, как сюда попал.

— Да, возможно... Я слыхал про такое безумие...

Гаю наконец удалось протиснуться между гладким твёрдым плечом задержанного и грубой, пропахшей потом курткой Зефа. Рисунок, который он увидел, показался ему смешным. Так детишки-первоклассники изображают Мир: посередине маленький кружок, означающий Мировой Свет, вокруг него большая окружность, обозначающая Сферу Мира, а на окружности жирная точка, к которой только пририсовать ручки и ножки, и получится «это — Мир, а это — я». Даже Сферу Мира несчастный псих не сумел изобразить правильной окружностью, получился у него какой-то овал. Ну ясно,

ненормальный... И ещё нарисовал пунктиром линию, ведущую из-под Земли к точке: вот, мол, как я сюда попал.

Между тем задержанный взял второй бланк и быстро начертил две маленькие Сферы Мира в противоположных углах, соединил их пунктирной линией и ещё пририсовал какие-то закорючки. Зеф безнадёжно присвистнул и сказал господину ротмистру:

— Разрешите идти?

Однако господин ротмистр не отпустил его.

— Э-э... Зеф, — сказал он, — помнится, вы подвизались в области... э... — Он постучал себя согнутым пальцем по темени.

— Так точно, — помедлив, ответил Зеф.

Господин ротмистр прошёлся по канцелярии.

— Не могли бы вы... э-э... как бы это сказать... сформулировать своё мнение по поводу этого субъекта? Профессионально, если можно так выразиться...

— Не могу знать, — сказал Зеф. — Потерял право выступать в профессиональном качестве.

— Я понимаю, — сказал господин ротмистр. — Всё это верно. Хвалю. Н-но...

Зеф, выкатив голубые глазки, стоял по стойке «смирно». Господин же ротмистр находился в очевидном замешательстве. Гай хорошо понимал его. Случай был важный, серьёзный случай. (А вдруг этот дикарь всё-таки шпион?) А господин штаб-врач Зогу, конечно, прекрасный офицер, блестящий легионер, но всего лишь штаб-врач. В то время как рыжая морда Зеф, до того, как впасть в преступление, здорово знал своё дело.

— Ну что же, — сказал господин ротмистр. — Ничего не поделаешь... Но по-человечески... — Он остановился перед Зефом. — Понимаете? Просто по-человечески... вы действительно считаете, что это сумасшедший?

Зеф снова помедлил.

— По-человечески? — повторил он. — Ну конечно, по-человечески: человеку ведь свойственно ошибаться... Так вот, по-человечески я склонен полагать, что это ярко выраженный случай раздвоения личности с вытеснением и замещением истинного «я» воображаемым «я». По-человечески же, исходя из жизненного опыта, я рекомендовал бы электрошок и флеосодержащие препараты.

Капрал Варибобу всё это украдкой записал, но господина ротмистра не проведёшь. Он отобрал у капрала листок с записями и сунул в карман френча. Махсим снова заговорил, обращаясь то к господину ротмистру, то к Зефу, — чего-то он хотел, бедняга, что-то ему

было не так, — но тут открылась дверь, и вошёл господин штаб-врач, по всему видно оторванный от обеда.

— Привет, Тоот, — брюзгливо сказал он. — В чём дело? Вы, я вижу, живы и здоровы, и это меня утешает... А это что за тип?

— Воспитуемые поймали его в лесу, — объяснил господин ротмистр. — Я подозреваю, что он сумасшедший.

— Симулянт он, а не сумасшедший, — проворчал господин штаб-врач и налил себе воды из графина. — Отправьте его обратно в лес, пусть работает.

— Это не наш, — возразил господин ротмистр. — И мы не знаем, откуда он взялся. Я думаю, что его в своё время захватили выродки, он у них свихнулся и перебежал к нам.

— Правильно, — проворчал господин штаб-врач. — Нужно свихнуться, чтобы перебежать к нам. — Он подошёл к задержанному и сразу же полез хватать его за веки. (Задержанный жутко осклабился и слегка оттолкнул его.) — Но-но! — сказал господин штаб-врач, ловко хватая его за ухо. — Стой спокойно!

Задержанный подчинился. Господин штаб-врач вывернул ему веки, ощупал, посвистывая, шею и горло, согнул и разогнул ему руку, потом, пыхтя, нагнулся и ударил его под колени, вернулся к графину и выпил ещё стакан воды.

— Изжога, — сообщил он.

Гай поглядел на Зефа. Рыжебородый, приставив к ноге свою пушку, стоял в сторонке и с подчёркнутым равнодушием смотрел в стену. Господин штаб-врач напился и снова взялся за психа. Он ощупывал его, обстукивал, заглядывал в зубы, два раза ударил кулаком в живот, потом достал из кармана плоскую коробку, размотал провод, подключил к штепселю и стал прикладывать коробку к разным частям дикарского тела.

— Так, — сказал он, сматывая провод. — И немой к тому же?..

— Нет, — сказал господин ротмистр. — Он говорит, но на каком-то зверином языке. Нас он не понимает. А вот его рисунки.

Господин штаб-врач посмотрел рисунки.

— Так-так-так, — сказал он. — Забавно... — Он выхватил у капрала ручку и быстро нарисовал на бланке кошку, как её рисуют дети, из палочек и кружочков. — Что ты на это скажешь, приятель? — сказал он, протягивая рисунок психу.

Тот, ни секунды не задумываясь, принялся царапать пером, и рядом с кошкой появилось странное, густо заросшее волосами животное с тяжёлым, неприятным взглядом. Такого животного Гай не знал, но он понял одно: это уже не был детский рисунок. Нарисовано было

здорово, просто замечательно. Даже смотреть страшновато. Господин штаб-врач протянул руку за пером, но псих отстранился и нарисовал ещё одно животное — с огромными ушами, морщинистой кожей и толстым хвостом на месте носа.

— Прекрасно! — вскричал господин штаб-врач, хлопнув себя по бокам.

А псих не унимался. Теперь он рисовал уже не животное, а явно какой-то аппарат, похожий на большую прозрачную мину. Внутри мины он очень ловко изобразил сидящего человечка, постучал по человечку пальцем, а затем тем же пальцем постучал себя по груди и произнёс:

— Маxx-ссим.

— Вот эту штуку он мог видеть у реки, — сказал неслышно подошедший Зеф. — Мы такую сожгли этой ночью. Но вот чудовища... — Он покачал головой.

Господин штаб-врач словно впервые заметил его.

— А, профессор! — вскричал он преувеличенно радостно. — То-то я смотрю — в канцелярии чем-то воняет. Не будете ли вы так любезны, коллега, произносить ваши мудрые суждения во-он из того угла? Вы меня очень обяжете...

Варибобу захихикал, а господин ротмистр строго сказал:

— Станьте у дверей, Зеф, и не забывайтесь...

— Ну хорошо, — сказал господин штаб-врач. — И что вы думаете с ним делать, Тоот?

— Это зависит от вашего диагноза, Зогу, — ответил господин ротмистр. — Если он симулянт, я передам его в прокуратуру, там разберутся. А если он сумасшедший...

— Он не симулянт, Тоот! — с большим подъёмом произнёс господин штаб-врач. — Ему совершенно нечего делать в прокуратуре. Но я знаю одно место, где им очень заинтересуются. Где бригадир?

— Бригадир на трассе.

— Впрочем, это не существенно. Вы ведь дежурный, Тоот? Вот и отправьте этого любопытнейшего молодчика по следующему адресу... — Господин штаб-врач пристроился на барьере, закрывшись от всех плечами и локтями, и написал что-то на обороте последнего рисунка.

— А что это такое? — спросил господин ротмистр.

— Это? Это одно учреждение, которое будет нам благодарно, Тоот, за нашего психа. Я вам ручаюсь.

Господин ротмистр неуверенно покрутил в пальцах бланк, потом отошёл в дальний угол канцелярии и поманил к себе господина штаб-

врача. Некоторое время они говорили там вполголоса, так что разобрать можно было только отдельные реплики господина Зогу: «...Департамент пропаганды... Отправьте с доверенным... Не так уж это секретно!.. Я вам ручаюсь... Прикажите ему забыть... Чёрт возьми, да сопляк всё равно ничего не поймёт!..»

— Хорошо, — сказал наконец господин ротмистр. — Пишите сопроводительную бумагу. Капрал Варибобу!

Капрал приподнялся.

— Проездные документы на рядового Гаала готовы?

— Так точно.

— Впишите в проездные документы подконвойного Махсима. Рядовой Гаал!

Гай щёлкнул каблуками и вытянулся:

— Слушаю, господин ротмистр!

— Прежде чем явиться на новое место службы в нашей столице, доставьте задержанного по адресу, означенному на этом листке. По исполнении приказания листок сдать дежурному офицеру на новом месте службы. Адрес забыть. Это ваше последнее задание, Гаал, и вы, конечно, выполните его, как подобает молодцу-легионеру.

— Будет исполнено! — прокричал Гай, охваченный неописуемым восторгом.

Горячая волна оглушающего упоения захлестнула его, подхватила, понесла к небу. О, эти сладостные минуты восторга, незабываемые минуты, когда вырастают крылья, минуты ласкового презрения ко всему грубому, материальному, телесному... Минуты, когда жаждешь, чтобы приказ соединил тебя с огнём, швырнул тебя в огонь, на тысячи врагов, в гущу диких орд, навстречу миллионам пуль, и это ещё не всё, будет ещё слаще, восторг ослепит и сожжёт... О огонь! О пламя! О ярость! И вот оно, вот оно!.. Он встаёт, этот рослый, сильный красавец, гордость бригады, наш капрал Варибобу, как огненный факел, как статуя славы и верности, и он запевает, а мы все подхватим, все, как один...

Вперёд, легионеры, железные ребята!
Вперёд, сметая крепости, с огнём в очах!
Железным сапогом раздавим супостата!
Пусть капли свежей крови сверкают на мечах...

И все пели. Пел блестящий господин ротмистр Тоот, образец легионера, образец среди образцов, за которого так хочется сейчас же,

под этот марш, отдать жизнь, душу, всё. И господин штаб-врач Зогу, образец брата милосердия, грубый, как настоящий солдат, и ласковый, как руки матери... И наш капрал Варибобу, до мозга костей наш, старый вояка, ветеран, поседевший в схватках... О, как сверкают пуговицы и нашивки на его потёртом, заслуженном мундире, для него нет ничего, кроме службы, ничего, кроме служения!..

Железный наш кулак сметает все преграды.
Довольны Огненосные Творцы!
О как рыдает враг! Но нет ему пощады!
Вперёд, легионеры-молодцы!

...Но что это? Он не поёт, он стоит, опершись на барьер, и вертит своей дурацкой коричневой головой, и бегает глазами, и всё оскаляется, всё щерится... На кого оскаляешься, мерзавец? О, как хочется подойти тяжёлым шагом — и с размаху, железным кулаком по этому гнусному белому оскалу... Но нельзя, нельзя, это недостойно легионера: он же всего лишь псих, жалкий калека, настоящее счастье недоступно ему, он слеп, ничтожен, жалкий человеческий обломок... А этот рыжий бандит скорчился в углу от невыносимой боли... Каторжник, преступная морда, за грудь тебя, за твою поганую бороду! Встать, мразь! Стоять смирно, когда легионеры поют свой марш! И по башке, по башке, по грязной морде, по наглым рачьим глазкам... Вот так, вот так...

Гай отшвырнул каторжника и, щёлкнув каблуками, повернулся к господину ротмистру. Как всегда, после приступа восторженного возбуждения что-то звенело в ушах и мир сладко плыл и покачивался перед глазами.

Капрал Варибобу, сизый от натуги, слабо перхал, держась за грудь. Господин штаб-врач, потный и багровый, жадно пил воду прямо из графина и тянул из кармана носовой платок. Господин ротмистр хмурился с отсутствующим выражением, словно пытался что-то припомнить. У порога грязной кучей клетчатого тряпья ворочался рыжий Зеф. Лицо у него было разбито, он хлюпал кровью и слабо постанывал сквозь зубы. А Махсим больше не улыбался. Лицо у него застыло, стало совсем как обычное человеческое, и он неподвижными круглыми глазами, приоткрыв рот, смотрел на Гая.

— Рядовой Гаал, — надтреснутым голосом произнёс господин ротмистр. — Э-э... Что-то я хотел вам сказать... Подождите, Зогу, оставьте мне хоть глоток воды...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Максим проснулся и сразу почувствовал, что голова тяжёлая. В комнате было душно. Опять ночью закрыли окно. Впрочем, и от открытого окна толку мало — город слишком близко, днём видна над ним неподвижная бурая шапка отвратительных испарений, ветер несёт их сюда, и не помогает ни расстояние, ни пятый этаж, ни парк внизу. «Сейчас бы принять ионный душ, — подумал Максим, — да выскочить нагишом в сад, да не в этот паршивый, полусгнивший, серый от гари, а в наш, где-нибудь под Гладбахом, на берегу серебристого Нирса, да пробежать вокруг озера километров пятнадцать во весь опор, во всю силу, да переплыть озеро, а потом минут двадцать походить по дну, чтобы поупражнять лёгкие, полазить среди скользких подводных валунов...» Он вскочил, распахнул окно, высунулся под моросящий дождик, глубоко вдохнул сырой воздух, закашлялся — в воздухе было полно лишнего, а дождевые капли оставляли на языке металлический привкус. По автостраде с шипением и свистом проносились машины. Внизу под окном желтела мокрая листва, на высокой каменной ограде что-то блестело. По парку ходил человечек в мокрой накидке, сгребал в кучу опавшие листья. За пеленой дождя смутно виднелись кирпичные здания какого-то завода на окраине. Из двух высоких труб, как всегда, лениво ползли и никли к земле толстые струи ядовитого дыма.

Душный мир. Неблагополучный, болезненный мир. Весь он какой-то неуютный и тоскливый, как то казённое помещение, где люди со светлыми пуговицами и плохими зубами вдруг ни с того ни с сего принялись вопить, надсаживаясь до хрипа, и Гай, такой симпатичный, красивый парень, совершенно неожиданно принялся избивать в кровь рыжебородого Зефа, а тот даже не сопротивлялся... Неблагополучный мир... Радиоактивная река, нелепый железный дракон, грязный воздух и неопрятные пассажиры в неуклюжей трёхэтажной металлической коробке на колёсах, испускающей сизые угарные дымы... И ещё одна дикая сцена — когда какие-то грубые люди довели хохотом и жестами до слёз пожилую женщину, и никто за неё не заступился, вагон набит битком и все смотрят в сторону, и только Гай вдруг вскочил, бледный от злости, а может быть, от страха, и что-то крикнул им, и они убрались... Но и сам Гай, явно добрый, симпатичный человек, иногда вдруг приходил в необъяснимую ярость, принимался бешено ссориться с соседями по купе, глядел на них зверем, а потом так же внезапно впадал в глубокую прострацию. И все прочие вели себя не лучше. Часами они сидели и лежали вполне мирно,

негромко беседуя, даже пересмеиваясь, и вдруг кто-нибудь начинал сварливо ворчать на соседа, сосед нервно огрызается, окружающие, вместо того чтобы успокоить их, ввязывались в ссору, скандал ширился, и вот уже все орут друг на друга, грозятся, толкаются, и кто-то лезет через головы, размахивая кулаками, и кого-то держат за шиворот, во весь голос плачут детишки, им раздражённо обрывают уши, а потом всё постепенно стихает, все дуются друг на друга, разговаривают нехотя, отворачиваются... А иногда скандал превращается в нечто совершенно уж непристойное: глаза вылезают из орбит, лица идут красными пятнами, голоса поднимаются до истошного визга, и кто-то истерически хохочет, кто-то поёт, кто-то молится, воздев над головой трясущиеся руки... Сумасшедший дом...

Максим отошёл от окна, постоял немного посередине тесной комнатушки, расслабившись, ощущая апатию и душевную усталость, потом заставил себя собраться и размялся немного, используя в качестве снаряда громоздкий деревянный стул. «Так и опуститься можно, — подумал он озабоченно. — Ещё день-два я, пожалуй, вытерплю, а потом придётся удрать, побродить немного по лесам... В горы хорошо бы удрать — горы у них здесь на вид славные, дикие... Далековато, правда, за ночь не обернёшься... Как их Гай называл? Зартак... Интересно, это собственное имя или горы вообще? Впрочем, какие там горы, не до гор мне. Десять суток я здесь, а ничего ещё не сделано...»

Он втиснулся в душевую и несколько минут фыркал и растирался под тугим искусственным дождиком, таким же противным, как естественный — чуть похолоднее, правда, — но жёстким, известковым.

Он вытерся продезинфицированным полотенцем и, всем недовольный: и этим мутным утром, и этим душным миром, и своим дурацким положением, и чрезмерно жирным завтраком, который ему предстоит сейчас съесть, — вернулся, в комнату, чтобы прибрать постель. Завтрак уже принесли — он дымился и вонял на столе. Рыба закрывала окно.

— Здравствуйте, — сказал ей Максим на местном языке. — Не надо. Окно.

— Здравствуйте, — ответила она, щёлкая многочисленными задвижками. — Надо. Дождь. Плохо.

— Рыба, — сказал Максим на линкосе. Собственно, её звали Нолу, но Максим с самого начала окрестил её Рыбой за общее выражение лица и невозмутимость.

Она обернулась и посмотрела на него немигающими глазами. Затем, уже в который раз, приложила палец к кончику носа и сказала: «Женщина», потом ткнула в Максима пальцем: «Мужчина», потом в

сторону осточертевшего балахона, висящего на спинке стула: «Одежда. Надо». Не могла она почему-то видеть мужчину просто в шортах. Надо было ей, чтобы мужчина закутывался с ног до шеи.

Он принялся одеваться, а она застелила его постель, хотя Максим всегда говорил, что будет делать это сам, выдвинула на середину комнаты стол, который Максим всегда отодвигал к стене, решительно отвернула кран отопления, который Максим всегда заворачивал до упора, и все однообразные «не надо» Максима разбивались о её не менее однообразные «надо».

Застегнув балахон у шеи на единственную сломанную пуговицу, Максим подошёл к столу и поковырял завтрак двузубой вилкой. Произошёл обычный диалог:

— Не хочу. Не надо.

— Надо. Еда. Завтрак.

— Не хочу завтрак. Невкусно.

— Надо завтрак. Вкусно.

— Рыба, — сказал ей Максим проникновенно, — жестокий вы человек. Попади вы ко мне на Землю, я бы вдребезги разбился, но нашёл бы вам еду по вкусу.

— Не понимаю, — сказала она без выражения. — Что такое «рыба»?

С отвращением жуя жирный кусок, Максим взял бумагу и изобразил леща анфас. Она внимательно изучила рисунок и положила в карман халата. Все рисунки, которые делал Максим, она забирала и куда-то уносила. Максим рисовал много, охотно и с удовольствием: в свободное время и по ночам, когда не спалось, делать здесь было совершенно нечего. Он рисовал животных и людей, чертил таблицы и диаграммы, воспроизводил анатомические разрезы. Он изображал профессора Мегу похожим на бегемота и бегемотов, похожих на профессора Мегу; он вычерчивал универсальные таблицы линкоса, схемы машин и диаграммы исторических последовательностей; он изводил массу бумаги, и всё это исчезало в кармане Рыбы без всяких видимых последствий для процедуры контакта. У профессора Мегу, он же Бегемот, была своя метода, и он не намеревался от неё отказываться.

Универсальная таблица линкоса, с изучения которой должен начинаться любой контакт, Бегемота совершенно не интересовала. Местному языку пришельца обучала только Рыба, да и то лишь для удобства общения, чтобы закрывал окно и не ходил без балахона. Эксперты к контакту не привлекались вовсе. Максимом занимался Бегемот, и только Бегемот.

Правда, в его распоряжении находилось довольно мощное средство исследования — ментоскопическая техника, и Максим проводил в стендовом кресле по четырнадцать — шестнадцать часов в сутки. Причём ментоскоп у Бегемота был хорош. Он позволял довольно глубоко проникать в воспоминания и обладал весьма высокой разрешающей способностью. Располагая такой машиной, можно было, пожалуй, обойтись и без знания языка. Но Бегемот пользовался ментоскопом как-то странно. Свои ментограммы он отказывался демонстрировать категорически и даже с некоторым негодованием, а к ментограммам Максима относился своеобразно. Максим специально разработал целую программу воспоминаний, которые должны были дать аборигенам достаточно полное представление о социальной, экономической и культурной жизни Земли. Однако ментограммы такого рода не вызывали у Бегемота никакого энтузиазма. Бегемот кривил физиономию, мычал, отходил, принимался звонить по телефону или, усевшись за стол, начинал нудно пилить ассистента, часто повторяя при этом сочное словечко «массаракш». Зато, когда на экране Максим взрывал на воздух ледяную скалу, придавившую корабль, или скорчером разносил в клочья панцирного волка, или отнимал экспресс-лабораторию у гигантского глупого псевдоспрута, Бегемота было за уши не оттянуть от ментоскопа. Он тихо взвизгивал, радостно хлопал себя ладонями по лысине и грозно орал на изнурённого ассистента, следящего за записью изображения. Зрелище хромосферного протуберанца вызывало у профессора такой восторг, словно он никогда в жизни не видел ничего подобного, и очень нравились ему любовные сцены, заимствованные Максимом главным образом из кинофильмов специально для того, чтобы дать аборигенам какое-то представление об эмоциональной жизни человечества.

Такое нелепое отношение к материалу наводило Максима на печальные размышления. Создавалось впечатление, что Бегемот никакой не профессор, а просто инженер-ментоскопист, готовящий материал для подлинной комиссии по контакту, с которой Максиму предстоит ещё встретиться, а когда это случится — неизвестно. Тогда получалось, что Бегемот — личность довольно примитивная, вроде мальчишки, которого в «Войне и мире» интересуют только батальные сцены. Это обижало: Максим представлял Землю и — честное слово! — имел основания рассчитывать на более серьёзного партнёра по контакту.

Правда, можно было предположить, что этот мир расположен на перекрёстке неведомых межзвёздных трасс и пришельцы здесь не редкость. До такой степени не редкость, что ради каждого вновь

прибывшего здесь уже не создают специальных авторитетных комиссий, а просто выкачивают из него наиболее эффектную информацию и этим ограничиваются. За такое предположение говорила оперативность, с которой люди со светлыми пуговицами, явно не специалисты, разобрались в ситуации и без всяких ахов и охов направили пришельца прямо по назначению. А может быть, какие-нибудь негуманоиды, побывавшие здесь раньше, оставили по себе настолько дурное воспоминание, что теперь аборигены относятся ко всему инопланетному с определённым и оправданным недоверием, и тогда вся возня, которую разводит вокруг ментоскопа профессор Бегемот, есть только видимость контакта, оттяжка времени, пока некие высокие инстанции решают его судьбу.

«Так или иначе, а дело моё дрянь, — решил Максим, давясь последним куском. — Надо скорее учить язык, и тогда всё выяснится...»

— Хорошо, — сказала Рыба, забирая у него тарелку. — Пойдёмте.

Максим вздохнул и поднялся. Они вышли в коридор. Коридор был длинный, грязно-голубой, справа и слева тянулись ряды закрытых дверей, точно таких же, как дверь в комнату Максима. Максим никогда здесь никого не встречал, но раза два слышал из-за дверей какие-то странные, возбуждённые голоса. Возможно, там тоже содержались пришельцы, ожидающие решения своей судьбы.

Рыба шла впереди широким мужским шагом, прямая как палка, и Максиму вдруг стало очень жалко её. Эта страна, видимо, ещё не знала промышленности красоты, и бедная Рыба была предоставлена самой себе. С этими жидкими бесцветными волосами, торчащими из-под белой шапочки, с этими огромными, выпирающими под халатом лопатками, с безобразно тощими ножками совершенно невозможно было, наверное, чувствовать себя на высоте — разве что с инопланетными существами, да и то с негуманоидными. Ассистент профессора относился к ней пренебрежительно, а Бегемот и вовсе её не замечал, и обращался к ней не иначе как «Ы-ы-ы...», что, вероятно, соответствовало у него интеркосмическому «Э-э-э...». Максим вспомнил своё собственное, не бог весть какое к ней отношение и ощутил угрызения совести. Он догнал её, погладил по костлявому плечу и сказал:

— Нолу молодец, хорошая.

Она подняла к нему сухое лицо и сделалась, как никогда, похожей на удивлённого леща анфас. Она отвела его руку, сдвинула едва заметные брови и строго объявила:

— Максим нехороший. Мужчина. Женщина. Не надо.

Максим сконфузился и снова приотстал.

Так они дошли до конца коридора. Рыба толкнула дверь, и они очутились в большой светлой комнате, которую Максим называл про себя приёмной. Окна здесь были безвкусно декорированы прямоугольной решёткой из толстых железных прутьев; высокая, обитая кожей дверь вела в лабораторию Бегемота, а у двери этой всегда почему-то сидели два очень рослых, малоподвижных аборигена, не отвечающих на приветствия и находящихся как будто в постоянном трансе.

Рыба, как всегда, сразу прошла в лабораторию, оставив Максима в приёмной. Максим, как всегда, поздоровался; ему, как всегда, не ответили. Дверь в лабораторию осталась приоткрытой; оттуда доносился громкий, раздражённый голос Бегемота и звонкое щёлканье включённого ментоскопа. Максим подошёл к окну, некоторое время смотрел на туманный мокрый пейзаж, на лесистую равнину, рассечённую лентой автострады, на высокую металлическую башню, едва видимую в тумане, быстро соскучился и, не дожидаясь зова, вошёл в лабораторию.

Здесь, как обычно, приятно пахло озоном, мерцали дублирующие экраны, плешивый заморённый ассистент с незапоминаемым именем и с кличкой Торшер делал вид, что настраивает аппаратуру, и с интересом прислушивался к скандалу. В лаборатории имел место скандал.

В кресле Бегемота, за столом Бегемота сидел незнакомый человек с квадратным шелушащимся лицом и красными отёчными глазами. Бегемот стоял перед ним, расставив ноги, уперев руки в бока и слегка наклонившись. Он орал. Шея у него была сизая, лысина пламенела закатным пурпуром, изо рта далеко во все стороны летели брызги.

Стараясь не привлекать к себе внимания, Максим тихонько прошёл к своему рабочему месту и негромко поздоровался с ассистентом. Торшер, существо нервное, задёрганное, в ужасе отскочил и поскользнулся на толстом кабеле. Максим едва успел подхватить его за плечи, и несчастный Торшер обмяк, закатив глаза. Ни кровинки не осталось в его лице. Странный это был человек: он до судорог боялся Максима. Откуда-то неслышно возникла Рыба с откупоренным флакончиком, который тут же был поднесён к носу Торшера. Торшер икнул и ожил. Прежде чем он снова ускользнул в небытие, Максим прислонил его к железному шкафу и поспешно отошёл.

Усевшись в стендовое кресло, он обнаружил, что шелушащийся незнакомец перестал слушать Бегемота и внимательно разглядывает его, Максима. Максим приветливо улыбнулся. Незнакомец слегка наклонил голову. Тут Бегемот с ужасным треском ахнул кулаком по

столу и схватился за телефонный аппарат. Воспользовавшись образовавшейся паузой, незнакомец произнёс несколько слов, из которых Максим разобрал только «надо» и «не надо», взял со стола листок плотной голубоватой бумаги с ярко-зелёной каймой и помахал им в воздухе перед лицом Бегемота. Бегемот досадливо отмахнулся и тотчас же принялся лаять в телефон. «Надо», «не надо» и непонятное «массаракш» сыпались из него как из рога изобилия, и ещё Максим уловил слово «окно». Всё кончилось тем, что Бегемот в раздражении швырнул наушник, ещё несколько раз рявкнул на незнакомца, заплевав его с головы до ног, и выкатился, хлопнув дверью.

Тогда незнакомец вытер лицо носовым платком, поднялся с кресла, открыл длинную плоскую коробку, лежавшую на подоконнике, и извлёк из неё какую-то тёмную одежду.

— Идите сюда, — сказал он Максиму. — Одевайтесь.

Максим оглянулся на Рыбу.

— Идите, — сказала Рыба. — Одевайтесь. Надо.

Максим понял, что в его судьбе наступает наконец долгожданный поворот, что где-то кто-то что-то решил. Забыв о наставлениях Рыбы, он тут же сбросил уродливый балахон и с помощью незнакомца облачился в новое одеяние. Одеяние это, на взгляд Максима, не отличалось ни красотой, ни удобством, но оно было точно такое же, как на незнакомце. Можно было предположить даже, что незнакомец пожертвовал своё собственное запасное одеяние, ибо рукава куртки были коротки, а штаны висели сзади мешком и сваливались. Впрочем, всем остальным присутствующим вид Максима в новой одежде пришёлся по душе. Незнакомец ворчал что-то одобрительное; Рыба, смягчив черты лица, насколько это возможно для леща, оглаживала Максиму плечи и одёргивала на нём куртку, и даже Торшер бледно улыбался, укрывшись за пультом.

— Идёмте, — сказал незнакомец и направился к двери, в которую выкатился разъярённый Бегемот.

— До свидания, — сказал Максим Рыбе. — Спасибо, — добавил он на линкосе.

— До свидания, — ответила Рыба. — Максим хороший. Здоровый. Надо.

Кажется, она была растрогана. А может быть, озабочена тем, что костюм неважно сидит. Максим махнул рукой бледному Торшеру и поспешил вслед за незнакомцем.

Они прошли через несколько комнат, заставленных неуклюжей, архаичной аппаратурой, спустились в гремящем и лязгающем лифте на первый этаж и оказались в обширном низком вестибюле, куда

несколько дней назад Гай привёл Максима. И как несколько дней назад, снова пришлось ждать, пока пишутся какие-то бумаги, пока смешной человечек в нелепом головном уборе царапает что-то на розовых картонках, а красноглазый незнакомец царапает что-то на зелёных, а девица с оптическими усилителями на глазах делает на этих картонках фигурные вырезы, а потом все меняются картонками, причём запутываются, и кричат друг на друга, и хватаются за телефонный аппарат, и наконец человечек в нелепом головном уборе забирает себе две зелёные и одну розовую картонку, причём розовую картонку он рвёт пополам и половину отдаёт девице, делающей вырезы, а шелушащийся незнакомец получает две розовые картонки, синюю толстую картонку и ещё круглый металлический жетон с выбитой на нём надписью и всё это минуту спустя отдаёт рослому человеку со светлыми пуговицами, стоящему у выходной двери, в двадцати шагах от человечка в нелепом головном уборе, когда они уже выходят на улицу, рослый вдруг принимается сипло кричать, и красноглазый незнакомец снова возвращается, и выясняется, что он забыл забрать себе синий картонный квадратик, и он забирает себе синий картонный квадратик и с глубоким вздохом запихивает куда-то за пазуху. Только после этого уже успевший промокнуть Максим получает возможность сесть в нерационально длинный автомобиль по правую сторону от красноглазого, который раздражён, пыхтит и часто повторяет любимое заклинание Бегемота: «Массаракш».

Машина заворчала, мягко тронулась с места, выбралась из неподвижного стада других машин, пустых и мокрых, прокатилась по большой асфальтированной площадке перед зданием, обогнула огромную клумбу с вялыми цветами, мимо высокой жёлтой стены, выкатилась к повороту на шоссе и резко затормозила.

— Массаракш, — снова прошипел красноглазый и выключил двигатель.

По шоссе тянулась длинная колонна одинаковых пятнистых грузовиков с кузовами из криво склёпанного, гнутого железа. Над железными бортами торчали ряды неподвижных округлых предметов, влажно отсвечивающих металлом. Грузовики двигались неторопливо, сохраняя правильные интервалы, мерно клокоча моторами и распространяя ужасное зловоние органического перегара.

Максим оглядел дверцу со своей стороны, сообразил, что к чему, и поднял стекло. Красноглазый, не глядя на него, произнёс длинную фразу, оказавшуюся совершенно непонятной.

— Не понимаю, — сказал Максим.

Красноглазый повернул к нему удивлённое лицо и, судя по интонации, спросил что-то. Максим покачал головой.

— Не понимаю, — повторил он.

Красноглазый как будто удивился ещё больше, полез в карман, вытащил плоскую коробочку, набитую длинными белыми палочками, одну палочку сунул себе в рот, а остальные предложил Максиму. Максим из вежливости принял коробочку и стал её рассматривать. Коробочка была картонная, от неё остро пахло какими-то сухими растениями. Максим взял одну из палочек, откусил кусочек и пожевал. Затем он поспешно опустил стекло, высунулся и сплюнул. Это была не еда.

— Не надо, — сказал он, возвращая коробочку красноглазому. — Невкусно.

Красноглазый, полуоткрыв рот, смотрел на него. Белая палочка, прилипнув, висела у него на губе. Максим в соответствии с местными правилами прикоснулся пальцем к кончику своего носа и представился:

— Максим.

Красноглазый пробормотал что-то, в руке у него вдруг явился огонёк, он погрузил в него конец белой палочки, и сейчас же автомобиль наполнился тошнотворным дымом.

— Массаракш! — вскричал Максим с негодованием и распахнул дверцу. — Не надо!

Он понял, что это за палочки; когда они ехали с Гаем, почти все мужчины отравляли воздух точно таким же дымом, но для этого они пользовались не белыми палочками, а короткими и длинными деревянными предметами, похожими на детские свистульки древних времён. Они вдыхали какой-то наркотик — обычай, несомненно, вреднейший, — и тогда Максим утешался только тем, что симпатичный Гай был, по-видимому, тоже категорически против этого обычая.

Незнакомец поспешно выбросил наркотическую палочку за окно и почему-то помахал ладонью перед своим лицом. Максим на всякий случай тоже помахал ладонью, а затем снова представился. Оказалось, что красноглазого зовут Фанк, на чём разговор и прекратился. Минут пять они сидели, благожелательно переглядываясь, и, по очереди указывая друг другу на бесконечную колонну грузовиков, повторяли: «Массаракш». Потом бесконечная колонна кончилась, и Фанк выбрался на шоссе.

Вероятно, он очень спешил. Во всяком случае, он немедленно сделал так, что двигатель заревел бархатным рёвом, затем включил какое-то гнусно воющее устройство и, не соблюдая, на взгляд Максима,

никаких правил безопасности, погнал по автостраде в обгон колонны, едва успевая увёртываться от машин, мчавшихся навстречу.

Они обогнали колонну грузовиков; обошли, чуть не вылетев на обочину, широкий красный экипаж с одиноким, очень мокрым водителем; проскочили мимо деревянной повозки на огромных, в человеческий рост, вихляющихся колёсах, влекомой бесхвостым ископаемым животным; воем загнали в канаву группу пешеходов в брезентовых плащах; влетели под сень мокрых, раскидистых деревьев, ровными рядами высаженных по обе стороны дороги, — Фанк всё увеличивал скорость, встречный поток воздуха ревел в обтекателях, напуганные воем экипажи впереди прижимались к обочинам, уступая дорогу. Машина казалась Максиму не приспособленной для таких скоростей, слишком неустойчивой, и ему было немного неприятно.

Вскоре дорогу обступили дома, автомобиль ворвался в город, и Фанк был вынужден резко понизить скорость.

Улицы были несоразмерно узки и буквально забиты экипажами. Автомобиль Фанка еле плёлся, стиснутый со всех сторон самыми разнообразными механизмами. Впереди, заслоняя полнеба, громоздилась задняя стенка фургона, покрытая аляповатыми разноцветными надписями и грубыми изображениями людей и животных. Слева, не обгоняя и не отставая, ползли два одинаковых автомобиля, набитых жестикулирующими мужчинами и женщинами. Красивыми женщинами, яркими, не то, что Рыба. Ещё левее, железно погромыхивая единственным колесом, брела некая разновидность гиромата, поминутно сыплющая синими и зелёными искрами, дочерна заполненная пассажирами. Справа был тротуар — неподвижная полоса асфальта, запрещённая для транспорта. По тротуару густым потоком шли люди в странной одежде фиолетовых и чёрных тонов, сталкивались, обгоняли друг друга, увёртывались друг от друга, протискивались плечом вперёд, то и дело забегали в раскрытые, ярко освещённые двери и смешивались с толпами, кишащими за огромными, запотевшими витринами, а иногда вдруг собирались большими группами, создавая пробки и водовороты, вытягивая шеи, заглядывая куда-то. Здесь было очень много худых и бледных лиц, очень похожих на лицо Рыбы; почти все люди были некрасивы, излишне, не по-здоровому сухопары, излишне бледны, неловки, угловаты. Но они производили впечатление людей довольных: они часто и охотно смеялись, они вели себя непринуждённо, глаза их блестели, повсюду раздавались громкие, оживлённые голоса. Пожалуй, это скорее всё-таки достаточно организованный мир, думал Максим. Дома выглядят довольно жизнерадостно — почти во всех окнах свет по случаю сумеречного

дня, а значит, недостатка в электроэнергии у них во всяком случае нет. Очень весело перемигиваются разноцветные огни над крышами, улицы чисто вымыты, почти все люди одеты аккуратно, а что до осунувшихся лиц, что ж, мир бедный, не совсем здоровый... и тем не менее достаточно благополучный на вид.

И вдруг на улице что-то переменилось. Раздались возбуждённые крики. Какой-то человек полез на стеклянный киоск и, повиснув на нём, стал энергично кричать, размахивая свободной рукой. На тротуаре запели. Люди останавливались, срывали головные уборы, выкатывали глаза и пели, кричали до хрипа, поднимая узкие лица к огромным разноцветным надписям, вспыхнувшим поперёк улицы.

— Массаракш... — прошипел Фанк, и машина вильнула.

Максим посмотрел на него. Фанк был смертельно бледен, лицо его исказилось. Мотая головой, он с трудом оторвал руку от руля и уставился на часы.

— Массаракш... — простонал он и сказал ещё несколько слов, из которых Максим узнал только «не понимаю».

Потом он оглянулся через плечо, и лицо его исказилось ещё сильнее. Максим тоже оглянулся, но позади не было ничего особенного. Там двигался закрытый ярко-жёлтый автомобиль, квадратный, как коробка.

На улице кричали совершенно уже нестерпимо, но Максиму было не до того. Фанк явно терял сознание, а машина продолжала двигаться, а фургон впереди затормозил, вспыхнули его яркие сигнальные огни, и вдруг размалёванная стенка надвинулась, раздался отвратительный скрежет, глухой удар, и дыбом встал исковерканный капот.

И вдруг на улице что-то переменилось. Раздались возбуждённые крики.

— Фанк! — крикнул Максим. — Фанк! Не надо!

Фанк лежал, уронив руку и голову на овальный руль, и громко, часто стонал. Вокруг визжали тормоза, движение останавливалось, выли сигналы. Максим потряс Фанка за плечо, бросил, распахнул дверцу и, высунувшись, закричал:

— Сюда! Ему плохо!

У автомобиля уже собралась поющая, орущая, галдящая толпа, энергично взмахивали руки, сотрясались над головами вздетые кулаки, десятки пар налитых, выкаченных глаз бешено вращались в орбитах. Максим совершенно ничего не понимал: то ли эти люди были

возмущены аварией, то ли они чему-то без памяти радовались, то ли кому-то грозили. Кричать было бесполезно — не слышно было самого себя, и Максим снова вернулся к Фанку. Теперь тот лежал, откинувшись на спину, запрокинув лицо, и изо всех сил мял ладонями виски, щёки, череп, на губах его пузырилась слюна. Максим понял, что его мучает нестерпимая боль, и крепко взял его за локти, торопливо напрягаясь, готовясь перелить боль в себя. Он не был уверен, что это получится с существом другой планеты; он искал и не мог найти нервный контакт, а тут ещё вдобавок Фанк, оторвав руки от висков, стал изо всех своих невеликих сил толкать Максима в грудь, что-то отчаянно бормоча плачущим голосом. Максим понимал только: «Идите, идите...» Было ясно, что Фанк не в себе.

Тут дверца рядом с Фанком распахнулась, в машину просунулись два разгорячённых лица под чёрными беретами, сверкнули ряды металлических пуговиц, и сейчас же множество твёрдых, крепких рук взяли Максима за плечи, за бока, за шею, оторвали от Фанка и вытащили из машины. Он не сопротивлялся — в этих руках не было угрозы или злого намерения, скорее наоборот. Отодвинутый в галдящую толпу, он видел, как двое в беретах повели согнутого, скрюченного Фанка к жёлтой квадратной машине, а ещё трое в беретах оттесняли от него людей, размахивающих руками. Потом толпа с рёвом сомкнулась вокруг покалеченной машины, машина неуклюже зашевелилась, приподнялась, повернулась боком, мелькнули в воздухе медленно крутящиеся резиновые колёса, и вот она уже лежит крышей вниз, а толпа лезет на неё, и все кричат, поют, и все охвачены каким-то яростным, бешеным весельем.

Максима оттеснили к стене дома, прижали к мокрой стеклянной витрине, и, вытянув шею, он увидел поверх голов, как жёлтый квадратный автомобиль, издавая медный клёкот, задвигался, засверкал множеством ярких огней, протиснулся через толпу людей и машин и исчез из виду.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Поздно вечером Максим понял, что сыт по горло этим городом, что ему больше ничего не хочется видеть, а хочется чего-нибудь съесть. Он провёл на ногах весь день, увидел необычайно много, почти ничего не понял, узнал простым подслушиванием несколько новых слов и отождествил несколько местных букв на вывесках и афишах. Несчастный случай с Фанком смутил и удивил его, но, в общем, он был даже доволен, что снова предоставлен самому себе. Он любил

самостоятельность, и ему очень не хватало самостоятельности всё это время, пока он сидел в Бегемотовом пятиэтажном термитнике с плохой вентиляцией. Поразмыслив, он решил временно потеряться. Вежливость вежливостью, а информация информацией. Процедура контакта, конечно, дело священное, но лучшего случая получить независимую информацию, наверное, не найдётся...

Город поразил его воображение. Он жался к земле, всё движение здесь шло либо по земле, либо под землёю; гигантские пространства между домами и над домами пустовали, отданные дыму, дождю и туману. Город был серый, дымный, бесцветный, какой-то везде одинаковый — не зданиями своими, среди которых попадались довольно красивые, не однообразным кишением толп на улицах, не бесконечной своей сыростью, не удивительной безжизненностью сплошного камня и асфальта, — одинаковый в чём-то самом общем, самом главном. Он был похож на гигантский часовой механизм, в котором нет повторяющихся деталей, но всё движется, вращается, сцепляется и расцепляется в едином вечном ритме, изменение которого означает только одно: неисправность, поломку, остановку. Странный, ни на что не похожий, невиданный мир! Вероятно, он был достаточно сложен и управлялся многими законами, но один — и главный — закон Максим уже открыл для себя: делай то же, что делают все, и так же, как делают все. Впервые в жизни ему хотелось быть, как все. И Максим делал, как все. Вместе с толпой он вваливался в гулкие общественные склады под грязными стеклянными крышами, вместе со всеми покидал эти склады, вместе со всеми спускался под землю, втискивался в переполненные электрические поезда, мчался куда-то в невообразимом грохоте и лязге, подхваченный потоком, снова выходил на поверхность, на какие-то улицы, совершенно такие же, как старые...

Потом наступил вечер, зажглись несильные фонари, подвешенные высоко над землёй и почти ничего не освещающие, на больших улицах стало совсем уже тесно, и, отступая перед этой теснотой, Максим оказался в каком-то полупустом и полутёмном переулке. Здесь он понял, что на сегодня с него довольно, и остановился.

Он увидел три светящихся золотистых шара, мигающую синюю надпись, свитую из стеклянных газосветных трубок, и дверь, ведущую в полуподвальное помещение. Он уже знал, что тремя золотистыми шарами обозначаются, как правило, места, где кормят. Он спустился по щербатым ступенькам и увидел зальцу с низким потолком, десяток пустых столиков, пол, толсто посыпанный довольно чистыми опилками, стеклянный буфет, уставленный подсвеченными бутылками с радужными жидкостями. В этом кафе почти никого не было. За

никелированным барьером возле буфета медлительно двигалась рыхлая пожилая женщина в белой куртке с засученными рукавами; поодаль, за круглым столиком, сидел в небрежной позе малорослый, но крепкий человек с бледным квадратным лицом и толстыми чёрными усами.

Максим вошёл, выбрал себе столик в нише подальше от буфета и уселся. Рыхлая женщина за барьером поглядела в его сторону и что-то хрипло громко сказала. Усатый человек тоже взглянул на него пустыми глазами, отвернулся, взял стоявший перед ним длинный стакан с прозрачной жидкостью, пригубил и поставил на место. Где-то хлопнула дверь, и в зальце появилась молоденькая и милая девушка в белом кружевном переднике, нашла Максима глазами, подошла, опёрлась пальцами о столик и стала смотреть поверх его головы. У неё была чистая нежная кожа, лёгкий пушок на верхней губе и красивые серые глаза. Максим галантно прикоснулся пальцем к кончику своего носа и произнёс:

— Максим.

Девушка с изумлением посмотрела на него, словно только теперь увидела. Она была так мила, что Максим невольно улыбнулся до ушей, и тогда она тоже улыбнулась, показала себе на нос и сказала:

— Рада.

— Хорошо, — сказал Максим. — Ужин.

Она кивнула и что-то спросила. Максим на всякий случай тоже кивнул. Он, улыбаясь, посмотрел ей вслед — она была тоненькая, лёгкая, и приятно было вспомнить, что в этом мире тоже есть красивые люди.

Рыхлая женщина у буфета произнесла длинную ворчливую фразу и скрылась за своим барьером. Тут Максим обнаружил, что усатый смотрит на него. Неприятно смотрит, недружелюбно. И если приглядеться, то и сам он какой-то неприятный. Трудно сказать, в чём здесь дело, но он ассоциируется почему-то не то с волком, не то с обезьяной. Ну и пусть. Не будем о нём...

Рада снова появилась и поставила перед Максимом тарелку с дымящейся кашей из мяса и овощей и толстую стеклянную кружку с пенной жидкостью.

— Хорошо, — сказал Максим и приглашающе похлопал по стулу рядом с собой.

Ему очень захотелось, чтобы Рада посидела тут же, пока он будет есть, рассказала бы ему что-нибудь, а он бы послушал её голос, и чтобы она почувствовала, как она ему нравится и как ему хорошо рядом с нею.

Но Рада только улыбнулась и покачала головой. Она сказала что-то — Максим разобрал слово «сидеть» — и отошла к барьеру. «Жалко», — подумал Максим. Он взял двузубую вилку и принялся есть, пытаясь из тридцати известных ему слов составить фразу, выражающую дружелюбие, симпатию и потребность в общении.

Рада, прислонившись спиной к барьеру, стояла, скрестив руки на груди, и поглядывала на него. Каждый раз, когда глаза их встречались, они улыбались друг другу, и Максима несколько удивляло, что улыбка Рады с каждым разом становилась всё бледнее и неуверенней. Он испытывал весьма разнородные чувства. Ему было приятно смотреть на Раду, хотя к этому ощущению примешивалось растущее беспокойство. Он испытывал удовольствие от еды, оказавшейся неожиданно вкусной и довольно питательной. Одновременно он чувствовал на себе косой давящий взгляд усатого человека и безошибочно улавливал истекающее из-за барьера неудовольствие рыхлой женщины... Он осторожно отпил из кружки — это было пиво, холодное, свежее, но, пожалуй, излишне крепкое. На любителя.

Усатый что-то сказал, и Рада подошла к его столику. У них начался какой-то приглушённый разговор, неприятный и неприязненный, но тут на Максима напала муха, и ему пришлось вступить в борьбу. Муха была мощная, синяя, наглая: она наскакивала, казалось, со всех сторон сразу, она гудела и завывала, словно объясняясь Максиму в любви, она не хотела улетать, она хотела быть здесь, с ним и с его тарелкой, ходить по ним, облизывать их, она была упорна и многословна. Кончилось всё тем, что Максим сделал неверное движение, и она обрушилась в пиво. Максим брезгливо переставил кружку на другой столик и стал доедать рагу. Подошла Рада и уже без улыбки, глядя в сторону, спросила что-то.

— Да, — сказал Максим на всякий случай. — Рада хорошая.

Она глянула на него с откровенным испугом, отошла к барьеру и вернулась, неся на блюдечке маленькую рюмку с коричневой жидкостью.

— Вкусно, — сказал Максим, глядя на девушку ласково и озабоченно. — Что плохо? Рада, сядьте здесь говорить. Надо говорить. Не надо уходить.

Эта тщательно продуманная речь произвела на Раду неожиданно дурное впечатление. Максиму показалось даже, что она вот-вот заплачет. Во всяком случае, у неё задрожали губы, она прошептала что-то и убежала из зала. Рыхлая женщина за барьером произнесла несколько негодующих слов. «Что-то я не так делаю», — обеспокоенно подумал Максим. Он совершенно не мог себе представить — что. Он

только понимал: ни усатый человек, ни рыхлая женщина не хотят, чтобы Рада с ним «сидеть» и «говорить». Но поскольку они явно не были представителями администрации и стражами законности и поскольку он, Максим, очевидно, не нарушал никаких законов, мнение этих рассерженных людей не следовало, вероятно, принимать во внимание.

Усатый человек произнёс нечто сквозь зубы, негромко, но с совсем уж неприятной интонацией, залпом допил свой стакан, извлёк из-под стола толстую чёрную полированную трость, поднялся и не спеша приблизился к Максиму. Он сел напротив, положил трость поперёк стола и не глядя на Максима, но обращаясь явно к нему, принялся цедить медленные, тяжёлые слова, часто повторяя «массаракш», и речь его казалась Максиму такой же чёрной и отполированной от частого употребления, как его уродливая трость, и в речи этой была чёрная угроза, и вызов, и неприязнь, и всё это как-то странно замывалось равнодушием интонации, равнодушием на лице и пустотой бесцветных, остекленелых глаз.

— Не понимаю, — сказал Максим сердито.

Тогда усатый медленно повернул к нему белое лицо, поглядел как бы насквозь, медленно, раздельно задал какой-то вопрос и вдруг ловко выхватил из трости длинный блестящий нож с узким лезвием. Максим даже растерялся. Не зная, что сказать и как реагировать, он взял со стола вилку и повертел её в пальцах. Это произвело на усатого неожиданное действие. Он мягко, не вставая, отскочил, повалив стул, нелепо присел, выставив перед собою свой нож, усы его приподнялись, и обнажились жёлтые длинные зубы. Рыхлая женщина за барьером оглушительно завизжала. Максим от неожиданности подскочил. Усатый вдруг оказался совсем рядом, но в ту же секунду откуда-то появилась Рада и встала между ним и Максимом и принялась громко и звонко кричать — сначала на усатого, а потом, повернувшись, на Максима. Максим совсем уже ничего не понимал, а усатый неприятно заулыбался, взял свою трость, спрятал в неё нож и спокойно пошёл к выходу. В дверях он обернулся, бросил несколько негромких слов и скрылся.

Рада, бледная, с дрожащими губами, подняла поваленный стул, вытерла салфеткой пролитую на стол коричневую жидкость, забрала грязную посуду, унесла, вернулась и что-то сказала Максиму. Максим ответил «да», но это не помогло. Рада повторила то же самое, и голос у неё был раздражённый, хотя Максим чувствовал, что она не столько рассержена, сколько испугана. «Нет», — сказал Максим, и сейчас же

женщина за барьером ужасно заорала, затрясла щеками, и тогда Максим наконец признался: «Не понимаю».

Женщина выскочила из-за барьера, ни на секунду не переставая кричать, подлетела к Максиму, встала перед ним, уперев руки в бока, и всё вопила, а потом схватила его за одежду и принялась грубо шарить по карманам. Ошеломлённый Максим не сопротивлялся. Он только твердил: «Не надо» — и жалобно взглядывал на Раду. Рыхлая женщина толкнула его в грудь и, словно приняв какое-то страшное решение, помчалась обратно к себе за барьер и там схватила телефонный наушник. — Фанк! — произнёс Максим проникновенно. — Фанк плохо! Идти. Плохо.

Потом всё как-то неожиданно разрядилось. Рада сказала что-то рыхлой женщине, та бросила наушник, поклокотала ещё немного и успокоилась. Рада посадила Максима на прежнее место, поставила перед ним новую кружку с пивом и, к его неописуемому удовольствию и облегчению, села рядом. Некоторое время всё шло очень хорошо. Рада задавала вопросы, Максим, сияя от удовольствия, отвечал на них: «Не понимаю», рыхлая женщина бурчала в отдалении. Максим, напрягшись, построил ещё одну фразу и объявил, что «дождь ходит массаракш плохо туман», Рада залилась смехом. А потом пришла ещё одна молоденькая и довольно симпатичная девушка, поздоровалась со всеми, они с Радой вышли, и через некоторое время Рада появилась уже без фартука, в блестящем красном плаще с капюшоном и с большой клетчатой сумкой в руке.

— Идём, — сказала она, и Максим вскочил. Однако так сразу уйти не удалось. Рыхлая женщина опять подняла крик. Опять ей что-то не нравилось, опять она чего-то требовала. На этот раз она размахивала пером и листком бумаги. Некоторое время Рада спорила с нею, но подошла вторая девушка и встала на сторону женщины. Речь шла о чём-то очевидном, и Рада в конце концов уступила. Тогда они все втроём пристали к Максиму. Сначала они по очереди и хором задавали один и тот же вопрос, которого Максим, естественно, не понимал. Он только разводил руки. Затем Рада приказала всем замолчать, легонько похлопала Максима по груди и спросила:

— Мак Сим?

— Максим, — поправил он.

— Мак? Сим?

— Максим. Мак — не надо. Сим — не надо. Максим.

Тогда Рада приставила палец к своему носику и произнесла:

— Рада Гаал. Максим...

Максим понял наконец, что им зачем-то понадобилась его фамилия, — это было странно, но гораздо больше его удивило другое.

— Гаал? — произнёс он. — Гай Гаал? Воцарилась тишина. Все были поражены.

— Гай. Гаал, — повторил Максим обрадованно. — Гай хороший мужчина.

Поднялся шум. Все женщины говорили разом. Рада теребила Максима и что-то спрашивала. Очевидно было, что её страшно интересует, откуда Максим знает Гая. Гай, Гай, Гай — мелькало в потоке непонятных слов. Вопрос о фамилии Максима был забыт.

— Массаракш! — сказала наконец рыхлая женщина и захохотала, и девушки тоже засмеялись, и Рада вручила Максиму свою клетчатую сумку, взяла его под руку, и они вышли под дождь.

Они прошли до конца эту плохо освещённую улочку и свернули в ещё менее освещённый переулок с деревянными покосившимися домами по сторонам грязной мостовой, неровно мощённой булыжником; потом свернули ещё раз и ещё раз; кривые улочки были пусты, ни один человек не встречался им на пути.

Сначала Рада оживлённо болтала, часто повторяя имя Гая, а Максим то и дело подтверждал, что Гай хороший, но добавлял по-немецки, что нельзя бить людей по лицу, что это странно и что он, Максим, этого не понимает. Однако по мере того, как улицы становились всё уже, темнее и слякотнее, речь Рады всё чаще прерывалась. Иногда она останавливалась и вглядывалась в темноту, и Максим думал, что она выбирает дорогу посуше, но она искала в темноте что-то другое, потому что луж она не видела, и Максиму приходилось каждый раз легонько оттягивать её на сухие места; а там, где сухих мест не было, он брал её под мышку и переносил — ей это нравилось, каждый раз она замирала от удовольствия, но тут же забывала об этом, потому что она боялась. Чем дальше они уходили от кафе, тем больше она боялась. Сначала Максим пытался найти с нею нервный контакт, чтобы передать ей немного бодрости и уверенности, но, как и с Фанком, это не получалось. И когда они вышли из трущоб и оказались на совсем уже грязной, немощёной дороге, справа от которой тянулся бесконечный мокрый забор с ржавой колючей проволокой наверху, а слева — непроглядно чёрный, зловонный пустырь без единого огонька, Рада совсем увяла — она чуть не плакала, и Максим, чтобы хоть немножко поднять настроение, принялся во всё горло петь подряд самые весёлые из известных ему песен; и это помогло, но ненадолго, лишь до конца забора. А потом снова потянулись дома, длинные, жёлтые, двухэтажные, с тёмными окнами; из них пахло

остывающим металлом, органической смазкой, ещё чем-то душным и чадным, редко и мутно горели фонари, а вдали, под какой-то глухой аркой, стояли нахохлившиеся мокрые люди, и Рада остановилась.

Она вцепилась в его руку и заговорила прерывистым шёпотом: она была полна страха за себя и ещё больше за него. Шепча, она потянула его назад, и он повиновался, думая, что ей от этого станет лучше, но потом понял, что это просто безрассудный акт отчаяния, и упёрся.

— Пойдёмте, — сказал он ей ласково. — Пойдёмте, Рада. Плохо нет. Хорошо.

Она послушалась, как ребёнок. Он повёл её, хотя и не знал дороги, и вдруг понял, что она боится этих мокрых фигур, и очень удивился, потому что в них не было ничего страшного и опасного — так себе, обыкновенные, скрючившиеся под дождём аборигены, стоят и трясутся от сырости. Сначала их было двое, потом откуда-то появились третий и четвёртый с огоньками наркотических палочек.

Максим шёл по пустой улице между жёлтыми домами прямо на эти фигуры, а Рада всё теснее прижималась к нему, и он обнял её за плечи. Ему вдруг пришло в голову, что он ошибается, что Рада дрожит не от страха, а просто от холода. В мокрых людях не было совершенно ничего опасного; он прошёл мимо них, мимо этих сутулых, длиннолицых, озябших, засунувших руки глубоко в карманы, притопывающих, чтобы согреться, жалких, отравленных наркотиком, и они как будто даже не заметили его с Радой, даже не подняли глаз, хотя он прошёл так близко, что слышал их нездоровое, неровное дыхание. Он думал, что Рада хоть теперь успокоится, — они были уже под аркой, — и вдруг впереди, как из-под земли, будто отделившись от жёлтых стен, появились и встали поперёк дороги ещё четверо, таких же мокрых и жалких, но один из них был с длинной толстой тростью, и Максим узнал его.

Под облупленным куполом нелепой арки болталась на сквозняке голая лампочка, стены были покрыты плесенью и трещинами, под ногами был растрескавшийся грязный цемент с грязными следами многих ног и автомобильных шин. Позади гулко затопали. Максим оглянулся — те четверо догоняли, прерывисто и неровно дыша, не вынимая рук из карманов, выплёвывая на бегу свои отвратительные наркотические палочки... Рада сдавленно вскрикнула, отпустила его руку, и вдруг стало тесно. Максим оказался прижатым к стене, вокруг вплотную к нему стояли люди; они не касались его, они держали руки в карманах, они даже не смотрели на него, просто стояли и не давали ему двинуться, и через их головы он увидел, что двое держат Раду за

руки, а усатый подошёл к ней, неторопливо переложил трость в левую руку и правой рукой так же неторопливо и лениво ударил её по щеке...

Это было настолько дико и невозможно, что Максим потерял ощущение реальности. Что-то сдвинулось у него в сознании. Люди исчезли. Здесь было только два человека — он и Рада, а остальные исчезли. Вместо них неуклюже и страшно топтались по грязи жуткие и опасные животные. Не стало города, не стало арки и лампочки над головой — был край непроходимых гор, страна Оз-на-Пандоре, была пещера, гнусная западня, устроенная голыми пятнистыми обезьянами, и в пещеру равнодушно глядела размытая жёлтая луна, и надо было драться, чтобы выжить. И он стал драться, как дрался тогда на Пандоре.

Время послушно затормозилось, секунды стали длинными-длинными, в течение каждой можно было сделать очень много разных движений, нанести много ударов и видеть всех сразу. Они были неповоротливы, эти обезьяны, они привыкли иметь дело с другой дичью, наверное, они просто не успели сообразить, что ошиблись в выборе, что лучше всего им было бы бежать, но они тоже пытались драться... Максим хватал очередного зверя за нижнюю челюсть, рывком вздёргивал податливую голову и бил ребром ладони по бледной пульсирующей шее, и сразу же поворачивался к следующему, хватал, вздёргивал, рубил и снова хватал, вздёргивал, рубил — в облаке зловонного, хищного дыхания, в гулкой тишине пещеры, в жёлтой, слезящейся полутьме, — и грязные кривые когти рванули его за шею и соскользнули, жёлтые клыки глубоко впились в плечо и тоже соскользнули... Рядом уже никого не было, а к выходу из пещеры торопился вожак с дубиной, потому что он, как и все вожаки, обладал самой быстрой реакцией и первым понял, что происходит. И Максим мельком пожалел его, как медленна его быстрая реакция — секунды тянулись всё медленнее, и быстроногий вожак едва перебирал ногами, — и Максим, проскользнув между секундами, поравнялся с ним и зарубил его на бегу и сразу остановился... Время вновь обрело нормальное течение, пещера стала аркой, луна — лампочкой, а страна Оз-на-Пандоре снова превратилась в непонятный город на непонятной планете, более непонятной, чем Пандора...

Максим стоял, отдыхая, опустив зудящие руки. У ног его трудно копошился усатый вожак. Кровь текла из пораненного плеча Максима. И тут Рада взяла его руку и, всхлипнув, провела его ладонью по своему мокрому лицу. Он огляделся. На грязном цементном полу мешками лежали тела. Он машинально сосчитал их — шестеро, включая вожака, — и подумал, что двое успели убежать. Ему было

невыразимо приятно прикосновение Рады, и он знал, что поступил так, как должен был поступить, и сделал то, что должен был сделать, — ни каплей больше, ни каплей меньше. Те, кто успел уйти, ушли, он не догонял их, хотя мог бы догнать — даже сейчас он слышал, как панически стучат их каблуки в конце тоннеля. А те, кто не успел уйти, — те лежат, и некоторые из них умрут, а некоторые уже мертвы, и он понимал теперь, что это всё-таки люди, а не обезьяны и не панцирные волки, хотя дыхание их было зловонно, прикосновения — грязны, а намерения — хищны и отвратительны. И всё-таки он испытывал какое-то сожаление и ощущал потерю, словно потерял некую чистоту, словно потерял неотъемлемый кусочек души прежнего Максима, и знал, что прежний Максим исчез навсегда, и от этого ему было немножко горько, и это будило в нём какую-то незнакомую гордость....

И он стал драться...

— Пойдём, Максим, — тихонько сказала Рада.

И он послушно пошёл за нею.

— Короче говоря, вы его упустили.

— Я ничего не мог сделать... Вы сами знаете, как это бывает...

— Чёрт побери, Фанк! Вам и не надо было ничего делать. Вам достаточно было взять с собой шофёра.

— Я знаю, что виноват. Но кто мог ожидать...

— Хватит об этом. Что вы предприняли?

— Как только меня выпустили, я позвонил Мегу. Мегу ничего не знает. Если он вернётся, Мегу сейчас же сообщит мне... Далее: я взял под наблюдение все дома умалишённых... Он не может уйти далеко, ему просто не дадут, он слишком бросается в глаза...

— Дальше.

— Я поднял своих людей в полиции. Я приказал следить за всеми случаями нарушения порядка, вплоть до нарушения правил уличного движения. У него нет документов. Я распорядился сообщать мне обо всех задержанных без документов... У него нет ни одного шанса скрыться, даже если он захочет... По-моему, это дело двух-трёх дней... Простое дело.

— «Простое» ... Что могло быть проще: сесть в машину, съездить в телецентр и привезти сюда человека... Но вы даже с этим не справились.

— Виноват. Но такое стечение обстоятельств...

— Я сказал, хватит об обстоятельствах. Он действительно похож на сумасшедшего?

— Трудно сказать... Больше всего он, пожалуй, похож на дикаря. На хорошо отмытого и ухоженного горца. Но я легко представляю себе ситуацию, в которой он выглядит сумасшедшим... И потом, эта вечная идиотская улыбка, кретинический лепет вместо нормальной речи... И весь он какой-то дурак...

— Понятно. Я одобряю ваши меры... И вот что ещё, Фанк... Свяжитесь с подпольем.

— Что?

— Если вы не найдёте его в ближайшие дни, он непременно объявится в подполье.

— Не понимаю, что делать дикарю в подполье.

— В подполье много дикарей. И не задавайте глупых вопросов, а делайте, что я вам говорю. Если вы упустите его ещё раз, я вас уволю.

— Второй раз я его не упущу.

— Рад за вас... Что ещё?

— Любопытный слух о Волдыре.

— О Волдыре? Что именно?

— Простите, Странник... Если разрешите, я предпочёл бы об этом шёпотом, на ухо...

Часть вторая
ЛЕГИОНЕР

ГЛАВА ПЯТАЯ

Окончив инструктаж, господин ротмистр Чачу распорядился:

— Капрал Гаал, останьтесь. Остальные свободны.

Когда остальные командиры секций вышли гуськом в затылок друг другу, господин ротмистр некоторое время разглядывал Гая, покачиваясь на стуле и насвистывая старинную солдатскую песню «Уймись, мамаша». Господин ротмистр Чачу был совсем не похож на господина ротмистра Тоота. Он был приземист, темнолиц, с большой лысиной, он был гораздо старше Тоота, в недавнем прошлом — участник восьми приморских инцидентов, обладатель Огненного Креста и трёх значков «За ярость в огне»; рассказывали о его фантастическом поединке с белой субмариной, когда его машина получила прямое попадание и загорелась, а он продолжал стрелять, пока не потерял сознание от страшных ожогов; говорили, что на теле его нет живого места, сплошь чужая, пересаженная кожа, а на левой руке у него не хватало трёх пальцев. Он был прям и груб, как настоящий вояка, и, не в пример сдержанному ротмистру Тооту, никогда не считал нужным скрывать своё настроение ни от подчинённых, ни от начальства. Если он был весел, вся бригада знала, что господин ротмистр Чачу нынче весел; но если уж он был не в духе и насвистывал «Уймись, мамаша» ...

Глядя ему в глаза уставным взглядом, Гай испытывал отчаяние при мысли, что ему каким-то неизвестным пока образом привелось огорчить и рассердить этого замечательного человека. Он торопливо перебирал в памяти свои собственные проступки и проступки легионеров своей секции, но ничего не мог вспомнить такого, что уже не было отстранено небрежным движением беспалой руки и хриплым, ворчливым: «Ладно, на то и Легион. Плевать...»

Господин ротмистр перестал свистеть и покачиваться.

— Не люблю болтовни и писанины, капрал, — произнёс он. — Либо ты рекомендуешь кандидата Сима, либо ты его не рекомендуешь. Что именно?

— Так точно, рекомендую, господин ротмистр, — поспешно сказал Гай. — Но...

— Без «но», капрал! Рекомендуешь или не рекомендуешь?

— Так точно, рекомендую.

— Тогда как я должен понимать эти две бумажки? — Господин ротмистр нетерпеливым движением извлёк из нагрудного кармана сложенные бумаги и развернул их на столе, придерживая искалеченной рукой. — Читаю: «Рекомендую вышеозначенного Мака Сима, как преданного и способного...» Н-ну, это понятно... «...для утверждения в высоком звании кандидата в рядовые Боевого Легиона». А вот твоя вторая писулька, капрал: «...В связи с вышеизложенным считаю своим долгом обратить внимание командования на необходимость тщательной проверки означенного кандидата в рядовые Боевого Легиона М. Сима». Массаракш! Чего ж тебе, в конце концов, надо, капрал?

— Господин ротмистр! — взволнованно сказал Гай. — Но я действительно в трудном положении! Я знаю кандидата Сима как способного и преданного задачам Легиона гражданина. Я уверен, что он принесёт много пользы. Но, полагая, что в Легионе место только кристально чистым...

— Да, да! — нетерпеливо сказал господин ротмистр. — Короче говоря, вот что, капрал. Одну из этих бумаг ты сейчас же заберёшь и порвёшь. Надо же соображать. Я не могу явиться к бригадиру с двумя бумажками. Либо да, либо нет. Мы в Легионе, а не на философском факультете, капрал! Две минуты на размышление.

Господин ротмистр извлёк из стола толстую папку с делами и с отвращением бросил её перед собой. Гай уныло посмотрел на часы. Было ужасно трудно сделать этот выбор. Бесчестно и недостойно легионера было скрыть от командования своё недостаточное знание рекомендуемого, даже если речь шла о Максиме. Но, с другой стороны, бесчестно и недостойно легионера было уклониться от ответственности, взваливая решение на господина ротмистра, который видел Максима только два раза, да и то в ротном строю. Ну хорошо. Ещё раз. За: горячо и близко к сердцу принял задачи Легиона; без сучка и задоринки прошёл освидетельствование в Департаменте общественного здоровья; будучи направлен господином ротмистром Тоотом и господином штаб-врачом Зогу в какое-то секретное учреждение, по-видимому, для проверки, проверку эту выдержал. (Правда, это показание самого Максима, документы он потерял, но как же иначе он мог оказаться не под надзором?); наконец, отважен, прирождённый боец — в одиночку расправился с бандой Крысолова, — симпатичен, прост в общении, добродушен, абсолютно бескорыстен. И вообще человек необычайных способностей. Против: совершенно неизвестно, кто он и откуда; о прошлом своём либо ничего не помнит, либо не желает

сообщать... и у него нет никаких документов. Но так ли уж всё это подозрительно? Правительство контролирует только границы и центральный район. Две трети территории страны до сих пор погрязают в анархии, там голод, эпидемия, народ оттуда бежит, и все без документов, а молодые даже не знают, что такое документы. И сколько среди них больных, потерявших память, даже выродков... В конце концов, главное — что Максим не выродок...

— Ну, капрал? — произнёс господин ротмистр.

— Так точно, господин ротмистр! — отчаянным голосом сказал Гай. — Разрешите...

Он взял свой рапорт с просьбой проверить Максима и медленно разорвал его.

— Пр-равильное решение! — гаркнул господин ротмистр. — Молодец, легионер! Бумаги, чернила, проверки... Всё проверит бой! Вот когда мы сядем в наши машины и двинем в зону атомных ловушек, тогда мы сразу увидим, кто наш, а кто — нет.

— Так точно, — без особой уверенности сказал Гай. Он хорошо понимал старого вояку, но не менее хорошо он видел, что герой приморских инцидентов несколько заблуждается. Бой, конечно, боем, но и чистота чистотой. Впрочем, Максима это не касается. Максим-то как раз чист.

— Массаракш! — произнёс господин ротмистр. — Департамент здоровья его пропустил, а остальное — дело наше. — Произнеся эту загадочную фразу, он сердито посмотрел на Гая и добавил: — Легионер другу доверяет полностью, а если не доверяет, значит, это не друг, гнать его в шею. Ты меня удивил, капрал. Ну ладно, марш к своей секции. Времени осталось мало... На операции я сам присмотрю за этим кандидатом.

Гай щёлкнул каблуками и вышел. За дверью он позволил себе улыбнуться. Всё-таки старый вояка не удержался и принял ответственность на себя. Хорошее всегда хорошо. Теперь можно с чистой совестью считать Максима своим другом. Мака Сима. Настоящую его фамилию не произнести. То ли он её придумал, пока был в бреду, то ли всё-таки действительно он родом из этих горцев... Как, бишь, звали ихнего древнего царя?.. Заремчичакбешмусарайи... Гай вышел на плац и поискал глазами свою секцию. Неутомимый Панди гонял ребят через верхнее окно макета трёхэтажного здания. Ребята взмокли, и это было плохо, потому что до операции оставался всего час.

— О-отста-вить! — крикнул Гай ещё издали.

— От-ставить! — заорал Панди. — Становись!

Секция быстро построилась. Панди скомандовал:

— Смирно! — строевым шагом подошёл к Гаю и доложил: — Господин капрал, секция занимается преодолением штурмового городка.

— Встаньте в строй, — приказал Гай, стараясь интонацией выразить неодобрение, как это превосходно умел делать капрал Серембеш. Он прошёлся перед строем, заложив руки за спину, вглядываясь в знакомые лица.

Серые, голубые и синие глаза, выражающие готовность выполнить любой приказ и потому слегка выкаченные, следили за каждым его движением. Он ощутил, как они близки и дороги ему, эти двенадцать здоровенных парней — шестеро действительных рядовых Легиона на правом фланге и шестеро кандидатов в рядовые на левом, — все в ладных чёрных комбинезонах с начищенными пуговицами, все в блестящих сапогах с короткими голенищами, все в беретах, лихо сдвинутых на правую бровь... Нет, не все. Посередине строя, на правом фланге кандидатов, башней возвышался кандидат Мак Сим, очень ладный парень, любимец, как это ни прискорбно для командира иметь любимцев, но... гм... То, что у него не выкачены его странные коричневые глаза, ладно, научится со временем. Но вот... гм...

Гай подошёл к Максиму и застегнул ему верхнюю пуговицу. Затем встал на цыпочки и поправил берет. Кажется, все... Опять он в строю растянул рот до ушей... Ну ладно. Отвыкнет. Кандидат всё-таки, самый младший в секции...

Чтобы сохранить видимость справедливости, Гай поправил пряжку у соседа Максима, хотя надобности в этом не было. Потом он сделал три шага назад и скомандовал «вольно». Секция встала «вольно» — слегка отставила правую ногу и заложила руки за спину.

— Ребята, — сказал Гай, — сегодня мы в составе роты выступаем на регулярную операцию по обезвреживанию агентуры потенциального противника. Операция проводится по схеме тридцать три. Господа действительные рядовые, несомненно, помнят свои обязанности по этой схеме, господам же кандидатам, забывающим застёгивать пуговицы, я считаю полезным напомнить. Секция получает один подъезд. Секция делится на четыре группы: три тройки и наружный резерв. Тройки в составе двух действительных рядовых и одного кандидата, не поднимая шума, последовательно обходят квартиры. Вступив в квартиру, каждая тройка действует следующим образом: кандидат охраняет парадный вход, второй рядовой, ни на что, не отвлекаясь, занимает чёрный ход, старший производит осмотр помещений. Резерв из трёх кандидатов во главе с командиром секции — в данном случае со мною — остаётся внизу в подъезде с задачей, немедленно

оказать помощь той тройке, которой это понадобится. Состав троек и резерва вам известен... Внимание! — сказал он, отступая ещё на шаг. — На тройки и резерв — разберись!

Произошло короткое множественное движение. Секция разобралась. Никто не ошибся местом, никто не сцепился автоматами, никто не поскользнулся и не потерял берет, как это случалось на прошлых занятиях. На правом фланге резерва возвышался Максим и опять улыбался во весь рот. У Гая вдруг возникла дикая мысль, что Максим смотрит на всё это как на забавную игру. Это было, конечно, не так, потому что так это быть не могло. Во всём была виновата, несомненно, эта дурацкая улыбочка...

— Недурственно, — проворчал Гай в подражание капралу Серембешу и благосклонно поглядел на Панди: молодец старик, вымуштровал ребят. — Внимание! — сказал он. — Секция, стройся!

Снова короткое множественное движение, прекрасное своей чёткостью и безукоризненностью, и снова секция стояла перед ним одной шеренгой. Хорошо! Просто замечательно! Даже внутри всё както холодеет. Гай опять заложил руки за спину и прошёлся.

— Легионеры! — сказал он. — Мы — опора и единственная надежда Огненосных Творцов. Только на нас они могут без оглядки положиться в своём великом деле. (Это была правда, самая истинная правда, и было в этом очарование и отрешённость.) Боевой Легион есть железный кулак истории. Он призван смести все преграды на нашем гордом пути. Меч Боевого Легиона закалён в огнях сражений, он жжёт нам руки, и остудить его могут только потоки вражеской крови. Враг хитёр. Он труслив, но упорен. Огненосные Творцы приказали нам сломить это коварное упорство, с корнем вырвать го, что влечёт нас назад, к хаосу и растлевающей анархии. Таков наш долг, и мы счастливы исполнить его. Мы идём на многие жертвы, мы нарушаем покой наших матерей, братьев и детей, мы лишаем заслуженного отдыха честного рабочего, честного чиновника, честного торговца и промышленника. Они знают, почему мы вынуждены вторгаться в их дома, и встречают нас как своих лучших друзей, как своих защитников. Помните это и не давайте себе увлечься в благородном пылу выполнения своей задачи. Друг — это друг, а враг — это враг... Вопросы есть?

— Нет! — рявкнула секция в двенадцать глоток.

— Смир-рна! Тридцать минут на отдых и проверку снаряжения. Р-разойдись!

Секция бросилась врассыпную, а затем легионеры группами по двое и по трое направились к казарме. Гай неторопливо пошёл

следом, ощущая приятную опустошённость. Максим ждал его поодаль, заранее улыбаясь.

— Давай поиграем в слова, — предложил он.

Гай мысленно застонал. Одёрнуть бы его, одёрнуть! Что может быть более противоестественно, нежели кандидат, молокосос, за полчаса до начала операции пристающий с фамильярностями к капралу!

— Сейчас не время, — по возможности сухо сказал он.

— Ты волнуешься? — спросил Максим сочувственно.

Гай остановился и поднял глаза к небу. Ну что делать, что делать? Оказывается, совершенно невозможно цукать такого вот добродушного наивного гиганта, да ещё спасителя твоей сестры, да ещё — чего греха таить — человека, во всех иных отношениях, кроме строевого, гораздо выше тебя самого... Гай огляделся и сказал просительно:

— Послушай, Мак, ты ставишь меня в неловкое положение. Когда мы в казарме, я твой начальник, я приказываю — ты подчиняешься. Я тебе сто раз говорил...

— Но я же готов подчиняться, приказывай! — возразил Максим. — Я знаю, что такое дисциплина. Приказывай.

— Я уже приказал. Займись подгонкой снаряжения.

— Нет, извини меня, Гай, ты приказал не так. Ты приказал отдыхать и подгонять снаряжение. Ты забыл? Снаряжение я подогнал, теперь отдыхаю. Давай поиграем, я придумал хорошее слово...

— Мак, пойми: подчинённый имеет право обращаться к начальнику, во-первых, только по установленной форме, а во-вторых, исключительно по службе.

— Да, я помню. Параграф девять... Но ведь это во время службы. А сейчас мы с тобой отдыхаем...

— Откуда ты взял, что я отдыхаю? — спросил Гай. Они стояли за макетом забора с колючей проволокой, и здесь их, слава богу, никто не видел: никто не видит, как эта башня привалилась плечом к забору и всё время порывается взять своего капрала за пуговицу. — Я отдыхаю только дома, но даже дома я никакому подчинённому не позволил бы... Послушай, отпусти мою пуговицу и застегни свою...

Максим застегнулся и сказал:

— На службе — одно, дома — другое. Зачем?

— Давай не будем об этом говорить. Мне надоело повторять тебе одно и то же... Кстати, когда ты перестанешь улыбаться в строю?

— В уставе об этом не сказано, — немедленно ответил Максим. — А что касается «повторять одно и то же», то вот что. Ты не обижайся, Гай, я знаю: ты не говорец... не речевик...

— Кто?

— Ты не человек, который умеет красиво говорить.

— Оратор?

— Оратор... Да, не оратор. Но всё равно. Ты сегодня обратился к нам с речью. Слова правильные, хорошие. Но когда ты дома говорил мне о задачах Легиона и о положении страны, это было очень интересно. Это было очень, по-твоему. А здесь ты в седьмой раз говоришь одно и то же, и всё не по-твоему. Очень, верно. Очень одинаково. Очень скучно. А? Не обиделся?

Гай не обиделся. То есть некая холодная иголочка кольнула его самолюбие: до сих пор ему казалось, что он говорит так же убедительно и гладко, как капрал Серембеш или даже господин ротмистр Тоот. Однако, если подумать, капрал Серембеш и господин ротмистр тоже повторяли всё одно и то же в течение трёх лет. И в этом нет ничего удивительного и тем более зазорного — ведь за три года никаких существенных изменений во внутреннем и во внешнем положении не произошло...

— А где это сказано в уставе, — спросил Гай, усмехаясь, — чтобы подчинённый делал замечания своему начальнику?

— Там сказано противоположное, — со вздохом признался Максим. — По-моему, это неверно. Ты ведь слушаешь мои советы, когда решаешь задачи по баллистике, и ты слушаешь мои замечания, когда ошибаешься в вычислениях.

— Это дома! — проникновенно сказал Гай. — Дома всё можно.

— А если на стрельбах ты неправильно даёшь нам прицел? Плохо учёл поправку на ветер. А?

— Ни в коем случае, — твёрдо сказал Гай.

— Стрелять неправильно? — изумился Максим.

— Стрелять как приказано, — строго сказал Гай. — За эти десять минут, Мак, ты наговорил суток на пятьдесят карцера. Понимаешь?

— Нет, не понимаю... А если в бою?

— Что — в бою?

— Ты даёшь неправильный прицел. А?

— Гм... — сказал Гай, который ещё никогда в бою не командовал. Он вдруг вспомнил, как капрал Вахту во время разведки боем запутался в карте, загнал секцию под кинжальный огонь соседней роты, сам там остался и полсекции уложил, а ведь мы знали, что он запутался, но никто не подумал его поправить.

«Господи, — сообразил вдруг Гай, — да нам бы и в голову не пришло, что можно его поправить. А вот Максим этого не понимает и даже не то, что не понимает — понимать тут нечего, — а просто не признаёт. Сколько раз уже так было: берёт самоочевидную вещь и

отвергает её, и никак его не убедишь, и даже наоборот — сам начинаешь сомневаться, голова идёт кругом, и приходишь в полное обалдение... Нет, он всё-таки не обыкновенный человек... редкий, небывалый человек... Язык выучил за месяц. Грамоту осилил в два дня. Ещё в два дня перечитал всё, что у меня есть. Математику и механику знает лучше господ преподавателей, а ведь у нас на курсах преподают настоящие специалисты. Или вот взять дядюшку Каана...»

Последнее время старик все свои монологи за столом обращал исключительно к Максиму. Более того, он не раз уже дал понять, что Максим является, пожалуй, единственным человеком, который в наше время проявляет такие способности и такой интерес к ископаемым животным. Он рисовал Максиму на бумажке каких-то ужасных зверей, и Максим рисовал ему на бумажке каких-то ещё более ужасных зверей, и они спорили, который из этих зверей более древний, и кто от кого произошёл, и почему это случилось; в ход шли научные книги из дядюшкиной библиотеки, и всё равно бывало, что Максим не давал старику рта открыть, причём Гай с Радой не понимали ни слова из того, что говорилось, а дядюшка то кричал до хрипоты, то рвал на клочки рисунки и топтал их ногами, обзывал Максима невеждой, хуже дурака Шапшу, то вдруг принимался яростно чесать обеими руками реденькие седые волосы на затылке и бормотал с потрясённой улыбкой: «Смело, массаракш, смело... У вас есть фантазия, молодой человек!» Особенно запомнился Гаю один вечер, когда старикана громом ударило заявление Максима, будто некоторые из этих допотопных тварей передвигались на задних ногах, каковое заявление, по-видимому, очень просто и естественно разрешало некий давний научный спор...

Математику он знает, механику он знает, военную химию он знает превосходно, палеонтологию — господи, да кому в наше время известна палеонтология! — палеонтологию он тоже знает... Рисует как художник, поёт как артист... и добрый, неестественно добрый. Разогнал и перебил бандитов, один — восьмерых, голыми руками, другой бы на его месте ходил петухом, на всех поплёвывал, а он мучился, ночи не спал, огорчался, когда его хвалили и благодарили, а потом однажды взорвался: весь побелел и крикнул, что это нечестно — хвалить за убийство... Господи, это же какая проблема была — уговорить его в Легион! Всё понимает, со всем согласен, хочет, но ведь там, говорит, придётся стрелять. В людей. Я ему говорю: в выродков, а не в людей, в отребье, хуже бандитов... Договорились, слава богу, что сначала, пока не привыкнет, будет просто обезоруживать... И смешно, и страшно как-то. Нет, недаром он всё проговаривается, будто пришёл

из другого мира. Знаю я этот мир. Даже книга об этом есть у дядюшки — «Туманная Страна Зартак». Лежит, дескать, в Алебастровых горах долина Зартак, где живут счастливые люди... По описанию все они там такие, как Максим. И вот что удивительно: если кто-нибудь из них покинет свою долину, то сразу забывает, откуда он родом и что с ним было раньше, помнит только, что из другого мира... Дядюшка, правда, говорит, что никакой такой долины нет, всё это выдумка, есть только хребет Зартак, а потом, говорит, в ту войну долбанули по этому хребту супербомбами, так что у горцев там на всю жизнь память отшибло...

— Ты почему молчишь? — спросил Максим. — Ты обо мне думаешь?

Гай отвёл глаза.

— Ты вот что... — сказал он. — Я тебя только об одном прошу: в интересах дисциплины никогда не показывай виду, что ты больше меня знаешь. Смотри, как ведут себя другие, и веди себя точно так же.

— Я стараюсь, — грустно сказал Максим. Он подумал немного и добавил: — Трудно привыкнуть. У нас всё это не так.

— А как твоя рана? — спросил Гай, чтобы сменить тему.

— Мои раны заживают быстро, — рассеянно сказал Максим. — Слушай, Гай, давай после операции поедем прямо домой. Ну что ты так смотришь? Я очень соскучился по Раде. А ты нет? Ребят мы завезём в казарму, а потом на грузовике поедем домой. Шофёра отпустим...

Гай набрал в грудь побольше воздуху, но тут серебристый ящик громкоговорителя на столбе почти над их головами зарычал, и голос дежурного по бригаде скомандовал:

— Шестая рота, выходи строиться на плац! Внимание, шестая рота...

И Гай только рявкнул:

— Кандидат Сим! Прекратить разговоры, марш на построение! — Максим рванулся, но Гай поймал его за ствол автомата. — Я тебя очень прошу... — сказал он. — Как все! Держись, как все! Сегодня сам ротмистр будет за тобой наблюдать...

Через три минуты рота построилась. Уже стемнело, над плацем вспыхнули прожектора. Позади строя мягко ворчали двигателями грузовики. Как всегда перед операцией, господин бригадир в сопровождении господина ротмистра Чачу молча обошёл строй, осматривая каждого легионера. Он был спокоен, глаза прищурены, уголки губ приветливо приподняты. Потом, так ничего и не сказав, он кивнул господину ротмистру и удалился. Господин ротмистр, переваливаясь

и помахивая искалеченной рукой, вышел перед строем и повернул к легионерам своё тёмное, почти чёрное лицо.

— Легионеры! — каркнул он голосом, от которого у Гая пошли мурашки по коже. — Перед нами дело. Выполним его достойно... Внимание, рота! По машинам! Капрал Гаал, ко мне!

Когда Гай подбежал и вытянулся перед ним, господин ротмистр сказал негромко:

— Ваша секция имеет специальное задание. По прибытии на место из машины не выходить. Командовать буду я сам.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

У грузовика были отвратительные амортизаторы, и это очень чувствовалось на отвратительной булыжной мостовой. Кандидат Максим, зажав автомат между коленями, заботливо придерживал Гая за поясной ремень, рассудив, что капралу, который так заботится об авторитете, не к лицу реять над скамейками, как какому-нибудь кандидату Зойзе. Гай не возражал, а может быть, он и не замечал предупредительности своего подчинённого. После разговора с ротмистром Гай был чем-то сильно озабочен, и Максим радовался, что по расписанию им придётся быть рядом и он сможет помочь, если понадобится.

Грузовики миновали Центральный театр, долго катились вдоль вонючего Имперского канала, потом свернули по длинной, пустой в этот час Сапожной улице и принялись колесить кривыми переулочками какого-то предместья, где Максим никогда ещё не бывал. А побывал он за последнее время во многих местах и изучил город основательно, по-хозяйски. Он вообще много узнал за эти сорок с лишним дней и разобрался наконец в положении. Положение оказалось гораздо менее утешительным и более причудливым, чем он думал.

Он ещё корпел над букварём, когда Гай пристал к нему с вопросом, откуда он, Максим, взялся. Рисунки не помогали: Гай воспринимал их с какой-то странной улыбкой и продолжал повторять всё тот же вопрос: «Откуда ты?» Тогда Максим в раздражении ткнул пальцем в потолок и сказал: «Из неба». К его удивлению, Гай нашёл это вполне естественным и стал с вопросительной интонацией сыпать какими-то словами, которые Максим вначале принял за названия планет местной системы. Но Гай развернул карту мира в меркаторской проекции, и тут выяснилось, что это вовсе не названия планет, а названия стран-антиподов. Максим пожал плечами, произнёс все известные ему выражения отрицания и стал изучать карту, так что разговор на этом временно прекратился.

Вечером дня через два Максим и Рада смотрели телевизор. Шла какая-то очень странная передача, нечто вроде кинофильма без начала и конца, без определённого сюжета, с бесконечным количеством действующих лиц — довольно жутких лиц, действующих довольно дико, с точки зрения любого гуманоида. Рада смотрела с интересом, вскрикивала, хватала Максима за рукав, два раза всплакнула, а Максим быстро соскучился и задремал было под уныло-угрожающую музыку, как вдруг на экране мелькнуло что-то знакомое. Он даже глаза протёр. На экране была Пандора, угрюмый тахорг тащился через джунгли, давя деревья, и вдруг появился Петер с манком в руках; очень сосредоточенный и серьёзный, он пятился задом, споткнулся о корягу и полетел спиной прямо в болото. С огромным изумлением Максим узнал собственную ментограмму, а потом ещё одну и ещё, но не было никаких комментариев, играла всё та же музыка, и Пандора исчезла, уступив место слепому тощему человеку, который полз по потолку, плотно затянутому пыльной паутиной. «Что это?» — спросил Максим, тыча пальцем в экран. «Передача, — нетерпеливо сказала Рада. — Интересно. Смотри». Он так и не добился толку, и в голову ему пришла мысль о многих десятках разнообразных пришельцев, добросовестно вспоминающих свои миры. Однако он быстро отказался от этой мысли: миры были слишком страшны и однообразны — глухие душные комнатки, бесконечные коридоры, заставленные мебелью, которая вдруг прорастала гигантскими колючками; спиральные лестницы, винтом уходящие в непроглядный мрак узких колодцев; зарешечённые подвалы, набитые тупо копошащимися телами, между которыми выглядывали болезненно-неподвижные лица, как на картинках Иеронима Босха, — это было больше похоже на бредовую фантазию, чем на реальные миры. На фоне этих видений ментограммы Максима ярко сияли реализмом, переходящим из-за Максимова темперамента в романтический натурализм. Такие передачи повторялись почти каждый день, назывались они «Волшебное путешествие», но Максим так до конца и не понял, в чём их соль. В ответ на его вопросы Гай и Рада недоуменно пожимали плечами и говорили: «Передача. Чтобы было интересно. Волшебное путешествие. Сказка. Ты смотри, смотри! Бывает смешно, бывает страшно». И у Максима зародились самые серьёзные сомнения в том, что целью исследований профессора Бегемота был контакт и что вообще эти исследования были исследованиями.

Этот интуитивный вывод косвенно подтвердился ещё декаду спустя, когда Гай прошёл по конкурсу в заочную школу претендентов на первый офицерский чин и принялся зубрить математику и механику.

Схемы и формулы из элементарного курса баллистики привели Максима в недоумение. Он пристал к Гаю; Гай сначала не понял, а потом, снисходительно ухмыляясь, объяснил ему космографию своего мира. И тогда выяснилось, что обитаемый остров не есть шар, не есть геоид и вообще не является планетой.

Обитаемый остров был Миром, единственным миром во Вселенной. Под ногами аборигенов была твёрдая поверхность Сферы Мира. Над головами аборигенов имел место гигантский, но конечного объёма газовый шар неизвестного пока состава и обладающий не вполне ясными пока физическими свойствами. Существовала теория о том, что плотность газа быстро растёт к центру газового пузыря, и там происходят какие-то таинственные процессы, вызывающие регулярное изменение яркости так называемого Мирового Света, обуславливающие смену дня и ночи. Кроме короткопериодических, суточных, изменений состояния Мирового Света, существовали долгопериодические, порождающие сезонные колебания температуры и смену времён года. Сила тяжести была направлена от центра Сферы Мира перпендикулярно к её поверхности. Короче говоря, обитаемый остров существовал на внутренней поверхности огромного пузыря в бесконечной тверди, заполняющей остальную Вселенную.

Максим, совершенно обалдевший от неожиданности, пустился было в спор, но очень скоро оказалось, что они с Гаем говорят на разных языках, что понять друг друга им гораздо труднее, чем убеждённому коперниканцу понять убеждённого последователя Птолемея. Всё дело было в удивительных свойствах атмосферы этой планеты. Во-первых, необычайно сильная рефракция непомерно задирала горизонт и спокон веков внушала аборигенам, что их земля не плоская и, уж во всяком случае, не выпуклая — она вогнутая. «Встаньте на морском берегу, — рекомендовали школьные учебники, — и проследите за движением корабля, отошедшего от пристани. Сначала он будет двигаться как бы по плоскости, но чем дальше он будет уходить, тем выше он будет подниматься, пока не скроется в атмосферной дымке, заслоняющей остальную часть Мира». Во-вторых, атмосфера эта была весьма плотна и фосфоресцировала днём и ночью, так что никто никогда здесь не видел звёздного неба, а случаи наблюдения солнца были записаны в хрониках и служили основой для бесчисленных попыток создать теорию Мирового Света.

Максим понял, что находится в гигантской ловушке, что контакт сделается возможным только тогда, когда ему удастся буквально вывернуть наизнанку естественные представления, сложившиеся в течение тысячелетий. По-видимому, это уже пытались здесь проделать,

если судить по распространённому проклятию «массаракш», что дословно означало «мир наизнанку»; кроме того, Гай рассказал о чисто абстрактной математической теории, рассматривавшей Мир иначе. Теория эта возникла ещё в древние времена, преследовалась некогда официальной религией, имела своих мучеников, получила математическую стройность трудами гениальных математиков прошлого века, но так и осталась чисто абстрактной, хотя, как и большинство абстрактных теорий, нашла себе наконец практическое применение — совсем недавно, когда были созданы сверхдальнобойные снаряды.

Обдумав и сопоставив всё, что стало ему известно, Максим понял, во-первых, что всё это время выглядел здесь сумасшедшим и что недаром его ментограммы включены в шизоидное «Волшебное путешествие». Во-вторых, он понял, что до поры до времени он должен молчать о своём инопланетном происхождении, если не хочет вернуться к Бегемоту. Это означало, что обитаемый остров не придёт к нему на помощь, что рассчитывать он может только на себя, что постройка нуль-передатчика откладывается на неопределённое время, а сам он застрял здесь, по-видимому, надолго и, может быть — массаракш! — навсегда. Безнадёжность ситуации едва не сбила его с ног, но он стиснул зубы и принудил себя рассуждать чисто логически. Маме придётся пережить тяжёлое время. Ей будет безмерно плохо, и одна эта мысль отбивает всякую охоту рассуждать логически. «Будь он неладен, этот бездарный, замкнутый мир!.. Но у меня есть только два выхода: либо тосковать по невозможному и бессильно кусать локти, либо собраться и жить. По-настоящему жить, как я хотел жить всегда, — любить друзей, добиваться цели, драться, побеждать, терпеть поражения, получать по носу, давать сдачи — всё, что угодно, только не заламывать в отчаянии руки...» Он прекратил разговоры о строении Вселенной и принялся расспрашивать Гая об истории и социальном устройстве своего обитаемого острова.

С историей дело обстояло неважно. Гай имел из неё только отрывочные сведения, и серьёзных книг у него не было. В городской библиотеке серьёзных книг не оказалось тоже. Но можно было понять, что приютившая Максима страна была раньше значительно обширней и владела огромным количеством заморских колоний, из-за которых в конце концов и вспыхнула разрушительная война с ныне уже забытыми соседними государствами. Война эта охватила весь мир, погибли миллионы и миллионы, были разрушены тысячи городов, десятки малых и больших государств оказались сметены с лица земли, в мире и в стране воцарился хаос. Наступили дни жестокого голода и эпидемии. Попытки народных восстаний кучка

эксплуататоров подавляла ядерными снарядами. Страна и мир шли к гибели. Положение было спасено Огненосными Творцами. Судя по всему, это была анонимная группа молодых офицеров генерального штаба, которые в один прекрасный день, располагая всего двумя дивизиями, очень недовольными тем, что их направляют в атомную мясорубку, организовали путч и захватили власть. С тех пор положение в значительной степени стабилизовалось, и война утихла как-то сама собой, хотя мира никто ни с кем не заключал.

Максим понимал, что политическое устройство страны весьма далеко от идеального. Однако ясно было, что популярность Огненосных Творцов чрезвычайно велика, причём во всех слоях общества. Экономическая основа этой популярности оставалась Максиму непонятна, но дело было, очевидно, в том, что военная верхушка сумела укротить аппетиты промышленников, чем завоевала популярность у рабочих и привела в подчинение рабочих, чем завоевала популярность у промышленников. Впрочем, это были только догадки. Гаю, например, такая постановка вопроса вообще казалась диковинной: такое понятие, как «класс», для него не существовало, и противоречий между социальными группами он представить себе не мог...

Внешнее положение страны продолжало оставаться крайне напряжённым. К северу от неё располагались два больших государства — Хонти и Пандея, — бывшие не то провинции, не то колонии. Об этих странах никто ничего не знал, но было известно, что обе страны питают самые агрессивные намерения, непрерывно засылают диверсантов и шпионов, организуют инциденты на границах и готовят войну. Цель этой войны была Гаю неясна, да он никогда и не задавался таким вопросом. На севере были враги, с агентурой он дрался насмерть, и это ему было вполне достаточно.

К югу, за приграничными лесами, лежала пустыня, выжженная ядерными взрывами, образовавшаяся на месте целой группы стран, принимавших в военных действиях наиболее активное участие. О том, что происходит на этих миллионах квадратных километров, тоже не было известно ничего, да это никого и не интересовало. Южные границы подвергались непрерывным атакам колоссальных орд полудикарей-выродков, которыми кишели леса за рекой Голубая Змея. Проблема южных границ считалась чуть ли не важнейшей. Там было очень трудно, и именно там концентрировались отборные части Боевого Легиона. Гай прослужил в этих частях три года и рассказывал невероятные вещи.

Южнее пустыни, на другом конце единственного материка планеты, тоже могли сохраниться какие-то государства, но они не давали

о себе знать. Зато постоянно и неприятно давала о себе знать так называемая Островная Империя, обосновавшаяся на трёх мощных архипелагах антарктической зоны. Мировой Океан принадлежал ей. Радиоактивные воды бороздил огромный флот подводных лодок, вызывающе окрашенных в снежно-белый цвет, оснащённых по последнему слову истребительной техники, с бандами специально выдрессированных головорезов на борту. Жуткие, как призраки, белые субмарины держали под страшным напряжением прибрежные районы, производя неспровоцированные обстрелы и высаживая пиратские десанты. Этой белой угрозе также противостоял Легион.

Картина всемирного хаоса и разрушения потрясла Максима. Перед ним была планета-могильник, планета, на которой еле-еле теплилась разумная жизнь, и эта жизнь готова была окончательно погасить себя в любой момент.

Максим слушал Раду, её спокойные и страшные рассказы о том, как мать получила известие о гибели отца (отец, врач-эпидемиолог, отказался покинуть заражённый район, а у государства в те годы не было ни времени, ни возможностей бороться с эпидемией регулярными средствами, и на район была просто сброшена бомба); о том, как после смерти матери она, Рада, чтобы прокормить маленького Гая и совершенно беспомощного дядюшку Каана, по восемнадцать часов в сутки работала судомойкой на пересылочном пункте, потом уборщицей в роскошном притоне для спекулянтов, потом выступала в «женских бегах с тотализатором», потом сидела в тюрьме, правда недолго, но осталась без работы и несколько месяцев просила милостыню...

Максим слушал дядюшку Каана, когда-то крупного учёного, как в первый же год войны упразднили Академию наук, составили Его Императорского Величества Академии батальон; как во время голода сошёл с ума и повесился создатель эволюционной теории; как варили похлёбку из кузнечиков и сорной травы; как голодная толпа разгромила зоологический музей и захватила в пищу заспиртованные препараты...

Максим слушал Гая, его бесхитростные рассказы о строительстве башен противобаллистической защиты, как по ночам людоеды подкрадываются к строительным площадкам и похищают воспитуемых и сторожевых легионеров; как в темноте неслышными призраками нападают беспощадные упыри, полулюди, полузвери, полусобаки; слушал его восторженную хвалу системе ПБЗ, которая создавалась ценой невероятных лишений в последние годы войны, которая, по сути, и прекратила военные действия, защитив страну с воздуха,

которая и теперь является единственной гарантией безопасности от агрессии с севера... А эти мерзавцы устраивают нападения на отражательные башни, — продажные шкуры, убийцы женщин и детей, купленные на грязные деньги Хонти и Пандеи, выродки, мразь хуже всякого Крысолова... Нервное лицо Гая искажалось ненавистью. «Здесь самое главное, — говорил он, постукивая кулаком по столу, — и поэтому я пошёл в Легион, не на завод, не в поле, не в контору — в Боевой Легион, который сейчас спасает всё...»

Максим слушал жадно, как страшную, невозможную сказку, тем более страшную и невозможную, что всё это было на самом деле, что многое и многое из этого продолжало быть, а самое страшное и самое невозможное из этого могло повториться в любую минуту. Смешно и стыдно стало ему думать о собственных неурядицах, игрушечными сделались его собственные проблемы — какой-то там контакт, нуль-передатчик, ломанье рук...

Грузовики круто свернули в неширокую улицу с многоэтажными кирпичными домами, и Панди сказал: «Приехали». Прохожие на тротуаре шарахнулись к стенам, закрываясь от света фар. Грузовик остановился, над кабиной выдвинулась длинная телескопическая антенна.

— Выходи! — в один голос гаркнули командиры второй и третьей секции, и легионеры посыпались через борта.

— Первой секции остаться на месте! — скомандовал Гай.

Вскочившие было Панди и Максим снова сели.

— На тройки разберись! — орали капралы на тротуаре. — Вторая секция, вперёд! Третья секция, за мной! Вперёд, марш!

Прогрохотали подкованные сапоги, кто-то восторженно взвизгнул:

— Господа! Боевой Легион!

— Да здравствует Боевой Легион!

— Ура! — закричали бледные люди, прижимавшиеся к стенам, чтобы не мешать. Эти прохожие словно ждали здесь легионеров и теперь, дождавшись, радовались им, как лучшим друзьям.

Сидевший справа от Максима кандидат Зойза, совсем ещё мальчишка, длинный как жердь, с белёсым пухом на щеках, ткнул Максима острым локтем в бок и радостно подмигнул. Максим улыбнулся в ответ. Секции уже исчезли в подъездах; у дверей стояли только капралы, стояли твёрдо, надёжно, с неподвижными лицами под беретами набекрень. Хлопнула дверь кабины, и голос ротмистра Чачу прокаркал:

— Первая секция, выходи, стройся!

Максим прыжком перемахнул через борт. Когда секция построилась, ротмистр движением руки остановил Гая, подбежавшего с рапортом, подошёл к строю вплотную и скомандовал:

— Надеть каски!

Действительные рядовые словно ждали этой команды, а кандидаты несколько замешкались. Ротмистр, нетерпеливо постукивая каблуком, дождался, пока Зойза справится с подбородочным ремнём, и скомандовал «направо» и «бегом вперёд». Он сам побежал впереди, неуклюже-ловкий, сильно отмахивая покалеченной рукой, ведя секцию под тёмную арку во двор, узкий и мрачный, как колодец, свернул под другую арку, такую же мрачную и вонючую, и остановился перед облупленной дверью под тусклой лампочкой.

— Внимание! — каркнул он. — Первая тройка и кандидат Сим пойдут со мной. Остальные останутся здесь. Капрал Гаал, по свистку тройку ко мне наверх, на четвёртый этаж. Никого не выпускать, брать живыми, стрелять только в крайнем случае. Первая тройка и кандидат Сим, за мной!

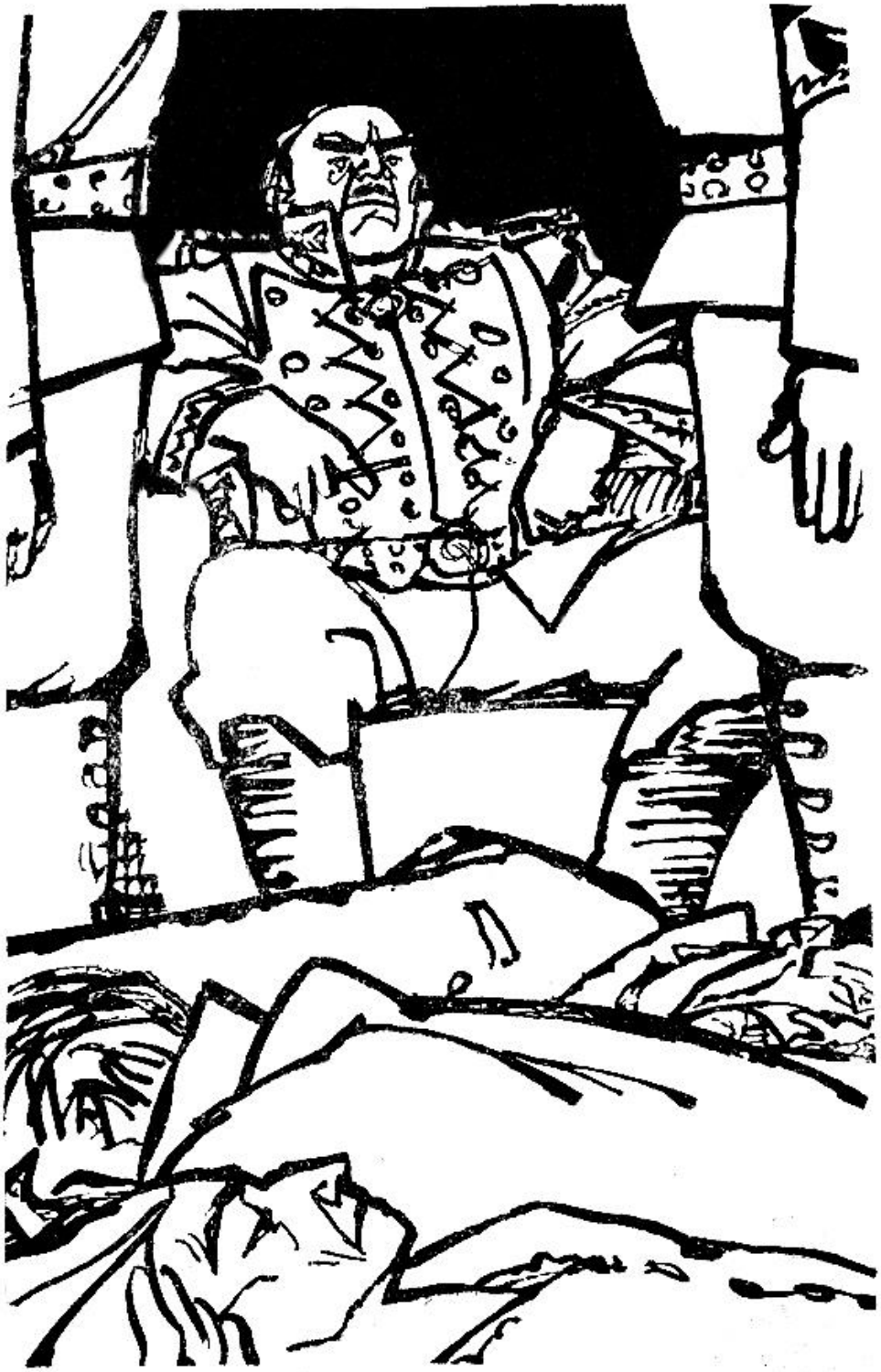
Он толкнул облупленную дверь и исчез. Максим, обогнав Панди, кинулся следом. За дверью оказалась крутая каменная лестница с железными перилами, узкая, озарённая тусклым светом. Ротмистр резво, через три ступеньки, бежал вверх. Максим нагнал его и увидел в его руке пистолет. Тогда Максим на бегу снял с шеи автомат; на секунду он ощутил тошноту при мысли, что сейчас, может быть, придётся стрелять в людей, но отогнал эту мысль — это были не люди, это были животные, хуже усатого Крысолова, хуже пятнистых обезьян. Гнусная слякоть под ногами, мутный свет, захарканные стены подтверждали и поддерживали это ощущение.

Второй этаж. Кухонные ароматы, в щели приоткрытой двери испуганное старушечье лицо. С мявом шарахается из-под ног ополоумевшая кошка. Третий этаж. Какой-то болван оставил посередине площадки ведро с помоями. Ротмистр сшибает ведро, помои летят в пролёт. «Массаракш!..» — рычит снизу Панди. Парень и девушка, обнявшись, прижались в тёмном углу, лица у них испуганно-радостные. «Прочь, вниз!» — каркает на бегу ротмистр. Четвёртый этаж. Безобразная коричневая дверь с облезшей масляной краской, исцарапанная жестяная дощечка с надписью «Гобби, зубной врач. Приём в любое время». За дверью кто-то протяжно кричит. Ротмистр останавливается и хрипит: «Замок!» По его чёрному лицу катится пот. Максим не понимает. Набежавший Панди отталкивает его, приставляет дуло автомата к двери под ручкой и даёт очередь. Сыплются искры, летят куски дерева, и сейчас же, словно в ответ, за дверью глухо, сквозь

протяжный крик, хлопают выстрелы, снова с треском летят щепки, что-то горячее, плотное с гнусным визгом проносится у Максима над головой. Ротмистр распахивает дверь — там темно, жёлтые вспышки выстрелов озаряют клубы дыма. «За мной!» — хрипит ротмистр и ныряет головой вперёд навстречу вспышкам. Максим и Панди рвутся вслед за ним; дверь узкая, придавленный Панди коротко вякает. Коридор, духота, пороховой дым. Угроза слева. Максим выбрасывает руку, ловит горячий ствол, рвёт оружие от себя и вверх. Тихо, но ужасающе отчётливо хрустят чьи-то вывернутые суставы, большое мягкое тело застывает в безвольном падении. Впереди, в дыму, ротмистр каркает: «Не стрелять! Брать живьём!» Максим бросает автомат и врывается в большую освещённую комнату. Здесь очень много книг и картин, и стрелять здесь не в кого. На полу корчатся двое мужчин. Один из них всё время кричит, уже охрип, но всё кричит. В кресле, откинув голову, лежит в обмороке женщина — белая до прозрачности. Комната полна болью. Ротмистр стоит над кричащим человеком и озирается, засовывая пистолет в кобуру. Сильно толкнув Максима, в комнату вваливается Панди, за ним легионеры волокут грузное тело того, кто стрелял. Кандидат Зойза, мокрый и взволнованный, без улыбки протягивает Максиму брошенный автомат. Ротмистр поворачивает к ним своё страшное чёрное лицо. «А где ещё один?» — каркает он, и в тот же момент падает синяя портьера, с подоконника тяжело соскакивает длинный худой человек в белом запятнанном халате. Он как слепой идёт на ротмистра, медленно поднимая два огромных пистолета на уровень стеклянных от боли глаз. «Ай!» — кричит Зойза...

Максим стоял боком, и у него не оставалось времени повернуться. Он прыгнул изо всех сил, но человек всё-таки успел один раз нажать на спусковые крючки. Максиму опалило лицо, пороховая гарь забила рот, а пальцы его уже сомкнулись на запястьях белого халата, и пистолеты со стуком упали на пол. Человек опустился на колени, уронил голову и, когда Максим отпустил его, мягко повалился ничком.

— Ну-ну-ну, — сказал ротмистр с непонятной интонацией. — Кладите этого сюда же, — приказал он Панди. — А ты, — сказал он бледному и мокрому Зойзе, — беги вниз и сообщи командирам секций, где я нахожусь. Пусть доложат, как у них дела. (Зойза щёлкнул каблуками и метнулся к двери.) Да! Передай Гаалу, пусть поднимается сюда... Перестань орать, мразь! — прикрикнул он на стонавшего человека и легонько стукнул его носком сапога в бок. — Э, бесполезно. Хлипкая дрянь, мусор... Обыскать! — приказал он Панди. — И положите их



всех в ряд. Тут же, на полу. И эту тоже, а то расселась в единственном кресле...

Максим подошёл к женщине, осторожно поднял её и перенёс на кровать. У него было смутно на душе. Не этого он ожидал. Теперь он и сам не знал, чего ожидал — жёлтых, оскаленных от ненависти клыков, злобного воя, свирепой схватки не на жизнь, а на смерть?.. Ему не с чем было сравнить свои ощущения, но он почему-то вспомнил, как однажды подстрелил тахорга и как это огромное, грозное на вид и беспощадное, по слухам, животное, провалившись с перебитым позвоночником в огромную яму, тихо, жалобно плакало и что-то бормотало в смертной тоске, почти членораздельно...

— Кандидат Сим! — гаркнул ротмистр. — Я приказал — на пол!

Он смотрел на Максима своими жуткими прозрачными глазами, губы у него словно свело судорогой, и Максим понял: не ему судить здесь и определять, что верно и что неверно. Он ещё чужак, он ещё не знает их ненависти и их любви... Он поднял женщину и положил её рядом с грузным человеком, который стрелял в коридоре. Панди и второй легионер, пыхтя, старательно выворачивали карманы арестованных. А арестованные были без памяти. Все пятеро.

Ротмистр уселся в кресло, бросил на стол фуражку, закурил и пальцем поманил к себе Максима. Максим подошёл, браво щёлкнув каблуками.

— Почему бросил автомат? — негромко спросил ротмистр.

— Вы приказали не стрелять.

— Господин ротмистр.

— Так точно. Вы приказали не стрелять, господин ротмистр.

Ротмистр, прищурившись, пускал дым в потолок.

— Значит, если бы я приказал не разговаривать, ты бы откусил себе язык?

Максим промолчал. Разговор ему не нравился, но он хорошо помнил наставления Гая.

— Кто отец? — спросил ротмистр.

— Учёный, господин ротмистр.

— Жив?

— Так точно, господин ротмистр.

Ротмистр вынул изо рта сигарету и посмотрел на Максима.

— Где он?

Максим понял, что сболтнул. Надо было выкручиваться.

— Не знаю, господин ротмистр. Точнее, не помню.

— Однако то, что он учёный, ты помнишь... А что ты ещё помнишь?

— Не знаю, господин ротмистр. Помню многое, но капрал Гаал полагает, что это ложная память.

В коридоре послышались торопливые шаги, в комнату вошёл Гай и вытянулся перед ротмистром.

— Займись этими полутрупами, капрал, — сказал ротмистр. — Наручников хватит?

Гай поглядел через плечо на арестованных.

— С вашего разрешения, господин ротмистр, одну пару придётся взять во второй секции.

— Действуй.

Гай выбежал, а в коридоре уже опять топали сапоги, появились командиры секций и доложили, что операция проходит успешно, двое подозрительных уже взяты, жильцы, как всегда, оказывают активную помощь. Ротмистр приказал скорее заканчивать, а по окончании передать в штаб парольное слово «Тамба». Когда командиры секций вышли, он закурил новую сигарету и некоторое время молчал, глядя, как легионеры снимают со стеллажей книги, перелистывают их и бросают на кровать.

— Панди, — сказал он негромко, — займись картинами. Только вот с этой осторожнее, не попорти, я возьму её себе... — Затем он снова повернулся к Максиму. — Как ты её находишь? — спросил он.

Максим посмотрел. На картине был морской берег, высокая водная даль без горизонта, сумерки и женщина, выходящая из моря. Ветер. Свежо. Женщине холодно.

— Хорошая картина, господин ротмистр, — сказал Максим.

— Узнаёшь места?

— Никак нет. Этого моря я никогда не видел.

— А какое видел?

— Совсем другое, господин ротмистр. Но это ложная память.

— Вздор. Это же самое. Только ты смотрел не с берега, а с мостика, и под тобой была белая палуба, а позади, на корме, был ещё один мостик, только пониже. А на берегу была не эта баба, а танк, и ты наводил под башню... Знаешь ты, щенок, что это такое, когда болванка попадает под башню? Массаракш... — прошипел он и раздавил окурок об стол.

— Не понимаю, — сказал Максим холодно. — Никогда в жизни ничего никуда не наводил.

— Как же ты можешь знать? Ты же ничего не помнишь, кандидат Сим!

— Я помню, что не наводил.

— Господин ротмистр!

— Помню, что не наводил, господин ротмистр. И я не понимаю, о чём вы говорите.

Вошёл Гай в сопровождении двух кандидатов. Они принялись надевать на задержанных тяжёлые наручники.

— Тоже ведь люди, — вдруг сказал ротмистр. — У них жёны, у них дети. Они кого-то любили, их кто-то любил...

Он говорил, явно издеваясь, но Максим сказал то, что думал:

— Да, господин ротмистр. Они, оказывается, тоже люди.

— Не ожидал?

— Да, — господин ротмистр. Я ожидал чего-то другого. — Краем глаза он видел, что Гай испуганно смотрит на него. Но ему уже до тошноты надоело врать, и он добавил: — Я думал, что это действительно выродки. Вроде голых пятнистых... животных.

— Голый пятнистый дурак, — веско сказал ротмистр. — Деревня. Ты не в лесу... Здесь они как люди. Добрые милые люди, у которых при сильном волнении отчаянно болит головка. «А у тебя не болит головка при волнении?» — спросил он неожиданно.

— У меня никогда ничего не болит, господин ротмистр, — ответил Максим. — А у вас?

— Что-о?

— У вас такой раздражённый тон, — сказал Максим, — что я подумал...

— Господин ротмистр! — каким-то дребезжащим голосом крикнул Гай. — Разрешите доложить... Арестованные пришли в себя.

Ротмистр поглядел на него и усмехнулся.

— Не волнуйся, капрал. Твой дружок показал себя сегодня настоящим легионером. Если бы не он, ротмистр Чачу валялся бы сейчас с пулей в башке... — Он закурил третью сигарету, поднял глаза к потолку и выпустил толстую струю дыма. — У тебя верный нюх, капрал. Я бы хоть сейчас произвёл этого молодчика в действительные рядовые... Массаракш, я бы произвёл его в офицеры! У него бригадирские замашки, он обожает задавать вопросы офицерам... Но я теперь очень хорошо тебя понимаю, капрал. Твой рапорт имел все основания. Так что... погодим пока производить его... — Ротмистр поднялся, тяжело ступая, обошёл стол и остановился перед Максимом. — Не будем даже производить его пока в действительные рядовые. Он хороший боец, но он ещё молокосос... Мы займёмся его воспитанием... Внимание! — заорал он вдруг. — Капрал Гаал, вывести арестованных! Рядовой Панди и кандидат Сим, забрать мою картину и всё, что здесь есть бумажного! Отнести ко мне в машину!

Он повернулся и вышел из комнаты. Гай укоризненно посмотрел на Максима, но ничего не сказал. Легионеры поднимали задержанных, пинками и тычками ставили их на ноги и вели к двери. Задержанные не сопротивлялись. Они были как ватные, они шатались, у них подгибались ноги. Грузный человек, стрелявший в коридоре, громко постанывал и ругался шёпотом. Женщина беззвучно шевелила губами. У неё странно светились глаза.

— Эй, Мак, — сказал Панди, — возьми вон одеяло с кровати, заверни в него книжки, а если не хватит, возьми ещё и простыню. Как сложишь, тащи всё вниз, а я картину понесу... Да не забудь автомат, дурья голова! Ты думаешь, чего на тебя господин ротмистр взъелся? Автомат ты бросил. Разве можно оружие бросать? Да ещё в бою... Эх, ты!..

— Прекрати разговоры, Панди, — сердито сказал Гай, — бери картину и иди.

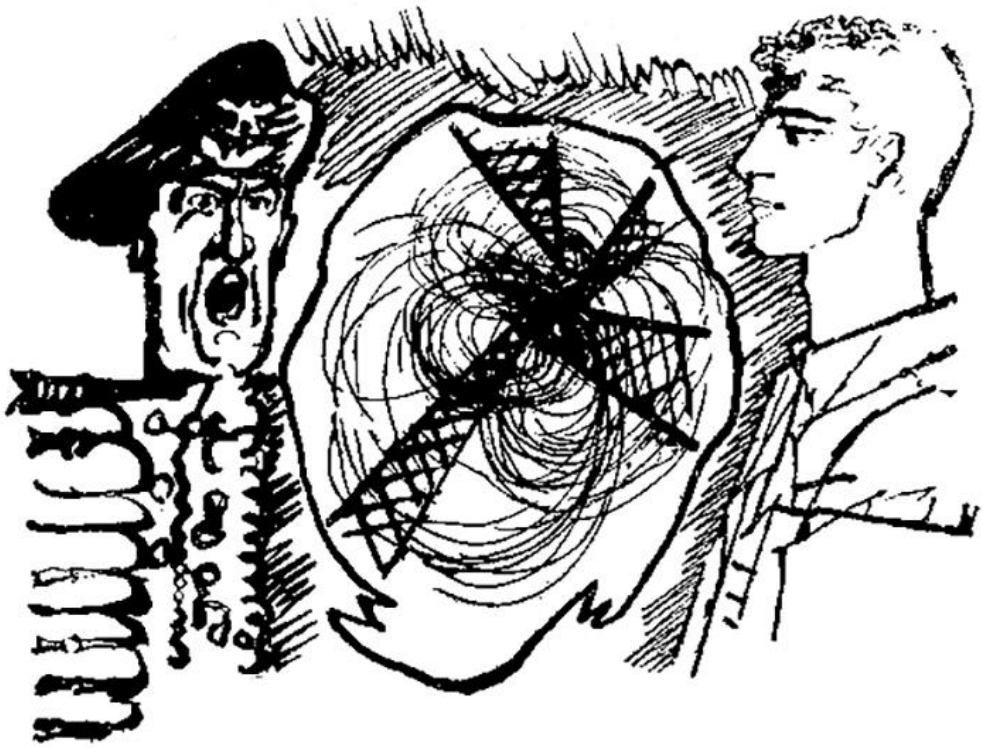
В дверях он обернулся к Максиму, постучал себя пальцем по лбу и скрылся. Было слышно, как Панди, спускаясь по ступенькам, во всё горло распевает «Уймись, мамаша». Максим вздохнул, положил автомат на стол и подошёл к груде книг, сваленных на кровать и на пол. Его вдруг осенило, что он здесь нигде ещё не видел такого количества книг, разве что в библиотеке. В книжных лавках книг было, конечно, тоже больше, но только по количеству, а не по названиям.

Книги были старые, с пожелтевшими страницами. Некоторые немного обгорели, а некоторые, к удивлению Максима, оказались ощутимо радиоактивными. Не было времени как следует рассмотреть их.

Максим упаковал два узла и несколько секунд постоял, оглядывая комнату. Пустые, перекошенные стеллажи, тёмные пятна там, где были картины, сами картины, выдранные из рам, затоптанные... и никаких следов зубоврачебной техники. Он взял узлы и направился к двери, но потом вспомнил и вернулся за автоматом. На столе под стеклом лежали две фотографии. На одной — та самая прозрачная женщина, и на коленях у неё мальчик лет четырех с изумлённо раскрытым ртом, а женщина — молодая, удовлетворённая, гордая... На второй фотографии — красивая местность в горах, тёмные купы деревьев, старинная полуразрушенная башня... Максим закинул автомат за спину и вернулся к узлам.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

По утрам после завтрака бригада выстраивалась на плацу для зачтения приказов и развода на занятия. Это была самая тяжкая для



Максима процедура, если не считать вечерних поверок. Зачтение любых приказов завершалось каждый раз настоящим пароксизмом восторга. Максим заставлял себя подавлять невольное отвращение к этому внезапному безумию, которое охватывало всю бригаду от командира до последнего кандидата; он ругал себя за скептицизм инородца и чужака; старался вдохновиться сам, твердил мысленно, что должен понять и проникнуться. Но ему было очень трудно.

С детства воспитанный в правилах сдержанно-иронического отношения к себе, в неприязни к громким словам, он почти злился на товарищей по строю, на ребят, добрых, простодушных, отличных, в общем, ребят, когда они вдруг, после зачтения приказа о наказании тремя сутками карцера кандидата имярек за пререкания с действительным рядовым таким-то, разевали рты, теряли присущее им добродушие и чувство юмора и принимались восторженно реветь «ура», а потом запевали со слезами на глазах «Марш Боевого Легиона» и повторяли его дважды, трижды, а иногда и четырежды. При этом из бригадной кухни высыпали даже повара и с энтузиазмом подхватывали, неистово размахивая черпаками и ножами, благо были вне строя. Памятуя, что в этом мире надо быть, как все, Максим тоже пел

и тоже старался утратить чувство юмора, и это ему удавалось, но было противно, потому что сам он никакого подъёма не испытывал, а испытывал одну лишь неловкость.

На этот раз взрыв энтузиазма последовал после приказа номер 127 о производстве действительного рядового Димбы в капралы, приказа номер 128 о вынесении благодарности кандидату в действительные рядовые Симу за проявленную в операции отвагу и приказа номер 129 о переводе казармы четвёртой роты на ремонт. Едва бригадный адъютант засунул листки приказов в кожаный планшет, как бригадир, сорвав с себя фуражку, набрал полную грудь воздуха и скрипучим фальцетом закричал: «Вперёд!.. Легионеры!.. Железные!..» И пошло, и пошло... Сегодня было особенно неловко, потому что Максим увидел, как по тёмным щекам ротмистра Чачу покатились слёзы. Легионеры ревели быками, отбивая такт прикладами на массивных ремённых пряжках. Чтобы не видеть этого и не слышать, Максим поплотнее зажмурился и взревел распалённым тахоргом, и голос его покрыл все голоса — во всяком случае, так ему казалось «Вперёд, бесстрашные!..» — ревел он, уже никого больше не слыша, кроме себя. До чего же идиотские слова... Наверное, какой-нибудь капрал сочинил. Нужно очень любить своё дело, чтобы ходить в бой с такими словами. Он открыл глаза и увидел стаю чёрных птиц, всполошённо и беззвучно мечущихся над плацем... «Алмазный панцирь не спасёт тебя, о враг...»

Потом всё кончилось так же внезапно, как и началось. Бригадир обвёл строй посоловевшими глазами, вспомнил, где он находится, и рыдающим, сорванным голосом скомандовал: «Господам офицерам развести роты на занятия!» Ребята, поматывая головами, оторопело косились друг на друга. Кажется, они ничего не соображали, и ротмистру Чачу пришлось дважды крикнуть «равняйсь!», прежде чем ряды приняли должный вид. Затем роту отвели к казарме, и ротмистр распорядился: «Первая секция назначается в конвой. Остальным секциям приступить к занятиям по распорядку. Р-разой-дись!»

Разошлись. Гай построил свою секцию и распределил посты. Максиму с действительным рядовым Панди достался пост в допросной камере. Гай наскоро объяснил ему обязанности: стоять смирно справа и позади арестованного, при малейшей попытке арестованного подняться со скамьи — препятствовать силой, подчиняться непосредственно командиру бригады, старший — рядовой Панди... Короче говоря, смотри на Панди.

— Я бы тебя ни за что не поставил на этот пост, не положено кандидату, но господин ротмистр приказал... Ты держи ухо востро, Мак. Что-то я господина ротмистра не пойму. То ли он тебя хочет

продвинуть поскорее — очень ты ему понравился в деле; вчера на разборе операции с командирами секций он много о тебе говорил, да и в приказ послал... То ли он тебя проверяет. Почему так — не знаю. Может быть, я виноват со своим рапортом, а может быть, ты сам со своими разговорчиками... — Он озабоченно оглядел Максима. — Почисти-ка ещё раз сапоги, подтяни ремень и надень парадные перчатки... Да, у тебя же нет, кандидатам не положено... Ладно, беги на склад, да живее, через тридцать минут выходим.

На складе Максим застал Панди, который менял треснувшую кокарду.

— Во, капрал! — сказал Панди, обращаясь к начальнику склада и хлопая Максима по плечу. — Видал? Девятый день парень в Легионе — и уже благодарность. В камеру его со мной поставили... Небось за белыми перчатками прибежал? Выдай ему хорошие перчатки, капрал, он заслужил. Парень — герой!

Капрал недовольно заворчал, полез в стеллажи, заваленные вещевым довольствием, бросил на прилавок перед Максимом несколько пар белых нитяных перчаток и сказал пренебрежительно:

— Герой!.. Это вы здесь с очумелыми герои. Конечно, когда у него от боли всё нутро потрескалось, подходи да клади его в мешок. Тут бы и мой дед героем был. Без рук, без ног...

Панди обиделся.

— Твой дед без памяти удрал бы, — сказал он, — если бы на него вот так с двумя пистолетами наскочили... Я было подумал, конец господину ротмистру...

— «Конец, конец» ... — брюзжал капрал. — Вот загремите через полгода на южную границу, тогда посмотрим, кто без памяти удирать будет...

Когда они вышли из склада, Максим спросил со всевозможной почтительностью (старина Панди любил почтительность):

— Господин Панди, почему у этих выродков такие боли? И у всех сразу. Как это так?

— От страху, — ответил Панди, для важности понизив голос. — Выродки, понимаешь? Читать тебе надо больше, Мак. Есть такая брошюра «Выродки, кто они и откуда». Прочти, а то как был ты дураком, так и останешься. На одной храбрости далеко не уедешь... — Он помолчал. — Вот мы волнуемся, например, злимся, скажем, или испугались — у нас ничего, только вспотеем разве или, скажем, поджилки затрясутся. А у них организм ненормальный, вырожденный. Злится он на кого-нибудь, или, например, струсил, или вообще — у него сразу сильные боли в голове и по всему телу. До беспамятства. Понял? По

такой особенности мы их узнаём и, конечно, задерживаем... берём... А хороши перчаточки, как раз на меня. Как ты полагаешь?

— Тесноваты они мне, господин Панди, — пожаловался Максим. — Давайте поменяемся: вы эти возьмите, а мне свои дайте, разношенные.

Панди был очень доволен. И Максим был очень доволен. И вдруг он вспомнил Фанка, как тот корчился в машине, катался от боли... и как его забрали патрульные легионеры. Только чего Фанк мог испугаться? И на кого он мог так злиться? Ведь он не волновался, спокойно вёл автомобиль, посвистывал, очень ему чего-то хотелось... вероятно, курить. Впрочем, он обернулся, увидел патрульную машину... Или это было после?.. Да, он очень торопился, а фургон загораживал дорогу... Может быть, он разозлился?.. «Да нет, чего я выдумываю? Мало ли какие приступы бывают у людей... А задержали его за аварию. Интересно, однако, куда он меня вёз, и кто он такой? Фанка надо бы найти...»

Он начистил сапоги, привёл себя в совершенный порядок перед большим зеркалом, навесил на шею автомат, снова погляделся в зеркало, и тут Гай приказал строиться.

Придирчиво всех оглядев и проверив знание обязанностей, Гай побежал в ротную канцелярию доложить. Пока его не было, легионеры сыграли в «мыло», было рассказано три истории из солдатской жизни, которые Максим не понял из-за незнания некоторых специфических выражений; потом к Максиму пристали, чтобы он рассказал, откуда он такой здоровенный — это стало уже привычной шуткой в секции, — и упросили его скатать в трубочку пару монеток на память. Затем из канцелярии вышел ротмистр Чачу в сопровождении Гая. Он тоже придирчиво всех осмотрел, отошёл, сказавши Гаю: «Веди секцию, капрал», и секция направилась к штабу.

В штабе ротмистр приказал действительному рядовому Панди и кандидату Симу следовать за собой, а Гай увёл остальных. Они вошли в небольшую комнату с плотно занавешенными окнами, пропахшую дымом курительных палочек. В далёком конце стоял огромный пустой стол, вокруг стола были расставлены трёхногие стулья, а на стене висела потемневшая картина, изображающая старинное сражение: лошади, щетинистые панцири из дранки, обнажённые пилообразные мечи и целый лес копий, похожих на вилы. В десяти шагах от стола и правее двери Максим увидел железное дырчатое сиденье. Единственная ножка под сиденьем была привинчена к полу здоровенными болтами.

— Встать по местам! — скомандовал ротмистр, прошёл вперёд и сел у стола.

Панди заботливо установил Максима справа и позади железного сиденья, сам встал слева и шёпотом приказал «смирно». И они с Максимом застыли. Ротмистр сидел, положив ногу на ногу, покуривал и безразлично разглядывал легионеров. Он был очень безразличен и равнодушен, однако Максим явственно чувствовал, что ротмистр самым внимательным образом наблюдает за ним, и только за ним.

Потом за спиной Панди распахнулась дверь. Панди мгновенно сделал два шага вперёд, шаг вправо и поворот налево. Максим тоже дёрнулся было, но сообразил, что он на дороге не стоит и к нему это не относится, а потому просто выкатил глаза подальше. Всё-таки было в этой взрослой игре что-то заразительное, несмотря на примитивность её и очевидную неуместность при бедственном положении обитаемого острова.

— Смирно! — гаркнул Панди.

Ротмистр поднялся, гася сигарету в пепельнице, и лёгким щёлканьем каблуков поприветствовал идущих к столу бригадира, какого-то незнакомого человека в штатском и бригадного адъютанта с толстой папкой под мышкой. Бригадир уселся за стол посередине, лицо у него было кислое, недовольное; он засунул палец под шитый воротник, оттянул и покрутил головой. Штатский, невзрачный маленький человечек, плохо выбритый, с вялым желтоватым лицом, неслышно двигаясь, устроился рядом. Бригадный адъютант, не садясь, раскрыл папку и принялся перебирать бумаги, передавая некоторые бригадиру.

Панди, постояв немного как бы в нерешительности, теми же чёткими передвижениями вернулся на место. За столом негромко разговаривали. «Ты будешь сегодня в собрании, Чачу?» — спрашивал бригадир. «У меня дела», — ответствовал ротмистр, закуривая новую сигарету. «Напрасно. Сегодня там диспут». — «Поздно спохватились. Я уже высказался по этому поводу». — «Не лучшим образом, — мягко заметил ротмистру штатский. — Кроме того, меняются обстоятельства — меняются мнения». — «У нас в Легионе это не так», — сухо сказал ротмистр. «Право же, господа, — капризным голосом произнёс бригадир. — Давайте всё-таки встретимся сегодня в собрании...» — «Я слышал, свежие озёрные грибы привезли», — не переставая рыться в бумагах, сообщил адъютант. «В собственном соку, а? Ротмистр!» — поддержал его штатский. «Нет, господа, — сказал ротмистр. — У меня одно мнение, и я уже высказал его. А что касается озёрных грибов...» Он добавил ещё что-то непонятное, вся компания расхохоталась, а ротмистр Чачу с довольным видом откинулся на спинку стула. Потом

адъютант перестал рыться в бумагах, нагнулся к бригадиру и что-то шепнул ему. Бригадир покивал. Адъютант сел и произнёс, обращаясь как бы к железному сиденью:

— Ноле Ренаду.

Панди толкнул дверь, высунулся и громко повторил в коридор:

— Ноле Ренаду!

В коридоре послышалось движение, и в комнату вошёл пожилой, хорошо одетый, но какой-то измятый и встрёпанный мужчина. Ноги у него слегка заплетались. Панди взял его за локоть и усадил на сиденье. Щёлкнула, закрываясь, дверь. Мужчина громко откашлялся, упёрся руками в колени и гордо поднял голову.

— Та-ак... — протянул бригадир, разглядывая бумаги, и вдруг зачастил скороговоркой: — Ноле Ренаду, пятьдесят шесть лет, домовладелец, член магистратуры... Та-ак... Член клуба «Ветеран» ... (Штатский зевнул, прикрывая рот рукой, вытянул из кармана пёстрый журнал, положил себе на колени и принялся перелистывать.) Задержан тогда-то там-то... при обыске изъято... та-ак... Что вы делали в доме номер восемь по улице Трубачей?

— Я владелец этого дома, — с достоинством сказал Ренаду. — Я совещался со своим управляющим.

— Документы проверены? — обратился бригадир к адъютанту.

— Так точно. Всё в порядке.

— Та-ак, — сказал бригадир. — Скажите, господин Ренаду, вам знаком кто-нибудь из арестованных?

— Нет, — сказал Ренаду. Он энергично потряс головой. — Каким образом?.. Впрочем, фамилия одного из них... Кетшеф... По-моему, у меня в доме живёт некий Кетшеф... А впрочем, не помню. Может быть, я ошибаюсь, а может быть, не в этом моём доме. У меня есть ещё два дома, один из них...

— Виноват, — перебил штатский, не поднимая глаз от журнала. — А о чём разговаривали в камере остальные арестованные, вы не обратили внимания?

— Э-э-э... — протянул Ренаду. — Должен признаться... У вас там... э-э-э... насекомые... Так вот мы главным образом о них... Кто-то шептался в углу, но мне было, признаться, не до того... Я предпочёл иметь дело с насекомыми, хе-хе!..

— Естественно, — согласился бригадир. — Ну что же, мы не извиняемся, господин Ренаду. Вот ваши документы, вы свободны... Начальник конвоя! — сказал он, повысив голос.

Панди распахнул дверь и крикнул:

— Начальник конвоя, к бригадиру!

— Ни о каких извинениях не может быть и речи, — важно произнёс Ренаду. — Виноват только я, я один... И даже не я, а проклятая наследственность... Вы разрешите? — обратился он к Максиму, указывая на стол, где лежали документы.

— Сидеть, — негромко сказал Панди.

Вошёл Гай. Бригадир передал ему документы, приказал вернуть господину Ренаду изъятое имущество, и господин Ренаду был отпущен.

— Раше Мусаи, — сказал адъютант железному сиденью.

— Раше Мусаи, — повторил Панди в открытую дверь.

Раше Мусаи оказался худым, совершенно замученным человеком в потрёпанном домашнем халате и в одной туфле. Едва он сел, как бригадир, налившись кровью, заорал: «Скрываешься, мерзавец?» — на что Раше Мусаи принялся многословно и путано объяснять, что он совсем не скрывается, что у него больная жена и трое детей, что у него за квартиру не плачено, что его уже два раза задерживали и отпускали, что работает он на фабрике, мебельщик, что ни в чём не виноват. И Максим уже ожидал, что его выпустят, но бригадир вдруг встал и объявил, что Раше Мусаи, сорока двух лет, женатый, имеющий два задержания, приговаривается, согласно закону о профилактике, к семи годам. Примерно минуту Раше Мусаи осмысливал этот приговор, а затем разыгралась ужасная сцена. Несчастный мебельщик плакал, несвязно умолял о прощении, пытался падать на колени и продолжал кричать и плакать, пока Панди выволакивал его в коридор. И Максим снова поймал на себе взгляд ротмистра Чачу.

— Киви Попшу, — сказал адъютант.

В дверь втолкнули плечистого парня, с лицом, изуродованным какой-то кожной болезнью. Парень оказался квартирным вором-рецидивистом, был захвачен на месте преступления и держался нагло-заискивающе. Он то принимался молить господ начальников не предавать его лютой смерти, то вдруг истерически хихикал, отпускал остроты и затевал рассказывать истории из своей жизни, которые все начинались одинаково: «Захожу я в один дом...» Он никому не давал говорить. Бригадир после нескольких безуспешных попыток задать вопрос откинулся на спинку стула и возмущённо поглядел направо и налево от себя. Ротмистр Чачу сказал ровным голосом:

— Кандидат Сим, заткни ему пасть.

Максим не знал, как затыкают пасть, поэтому он просто взял Киви Попшу за плечо и встряхнул. У Киви Попшу лязгнули челюсти, он прикусил язык и замолчал. Тогда штатский, давно уже с интересом наблюдавший арестованного, произнёс:

— Этого я возьму. Пригодится.

— Прекрасно! — сказал бригадир и приказал отправить Киви Попшу обратно в камеру.

Когда парня вывели, адъютант сказал:

— Вот и весь мусор. Теперь пойдёт группа.

— Начинайте прямо с руководителя, — посоветовал штатский. — Как там его — Кетшеф?

Адъютант заглянул в бумаги и сказал железному сиденью:

— Гэл Кетшеф.

Ввели знакомого — человека в белом халате. Он был в наручниках и поэтому держал руки перед собой, неестественно вытянув их. Глаза у него были красные, лицо отекло. Он сел и стал смотреть на картину поверх головы бригадира.

— Ваше имя — Гэл Кетшеф? — спросил бригадир.

— Да.

— Зубной врач?

— Был.

— В каких отношениях находитесь с зубным врачом Гобби?

— Купил у него практику.

— Почему же не практикуете?

— Продал кабинет.

— Почему?

— Стеснённые обстоятельства, — сказал Кетшеф.

— В каких отношениях находитесь с Орди Тадер?

— Она моя жена.

— Дети есть?

— Был. Сын.

— Где он?

— Не знаю.

— Чем занимались во время войны?

— Воевал.

— Почему решили заняться антигосударственной деятельностью?

— Потому что в истории мира не было более отвратительного государства, — сказал Кетшеф. — Потому что любил свою жену и своего ребёнка. Потому что вы убили моих друзей и растлили мой народ. Потому что всегда ненавидел вас. Достаточно?

— Достаточно, — спокойно сказал бригадир. — Более чем достаточно. Скажите нам лучше, сколько вам платят хонтийцы? Или вам платит Пандея?

Человек в белом халате засмеялся. Жуткий это был смех, так мог бы смеяться мертвец.

— Кончайте эту комедию, бригадир, — сказал он. — Зачем это вам?

— Вы руководитель группы?

— Да. Был.

— Кого вы можете назвать из членов организации?

— Никого.

— Вы уверены? — спросил вдруг человек в штатском.

— Да.

— Видите ли, Кетшеф, — мягко сказал человек в штатском, — вы находитесь в крайне тяжёлом положении. Мы знаем о вашей группе всё. Мы даже знаем кое-что о связях вашей группы. Вы должны понимать, что эта информация получена нами от какого-то лица, и теперь только от нас зависит, какое имя будет у этого лица — Кетшеф или какое-нибудь другое...

Кетшеф молчал, опустив голову.

— Вы! — каркнул ротмистр Чачу. — Вы, бывший боевой офицер! Вы понимаете, что вам предлагают? Не жизнь, массаракш! Честь!

Кетшеф опять засмеялся, закашлялся, но ничего не сказал. Максим чувствовал, что этот человек ничего не боится. Ни смерти, ни позора. Он уже всё пережил. Он уже считает себя мёртвым и опозоренным... Бригадир пожал плечами, поднялся и объявил, что Гэл Кетшеф, пятидесяти лет, женатый, зубной врач, приговаривается на основании закона об охране общественного здоровья к уничтожению. Срок исполнения приговора — сорок восемь часов. Приговор может быть заменён в случае согласия приговорённого дать показания.

Когда Кетшефа вывели, бригадир с неудовольствием сказал штатскому: «Не понимаю тебя. По-моему, он разговаривал довольно охотно. Типичный болтун — по вашей же классификации. Не понимаю...» Штатский засмеялся: «Вот потому-то, дружище, ты командуешь бригадой, а я... а я — у себя». — «Всё равно, — обиженно сказал бригадир. — Руководитель группы... склонен пофилософствовать... Не понимаю». — «Дружище, — сказал штатский. — Ты видел когда-нибудь философствующего покойника?» — «А, вздор...» — «А всё-таки?» — «Может быть, ты видел?» — спросил бригадир. «Да, только что, — сказал штатский веско. — И заметь, не в первый раз... Я жив, он мёртв — о чём нам говорить? Так, кажется, у Верблибена?..» Ротмистр Чачу вдруг поднялся, подошёл вплотную к Максиму и прошипел ему в лицо снизу вверх: «Как стоишь, кандидат? Куда смотришь? Смир-рна! Глаза перед собой! Не бегать глазами!» Несколько секунд он, шумно дыша, разглядывал Максима — зрачки его бешено сужались и расширялись, — потом вернулся на своё место и закурил.

— Так, — сказал адъютант. — Остались: Орди Тадер, Мемо Грамену и ещё двое, которые отказались себя назвать.

— Вот с них и начнём, — предложил штатский.

— Номер семьдесят три — тринадцать, — сказал адъютант.

Номер семьдесят три — тринадцать вошёл и сел на табурет. Он тоже был в наручниках, хотя одна рука у него была искусственная, сухой, жилистый человек с болезненно толстыми, распухшими от прокусов губами.

— Ваше имя? — спросил бригадир.

— Которое? — весело спросил однорукий.

Максим даже вздрогнул: он был уверен, что однорукий будет молчать.

— У вас их много? Тогда назовите настоящее.

— Настоящее моё имя — номер семьдесят три — тринадцать.

— Та-ак... Что вы делали в квартире Кетшефа?

— Лежал в обмороке. К вашему сведению, я это очень хорошо умею. Хотите, покажу?

— Не трудитесь, — сказал человек в штатском. Он был очень зол. — Вам ещё понадобится это умение.

Однорукий вдруг захохотал. Он смеялся громко, звонко, как молодой, и Максим с ужасом понял, что он смеётся искренне. Люди за столом молча, словно окаменев, слушали этот смех.

— Массаракш! — сказал наконец однорукий, вытирая слёзы плечом. — Ну и угроза!.. Впрочем, вы ещё молодой человек... Вашу работу нужно делать по возможности сухо, казённо — за деньги. Это производит на подследственного огромное впечатление. Ужасно, когда тебя пытает не враг, а чиновник. Вот посмотрите на мою левую руку. Мне её отпилили специалисты его императорского величества в три приёма, и каждый акт сопровождался обширной перепиской... Палачи выполняли тяжёлую, неблагодарную работу, им было скучно, они пилили мою руку и ругали нищенские оклады. И мне было страшно. Только очень большим усилием воли я удержался тогда от болтовни. А сейчас... Я же вижу, как вы меня ненавидите. Вы — меня, я — вас. Прекрасно! Но вы меня ненавидите меньше двадцати лет, а я вас — больше тридцати. Вы тогда ещё пешком под стол ходили и мучили кошек, молодой человек...

— А-а, — сказал штатский. — Старая ворона. Я думал, вас уже всех перебили.

— И не надейтесь, — возразил однорукий. — Надо всё-таки разбираться в мире, где вы живёте... А то и разговаривать с вами не о чём...

— По-моему, достаточно, — сказал бригадир, обращаясь к штатскому.

Тот быстро написал что-то на журнале и дал бригадиру прочесть. Бригадир очень удивился, побарабанил пальцами по подбородку и с сомнением поглядел на штатского. Штатский улыбнулся. Тогда бригадир пожал плечами, подумал и обратился к ротмистру:

— Свидетель Чачу, как вёл себя обвиняемый при аресте?

— Валялся на полу, — мрачно ответил ротмистр.

— То есть сопротивления он не оказывал... Та-ак... — Бригадир ещё немного подумал, поднялся и огласил приговор: — Обвиняемый номер семьдесят три — тринадцать приговаривается к смертной казни, срок исполнения приговора не определяется, впредь до исполнения приговора обвиняемый имеет пребывать в ссылке на воспитании.

На лице ротмистра Чачу проступило презрительное недоумение, а однорукий, когда его выводили, тихонько смеялся и тряс головой, как бы говоря: «Ну и ну!»

Затем был введён номер семьдесят три — четырнадцать. Это был тот самый человек, который кричал, корчась на полу. Он был полон страха, но держался вызывающе. Прямо с порога он крикнул, что отвечать не будет и снисхождения не желает. Он действительно молчал и не ответил ни на один вопрос, даже на вопрос штатского: нет ли жалоб на дурное обращение? Кончилось тем, что бригадир посмотрел на штатского и вопросительно мыкнул. Штатский кивнул и сказал: «Да, ко мне». Он казался очень довольным.

Потом бригадир перебрал оставшиеся бумаги и сказал:

— Пойдёмте, господа, поедим. Невозможно...

Суд удалился, а Максиму и Панди разрешили стоять вольно. Когда ротмистр тоже вышел, Панди возмущённо сказал:

— Видал гадов? Хуже змей, ей-богу. Главное ведь, что? Не боли у них головы, ну как бы ты узнал, что они выродки? Подумать страшно, что бы тогда было...

Максим промолчал. Говорить ему не хотелось. Картина мира, ещё сутки назад казавшаяся такой логичной и отчётливой, сейчас размылась, потеряла очертания. Впрочем, Панди не нуждался в репликах. Снявши, чтобы не запачкать, перчатки, он извлёк из кармана кулёк с жареными орешками, угостил Максима и принялся рассказывать, как он не терпит этот пост. Во-первых, страшно было заразиться от выродков. Во-вторых, некоторые из них, вроде этого однорукого, вели себя ну до того нагло, что сил нет как хотелось дать по шее. Один раз он вот так терпел-терпел, а потом и дал — чуть в кандидаты не

разжаловали. Спасибо ротмистру, отстоял. Засадил только на двадцать суток и ещё сорок суток без увольнения...

Максим грыз орешки, слушал вполуха и молчал. «Ненависть, — думал он. — Те ненавидят этих, эти ненавидят тех. За что? Самое отвратительное государство... Почему? Откуда он это взял?.. Растлили народ... Как? Что это может значить?.. И этот штатский... Не может быть, чтобы он намекал на пытки. Это же было давно, в средние века... Впрочем, фашизм. Да. Гитлер. Освенцим. Расовая теория, геноцид. Мировое господство. Гай — фашист? И Рада? Нет, не похоже... Господин ротмистр? Гм... Хорошо бы понять, какая существует связь между больной головой и пристрастием к неповиновению властям. Почему систему ПБЗ стремятся разрушить только выродки? И при этом даже не все выродки?»

— Господин Панди, — сказал он, — а хонтийцы — это всё выродки, вы не слыхали?

Панди глубоко задумался.

— Как тебе... понимаешь... — произнёс наконец он. — Мы в основном насчёт выродков как городских, так и диких, которые в лесах. А что там в Хонти или, скажем, ещё где, — этому, наверно, армейцев обучают. Главное, что ты должен знать, что хонтийцы есть злейшие внешние враги нашего государства. До войны они нам подчинялись, а теперь злобно мстят... Вот и всё. Понял?

— Более или менее, — сказал Максим, и Панди сейчас же закатил ему выговор: в Легионе так не отвечают, в Легионе отвечают «так точно» или «никак нет», а «более или менее» есть выражение штатское, это капраловой сестрёнке можешь так отвечать, а здесь служба, здесь так нельзя...

Вероятно, он долго ещё разглагольствовал бы, тема была благодарная, близкая его сердцу, и слушатель был внимательный, почтительный, но тут вернулись господа офицеры. Панди замолчал на полуслове, прошептал «смирно» и, совершив необходимые эволюции между столом и железной табуреткой, застыл. Максим тоже застыл.

Господа офицеры были в прекрасном настроении. Ротмистр Чачу громко и с пренебрежительным видом рассказывал, как в девяносто шестом они лепили сырое тесто прямо на раскалённую броню и пальчики облизывали. Бригадир и штатский возражали, что боевой дух боевым духом, но кухня Боевого Легиона должна быть на высоте, и чем меньше консервов, тем лучше. Адъютант, полузакрыв глаза, вдруг принялся цитировать наизусть какую-то поваренную книгу, и все замолчали и довольно долго слушали его со странным умилением

на лицах. Потом адъютант захлебнулся и закашлялся, а бригадир, вздохнув, сказал:

— Да... Но надо, однако, кончать.

Адъютант, всё ещё кашляя, раскрыл папку, покопался в бумагах и произнёс сдавленным голосом:

— Орди Тадер.

И вошла женщина, такая же белая и почти прозрачная, как и вчера, словно она всё ещё была в обмороке; но когда Панди, по обыкновению, протянул руку, чтобы взять её за локоть и усадить, она резко отстранилась от него, как от гадины, и Максиму почудилось, что она сейчас ударит. Она не ударила, у неё были скованы руки, она только отчётливо произнесла:

— Не тронь, подлец! — обошла Панди и села.

Бригадир задал ей обычные вопросы. Она не ответила. Штатский напомнил ей о ребёнке, о муже, и ему она тоже не ответила. Она сидела выпрямившись; Максим не видел её лица, видел только напряжённую, худую шею под растрёпанными светлыми волосами. Потом она вдруг сказала спокойным низким голосом:

— Вы все отъявленные мерзавцы. Убийцы. Вы все умрёте. Ты, бригадир, я тебя не знаю, я тебя вижу в первый и последний раз. Ты умрёшь скверной смертью. Не от моей руки, к сожалению, но очень, очень скверной смертью. И ты, кровавый подонок. Двоих таких, как ты, я прикончила сама. Я бы сейчас убила тебя, я бы до тебя добралась, если бы не эти подлецы у меня за спиной... — Она перевела дыхание. — И ты, черномордый, пушечное мясо, ты ещё попадёшься к нам в руки. Но ты умрёшь просто. Гэл промахнулся, но я знаю людей, которые не промахнутся...

Они не перебивали её, они внимательно слушали. Можно было подумать, что они готовы слушать её часами, а она вдруг поднялась и шагнула к столу, но Панди поймал её за плечо и бросил обратно на сиденье. Тогда она плюнула изо всех сил, но плевок не долетел до стола, и она вдруг обмякла и заплакала. Некоторое время они смотрели, как она плачет. Потом бригадир встал и приговорил её к уничтожению в сорок восемь часов, и Панди взял её за локоть и вышвырнул за дверь, а штатский сильно потёр руки, улыбнулся и сказал: «Это удача. Отличное прикрытие». А бригадир ответил ему: «Благодари ротмистра». А ротмистр Чачу сказал только: «Языки», — и все замолчали.

Потом адъютант вызвал Мемо Грамену, и с этим совсем уже не церемонились. Это был человек, который стрелял в коридоре. С ним всё было ясно: при аресте он оказал вооружённое сопротивление, и ему

даже не задавали вопросов. Он сидел грузный, сгорбленный, и пока бригадир зачитывал ему смертный приговор, он равнодушно глядел в потолок, нянча левой рукой правую, вывихнутые пальцы которой были обмотаны тряпкой. Максиму почудилось в нём какое-то противоестественное спокойствие, какая-то деловитая уверенность, холодное равнодушие к происходящему, но он не сумел разобраться в своих ощущениях...

Грамену не успели ещё вывести, а адъютант уже с облегчением складывал бумаги в папку, бригадир затеял со штатским разговор о порядке чинопроизводства, а ротмистр Чачу подошёл к Панди и Максиму и приказал им идти. В его прозрачных глазах Максим ясно увидел издёвку и угрозу, но не захотел думать об этом. С каким-то отчуждённым любопытством и сочувствием он думал о том человеке, которому предстоит убить женщину. Это было чудовищно, это было невозможно, но кому-то предстояло это сделать в ближайшие сорок восемь часов.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Гай переоделся в пижаму, повесил мундир в шкаф и повернулся к Максиму. Кандидат Сим сидел на своём диванчике, который Рада поставила ему в свободном углу; один сапог он стянул и держал в руке, а за другой ещё не принимался. Глаза его были устремлены в стену, рот приоткрыт. Гай подкрался сбоку и щёлкнул его по носу. И, как всегда, промахнулся — в последний момент Мак отдёрнул голову.

— О чём задумался? — игриво спросил Гай. — Горюешь, что Рады нет? Тут тебе, брат, не повезло, у неё сегодня дневная смена.

Мак слабо улыбнулся и принялся за второй сапог.

— Почему — нет? — сказал он рассеянно. — Ты меня не обманешь... — Он снова замер. — Гай, — сказал он, — ты всегда говорил, что они работают за деньги...

— Кто? Выродки?

— Да. Ты об этом часто говорил — и мне, и ребятам... Платные агенты хонтийцев... И ротмистр всё время об этом твердит, каждый день одно и то же...

— Как же иначе? — сказал Гай. Он решил, что Мак опять заводит разговор об однообразии. — Ты всё-таки чудачина, Мак. Откуда у нас могут появиться какие-то новые слова, если всё остаётся по-старому? Выродки как были выродки, так и остались. Как они получали деньги от врага, так и получают. Вот в прошлом году, например, накрыли одну компанию за городом — у них целый подвал был набит

денежными мешками. Откуда у честного человека могут быть такие деньги? Они не промышленники, не банкиры...

Мак аккуратно поставил сапоги у стены, встал и принялся расстёгивать комбинезон.

— Гай, — сказал он, — у тебя бывает так, что говорят тебе про человека одно, а ты смотришь на этого человека и чувствуешь: не может этого быть. Ошибка. Путаница.

— Бывало, — сказал Гай, нахмурившись. — Но если ты о выродках...

— Да, именно о них. Я сегодня на них смотрел. Это люди как люди, разные, получше и похуже, смелые и трусливые, и вовсе не звери, как я думал... и как вы все считаете... Погоди, не перебивай. И не знаю я, приносят они вред или не приносят, то есть, судя по всему, приносят, но я не верю, что они куплены.

— Как это не веришь? — сказал Гай, хмурясь ещё сильнее. — Ну, предположим, мне ты можешь не верить, я человек маленький. Ну, а господину ротмистру? А бригадиру?

Максим сбросил комбинезон, подошёл к окну и стал смотреть на улицу, прижавшись лбом к стеклу и держась обеими руками за раму.

— А если они ошибаются? — проговорил он наконец.

— Ошибаются... — с недоумением повторил Гай, глядя ему в голую спину. — Кто ошибается? Господин бригадир? Вот чудак...

— Ну, пусть, — сказал Мак, оборачиваясь. — Мы не о нём сейчас говорим. Мы говорим о выродках. Вот ты, например... Ты ведь умрёшь за своё дело?

— Умру, — сказал Гай. — И ты умрёшь.

— Правильно! Умрём. Но ведь за дело умрём — не за паёк легионерский и не за деньги. Дайте мне хоть тысячу миллионов ваших бумажек, не соглашусь я ради этого идти на смерть!.. Неужели ты согласишься?

— Нет, конечно, — сказал Гай. «Чудачина этот Мак, вечно что-нибудь выдумает...»

— Ну?

— Что — ну?

— Ну как же! — сказал Мак с нетерпением. — Ты за деньги не согласен умирать. Я за деньги не согласен умирать. А выродки, значит, согласны! Что за чепуха!

— Так-то выродки! — сказал Гай проникновенно. — На то они и выродки! Им деньги дороже всего, у них нет ничего святого. Им ничего не стоит ребёнка задушить — бывали такие случаи... Ты пойми:

если человек старается уничтожить систему ПБЗ, что это может быть за человек? Это же хладнокровный убийца!

— Не знаю, не знаю, — сказал Мак. — Вот их сегодня допрашивали. Если бы они назвали сообщников, могли бы остаться живы, отделались бы каторгой... А они не назвали! Значит, сообщники им дороже, чем деньги? Дороже, чем жизнь?

— Это ещё неизвестно, — возразил Гай. — Они по закону все приговорены к смерти, без всякого суда, ты же видел, как их судят.

Он смотрел на Мака и видел, что друг его колеблется, растерян. Доброе у него сердце, зелен ещё, не понимает, что жестокость с врагом неизбежна. Трахнуть бы кулаком по столу да прикрикнуть, чтобы молчал, не болтал зря, не молол бы глупостей, а слушал старших, пока не научился разбираться сам. Но ведь Мак не дубина какая-нибудь необразованная, ему нужно только объяснить, как следует, и он поймёт...

— Нет! — упрямо сказал Мак. — Ненавидеть за деньги нельзя. А они ненавидят... так ненавидят нас, я даже и не знал, что люди могут так ненавидеть. Ты их ненавидишь меньше, чем они тебя. И вот я хотел бы знать: за что?

— Вот послушай, — сказал Гай. — Я тебе ещё раз объясню. Во-первых, они выродки. Они вообще ненавидят всех нормальных людей. Они по природе злобны, как крысы. А потом, мы им мешаем! Они хотели бы сделать своё дело, получить денежки и жить себе припеваючи. А мы им говорим: стоп! Руки за голову! Что ж они, любить нас должны за это?

— Если они все злобны, как крысы, почему же тогда этот... домовладелец... не злобный? Почему его отпустили, если все они подкуплены?

Гай засмеялся.

— Домовладелец — трус. Таких тоже хватает. Ненавидят нас, но боятся. Таким выгоднее жить с нами в дружбе... А потом, он домовладелец, богатый человек, его так просто не подкупишь. Это тебе не зубной врач... Смешной ты, Мак, как ребёнок! Люди ведь не бывают одинаковые, и выродки не бывают одинаковые...

— Это я уже знаю, — нетерпеливо прервал Мак. — Но вот, кстати, о зубном враче. То, что он неподкупен, за это я головой ручаюсь. Я не могу тебе это доказать, я это чувствую. Это очень смелый и хороший человек...

— Выродок!

— Хорошо. Это смелый и хороший выродок. Я видел его библиотеку. Это очень знающий человек. Он знает в тысячу раз больше, чем

ты или ротмистр... Почему он против нас? Если всё так, как ты говоришь, почему он не знает этого — образованный, культурный человек? Почему он на пороге смерти говорит нам в лицо, что он за народ и против нас?

— Образованный выродок — это выродок в квадрате, — сказал Гай поучающе. — Как выродок он нас ненавидит. А образование помогает ему эту ненависть обосновать и распространить. Образование — это, дружок, тоже не всегда благо. Это как автомат — смотря в чьих руках...

— Образование — всегда благо, — сказал Мак.

— Ну уж нет. Я бы предпочёл, чтобы хонтийцы все были необразованные. Тогда бы мы, по крайней мере, могли жить как люди, а не ждать всё время смертельного удара. Мы бы их живо усмирили.

— Да, — сказал Мак с непонятной интонацией. — Усмирять мы умеем. Жестокости нам не занимать.

— И опять ты как ребёнок. Мы бы и рады уговорами обойтись, и дешевле бы это было, и без кровопролития. А что прикажешь? Если их никак не переубедить...

— Значит, они убеждены? — прервал его Мак. — Значит, убеждены? А если знающий человек убеждён, что он прав, то, при чём тут хонтийские деньги...

Гаю надоело. Он хотел уже, как к последнему средству, прибегнуть к Кодексу Творцов и покончить с этим бесконечным глупым спором, но тут Мак перебил сам себя, махнул рукой и крикнул:

— Рада! Хватит спать! Легионеры проголодались и скучают по женскому обществу!

К огромному изумлению Гая, из-за ширмы послышался голос Рады:

— А я давно не сплю. Вы тут раскричались, господа легионеры, как у себя на плацу.

— Ты почему дома? — гаркнул Гай.

Рада, запахивая халатик, вышла из-за ширмы.

— Меня рассчитали, — объявила она. — Мамаша Тэй закрыла своё заведение, наследство получила и собирается в деревню. Но она меня уже рекомендовала в хорошее место... Мак, почему у тебя всё разбросано? Прибери в шкаф. Мальчики, я же просила вас не ходить в комнату в сапогах! Где твои сапоги, Гай?.. Накрывайте на стол, сейчас будем обедать... Мак, ты похудел. Что они там с тобой делают?

— Давай, давай! — сказал Гай. — Неси обед...

Она показала ему язык и вышла. Гай взглянул на Мака. Мак смотрел ей вслед со своим обычным добрым выражением.

— Что, хороша девочка? — спросил Гай и испугался: лицо Мака вдруг окаменело. — Ты что?

— Слушай, — сказал Мак. — Всё можно. Даже пытать, наверное, можно. Вам виднее. Но женщин расстреливать... женщин мучать... — Он схватил свои сапоги и пошёл из комнаты.

Гай крякнул, сильно почесал обеими руками затылок и принялся накрывать на стол. От всего этого разговора у него остался неприятный осадок. Какая-то раздвоенность. Конечно, Мак ещё зелен и не от мира сего. Но как-то опять у него всё удивительно получилось. Логик он, вот что, логик замечательный. Вот ведь сейчас — чепуху же порол, но как у него всё логично выстроилось!

Гай вынужден был признаться, что, если бы не этот разговор, сам он вряд ли дошёл бы до очень простой, в сущности, мысли: главное в выродках то, что они выродки. Отними у них это свойство, и все остальные обвинения против них превращаются в чепуху. Да, всё дело в том, что они выродки и ненавидят всё нормальное. Этого достаточно, и можно обойтись без хонтийского золота... А хонтийцы что — тоже, значит, выродки? Этого нам не говорили. А если они не выродки, тогда наши выродки должны их ненавидеть, как и нас... А, массаракш! Будь она проклята, эта логика!..

Когда Мак вернулся, Гай набросился на него:

— Откуда ты знал, что Рада дома?

— Ну как — откуда? Это и так было ясно...

— А если тебе было ясно, так почему ты меня не предупредил? И почему ты, массаракш, распускаешь язык при посторонних? Тридцать три раза, массаракш...

Мак тоже разозлился:

— Это кто здесь посторонний, массаракш? Рада? Да вы все со своими ротмистрами для меня более посторонние, чем Рада!

— Массаракш! Что в уставе сказано о служебной тайне?

— Массаракш и массаракш! Что ты ко мне пристал? Я же не знал, что ты не знаешь, что она дома! Я думал, ты меня разыгрываешь! И потом, о каких таких служебных тайнах мы тут говорили?

— Всё, что касается службы...

— Провалитесь вы со своей службой, которую нужно скрывать от родной сестры! И вообще от кого бы то ни было, массаракш! Поразвели секретов в каждом углу, повернуться негде, рта не раскрыть!

— И ты же ещё на меня орёшь! Я тебя, дурака, учу, а ты на меня орёшь!..

Но Мак уже перестал злиться. Он вдруг мгновенно оказался рядом; Гай не успел пошевелиться — сильные руки сдавили ему бока,

комната завертелась перед глазами, и потолок стремительно надвинулся. Гай придушенно ахнул, а Мак, бережно неся его над головой в вытянутых руках, подошёл к окну и сказал:

— Ну, куда тебя девать с твоими тайнами? Хочешь за окно?

— Что за дурацкие шутки, массаракш! — закричал Гай, судорожно размахивая руками в поисках опоры.

— Не хочешь за окно? Ну ладно, оставайся...

Гая поднесли к ширме и вывалили на кровать Рады. Он сел, поправил задравшуюся пижаму и проворчал:

— Зверь здоровенный...

Он тоже больше не сердился. Да и не на кого было сердиться, разве что на выродков...

Они принялись накрывать на стол. Потом пришла Рада с кастрюлей супа, а за нею, дядюшка Каан со своей заветной флягой, которая одна только, по его заверениям, спасала его от простуды и других старческих болезней. Уселись, принялись за суп. Дядюшка выпил рюмку, потянул носом воздух и принялся рассказывать про своего врага, коллегу Шапшу, который опять написал статью о назначении такой-то кости у такой-то древней ящерицы, причём вся статья была построена на глупости, ничего, кроме глупости, не содержала и рассчитана была на глупцов...

У дядюшки Каана все были глупцы. Коллеги по кафедре — глупцы, одни старательные, другие обленившиеся. Ассистенты — болваны от рождения, коим место в горах пасти скотину, да и то, говоря, по правде, неизвестно, справятся ли. Что же касается студентов, то молодёжь сейчас вообще словно подменили, а в студенты к тому же идёт самая отборная дурость, которую рачительный предприниматель не подпустил к станкам, а знающий командир отказался принять в солдаты. Так что судьба науки об ископаемых животных предрешена... Гай не слишком об этом сожалел, бог с ними, ископаемыми, не до них сейчас, и вообще непонятно, зачем и кому эта наука может когда-либо понадобиться. Но Рада дядюшку очень любила и всегда ужасалась вместе с ним по поводу глупости коллеги Шапшу и горевала, что университетское начальство не выделяет средств, необходимых для экспедиций...

Сегодня, впрочем, разговор пошёл о другом. Рада, которая, массаракш, всё-таки всё слышала у себя за ширмой, спросила вдруг дядю, чем выродки отличаются от обычных людей. Гай грозно посмотрел на Мака и предложил Раде не портить родным и близким аппетита, а читать лучше литературу. Однако дядюшка заявил, что эта литература написана для глупейших из дураков; что в Департаменте

общественного просвещения воображают, будто все такие же невежды, как они сами; что вопрос о выродках совсем не так прост и совсем не так мелок, как его пытаются изобразить для создания определённого общественного мнения, и что либо, мы будем здесь как культурные люди, либо как наши бравые, но — увы! — малообразованные офицеры в казармах. Мак предложил ради разнообразия побыть как культурные люди. Дядюшка выпил ещё рюмку и принялся излагать имеющую сейчас хождение в научных кругах теорию о том, что выродки есть не что иное, как новый биологический вид, появившийся на лице Мира в результате радиоактивного облучения.

— Выродки, несомненно, опасны, — говорил дядюшка, подняв палец. — Но они гораздо более опасны, чем ты думаешь, Гай. Они борются за место в этом мире, за существование своего вида, и эта борьба не зависит ни от каких социальных условий, а кончится она только тогда, когда уйдёт с арены биологической истории либо последний человек, либо последний выродок-мутант. Хонтийское золото — вздор! — орал разбушевавшийся профессор. — Диверсии против системы ПБЗ — чепуха! Смотрите за Голубую Змею, господа! За Голубую Змею! Вот откуда идёт настоящая опасность. Вот откуда, размножившись, двинутся колонны человекоподобных чудовищ, чтобы растоптать нас и превратить в ничто! Ты — слепец, Гай. И командиры твои — слепцы! Спасти цивилизацию! Не один какой-нибудь народ, не просто матерей и детей наших, но всё человечество целиком!..

Гай разозлился и сказал, что судьбы человечества его занимают мало. Он в этот кабинетный бред не верит. И если бы ему сказали, что есть возможность натравить диких выродков на Хонти, минуя нашу страну, он бы этому всю жизнь посвятил. Профессор снова взбеленился и опять назвал его слепым слепцом. Он сказал, что Огненосные Творцы — настоящие мученики: им приходится вести поистине неравную борьбу, если в их распоряжении только такие жалкие, слепые исполнители, как Гай. Гай решил с ним не спорить. Дядюшка ничего не смыслил в политике и сам был в известной степени ископаемым животным. Мак попытался вмешаться и начал рассказывать про однорукого выродка, но Гай эти поползновения разгласить служебную тайну пресёк и велел Раде подавать второе. Маку же он приказал включить телевизор. Слишком много разговоров сегодня, сказал он. Дайте немного отдохнуть солдату, прибывшему в увольнение...

Однако воображение его было возбуждено, по телевизору показывали какую-то глупость, и Гай, не удержавшись, принялся рассказывать о диких выродках. Он о них кое-что знал — слава богу, три года воевал с ними, а не отсиживался в тылу, как некоторые философы...

Рада обиделась за старика и обозвала Гая хвастуном, но дядюшка и Мак почему-то приняли его сторону и стали просить продолжать. Гай объявил, что не скажет больше ни слова. Во-первых, он в самом деле был несколько обижен, а во-вторых, пошарив в памяти, он не смог найти там ничего, что опровергало бы измышления старого пьяницы. Потом его осенило — он вспомнил, что рассказывал однажды старшина сто четырнадцатой группы смертников Зеф, и с удовольствием преподнёс эту теорию дядюшке. Рыжая морда Зеф говорил, что выродки потому проявляют всё усиливающуюся активность, что на них самих наступает радиоактивная пустыня и деваться этим беднягам некуда, кроме как пытаться с боем пробиться в районы, свободные от радиоактивности.

— Кто это тебе рассказал? — спросил дядя с презрением. — Какому деревянному дураку могла прийти в голову столь примитивная мысль?

Гай посмотрел на него со злорадством и веско ответил:

— Таково мнение некоего Аллу Зефа, крупнейшего нашего медика-психиатра.

— Где это ты с ним встречался? — ещё более презрительно осведомился дядюшка. — Уж не на ротной ли кухне?

Гай сгоряча хотел было сказать, где он с ним встречался, но прикусил язык, придал своему лицу значительное выражение и с подчёркнутым вниманием стал слушать телевизионного диктора, сообщающего прогноз погоды.

И тут в разговор, массаракш, опять влез этот Мак.

— Я готов признать, — объявил он, — в этих чудовищах на юге некую новую породу людей, но что общего между ними и домохозяином Ренаду, например? Ренаду тоже считается выродком, но он явно относится не к новой, а, прямо скажем, к очень старой породе людей... Гай об этом никогда не думал, и поэтому он был очень рад, что отвечать на этот вопрос бросился дядюшка. Обозвав Мака развесистым пнём, дядюшка принялся объяснять, что скрытые выродки, они же выродки городские, есть не что иное, как уцелевшие в борьбе за существование остатки нового вида, почти начисто уничтоженного в наших центральных районах ещё в колыбели... Он ещё помнит эти ужасы: их убивали прямо при рождении, иногда вместе с матерями... Уцелели только те, у которых новые видовые признаки ничем наружно не проявляются... Дядя Каан хватил пятую рюмку, разошёлся и развил перед слушателями чёткий план поголовного тотального медицинского обследования населения, которым неизбежно придётся заняться рано или поздно, и лучше рано, чем поздно. И

никаких исключений! Никакого попустительства! Сорная трава должна быть выполота без пощады...

На этом обед кончился. Рада принялась мыть посуду, дядя, не дождавшись никаких возражений, победно всех оглядел, закупорил флягу и понёс её к себе, пробормотав, что идёт писать ответ этому дураку Шапшу. При этом он зачем-то захватил с собой и рюмку. Гай посмотрел ему вслед — на ветхий его пиджачок, на старые, залатанные брюки, на штопаные носки и стоптанные туфли — и пожалел старика. Проклятая война! Раньше дяде принадлежала вся эта квартира, у него была прислуга, жена, был сын, была роскошная посуда, много денег, даже поместье где-то было, а теперь — пыльный, забитый книгами кабинет, он же спальня, он же всё прочее, поношенная одежда, одиночество, забвение... Да. Он пододвинул единственное кресло к телевизору, вытянулся и стал сонно смотреть на экран. Мак некоторое время сидел рядом, потом мгновенно и бесшумно, как он один умел это делать, исчез и обнаружился уже в другом углу. Он покопался в небольшой библиотечке Гая, выбрал какой-то учебник и принялся листать его стоя, прислонившись плечом к платяному шкафу. Рада прибрала со стола, села рядом с Гаем и стала вязать, изредка поглядывая на экран. В доме воцарились покой, мир, удовлетворение. Гай задремал.

Ему приснилась чепуха: будто он поймал двух выродков в каком-то железном тоннеле, начал снимать с них допрос и вдруг обнаружил, что один из выродков — Мак, а другой выродок, мягко и добро улыбаясь, говорил Гаю: «Ты всё время ошибался, твоё место с нами, а ротмистр — просто профессиональный убийца, без всякого патриотизма, без настоящей верности, ему просто нравится убивать, как тебе нравится суп из креветок...» И Гай вдруг ощутил душное сомнение, почувствовал, что вот сейчас поймёт всё до конца, ещё секунда — и не останется больше ни одного вопроса. Это непривычное состояние было настолько мучительно, что сердце остановилось и он проснулся.

Мак и Рада тихонько говорили о какой-то ерунде — о морских купаниях, о песке, о ракушках... Он их не слушал. Ему в голову вдруг пришла мысль: неужели он способен на какие-то сомнения, колебания, на неуверенность? Но ведь сомневался же он во сне... Значит ли это, что он и наяву в такой же ситуации засомневался бы? Некоторое время он старался во всех деталях припомнить свой сон, но сон ускользал, как мокрое мыло из мокрых рук, расплывался и в конце концов стал совсем неправдоподобным, и Гай с облегчением подумал, что всё это чушь. И когда Рада, заметив, что он не спит, спросила, что,

по его мнению, лучше — море или река, он ответил по-солдатски, в стиле старины Дога: «Лучше всего хорошая баня».

По телевизору передавали «узоры». Было скучно. Гай предложил выпить пива. Рада сходила на кухню и принесла из холодильника две бутылки. За пивом говорили о том о сём, и как-то между делом выяснилось, что Мак за последние полчаса одолел учебник по геополитике. Рада восхитилась. Гай не поверил. Он сказал, что за это время можно пролистать учебник, может быть, даже прочитать, но только механически, без всякого понимания. Мак потребовал экзамена. Гай потребовал учебник. Было заключено пари: проигравшему предстояло пойти к дядюшке Каану и объявить ему, что коллега Шапшу — умный человек и прекрасный учёный. Гай раскрыл учебник наугад, нашёл в конце главы контрольные вопросы и спросил: «В чём заключается нравственное благородство экспансии нашего государства на север?» Мак ответил своими словами, но очень близко к тексту и добавил, что, на его взгляд, нравственное благородство здесь ни при чём, всё дело, как он понимает, в агрессивности режимов Хонти и Пандеи. Гай почесал обеими руками затылок, лизнув палец, перекинул несколько страниц и спросил: «Каков средний урожай злаков в северо-западных районах?» Мак засмеялся и сказал, что данных о северо-западных районах не имеется. Поймать его не удалось; очень обрадованная Рада показала Гаю язык. «А каково удельное демографическое давление в устье Голубой Змеи?» — спросил Гай. Мак назвал цифру, назвал погрешность и не преминул добавить, что понятие демографического давления кажется ему смутным. Во всяком случае, он не понимает, зачем оно введено. Гай принялся было ему объяснять, что демографическое давление есть мера агрессивности, но тут вмешалась Рада. Она сказала, что Гай крутит и хочет уклониться от дальнейшего экзамена, потому что понимает, что дела его плохи.

Гаю страшно не хотелось идти к дяде Каану, и он, чтобы затянуть время, вступил в пререкания. Мак некоторое время слушал, а потом вдруг ни с того ни с сего заявил, что Раде не следует ни в коем случае снова поступать в официантки; ей надо учиться, сказал он. Гай, обрадованный переменой темы, вскричал, что он уже тысячу раз говорил ей то же самое и уже предлагал ей похлопотать о приёме в женский корпус Легиона, где из неё сделают по-настоящему полезного человека. Однако нового разговора не получилось. Мак только покачал головой, а Рада, как и раньше, отозвалась о женском корпусе в самых непочтительных выражениях.

Гай не стал спорить. Он бросил учебник, полез в шкаф, достал гитару и принялся её настраивать. Рада и Максим сейчас же отодвинули

в сторону стол и встали друг перед другом, готовые оторвать «да-да, нет-нет». Гай выдал им «да-да, нет-нет» с подстуком и перезвоном. Он смотрел, как они танцуют, и думал, что пара подобралась отменная, что жить вот только негде, и если они поженятся, то придётся ему совсем перебраться в казарму. Ну что же, многие капралы живут в казармах... Впрочем, по Маку не видно, чтобы он собирался жениться. Он относится к Раде скорее как к другу, только более нежно и почтительно, а Рада, надо понимать, втюрилась. Ишь как глаза блестят! Да и как не втюриться в такого парня! Даже мадам Го, старая ведь карга, за шестьдесят, а туда же — как Мак идёт по коридору, так она откроет дверь, выставит свой череп и осклабляется. А впрочем, чёрт его знает, Мака весь дом любит, и ребята его любят, только вот господин ротмистр к нему странно относится... но и он не отрицает, что парень — огонь.

Пара утанцевалась до упаду. Мак отобрал у Гая гитару, перестроил её на свой чудной манер и начал петь странные свои горские песни. Тысячи песен, и ни одной знакомой. И каждый раз что-нибудь новое. И вот что странно: ни одного слова не понять, а слушаешь, и — то плакать хочется, то смеёшься без удержу... Некоторые песни Рада уже запомнила и теперь пыталась подпевать. Особенно ей нравилась смешная песня (Мак перевёл) про девушку, которая сидит на горе и ждёт своего дружка, а дружок никак не может до неё добраться — то одно ему мешает, то другое... За гитарой и пением они не услышали звонка в парадную дверь. Раздался стук, и в комнату ввалился вестовой господина ротмистра Чачу.

— Господин капрал, разрешите обратиться! — рявкнул он, косясь на Раду.

Мак перестал играть. Гай сказал:

— Обращайтесь.

— Господин ротмистр приказали вам и кандидату Симу срочно явиться в канцелярию роты. Машина внизу.

Гай вскочил.

— Ступайте, — сказал он. — Подождите в машине, мы сейчас спустимся. Одевайся, быстро, — сказал он Максиму.

Рада взяла гитару на руки, как ребёнка, и встала у окна, отвернувшись.

Гай и Мак торопливо одевались.

— Как ты думаешь — зачем? — спросил Мак.

— Откуда мне знать? — проворчал Гай. — Может быть, учебная тревога будет...

— Не нравится мне это, — сказал Мак.

Гай посмотрел на него и на всякий случай включил радио. По радио передавали ежедневные «праздные разговоры деловитых женщин».

Они оделись, затянули ремни, и Гай сказал:

— Рада, ну, мы пошли.

— Идите, — сказала Рада не оборачиваясь.

— Пошли, Мак, — сказал Гай, нахлобучивая берет.

— Позвоните, — сказала Рада. — Если задержитесь, обязательно позвоните... — Она так и не обернулась.

Вестовой предупредительно распахнул перед Гаем дверцу. Сели, поехали. Видимо, дело было срочное: шофёр гнал, включив сирену на полную громкость. Гай с некоторым сожалением подумал, что вот пропал вечерок, редкий, хороший вечерок, уютный, домашний, беззаботный. Но такова жизнь легионера. Сейчас прикажут, ты возьмёшь автомат и будешь стрелять — сразу после бутылки пива, после уютной пижамы, после песенок под гитару. Такова прекрасная жизнь легионера, лучшая из всех возможных. И не нужно нам ни подружек, ни жён, и правильно, Мак не хочет жениться на Раде, хотя и жалко сестрёнку, конечно... Ничего, подождёт. Любит — так подождёт...

Машина ворвалась на плац и затормозила у входа в казарму. Гай выскочил, взбежал по ступенькам. Перед дверью канцелярии он остановился, проверил положение берета, пряжки, быстро оглядел Мака, застегнул ему пуговицу на воротнике — массаракш, вечно она у него расстёгнута! — и постучал.

— Войдите! — каркнул знакомый голос.

Гай вошёл и доложился. Господин ротмистр Чачу в суконной накидке и фуражке сидел за своим столом. Он курил и пил кофе; снарядная гильза перед ним была полна окурками. Сбоку на столе лежали два автомата. Господин ротмистр медленно поднялся, тяжело упёрся в стол обеими руками и, уставясь на Мака, заговорил:

— Кандидат Сим! Ты проявил себя незаурядным бойцом и верным боевым товарищем. Я ходатайствовал перед командиром бригады о досрочном производстве тебя в достоинство действительного рядового Боевого Легиона. Экзамен огнём ты выдержал вполне успешно. Остаётся последний экзамен — экзамен кровью...

У Гая радостно подпрыгнуло сердце. Он не ожидал, что это случится так скоро. «Молодец ротмистр! Вот что значит старый вояка! Я-то, дурак, вообразил, будто он копает под Мака...» Гай посмотрел на Мака, и радость его несколько поубавилась. Лицо Мака было совершенно деревянным, глаза выкачены, всё по уставу, но именно сейчас можно было бы не придерживаться так строго уставных правил.

— Я вручаю тебе приказ, кандидат Сим, — продолжал господин ротмистр, протягивая Маку лист бумаги. — Это первый письменный приказ, адресованный тебе лично. Надеюсь, не последний. Прочти и распишись.

Мак взял приказ и пробежал его глазами. У Гая снова ёкнуло сердце, но уже не от радости, а от какого-то тяжёлого предчувствия. Лицо Мака оставалось по-прежнему неподвижным, и всё было как будто в порядке, но он чуть-чуть помедлил, прежде чем взял перо и расписался. Господин ротмистр осмотрел подпись и положил листок в планшет.

— Капрал Гаал, — сказал он, беря со стола запечатанный конверт. — Ступай в караульное помещение и приведи приговорённых. Возьми автомат... нет, вот этот, с краю.

Гай взял конверт, повесил автомат на плечо, повернулся кругом и направился к двери. Он ещё услышал, как господин ротмистр сказал Маку:

— Ничего, кандидат, не трусь. Это страшно только по первому разу...

Гай бегом направился через плац к зданию бригадной тюрьмы, вручил начальнику караула конверт, расписался где нужно, сам получил необходимые расписки, и ему вывели приговорённых. Это были давешние заговорщики — толстый дядька, которому Мак вывернул пальцы, и женщина. Массаракш, этого только не хватало! Женщина — это совсем лишнее... Это не для Мака... Он вывел арестованных на плац и погнал их к казарме. Мужчина плёлся нога за ногу и всё баюкал свою руку, а женщина шла прямая как жердь, засунув руки глубоко в карманы жакетки, и, казалось, ничего не видела и не слышала. Массаракш, а почему, собственно, не для Мака? Какого дьявола! Эта баба такая же гадина, как и мужик. Почему мы должны давать ей какие-то льготы? И почему это, массаракш, надо предоставлять какие-то льготы кандидату Симу? Пусть привыкает, массаракш и массаракш!..

Господин ротмистр и Мак были уже в машине. Господин ротмистр — за рулём. Мак с автоматом между колен — на заднем сиденье. Он открыл дверцу, и приговорённые залезли внутрь. «На пол!» — скомандовал Гай. Они послушно сели на железный пол, а Гай — на сиденье напротив Мака. Он попытался поймать его взгляд, но Мак глядел на приговорённых. Нет, он глядел на эту бабу, которая съёжилась на полу, обхватив колени. Господин ротмистр, не оборачиваясь, сказал: «Готовы?» — и машина тронулась.

По дороге не разговаривали. Господин ротмистр гнал машину на безумной скорости — видимо, хотел всё кончить до сумерек, да и чего медлить... Мак всё время глядел на женщину, словно ловил её взгляд, а Гай всё ловил взгляд Мака. Приговорённые, цепляясь друг за друга, ёрзали по полу; толстяк попытался было заговорить с бабой, но Гай прикрикнул на него. Машина выскочила за город, миновала южную заставу и сразу же свернула на заброшенный просёлок, знакомый, очень знакомый просёлок, ведущий к Розовым Пещерам. Машина подпрыгивала всеми четырьмя колёсами, держаться было неудобно. Мак не желал поднимать глаз, а тут ещё эти полупокойники всё время хватались за колени, спасаясь от немилосердной тряски. Гай наконец не вытерпел и треснул толстого гада сапогом под рёбра, но это не помогло — тот всё равно продолжал хвататься. Господин ротмистр ещё раз повернул, резко затормозил, и машина медленно, осторожно съехала в карьер. Господин ротмистр выключил двигатель и скомандовал: «Выходи!»

Было уже около восемнадцати часов, в карьере собирался лёгкий вечерний туман, выветрившиеся каменные стены отсвечивали розовым. Когда-то здесь добывали мрамор. А кому он сейчас нужен, этот мрамор?..

Дело подходило к развязке. Мак по-прежнему держался, как идеальный солдат: ни одного лишнего движения, лицо равнодушно-деревянное, глаза в ожидании приказа устремлены на начальство. Толстяк вёл себя хорошо, с достоинством. С ним хлопот, по-видимому, не будет. А вот баба под конец расклеилась. Она судорожно стискивала кулаки, прижимала их к груди и снова опускала, и Гай решил, что будет истерика, но волочить её на руках к месту казни всё-таки, кажется, не придётся. Господин ротмистр закурил, посмотрел на небо и сказал Маку:

— Веди их по этой тропинке. Дойдёшь до пещер — сам увидишь, где их ставить. Когда закончишь, обязательно проверь и при необходимости добей контрольным выстрелом. Что такое контрольный выстрел, знаешь?

— Так точно, — произнёс Мак деревянным голосом.

— Врёшь, не знаешь. Это — в голову. Действуй, кандидат. Сюда ты вернёшься уже действительным рядовым.

Женщина вдруг сказала:

— Если среди вас есть хоть один человек... сообщите моей матери... Посёлок Утки, дом два... это рядом... Её зовут...

— Не унижайся, — басом произнёс грузный.

— Её зовут Илли Тадер...

— Не унижайся, — повторил грузный, повысив голос, и господин ротмистр, не размахиваясь, ткнул его кулаком в лицо. Грузный замолчал, схватившись за щеку, и с ненавистью посмотрел на господина ротмистра.

— Действуй, кандидат, — повторил господин ротмистр.

Мак повернулся к приговорённым и сделал движение автоматом. Приговорённые пошли по тропинке. Женщина обернулась и ещё раз крикнула:

— Посёлок Утки, дом два, Илли Тадер!

Мак, выставив перед собой автомат, медленно шёл за ними. Господин ротмистр распахнул дверцу, боком сел за руль, вытянул ноги и сказал:

— Ну вот, четверть часика подождём.

— Так точно, господин ротмистр, — машинально ответил Гай.

Он смотрел вслед Маку, смотрел до тех пор, пока вся группа не скрылась за розоватым выступом. «На обратном пути нужно будет купить бутылку, — подумал он. — Пусть напьётся. Говорят, это помогает».

— Можешь курить, капрал, — сказал господин ротмистр.

— Благодарю вас, господин ротмистр, я не курю.

Господин ротмистр далеко сплюнул сквозь зубы.

— Не боишься разочароваться в своём приятеле?

— Никак нет... — нерешительно сказал Гай. — Хотя, с вашего позволения, мне очень жаль, что ему досталась женщина. Он горец, а у них там...

— Он такой же горец, как мы с тобой, — сказал господин ротмистр. — И дело здесь не в женщинах... Впрочем, посмотрим. Чем вы занимались, когда вас вызвали?

— Пели хором, господин ротмистр.

— И что же вы пели?

— Горские песни, господин ротмистр. Он знает очень много песен.

Господин ротмистр вышел из машины и принялся прохаживаться взад-вперёд по тропинке. Больше он не разговаривал, а минут через десять принялся насвистывать «Марш». Гай всё ждал выстрелов, но выстрелов не было, и он начал беспокоиться. Убежать от Мака немыслимо. Обезоружить его — ещё более немыслимо. Но тогда почему он не стреляет? Может быть, он повёл их дальше обычного места?.. На обычном месте слишком сильно пахнет, божедомы зарывают неглубоко, а у Мака слишком сильное обоняние... Он из одной своей брезгливости лишних километров пять пройти способен...

— Н-ну, так... — сказал господин ротмистр, останавливаясь. — Вот и всё, капрал Гаал. Боюсь, что мы не дождёмся твоего дружка. И боюсь, что тебя сегодня в последний раз называют капралом.

Гай с изумлением посмотрел на него. Господин ротмистр ухмылялся.

— Ну, что смотришь? Что ты таращишься, как свинья на ветчину? Твой приятель бежал, дезертировал, он трус и изменник! Понятно, рядовой Гаал?

Гай был поражён. И не столько словами господина ротмистра, сколько его тоном. Господин ротмистр был в восторге. Господин ротмистр торжествовал. У господина ротмистра был такой вид, словно он выиграл крупное пари. Гай машинально поглядел в глубину карьера и вдруг увидел Мака. Мак возвращался один, автомат он нёс в руке за ремень.

Господин ротмистр вытащил пистолет.

— Массаракш! — прохрипел господин ротмистр. Он тоже увидел Мака, и вид у него сделался обалделый.

Больше они не говорили, они только смотрели, как Мак неторопливо приближается к ним, легко шагая по каменному крошеву, на его спокойное, доброе лицо со странными глазами, и в голове у Гая царила сумятица: выстрелов всё-таки не было... Неужели он задушил их... или забил прикладом... он, Мак, женщину? Да нет, чепуха... Но выстрелов ведь не было...

В пяти шагах от них Мак остановился и, глядя господину ротмистру в лицо, швырнул автомат ему под ноги.

— Прощайте, господин ротмистр, — сказал он. — Тех несчастных я отпустил и теперь хочу уйти сам. Вот ваше оружие, вот одежда... — Он повернулся к Гаю и, расстёгивая ремень, сказал ему: — Гай, это нечистое дело. Они нас обманули, Гай...

Он стянул с себя сапоги и комбинезон, свернул всё в узел и остался таким, каким Гай увидел его впервые на южной границе — почти голым, в одних серебристых трусах и теперь даже без обуви. Он подошёл к машине и положил узел на радиатор. Гай ужаснулся. Он посмотрел на господина ротмистра и ужаснулся ещё больше.

— Господин ротмистр! — закричал он. — Не надо! Он сошёл с ума! Он опять...

— Кандидат Сим! — каркнул господин ротмистр, держа руку на кобуре. — Немедленно садитесь в машину! Вы арестованы.

— Нет, — сказал Мак. — Это вам только кажется. Я свободен. Я пришёл за Гаем. Гай, пошли! Они тебя надули. Они — грязные люди. Раньше я сомневался, теперь я уверен. Пошли.

Гай замотал головой. Он хотел что-то сказать, что-то объяснить, но не было времени и не было слов. Господин ротмистр вытащил пистолет.

— Кандидат Сим! В машину! — каркнул он.

— Ты идёшь? — спросил Мак.

Гай снова замотал головой. Он смотрел на пистолет в руке господина ротмистра, и думал только об одном, и знал только одно: Мака сейчас убьют. И он не понимал, что надо делать.

— Ладно, — сказал Мак. — Я тебя найду. Я всё узнаю и найду тебя. Тебе здесь не место... Поцелуй Раду.

Он повернулся и пошёл, так же легко ступая по каменному крошеву босыми ногами, как и в сапогах, а Гай, трясясь словно в лихорадке, немо смотрел на его широкую треугольную спину и ждал выстрела и чёрной дырки под левой лопаткой.

— Кандидат Сим, — сказал господин ротмистр, не повышая голоса. — Приказываю вернуться. Буду стрелять.

Мак остановился и снова повернулся к нему.

— Стрелять? — сказал он. — В меня? За что? Впрочем, это неважно... Дайте сюда пистолет.

Господин ротмистр, держа пистолет у бедра, навёл дуло на Мака.

— Я считаю до трёх, — сказал он. — Садись в машину, кандидат. Раз!

— А ну, дайте сюда пистолет, — сказал Мак, протягивая руку, и направляясь к господину ротмистру.

— Два! — сказал господин ротмистр.

— Не надо! — крикнул Гай.

Господин ротмистр выстрелил. Мак был уже близко. Гай видел, как пуля попала ему в плечо и как он отшатнулся, словно налетел на препятствие.

— Глупец! — сказал Мак. — Дайте сюда оружие, злобный глупец!

Он не остановился, он всё шёл на господина ротмистра, протянув руку за оружием, и из дырки в плече вдруг толчком выплеснулась кровь. А господин ротмистр, издавши странный, скрипящий звук, попятился и очень быстро выстрелил три раза подряд прямо в широкую коричневую грудь. Мака отбросило, он упал на спину, сейчас же вскочил, снова упал, приподнялся, и господин ротмистр, присев от напряжения, выпустил в него ещё три пули. Мак перевалился на живот и застыл.

У Гая всё поплыло перед глазами, и он опустился на подножку машины. Ноги его не держали. В ушах его всё ещё звучал отвратительный плотный хруст, с которым пули входили в тело этого странного и любимого человека. Потом он опомнился, но ещё некоторое время сидел, не рискуя подняться на ноги.

Коричневое тело Мака лежало среди бело-розовых камней и само было неподвижно, как камень. Господин ротмистр стоял на прежнем месте и, держа пистолет наготове, курил, жадно затягиваясь. На Гая он не смотрел. Потом он докурил до конца, до самых губ, обжёгся, отбросил окурок и сделал два шага в сторону убитого. Но уже второй шаг был очень короткий. Господин ротмистр Чачу так и не решился подойти вплотную. Он произвёл контрольный выстрел с десяти шагов, но промахнулся. Гай видел, как каменная пыль брызнула рядом с головой Мака.

— Массаракш, — прошипел господин ротмистр и принялся засовывать пистолет в кобуру.

Он засовывал долго, никак не мог застегнуть кобуру, а потом подошёл к Гаю, взял его искалеченной рукой за мундир на груди, рывком поднял и, громко дыша в лицо, проговорил, растягивая слова, как пьяный:

— Ладно. Ты останешься капралом. Но в Легионе тебе делать нечего... Напишешь рапорт о переводе в армию. Полезай в машину.

Часть третья
ТЕРРОРИСТ

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Сопровождающий негромко сказал: «Ждите здесь» — и ушёл — скрылся между кустами и за деревьями. Максим сел на пенёк посередине полянки, засунул руки глубоко в карманы брезентовых штанов и стал ждать. Лес был старый, запущенный, подлесок душил его, от древних, морщинистых стволов несло трухлявой гнилью. Было сыро. Максим ёжился, он чувствовал дурноту, хотелось посидеть на солнышке, погреть плечо.

В кустах неподалёку кто-то был, но Максим не обращал внимания — за ним следили от самого посёлка, и он ничего не имел против. Странно было бы, если бы они поверили сразу же.

Сбоку на полянку вышла маленькая девочка в огромной залатанной кофте и с корзинкой на руке. Она уставилась на Максима и так, не отрывая от него любопытных глаз, прошла мимо, спотыкаясь и путаясь в траве. Какой-то зверёк вроде белки мелькнул между кустами, взлетел на дерево, глянул вниз, испугался и исчез. Было тихо, только где-то далеко стучала неровным стуком машина — резала тростник на озере.

Человек в кустах не уходил — буравил спину недобрым взглядом. Это было неприятно, но надо привыкать. Теперь всегда будет так. Обитаемый остров ополчился на него, стрелял в него, следил за ним, не верил ему. Максим задремал. Последнее время он часто задрёмывал в самые неподходящие моменты. Засыпал, просыпался, опять засыпал. Он не пытался с этим бороться: так хотел организм, а ему виднее. Это пройдёт, только не надо сопротивляться.

Зашуршали шаги, и сопровождающий сказал: «Идите за мной». Максим поднялся, не вынимая рук из карманов, и пошёл за ним, глядя на его ноги в мягких мокрых сапогах. Они углубились в лес и принялись ходить, описывая круги и сложные петли, постепенно приближаясь к какому-то жилью, до которого от полянки напрямик было совсем близко. Потом сопровождающий решил, что он достаточно запутал Максима, и полез напрямки через бурелом, причём, как человек городской, производил много шума и треска, так что Максим даже перестал слышать шаги того человека, который крался следом.

Когда бурелом кончился, Максим увидел за деревьями лужайку и покосившийся бревенчатый дом с заколоченными окнами. Лужайка заросла высокой травой, но Максим видел, что здесь ходили — совсем недавно и давно. Ходили осторожно, стараясь каждый раз подойти к дому другим путём. Сопровождающий открыл скрипучую дверь, и они вошли в тёмные затхлые сени. Человек, который шёл следом, остался снаружи. Сопровождающий отвалил крышку погреба и сказал: «Идите сюда, осторожнее...» Он плохо видел в темноте. Максим спустился по деревянной лестнице.

В погребе было тепло, сухо, здесь были люди; они сидели вокруг деревянного стола и смешно таращились, пытаясь разглядеть Максима. Пахло свежепогашенной свечой. По-видимому, они не хотели, чтобы Максим видел их лица. Максим узнал только двоих: Орди, дочь старой Илли Тадер, и толстого Мемо Грамену, сидевшего у самой лестницы с пулемётом на коленях. Вверху тяжело грохнула крышка люка, и кто-то сказал:

— Кто вы такой? Расскажите о себе.

— Можно сесть? — спросил Максим.

— Да, конечно. Идите сюда, на мой голос. Наткнётесь на скамью.

Максим сел за стол и обвёл глазами соседей. За столом, кроме него, было четверо. В темноте они казались серыми и плоскими, как на старинной фотографии. Справа сидела Орди, а говорил плотный широкоплечий человек, сидевший напротив. Он был неприятно похож на ротмистра Чачу.

— Рассказывайте, — повторил он.

Максим вздохнул. Ему очень не хотелось начинать знакомство прямо с вранья, но делать было нечего.

— Своего прошлого я не знаю, — сказал он. — Говорят, я — горец. Может быть. Не помню... Зовут меня Максим, фамилия — Каммерер. В Легионе меня звали Мак Сим. Помню себя с того момента, когда меня задержали в лесу у Голубой Змеи...

С враньём было покончено, и дальше дело пошло легче. Он рассказывал, стараясь быть кратким и в то же время не упустить то, что казалось ему важным.

— ...Я отвёл их как можно дальше в глубь карьера, велел им бежать, а сам не торопясь вернулся. Тогда ротмистр расстрелял меня. Ночью я пришёл в себя, выбрался из карьера и вскоре набрёл на пастбище. Днём я прятался в кустах и спал, а ночью подбирался к коровам и пил молоко. Через несколько дней мне стало лучше. Я взял у пастухов какое-то тряпьё, добрался до посёлка Утки и нашёл там Илли Тадер. Остальное вам известно.

Некоторое время все молчали. Потом человек деревенского вида, с длинными волосами до плеч, сказал:

— Не понимаю, как это он не помнит прошлой жизни. По-моему, так не бывает. Пусть вот Доктор скажет.

— Бывает, — коротко сказал Доктор. Он был худой, заморённый и вертел в руках трубку. Видимо, ему очень хотелось курить.

— Почему вы не бежали вместе с приговорёнными? — спросил широкоплечий.

— Там оставался Гай, — сказал Максим. — Я надеялся, что Гай пойдёт со мной... — Он замолчал, вспоминая бледное, потерянное лицо Гая, и страшные глаза ротмистра, и горячие толчки в грудь и в живот, и ощущение бессилия и обиды. — Это, конечно, была глупость, — сказал он. — Но тогда я этого не понимал.

— Вы принимали участие в операциях? — спросил позади грузный Мемо.

— Я уже рассказывал.

— Повторите!

— Я принимал участие в одной операции, когда были захвачены Кетшеф, Орди, вы и ещё двое, не назвавших себя. Один из них был с искусственной рукой.

— Как же вы объясняете такую поспешность вашего ротмистра? Ведь для того, чтобы кандидат получил право на испытание кровью, ему нужно сначала принять участие по меньшей мере в трёх операциях.

— Не знаю. Я знаю только, что он мне не доверял. Я сам не понимаю, почему он послал меня расстреливать...

— А почему он, собственно, стрелял в вас?

— По-моему, он испугался. Я хотел отобрать у него пистолет...

— Не понимаю я, — сказал человек с длинными волосами. — Ну, не доверял он вам. Ну, для проверки послал казнить...

— Подождите, Лесник, — сказал Мемо. — Это всё разговоры, пустые слова. Доктор, на вашем месте, я бы его осмотрел. Что-то я не очень верю в эту историю с ротмистром.

— Я не могу осматривать в темноте, — раздражённо сказал Доктор.

— А вы зажгите свет, — посоветовал Максим. — Всё равно я вас вижу.

Наступило молчание.

— Как так видите? — спросил широкоплечий.

Максим пожал плечами.

— Вижу, — сказал он.

— Что за вздор, — сказал Мемо. — Ну что я сейчас делаю, если вы видите?

Максим обернулся.

— Вы наставили на меня — то есть это вам кажется, что на меня, а на самом деле на Доктора — ручной пулемёт. Вы — Мемо Грамену, я вас знаю. На правой щеке у вас царапина, раньше её не было.

— Нокталопия, — проворчал Доктор. — Давайте зажигать свет. Глупо. Он нас видит, а мы его не видим. — Он нащупал перед собой спички и стал чиркать одну за другой. Они ломались.

— Да, — сказал Мемо. — Конечно, глупо. Отсюда он выйдет либо нашим, либо не выйдет.

— Позвольте-ка... — Максим протянул руку, отобрал у Доктора спички и зажёг свечу.

Все зажмурились, прикрывая ладонью глаза. Доктор немедленно закурил.

— Раздевайтесь, — сказал он, треща трубкой. Максим стянул через голову брезентовую рубаху. Все уставились на его грудь. Доктор выбрался из-за стола, подошёл к Максиму и принялся вертеть его в разные стороны, ощупывая крепкими холодными пальцами. Было тихо. Потом длинноволосый сказал с каким-то сожалением:

— Красивый мальчик. Сын у меня был... тоже...

Ему никто не ответил; он тяжело поднялся, пошарил в углу, с трудом поднял и водрузил на стол большой оплетённый кувшин. Потом выставил три кружки.

— Можно будет по очереди, — объяснил он. — Ежели кто хочет покушать, то сыр найдётся. И хлеб...

— Погодите, Лесник, — раздражённо сказал широкоплечий. — Отодвиньте ваш кувшин, мне ничего не видно... Ну что, Доктор?

Доктор ещё раз прошёлся по Максиму холодными пальцами, окутался дымом и сел на своё место.

— Налей-ка мне, Лесник, — сказал он. — Такие обстоятельства надобно запить... Одевайтесь, — сказал он Максиму. — И не улыбайтесь, как рыба-пугало. У меня будет к вам несколько вопросов.

Максим оделся. Доктор отхлебнул из кружки, сморщился и спросил:

— Когда, вы говорите, в вас стреляли?

— Сорок семь дней назад.

— Из чего, вы говорите, стреляли?

— Из пистолета. Из армейского пистолета.

Доктор снова отхлебнул, снова сморщился и проговорил, обращаясь к широкоплечему:

— Я бы голову дал на отсечение, что в этого молодчика действительно стреляли из армейского пистолета, причём с очень короткой дистанции, но не сорок семь дней назад, а по меньшей мере сто сорок семь... Где пули? — спросил он вдруг Максима.

— Они вышли, и я их выбросил.

— Слушайте, как вас... Мак! Вы врёте. Признайтесь, как вам это сделали?

Максим покусал губу.

— Я говорю правду. Вы просто не знаете, как у нас быстро заживают раны. Я не вру. — Он помолчал. — Впрочем, меня легко проверить. Разрежьте мне руку. Если надрез будет неглубокий, я затяну его за десять — пятнадцать минут.

— Это правда, — сказала Орди. Она заговорила впервые за всё время. — Это я видела сама. Он чистил картошку и обрезал палец. Через полчаса остался только белый шрам, а на другой день вообще уже ничего не было. Я думаю, он действительно горец. Гэл рассказывал про древнюю горскую медицину — они умеют заговаривать раны.

— Ах, горская медицина... — сказал Доктор, снова окутываясь дымом. — Ну что ж, предположим. Правда, порезанный палец — это одно, а семь пуль в упор — это другое, но предположим... То, что раны заросли так поспешно, не самое удивительное. Я хотел бы, чтобы мне объяснили другое. В молодом человеке семь дыр. И если эти дыры были действительно проделаны настоящими пистолетными пулями, то по крайней мере четыре из них — каждая в отдельности, заметьте! — были смертельными.

Лесник охнул и молитвенно сложил руки.

— Какого чёрта? — сказал широкоплечий.

— Нет уж, вы мне поверьте, — сказал Доктор. — Пуля в сердце, пуля в позвоночнике и две пули в печени. Плюс к этому общая сильная потеря крови. Плюс к этому неизбежный сепсис. Плюс к этому отсутствие каких бы то ни было следов квалифицированного врачебного вмешательства. Массаракш, хватило бы и одной пули в сердце!

— Что вы на это скажете? — сказал широкоплечий Максиму.

— Он ошибается, — сказал Максим. — Он всё верно определил, но он ошибается. Для нас эти раны не смертельны. Вот если бы ротмистр попал мне в голову... но он не попал... Понимаете, Доктор, вы даже представить себе не можете, какие это жизнеспособные органы — сердце, печень...

— Н-да, — сказал Доктор.

— Одно мне ясно, — проговорил широкоплечий. — Вряд ли они бы направили к нам такую грубую работу. Они же знают, что среди нас есть врачи.

Наступило длительное молчание. Максим терпеливо ждал. «А я бы поверил? — думал он. — Я бы, наверное, поверил. Но я вообще, кажется, слишком легковерен для этого мира. Хотя уже не так легковерен, как раньше. Например, мне не нравится Мемо. Он чего-то всё время боится. Сидит с пулемётом среди своих и чего-то боится. Странно. Впрочем, он, наверное, боится меня. Наверное, он боится, что я отберу у него пулемёт и опять вывихну ему пальцы. Что ж, может быть, он прав. Я больше не позволю в себя стрелять. Это слишком гадко, когда в тебя стреляют...» Он вспомнил ледяную ночь в карьере, мёртвое фосфоресцирующее небо, холодную липкую лужу, в которой он лежал. «Нет, хватит. С меня хватит... Теперь лучше я буду стрелять...»

— Я ему верю, — сказала вдруг Орди. — У него концы с концами не сходятся, но это просто потому, что он — странный человек. Такую историю нельзя придумать, это было бы слишком нелепо. Если бы я ему не верила, я бы, услышав такую историю, сразу бы его застрелила. Он же громоздит нелепость на нелепость. Может быть, он сумасшедший. Это может быть... Но не провокатор... Я за него, — добавила она, помолчав.

— Хорошо, Птица, — сказал широкоплечий. — Помолчи пока... «Вы проходили комиссию в Департаменте общественного здоровья?» — спросил он Максима.

— Да.

— Вас признали годным?

— Конечно.

— Без ограничений?

— В карточке было написано просто: «Годен».

— Что вы думаете о Боевом Легионе?

— Теперь я думаю, что это безмозглое оружие в чьих-то руках. Скорее всего, в руках этих пресловутых Огненосных Творцов. Но я ещё многого не понимаю.

— А что вы думаете об Огненосных Творцах?

— Я думаю, что это верхушка военной диктатуры. В средствах они неразборчивы, но какие у них цели... — Максим покачал головой.

— Что вы думаете о выродках?

— Думаю, что термин неудачен. Думаю, что вы — заговорщики. Цели ваши тоже представляю довольно смутно. Но мне понравились

люди, которых я видел сам. Все они показались мне честными и, как бы это сказать... действующими сознательно.

— Так, — сказал широкоплечий. — У вас бывают боли?

— В голове? Нет, не бывают.

— Зачем об этом спрашивать? — сказал Лесник. — Если бы были, он бы здесь не сидел.

— Вот я и хочу понять, зачем он здесь сидит, — сказал широкоплечий. — Зачем вы пришли к нам? Вы хотите участвовать в нашей борьбе?

Максим покачал головой.

— Я бы так не сказал. Это была бы неправда. Я хочу разобраться. Сейчас я скорее с вами, чем с ними, но ведь и о вас я знаю слишком мало.

Все переглянулись.

— У нас так не делается, милый, — сказал Лесник. — У нас так: либо ты наш, и тогда на тебе оружие и иди воевать. Либо ты, значит, не наш, и тогда, извини, тогда мы тебя... сам понимаешь... куда тебя — в голову надо, да?

Опять наступило молчание. Доктор тяжело вздохнул и выколотил трубку о скамью.

— Редкий и тяжёлый случай, — объявил он. — У меня есть предложение. Пусть он нас поспрашивает... У вас же есть вопросы, не так ли, Мак?

— Да, я пришёл спрашивать, — отозвался Максим.

— У него много вопросов, — подтвердила Орди, усмехаясь. — Он матери жить не давал вопросами. Да и ко мне приставал.

— Задавайте, — сказал широкоплечий. — А вы, Доктор, будете отвечать. А мы послушаем.

— Кто такие Огненосные Творцы и чего они хотят? — начал Максим.

Все зашевелились — очевидно, этого вопроса не ждали.

— Огненосные Творцы, — сказал Доктор, — это анонимная группа наиболее опытных интриганов из военных, финансистов и политиков. У них две цели: одна — главная, другая — основная. Главная — удержаться у власти. Основная — получить от этой власти максимум удовлетворения. Все они хапуги, сибариты, садисты, и все они властолюбцы... Вы удовлетворены?

— Нет, — сказал Максим. — Всё это я и так подозревал... Их экономическая программа? Их идеология? Их база, на кого они опираются?..

Все опять переглянулись. Лесник, раскрыв рот, смотрел на Максима.

— Экономическая программа... — сказал Доктор. — Вы слишком многого от нас хотите. Мы не теоретики, мы — практики. Для нас важнее всего то, что они хотят нас уничтожить. Собственно говоря, мы боремся за свою жизнь... — Он стал раздражённо набивать трубку.

— Я не хотел никого обидеть, — сказал Максим. — Я просто хочу разобраться... — Он бы с удовольствием изложил Доктору основы теории исторических последовательностей, но у него не хватало слов. И без того ему временами приходилось переходить на линкос. — Ладно. Но чего хотите вы? К чему вы стремитесь, кроме сохранения жизни? И кто вы?

Трубка Доктора шуршала и трещала, тяжёлый смрад распространялся от неё по подвалу.

— Дайте мне, — сказал вдруг Лесник. — Дайте я ему скажу... Мне дайте... Ты, друг симпатичный, того... Не знаю, как там у вас в горах, а у нас тут люди любят жить. Как это так — кроме, говорит, сохранения жизни? А мне, может быть, кроме этого, ничего и не надо!.. Ты что полагаешь — этого мало? Ишь ты какой храбрый нашёлся! Ты поживи-ка в подвале, когда у тебя дом есть, жена, семья и все от тебя отреклись... Ты это брось!

— Подождите, Лесник, — сказал широкоплечий.

— Нет, это пусть он подождёт! Ишь ты какой нашёлся! Общество ему подавай, базу всякую...

— Подожди, дядя, — сказал Доктор. — Не сердись. Видишь, человек ничего не понимает... Видите ли, — сказал он Максиму, — наше движение очень разнородно. Какой-то единой политической программы у нас нет, да и быть не может: все мы убиваем, потому что убивают нас. Это надо понять. Вы это поймите. Все мы смертники, шансов выжить у нас не много. И всю политику у нас заслоняет, по существу, биология. Выжить — вот главное. Тут уж не до базы. Так что, если вы явились с какой-нибудь социальной программой, ничего у вас не выйдет.

— В чём же дело? — спросил Максим.

— Нас считают выродками. Откуда это пошло, теперь и не вспомнишь. Но сейчас Огненосным Творцам выгодно нас травить: это отвлекает народ от внутренних проблем, от коррупции финансистов, загребающих деньги на военных заказах и на строительстве башен.

— Это уже нечто, — сказал Максим. — Значит, в основе всего опять же деньги. Значит, Творцы служат деньгам. Кого они ещё прикрывают?

— Творцы никому не служат. Они сами — деньги. Они — всё. И они, между прочим, ничто, потому что они анонимны и всё время жрут друг друга... Ему бы с Вепрем поговорить, — сказал он широкоплечему. — Они бы нашли общий язык.

— Хорошо, о Творцах я поговорю с Вепрем. А сейчас...

— С Вепрем вы уже не поговорите, — сказал Мемо злобно. — Вепря расстреляли.

— Это однорукий, — пояснила Орди. — Да, вы же должны знать...

— Я знаю, — сказал Максим. — Но его не расстреляли. Его приговорили к ссылке на воспитание.

— Не может быть, — сказал широкоплечий. — Вепря? К ссылке?

— Да, — сказал Максим. — Гэла Кетшефа — к смертной казни, Вепря — к ссылке, а ещё одного, который не назвал своего имени, забрал к себе штатский. По-видимому, в контрразведку.

И снова все замолчали. Доктор хлебнул из кружки. Широкоплечий сидел, опершись головой на руки. Лесник, с горестью покряхтывая, жалостно глядел на Орди. Орди, сжав губы, смотрела в стол. Это было горе, и Максим жалел, что заговорил на эту тему. Это было настоящее горе, и только Мемо в углу не столько горевал, сколько боялся... «Таким нельзя поручать пулемёт, — мельком подумал Максим. — Он нас тут всех перестреляет».

— Ну хорошо, — сказал широкоплечий. — У вас есть ещё вопросы?

— У меня много вопросов, — медленно сказал Максим. — Но я боюсь, что все они в той или иной степени бестактны.

— Что ж, давайте бестактные.

— Хорошо, последний вопрос. При чём здесь башни ПБЗ? Почему они вам мешают?

Все неприятно засмеялись.

— Вот дурак, — сказал Лесник. — А туда же — базу ему подавай...

— Это не ПБЗ, — сказал Доктор. — Это наше проклятие. Они изобрели излучение, при помощи которого создали понятие о выродке. Большинство людей — вот и вы, например, — не замечают этого излучения, словно бы его и нет. А несчастное меньшинство из-за каких-то особенностей своего организма испытывает при облучении адские боли. Некоторые из нас — таких единицы — могут терпеть эту боль, другие не выдерживают, кричат, третьи теряют сознание, а четвёртые вообще сходят с ума и умирают... Так вот, башни — это излучатели. Они включаются два раза в сутки по всей стране, и нас отлавливают, пока мы валяемся беспомощные от боли. Плюс ещё установки локального действия на патрульных автомобилях... плюс самоходные излучатели... плюс нерегулярные лучевые удары по ночам... Нам

негде укрыться, экранов не существует, мы сходим с ума, стреляемся, делаем глупости от отчаяния, вымираем...

Доктор замолчал, схватил кружку и залпом осушил её. Потом он принялся яростно раскуривать свою трубку, лицо у него подёргивалось.

— Да-а, жили — не тужили, — с тоской сказал Лесник. — Гады, — добавил он, помолчав.

— Ему это бессмысленно рассказывать, — сказал вдруг Мемо. — Он же не знает, что это такое. Он понятия не имеет, что это значит — ждать каждый день очередного сеанса...

— Хорошо, — сказал широкоплечий. — Не имеет понятия — значит, и говорить не о чём. Птица высказалась за него. Кто ещё — «за» и «против»?

Лесник открыл было рот, но Орди опередила его:

— Я хочу объяснить, почему я — «за». Во-первых, я ему верю. Это я уже говорила, и это, может быть, не так важно, это касается только меня. Но этот человек обладает способностями, которые могут быть полезны всем. Он умеет заживлять не только свои, но и чужие раны... Гораздо лучше вас, Доктор, не в обиду вам будет сказано...

— Какой я доктор, — сказал Доктор. — Я так, судебная медицина...

— Но это ещё не всё, — продолжала Орди. — Он умеет снимать боль.

— Как это? — спросил Лесник.

— Я не знаю, как он это делает. Он массирует виски, шепчет что-то, и боль проходит. Меня дважды схватывало у матери, и оба раза он мне помог. В первый раз не очень, но всё-таки я не потеряла сознания, как обычно. А во второй раз боли не было совсем...

И сразу всё переменилось. Только что они были судьями, только что они решали, как им казалось, вопрос его жизни и смерти, а теперь судьи исчезли, и остались измученные, обречённые люди, которые вдруг ощутили надежду. Они смотрели на него, будто ждали, что он вот сейчас, немедленно снимет с них кошмар, терзавший их ежеминутно, каждый день и каждую ночь много лет подряд... «Ну что же, — подумал Максим, — здесь я, по крайней мере, буду нужен не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы лечить...» Но почему-то эта мысль не доставила ему никакого удовлетворения. «Башни, — думал он. — Какая гадость... Это же надо было придумать. Надо быть садистом, чтобы это придумать...»

— Вы действительно это умеете? — спросил Доктор.

— Что?

— Снимать боль...

— Снимать боль... Да.

— Как?

— Я не могу вам объяснить. У меня не хватит слов, а у вас не хватит знаний... Я не понимаю: разве у вас нет лекарств, каких-нибудь болезащитных препаратов?

— От этого не помогают никакие лекарства... Разве что в смертельной дозе.

— Слушайте, — сказал Максим. — Я, конечно, готов снимать боль... я постараюсь... Но это же не выход! Надо искать какое-нибудь массовое средство... У вас есть химики?

— У нас всё есть, — сказал широкоплечий, — но эта задача не решается, Мак. Если бы она решалась, государственный прокурор не мучался бы от боли, как и мы. Уж он-то раздобыл бы лекарство. А сейчас он перед каждым регулярным сеансом напивается пьян и парится в горячей ванне.

— Государственный прокурор — выродок? — спросил Максим озадаченно.

— По слухам, — сказал широкоплечий сухо. — Но мы отвлеклись. Птица, ты закончила? Кто хочет ещё?

— Погоди, Генерал, — сказал Лесник. — Это что же получается? Это же получается, что он наш благодетель? Ты и у меня можешь боль снимать?.. Да ведь этому человеку цены нет, я его из подвала не выпущу! У меня же, извиняюсь, такие боли, что терпеть невозможно... А может быть, он и порошки выдумает? Ведь выдумаешь, а?.. Нет, господа мои, товарищи, такого человека надо беречь...

— То есть ты — «за», — сказал Генерал.

— То есть я так «за», что ежели кто его тронет...

— Понятно. Вы, Доктор?

— Я был бы «за» и без этого, — проворчал Доктор, попыхивая трубкой. — У меня такое же впечатление, как у Птицы. Пока он ещё не наш, но он станет нашим, иначе быть не может. Им он, во всяком случае, никак не подходит. Слишком умён.

— Хорошо, — сказал Генерал. — Вы, Копыто?

— Я — «за», — сказал Мемо. — Полезный человек.

— Ну что же, — сказал Генерал. — Я тоже «за». Очень рад за вас, Мак. Вы — симпатичный парень, и мне было бы жалко убивать вас... — Он посмотрел на часы. — Давайте поедим, — сказал он. — Скоро сеанс, и Мак покажет нам своё искусство. Налейте ему пива, Лесник, и давайте на стол ваш хвалёный сыр... Копыто, ступайте и подмените Зелёного — он не ел с утра.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Последнее совещание перед операцией Генерал собрал в замке Двуглавой Лошади. Это были заросшие плющом и травой развалины загородного музея, разрушенного в годы войны, — место уединённое, дикое, горожане не посещали его из-за близости малярийного болота, а у местного населения оно пользовалось дурной славой как пристанище воров и бандитов. Максим пришёл пешком вместе с Орди. Зелёный приехал на мотоцикле и привёз Лесника. Генерал и Мемо-Копыто уже ждали их в старой канализационной трубе, выходящей прямо на болото. Генерал курил, а мрачный Мемо остервенело отмахивался от комаров ароматической палочкой.

— Привёз? — спросил он Лесника.

— Обязательно, — сказал Лесник и вытащил из кармана тюбик репеллента.

Все намазались, и Генерал открыл совещание.

Мемо расстелил схему и снова повторил ход операции. Всё это было уже известно наизусть. В час ночи группа подползает с четырёх сторон к проволочному заграждению и закладывает удлинённые заряды. Лесник и Мемо действуют в одиночку — соответственно с севера я с запада. Генерал в паре с Орди — с востока. Максим в паре с Зелёным — с юга. Взрывы производятся одновременно ровно в час ночи, и сейчас же Генерал, Зелёный, Мемо и Лесник бросаются в проходы, имея задачей добежать до капонира и забросать его гранатами. Как только огонь из капонира прекратится или ослабнет, Максим и Орди с магнитными минами подбегают к башне и подготавливают взрыв, предварительно бросив в капонир ещё по две гранаты для страховки. Затем они включают запалы, забирают раненых — только раненых! — и уходят на восток через лес к просёлку, где возле межевого знака будет ждать Малыш с мотоциклом. Тяжелораненые грузятся в мотоцикл, легкораненые и здоровые уходят пешком. Место сбора — домик Лесника. Ждать на месте сбора не более двух часов, после чего уходить обычным порядком. Вопросы есть? Нет? Всё.

Генерал бросил окурок, полез за пазуху и извлёк пузырёк с жёлтыми таблетками. — Внимание, — сказал он. — По решению штаба план операции несколько меняется. Начало операции переносится на двадцать два ноль-ноль...

— Массаракш! — сказал Мемо. — Что ещё за новости!

— Не перебивайте, — сказал Генерал. — Ровно в десять ноль-ноль начинается вечерний сеанс. За несколько секунд до этого каждый из нас примет по две таких таблетки. Далее всё по старому плану с одним

исключением: Птица наступает как гранатомётчик вместе со мной. Все мины будут у Мака, башню подрывает он один.

— Это как же? — задумчиво сказал Лесник, разглядывая схему. — Это мне никак не понятно. Двадцать два часа — это же вечерний сеанс... Я же, извиняюсь, как лягу, так и не встану, пластом лежать буду... Меня, извиняюсь, колом не поднимешь...

— Одну минуту, — сказал Генерал. — Ещё раз повторяю: без десяти секунд десять все примут этот болеутолитель. Понимаете, Лесник? Болеутолитель примете. Таким образом, к десяти часам...

— Я эти пилюли знаю, — сказал Лесник. — Две минутки облегчения, а потом совсем в узел завяжешься... знаем, пробовали.

— Это новые пилюли, — терпеливо сказал Генерал. — Они действуют до пяти минут. Добежать до капонира и бросить гранаты мы успеем, а остальное сделает Мак.

Наступило молчание. Они думали. Туго соображающий Лесник со скрипом копался в волосах, закусив нижнюю губу. Видно было, как идея медленно доходит до него; он часто заморгал, оставил в покое шевелюру, оглядел всех просветлевшим взглядом и, оживившись, хлопнул себя по коленям. Чудесный дядька, добряк, с ног до головы исполосованный жизнью и ничего о жизни так и не узнавший. Ничего ему не надо было, и ничего он не хотел, кроме как чтобы оставили его в покое, дали бы вернуться к семье. Войну всю провёл он в окопах и пуще атомных снарядов боялся своего капрала, такого же мужика, но хитрого и большого подлеца. Максима он очень полюбил, век благодарен был, что залечил ему Максим старый свищ на голени, и с тех пор уверовал, что, пока Максим тут, ничего плохого с ними случиться не может. Максим весь этот месяц ночевал у него в подвале, и каждый раз, когда они укладывались спать, Лесник рассказывал Максиму сказку, одну и ту же, но с разными концами: «А вот жила на болоте жаба, большая была дура, прямо даже никто не верил, и вот повадилась она, дура...» Никак не мог Максим вообразить его в кровавом деле, хотя говорили ему, что Лесник — боец умелый и беспощадный.

— Новый план даёт следующие преимущества, — говорил Генерал. — Во-первых, нас в это время не ждут. Преимущество внезапности. Во-вторых, прежний план разработан уже давно, и достаточно велика опасность, что противнику он известен. Теперь мы противника опережаем. Вероятность успеха увеличивается...

Зелёный всё время одобрительно кивал. Хищное лицо его светилось злорадным удовольствием, ловкие длинные пальцы сжимались и разжимались. Он любил всякие неожиданности — очень

рискованный был человек. Прошлое его было темно. Он был вор и аферист, ворами воспитанный, ворами вскормленный, ворами выбитый; сидел в тюрьме, бежал — нагло, неожиданно, как делал всё, — попытался вернуться к своему ворью, но времена переменились, дружки не потерпели выродка, хотели его выдать, но он отбился и снова бежал, скрывался по деревням, пока не нашёл его покойный Гэл Кетшеф. Зелёный был умница, фантазёр, землю полагал плоской, небо — твёрдым, и именно в силу своего невежества, взбадриваемого бурной фантазией, был единственным человеком на обитаемом острове, который, кажется, подозревал в Максиме не горца какого-то («Видал я этих горцев, во всех видах видал»), не странную игру природы («Мы от природы все везде одинаковые, что в тюрьме, что на воле»), а прямо-таки пришельца из невозможных мест, скажем, из-за небесной тверди. Открыто об этом он Максиму никогда не говорил, но намёки делал и относился к нему с почтением, переходящим в подхалимаж. «Ты у нас главным станешь, — говаривал он. — И вот тогда я под тобой развернусь...» Как и куда он собирался разворачиваться, было совершенно непонятно, но одно было ясно: очень любил Зелёный рисковые дела и терпеть не мог никакой работы. И ещё не понравилась в нём Максиму дикая его и первобытная жестокость. Это была та же пятнистая обезьяна, только приручённая, натасканная на панцирных волков.

— Мне это не нравится, — сказал Мемо угрюмо. — Это авантюра. Без подготовки, без проверки... Нет, мне это не нравится.

Ему никогда ничего не нравилось, этому Мемо Грамену, по прозвищу Копыто Смерти. Его никогда ничто не удовлетворяло, и он всегда чего-то боялся. Прошлое его скрывалось, потому что в подполье он сначала занимал весьма высокий пост. Потом он однажды попался в лапы жандармерии и выжил только чудом — изуродованный пытками был вытащен соседями по камере, устроившими побег. После этого, по законам подполья, его вывели из штаба, хотя он и не внушал никаких подозрений. Он был назначен помощником к Гэлу Кетшефу, дважды участвовал в нападениях на башни, лично уничтожил несколько патрульных машин, выследил и собственноручно застрелил командира одной из бригад Легиона, был известен как человек фанатической смелости и отличный пулемётчик. Его уже собирались сделать руководителем группы в каком-то городке на юго-западе, но тут группа Гэла попалась. Подозрений Копыто по-прежнему не вызывал, его даже назначили руководителем новой группы, но он, видимо, всё время чувствовал на себе косые взгляды, которых не было, но которые вполне могли бы быть: в подполье не жаловали людей, которым

слишком везёт. Он был молчалив, придирчив, хорошо знал науку конспирации и требовал безусловного выполнения всех её правил, даже самых незначительных. На общие темы никогда ни с кем не говорил, занимался только делами группы и добился того, что у группы было всё: и оружие, и продукты, и деньги, и хорошая сеть явок, и даже мотоцикл. Максима он недолюбливал. Это чувствовалось, и Максим не знал почему, а спрашивать ему не хотелось: Мемо был не из тех людей, с кем приятно откровенничать. Может быть, всё дело было в том, что Максим единственный чувствовал его вечный страх — остальным и в голову не могло прийти, что угрюмый Копыто Смерти, запросто разговаривающий с любым представителем штаба, один из зачинателей подполья, террорист до мозга костей, может чего-нибудь бояться.

— Мне непонятны резоны штаба, — продолжал Мемо, с отвращением размазывая по шее новую порцию репеллента. — Я знаю этот план сто лет. Сто раз его хотели испытать и сто раз отказывались, потому что это почти верная гибель. Пока нет излучения, мы ещё имеем шанс в случае неудачи хотя бы улизнуть и попробовать ударить снова в другом месте. Здесь — первая же неудача, и все мы погибли. Странно, что в штабе не понимают таких элементарных вещей.

— Ты не совсем прав, Копыто, — возразила Орди. — Теперь у нас есть Мак. Если что-нибудь и не получится, он сумеет нас вытащить и, может быть, даже сумеет взорвать башню.

Она лениво курила, глядя вдаль, на болото, сухая, спокойная, ничему не удивляющаяся и ко всему готовая. Она вызывала у людей робость, потому что видела в них только более или менее подходящие механизмы истребления. Она вся была как на ладони — ни в прошлом её, ни в настоящем, ни в будущем не было тёмных и туманных пятен. Происходила она из интеллигентной семьи, отец погиб на войне, мать и сейчас работала учительницей в посёлке Утки, и сама Орди работала учительницей до тех пор, пока её не выгнали из школы как выродка. Она скрывалась, пыталась бежать в Хонти, встретила за границей Гэла, переправлявшего оружие, и он сделал её террористкой. Сначала она работала из чисто идейных соображений — боролась за справедливое общество, где каждый волен думать и делать что хочет и может, но семь лет назад жандармерия напала на её след и забрала её ребёнка заложником, чтобы заставить её выдать себя и мужа. Штаб не разрешил ей явиться: она слишком много знала; о ребёнке она больше ничего не слышала, считала его мёртвым, хотя втайне не верила этому, и вот уже семь лет ею двигала прежде всего ненависть. Сначала ненависть, а потом уже изрядно потускневшая мечта о

справедливом обществе. Потерю мужа она пережила удивительно спокойно, хотя очень любила его. Вероятно, она просто задолго до ареста свыклась с мыслью, что ни за что в мире не следует держаться слишком крепко. Теперь она была, как Гэл на суде, — живым мертвецом, только очень опасным мертвецом.

— Мак — новичок, — мрачно сказал Мемо. — Кто поручится, что он не растеряется, оставшись один? Смешно на это рассчитывать. Смешно отвергать старый, хорошо рассчитанный план из-за того, что у нас есть новичок Мак. Я сказал и повторяю: это авантюра.

— Да брось ты, начальник, — сказал Зелёный. — Такая у нас работа. По мне, что старый план, что новый план — всё авантюра. А как же по-другому? Без риска нельзя, а с этими пилюлями риск меньше. Они же там под башней обалдеют, когда мы в десять часов на них наскочим. Они там небось в десять часов шнапс пьют и песни орут, а тут мы наскочим, а у них, может, и автоматы не заряжены и сами они пьяные лежат... Нет, мне нравится. Верно, Мак?

— Я, это самое, тоже... — сказал Лесник. — Я рассуждаю как? Если такой план даже мне удивителен, то уж легионерам этим и подавно. Правильно Зелёный говорит: обалдеют они... Опять же лишних пять минуток не помучаемся, а там, глядишь, Мак башню повалит, и совсем будет хорошо. «Да ведь как хорошо-то!» — сказал он вдруг, словно озарённый новой идеей. — Ведь никто же до нас башен не валил, только хвастались, а мы первыми будем... И опять же, пока они эту башню снова наладят, это сколько времени пройдёт! Хоть месяц-то по-человечески поживём... без приступов этих гадских...

— Боюсь, что вы меня не поняли, Копыто, — сказал Генерал. — В плане ничего не меняется, мы только нападаем неожиданно, усиливаем атаку за счёт Птицы и несколько меняем порядок отступления.

— А если ты беспокоишься, что Маку всех нас будет не вытащить, — по-прежнему лениво проговорила Орди, глядя на болото, — так ты не забывай, что тащить ему придётся одного, от силы двоих, а он мальчик сильный.

— Да, — сказал Генерал, глядя на неё. — Это правда...

Генерал был влюблён в Орди. Никто, кроме Максима, этого не видел, но Максим знал, что это любовь старая, безнадёжная, началась она ещё при Гэле, а теперь стала ещё безнадёжнее, если это возможно. Генерал был не генерал. До войны он был рабочим на конвейере, потом попал в школу субалтерн-офицеров, воевал в пехоте, кончил войну ротмистром. Он хорошо знал ротмистра Чачу, имел с ним счёты (были какие-то беспорядки в каком-то полку сразу после войны) и давно и безуспешно охотился за ним. Он был работником

штаба подполья, но часто принимал участие в практических операциях, был хорошим воякой, знающим командиром. Работать в подполье ему нравилось, но что будет после победы, он представлял себе плохо. Впрочем, в победу он и не верил. Прирождённый солдат, он легко приспосабливался к любым условиям и никогда не загадывал дальше, чем на десять — двадцать дней вперёд. Своих идей у него не было, кое-чего он нахватался от однорукого, кое-что перенял у Кетшефа, кое-что ему внушили в штабе, но главным в его сознании оставалось то, что вдолбили ему в школе субалтерн-офицеров. Поэтому, теоретизируя, он высказывал странную смесь взглядов: власть богатых надобно свергнуть (это от Вепря, который в представлении Максима был чем-то вроде социалиста или коммуниста), во главе государства поставить надлежит инженеров и техников (это от Кетшефа), города срыть, а самим жить в единении с природой (какой-то штабной мыслитель-буколист), и всего этого можно добиться только беспрекословным подчинением приказу вышестоящих командиров, и поменьше болтовни на отвлечённые темы. Два раза Максим с ним сцепился. Было совершенно непонятно, зачем разрушать башни, терять на этом смелых товарищей, время, средства, оружие — через десять — двадцать дней башню всё равно восстановят, и всё пойдёт по-прежнему, с той только разницей, что население окрестных деревень своими глазами убедится, какие гнусные дьяволы эти выродки. Генерал так и не сумел толком объяснить Максиму, в чём смысл диверсионной деятельности. То ли он что-то скрывал, то ли сам не понимал, зачем это нужно, но каждый раз он твердил одно и то же: приказы не обсуждаются, каждое нападение на башню — удар по врагу, нельзя удерживать людей от активной деятельности, иначе ненависть скиснет в них и жить станет совсем уж не для чего... «Надо искать центр! — настаивал Максим. — Надо бить сразу по центру, всеми силами сразу! Что у вас в штабе за головы, если не понимают такой простой вещи?» — «Штаб знает, что делает, — веско отвечал Генерал, вздёргивая подбородок и высоко задирая брови. — Дисциплина в нашем положении — прежде всего, и давай-ка без крестьянской вольницы. Мак, всему своё время, будет тебе и центр, если доживёшь...» Впрочем, он относился к Максиму с уважением и охотно прибегал к его услугам, когда лучевые удары застигали его в подвале Лесника...

— Всё равно я против, — упрямо сказал Мемо. — А если нас положат огнём? А если мы не успеем за пять минут, а понадобится нам шесть? Безумный план. И всегда он был безумным.

— Удлинённые заряды мы применяем впервые, — сказал Генерал, с трудом отрывая взгляд от Орди. — Но если брать прежние способы

прорыва через проволоку, то судьба операции определяется в среднем через три-четыре минуты. Если мы застанем их врасплох, у нас ещё останется одна или даже две минуты в запасе.

— Две минуты — время большое, — сказал Лесник. — За две минуты я их там всех голыми руками передавлю. Добежать бы только.

— Добежать бы... да-а... — с какой-то зловещей мечтательностью протянул Зелёный. — Верно, Мак?

— Ты ничего не хочешь сказать, Мак? — спросил Генерал.

— Я уже говорил, — сказал Максим. — Новый план лучше старого, но всё равно плох. Дайте я всё сделаю сам. Рискните.

— Не будем об этом, — сказал Генерал раздражённо. — Об этом — всё. Дельные замечания у тебя есть?

— Нет, — сказал Максим. Он уже жалел, что снова затеял этот разговор.

— Откуда взялись новые таблетки? — спросил вдруг Мемо.

— Таблетки старые, — сказал Генерал. — Маку удалось немного улучшить их.

— Ах, Маку...

Копыто произнёс это таким тоном, что всем стало неловко. Его слова можно было понять так: новичок, да ещё не совсем наш, да ещё пришедший с той стороны, — а не пахнет ли дело засадой, такие случаи бывали...

— Да, — резко сказал Генерал. — И довольно разговоров. Приказ штаба. Изволь подчиняться, Копыто.

— Я подчиняюсь, — сказал Мемо, пожав плечами. — Я против этого, но я подчиняюсь. Куда же деваться...

Максим грустно смотрел на них. Они сидели перед ним, очень разные, — в обычных условиях, наверное, им и в голову бы не пришло, что они могут собраться вместе: бывший фермер, бывший уголовник, бывшая учительница... То, что они собирались сделать, было бессмысленно; пройдёт несколько часов, и большинство из них будут мертвы, а в мире ничего не изменится, и те, кто останется в живых, в лучшем случае получат передышку от адских болей, но они будут изранены, измучены бегством, их будут травить собаками, им придётся отсиживаться в душных норах, а потом всё начнётся сначала. Действовать с ними заодно было глупо, но покинуть их было бы подло, и приходилось выбирать глупость. А может быть, здесь у них вообще нельзя иначе, а если хочешь что-нибудь сделать, приходится пройти через глупость, через бессмысленную кровь, а может быть, и через подлость придётся пройти. Жалкий человек... глупый человек... подлый человек... А что ещё можно ожидать от человека в таком жалком,

глупом и подлом мире? Надо помнить только, что глупость есть следствие бессилия, а бессилие проистекает из невежества, из незнания верной дороги... Но ведь не может же быть так, чтобы среди тысячи дорог не нашлось верной! «По одной дороге я уже прошёл, — думал Максим, — это была неверная дорога. Теперь надо пройти по этой, хотя уже сейчас видно, что это тоже неверная дорога. И может быть, мне ещё не раз придётся ходить по неверным дорогам и забираться в тупики. А перед кем я оправдываюсь? — подумал он. — И зачем? Они мне нравятся, я могу им помочь, вот и всё, что мне нужно знать сейчас...»

— Сейчас мы разойдёмся, — сказал Генерал. — Копыто идёт с Лесником, Мак — с Зелёным, я — с Птицей. Встреча в девять ноль-ноль у межевой отметки, идти только лесом, без дорог. Парам не разлучаться, каждый отвечает за каждого. Идите. Первыми уходят Мемо и Зелёный. — Он собрал окурки на лист бумаги, свернул и положил в карман.

Лесник потёр колени.

— Кости болят, — сообщил он. — К дождичку. Хорошая нынче будет ночь, тёмная...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

От лесной опушки до проволоки надо было ползти. Впереди полз Зелёный, он волочил шест с удлинённым зарядом и едва слышно ругал колючки, впивавшиеся в руки. Максим, придерживая мешок с магнитными минами, полз следом. Небо было затянуто тучами, моросил дождь. Трава была мокрая, и в первые же минуты они промокли до нитки. За дождём ничего не было видно, Зелёный полз по компасу и ни разу не отклонился — опытный был человек этот Зелёный. Потом резко запахло сырой ржавчиной, и Максим увидел проволоку в три ряда, а за проволокой — смутную решётчатую громаду башни, а приподняв голову, разглядел у основания башни приземистое сооружение с прямоугольными очертаниями. Это был капонир, там сидели трое легионеров с пулемётом. Сквозь шорох дождя слышались неразличимые голоса, потом там зажгли спичку, и слабым жёлтым светом озарилась длинная амбразура.

Зелёный, шёпотом чертыхаясь, просовывал шест под проволоку. «Готово, — шепнул он. — Отползай». Они отползли на десяток шагов и стали ждать. Зелёный, зажав в кулаке шнур детонатора, глядел на светящиеся стрелки часов. Его трясло. Максим слышал, как он постукивает зубами и сдавленно дышит. Максима тоже трясло. Он сунул

руку в мешок и потрогал мины — они были шероховатые, холодные. Дождь усилился, шуршание заглушало теперь все звуки. Зелёный приподнялся и встал на четвереньки. Он всё время что-то шептал: то ли молился, то ли ругался. «Ну, гады!» — сказал он вдруг громко и сделал резкое движение правой рукой. Раздался пистонный щелчок, шипение, и впереди ахнуло из-под земли полотнище красного пламени, и взметнулось широкое полотнище далеко слева, ударило по ушам, посыпалась горячая мокрая земля, клочья тлеющей травы, какие-то раскалённые кусочки. Зелёный рванулся вперёд, крича чужим голосом, и вдруг стало светло как днём, светлее, чем днём, ослепительно светло. Максим зажмурился и ощутил холод внутри, и в голове мелькнула мысль: «Всё пропало», но выстрелов не было, тишина продолжалась, ничего не было слышно, кроме шуршания и шипения.

Когда Максим открыл глаза, он сквозь слепящий свет увидел серый капонир, широкий проход в проволоке и каких-то людей, очень маленьких и одиноких на огромном пустом пространстве вокруг башни, — они со всех ног бежали к капониру, молча, беззвучно, спотыкались, падали, снова вскакивали и бежали. Потом послышался жалобный стон, и Максим увидел Зелёного, который никуда не бежал, а сидел, раскачиваясь, на земле сразу за проволокой, обхватив голову руками. Максим бросился к нему, оторвал его руки от лица, увидел закаченные глаза и пузыри слюны на губах... А выстрелов всё не было; прошла уже целая вечность, а капонир молчал. И вдруг там грянули знакомую песню.

Максим повалил этого разгильдяя навзничь, шаря одной рукой в кармане и радуясь, что Генерал такой недоверчивый, что он и Максиму дал на всякий случай болезащитные пилюли. Он разжал Зелёному сведённый судорогой рот и засунул пилюли глубоко в хрипящую чёрную глотку. Потом он схватил автомат Зелёного и повернулся, ища, откуда свет, почему столько света, не должно быть столько света... Выстрелов всё не было, одинокие люди продолжали бежать, один был уже совсем недалеко от капонира, другой немного отстал, а третий, который бежал справа, вдруг с размаху упал и покатился через голову. «О, как рыдает враг!..» — ревели в капонире, а свет бил сверху, с высоты десятка метров — наверное, с башни, которую нельзя было теперь разглядеть. Пять или шесть ослепительных бело-синих дисков, и Максим вскинул автомат и нажал на спусковой крючок, и самодельный автомат, маленький, неудобный, непривычный, забился у него в руках. И словно в ответ засверкали красные вспышки в амбразуре капонира, и вдруг автомат вырвали у него из рук, он ещё не попал ни в один из ослепительных дисков, а Зелёный уже вырвал

у него автомат, и кинулся вперёд, и сразу же упал, споткнувшись на ровном месте...

Тогда Максим лёг и пополз обратно к своему мешку. Позади торопливо трещали автоматы, гулко и страшно ревел пулемёт, и вот — наконец-то! — хлопнула граната, потом другая, потом две сразу, и пулемёт замолчал; трещали только автоматы, и снова захлопали взрывы, кто-то завизжал нечеловеческим визгом, и стало тихо. Максим подхватил мешок и побежал. Над капониром столбом поднимался дым, несло гарью и порохом, а вокруг было светло и пусто, только чёрный сутулый человек брёл возле самого капонира, придерживаясь за стенку; добрался до амбразуры, бросил туда что-то и повалился. Амбразура озарилась красным, донёсся хлопок, и снова всё стихло...

Максим споткнулся и чуть не упал. Через несколько шагов он снова споткнулся и тогда заметил, что из земли торчат колышки, толстые короткие колышки, спрятанные в траве... «Вот оно как... Вот оно как здесь... Если бы Генерал пустил меня в одиночку, я бы сразу размозжил себе обе ноги и сейчас валялся бы замертво на этих гнусных ехидных колышках... Хвастун... невежда...» Башня была уже совсем близко. Он бежал и смотрел под ноги, он был один, и ему не хотелось думать об остальных.

Он добежал до огромной железной лапы, бросил мешок. Ему очень хотелось тут же прилепить тяжёлую шершавую лепёшку к мокрому железу, но был ещё капонир... Железная дверь была приоткрыта, из неё высовывались ленивые языки пламени, на ступеньках лежал легионер — тут всё было кончено. Максим пошёл вокруг капонира и нашёл Генерала. Генерал сидел, прислонившись к бетонной стенке; глаза у него были бессмысленные, и Максим понял, что срок действия таблеток кончился. Он огляделся, поднял Генерала на руки и понёс от башни. Шагах в двадцати лежала в траве Орди с гранатой в руке. Она лежала ничком, но Максим сразу понял, что она мертва. Он стал искать дальше и нашёл Лесника, тоже мёртвого. И Зелёный тоже был убит, и не с кем было положить живого Генерала...

Он шёл по полю, отбрасывая множественную чёрную тень, оглушённый всеми этими смертями, хотя минуту назад думал, что готов к ним, и ему не терпелось вернуться и взорвать башню, чтобы закончить то, что они начали, но сначала надо было посмотреть, что с Копытом, и он нашёл Мемо совсем рядом с проволокой. Мемо был ранен и, наверное, пытался уползти и полз к проволоке, пока не свалился без сознания. Максим положил Генерала рядом и снова побежал к

башне. Странно было думать, что теперь эти несчастные двести метров можно спокойно пройти, ничего не опасаясь.

Он принялся прилаживать мины к опорам, по две штуки на каждую опору для верности. Он торопился; время было, но Генерал истекал кровью, и Мемо истекал кровью, а где-то уже неслись по шоссе грузовики с легионерами, и Гая подняли по тревоге, и теперь он трясся по булыжнику рядом с Панди, и в окрестных деревнях уже проснулись люди: мужчины хватали ружья и топоры, дети плакали, а женщины проклинали кровавых шпионов, из-за которых ни сна, ни покоя. Он всей кожей чувствовал, как моросящая тьма вокруг оживает, шевелится, становится грозной и опасной...

Запалы были рассчитаны на пять минут; он поочерёдно включил их все и побежал назад, к Генералу и Мемо. Что-то мешало ему, он остановился, поискал глазами и понял: Орди. Бегом, глядя под ноги, чтобы не споткнуться, он вернулся к ней, поднял на плечо лёгкое тело и снова бегом, глядя под ноги, чтобы не споткнуться, — к проволоке, к северному проходу, где мучались Генерал и Мемо, но им недолго уже оставалось мучаться. Он остановился возле них и обернулся к башне.

И вот исполнилась эта бессмысленная мечта террористов. Быстро, одна за другой, треснули мины, основание башни заволокло дымом, а затем слепящие огни погасли, стало непроглядно темно, в темноте заскрежетало, загрохотало, тряхнуло землю, с лязгом подпрыгнуло и снова тряхнуло землю.

Максим поглядел на часы. Было семнадцать минут одиннадцатого. Глаза привыкли к темноте, снова стала видна развороченная проволока, и стала видна башня. Она лежала в стороне от капонира, где всё ещё горело, растопырив изуродованные взрывами опоры.

— Кто здесь? — прохрипел Генерал, завозившись.

— Я, — сказал Максим. Он нагнулся. — Пора уходить. Куда вам попало? Вы можете идти?

— Погоди, — сказал Генерал. — Что с башней?

— Башня готова, — проговорил Максим.

Орди лежала на его плече, и он не знал, как сказать о ней.

— Не может быть, — сказал Генерал, приподнимаясь. — Массаракш! Неужели?.. — Он засмеялся и опять лёг. — Слушай, Мак, я ничего не соображаю... Сколько времени?

— Двадцать минут одиннадцатого.

— Значит, всё верно... Мы её прикончили... Молодец, Мак... Подожди, а это кто рядом?

— Копыто, — сказал Максим.

— Дышит, — сказал Генерал. — Подожди, а кто ещё жив? Это у тебя кто?

— Это Орди, — с трудом сказал Максим.

Несколько секунд Генерал молчал.

— Орди. — повторил он нерешительно и встал, пошатываясь. — Орди, — снова повторил он и приложил ладонь к её щеке.

Некоторое время они молчали. Потом Мемо хрипло спросил:

— Который час?

— Двадцать две минуты, — сказал Максим.

— Где мы? — спросил Мемо.

— Нужно уходить, — сказал Максим.

Генерал повернулся и пошёл через проход в проволоке. Его сильно шатало. Тогда Максим нагнулся, взвалил на другое плечо грузного Мемо и двинулся следом. Он догнал Генерала, и тот остановился.

— Только раненых, — сказал он.

— Я донесу, — сказал Максим.

— Выполняйте приказ, — сказал Генерал. — Только раненых.

Он протянул руки и, постанывая от боли, снял тело Орди с плеча Максима. Он не мог удержать её и сразу положил на землю.

— Только раненых, — сказал он странным голосом. — Бегом... марш!

— Где мы? — спросил Мемо. — Кто тут? Где мы?

— Держитесь за мой пояс, — сказал Максим Генералу и побежал.

Мемо вскрикнул и обмяк. Голова его болталась, руки болтались, ноги поддавали Максиму в спину. Генерал, громко и сипло дыша, бежал по пятам, держась за пояс.

Они вбежали в лес. По лицу захлестали мокрые ветви. Максим увёртывался от деревьев, бросавшихся навстречу, перепрыгивая через выскакивающие пни, — это оказалось труднее, чем он думал, он был уже не тот, и воздух здесь был не тот, и вообще всё было не так, всё было неправильно, всё было ненужно и бессмысленно.

Позади оставались поломанные кусты, и кровавый след, и запах, а дороги уже давно оцеплены, рвутся с поводков собаки, и ротмистр Чачу с пистолетом в руке, каркая команды, косолапо бежит по асфальту, перемахивает кювет и первым ныряет в лес. Позади оставалась дурацкая поваленная башня, и обгоревшие легионеры, и трое мёртвых, уже закоченевших товарищей, а здесь было двое, израненных, полумёртвых, не имеющих почти никаких шансов, — и всё ради одной башни, одной дурацкой, бессмысленной, грязной, ржавой башни, одной из тысяч таких же... «Больше я никому не позволю

совершать такие глупости. «Нет, — скажу я, — я это видел...» Сколько крови, и всё за груду бесполезного ржавого железа, одна молодая глупая жизнь за ржавое железо, и одна старая глупая жизнь за жалкую надежду хоть несколько дней побыть как люди, и одна расстрелянная любовь — даже не за железо и даже не за надежду... «Если вы хотите просто выжить, — скажу я, — то зачем же так просто умираете, так дёшево умираете...» Массаракш, я не позволю им умирать, они у меня будут жить, научатся жить!.. Какой болван, как я пошёл на это, как я им позволил пойти на это?!»

Он стремглав выскочил на просёлок, держа Мемо на плече и волоча Генерала под мышки, огляделся — Малыш уже бежал к нему от межевого знака, мокрый, пахнущий пóтом и страхом.

— Это всё? — спросил он с ужасом, и Максим был ему благодарен за этот ужас.

Они дотащили раненых до мотоцикла, впихнули Мемо в коляску, а Генерала посадили на заднее седло, и Малыш привязал его к себе ремнём. В лесу было ещё тихо, но Максим знал, что это ничего не означает.

— Вперёд, — сказал он. — Не останавливайся, прорывайся...

— Знаю, — сказал Малыш. — А ты?

— Я постараюсь отвлечь их на себя. Не беспокойся, я уйду.

— Безнадёжно, — сказал Малыш с тоской, дёрнул стартёр, и мотоцикл затрещал. — Ну хоть башню-то взорвали? — крикнул он.

— Да, — сказал Максим, и Малыш умчался. Оставшись один, Максим несколько секунд стоял неподвижно, потом кинулся обратно в лес. На первой же попавшейся полянке он сорвал с себя куртку и швырнул в кусты. Потом бегом вернулся на дорогу и некоторое время бежал изо всех сил по направлению к городу; остановился, отцепил от пояса гранаты, разбросал их на дороге, продрался сквозь кусты на другой стороне, стараясь сломать как можно больше веток, бросил за кустами носовой платок и только тогда побежал прочь через лес, перестраиваясь на ровный охотничий бег, которым ему предстояло пробежать десять или пятнадцать километров.

Исполнилась бессмысленная мечта террористов...

Он бежал, ни о чём не думая, следя только за тем, чтобы не отклоняться сильно от направления на юго-запад, и выбирая место, куда ставить ногу. Дважды он пересекал дорогу, один раз — просёлочную, на которой было пусто, и другой раз — Одиннадцатое шоссе, где тоже никого не было, но здесь он впервые услышал собак. Он не мог

определить, какие это собаки, но на всякий случай дал большой крюк и через полтора часа оказался среди пакгаузов городской сортировочной станции.

Здесь светились огни, жалобно посвистывали паровозы, сновали люди. Здесь, вероятно, ничего не знали, но бежать было уже нельзя — могли принять за вора. Он перешёл на шаг, а когда мимо грузно покатился в город тяжёлый товарный состав, вскочил на первую же попавшуюся платформу с песком, залёг и так доехал до самого бетонного завода. Тут он соскочил, отряхнул песок, слегка запачкал руки мазутом и стал думать, что делать дальше.

Пробираться в дом Лесника не имело никакого смысла, а это была единственная явка поблизости. Можно было попытаться переночевать в посёлке Утки, но это было опасно — это был адрес, известный ротмистру Чачу, и, кроме того, Максиму было страшно подумать — явиться сейчас к старой Илли и рассказать ей о смерти дочери. Идти было некуда. Он зашёл в захудалый ночной трактирчик для рабочих, поел сосисок, выпил пива, подремал, привалившись к стене. Все здесь были такие же грязные и усталые, как он, рабочие после смены, опоздавшие на последний трамвай. Ему приснилась Рада, и он подумал во сне, что Гай сейчас, вероятно, в облаве, и это хорошо. А Рада его любит и примет, даст переодеться и умыться; там ещё должен остаться его гражданский костюм, тот самый, который дал ему Фанк... А утром можно будет уехать на восток, где находится вторая известная ему явка... Он проснулся, бросил на стол мятую кредитку и вышел.

Идти было недалеко и неопасно. Народу на улицах не было, только у самого дома он заметил человека — это был привратник. Привратник сидел в подъезде на своём табурете и спал. Максим осторожно прошёл мимо, поднялся по лестнице и позвонил так, как звонил всегда. За дверью было тихо, потом что-то скрипнуло, послышались шаги, и дверь приоткрылась. Он увидел Раду.

Она не закричала только потому, что задохнулась и зажала себе рот ладонью. Максим обнял её, прижал к себе, поцеловал в лоб; у него было такое чувство, как будто он вернулся домой, где его давно уже перестали ждать. Он закрыл за собой дверь, и они тихо прошли в комнату, и Рада сразу заплакала. В комнате было всё по-прежнему, только не было его диванчика, а на кровати сидел Гай в ночной рубашке и ошалело таращился на Максима испуганными, дикими от удивления глазами. Так прошло несколько минут: Максим и Гай смотрели друг на друга, а Рада плакала.

— Массаракш, — сказал наконец Гай беспомощно. — Ты живой?.. Ты не мёртвый?

— Здравствуй, дружище, — сказал Максим. — Жалко, что ты дома. Я не хотел тебя подводить. Если ты скажешь, я сразу уйду.

И сейчас же Рада крепко вцепилась в его руку.

— Ни-ку-да! — сказала она сдавленно. — Ни за что! Никуда не уйдёшь... Пусть попробует... Тогда я тоже... я не посмотрю...

Гай отшвырнул одеяло, спустил с кровати ноги и подошёл к Максиму. Он потрогал его за плечи, за руки, испачкался мазутом, вытер себе лоб, испачкал лоб.

— Ничего не понимаю, — сказал он жалобно. — Ты живой... Откуда ты взялся? Рада, перестань реветь... Ты не ранен? У тебя ужасный вид... И вот кровь...

— Это не моя, — сказал Максим.

— Ничего не понимаю, — повторил Гай. — Слушай, ты же жив! Рада, грей воду! Разбуди старого, пусть даст водки...

— Тихо, — сказал Максим. — Не шумите, за мной гонятся.

— Кто? Зачем? Чепуха какая... Рада, дай ему переодеться!.. Мак, садись, садись... Или, может быть, ты хочешь лечь? Как это получилось? Почему ты жив?..

Максим осторожно сел на краешек стула, положил руки на колени, чтобы ничего не испачкать, и, глядя на этих двоих, в последний раз глядя на них, как на своих друзей, ощущая даже какое-то любопытство к тому, что произойдёт дальше, сказал:

— Я ведь теперь преступник, ребята. Я только что взорвал башню.

Он не удивился, что они поняли его сразу, мгновенно поняли, о какой башне идёт речь, и не переспросили. Рада только стиснула руки, не отрывая от него взгляда, а Гай крякнул, фамильным жестом почесал шевелюру обеими руками и, отведя глаза, сказал с досадой:

— Болван. Отомстить, значит, решил... Кому мстишь? Эх ты, как был псих, так и остался. Ребёнок маленький... Ладно. Ты ничего не говорил, мы ничего не слышали. Ладно... Ничего не желаю знать. Рада, иди грей воду. Да не шуми там, не буди людей... Раздевайся, — сказал он Максиму строго. — Извозился, как чёрт, где тебя носит...

Максим поднялся и стал раздеваться. Сбросил грязную, мокрую рубаху (Гай увидел шрамы от пуль и гулко проглотил слюну), с отвращением стянул безобразно грязные сапоги и штаны. Вся одежда была в чёрных пятнах, и, освободившись от неё, Максим почувствовал облегчение.

— Ну вот и славно, — сказал он и снова сел. — Спасибо, Гай. Я ненадолго, только до утра, а потом уйду...

— Привратник тебя видел? — мрачно спросил Гай.

— Он спал.

— Спал... — сказал Гай с сомнением. — Он, знаешь... Ну, может быть, конечно, и спал. Спит же он когда-нибудь...

— Почему ты дома? — спросил Максим.

— В увольнении.

— Какое может быть увольнение? — сказал Максим. — Весь Легион, наверное, сейчас за городом...

— А я больше не легионер, — сказал Гай, криво усмехаясь. — Выгнали меня из Легиона, Мак. Я теперь всего-навсего армейский капрал, учу деревенщину, какая нога правая, какая — левая. Обучу — и айда на хонтийскую границу, в окопы... Такие вот у меня дела, Мак.

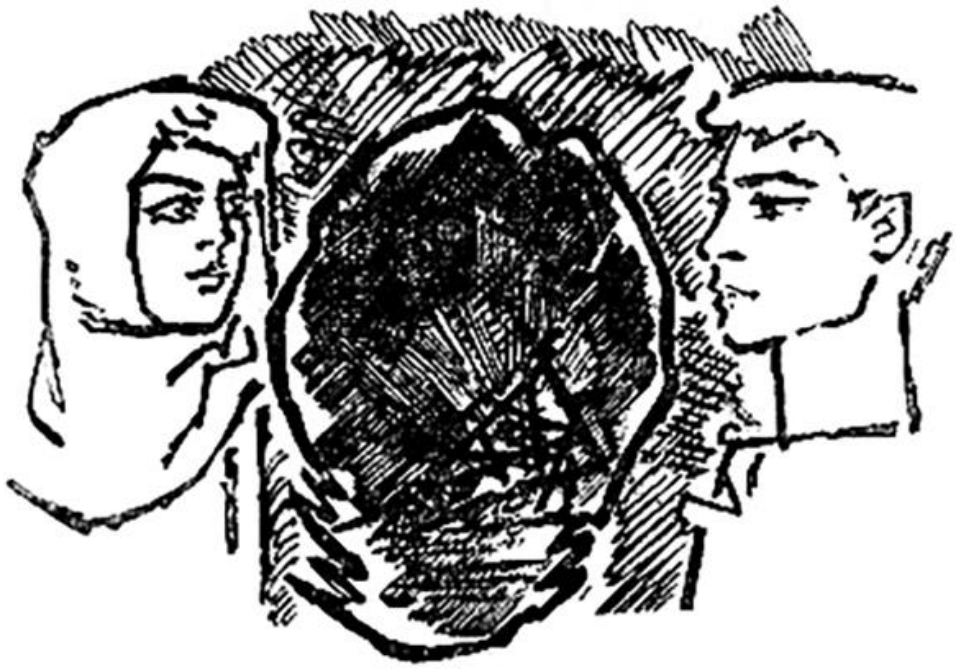
— Это из-за меня? — тихо спросил Максим.

— Да как тебе сказать... В общем, да.

Они посмотрели друг на друга, и Гай отвёл глаза. Максим вдруг подумал, что если бы Гай сейчас выдал его, то, наверное, вернулся бы в Легион и в свою заочную офицерскую школу; и ещё он подумал, что каких-нибудь два месяца назад такая мысль не могла бы прийти ему в голову. Ему стало неприятно, захотелось уйти, сейчас же, немедленно, но тут вернулась Рада и позвала его в ванную. Пока он мылся, она приготовила поесть, согрела чай, а Гай сидел на прежнем месте, подперев щёки кулаками, и на лице его была тоска. Он ни о чём не спрашивал — должно быть, боялся услышать что-нибудь страшное, что-нибудь такое, что прорвёт последнюю линию его обороны, перережет последние ниточки, ещё соединяющие его с Максимом. И Рада ни о чём не спрашивала — должно быть, ей было не до того; она не спускала с него глаз, не отпускала его руки и время от времени всхлипывала — боялась, что он вдруг исчезнет, любимый человек. Исчезнет и никогда больше не появится. И тогда Максим — времени оставалось мало — отодвинул недопитую чашку и принялся рассказывать сам.

О том, как помогла ему мать террористки, как он встретился с выродками, кто они такие, выродки, на самом деле, почему они выродки, и что такое башни, какая дьявольская, отвратительная выдумка эти башни. О том, что произошло сегодня ночью, как люди бежали на пулемёт и умирали один за другим, как рухнула эта гнусная груда мокрого железа и как он нёс мёртвую женщину, у которой отняли ребёнка и убили мужа...

Рада слушала жадно, и Гай тоже в конце концов заинтересовался, он даже стал задавать вопросы, ехидные, злые вопросы, глупые и жестокие, и Максим понял, что он ничему не верит, что всё это отталкивается от его сознания, как вода от жира, что ему неприятно это слушать и он с трудом сдерживается, чтобы не оборвать Максима.



И когда Максим закончил рассказ, он сказал, нехорошо усмехаясь:

— Здорово они обвели тебя вокруг пальца.

Максим посмотрел на Раду, но Рада отвела глаза и, покусывая губу, проговорила нерешительно:

— Не знаю... Может быть, конечно, была одна такая башня... Понимаешь, Мак, это просто не может быть, то, что ты рассказываешь...

Она говорила замирающим, тихим голоском, явно стараясь не обидеть его, просительно заглядывала ему в глаза, поглаживала по плечу, а Гай вдруг рассвирепел и стал говорить, что это же глупо, что Максим просто не представляет себе, сколько таких башен стоит по стране, сколько их строится ежегодно, ежедневно, — так неужели же эти огромные миллиарды тратятся только для того, чтобы дважды в день доставлять неприятности жалкой кучке уродов?!

— На одну охрану сколько денег уходит, — добавил он после паузы.

— Об этом я думал, — сказал Максим. — Наверное, всё действительно не так просто. Но хонтийские деньги здесь ни при чём... И потом, я сам видел: как только башня свалилась, им всем стало лучше. А что касается ПБЗ... Пойми, Гай, для защиты с воздуха башен слишком много. Чтобы перекрыть воздушное пространство, их нужно

гораздо меньше... И потом, зачем ПБЗ на южной границе? Разве у диких выродков есть баллистические средства?

— Там много чего есть, — сказал Гай зло. — Ты ничего не знаешь, а всему веришь... Извини, Мак, но если бы ты был не ты... Все мы слишком доверчивы, — горько добавил он.

Максиму больше не хотелось спорить и вообще говорить на эту тему. Он стал расспрашивать, как идёт жизнь, где работает Рада, почему не пошла учиться, как дядюшка, как соседи... Рада оживилась, принялась рассказывать, потом спохватилась, собрала грязную посуду и ушла на кухню. Гай почесался двумя руками, похмурился на тёмное окно, а потом решился и начал серьёзный мужской разговор.

— Мы тебя любим, — сказал он. — Я тебя люблю, Рада тебя любит, хотя и беспокойный ты человек и всё у нас из-за тебя пошло как-то не так. Но ведь вот в чём дело: Рада тебя не просто любит, не так, понимаешь... а как бы тебе сказать... в общем, ты понимаешь... в общем, нравишься ты ей, и всё это время она проплакала, а первую неделю даже проболела. Она девушка хорошая, хозяйственная, многие на неё заглядываются, и это не удивительно... Не знаю, как ты к ней, но что бы я тебе посоветовал? Брось ты все эти глупости, не для тебя они, не твоего ума дело, запутают тебя, сам погибнешь, многим невинным людям жизнь испортишь — ни к чему всё это. А поезжай ты обратно к себе в горы, найди своих, головой не вспомнишь — сердце подскажет, где твоя родина... Искать тебя там никто не будет, устроишься, наладишь жизнь, тогда приезжай, забирай Раду, и будет вам там хорошо. А может, мы к тому времени уже и с хонтийцами покончим. Пандею прижмём покрепче, наступит наконец мир, и заживём как люди...

Раду впихнули в комнату, и следом повалили люди в чёрных комбинезонах.

Максим слушал его и думал, что, если бы он был действительно горцем, он бы, наверное, так и поступил: вернулся бы на родину и зажил бы потихоньку с молодой женой, забыл бы обо всех этих ужасах, о сложностях... Нет, не забыл бы, а организовал бы оборону, так что чиновники Творцов и носу бы туда не сунули; а явились бы туда легионеры, бился бы у родного порога до последнего... «Только я не горец. В горах мне делать нечего, а дело моё здесь, я всего этого терпеть не намерен... Рада? Что же, Рада... если действительно любит, тогда поймёт, должна будет понять... Не хочу сейчас об этом думать, не хочу любить, не время мне сейчас любить...»

Он задумался и не сразу осознал, что в доме что-то переменилось. Кто-то ходил по коридору, кто-то шептался за стеной. И вдруг в коридоре завозились, Рада отчаянно крикнула: «Мак!..» — и сразу же замолчала, словно ей зажали рот. Он вскочил и бросился к окну, но дверь распахнулась, и на пороге появилась Рада, без кровинки в лице. Пахнуло знакомым запахом казармы, застучали, больше не таясь, подкованные сапоги, Раду впихнули в комнату, и следом повалили люди в чёрных комбинезонах, и Панди с озверелым лицом навёл на него автомат, а ротмистр Чачу, хитрый, как всегда, и умный, как всегда, стоял рядом с Радой, держа её за плечо и уперев ствол пистолета ей в бок.

— Ни с места! — крикнул он. — Пошевелишься — стреляю!

Максим замер. Он ничего не мог, ему нужно было по меньшей мере две десятых секунды, может быть, полторы, но этому убийце хватило бы и одной.

— Руки вперёд! — каркнул Чачу. — Капрал, наручники! Двойные наручники! Шевелись, массаракш!

Панди, которого Максим неоднократно на занятиях бросал через голову, с большой осторожностью приблизился, отстёгивая от пояса тяжёлую цепь. Озверелость на его лице сменилась озабоченным выражением.

— Ты смотри, — сказал он Максиму. — Ежели что, господин ротмистр её сразу... того... любовь твою...

Он защёлкнул стальные браслеты на запястьях Максима, присел на корточки и сковал ему ноги. Максим мысленно усмехнулся. Он уже знал, что будет делать дальше. Но он недооценил ротмистра. Ротмистр не отпустил Раду. Все вместе они спустились по лестнице, все вместе сели в грузовик, и ротмистр ни на секунду не отвёл пистолета. Затем в грузовик втолкнули скованного Гая. До рассвета было ещё далеко, по-прежнему моросил дождь, размытые огни едва освещали мокрую улицу. На скамьях в кузове с грохотом рассаживались легионеры, огромные мокрые псы молча рвались с поводков и, осаженные, нервно, с прискуливанием, зевали. А в подъезде, прислонившись к косяку, стоял, сложив руки на животе, привратник. Он дремал.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Государственный прокурор откинулся на спинку кресла, бросил в рот несколько сушёных ягод, пожевал и запил глотком целебной воды. Зажмурившись и придавив пальцами утомлённые глаза, он прислушался. Вокруг на многие сотни метров было хорошо. Здание

Дворца юстиции было пусто, в окна монотонно барабанил ночной дождь, не слышно было сирен и скрипа тормозов, не стучали и не жужжали лифты. И никого не было, только в приёмной за высокой дверью, тихий, как мышь, томился в ожидании приказаний ночной референт. Прокурор медленно разжмурился и сквозь плывущие цветные пятна взглянул на кресло для посетителей, сделанное по особому заказу. «Кресло надо будет взять с собой. И стол надо взять тоже, я к нему привык... А ведь жалко будет, пожалуй, уходить отсюда — нагрел местечко... И зачем мне уходить? Странно устроен человек: если перед ним лестница, ему обязательно надо вскарабкаться на самый верх. На самом верху холодно, дуют очень вредные для здоровья сквозняки, падать оттуда смертельно, ступеньки скользкие, опасные, и ты отлично знаешь это, и всё равно лезешь, карабкаешься — язык на плечо. Вопреки обстоятельствам — лезешь, вопреки любым советам — лезешь, вопреки сопротивлению врагов — лезешь, вопреки собственным инстинктам, здравому смыслу, предчувствиям — лезешь, лезешь, лезешь... Тот, кто не лезет вверх, тот падает вниз, это верно. Но и тот, кто лезет вверх, тоже падает вниз...»

Писк внутреннего телефона прервал его мысли. Он взял наушник и, досадливо морщась, сказал:

— В чём дело? Я занят.

— Ваше превосходительство... — прошелестел референт. — Некто, назвавший себя Странником, звонит по вашей личной линии и настоятельно просит разговора с вашим...

— Странник? — Прокурор оживился. — Соедините. В наушнике щёлкнуло, референт прошелестел:

— Его превосходительство вас слушает.

Снова щёлкнуло, и знакомый голос произнёс, твёрдо, по-пандейски, выговаривая слова:

— Умник? Здравствуй. Ты сильно занят?

— Для тебя — нет.

— Мне нужно поговорить с тобой.

— Когда?

— Сейчас, если можно.

— Я в твоём распоряжении, — сказал прокурор. — Приезжай.

— Я буду через десять — пятнадцать минут. Жди. Прокурор положил наушник и некоторое время сидел неподвижно, пощипывая нижнюю губу. «Явился, голубчик, — подумал он. — И опять как снег на голову. Массаракш, сколько денег я убил на этого человека, больше, наверное, чем на всех прочих, вместе взятых, а знаю о нём только то, что все прочие, взятые по отдельности. Опасная фигура.

Непредсказуемая. Испортил настроение...» Прокурор сердито посмотрел на бумаги, разложенные по столу, небрежно сгрёб их в кучу и сунул в стол. «Сколько же времени его не было?.. Да, два месяца. Как всегда. Исчез неизвестно куда, два месяца никаких сведений, и вот, пожалуйста, как чёртик из коробки... Нет, с этим чёртиком надо что-то делать, так работать нельзя... Ну хорошо, а что ему от меня нужно? Что, собственно, случилось за эти два месяца? Свалили Ловкача... Вряд ли это его интересует. Ловкача он презирал. Впрочем, он всех презирает... По его линии ничего не было, да и не придёт он ко мне из-за такой чепухи — пойдёт прямо к Канцлеру или к Барону... Может быть, нащупал что-нибудь любопытное и хочет в альянс войти? Дай бог, дай бог... А только я бы на его месте ни с кем в альянс не вступал... Может быть, процесс?.. Да нет, при чём здесь процесс. А, чего гадать, примем-ка лучше необходимые меры».

Он выдвинул потайной ящик и включил все фонографы и скрытые камеры. «Эту сцену мы сохраним для потомства. Ну, где же ты, Странник?» От возбуждения он вспотел, его ударило в дрожь; чтобы успокоиться, он бросил в рот несколько ягод, пожевал, закрыл глаза и стал считать. Когда он досчитал до семисот, дверь отворилась, и, отстранив референта, в кабинет вошёл этот верзила, этот холодный шутник, эта надежда Творцов, ненавидимый и обожаемый, ежесекундно повисающий на волоске и никогда не падающий, тощий, сутулый, с круглыми зелёными глазами, с большими оттопыренными ушами, в своей вечной нелепой куртке до колен, лысый, как локоть, чародей, вершитель, пожиратель миллиардов... Прокурор поднялся ему навстречу. С этим человеком не надо было притворяться и говорить вымученные слова.

— Привет, Странник, — сказал прокурор. — Пришёл похвастаться?

— Чем? — спросил Странник, проваливаясь в известное всем кресло и нелепо задирая колени. — Массаракш! Каждый раз я забываю про это чёртово устройство. Когда ты прекратишь издеваться над посетителями?

— Посетителю должно быть неудобно, — сказал прокурор поучающе. — Посетитель должен быть смешон, иначе какое мне от него удовольствие? Вот я сейчас смотрю на тебя, и мне весело.

— Да, я знаю, ты весёлый человек, — сказал Странник. — Только очень уж непритязательный у тебя юмор... Между прочим, ты можешь сесть.

Прокурор обнаружил, что всё ещё стоит. Как всегда, Странник быстро сровнял счёт. Прокурор сел поудобнее и хлебнул целебной дряни.

— Итак? — сказал он.

Странник приступил прямо к делу.

— У тебя в когтях, — деловито сказал он, — человек, который мне нужен. Некто Мак Сим. Ты упёк его на перевоспитание, помнишь?

— Нет, — сказал прокурор искренне. Он ощутил некоторое разочарование. — А когда я его упёк? По какому делу?

— Недавно. По делу о взрыве башни.

— А, помню... Ну и что?

— Всё, — сказал Странник. — Он мне нужен.

— Погоди, — сказал прокурор с досадой. — Процесс вёл не я, не могу же я помнить каждого осуждённого.

— А я думал, что это всё твои люди.

— Там был только один мой, остальные — настоящие... Как, ты сказал, его зовут?

— Мак Сим.

— Мак Сим... — повторил прокурор. — А! Этот горский шпион... Помню. Там с ним случилась какая-то странная история — его расстреляли, и неудачно.

— Да, кажется.

— Силач какой-то необыкновенный... Да, мне что-то докладывали... А зачем он тебе нужен?

— Это мутант, — сказал Странник. — У него любопытные ментограммы, и он мне нужен для работы.

— Вскрывать его будешь?

— Возможно. Мои люди заметили его давно, когда его ещё использовали в Специальной студии, но потом он удрал...

Прокурор, испытывая сильнейшее разочарование, набил рот ягодами.

— Ладно, — сказал он. — Ну, а как у тебя дела?

— Как всегда, прекрасно, — ответил Странник. — У тебя, я слышал, тоже. Подкопался-таки под Дергунчика. Поздравляю... Так, когда я получу своего Мака?

— Да завтра отправлю депешу, дней через пять — семь его доставят.

— Неужели даром? — сказал Странник.

— Любезность, — сказал прокурор. — А что ты можешь мне предложить?

— Первый же защитный шлем.

Прокурор усмехнулся.

— И Мировой Свет в придачу, — сказал он. — Между прочим, имей в виду: первый шлем мне не нужен. Мне нужен единственный...

Кстати, правда, что твоей банде поручили разработку направленного излучателя?

— Возможно, — сказал Странник.

— Слушай, а на кой чёрт нам это надо? Мало у нас неприятностей? Прижал бы ты эту работу, а?

Странник оскалил зубы.

— Боишься, Умник? — сказал он.

— Боюсь, — сказал прокурор. — А ты не боишься? Или ты, может быть, вообразил, что у тебя любовь с Графом на века? Он ведь тебя же твоим же излучателем...

Странник снова оскалился.

— Убедил, — сказал он. — Договорились. — Он встал. — Я сейчас к Канцлеру. Передать что-нибудь?

— Канцлер на меня сердится, — сказал прокурор. — Мне это чертовски неприятно.

— Хорошо, — сказал Странник. — Я ему это передам.

— Шутки шутками, — сказал прокурор, — а если бы ты замолвил словечко...

— Ты у нас умник, — сказал Странник голосом Канцлера. — Попробую.

— Процессом он, по крайней мере, доволен?

— Откуда я знаю! Я только что приехал.

— Ну вот, узнай... А насчёт твоего... как ты его назвал? Дай-ка я запишу...

— Мак Сим.

— Так... Насчёт него я завтра же.

— Будь здоров, — сказал Странник и вышел. Прокурор хмуро посмотрел ему вслед. «Да, можно только позавидовать. Вот положение у человека! Единственный, от кого зависит защита. Поздно сожалеть, но, может быть, следовало с ним сблизиться. Но как с ним сблизишься? Ему ничего не надо, он и так самый важный, все мы от него зависим, все мы на него молимся... Ах, взять бы такого человека за горло — как бы это было здорово! Если бы он хоть что-нибудь хотел! А то вот, пожалуйста — каторжник ему нужен, драгоценность какая... Ментограммы, видите ли, у него интересные... Вообще-то каторжник этот — горец, а Канцлер в последнее время что-то часто говорит о горах. Может, стоит заняться... Как там ещё с войной получится, а Канцлер есть Канцлер... Массаракш, работать всё равно сегодня больше невозможно...» Он сказал в микрофон:

— Кох, что у вас есть по осуждённому Симу? — Он вдруг вспомнил: — Вы, кажется, составляли по нему какую-то компиляцию...

— Так точно, ваше превосходительство, — прошелестел референт. — Я имел честь обратить внимание вашего...

— Давайте сюда. И принесите ещё воды.

Он положил наушник, и тотчас в двери появился неосязаемый, как тень, референт. Перед прокурором легла на стол толстая папка, тихонько звякнуло стекло, булькнула вода, и рядом с папкой возник полный стакан. Прокурор отхлебнул, разглядывая папку.

«Извлечение из дела Мака Сима (Максима Каммерера). Подготовил референт Кох». «Толстая-то какая, ничего себе извлечение...» Он раскрыл папку и взял первую пачку сброшюрованных листков.

Показания ротмистра Тоота... Показания подсудимого Гаала... Кроки какого-то пограничного района за Голубой Змеёй... «Другой одежды на нём не было. Речь показалась мне членораздельной, но совершенно непонятной. Попытка заговорить с ним по-хонтийски не привела ни к чему...» Ох уж эти мне пограничные ротмистры! Хонтийский шпион на южной границе... «Рисунки, выполненные задержанным, показались мне искусными и удивительными...» Ну, за Голубой Змеёй много удивительного. К сожалению. И обстоятельства появления этого Сима не слишком выделяются на фоне прочих тамошних обстоятельств. Хотя, конечно... Но посмотрим...

Прокурор отложил пачку, выбрал две ягодки покрупнее, сунул в рот и взял следующий лист. «Заключение экспертной комиссии в составе сотрудников Института тканей и одежды... «Мы, нижеподписавшиеся...» Гм... так... так... «...обследовали всеми доступными нам лабораторными методами ткань предмета одежды, присланного нам из Департамента юстиции... («Чепуха какая-то».) и пришли к следующему заключению: 1. Указанный предмет представляет собой короткие штаны четвёртого размера второго роста, каковые могут быть использованы для ношения как мужчинами, так и женщинами; 2. Покрой штанов не может быть отнесён к какому-либо известному стандарту и не может, собственно, называться докроем, ибо штаны не сшиты, а изготовлены неким способом, нам неизвестным; 3. Штаны изготовлены из мягкой упругой ткани серебристого цвета, каковая, собственно, не может быть названа тканью, ибо даже микроскопическое исследование не обнаружило в ней структуры. Материал этот не горюч, не смачиваем и обладает чрезвычайной прочностью на разрыв. Химический анализ...» Странные штаны. Надо понимать, что это его штаны... Прокурор взял тонко отточенный карандаш и написал на полях: «Референту. Почему не даёте сопроводительного объяснения? Чьи штаны? Откуда штаны?» Так... А выводы? Формулы... опять формулы... Массаракш, снова формулы... Ага! «...Технология не

известна ни в нашей стране, ни в других цивилизованных государствах (по довоенным данным)».

Прокурор отложил заключение. Ну, штаны... пусть. Штаны есть штаны... Что там дальше? «Акт медицинского освидетельствования». Любопытно. Что, это у него такое кровяное давление?.. Ого, вот это лёгкие!.. Что такое? Следы четырёх смертельных ранений... Это уже мистика. Ага... «Смотри показания свидетеля Чачу и обвиняемого Гаала». Семь пуль, однако! Гм... Некоторое расхождение имеет место: Чачу показывает, что применил оружие в видах самообороны и под угрозой смерти, а этот Гаал утверждает, будто Сим только хотел отобрать у Чачу пистолет. Ну, это не моё дело... Две пули в печень — это слишком много для нормального человека... Та-ак, скручивает монетки в трубочку... бежит с человеком на плечах... Ага, это я уже читал. Помнится, на этом месте я подумал, что парень на редкость здоровенный и что обычно такие глупы. И дальше читать не стал... А это что? А-а, старый приятель... «Извлечение из донесения агента № 711». «...Видит совершенно отчётливо дождливой ночью (может даже читать) и в полной темноте (различает предметы, видит выражение лица на расстоянии до десяти метров)... обладает очень чувствительным нюхом и вкусом — различал членов группы по запаху на расстоянии до пятидесяти метров, на спор различал напитки в плотно закупоренных сосудах... ориентируется по странам света без компаса... с большой точностью определяет время без часов... Имел место следующий случай: была куплена и сварена рыба, которую он запретил нам есть, утверждая, что она радиоактивная. Будучи проверена радиометром, рыба действительно оказалась радиоактивной. Обращаю внимание на тот факт, что сам он эту рыбу съел, сказавши, что ему она не опасна, и действительно остался здоров, хотя излучение превышало тройную санитарную норму (почти 77 единиц) ...»

Прокурор откинулся в кресле. «Нет, это уже слишком. Может быть, он ещё и бессмертен заодно? Да, Страннику всё это должно быть интересно. Посмотрим, что там дальше. Вот серьёзный документ. «Заключение Особой комиссии Департамента общественного здоровья. Материал: Мак Сим. Реакция на белое излучение отсутствует. Противопоказаний к несению службы в специальных войсках не имеется». Ага... Это когда он вербовался в Легион. Белое излучение, массаракш... Палачи, чёрт бы их побрал!.. А это, значит, их экспертиза для целей следствия... «Будучи испытан на белое излучение различных интенсивностей, вплоть до максимальной, никакой реакции не обнаружил. Реакция на А-излучение нулевая в обоих смыслах. Реакция на Б-излучение нулевая. Примечание: считаем своим долгом

присовокупить, что данный материал (Мак Сим, ок. 20 лет) представляет опасность ввиду возможных генетических последствий. Рекомендуется полная стерилизация или уничтожение...». Ого! Эти не шутят. Кто там у них сейчас? А, Любитель. Да, не шутник, не шутник, что и говорить. Помнится, Весельчак-Жеребчик рассказывал по этому поводу отличный анекдот... Массаракш, не помню... А хорошо, никого вокруг нет. Вот мы сейчас ягодку съедим, водичкой запьём... Экая гадость, но, говорят, помогает... Ладно. Что дальше?

О-о, он уже и там успел побывать! Ну-ка, ну-ка... Опять, наверное, реакция нулевая... «Подвергнутый форсированным методам, подследственный Сим показаний не дал. В соответствии с параграфом 12 относительно непричинения видимых физических повреждений подследственным, коим предстоит выступить в открытом судебном заседании, применялись только: А. Иглохирургия до самой глубокой с проникновением в нервные узлы (реакция парадоксальная, форсируемый засыпает); Б. Хемообработка нервных узлов алкалоидами и щелочами (реакция аналогичная); В. Световая камера (реакции нет, форсируемый удивлён); Г. Паротермическая камера (потеря веса без неприятных ощущений). На этом последнем применение форсированных методов пришлось прекратить». Бр-р-р... Ну и бумага! Да, Странник прав: это какой-нибудь мутант. Нормальные люди так не могут... Да, я слыхал, что случаются удачные мутации, правда редко... Это всё объясняет... кроме штанов, впрочем. Штаны, насколько я понимаю, не мутируют...»

Он взял следующий лист. Бумага оказалась неинтересной: показание директора Специальной студии. «Дурацкое заведение. Записывают бред разных психов на потеху почтеннейшей публики. Помнится, эту студию придумал Калу-Мошенник, который сам был немного того... Надо же, сохранилась студия! Мошенника давно уже нет, а идея его бредовая процветает... Из показаний директора следует, что Сим был образцовым объектом и что крайне желательно было бы получить его назад... Стоп, стоп, стоп! «Передан в распоряжение Департамента специальных исследований на основании ордера номер такой-то от такого-то числа...» И вот он, ордер, и подписан он Фанком... Прокурор ощутил некое слабое озарение. Фанк... Что-то ты здесь, Странник... Нет, не будем спешить с выводами. Он досчитал до тридцати, чтобы успокоиться, и взял следующую бумагу, вернее, довольно толстую пачку бумаг: «Извлечение из акта Специальной этнолингвистической комиссии по проверке предположения о горском происхождении М. Сима».

Он начал рассеянно читать, всё ещё думая о Фанке и о Страннике, но неожиданно для себя заинтересовался. Это было любопытное исследование, в котором сводились воедино и обсуждались все доносы, показания и свидетельства очевидцев, так или иначе затрагивающие вопросы о происхождении Мака Сима; антропологические, этнографические, лингвистические данные и их анализ; результаты изучения фонограмм, ментограмм и собственноручных рисунков подследственного. Всё это читалось как роман, хотя выводы были весьма скудны и осторожны. Комиссия не причисляла М. Сима ни к одной из известных этнических групп, обитающих на материке. (Особняком было приведено мнение известного палеоантрополога Шапшу, который усмотрел в черепе подследственного большое сходство, но не идентичность с ископаемым черепом так называемого Человека Древнего, жившего на Архипелаге более ста пятидесяти тысяч лет назад.) Комиссия утверждала полную психическую нормальность подследственного в настоящий момент, но допускала, что в недавнем прошлом он мог страдать одной из форм амнезии в совокупности с интенсивным вытеснением истинной памяти памятью ложной Комиссия произвела лингвистический анализ фонограмм, оставшихся в архиве Специальной студии, и пришла к выводу, что язык, на котором в то время говорил подследственный, не может быть причислен ни к одной группе известных современных или мёртвых языков. По этому поводу комиссия допускала, что этот язык мог быть плодом воображения подследственного (так называемый рыбий язык), тем более что в настоящее время он, по собственному утверждению, этого языка больше не помнит. Комиссия воздерживается от определённых выводов, но склонна полагать, что в лице М. Сима приходится иметь дело с неким мутантом неизвестного ранее типа... «Хорошие идеи приходят в умные головы одновременно», — с завистью подумал прокурор и быстро пробежал «Особое мнение члена комиссии профессора Поррумоварруи». Профессор, сам горец по происхождению, напоминал о существовании в глубине гор полулегендарной страны Зартак, населённой племенем Птицеловов, которое до сих пор не попало в поле зрения этнографии и которому цивилизованные горцы приписывают владение магическими науками и способность летать по воздуху без аппаратов. Птицеловы, по рассказам, чрезвычайно рослы, обладают огромной физической силой и выносливостью, а также имеют кожу коричнево-золотистого оттенка. Всё это удивительно совпадает с физическими особенностями подследственного... Прокурор поиграл карандашиком над профессором Порру... и так далее, потом отложил

карандаш и громко сказал: «Под это мнение, пожалуй, и штаны подойдут. Несгораемые штаны...»

Он съел ягодку и проглядел следующий лист: «Извлечение из стенограммы судебного процесса». Гм... Это ещё зачем?

«ОБВИНИТЕЛЬ. Вы не будете отрицать, что вы — образованный человек?

ОБВИНЯЕМЫЙ. Я имею образование, но в истории, социологии и экономике разбираюсь очень плохо.

ОБВИНИТЕЛЬ. Не скромничайте. Вам знакома эта книга?

ОБВИНЯЕМЫЙ. Да.

ОБВИНИТЕЛЬ. Вы читали её?

ОБВИНЯЕМЫЙ. Естественно.

ОБВИНИТЕЛЬ. С какой целью вы, находясь под следствием, в тюрьме, занялись чтением монографии «Тензорное исчисление и современная физика»?

ОБВИНЯЕМЫЙ. Не понимаю... Для удовольствия... с целью развлечения, если угодно... Там есть очень забавные страницы.

ОБВИНИТЕЛЬ. Я думаю, суду ясно, что только очень образованный человек станет читать столь специальное исследование для развлечения и для удовольствия...» Что за чушь? Зачем мне это подсовывают? А дальше? Массаракш, опять процесс...

«ЗАЩИТНИК. Вам известно, какие средства выделяют Огненосные Творцы на преодоление детской преступности?

ОБВИНЯЕМЫЙ. Не совсем вас понимаю. Что такое «детская преступность»? Преступления против детей?

ЗАЩИТНИК. Нет. Преступления, совершаемые детьми.

ОБВИНЯЕМЫЙ. Я не понимаю. Дети не могут совершать преступлений...»

Гм, забавно... А что там в конце?

«ЗАЩИТНИК. Я надеюсь, мне удалось показать суду наивность моего подзащитного, доходящую до житейского идиотизма. Ему неведомы понятия детской преступности, благотворительности, социального вспомоществования...»

Прокурор улыбнулся и отложил листок. Понятно. Действительно, странное сочетание: математика и физика для удовольствия, а элементарных вещей не знает. Прямо-таки чудак-профессор из дрянного романа.

Прокурор просмотрел ещё несколько листков. «Непонятно, Мак, что это ты так держишься за эту девочку... как её... Рада Гаал.

Любовной связи у тебя с нею нет, ничем ты ей не обязан, и общего у вас нет с нею ничего: дурак обвинитель совершенно напрасно пытается припутать её к подполью... А создаётся впечатление, что, держа её под прицелом, можно заставить тебя делать всё, что угодно. Очень полезное качество для нас, а для тебя очень неудобное... Та-ак, в общем, все эти показания сводятся к тому, что ты, братец, раб своего слова и вообще человек негибкий. Политический деятель из тебя бы не получился. И не надо... Гм, фотографии... Вот ты какой. Приятное лицо, очень, очень... Глаза странноватые... Где это тебя снимали? На скамье подсудимых... Гляди-ка, свеж, бодр, глаза ясные, поза непринуждённая. Где это тебя научили так изящно сидеть и вообще держаться, ведь скамья подсудимых вроде моего кресла, непринуждённо на ней не посидишь... Любопытный человечек... Впрочем, всё это вздор, не в этом дело».

Прокурор вылез из-за стола и прошёлся по кабинету. Что-то сладко щекотало в мозгу, что-то возбуждало и подталкивало... «Что-то я нашёл в этой папке... что-то важное... что-то важнейшее... Фанк? Да, это важно, потому что Странник употребляет своего Фанка только по очень важным, самым важным делам. Но Фанк — это только подтверждение, а что же главное? Штаны... Чепуха... А! Да-да-да. Этого в папке нет». Он взял наушник.

— Кох. Что там было с нападением на конвой?

— Четырнадцать суток назад, — сейчас же зашелестел референт, словно читая заранее подготовленный текст, — в восемнадцать часов тридцать три минуты на полицейские машины, переправлявшие подсудимых по делу номер 6981-84 из здания суда в городскую тюрьму, было совершено вооружённое нападение. Нападение было отбито, в перестрелке один из нападавших был тяжело ранен и умер, не приходя в сознание. Труп не опознан. Дело о нападении прекращено.

— Чья работа?

— Выяснить не удалось. Официальное подполье не имеет к этому никакого отношения.

— Соображения?

— Возможно, действовали террористы, пытавшиеся освободить подсудимого Дэка Потту, по кличке Генерал, известен тесными связями с левым крылом...

Прокурор бросил наушник. Что ж, всё это может быть. И всё это может быть не так... Ну-ка, перелистаем ещё раз. Южная граница, дурак ротмистр... Штаны... Бежит с человеком на плечах... Радиоактивная рыба, 77 единиц... Реакция на А-излучение... Хемообработка нервных узлов... Стоп! Реакция на А-излучение. «Реакция на А-

излучение нулевая в обоих смыслах». Нулевая. В обоих смыслах. Прокурор прижал ладонью забившееся сердце. Идиот! НУЛЕВАЯ В ОБОИХ СМЫСЛАХ!

Он снова схватил наушник.

— Кох! Немедленно подготовить специального курьера с охраной. Отдельный вагон на юг... Нет! Мою электромотриссу... Массаракш! — Он сунул руку в ящик и выключил все регистрирующие аппараты. — Действуйте!

Всё ещё прижимая левую руку к сердцу, он извлёк из бювара личный бланк и стал быстро, но разборчиво писать: «Государственная важность. Совершенно секретно. Генерал-коменданту Особого Южного Округа. Под личную сугубую ответственность — к срочному неукоснительному исполнению. Немедленно передать в опеку подателю сего осуждённого каторжника Мака Сима, дело № 6983. С момента передачи считать воспитуемого Мака Сима пропавшим без вести, о чём иметь в архивах соответствующие документы. Государственный прокурор...»

Он схватил второй бланк: «Предписание. Настоящим приказываю всем чинам военной, гражданской и железнодорожной администрации оказывать предъявителю сего, специальному курьеру государственной прокуратуры с сопровождающей его охраной, содействие по категории ЭКСТРА. Государственный прокурор...»

Потом он допил стакан, налил ещё и уже медленно, обдумывая каждое слово, начал на третьем бланке: «Дорогой Странник! Получилась глупая история. Как только что выяснилось, интересующий тебя материал пропал без вести, как это частенько бывает в южных джунглях...»

Часть четвёртая
КАТОРЖНИК

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Первым выстрелом ему раздробило гусеницу, и оно впервые за двадцать с лишним лет покинуло разъезженную колею, выворачивая обломки бетона, вломилось в чащу и начало медленно поворачиваться на месте, с хрустом наваливаясь широким лбом на кустарник, отталкивая от себя содрогающиеся деревья. И когда оно показало необъятную грязную корму с болтающимся на ржавых заклёпках листом железа, Зеф аккуратно и точно, так, чтобы, упаси бог, не задеть котла, всадил ему фугасный заряд в двигатель — в мускулы, в сухожилия, в нервные сплетения, — и оно ахнуло железным голосом, выбросило из сочленений клуб раскалённого дыма и остановилось навсегда; но что-то ещё жило в его нечистых бронированных недрах, какие-то уцелевшие нервы ещё продолжали посылать бессмысленные сигналы, ещё включались и тут же выключались аварийные системы, шипели, плевались пеной, и оно ещё дрябло трепетало, еле-еле скребя уцелевшей гусеницей, и грозно и бессмысленно, как брюхо раздавленной осы, поднималась и опускалась над издыхающим драконом облезлая решётчатая труба ракетной установки. Несколько секунд Зеф смотрел на эту агонию, а потом повернулся и пошёл в лес, волоча гранатомёт за ремень. Максим и Вепрь двинулись следом, и они вышли на тихую лужайку, которую Зеф наверняка заприметил ещё по пути сюда, повалились в траву, и Зеф сказал:

— Закурим.

Он свернул цигарку однорукому, дал ему прикурить и закурил сам. Максим лежал, положив подбородок на руки, и сквозь редколесье всё смотрел, как умирает железный дракон — жалобно дребезжит какими-то последними шестерёнками и со свистом выпускает из разодранных внутренностей струи радиоактивного пара.

— Вот так и только так, — сказал Зеф менторским тоном. — А если будешь делать не так, надеру уши.

— Почему? — спросил Максим. — Я хотел его остановить.

— А потому, — ответил Зеф, — что граната могла рикошетом засадить в ракету, и тогда нам был бы капут.

— Я целился в гусеницу, — сказал Максим.

— А надо целиться в корму, — сказал Зеф. Он затянулся. — И вообще, пока ты новичок, никуда не суйся первым. Разве что я тебя попрошу. Понял?

— Понял, — сказал Максим.

Все эти тонкости Зефа его не интересовали. И сам Зеф его не очень интересовал. Его интересовал Вепрь. Но Вепрь, как всегда, равнодушно молчал, положив искусственную руку на обшарпанный кожух миноискателя. Всё было, как всегда. И всё было не так, как хотелось.

Когда неделю назад новоприбывших каторжников выстроили перед бараками, Зеф прямо подошёл к Максиму и взял его в свой сто четырнадцатый отряд сапёров. Максим обрадовался. Он сразу узнал эту огненную бородищу и квадратную коренастую фигуру, и ему было приятно, что его узнали в этой душной клетчатой толпе, где всем было наплевать на каждого и никому ни до кого не было дела. Кроме того, у Максима были все основания предполагать, что Зеф — бывший знаменитый психиатр Аллу Зеф, человек образованный и интеллигентный, не чета полууголовному сброду, которым был набит арестантский вагон, — как-то связан с подпольем. А когда Зеф привёл его в барак и указал место на нарах рядом с одноруким Вепрем, Максим решил было, что судьба его здесь окончательно определилась. Но очень скоро он понял, что ошибся. Вепрь не пожелал разговаривать. Он выслушал торопливый, шёпотом, рассказ Максима о судьбе группы, о взрыве башни, о процессе, неопределённо, сквозь зевок, промямлил: «Бывает и не такое...» — и лёг, отвернувшись. Максим почувствовал себя обманутым, и тут на нары забрался Зеф. «Здорово я сейчас нажрался», — сообщил он Максиму и без всякого перехода, нахально, с примитивной назойливостью принялся вытягивать из него имена и явки. Может быть, он когда-нибудь и был знаменитым учёным, образованным и интеллигентным человеком, может быть, и даже наверняка, он имел какое-то отношение к подполью, но сейчас он производил впечатление обыкновенного отъевшегося провокатора, решившего от нечего делать, на сон грядущий, обработать глупого новичка. Максим отделался от него не без труда, а когда Зеф вдруг захрапел сытым довольным храпом, ещё долго лежал без сна, вспоминая, сколько раз его здесь уже обманывали люди и обстоятельства.

Нервы его расходились. Он вспомнил процесс, явно подготовленный ещё до того, как группа получила приказ напасть на башню; и письменные доносы какой-то гадины, которая знала о группе всё и была, может быть, даже членом группы; и фильм, заснятый с башни во время нападения, и свой стыд, когда он узнал на экране себя

самого, палящего из автомата по прожекторам... нет, по юпитерам, освещавшим сцену этого страшного спектакля... В наглухо закупоренном бараке было отвратительно душно, кусались паразиты, воспитуемые бредили, а в дальнем углу барака при свете самодельной свечки резались в карты и хрипло орали друг на друга уголовники.

А на другой день обманул Максима и лес. Здесь шагу нельзя было ступить, не наткнувшись на железо: на мёртвое, проржавевшее насквозь железо; на притаившееся железо, готовое во всякую минуту убить; на тайно шевелящееся, целящееся железо; на движущееся железо, слепо и бестолково распахивающее остатки дорог. Земля и трава отдавали ржавчиной, на дне лощин копились радиоактивные лужи, птицы не пели, а хрипло вопили, словно в предсмертной тоске, животных не было, и не было даже лесной тишины — то справа, то слева бухали и грохотали взрывы, в ветвях клубилась сизая гарь, а порывы ветра доносили рёв изношенных двигателей... И так пошло: день — ночь, день — ночь. Днём они уходили в лес, который не был лесом, а был древним укреплённым районом. Он был буквально нафарширован автоматическими боевыми устройствами, панцервагенами, самоходными баллистами, ракетами на гусеницах, огнемётами, газомётами, и всё это не умерло за двадцать с лишним лет, всё продолжало жить своей ненужной механической жизнью, всё продолжало целиться, наводиться, изрыгать свинец, огонь, смерть, и всё это нужно было задавить, взорвать, убить, чтобы расчистить трассу для строительства новых излучающих башен. А ночью Вепрь по-прежнему молчал, а Зеф снова и снова приставал к Максиму с расспросами и был то прямолинеен до глупости, то хитроумен и ловок на удивление. И была грубая пища, и странные песни каторжников, и кого-то били по лицу легионеры, и дважды в день все в бараках и в лесу корчились под лучевыми ударами, и раскачивались на ветру повешенные беглые... День — ночь, день — ночь... Освенцим, лагерь уничтожения. Фашизм.

— Зачем вы хотели его остановить? — спросил вдруг Вепрь.

Максим быстро сел. Это был первый вопрос, который ему задал однорукий.

— Я хотел посмотреть, как он устроен.

— Бежать собрались?

Максим покосился на Зефа и сказал:

— Да нет, дело не в этом. Всё-таки боевая машина...

— А зачем вам боевая машина? — спросил Вепрь. Он говорил так, словно рыжего провокатора здесь не было.

— Не знаю, — проговорил Максим. — Над этим ещё надо подумать. Их здесь много таких?

— Много, — вмешался рыжий провокатор. — И машин здесь много, и дураков здесь тоже всегда хватало... — Он зевнул. — Сколько раз уже пробовали. Залезут, покопаются-покопаются, да и бросят. А один дурак — вот вроде тебя, — тот и вовсе взорвался.

— Ничего, я бы не взорвался, — холодно сказал Максим. — Эта машина не из сложных.

— А зачем она вам всё-таки? — спросил однорукий. Он курил, лёжа на спине, держа, сигарету в искусственных пальцах. — Предположим, вы наладите её. Что дальше?

— На прорыв через мост, — сказал Зеф, хохотнув.

— Почему бы и нет? — спросил Максим. Он положительно не знал, как себя держать. Этот рыжий, кажется, всё-таки не провокатор. Массаракш, чего они вдруг пристали?

— Вы не доберётесь до моста, — сказал однорукий. — Вас тридцать три раза расстреляют. А если даже доберётесь, то увидите, что мост разведён.

— А по дну реки?

— Река радиоактивна, — сказал Зеф и сплюнул. — Если бы это была человеческая река, не надо было бы никаких танков. Переплывай её в любом месте, берега не охраняются. — Он снова сплюнул. — Впрочем, тогда бы они охранялись... Так что, юноша, не размахивай руками. Ты попал сюда надолго, приспосабливайся. Приспособишься — дело будет. А не станешь слушаться старших, ещё сегодня можешь узреть Мировой Свет...

— Убежать нетрудно, — сказал Максим. — Убежать я мог бы прямо сейчас...

— Ай да ты! — восхитился Зеф.

— ...и, если вы намерены и дальше играть в конспирацию... — продолжал Максим, демонстративно обращаясь только к Вепрю, но Зеф снова прервал его.

— Я намерен выполнить сегодняшнюю норму, — заявил он, поднимаясь. — Иначе нам не дадут жрать. Пошли!

Он ушёл вперёд, шагая вперевалку между деревьями, а Максим спросил однорукого:

— Разве он тоже подпольщик?

Однорукий быстро взглянул на него и сказал:

— Что вы, как можно!

Они пошли за Зефом, стараясь ступать след в след. Максим шёл замыкающим.

— За что же он здесь?

— За неправильный переход улицы, — сказал однорукий, и у Максима опять пропала охота разговаривать.

Они не прошли и сотни шагов, как Зеф скомандовал: «Стой!» — и началась работа. «Ложись!» — заорал Зеф. Они бросились плашмя на землю, а толстое дерево впереди с протяжным скрипом повернулось, выдвинуло из себя длинный тонкий орудийный ствол, пошевелило им из стороны в сторону, как бы примериваясь, затем что-то зажужжало, раздался щелчок, и из чёрного дула лениво выползло облачко жёлтого дыма. «Протухло», — сказал Зеф деловито и поднялся первым, отряхивая штаны. Дерево с пушкой они подорвали. Потом было минное поле, потом холм-ловушка с пулемётом, который не протух и долго прижимал их к земле, грохоча на весь лес; потом они попали в настоящие джунгли колючей проволоки, еле продрались, а когда всё-таки продрались, по ним открыли огонь откуда-то сверху, всё вокруг рвалось и горело. Максим ничего не понимал, однорукий молча и спокойно лежал лицом вниз, а Зеф палил из гранатомёта в небо и вдруг заорал: «Бегом, за мной!» — и они побежали, а там, где они только что были, вспыхнул пожар. Зеф ругался страшными словами, однорукий посмеивался. Они забрались в глухую чащу, но тут вдруг засвистело, засопело, и сквозь ветви повалили зеленоватые облака ядовитого газа, и опять надо было бежать, продираться через кусты, и Зеф опять ругался страшными словами, а однорукого мучительно тошнило...

Потом Зеф наконец притомился и объявил отдых. Они разожгли костёр, и Максим, как младший, принялся готовить обед — варить суп из консервов в том самом котелке. Зеф и однорукий, чумазые, ободранные, лежала тут же и курили. У Вепря был замученный вид, он был уже стар, ему приходилось труднее всех.

— Уму непостижимо, — сказал Максим, — как это мы ухитрились проиграть войну при таком количестве техники на квадратный метр.

— Что значит «ухитрились проиграть»? — возразил однорукий. — Эту войну проиграли все. Выиграли только Огненосные Творцы.

— К сожалению, мало кто это понимает, — сказал Максим, помешивая похлёбку.

— Отвык я от таких разговоров, — сказал Зеф. — У нас тут всё больше «Молчать, воспитуемый!» да «считаю до одного» ... Эй, парень, как тебя...

— Максим.

— Да, верно... Ты, Мак, помешивай, помешивай. Смотри, если пригорит!

Максим помешивал. А потом Зеф заявил, что пора, сил больше нет терпеть. В полном молчании они съели суп. Максим чувствовал: что-то изменилось, что-то сегодня будет сказано. Но после обеда однорукий снова улёгся и стал глядеть в небо, а Зеф с неразборчивым ворчанием забрал котелок и принялся вымазывать дно коркой хлеба.

— Подстрелить бы что-нибудь... — бормотал он. — В брюхе пусто, как и не ел... только аппетит растравил...

Чувствуя неловкость, Максим попытался завести разговор об охоте в этих местах, но его не поддержали. Однорукий лежал с закрытыми глазами и, казалось, спал. Зеф, дослушав до конца Максимовы соображения, проворчал только:

— Какая здесь охота, всё грязное, активное... — и тоже повалился на спину.

Максим вздохнул, взял котелок и побрёл к ручейку, который слышался неподалёку. Вода в ручейке была прозрачная, на вид чистая и вкусная, так что Максиму захотелось попить, и он зачерпнул горстью. Увы, мыть котелок здесь было нельзя, да и пить не стоило: ручеёк был заметно радиоактивный. Максим присел на корточки, поставил котелок рядом и задумался.

Сначала он почему-то подумал о Раде, как она всегда мыла посуду после еды и не разрешала помогать под нелепым предлогом, что это — дело женское. Он вспомнил, что она его любит, и ощутил гордость, потому что до сих пор его не любила ещё никакая женщина. Ему очень захотелось увидеть Раду, и он тут же, с крайней непоследовательностью, подумал, как это хорошо, что её здесь нет. Здесь не место даже для самых скверных мужчин, сюда надо было бы пригнать тысяч двадцать кибердворников, а может быть, просто распылить все эти леса со всем содержимым и вырастить новые, весёлые или пусть даже мрачные, но чистые и с мрачностью природной.

Потом он вспомнил, что сослан сюда навечно, и подивился наивности тех, кто сослал его сюда и, не взявши с него никакого слова, вообразил, будто он станет добровольно тут существовать, да ещё помогать им тянуть через эти леса линию лучевых башен. В арестантском вагоне говорили, что леса тянутся на юг на сотни километров, а военная техника встречается даже в пустыне... «Ну нет, я здесь не задержусь. Массаракш, ещё вчера я эти башни валил, а сегодня буду расчищать для них место? Хватит с меня... Так. Уясним положение».

Несколько минут он уяснял положение.

«Вепрь мне не верит. Зефу он верит, а мне — нет. А я не верю Зефу, и, кажется, напрасно. Наверное, я кажусь Вепрю таким же назойливо-подозрительным, каким мне кажется Зеф... Ну хорошо, Вепрь мне не

верит, значит, я опять один. Можно, конечно, надеяться на встречу с Генералом или с Копытом, но это слишком маловероятно. Можно, конечно, попытаться сколотить группу из незнакомых, но — массаракш! — надо быть честным с самим собой: я для этого не гожусь. Пока я для этого не годен. Слишком доверчив... Погоди, давай всё-таки уясним задачу. Чего я хочу?»

Несколько минут он уяснял задачу.

«Вот если бы Гай был здесь... Но Гая в наказание услали в какую-то особую часть с очень странным названием. Что-то вроде Blitzräger'ы — «носители молнии». Да, скорее всего, придётся одному.

Во всяком случае, отсюда надо уходить. Я, конечно, попытаюсь собрать какую-нибудь группу, но, если не получится, уйду один... И обязательно — танк. Здесь оружия — на сто армий... Потрёпанное, правда, за двадцать лет, да ещё автоматическое, но надо попытаться его приспособить... Неужели Вепрь мне так и не поверит?» — подумал он почти с отчаянием, подхватил котелок и побежал обратно к костру.

Зеф и Вепрь не спали; они лежали голова к голове и о чём-то тихо, но горячо спорили. Увидев Максима, Зеф торопливо сказал: «Хватит!» — и поднялся. Задрав рыжую бородищу и выкатив глаза, он заорал:

— Где тебя носит, массаракш? Кто тебе разрешил уходить? Работать надо, а не то жрать не дадут, тридцать три раза массаракш!

И тут Максим взбеленился. Кажется, впервые в своей жизни он гаркнул на человека во весь голос:

— Чёрт бы вас подрал, Зеф! Вы можете ещё о чем-нибудь думать, кроме жратвы? Целый день я только и слышу от вас: жрать, жрать, жрать! Можете сожрать мои консервы, если это так вас мучает!..

Он швырнул оземь котелок и, схватив рюкзак, принялся продевать руки в ремни. Присевший от акустического удара Зеф ошеломлённо смотрел на него, потом раздалось бульканье, всхрапывание, и Зеф загоготал на весь лес. Однорукий вторил ему, что было только видно, но не слышно. Максим не выдержал и тоже засмеялся, несколько смущённый.

— Массаракш, — прохрипел наконец Зеф. — Вот это голосина!.. Нет, дружище, — обратился он к Вепрю, — ты попомни мои слова. А впрочем, я сказал: хватит... Встать! — заорал он. — Вперёд, если хотите... гм... жрать сегодня вечером.

И всё. Поорали, посмеялись, посерьёзнели и отправились дальше. Максим с ожесточением разряжал мины, выламывал из гнёзд спаренные пулемёты, свинчивал боеголовки у зенитных ракет, торчавших из раскрытых люков; снова были огонь, шипящие струи

слезоточивых газов, отвратительный смрад от разлагающихся трупов животных, расстрелянных автоматами. Они стали ещё грязнее, ещё злее, ещё оборваннее, а Зеф хрипел Максиму: «Вперёд, вперёд! Жрать хочешь — вперёд!», а однорукий Вепрь окончательно вымотался и еле тащился далеко позади, опираясь на свой миноискатель, как на клюку...

За эти часы Зеф осточертел Максиму окончательно, и Максим даже обрадовался, когда рыжебородый вдруг взревел и с шумом провалился под землю. Максим, вытирая пот с грязного лба грязным рукавом, неторопливо подошёл и остановился на краю мрачной узкой щели, скрытой в траве. Щель была глубокая, непроглядная, из неё несло холодом и сыростью, ничего не было видно, и слышался только какой-то хруст, дребезг и невнятная ругань. Прихрамывая, подошёл Вепрь, тоже заглянул в щель и спросил Максима:

— Он там? Что он там делает?

— Зеф! — позвал Максим, нагнувшись. — Где вы там, Зеф?

Из щели гулко донеслось:

— Спускайтесь сюда! Прыгайте, здесь мягко... Максим поглядел на однорукого. Тот покачал головой.

— Это не для меня, — сказал он. — Прыгайте, а я потом спущу вам верёвку.

— Кто здесь? — заорал вдруг внизу Зеф. — Стрелять буду, массаракш!

Максим спустил ноги в щель, оттолкнулся и прыгнул. Почти сейчас же он по колени погрузился в рыхлую массу и сел. Зеф был где-то рядом. Максим закрыл глаза и несколько секунд посидел, привыкая к темноте.

— Иди сюда, Мак, тут кто-то есть, — прогудел Зеф. — Вепрь! — крикнул он. — Прыгай!

Вепрь ответил, что устал как собака и с удовольствием посидит наверху.

— Как хочешь, — сказал Зеф. — Но, по-моему, это — Крепость. Потом пожалеешь...

Однорукий ответил невнятно, голос у него был слабый: его, кажется, опять мутило и было ему не до Крепости. Максим открыл глаза и огляделся. Он сидел на куче земли посередине длинного коридора с шершавыми цементными стенами. Дыра в потолке была не то вентиляционным отверстием, не то пробоиной. Зеф стоял шагах в двадцати и тоже осматривался, светя фонариком во все стороны.

— Что это здесь? — спросил Максим.

— Откуда я знаю? — сказал Зеф сварливо. — Может, укрытие какое-нибудь. А может быть, и в самом деле Крепость. Знаешь, что такое Крепость?

— Нет, — сказал Максим и стал сползать с кучи.

— Не знаешь... — сказал Зеф рассеянно. Он всё оглядывался, шаря фонариком по стенам. — Что же ты тогда знаешь... Массаракш, — сказал он, — здесь только что кто-то был...

— Человек? — спросил Максим.

— Не знаю, — ответил Зеф. — Прокрался вдоль стены и пропал... А Крепость, приятель, — это такая штука, что мы могли бы за один день закончить всю нашу работу... Ага, следы...

Он присел на корточки. Максим присел рядом и увидел цепочку отпечатков в пыли под стеной.

— Странные следы, — сказал он.

— Да, приятель, — сказал Зеф, оглядываясь. — Я таких следов не видал.

— Словно кто-то на кулаках прошёл, — сказал Максим. Он сжал кулак и сделал отпечаток рядом со следом.

— Похоже, — с уважением признал Зеф. Он посветил в глубь коридора. Там что-то слабо мерцало, отсвечивая, то ли поворот, то ли тупик. — Сходим посмотрим? — сказал он.

— Тише, — сказал Максим. — Молчите и не двигайтесь.

В подземелье стояла ватная сырая тишина, но коридор не был безжизненным. Кто-то там, впереди, — Максим не мог точно определить, где и как далеко, — стоял, прижимаясь к стене, кто-то небольшой, слабо и незнакомо пахнущий, наблюдающий за ними и недовольный их присутствием. Это было что-то совсем неизвестное, и намерения его были неуловимы.

— Нам обязательно надо идти? — спросил Максим.

— Хотелось бы, — сказал Зеф.

— Зачем?

— Надо посмотреть, может быть, это всё-таки Крепость... Если бы мы нашли Крепость, тогда бы, друг мой, всё стало бы по-другому. Я в Крепость не верю, но раз говорят — как знать... Может быть, и не всё врут...

— Там кто-то есть, — сказал Максим. — Я не понимаю кто.

— Да? Гм... Если это Крепость, здесь, по легенде, живут либо остатки гарнизона... Они, понимаешь, тут сидят и не знают, что война кончилась, они, понимаешь, в разгар войны объявили себя нейтральными, заперлись и пообещали, что взорвут весь материк, если к ним полезут...

— А они могут?

— Если это Крепость, они всё могут... Да-а... Наверху ведь всё время взрывы, стрельба... Очень может быть, что они считают, что война ещё не кончилась... Принц здесь какой-то командовал или герцог... Хорошо было бы с ним встретиться и поговорить.

Максим опять прислушался.

— Нет, — сказал он уверенно. — Нет там ни принца, ни герцога. Там какой-то зверь, что ли... Нет, не зверь... Либо?

— Что — либо?

— Вы сказали: либо остатки гарнизона, либо?..

— А-а... Ну, это чепуха, бабьи сказки... Пойдём посмотрим.

Зеф зарядил гранатомёт, взял его навскидку и двинулся вперёд, светя фонариком. Максим пошёл рядом. Несколько минут они брели по коридору, потом упёрлись в стену и свернули направо.

— Вы очень шумите, — сказал Максим. — Там что-то происходит, а вы так сопите...

— Что же мне — не дышать? — немедленно ощетинился Зеф.

— И фонарик мне ваш мешает, — сказал Максим.

— То есть как это — мешает? Темно...

— В темноте, я вижу, — сказал Максим, — а вот из-за вашего фонарика ничего разобрать не могу... Давайте я пойду вперёд, а вы останьтесь. А то мы так ничего не узнаем.

— Н-ну, как хочешь... — произнёс Зеф непривычно неуверенным голосом.

Максим снова зажмурился, отдохнул от неверного света, пригнулся и пошёл вдоль стены, стараясь никак не шуметь. Неизвестный был где-то недалеко, и Максим приближался к нему с каждым шагом. Коридору конца не было. Справа объявились двери, все они были железные и все заперты. Навстречу тянуло сквознячком. Воздух был сыроват, наполнен запахом плесени и ещё того, неизвестного, живого и тёплого. Позади осторожно шумел Зеф; ему было не по себе, и он боялся отстать. Почувствовав это, Максим засмеялся про себя. Он отвлёкся буквально на секунду, и за эту секунду неизвестный исчез. Максим остановился в недоумении. Неизвестный только что был впереди, совсем рядом, а затем в одно мгновение словно растворился в воздухе и так же мгновенно возник за спиной, тоже совсем рядом.

— Зеф! — позвал Максим.

— Да! — гулко отозвался рыжебородый.

Максим представил себе, как неизвестный стоит между ними и поворачивает голову на голоса.

— Он, между нами, — сказал Максим. — Не вздумайте стрелять.

— Ладно, — сказал Зеф, помолчав. — Ни черта не видно, — сообщил он. — Как он выглядит?

— Не знаю, — ответил Максим. — Мягкое.

— Животное?

— Непохоже, — сказал Максим.

— Ты же сказал, что видишь в темноте.

— Я не глазами вижу, — сказал Максим. — Помолчите.

— Не глазами... — проворчал Зеф и затих. Неизвестный постоял, пересёк коридор, исчез и через некоторое время снова появился впереди. Ему тоже любопытно, подумал Максим. Он очень старался вызвать в себе ощущение симпатии к этому существу, но что-то мешало — вероятно, неприятное сочетание незвериного интеллекта с полузвериной внешностью. Он снова пошёл вперёд. Неизвестный отступал, сохраняя постоянную дистанцию.

— Как дела? — спросил Зеф.

— Всё то же, — ответил Максим. — Возможно, он нас куда-то ведёт или заманивает.

— А справимся? — спросил Зеф.

— Он не собирается нападать, — сказал Максим. — Ему самому интересно.

Он замолчал, потому что неизвестный снова исчез, и Максим сейчас же почувствовал, что коридор кончился. Вокруг было большое помещение. Всё-таки здесь было слишком темно. Максим почти ничего не видел. Он ощущал присутствие металла, стекла, припахивало ржавчиной, и был здесь ток высокого напряжения. Несколько секунд Максим стоял неподвижно, потом, разобрав, где выключатель, потянулся к нему, но тут неизвестный появился снова. И не один. С ним был второй, похожий, но не точно такой же. Они стояли у той же стены, что и Максим, он слышал их дыхание — частое и влажное. Он замер, надеясь, что они подойдут поближе, но они не подходили, и тогда он, изо всех сил сузив зрачки, нажал на клавишу выключателя.

По-видимому, что-то было не в порядке в цепи — лампы вспыхнули лишь на долю секунды, где-то с треском лопнули предохранители, и свет снова погас, но Максим успел увидеть, что неизвестные существа были небольшие, ростом с крупную собаку, стояли на четвереньках, были покрыты тёмной шерстью, и у них были большие, тяжёлые головы. Глаза их Максим разглядеть не успел. Странные существа немедленно исчезли, как будто их и не было.

— Что там у тебя? — спросил Зеф встревоженно. — Что за вспышка?

— Я зажигал свет, — отозвался Максим. — Идите сюда.

— А где этот? Ты его видел?

— Почти не видел. Похожи всё-таки на животных. Вроде собак с большими головами...

По стенам запрыгали отсветы фонарика. Зеф говорил на ходу:

— А, собаки... Знаю, живут здесь такие в лесу. Живых я их, правда, никогда не видел, но подстреленных — много раз...

— Нет, — сказал Максим с сомнением. — Это всё-таки не животные.

— Животные, животные, — сказал Зеф. Голос его гулко отдался под высоким сводом. — Зря мы с тобой перетрусили. Я было подумал, что упыри... Массаракш! Да это же Крепость!

Он остановился посередине помещения, шаря лучом по стенам, по рядам циферблатов, по распределительным щитам. Сверкало стекло, никель, выцветшая пластмасса.

— Ну, поздравляю, Мак. Всё-таки мы её с тобой нашли. Зря я не верил. Зря... А это что такое? Ага... Это электронный мозг, и ведь всё под током! Ах, чёрт возьми, сюда бы Кузнеца!.. Слушай, а ты ничего в этом не понимаешь?

— В чём именно? — спросил Максим, подходя.

— Вот во всей этой механике... Это же пульт управления! Если в нём разобраться, весь край наш! Вся эта техника наверху управляется отсюда! Ах, если бы разобраться, массаракш!..

Максим отобрал у него фонарик, поставил так, чтобы свет рассеивался по помещению, и огляделся. Везде лежала пыль, лежала уже много лет, а на столе в углу на расстеленной истлевшей бумаге стояла тарелка, заляпанная чёрным, и рядом — вилка. Максим прошёлся вдоль пультов, потрогал верньеры, попытался включить электронную машину, взялся за какой-то рубильник — рукоять осталась у него в пальцах...

— Вряд ли, — сказал он наконец. — Вряд ли отсюда можно чем-нибудь особенным управлять. Во-первых, слишком здесь всё просто, скорее всего это либо станция наблюдения, либо одна из контрольных подстанций... Тут всё какое-то вспомогательное... И машина слабая, не хватит даже, чтобы десятком танков управлять... А потом, здесь же всё развалилось, ни к чему нельзя притронуться. Ток, правда, есть, но напряжение ниже нормы: котёл, наверное, совсем забило... Нет, Зеф, всё это не так просто, как вам кажется.

Он вдруг заметил торчащие из стены длинные трубки, соединённые резиновым наглазником, пододвинул алюминиевый стул, уселся и сунул лицо в наглазник. К его удивлению, оптика оказалась в превосходном состоянии, но ещё больше он удивился тому, что увидел. В

поле зрения был совершенно незнакомый пейзаж: бело-жёлтая пустыня, песчаные дюны, остов какого-то металлического сооружения... Там дул сильный ветер, бежали по дюнам струйки песка, мутный горизонт заворачивался чашей.

— Посмотрите, — сказал он Зефу. — Где это?

Зеф прислонил гранатомёт к пульту, подошёл и посмотрел.

— Странно, — сказал он, помолчав. — Это пустыня. Это, друг мой, от нас километров четыреста... — Он отодвинулся от окуляров и поднял глаза на Максима. — Сколько же они труда во всё это вбили, мерзавцы... А что толку? Вон ветер гуляет по пескам, а какой это был край!.. Меня до войны мальчишкой ещё на курорт возили... — Он встал. — Пойдём отсюда к чёрту, — сказал он горько и взял фонарик. — Мы с тобой тут ничего не поймём. Придётся ждать, когда Кузнеца сцапают и посадят... Только его не посадят, а расстреляют, наверное... Ну, пошли?

— Да, — сказал Максим. Он разглядывал странные следы на полу. — Вот это меня интересует гораздо больше, — сообщил он.

— И напрасно, — сказал Зеф. — Тут, наверное, много всякого зверья бегает...

Он закинул за спину гранатомёт и пошёл к выходу из зала. Максим, оглядываясь на следы, двинулся за ним.

— Есть хочется, — сказал Зеф.

Они пошли по коридору. Максим предложил взломать одну из дверей, но, по мнению Зефа, это было ни к чему.

— Этим делом надо заниматься серьёзно, — сказал он. — Что мы тут будем время тратить, мы ещё норму не отработали, а сюда нужно прийти со знающим человеком...

— На вашем месте, — возразил Максим, — я бы не очень рассчитывал на эту вашу Крепость. Во-первых, здесь всё сгнило, а во-вторых, она уже занята.

— Кем это? Ах, ты опять про собак?.. И ты туда же. Те про упырей твердят, а ты...

Зеф замолчал. По коридору пронёсся гортанный возглас, многократным эхом отразился от стен и затих. И сразу же, откуда-то издали, отозвался другой такой же голос. Это были очень знакомые звуки, но Максим никак не мог вспомнить, где слышал их.

— Так вот кто это кричит по ночам! — сказал Зеф. — А мы думали, птицы...

— Странный крик, — сказал Максим.

— Странный — не знаю, — возразил Зеф, — но страшноватый. Ночью как начнут орать по всему лесу, душа в пятки уходит. Сколько об

этих криках сказок рассказывают... Был один уголовник, так он хвастался, будто знает этот язык. Переводил.

— И что же он переводил? — спросил Максим.

— А, вздор. Какой там язык...

— А где этот уголовник?

— Пропал без вести, — сказал Зеф. — Он был в строителях, партия в лесу заблудилась...

Они свернули налево, и далеко впереди показалось мутное бледное пятно света. Зеф выключил фонарик и спрятал в карман. Он шёл теперь впереди, и когда он вдруг резко остановился, Максим чуть не налетел на него.

— Массаракш, — пробормотал Зеф.

На полу поперёк коридора лежал человеческий костяк. Зеф снял с плеча гранатомёт и огляделся.

— Этого здесь не было, — пробормотал он.

— Да, — сказал Максим. — Его только что положили.

Сзади, в глубине подземелья, вдруг разразился целый хор гортанных протяжных воплей. Вопли мешались с эхом; казалось, что вопит тысяча глоток, и все они вопили хором, словно скандируя какое-то странное слово из четырёх слогов. Максиму почудилась издёвка, вызов, насмешка. Затем хор умолк так же внезапно, как начался.

Зеф шумно перевёл дыхание и опустил гранатомёт. Максим снова посмотрел на скелет.

— По-моему, это намёк, — сказал он.

— По-моему, тоже, — пробурчал Зеф. — Пойдём поскорее.

Они быстро дошли до пролома в потолке, забрались на земляную кучу и увидели над собой встревоженное лицо Вепря. Он лежал грудью на краю пролома, спустив вниз верёвку с петлёй.

— Что там у вас? — спросил он. — Это вы кричали?

— Сейчас расскажем, — сказал Зеф. — Верёвку закрепил?

Они выбрались наверх; Зеф свернул себе и однорукому по цигарке, закурил и некоторое время молчал, видимо пытаясь составить какое-то мнение о том, что произошло.

— Ладно, — сказал он наконец. — Коротко — было вот что. Это — Крепость. Там есть пульты, мозг и всё такое. Все в плачевном состоянии, но энергия есть, и пользу мы из этого извлечём, нужно только найти понимающих людей... Дальше. — Он затянулся и, широко раскрыв рот, выпустил клуб дыма, совсем как испорченный газомёт. — Дальше. Судя по всему, там живут собаки. Помнишь, я тебе рассказывал? Собаки такие — голова огромная... Кричали они... А если подумать, то, может, и не они, потому что, видишь ли... Как бы тебе

сказать... Пока мы с Маком там бродили, кто-то выложил в коридоре человеческий скелет. Вот и всё.

Однорукий посмотрел на него, потом на Максима.

— Мутанты? — спросил он.

— Возможно, — сказал Зеф. — Я вообще никого не видел, а Мак говорит, что видел собак... только не глазами. Чем ты их там видел, Мак?

— Глазами я их тоже видел, — сказал Максим. — И хочу, кстати, добавить, что никого, кроме этих ваших собак, там не было. Я бы знал. И собаки эти ваши — не то, что вы думаете. Это не звери.

Вепрь не сказал ничего. Он поднялся, смотал верёвку, подвесил её к поясу и снова сел рядом с Зефом.

— Чёрт его знает, — пробормотал Зеф, — может быть, и не звери... Здесь всё может быть. Здесь у нас Юг...

— А может быть, эти собаки и есть мутанты? — спросил Максим.

— Нет, — сказал Зеф. — Мутанты — это просто очень уродливые люди. И дети людей самых обыкновенных. Мутанты. Знаешь, что это такое?

— Знаю, — сказал Максим. — Но весь вопрос в том, как далёко может зайти мутация.

Некоторое время все молчали, раздумывая. Потом Зеф сказал:

— Ну, раз ты такой образованный, хватит болтать. Вставай! — Он поднялся. — Осталось нам немного, но время поджимает. А жрать охота... — он подмигнул Максиму, — прямо-таки патологически. Ты знаешь, что такое «патологически»?

Оставалось ещё расчистить юго-западную четверть квадрата, но ничего расчищать они не стали. Какое-то время назад здесь, вероятно, взорвалось что-то очень мощное. От старого леса остались только полусгнившие поваленные стволы да обгорелые пни, срезанные как бритвой, а на его месте уже поднялся молодой редкий лесок. Почва почернела, обуглилась и была нашпигована испорошенной ржавчиной. Никакая техника не могла уцелеть после такого взрыва, и Максим понял, что Зеф привёл их сюда не для работы.

Навстречу им из кустарника вылез обросший человек в грязном арестантском балахоне. Максим узнал его: это был первый абориген, которого он встретил, старый Зефов напарник, сосуд мировой скорби.

— Подождите, — сказал Вепрь, — я с ним поговорю.

Зеф велел Максиму сесть, где стоит, уселся сам и принялся переобуваться, дудя в бороду уголовный романс «Я мальчик лихой, меня знает окраина». Вепрь подошёл к сосуду скорби, и они, удалившись за кусты, принялись разговаривать шёпотом. Максим слышал их

прекрасно, но понять ничего не мог, потому что говорили они на каком-то жаргоне, и он узнал только несколько раз повторённое слово «почта». Скоро он перестал прислушиваться Он чувствовал себя утомлённым, грязным: сегодня было слишком много бессмысленной работы, бессмысленного нервного напряжения, слишком долго он дышал сегодня всякой гадостью и принял слишком много рентген. И опять за весь этот день не было сделано ничего настоящего, ничего нужного, и ему очень не хотелось возвращаться в барак.

Потом сосуд скорби исчез, а Вепрь вернулся, сел перед Максимом на пень и сказал:

— Ну, давайте поговорим.

— Всё в порядке? — спросил Зеф.

— Да, — сказал Вепрь.

— Я же тебе говорил, — сказал Зеф, рассматривая на свет дырявую подошву. — У меня на таких чутьё.

— Ну так вот, Мак, — сказал Вепрь. — Мы вас проверили, насколько это возможно при нашем положении. Генерал за вас ручается. С сегодняшнего дня вы будете подчиняться мне.

— Очень рад, — сказал Максим, криво улыбаясь. Ему хотелось сказать: «За вас-то Генерал передо мной не поручился», но он только добавил: — Слушаю вас.

— Генерал сообщает, что вы не боитесь радиации и не боитесь излучателей. Это правда?

— Да.

— Значит, вы в любой момент можете переплыть Голубую Змею и это вам не повредит?

— Я уже сказал, что могу бежать отсюда хоть сейчас.

— Нам не нужно, чтобы вы бежали... Значит, насколько я понимаю, патрульные машины вам тоже не страшны?

— Вы имеете в виду передвижные излучатели? Нет, не страшны.

— Очень хорошо, — сказал Вепрь. — Тогда ваша задача на ближайшее время полностью определяется. Вы будете связным. Когда я вам прикажу, вы переплывёте реку и пошлёте из ближайшего почтового отделения телеграммы, которые я вам дам. Понятно?

— Это мне понятно, — медленно проговорил Максим. — Мне непонятно другое...

Вепрь смотрел на него не мигая — сухой, жилистый, искалеченный старик, холодный и беспощадный боец, с самых пелёнок боец, страшное и восхищающее порождение мира, где ценность человеческой жизни равна нулю, ничего не знающий, кроме борьбы, ничего не имеющий, кроме борьбы, всё отстраняющий, кроме борьбы, — и в

его внимательных прищуренных глазах Максим, как в книге, читал свою судьбу на ближайшие несколько лет.

— Да? — сказал Вепрь.

— Давайте договоримся сразу, — твёрдо сказал Максим. — Я не желаю действовать вслепую. Я не намерен заниматься делами, которые, на мой взгляд, нелепы и ненужны.

— Например? — сказал Вепрь.

— Я знаю, что такое дисциплина. И я знаю, что без дисциплины вся наша работа ничего не стоит. Но я считаю, что дисциплина должна быть разумной, подчинённый должен быть уверен, что приказ разумен. Вы приказываете мне быть связным. Я готов быть связным, я годен на большее, но, если это нужно, я буду связным. Но я должен знать, что телеграммы, которые я посылаю, не послужат бессмысленной гибели и без того несчастных людей...

Зеф задрал было бородищу, но Вепрь и Максим одинаковым движением остановили его.

— Мне было приказано взорвать башню, — продолжал Максим. — Мне не объясняли, зачем это нужно. Я видел, что это глупая и смертельная затея, но я выполнил приказ. Я потерял троих товарищей, а потом оказалось, что всё это — ловушка государственной прокуратуры. И я говорю: хватит! Я больше не намерен нападать на башни. И более того, я намерен всячески препятствовать операциям такого рода...

— Ну и дурак! — сказал Зеф. — Сопляк.

— Почему? — спросил Максим.

— Погодите, Зеф, — сказал Вепрь. Он по-прежнему не спускал глаз с Максима. — Другими словами, Мак, вы хотите знать все планы штаба?

— Да, — сказал Максим. — Я не хочу работать вслепую.

— А ты, братец, наглец, — объявил Зеф. — У меня, братец, слов не хватает, чтобы описать, какой ты наглец!.. Слушай, Вепрь, а он мне нравится. Не-ет, глаз у меня верный...

— Вы требуете слишком большого доверия, — холодно сказал Вепрь. — Такое доверие надо заслужить.

— И для этого валить дурацкие башни? — сказал Максим. — Я, правда, всего несколько месяцев в подполье, но всё это время я слышу только одно: башни, башни, башни... А я не хочу валить башни, это бессмысленно! Я хочу драться против тирании, против голода, разрухи, коррупции, лжи... Я понимаю, конечно, башни мучают вас, просто физически мучают... Но даже против башен вы выступаете как-то

по-дурацки. Совершенно очевидно, что башни ретрансляционные, а значит, надо бить в Центр, а не сколупывать их по одной...

Вепрь и Зеф заговорили одновременно.

— Откуда вы знаете про Центр? — спросил Вепрь.

— А где ты его, этот Центр, найдёшь? — спросил Зеф.

— То, что Центр должен быть, ясно каждому мало-мальски грамотному инженеру, — сказал Максим пренебрежительно. — А как найти Центр, это и есть задача, которой мы должны заниматься. Не бегать на пулемёты, не губить зря людей, а искать Центр...

— Во-первых, всё это мы и без тебя знаем, — сказал Зеф, закипая. — А, во-вторых, массаракш, никто не погиб зря! Каждому мало-мальски грамотному инженеру, сопляк ты сопливый, должно быть ясно, что, повалив несколько башен, мы нарушим систему ретрансляции и сможем освободить целый район! А для этого надо уметь валить башни. И мы учимся это делать — понимаешь ты или нет? И если ты ещё раз, массаракш, скажешь, что наши ребята гибнут зря...

— Подождите, — сказал Максим. — Уберите руки. Освободить район... Ну хорошо, а дальше?

— Всякий сопляк здесь приходит и говорит, что мы гибнем зря, — сказал Зеф.

— А дальше? — настойчиво повторил Максим. — Легионеры подвезут излучатели, и вам конец?

— Чёрта с два! — сказал Зеф. — За это время население района перейдёт на нашу сторону, и не так-то просто им будет сунуться. Одно дело — десяток так называемых выродков, а другое дело — десять тысяч, сто тысяч озверевших...

— Зеф, Зеф! — предостерегающе сказал Вепрь.

Зеф нетерпеливо отмахнулся от него.

— Сотни тысяч озверевших горожан, фермеров... а может быть, и солдат, которые поняли и на всю жизнь запомнили, что их бесстыдно дурачат...

Вепрь махнул рукой и отвернулся.

— Погодите, погодите, — сказал Максим. — Что это вы говорите? С какой это стати они вдруг поймут? Да они вас на куски разорвут. Ведь они-то считают, что это противобаллистическая защита...

— А ты что считаешь? — спросил Зеф, странно усмехаясь.

— Ну, я-то знаю, — сказал Максим. — Мне рассказывали...

— Кто?

— Доктор... и Генерал... А что — это тайна?

— Может быть, хватит на эту тему? — сказал Вепрь тихо.

— А почему хватит? — возразил Зеф тоже тихо и как-то очень интеллигентно. — Почему, собственно, хватит, Вепрь? Ты знаешь, что я об этом думаю. Ты знаешь, почему я здесь сижу и почему я здесь останусь до конца жизни. А я знаю, что думаешь по этому поводу ты. Так почему же хватит? Мы оба считаем, что об этом надо кричать на всех перекрёстках, а когда доходит до дела, вдруг вспоминаем о дисциплине и принимаемся послушно играть на руку всем этим вождистам, либералам, просветителям... А теперь перед нами этот мальчик. Ты же видишь, какой он. Неужели и такие не должны знать?

— Может быть, именно такие и не должны знать, — всё так же тихо ответил Вепрь.

Максим, не понимая, переводил взгляд с одного на другого. Они вдруг сделались очень непохожи сами на себя, они как-то поникли, и в Вепре уже не ощущался стальной стержень, о который сломало зубы столько прокуратур и полевых судов, а в Зефе исчезла его бесшабашная вульгарность и прорезалась какая-то тоска, какое-то скрытое отчаяние, обида, покорность... Словно они вдруг вспомнили что-то, о чём должны были и честно старались забыть.

— Я расскажу ему, — сказал Зеф. Он не спрашивал разрешения и не советовался. Он просто сообщал.

Вепрь промолчал, и Зеф стал рассказывать.

То, что он рассказывал, было чудовищно. Это было чудовищно само по себе, и это было чудовищно потому, что больше не оставляло места для сомнений. Всё время, пока он говорил — негромко, спокойно, чистым интеллигентным языком, вежливо замолкая, когда Вепрь вставлял короткие реплики, — Максим изо всех сил старался найти хоть какую-нибудь прореху в этой новой системе мира, но его усилия были тщетны. Картина получалась стройная, примитивная, безнадёжно логичная; она объясняла все известные Максиму факты и не оставляла ни одного факта необъяснённым. Это было самое большое и самое страшное открытие из всех, которые Максим сделал на своём обитаемом острове.

Излучение башен предназначалось не для выродков. Оно действовало на нервную систему каждого человеческого существа этой планеты. Физиологический механизм воздействия известен не был, но суть этого воздействия сводилась к тому, что мозг облучаемого терял способность к критическому анализу действительности. Человек мыслящий превращался в человека верующего, причём верующего исступлённо, фанатически, вопреки бьющей в глаза реальности. Человеку, находящемуся в поле излучения, можно было самыми элементарными средствами внушать всё, что угодно, и он принимал

внушаемое как светлую и единственную истину и готов был жить для неё, страдать за неё, умирать во имя её.

А поле было всегда. Незаметное, вездесущее, всепроникающее. Его непрерывно излучала гигантская сеть башен, опутывающая страну. Гигантским пылесосом оно вытягивало из десятков миллионов душ всякое сомнение в словах и делах Огненосных Творцов. Огненосные Творцы направляли волю и энергию миллионных масс, куда им заблагорассудится. Они внушали массам отвратительные идеи насилия и агрессии; они могли бросить миллионы под пушки и пулемёты; они могли бы заставить эти миллионы убивать друг друга во имя чего угодно; они могли бы, возникни у них такой каприз, вызвать массовую эпидемию самоубийств... Они могли всё.

А дважды в сутки, в десять утра и в десять вечера, гигантский пылесос запускали на полную мощность, и на полчаса люди переставали вообще быть людьми. Все подспудные напряжения, накопившиеся в подсознании из-за несоответствия между внушённым и реальным, высвобождались в пароксизме горячечного энтузиазма, в восторженном экстазе раболепия. Такие лучевые удары полностью подавляли рефлексы и инстинкты и замещали их чудовищным комплексом преклонения и долга перед Огненосными Творцами. В этом состоянии облучаемый полностью терял способность рассуждать и действовал, как робот, получивший приказ.

Опасность для Творцов могли представлять только люди, которые в силу каких-то физиологических особенностей были невосприимчивы к внушению. Их называли выродками. Постоянное поле на них не действовало вовсе, а лучевые удары вызывали у них только невыносимые боли. Выродков было сравнительно мало, что-то около одного процента, но они были единственными бодрствующими людьми в этом царстве сомнамбул. Только они сохраняли способность трезво оценивать обстановку, воспринимать мир, как он есть, воздействовать на мир, изменять его, управлять им. И самое гнусное заключалось в том, что именно они поставляли обществу правящую элиту, называемую Огненосными Творцами. Все Огненосные Творцы были выродками, но далеко не все выродки были Огненосными Творцами. И те, кто не сумел войти в элиту, или не захотел войти в элиту, или не знал, что существует элита, были объявлены врагами воинствующего государства и с ними поступали соответственно.

Максим испытывал такое отчаяние, словно вдруг обнаружил, что его обитаемый остров населён на самом деле не людьми, а куклами. Огромный аппарат гитлеровской пропаганды ничего не стоил в сравнении с системой лучевых башен. Радио можно было не включать,

речи Геббельса можно было не слушать, газеты можно было не читать. Но избавиться от поля было невозможно. В истории земного человечества ничего подобного не было. И на опыт Земли рассчитывать было нельзя. Надеяться было не на что. План Зефа захватить сколько-нибудь значительный район представлялся попросту авантюрой. Перед ними была огромная машина, слишком простая, чтобы эволюционировать, и слишком огромная, чтобы можно было надеяться разрушить её небольшими силами. Не было силы в стране, которая могла бы освободить огромный народ, понятия не имеющий, что он не свободен, выпавший, по выражению Вепря, из хода истории. Эта машина была неуязвима изнутри. Она была устойчива по отношению к любым малым возмущениям. Будучи частично разрушена, она немедленно восстанавливалась. Будучи раздражена, она немедленно и однозначно реагировала на раздражение, не заботясь о судьбе своих отдельных элементов. Единственную надежду оставляла мысль, что у машины был Центр, пульт управления, мозг. Этот Центр теоретически можно было разрушить, тогда машина замрёт в неустойчивом равновесии, и наступит момент, когда можно будет попытаться перевести этот мир на другие рельсы, вернуть его на рельсы истории. Но местонахождение Центра было величайшей тайной, да и кто будет его разрушать? Это не атака на башню. Это операция, которая потребует огромных средств и прежде всего — армии людей, не подверженных действию излучения. Нужны были люди, невосприимчивые к излучению, или простые, легкодоступные средства защиты. Ничего этого не было и даже не предвиделось. Несколько сотен тысяч выродков были раздроблены, разрознены, преследуемы, многие вообще относились к категории так называемых легальных, но если бы даже их удалось объединить и вооружить, эту маленькую армию Огненосные Творцы уничтожили бы, выслав ей навстречу передвижные излучатели...

Зеф давно уже замолчал, а Максим всё сидел понурившись, ковыряя прутиком чёрную сухую землю. Потом Зеф покашлял и сказал неловко:

— Да, приятель. Вот оно как на самом-то деле...

Кажется, он уже раскаивался в том, что рассказал, как оно на самом деле.

— На что же вы надеетесь? — проговорил Максим.

Зеф и Вепрь молчали. Максим поднял голову, увидел их лица и пробормотал:

— Простите... Я... Это всё так... Простите.

— Мы должны бороться, — ровным голосом произнёс Вепрь, — мы боремся, и мы будем бороться. Зеф сообщил вам одну из стратегий штаба. Существуют и другие, столь же уязвимые для критики и ни разу не опробованные практически... Вы понимаете, у нас сейчас всё в становлении. Зрелую теорию борьбы не создашь на пустом месте вот так, сразу...

— Скажите, — медленно проговорил Максим, — это излучение... оно действует одинаково на все народы вашего мира?

Вепрь и Зеф переглянулись.

— Не понимаю, — сказал Вепрь.

— Я имею в виду вот что. Есть здесь какой-нибудь народ, где найдётся хотя бы несколько тысяч таких, как я?

— Вряд ли, — сказал Зеф. — Разве что у этих... у мутантов. Массаракш, ты не обижайся, Мак, но ведь ты — явный мутант... Счастливая мутация, один шанс на миллион...

— Я не обижаюсь, — сказал Максим. — Значит, мутанты... Это там, дальше в лесах?

— Да, — сказал Вепрь. Он пристально глядел на Максима.

— А что там, собственно? — спросил Максим.

— Лес, потом пустыня... — ответил Вепрь.

— И мутанты?

— Да. Полузвери. Сумасшедшие дикари... Слушайте, Мак, бросьте это.

— Вы их когда-нибудь видели?

— Я видел только мёртвых, — сказал Вепрь. — Их иногда ловят в лесу, а потом вешают перед бараками для поднятия духа.

— А за что?

— За шею! — рявкнул Зеф. — Дурак! Это зверьё! Они неизлечимы, и они опаснее любого зверя! Я-то их повидал, ты такого и во сне не видел...

— А зачем туда тянут башни? — спросил Максим. — Хотят их приручить?

— Бросьте, Мак, — снова сказал Вепрь. — Это безнадёжно. Они нас ненавидят... А впрочем, поступайте как знаете. Мы никого не держим.

Наступило молчание. Потом вдалеке, у них за спиной, послышался знакомый лязгающий рык. Зеф приподнялся.

— Баллиста... — сказал он раздумчиво. — Пойти её убить?.. Это недалеко, восемнадцатый квадрат... Нет, завтра.

Максим вдруг решился:

— Я ею займусь. Идите, я вас догоню.

Зеф с сомнением поглядел на него.

— Сумеешь ли? — сказал он. — Подорвёшься ещё...

— Мак, — сказал однорукий, — подумайте!

Зеф смотрел на Максима, а потом вдруг осклабился.

— Ах вот зачем тебе танк! — сказал он. — Хитрец парень. Не-ет, меня не обманешь. Ладно, иди, ужин я тебе сберегу. Одумаешься — приходи... Да имей в виду, что многие самоходки заминированы, копайся там осторожнее... Пошли, Вепрь. Он догонит.

Вепрь хотел ещё что-то сказать, но Максим уже поднялся и зашагал к просеке. Он больше не хотел разговоров. Он шёл быстро, не оборачиваясь, держа гранатомёт под мышкой. Теперь, когда он принял решение, ему сделалось легче, и предстоящее дело зависело только от его умения и от его сноровки.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Под утро Максим вывел самоходную баллисту на шоссе и развернул носом на юг. Можно было ехать, но он вылез из отсека управления, спрыгнул на изломанный бетон и присел на краю кювета, вытирая травой запачканные руки. Ржавая громадина мирно клокотала рядом, уставя в мутное небо острую верхушку ракеты.

Он проработал всю ночь, но усталости не чувствовал. Аборигены строили прочно, машина оказалась в неплохом состоянии. Никаких мин, конечно, не обнаружилось, а ручное управление, напротив, было. Если кто-нибудь и подрывался на таких машинах, то это могло произойти только из-за изношенности котла либо от полного технического невежества. Котёл, правда, давал не больше двадцати процентов нормальной мощности, и была порядком потрёпана ходовая часть, но Максим был доволен — вчера он не надеялся и на это.

Было около шести часов утра, совсем рассвело. Обычно в это время каторжников строили в клетчатые колонны, наскоро кормили и выгоняли на работы. Отсутствие Максима было, конечно, уже замечено, и вполне возможно, что теперь он числился в бегах и был приговорён, а может быть, Зеф придумал какое-нибудь объяснение — подвернулась нога, ранен или ещё что-нибудь.

В лесу стало тихо. «Собаки», перекликавшиеся всю ночь, угомонились, ушли, наверное, в подземелье и хихикают там, потирая лапы, вспоминая, как напугали вчера двуногих... Этими «собаками» надо будет основательно заняться, но сейчас придётся оставить их в тылу. Интересно, воспринимают они излучение или нет? Странные существа... Ночью, пока он копался в двигателе, двое всё время торчали за кустами, тихонько наблюдая за ним, а потом пришёл третий и

забрался на дерево, чтобы лучше видеть. Максим, высунувшись из люка, помахал ему рукой, а потом, озорства ради, воспроизвёл как мог то четырёхсложное слово, которое вчера скандировал хор. Тот, что был на дереве, страшно рассердился, засверкал глазами, надул шерсть по всему телу и принялся выкрикивать какие-то гортанные оскорбления. Двое в кустах были, очевидно, этим шокированы, потому что немедленно ушли и больше не возвращались. А ругатель ещё долго не слезал и всё никак не мог успокоиться: шипел, плевался, делал вид, что хочет напасть, и скалил белые редкие клыки. Убрался он только под утро, поняв, что Максим не собирается вступать с ним в честную драку... Вряд ли они разумны в человеческом смысле, но существа занятные и, вероятно, представляют собой какую-то организованную силу, если сумели выжить из Крепости военный гарнизон во главе с принцем-герцогом... До чего же у них здесь мало информации, одни слухи и легенды... Хорошо бы помыться сейчас, весь извозился в ржавчине, да и котёл подтекает, кожа горит от радиации. Если Зеф и однорукий согласятся ехать, надо будет заслонить котёл тремя-четырьмя плитами, ободрать броню с бортов...

Далеко в лесу что-то бухнуло, отдалось эхом — сапёры-смертники начали рабочий день. Бессмыслица, бессмыслица... Снова бухнуло, застучал пулемёт, стучал долго, потом стих. Стало совсем светло, день выдавался ясный, небо было без туч, равномерно белое, как светящееся молоко. Бетон на шоссе блестел от росы, а вокруг танка росы не было — от брони шло нездоровое тепло.

Потом из-за кустов, наползших на дорогу, появились Зеф и Вепрь, увидели танк и зашагали быстрее. Максим поднялся и пошёл навстречу.

— Жив! — сказал Зеф вместо приветствия. — Так я и думал. Кашку твою я, брат, того... не в чём нести. А хлеб принёс, лопай.

— Спасибо, — сказал Максим, принимая краюху.

Вепрь стоял, опершись на миноискатель, и смотрел на него.

— Лопай и удирай, — сказал Зеф. — Там, брат, за тобой приехали.

— Кто? — спросил Максим, перестав жевать.

— Нам не доложился, — сказал Зеф. — Какой-то долдон в пуговицах с ног до головы. Орал на весь лес, почему тебя нет, меня чуть не застрелил... А я знай глаза таращу и докладываю: так, мол, и так, погиб на минном поле, тело не найдено...

Он обошёл танк вокруг, сказал: «Экая пакость...», сел на обочину и стал свёртывать цигарку.

— Странно, — сказал Максим, задумчиво откусывая от краюхи. — Зачем? На доследование?..

— Может быть, это Фанк? — негромко спросил Вепрь.

— Фанк? Среднего роста, квадратное лицо, кожа шелушится?..

— Какое там! — сказал Зеф. — Здоровенная жердь, весь в прыщах, дурак дураком — Легион.

— Это не Фанк, — сказал Максим.

— Может быть, по приказу Фанка? — спросил Вепрь.

Максим пожал плечами и отправил в рот последнюю корку.

— Не знаю, — сказал он. — Раньше я думал, что Фанк имеет какое-то отношение к подполью, а теперь не знаю, что и думать...

— Тогда вам, пожалуй, действительно лучше уехать, — проговорил Вепрь. — Хотя, честно говоря, я не знаю, что хуже — мутанты или этот жандармский чин...

— Да ладно, пусть едет, — сказал Зеф. — Связным он у тебя работать всё равно не станет, а так, по крайней мере, хоть привезёт какую-нибудь информацию... если цел останется.

— Вы, конечно, со мной не поедете, — сказал Максим утвердительно.

Вепрь покачал головой.

— Нет, — сказал он. — Желаю удачи.

— Ракету сбрось, — посоветовал Зеф. — А то взорвёшься с нею... И вот что. Впереди у тебя будут две заставы. Ты их проскочишь легко, только не останавливайся. Они повёрнуты на юг. А вот дальше будет хуже. Радиация ужасная, жрать нечего, мутанты, а ещё дальше — пески, безводье.

— Спасибо, — сказал Максим. — До свидания.

Он вспрыгнул на гусеницу, отвалил люк и залез в жаркую полутьму. Он уже положил руки на рычаги, когда вспомнил, что остался ещё один вопрос. Он высунулся.

— Слушайте, — сказал он, — а почему истинное назначение башен скрывают от рядовых подпольщиков?

Зеф сморщился и плюнул, а Вепрь грустно ответил:

— Потому что большинство в штабе надеется когда-нибудь захватить власть и использовать башни по-старому, но для других целей.

— Для каких — других? — мрачно спросил Максим. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза.

Зеф, отвернувшись, старательно заклеивал языком сигарету. Потом Максим сказал:

— Желаю вам выжить, — и вернулся к рычагам.

Танк загремел, залязгал, хрустнул гусеницами и покатился вперёд.

Вести машину было неудобно. Сиденья для водителя не было, а груда веток и травы, которую Максим набросал ночью, очень быстро расползалась. Обзор был отвратительный, разогнаться как следует не удавалось — на скорости тридцать километров в двигателе что-то начинало греметь и захлёбываться, горела смазка. Правда, проходимость у этого атомного одра всё ещё была прекрасная. Дорога или не дорога — ему было всё равно, кустов и неглубоких рытвин он не замечал вовсе, поваленные деревья давил в крошку. Молодые деревца, проросшие сквозь рассевшийся бетон, он с лёгкостью подминал под себя, а через глубокие ямы, наполненные чёрной водой, переползал, словно бы даже фыркая от удовольствия. И курс он держал прекрасно, повернуть его было весьма нелегко.

Шоссе было довольно прямое, в отсеке грязно и душно, и в конце концов Максим поставил ручной газ, вылез наружу и удобно устроился на краю люка под решётчатым лотком ракеты. Танк пёр вперёд, словно это и был его настоящий курс, заданный давней программой. Было в нём что-то самодовольное и простоватое, и Максим, любивший машины, даже похлопал его по броне, выражая одобрение.

Жить было можно. Справа и слева уползал назад лес, мерно клокотал двигатель, радиация наверху почти не чувствовалась, ветерок был сравнительно чистым и приятно охлаждал горящую кожу. Максим поднял голову и взглянул на качающийся нос ракеты. Пожалуй, её действительно нужно сбросить. Лишний вес. Взорваться она, конечно, не взорвётся, давно «протухла», он ещё ночью обследовал её, но весит она тонн десять, зачем такое таскать? Танк полз себе вперёд, а Максим принялся лазить по лотку, отыскивая механизм крепления. Он нашёл механизм, но всё заржавело, и пришлось повозиться; и пока он возился, танк дважды съезжал на поворотах в лес и принимался, гневно завывая, ломать деревья, и Максиму приходилось спешить к рычагам, успокаивать железного дурака и выводить его снова на дорогу. Но в конце концов механизм сработал, ракета тяжело мотнулась и ухнула на бетон, а потом грузно откатилась в кювет. Танк подпрыгнул и пошёл легче, и тут Максим увидел впереди первую заставу.

На опушке стояли две большие палатки и автофургон, дымила полевая кухня. Два легионера, голые до пояса, умывались — один сливал другому из манерки. Посередине шоссе стоял и глядел на танк часовой в чёрной накидке, а справа от шоссе торчали два столба, соединённые перекладной, и с этой перекладины что-то свисало, что-то длинное и белое, почти касаясь земли. Максим спустился в отсек, чтобы не было видно клетчатого балахона, и выставил голову.

Часовой, с изумлением поглядывая на танк, отходил к обочине, потом растерянно оглянулся на фургон. Полуголые легионеры перестали умываться и тоже глядели на танк. На грохот гусениц из палаток и из фургона вышли ещё несколько человек, один — в мундире с офицерскими шнурами. Они были очень удивлены, но не встревожены; офицер показал на танк рукой и что-то сказал, и все засмеялись. Когда Максим поравнялся с часовым, тот крикнул ему неслышно за шумом двигателя, и Максим в ответ прокричал:

— Всё в порядке, стой, где стоишь!..

Часовой тоже ничего не услышал, но на лице его выразилось удовлетворение. Пропустив танк, он снова вышел на середину шоссе и встал в прежней позе. Было ясно, что всё обошлось.

Максим повернул голову и увидел вблизи то, что свисало с перекладины. Секунду он смотрел, потом быстро присел, зажмурился и без всякой нужды ухватился за рычаги. «Не надо было смотреть, — подумал он. — Чёрт меня дёрнул поворачивать голову, ехал бы и ехал, ничего бы не знал... — Он заставил себя раскрыть глаза. — Нет, — подумал он, — смотреть надо. Надо привыкать. И надо узнавать. Нечего отворачиваться. Я не имею права отворачиваться, раз уж я взялся за это дело. Наверное, это был мутант, смерть не может так изуродовать человека. Вот жизнь уродует. Она и меня изуродует, и никуда от этого не денешься, и не надо сопротивляться, надо привыкать. Может быть, впереди у меня сотни километров дорог, уставленных виселицами...»

Когда он снова высунулся из люка и поглядел назад, заставы уже не было видно — ни заставы, ни одинокой виселицы у дороги. Хорошо бы сейчас ехать домой... Так вот ехать, ехать, ехать, а в конце — дом, мама, отец, ребята... Приехать, проснуться, умыться и рассказать им страшный сон про обитаемый остров... Он попытался представить себе Землю, но у него ничего не получилось, только было странно думать, что где-то есть чистые весёлые города, много добрых, умных людей, все друг другу доверяют... «Ты искал себе дела, — подумал он. — Ну вот, у тебя теперь есть дело — трудное дело, грязное дело, но вряд ли ты найдёшь где-нибудь когда-нибудь другое дело, столь же важное...»

Впереди на шоссе показался какой-то механизм, медленно ползущий в ту же сторону — на юг. Это был небольшой гусеничный трактор, тянувший за собой прицеп с металлической решётчатой фермой. В открытой кабине сидел человек в клетчатом балахоне и курил трубку; он равнодушно посмотрел на танк, на Максима и отвернулся. «Что это за ферма? — подумал Максим. — Какие знакомые очертания... — Потом он вдруг понял, что это секция башни. — Столкнуть бы её сейчас

в канаву, — подумал он, — и проехаться по ней раза два взад-вперёд...» Он оглянулся, и выражение его лица, видимо, очень не понравилось водителю трактора — водитель вдруг затормозил и спустил одну ногу на гусеницу, как бы готовясь выпрыгнуть. Максим отвернулся.

Минут через десять он увидел вторую заставу. Это был аванпост огромной армии клетчатых рабов, а может быть, и не рабов как раз, а самых свободных людей в стране, — два временных домика с блестящими цинковыми крышами, невысокий искусственный холм, на нём серый приземистый капонир с чёрными щелями амбразур. Над капониром уже поднимались первые секции башни, а вокруг холма стояли автокраны, тракторы, валялись в беспорядке железные фермы. Лес на несколько сотен метров вправо и влево от шоссе был уничтожен, по открытому пространству кое-где копошились люди в клетчатой одежде. За домиками виднелся длинный низкий барак. Перед бараком сохло на верёвках серое тряпьё. Немного дальше у шоссе торчала деревянная вышка с площадкой; по площадке прохаживался часовой в серой форме, в глубокой каске, и стоял пулемёт на треноге. Под вышкой толпились ещё солдаты; у них был вид людей, изнемогающих от комаров и скуки. Все курили.

«Ну, здесь я тоже проеду без хлопот, — подумал Максим, — здесь конец света и всем на всё наплевать». Но он ошибся. Солдаты перестали отмахиваться от комаров и уставились на танк. Потом один, тощий, на кого-то очень похожий, поправил на голове каску, вышел на середину шоссе и поднял руку. «Это ты зря, — подумал Максим с сожалением, — это тебе ни к чему. Я решил здесь проехать, и я проеду...» Он соскользнул вниз, к рычагам, устроился поудобнее и поставил ногу на акселератор. Солдат на шоссе продолжал стоять с поднятой рукой. «Сейчас я дам газ, — подумал Максим, — взреву как следует, и он отскочит... А если не отскочит, — подумал он с внезапным ожесточением, — то, что же — на войне как на войне...»

И вдруг он узнал этого солдата. Перед ним был Гай — похудевший, осунувшийся, заросший щетиной, в мешковатом солдатском комбинезоне.

— Гай... — пробормотал Максим. — Дружище... Как же я теперь?

Он снял ногу с газа, выключил сцепление, танк замедлил ход и остановился. Гай опустил руку и неторопливо пошёл навстречу. И тут Максим даже засмеялся от радости. Всё получалось очень хорошо. Он снова включил сцепление и приготовился.

— Эй! — начальственно крикнул Гай и постучал прикладом по броне. — Кто такой?

Максим молчал, тихонько посмеиваясь.

— Есть там кто? — В голосе Гая появилась некоторая неуверенность.

Потом его подкованные каблуки загремели по броне, люк слева распахнулся, и Гай просунулся в отсек. Увидев Максима, он открыл рот, и в ту же секунду Максим схватил его за комбинезон, рванул к себе, повалил на ветки под ногами и прижал... Танк взревел ужасным рёвом и рванулся вперёд. «Разобью двигатель», — подумал Максим. Гай дёргался и ворочался, каска съехала ему на лицо, он ничего не видел и только брыкался вслепую, пытаясь вытащить из-под себя автомат. Отсек вдруг наполнился громом и лязгом — по-видимому, в тыл танку ударили автоматы и пулемёт. Это было безопасно, но неприятно, и Максим с нетерпением следил, как надвигается стена леса, всё ближе... ближе... И вот первые кусты... Кто-то клетчатый шарахнулся с дороги... И вот уже вокруг лес, и пули уже не стучат по броне, и шоссе впереди свободно на много сотен километров.

Гай наконец вытащил из-под себя автомат, но Максим содрал с него каску и увидел его потное оскаленное лицо и засмеялся, когда ярость, ужас и жажда убивать сменились на этом лице выражением сначала растерянности, потом изумления и, наконец, радости. Гай пошевелил губами — видимо, сказал: «Массаракш!» Максим бросил рычаги, притянул его к себе, мокрого, тощего, заросшего, обнял, прижал от избытка чувств, потом отпустил и, держа его за плечи, сказал:

— Гай, дружище, как я рад!

Ничего решительно не было слышно. Он глянул в смотровую щель: шоссе было прямое по-прежнему, и он снова поставил ручной газ, а сам вылез наверх и вытащил Гая за собой.

— Массаракш! — сказал помятый Гай. — Это опять ты!

: — А ты не рад? Я вот ужасно рад! — Максим только сейчас понял, как ему всегда не хотелось ехать на Юг в одиночку.

— Что всё это значит? — крикнул Гай. Первая радость у него уже прошла, он с беспокойством оглядывался по сторонам. — Куда?! Зачем?!

— На Юг! — крикнул Максим. — Хватит с меня твоего гостеприимного отечества!

— Побег?!

— Да!

— Ты с ума сошёл! Тебе подарили жизнь!

— Кто это подарил мне жизнь? Жизнь моя! Принадлежит мне!

Разговаривать было трудно, приходилось кричать, и как-то невольно вместо дружеской беседы получалась ссора. Максим соскочил в люк и уменьшил обороты. Танк пошёл медленнее, но больше не

ревел и не лязгал так громко. Когда Максим вылез обратно, Гай сидел насупленный и решительный.

— Я обязан тебя вернуть, — объявил он.

— А я обязан тебя отсюда утащить, — объявил Максим.

— Не понимаю. Ты совсем сошёл с ума. Отсюда бежать невозможно. Надо вернуться... Массаракш, возвращаться тебе тоже нельзя, тебя расстреляют... А на Юге нас съедят... Провались ты пропадом со своим сумасшествием! Связался я с тобой, как с фальшивой монетой...

— Подожди, не ори, — сказал Максим. — Дай я тебе всё объясню.

— Не желаю ничего слушать. Останови машину!

— Да подожди ты, — уговаривал Максим. — Дай рассказать!

Но Гай не желал, чтобы ему рассказывали, Гай требовал, чтобы эта незаконно похищенная машина была немедленно остановлена и возвращена в зону. Максима дважды, трижды и четырежды обозвали болваном. Вопль «массаракш» перекрывал шум двигателя. Положение, массаракш, было ужасным. Оно было безвыходным, массаракш! Впереди, массаракш, была верная смерть. Позади, массаракш, тоже. Максим был всегда болваном и психом, массаракш, но эта его выходка, массаракш, надо полагать, последняя, массаракш и массаракш...

Максим не мешал. Он вдруг сообразил, что поле последней башни, очевидно, кончается где-то здесь, скорее всего уже кончилось; последняя застава должна находиться на самой границе крайнего поля... Пусть парень выговаривается, на обитаемом острове слова ничего не значат... «Ругайся, ругайся, а я тебя вытащу, нечего тебе там делать... Надо с кого-то начинать, и ты будешь первым. Не хочу, чтобы ты был куклой, даже если тебе это нравится — быть куклой...»

Изругав Максима вдоль и поперёк, Гай соскочил в люк и стал там возиться, пытаясь остановить машину. Это ему не удалось, и он выбрался обратно, уже в каске, очень молчаливый и деловитый. Он явно намеревался спрыгнуть и уйти обратно Он был очень сердит. Тогда Максим поймал его за штаны, усадил рядом и принялся объяснять положение.

Он говорил больше часу, прерываясь иногда, чтобы выровнять движение танка на поворотах. Он говорил, а Гай слушал. Сначала Гай пытался перебивать, порывался соскочить на ходу, затыкал уши, но Максим говорил и говорил, повторял одно и то же снова и снова, объяснял, втолковывал, разубеждал, и Гай наконец начал прислушиваться, потом задумался, приуныл, залез обеими руками под каску и шибко почесал шевелюру; потом вдруг сам перешёл в наступление и принялся допрашивать Максима, откуда всё это стало известно, и кто

докажет, что всё это не враньё, и как можно во всё это поверить, если это очевидная выдумка... Максим бил его фактами, а когда фактов не хватало, клялся, что говорит правду, а когда и это не помогало, называл Гая дубиной, куклой, роботом, а танк всё шёл и шёл на юг, всё глубже зарываясь в страну мутантов.

— Ну хорошо, — сказал наконец Максим, остервенев. — Сейчас мы всё это проверим. По моим расчётам, мы давно уже выехали из поля излучения, а сейчас примерно без десяти десять. Что вы все делаете в десять часов?

— В десять ноль-ноль — построение, — мрачно сказал Гай.

— Вот именно. Собираетесь стройными рядами и надрываетесь от готовности пролить кровь. Помнишь?

— Эта готовность у нас в сердце, — заявил Гай.

— Эту готовность вбивают в ваши тупые головы, — возразил Максим. — Ничего, вот сейчас мы посмотрим, какая у тебя там в сердце готовность. Который час?

— Без семи, — мрачно сказал Гай.

Некоторое время они ехали молча.

— Ну? — спросил Максим.

Гай посмотрел на часы и неуверенным голосом запел: — «Вперёд, легионеры, железные ребята...»

Максим насмешливо смотрел на него. Гай сбился и перепутал слова.

— Перестань на меня глазеть, — сердито сказал он. — Ты мне мешаешь. И вообще какое может быть пение вне строя?

— Брось, брось, — сказал Максим. — Вне строя ты, бывало, так же орал, как в строю. Смотреть на вас с дядей Кааном страшно было. Один орёт «Железных ребят». Другой тянет «Славу Творцам». А тут ещё Рада... Ну, где твоя готовность жечь и резать во славу Творцов?

— Не смей, — сказал Гай. — Ты не смеешь так говорить про Творцов. Даже если то, что ты рассказываешь, правда, это означает только, что Творцов просто обманули.

— Кто же их обманул?

— Н-ну... мало ли...

— Значит, Творцы не всемогущи?

— Не желаю на эту тему разговаривать, — объявил Гай.

Он приуныл, сгорбился, лицо его ещё больше осунулось, глаза потускнели, отвисла нижняя губа. Максим вдруг вспомнил Фишту Луковицу и Красавчика Котру из арестантского вагона. Они были наркоманами, несчастными людьми, привыкшими употреблять особенно сильные наркотические вещества. Они страшно мучались без своего

зелья, не ели и не пили, а дни напролёт сидели вот так, с потухшими глазами и отвисшей губой.

Шагах в десяти перед машиной стояли три человека.

— У тебя болит что-нибудь? — спросил он Гая.

— Нет, — уныло ответил Гай.

— А что ты так нахохлился?

— Да так как-то... — Гай оттянул воротник и вяло повертел шеей. — Нехорошо как-то... Я лягу, а?

Не дожидаясь ответа Максима, он полез в люк и прилёг там на ветки, поджав ноги. «Вот оно как, — подумал Максим. — Это не так просто, как я думал. — Он забеспокоился. — Лучевого удара Гай не получил, из поля мы выехали почти два часа назад... Он же всю жизнь живёт в этом поле... А может быть, ему это вредно — без поля? Вдруг он заболеет? Надо же, дрянь какая...» Он смотрел через люк на бледное лицо, и ему становилось всё страшнее. Наконец он не выдержал, спрыгнул в отсек, выключил двигатель, выволок Гая наружу и положил на траву у шоссе.

Гай спал, бормотал что-то во сне, сильно вздрагивал. Потом его начал бить озноб, он скрючивался, сжимался, словно стараясь согреться, засовывал ладони под мышки. Максим положил его голову к себе на колени, прижал ему пальцами виски и постарался сосредоточиться. Ему давно не приходилось делать психомассаж, но он знал, что главное — отвлечься от всего, сосредоточиться, включить больного в свою, здоровую, систему. Так он сидел минут десять или пятнадцать, а когда очнулся, то увидел, что Гаю лучше, лицо порозовело, дыхание стало ровным, он больше не мёрз. Максим устроил ему подушку из травы, посидел некоторое время, отгоняя комаров, а потом вспомнил, что им ещё ехать и ехать, а реактор течёт — для Гая это опасно, надо что-то придумать. Он поднялся и вернулся к танку.

Ему пришлось основательно повозиться, прежде чем он снял с проржавевших заклёпок несколько листов бортовой брони, а затем он набивал эти листы на керамическую перегородку, отделяющую реактор и двигатель от отсека управления. Ему оставалось прикрепить последний лист, когда он вдруг почувствовал, что вблизи появились посторонние. Он осторожно высунулся из люка, и внутри у него похолодело и съёжилось.

На шоссе, шагах в десяти перед машиной, стояли три человека, но он не сразу понял, что это люди. Правда, они были одеты и двое держали на плечах жердь, с которой свисало окровавленной головой

вниз небольшое копытное животное, похожее на оленя, а на шее у третьего, поперёк цыплячьей груди, висела громоздкая винтовка непривычного вида. «Мутанты, — подумал Максим. — Вот они, мутанты...» Все рассказы и легенды, слышанные им, вдруг всплыли в памяти и сделались очень правдоподобными. Сдирают с живых кожу... людоеды... дикари... звери. Он стиснул зубы, выскочил на броню и поднялся во весь рост. Тогда тот, что был с винтовкой, смешно перебрал коротенькими ножками, выгнутыми дугой, но не двинулся с места. Он только поднял руку с двумя длинными многосуставными пальцами, громко зашипел, а потом произнёс скрипучим голосом:

— Кушать хочешь?

Максим разлепил губы и сказал:

— Да.

— Стрелять не будешь? — поинтересовался обладатель винтовки.

— Нет, — сказал Максим улыбаясь. — Ни в коем случае.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Гай сидел за грубым самодельным столом и чистил автомат. Было около четверти одиннадцатого утра, мир был серым, бесцветным, сухим, в нём не было места радости, не было места движению жизни, всё было тусклое и больное. Не хотелось думать, не хотелось ничего видеть и слышать, даже спать не хотелось — хотелось просто положить голову на стол, опустить руки и умереть. Просто умереть — и всё.

Комнатка была маленькая, с единственным окном без стекла, выходившим на огромный, загромождённый развалинами, заросший диким кустом серо-рыжий пустырь. Обои в комнате пожухли и скрутились — не то от жары, не то от старости, — паркет рассохся, в одном углу обгорел до угля. От прежних жильцов в комнате ничего не осталось, кроме большой фотографии под разбитым стеклом, на которой, если внимательно присмотреться, можно было различить какого-то пожилого господина с дурацкими бакенбардами и в смешной шляпе, похожей на жестяную тарелку.

Глаза бы всего этого не видели, сдохнуть бы сейчас или завыть последней бездомной собакой, но Максим приказал: «чисти!» «Каждый раз, — приказал Максим, постукивая каменным пальцем по столу, — каждый раз, как только тебя скрутит, садись и чисти автомат...» Значит, надо чистить. Максим всё-таки. Если бы не Максим, давно бы лёг и помер. Просил ведь его: «Не уходи ты от меня в это время, посиди, полечи». Нет. Сказал, что теперь сам должен. Сказал, что это не

смертельно, что должно пройти и обязательно пройдёт, но надо перемочься, надо справиться...

«Ладно, — вяло подумал Гай, — справлюсь. Максим всё-таки. Не человек, не Творец, не бог — Максим... И ещё он сказал: «Злись! Как тебя скрутит, вспоминай, откуда это у тебя, кто тебя к этому приучил, зачем, и злись, копи ненависть. Скоро она понадобится: ты не один такой, вас таких сорок миллионов, оболваненных, отравленных...» Трудно поверить, массаракш, ведь всю жизнь в строю, всегда знали, что к чему, всё было просто, все были вместе, и хорошо было быть таким, как все. Нет, пришёл, влюбил в себя, карьеру испортил, а потом буквально за шиворот вырвал из строя и утащил в другую жизнь, где и цель непонятна, и средства непонятны, где нужно — массаракш и массаракш! — обо всём думать самому, решать самому, всё самому... Да... вытащил за шиворот. Повернул мордой назад, к родному, к гнезду, к самому дорогому и показал: помойка, гнусь, мерзость, ложь... И вот смотришь — действительно, мало красивого, себя вспомнить тошно, ребят вспомнить тошно, а уж господин ротмистр Чачу!..» Гай с сердцем загнал на место затвор и цокнул защёлкой. И снова навалилась вялость, апатия, и воли на то, чтобы вставить магазин, уже не оставалось. Плохо, ох как плохо...

Перекошенная скрипучая дверь отворилась, всунулось маленькое деловитое рыльце — в общем, даже симпатичное, если бы не лысый череп и не воспалённые веки без ресниц, — Танга, соседская девчонка.

— Дядя Мак приказали вам идти на площадь! Там уже все собрались, одного вас ждут!

Гай угрюмо покосился на неё, на тщедушное это тельце в платьице из грубой мешковины, на ненормально тонкие ручки-соломинки, покрытые коричневыми пятнами, на кривые ножки, распухшие в коленях, и его замутило, и самому стало стыдно своего отвращения, — ребёнок, а кто виноват? Он отвёл глаза и сказал:

— Не пойду. Передай, что плохо себя чувствую. Заболел.

Дверь скрипнула, и когда он снова поднял глаза, девчонки не было. Он с досадой бросил автомат на койку, подошёл к окну, высунулся. Девчонка со страшной скоростью пылила по лощине между остатками стен, по бывшей улице; за нею увязался какой-то карапузик, проковылял несколько шажков, зацепился, шлёпнулся, поднял голову, полежал некоторое время, потом взревел ужасным басом. Из-за руин выскочила мать. Гай поспешно отшатнулся, потряс головой и вернулся к столу. «Нет, не могу привыкнуть. Гадкий я, видно, человек... Ну уж попался бы мне тот, кто за всё это в ответе, тут уж я бы не

промахнулся. Но всё-таки почему я не могу привыкнуть? Господи, за этот месяц я такого повидал — на сто кошмарных снов хватит...»

Мутанты жили небольшими общинами. Иные кочевали, охотились, искали места получше, искали дорогу на Север в обход легионерских пулемётов, в обход страшных областей, где они сходили с ума и умирали на месте от приступов чудовищной головной боли; иные жили оседло на фермах и в деревушках, уцелевших после боёв и взрыва трёх ядерных бомб, из которых одна взорвалась над этим городом, а две в окрестностях — там сейчас километровые проплешины блестящего, как зеркало, шлака. Оседлые сеяли мелкую, выродившуюся пшеницу, возделывали странные свои огороды, где томаты были как ягоды, а ягоды — как томаты, разводили жуткий скот, на который смотреть было страшно, не то, что есть. Это был жалкий народ — мутанты, дикие южные выродки, про которых плели разную чушь и сам он плёл разную чушь, — тихие, болезненные, изуродованные карикатуры на людей. Нормальными здесь были только старики, но их оставалось очень мало, все они были больны и обречены на скорую смерть. Дети их и внуки тоже казались не жильцами на этом свете. Детей у них рождалось много, но почти все они умирали либо при рождении, либо в младенчестве. Те, что выживали, были слабыми, всё время маялись неизвестными недугами, уродливы были страсть, но все глядели послушными, тихими, умненькими. Да что там говорить, неплохие оказались люди мутанты, добрые, гостеприимные, мирные... Вот только смотреть на них было невозможно. Даже Максима сначала корёжило с непривычки, но он-то быстро привык, ему что — он своей натуре хозяин...

Гай вставил в автомат магазин, подпёр щёку ладонью, задумался. Да, Максим...

Правда, затеял Максим на этот раз явно бессмысленное дело. Затеял он собрать мутантов, вооружить их и выбить Легион для начала хотя бы на Голубую Змею. Смешно, ей-богу! Они же еле ходят, многие помирают на ходу — мешок с зерном поднимет и помрёт, — а он хочет с ними на Легион идти. Необученные, слабые, куда им... Пусть даже соберёт он этих... разведчиков ихних. На всю эту армию, если без Максима, одного ротмистра хватит, а если с Максимом, то ротмистра с ротой. Максим это, кажется, и сам понимает. Но вот целый месяц бегал по лесу от посёлка к посёлку, от общины к общине, уговаривал стариков и уважаемых людей, тех, кого общины слушаются. Сам бегал и меня с собой повсюду таскал, угомону на него нет. Не хотят старики идти и разведчиков не отпускают... И вот теперь на это совещание надо... Не пойду.

Мир стал светлее. Было уже не так тошно глядеть вокруг, кровь быстрее побежала по жилам, зашевелились смутно какие-то надежды, что сегодняшнее совещание провалится, что Максим придёт и скажет: хватит, нечего здесь больше делать, и они двинут дальше на юг, в пустыню, где, говорят, тоже живут мутанты-выродки, но не такие жуткие, больше похожие на людей и не такие больные. Говорят, у них там что-то вроде государства, и даже армия есть. Может быть, с ними удастся кашу сварить... Правда, там всё радиоактивно, туда, говорят, сажали бомбу на бомбу, специально для заражения... Были, говорят, такие специальные бомбы.

Вспомнив про радиоактивность, Гай полез в свой вещевой мешок и вытащил коробочку с жёлтыми таблетками, бросил две штуки в рот, скривился от пронзительной горечи. Надо же, какая мерзость, но без неё здесь нельзя, здесь тоже всё заражено. А в пустыне придётся, наверное, горстями их сосать... Спасибо принцу-герцогу, мне бы без этих пилюль здесь каюк... А принц-герцог молодчина, не теряется, не отчаивается в этом аду, лечит, помогает, обходы делает, целую фабрику медикаментов организовал.

Дверь распахнулась; в комнату вошёл сердитый Максим, голый, в одних шортах, поджарый, быстрый, и видно, что злится. Увидев его, Гай надулся и стал смотреть в окно.

— Ну, не выдумывай, — сказал Максим. — Пошли.

— Не хочу, — сказал Гай. — Ну их всех! С души воротит, невозможно.

— Глупости, — возразил Максим. — Прекрасные люди, очень тебя уважают. Не будь мальчишкой.

— Да уж, уважают, — сказал Гай.

— Ещё как уважают! Давеча принц-герцог просил, чтобы ты остался здесь. «Я, говорит, умру скоро, нужен настоящий человек, чтобы меня заменить».

— Ну да, заменить... — проворчал Гай, чувствуя, однако, как внутри у него, помимо воли, всё размягчается.

— И ещё Бошку ко мне пристаёт, обращаться к тебе прямо стесняется. «Пусть, говорит, Гай останется, учить будет, защищать будет, хороших ребят воспитывать будет...» Знаешь, как Бошку разговаривает?

Гай покраснел от удовольствия, откашлялся и сказал, хмурясь, всё ещё глядя в окно:

— Ну ладно... Автомат брать?

— Возьми, — сказал Максим. — Мало ли что...

Гай взял автомат под мышку; они вышли из комнаты — Гай впереди, Максим по пятам, — спустились по трухлявой лестнице,

перешагнули через кучу детишек, возившихся в пыли у порога, и пошли по улице к площади. Эх! Улица, площадь... Одно название. Сколько же здесь людей разом погибло! Говорят, раньше большой красивый город здесь был. Загубили страну, гады. Мало того что людей поперебили, поперекалечили — развели ведь ещё какую-то нечисть, какой сроду здесь никогда не бывало. Да и не только здесь...

Принц-герцог рассказывал, что до войны жили в лесу звери, похожие на собак — забыл, как называются, — умные были и очень добрые зверюги, все понимали, дрессировать их было одно удовольствие. Ну и конечно, стали их дрессировать для военных целей. А потом нашёлся умник, расшифровал их язык, оказалось, что у них язык есть, и довольно сложный, и что они вообще любят подражать, и глотка у них так устроена, что некоторых можно было даже обучить говорить по-человечески, — не всему языку, конечно, но слов по пятьдесят, по семьдесят они запоминали. В общем, диковинные были животные, нам бы с ними дружить, учиться друг у друга, друг другу помогать, — они, говорят, вымирали... Так нет же, приспособили их воевать, приспособили их ходить к противнику за военными сведениями. А потом война началась, стало не до них, вообще ни до чего стало. И вот, пожалуйста — упыри. Тоже мутанты, только не человеческие, а звериные — очень опасные существа. По Особому Южному Округу был даже приказ о борьбе с ними, а принц-герцог, тот прямо говорит: нам здесь всем конец, будут здесь жить одни упыри...

Гай вспомнил, как однажды в лесу Бошку со своими охотниками подстрелил оленя, за которым охотились упыри, и началась драка. А мутанты — какие они драчуны? Выпалили по разу из своих дедовских, бросили ружья, сели и закрыли глаза руками, чтобы, значит, не видеть, как их рвать будут. И Максим тоже, надо сказать, растерялся... Не то чтобы растерялся, а так как-то... не хотелось ему драться. Ну, пришлось мне отдуваться за всех. Обойма кончилась — прикладом. Хорошо, упырей немного было, всего шесть голов. Двоих убили, один удрал, а троих, раненных и оглушённых, повязали и собрались утром в деревню вести на казнь. А ночью смотрю: Максим тихонько встаёт — и к ним. Посидел с ними, полечил, как он это умеет, наложением рук, потом развязал, и те, конечно, не будь дураки, дали дёру, только их и видели. Я ему говорю: «Ты что же это, Мак, зачем ты?» — «Сам не знаю, говорит, но чувствую, что нельзя их казнить. Ни людей, говорит, нельзя, ни этих... Это, говорит, не собаки никакие и не упыри...»

Да разве только упыри! А летучие мыши какие пошли! Те, что Колдуну прислуживают... Это же ужас летающий, а не мыши! А кто по

ночам по деревням бродит с топотом, детей крадёт? Причём сам даже в дом не заходит, а дети, спящие так, не просыпаясь, к нему и выходят... Положим, это, может быть, и враньё, но кое-что я и сам видел. Как сейчас помню, повёл нас принц-герцог показывать самый близкий вход в Крепость. Приходим. Лужайка такая мирная, зелёная, холмик, в холме — пещера. Смотрим мы — господи боже! — вся лужайка перед входом завалена дохлыми упырями, десятка два, не меньше, причём не покалеченные, не раненые — ни одной капли крови на траве. И что самое удивительное — Максим их осмотрел и сказал: они же не мёртвые, они как бы в судороге, словно их кто-то загипнотизировал... Спрашивается: кто? Нет, жуткие места. Здесь человеку только днём можно, да и то с опаской. Если бы не Максим, рванул бы я отсюда, только пятки бы засверкали. Но если говорить честно, то куда бежать? Вокруг леса, в лесах нечисть, танк в болоте потонул... К своим бежать?.. Казалось бы, очень естественно — к своим бежать. Но какие они мне теперь свои? Тоже, если подумать, уроды, куклы, правильно Максим говорит. Что это за люди, которыми можно управлять, как машинами? Нет, это не по мне... Противно...»

Они вышли на площадь, на большой пустырь, посередине которого дико чернел какой-то оплавившийся памятник, и свернули к уцелевшему домику, где обычно собирались представители, чтобы обменяться слухами, посоветоваться насчёт посевов или охоты, а то и просто посидеть, подремать, послушать рассказы принца-герцога о прежних временах.

В домике, в большой чистой комнате, уже собрался народ. Смотреть здесь ни на кого не хотелось. Даже принц-герцог — казалось бы, не мутант, человек, — а и тот изуродован: всё лицо в ожогах и рубцах. Вошли, поздоровались, сели в круг, прямо на пол. Бошку, сидевший рядом с плитой, снял с углей чайник, налил им по чашке чаю, крепкого, хорошего, но без сахара. Гай принял свою чашку — необыкновенной красоты чашка, цены ей нет, королевского фарфора, — поставил её перед собой, а потом упёр автомат прикладом в пол между колен, прислонился лбом к рубчатому стволу и закрыл глаза, чтобы никого не видеть.

Начал совещание принц-герцог. Никакой он был не принц и никакой не герцог, а был он главным хирургом Крепости. Когда Крепость начали ломать атомными бомбами, гарнизон восстал, выкинул белый флаг (по этому флагу свои же немедленно долбанули термоядерной); настоящего принца, командующего, солдаты разорвали на куски, увлеклись, поперебили всех офицеров, а потом спохватились, что некому командовать, а без командования нельзя: война-то

продолжается, противник атакует, свои атакуют, а из солдат никто плана Крепости не знает. Получилась гигантская мышеловка, а тут ещё взорвались бактериологические бомбы, весь арсенал, и началась чума. Короче говоря, как-то само собой получилось, что половина гарнизона разбежалась кто куда, от оставшейся половины три четверти вымерли, а остальных принял на себя главный хирург — во время бунта солдаты его не тронули: врач всё-таки. Как-то повелось называть его то принцем, то герцогом, сначала в шутку, потом привыкли, а Максим для определённости называл его принцем-герцогом.

— Друзья! — сказал принц-герцог. — Надо нам обсудить предложения нашего друга Мака. Это очень важные предложения. Насколько они важны, вы можете судить хотя бы по тому, что сам Колдун к нам пожаловал и будет, может быть, с нами говорить...

Гай поднял голову. И верно: в углу, прислонившись спиной к стене, сидел сам Колдун, собственной персоной. Смотреть на него было жутко, а не смотреть невозможно. Замечательная была личность. Даже Максим смотрел на него как-то снизу вверх и говорил Гаю: «Колдун — это, брат, фигура». Был Колдун небольшого роста, плотный, чистый, ноги и руки у него были коротенькие, но сильные, и, в общем, он был не такой уж уродливый: во всяком случае, слово «уродливый» к нему не подходило. У него был огромный череп, покрытый густым жёстким волосом, похожим на серебристый мех, маленький рот со странно сложенными губами, словно он всё время собирался свистнуть сквозь зубы, лицо, в общем, даже худощавое, но под глазами мешки, а сами глаза были длинные и узкие, с вертикальным, как у змеи, зрачком. Говорил он мало, на людях бывал редко, жил один в подвале на дальнем конце города, но авторитетом пользовался огромным из-за своих удивительных способностей. Во-первых, он был очень умён и знал всё, хотя от роду ему было всего что-то около двадцати лет и нигде он, кроме этого города, не бывал. Когда возникали какие-нибудь вопросы, к нему шли на поклон за советом. Как правило, он ничего не отвечал, и это означало, что вопрос чепуховый: как его ни решишь, всё ладно будет. Но если вопрос оказывался жизненно важным — насчёт погоды, когда что сеять, — он всегда давал совет и ни разу ещё не ошибся. Ходили к нему только старшие, и что там происходило, они помалкивали, но бытовало убеждение, что, даже давая совет, Колдун не раскрывал рта. Так, посмотрит только — и становится ясно, что нужно делать. Во-вторых, имел он власть над животными. Никогда он не требовал у общества ни еды, ни одежды: всё ему доставляли животные, разные животные — и зверьё, и

насекомые, и лягушки. А главной прислугой у него были огромные летучие мыши, с которыми он, по слухам, мог объясняться, и они его понимали и слушались. Далее рассказывали, что он знает неведомое. Понять это неведомое было невозможно. На взгляд Гая, это был просто набор слов: чёрный пустой Мир до начала Мирового Света; мёртвый ледяной Мир после угасания Мирового Света; бесконечная пустыня с многими Мировыми Светами... Никто не мог объяснить, что это означает, а Мак только покачивал головой и восхищённо бормотал: «Вот это интеллект!»

Колдун сидел ни на кого не глядя, на плече у него неловко топталась слепенькая ночная птица. Колдун время от времени доставал из кармана какие-то кусочки и совал ей в клюв, тогда она замирала на секунду, потом задирала голову и как бы с трудом глотала, вытягивая шею.

— Это очень важные предложения, — продолжал принц-герцог, — а потому я прошу вас слушать внимательно, а ты, Бошку, голубчик, заваривай чай покрепче, потому что, я вижу, кое-кто уже задрёмывает. Не надо задрёмывать, не надо. Соберитесь с силами, может быть, сейчас решается ваша судьба...

Собрание одобрительно заворчало. Какого-то бельмастого оттащили за уши от стены, где он наладился было подремать, и усадили в первом ряду.

— Так я ведь ничего... — бормотал бельмастый. — Я только так, немножко. Я к тому, что говорить надобно покороче, а то пока до конца доходят, я уж и начало забываю...

— Хорошо, — согласился принц-герцог. — Покороче так покороче. Солдаты отжимают нас на юг, в пустыню. Пощады они не дают, в переговоры не вступают. Из семей, которые пытались пробраться на север, никто не вернулся. Надо полагать, они погибли. Это означает, что лет через десять — пятнадцать нас отожмут в пустыню окончательно, и там мы все погибнем без пищи и без воды. Говорят, что в пустыне тоже обитают люди. Я в это не верю, но многие уважаемые старосты верят и утверждают, будто эти обитатели пустыни такие же жестокие и кровожадные, как солдаты. А мы — люди миролюбивые, сражаться мы не умеем. Многие из нас мрут, и мы, наверное, не доживём до окончательного конца, но мы сейчас правим народом и обязаны думать не только о себе, но и о наших детях. «Бошку, — сказал он, — подай, пожалуйста, чаю уважаемому Хлебопёку». По-моему, заснул Хлебопёк.

Хлебопёка разбудили, сунули ему в пятнистую руку горячую чашку; он обжёгся, зашипел, и принц-герцог продолжал:

— Наш друг Мак предлагает выход. Он пришёл к нам со стороны солдат. Солдат он ненавидит и говорит, что пощады ждать от них нельзя, все они там одурачены тиранами и горят желанием нас уничтожить. Мак хотел сначала вооружить нас и повести в бой, но убедился, что мы слабые и воевать не можем. И тогда он решил добраться до обитателей пустыни — он в них тоже верит, — договориться с ними и повести их на солдат. Что требуется от нас? Благословить эту затею, пропустить обитателей пустыни через наши земли и обеспечить их продовольствием, пока будет идти война. И ещё наш друг Мак предложил: дайте ему разрешение собрать всех наших разведчиков, которые захотят, он обучит их воевать и поведёт через Голубую Змею, чтобы поднять там восстание. Вот, коротко, как обстоят дела. Нам сейчас нужно решить, и я прошу высказываться.

Гай покосился на Максима. Друг Мак сидел, поджав под себя ногу, огромный, коричневый, неподвижный, как скала, даже не как скала, а как гигантский аккумулятор, готовый разрядиться в одно мгновение. Он смотрел в дальний угол, на Колдуна, но взгляд Гая почувствовал немедленно и повернул к нему голову. И вдруг Гай подумал, что друг Мак уже не тот, что прежде. Он вспомнил, что давно уже не улыбался Мак своей знаменитой ослепительной улыбкой, что давно он не пел своих горских песен и что глаза у него стали теперь без прежней ласковости и доброго ехидства, твёрдые стали глаза, остекленели как-то, словно и не Максим это, а ротмистр Чачу. И ещё вспомнил Гай, что давно уже перестал друг Мак метаться во все углы, как весёлый любопытный пёс, стал сдержанным, и появилась в нём какая-то суровость, целенаправленность какая-то, взрослая деловая сосредоточенность, словно целился он самим собой в какую-то одному ему видимую мишень... Очень, очень изменился друг Мак с тех пор, как всадили в него полную обойму из тяжёлого армейского пистолета. Раньше он жалел всех и каждого, а теперь не жалеет никого. Что ж, может быть, так и надо...

Но страшное он всё-таки дело задумал, резня будет, большая резня будет...

— Что-то я не понял, — подал голос плешивый уродец, судя по одежде, нездешний. — Что же это он хочет? Чтобы варвары сюда к нам пришли? Так они же нас всех перебьют. Что я, варваров не знаю? Всех перебьют, ни одного человека не оставят.

— Они придут сюда с миром, — сказал Мак, — или не придут вовсе.

— Пусть уж лучше вовсе не приходят, — сказал плешивый. — С варварами лучше не связываться. Тогда уж лучше прямо к солдатам

выйти под пулемёты. Всё как-то от своей руки погибнешь, у меня отец солдатом был, из Крепости...

— Это, конечно, верно, — проговорил Бошку задумчиво. — Но ведь, с другой-то стороны, варвары могут и солдат прогнать, и нас не тронуть. Вот тогда и станет всем хорошо.

— Почему это они вдруг нас не тронут? — возразил бельмастый. — Все нас спокон веков трогали, а эти вдруг не тронут?

— Так ведь он с ними договорится, — пояснил Бошку. — Не трогайте, мол, лесовиков, и всё тут, а иначе, мол, не приходите...

— Кто? «Кто договорится?» — спросил Хлебопёк, вертя головой.

— Да вот Мак. Мак и договорится...

— Ах, Мак... Ну, если Мак договорится, тогда, может быть, и не тронут.

— Чаю тебе дать? — спросил Бошку. — Засыпаешь ведь, Хлебопёк.

— Да не хочу я твоего чаю.

— Ну выпей чайку, чашечку только. Что это тебе — трудно?

Бельмастый вдруг поднялся.

— Пойду я, — сказал он. — Ничего из этого не выйдет. И Мака они убьют, и нас тоже не пожалеют. Чего нас жалеть? Всё равно лет через десять нам всем конец. У меня в общине уже два года дети не рождаются. Дожить бы до смерти спокойно, и ладно. А так сами решайте, как знаете. Мне всё равно.

Он вышел, перекошенный, неуклюжий, споткнувшись о порог.

— Да, Мак, — покачивая головой, проговорил Пиявка. — Извини нас, но никому мы не верим. Как можно варварам верить? Они в пустыне живут, песок жуют, песком запивают. Они страшные люди, из железной проволоки скручены, ни плакать не умеют, ни смеяться. Что мы для них? Мох под ногами. Ну вот придут они, побьют солдат, сядут здесь, лес, конечно, выжгут... Зачем им лес? Они пустыню любят. И опять же нам конец. Нет, не верю. Не верю, Мак. Пустая твоя затея.

— Да, — сказал Хлебопёк. — Не нужно это нам, Май. Дай уж нам помереть спокойно, не трогай нас. Ты солдат ненавидишь, хочешь их сокрушить, а мы-то здесь при чём? У нас ни к кому ненависти нет. Пожалей нас, Мак. Нас ведь никто никогда не жалел. И ты хоть и добрый человек, но тоже нас не жалеешь... Не жалеешь ведь, а, Мак?

Гай снова поглядел на Максима и смущённо отвёл глаза.

Максим покраснел. Покраснел до слёз, наклонил голову и закрыл лицо рукой.

— Неправда, — сказал он. — Я жалею вас. Но я не только вас жалею. Я...

— Не-ет, Мак, — настойчиво сказал Хлебопёк. — Ты только нас пожалей. Мы ведь самые разнесчастные люди в мире, и ты это знаешь. Ты про свою ненависть забудь. Пожалей, и всё...

— А что ему нас жалеть? — подал голос Орешник, до глаз замотанный грязными бинтами. — Он сам солдат. Когда это солдаты нас жалели? Не родился ещё солдат, который бы нас пожалел...

— Голубчики, голубчики! — сказал строго принц-герцог. — Мак — наш друг. Он хочет нам добра, хочет уничтожить наших врагов...

— А вот что получится, — рассудительно сказал плешивый из нездешних. — Положим даже, что варвары будут сильнее солдат. Побьют они солдат, порушат ихние проклятые вышки, захватят весь Север. Пусть. Нам не жалко. Пусть они там режутся. Но польза-то нам какая? Нам тогда совсем конец: на Юге будут варвары, на Севере опять же варвары, над нами всё те же варвары. Мы им не нужны, а раз не нужны — под корень нас. Это одно... Теперь положим, что солдаты варваров отобьют. Отобьют они варваров, и покатится вся эта война через нас и на юг. Что тогда? Тогда опять же нам крышка: на Севере солдаты, на Юге солдаты и над нами солдаты. Ну, а солдат мы знаем...

Собрание зашумело, зажужжало, что правильно, мол, плешивый излагает, всё точно, но плешивый ещё не кончил.

— Дайте досказать! — возмутился он. — Что вы расшумелись, в самом деле? Это же ещё не всё. Ещё может быть, что солдаты варваров перебьют, а варвары — солдат. Вот тут вроде бы нам самоё и жить. Так нет же, опять не получается. Потому что ещё упыри есть. Пока солдаты живы, упыри прячутся, пули боятся, солдатам велено упырей стрелять. А уж как солдат не станет, тут нам полная крышка. Съедят нас упыри и костей не оставят.

Эта идея страшно поразила собрание.

— Правильно говорит! — раздались голоса. — Надо же, какие головы у них на болотах... Да, братья, про упырей-то мы и забыли... А они не спят, они своего ждут... Не надо нам ничего, Мак, пусть идёт как идёт... Двадцать лет худо-бедно прожили и ещё двадцать протянем, а там, глядишь, и ещё...

— И разведчиков ему отдавать нельзя! — возвысил голос плешивый. — Мало ли что они сами хотят... Им что — они и дома не живут. Шестипалый вон днюет и ночует на той стороне. Срам сказать — грабит там и пьёт. Им хорошо, они вышек проклятых не боятся, головы у них не болят. А обществу-то каково? Дичь на Север уходит. Кто к нам её с Севера гнать будет, если не разведчики? Не давать! И приструнить их ещё надо хорошенько, совсем разбаловались. Убийства там

учиняют, солдат крадут и мучают, как и не люди... Не пускать! Совсем разбалуются...

— Не пускать, не пускать... — подтвердило собрание. — Как мы без них? А мы их кормили-поили, мы их родили да вырастили, чувствовать должны, а они, знай себе, на сторону смотрят, как бы посвоевольничать...

Плешивый наконец угомонился, сел на место и принялся жадно глотать остывший чай. Собрание тоже угомонилось, утихло. Старики сидели неподвижно, стараясь не глядеть на Максима.

Бошку, уныло кивая, проговорил:

— Надо же, какая у нас несчастная жизнь! Ниоткуда спасения нет. И что мы кому сделали?

— Рожали нас зря, вот что, — сказал Орешник. — Не подумавши нас рожали, не вовремя... — Он протянул пустую чашку. — И мы зря рожаем. На погибель. Да, да, на погибель...

— Равновесие... — произнёс вдруг громкий хриплый голос. — Я вам уже говорил это, Мак. Вы не захотели меня понять...

Непонятно было, откуда идёт голос. Все молчали, скорбно потупившись. Только птица на плече Колдуна топталась, открывая и закрывая жёлтый клюв. Сам Колдун сидел неподвижно, закрыв глаза и сжав тонкие сухие губы.

— Но теперь, надеюсь, вы поняли, — продолжала вроде бы птица. — Вы хотите нарушить это равновесие. Что ж, это возможно, это в ваших силах. Но спрашивается — зачем? Кто-нибудь просит вас об этом? Вы видите, что нет. Тогда что же вами движет?..

Птица нахохлилась и засунула голову под крыло, а голос всё звучал, и теперь Гай понял, что говорит сам Колдун, не разжимая губ, не двигая ни одним мускулом лица.

Это было очень страшно, и не только Гаю, но и всем собравшимся, даже принцу-герцогу. Один лишь Максим смотрел на Колдуна хмуро и с каким-то дерзким вызовом.

— Нетерпение потревоженной совести! — провозгласил Колдун. — Ваша совесть избалована постоянным вниманием, она принимается стонать при малейшем неудобстве, и разум ваш почтительно склоняется перед нею, вместо того чтобы прикрикнуть на неё и поставить её на место. Ваша совесть возмущена существующим порядком вещей, и ваш разум послушно и поспешно ищет пути изменить этот порядок. Но у порядка есть свои законы. Эти законы возникают из стремлений огромных человеческих масс, и меняться они могут тоже только с изменением этих стремлений... Итак, с одной стороны — стремления огромных человеческих масс, с другой стороны — ваша совесть,

воплощение ваших стремлений. Ваша совесть подвигает вас на изменение порядка вещей, то есть на нарушение законов этого порядка, определяемых стремлениями масс, то есть на изменение стремлений миллионных человеческих масс по образу и подобию ваших стремлений. Это смешно и антиисторично. Ваш затуманенный и оглушённый совестью разум утратил способность отличать реальное благо масс от воображаемого, продиктованного вашей совестью. А разум нужно держать в чистоте. Не хотите, не можете — что ж, тем хуже для вас. И не только для вас. Вы скажете, что в том мире, откуда вы пришли, люди не могут жить с нечистой совестью. Что ж, перестаньте жить. Это тоже неплохой выход — и для вас, и для других.

Колдун замолчал, и все головы повернулись к Максиму. Гай не вполне уразумел, о чём тут шла речь. По-видимому, это был отголосок какого-то старого спора. И ещё ясно было, что Колдун считает Максима умным, но капризным человеком, действующим скорее по прихоти, чем по необходимости. Это было обидно. Максим был, конечно, странной личностью, но себя он не щадил и всегда всем хотел добра — не по капризу какому-нибудь, а по самому глубокому убеждению. Конечно, сорок миллионов людей, одураченных излучением, никаких перемен не хотели, но ведь они были одурачены, это было несправедливо...

— Не могу с вами согласиться, — холодно сказал Максим. — Совесть своей болью ставит задачи, разум — выполняет. Совесть задаёт идеалы, разум ищет к ним дороги. Это и есть функция разума — искать дороги. Без совести разум работает только на себя, а значит, вхолостую. Что же касается противоречия моих стремлений со стремлениями масс... Существует определённый идеал: человек должен быть свободен духовно и физически. В этом мире массы ещё не сознают этого идеала, и дорога к нему тяжёлая. Но когда-то нужно начинать. И я намерен начать сейчас.

— Верно, — с неожиданной лёгкостью согласился Колдун. — Совесть действительно задаёт идеалы. Но идеалы потому и называются идеалами, что находятся в разительном несоответствии с действительностью. Я ведь только это и хочу сказать, только это и повторяю: не следует нянчиться со своей совестью, надо почаще подставлять её пыльному сквознячку новой действительности и не бояться появления на ней пятнышек и грубой корочки... Впрочем, вы это и сами понимаете. Вы просто ещё не научились называть вещи своими именами. Но вы и этому научитесь. Вот ваша совесть провозгласила задачу: свергнуть тиранию этих Огненосных Творцов. Разум прикинул, что к чему, и подал совет: поскольку изнутри тиранию взорвать

невозможно, ударим по ней снаружи, бросим на неё варваров... Пусть лесовики будут растоптаны, пусть русло Голубой Змеи запрудится трупами, пусть начнётся большая война, которая, может быть, приведёт к свержению тиранов, — всё для благородного идеала. Ну что же, сказала совесть, поморщившись, придётся мне немножко огрубеть ради великого дела...

— Массаракш... — прошипел Максим, красный и злой, каким Гай не видел его никогда. — Да, массаракш! Да! Всё именно так, как вы говорите! А что ещё остаётся делать? За Голубой Змеёй люди превращены в ходячие, деревяшки.

— Правильно, правильно, — сказал Колдун. — Другое дело, что сам по себе план неудачен: варвары разобьются о башни и откатятся, а бедные наши разведчики, в общем, ни на что серьёзное не способны. Но в рамках того же плана вы бы могли связаться, например, с Островной Империей... Речь не об этом. Боюсь, вы вообще опоздали, Мак!.. Вы только не подумайте, что я вас отговариваю. Я хорошо вижу: вы — сила, Максим. И ваше появление здесь само по себе означает неизбежное нарушение равновесия на поверхности нашего маленького мира. Действуйте. Только пусть ваша совесть не мешает вам ясно мыслить, а ваш разум пусть не стесняется, когда нужно, отстранить совесть... И ещё советую вам помнить: не знаю, как в вашем мире, а в нашем никакая сила не остаётся долго без хозяина. Всегда находится кто-нибудь, кто старается приручить её и подчинить себе — незаметно или под благовидным предлогом... Вот и всё, что я хотел сказать.

Колдун с неожиданной ловкостью поднялся — птица на его плече присела и растопырила крылья, — скользнул на коротеньких ножках вдоль стены и скрылся за дверью. И тотчас же следом потянулось всё собрание. Уходили, постанывая, покряхтывая, отдуваясь, ничего толком не поняв из сказанного, но явно довольные тем, что всё остаётся по-прежнему, что Колдун не разрешил опасной затеи, пожалел, значит, Колдун, не дал в обиду, и можно будет теперь доживать, как и раньше, благо впереди ещё целая вечность — лет десять, а то и больше. Последним уплелся Бошку с пустым чайником, и в комнате остались только Гай, да Мак с принцем-герцогом, да ещё в углу крепко спал притомившийся от умственных усилий Хлебопёк. В голове у Гая было смутно, да и в душе тоже. Понял он только одно: «Несчастная моя жизнь: первую половину был куклой, болванчиком в чьих-то руках, а вторую половину, видно, придётся доживать бродягой без родины, без друзей, без завтрашнего дня...»

— Вы огорчены, Мак? — спросил принц-герцог виновато.

— Да нет, не очень, — отозвался Максим. — Скорее даже наоборот, я испытываю облегчение. Колдун прав, моя совесть ещё не готова к таким затеям. Вероятно, надо ещё побродить, посмотреть. Потренировать совесть... — Он как-то неприятно засмеялся. — Что вы мне можете предложить, принц-герцог?

Старый принц-герцог, кряхтя, поднялся и, растирая затёкшие бока, прошёлся по комнате.

— Во-первых, я не советую вам углубляться в пустыню, — сказал он. — Есть там варвары или нет их, ничего подходящего вы там для себя не найдёте. Может быть, стоит, по совету Колдуна, установить контакт с островитянами, хотя, видит бог, не знаю я, как это сделать. Вероятно, надо идти к морю и начинать оттуда... если островитяне тоже не миф и, если они захотят с вами разговаривать... Самым правильным мне кажется возвращаться назад и действовать там в одиночку. Вспомните, что сказал Колдун: вы — сила. И потом вы правы: система башен должна иметь Центр. И власть над Севером в руках у того, кто владеет этим Центром. Вам следует хорошенько это усвоить.

— Боюсь, это не для меня, — медленно проговорил Максим. — Не могу пока сказать почему, но это не для меня, я чувствую. Я не хочу владеть Центром. В одном вы правы: мне нечего делать ни здесь, ни в пустыне. Пустыня слишком далеко, а здесь не на кого опереться. Но мне предстоит ещё многое узнать: есть ещё Пандея, Хонти, есть ещё горы, есть ещё где-то Островная Империя... Вы слыхали о белых субмаринах? Нет? А я слыхал, и Гай вот слыхал, и мы знаем человека, который их видел и с ними сражался. Так вот: они могут сражаться... Ну ладно. — Максим вскочил. — Медлить нечего. Спасибо, принц-герцог, вы очень помогли нам. Пойдём, Гай.

Они вышли на площадь и остановились возле оплавленного памятника. Гай с тоской озирался. Вокруг в жарком мареве колыхались жёлтые развалины, было душно, смрадно, но уже не хотелось уходить отсюда, из этого страшного, но уже привычного места, и снова тащиться через леса, отдавшись на волю всех тёмных случайностей, которые подстерегают там человека на каждом вздохе... Вернуться бы сейчас в свою комнатушку, поиграть с лысенькой Тангой, сделать ей наконец обещанную свистульку из стреляной гильзы, не пожалеть, массаракш, выстрелить в воздух патрон для бедной девчонки...

— Куда же вы всё-таки намерены идти? — спросил принц-герцог, прикрывая лицо от пыли своей потрёпанной, выцветшей шляпой.

— На запад, — ответил Максим. — К морю. Далеко отсюда море?

— Триста километров... — произнёс принц-герцог раздумчиво. — И придётся идти через очень заражённые места... Слушайте, — сказал

он, — а может быть, сделаем так?.. — Он надолго замолчал, и Гай уже начал нетерпеливо переступать с ноги на ногу, но Максим не торопился, ждал. — Эх, зачем он мне! — сказал наконец принц-герцог. — Честно говоря, хранил я его для себя, думал, когда станет совсем плохо, когда нервы откажут, сяду на него и вернусь домой, а там хоть под расстрел... Да что уж теперь... Поздно.

— Самолёт? — быстро спросил Максим, с надеждой глядя на принца-герцога.

— Да. «Горный Орёл». Вам говорит что-нибудь это название? Нет, конечно... А вам, молодой человек? Тоже нет... Знаменитейший некогда бомбовоз, господа. Личный Его Императорского Высочества Принца Кирну Четырёх Золотых Знамён Именной Бомбовоз «Горный Орёл» ... Солдат, помнится, наизусть заставляли зубрить... «Рядовой такой-то! Проименуй личный бомбовоз его императорского высочества!» И тот, бывало, именует... Да... Так вот я его сохранил. Сначала хотел на нём эвакуировать раненых, но их было слишком много. Потом, когда все раненые умерли... Э, да что рассказывать. Берите его себе, голубчик. Летите. Горючего хватит на полмира...

— Спасибо, — сказал Максим. — Спасибо, принц-герцог. Я вас никогда не забуду.

— Да что ж меня... — проговорил старик. — Не ради себя даю... А вот если удастся вам, голубчик, что-нибудь, вы этих вот не забудьте.

— Удастся, — сказал Максим. — Удастся, массаракш! Должно получиться, совесть или не совесть!.. И я никого никогда не забуду.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Гаю никогда ещё не приходилось летать на самолётах. Он и самолёт-то увидел впервые в жизни. Полицейские вертолёты и штабные летающие платформы он видел не раз и однажды даже принимал участие в облаве с воздуха: их секцию погрузили на вертолёт и высадили у шоссе, по которому пёрла к мосту толпа воспитуемых, взбунтовавшихся из-за скверной пищи. От этого воздушного броска у Гая остались самые неприятные воспоминания: вертолёт шёл очень низко, трясло и раскачивало так, что внутренности выворачивались наизнанку, и вдобавок одуряющий рёв винта, бензиновый угар и брызжущие отовсюду фонтаны машинного масла.

Но тут было совсем другое дело.

Личный Е. И. В. Бомбовоз «Горный Орёл», поразил воображение Гая. Это была поистине чудовищная машина, и совершенно невозможно было представить себе, что она способна подняться в воздух.

Ребристое узкое тело её, изукрашенное многочисленными золотыми эмблемами, было длинным, как улица. Грозно и величественно простирались исполинские крылья, под которыми могла бы укрыться целая бригада. До них было далеко, как до крыши дома, но лопасти шести огромных пропеллеров почти касались земли. Бомбовоз стоял на трёх колёсах, в несколько человеческих ростов каждое, — два колеса подпирали носовую часть, на третье опирался этажерчатый хвост. К блестевшей стеклом кабине вела на головокружительную высоту серебристая ниточка лёгкой алюминиевой лестницы. Да, это был настоящий символ старой империи, символ великого прошлого, символ былого могущества, распространявшегося на весь континент. Гай, задрав голову, стоял на ослабевших ногах, трепеща от благоговения, и как громом поразили его слова друга Мака:

— Ну и сундук, массаракш!.. Извините, принц-герцог, невольно вырвалось...

— Другого нет, — сухо отозвался принц-герцог. — Кстати, это лучший бомбовоз в мире. В своё время его императорское высочество совершил на нём...

— Да, да, конечно, — поспешно согласился Максим. — Это я от неожиданности...

Наверху, в пилотской кабине, восхищение Гая достигло предела. Кабина была сплошь из стекла. Огромное количество незнакомых приборов, удивительно удобные мягкие кресла, непонятные рычаги и приспособления, пучки разноцветных проводов, странные, невиданные шлемы, лежащие наготове... Принц-герцог что-то торопливо втолковывал Маку, указывая на приборы, покачивая рычаги. Мак рассеянно бормотал: «Ну да, понятно, понятно...», а Гай, которого усадили в кресло, чтобы не мешал, с автоматом на коленях, чтобы, упаси бог, чего-нибудь не поцарапать, таращил глаза и бессмысленно вертел головой.

Бомбовоз стоял в старом, просевшем ангаре на опушке леса; перед ним далеко простиралось ровное серо-зелёное поле без единой кочки, без единого кустика. За полем, километрах в пяти, снова начинался лес, а над всем этим висело белое небо, которое, казалось, отсюда, из кабины, совсем близким, рукой подать. Гай был очень взволнован. Он плохо запомнил, как прощался со старым принцем-герцогом. Принц-герцог что-то говорил, и Максим что-то говорил; кажется, они смеялись, потом принц-герцог всплакнул, потом хлопнула дверца... Гай вдруг обнаружил, что пристёгнут к креслу широкими ремнями, а Максим в соседнем кресле быстро и уверенно щёлкает какими-то рычажками и клавишами.

Засветились циферблаты на пультах, раздался треск, громовые выхлопы, кабина задрожала мелкой дрожью, всё вокруг наполнилось тяжёлым грохотом, маленький принц-герцог далеко внизу, среди полёгших кустов и словно бы заструившейся травы, схватился обеими руками за шляпу и попятился. Гай обернулся и увидел, что лопасти гигантских пропеллеров исчезли, слились в огромные мутные круги, и вдруг всё широкое поле сдвинулось и поползло навстречу, быстрее и быстрее... Не стало больше принца-герцога, не стало ангара, было только поле, стремительно летящее навстречу, и немилосердная тряска, и громовой рёв, и, с трудом повернув голову, Гай с ужасом обнаружил, что гигантские крылья плавно раскачиваются и вот-вот отвалятся, но тут тряска пропала, поле под крыльями ухнуло вниз, и какое-то мягкое, ватное ощущение пронизало Гая от ног до головы. А под бомбовозом уже больше не было поля, да и леса не стало: лес превратился в чёрно-зелёную щётку, в огромное латаное-перелатаное одеяло, и пятнистое это одеяло медленно ползло назад. Тогда Гай догадался, что он летит.

Он в полном восторге посмотрел на Максима. Друг Мак сидел в небрежной позе, положив левую руку на подлокотник, а правой едва заметно пошевеливал самый большой и, должно быть, самый главный рычаг. Глаза у него были прищурены, губы наморщены, словно он посвистывал. Да, это был великий человек. Великий и непостижимый. «Наверное, он всё может, — подумал Гай. — Вот он управляет этой сложнейшей машиной, которую видит впервые в жизни. Это ведь не танк какой-нибудь и не грузовик — самолёт, легендарная машина, я и не знал, что они сохранились... А он управляется с нею, как с игрушкой, словно всю жизнь только и делал, что летал в воздушных пространствах. Это просто уму непостижимо: кажется, что он многое видит впервые, к тем не менее он моментально приноравливается и делает то, что нужно. И разве только с машинами? Ведь не только машины сразу признают в нём хозяина... Захоти он, и ротмистр Чачу ходил бы с ним в обнимку... Колдун, на которого и смотреть-то боязно, и тот считал его за равного... Принц-герцог, учёный человек, главный хирург, аристократ, можно сказать, сразу почуял в нём что-то этакое, высокое... Такую машину подарил, доверил... А я ещё Раду за него хотел выдать. Что ему Рада? Так, мимолётное увлечение... Разве ему Раду нужно? Ему бы какую-нибудь графиню или, скажем, принцессу... А вот со мной дружит, надо же... И скажи он сейчас, чтобы я выкинулся вниз, — что же, очень может быть, что и выкинусь, потому что Максим... И сколько я уже из-за него узнал и повидал, в жизни

столько не узнать и не увидеть... И сколько из-за него ещё узнаю и увижу, и чему от него научусь...»

Максим почувствовал на себе его взгляд, и его восторг, и его преданность, повернул голову и широко, по-старому, улыбнулся, и Гай с трудом удержался, чтобы не схватить его мощную коричневую руку и не приникнуть к ней в благодарном лобзании. «О повелитель мой, защита моя и гордость моя, прикажи — я перед тобой, я здесь, я готов, швырни меня в огонь, соедини меня с пламенем... На тысячи врагов, на разверстые жерла, навстречу миллионам пуль... Где они, где враги твои? Где эти тупые отвратительные люди в мерзких чёрных мундирах? Где этот злобный офицеришка, осмелившийся поднять на тебя руку? О чёрный мерзавец, я разорву тебя ногтями, я перегрызу тебе глотку... но не сейчас, нет... Он что-то приказывает мне, мой владыка, он что-то хочет от меня... Мак, Мак, умоляю, верни мне свою улыбку, почему ты больше не улыбаешься? Да, да, я глуп, я не понимаю тебя, я не слышу тебя, здесь такой рёв, это ревёт твоя послушная машина... Ах вот оно что, массаракш, какой я идиот, ну конечно же, шлем... Да, да, сейчас... Я понимаю, здесь шлемофон, как в танке... Слушаю тебя, прекрасный! Приказывай! Нет-нет, я не хочу опомниться! Со мной ничего не происходит, просто я твой, я хочу умереть за тебя, прикажи что-нибудь... Да, я буду молчать, я заткнусь... Это разорвёт мне лёгкие, но я буду молчать, раз ты мне приказываешь... Башня? Какая башня? А, да, вижу башню... Эти чёрные мерзавцы, подлые людоеды, убийцы детей, они понатыкали башни везде, но мы сметём эти башни, мы пройдём железным сапогом, сметая эти башни, с огнём в очах... Веди, веди свою послушную машину на эту гнусную башню... и дай мне бомбу, я прыгну с бомбой и не промахнусь, вот увидишь! Бомбу мне, бомбу! В огонь! О!.. О-о! О-о-о!!!»

Гай с трудом вдохнул и рванул на себе ворот комбинезона. В ушах звенело, мир перед глазами плыл и покачивался. Мир был в тумане, но туман быстро рассеивался, ныли мускулы и нехорошо першило в горле. Потом он увидел лицо Максима, тёмное, хмурое, даже какое-то жестокое. Воспоминание о чём-то сладостном всплыло и тут же исчезло, но почему-то очень захотелось встать «смирно» и щёлкнуть каблуками. Впрочем, Гай понимал, что это неуместно, что Максим рассердился.

— Я что-то натворил? — спросил он виновато и опасливо осмотрелся.

— Это я натворил, — ответил Максим. — Совсем забыл об этой дряни.

— О чём?

Максим вернулся в своё кресло, положил руку на рычаг и стал смотреть вперёд.

— О башнях, — сказал он наконец.

— О каких башнях?

— Я взял слишком сильно к северу, — сказал Максим. — Мы попали под лучевой удар.

Гаю стало стыдно.

— Я орал «Железных ребят»? — спросил он.

— Хуже, — ответил Максим. — Ладно, впредь будем осторожнее.

С чувством огромной неловкости Гай отвернулся, мучительно пытаясь вспомнить, что же он тут делал, и принялся рассматривать мир внизу. Никакой башни он не увидел и, конечно, уже не увидел ни ангара, ни поля, с которого они взлетели. Внизу медленно ползло всё то же лоскутное одеяло, и ещё была видна река, тусклая металлическая змейка, исчезающая в туманной дымке далеко впереди, где в небе должно было стеной подниматься море... «Что же я тут болтал? — думал Гай. — Наверное, какую-то смертную чепуху нёс, потому что Максим очень недоволен и встревожен. Массаракш, может быть, ко мне вернулись мои жандармские привычки, и я Максима как-нибудь оскорбил?.. Где же эта проклятая башня? Хороший случай сбросить на неё бомбу...»

Бомбовоз вдруг тряхнуло. Гай прикусил язык, а Максим ухватился за рычаг двумя руками. Что-то было не в порядке, что-то случилось... Гай опасливо оглянулся и с облегчением обнаружил, что крыло на месте, а пропеллеры вращаются. Тогда он посмотрел вверх. В белёсом небе над головой медленно расплывались какие-то угольно-чёрные пятна. Словно капли туши в воде.

— Что это? — спросил он.

— Не знаю, — сказал Максим. — Странная штука... — Он произнёс ещё два каких-то незнакомых слова, а потом с запинкой сказал: — Атака... небесных камней. Чепуха, так не бывает. Вероятность — ноль целых, ноль-ноль... Что я их — притягиваю?

Он снова произнёс незнакомые слова и замолчал.

Гай хотел спросить, что такое небесные камни, но тут краем глаза заметил странное движение справа внизу. Он вгляделся. Над грязно-зелёным одеялом леса медленно вспучивалась грузная желтоватая куча. Он не сразу понял, что это дым. Потом в недрах кучи блеснуло, из неё скользнуло вверх длинное чёрное тело, и в ту же секунду горизонт вдруг жутко перекосился, встал стеной, и Гай вцепился в подлокотники. Автомат соскользнул у него с колен и покатился по полу. «Массаракш... — прошипел в наушниках голос Максима. — Вот это

что такое! Ах я дурак!» Горизонт снова выровнялся. Гай поискал глазами жёлтую кучу дыма, не нашёл, стал глядеть вперёд и вдруг увидел прямо по курсу, как над лесом поднялся фонтан разноцветных брызг, снова горой вспучилось жёлтое облако, блеснул огонь, снова длинное чёрное тело медленно поднялось в небо и лопнуло ослепительно-белым шаром. Гай прикрыл глаза рукой. Белый шар быстро померк, налился чёрным и расплылся гигантской кляксой. Пол под ногами стал проваливаться, Гай широко раскрыл рот, хватая воздух; на секунду ему показалось, что желудок вот-вот выскочит наружу. В кабине потемнело, рваный чёрный дым скользнул навстречу и в стороны, горизонт опять перекосился, лес был теперь совсем близко слева. Гай зажмурился и съёжился в ожидании удара, боли, гибели, — воздуха не хватало, всё вокруг тряслось и вздрагивало. «Массаракш... — шипел голос Максима в наушниках. — Тридцать три раза массаракш...» И тут коротко и яростно простучало рядом в стену, словно кто-то в упор бил из пулемёта, в лицо ударила тугая ледяная струя, шлем сорвало прочь, и Гай скорчился, пряча голову от рёва и встречного ветра. «Конец», — думал он. «В нас стреляют», — думал он. «Сейчас нас собьют, и мы сгорим», — думал он... Однако ничего не происходило. Бомбовоз встряхнуло ещё несколько раз, несколько раз он провалился в какие-то ямы и снова вынырнул, а потом рёв двигателей вдруг смолк, и наступила жуткая тишина, наполненная свистящим воем ветра, рвущегося сквозь пробоины.

Гай подождал немного, затем осторожно поднял голову, стараясь не подставлять лицо ледяным струям. Максим был тут. Он сидел в напряжённой позе, держась за рычаг обеими руками, и поглядывал то на приборы, то вперёд. Мышцы под коричневой кожей вздулись. Бомбовоз летел как-то странно — неестественно задрав носовую часть. Моторы не работали. Гай оглянулся на крыло и обмер.

Крыло горело.

— Пожар! — заорал он и попытался вскочить. Ремни не пустили.

— Сиди спокойно, — сказал Максим сквозь зубы, не оборачиваясь.

Гай взял себя в руки и стал глядеть вперёд. Бомбовоз летел совсем низко. От мелькания чёрных и зелёных пятен рябило в глазах. А впереди поднималась уже блестящая, стального цвета поверхность моря. «Разобьёмся к чертям, — подумал Гай с замиранием сердца. — Проклятый принц-герцог со своим проклятым бомбовозом, массаракш, тоже мне — обломок империи, шли бы себе спокойненько пешком и горя бы не знали, а сейчас вот сгорим, а если не сгорим, так разобьёмся, а если не разобьёмся, так потонем... Максиму что — он воскреснет, а мне — конец... Не хочу».

— Не дёргайся, — сказал Максим. — Держись крепче... Сейчас...

Лес внизу вдруг кончился. Гай увидел впереди несущуюся прямо на него волнистую серо-стальную поверхность и закрыл глаза...

Удар. Хруст. Ужасающее шипение. Опять удар. И ещё удар. Всё летит к чёрту, всё погибло, конец всему... Гай вопит от ужаса. Какая-то огромная сила хватает его и пытается вырвать с корнем из кресла вместе с ремнями, вместе со всеми потрохами, разочарованно швыряет обратно, вокруг всё трещит и ломается, разит гарью и брызгается тепловатой водой. Потом всё затихает. В тишине слышится плеск и журчание. Что-то шипит и потрескивает, пол начинает медленно колыхаться. Кажется, можно открыть глаза и посмотреть, как там, на том свете...

Гай открыл глаза и увидел Максима, который, нависнув над ним, расстёгивал ему ремни.

— Плавать умеешь?

«Ага, значит, мы живы».

— Умею, — ответил Гай.

— Тогда пошли.

Гай осторожно поднялся, ожидая острой боли в избитом и переломанном теле, однако тело оказалось в порядке. Бомбовоз тихонько покачивался на мелкой волне. Левого крыла у него не было, правое ещё болталось на какой-то дырчатой металлической полосе. Прямо по носу был берег — очевидно, бомбовоз круто развернуло при посадке.

Максим подобрал автомат, забросил за спину и распахнул дверцу. В кабину сейчас же хлынула вода, отчаянно завоняло бензином, пол под ногами начал медленно крениться.

— Вперёд! — скомандовал Максим, и Гай, протиснувшись мимо него, послушно бухнулся в волны.

Он погрузился с головой, вынырнул, отплёвываясь, и поплыл к берегу. Берег был близко, твёрдый берег, по которому можно ходить и на который можно падать без опасности для жизни. Максим, бесшумно разрезая воду, плыл рядом. Массаракш, он и плавает-то как рыба, словно в воде родился... Гай, отдуваясь, изо всех сил работал руками и ногами. Плыть в комбинезоне и в сапогах было очень тяжело, и он обрадовался, когда задел ногой песчаное дно. До берега было ещё порядочно, но он встал и пошёл, разгребая перед собой грязную, залитую масляными пятнами воду. Максим продолжал плыть, обогнал его и первым вышел на пологий песчаный берег. Когда Гай, пошатываясь, подошёл к нему, он стоял, расставив ноги, и смотрел на небо.

Гай тоже посмотрел на небо. Там расплывалось множество чёрных клякс.

— Повезло нам, — проговорил Максим. — Штук десять выпущено было.

— Кого? — спросил Гай, похлопывая себя по уху, чтобы вытряхнуть воду.

— Ракет... Я совсем забыл про них... Сколько лет они ждали, пока мы пролетим, — дождались... И как только я не догадался!

Гай недовольно подумал, что он бы тоже мог догадаться об этом, а вот не догадался. А мог бы ещё два часа назад сказать: как же, мол, мы полетим, Мак, если в лесу полно шахт с ракетами? Нет, принц-герцог, спасибо, конечно, но лучше летали бы вы на своём бомбовозе сами... Он оглянулся на море. «Горный Орёл» почти совсем затонул, изломанный этажерчатый хвост его жалко торчал из воды.

— Ну ладно, — сказал Гай. — Как я понимаю, до Островной Империи нам теперь не добраться. Что делать будем?

— Прежде всего, — ответил Максим, — примем лекарство. Доставай.

— Зачем? — спросил Гай. Он очень не любил принцевы таблетки.

— Очень грязная вода, — сказал Максим. — У меня вся кожа горит. Давай-ка сразу таблетки по четыре, а то и по пять.

Гай поспешно достал одну из ампул, отсыпал на ладонь десяток жёлтых шариков, и они съели эту порцию пополам.

— А теперь пошли, — сказал Максим. — Возьми свой автомат.

Гай взял автомат, сплюнул едкую горечь, скопившуюся во рту, и, увязая в песке, двинулся следом за Максимом вдоль берега. Было жарко, комбинезон быстро подсох, только в сапогах ещё хлюпало. Максим шёл быстро и уверенно, как будто точно знал, куда нужно идти, хотя вокруг ничего не было видно, кроме моря слева и обширного пляжа впереди и справа, а также высоких дюн в километре от воды, за которыми время от времени появлялись растрёпанные верхушки лесных деревьев.

Они прошли километра три, и Гай всё время думал, куда же они идут и где вообще находятся. Спрашивать он не хотел, хотел сообразить сам, но, припомнив все обстоятельства, сообразил только, что где-то впереди должно быть устье Голубой Змеи, а идут они на север — непонятно куда и непонятно зачем... Соображать ему скоро надоело. Придерживая оружие, он трусцой нагнал Мака и спросил напрямик, какие у них теперь, собственно, планы.

Максим охотно ответил, что планов определённых у них с Гаем теперь нет и остаётся полагаться на случайности. Остаётся им

надеяться, что какая-нибудь белая субмарина подойдёт к берегу, и они подоспеют к ней раньше, чем легионеры. Однако поскольку ждать такого случая посреди сухих песков — удовольствие сомнительное, надо попытаться дойти до Курорта, который должен быть здесь где-то недалеко. Сам город, конечно, давно разрушен, но источники там почти наверняка сохранились, и вообще будет крыша над головой. Переночуем в городе, а там посмотрим. Возможно, им придётся провести на побережье не один десяток дней.

Гай осторожно заметил, что план этот представляется ему каким-то странным, и Мак тут же согласился с этим и с надеждой в голосе спросил Гая, нет ли у того в запасе какого-нибудь другого плана, поумнее. Гай сказал, что, к сожалению, никакого другого плана у него нет, но что надобно помнить о жандармских танковых патрулях, которые, насколько ему известно, забираются вдоль побережья на юг очень далеко. Максим нахмурился и сказал, что это плохо, что надо держать ухо востро и не дать застать себя врасплох, после чего некоторое время с пристрастием расспрашивал Гая о тактике патрулей. Узнав, что танки патрулируют не столько берег, сколько море, и что от них можно легко спрятаться, залегши в дюнах, он успокоился и принялся насвистывать незнакомый марш.

Под этот марш они протопали ещё километра два, а Гай всё думал, как же им вести себя, если патруль их всё-таки заметит, и, придумав, изложил свои соображения Максиму.

— Если нас обнаружат, — сказал он, — наврём, будто меня похитили выродки, а ты за ними погнался и отбил меня; блуждали мы с тобой, блуждали по лесу и вот сегодня вышли сюда...

— А что нам это даст? — спросил Максим без особого энтузиазма.

— А то нам это даст, — сказал Гай, рассердившись, — что нас, по крайней мере, не шлёпнут сразу же на месте.

— Ну уж нет, — твёрдо сказал Максим. — Шлёпать я себя больше не дам, да и тебя тоже...

— А если танк? — с восхищением спросил Гай.

— А что танк? — сказал Максим. — Подумаешь, танк...

Он помолчал некоторое время, а потом вдруг задумчиво сказал:

— А знаешь, неплохо бы нам захватить танк.

Гай увидел, что мысль эта очень ему по душе.

— Отличная у тебя идея, Гай, — сказал Максим. — Так мы и сделаем. Захватим танк. Как только они появятся, ты сейчас же пальни в воздух из автомата, а я заложу руки за спину, и ты ведёшь меня под конвоем прямо к ним. А там уж моя забота. Но смотри держись в сторонке, не попадись под руку и, главное, больше не стреляй...

Гай загорелся и тут же предложил идти по дюнам, чтобы их было видно издали. Так и сделали. Поднялись на дюны.

И сразу увидели белую субмарину.

За дюнами открывалась небольшая мелководная бухта, и субмарина возвышалась над водой в сотне метров от берега. Собственно, она совсем не была похожа на субмарину и тем более на белую. Гай решил сначала, что это не то туша какого-то исполинского двугорбого животного, не то причудливой формы скала, невесть зачем вставшая из песков. Но Максим сразу понял, что это. Он даже предположил, что субмарина заброшена, что стоит она здесь уже несколько лет и что её засосало в песках.

Так и оказалось. Когда они добрались до бухты и спустились к воде, Гай увидел, что длинный корпус и обе надстройки покрыты ржавыми пятнами, белая краска облупилась, артиллерийская площадка свёрнута на бок и пушка смотрит в воду. В обшивке зияли чёрные дыры с закопчёнными краями, — ничего живого там, конечно, остаться не могло.

— А это точно белая субмарина? — спросил Максим. — Ты видел их раньше?

— По-моему, она, — ответил Гай. — На побережье я никогда не служил, но нам показывали фотографии, ментограммы... описывали... Даже ментофильм был — «Танки в береговой обороне» ... Это она. Надо понимать, вынесло штормом в бухту, села она на мель, а тут подоспел патруль... Видишь, как её расковыряли? Просто не обшивка, а решето...

— Да, похоже... — пробормотал Максим, вглядываясь. — Пойдём посмотрим?

Гай замялся.

— Вообще-то, конечно, можно, — проговорил он неуверенно.

— А что такое?

— Да как тебе сказать...

Действительно, как ему сказать? Вот капрал Серембеш, бывалый вояка, рассказывал как-то в тёмной после отхода ко сну казарме, будто на белых субмаринах ходят не обыкновенные моряки — мёртвые моряки на них ходят, служат свой второй срок, а некоторые — из трусов, кто погиб в страхе, те дослуживают... Морские демоны шарят по дну моря, ловят утопленников и комплектуют из них экипажи... Такое ведь Маку не расскажешь — засмеёт, а смеяться здесь, пожалуй, нечего... Или, например, действительный рядовой Лепту, разжалованный из офицеров, напившись, говорил просто: «Всё это, ребята,

чепуха — выродки ваши, мутанты всякие, радиация, — это всё пережить можно и одолеть можно, а главное, ребята, молите бога, чтобы не занёс он вас на белую субмарину; лучше, ребята, сразу потонуть, чем хоть рукой её коснуться, я-то знаю...» Совершенно неизвестно было, почему Лепту разжаловали, но служил он прежде на побережье и командовал сторожевым катером...

— Понимаешь, — сказал Гай проникновенно, — есть всякие суеверия, легенды всякие... Я тебе о них рассказывать не буду, но вот ротмистр Чачу говорил, что все эти субмарины заразны и что запрещается подниматься на борт... приказ даже такой есть, говорят, мол, подбитые субмарины...

— Ладно, — сказал Максим. — Ты здесь постой, а я пойду. Посмотрим, какая там зараза.

Гай не успел и слова сказать, только рот раскрыл, а Максим уже прыгнул в воду, нырнул и долго не показывался; у Гая даже дух захватило его ждать, когда черноволосая голова появилась у облупленного борта точно под пробоиной. Ловко и без усилий, как муха по стене, коричневая фигура вскарабкалась на покосившуюся палубу, взлетела на носовую надстройку и исчезла. Гай судорожно вздохнул, потоптался на месте и прошёлся вдоль воды взад и вперёд, не сводя глаз с мёртвого ржавого чудища.

— А это точно белая субмарина? — спросил Максим.

Было тихо, даже волны не шуршали в этой мёртвой бухте. Пустое белое небо, безжизненные белые дюны, всё сухое, горячее, застывшее. Гай с ненавистью посмотрел на ржавый остов. «Надо же, невезенье какое: другие годами служат и никаких субмарин не видят, а тут на тебе, свалились с неба, часок прошагали, и вот она, добро пожаловать... И как это я на такое дело решился?.. Это всё Максим... У него на словах всё так ладно получается, что вроде бы и думать не о чём, и бояться нечего... А может быть, я не боялся потому, что представлял себе белую субмарину живой, белой, нарядной, на палубе моряки, все в белом... А здесь труп железный... И место-то какое мёртвое, даже ветра нет... А ведь был ветер, точно помню: пока шли, дул ветер в лицо, освежающий такой ветерок...» Гай с тоской огляделся по сторонам, потом сел на песок, положил рядом автомат и стал нерешительно стаскивать правый сапог. «Надо же, тишина какая!.. А если он совсем не вернётся? Проглотила его эта падаль железная, и духа от него не осталось... Тьфу-тьфу-тьфу...»

Он вздрогнул и уронил сапог: длинный жуткий звук возник над бухтой, то ли вой, то ли визг, словно черти проскребли по грешной душе ржавым ножом. О господи, да это же просто люк открылся железный, приржавел люк... «Тьфу ты, в самом деле, даже в пот бросило! Открыл люк, значит, вылезет сейчас... Нет, не вылезает...»

Несколько минут Гай, вытянув шею, глядел на субмарину, прислушивался. Тишина. Прежняя страшная тишина, и даже ещё страшнее после этого ржавого воя... А может быть, он, это... не открылся люк, а закрылся? Сам закрылся... Перед помертвелыми глазами Гая возникло видение: тяжёлая стальная дверь сама собой закрывается за Максимом, и сам собой медленно задвигается тяжёлый засов... Гай облизал пересохшие губы, глотнул без слюны, потом крикнул: «Эй, Мак!» Не получилось крика... так, шипение только... Господи, хоть бы звук какой-нибудь! «Эге-гей!» — завопил он в отчаянии. «Э-эи...» — мрачно откликнулись дюны, и снова стало тихо.

Тишина. И кричать больше сил не было...

Не спуская глаз с субмарины, Гай нашарил автомат, трясущимися пальцами сдвинул предохранитель и, не целясь, выпустил в бухту очередь. Протрещало коротко, бессильно и словно бы в вату. На гладкой воде взлетели фонтанчики, разошлись круги. Гай поднял ствол повыше и снова нажал спусковой крючок. На этот раз звук получился: пули загрохотали по металлу, взвизгнули рикошеты, ударило эхо. И — ничего. Ничегошеньки. Ни звука больше, словно он здесь один, словно он и был всегда один. Словно попал он сюда неизвестно как, занесло, как в бредовом сне, в это мёртвое место, только не проснуться и не очнуться. И теперь оставаться ему здесь одному навсегда.

Не помня себя Гай, как был, в одном сапоге, вошёл в воду, сначала медленно, потом всё быстрей, потом побежал, высоко задирая ноги, по пояс в воде, всхлипывая и ругаясь вслух. Ржавая громадина надвигалась Гай то брёл, разгребая воду, то бросался вплавь, добрался до борта, попытался вскарабкаться — ничего не получилось; обогнул субмарину с кормы, уцепился за какие-то тросы, вскарабкался, обдирая руки и колени, на палубу и остановился, заливаясь слезами. Ему было совершенно ясно, что он погиб. «Э-эй!» — крикнул он перехваченным голосом.

Тишина.

Палуба была пуста, на дырчатом железе налипли сухие водоросли, словно обросло железо свалявшимися волосами. Носовая надстройка огромным пятнистым грибом нависала над головой, сбоку в броне зиял широкий рваный шрам. Грохоча сапогом по железу, Гай обогнул надстройку и увидел железные скобы, ведущие

наверх, ещё влажные, забросил автомат за спину, полез. Лез долго, целую вечность, в душной тишине, навстречу неминуемой смерти, навстречу вечной смерти, вскарабкался и замер, стоя на четвереньках. Чудовище уже ждало его, люк был настежь, словно бы сто лет не закрывался, и даже петли снова приржавели, — прошу, мол. Гай подполз к чёрному отверстому зеву, заглянул... Голова у него закружилась, сделалось тошно. Из железной глотки плотной массой выпирала тишина, годы и годы застоявшейся, перепревшей тишины. И Гай вдруг представил себе, как там, в жёлтом сгнившем свете, задавленный тоннами этой тишины, насмерть бьётся один против всех добрый друг Мак, бьётся из последних сил и зовёт: «Гай! Гай!», а тишина, ухмыляясь, лениво сглатывает эти крики без остатка и всё наваливается, подминает Мака под себя, душит, давит. Это было невозможно перенести, и Гай полез в люк.

Он плакал и торопился, сорвался в конце концов и загремел вниз, пролетел несколько метров и упал на песок. Здесь был железный коридор, тускло освещённый редкими пыльными лампочками, на полу под шахтой за годы и годы нанесло тонкого песку. Гай вскочил — он всё ещё торопился, он всё ещё очень боялся опоздать — и побежал куда глаза глядят с криком:

— Я здесь, Мак!.. Я иду... Иду...

— Что ты кричишь? — недовольно спросил Максим, высовываясь словно бы из стены. — Что случилось? Палец порезал?

Гай остановился и уронил руки. Он был близок к обмороку; пришлось опереться о переборку. Сердце колотилось бешено, удары его гремели в ушах, как барабанный бой, голос не слушался. Максим некоторое время смотрел на него с удивлением, потом, должно быть, понял, протиснулся в коридор — дверь отсека снова пронзительно завизжала — и подошёл к нему, взял за плечи, встряхнул, потом прижал к себе, обнял, и несколько секунд Гай в блаженном забытьи лежал лицом на его груди, постепенно приходя в себя.

— Я думал... тебя здесь... что ты тут... что тебя...

— Ничего, ничего, — сказал Максим ласково. — Это я виноват, надо было тебя сразу позвать. Но тут странные вещи, понимаешь.

Гай отстранился, вытер мокрым рукавом нос, потом вытер мокрой ладонью лицо и только теперь ощутил стыд.

— Тебя нет и нет, — сказал он сердито, пряча глаза. — Я зову, я стреляю... Неужели трудно было отозваться?

— Массаракш, я ничего не слышал, — виновато сказал Максим. — Понимаешь, здесь великолепный радиоприёмник... Я и не знал, что у вас умеют делать такие мощные...

— «Приёмник, приёмник» ... — ворчал Гай, протискиваясь сквозь полуоткрытую дверь. — Ты тут развлекаешься, а человек из-за тебя чуть не свихнулся... Что это у них здесь?

Это было довольно обширное помещение с истлевшим ковром на полу, с тремя полукруглыми плафонами в потолке, из которых горел только один. Посередине стоял круглый стол, вокруг стола — кресла. На стенах висели какие-то странные фотографии в рамках, картины, лохмотьями свисали остатки бархатной обивки. В углу потрескивал и завывал большой радиоприёмник — Гай таких никогда не видел.

— Тут что-то вроде кают-компании, — сказал Максим. — Ты походи, посмотри, тут есть на что посмотреть.

— А экипаж? — спросил Гай.

— Никого нет. Ни живых, ни мёртвых. Нижние отсеки залиты водой. По-моему, они все там...

Гай с удивлением посмотрел на него. Максим отвернулся, лицо у него было озабоченное.

— Должен тебе сказать, — проговорил он, — это, кажется, хорошо, что мы до Империи не долетели. Ты посмотри, посмотри...

Он подсел к приёмнику и принялся крутить верньеры, а Гай огляделся, не зная, с чего начать, потом подошёл к стене и стал смотреть развешанные фотографии. Некоторое время он никак не мог понять, что это за снимки. Потом сообразил: рентгенограммы. На него смотрели смутные, все, как один, оскаленные черепа. На каждом снимке была неразборчивая надпись, словно кто-то ставил автографы. Члены экипажа? Знаменитости какие-нибудь?.. Гай пожал плечами. Дядюшка Каан, может быть, что-нибудь и разобрал бы здесь, а мы — люди простые...

В дальнем углу он увидел большой красочный плакат, красивый плакат, в три краски... Правда, плесенью тронулся... На плакате было синее море, из моря выходил, наступив одной ногой на чёрный берег, оранжевый красавец в незнакомой форме, очень мускулистый и с непропорционально маленькой головой, состоящей наполовину из мощной шеи. В одной руке богатырь сжимал свиток с непонятной надписью, а другой — вонзал в сушу пылающий факел. От пламени факела занимался пожаром какой-то город, в огне корчились гнусного вида уродцы, и ещё дюжина уродцев окарачь разбегалась в стороны. В верхней части плаката было что-то написано большими хвостатыми буквами. Буквы были знакомые, но слова из них складывались совершенно непроизносимые.

Чем дольше Гай смотрел на плакат, тем меньше плакат ему нравился. Он почему-то вспомнил плакат в казарме: там изображался

чёрный орёл-легионер (тоже с очень маленькой головой и могучими мышцами), смело отстригающий гигантскими ножницами голову гнусному бородавчатому змею, высунувшемуся из моря. На лезвиях ножниц было, помнится, написано: на одном — «Боевой», на другом — «Легион». «Ага... — сказал про себя Гай, в последний раз бросая взгляд на плакат. — Это мы ещё посмотрим... Посмотрим мы ещё, кто кого прижжёт, массаракш!»

Он отвернулся от плаката, сделал несколько шагов в сторону и остолбенел.

С изящной лакированной полки глядело на него стеклянными глазами знакомое лицо, квадратное, с русой чёлкой над бровями, с приметным шрамом на правой щеке... Ротмистр Пудураш. Огненосный герой, командир роты в Бригаде Мёртвых-но-Незабвенных, потопитель одиннадцати белых субмарин, погибший в неравном бою. Его бюст, увенчанный букетом бессмертника, красовался на каждом плацу, а голова его, ссохшаяся, с жёлтой, мёртвой кожей, была почему-то здесь. Гай отступил. Да, это самая настоящая голова. А вон ещё голова — незнакомое острое лицо... И ещё голова... И ещё... Сколько их здесь!

— Мак! — сказал Гай. — Ты видел?

— Да, — сказал Максим.

— Это головы! — сказал Гай. — Настоящие головы...

— Посмотри альбомы на столе, — сказал Максим.

Гай с трудом оторвал взгляд от жуткой коллекции, повернулся и нерешительно подошёл к столу. Приёмник что-то кричал на незнакомом языке, раздавалась музыка, тарахтели разряды, и снова кто-то говорил — вкрадчиво, бархатным, значительным голосом: «Истребление, полное и окончательное истребление...»

Гай наугад взял один из альбомов и откинул твёрдую, оклеенную кожей обложку. Портрет. Странное длинное лицо с пушистыми бакенбардами, свисающими со щёк на плечи, волосы надо лбом выбриты, нос крючком, разрез ноздрей непривычный. Неприятное лицо, невозможно представить его себе улыбающимся. Незнакомый мундир, какие-то значки или медали в два ряда... Ну и тип... Наверное, какая-нибудь шишка. Гай перекинул страницу. Тот же тип в компании с другими типами на мостике белой субмарины, по-прежнему угрюмый, хотя остальные скалят зубы. На заднем плане, не в фокусе, — что-то вроде набережной, какие-то незнакомые постройки, мутные силуэты диковинных деревьев... Следующая страница. У Гая захватило дух: горящий «дракон» со свёрнутой набок башней; из открытого люка свисает тело легионера-танкиста, и ещё два тела, одно на

другом, в сторонке, а над ними, расставив моги, всё тот же тип с пистолетом в опущенной руке, в шапке, похожей на артиллерийскую гильзу. Дым от «дракона» густой, чёрный, но места знакомые — этот самый берег, песчаный пляж и дюны позади... Гай весь напрягся, переворачивая страницу, и не зря. Толпа мутантов, человек двадцать, все голые, целая куча уродов, стянутых одной верёвкой. Несколько деловитых пиратов в колпаках, с дымящимися факелами, а сбоку опять этот тип — что-то, видимо, приказывает, протянув правую руку, а левая рука лежит на рукоятке кортика. До чего же жуткие эти уроды, смотреть страшно... Но дальше пошло ещё страшнее.

Та же куча мутантов, но уже сгоревшая. Тип — поодаль, нюхает цветочек, беседует с другим типом, повернувшись к трупам спиной...

Огромное дерево в лесу, сплошь увешанное телами. Висят кто за руки, кто за ноги, и уже не уроды — на одном клетчатый комбинезон воспитуемого, на другом — чёрная куртка легионера.

Старик, привязанный к столбу. Лицо искажено, кричит, зажмурившись. Тип тут как тут — с озабоченным видом проверяет медицинский шприц...

Потом опять повешенные, горящие, сгоревшие мутанты, воспитуемые, легионеры, рыбаки, крестьяне, мужчины, женщины, старики, детишки... Панорамный снимок: линия пляжа, на дюнах — четыре машины, все горят, на переднем плане две чёрные фигурки с поднятыми руками... Хватит. Гай захлопнул и отшвырнул альбом, посидел несколько секунд, потом с проклятием сбросил все альбомы на пол, вскочил и обежал вокруг стола.

— Это ты с ними хочешь договариваться?! — заорал он Максиму в спину. — Хочешь их привести к нам?! Этого палача?! — Он подскочил к альбомам и пнул их ногой.

Максим выключил приёмник.

— Не бесись, — сказал он. — Ничего я уже больше не хочу. И нечего на меня орать, если вы виноваты, проспали свой мир, массаракш, оскотинели, как последнее зверьё! Что теперь с вами делать? — Он вдруг оказался возле Гая, схватил его за грудь. — Что мне теперь делать с вами? — гаркнул он. — Что? Что? Не знаешь? Ну, говори!

Гай молча ворочал шеей, слабо отпихиваясь. Максим отпустил его.

— Сам знаю, — сказал он угрюмо. — Никого нельзя приводить. Кругом зверьё... На них самих насылать нужно... — Он подхватил с пола один из альбомов и стал рывками переворачивать листы. — Какой мир загадили! — говорил он. — Какой мир! Ты посмотри, какой мир!..

Гай глядел ему через руку. В этом альбоме не было никаких ужасов, просто пейзажи разных мест, удивительной красоты и чёткости цветные фотографии — синие бухты, окаймлённые пышной зеленью, ослепительной белизны города над морем, водопад в горном ущелье, какая-то великолепная автострада и поток разноцветных автомобилей на ней, и какие-то древние замки, и снежные вершины над облаками, и кто-то весело мчится по снежному склону горы на лыжах, и смеющиеся девушки играют в морском прибое.

— Где это всё теперь? — говорил Максим. — Куда вы всё это девали? Разменяли на железо? Эх вы... человечки... — Он бросил альбом на стол. — Пошли.

Он с яростью навалился на дверь, со скрежетом и визгом распахнул её настежь и зашагал по коридору. На палубе он спросил:

— Есть хочешь?

— Угу... — ответил Гай.

— Ладно, — сказал Максим. — Сейчас будем есть. Поплыли.

Гай выбрался на берег первым, сразу же снял сапог, разделся и разложил одежду на просушку. Максим всё ещё плавал, и Гай не без тревоги следил за ним: очень уж глубоко нырял друг Мак и очень уж подолгу оставался под водой. Нельзя так, опасно так, как ему воздуху хватает?.. Наконец Максим всё-таки вышел, волоча за жабры огромную мощную рыбину. У рыбины был обалделый вид, никак она понять не могла, как же это её словили голыми руками. Максим отшвырнул её подальше от воды и сказал:

— По-моему, эта годится. Почти неактивна. Тоже, наверное, мутант. Прими таблетки, а я её сейчас приготовлю. Её можно сырой есть, я тебя научу, — сасими называется. Не ел? Давай нож...

Гай подал ему нож, и Максим ловко и быстро разделал рыбину.

Потом, когда они наелись сасими — ничего не скажешь, оказалось вполне съедобно, — и улеглись нагишом на горячем песке, Максим после долгого молчания спросил:

— Если бы мы попали в руки патрулей, сдались бы, куда бы они нас отправили?

— Как — куда? Тебя — по месту отбывания, меня — по месту службы... А что?

— Это точно?

— Куда же точнее... Инструкция самого генерал-коменданта. А почему ты спрашиваешь?

— Сейчас пойдём искать легионеров, — сказал Максим.

— Танк захватывать?

— Нет. По твоей легенде. Ты похищен выродками, а каторжник тебя спас.

— Сдаваться? — Гай сел. — Как же так?.. И мне тоже? Обратно под излучение?

Максим молчал.

— Я же опять болванчиком заделаюсь... — беспомощно сказал Гай.

— Нет, — сказал Максим. — То есть да, конечно... но это уже будет не так, как прежде... Ты, конечно, будешь немножко болванчиком, но ведь теперь ты будешь верить уже в другое, в правильное... Это, конечно, тоже... Но всё-таки лучше, много лучше...

— Да зачем? — с отчаянием закричал Гай. — Зачем это тебе нужно?

Максим провёл ладонью по лицу.

— Видишь ли, Гай, дружище, — сказал он, — началась война. То ли мы напали на хонтийцев, то ли они на нас... одним словом, война...

Гай с ужасом смотрел на него. Война... Рада... Господи, да зачем это всё? Опять всё сначала...

— Нам нужно быть там, — продолжал Максим. — Мобилизация уже объявлена, всех зовут в ряды, даже нашего брата каторжника амнистируют — и в ряды... и нам надо быть вместе, Гай. Хорошо бы мне попасть к тебе под начало...

Гай почти не слушал его. Вцепившись пальцами в волосы, он раскачивался из стороны в сторону и твердил про себя: «Зачем, зачем, будьте вы прокляты!.. Будьте вы тридцать три раза прокляты!..»

Максим тряхнул его за плечо.

— А ну-ка возьми себя в руки! — сказал он жёстко. — Не разваливайся. Нам сейчас драться придётся, разваливаться некогда... — Он встал и снова потёр лицо. — Правда, с вашими окаянными башнями... Массаракш, никакие башни им не помогут... Одевайся скорее, и пойдём. Нам надо торопиться.

— Поторапливайтесь, Фанк, поторапливайтесь! Я опаздываю.

— Слушаюсь. Рада Гаал... Она изъята из ведения господина государственного прокурора и находится в наших руках.

— Где?

— У нас, в особняке «Хрустальный лебедь». Считаю своим долгом ещё раз выразить сомнение в разумности этой акции. Вряд ли такая женщина может помочь нам управиться с Маком. Таких легко забывают, и даже если Мак...

— Вы считаете, что Умник глупее вас?

— Нет, но...

— Умник знает, кто выкрал женщину?

— Боюсь, что да.

— Ладно, пусть знает... С этим, пожалуй, всё. Дальше что?

— Сенди Чичаку встречался с Дергунчиком. Дергунчик, по-видимому, согласился свести его с Графом при условии...

— Стоп. Какой Чичаку? Лобастый Чик?

— Да.

— Дела подполья меня сейчас не интересуют. По делу Мака у вас всё? Тогда слушайте. Эта чёртова война спутала все планы. Я уезжаю и вернусь дней через тридцать — сорок. За это время, Фанк, вы должны закончить дело Мака. К моему приезду Мак должен быть здесь, в этом доме. Дайте ему должность, пусть работает, свободы его не стесняйте, но дайте ему понять — очень, очень мягко! — что от его поведения зависит судьба Рады... Ни в коем случае не давайте им встречаться... Покажите ему институт, расскажите, над чем мы работаем... в разумных пределах, конечно. Расскажите обо мне, опишите меня как умного, доброго, справедливого человека, крупного учёного. Дайте ему мои статьи... кроме совершенно секретных. Намекните, что я в оппозиции к правительству. У него не должно быть ни малейшего желания покинуть институт. У меня всё. Вопросы есть?

— Да. Охрана?

— Никакой. Это бессмысленно.

— Слежка?

— Очень осторожная... А лучше не надо. Не спугните его. Главное — чтобы он не захотел покинуть институт... Массаракш, и в такое время я должен уезжать!.. Ну, теперь всё?

— Последний вопрос, извините, Странник.

— Да?

— Кто он всё-таки такой? Зачем он вам?

Странник поднялся, подошёл к окну и сказал, не оборачиваясь:

— Я боюсь его, Фанк. Это очень, очень, очень опасный человек.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В двухстах километрах от хонтийской границы, когда эшелон надолго застрял на запасных путях возле какой-то тусклой, замызганной станции, новоиспечённый рядовой второго разряда Зеф, договорившись по-хорошему с охранником, сбегал к колонке за кипятком и вернулся с портативным приёмником. Он сообщил, что на станции творится совершенный бедлам, грузятся сразу две бригады, генералы перелаялись между собой, зазевались, и он, Зеф, смешавшись с

окружавшей их толпой ординарцев, денщиков, адъютантов позаимствовал этот приёмник у одного из них.

Теплушка встретила это сообщение смачным одобрительным ржанием. Все сорок человек немедленно сгрудились вокруг Зефа. Долгое время не могли устроиться, кому-то дали по зубам, чтобы не пихался, ругались и жаловались друг на друга, пока Максим наконец не гаркнул: «Тихо, подонки!» Тогда все успокоились. Зеф включил приёмник и принялся ловить все станции подряд.

Сразу выяснились любопытные вещи. Во-первых, оказалось, что война ещё не началась. Никаких кровопролитных сражений не было. Хонтийская Боевая Лига в ужасе орала на весь мир о том, что эти бандиты, эти узурпаторы, эти так называемые Огненосные Творцы воспользовались гнусной провокацией своих наймитов в лице так называемой и пресловутой Хонтийской Унии Справедливости и теперь сосредоточивают свои силы на границах многострадальной Хонти. В свою очередь, Хонтийская Уния костила Хонтийскую Лигу, этих платных агентов Огненосных Творцов, последними словами и обстоятельно рассказывала, как кто-то превосходными силами вытеснил чьи-то истощённые предшествующими боями подразделения через границу и не даёт им возможности вернуться обратно, каковое обстоятельство и послужило предлогом для так называемых Огненосных Творцов к варварскому вторжению, которого следует ожидать с минуты на минуту. И Лига, и Уния при этом почти в одинаковых выражениях туманно намекали на какие-то атомные ловушки, готовые к встрече коварного врага.

Кроме того, Зеф поймал какие-то передачи на языках, известных только ему, и сообщил, что княжество Ондол, оказывается, ещё существует и, более того, продолжает совершать разбойничьи налёты на остров Хаззалг. (Ни один человек в вагоне, кроме Зефа, никогда прежде не слышал ни об этом княжестве, ни о таком острове.) Однако главным образом эфир был забит невообразимой руганью между командирами частей и соединений, которые тужились протиснуться к Главному Плацдарму по двум расхлябанным железнодорожным ниточкам.

Уголовники считали, что главное — перейти границу, а там каждый человек будет сам себе хозяин и каждый захваченный город будут отдавать на три дня. Политические смотрели на положение более мрачно, не ждали от будущего ничего хорошего и прямо заявляли, что посылают их на убой, подрывать собой атомные мины, никто из них живой не останется, так что хорошо бы добраться до фронта и там где-нибудь залечь, чтобы не нашли. Точки зрения спорящих были

настолько противоположны, что настоящего разговора не получилось, и диспут очень скоро выродился в однообразную ругань по адресу паршивых тыловиков, которые вторые сутки не дают жрать и уже, поди, успели разворовать весь положенный шнапс. Об этом предмете штрафники готовы были говорить ночь напролёт, поэтому Максим и Зеф выбрались из толпы и полезли на нары, криво сбитые из неструганных досок.

Зеф был голоден и зол, он наладился было поспать, но Максим ему не дал. «Спать будешь потом, — строго сказал он. — Завтра, может быть, будем на фронте, а до сих пор ни о чём толком не договорились...» Зеф проворчал, что договариваться не о чём, что утро вечера мудренее, что Максим сам не слепой и должен видеть, в какой они оказались трясине, что с этими людишками каши не сваришь. Максим возразил, что речь пока идёт не о каше. До сих пор непонятно, зачем эта война, кому она понадобилась, и пусть Зеф будет любезен не спать, когда с ним разговаривают, а поделится своими соображениями.

Зеф, однако, не собирался быть любезным и не скрывал этого. Он ворчал, зевал, перематывал портянки, обзывался, но, понукаемый, взбадриваемый и подхлёстываемый, в конце концов разговорился и изложил свои представления о причинах войны.

Таких возможных причин было, по его мнению, по крайней мере, три. Может быть, они действовали все разом, а может быть, преобладала какая-нибудь одна. А может быть, существовала четвёртая, которая ему, Зефу, пока ещё не пришла в голову. Прежде всего экономика. Каждому ясно: когда экономика в паршивом состоянии, лучше всего затеять войну, чтобы сразу всем заткнуть глотки. Вепрь, зубы съевший в вопросе влияния экономики на политику, предсказывал эту войну ещё несколько лет назад. Башни башнями, а нищета нищетой. Внушать голодному человеку, что он сыт, долго нельзя, не выдерживает психика, а править сумасшедшим народом — удовольствие маленькое, особенно если учесть, что умалишённые излучению не поддаются... Другая возможная причина — колониальный вопрос. Рынки сбыта, дешёвые рабы, сырьё — всё, во что могут вложить личные капиталы Огненосные Творцы. Наконец, нужно иметь в виду, что уже много лет идёт грызня между Департаментом общественного здоровья и военными. Тут уж кто кого съест. Департамент общественного здоровья — организация жуткая и ненасытная, но, если военные действия пойдут хоть сколько-нибудь успешно, господа генералы возьмут эту организацию к ногтю. Правда, если из войны ничего путного не получится, к ногтю будут взяты господа генералы, и поэтому

нельзя исключить возможность, что вся эта затея есть хитроумная провокация Департамента общественного здоровья. Между прочим, на то и похоже, судя по беспорядку, который везде творится, а также по тому, что уже неделю орём на весь мир, а военные действия, оказывается, ещё и не начинались. А может быть, массаракш, и не начнутся...

Когда Зеф дошёл до этого места, загремели и залязгали буфера, вагон содрогнулся, снаружи послышались крики, свистки, топот, и эшелон тронулся. Уголовники грянули песню: «И снова ни жратвы нам и ни шнапса...»

— Ладно, — сказал Максим. — Это у тебя получается вполне правдоподобно. Ну, а как тебе представляется ход войны, если она всё-таки начнётся? Что тогда произойдёт?

Зеф агрессивно прорычал, что он не какой-нибудь генерал, и без всякого перехода стал рассказывать, как всё это ему представляется. Оказалось, что за время короткой передышки между концом мировой и началом гражданской войны хонтийцы успели отгородиться от своего бывшего сюзерена мощной линией минно-атомных полей. Кроме того, у хонтийцев, несомненно, была атомная артиллерия, и у их политиканов хватило разума все эти богатства в гражданской войне не использовать, а приберечь для нас. Так что картина вторжения мыслится примерно следующим образом. На острие Главного Плацдарма выстроят три или четыре штрафные танковые бригады, подопрут их с тыла армейской корпуснёй, а за армейцами пустят заградотряды легионеров на тяжёлых танках, оборудованных излучателями. Выродки вроде меня будут рваться вперёд, спасаясь от лучевых ударов, армейщина будет рваться вперёд в приступе лучевого энтузиазма, а уклонения от такой нормы, которые неизбежно возникнут, будут уничтожаться огнём жандармерии. Если хонтийцы не дураки, они откроют огонь из дальнобойных пушек по жандармским машинам, но они, надо думать, дураки, и займутся они, надо думать, взаимоистреблением — Лига в этой суматохе налетит на Унию, а Уния вцепится зубами в горло Лиге. Тем временем наши доблестные войска глубоко проникнут на территорию противника, и начнётся самое интересное, чего мы, к сожалению, уже не увидим. Наш славный бронированный поток потеряет компактность и станет расползаться по стране, неумолимо уходя из зоны действия излучателей. Если Максим не наврал про Гая, у оторвавшихся немедленно начнётся лучевое похмелье, тем более сильное, что энергии на подстёгивание во время прорыва легионеры жалеть не будут...

— Массаракш! — завопил Зеф. — Я так и вижу, как эти кретины выбираются из танков, ложатся на землю и просят их пристрелить. И добрые хонтийцы, не говоря уже о хонтийских солдатах, озверевшие от всего этого безобразия, им, конечно, не откажут... Резня может случиться небывалая!

Поезд набирал скорость, вагон сильно покачивало. В дальнем углу уголовники резались в кости — играли на охранника; металась под потолком лампа, на нижних нарах кто-то монотонно бубнил — должно быть, молился.

Табачный дым ел глаза.

— Я думаю, в генштабе это учитывают, — продолжал Зеф, — а потому никаких стремительных прорывов не будет. Будет вялая позиционная война, хонтийцы, при всей их глупости, сообразят когда-нибудь, в чём дело, и примутся охотиться за излучателями... В общем, не знаю я, что будет, — заключил он. — Я не знаю даже, дадут ли нам утром пожрать. Боюсь, что опять не дадут: с какой стати?

Они помолчали. Потом Максим сказал:

— Ты уверен, что мы поступили правильно? Что наше место здесь?

— Приказ штаба, — пробурчал Зеф.

— Приказ приказом, — возразил Максим, — а у нас тоже есть головы на плечах. Может быть, правильнее было бы удрать вместе с Вепрем. Может быть, в столице мы были бы полезнее.

— Может быть, — сказал Зеф. — А может быть, и нет. Вепрь рассчитывает на атомные бомбёжки... Многие башни будут разрушены, образуются свободные районы... А если бомбёжек не будет? Никто ничего не знает, Мак. Я очень хорошо представляю себе, какой бедлам сейчас творится в штабе... — Он задумался, поглаживая бороду. — Вепрь вот плёл нам насчёт бомбёжки, но, по-моему, он не для этого подался в столицу. Я его знаю, он до этих вождистов давно добирается... Так что очень возможно, что и у нас в штабе головы полетят...

— Значит, в штабе тоже бедлам, — медленно сказал Максим. — Тоже не готовы...

— Как они могут быть готовы? — возразил Зеф. — Одни мечтают уничтожить башни, другие — сохранить башни... Подполье — это тебе не политическая партия, это винегрет, салат с озёрными грибками...

— Да, салат... — повторил Максим. — Грустно. Я надеялся, что подполье всё-таки намерено как-то использовать войну... трудности, возможную революционную ситуацию...

— Подполье ни черта не знает, — угрюмо сказал Зеф. — Откуда мы знаем, что это такое — война с излучателями за спиной?

— Грош вам цена, — сказал Максим, не удержавшись.

Зеф немедленно вскипел.

— Ну, ты! — гаркнул он. — Полегче! Кто ты такой, чтобы определять нам цену? Откуда ты явился, массаракш, что требуешь от нас того и этого? Боевое задание тебе? Изволь. Всё увидеть, выжить, вернуться, доложить. Тебе это кажется слишком лёгким? Прекрасно! Тем лучше для нас... И хватит. Отстань от меня, массаракш. Я хочу спать.

Он демонстративно повернулся к Максиму спиной и вдруг заорал игрокам в кости:

— Эй, там, гробокопатели! Спать! Пошли по нарам! Да поживее, а то схлопочете!..

Максим лёг на спину, заложил руки за голову и стал смотреть в низкий вагонный потолок. По потолку что-то ползало. Тихо и злобно переругивались укладывающиеся спать гробокопатели. Сосед слева стонал и взвизгивал во сне, — он был обречён и спал, может быть, последний раз в жизни. И все они вокруг, всхрапывающие, сопящие, ворочающиеся, спали, наверное, последний раз в жизни. Мир был тускло-жёлт, душен, безнадёжен. Стучали колёса, вопил паровоз, несло гарью в маленькое зарешечённое окошечко...

«Всё сгнило здесь, — думал Максим. — Ни одного живого человека. Ни одной ясной головы. И опять я сел в галошу, потому что понадеялся на кого-то или на что-то. Ни на что здесь нельзя надеяться. Ни на кого здесь нельзя рассчитывать. Только на себя. А что я один? Уж настолько-то историю я знаю. Человек один не может ни черта... Может быть, Колдун прав? Может быть, отстраниться? Спокойно и холодно, с высоты своего знания неминуемого будущего, взирать, как кипит, варится, плавится сырьё, как поднимаются и падают наивные, неловкие, неумелые борцы, следить, как время выковывает из них булат и погружает этот булат для закалки в потоки кровавой грязи, как сыплется трупами окалина... Нет, не умею. Даже думать в таких категориях неприятно... Страшная штука, однако, — установившееся равновесие сил. Но ведь Колдун сказал, что я — тоже сила. И есть конкретный враг, значит есть точка приложения для силы... Шлёпнут меня здесь, — подумал он вдруг. — Обязательно. «Но не завтра!» — строго сказал он себе. — Это случится, когда я проявлю себя как сила, не раньше. Да и то — посмотрим... Центр, — подумал он. — Центр. Вот что нужно искать, вот на что нужно направить организацию. И я их направлю. Они у меня будут заниматься делом... Ты у меня будешь заниматься делом, приятель. Ишь как храпит. Храпи, храпи, завтра я тебя вытащу... Ладно, надо спать. И когда же мне удастся поспать по-человечески? В большой просторной комнате, на свежих простынях... Что у них здесь за обычай — спать по многу раз на одной простыне?..

Да, на свежих простынях, а перед сном прочесть хорошую книгу, потом убрать стену в сад, выключить свет и заснуть... А утром позавтракать с отцом и рассказать ему про этот вагон... Маме об этом, конечно, рассказывать нельзя... Мама, ты имей в виду, я жив, всё в порядке, и завтра со мной ничего не случится... А поезд всё идёт, давно не было остановок, очевидно, кто-то где-то сообразил, что без нас войны не начать... Как там Гай в своём капральском вагоне? Дико ему, наверное, сейчас: там у них энтузиазм... О Раде я давно не думал. Дай-ка я подумаю о Раде... Нет. Не время... Ладно, Максим, дружище, бедное пушечное мясо, спи». Он приказал себе и тут же заснул.

Во сне он видел Солнце, Луну, звёзды. Всё сразу, такой был странный сон.

Спать пришлось недолго. Поезд остановился, со скрежетом откатилась тяжёлая дверь, и зычный голос рявкнул: «Четвёртая рота! Вылетай!» Было пять часов утра, светало, стоял туман, и сыпал мелкий дождик. Штрафники, конвульсивно позёвывая, трясясь от озноба, вяло полезли из вагона. Капралы были уже тут как тут, злобно и нетерпеливо хватали за ноги, сдёргивали на землю, особенно флегматичным давали по шее, орали: «Разбирайся по экипажам! Становись!.. Куда лезешь, скотина? Из какого взвода?.. Ты, мордастый, тебе сколько раз повторять?.. Куда полезли? А ну, живо, живо, живо!.. Разбирайтесь!»

Кое-как разобрались по экипажам, выстроились перед вагонами. Какой-то бедолага, заплутавшись в тумане, бегал, искал свой взвод — на него орали со всех сторон. Мрачный, невыспавшийся Зеф, борода дыбом, хрипел угрюмо и явственно: «Давайте, давайте, стройте, мы вам сегодня навоюем...» Пробегавший капрал походя съездил его по уху. Максим сейчас же выставил ногу — капрал покатился в грязь. Экипажи довольно заржали. «Бригада, смир-р-рна!» — заорал кто-то невидимый. Завопили, надсаживаясь, командиры батальонов, подхватили командиры рот, забегали командиры взводов. Никто «смирно» не встал, блицтрегеры сутулились, засунув руки в рукава, приплясывали на месте, счастливчики богатеи курили, не скрываясь; по рядам шли разговорчики, что жрать, по всему видно, снова не дадут, и катись они куда подальше с такой войной. «Бригада, во-о-ольна-а! — заорал Зеф зычным голосом. — Р-разойдись! Оправиться!» Экипажи с готовностью разошлись было, но снова засуетились капралы, и вдруг вдоль вагонов побежали, растягиваясь в редкую шеренгу, легионеры в блестящих чёрных плащах, с автоматами наизготовку. И следом за ними вдоль вагонов набегала испуганная тишина; экипажи торопливо строились, подравнивались, кое-кто из

блицтрегеров по старинной привычке заложил руки за голову и расставил ноги.

Железный голос из тумана сказал негромко, но очень слышно: «Если кто-нибудь из мерзавцев раскроет пасть, прикажу стрелять». Все замерли. Томно потянулись минуты, заполненные ожиданием. Туман понемногу рассеивался, открывая неказистую станционную постройку, мокрые рельсы, телеграфные столбы. Справа, перед фронтом бригады, обнаружилась тёмная кучка людей. Оттуда доносились негромкие голоса, кто-то раздражённо рявкнул: «Исполняйте приказание!»

Максим покосился назад — позади неподвижно стояли легионеры, глядели из-под капюшонов с подозрением и ненавистью.

От кучки людей отделилась мешковатая фигура в маскировочном комбинезоне. Это был командир бригады экс-полковник Анипсу, разжалованный и посаженный за торговлю казённым горючим на чёрном рынке.

Помотав перед собою тростью и дёрнув головой, он начал речь:

— Солдаты!.. Я не ошибся, я обращаюсь к вам как к солдатам, хотя все мы — и я в том числе — пока ещё обыкновенные отбросы общества... Будьте благодарны, что вам разрешают нынче вступить в бой. Через несколько часов почти все вы сдохнете, и это будет хорошо. Но те из вас, кто уцелеет, заживут на славу. Солдатский паёк, шнапс и всё такое... Сейчас мы пойдём на позиции, и вы сядете в машины. Дело пустяковое — пройти на гусеницах полтораста километров... Танкисты из вас, как из бутылки молоток, сами знаете, но зато всё, до чего доберётесь, — ваше. Это я вам говорю, ваш боевой товарищ Анипсу. Дороги назад нет, зато есть дорога вперёд. Кто попятится — сожгу на месте. Это особенно касается водителей... Вопросов нет. Бр-р-ригада! Напра-во! Вперёд... сомкнись! Дубьё, сороконожки! Сомкнуться приказано! Капралы, массаракш! Куда смотрите?.. Стадо! Разобраться по четыре... Капралы, разберите этих свиней по четыре! Массаракш...

С помощью легионеров капралам удалось построить бригаду в колонну по четыре, после чего снова была подана команда «смирно». Максим оказался совсем недалеко от командира бригады. Экс-полковник был вдребезги пьян. Он стоял покачиваясь, опершись на трость, то и дело тряс головой и потирал ладонью свирепую сизую морду. Командиры батальонов, тоже вдребезги пьяные, держались у него за спиной — один бессмысленно хихикал, другой с тупым упорством пытался разжечь сигарету, а третий всё хватался за кобуру и шарил по рядам налитыми глазами. В рядах завистливо принюхивались, слышалось льстиво-одобрительное ворчание. «Давайте, давайте... —

бормотал Зеф. — Мы вам навоюем...» Максим раздражённо толкнул его локтем.

— Замолчи, — сказал он сквозь зубы. — Надоело. В это время к полковнику подошли двое — жандармский ротмистр с трубкой в зубах и какой-то грузный мужчина, штатский, в длинном плаще с поднятым воротником и в шляпе. Максиму штатский показался странно знакомым, и он стал присматриваться. Штатский что-то сказал полковнику вполголоса. «Га?» — произнёс полковник, обращая на него мутный взор. Штатский снова заговорил, показывая большим пальцем через плечо на колонну штрафников. Жандармский ротмистр равнодушно попыхивал трубочкой. «Это зачем?» — гаркнул полковник. Штатский достал какую-то бумагу; полковник отстранил бумагу рукой. «Не дам, — сказал он. — Все, как один, должны подохнуть...» Штатский настаивал. «А я плевал! — отвечал полковник. — И на Департамент ваш плевал. Все подохнут... Верно я говорю?» — спросил он ротмистра. Ротмистр был согласен. Штатский схватил полковника за рукав комбинезона и дёрнул к себе, и полковник чуть не упал со своей трости. Хихикающий батальонный залился идиотским смехом. Лицо полковника почернело от негодования, он полез в кобуру и вытащил огромный армейский пистолет. «Считаю до десяти, — объявил он штатскому. — Раз... два...» Штатский плюнул и пошёл прочь вдоль колонны, вглядываясь в лица штрафников, а полковник всё считал и, досчитав до десяти, открыл огонь. Тут ротмистр наконец забеспокоился и убедил его спрятать оружие. «Все должны подохнуть, — объявил полковник. — Вместе со мной... Бр-р-ригада! Слушай команду! Ш-ша-гом... м-марш! К чертям свинячьим в пекло!»

И бригада двинулась. По расхлябанной, разъезженной гусеницами колее, скользя и хватаясь друг задруга, штрафники спустились в болотистую лощину, свернули и зашагали прочь от железной дороги. Здесь колонну нагнали командиры взводов. Гай пошёл рядом с Максимом; он был бледен, играл желваками и сначала долго молчал, хотя Зеф сразу спросил его, что слышно. Лощина постепенно расширялась, появились кусты, впереди замаячил лесок. У обочины дороги торчал, завалившись гусеницей в мокрую рытвину, огромный неуклюжий танк, какой-то древний, совсем не похожий на патрульные танки береговой охраны, — с маленькой квадратной башней и маленькой пушечкой. Возле танка возились угрюмые люди в замасленных куртках. Блицтрегеры шагали вразброд, засунув руки в карманы, подняв жёсткие воротники. Многие осторожно поглядывали по сторонам — нельзя ли смыться? Кустики были очень соблазнительные, но на склонах лощины маячили через каждые двести — триста шагов

чёрные фигуры с автоматами. Навстречу, ныряя в колдобинах, проползли три грузовика-цистерны. Водители были мрачны и не смотрели на блицтрегеров. Дождь усиливался, настроение падало. Шли молча, покорно, как скот, всё реже озираясь.

— Слушай, взводный, — проворчал Зеф, — неужели нам так и не дадут пожрать?

Гай достал из кармана краюху хлеба и сунул ему в руку.

— Всё, — сказал он. — До самой смерти.

Зеф погрузил краюху в бороду и принялся отчётливо работать челюстями. «Бред какой-то, — подумал Максим. — Ведь все знают, что идут на верную смерть. И всё-таки идут. Значит, на что-нибудь надеются? Значит, у каждого есть какой-то план? Да, ведь они ничего не знают об излучении... Каждый думает, где-нибудь там, по дороге, сверну, выскочу из танка и прилягу, а дураки пусть наступают... Об излучении нужно писать листовки, кричать в общественных местах, радиостанции организовывать, хотя приёмники действуют только на двух частотах... Всё равно, врываться в паузы. Не на башни тратить людей, а на контрпропаганду... Впрочем, всё это потом, потом, сейчас нельзя отвлекаться. Сейчас надо всё замечать. Искать малейшие щёлки... На станции танков не было и пушек тоже, везде только стрелки-легионеры. Это надо иметь в виду. Лощина хорошая, глубокая, а охрану, вероятно, снимут, как только мы пройдём... Да нет, при чём здесь охрана — все побегут вперёд, как только включат излучатели...» Он с удивительной отчётливостью представил себе, как это будет. Врубаются излучатели. Танки блицтрегеров с рёвом устремляются вперёд. За ними валят валом армейцы. Вся прифронтовая полоса пустеет... «Трудно представить себе глубину этой полосы, неизвестен радиус действия излучателей, но уж два-три километра наверняка. В полосе глубиной два-три километра не останется ни одного человека с ясной головой. Кроме меня. Э, нет, не только два-три километра. Больше. Все стационарные установки, все башни — всё будет включено, и, наверное, на максимальную мощность. Весь приграничный район сойдёт с ума... Массаракш, как же быть с Зефом, он же этого не выдержит... — Максим покосился на мерно двигающуюся рыжую бороду мировой знаменитости. — Ничего, выдержит. В крайнем случае, придётся помочь, хотя, боюсь, будет не до того. И ещё Гай — с него ведь глаз нельзя будет спускать... Да, придётся поработать. Ладно. В конце концов, в этом мутном водовороте я всё равно буду полным хозяином и остановить меня никто не сможет, да и не захочет...»

Прошли лесок, и сразу стал слышен слитный гул громкоговорителей, треск выхлопов, раздражённые крики. Впереди, на пологом травянистом склоне, поднимающемся к северу, стояли в три ряда танки. Между ними бродили люди, слоился сизый дым.

— А вот и наши гробы! — весело и громко произнёс кто-то впереди.

— Ты посмотри, что они нам дают, — сказал Гай. — Довоенные машины, хлам имперский, консервные банки... Слушай, Мак, мы что же, так и подохнем здесь? Ведь это же погибель верная...

— Сколько до границы? — спросил Максим. — И что там вообще — за гребнем?

— Там равнина, — ответил Гай. — Как стол. Граница километрах в трёх, потом начинаются холмы, они тянутся до самой...

— Речки нет?

— Нет.

— Овраги?

— Н-нет... Не помню. А что? Максим поймал его руку, крепко сжал.

— Не падай духом, мальчик, — сказал он. — Всё будет хорошо.

Гай с отчаянной надеждой глядел на него снизу вверх. Глаза у него запали, скулы обтянуло.

— Правда? — сказал он. — А то ведь я никакого выхода не вижу. Оружие отобрали, в танках вместо снарядов болванки, пулемётов нет. Впереди смерть, позади смерть.

— Ага! — злорадно сказал Зеф, ковыряя в зубах. — Замочил штанишки? Это тебе не каторжников по зубам щёлкать...

Колонна втянулась в интервал между рядами танков и остановилась. Разговаривать стало трудно. Прямо на траве были установлены громадные раструбы громкоговорителей, бархатный магнитофонный бас вещал: «Там, за гребнем лощины, коварный враг. Только вперёд. Только вперёд. Рычаги на себя — и вперёд. На врага. Вперёд... Там, за гребнем лощины, коварный враг... Рычаги на себя — и вперёд...». Потом голос оборвался на полуслове, и принялся орать полковник. Он стоял на радиаторе своего вездехода, батальонные держали его за ноги.

— Солдаты! — орал полковник. — Хватит болтать языком! Все по машинам! Главным образом, водители, потому что на остальных мне наплевать. Но всякого, кто останется... — Он извлёк свой пистолет и показал всем. — Понятно, болваны? Господа ротные, развести экипажи по танкам!..

Началась толкотня. Полковник, шатаясь на радиаторе, как жердь, продолжал что-то выкрикивать, но его не стало слышно, потому что

громкоговорители снова принялись долдонить, что впереди враг и потому — рычаги на себя. Все блицтрегеры ринулись к третьему ряду танков. Началась драка, в воздухе заметались подкованные ботинки. Огромная серая толпа медленно кишела вокруг танков заднего ряда. Некоторые танки начали двигаться, с них сыпались люди. Полковник совсем посинел от натуги и наконец принялся палить поверх голов. Из леса чёрной цепью бежали легионеры.

— Пошли, — сказал Максим, твёрдо взял Гая и Зефа за плечи и бегом повёл к крайней машине в первом ряду — угрюмой, пятнистой, с бессильно поникшим орудийным стволом.

— Подожди... — растерянно лепетал Гай, оглядываясь. — Мы же четвёртая рота, мы же вон там, мы же во втором ряду...

— Иди, иди, — сердито сказал Максим. — Может быть, ты ещё и взводом покомандовать хочешь?

— Солдатская косточка, — сказал Зеф. — Уймись, мамаша...

Кто-то сзади схватил Максима за пояс. Максим, не оборачиваясь, попробовал освободиться — не удалось. Он оглянулся. За спиной, ухватившись цепко одной рукою, а другой вытирая окровавленный нос, тащился четвёртый член экипажа, водитель, уголовник по кличке Крючок.

— Ага, — сказал Максим. — Я и забыл о тебе. Давай-давай, не отставай...

Он с неудовольствием отметил про себя, что в суматохе забыл об этом человеке, которому по плану была отведена немаловажная роль. Тут грянули жандармские автоматы, по броне с мяукающим визгом запрыгали пули, и пришлось согнуться и бежать опрометью. Забежав за крайний танк, Максим остановился.

— Слушай мою команду, — сказал он. — Крючок, заводи. Зеф, в башню! Гай, проверь нижние люки... Да тщательно проверь, голову сниму!

Он пошёл вокруг танка, осматривая траки. Вокруг стреляли, орали, монотонно бубнили репродукторы, но он дал себе слово не отвлекаться и не отвлекался, только отметил про себя: репродукторы — Гай — не забыть. Траки были в сносном состоянии, но ведущие колёса внушали опасение. «Ничего, сойдёт, мне на нём не долго ездить...» Из-под танка ловко выполз Гай, уже грязный, с ободранными руками.

— Приржавели люки! — прокричал он. — Я их не закрыл, пусть будут открыты, правильно?

«Там, за гребнем лощины, коварный враг! — вещал магнитофонный голос. — Только вперёд. Только вперёд. Рычаги на себя...»

Максим поймал Гая за воротник и притянул к себе.

— Ты меня любишь? — сказал он, уставясь в расширенные глаза. — Веришь мне?

— Да! — выдохнул Гай.

— Только меня слушай. Больше никого не слушай. Всё остальное — враньё. Я твой друг, только я, больше никто. Запоминай. Я приказываю: запоминай.

Обалдевший Гай быстро-быстро кивал, неслышно повторяя:

— Да, да. Да. Только ты. Больше никто...

— Мак! — заорал кто-то прямо в ухо.

Максим обернулся. Перед ним стоял тот странно знакомый штатский в длинном плаще, но уже без шляпы. Массаракш... Квадратное шелушащееся лицо, красные отёчные глаза... Это же Фанк! На щеке кровавая царапина, губа разбита...

— Массаракш! — орал Фанк, стараясь перекричать шум. — Вы оглохли, что ли? Узнаёте меня?

— Фанк! — сказал Максим. — Откуда вы здесь?

Фанк вытер с губы кровь.

— Пошли! — прокричал он. — Быстрей!

— Куда?

— К чёрту отсюда! Пошли!

Он схватил Максима за комбинезон и потащил. Максим отбросил его руку.

— Нас убьют! — крикнул он. — Легионеры!

Фанк замотал головой.

— Пошли! У меня на вас пропуск! — И, видя, что Максим не двигается: — Я ищу вас по всей стране! Еле нашёл! Пошли немедленно!

— Я не один! — крикнул Максим.

— Не понимаю!

— Я не один! — гаркнул Максим. — Нас трое! Один я не пойду!

— Вздор! Не говорите глупостей! Что за дурацкое благородство? Жить надоело? — Фанк поперхнулся от крика, схватился за горло и зашёлся кашлем.

Максим огляделся. Бледный Гай с дрожащими губами смотрел на него, держал его за рукав — конечно, всё слышал.

В соседний танк двое легионеров забивали прикладами лягающегося блицтрегера.

— Один пропуск! — проорал Фанк сорванным голосом. — Один! — Он показал палец.

Максим замотал головой.

— Нас трое! — Он показал три пальца. — Я никуда без них не пойду!

Из бокового люка высунулась веником рыжая бородища Зефа. Фанк облизал губы. Он явно не знал, что делать.

— Кто вы такой? — крикнул Максим. — Зачем я вам нужен?

Фанк мельком взглянул на него и стал смотреть на Гая.

— Этот с вами? — крикнул он.

— Да! И этот тоже!

Глаза у Фанка стали дикими. Он сунул руку под плащ, вытащил пистолет и направил ствол на Гая. Максим изо всех сил ударил его по руке снизу вверх, и пистолет взлетел высоко в воздух. Максим, сам ещё не совсем поняв, что произошло, задумчиво проводил его взглядом. Фанк согнулся, сунув повреждённую руку под мышку. Гай коротко и точно, как на занятиях, ударил его по шее, и он повалился ничком. Рядом вдруг возникли легионеры, ощеренные, потные от работы, осунувшиеся от бешенства.

— В машину! — рявкнул Максим Гаю, наклонился и подхватил Фанка под мышки.

Фанк был грузен и с трудом пролез в люк. Максим нырнул следом, получив на прощание удар прикладом по задней части. В танке было темно и холодно, как в склепе, густо воняло соляркой. Зеф оттащил Фанка от люка и уложил на пол.

— Кто такой? — гаркнул он.

Максим не успел ответить. Крючок, долго и безуспешно терзавший стартёр, наконец завёл машину. Всё вокруг затряслось и загремело. Максим махнул рукой, пролез в башню и высунулся наружу. Между танками уже не было никого, кроме легионеров. Все двигатели работали, стоял адский рёв, густое душное облако выхлопов заволакивало склон. Некоторые танки двигались, кое-где из башен торчали головы; блицтрегер, высунувшийся из соседней машины, делал Максиму какие-то знаки, кривил распухшую, в синяках физиономию. Вдруг он исчез; двигатели взревели с удвоенной силой, и все танки с лязгом и дребезжаньем одновременно рванулись вперёд и вверх по склону.

Максим почувствовал, что его схватили поперёк туловища и тянут вниз. Он нагнулся и увидел вытаращенные, ставшие идиотскими глаза Гая. Как тогда, в бомбовозе, Гай хватал Максима руками, беспрерывно бормотал что-то, лицо его стало отвратительным, не было в нём больше ни мальчишества, ни наивной мужественности — сплошное бессмыслие и готовность стать убийцей. «Началось, — подумал Максим, брезгливо пытаясь отстранить несчастного парня. — Началось, началось... Включили излучатели, началось...»

Танк, содрогаясь, карабкался на гребень, клочья дёрна летели из-под гусениц. Позади ничего уже не было видно за сизым дымом, а впереди вдруг распахнулась серая глинистая равнина, и замаячили вдали плоские холмы на хонтийской стороне, и танковая лавина, не сбавляя хода, повалила туда. Рядов больше не было, все машины мчались наперегонки, задевая друг друга, бессмысленно ворочая башнями... У одного танка на полном ходу слетела гусеница: он волчком завертелся на месте, перевернулся; вторая гусеница сорвалась и тяжёлой блестящей змеёй взлетела в небо; ведущие колёса продолжали бешено крутиться, а из нижних люков выскочили два человечка в сером, спрыгнули на землю и, размахивая руками, побежали вперёд, вперёд, только вперёд, на коварного врага... Блеснул огонь, сквозь лязг и рёв звонким треском прорвался пушечный выстрел, и сразу все танки принялись палить, длинные красные языки вылетали из пушек, танки приседали, подпрыгивали, окутывались густым чёрным дымом нечистого пороха, и через минуту всё затянуло чёрно-жёлтой тучей, а Максим всё смотрел, не в силах оторвать глаз от этого грандиозного в своей преступной нелепости зрелища, терпеливо отдирая от себя цепкие руки Гая, который тащил, звал, умолял, жаждал прикрыть своей грудью от всех опасностей... Люди, заводные куклы, звери... Люди.

Потом Максим опомнился. Пора было отбирать управление. Он спустился вниз, мимоходом похлопал Гая по плечу, цепляясь за какие-то металлические скобы, огляделся в тесном шатающемся ящике, чуть не задохнулся от газолинового смрада, разглядел мертвенно-бледное лицо Фанка с закаченными глазами, Зефа, скорчившегося под снарядным ящиком, оттолкнул жмущегося к нему Гая и пролез к водителю.

Крючок держал рычаги на себя и изо всех сил поддавал газу. Он пел, он орал таким дурным голосом, что его было слышно, и Максим даже разобрал слова «благодарственной песни». Теперь надо было как-то утихомирить его, занять его место и отыскать в этом дыму удобный овраг, или глубокую рытвину, или какой-нибудь холм, чтобы было где укрыться от атомных взрывов... Но получилось не по плану. Как только он принялся осторожно разжимать кулаки Крючка, закоченевшие на рычагах, преданный Гай, увидевший, что его господину оказывается неповиновение, просунулся сбоку и страшно ударил ополоумевшего Крючка огромным гаечным ключом в висок. Крючок осел, размяк и выпустил рычаги. Максим, рассвирепев, отшвырнул Гая в сторону, но было уже поздно, и не было времени ужасаться и сострадать. Он оттащил труп, уселся и взял управление.

В смотровой люк почти ничего не было видно: небольшой участок глинистой почвы, поросшей редкими травинками, и дальше — сплошная пелена сизой гари. Не могло быть и речи найти что-нибудь в этой мгле. Оставалось одно: замедлить ход и осторожно двигаться до тех пор, пока танк не углубится в холмы. Впрочем, замедлять ход тоже было опасно. Если атомные мины начнут рваться прежде, чем он доберётся до холмов, можно ослепнуть, да и вообще сгореть... Гай тёрся то справа, то слева, заглядывал в лицо, искал приказаний.

— Ничего, дружище... — бормотал Максим, отстраняя его локтями. — Это пройдёт... Всё пройдёт, всё... Потерпи ещё немного...

Гай видел, что с ним говорят, и точил слезу от огорчения, что опять, как тогда, в бомбовозе, не слышит ни слова.

Танк проскочил через густую струю чёрного дыма: слева кто-то горел. Проскочили, и пришлось сразу круто свернуть, чтобы не наехать на мёртвого, расплющенного гусеницами человека. Вынырнул из дыма и скрылся покосившийся пограничный знак, за ним пошли изодранные, смятые проволочные заграждения. Из неприметного ровика высунулся на миг человек в странной белой каске, яростно потряс воздетыми кулаками и тотчас исчез, словно растворился в земле. Дымная пелена впереди понемногу рассеивалась, и Максим увидел бурые круглые холмы совсем близко и заляпанную грязью корму танка, ползущего почему-то наискосок к общему движению, и ещё один горящий танк. Максим отвернул влево, целясь машиной в глубокое, заросшее кустарником седло между двумя холмами повыше. Он был уже близко, когда навстречу брызнул огонь, и весь танк загудел от страшного удара. От неожиданности Максим дал полный газ, кусты и облако белёсого дыма над ними прыгнули навстречу, мелькнули белые каски, искажённые ненавистью лица, воздетые кулаки, потом под гусеницами что-то железно затрещало, ломаясь. Максим стиснул зубы, взял круто вправо и повёл машину подальше от этого места, по косогору, сильно кренясь, едва не переворачиваясь, огибая холм, и въехал наконец в узкую лощину, поросшую молоденькими деревцами. Здесь он решил остановиться.

Он откинул передний люк, высунулся по пояс и огляделся. Место было подходящее, со всех сторон танк обступали высокие бурые склоны. Максим заглушил двигатель, и сразу же Гай завопил хриплым фальцетом какую-то преданную чушь, что-то нелепо рифмованное, какую-то самодельную оду в честь величайшего и любимейшего Мака; такую песню мог бы сочинить пёс, если бы научился пользоваться человеческим языком.

— Замолчи! — приказал Максим. — Вытащи этих людей наружу и уложи возле машины... Стой, я ещё не кончил! Делай это осторожно, это мои любимые друзья, наши любимые друзья...

— А ты куда? — спросил Гай с ужасом.

— Я буду здесь, рядом.

— Не уходи... — заныл Гай. — Или позволь, я пойду с тобой...

— Ты меня не слушаешься, — строго сказал Максим. — Делай, что я приказал. И делай осторожно, помни, что это наши друзья...

Гай принялся причитать, но Максим уже не слушал. Он выбрался из танка и побежал вверх по склону холма. Где-то недалеко продолжали идти танки, натужно ревели двигатели, лязгали гусеницы, изредка бухали пушки. Высоко в небе провизжал снаряд. Максим, пригнувшись, взбежал на вершину, присел на корточки между кустами и ещё раз от всего сердца похвалил себя за такой удачный выбор места.

Внизу — рукой подать — оказался широкий проход между холмами, и по этому проходу, вливаясь с покрытой дымом равнины, сгрудившись, гусеница к гусенице, сплошным потоком шли танки — низкие, приплюснутые, мощные, с огромными плоскими башнями и длинными пушками. Это были уже не штрафники, это проходила регулярная армия. Несколько минут Максим, оглушённый и оторопевший, наблюдал это зрелище, жуткое и неправдоподобное, как исторический кинофильм. Воздух шатался и вздрагивал от неистового грохота и рёва, холм трепетал под ногами, как испуганное животное, и всё-таки Максиму казалось, будто машины идут в мрачном, угрожающем молчании. Он отлично знал, что там, под броневыми листами, заходятся в хрипе ошалевшие солдаты, но все люки были наглухо закрыты, и казалось, что каждая машина — один сплошной слиток неодухотворенного металла... Когда прошли последние танки, Максим оглянулся назад, вниз, и его танк, накренившийся среди деревьев, показался ему жалкой жестяной игрушкой, дряхлой пародией на настоящий боевой механизм. Да, внизу прошла Сила, чтобы встретиться с другой, ещё более страшной Силой, и, вспомнив об этой другой Силе, Максим поспешно скатился вниз, в рощу.

Обогнув танк, он остановился.

Они лежали рядком: белый до синевы Фанк, похожий на мертвеца; скорченный, постанывающий Зеф, вцепившийся грязно-белыми пальцами в свою рыжую шевелюру, и весело улыбающийся Крючок с мёртвыми глазами куклы. Приказ был выполнен в точности. Но Гай, весь ободранный, весь в крови, тоже лежал поодаль, отвернув от неба обиженное мертвенное лицо, раскинув руки, и вокруг него трава была смята и затоптана, и валялась сплющенная белая

каска в тёмных пятнах, а из развороченных кустов торчали ещё чьи-то ноги в сапогах.

— Массаракш... — пробормотал Максим, с ужасом представив себе, как здесь несколько минут назад схватились насмерть два рычащих и воющих пса, каждый во славу своего хозяина...

И в этот момент та, другая Сила нанесла ответный удар.

Максиму этот удар пришёлся по глазам. Он зарычал от боли, изо всех сил зажмурился и упал на Гая, уже поняв, что тот мёртв, но стараясь закрыть его своим телом. Это было чисто рефлекторное — он ни о чём не успел подумать и ничего не успел ощутить, кроме боли в глазах, — он был ещё в падении, когда его мозг отключил себя.

Когда окружающий мир снова сделался возможным для человеческого восприятия, сознание включилось снова. Прошло, вероятно, очень мало времени, несколько секунд, но Максим очнулся, весь покрытый обильным потом, с пересохшим горлом, и голова у него звенела, как будто его ударили доской по уху. Всё вокруг изменилось, мир стал багровым, мир был завален листьями и обломанными ветвями, мир был наполнен раскалённым воздухом, с красного неба дождём валились вырванные с корнем кусты, горящие сучья, комья горячей сухой земли. И стояла болезненно-звенящая тишина. Живых и мёртвых раскатило по сторонам. Гай, засыпанный листьями, лежал ничком шагах в десяти. Рядом с ним сидел Зеф; одной рукой он по-прежнему держался за голову, а другой закрывал глаза. Фанк скатился вниз, застрял в промоине и теперь ворочался там, тёрся лицом о землю. Танк тоже снесло ниже и развернуло. Прислонясь к гусенице спиной, мёртвый Крючок по-прежнему весело улыбался...

Максим вскочил, разбросав наваленные ветки. Он подбежал к Гаю, схватил его, поднял, поглядел в стеклянные глаза, прижался щекой к щеке, проклял и трижды проклял этот мир, в котором он так одинок и беспомощен, где мёртвые становятся мёртвыми навсегда, потому что ничего нет, потому что нечем сделать их живыми... Кажется, он плакал, колотил кулаками по земле, топтал белую каску, а потом Зеф начал протяжно кричать от боли, и тогда он пришёл в себя и, не глядя вокруг, не чувствуя больше ничего, кроме ненависти и жажды убивать, побрёл снова наверх, на свой наблюдательный пост...

Здесь тоже всё переменилось. Кустов больше не было, спёкшаяся глина дымилась и потрескивала, обращённый к северу склон холма горел. На севере багровое небо сливалось со сплошной стеной чёрно-коричневого дыма, и над этой стеной поднимались, распухая на глазах, ярко-оранжевые, какие-то маслянисто-жирные тучи. И туда, где возносились к лопнувшей от удара небесной тверди тысячи тысяч

тонн раскалённого праха, испепелённые до атомов надежды выжить и жить, в эту адскую топку, устроенную несчастными дураками для несчастных дураков, тянул с юга, словно в поддувало, лёгкий сыроватый ветер.

Максим поглядел вниз, на проход между холмами. Проход был пуст, взрытая гусеницами и обожжённая атомным ударом глина курилась, тысячи огоньков плясали на ней — тлели листья и догорали сорванные сучья. А равнина на юге казалась очень широкой и очень пустынной; её больше не заволакивали пороховые газы, она была красна под красным небом, на ней неподвижно чернели одинокие коробочки — испорченные и повреждённые танки штрафников, и по ней уже приближалась к холмам редкая изломанная цепочка странных машин.

Они были похожи на танки, только вместо артиллерийской башни на каждой был установлен высокий решётчатый конус с тусклым округлым предметом на верхушке. Они шли быстро, мягко переваливаясь на неровностях, и они были не чёрные, как танки несчастных блицтрегеров, не серо-зелёные, как армейские танки прорыва, — они были жёлтые, ярко-весело-жёлтые, как жандармские патрульные автомобили... Правого фланга шеренги уже не было видно за холмами, и Максим успел насчитать всего восемь излучателей. В них чудилась какая-то наглость хозяев положения; они шли в бой, но не считали нужным ни скрываться, ни маскироваться; они нарочито выставлялись напоказ и своей окраской, и своим уродливым пятиметровым горбом, и отсутствием обычного вооружения. Те, кто вёл эти машины и управлял ими, считали себя, должно быть, в полной безопасности. Впрочем, вряд ли они об этом думали; они просто спешили вперёд, подстёгивая лучевыми бичами железное стадо, которое катилось сейчас через ад, и они наверняка ничего не знали об этих бичах, как не знали и того, что бичи эти хлещут их самих... Максим увидел, что левофланговый излучатель направляется в лощину, и пошёл ему навстречу, вниз по склону холма.

Он шёл во весь рост. Он знал, что ему придётся силой выковыривать чёрных погонщиков из железной скорлупы, и он хотел этого. Никогда в жизни он ничего так не хотел, как хотелось ему сейчас почувствовать под пальцами живую плоть... Когда он спустился в лощину, излучатель был уже совсем близко. Жёлтая машина катилась прямо на него, слепо уставясь стекляшками перископов, решётчатый конус грузно раскачивался не в такт приседаниям машины, и теперь видно было, что на вершине качается серебристый шар, густо утыканный длинными блестящими иглами...

Они и не подумали остановиться, и Максим, уступив дорогу, пропустил их, пробежал несколько метров рядом и вскочил на броню.

Часть пятая
ЗЕМЛЯНИН

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Государственный прокурор спал чутко, и мурлыканье телефона сразу разбудило его. Не раскрывая глаз, он взял наушник и хрипло сказал:

— Слушаю.

Мяукающий голос референта произнёс, как бы извиняясь:

— Семь часов, ваше превосходительство...

— Да, — сказал прокурор, всё ещё не раскрывая глаз. — Да. Благодарю.

Он включил свет, откинул одеяло и сел. Некоторое время он сидел, уставясь на свои тощие бледные ноги, и с грустным удивлением размышлял о том, что вот уже шестой десяток пошёл, но не помнит он ни одного дня, когда бы ему дали выспаться. Всё время кто-нибудь будит. Когда он был поручиком, его будил после попойки скотина денщик. Когда он был председателем Чёрного трибунала, его будил дурак секретарь с неподписанными приговорами. Когда он был школяром, его будила мать, чтобы он шёл на занятия, и это было самое мерзкое время, самые скверные пробуждения. И всегда ему говорили: надо! Надо, ваше благородие... Надо, господин председатель... Надо, сыночек... А сейчас это «надо» говорит себе он сам... Он встал, накинул халат, плеснул в лицо горсть одеколона, вставил зубы, посмотрел, массируя щёки, в зеркало, скривился неприязненно и прошёл в кабинет.

Тёплое молоко уже стояло на столе, а под крахмальной салфеточкой — блюдце с солоноватым печеньем. Это надо было выпить и съесть как лекарство, но сначала он подошёл к сейфу, отвалил дверцу, взял зелёную папку и положил её на стол рядом с завтраком. Хрустя печеньем и прихлёбывая молоко, он тщательно осматривал папку, пока не убедился, что со вчерашнего вечера её никто не раскрывал. Как много переменилось, подумал он. Всего три месяца прошло, а как всё переменилось!.. Он машинально взглянул на жёлтый телефон и несколько секунд не мог отвести от него глаз. Телефон молчал — яркий, изящный, как весёлая игрушка... страшный, как тикающая адская машина, которую невозможно разрядить...

Прокурор судорожно, двумя руками вцепился в зелёную папку, зажмурился. Он ощутил, что страх нарастает, и поспешил одёрнуть себя. Нет, так дело не пойдёт, сейчас надо хранить абсолютное спокойствие и рассуждать совершенно бесстрастно... «Выбора у меня всё равно нет. Значит, риск... Ну что же: риск так риск. Риск всегда был и будет, нужно только свести его к минимуму. И я его сведу к минимуму. Да, массаракш, к минимуму!.. Вы, кажется, не уверены в этом, Умник? Ах, вы сомневаетесь? Вы всегда сомневаетесь, Умник, есть у вас такое качество, вы — молодец... Ну что же, попытаемся развеять ваши сомнения. Слыхали вы про такого человека — его зовут Максим Каммерер? Неужели слыхали? Это вам только кажется. Вы никогда раньше не слыхали про такого человека. Вы сейчас услышите о нём первый раз. Очень прошу вас, выслушайте и составьте о нём самое объективное, самое непредубеждённое суждение. Мне очень важно знать ваше объективное мнение, Умник: от этого, знаете ли, зависит теперь целость моей шкуры. Моей бледной, с синими прожилками, такой дорогой мне шкуры...»

Он прожевал последнее печенье и залпом допил молоко.

Потом вслух сказал: «Приступим».

Он раскрыл папку.

«Прошлое этого человека туманно. И это, конечно, неважное начало для знакомства. Но мы с вами знаем не только, как из прошлого выводить настоящее, но и как из настоящего выводить прошлое. И если нам так уж понадобится прошлое нашего Мака, мы в конце концов выведем его из настоящего. Это называется экстраполяцией... Наш Мак начинает своё настоящее с того, что бежит с каторги. Вдруг. Неожиданно. Как раз в тот момент, когда мы со Странником тянем к нему руки. Вот панический рапорт генерал-коменданта, классический вопль идиота, который нашкодил и не чает уйти от наказания: он ни в чём не виноват, он сделал всё по инструкции, он не знал, что объект добровольно поступил в сапёры-смертники, а объект поступил и подорвался на минном поле. Не знал... Вот и мы со Странником не знали. А надо было знать! Объект — человек неожиданный, вы должны были ожидать чего-либо подобного, господин Умник... Да, тогда это поразило меня, но теперь-то мы понимаем, в чём дело: кто-то объяснил нашему Маку про башни, он решил, что в Стране Творцов ему делать нечего, и удрал на Юг, симулировав гибель... — Прокурор опустил голову на руку, вяло потёр лоб. — Да, тогда всё это и началось... Это был первый промах в серии моих промахов: я поверил, что он погиб. А как я мог не поверить? Какой нормальный

человек побежит на Юг?.. Любой бы поверил. А вот Странник не поверил».

Прокурор взял очередной рапорт.

«О этот Странник! Умница Странник, гений Странник... Вот как мне надо было действовать — как он! Я был уверен, что Мак погиб: Юг есть Юг. А он наводнил всё Заречье своими агентами. Жирный Фанк — ах, не добрался я до него в своё время, не прибрал к рукам! — этот жирный, облезлый боров похудел, мотаясь по стране, вынюхивая и высматривая, а его Кура подох от лихорадки на Шестой трассе, а его Тапа-Петушок был захвачен горцами, а потом Пятьдесят Пятый — не знаю, кто он такой, — попался пиратам аж на побережье, но успел сообщить, что Мак там появлялся. Сдался патрулям и направлен обратно в свою колонну...

Вот как поступают люди с головой: они ни во что не верят и никого не жалеют. Вот как я должен был поступить тогда. Бросить все дела, заняться только Маком, ведь я уже тогда прекрасно понимал, какая это страшная сила — Мак, а я вместо этого сцепился с Дергунчиком и проиграл, а потом связался с этой идиотской войной и тоже проиграл... Я и сейчас бы проиграл, но мне наконец повезло: Мак объявился в столице, в логове Странника, и я узнал об этом раньше, чем Странник. Да, Странник, да, хрящеухий, теперь проиграл ты. Надо же было тебе уехать именно сейчас! И ты знаешь, Странник, меня даже не огорчает то обстоятельство, что опять осталось неизвестным, куда и зачем ты уехал. Уехал, и ладно. Ты, конечно, во всём положился на своего Фанка, а твой Фанк привёз тебе Мака, но вот ведь беда — свалился твой Фанк после своих военных приключений, лежит без памяти в дворцовом госпитале — важная фигура, таких только в дворцовый госпиталь! — и теперь я не промахнусь, теперь он будет там лежать, сколько мне понадобится. Тебя нет, Фанка нет, а наш Мак есть, и это получилось очень удачно...»

Прокурор ощутил радость и, заметив это, сейчас же погасил её.

«Опять эмоции, массаракш... Спокойнее, Умник. Ты знакомишься с новым человеком по имени Мак, ты должен быть очень объективен. Тем более, что этот новый Мак так не похож на старого, теперь он совсем взрослый, теперь он знает, что такое финансы и детская преступность. Поумнел, посуровел наш Мак... Вот он пробился в штаб подполья (рекомендатели: Мемо Грамену и Аллу Зеф), как гром с ясного неба обрушился там на них с предложением раскрыть всему подполью истинное назначение башен; штаб взвыл, но ведь убедил их Мак!

Запугал их там, запутал; приняли они эту идею, поручили Маку разработку... В обстановке он разобрался быстро и верно. И они там это поняли — поняли, с кем имеют дело. Или просто почувствовали... Вот последнее донесение: фракция просветителей привлекла его к обсуждению программы перевоспитания, и он с радостью согласился. Сразу предложил кучу идей. Идейки не бог весть какие, но не в этом дело, перевоспитание — вообще идиотизм, важно то, что он уже больше не террорист, ничего он не хочет взрывать, никого не хочет убивать; важно то, что занялся он своей карьерой, активно зарабатывает себе авторитет в штабе, произносит речи, критикует, лезет наверх; важно то, что он имеет идеи, жаждет их осуществить, а это именно то, что вам нужно, господин Умник...»

Прокурор откинулся на спинку кресла.

«И вот ещё то, что нужно. Донесения об образе жизни. Много работает — и в лаборатории и дома, — тоскует по-прежнему по той девушке, по Раде Гаал, занимается спортом, почти ни с кем не дружит, не курит, почти не пьёт, в еде очень умерен. С другой стороны, обнаруживает явную склонность к роскоши в быту и знает себе цену: полагающийся по штату автомобиль принял как должное, выразив недовольство его малой мощностью и уродливостью; недоволен также квартирой — считает её слишком тесной и лишённой элементарных удобств; жилище своё украсил оригинальными картинами и антикварными произведениями искусства, истратив на них почти весь аванс... И так далее. Хороший материал, очень хороший материал... А кстати, сколько у него денег, чем он сейчас располагает? Таак, руководитель темы в лаборатории химического синтеза... Недурно его устроили. И ещё больше, наверное, наобещали. Хотел бы я знать, как ему объяснили, зачем он понадобился Страннику. Это знает Фанк, жирная свинья, но он не скажет, скорее подохнет... Ах, если бы как-нибудь вытянуть из него всё, что он знает! С каким наслаждением я бы потом его прикончил... Сколько он крови мне попортил, этакая скотина... И Раду эту он у меня украл, а ведь как бы она мне сейчас пригодилась — Рада... Какое это оружие, когда имеешь дело с чистым, честным, мужественным Маком!.. Впрочем, сейчас это, может быть, не так уж и плохо... Не я держу под замком твою возлюбленную, Мак, это всё Странник, это всё его интриги, этого шантажиста...»

Прокурор вздрогнул: жёлтый телефон тихонько звякнул. Только звякнул, и больше ничего. Тихонько, даже мелодично. Ожил на долю секунды и снова замер, словно напомнил о себе... Прокурор, не

отрывая от него глаз, провёл по лбу дрожащими пальцами. Нет, ошибка... Конечно, ошибка. Мало ли что, телефон — аппарат сложный, искра там какая-нибудь проскочила... Он вытер пальцы о халат. И сейчас же телефон грянул. Как выстрел в упор... Как нож по горлу... Как падение с крыши на асфальт... Прокурор взял наушник. Он не хотел брать наушник, он даже не знал, что берёт наушник, он даже вообразил, будто не берёт наушник, а быстро на цыпочках бежит в спальню, одевается, выкатывает машину из гаража и на предельной скорости гонит... Куда?

— Государственный прокурор, — сказал он хрипло и прокашлялся.

— Умник? Это Канцлер говорит.

Вот... Вот оно... Сейчас: «Ждём тебя через часок...»

— Я узнал, — сказал он бессильно. — Здравствуй, Канцлер.

— Сводку читал?

— Нет.

«Ах не читал? Ну приезжай, мы тебе сейчас сами прочитаем...»

— Всё, — сказал Канцлер. — Прогадили войну.

Прокурор глотнул. Надо было что-то сказать. Надо было срочно что-то сказать, лучше всего — пошутить. Тонко пошутить... «Боже, помоги мне тонко пошутить!..»

— Молчишь? А что я тебе говорил? Не лезь в эту кашу, штатских держись, а не военных. Эх ты, Умник...

— Ты — Канцлер, — выдавил из себя прокурор. — Все мы — твои дети. Дети ведь вечно не слушаются родителей...

Канцлер хихикнул.

— Дети... — сказал он. — А где это сказано: «Если чадо твоё ослушается тебя...» Как там дальше, не помнишь, Умник?

Боже мой, боже мой! «Сотри его с лица земли». Он так и сказал тогда: «Сотри его с лица земли», и Странник взял со стола тяжёлый чёрный пистолет, неторопливо поднял и два раза выстрелил, и чадо охватило руками пробитую лысину и повалилось на ковёр...

— Память отшибло? — сказал Канцлер. — Эх ты, Умник... Что собираешься делать, Умник?

— Я ошибся... — прохрипел прокурор. — Ошибка... Это всё из-за Дергунчика...

— Ошибся... Ну ладно, подумай, Умник. Поразмысли. Я тебе ещё позвоню.

И всё. И нет его. И неизвестно, куда звонить ему — плакать, умолять... «Глупо, глупо. Никому не помогало... Ладно... Подожди... Да подожди ты, трус!» Он с размаху ударил раскрытой рукой о край стола — чтобы в кровь, чтобы больно, чтобы перестать дрожать... Это

немного помогло, но он ещё наклонился, открыл другой рукой нижний ящик стола, достал фляжку, зубами вытащил пробку и сделал несколько глотков. Его ударило в жар. «Вот так... Спокойно... Мы ещё посмотрим... Это гонка: кто быстрее. Умника так просто не возьмёшь, с ним вы ещё повозитесь. Умника так сразу не вызовешь. Если бы могли вызвать, то уже вызвали бы... Это ничего, что он позвонил. Он всегда так. Время есть. Два дня, три дня, четыре дня... Время есть! — прикрикнул он на себя. — Не психуй...» Он поднялся и торопливо пошёл кругами по кабинету.

«У меня есть на вас управа. У меня есть Мак. У меня есть человек, который не боится излучения. Для которого не существует преград. Который желает переменить порядок вещей. Который нас ненавидит. Человек чистый и, следовательно, открытый всем соблазнам. Человек, который поверит мне. Человек, который захочет встретиться со мной... Он уже сейчас хочет встретиться со мной: мои агенты уже много раз говорили ему, что государственный прокурор добр, справедлив, большой знаток законов, настоящий страж законности, что Творцы его недолюбливают и терпят его только потому, что не доверяют друг другу... Мои агенты уже показывали меня ему, тайком, в благоприятных обстоятельствах, и моё лицо ему понравилось... И — самое главное! — ему под строжайшим секретом намекнули, что я знаю, где находится Центр. Он прекрасно владеет лицом, но мне сказали, что в этот момент он выдал себя... Вот какой человек у меня есть — человек, который очень хочет захватить Центр и может это сделать, единственный из всех... То есть этого человека у меня пока нет, но сети расставлены, наживка проглочена, и сегодня я его подсеку. Или я пропал... Пропал... Пропал...»

Он круто повернулся и с ужасом взглянул на жёлтый телефон.

Он больше не мог сдержать воображения. Он видел эту тесную комнату, обтянутую фиолетовым бархатом, душную, прокисшую, без окон, голый обшарпанный стол и пять золочёных кресел... «А мы, все остальные, стояли: я, Странник с глазами жаждущего убийцы и этот лысый палач... растяпа, болтун: знал ведь, где Центр, столько людей загубил, чтобы узнать, где Центр, и — трепло, пьяница, хвастун! — разве можно о таких вещах кому-нибудь говорить? Тем более родичам... особенно таким родичам. А ещё начальник Департамента общественного здоровья, глаза и уши Огненосных Творцов, броня и секира нации... Канцлер сказал, жмурясь: «Сотри его с лица земли», Странник выстрелил в упор два раза, и Барон проворчал с неудовольствием: «Опять всю обивку забрызгали...» И они опять стали спорить, почему

в комнате воняет, а я стоял на ватных ногах и думал: «Знают или не знают?», и Странник стоял, оскалясь, как голодный хищник, и глядел на меня, словно догадывался... Ни черта он не догадался... Теперь-то я понимаю, почему он всегда так хлопотал, чтобы никто не проник в тайну Центра. Он всегда знал, где находится Центр, и только искал случая захватить Центр самому... Опоздал, Странник, опоздал... И ты, Канцлер, опоздаешь. И ты, Барон. А о тебе, Дергунчик, и речи нет...»

Он отдёрнул портьеру и приложил лоб к холодному стеклу. Он почти задушил свой страх и, чтобы растоптать его окончательно, до последней искорки, он представил себе, как Мак с боем внезапно врывается в аппаратную Центра...

Но это мог бы сделать и Волдырь с личной охраной, с этой бандой своих родных и двоюродных братьев, племянников, побратимов, выкормышей, с этими жуткими подонками, которые никогда ничего не слыхали о законе, которые всегда знали только один закон: стреляй первым... Нужно было быть Странником, чтобы поднять руку на Волдыря. В тот же вечер они напали на него прямо у ворот его особняка, изрешетили машину, убили шофёра, убили секретаршу и загадочным образом полегли сами, все до единого, все двадцать четыре человека с двумя пулемётами... Да, Волдырь тоже мог бы ворваться в аппаратную, но там бы он и завяз, дальше бы он не прошёл, потому что дальше — барьер депрессионного излучения, а теперь, может быть, и два лучевых барьера; хватило бы и одного, никто не пройдёт там: выродок свалится в обморок от боли, а простой лояльный гражданин падёт на колени и примется тихо плакать от смертной тоски... Только Мак там пройдёт и запустит свои умелые руки в генераторы, и прежде всего переключит Центр, всю систему башен, на депрессионное поле. Затем, уже совершенно беспрепятственно, он поднимется в радиостудию и поставит там плёнку с заранее подготовленной речью на многоцикловую передачу... Вся страна от хонтийской границы до Заречья — в депрессии, миллионы дураков валяются, обливаясь слезами, не желая пошевелить пальцем, а репродукторы уже ревут во всю глотку, что Огненосные Творцы — преступники, их зовут так-то и так-то, они находятся там-то и там-то, убейте их, спасайте страну, это говорю вам я, Мак Сим, живой бог на земле (или там... законный наследник императорского престола, или великий диктатор — что ему больше понравится). К оружию, мой Легион. К оружию, моя армия! К оружию, мои подданные!.. А сам в это время спускается обратно в аппаратную и переключает генераторы на поле повышенного внимания, и вот уже вся страна слушает, развесив уши, стараясь не упустить ни слова, заучивая наизусть, повторяя про себя. А громкоговорители ревут,

башни работают, и так длится ещё час, а потом он переключает излучатели на восторг, всего полчаса восторга — и конец передачам... И когда я прихожу в себя — массаракш, полтора часа адской боли, но надо, массаракш, выдержать! — Канцлера уже нет, никого из них нет, есть Мак, великий бог Мак, и его верный советник, бывший государственный прокурор, а ныне — глава правительства великого Мака... А, бог с ним, с правительством, я буду просто жив, и мне ничего не будет угрожать, а там мы посмотрим... Мак не из тех, кто бросает полезных друзей, он не бросает даже бесполезных друзей, а я буду очень полезным другом. О, каким полезным другом я ему буду!..»

Он оборвал себя и вернулся к столу, покосился на жёлтый телефон, усмехнулся, снял наушник зелёного телефона и вызвал заместителя начальника Департамента специальных исследований.

— Головастик? Доброе утро, это Умник. Как ты себя чувствуешь? Как желудок?.. Ну, прекрасно... Странника ещё нет?.. Ага. Ну ладно... Мне позвонили от Барона и приказали немножко вас проинспектировать... Нет-нет, я думаю, это чистая формальность, я всё равно у вас ни черта не понимаю, но ты подготовь там какой-нибудь рапорт... проект заключения инспекции и всё такое. И позаботься, чтобы все были на местах, а не как в прошлый раз... Ум-гу... Часов в одиннадцать, наверное... Ты сделай так, чтобы в двенадцать я уже смог уехать со всеми документами... Ну, до встречи. Пойдём страдать... А ты тоже страдаешь? Или вы уже, может быть, давно выдумали защиту, только от начальства скрываете? Ну-ну, я шучу... Пока.

Он положил наушник и взглянул на часы. Было без четверти десять. Он громко застонал и потащился в ванную. Опять этот кошмар... полчаса кошмара. От которого нет защиты... От которого нет спасения... От которого жить не хочется... Как это всё-таки обидно: Странника придётся пощадить.

Ванна уже была полна горячей воды. Прокурор сбросил халат, стянул ночную рубашку и сунул под язык болеутолитель. И так всю жизнь. Одна двадцать четвёртая всей жизни — ад. Больше четырёх процентов... И это — не считая вызовов во Дворец. Ну, вызовы скоро кончатся, а эти четыре процента останутся до конца... «Впрочем, это мы ещё посмотрим. Когда всё установится, я возьмусь за Странника сам...» Он залез в ванну, устроился поудобнее, расслабился и стал придумывать, как он возьмётся за Странника. Но он не успел ничего придумать. Знакомая боль ударила в темя, прокатилась по позвоночнику, запустила коготь в каждую клетку, в каждый нерв и принялась драть — методично, люто, в такт бешеным толчкам сердца...

Когда всё кончилось, он ещё немного полежал в томном изнеможении — адские муки тоже имеют свои достоинства: полчаса кошмара дарили ему несколько минут райского блаженства, — затем вылез, растёрся перед зеркалом, приоткрыл дверь, принял от камердинера свежее бельё, оделся, вернулся в кабинет, выпил ещё один стакан тёплого молока, на этот раз смешанного с целебной водой, съел вязкой кашицы с древесным мёдом, посидел немножко просто так, окончательно приходя в себя, а потом позвонил дневному референту и велел подавать автомобиль.

К Департаменту специальных исследований вела правительственная трасса, пустая в это время дня, обсаженная кудрявыми деревьями, похожими на искусственные. Шофёр гнал без остановок у светофоров, время от времени включая гулкую басовитую сирену. К высоким железным воротам Департамента подъехали без трёх минут одиннадцать. Легионер в парадном мундире подошёл, нагнулся, вглядываясь, узнал и отдал честь. Тотчас же ворота распахнулись, открылся густой сад, белые и жёлтые корпуса жилых домов, а за ними — гигантский стеклянный параллелепипед института. Медленно проехали по автомобильной дорожке с грозными предупреждениями насчёт скорости, миновали детскую площадку, приземистое здание бассейна, пёстрое весёлое здание клуба-ресторана — и всё это в зелени, в облаках зелени, в тучах зелени, и прекрасный, чистейший воздух, и — массаракш! — какой-то запах стоит удивительный, нигде такого не бывает, ни в каком поле, ни в каком лесу... «Ох уж этот Странник, всё это его затеи, чёртовы деньги ухлопаны на это, но зато как его здесь любят. Вот как надо жить, вот как надо устраиваться. Ухлопаны чёртовы деньги, Султан был страшно недоволен, он и сейчас ещё недоволен... Риск? Да, риск, конечно, был, рискнул Странник, но зато теперь его Департамент — это его Департамент: здесь его не предадут, не подсидят... Пятьсот человек у него здесь, в основном молодёжь; газет они не читают, радио не слушают — времени, видите ли, нет, важные научные исследования... Так что излучение здесь бьёт мимо цели, вернее, совсем в другую цель. Да, Странник, я бы на твоём месте долго ещё тянул с защитными шлемами. Может быть, ты и тянешь? Наверняка тянешь... Но, чёрт возьми, как тебя ухватить? Вот если бы нашёлся второй Странник... Да, второй такой головищи нет во всём мире. И он это знает. И он очень внимательно следит за каждым более или менее талантливым человеком. Прибирает к рукам с юных лет, обласкивает, отдаляет от родителей — а родители-то до смерти, дураки, рады! — и вот, глядишь, ещё один солдатик становится в твой

строй... Ох как это здорово, что Странника сейчас нет, какая это удача!»

Машина остановилась, референт распахнул дверцу. Прокурор вылез, поднялся по ступенькам в застеклённый вестибюль. Головастик со своими референтами уже ждал его. Прокурор с надлежащей скукой на лице вяло пожал Головастику руку, посмотрел на референтов и позволил препроводить себя в лифт. В кабину вошли по регламенту: господин государственный прокурор, за ним господин заместитель начальника Департамента, следом референт государственного прокурора и старший из референтов господина заместителя начальника. Прочих оставили в вестибюле. В кабинет Головастика вошли опять по регламенту: господин прокурор, за ним Головастик; референта прокурора и старшего референта Головастика оставили за дверью в приёмной. Прокурор сейчас же утомлённо погрузился в кресло, а Головастик немедленно засуетился, забил пальцами по кнопкам на краю стола и, когда в кабинет сбежалась целая орава секретарей, приказал подать чай.

Первые несколько минут прокурор для развлечения разглядывал Головастика. У Головастика был на редкость виноватый вид. Он избегал смотреть в глаза, то и дело приглаживал волосы, судорожно потирал руки, неестественно покашливал и совершал множество бессмысленных, суетливых движений. У него всегда был такой вид. Внешность и поведение были его основным капиталом. Он вызывал непрерывные подозрения в нечистой совести и навлекал на себя непрерывные тщательнейшие проверки. Департамент общественного здоровья изучил его жизнь по часам. И поскольку жизнь его была безукоризненна, а каждая новая проверка лишь подтверждала этот неожиданный факт, продвижение Головастика по служебной лестнице происходило с редкостной быстротой.

Прокурор всё это прекрасно знал: он лично три раза доскональнейшим образом проверял Головастика, и тем не менее сейчас, рассматривая его, забавляясь им, он вдруг поймал себя на мысли, что Головастик, ей-богу, знает, пройдоха, где находится Странник, и ужасно боится, что это из него сейчас вытянут. И прокурор не удержался.

— Привет от Странника, — сказал он небрежно, постукивая пальцами по подлокотнику.

Головастик быстро посмотрел на прокурора и тут же отвёл глаза.

— М-м... да... — сказал он, покусывая губу. — Кхе... Сейчас вот... гм... чай принесут...

— Он просил тебя позвонить, — сказал прокурор ещё небрежнее.

— Что?.. А-а... Ладно... Чай у меня сегодня будет исключительный. Новая секретарша прямо-таки знаток в чаях... То есть... кхе... А куда ему позвонить?

— Не понимаю, — сказал прокурор.

— Нет, я к тому, что... гм... если ему позвонить, то надо же знать... кхе... телефон... он же никогда телефона не оставляет... — Головастик вдруг засуетился, мучительно покраснел, захлопал по столу ладонями, нашёл карандаш. — Куда он велел позвонить?

Прокурор отступился.

— Это я пошутил, — сказал он.

— А?.. Что?.. — На лице Головастика мгновенно, сменяя друг друга, промелькнуло множество подозрительнейших выражений. — А! Пошутил? — Он загоготал фальшивым смехом. — Это ты ловко меня... Вот потеха! А я уж думал... Га-га-га!.. А вот и чаёк!

Прокурор принял из холёных рук холёной секретарши стакан крепкого горячего чая и сказал:

— Ладно, пошутили, и хватит. Времени мало. Где твоя бумага?

Головастик, совершив массу ненужных движений, извлёк из стола и протянул прокурору проект инспекционного акта. Судя по тому, как он при этом сокращался и ёжился, проект был набит фальшивой информацией, имел целью ввести инспектора в заблуждение и вообще был составлен с подрывными намерениями.

— Н-нуте-с... — проговорил прокурор, причмокивая кусочком сахара. — Что тут у тебя?.. «Акт проверочного обследования» ... Н-ну... Лаборатория интерференции... Лаборатория спектральных исследований... Лаборатория интегрального излучения... Ничего не понимаю, чёрт ногу сломит! Как ты во всём этом разбираешься?

— А я... гм... Я, знаешь, тоже не разбираюсь, я ведь по специальности... гм... администратор... моё дело... это... общее руководство...

Головастик прятал глаза, покусывал губы, с размаху ерошил волосы, и уже было совершенно ясно, что никакой он не администратор, а хонтийский шпион с высшим специальным образованием. Ну и фигура!..

Прокурор снова обратился к акту. Он сделал глубокомысленное замечание о перерасходе средств, допущенном группой усиления мощности; спросил, кто такой Зон Баруту, не родственник ли он Мору Баруту, знаменитому писателю-пропагандисту; отпустил упрёк по поводу безлинзового рефрактометра, который стоил сумасшедших денег, а до сих пор не запущен, и подвёл итог по работам сектора исследований и совершенствования излучения, сказавши, что существенных сдвигов ему не видится («И слава богу», — мысленно добавил он)

и что это его мнение должно быть обязательно занесено в беловой вариант акта.

Часть акта, касающуюся работ сектора защиты от излучения, он просмотрел ещё более небрежно.

— Топчетесь на месте, — объявил он. — По физической защите вообще ничего не добились, по физиологической — и того меньше... Физиологическая защита — это вообще не то, что нам нужно: чего это ради я дам себя кромсать, ещё идиотом сделаете... А вот химики молодцы — ещё минуту выиграли. В прошлом году минуту, да в позапрошлом году полторы... Что же это получается? Значит, теперь я могу принять пилюлю и вместо тридцати минут буду мучиться двадцать две... Что ж, неплохо. Почти тридцать процентов... Запиши-ка моё мнение: усилить темпы работы по физической защите, поощрить работников отдела химической защиты. Всё. — Он перебросил листки Головастику. — Прикажи это отпечатать начисто... и моё мнение. А сейчас, проформы ради, проводи-ка меня... ну, скажем... э-э... У физиков я прошлый раз был. Проводи-ка ты меня к химикам, посмотрю, как там у них...

Головастик вскочил и снова ударил по кнопкам, а прокурор поднялся с видом крайнего утомления.

В сопровождении Головастика и дневного референта он неторопливо пошёл по лабораториям отдела химической защиты, вежливо улыбаясь людям с одним шевроном на рукаве халата, похлопывая иногда по плечу бесшевронных, приостанавливаясь около двухшевронных, чтобы пожать руку, понимающе покивать головой и осведомиться, нет ли претензий.

Претензий не было. Все вроде бы работали или делали вид, что работают, — у них не поймёшь. Мигали какие-то лампочки на каких-то приборах, варились какие-то жидкости в каких-то сосудах, пахло какой-то дрянью, кое-где мучали животных. Было у них здесь чисто, светло, просторно; люди казались сытыми и спокойными, энтузиазма не проявляли, с инспектором держались вполне корректно, но без всякой теплоты и, уж во всяком случае, без приличествующего подобострастия.

И во многих комнатах — будь то кабинет или лаборатория — висел портрет Странника: над рабочим столом, рядом с таблицами и графиками, в простенке между окнами, над дверью; иногда портрет лежал под стеклом на столе. Это были фотографии, рисунки карандашом или углём; один портрет был даже написан масляной краской. Здесь можно было увидеть Странника, играющего в мяч; Странника, читающего лекцию; Странника, грызущего яблоко; Странника сурового,

задумчивого, усталого, разъярённого и даже Странника, хохочущего во всю глотку. Эти сукины дети даже рисовали на него шаржи и вешали их на самых видных местах... Прокурор представил, как он входит в кабинет младшего советника юстиции Фильтика и обнаруживает там карикатуру на себя. Массаракш, это было невообразимо, невозможно!

Он улыбался, похлопывал, жал руки, а сам всё время думал, что вот второй раз он уже здесь с прошлого года и всё вроде бы по-старому, но раньше он как-то не обращал на это внимания... А теперь вот обратил. Почему только теперь?.. А, вот почему! Что такое был для меня Странник год или два назад? Формально — один из нас, фактически — кабинетная фигура, не имеющая ни влияния на политику, ни своего места в политике, ни своих целей в политике. Однако с тех пор он успел многое. Общегосударственного масштаба операция по изъятию иностранных шпионов — это его акция. Прокурор сам вёл эти процессы и был тогда потрясён, поняв, что имеет дело не с обычными липовыми шпионами-выродками, а с настоящими матёрыми разведчиками, заброшенными Островной Империей для сбора научной и экономической информации. Странник выудил их всех, всех до единого, и с тех пор стал неизменным шефом особой контрразведки.

Далее: именно Странник раскрыл заговор лысого Волдыря, фигуры жуткой, сидевшей очень прочно, сильно и опасно копавшей под шефство Странника над контрразведкой. И сам же его шлёпнул, никому не доверил. Он всегда выступал открыто, никогда не маскировался и действовал только в одиночку — никаких коалиций, никаких уний, никаких временных союзов. Так он свалил одного за другим трёх начальников Военного департамента — те даже пикнуть не успевали, а их уже вызывали наверх, — пока не добился, чтобы поставили Дергунчика, панически боящегося войны... Это он год назад зарубил проект «Золото», представленный наверх Имперским Союзом промышленности и финансов... Тогда казалось, что Странник вот-вот слетит, потому что проект вызвал восторг у самого Канцлера, но Странник ему как-то доказал, что все выгоды проекта — сугубо временные, а через десять лет начнётся повальная эпидемия сумасшествия и полная разруха... Он всё время как-то ухитрялся им доказывать; никто никогда ничего не мог им доказать, только Странник мог. И, в общем-то, понятно почему. Он никогда ничего не боялся. Да, он долго сидел у себя в кабинете, но в конце концов понял свою истинную цену. Понял, что он нужен всем нам, кто бы мы ни были и как бы ни дрались между собой. Потому что только он может создать защиту,

только он может избавить нас от мучений... А сопляки в белых халатах рисуют на него карикатурочки...

Референт распахнул перед прокурором очередную дверь, и прокурор увидел своего Мака. Мак в белом халате с шевроном на рукаве сидел на подоконнике и смотрел наружу. Если бы какой-нибудь советник юстиции позволил себе в служебное время торчать на подоконнике и считать галок, его можно было бы со спокойной совестью пустить по этапу, как явного бездельника и даже саботажника. В данном же случае, массаракш, ничего сказать было нельзя. Ты его за шиворот, а он тебе: «Позвольте! Я ставлю мысленный эксперимент! Отойдите и не мешайте!»

Великий Мак считал галок. Он мельком взглянул на вошедших, вернулся было к своему занятию, но тут же снова оглянулся и всмотрелся более пристально. «Узнал, — подумал прокурор. — Узнал, умница моя...» Он вежливо улыбнулся Маку, похлопал по плечу молоденького лаборанта, крутившего арифмометр, и, остановившись посередине комнаты, огляделся.

— Ну-с... — произнёс он в пространство между Маком и Головастиком — А здесь у нас что делается?

— Господин Сим, — сказал Головастик, краснея, подмигивая и потирая руки, — объясните господину инспектору, чем вы... кхе... гм...

— А ведь я вас знаю, — сказал великий Мак, как-то неожиданно возникая в двух шагах от прокурора. — Простите, если я не ошибаюсь, вы — государственный прокурор.

Да, иметь дело с Маком было нелегко — весь тщательно продуманный план полетел к чёрту сразу же: Мак и не подумал ничего скрывать, он ничего не боялся, ему было любопытно, он смотрел на прокурора с высоты своего огромного роста, как на некое странное экзотическое животное...

Надо было перестраиваться на ходу.

— Да, — с холодным удивлением произнёс прокурор, переставая улыбаться. — Насколько мне известно, я действительно государственный прокурор, хотя мне непонятно... — Он нахмурился и вгляделся в лицо Мака. Мак широко улыбался. — Ба-ба-ба! — воскликнул прокурор. — Ну конечно же... Мак Сим, он же Максим Каммерер! Однако, позвольте, вы же погибли. Массаракш, как вы сюда попали?

— Длинная история, — ответил Мак, махнув рукой. — Между прочим, я тоже удивлён, увидев вас здесь. Никогда не предполагал, что наши занятия интересуют Департамент юстиции...

— Ваши занятия интересуют самых неожиданных людей, — сказал прокурор. Он взял Мака под руку, отвёл его к дальнему окну и

доверительным шёпотом осведомился: — Когда вы нам подарите пилюли? Настоящие пилюли, на все тридцать минут...

— А вы разве тоже?.. — спросил Мак. — Впрочем, да, естественно...

Прокурор горестно покачал головой и с тяжёлым вздохом закатил глаза.

— Наше благословение и наше проклятие, — проговорил он. — Счастье нашего государства и горе его правителей... Массаракш, я ужасно рад, что вы живы, Мак! Должен вам сказать, что дело, по которому вы проходили, было одним из немногих в моей карьере, оставивших у меня чувство досадной неудовлетворённости... Нет-нет, не пытайтесь отрицать: по букве закона вы были виновны, с этой стороны всё в порядке... Вы напали на башню, кажется, убили легионера, за это, знаете ли, по головке не гладят. Но вот по существу... Признаюсь, рука у меня дрогнула, когда я подписывал ваш приговор. Как будто я приговаривал ребёнка, не обижайтесь. В конце концов, ведь это была затея скорее наша, чем ваша, и вся ответственность...

— Я не обижаюсь, — сказал Мак. — И вы не далеки от истины: выходка с этой башней была ребяческая... Слава богу, что нас тогда не расстреляли.

— Это было всё, что я мог сделать, — сказал прокурор. — Помнится, я был очень огорчён, узнав о вашей гибели... — Он засмеялся и дружески стиснул локоть Мака. — Чертовски рад, что всё кончилось так благополучно. Чертовски рад сделать знакомство... — Он поглядел на часы. — Слушайте, Мак, а почему вы здесь? Нет-нет, я не собираюсь вас арестовывать, это не моё дело, пусть теперь вами занимается военная комендатура. Но что вы делаете в этом институте? Разве вы химик? Да ещё... — Он показал пальцем на шеврон.

— Я — всё понемножку, — сказал Мак. — Немножко химик, немножко физик...

— Немножко подпольщик, — сказал прокурор, благодушно смеясь.

— Очень немножко, — решительно сказал Мак.

— Немножко фокусник... — сказал прокурор.

Мак внимательно посмотрел на него.

— Немножко фантазёр, — продолжал прокурор, — немножко авантюрист...

— Это уже не специальности, — возразил Мак. — Это, если угодно, просто свойства всякого порядочного учёного.

— И порядочного политика, — сказал прокурор.

— Редкостное сочетание слов, — заметил Мак.

Прокурор вопросительно посмотрел на него, потом сообразил и снова засмеялся.

— Да, — сказал он. — Политическая деятельность имеет свою специфику. Никогда не опускайтесь до политики, Мак, оставайтесь со своей химией... — Он посмотрел на часы и с досадой сказал: — Ах, проклятье, совершенно нет времени, а так хотелось бы с вами поболтать... Я смотрел ваше досье, вы — любопытнейшая личность... Но вы, вероятно, тоже сильно заняты...

— Да, — сказал умница Мак. — Хотя, конечно, не так сильно, как государственный прокурор.

— Так, — произнёс прокурор с комическим упрёком. — А ваше начальство уверяет нас, будто вы работаете днём и ночью... Я, например, не могу сказать этого о себе. У государственного прокурора случаются свободные вечера... Вы удивитесь, но у меня есть к вам масса вопросов, Мак. Признаться, я хотел побеседовать с вами ещё тогда, после процесса. Но — дела, бесконечные дела...

— Я к вашим услугам, — сказал Мак. — Тем более, что у меня тоже есть к вам вопросы.

«Ну-ну! — мысленно одёрнул его прокурор. — Не надо так откровенно, мы здесь не одни». Вслух он сказал спокойно:

— Прекрасно! Всё, что в моих силах... А теперь, прошу меня простить, бегу...

Он пожал огромную ладонь своего Мака, уже пойманного Мака, окончательно попавшегося на удочку Мака. «Он прекрасно мне подыгрывал, он несомненно хочет встретиться, и сейчас я его подсеку...» Прокурор остановился в дверях, щёлкнул пальцами и сказал, повернувшись:

— Позвольте, Мак, а что вы делаете сегодня вечером? Я только что сообразил, что у меня сегодня свободный вечер...

— Сегодня? — сказал Мак. — Ну что же... Правда, сегодня у меня...

— Приходите вдвоём! — воскликнул прокурор. — Ещё лучше — я познакомлю вас с женой, получится прекрасный вечер... Восемь часов вас устроит? Я пришлю за вами машину. Договорились?

— Договорились.

«Договорились!» — ликуя, думал прокурор, обходя последние лаборатории отдела, улыбаясь, похлопывая и пожимая. «Договорились!» — думал он, подписывая акт в кабинете у Головастика. «Договорились, массаракш, договорились!» — кричал он про себя торжествующе по дороге домой...

Он отдал распоряжение шофёру. Он приказал референту сообщить в Департамент, что господин прокурор занят... Никого не

принимать, отключить телефон и вообще убираться к дьяволу с глаз долой, но так, впрочем, чтобы всё время оставаться под рукой. Он вызвал жену, поцеловал её в шею, вскользь припомнив, что не виделись они уже дней десять, и попросил её распорядиться насчёт ужина, хорошего, лёгкого, вкусного ужина на четверых, быть за столом паинькой и приготовиться встретить очень интересного человека. И побольше вин, самых лучших и разных.

Потом он заперся в кабинете, опять выложил на стол дело в зелёной папке и принялся продумывать заново, с самого начала. Его обеспокоили только один раз: курьер из Военного департамента принёс последнюю фронтовую сводку. Фронт развалился. Кто-то надоумил хонтийцев обратить внимание на жёлтые машины, и вчера ночью они расстреляли и уничтожили атомными снарядами до девяноста пяти процентов танков-излучателей. О судьбе прорвавшейся армии сведений больше не поступало... Это был конец. Это был конец войне. Это был конец генералу Шекагу и генералу Оду. Это был конец Очкарику, Чайнику, Туче и другим, помельче. Очень возможно, что это был конец Графу. И уж, конечно, это был бы конец Умнику, если бы Умник не был умником...

Он растворил сводку в стакане с водой и пошёл ходить кругами по кабинету. Он испытывал огромное облегчение. Теперь он, по крайней мере, точно знал, когда его вызовут наверх. Сначала они покончат с Бароном и будут не меньше суток выбирать между Дергунчиком и Зубом. Затем им придётся повозиться с Очкариком и Тучей. Это ещё сутки. Ну, Чайника они прихлопнут мимоходом, а вот генерал Шекагу один отнимет у них не меньше двух суток. А потом, и только потом... Потом у них уже больше не будет никакого «потом» ...

Он не выходил из кабинета до самого приезда гостя.

Гость произвёл самое приятное впечатление. Он был великолепен. Он был настолько великолепен, что прокурорша, женщина холодная, светская в самом страшном смысле слова, давным-давно в глазах прокурора уже не женщина, а старый боевой товарищ, при первом взгляде на Мака сбросила лет двадцать и вела себя чертовски естественно — она словно знала, какую роль должен сыграть Мак в её судьбе.

— А почему вы один? — удивилась она. — Муж заказал ужин на четверых...

— Да, действительно, — подтвердил прокурор, — я понял так, что вы придёте со своей дамой. Я помню эту девушку, она из-за вас чуть не попала в беду...

— Она попала в беду, — сказал Мак спокойно. — Но об этом мы поговорим потом, с вашего разрешения. Куда прикажете идти?..

Ужинали долго, весело, много смеялись, немножко пили. Прокурор рассказывал последние сплетни. Прокурорша очень мило загибала нескромные анекдоты, а Мак в юмористических тонах описал свой полёт на бомбовозе. Хохоча над его рассказом, прокурор с ужасом думал, что бы сейчас с ним было, если бы хоть одна ракета попала в цель...

Когда всё было съедено и выпито, прокурорша извинилась и предложила мужчинам доказать, что они способны просуществовать без дамы хотя бы час. Прокурор воинственно принял этот вызов, схватил Мака под руку и повлёк его в кабинет угощать вином, которое имели возможность дегустировать всего три десятка человек в стране.

Они расположились в мягких креслах по сторонам низенького столика в самом уютном углу кабинета, пригубили драгоценное вино и посмотрели друг на друга. Мак был очень серьёзен. Умница Мак явно знал, о чём пойдёт разговор, и прокурор вдруг отказался от первоначального плана беседы, хитроумной, изматывающей, построенной на полунамёках, рассчитанной на постепенное взаимопризнание. Судьба Рады, интрига Странника, козни Творцов — всё это не имело никакого значения. Он с удивительной, доводящей до отчаяния отчётливостью осознал, что всё его мастерство в такого рода беседах окажется лишним с этим человеком. Мак либо согласится, либо откажется. Это было предельно просто, так же, как и то, что прокурор либо будет жить, либо будет раздавлен через несколько дней. У него дрогнули пальцы, он поспешно поставил рюмку на столик и начал без всяких предисловий:

— Я знаю, Мак, что вы — подпольщик, член штаба и активный враг существующего порядка. Кроме того, вы — беглый каторжник и убийца экипажа танка специального назначения... Теперь обо мне. Я — государственный прокурор, доверенное лицо правительства, допущенное к высшим государственным тайнам, и тоже враг существующего порядка. Я предлагаю вам свергнуть Огненосных Творцов. Когда я говорю «вам», я имею в виду вас и только вас: вашей организации это не касается. Прошу понять, что вмешательство подполья может только испортить дело. Я предлагаю вам заговор, который базируется на знании самой главной государственной тайны. Я сообщу вам эту тайну. Только мы двое должны знать её. Если её узнает кто-нибудь третий, мы будем уничтожены в ближайшее же время. Имейте в виду, что подполье и штаб кишат провокаторами. Поэтому не вздумайте доверяться кому-нибудь, и в особенности близким друзьям...

Они расположились в мягких креслах по сторонам низенького столика...

Он залпом осушил свою рюмку, не почувствовав вкуса, наклонился к Маку и продолжал:

— Я знаю, где находится Центр. Вы — единственный человек, который способен этот Центр захватить. Я предлагаю вам разработанный план захвата Центра и последующих действий. Вы исполняете этот план и становитесь во главе государства. Я остаюсь при вас политическим и экономическим советником, поскольку в такого рода делах вы ни черта не смыслите. Ваша политическая программа мне в общих чертах известна. Не возражаю. Согласен уже просто потому, что ничего не может быть хуже нынешнего положения. Всё. Я закончил. Слово за вами.

Мак молчал. Он крутил в пальцах драгоценный бокал с драгоценным вином и молчал. Прокурор ждал. Он не чувствовал своего тела. Ему казалось, что его здесь нет, что он висит где-то в небесной пустоте, смотрит вниз и видит мягко освещённый уютный уголок, молчащего Мака и рядом с ним в кресле нечто мёртвое, окоченевшее, безгласное и бездыханное...

Потом Мак спросил:

— Сколько у меня шансов остаться в живых при захвате Центра?

— Пятьдесят на пятьдесят, — сказал прокурор. Вернее, это ему почудилось, что он сказал, потому что Мак сдвинул брови и снова уже громче повторил свой вопрос.

— Пятьдесят на пятьдесят, — хрипло сказал прокурор. — Может быть, даже больше. Не знаю.

Мак снова долго молчал.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Где находится Центр?

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Около полудня раздался телефонный звонок. Максим взял наушник. Голос прокурора сказал:

— Прошу господина Сима.

— Я вас слушаю, — отозвался Максим. — Здравствуйте.

Он сразу почувствовал, что случилось неладное.

— Он приехал, — сказал прокурор. — Начинайте немедленно. Это возможно?

— Да, — сказал Максим сквозь зубы. — Но вы мне кое-что обещали...

— Я ничего не успел, — сказал прокурор. В голосе его прорвалась паническая нотка. — И теперь уже не успеть. Начинайте немедленно, нельзя ждать ни минуты! Вы слышите, Мак?

— Хорошо, — сказал Максим. — У вас всё?

— Он едет к вам. Он будет у вас через тридцать — сорок минут.

— Понял. Теперь всё?

— Всё. Давайте, Мак, давайте. С богом!

Максим бросил наушник и несколько секунд посидел, соображая. «Массаракш, всё летит кувырком... Впрочем, подумать я ещё успею...» Он снова схватил наушник.

— Профессора Аллу Зефа.

— Да! — рявкнул Зеф.

— Это Мак...

— Массаракш, я же просил не приставать ко мне сегодня...

— Заткнись и слушай. Немедленно спускайся в холл и жди меня...

— Массаракш, я занят!

Максим скрипнул зубами и покосился на лаборанта. Лаборант прилежно считал на арифмометре.

— Зеф, — сказал Максим, — немедленно спускайся в холл. Тебе понятно? Немедленно! — Он отключился и набрал номер Вепря. Ему повезло: Вепрь оказался дома. — Это Мак. Выходите на улицу и ждите меня, есть срочное дело.

— Хорошо, — сказал Вепрь. — Иду.

Бросив наушник, Максим полез в стол, вытащил первую попавшуюся папку и перелистал бумаги, лихорадочно соображая, всё ли готово. «Машина в гараже, бомба в багажнике, горючего полный бак... Оружия нет, и чёрт с ним, не надо оружия... Документы в кармане. Вепрь ждёт... Это я молодец, хорошо придумал про Вепря... Правда, он может отказаться... Нет, вряд ли он откажется, я бы не отказался... Всё... Кажется, всё...» Он сказал лаборанту:

— Меня вызывают, скажи, что я в Департаменте строительства. Буду через час-два. Пока.

Он взял папку под мышку, вышел из лаборатории и сбежал по лестнице. Зеф уже расхаживал по холлу. Увидев Максима, он остановился, заложил руки за спину и набычился.

— Какого дьявола, массаракш... — начал он ещё издали.

Максим, не задерживаясь, схватил его под руку и потащил к выходу.

— Что за дьявольщина? — бормотал Зеф, упираясь. — Куда? Зачем?..

Максим вытолкнул его за дверь и по асфальтовой дорожке поволок за угол к гаражам. Вокруг было пусто, только на газоне вдалеке прерывисто стрекотала травокосилка.

— Да куда ты меня, в конце концов, тащишь? — заорал Зеф.

— Молчи, — сказал Максим. — Слушай. Собери немедленно всех наших. Всех, кого поймаешь... К чёрту вопросы! Слушай! Всех, кого поймаешь. С оружием. Напротив ворот есть павильон, знаешь?.. Засядьте там. Ждите. Примерно через тридцать минут... Ты меня слушаешь, Зеф?

— Ну? — спросил Зеф нетерпеливо.

— Примерно через тридцать минут к воротам подъедет Странник...

— Он приехал?

— Не перебивай. Примерно через тридцать минут к воротам, может быть, подъедет Странник. Если не подъедет — хорошо. Просто сидите и ждите меня. А если подъедет — расстреляйте его.

— Ты что, свихнулся? — сказал Зеф, останавливаясь. Максим пошёл дальше, а Зеф с проклятиями побежал следом: — Нас же всех перебьют, массаракш! Охрана!.. Шпики вокруг!..

— Сделайте всё, что сможете, — сказал Максим. — Странника надо застрелить...

Они подошли к гаражу. Максим навалился на засов и откатил дверь.

— Какая-то безумная затея... — сказал Зеф. — Зачем? Почему Странника? Вполне приличный дядька, его все здесь любят...

— Как хочешь, — холодно сказал Максим. Он открыл багажник, ощупал сквозь промасленную бумагу запал с часовым механизмом и снова захлопнул крышку. — Я ничего не могу тебе сейчас рассказать. Но у нас есть шанс. Единственный... — Он сел за руль и вставил ключ в зажигание. — И ещё имей в виду: если вы не прикончите этого приличного дядьку, он прикончит меня. У тебя очень мало времени. Действуй, Зеф.

Он включил двигатель и задом медленно выехал из гаража.

Зеф стоял в дверях. Первый раз в жизни Максим видел такого Зефа — испуганного, ошеломлённого, растерявшегося. «Прощай, Зеф», — сказал он про себя на всякий случай.

Машина подкатила к воротам. Легионер с каменным лицом неторопливо записал номер, открыл багажник, заглянул, закрыл багажник, вернулся к Максиму и строго спросил:

— Что вывозите?

— Рефрактометр, — сказал Максим, протягивая пропуск и разрешение на вывоз.

— «Рефрактометр РЛ-7, инвентарный номер...» — пробормотал легионер. — Сейчас я запишу...

Он неторопливо полез в карман за блокнотом.

— Побыстрее, пожалуйста, я тороплюсь, — сказал Максим.

— Кто подписывал разрешение?

— Не знаю... Наверное, Головастик.

— Не знаете... Расписывался бы разборчиво, всё было бы в порядке...

Он наконец отворил ворота. Максим выкатил на трассу и выжал из своей тележки всё, что было можно. «Если ничего не выйдет, — подумал он, — и я останусь жив, придётся удирать... Проклятый Странник, почуял, чёртов сын, вернулся... А что я буду делать, если выйдет? Ничего не готово, схемы Дворца нет — не успел Умник, и фотографии Творцов он тоже не достал... Ребята не готовы, плана действий никакого нет... проклятый Странник! Если бы не он, у меня было бы ещё три дня на разработку плана... и армия... и штаб, массаракш! Вот кто сразу оживится! Вот с кого надо начинать. Ну, это дело Вепря, он будет рад этим заняться, он в этом разбирается. И ещё маячат где-то белые субмарины... Массаракш, ведь ещё война! Да, война, кажется, кончилась. Впрочем, кто знает, что они ещё там готовят...» Максим свернул с центральной улицы в узкий проулок между двумя гигантскими небоскрёбами розового камня и по булыжной мостовой подкатил к ветхому, почерневшему домику. Вепрь уже ждал, покуривая сигарету, прислонившись спиной к фонарному столбу. Когда машина остановилась, он бросил окурок и, протиснувшись через маленькую дверцу, сел рядом с Максимом. Он был спокоен и холоден, как всегда.

— Здравствуйте, Мак, — сказал он. — Что случилось?

Максим развернул машину и снова выехал на главную улицу.

— Что такое термическая бомба, знаете? — спросил он.

— Слыхал, — ответил Вепрь.

— Хорошо. С синхронными запалами имели когда-нибудь дело?

— Вчера, например, — сказал Вепрь.

— Отлично.

Некоторое время они ехали молча. Здесь было большое движение, и Максим отключился, сосредоточившись на том, чтобы прорваться, пробиться, протиснуться между огромными грузовиками и старыми облезлыми автобусами, и никого не задеть, и не дать никому задеть себя, и попасть под зелёный свет, а потом снова попасть под зелёный свет, не терять хотя бы ту жалкую скорость, которую они имели, и

наконец их автомобиль вырвался на Лесное шоссе, на знакомую автостраду, обсаженную огромными деревьями.

«Забавно, — подумал вдруг Максим. — По этой самой дороге я въезжал в этот мир, вернее, меня ввозил бедняга Фанк, а я ничего не соображал и думал, что он специалист по пришельцам. А теперь по этой же дороге я, возможно, выезжаю из этого мира и из мира вообще, да ещё увожу с собой хорошего человека...» Он покосился на Вепря. Лицо Вепря было совершенно спокойно: он сидел, выставив локоть протеза в окно, и ждал, когда ему объяснят. Может быть, он удивлялся, может быть, волновался, но это не было заметно, и Максим почувствовал гордость, что такой человек доверяет ему и полагается на него без оглядки.

— Я вам очень благодарен, Вепрь, — сказал он.

— Вот как? — произнёс Вепрь, повернув к нему сухое желтоватое лицо.

— Помните, однажды на заседании штаба вы отозвали меня в сторонку и дали мне несколько разумных советов?

— Помню.

— Так вот, я вам за это благодарен. Я вас послушался.

— Да, я заметил. Вы меня этим даже несколько разочаровали.

— Вы были правы тогда, — сказал Максим. — Я послушался ваших советов, и в результате дело повернулось так, что мне предоставляется возможность проникнуть в Центр.

Вепрь дёрнулся.

— Сейчас? — быстро спросил он.

— Да. Приходится спешить, я ничего не успел приготовить. Меня могут убить, и тогда всё будет напрасно. Поэтому я взял с собой вас.

— Говорите.

— Я войду в здание, вы останетесь в машине. Через некоторое время поднимется тревога, может быть, начнётся стрельба. Это не должно вас касаться. Вы продолжаете сидеть в машине и ждать. Вы ждёте... — Максим подумал, прикидывая. — Вы ждёте двадцать минут. Если в течение этого времени вы получите лучевой удар, значит, всё обошлось. Можете падать в обморок со счастливой улыбкой на лице... Если нет — выходите из машины. В багажнике лежит бомба с синхронным запалом на десять минут. Выгрузите бомбу на мостовую, включите запал и уезжайте. Будет паника. Очень большая паника. Постарайтесь выжать из неё всё, что только можно.

Некоторое время Вепрь размышлял.

— Вы не разрешите мне позвонить кое-куда? — спросил он.

— Нет, — сказал Максим.

— Видите ли, — сказал Вепрь, — если вас не убьют, то, насколько я понимаю, вам наверняка понадобятся люди, готовые к бою. Если вас убьют, люди понадобятся мне. Вы ведь для этого меня и взяли, на случай если вас убьют... Но один я смогу только начать, а времени будет мало, и людей надо предупредить заранее. Вот я и хочу их предупредить.

— Штаб? — спросил Максим неприязненно.

— Ни в коем случае. У меня есть своя группа.

Максим молчал. Впереди уже поднималось серое пятиэтажное здание с каменной стеной вдоль фронтона. То самое. Где-то там бродила по коридорам Рыба, орал и плевался разгневанный Бегемот. И там был Центр. Круг замыкался.

— Ладно, — сказал Максим. — У входа есть телефон-автомат. Когда я войду внутрь — но не раньше, — можете выйти из машины и позвонить.

— Хорошо, — сказал Вепрь.

Они уже подъезжали к повороту с автострады. Почему-то Максим вспомнил Раду и представил себе, что с нею станется, если он не вернётся. Плохо ей будет. А может быть, и ничего. Может быть, наоборот, её выпустят... «Всё равно — одна. Гая нет, меня нет... Бедная девочка...»

— У вас есть семья? — спросил он Вепря.

— Да. Жена.

Максим покусал губу.

— Извините, что так неловко получилось, — пробормотал он.

— Ничего, — спокойно сказал Вепрь. — Я попрощался. Я всегда прощаюсь, когда ухожу из дому... Вот это, значит, и есть Центр? Кто бы мог подумать...

Максим остановился на стоянке, втиснувшись между ветхой малолитражкой и роскошным правительственным лимузином.

— Ну, вот и всё, — сказал он. — Пожелайте мне удачи, Вепрь.

— От всей души... — сказал Вепрь. Голос его осёкся, и он закашлялся. — Всё-таки я дожил до этого дня, — пробормотал он.

Максим положил щёку на руль.

— Хорошо бы этот день пережить... — сказал он. — Хорошо бы увидеть вечер...

Вепрь посмотрел на него с тревогой.

— Неохота идти, — объяснил Максим. — Ох, неохота... Кстати, Вепрь, имейте в виду и расскажите своим друзьям. Вы живёте не на внутренней поверхности шара. Вы живёте на внешней поверхности шара. И таких шаров ещё множество в мире, на некоторых живут

гораздо хуже вас, а на некоторых — гораздо лучше вас. Но нигде больше не живут глупее. Не верите? Ну и чёрт с вами. Я пошёл.

Он распахнул дверцу и вылез наружу. Он прошёл по асфальтированной стоянке и стал подниматься по каменной лестнице, ступенька за ступенькой, нащупывая в кармане входной пропуск, который сделал для него прокурор, и внутренний пропуск, который где-то украл для него прокурор, и простую розовую картонку, изображающую пропуск, который прокурор так и не сумел ни сделать, ни украсть для него. Было жарко, небо блестело, как алюминий, непроницаемое небо обитаемого острова. Каменные ступени жгли сквозь подмётки, а может быть, это только казалось. Всё было глупо. Вся затея была бездарной. «На кой чёрт всё это делать, если подготовиться толком не успели... А вдруг там сидит не один офицер, а два? Или даже три офицера сидят в этой комнатке и ждут меня с автоматами наготове?.. Ротмистр Чачу стрелял из пистолета, калибр тот же, только пуль будет больше, и я уже не тот, что прежде, он уже основательно укатал меня, мой обитаемый остров. И уползти на этот раз не дадут... Я — дурак. Был дурак и дураком остался. Купил меня господин прокурор, поймал на удочку... Но как он мне поверил? Уму непостижимо... Хорошо бы сейчас удрать в горы, подышать чистым горным воздухом. Так мне и не довелось побывать в здешних горах... Очень люблю горы... Такой умный, недоверчивый человек — и доверил мне такую драгоценность! Величайшее сокровище этого мира! Это гнусное, отвратительное, подлое сокровище... Будь оно проклято, массаракш, и ещё раз массаракш, и ещё тридцать три раза массаракш!»

Он открыл стеклянную дверь и протянул легионеру входной пропуск. Потом он пересёк вестибюль — мимо девицы в очках, которая всё ставила штампы, мимо администратора в каскетке, который всё ругался с кем-то по телефону, — и у входа в коридор показал другому легионеру внутренний пропуск. Легионер кивнул ему — они были уже, можно сказать, знакомы, последние три дня Максим приходил сюда ежедневно.

Дальше.

Он прошёл по длинному, без дверей, коридору и свернул налево. Здесь он был всего второй раз. Первый раз — позавчера, по ошибке («Вам, собственно, куда нужно, сударь?» — «Мне, собственно, нужно в шестнадцатую комнату, капрал». — «Вы ошиблись, сударь. Вам — в следующий коридор». — «Извините, капрал, виноват. Действительно...»).

Он подал капралу внутренний пропуск и покосился на двух здоровенных легионеров с автоматами, неподвижно стоящих по сторонам

двери напротив. Потом взглянул на дверь, в которую ему предстояло войти. «Отдел специальных перевозок». Капрал внимательно рассматривал пропуск, потом, всё ещё продолжая рассматривать, нажал какую-то кнопку в стене — за дверью зазвенел звонок. «Теперь он там приготовился, офицер, который сидит рядом с зелёной портьерой. Или два офицера приготовились. Или, может быть, даже три офицера... Они ждут, когда я войду. И если я испугаюсь их и выскочу обратно, меня встретит капрал и встретят легионеры, охраняющие дверь без таблички, за которой, должно быть, полным-полно солдат».

Капрал вернул пропуск и сказал:

— Прошу. Приготовьте документы.

Максим, доставая розовую картонку, раскрыл дверь и шагнул в комнату.

Массаракш.

Так и есть.

Не одна комната. Три. Анфиладой. И в конце — зелёная портьера. И ковровая дорожка из-под ног до самой портьеры. По крайней мере, тридцать метров.

И не два офицера. Даже не три. Шестеро.

Двое в армейском сером — в первой комнате. Уже навели автоматы.

Двое в жандармском чёрном — во второй комнате. Ещё не навели, но тоже готовы.

Двое в штатском — по сторонам зелёной портьеры в третьей комнате.

Один повернул голову...

Ну, Мак!

Он рванулся вперёд. Получилось что-то вроде тройного прыжка с места. Он ещё успел подумать: не порвать бы сухожилия.

Туго ударил в лицо воздух.

Зелёная портьера.

Штатский слева смотрит в сторону, шея открыта. Ребром ладони.

Штатский справа, вероятно, мигает. Веки неподвижно полуопущены. Сверху по темени — и в лифт.

В лифте темно. Где кнопка? Массаракш, где кнопка?

Медленно и гулко застучал автомат, и сразу — второй. Ну что ж, отличная реакция. Ду-ут... ду-ут... ду-ут...

Но это пока ещё в дверь, в то место, где они меня видели. Они ещё не поняли, что произошло. Это просто рефлекс.

Кнопка!

Поперёк портьеры косо, сверху вниз, медленно движется тень — падает кто-то из штатских.

Массаракш, вот она, на самом видном месте...

Он нажал кнопку, и кабина пошла вниз. Лифт был скоростной, кабина ползла довольно быстро. Заболела толчковая нога. «Неужели всё-таки растянул?.. Впрочем, теперь это неважно... Массаракш, да ведь я уже прорвался!»

Кабина остановилась, Максим выскочил, и сейчас же в шахте загрохотало, зазвенело, полетели щепки. Сверху в три ствола били по крыше кабины. «Ладно, ладно, бейте... Сейчас они сообразят, что не стрелять надо, а поднять лифт обратно и спуститься самим... Проморгали, растерялись...

Он огляделся. Массаракш, опять не то... Не один вход, а три. Три совершенно одинаковых тоннеля... Ага, это просто сменные генераторы. Один работает, два на профилактике... Какой же сейчас работает? Так. Кажется, вот этот...

Он бросился в средний тоннель. За спиной зарычал лифт. «Нет-нет, уже поздно... Не те скорости, не успеете... хотя тоннель, надо сказать, длинный, и нога болит... Ну, вот и поворот, теперь вы меня вообще не достанете...» Он добежал до генераторов, басовито урчащих под стальной плитой, остановился и несколько секунд отдыхал, опустив руки. «Так, три четверти дела сделано, даже семь восьмых... Осталась чепуха, одна вторая одной тридцать четвёртой... Сейчас они спустятся в лифте, сунутся в тоннель; они наверняка ни черта не знают, депрессионное излучение погонит их обратно... Что ещё может случиться? Швырнут по коридору газовую гранату. Вряд ли, откуда она у них... Вот тревогу они уже, наверное, подняли. Творцы могли бы, конечно, выключить депрессионный барьер... Ох, не решатся они, не решатся и не успеют, потому что им же надо собраться впятером, с пятью ключами, договориться, сообразить, не проделка ли это одного из них, не провокация ли это... Ну в самом деле, кто в целом мире может прорваться сюда через лучевой барьер? Странник, если он тайно изобрёл защиту? Его задержали бы шестеро с автоматами... А больше некому... И вот, пока они будут ругаться, выяснять, соображать, я закончу дело...»

В тоннеле за углом ударили в темноту автоматы. «Разрешается. Не возражаю...» Он наклонился над распределяющим устройством, осторожно снял кожух и зашвырнул в угол. «М-да, крайне примитивная штука. Хорошо, что я сообразил подчитать кое-что по здешней электронике...» Он запустил пальцы в схему... «А если бы не сообразил? А если бы Странник приехал позавчера? Н-да, господа мои...

Массаракш, как током бьётся!.. Да, господа мои, оказался бы я в положении эмбриомеханика, которому надо срочно разобраться... даже не знаю в чём... В паровом котле? Разобрался бы эмбриомеханик... В верблюжьей упряжи?.. Да, в верблюжьей упряжи! А? Ну как, эмбриомеханик, разобрался бы? Вряд ли... Массаракш, да что у них здесь всё без изоляции?.. Ага, вот ты где... Ну, с богом, как говорит господин государственный прокурор!»

Он сел прямо на пол перед распределителем и тыльной стороной руки вытер лоб. Дело было сделано. Огромной силы удар депрессионного поля обрушился на всю страну — от Заречья до хонтийской границы, от океана до Алебастрового хребта.

Автоматы за углом перестали стрелять. Господа офицеры были в депрессии. Сейчас я посмотрю, что это такое: господа офицеры в депрессии.

Господин прокурор впервые в жизни обрадовался лучевому удару. Не желаю смотреть на этого типа. Огненосные Творцы, так и не успев разобраться и сообразить, корчатся от боли, откинув копыта, как говаривал ротмистр Чачу. Ротмистр Чачу, кстати, тоже в глубокой депрессии, и мысль об этом меня восхищает.

Зеф с ребятами тоже лежат, откинув копыта. Простите, ребята, но так надо.

Странник! Как это здорово: страшный Странник тоже лежит, откинув копыта, расстелив по полу свои огромные уши — самые огромные уши во всей стране. Впрочем, может быть, его уже пристрелили. Это было бы ещё лучше.

Рада, моя маленькая бедная Рада, лежит в депрессии... Ничего, девочка, это, наверное, не больно и вообще скоро кончится...

Вепрь...

Он вскочил. Сколько прошло времени? Он рванулся назад по тоннелю. Вепрь тоже лежит, откинув копыта, но если он услышал стрельбу, у него могли не выдержать нервы... Это, конечно, в высшей степени сомнительно — нервы у Вепря, но кто знает!..

Он подбежал к лифту, на секунду задержавшись взглянуть на господ офицеров в депрессии. Зрелище было тяжёлое: все трое плакали, побросав автоматы; у них не было даже сил утереть слёзы. «Ладно, поплачьте, это полезно, поплачьте над моим Гаем, поплачьте над Птицей... над Гэлом... над моим Лесником... Надо полагать, вы не плакали с детства, и, уж во всяком случае, вы не плакали над теми, кого убивали. Так поплачьте хоть перед смертью...»

Лифт стремглав вынес его на поверхность. Анфилада комнат была полна народа: офицеры, солдаты, капралы, армейцы, легионеры,

штатские, все при оружии, все лежат, сидят пригорюнясь, некоторые плачут в голос, один бормочет, трясёт головой и стучит себя в грудь кулаком... А этот вот застрелился... Массаракш, страшная штука — Чёрное Излучение, недаром Творцы приберегали его про чёрный день...

Он выбежал в вестибюль, перепрыгивая через бессильно шевелившихся людей, чуть не кубарем скатился по каменным ступенькам и остановился перед своим автомобилем, с облегчением переводя дух. Нервы у Вепря выдержали. Вепрь полулежал на переднем сиденье с закрытыми глазами.

Максим вытащил из багажника бомбу, освободил её от промасленной бумаги, осторожно взял под мышку и, не торопясь, вернулся к лифту. Он тщательно осмотрел запал, включил часовой механизм, уложил бомбу в кабину и нажал кнопку. Кабина провалилась, унося в преисподнюю огненное озеро, которое выльется на свободу через десять минут. Точнее, через девять минут с секундами...

В автомобиле он осторожно посадил Вепря более или менее прямо, сел за руль и вывел машину со стоянки. Серое здание нависало над ним, тяжёлое, нелепое, обречённое, битком набитое обречёнными людьми, не способными ни передвигаться, ни понимать, что происходит.

Это было гнездо, жуткое змеиное гнездо, набитое отборнейшей дрянью, специально, заботливо отобранной дрянью, — эта дрянь собрана здесь специально для того, чтобы превращать в дрянь всех, до кого достаёт гнусная ворожба излучения башен. Все они там враги, и каждый ни на секунду не задумался бы изрешетить пулями, предать, распять меня, Вепря, Зефа, Раду, всех моих друзей и любимых... И всё же хорошо, что я вспомнил об этом только сейчас. Раньше такая мысль мне бы помешала. Я бы сразу вспомнил Рыбу... Единственный человек в обречённом змеином гнезде, да и то — Рыба... А что — Рыба? — подумал он. — Что я о ней, в конце концов, знаю? Что она учила меня говорить? И убирала за мной постель?.. Ну-ка, оставь Рыбу в покое, ты отлично понимаешь, что дело не только в Рыбе. Дело в том, что с сегодняшнего дня ты выходишь драться всерьёз, насмерть, как все здесь дерутся, и драться тебе придётся с дурачьём — со злобным дурачьём, которое оболванено излучением; с хитрым, невежественным, жадным дурачьём, которое направляло это излучение; с благоустремленным дурачьём, которое радо было бы с помощью излучения превратить кукол злобных, осатаневших, в кукол умилённых, квазидобрых... И все они будут стремиться убить тебя, и твоих друзей, и твоё дело... Колдун сказал: пусть совесть не мешает мыслить ясно и

пусть разум научится при необходимости заглушать совесть. Правильно, — подумал он. — Горькая правильность, страшная правильность... То, что я сейчас сделал, здесь называется подвигом. И Вепрь дожил до этого дня. И в этот день верили, как в добрую сказку, Лесник, Птица, Зелёный, и Гэл Кетшеф, и мой Гай, и ещё десятки, и сотни, и тысячи людей, которых я никогда не видел... И всё-таки мне нехорошо. И если я хочу, чтобы в дальнейшем мне доверяли и шли за мной, я никогда и никому не должен рассказывать, что главный мой подвиг я совершил не тогда, когда скакал и бегал под пулями, а вот сейчас, когда ещё есть время пойти и разрядить бомбу, а я гоню и гоню машину прочь от проклятого места...

Он гнал по прямой автостраде, там, где полгода назад Фанк вёз его на своём роскошном лимузине в обгон бесконечной колонны броневиков, мчал, чтобы передать из рук в руки Страннику... И теперь понятно зачем... Неужели он уже тогда знал, что я нейтрален к излучению, что я ничего не понимаю и мною можно вертеть как угодно? Значит, знал Странник, знал, проклятый! И значит, это действительно дьявол, самый страшный человек в стране и, может быть, на планете. «Он знает всё», — сказал государственный прокурор, боязливо оглядываясь через плечо... Нет, не всё. Ты обставил Странника, Мак. Ты выиграл у дьявола. И теперь надо его добить, пока не поздно, пока он ещё не очухался, а может быть, его уже добили — прямо у ворот его собственного логова... Ох, не верю, не верю, не по плечу это ребятам, у Волдыря было двадцать четыре родственника с пулемётами... Массаракш! Я не успел даже сообщить Генералу на каторгу, чтобы он был готов поднять политических и гнать их эшелоном сюда. Но что бы там ни случилось, со Странником я должен покончить. Суметь покончить со Странником и суметь продержаться несколько часов, пока армию и Легион не свалит лучевое голодание. Никто ведь из них не знает о лучевом голодании, даже Странник, наверное, не знает, откуда ему знать, ведь во всей стране только я вывозил бедного Гая за пределы лучевого поля...

На шоссе было полно машин. Все они стояли кое-как — поперёк, наискосок, завалившись в кюветы. Раздавленные депрессией водители и пассажиры сидели, пригорюнясь, на подножках, бессильно свисали с сидений, валялись у обочин. Всё это мешало, всё время приходилось притормаживать, огибать, объезжать, и Максим не сразу заметил, что навстречу ему, со стороны города, тоже огибая и объезжая, но, почти не притормаживая, движется плоский ярко-жёлтый правительственный автомобиль.

Они встретились на сравнительно свободном участке шоссе и проскочили друг мимо друга, едва не столкнувшись, и Максим успел заметить голый череп, круглые зелёные глаза и огромные оттопыренные уши и весь поджался, потому что всё снова шло кувырком... «Странник! Массаракш! Вся страна валяется в депрессии, все выродки валяются в обмороке, а этот гад, этот дьявол опять как-то вывернулся! Значит, он всё-таки придумал свою защиту... И оружия нет... — Максим посмотрел в зеркальце: длинная жёлтая машина разворачивалась. — Ну что ж, придётся обойтись без оружия. Уж с этим-то совесть меня мучить не будет... — Максим нажал на акселератор. — Скорость, скорость... Ну, милая, ещё...» Жёлтый плоский капот надвигался, рос, уже видны над рулём зелёные пристальные глаза...

Максим бросился на него.

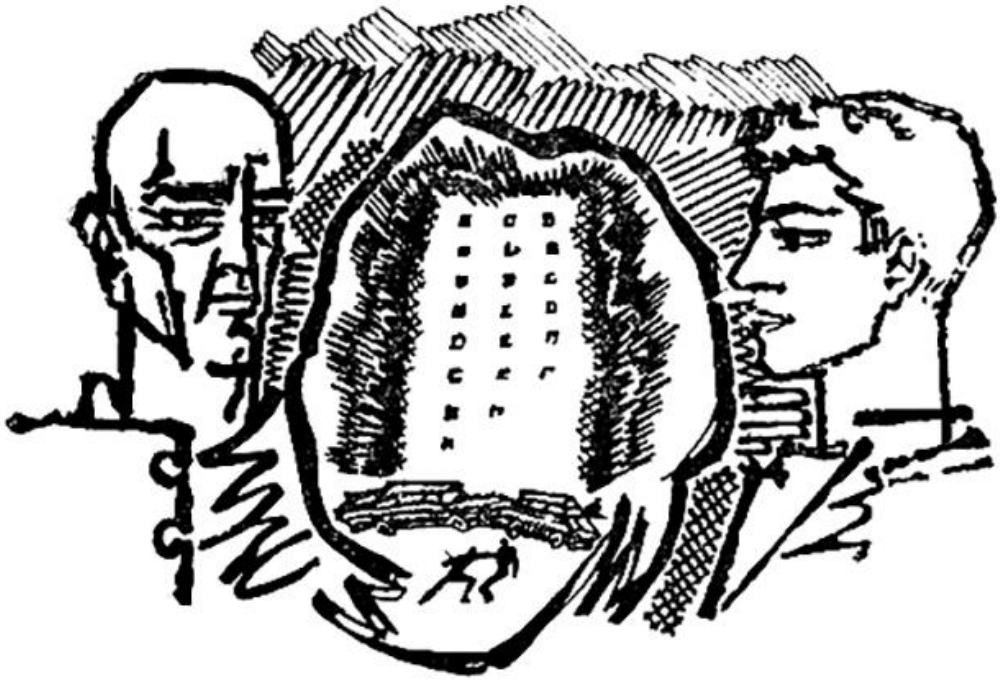
Ну, Мак!

Максим растопырился, упёрся, одной рукой загородил Вепря и изо всех сил надавил на тормоз.

В раздирающем вое и визге тормозов жёлтый капот со скрежетом и хрустом вломился ему в багажник и, сминаясь гармошкой, встал дыбом. Посыпались стёкла. Максим ногой вышиб дверь и вывалился наружу. Больно было ужасно, боль была в пятке, в разбитом колене, в ободранной руке, но он забыл о ней через мгновение, потому что Странник уже стоял перед ним. Это было невозможно, но это было. Дьявол, дьявол — длинный, сухой, грозный, с отведённой для удара рукой...

Максим бросился на него, вложив в этот бросок всё, что у него ещё оставалось. Мимо! И страшный удар в затылок... Мир накренился, чуть не упал, но не упал всё-таки, а Странник снова перед глазами, снова голый череп, пристальные зелёные глаза и рука, отведённая для удара... «Стоп, остановись, он промахнётся... Ага!.. Куда это он смотрит?.. Ну, нас на это не купишь...» Странник с застывшим лицом уставился поверх головы Максима, и Максим бросился снова и на этот раз попал. Длинный чёрный человек согнулся пополам и медленно повалился на асфальт. Тогда Максим перевёл дух и обернулся.

Серый куб Центра был прекрасно виден отсюда, и он больше не был кубом. Он плющился на глазах, стекал и проваливался внутрь себя; над ним поднимался дрожащий знойный воздух, и пар, и дым, и что-то ослепительно белое, жаркое даже здесь, страшно и весело выглядывало сквозь длинные вертикальные трещины и оконные дыры... Ладно, там всё в порядке... Максим с торжеством повернулся



к Страннику. Дьявол лежал на боку, обхватив живот длинными руками, глаза его были закрыты. Максим осторожно придвинулся. Из покорёженной малолитражки высунулся Вепрь. Он возился и ёрзал, пытаясь выбраться наружу. Максим остановился рядом со Странником и наклонился, примериваясь, как ударить, чтобы покончить сразу. Массаракш, проклятая рука не поднималась на лежачего... И тут Странник приоткрыл глаза и сипло произнёс:

— Dummkopf! Rotznase!

Максим не сразу его понял, а когда понял, у него подкосились ноги.

Дурак...

Сопляк...

Дурак...

Сопляк...

Потом из серой гулкой пустоты ясно и отчётливо донёсся голос Вепря:

— Отойдите-ка, Мак, у меня пистолет.

Максим, не глядя, поймал его за руку.

Странник с трудом сел, всё ещё держась за живот.

— М-мальчишка... — прошипел он с трудом. — Не стойте столбом... ищите машину, живо, живо... Да не стойте же, поворачивайтесь!

Максим тупо огляделся. Шоссе оживало. Центра больше не было — он превратился в лужу расплавленного металла, в пар, в смрад; башни больше не работали, куклы перестали быть куклами. Ошеломлённые люди, приходя в себя, хмуро озирались, топтались возле своих машин, пытаясь сообразить, что с ними произошло, как они сюда попали, зачем они здесь и что делать дальше.

— Кто вы такой? — спросил Вепрь.

— Не ваше дело, — сказал Странник по-немецки. Ему было больно, он кряхтел и задыхался.

— Не понимаю, — сказал Вепрь, приподнимая ствол пистолета.

— Каммерер... — позвал Странник. — Заткните глотку своему террористу... и ищите машину...

— Какую машину?.. — сказал Максим тупо и беспомощно.

— Массаракш... — прокряхтел Странник. Он кое-как поднялся, всё ещё сутулясь, прижимая ладонь к животу; неверными шагами подошёл к Максимову автомобильчику и пролез внутрь. — Садитесь... быстро! — сказал он уже из-за руля. Потом он оглянулся через плечо на окрашенный пламенем столб дыма. — Что вы туда подбросили? — спросил он безнадёжно.

— Термическую бомбу.

— В подвал или в вестибюль?

— В подвал, — сказал Максим.

Странник застонал, посидел немного, откинув голову, потом включил двигатель. Машина затряслась и задребезжала.

— Да садитесь же вы наконец! — заорал он.

— Кто это такой? — спросил Вепрь. — Хонтиец?

Максим помотал головой, рывком открыл заднюю заклинившуюся дверцу и сказал ему:

— Полезайте.

Сам он обошёл машину и сел рядом со Странником. Автомобиль дёрнулся, в нём что-то завизжало, треснуло, но он уже катился по шоссе, нелепо вихляя, дребезжа незакрывающимися дверцами и громко стреляя глушителем.

— Что вы теперь намерены делать? — спросил Странник.

— Погодите... — попросил Максим. — Скажите хоть, кто вы такой?

— Я — работник Галактической безопасности, — сказал Странник горько. — Я сижу здесь уже пять лет. Мы готовим спасение этой несчастной планеты. Тщательно, бережно, с учётом всех возможных последствий. Всех, понимаете?.. А вот кто вы такой? Кто вы такой, что лезете не в своё дело, путаете нам карты, взрываете, стреляете, — кто вы такой?

— Я не знал... — произнёс Максим упавшим голосом. — Откуда мне было знать?..

— Да, конечно, вы ничего не знали. Но вы же знали, что самодеятельное вмешательство запрещено, вы же работник ГСП... Должны были знать... На Земле мать по нему с ума сходит... девицы какие-то звонят непрерывно... отец работу забросил... Что вы намеревались делать дальше?

— Застрелить вас, — сказал Максим.

— Что-о-о?

Машина вильнула.

— Да, — покорно сказал Максим. — А что мне было делать? Мне сказали, что вы здесь главный негодяй, и... — Он замялся.

Странник искоса глядел на него круглым зелёным глазом.

— И в это не трудно было поверить, так?

— Да, — сказал Максим.

— Ну ладно. А дальше?

— А дальше должна начаться революция.

— Чего это ради?

— Но Центр-то ведь разрушен... излучения больше нет...

— Ну и что же?

— Теперь они сразу поймут, что их угнетают, что жизнь у них дрянная, и поднимутся...

— Куда они поднимутся? — сказал Странник печально. — Кто поднимется? Огненосные Творцы живут и здравствуют, Легион цел и невредим, армия отмобилизована, в стране военное положение... На что вы рассчитывали?

Максим покусал губу. Можно было бы, конечно, изложить этому печальному чудовищу свои планы, перспективы и прочее, но что толку? Раз ничего не готово, раз всё так получилось...

— Рассчитывать они будут сами. — Он показал через плечо на Вепря. — Вот этот человек, например, пусть рассчитывает... Моё дело было — дать им возможность рассчитывать.

— Ваше дело... — пробормотал Странник. — Ваше дело было — сидеть в уголке и ждать, пока я вас поймаю...

— Да, наверное, — сказал Максим. — В следующий раз я буду иметь это в виду...

— Сегодня отправитесь на Землю, — жёстко сказал Странник.

— И не подумаю, — возразил Максим.

— Сегодня вы отправитесь на Землю! — повысив голос, повторил Странник. — На этой планете у меня хватает забот и без вас. Забирайте свою Раду и отправляйтесь...

— Рада у вас? — быстро спросил Максим.

— Да. Давно у меня. Жива и здорова, не беспокойтесь.

— За Раду — спасибо, — сказал Максим. — Большое спасибо...

Машина въехала в город. На главной улице гудела, чадила и ворочалась чудовищная пробка. Странник свернул в проулок и поехал трущобами. Тут всё было мёртво. На углах столбом, руки за спиной, лицо под боевой каской, торчали чины военной полиции. Да, здесь на события отреагировали быстро — общая тревога и все на местах. Как только очнулись от депрессии. «Может быть, не надо было сразу

взрывать? Может быть, надо было действовать по плану прокурора?.. Нет, нет, массаракш! Пусть всё идёт, как идёт. Пусть он мне не выговаривает зря. Пусть они сами разберутся, что к чему, они ведь обязательно разберутся, как только у них прояснится в голове...» Странник снова вывернул на магистраль.

Вепрь деликатно похлопал его по плечу стволом пистолета.

— Будьте добры, высадите меня. Вот здесь. Вон, где люди стоят...

Возле газетного киоска, засунув руки глубоко в карманы длинных серых плащей, стояли люди — человек пять, а больше на тротуарах никого не было, — очевидно, депрессионный удар сильно напугал жителей, и они попрятались кто куда.

— А что вы намерены делать? — спросил Странник, замедляя ход.

— Дышать свежим воздухом, — ответил Вепрь. — Сегодня на редкость славная погода...

— Это наш человек, — сказал ему Максим. (Странник страшно осклабился.) — При нём можно говорить всё.

Автомобиль остановился у обочины. Люди в плащах осторожно зашли за киоск. Видно было, как они выглядывают оттуда.

— Наш? — переспросил Вепрь и поднял бровь. — Чей это — наш?

Максим в затруднении поглядел на Странника. Странник и не думал помогать ему.

— Впрочем, ладно, — сказал Вепрь. — Вам я верю. Мы сейчас займёмся штабом. Я полагаю, что начинать нужно со штаба. Вы знаете, о чём я говорю, — там есть люди, которых надо убрать, пока они не оседлали движение...

— Правильная мысль... — пробурчал вдруг Странник. — Между прочим, я вас, кажется, узнаю. Вы — Тик Феску, по кличке Вепрь. Так?

— Совершенно верно, — вежливо сказал Вепрь. Потом он сказал Максиму: — А вы займитесь Творцами. Это трудное дело, но оно как раз для вас. Где вас искать?

— Погодите, Вепрь, — сказал Максим. — Я чуть не забыл. Через несколько часов вся страна на много суток свалится от лучевого голодания. Все будут абсолютно беспомощны...

— Все? — с сомнением спросил Вепрь.

— Все, кроме выродков... Это время, эти несколько суток нужно использовать.

Вепрь подумал.

— Что ж, прекрасно, — сказал он. — Если это правда... Впрочем, мы-то будем заниматься как раз выродками. Так где же вас всё-таки искать?

Максим не успел ответить.

— По прежнему телефону, — сказал Странник. — И на прежнем месте. И вот что. Создавайте свой комитет. Восстанавливайте организацию, что была при империи. Кое-кто из ваших людей работает у меня в институте... Массаракш! — прошипел он вдруг. — Ни времени нет, ни людей нужных под руками нет... Чёрт бы вас подрал, Максим!

— Самое главное, — сказал Вепрь, положив руку Максиму на плечо, — что больше нет Центра. Вы молодец, Мак. Спасибо... — Он стиснул Максиму плечо и неловко, цепляясь протезом, полез наружу. Потом его вдруг прорвало. — Господи! — произнёс он, стоя рядом с машиной с закрытыми глазами. — Неужели его на самом деле больше нет? Это же... это...

— Закройте дверь, — сказал Странник. — Покрепче, покрепче...

Автомобиль с места рванулся вперёд. Максим оглянулся. Вепрь стоял посреди кучки людей в серых плащах и что-то говорил, размахивая здоровой рукой с пистолетом. Люди стояли неподвижно. Они ещё не поняли. Или не верили.

Улица была пуста. Вдоль тротуара катили навстречу бронетранспортёры с легионерами, а далеко впереди, там, где был поворот к институту, уже стояли поперёк дороги машины и перебегали фигурки в чёрном. И вдруг в колонне бронетранспортёров объявилась до отвращения знакомая ярко-оранжевая патрульная машина с длинной телескопической антенной.

— Массаракш... — пробормотал Максим. — Я совсем забыл про эти штуки!

— Ты многое забыл, — сказал Странник. — Ты забыл про передвижные излучатели, ты забыл про Островную Империю, ты забыл про экономику... Тебе известно, что в стране инфляция? Тебе вообще известно, что такое инфляция? Тебе известно, что надвигается голод, что земля не родит? Тебе известно, что мы не успели создать здесь ни запасов хлеба, ни запасов медикаментов? Ты знаешь, что это твоё лучевое голодание в двадцати процентах случаев приводит к сумасшествию? — Он вытер ладонью могучий залысый лоб. — Нам нужны врачи... двенадцать тысяч врачей. Нам нужны белковые синтезаторы. Нам необходимо дезактивировать сто миллионов гектаров заражённой почвы — для начала. Нам нужно остановить вырождение биосферы... Массаракш, нам нужен хотя бы один землянин на Островах, в адмиралтействе этого мерзавца... Никто не может там удержаться, никто из наших не может хотя бы вернуться и рассказать толком, что там происходит...

Максим молчал. Они подъехали к машинам, загораживающим проезд. Темнолицый коренастый офицер, странно знакомо

отмахивая рукой, подошёл к ним и каркающим голосом потребовал документы. Странник зло и нетерпеливо сунул ему под нос блестящий жетон. Офицер угрюмо откозырял и взглянул на Максима. Это был господин ротмистр... нет, теперь уже бригадир Боевого Легиона Чачу! Глаза его расширились.

— Этот человек с вами, ваше превосходительство? — спросил он.

— Да. Немедленно прикажите пропустить меня.

— Прошу прощения, ваше превосходительство, но этот человек...

— Немедленно пропустить! — гаркнул Странник громовым голосом.

Бригадир Чачу снова угрюмо козырнул, повернулся па каблуках и махнул солдатам. Один из грузовиков отъехал, и Странник бросил машину в открывшийся проход.

— Вот так-то, — проговорил он. — А ты думал — раз-два, и всё... Пристрелить Странника, повесить Творцов, разогнать трусов и фашистов в штабе — и конец революции...

— Я никогда так не думал, — сказал Максим. Он чувствовал себя очень несчастным, раздавленным, беспомощным, безнадёжно глупым.

Странник покосился на него, грустно улыбнулся, и тут Максим вдруг увидел, что никакой это не дьявол, и никакой это не Странник, и никакое это не чудовище, — очень немолодой, очень добрый и очень уязвимый человек, угнетённый сознанием огромной ответственности, измученный своей омерзительной маской холодного убийцы, ужасно огорчённый очередной помехой, поломавшей тщательно разработанный план, и особенно расстроенный тем, что помехой на этот раз оказался свой же — землянин...

— Не поспел я за тобой, — сказал он печально. — Проглядел я тебя, недооценил. Так, думал, мальчишка, жалко его, попал как кур в ощип... — Он снова усмехнулся и вздохнул. — Быстрые вы, однако, там ребята, в ГСП...

— Нет, — сказал Максим. — Вы не казнитесь так. Я ведь не казнюсь... Простите, как вас зовут?

— Зовите меня Рудольф.

— Да... Я вот не казнюсь, Рудольф. И не собираюсь. Я собираюсь работать. Делать революцию.

— Собирайся лучше домой, — посоветовал Странник уже без всякой надежды.

— Я дома, — сказал Максим нетерпеливо. — Не будем об этом больше... Меня интересуют передвижные излучатели. Что с ними делать?

— С ними ничего не надо делать, — ответил Странник. — Подумай лучше, что делать с инфляцией...

— Я спрашиваю про излучатели, — сказал Максим.

Странник вздохнул.

— Они работают от аккумуляторов, — объяснил он. — И зарядить их можно только у меня в Департаменте. Через трое суток они сдохнут... Но вот через месяц должно начаться вторжение. Обычно нам удавалось сбивать субмарины с курса, и до побережья доходили только единицы. А на этот раз они готовят армаду... Я рассчитывал на депрессионное излучение, а теперь их придётся просто топить... — Он помолчал. — Значит, ты дома. Ну, предположим... Чем же ты конкретно намерен теперь заниматься?

Они подъезжали к Департаменту. Тяжёлые ворота были закрыты наглухо, в каменной ограде чернели амбразуры, которых раньше здесь не было. Департамент стал похож на крепость, готовую к бою. А около павильончика стояли трое, и рыжая борода Зефа горела в зелени, как экзотический цветок.

— Не знаю, — сказал Максим. — Я буду делать то, что мне прикажут знающие люди. Если понадобится, я займусь инфляцией. Если придётся, буду топить субмарины... Но свою главную задачу я знаю твёрдо: пока я жив, никому здесь не удастся построить ещё один Центр. Даже с самыми лучшими намерениями...

Странник промолчал. Ворота были уже совсем близко. Зеф продрался через живую изгородь и вышел на дорогу. Через плечо у него висел автомат, и было издали видно, что Зеф зол, ничего не понимает и сейчас со страшными проклятиями потребует объяснений, почему его, массаракш, оторвали от работы, задурили ему голову Странником и заставляют как мальчишку торчать среди цветочков уже второй час подряд.

МАЛЫШ

Глава первая
ПУСТОТА И ТИШИНА

– Знаешь, – сказала Майка, – предчувствие у меня какое-то дурацкое...

Мы стояли возле ф, она смотрела себе под ноги и долбила каблуком промерзший песок.

Я не нашелся, что ответить. Предчувствий у меня не было никаких, но мне, в общем, здесь тоже не нравилось. Я прищурился и стал смотреть на айсберг. Он торчал над горизонтом гигантской глыбой сахара, слепяще-белый иззубренный клык, очень холодный, очень неподвижный, очень цельный, без всех этих живописных мерцаний и переливов, – видно было, что как вломился он в этот плоский беззащитный берег сто тысяч лет назад, так и намеревается проторчать здесь еще сто тысяч лет на зависть всем своим собратьям, неприкаянно дрейфующим в открытом океане. Пляж, гладкий, серо-желтый, сверкающий мириадами чешуек инея, уходил к нему, а справа был океан, свинцовый, дышащий стылым металлом, подернутый зябкой рябью, у горизонта черный, как тушь, противоестественно мертвый. Слева над горячими ключами, над болотом, лежал серый слоистый туман, за туманом смутно угадывались щетинистые сопки, а дальше громоздились отвесные темные скалы, покрытые пятнами снега. Скалы эти тянулись вдоль всего побережья, насколько хватало глаз, а над скалами в безоблачном, но тоже безрадостном ледяном серо-лиловом небе всходило крошечное негреющее лиловатое солнце.

Вандерхузе вылез из глайдера, немедленно натянул на голову меховой капюшон и подошел к нам.

– Я готов, – сообщил он. – Где Комов?

Майка коротко пожала плечами и подышала на застывшие пальцы.

– Сейчас придет, наверное, – рассеянно сказала она.

– Вы куда сегодня? – спросил я Вандерхузе. – На озеро?

Вандерхузе слегка запрокинул лицо, выпятил нижнюю губу и сонно посмотрел на меня поверх кончика носа, сразу сделавшись похожим на пожилого верблюда с рысьими бакенбардами.

– Скучно тебе здесь одному, – сочувственно произнес он. – Однако придется потерпеть, как ты полагаешь?

– Полагаю, что придется.

Вандерхузе еще сильнее запрокинул голову и с той же верблюжьей надменностью поглядел в сторону айсберга.

– Да, – сочувственно произнес он. – Это очень похоже на Землю, но это не Земля. В этом вся беда с землеподобными мирами. Все время чувствуешь себя обманутым. Обворованным чувствуешь себя. Однако и к этому можно привыкнуть, как ты полагаешь, Майка?

Майка не ответила. Совсем она что-то загрустила сегодня. Или наоборот – злилась. Но с Майкой это вообще-то бывает, она это любит.

Позади, легонько чмокнув, лопнула перепонка люка, и на песок соскочил Комов. Торопливо, на ходу застегивая доху, он подошел к нам и отрывисто спросил:

– Готовы?

– Готовы, – сказал Вандерхузе. – Куда мы сегодня, Геннадий? Опять на озеро?

– Так, – сказал Комов, возясь с застежкой на горле. – Насколько я понял, Майя, у вас сегодня квадрат шестьдесят четыре. Мои точки: западный берег озера, высота семь, высота двенадцать. Расписание уточним в дороге. Попов, вас я попрошу отправить радиограммы, я оставил их в рубке. Связь со мной через глайдер. Возвращение в восемнадцать ноль-ноль по местному времени. В случае задержки предупредим.

– Понятно, – сказал я без энтузиазма: не понравилось мне это упоминание о возможной задержке.

Майка молча пошла к глайдеру. Комов справился наконец с застежкой, провел ладонью по груди и тоже пошел к глайдеру. Вандерхузе пожал мне плечо.

– Поменьше глазей на все эти пейзажи, – посоветовал он. – Сиди по возможности дома и читай. Береги цветы своей селезенки.

Он неспешно забрался в глайдер, устроился в водительском кресле и помахал мне рукой. Майка наконец позволила себе улыбнуться и тоже помахала мне рукой. Комов, не глядя, кивнул, фонарь задвинулся, и я перестал их видеть. Глайдер неслышно тронулся с места, стремительно скользнул вперед и вверх, сразу сделался маленьким и черным и исчез, словно его не было. Я остался один.

Некоторое время я стоял, засунув руки глубоко в карманы дохи, и смотрел, как трудятся мои ребятишки. За ночь они поработали на славу, поосунулись, отощали и теперь, развернув энергозаборники на максимум, жадно глотали бледный бульончик, который скармливало им хилое лиловое светило. И ничто иное их не заботило. И ничего больше им было не нужно, даже я им был не нужен – во всяком

случае, до тех пор, пока не исчерпается их программа. Правда, неуклюжий толстяк Том каждый раз, когда я попадал в поле его визиров, зажигал рубиновый лобовой сигнал, и при желании это можно было принимать за приветствие, за вежливо-рассеянный поклон, но я-то знал, что это просто означает: «У меня и у остальных все в порядке. Выполняем задание. Нет ли новых указаний?» У меня не было новых указаний. У меня было много одиночества и много, очень много мертвой тишины.

Это не была ватная тишина акустической лаборатории, от которой закладывает уши, и не та чудная тишина земного загородного вечера, освежающая, ласково омывающая мозг, которая умиротворяет и сливает тебя со всем самым лучшим, что есть на свете. Это была тишина особенная – пронзительная, прозрачная, как вакуум, взводящая все нервы, – тишина огромного, совершенно пустого мира.

Я затравленно огляделся. Вообще-то, наверное, нельзя так говорить о себе; наверное, следовало бы сказать просто: «Я огляделся». Однако на самом деле я огляделся не просто, а именно затравленно. Бесшумно трудились киберы. Бесшумно слепило лиловое солнце. С этим надо было как-то кончать.

Например, можно было собраться наконец и сходить к айсбергу. До айсберга было километров пять, а стандартная инструкция категорически запрещает дежурному удаляться от корабля дальше, чем на сто метров. Наверное, при других обстоятельствах чертовски соблазнительно было бы рискнуть и нарушить инструкцию. Но только не здесь. Здесь я мог уйти и на пять километров, и на сто двадцать пять, и ничего бы не случилось ни со мной, ни с моим кораблем, ни с десятком других кораблей, рассаженных сейчас по всем климатическим поясам планеты к югу от меня. Не выскочит из этих корявых зарослей кровожаждущее чудовище, чтобы пожрать меня, – нет здесь никаких чудовищ. Не налетит с океана свирепый тайфун, чтобы вздыбить корабль и швырнуть на эти угрюмые скалы, – не замечено здесь ни тайфунов, ни прочих землетрясений. Не будет здесь сверхсрочного вызова с базы с объявлением биологической тревоги – не может здесь быть биологической тревоги, нет здесь ни вирусов, ни бактерий, опасных для многоклеточных существ. Ничего здесь нет, на этой планете, кроме океана, скал и карликовых деревьев. Неинтересно здесь нарушать инструкцию.

И выполнять ее здесь неинтересно. На любой порядочной биологически активной планете фига с два я стоял бы вот так, руки в карманах, на третий день после посадки. Я бы мотался сейчас как угорелый. Наладка, запуск и ежесуточный контроль настройки сторожа-

разведчика. Организация вокруг корабля – и вокруг строительной площадки, между прочим, – Зоны Абсолютной Биологической Безопасности. Обеспечение упомянутой ЗАББ от нападения из-под почвы. Каждые два часа контроль и смена фильтров – внешних бортовых, внутренних бортовых и личных. Устройство могильника для захоронения всех отходов, в том числе и использованных фильтров. Каждые четыре часа стерилизация, дегазация и дезактивация управляющих систем кибермеханизмов. Контроль информации роботов медслужбы, запущенных за пределы ЗАББ. Ну и всякие мелочи: метеозонды, сейсмическая разведка, спелеоопасность, тайфуны, обвалы, сели, карстовые сбросы, лесные пожары, вулканические извержения...

Я представил себе, как я, в скафандре, потный, невыспавшийся, злой и уже слегка отупевший, промываю нервные узлы толстяку Тому, а сторож-разведчик мотается у меня над головой и с настойчивостью идиота в двадцатый раз сообщает о появлении вон под той корягой страшной крапчатой лягушки неизвестного ему вида, а в наушниках верещат тревожные сигналы ужасно взволнованных роботов медслужбы, обнаруживших, что такой-то местный вирус дает нестандартную реакцию на пробу Балтерманца и, следовательно, теоретически способен прорвать биоблокаду. Вандерхузе, который, как и подобает врачу и капитану, сидит в корабле, озабоченно ставит меня в известность, что возникла опасность провалиться в трясину, а Комов с ледяным спокойствием сообщает по радио, что двигатель глайдера, насколько он понимает, съеден маленькими насекомыми вроде муравьев и что муравьи эти в настоящий момент пробуют на зуб его скафандр... Уф! Впрочем, на такую планету меня бы, конечно, не взяли. Меня взяли именно на такую планету, для которой инструкции не писаны. За ненадобностью.

Перед люком я задержался, отряхнул с подошв приставшие песчинки, постоял немного, положив ладонь на теплый дышащий борт корабля, и ткнул пальцем в перепонку. В корабле тоже было тихо, но это все-таки была домашняя тишина, тишина пустой и уютной квартиры. Я сбросил доху и прошел прямо в рубку. У своего пульта я задерживаться не стал – я и так видел, что все хорошо, – а сразу сел за рацию. Радиограммы лежали на столике. Я включил шифратор и стал набирать текст. В первой радиограмме Комов сообщал на базу координаты трех предполагаемых стойбищ, отчитывался за мальков, которые были вчера запущены в озеро, и советовал Китамуре не торопиться с пресмыкающимися. Все это было более или менее понятно, но вот из второй радиограммы, адресованной в Центральный

информаторий, я понял только, что Комову позарез нужны данные относительно игрек-фактора для двунормального гуманоида с четырехэтажным индексом, состоящим в общей сложности из девяти цифр и четырнадцати греческих букв. Это была сплошная и непроницаемая высшая ксенопсихология, в которой я, как и всякий нормальный гуманоид индекса ноль, не разбирался абсолютно. И не надо.

Набрав текст, я включил служебный канал и передал все сообщения в одном импульсе. Потом я зарегистрировал радиограммы, и тут мне пришло в голову, что пора бы и мне послать первый отчет. То есть, собственно, что значит – отчет... «Группа ЭР-2, строительные работы по стандарту 15, выполнение столько-то процентов, дата, подпись». Все. Мне пришлось встать и подойти к своему пульту, чтобы взглянуть на график выполнения, и я сразу понял, почему это меня вдруг потянуло на отчет. Не в отчете здесь было дело, а просто я, наверное, уже достаточно опытный кибертехник и почуял перебой, даже ничего не видя и не слыша: Том опять остановился, совсем как вчера, ни с того ни с сего. Как и вчера, я раздраженно ткнул пальцем в клавишу контрольного вызова: «В чем дело?» Как и вчера, сигнал задержки сейчас же погас – и вспыхнул рубиновый огонек: «У нас все в порядке, выполняем задание. Нет ли новых указаний?» Я дал ему указание возобновить работу и включил видеоэкран. Джек и Рекс усердно работали, и Том тоже двинулся, но в первые секунды как-то странно, чуть ли не боком, однако тут же выровнялся.

– Э, брат, – сказал я вслух, – видно, ты у меня переутомился и надобно тебя, брат, почистить. – Я заглянул в рабочий дневник Тома. Профилактику ему надлежало делать сегодня вечером. – Ладно, до вечера мы с тобой как-нибудь дотянем, как ты полагаешь?

Том не возражал. Некоторое время я смотрел, как они работают, а потом выключил видеоэкран: айсберг, туман над болотом, темные скалы... Хотелось без этого обойтись.

Отчет я все-таки послал и тут же связался с ЭР-6. Вадик откликнулся немедленно, словно только того и ждал.

– Ну, что там у вас? – спросили мы друг друга.

– У нас ничего, – ответил я.

– У нас ящерицы передохли, – сообщил Вадик.

– Эх, вы, – сказал я. – Предупреждает же вас Комов, любимый ученик доктора Мбоги: не торопитесь вы с пресмыкающимися.

– А кто с ними торопится? – возразил Вадик. – Если ты хочешь знать мое мнение, они здесь просто не выживут. Жарища же!

– Купаетесь? – спросил я с завистью.

Вадик помолчал.

– Окунаемся, – сказал он с неохотой. – Время от времени.

– Что так?

– Пусто, – сказал Вадик. – Вроде кошмарно большой ванны… Ты этого не поймешь. Нормальный человек такую невероятную ванну представить себе не может. Я здесь заплыл километров на пять, сначала все было хорошо, а потом вдруг как представил себе, что это же не бассейн – океан! И, кроме меня, нет в нем ни единой живой твари… Нет, старик, ты этого не поймешь. Я чуть не потонул.

– Н-да, – проговорил я. – Значит, у вас тоже…

Мы поболтали еще несколько минут, а потом Вадика вызвала база, и мы торопливо распрощались. Я вызвал ЭР-9. Ганс не откликнулся. Можно было бы, конечно, вызвать ЭР-1, ЭР-3, ЭР-4 и так далее – до ЭР-12, поговорить о том, что, мол, пусто, безжизненно, мол, но какой от этого прок? Если подумать, никакого. Поэтому я выключил рацию и переселился к себе за пульт. Некоторое время я сидел просто так – глядел на рабочие экраны и думал о том, что дело, которое мы делаем, это вдвойне хорошее дело: мы не только спасаем пантиан от неминуемой и поголовной гибели, мы еще и эту планету спасаем – от пустоты, от мертвой тишины, от бессмысленности. Потом мне пришло в голову, что пантиане, наверное, довольно странная раса, если наши ксенопсихологи считают, что эта планета им подходит лучше всего. Странный, должно быть, образ жизни у них на Панте. Вот доставят их сюда – сначала, конечно, не всех, а по два, по три представителя от каждого племени, – увидят представители этот промерзший пляж, этот айсберг, пустой ледяной океан, пустое лиловое небо, увидят и скажут: «Прекрасно! Совсем как дома!» Не верится что-то. Правда, к их приезду здесь уже не будет так пусто. В озерах будет рыба, в зарослях – дичь, на отмелях – съедобные ракушки. Может быть, и ящерицы как-нибудь приживутся, а наш айсберг засидят какие-нибудь птички… А потом, надо сказать, в положении пантиан не приходится особенно выбирать. Если бы, например, стало известно, что наше Солнце вот-вот взорвется и слизнет с Земли все живое, я, наверное, тоже не был бы таким уж привередливым. Наверное, сказал бы себе: ничего, проживем как-нибудь. Впрочем, пантиан никто и не спрашивает. Они все равно ничего не понимают, космографии у них еще нет, даже самой примитивной. Так и не узнают они, что переселились на другую планету…

И вдруг я обнаружил, что слышу нечто. Какое-то шуршание, будто ящерица пробежала. Ящерица вспомнилась мне, должно быть, из-за недавнего разговора с Вадиком, на самом-то деле звук был еле слышный и совершенно неопределенный. Потом в дальнем конце рубки

что-то тикнуло – и сейчас же где-то пролилась струйкой вода. На самом пределе слышимости билась и зудела муха, попавшая в паутину, скороговоркой бормотали раздраженные голоса. И снова по коридору пробежала ящерица. Я почувствовал, что у меня свело шею от напряжения, и встал. При этом я задел справочник, лежавший на краю пульта, и он со страшным грохотом обрушился на пол. Я поднял его и со страшным грохотом швырнул обратно на пульт. Я задудел бодрый марш и, печатая шаг, вышел в коридор.

Это все тишина. Тишина и пустота. Вандерхузе каждый вечер объясняет нам это с предельной ясностью. Человек – не природа, он не терпит пустоты. Оказавшись в пустоте, он стремится ее заполнить. Он заполняет ее видениями и воображаемыми звуками, если не в состоянии заполнить ее чем-нибудь реальным. Воображаемых звуков я за эти три дня наслышался предостаточно. Надо полагать, скоро начнутся видения...

Я маршировал по коридору мимо пустых кают, мимо библиотеки, мимо арсенала, а когда проходил мимо медицинского отсека, почувствовал слабый запах – свежий и одновременно неприятный, вроде нашатырного спирта. Я остановился и принюхался. Знакомый запах. Хотя что это такое – непонятно. Я заглянул в хирургическую. Постоянно включенный и готовый к действию киберхирург – огромный белый спрут, подвешенный к потолку, – холодно глянул на меня зеленоватыми глазищами и с готовностью приподнял манипуляторы. Запах здесь был гуще. Я включил аварийную вентиляцию и замаршировал дальше. Надо же, до чего у меня все чувства обострились. Уж что-что, а обоняние у меня всегда было негодным...

Свой дозорный марш я закончил на кухне. Здесь тоже было полно запахов, но против этих запахов я ничего не имел. Что бы там ни говорили, а на кухне должно пахнуть. На других кораблях что на кухне, что в рубке – одно и то же. У меня этого нет и не будет. У меня свои порядки. Чистота чистотой, а на кухне должно хорошо пахнуть. Вкусно. Возбуждающе. Мне здесь надлежит четырежды в день составлять меню, и это, заметьте, при полном отсутствии аппетита, потому что аппетит и пустота-тишина – вещи, по-видимому, несовместные...

На составление меню мне потребовалось не менее получаса. Это были трудные полчаса, но я сделал все, что мог. Потом я включил повара, втолковал ему меню и пошел взглянуть, как работают мои ребятишки.

Уже с порога рубки я увидел, что имеет место ЧП. Все три рабочих экрана на моем пульте показывали полный останов. Я подбежал к пульту и включил видеоэкран. Сердце у меня екнуло: строительная

площадка была пуста. Такого у меня еще никогда не случалось. Я даже не слыхивал, что такое вообще может случиться. Я помотал головой и бросился к выходу. Киберов кто-то увел... Шальной метеорит... стукнул Тома в крестец... Взбесилась программа... Невозможно, невозможно! Я влетел в кессон и схватил доху. Руки не попадали в рукава, куда-то пропали застежки, и пока я сражался с дохой, как барон Мюнхгаузен со своей взбесившейся шубой, перед глазами моими стояла жуткая картина: кто-то неведомый и невозможный ведет моего Тома, как собачонку, и киберы покорно ползут прямо в туман, в курящуюся топь, погружаются в бурую жижу и исчезают навсегда... Я с размаху пнул ногой в перепонку и выскочил наружу.

У меня все поплыло перед глазами. Киберы были здесь, у корабля. Они толпились у грузового люка, все трое, легонько отталкивая друг друга, как будто каждый пытался первым попасть в трюм. Это было невозможно, это было неприлично, это было страшно. Они словно стремились поскорее спрятаться в трюме, укрыться от чего-то, спастись... Известно такое явление второй природы – взбесившийся робот, оно бывает очень редко, а о взбесившемся строительном роботе я не слышал никогда. Однако нервы у меня были так взвинчены, что сейчас я был готов к этому. Но ничего не произошло. Заметив меня, Том перестал ерзать и включил сигнал «жду указаний». Я решительно показал ему руками: «Вернуться на место, продолжать выполнение программы». Том послушно включил задний ход, развернулся и покатил обратно на площадку. Джек и Рекс, естественно, последовали за ним. А я все стоял возле люка, в горле у меня пересохло, колени ослабели, и мне очень хотелось присесть.

Но я не присел. Я принялся приводить себя в порядок. Доха на мне была застегнута вкривь и вкось, уши мерзли, на лбу и на щеках быстро застывал пот. Медленно, стараясь контролировать все свои движения, я вытер лицо, застегнулся как следует, надвинул на глаза капюшон и натянул перчатки. Стыдно признаться, конечно, но я испытывал страх. Собственно, это уже был не сам страх, это были остатки пережитого страха, смешанные со стыдом. Кибертехник, который испугался собственных киберов... Мне стало совершенно ясно, что об этом случае я никогда и никому не расскажу. Елки-палки, у меня же ноги тряслись, они у меня и сейчас какие-то дряблые, и больше всего на свете мне сейчас хочется вернуться в корабль, спокойно, по-деловому обдумать происшествие, разобраться. Справочники кое-какие просмотреть. А на самом деле я, наверное, просто боюсь приближаться к моим ребятишкам...

Я решительно засунул руки в карманы и зашагал к стройплощадке. Ребятишки трудились как ни в чем не бывало. Том, как всегда, предупредительно запросил у меня новые указания. Джек обрабатывал фундамент диспетчерской, как ему и было положено по программе. Рекс зигзагами ходил по готовому участку посадочной полосы и занимался расчисткой. Да, что-то у них не в порядке все-таки с программой. Камней каких-то на полосу накидали... Не было этих камней, да и не нужны они тут, хватает строительного материала и без камней. Да, как Том тогда остановился, так с тех пор весь последний час они тут делали что-то не то. Сучья какие-то валяются на полосе... Я наклонился, поднял сучок и прошелся взад-вперед, похлопывая себя этим сучком по голенищу. А не остановить ли мне их подобру-поздорову прямо сейчас, не дожидаясь срока профилактики? Неужели же, елки-палки, я где-то напахал в программе? Уму непостижимо... Я бросил сучок в кучу камней, собранных Рексом, повернулся и пошел к кораблю.

Глава вторая
ТИШИНА И ГОЛОСА

Следующие два часа я был очень занят, так занят, что не замечал ни тишины, ни пустоты. Для начала я посовещался с Гансом и Вадиком. Ганса я разбудил, и спросонок он только мычал и мямлил какую-то несусветицу про дождь и низкое давление. Толку от него не получилось никакого. Вадика мне пришлось долгое время убеждать, что я не шучу и не разыгрываю. Это было тем более трудно, что меня все время душил нервный смех. В конце концов я убедил его, что мне не до шуток и что для смеха у меня совсем другие основания. Тогда он тоже сделался серьезным и сообщил, что у него у самого старший кибер время от времени спонтанно останавливается, но в этом как раз нет ничего удивительного: жара, работа идет на пределе технических норм, и система еще не успела аккомодироваться. Может быть, все дело в том, что у меня здесь холод? Может быть, все дело было в этом, я еще не знал. Я, собственно, надеялся выяснить это у Вадика. Тогда Вадик вызвал головастую Нинон с ЭР-8, мы обсудили эту возможность втроем, ничего не придумали, и головастая Нинон посоветовала мне связаться с главным киберинженером базы, который зубы съел именно на этих строительных системах, чуть ли не их создатель. Ну, это-то я и сам знал, однако мне совсем не улыбалось лезть к главному за консультацией уже на третий день самостоятельной работы, да

еще, не имея за душой ни одного, буквально ни одного толкового соображения.

В общем, я сел за свой пульт, развернул программу и принялся ее вылизывать – команду за командой, группу за группой, поле за полем. Надо сказать, никаких дефектов я не обнаружил. За эту часть программы, которую составлял я сам, я и раньше готов был отвечать головой, а теперь готов был отвечать и своим добрым именем вдобавок. Со стандартными полями дело обстояло хуже. Многие из них были мне знакомы мало, и, если бы я взялся каждое такое стандартное поле контролировать заново, обязательно бы сорвал график работ. Поэтому я решился на компромисс. Я временно выключил из программы все поля, которые пока не были нужны, упростил программу до наивозможнейшего предела, ввел ее в систему управления и положил было палец на пусковую клавишу, как вдруг до меня дошло, что уже в течение некоторого времени я опять слышу нечто – нечто совсем уже странное, совершенно неуместное и невероятно знакомое.

Плакал ребенок. Где-то далеко, на другом конце корабля, за многими дверями отчаянно плакал, надрываясь и захлебываясь, какой-то ребеночек. Маленький, совсем маленький. Годик, наверное. Я медленно поднял руки и прижал ладони к ушам. Плач прекратился. Не опуская рук, я встал. Точнее сказать, я обнаружил, что уже некоторое время стою на ногах, зажимая уши, что рубашка у меня прилипла к спине и что челюсть у меня отвисла. Я закрыл рот и осторожно отвел ладони от ушей. Плача не было. Стояла обычная проклятая тишина, только звенела в невидимом углу муха, запутавшаяся в паутине. Я достал из кармана платок, неторопливо развернул его и тщательно вытер лоб, щеки и шею. Затем, так же неторопливо сворачивая платок, я прошелся перед пультом. Мыслей у меня не было никаких. Я постучал костяшками пальцев по кожуху вычислителя и кашлянул. Все было в порядке, я слышал. Я шагнул обратно к креслу, и тут ребенок заплакал снова.

Не знаю, сколько времени я стоял столбом и слушал. Самым страшным было то, что я слышал его совершенно ясно. Я даже отдавал себе отчет в том, что это не бессмысленное мяуканье новорожденного и не обиженный рев карапуза лет четырех-пяти, – вопил и захлебывался младенец, еще не умеющий ходить и разговаривать, но уже не грудной. У меня племянник такой есть – год с небольшим...

Оглушительно грянул звонок радиовызова, и у меня от неожиданности едва не выскочило сердце. Придерживаясь за пульт, я подобрался к рации и включил прием. Ребеночек все плакал.

– Ну, как у тебя дела? – осведомился Вадик.

– Никак, – сказал я.

– Ничего не придумал?

– Ничего, – сказал я. Я поймал себя на том, что прикрываю микрофон рукой.

– Что-то тебя плохо слышно, – сказал Вадик. – Так что же ты думаешь делать?

– Как-нибудь, – пробормотал я, плохо соображая, что говорю. Ребенок продолжал плакать. Теперь он плакал тише, но все так же явственно.

– Ты что это, Стась? – озабоченно сказал Вадик. – Я тебя разбудил, что ли?

Больше всего мне хотелось сказать: «Слушай, Вадька, у меня здесь все время плачет какой-то ребенок. Что мне делать?» Однако у меня хватило ума сообразить, как это может быть воспринято. Поэтому я откашлялся и сказал:

– Ты знаешь, я с тобой через часок свяжусь. Здесь у меня кое-что наклевывается, но я еще не вполне уверен...

– Ла-а-адно, – озадаченно протянул Вадик и отключился.

Я еще немного постоял у рации, затем вернулся к своему пульту. Ребенок несколько раз всхлипнул и затих. А Том опять стоял. Опять этот испорченный сундук остановился. И Джек с Рексом тоже стояли. Я изо всех сил ткнул пальцем в клавишу контрольного вызова. Никакого эффекта. Мне захотелось заплакать самому, но тут я сообразил, что система выключена. Я же ее и выключил два часа назад, когда взялся за программу. Ну и работничек из меня теперь! Может быть, сообщить на базу и попросить приготовить замену? Обидно-то как, елки-палки... Я поймал себя на том, что в страшном напряжении жду, когда все это начнется снова. И я понял, что если останусь здесь, в рубке, то буду прислушиваться и прислушиваться, ничего не смогу делать, только прислушиваться, и я, конечно, услышу, я здесь такое услышу!..

Я решительно включил профилактику, вытащил из стеллажа футляр с инструментами и почти бегом ринулся вон из рубки. Я старался держать себя в руках и с дохой управился на этот раз довольно быстро. Ледяной воздух, опаливший лицо, подтянул меня еще больше. Хрустя каблуками по песку, я, не оглядываясь, зашагал к строительной площадке, прямо к Тому. По сторонам я тоже не глядел. Айсберги, туманы, океаны – все это меня отныне не интересовало. Я берег цветы своей селезенки для своих непосредственных обязанностей. Не так уж

много у меня этих цветов оставалось, а обязанностей было столько же, сколько раньше, и, может быть, даже больше.

Прежде всего я проверил Тому рефлексы. Рефлексы у Тома оказались в превосходном состоянии. «Отлично!» – сказал я вслух, извлек из футляра скальпель и одним движением, как на экзаменах, вскрыл Тому заднюю черепную коробку.

Я работал с упоением, даже с остервенением каким-то, быстро, точно, расчетливо, как машина. Одно могу сказать: никогда в жизни я так не работал. Мерзли пальцы, мерзло лицо, дышать приходилось не как попало, а с умом, чтобы иней не оседал на операционном поле, но я и думать не хотел о том, чтобы загнать киберов в корабельную мастерскую. Мне становилось все легче и легче, ничего неподобающего я больше не слышал, я уже забыл о том, что могу услышать неподобающее, и дважды сбегал в корабль за сменными узлами для координационной системы Тома. «Ты у меня будешь как новенький, – приговаривал я. – Ты у меня больше не будешь бегать от работы. Я тебя, старикашечку моего, вылечу, на ноги поставлю, в люди выведу. Хочешь, небось, выйти в люди? Еще бы! В людях хорошо, в людях тебя любить будут, холить будут, лелеять. Но ведь что я тебе скажу? Куда тебе в люди с таким блоком аксиоматики? С таким блоком аксиоматики тебя не то, что в люди – в цирк тебя не возьмут. Ты с таким блоком аксиоматики все подвергнешь сомнению, задумываться станешь, научишься в носу ковырять глубокомысленно. Стоит ли, мол? Да зачем все это нужно? Для чего все эти посадочные полосы, фундаменты? А сейчас я тебя, голубчик...»

– Шура... – простонал совсем рядом хриплый женский голос. – Где ты, Шура... Больно...

Я замер. Я лежал в брюхе Тома, стиснутый со всех сторон колоссальными буграми его рабочих мышц, только ноги мои торчали наружу, и мне вдруг стало невероятно страшно, как в самом страшном сне. Я просто не знаю, как я сдержался, чтобы не заорать и не забиться в истерике. Может быть, я потерял сознание на некоторое время, потому что долго ничего не слышал и ничего не соображал, а только пялил глаза на озаренную зеленоватым светом поверхность обнаженного нервного вала у себя перед лицом.

– Что случилось? Где ты? Я ничего не вижу, Шура... – хрипела женщина, корчась от невыносимой боли. – Здесь кто-то есть... Да отзовись же, Шура! Больно как! Помоги мне, я ничего не вижу...

Она хрипела и плакала, и повторяла снова и снова одно и то же, и мне уже мерещилось, что я вижу ее искаженное лицо, залитое смертным потом, и в хрипе ее была уже не только мольба, не только боль, в

нем были ярость, требование, приказ. Я почти физически ощутил, как ледяные цепкие пальцы тянутся к моему мозгу, чтобы вцепиться, стиснуть его и погасить. Уже в полубеспамятстве, сжимая до судороги зубы, я нащупал левой рукой пневматический клапан и изо всех сил надавил на него. С диким воющим ревом ринулся наружу сжатый аргон, а я все нажимал и нажимал на клапан, сметая, разбивая в пыль, уничтожая хриплый голос у себя в мозгу, я чувствовал, что глохну, и чувство это доставляло мне невыразимое облегчение.

Потом оказалось, что я стою рядом с Томом, холод прожигает меня до костей, а я дую на окоченевшие пальцы и повторяю, блаженно улыбаясь: «Звуковая завеса, понятно? Звуковая завеса...» Том стоял, сильно накренившись на правый бок, а мир вокруг меня был скрыт огромным неподвижным облаком инея и мерзлых песчинок. Зябко пряча ладони под мышками, я обошел Тома и увидел, что струя аргона выбила на краю площадки огромную яму. Я немного постоял над этой ямой, все еще повторяя про звуковую завесу, но я уже чувствовал, что пора бы прекратить повторять, и догадался, что стою на морозе без дохи, и вспомнил, что доху я сбросил как раз на то место, где сейчас яма, и стал вспоминать, не было ли у меня в карманах чего-нибудь существенного, ничего не вспомнил, легкомысленно махнул рукой и нетвердой трусцой побежал к кораблю.

В кессоне я прежде всего взял себе новую доху, потом пошел в свою каюту, кашлянул у входа, как бы предупреждая, что сейчас войду, вошел и сейчас же лег на койку лицом к стене, накрывшись дохой с головой. При этом я прекрасно понимал, что все эти мои действия лишены какого бы то ни было смысла, что в каюту к себе я направлялся с вполне определенной целью, но цель эту я запамятовал, а лег и укрылся, словно бы для того, чтобы показать кому-то: вот это именно и есть то, зачем я сюда пришел.

Все-таки, наверное, это было что-то вроде истерики, и, немного придя в себя, я только порадовался, что истерика моя приняла вот такие, совершенно безобидные формы. В общем, мне было ясно, что с моей работой здесь покончено. И вообще в космосе работать мне, вероятно, больше не придется. Это было, конечно, безумно обидно, и – чего там говорить! – стыдно было, что вот не выдержал, на первом же практическом деле сорвался, а уж, казалось бы, послали для начала в самое что ни на есть безопасное и спокойное место. И еще было обидно, что оказался я такой нервной развалиной, и стыдно, что когда-то испытывал самодовольную жалость к Каспару Манукяну, когда тот не прошел по конкурсу проекта «Ковчег» из-за какой-то там повышенной нервной возбудимости. Будущее представлялось мне в

самом черном свете – тихие санатории, медосмотры, процедуры, осторожные вопросы психологов и целые моря сочувствия и жалости, сокрушительные шквалы сочувствия и жалости, обрушивающиеся на человека со всех сторон...

Я рывком отшвырнул доху и сел. Ладно, сказал я тишине и пустоте, ваша взяла. Горбовского из меня не вышло. Переживем как-нибудь... Значит, так. Сегодня же я расскажу обо всем Вандерхузе, и завтра, наверное, пришлют мне замену. Елки-палки, а у меня на площадке что творится! Том демобилизован, график сломался, ямища эта дурацкая рядом с полосой... Я вдруг вспомнил, зачем сюда пришел, выдвинул ящик стола, нашел кристаллофон с записью ируканских боевых маршей и аккуратно подвесил его к мочке правого уха. Звуковая завеса, сказал я себе в последний раз. Взявши доху под мышку, я снова вышел в кессон, несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, чтобы совершенно уже успокоиться, включил кристалл и шагнул наружу.

Теперь мне было хорошо. Вокруг меня и внутри меня ревели варварские трубы, лязгала бронза, долбили барабаны; покрытые оранжевой пылью телемские легионы, тяжело печатая шаг, шли через древний город Сэтэм; пылали башни, рушились кровли, и страшно, угнетая рассудок врага, свистели боевые драконы-стенобитчики. Окруженный и огражденный этими шумами тысячелетней давности, я снова забрался во внутренности Тома и теперь без всякой помехи довел профилактику до конца.

Джек и Рекс уже заравнивали яму, а в потроха Тома нагнетались последние литры аргона, когда я увидел над пляжем стремительно растущее черное пятнышко. Глайдер возвращался. Я взглянул на часы – было без двух минут восемнадцать по местному времени. Я выдержал. Теперь можно было выключить литавры и барабаны и заново обдумать вопрос: стоит ли беспокоить Вандерхузе, беспокоить базу, ведь сменщика найти будет не так-то просто, да и ЧП все-таки, работа на всей планете может из-за этого задержаться, набегут всякие комиссии, начнутся контрольные проверки и перепроверки, дело остановится, Вадик будет ходить злой как черт, а если вдобавок представить себе, как глянет на меня доктор ксенопсихологии, член КОМКОНа, специальный уполномоченный по проекту «Ковчег» Геннадий Комов, восходящее светило науки, любимый ученик доктора Мбоги, новый соперник и новый соратник самого Горбовского... Нет, все это надо тщательно продумать. Я глядел на приближающийся глайдер и думал: все это надо продумать самым тщательнейшим образом. Во-первых, у меня еще целый вечер впереди, а во-вторых, у меня есть

предчувствие, что все это мы временно отложим. В конце концов, переживания мои касаются меня одного, а отставка моя касается уже не только меня, но и, можно сказать, всех. Да и звуковая завеса себя превосходно показала. Так что, пожалуй, все-таки отложим. Да. Отложим...

Все эти мысли разом вылетели у меня из головы, едва я увидел лица Майки и Вандерхузе. Комов – тот выглядел как обычно и, как обычно, озирался с таким видом, словно все вокруг принадлежит ему персонально, принадлежит давно и уже порядком надоело. А вот Майка была бледна прямо-таки до синевы, как будто ей было дурно. Уже Комов соскочил на песок и коротко осведомился у меня, почему я не откликался на радиовызовы (тут глаза его скользнули по кристаллофону на моем ухе, он пренебрежительно усмехнулся и, не дожидаясь ответа, прошел в корабль). Уже Вандерхузе неторопливо вылез из глайдера и подходил ко мне, почему-то грустно кивая, более чем когда-либо похожий на занемогшего пожилого верблюда. А Майка все неподвижно сидела на своем месте, нахохлившись, спрятав подбородок в меховой воротник, и глаза у нее были какие-то стеклянные, а рыжие веснушки казались черными.

– Что случилось? – испуганно спросил я.

Вандерхузе остановился передо мной. Голова его задралась, нижняя челюсть выдвинулась. Он взял меня за плечо и легонько потряс. Сердце у меня ушло в пятки, я не знал, что и подумать. Он снова тряхнул меня за плечо и сказал:

– Очень грустная находка, Стась. Мы нашли погибший корабль.

Я судорожно глотнул и спросил:

– Наш?

– Да. Наш.

Майка выползла из глайдера, вяло махнула мне рукой и направилась к кораблю.

– Много жертв? – спросил я.

– Двое, – ответил Вандерхузе.

– Кто? – с трудом спросил я.

– Пока не знаем. Это старый корабль. Авария произошла много лет назад.

Он взял меня под руку, и мы вместе пошли следом за Майкой. У меня немного отлегло от сердца. Поначалу я, естественно, решил, что разбился кто-нибудь из нашей экспедиции. Но все равно...

– Никогда мне эта планета не нравилась, – вырвалось у меня.

Мы вошли в кессон, разделись, и Вандерхузе принялся обстоятельно очищать свою доху от приставших репьев и колючек. Я не стал

его дожидаться и пошел к Майке. Майка лежала на койке, подобрав ноги, повернувшись лицом к стене. Эта поза мне сразу кое-что напомнила, и я сказал себе: а ну-ка, поспокойнее, без всяких этих соплей и сопереживаний. Я сел за стол, побарабанил пальцами и осведомился самым деловым тоном:

– Слушай, корабль действительно старый? Вандер говорит, что он разбился много лет назад. Это так?

– Так, – не сразу ответила Майка в стену.

Я покосился на нее. Острые кошачьи когти пробороздили по моей душе, но я продолжал все так же деловито:

– Сколько это – много лет? Десять? Двадцать? Чепуха какая-то получается. Планета-то открыта всего два года назад…

Майка не ответила. Я снова побарабанил пальцами и сказал тоном ниже, но все еще по-деловому:

– Хотя, конечно, это могли быть первопроходцы… Какие-нибудь вольные исследователи… Двое их там, как я понял?

Тут она вдруг взметнулась над койкой и села лицом ко мне, упершись ладонями в покрывало.

– Двое! – крикнула она. – Да! Двое! Коряга ты бесчувственная! Дубина!

– Подожди, – сказал я ошеломленно. – Что ты…

– Ты зачем сюда пришел? – продолжала она почти шепотом. – Ты к роботам своим иди, с ними вот обсуждай, сколько там лет прошло, какая чепуха получается, почему их там двое, а не трое, не семеро…

– Да подожди, Майка! – сказал я с отчаянием. – Я же совсем не то хотел…

Она закрыла лицо руками и невнятно проговорила:

– У них все кости переломаны… Но они еще жили… Пытались что-то делать… Слушай, – попросила она, отняв руки от лица, – уйди, пожалуйста. Я скоро выйду. Скоро.

Я осторожно поднялся и вышел. Мне хотелось ее обнять, сказать что-то ласковое, утешительное, но утешать я не умел. В коридоре меня вдруг затрясло. Я остановился и подождал, пока это пройдет. Ну и денек выдался! И ведь никому не расскажешь. Да и не надо, наверное. Я разжмурил глаза и увидел, что в дверях рубки стоит Вандерхузе и смотрит на меня.

– Как там Майка? – спросил он негромко.

Наверное, по моему лицу было видно – как, потому что он грустно кивнул и скрылся в рубке. А я поплелся на кухню. Просто по привычке. Просто так уж повелось, что сразу после возвращения глайдера все мы садились обедать. Но сегодня, видно, все будет по-

другому. Какой тут может быть обед... Я накричал на повара, потому что мне показалось, будто он переврал меню. На самом деле он ничего не переврал, обед был готов, хороший обед, как обычно, но сегодня должно быть не как обычно. Майка, наверное, вообще ничего не станет есть, а надо, чтобы поела. И я заказал для нее повару фруктовое желе со сбитыми сливками – единственное ее любимое лакомство, которое я знал. Для Комова я решил ничего дополнительно не заказывать, для Вандерхузе, подумавши, – тоже, но на всякий случай ввел в общую часть меню несколько стаканов вина – вдруг кто-нибудь захочет подкрепить свои душевные силы... Потом я отправился в рубку и уселся за свой пульт.

Ребятишки мои работали как часы, Майки в рубке не было, а Вандерхузе с Комовым составляли экстренную радиограмму на базу. Они спорили.

– Это не информация, Яков, – говорил Комов. – Вы же лучше меня знаете: существует определенная форма – состояние корабля, состояние останков, предполагаемые причины крушения, находки особого значения... Ну и так далее.

– Да, конечно, – отвечал Вандерхузе. – Но согласитесь, Геннадий, вся эта проформа имеет смысл только для биологически активных планет. В данной конкретной ситуации...

– Тогда лучше вообще не посылать ничего. Тогда давайте сядем в глайдер, слетаем туда сейчас же и сегодня же составим полный акт...

Вандерхузе покачал головой.

– Нет, Геннадий, я категорически против. Комиссии такого рода должны состоять из трех человек как минимум. А потом, сейчас уже стемнело, у нас не будет возможности произвести детальный осмотр окружающей местности... И вообще такие вещи надо делать на свежую голову, а не после полного рабочего дня. Как вы полагаете, Геннадий?

Комов, сжав тонкие губы, легонько постучал кулаком по столу.

– Ах, как это некстати, – произнес он с досадой.

– Такие вещи всегда некстати, – утешил его Вандерхузе. – Ничего, завтра утром мы отправимся туда втроем...

– Может быть, тогда сегодня вообще ничего не сообщать? – перебил его Комов.

– А вот на это я не имею права, – сказал с сожалением Вандерхузе. – Да и зачем нам это – не сообщать?

Комов встал и, заложив руки за спину, посмотрел на Вандерхузе сверху вниз.

– Как вы не понимаете, Яков, – уже с откровенным раздражением произнес он. – Корабль старого типа, неизвестный корабль, бортжурнал почему-то стерт… Если мы пошлем донесение в таком виде, – он схватил со стола листок и помахал им перед лицом Вандерхузе, – Сидоров решит, что мы не хотим или не способны самостоятельно провести экспертизу. Для него это еще одна забота – создавать комиссию, искать людей, отбиваться от любопытствующих бездельников… Мы поставим себя в смешное и глупое положение. И потом, во что превратится наша работа, Яков, если сюда явится толпа любопытствующих бездельников?

– Гм, – сказал Вандерхузе. – То есть, иначе говоря, вы не хотите скопления посторонних на нашем участке. Так?

– Именно так, – произнес Комов твердо.

Вандерхузе пожал плечами.

– Ну что ж… – Он подумал немного, отобрал у Комова листок и приписал к тексту несколько слов. – А в таком вот виде пойдет? «ЭРдва базе, – скороговоркой прочитал он. – Экстренная. В квадрате сто два обнаружен потерпевший крушение земной корабль типа «Пеликан», регистрационный номер такой-то, в корабле останки двух человек, предположительно мужчины и женщины, бортжурнал стерт, подробную экспертизу… – тут Вандерхузе повысил голос и значительно поднял палец, – начинаем завтра». Как вы полагаете, Геннадий?

Несколько секунд Комов в задумчивости покачивался с носка на пятку.

– Ну что ж, – проговорил он наконец, – пусть будет так. Что угодно, лишь бы нам не мешали. Пусть будет так.

Он вдруг сорвался с места и вышел из рубки. Вандерхузе повернулся ко мне.

– Передай, Стась, пожалуйста. И пора уже обедать, как ты полагаешь? – Он поднялся и задумчиво произнес одну из своих загадочных фраз: – Было бы алиби, а трупы найдутся.

Я зашифровал радиограмму и послал ее в экстренном импульсе. Мне было как-то не по себе. Что-то совсем недавно, буквально минуту назад, вонзилось в подсознание и мешало там, как заноза. Я посидел перед рацией, прислушиваясь. Да, это совсем другое дело – прислушиваться, когда знаешь, что в корабле полно народа. Вот по кольцевому коридору быстро прошагал Комов. У него всегда такая походка, словно он куда-то спешит, но вместе с тем знает, что мог бы и не спешить, потому что без него ничего не начнется. А вот гудит что-то неразборчивое Вандерхузе. Майка отвечает ему, и голос у нее обыкновенный – высокий и независимый, видимо, она уже успокоилась или,

по крайней мере, сдерживается. И нет ни тишины, ни пустоты, ни мух в паутине... И я вдруг понял, что это за заноза: голос умирающей женщины в моем бреду и умершая женщина в разбитом звездолете... Совпадение, конечно... Страшненькое совпадение, что и говорить.

Глава третья
ГОЛОСА И ПРИЗРАКИ

Сколь это ни удивительно, но спал я как убитый. Утром я, по обыкновению, поднялся на полчаса раньше остальных, сбегал на кухню посмотреть, как там с завтраком, сбегал в рубку посмотреть, как там мои ребятишки, а потом выскочил наружу делать зарядку. Солнце еще не поднялось над горами, но было уже совсем светло и очень холодно. Ноздри слипались, ресницы смерзались, я изо всех сил размахивал руками, приседал и вообще спешил поскорее отделаться и вернуться на корабль. И тут я заметил Комова. Сегодня он, как видно, встал даже раньше меня, сходил куда-то и теперь возвращался со стороны стройплощадки. Шел он, против обыкновения, неторопливо, словно бы задумавшись, и в рассеянности похлопывал себя по ноге какой-то веточкой. Я уже заканчивал зарядку, когда он подошел ко мне вплотную и поздоровался. Я, естественно, тоже поздоровался и вознамерился было нырнуть в люк, но он остановил меня вопросом:

– Скажите, Попов, когда вы остаетесь здесь один, вы отлучаетесь куда-нибудь от корабля?

– То есть? – Я удивился даже не столько его вопросу, сколько самому факту, что Геннадий Комов снизошел заинтересоваться моим времяпрепровождением. У меня к Геннадию Комову отношение сложное. Я его недолюбливаю.

– То есть ходите вы куда-нибудь? К болоту, например, или к сопкам...

Ненавижу эту манеру, когда с человеком разговаривают, а сами смотрят куда угодно, только не на человека. Причем сами в теплой дохе с капюшоном, а человек в спортивном костюмчике на голое тело. Но при всем при том Геннадий Комов есть Геннадий Комов, и я, обхватив руками плечи и приплясывая на месте, ответил:

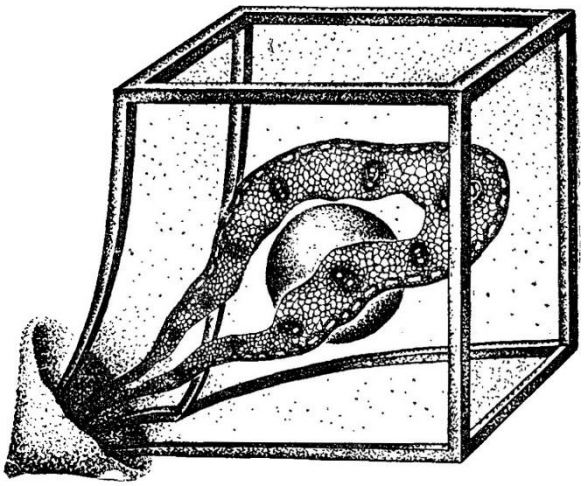
– Нет. У меня и так времени не хватает. Не до прогулок.

Тут он наконец соизволил заметить, что я замерзаю, и вежливо указал мне веточкой на люк, сказав: «Прошу вас. Холодно». Но в кессоне он меня остановил снова.

– А роботы от стройплощадки удаляются?

– Роботы? – Никак я не мог понять, куда он клонит. – Нет. Зачем?

– Ну, я не знаю... Например, за строительными материалами.



Он аккуратно прислонил свою веточку к стене и стал расстегивать доху. Я начал злиться. Если он каким-нибудь образом пронюхал о неполадках в моей строительной системе, то, во-первых, это не его дело, а во-вторых, мог бы сказать об этом прямо. Что это за допрос, в самом деле...

– Строительным материалом для киберсистемы данного типа, – как можно суше сказал я, – является тот материал, который у киберсистемы под ногами. В данном случае – песок.

– И камни, – добавил он небрежно, вешая доху на крючок.

Этим он меня уел. Но это было решительно не его дело, и я с вызовом откликнулся:

– Да! Если попадутся, то и камни.

Он впервые посмотрел мне в глаза.

– Боюсь, что вы неправильно меня поняли, Попов, – с неожиданной мягкостью произнес он. – Я не собираюсь вмешиваться в вашу работу. Просто у меня возникли кое-какие недоумения, и я обратился к вам, поскольку вы – единственный человек, который может их разрешить.

Ну что ж, когда со мной по-хорошему, тогда и я по-хорошему.

– В общем-то, конечно, камни им ни к чему, – сказал я. – Вчера у меня система немножко барахлила, и машины разбросали эти камни по всей стройплощадке. Кто их знает, зачем это им понадобилось. Потом, конечно, убрали.

Он кивнул.

– Да, я заметил. А какого рода была неполадка?

Я в двух словах рассказал ему о вчерашнем дне, не касаясь, конечно, интимных подробностей. Он слушал, кивал, а потом подхватил свою веточку, поблагодарил за разъяснения и удалился. И только в кают-компании, поедая гречневую кашу с холодным молоком, я сообразил, что мне так и осталось непонятным, какие такие недоумения одолевали любимца доктора Мбоги и насколько мне удалось их разрешить. И удалось ли вообще. Я перестал есть и посмотрел на Комова. Нет, видимо, не удалось.

Геннадий Комов вообще, как правило, имеет вид человека не от мира сего. Вечно он высматривает что-то за далекими горизонтами и думает о чем-то своем, дьявольски возвышенном. На землю он спускается в тех случаях, когда кто-то или что-то, случайно или с умыслом, становится препятствием для его изысканий. Тогда он недрогнувшей рукой, зачастую совершенно беспощадно, устраняет препятствие и вновь взмывает к себе на Олимп. Так, во всяком случае, о нем рассказывают, и, в общем-то, ничего такого-эдакого тут нет. Когда человек занимается проблемой инопланетных психологий, причем занимается успешно, дерется на самом переднем крае и себя совершенно не жалеет, когда при этом он, как говорят, является одним из выдающихся «футурмастеров» планеты, тогда ему можно многое простить и относиться к его манерам с определенным снисхождением. В конце концов, не всем быть такими обаятельными, как Горбовский или доктор Мбога.

С другой стороны, последние дни я все чаще и чаще с удивлением и горечью вспоминал восторженные рассказы Татьяны, которая проработала с Комовым целый год, была, по-моему, в него влюблена и отзывалась о нем как о человеке редкостной общительности, тончайшего остроумия и все такое прочее. Она прямо так и называла его: душа общества. Что это за общество, у которого такая душа, я представить себе не могу.

Да, так вот, Геннадий Комов всегда производил на меня впечатление человека не от мира сего. Но сегодня за завтраком он превзошел самого себя. Еду свою он обильно посыпал солью. Посыплет, попробует и рассеянно спровадит тарелку в мусоропровод. Горчицу путал с маслом. Намажет сладкий гренок, попробует и рассеянно спровадит вслед за тарелкой. Якову Вандерхузе на вопросы не отвечал, зато, как пиявка, привязался к Майке, добиваясь, все ли время они с Вандером на съемке ходят вдвоем или иногда расстаются. И еще он время от времени вдруг принимался озираться нервно, а один раз вдруг вскочил, выбежал в коридор, отсутствовал несколько минут и вернулся

как ни в чем не бывало – опять мазать гренки горчицей, пока эту злосчастную горчицу не убрали от него вовсе.

Майка тоже нервничала. Отвечала отрывисто, глядела в тарелку и за весь завтрак ни разу не улыбнулась. Впрочем, что делается с ней – я как раз понимал. Я бы на ее месте тоже нервничал перед таким предприятием. В конце концов, Майка – моя ровесница, хотя опыт работы у нее значительно больше, но это совсем не тот опыт, который сегодня ей понадобится.

Одним словом, Комов явно нервничал, Майка нервничала, Вандерхузе тоже, глядя на них, стал обнаруживать некоторые признаки беспокойства, и мне стало ясно, что поднимать сейчас вопрос о моем участии в предстоящей экспертизе решительно неуместно. Я понял, что сегодня мне опять предстоит целый рабочий день тишины и пустоты, и тоже стал нервничать. Атмосфера за столом сделалась прямо-таки напряженной. И тогда Вандерхузе как командир корабля и врач решил эту атмосферу разрядить. Он задрал голову, выдвинул челюсть и длинно посмотрел на нас поверх носа. Рысьи бакенбарды его растопырились. Для начала он рассказал несколько анекдотов из быта звездолетчиков. Анекдоты были старые, заезженные, я заставлял себя улыбаться, Майка никак не реагировала, а Комов реагировал как-то странно. Слушал он внимательно и серьезно, в ударных местах кивал, а потом задумчиво оглядел Вандерхузе и произнес внушительно:

– А знаете, Яков, к вашим бакенбардам очень пошли бы кисточки на ушах.

Это было хорошо сказано, и при других обстоятельствах я порадовался бы острому словцу, но сейчас мне это показалось совершенно бестактным. Впрочем, сам Вандерхузе был, очевидно, противоположного мнения. Он самодовольно ухмыльнулся, согнутым пальцем взбил свои бакенбарды – сначала левый, а затем правый – и поведал нам следующую историю.

Является на некую цивилизованную планету один землянин, входит он в контакт и предлагает аборигенам свои услуги в качестве крупнейшего на Земле специалиста по конструированию и эксплуатации вечных двигателей первого рода. Аборигены, натурально, смотрят этому посланцу сверхразума в рот и, следуя его указаниям, немедленно принимаются строить. Построили. Не работает вечный двигатель. Землянин крутит колеса, ползает среди стержней и всяких шестеренок и бранится, что все сделано не так. «Технология, – говорит, – у вас отсталая, вот эти узлы надо решительно переделать, а вон те так и вообще заменить, как вы полагаете?» Аборигенам деваться

некуда. Принимаются они переделывать и решительно заменять. И только они это закончили, как вдруг прибывает с Земли ракета «скорой помощи», санитары хватают изобретателя и делают ему надлежащий укол, врач приносит аборигенам свои извинения, и ракета отбывает. Аборигены в тоске и смущении, стыдясь глядеть друг другу в глаза, начинают расходиться и тут замечают, что двигатель-то заработал. Да, друзья мои, двигатель заработал и продолжает работать до сих пор, вот уже полтораста лет.

Мне эта незамысловатая история понравилась. Сразу видно, что Вандерхузе выдумал ее сам и, скорее всего, только что. К моему огромному удивлению, Комову история понравилась тоже. Уже на середине рассказа он перестал блуждать взглядом по столу в поисках горчицы, уставился на Вандерхузе и не спускал с него прищуренных глаз до самого конца, а потом высказался в том смысле, что идея невменяемости одного из партнеров по контакту представляется ему теоретически любопытной. «Во всяком случае, до сих пор общая теория контакта не учитывала такой возможности, хотя еще в начале двадцать первого века некий Штраух выдвигал предложение включать шизоидов в состав экипажей космических кораблей. Уже тогда было известно, что шизоидные типы обладают ярко выраженной способностью непредвзятого ассоциирования. Там, где нормальный человек в хаосе невиданного волей-неволей стремится углядеть знакомое, известное ранее, стереотипное, шизоид, напротив, не только видит все так, как оно есть, но способен создавать новые стереотипы, прямо вытекающие из сокровенной природы рассматриваемого хаоса. Между прочим, – продолжал Комов, понемножку разгораясь, – это свойство оказывается чрезвычайно общим для шизоидных представителей разумов самых различных типов. А поскольку теоретически совершенно не исключена возможность, что объектом контакта окажется именно шизоидный индивидуум, и поскольку своевременно не разгаданная шизоидность может в ходе контакта привести к тяжелейшим последствиям, проблема, затронутая вами, Яков, кажется достойной определенного научного внимания».

Вандерхузе, ухмыляясь, объявил, что дарит Комову эту идею, и сказал, что пора трогаться. При этих словах Майка, заинтересовавшаяся было и слушавшая Комова с полуоткрытым ртом, сразу увяла. Я тоже сразу увял: все эти разговоры о шизоидах навели меня на неприятные размышления. И вот что тогда произошло.

Вандерхузе и Майка уже вышли из кают-компании, а Комов замешкался в дверях, повернулся вдруг, крепко взял меня за локоть и,

как-то жутковато-пристально шаря по моему лицу своими холодными серыми глазами, тихо и быстро проговорил:

– Что это вы приуныли, Стась? Что-нибудь случилось?

Я обалдел. Меня наповал сразила поистине сверхъестественная проницательность этого специалиста по шизоидам. Но мне все-таки удалось мгновенно взять себя в руки. Слишком многое для меня решалось в этот момент. Я отстранился и с безмерным изумлением спросил:

– О чем вы, Геннадий Юрьевич?

Взгляд его продолжал бегать по моему лицу, и он спросил еще тише и еще быстрее:

– Вы боитесь остаться один?

Но я уже прочно сидел в седле.

– Боюсь? – переспросил я. – Ну, это слишком сильно сказано, Геннадий Юрьевич. Я не ребенок все-таки...

Он отпустил мой локоть.

– А может быть, полетите с нами?

Я пожал плечами.

– Я бы с удовольствием. Но ведь вчера у меня были неполадки. Пожалуй, мне все-таки лучше остаться.

– Ну-ну! – произнес он с неопределенным выражением, резко повернулся и вышел.

Я постоял еще в кают-компании, окончательно приводя себя в порядок. В голове у меня была сумятица, но чувствовал я себя как после хорошо сданного экзамена.

Они помахали мне на прощанье и улетели, а я даже не стал провожать их взглядом. Я сразу же вернулся в корабль, выбрал стереопару кристаллофонов, вооружил оба уха и завалился в кресло перед своим пультом. Я следил за работой своих ребятишек, читал, принимал радиограммы, беседовал с Вадиком и Нинон (было утешительно обнаружить, что у Вадика тоже вовсю играет музыка), я затеял уборку помещения, я составил роскошное меню с расчетом на необходимость подкрепления душевных сил – и все это в громе, в звоне, в завывании флейт и в мяуканье нэкофонов. В общем, я старательно, безжалостно и с пользой для себя и окружающих убивал время. И все это убиваемое время меня неотступно грызла терзающая мысль: откуда Комов узнал о моей слабости и что он, в связи с этим намерен предпринять. Комов ставил меня в тупик. Эти его недоумения, возникшие после похода на стройплощадку, этот разговор о шизоидах, эта странная интерлюдия в дверях кают-компании... Елки-палки, ведь он предложил

мне лететь с ними, он явно опасался оставить меня одного! Неужели это все-таки так заметно? Но ведь Вандерхузе вот ничего не заметил…

В таких примерно подспудных мыслях прошла большая часть моего рабочего дня. В пятнадцать часов, гораздо раньше, чем я ожидал, глайдер вернулся. Я едва успел сорвать с ушей и спрятать кристаллофоны, как вся компания ввалилась в корабль. Я встретил их в кессоне с тщательно продуманной сдержанной приветливостью, не стал задавать никаких вопросов по существу и только осведомился, нет ли желающих подкрепиться. Боюсь, правда, что после шестичасового грома и звона я говорил немножко слишком громко, так что Майка, которая, к вящей моей радости, выглядела вполне удовлетворительно, воззрилась на меня с некоторым удивлением, а Комов быстро оглядел меня с ног до головы и, не сказав ни слова, сейчас же скрылся в своей каюте.

– Подкрепиться? – раздумчиво проговорил Вандерхузе. – Знаешь ли, Стась, я сейчас пойду в рубку писать экспертное заключение, так что, если бы ты как-нибудь мимоходом занес мне стаканчик тонизирующего, это было бы уместно, как ты полагаешь?

Я сказал, что принесу, Вандерхузе удалился в рубку, а мы с Майкой пошли в кают-компанию, где я нацедил два стаканчика тонизирующего – один отдал Майке, а второй отнес Вандерхузе. Когда я вернулся, Майка со стаканчиком в руке бродила по кают-компании. Да, она была значительно спокойнее, чем утром, но все равно чувствовалась в ней какая-то напряженность, натянутость какая-то, и, чтобы помочь ей разрядиться, я спросил:

– Ну, что там с кораблем?

Майка сделала хороший глоток, облизала губы и, глядя куда-то мимо меня, произнесла:

– Знаешь, Стась, все это неспроста.

Я подождал продолжения, но она молчала.

– Что – неспроста? – спросил я.

– Все! – Она неопределенно повела рукой со стаканом. – Кастрированный мир. Бледная немочь. Помяни мое слово: и корабль этот здесь разбился не случайно, и нашли мы его не случайно, и вообще вся эта наша затея, весь проект – все провалится на этой планетке! – Она допила вино и поставила стакан на стол. – Элементарные правила безопасности не соблюдаются, большинство работников здесь – мальки вроде тебя, да и меня тоже… И все только потому, что планета биологически пассивна. Да разве в этом дело! Ведь любой человек с элементарным чутьем в первый же час чует здесь неладное. Была здесь жизнь когда-то, а потом вспыхнула звезда – и в один миг все

кончилось... Биологически пассивная? Да! Но зато активная некротически. Вот и Панта будет такой через сколько-то там лет. Корявые деревца, чахлая травка, и все вокруг пропитано древними смертями. Запах смерти, понимаешь? Даже хуже того – запах бывшей жизни! Нет, Стась, помяни мое слово, не приживутся здесь пантиане, не узнают они здесь никакой радости. Новый дом для целого человечества? Нет, не новый дом, а старый замок с привидениями...

Я вздрогнул. Она заметила это, но поняла неправильно.

– Ты не беспокойся, – сказала она, печально улыбаясь. – Я в полном порядке. Просто пытаюсь выразить свои ощущения и свои предчувствия. Ты меня, я вижу, понять не можешь, но сам посуди, что это за предчувствия, если мне на язык лезут все эти словечки: некротический, привидения...

Она опять прошлась по кают-компании, остановилась передо мной и продолжала:

– Конечно, с другой стороны, параметры у планеты прекрасные, редкостные. Биологическая активность почти нулевая, атмосфера, гидросфера, климат, термический баланс – все как по заказу для проекта «Ковчег». Но даю тебе голову на отсечение, никто из организаторов этой затеи здесь не был, а если и был кто-нибудь, то чутья у него, нюха на жизнь, что ли, ни на грош не оказалось... Ну понятно, это все старые волки, все в шрамах, все прошли через разнообразные ады... Чутье на материальную опасность у них великолепное! Но вот на это ... – Она пощелкала пальцами и даже, бедняжка, сморщилась от бессилия выразить. – А впрочем, откуда я знаю, может быть, кто-нибудь из них и почуял неладное, а как это объяснишь тем, кто здесь не был? Но ты-то меня хоть немножко понимаешь?

Она смотрела на меня в упор зелеными глазами, а я колебался и, поколебавшись, соврал:

– Не совсем. То есть, конечно, в чем-то ты права... Тишина, пустота...

– Вот видишь, – сказала она, – даже ты не понимаешь. Ну ладно, хватит об этом. – Она села на стол напротив меня и вдруг, ткнув меня пальцем в щеку, засмеялась. – Выговорилась, и как-то легче стало. С Комовым, сам понимаешь, не разговоришься, а к Вандеру лучше с этим не соваться – сгноит в медотсеке...

Напряжение, сковывавшее ее, да и меня тоже, сразу же спало, и разговор превратился в легкий треп. Я пожаловался ей на вчерашние неприятности с роботами, рассказал, как Вадик купался один в целом океане, и спросил, как продвигаются квартирьерские дела. Майка ответила, что они наметили четыре места для стойбищ, места вообще-

то хорошие, и при прочих равных условиях любой пантианин с удовольствием провел бы здесь всю свою жизнь, но, поскольку вся эта затея все равно обречена, говорить особенно не о чем. Я напомнил Майке, что она всегда отличалась природным скептицизмом и что скептицизм этот далеко не всегда оправдывался. Майка возразила, что речь сейчас идет уже не о природном скептицизме, а о скептицизме природы и что я вообще салага, малек и, по сути, должен был бы стоять перед нею, опытной Майкой, по стойке «смирно». Тогда я сказал ей, что настоящий опытный человек никогда не станет спорить с кибертехником, ибо кибертехник является на корабле той осью, вокруг которой, собственно, происходит все коловращение жизни. Майка заметила, что большинство осей вращения является, по сути, понятием воображаемым, не более чем геометрическими местами точек... Потом мы затеяли спор, есть ли разница между понятиями «ось вращения» и «ось коловращения», в общем, мы трепались, и со стороны, вероятно, это выглядело довольно мило, но не знаю, о чем там в это время думала Майка, а я лично вторым планом все время прикидывал, не заняться ли мне прямо сейчас профилактикой всех систем обеспечения безопасности. Правда, системы эти были рассчитаны на опасность биологическую, и невозможно было сказать, годятся ли они против опасности некротической, но при всем при том береженого бог бережет, под лежачий камень вода не течет, и вообще: тише едешь – дальше будешь.

Словом, когда Майка стала позевывать и жаловаться на недосып, я отослал ее вздремнуть перед обедом, а сам прежде всего полез в библиотеку, отыскал толковый словарь и посмотрел, что такое «некротический». Толкование произвело на меня тяжелое впечатление, и я решил начать профилактику немедленно. Предварительно, правда, я забежал в рубку посмотреть, как работают мои ребятишки, и застал там Вандерхузе как раз в тот момент, когда он складывал аккуратной стопочкой свое экспертное заключение. «Сейчас отнесу это Комову, – объявил он, увидев меня, – потом дам посмотреть Майке, а потом устроим обсуждение, как ты полагаешь? Позвать тебя?» Я сказал, что позвать, и сообщил, что буду в отсеке обеспечения безопасности. Он с любопытством посмотрел на меня, но ничего не сказал и вышел.

Меня позвали часа через два. Вандерхузе по интеркому объявил, что заключение прочитали все члены комиссии, и спросил, не хочу ли прочесть и я. Я, конечно, хотел бы, но профилактика у меня была в самом разгаре, сторож-разведчик наполовину выпотрошен, имела место запарка, так что я ответил в том смысле, что читать, пожалуй, не стану, а на обсуждение явлюсь непременно, как только покончу с

делами. «У меня еще на час работы, – сказал я, – так что обедайте без меня».

В общем, когда я явился в кают-компанию, обед кончился, и обсуждение началось. Я взял себе супу, сел в сторонке и стал есть и слушать.

– Не могу я принять метеоритную гипотезу совсем без оговорок, – укоризненно говорил Вандерхузе. – «Пеликаны» прекрасно защищены от метеоритного удара, Геннадий. Он бы просто уклонился.

– Не спорю, – отвечал Комов, глядя в стол и брезгливо морщась. – Однако предположите, что метеоритная атака произошла в момент выхода корабля из подпространства...

– Да, конечно, – согласился Вандерхузе. – В этом случае – конечно. Но вероятность...

– Вы меня удивляете, Яков. У корабля абсолютно разрушен рейсовый двигатель. Огромная сквозная дыра со следами сильного термического воздействия. По-моему, каждому нормальному человеку ясно, что это может быть только метеорит.

У Вандерхузе был очень несчастный вид.

– Ну... Хорошо, – сказал он. – Ну, пусть будет по-вашему... Вы просто не понимаете, Геннадий, вы не звездолетчик... Вы просто не понимаете, насколько это маловероятно. Именно в момент выхода из подпространства огромный метеорит огромной энергии... Я просто не знаю, с чем это сравнить по невероятности!

– Хорошо. Что вы предлагаете?

Вандерхузе оглядел всех в поисках поддержки и, поддержки не обнаружив, сказал:

– Хорошо, пусть будет так. Но я все-таки буду настаивать, чтобы формулировка имела сослагательный оттенок. Скажем: «Указанные факты заставляют предположить...»

– «Сделать вывод», – поправил Комов.

– «Сделать вывод»? – Вандерхузе нахмурился. – Да нет, Геннадий, какой тут может быть вывод? Именно предположение! «...заставляют предположить, что корабль был поражен метеоритом высокой энергии в момент появления из подпространства». Вот так. Предлагаю согласиться.

Несколько секунд Комов думал, шевеля желваками на скулах, потом сказал:

– Согласен. Перехожу к следующей поправке.

– Минуточку, – сказал Вандерхузе. – А ты, Майка?

Майка пожала плечами.

– Честно говоря, не ощущаю разницы. В общем, согласна.

– Следующая поправка, – нетерпеливо произнес Комов. – Нам не надо запрашивать мнение базы, как поступить с останками. Вообще этому вопросу не место в экспертном заключении. Надо дать специальную радиограмму, что останки пилотов помещены в контейнеры, залиты стеклопластом и в ближайшее время будут переправлены на базу.

– Однако... – с растерянным видом начал Вандерхузе.

– Я займусь этим завтра, – прервал его Комов. – Сам.

– Может быть, следовало бы похоронить их здесь? – негромко сказала Майка.

– Не возражаю, – сейчас же сказал Комов. – Но, как правило, в таких случаях останки пересылаются на Землю... Что? – повернулся он к Вандерхузе.

Вандерхузе, открывший было рот, помотал головой и сказал:

– Ничего.

– Короче говоря, – сказал Комов, – этот вопрос из заключения я предлагаю выбросить. Согласны, Яков?

– Пожалуй, – сказал Вандерхузе. – А ты, Майка?

Майка колебалась, и я понял ее. Как-то все это происходило слишком по-деловому. Правда, я не знаю, как это должно происходить, но, по-моему, такие вопросы нельзя решать голосованием.

– Прекрасно, – произнес Комов как ни в чем не бывало. – Теперь относительно причин и обстоятельств смерти пилотов. Акт о вскрытии и фотоматериалы меня вполне удовлетворяют, а формулировку я предлагаю такую: «Положение трупов свидетельствует о том, что смерть пилотов наступила вследствие удара корабля о поверхность планеты. Мужчина погиб раньше женщины, успев только стереть бортжурнал. Выбраться из кресла пилота он был уже не в состоянии. Женщина, напротив, была жива еще некоторое время и пыталась покинуть корабль. Смерть застигла ее уже в кессонной камере». Ну а дальше – по вашему тексту.

– Гм... – сказал Вандерхузе с большим сомнением. – Не слишком ли все это категорично, как вы полагаете, Геннадий? Ведь если придерживаться того самого акта о вскрытии, против которого вы не возражаете, бедняжка была просто не в состоянии доползти до кессона.

– Тем не менее она оказалась там, – холодно произнес Комов.

– Но ведь именно это обстоятельство... – проникновенно начал Вандерхузе, прижимая руки к груди.

– Слушайте, Яков, – сказал Комов. – Никто не знает, на что способен человек в критических условиях. И особенно женщина.

Вспомните историю Марты Пристли. Вспомните историю Колесниченко. И вспомните вообще историю, Яков.

Наступило молчание. Вандерхузе сидел с несчастным видом и безжалостно таскал себя за бакенбарды.

– А меня как раз не удивляет, что она оказалась в кессоне, – подала голос Майка. – Я другого не понимаю. Почему он стер бортжурнал? Ведь был же удар, человек умирает...

– Ну это как раз... – неуверенно проговорил Вандерхузе. – Это может быть. Агония, шарил руками по пульту, зацепил ключ...

– Вопрос о бортжурнале, – сказал Комов, – вынесен в раздел фактов особого значения. Лично я думаю, что эта загадка никогда не будет разрешена... Если, впрочем, это загадка, а не случайное стечение обстоятельств. Продолжаем. – Он быстро перебрал разбросанные перед ним листки. – Собственно, у меня, пожалуй, больше нет замечаний. Земная микрофлора и микрофауна, по-видимому, погибла, следов ее, во всяком случае, нет... Так... Личные бумаги. Разбирать их – дело не наше, кроме того, они в таком состоянии, что мы можем только напортить. Завтра я их законсервирую и привезу сюда... Да! Попов, тут есть кое-что по вашей части. Вам известно кибернетическое оборудование кораблей типа «Пеликан»?

– Да, конечно, – сказал я, поспешно отодвигая тарелку.

– Будьте добры, – он перебросил мне листок бумаги, – вот опись всех обнаруженных кибермеханизмов. Проверьте, все ли на месте.

Я взял опись. Все выжидательно глядели на меня.

– Да, – проговорил я, – пожалуй, все на месте. Даже инициаторные разведчики на месте, обычно их всегда некомплект... А вот этого я не понимаю. Что такое: «Ремонтный робот, переоборудованный в шьющее устройство»?

– Яков, объясните, – распорядился Комов.

Вандерхузе задрал голову и выпятил челюсть.

– Понимаешь ли, Стась, – как бы в задумчивости произнес он. – Трудно тут что-либо объяснить. Просто ремонтный кибер, превращенный в шьющее устройство. В устройство, которое шьет, понимаешь? У кого-то из них, видимо, у женщины, было несколько необычное хобби.

– Ага, – сказал я, удивившись. – Но это точно – ремонтный кибер?

– Несомненно, – уверенно сказал Вандерхузе.

– Тогда здесь полный комплект, – сказал я, возвращая Комову опись. – Просто на редкость полный. Наверное, они ни разу не высаживались на тяжелых планетах.

– Спасибо, – сказал Комов. – Когда будет готов чистовик заключения, я попрошу вас подписать раздел об утечке выжившей кибертехники.

– Но ведь утечки нет, – возразил я.

Комов не обратил на меня внимания, а Вандерхузе объяснил:

– Это просто название раздела: «Утечка выжившей кибертехники». Ты подпишешь, что утечки нет.

– Так... – проговорил Комов, собирая в пачку разбросанные листы. – Теперь я очень прошу вас, Яков, привести все это в окончательный порядок, мы подпишемся, и уже сегодня можно будет радировать. А теперь, если ни у кого нет дополнительных соображений, я пойду.

Дополнительных соображений не было, и он ушел. Вандерхузе с тяжким вздохом поднялся, взвесил на ладони пачку листов заключения, посмотрел на нас, откинув голову, и тоже удалился.

– Вандер явно недоволен, – заметил я, накладывая на тарелку жаркое.

– Я тоже недовольна, – сказала Майка. – Как-то недостойно все это получилось. Я не умею объяснить, может быть, это я по-детски, наивно... Но должно же быть... Должна же быть минута молчания какая-то... А тут – раз-два, завертели-закрутили колесо: положение останков, утечка кибертехники, топографические параметры... Тьфу! Как будто в школе на практических занятиях...

Я был полностью с нею согласен.

– Ведь Комов никому рта не дает раскрыть! – продолжала она со злостью. – Все ему ясно, все ему очевидно, а на самом деле не так все это ясно. И с метеоритом неясно, и особенно с этим бортжурналом. И не верю я, что ему все ясно! По-моему, у него что-то на уме, и Вандер это тоже понимает, только не знает, как его зацепить... а может быть, считает, что это несущественно...

– Может быть, это и в самом деле несущественно... – пробормотал я неуверенно.

– А я и не говорю, что существенно! – возразила Майка. – Мне просто не нравится, как Комов себя ведет. Не понимаю я его. И вообще он мне не нравится! Мне о нем все уши прожужжали, а я теперь хожу и считаю дни, сколько мне с ним работать осталось... В жизни больше никогда с ним работать не буду!

– Ну, не так уж много и осталось, – примирительно сказал я, – всего-то еще дней двадцать...

На том мы и расстались. Майка пошла приводить в порядок свои измерения и квартирьерские кроки, а я отправился в рубку, где меня

ожидал маленький сюрприз: Том сообщал, что закладка фундамента закончена, и предлагал принять работу. Я накинул доху и побежал на стройплощадку.

Солнце уже зашло, сумерки сгустились. Странные здесь сумерки – темно-фиолетовые, как разведенные чернила. Луны нет, зато в изобилии северное сияние, да еще какое! Гигантские полотнища радужного света бесшумно развеваются над черным океаном, сворачиваются и разворачиваются, трепещут и вздрагивают, словно под ветром, переливаются белым, зеленым, розовым и вдруг мгновенно гаснут, оставив в глазах смутные цветные пятна, а потом вновь возникают, и тогда исчезают звезды, исчезают сумерки, все вокруг окрашивается в неестественные, но чистейшие цвета – туман над болотом становится красно-синим, айсберг вдали мерцает, как глыба янтаря, а по пляжу стремительно несутся зеленоватые тени.

Яростно растирая мерзнущие щеки и нос, я осматривал в этом чудном свете готовые фундаменты. Том, неотступно следовавший за мной по пятам, услужливо сообщал необходимые цифры, а когда сияние гасло – не менее услужливо включал прожекторы. И было, как всегда, мертвенно-тихо, только похрустывал у меня под каблуками смерзшийся песок. Потом я услышал голоса: Майка и Вандерхузе вышли подышать свежим воздухом и полюбоваться небесным спектаклем. Майке очень нравилось северное сияние – единственное, что ей нравилось на этой планете. Я был довольно далеко от корабля, метрах в ста, и не видел их, но голоса слышал совершенно отчетливо. Впрочем, сначала я слушал их вполуха. Майка говорила что-то о поврежденных верхушках деревьев, а Вандерхузе гудел об эрозии бортовой квазиорганики – по-видимому, они снова обсуждали причины и обстоятельства гибели «Пеликана».

Была в их беседе какая-то странность. Повторяю: я вначале не очень-то прислушивался и только потом понял, в чем дело. Они разговаривали, словно не слушая друг друга. Например, Вандерхузе говорил: «Один планетарный двигатель у них уцелел, иначе они бы просто не могли маневрировать в атмосфере...» А Майка долбила свое: «Нет, Яков, не менее десяти-пятнадцати лет. Посмотрите на эти наплывы...»

Я спустился в один из фундаментов, чтобы осмотреть дно, а когда вылез, разговор сделался более связным, но зато менее понятным. Они словно репетировали какую-то пьесу.

– А это еще что такое? – спрашивала Майка.

– Я бы сказал, что это игрушка, – отвечал Вандерхузе.

– Я бы тоже так сказала. Но зачем?

– Хобби. Ничего удивительного, весьма распространенное хобби.

В общем, это было похоже, как мы развлекались на базе в ожидании формировки. Вадим, скажем, ни с того ни с сего орал на всю столовую: «Капитан! Принимаю решение сбросить хвостовую часть и уходить в подпространство!» – на что какой-нибудь другой остряк немедленно откликался: «Ваше решение одобряю, капитан! Не забудьте головную часть, капитан!» – и так далее.

Впрочем, странный этот разговор скоро прекратился. Явственно чмокнула перепонка люка, и снова наступила тишина. Я осмотрел последний фундамент, похвалил Тома за хорошую работу и приказал ему переключить Джека на следующий этап. Сполохи погасли, и в наступившей тьме ничего не было видно, кроме бортовых огней моих киберов. Чувствуя, что кончик носа у меня вот-вот отвалится, я рысцой побежал к кораблю, нашарил перепонку и вскочил в кессон. Кессон – это прекрасно. Это одно из самых чудесных помещений корабля. Наверное, это потому, что кессон – первое помещение корабля, которое дарует тебе сладостное ощущение дома: вернулся домой, в родное, теплое, защищенное, из чужого, ледяного, угрожающего. Из тьмы в свет. Я сбросил доху и, на ходу покрякивая и растирая ладони, направился в рубку.

Вандерхузе уже сидел там, обложенный своими бумажками, и, скорбно склонив голову, переписывал начисто очередную страницу заключения. Шифрующая машинка бойко стрекотала под его пальцами.

– А мои ребятки уже фундамент закончили, – похвастался я.

– Угу, – отозвался Вандерхузе.

– А что у вас там за игрушки? – спросил я.

– Игрушки... – рассеянно повторил Вандерхузе. – Игрушки? – переспросил он, не переставая стрекотать машинкой. – Ах, игрушки... – Он отложил готовый листок и взял другой.

Я подождал немного и напомнил:

– Так что это за игрушки?

– Что это за игрушки... – со значительностью в голосе повторил Вандерхузе и, задрав голову, поглядел на меня. – Ты так ставишь вопрос? Это, видишь ли... А впрочем, кто его знает, что это за игрушки. Там, на «Пеликане» ... Извини, Стась, я сначала закончу, как ты полагаешь?

Я на цыпочках прошел к своему пульту, последил немного за работой Джека, который принялся уже возводить стены метеостанции, а потом, так же на цыпочках, вышел из рубки и отправился к Майке.

Все мыслимое освещение в каюте Майки было включено, а сама она восседала по-турецки на койке и тоже была очень занята. На столе, на койке, на полу расстилались простыни-склейки, карты, кроки, раздвинутые гармошки аэрофотографий, наброски и записи, и Майка по очереди все это просматривала, делала какие-то пометки, иногда хватала лупу, а иногда – бутылку с соком, стоявшую на стуле рядом. Понаблюдав за ней некоторое время, я выбрал момент, когда бутылка с соком покинула стул, и уселся на стул сам, так что когда Майка, не глядя, сунула бутылку обратно, то попала мне прямо в протянутую руку.

– Спасибо, – сказал я и отхлебнул.

Майка приподняла голову.

– А, это ты? – произнесла она с неудовольствием. – Ты чего?

– Просто так зашел, – сказал я благодушно. – Нагулялась?

– И не думала, – возразила она, отбирая у меня бутылку. – Сижу как проклятая, вчера вечером не работала, накопилось тут всякого... Какое тут гулянье!

Она вернула мне бутылку, я машинально отхлебнул, ощущая смутное беспокойство, и тут у меня словно пелена с глаз упала: Майка была одета по-домашнему, в свою любимую пушистую кофту и шорты, на голове у нее был платок, и волосы под платком были влажные.

– В душе была? – тупо спросил я.

Она что-то ответила, но я и так уже все понял. Я встал. Я аккуратно поставил бутылку на сиденье. Я пробормотал что-то, не помню – что. Я каким-то образом очутился в коридоре, потом у себя в каюте, погасил зачем-то верхний свет, включил зачем-то ночничок, лег на койку и повернулся лицом к стене. Меня опять трясло. Помню, в голове моей крутились какие-то обрывочные мысли, вроде: «Теперь-то уж все пропало, все напрасно, теперь-то уж окончательно и бесповоротно». Я поймал себя на том, что опять прислушиваюсь. И я опять что-то слышал, что-то неподобающее. Тогда я рывком поднялся, полез в ночной столик, взял таблетку снотворного и положил под язык. Потом я снова лег. По стенам топотали ящерицы, затененный потолок медленно поворачивался, ночник то совсем меркнул, то разгорался нестерпимо ярко, погибающие мухи отчаянно зудели по углам. Кажется, приходила Майка, смотрела на меня с беспокойством, чем-то укрыла и исчезла, а потом появился Вадик, уселся у меня в ногах и сказал сердито: «Что же ты валяешься? Целая комиссия тебя ждет, а ты разлегся». – «Да ты громче говори, – сказала ему Нинон, – у него же что-то с ушами, он не слышит». Я сделал каменное лицо и сказал,

что все это чепуха. Я встал, и все вместе мы вошли в разбитый «Пеликан», вся органика в нем распалась, и стоял острый нашатырный запах, как тогда в коридоре. Но это был не совсем «Пеликан», скорее уж это была стройплощадка, копошились мои ребятишки, посадочная полоса изумительно сверкала под солнцем, и я все боялся, что Том наедет на две мумии, которые лежали поперек, то есть это все думали, что мумии, а на самом деле это были Комов и Вандерхузе, только надо было, чтобы этого никто не заметил, потому что они разговаривали и слышал их только я. Но от Майки не скроешься. «Разве вы не видите, что ему плохо?» – сердито сказала она и положила мне на рот и нос сырой платок, смоченный в нашатырном спирте. Я чуть не задохнулся, замотал головой и сел на койке.

Глаза у меня были открыты, и в свете ночника я сразу увидел перед собой человека. Он стоял возле самой койки и, наклонившись, внимательно смотрел мне прямо в лицо. В слабом свете он казался темным, почти черным – бредовая скособоченная фигура без лица, зыбкая, без четких очертаний, и такой же зыбкий, нечеткий отблеск лежал у него на груди и на плече.

Уже точно зная, чем это кончится, я протянул к нему руку, и рука моя прошла сквозь него, как сквозь воздух, а он заколыхался, начал таять и через несколько секунд исчез без следа. Я откинулся на спину и закрыл глаза. А вы знаете, что у алжирского дея под самым носом шишка? Под самым носом... Я был мокрый как мышь, и мне было невыносимо душно, я почти задыхался.

Глава четвертая
ПРИЗРАКИ И ЛЮДИ

Я проснулся поздно, с тяжелой головой и с твердым намерением сразу же после завтрака уединиться где-нибудь с Вандерхузе и выложить ему все. Кажется, никогда еще в жизни я не чувствовал себя таким несчастным. Все было кончено для меня, поэтому я не стал даже делать зарядку, а просто принял усиленный ионный душ и побрел в кают-компанию. Уже на пороге я сообразил, что вчера вечером за всеми своими неприятностями я начисто забыл отдать повару распоряжение насчет завтрака, и это меня окончательно доконало. Пробормотав какое-то невнятное приветствие и чувствуя, что от горя и стыда я красен как вареный рак, я уселся на свое место и уныло оглядел стол, стараясь ни с кем не встречаться глазами. Трапеза была, прямо скажем, монастырская, послушническая была трапеза. Все питались черным хлебом и молоком. Вандерхузе посыпал свой ломоть солью.

Майка помазала свой ломоть маслом. Комов жевал хлеб всухомятку, не прикасаясь даже к молоку.

У меня аппетита не было никакого – подумать было страшно жевать что-нибудь. Я взял себе стакан молока, отхлебнул. Боковым зрением я видел, что Майка смотрит на меня и что ей очень хочется спросить, что со мной и вообще. Однако она ничего не спросила, а Вандерхузе принялся многословно рассуждать, какая это с медицинской точки зрения полезная вещь – разгрузочный день, и как хорошо, что у нас сегодня именно такой завтрак, а не какой-нибудь другой. Он подробно объяснил нам, что такое пост и что такое великий пост, и не без уважения отозвался о ранних христианах, которые дело свое знали туго. Заодно он рассказал нам, что такое масленица, но скоро, впрочем, почувствовал, что слишком увлекается описанием блинов с икрой, с балыком, с семгой и другими вкусными вещами, оборвал себя и принялся в некотором затруднении расправлять бакенбарды. Разговор не завязывался. Я беспокоился за себя, Майка беспокоилась за меня. А что касается Комова, то он опять, как и вчера, был явно не в своей тарелке. Глаза у него были красные, он большей частью смотрел в стол, но время от времени вскидывал голову и озирался, как будто его окликали. Хлеба он накрошил вокруг себя ужасно и продолжал крошить, так что мне захотелось дать ему по рукам, как маленькому. Так мы и сидели унылой компанией, а бедный Вандерхузе из сил выбивался, стараясь нас рассеять.

Он как раз мыкался с какой-то длиннющей заунывной историей, которую придумывал на ходу и никак не мог придумать до конца, как вдруг Комов издал странный сдавленный звук, словно сухой кусок хлеба встал ему наконец поперек горла. Я взглянул на него через стол и испугался. Комов сидел прямой, вцепившись обеими руками в край столешницы, красные глаза его вылезли из орбит, он смотрел куда-то мимо меня и стремительно бледнел. Я обернулся. Я обмер. У стены, между фильмотекой и шахматным столиком, стоял мой давешний призрак.

Теперь я видел его совершенно отчетливо. Это был человек, во всяком случае – гуманоид, маленький, тощий, совершенно голый. Кожа у него была темная, почти черная, и блестела, словно покрытая маслом. Лица его я не разглядел или не запомнил, но мне сразу бросилось в глаза, как и в ночном моем кошмаре, что человечек этот был весь какой-то скособоченный и словно бы размытый. И еще – глаза: большие, темные, совершенно неподвижные, слепые, как у статуи.

– Да вот же он! Вот он! – гаркнул Комов.

Он указывал пальцем совсем в другую сторону, и там у меня на глазах прямо из воздуха возникла новая фигура. Это был все тот же застывший лоснящийся призрак, но теперь он застыл в стремительном рывке, на бегу, как фотография спринтера на старте. И в ту же секунду Майка бросилась ему в ноги. С грохотом полетело в сторону кресло, Майка с воинственным воплем проскочила сквозь призрак и врезалась в экран видеофона, я еще успел заметить, как призрак заколебался и начал таять, а Комов уже кричал:

– Дверь! Дверь!

И я увидел: кто-то маленький, белый и матовый, как стена кают-компании, согнувшись в неслышном беге, скользнул в дверь и исчез в коридоре. И тогда я рванулся за ним.

Теперь об этом стыдно вспоминать, но тогда мне было совершенно безразлично, что это за существо, откуда оно, почему оно здесь и зачем, – я испытывал только безмерное облегчение, уже понимая, что с этой минуты бесповоротно кончились все мои кошмары и страхи, и еще я испытывал страстное желание догнать, схватить, скрутить и притащить.

В дверях я столкнулся с Комовым, сбил его с ног, споткнулся о него, пробежал по коридору на четвереньках, коридор был уже пуст, только резко и знакомо пахло нашатырным спиртом, позади что-то кричал Комов, стучали дробно каблуки, я вскочил, промчался через кессон, нырнул в люк, еще не успевший зарасти перепонкой, и вылетел наружу, в лиловатое сияние солнца.

Я сразу увидел его. Он бежал к стройплощадке, бежал легко, едва касаясь босыми ногами мерзлого песка, он был все такой же скособоченный и как-то странно двигал на бегу разведенными локтями, но теперь он был не темный и не матово-белый, а светло-лиловый, и солнце отсвечивало на его тощих плечах и боках. Он бежал прямо на моих киберов, и я замедлил бег, ожидая, что сейчас он испугается и свернет вправо или влево, но он не испугался, он проскочил в десяти шагах от Тома, и я глазам своим не поверил, когда этот величественный дурак вежливо просигналил ему обычное «жду приказаний».

– К болоту! – кричал позади задыхающийся голос Майки. – Отжимай его к болоту!

Маленький абориген и без этого бежал по направлению к болоту. Бегать, надо сказать, он умел, и расстояние между нами сокращалось очень медленно. Ветер свистел у меня в ушах, издалека что-то кричал Комов, но его решительно заглушала Майка.

– Левее, левее бери! – азартно вопила она.

Я взял левее, выскочил на посадочную полосу, на уже готовый участок, ровный, с удобнейшей рубчатой поверхностью, и здесь дело у меня пошло лучше – я стал нагонять. «Не уйдешь, – твердил я про себя, – нет, брат, теперь не уйдешь. Ты мне за все ответишь...» Я глядел, не отрываясь на его быстро работающие лопатки, на мелькающие голые ноги, на клочья пара, взлетающие из-за его плеча. Я нагонял и испытывал ликование. Полоса кончалась, но до серой пелены над болотом оставалось всего шагов сто, и я нагонял.

Добежав до края трясины, до унылых зарослей карликового тростника, он остановился. Несколько секунд он стоял как бы в нерешительности, потом посмотрел на меня через плечо, и я снова увидел его большие темные глаза, никакие не застывшие, а, напротив, очень живые и вроде бы смеющиеся, и вдруг он присел на корточки, обхватил руками колени и покатился. Я даже не сразу понял, что произошло. Только что стоял человек, странный человек, наверное, и не человек вовсе, но по обличью все-таки человек, и вдруг человека не стало, а по трясине, через непроходимую бездонную топь, катится, разбрызгивая грязь и мутную воду, какой-то нелепый серый колобок. Да еще как катится! Я не успел добежать до берега, а он уже исчез за клочьями тумана, и только слышались оттуда, из-за сероватой пелены, затихающие шорохи, плески и тоненький пронзительный свист.

С топотом набежала Майка и остановилась рядом, тяжело дыша.

– Ушел, – констатировала она с досадой.

– Ушел, – сказал я.

Несколько секунд мы стояли, вглядываясь в мутные клубы тумана. Потом Майка вытерла со лба пот и проговорила:

– Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел...

– А от тебя, квартирьер, и подавно уйду, – добавил я и огляделся.

Так. Дураки, значит, бегали, а умные, сами понимаете, стояли и смотрели. Мы с Майкой были вдвоем. Маленькие фигурки Комова и Вандерхузе темнели рядом с кораблем.

– А ничего себе пробежка получилась, – проговорила Майка, тоже глядя в сторону корабля. – Километра три, не меньше, как вы полагаете, капитан?

– Согласен с вами, капитан, – отозвался я.

– Слушай, – задумчиво сказала Майка. – А может быть, это все нам почудилось?

Я сгреб ее за плечи. Чувство свободы, здоровья, восторга, ощущение огромных сияющих перспектив с новой силой взорвалось во мне.

– Что ты в этом понимаешь, салажка! – гаркнул я, чуть не плача от счастья и тряся ее изо всех сил. – Что ты понимаешь в галлюцинациях! И не надо тебе ничего понимать! Живи счастливо и ни о чем таком не задумывайся!

Майка растерянно хлопала на меня глазами, пыталась вырваться, а я тряхнул ее напоследок хорошенько, обхватил за плечи и потащил к кораблю.

– Подожди, – слабо отбивалась ошеломленная Майка. – Что ты, в самом деле... Да отпусти ты меня, что за телячьи нежности?

– Идем, идем, – приговаривал я. – Идем! Сейчас нам любимец доктора Мбоги вломит – чует мое сердце, что зря мы эту беготню устроили, не надо было нам ее устраивать...

Майка рывком освободилась, постояла секунду, потом присела на корточки, нагнула голову и, обхватив колени руками, качнулась вперед.

– Нет, – сказала она, снова выпрямляясь. – Этого я не понимаю.

– И не надо, – сказал я. – Комов нам все объяснит. Сначала выволочку даст, ведь мы ему контакт сорвали, а потом все-таки объяснит...

– Слушай, холодно! – сказала Майка, подпрыгнув на месте. – Бежим?

И мы побежали. Первые мои восторги утихли, и я стал соображать, что же все-таки произошло. Получалось, что планета-то на самом деле обитаемая! Да еще как обитаемая – крупные человекообразные существа, может быть, даже разумные, может быть, даже цивилизованные...

– Стась, – сказала Майка на бегу, – а может быть, это пантианин?

– Откуда? – удивился я.

– Ну... Мало ли откуда... Мы же не знаем всех деталей проекта. Может, переброска уже началась.

– Да нет, – сказал я. – Не похож он на пантианина. Пантиане рослые, краснокожие... Потом они одеты, елки-палки, а этот совсем голый!

Мы остановились перед люком, и я пропустил Майку вперед.

– Бр-р-р! – произнесла она, растирая плечи. – Ну что, пойдем фитиль получать?

– Полуметровый, – сказал я.

– Хорошо смазанный, – сказала Майка.

– Семьдесят пять миллиметров в диаметре, – сказал я.

Мы крадучись проникли в рубку, но остаться незамеченными нам не удалось. Нас ждали. Комов расхаживал по рубке, заложив руки за спину, а Вандерхузе, глядя в пространство и выпятив челюсть,

наматывал свои бакенбарды: правый на палец правой руки, а левый – на палец левой. Увидев нас, Комов остановился, но Майка не дала ему заговорить.

– Ушел, – деловито доложила она. – Ушел прямо через трясину, причем совершенно необычным способом...

– Помолчите, – прервал ее Комов.

«Сейчас начнется», – подумал я, заранее настраиваясь на отбрыкивание и отругивание. И не угадал. Комов приказал нам сесть, уселся сам и обратился прямо ко мне:

– Я вас слушаю, Попов. Рассказывайте все. До мельчайших подробностей.

Интересно, что я даже не удивился. Такая постановка вопроса показалась мне совершенно естественной. И я рассказал все – о шорохах, о запахах, о детском плаче, о криках женщины, о странном диалоге вчера вечером и о черном призраке сегодня ночью. Майка слушала меня, приоткрыв рот, Вандерхузе хмурился и укоризненно качал головой, а Комов не отрываясь глядел мне в лицо – прищуренные глаза его вновь были пристальны и холодны, лицо затвердело, он покусывал нижнюю губу и время от времени напряженно сплетал пальцы, похрустывая суставами. Когда я закончил, воцарилось молчание. Потом Комов спросил:

– Вы уверены, что это плакал ребенок?

– Д-да... Во всяком случае, очень похоже...

Вандерхузе шумно перевел дух и похлопал ладонью по подлокотнику кресла.

– И ты все это вытерпел! – проговорила Майка с испугом. – Бедный Стасик!

– Должен тебе сказать, Стась... – внушительно начал Вандерхузе, но Комов перебил его.

– А камни? – спросил он.

– Что – камни? – не понял я.

– Откуда взялись камни?

– Это на стройплощадке? Киберы натаскали, наверное. При чем это здесь?

– Откуда киберы могли взять камни?

– Н-ну... – начал я и замолчал. Действительно, откуда?

– Кругом песчаный пляж, – продолжал Комов. – Ни одного камешка. Киберы с площадки не отлучались. Откуда же на полосе булыжники и откуда на полосе сучья? – Он оглядел нас и усмехнулся. – Все это риторические вопросы, разумеется. Могу добавить, что у нас

за кормой, прямо под маяком, целая россыпь булыжников. Очень любопытная россыпь. Могу также добавить... Простите, вы кончили, Стась? Спасибо. А теперь послушайте, что было со мной.

Комову, оказывается, тоже пришлось нелегко. Правда, испытания его были несколько иного рода. Испытания интеллекта. На второй день после прибытия, запуская в озеро пантианских рыб, он заметил в двадцати шагах от себя необычное ярко-красное пятно, которое расплылось и исчезло, прежде чем он решился приблизиться. На следующий день он обнаружил на самой макушке высоты 12 дохлую рыбу, явно одну из запущенных накануне. Под утро четвертого дня он проснулся с явственным ощущением, что в каюте находится кто-то посторонний. Постороннего не оказалось, но Комову послышался щелчок лопнувшей перепонки люка. Выйдя из корабля, он обнаружил, во-первых, россыпь камней у кормы, а во-вторых, камни и охапки сучьев на стройплощадке. После разговора со мной он окончательно утвердился в мысли, что в окрестностях корабля происходит неладное. Он уже был почти уверен, что поисковые группы проглядели какой-то чрезвычайно важный фактор, действующий на планете, и только глубокая убежденность в том, что разумную жизнь проглядеть было бы невозможно, удерживала его от самых решительных шагов. Он только принял все меры, чтобы район действия нашей группы не стал объектом нашествия «любопытствующих бездельников». Именно поэтому он изо всех сил старался сформулировать экспертное заключение таким образом, чтобы оно не вызывало ни малейших сомнений. Между тем мое возбужденно-подавленное состояние прекрасно подтверждало его предварительный вывод о том, что неизвестные существа способны проникать в корабль. Он стал ждать этого проникновения и дождался его сегодня утром.

– Резюмирую, – объявил он, словно читая лекцию. – По крайней мере этот район планеты, вопреки данным предварительных исследований, обитаем крупными позвоночными, причем есть все основания предполагать, что существа эти разумны. По-видимому, это троглодиты, приспособившиеся к жизни в подземных пустотах. Судя по тому, чему мы были свидетелями, средний абориген анатомически напоминает человека, обладает ярко выраженной способностью к мимикрии, а также и, вероятно, в связи с этим – способностью к воспроизводству защитно-отвлекающих фантомов. Должен сказать, что для крупных позвоночных такая способность была до сих пор отмечена только у некоторых грызунов на Пандоре, на Земле же этой способностью обладают некоторые виды головоногих моллюсков. А теперь я хотел бы особенно подчеркнуть, что, несмотря на эти нечеловеческие и вообще негуманоидные способности, здешний абориген не только в анатомическом, но и в физиологическом и, в частности, в

нейрологическом отношении необычайно, небывало близок к земному человеку. Я кончил.

– Как – кончили? – вскричал я, испугавшись. – А мои голоса? Значит, галлюцинации были?

Комов усмехнулся.

– Успокойтесь, Стась, – сказал он. – С вами все в порядке. Ваши «голоса» легко объясняются, если предположить, что устройство их голосового аппарата идентично нашему. Сходство голосового аппарата плюс развитая способность к имитации, плюс гипертрофированная фонетическая память...

– Стойте, – сказала Майка. – Я понимаю, они могли подслушать наши разговоры, но как же женский голос?

Комов кивнул.

– Да, приходится предположить, что они присутствовали при агонии.

Майка присвистнула.

– Слишком замысловато, – пробормотала она с сомнением.

– Предложите другое объяснение, – холодно возразил Комов. – Впрочем, вероятно, мы скоро узнаем имена погибших. Если пилота звали Александром...

– Ну хорошо, – сказал я. – А ребенок плакал?..

– А вы уверены, что это плакал ребенок?

– А с чем это можно спутать?

Комов уставился на меня, плотно прижал пальцем верхнюю губу и вдруг приглушенно залаял. Именно залаял – другого слова я не подберу.

– Что это было? – спросил он. – Собака?

– Похоже, – сказал я с уважением.

– Так вот, это я произнес фразу на одном из наречий Леониды.

Я был сражен. Майка тоже. Некоторое время все молчали. Все было несомненно так, как он говорил. Все объяснялось, все получалось очень изящно, но... Было, конечно, очень приятно сознавать, что все страхи остались позади и что именно нашей группе повезло открыть еще одну гуманоидную расу. Однако вместе с тем это означало самую решительную перемену в наших судьбах. Да и не только в наших. Во-первых, невооруженным глазом было видно, что проекту «Ковчег» конец. Планета занята, придется искать для пантиан другую. Во-вторых, если окончательно выяснится, что аборигены разумны, нас, наверное, сейчас же попрут отсюда, а вместо нас прибудет сюда Комиссия по контактам. Все эти соображения были очевидны не

только мне, конечно, но и остальным. Вандерхузе расстроенно рванул себя за бакенбарды и сказал:

– Почему же именно разумные? По-моему, пока совершенно ниоткуда не следует, что они непременно разумные, как вы полагаете, Геннадий?

– Я не утверждаю, что они непременно разумные, – возразил Комов. – Я сказал только: есть все основания предполагать, что это так.

– Ну какие же это такие все основания? – продолжал расстраиваться Вандерхузе. Очень ему не хотелось покидать насиженное место. Известна была за ним такая слабость – любовь к насиженным местам. – Что это за все основания? Внешний облик разве что...

– Дело не только в анатомии, – сказал Комов. – Камни под маяком расположены в явном порядке, это какие-то знаки. Камни и ветки на посадочной полосе... Я не хочу ничего утверждать категорически, но все это очень похоже на попытку войти в контакт, осуществляемую гуманоидами с первобытной культурой. Тайная разведка и одновременно не то дары, не то предупреждение...

– Да, похоже на то, – пробормотал Вандерхузе и впал в прострацию.

Снова последовало молчание, затем Майка тихонько спросила:

– А откуда следует, что они так уж особенно близки нам по своей физиологической и нервной организации?

Комов удовлетворенно покивал.

– Здесь мы тоже располагаем только косвенными соображениями, – сказал он. – Но это достаточно веские соображения. Во-первых, аборигены способны проникать в корабль. Корабль их впускает. Для сравнения напомню, что ни тагорцу, ни даже пантианину, при всем их огромном сходстве с человеком, люковую перепонку не преодолеть. Люк просто не раскроется перед ним...

Тут я хлопнул себя по лбу.

– Елки-палки! Значит, все мои киберы были в полном порядке! Просто аборигены, наверное, бегали перед Томом, и он останавливался, потому что боялся наехать на человека... А потом они, наверное, считали Тома за живое существо, размахивали руками и случайно подали ему сигнал: «Опасность! Немедленно в корабль!» Это же очень простой сигнал... – Я показал. – Ну, мои ребятишки и полезли в трюм наперегонки... Конечно, так оно все и было... Да я и сейчас своими глазами видел: Том реагировал на аборигена как на человека.

– То есть? – быстро спросил Комов.

– То есть, когда абориген появился в поле его визиров, Том просигналил: «Жду приказаний».

– Это очень ценное наблюдение, – произнес Комов.

Вандерхузе тяжело вздохнул.

– Да, – сказала Майка. – Конец «Ковчегу». Жалко.

– Что же теперь будет? – спросил я, ни к кому в особенности не обращаясь.

Мне не ответили. Комов поднял листки со своими записями, под ними обнаружилась коробочка диктофона.

– Прошу прощения, – объявил он, очаровательно улыбаясь. – Чтобы не терять времени зря, я нашу дискуссию записал. Благодарю за точно поставленные вопросы. Стась, я попрошу вас, закодируйте все это и отправьте в экстренном импульсе прямо в Центр, копию на базу.

– Бедный Сидоров, – негромко сказал Вандерхузе. Комов коротко глянул на него и снова опустил глаза на бумаги.

Майка отодвинула кресло.

– Во всяком случае, с моим квартирьерством здесь покончено, – проговорила она. – Пойду собираться.

– Одну минуту, – остановил ее Комов. – Здесь спросили, что же теперь будет. Отвечаю. Как полномочный член Комиссии по контактам я беру командование на себя. Объявляю весь наш район зоной предполагаемого контакта. Яков, прошу вас, составьте соответствующую радиограмму. Все работы по проекту «Ковчег» прекращаются. Роботы демобилизуются и переводятся в трюм. Выход из корабля только с моего личного разрешения. Сегодняшняя охота с борзыми, вероятно, уже создала для контакта определенные трудности. Новые недоразумения были бы крайне нежелательны. Итак, Майя, прошу вас загнать глайдер в ангар. Стась, прошу заняться вашей киберсистемой... – Он поднял палец. – Но сначала отправьте запись дискуссии... – Он улыбнулся и хотел сказать еще что-то, но в это время затрещал дешифратор рации.

Вандерхузе протянул длинную руку, извлек из приемного кармана карточку радиограммы и пробежал ее глазами. Брови его задрались.

– Гм, – сказал он. – На лету схватывают. Вы, случайно, не индуктор, Геннадий?

Он передал карточку Комову. Комов тоже пробежал ее глазами, и брови его тоже задрались.

– Вот этого я уже не понимаю, – пробормотал он, бросил карточку на стол и прошелся по рубке, заложив руки за спину.

Я взял карточку. Майка возбужденно сопела у меня над ухом. Радиограмма действительно была неожиданная.

ЭКСТРЕННАЯ, НУЛЬ-СВЯЗЬ. ЦЕНТР, КОМИССИЯ ПО КОНТАКТАМ, ГОРБОВСКИЙ – НАЧАЛЬНИКУ БАЗЫ «КОВЧЕГ» СИДОРОВУ. НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ВСЕ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ. ПОДГОТОВИТЬ ВОЗМОЖНУЮ ЭВАКУАЦИЮ ЛИЧНОГО СОСТАВА И ОБОРУДОВАНИЯ. ДОПОЛНЕНИЕ – ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМКОНА КОМОВУ. ОБЪЯВЛЯЮ РАЙОН ЭР-2 ЗОНОЙ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО КОНТАКТА. ОТВЕТСТВЕННЫМ НАЗНАЧАЕТЕСЬ ВЫ.

ГОРБОВСКИЙ.

– Вот это да! – сказала Майка с восхищением. – Ай да Горбовский!

Комов остановился и исподлобья оглядел нас.

– Прошу всех приступить к выполнению моих распоряжений. Яков, найдите мне, пожалуйста, копию нашего экспертного заключения.

Они с Вандерхузе погрузились в изучение копии, Майка вышла загонять глайдер, а я устроился возле рации и принялся кодировать нашу дискуссию. Однако не прошло и двух минут, как дешифратор заверещал снова. Комов отпихнул Вандерхузе и кинулся к рации. Перегнувшись через мое плечо, он жадно читал строчки, появляющиеся на карточке.

ЭКСТРЕННАЯ, НУЛЬ-СВЯЗЬ. ЦЕНТР, КОМИССИЯ ПО КОНТАКТАМ, БАДЕР – КАПИТАНУ ЭР-2 ВАНДЕРХУЗЕ. СРОЧНО ПОДТВЕРДИТЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ОСТАНКОВ ДВУХ, ПОВТОРЯЮ, ДВУХ ТЕЛ НА БОРТУ КОРАБЛЯ И СОСТОЯНИЕ БОРТОВОГО ЖУРНАЛА, ОПИСАННОЕ В ВАШЕМ ЭКСПЕРТНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ.

БАДЕР.

Комов перебросил карточку Вандерхузе и покусал ноготь большого пальца.

– Вот, значит, в чем дело, – проговорил он. – Так-так… – Он повернулся ко мне. – Стась, что вы сейчас делаете?

– Кодирую, – ответил я угрюмо. Я ничего не понимал.

– Дайте-ка мне диктофон, – сказал он. – Пока воздержимся. – Он спрятал диктофон в нагрудный карман и аккуратно застегнул клапан. – Значит, так. Яков. Подтвердите то, о чем они вас просят. Стась. Передайте подтверждение. А потом, Яков, я вас попрошу… Вы

разбираетесь в этом лучше меня. Окажите мне любезность, поройтесь в нашей фильмотеке и просмотрите всю официальную документацию относительно бортовых журналов.

– Я и так знаю все относительно бортовых журналов, – возразил Вандерхузе недовольно. – Вы мне лучше просто скажите, что вас интересует.

– Я и сам толком не знаю, что меня интересует. Меня интересует, случайно или намеренно был стерт бортжурнал. Если намеренно, то почему. Вы же видите, Бадера это тоже интересует... Не ленитесь, Яков. Существуют же все-таки какие-то правила, предусматривающие уничтожение бортжурнала.

– Не существует таких правил, – проворчал себе под нос Вандерхузе и тем не менее отправился оказывать любезность.

Комов сел писать подтверждение, а я мучительно соображал, что же такое происходит, почему такая паника и как в Центре могли усомниться в совершенно четких формулировках заключения. Не могли же они там подумать, что мы спутали останки землянина с останками какого-нибудь аборигена и добавили лишний труп... И как все-таки, елки-палки, Горбовский умудрился догадаться о том, что у нас здесь происходит? Никакого толку от моих рассуждений не было, и я с тоской смотрел на рабочие экраны, где все было так ясно и понятно, и я с горечью подумал, что туповатый человек самым печальным образом напоминает кибера. Вот я сейчас сижу, тупо выполняю приказания: сказали кодировать – кодировал, сказали прекратить – прекратил, а что происходит, зачем все это, чем все это кончится – ничего не понимаю. Совершенно как мой Том: работает сейчас, бедняга, в поте лица, старается получше выполнить мои распоряжения и ведь знать не знает, что через десять минут я приду, загоню его со всей компанией в трюм, и работа его окажется вся ни к чему, и сам он станет никому не нужным...

Комов передал мне подтверждение, я закодировал текст, отослал его и хотел было уже пересесть за свой пульт, как вдруг раздался вызов с базы.

– ЭР-два? – осведомился глуховатый спокойный голос. – Сидоров говорит.

– ЭР-два слушает! – откликнулся я немедленно. – Говорит кибертехник Попов. Кого вам, Михаил Альбертович?

– Комова, пожалуйста.

Комов уже сидел в соседнем кресле.

– Я тебя слушаю, Атос, – сказал он.

– Что у вас там произошло? – спросил Сидоров.

– Аборигены, – ответил Комов, помедлив.

– Поподробнее, если можно, – сказал Сидоров.

– Прежде всего, имей в виду, Атос, – сказал Комов, – я не знаю и не понимаю, откуда Горбовский узнал об аборигенах. Мы сами начали понимать, что к чему, всего два часа назад. Я подготовил для тебя информацию, начал уже ее кодировать, но тут все так запуталось, что я вынужден просить тебя потерпеть еще некоторое время. Меня тут старик Бадер на такую идею навел... Одним словом, потерпи, пожалуйста.

– Понятно, – сказал Сидоров. – Но сам факт существования аборигенов достоверен?

– Абсолютно, – сказал Комов.

Было слышно, как Сидоров вздохнул.

– Ну что ж, – сказал он. – Ничего не поделаешь. Начнем все сначала.

– Мне очень жаль, что все так получилось, – произнес Комов. – Честное слово, жаль.

– Ничего, – сказал Сидоров. – Переживем и это. – Он помолчал. – Как ты намерен действовать дальше? Будешь ждать комиссию?

– Нет. Я начну сегодня же. И я очень прошу тебя: оставь ЭР-два с экипажем в моем распоряжении.

– Разумеется, – сказал Сидоров. – Ну, не буду тебе мешать. Если что-нибудь понадобится...

– Спасибо, Атос. И не огорчайся, все еще наладится.

– Будем надеяться.

Они распрощались. Комов покусал ноготь большого пальца, с каким-то непонятным раздражением посмотрел на меня и снова принялся ходить по рубке. Я догадывался, в чем тут дело. Комов и Сидоров были старые друзья, вместе учились, вместе где-то работали, но Комову всегда и во всем везло, а Сидорова за глаза называли Атос-неудачник. Не знаю, почему это так сложилось. Во всяком случае, Комов должен был сейчас испытывать большую неловкость. А тут еще радиограмма Горбовского. Получалось так, будто Комов информировал Центр, минуя Сидорова...

Я тихонько перебрался к своему пульту и остановил киберов. Комов уже сидел за столом, грыз ноготь и таращился на разбросанные листки. Я попросил разрешения выйти наружу.

– Зачем? – вскинулся было он, но тут же спохватился. – А, кибер-система... Пожалуйста, пожалуйста. Но как только закончите, немедленно возвращайтесь.

Я загнал ребятишек в трюм, демобилизовал их, закрепил на случай внезапного старта и постоял немного около люка, глядя на опустевшую стройплощадку, на белые стены несостоявшейся метеостанции, на айсберг, все такой же идеальный и равнодушный... Планета казалась мне теперь какой-то другой. Что-то в ней изменилось. Появился какой-то смысл в этом тумане, в карликовых зарослях, в скалистых отрогах, покрытых лиловатыми пятнами снега. Тишина осталась, конечно, но пустоты уже не было, и это было хорошо.

Я вернулся в корабль, заглянул в кают-компанию, где сердитый Вандерхузе копался в фильмотеке, чувства меня распирали, и я отправился утешаться к Майке. Майка расстелила по всей каюте огромную склейку и лежала на ней с лупой в глазу. Она даже не обернулась.

– Ничего не понимаю, – сказала она сердито. – Негде им здесь жить. Все мало-мальски годные для обитания точки мы обследовали. Не в болоте же они барахтаются, в самом деле!..

– А почему бы не в болоте? – спросил я, усаживаясь.

Майка села по-турецки и воззрилась на меня через лупу.

– Гуманоид не может жить в болоте, – объявила она веско.

– Почему же, – возразил я. – У нас на Земле были племена, которые жили даже на озерах, в свайных постройках...

– Если бы на этих болотах была хоть одна постройка... – сказала Майка.

– А может быть, они живут как раз под водой, наподобие водяных пауков, в таких воздушных колоколах?

Майка подумала.

– Нет, – сказала она с сожалением. – Он бы грязный был, грязи бы в корабль натащил...

– А если у них водоотталкивающий слой на коже? Водогрязеотталкивающий... Видела, как он лоснится? И удрал он от нас – куда? И такой способ передвижения – для чего?

Дискуссия завязалась. Под давлением многочисленных гипотез, которые я выдвигал, Майка принуждена была согласиться, что теоретически аборигенам ничто не препятствует жить в воздушных колоколах, хотя лично она, Майка, все-таки склонна полагать, что прав Комов, который считает аборигенов пещерными людьми. «Видел бы ты, какие там ущелья, – сказала она. – Вот бы куда сейчас слазить...» Она стала показывать по карте. Места даже на карте выглядели неприветливо: сначала полоса сопок, поросших карликовыми деревцами, за ней изборожденные бездонными разломами скалистые предгорья, наконец сам хребет, дикий и жестокий, покрытый вечными снегами, а за хребтом – бескрайняя каменистая равнина,

унылая, совершенно безжизненная, изрезанная вдоль и поперек глубокими каньонами. Это был насквозь промерзший, стылый мир, мир ощетинившихся минералов, и при одной мысли о том, чтобы здесь жить, ступать босыми ногами по этому каменному крошеву, кожа на спине у меня начинала ежиться.

«Ничего страшного, – утешала меня Майка, – я могу показать тебе инфрасъемки этой местности, под этим плато есть обширные участки подземного тепла, так что если они живут в пещерах, то от холода они во всяком случае не страдают». Я сейчас же вцепился в нее: а что же они едят? «Если есть пещерные люди, – сказала Майка, – могут быть и пещерные животные. А потом – мхи, грибы, и еще можно представить себе растения, которые осуществляют фотосинтез в инфракрасном свете». Я представил себе эту жизнь, жалкую пародию на то, что считаем жизнью мы, упорную, но вялую борьбу за существование, чудовищное однообразие впечатлений, и мне стало ужасно жалко аборигенов. И я объявил, что забота об этой расе – задача тоже достаточно благородная и благодарная. Майка возразила, что это совсем другое дело, что пантиане обречены, и если бы нас не было, они бы просто исчезли, прекратили бы свою историю; а что касается здешнего народа, то это еще бабушка надвое сказала, нужны ли мы им. Может быть, они и без нас процветают.

Это у нас старый спор. По моему мнению, человечество знает достаточно, чтобы судить, какое развитие исторически перспективно, а какое – нет. Майка же в этом сомневается. Она утверждает, что мы знаем ничтожно мало. Мы вошли в соприкосновение с двенадцатью разумными расами, причем три из них – негуманоидные. В каких отношениях мы находимся с этими негуманоидами, сам Горбовский, наверное, не может сказать: вступили мы с ними в контакт или не вступили, а если вступили, то по обоюдному ли согласию или навязали им себя, а может быть, они вообще воспринимают нас не как братьев по разуму, а как редкостное явление природы, вроде необычных метеоритов. Вот с гуманоидами все ясно: из девяти гуманоидных рас только три согласились иметь с нами что-либо общее, да и то леонидяне, например, охотно делятся с нами своей информацией, а нашу, земную, очень вежливо, но решительно отвергают. Казалось бы, совершенно очевидная вещь: квазиорганические механизмы гораздо рациональнее и экономичнее прирученных животных, но леонидяне от механизмов отказываются. Почему? Некоторое время мы спорили – почему, запутались, незаметно поменялись точками зрения (это у нас с Майкой бывает сплошь и рядом), и Майка наконец заявила, что все это вздор.

– Не в этом дело. Понимаешь ли ты, в чем состоит главная задача всякого контакта? – спросила она. – Понимаешь ли ты, почему человечество вот уже двести лет стремится к контактам, радуется, когда контакты удаются, горюет, когда ничего не получается?

Я, конечно, понимал.

– Изучение разума, – сказал я. – Исследование высшего продукта развития природы.

– Это, в общем, верно, – сказала Майка, – но это только слова, потому что на самом-то деле нас интересует не проблема разума вообще, а проблема нашего, человеческого разума, иначе говоря, нас прежде всего интересуем мы сами. Мы уже пятьдесят тысяч лет пытаемся понять, что мы такое, но, глядя изнутри, эту задачу не решить, как невозможно поднять себя самого за волосы. Надо посмотреть на себя извне, чужими глазами, совсем чужими...

– А зачем это, собственно, нужно? – агрессивно осведомился я.

– А затем, – веско сказала Майка, – что человечество становится галактическим. Вот как ты представляешь себе человечество через сто лет?

– Как представляю? – Я пожал плечами. – Да так же, как ты... Конец биологической революции, преодоление галактического барьера, выход в нуль-мир... ну, широкое распространение контактного видения, реализация П-абстрак-ций...

– Я тебя не спрашиваю, как ты себе представляешь достижения человечества через сто лет. Я тебя спрашиваю, как ты представляешь себе само человечество через сто лет?

Я озадаченно поморгал. Я не улавливал разницы. Майка смотрела на меня победительно.

– Про идеи Комова слыхал? – спросила она. – Вертикальный прогресс и все такое прочее...

– Вертикальный прогресс? – Что-то такое я вспоминал. – Подожди... Это, кажется, Боровик, Микава... Да?

Она полезла в стол и принялась там копаться.

– Вот ты тогда плясал в баре со своей Танечкой, а Комов собирал в библиотеке ребят... На! – Она протянула мне кристаллофон. – Послушай.

Я неохотно нацепил кристаллофон и стал слушать. Это было что-то вроде лекции, читал Комов, и запись начиналась с полуслова. Комов говорил неторопливо, просто, очень доступно, применяясь, по-видимому, к уровню аудитории. Он приводил много примеров, острил. Получалось у него примерно следующее.

Земной человек выполнил все поставленные им перед собой задачи и становится человеком галактическим. Сто тысяч лет человечество пробиралось по узкой пещере, через завалы, через заросли, гибло под обвалами, попадало в тупики, но впереди всегда была синева, свет, цель, и вот мы вышли из ущелья под синее небо и разлились по равнине. Да, равнина велика, есть куда разливаться. Но теперь мы видим, что это – равнина, а над нею – небо. Новое измерение. Да, на равнине хорошо, и можно вволю заниматься реализацией П-абстракций. И казалось бы, никакая сила не гонит нас вверх, в новое измерение... Но галактический человек не есть просто земной человек, живущий в галактических просторах по законам Земли. Это нечто большее. С иными законами существования, с иными целями существования. А ведь мы не знаем ни этих законов, ни этих целей. Так что, по сути, речь идет о формулировке идеала галактического человека. Идеал земного человека строился в течение тысячелетий на опыте предков, на опыте самых различных форм живого нашей планеты. Идеал человека галактического, по-видимому, следует строить на опыте галактических форм жизни, на опыте историй разных разумов Галактики. Пока мы даже не знаем, как подойти к этой задаче, а ведь нам предстоит еще решать ее, причем решать так, чтобы свести к минимуму число возможных жертв и ошибок. Человечество никогда не ставит перед собой задач, которые не готово решить. Это глубоко верно, но ведь это и мучительно...

Заканчивалась запись тоже на полуслове.

Честно говоря, все это до меня как-то не дошло. При чем здесь галактический идеал? По-моему, люди в космосе совсем не становятся какими-то там галактическими. Я бы сказал, наоборот, люди несут в космос Землю – земной комфорт, земные нормы, земную мораль. Если уж на то пошло, то для меня, да и для всех моих знакомых идеалом будущего является наша маленькая планетка, распространившаяся до крайних пределов Галактики, а потом, может быть, и за эти пределы. В таком примерно плане я принялся было излагать Майке свои соображения, но тут мы заметили, что в каюте, должно быть уже некоторое время, присутствует Вандерхузе. Он стоял, прислонившись к стене, теребил свои рысьи бакенбарды и разглядывал нас с задумчиво-рассеянным верблюжьим выражением на физиономии. Я встал и пододвинул ему стул.

– Спасибо, – произнес Вандерхузе, – но я лучше постою.

– А что вы думаете по этому поводу? – спросила его Майка воинственно.

– По какому поводу?

– По поводу вертикального прогресса.

Вандерхузе некоторое время молчал, затем вздохнул и произнес:

– Неизвестно, кто первый открыл воду, но уж наверняка это сделали не рыбы.

Мы напряженно задумались. Потом Майка просияла, подняла палец и сказала:

– О!

– Это не я, – меланхолично возразил Вандерхузе. – Это очень старый афоризм. Мне он давно нравился, только все не было случая его привести. – Он помолчал минуту, потом сказал: – Насчет бортжурнала. Представляете себе, действительно, было такое правило.

– Какой бортжурнал? – спросила Майка. – При чем здесь бортжурнал?

– Комов попросил меня отыскать правила, предписывающие уничтожать бортжурналы, – грустно объяснил Вандерхузе.

– Ну? – сказали мы одновременно.

Вандерхузе снова помолчал, потом махнул рукой.

– Срам, – сказал он. – Есть, оказывается, одно такое правило. Вернее, было. В старом «Своде инструкций». В новом – нет. Откуда мне было знать? Я же не историк.

Он надолго задумался. Майка нетерпеливо поерзала.

– Да, – сказал Вандерхузе. – Так вот, если ты потерпел крушение на неизвестной планете, населенной разумными существами – негуманоидами либо гуманоидами, но пребывающими в стадии ярко выраженной машинной цивилизации, – ты обязан уничтожить все космографические карты и бортовые журналы.

Мы с Майкой переглянулись.

– Этот бедняга, командир «Пеликана», – продолжал Вандерхузе, – наверное, здорово знал старинные законы. Ведь этому правилу, наверное, лет двести, его выдумали еще на заре звездоплавания, выдумали из головы, стараясь все предусмотреть. Но разве все предусмотришь? – Он вздохнул. – Конечно, можно было догадаться, почему с бортжурналом произошла такая штука. Вот Комов и догадался..., и вы знаете, как он реагировал на мое сообщение?

– Нет, – сказал я. – Как?

– Он кивнул и перешел к другим делам, – сказала Майка.

Вандерхузе посмотрел на нее с восхищением.

– Правильно! – сказал он. – Именно кивнул и именно перешел. Я бы на его месте целый день радовался, что я такой догадливый...

– Что же это, значит, получается? – сказала Майка. – Значит, либо негуманоиды, либо гуманоиды, но на стадии машинной

цивилизации. Ничего не понимаю. «Ты что-нибудь понимаешь?» – спросила она меня.

Меня очень забавляет эта манера Майки с гордостью объявлять, что она ничего не понимает. Я и сам так поступаю частенько.

– Они подъехали к «Пеликану» на велосипедах, – сказал я.

Майка нетерпеливо отмахнулась.

– Машинной цивилизации здесь нет, – пробормотала она. – Негуманоидов здесь тоже нет...

Голос Комова по интеркому провозгласил:

– Вандерхузе, Глумова, Попов! Прошу явиться в рубку.

– Началось! – сказала Майка, вскакивая.

Мы гурьбой ввалились в рубку. Комов стоял у стола и вкладывал в пластиковый чехол портативный транслятор. Судя по положению переключателей, транслятор был подключен к бортовому вычислителю. Лицо у Комова было непривычно озабоченное, какое-то очень человечное, без этой своеобычной, оскомину набившей ледяной сосредоточенности.

– Сейчас я выхожу, – объявил он. – Первый сикурс. Яков, вы остаетесь за старшего. Главное: обеспечить непрерывное круговое наблюдение и бесперебойную работу бортового вычислителя. При появлении аборигенов немедленно известить меня. Рекомендую установить у обзорных экранов трехсменную вахту. Майя, ступайте к экранам прямо сейчас же. Стась, там мои радиограммы. Передайте их как можно быстрее. Я думаю, нет надобности объяснять, почему никто не должен выходить из корабля. Вот и все. Давайте за дело.

Я подсел к рации и принялся за дело. Комов и Вандерхузе о чем-то негромко говорили у меня за спиной. Майка на другом конце рубки настраивала экраны кругового обзора. Я перебрал радиограммы. Да, пока мы решали философские проблемы, Комова здесь здорово теребили. Почти все его радиограммы были ответами. Иерархию срочности, за неимением специальных указаний, я устанавливал сам.

ЭР-2, КОМОВ – ЦЕНТР, ГОРБОВСКОМУ. БЛАГОДАРЮ ЗА ЛЮБЕЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, НЕ СЧИТАЮ СЕБЯ ВПРАВЕ ОТРЫВАТЬ ВАС ОТ БОЛЕЕ ВАЖНЫХ ЗАНЯТИЙ, БУДУ ДЕРЖАТЬ ВАС В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ.

ЭР-2, КОМОВ – ЦЕНТР, БАДЕРУ. ОТ ПОСТА ГЛАВНОГО КСЕНОЛОГА ПРОЕКТА «КОВЧЕГ-2» ВЫНУЖДЕН ОТКАЗАТЬСЯ. РЕКОМЕНДУЮ АМИРЭДЖИБИ.

ЭР-2, КОМОВ – БАЗА, СИДОРОВУ. УМОЛЯЮ, ИЗБАВЬ МЕНЯ ОТ ДОБРОВОЛЬЦЕВ.

ЭР-2, КОМОВ – ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР, ДОМБИНИ. ПРИСУТСТВИЕ ЗДЕСЬ ВАШЕГО НАУЧНОГО КОММЕНТАТОРА СЧИТАЮ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ. ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ ПРОШУ ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР, КОМИССИЯ ПО КОНТАКТАМ.

И так далее, в том же духе. Штук пять радиограмм было в Центральный информаторий. Этих я не понял.

Работа моя была в самом разгаре, когда дешифратор снова заверещал.

– Откуда? – спросил меня Комов с другого конца рубки. Он стоял рядом с Майкой и осматривал окрестности.

– «Центр, исторический отдел...» – прочитал я.

– А, наконец-то! – сказал Комов и направился ко мне.

– «...проект «Ковчег», – читал я. – ЭР-2, Вандерхузе, Комову. Информация. Обнаруженный вами корабль регистрационный номер такой-то есть экспедиционный звездолет «Пилигрим». Приписан к порту Деймос, отбыл второго января сто сорок четвертого года в свободный поиск в зону «Ц». Последний отзыв получен шестого мая сто сорок восьмого года из области «Тень». Экипаж: Семенова Мария-Луиза и Семенов Александр Павлович. С двадцать первого апреля сто сорок седьмого года пассажир: Семенов Пьер Александрович. Архив «Пилигрима» ...»

Там было еще что-то, но тут вдруг Комов засмеялся у меня за спиной, и я с изумлением обернулся к нему. Комов смеялся, Комов сиял.

– Так я и думал! – торжествующе сказал он, а мы все смотрели на него, разинув рты. – Так я и думал! Это человек! Вы понимаете, ребята? Это человек!

Глава пятая
ЛЮДИ И НЕЛЮДИ

– Стоять по местам! – весело скомандовал Комов, подхватил футляры с аппаратурой и удалился.

Я посмотрел на Майку. Майка стояла столбом посередине рубки с затуманенным взором и беззвучно шевелила губами – соображала.

Я посмотрел на Вандерхузе. Брови у Вандерхузе были высоко задраны, баки растопырились, впервые на моей памяти он был похож не на млекопитающее, а на черт-рыбу, вытащенную из воды. На обзорном экране Комов, обвешанный аппаратурой, бодро шагал к болоту вдоль строительной площадки.

– Так-так-так! – произнесла Майка. – Вот, значит, почему игрушки…

– Почему? – живо поинтересовался Вандерхузе.

– Он с ними играл, – объяснила Майка.

– Кто? – спросил Вандерхузе. – Комов?

– Нет. Семенов.

– Семенов? – удивленно переспросил Вандерхузе. – Гм… Ну и что?

– Семенов-младший, – нетерпеливо сказал я. – Пассажир. Ребенок.

– Какой ребенок?

– Ребенок Семеновых! – сказала Майка. – Понимаете, зачем у них было это шьющее устройство? Чепчики всякие там, распашоночки, подгузнички…

– Подгузнички! – повторил пораженный Вандерхузе. – Так это у них родился ребенок! Да-да-да-да! Я еще удивился, где они подцепили пассажира, и вдобавок однофамильца! Мне и в голову… Ну конечно!

Запел радиовызов. Я машинально откликнулся. Это оказался Вадик. Говорил он торопливо и вполголоса – видно, боялся, что засекут…

– Что у вас там, Стась? Только быстро, мы сейчас снимаемся…

– Такое быстро не расскажешь, – сказал я недовольно.

– А ты в двух словах. Корабль Странников нашли?

– Каких Странников? – поразился я. – Где?

– Ну, этих… которых Горбовский ищет…

– Кто нашел?

– Вы нашли! Нашли ведь? – Голос его вдруг изменился. – Проверяю настройку, – строго произнес он. – Выключаюсь.

– Что там нашли? – спросил Вандерхузе. – Какой еще корабль?

Я отмахнулся.

– Это так, любопытные… Значит, родился он в апреле сорок седьмого, а отозвались они в последний раз в мае сорок восьмого… Яков, как часто они должны были выходить на отзыв?

– Раз в месяц, – сказал Вандерхузе. – Если корабль находится в свободном поиске…

– Минуточку, – сказал я. – Май, июнь…

– Тринадцать месяцев, – сказала Майка.

Я не поверил и пересчитал сам.

– Да, – сказал я.

– Невероятно, правда?

– Что, собственно, невероятно? – осторожно спросил Вандерхузе.

– В день крушения, – сказала Майка, – младенцу был год и один месяц. Как же он выжил?

– Аборигены, – сказал я. – Семенов стер бортжурнал. Значит, кого-то увидел… И нечего было Комову на меня лаять! Это был настоящий детский плач! Что я, годовалых детей не слышал?.. Они все это записали, а когда он вырос, дали ему прослушать…

– Чтобы записать, нужно иметь технику, – сказала Майка.

– Ну, не записали, так запомнили, – сказал я. – Это неважно.

– Ага, – произнес Вандерхузе. – Он увидел либо негуманоидов, либо гуманоидов, но в стадии машинной цивилизации. И поэтому стер бортжурнал. По инструкции.

– На машинную цивилизацию не похоже, – сказала Майка.

– Значит, негуманоиды… – До меня вдруг дошло. – Ребята, – сказал я, – если здесь негуманоиды, то это такой случай, что я просто не знаю… Человек-посредник, понимаете? Он – и человек и нечеловек, гуманоид и негуманоид! Такого еще никогда не бывало. О таком даже мечтать никто не рискнул бы!

Я был в восторге. Майка тоже была в восторге. Перспективы ослепляли нас. Туманные, неясные, но ослепительно радужные. Дело было не только в том, что впервые в истории становился возможным уверенный контакт с негуманоидами. Человечество получало уникальнейшее зеркало, перед человечеством открывалась дверь в совершенно недоступный ранее, непостижимый мир принципиально иной психологии, и смутные комовские идеи вертикального прогресса обретали наконец экспериментальный фундамент…

– Чего ради негуманоиды станут возиться с человеческим ребенком? – задумчиво произнес Вандерхузе. – Зачем это им и что они в этом понимают?

Перспективы несколько потускнели, но Майка сейчас же сказала с вызовом:

– На Земле известны случаи, когда негуманоиды воспитывали человеческих детей.

– Так то на Земле! – сказал Вандерхузе грустно.

И он был прав. Все известные разумные негуманоиды отстояли от человека гораздо дальше, чем волки, медведи или даже осьминоги. Утверждал же такой серьезный специалист, как Крюгер, что разумные слизни Гарроты рассматривают человека со всей его техникой не как явление реального мира, а как плод своего невообразимого воображения…

– И тем не менее он уцелел и вырос! – сказала Майка.

И она тоже была права.

Я – человек по натуре скептический. Я не люблю зарываться и чрезмерно фантазировать. Не то что Майка. Но тут больше просто ничего нельзя было предположить. Годовалый ребенок. Ледяная пустыня. Один. Ведь ясно же, что сам по себе он выжить не смог бы. Причем с другой стороны – стертый бортжурнал. Что тут еще можно придумать? Какие-нибудь пришельцы-гуманоиды случайно оказались поблизости, выкормили младенца, а потом улетели... Чепуха ведь...

– А может быть, он не выжил? – сказала Майка. – Может быть, все, что от него осталось, это его плач и голоса его родителей?

На секунду мне показалось, что все рухнуло. Вечно эта Майка что-нибудь выдумает. Но я тут же сообразил.

– А как он проходит в корабль? Как он командует моими киберами? Нет, ребята, либо мы встретили в космосе точную – понимаете? – точную, идеальную реплику человечества, либо это космический маугли. Не знаю, что более невероятно.

– И я не знаю, – сказала Майка.

– И я, – сказал Вандерхузе.

Из репродуктора раздался голос Комова:

– Внимание, на борту! Я вышел на позицию. Смотреть вокруг хорошенько. Мне отсюда видно не много. Радиограммы были?

Я заглянул в приемный карман.

– Целая пачка, – сказал я.

– Целая пачка, – сказал Вандерхузе в микрофон.

– Стась, мои радиограммы вы отправили?

– А... Еще не все, – сказал я, поспешно усаживаясь за рацию.

– Еще не все, – сообщил Вандерхузе в микрофон.

– Хлев на палубе! – объявил Комов. – Хватит философствовать, принимайтесь за дело. Майя, следите за экраном. Забудьте обо всем и следите за экраном. Попов, чтобы последняя моя радиограмма через десять минут была в эфире. Яков, зачитайте, что там пришло на мое имя...

Когда я закончил передачу и осмотрелся, все были заняты своими делами. Майка сидела за пультом обзора – на панорамном экране виднелся Комов, крошечная фигурка у самого берега; над болотом шевелился туман, и больше никакого движения на всех трехстах шестидесяти градусах в радиусе семи километров от корабля не было заметно. Комов сидел к нам спиной: очевидно, он ждал, что наш маугли появится из болота. Майка медленно поворачивала голову из стороны в сторону, озирая окрестности, и время от времени давала на какой-нибудь подозрительный участок максимальное увеличение –

тогда на экранах малых мониторов появлялся то поникший куст, то лиловая тень дюны на искрящемся песке, то неопределенное пятно в редкой щетине карликовых деревьев.

Вандерхузе монотонно бубнил в микрофон: «...варианты психотипа двоеточие шестнадцать эн дробь тридцать два дзета или шестнадцать эм... мама... дробь тридцать один эпсилон...» – «Достаточно, – говорил Комов. – Следующую». – «Земля Лондон Картрайт, уважаемый Геннадий, еще раз напоминаю о вашем обещании дать отзыв...» – «Достаточно. Следующую». – «Прессцентр...» – «Достаточно. Дальше. Яков, читайте только то, что из Центра или с базы». Пауза. Вандерхузе перебирает карточки. «Центр Бадер затребованная вами аппаратура нуль-транспортируется на базу вышлите ваши предварительные соображения по следующим пунктам первое другие вероятные зоны обитания аборигенов...» – «Достаточно. Дальше...»

Тут меня вызвала база. Сидоров спрашивал Комова.

– Комов на контакте, Михаил Альбертович, – сказал я виновато.

– Контакт начался?

– Нет еще. Ждем.

Сидоров кашлянул.

– Ну ладно, я соединюсь с ним попозже. Это не срочно. – Он помолчал. – Волнуетесь?

Я прислушался к своим ощущениям.

– Н-не то, что волнуемся... Странно как-то. Как во сне. Как в сказке.

Сидоров вздохнул.

– Не буду мешать, – сказал он. – Желаю удачи.

Я поблагодарил. Затем я оперся локтем на пульт, положил подбородок на ладонь и снова прислушался к своим ощущениям. Да, странно как-то. Человек – нечеловек. Наверное, на самом деле его нельзя называть человеком. Человеческий детеныш, воспитанный волками, вырастает волком. Медведями – медведем. А если бы человеческого детеныша взялся воспитывать спрут? Не съел бы, а стал воспитывать... Дело даже не в этом. И волк, и медведь, и спрут – все они лишены разума. Во всяком случае, того, что ксенологи называют разумом. А вот если нашего маугли воспитали существа разумные, но в то же время в некотором смысле спруты?.. И даже еще более чужие, чем спруты... А ведь это они научили его выбрасывать защитные фантомы, научили мимикрии, – в человеческом организме нет ничего для таких штучек, значит это искусственное приспособление... Постой, а для чего ему мимикрия? От кого это он приучен защищаться? Планета-то ведь пуста! Значит, не пуста.

Я представил себе огромные пещеры, залитые призрачным лиловым светом, мрачные закоулки, в которых таится смертельная опасность, и маленького мальчика, который крадется вдоль липкой стены, готовый в любую секунду исчезнуть, раствориться в неверном сиянии, оставив врагу свою зыбкую, расплывающуюся тень. Бедный мальчуган. Его надо немедленно вывезти отсюда... Стоп-стоп-стоп! Это все чепуха. Это все не бывает. Не бывает так, чтобы существовала сложная, мудрая, многоопытная жизнь и не кишела бы вокруг нее жизнь попроще, поглупее. Сколько здесь обнаружили видов живых существ? Не то одиннадцать, не то двенадцать – и это во всем диапазоне от вируса до человеческого детеныша. Нет, так не бывает. Тут что-то не то. Ладно, скоро узнаем. Мальчуган нам все расскажет. А если не расскажет? Много ли человеческие волчата рассказали людям о волках? На что же рассчитывает Комов? Мне захотелось сейчас же, немедленно спросить у Комова, на что он рассчитывает.

Вандерхузе дочитал последнюю радиограмму, вытянулся в кресле, заложил руки за голову и произнес задумчиво:

– А ведь я знавал Семеновых. Должен вам сказать, очень были славные и в то же время очень странные люди. Романтики старины. Конечно, Шура знал все старинные законы, он их вечно цитировал. Нам они казались смешными и нелепыми, а он находил в них какую-то прелесть... Катастрофа, агония, страшные чудовища лезут в корабль... Уничтожить бортжурнал, стереть свой след в пространстве – ведь на том конце следа Земля! Да, это очень на него похоже. – Вандерхузе помолчал. – Между прочим, таких, кто ищет уединения, гораздо больше, чем мы с вами думаем. Ведь уединение – не такая уж плохая вещь, как вы полагаете?

– Не для меня, – коротко сказала Майка, не отрываясь от экрана.

– Это потому, что ты молода, – возразил Вандерхузе. – В твоем возрасте Шура Семенов тоже любил дружить со многими, и чтобы многие дружили с ним. И чтобы работать вместе – большой шумной компанией. И чтобы устраивать мозговые атаки, и все время быть в веселом напряжении, и чтобы все время соревноваться, все равно в чем – в прыжках ли с крыльями, в количестве острот на единицу времени, в знании наизусть каких-нибудь таблиц... во всем. А в промежутках во все горло распевать под нэкофон куплеты собственного сочинения. – Вандерхузе вздохнул. – Обычно это проходит с началом настоящей любви... Впрочем, об этом я ничего не знаю. Я знаю только, что с тридцать четвертого года Шурик и Мари ушли в группу свободного поиска. С тех пор я их, собственно, ни разу не видел. Один раз говорил по видео... Я был тогда диспетчером, и Шура запрашивал

у меня разрешение на выход с Пандоры. – Вандерхузе снова вздохнул. – Между прочим, у Шуры отец жив и сегодня, Павел Александрович. Надо будет обязательно к нему зайти, когда вернемся... – Он помолчал. – Если хотите знать, – объявил он, – я всегда был против свободного поиска. Архаизм. Бродят по космосу в одиночку, опасно, научный выход ничтожный, а иногда мешают... Помните историю с Каммерером? Они все притворяются, будто мы уже овладели космосом, будто мы в космосе как дома. Неверно это. И никогда это не будет верно. Космос всегда будет космосом, а человек всегда останется всего лишь человеком. Он будет только становиться все более и более опытным, но никакого опыта не хватит, чтобы чувствовать себя в космосе как дома... По-моему, Шурик и Мари так ничего и не нашли в космосе, во всяком случае, ничего такого, о чем стоило бы рассказать хотя бы за столом в кают-компании.

– Но зато они были счастливы, – сказала Майка, не оборачиваясь.

– Почему ты так думаешь?

– Иначе бы они вернулись! Зачем им было что-то искать, если они и без того были счастливы? – Майка сердито посмотрела на Вандерхузе. – Что вообще стоит искать, кроме счастья?

– Я мог бы тебе ответить, что тот, кто счастлив, ничего и не ищет, – сказал Вандерхузе, – но я не подготовлен к такому глубокому спору, да и ты тоже, как ты полагаешь? Рано или поздно мы начнем обобщать понятие счастья на негуманоидов...

– На борту! – раздался голос Комова. – Смотреть внимательно!

– Именно это я и хотел сказать, – проговорил Вандерхузе, и Майка снова отвернулась к экрану.

Теперь мы смотрели на экран все втроем. Солнце было совсем низко, оно висело над самыми вершинами, и на сопках уже лежали тени. Ярко отсвечивала посадочная полоса, шапка пара над болотом казалась теперь тяжелой и неподвижной, а верхушка ее, через которую пробивался солнечный свет, сделалась пронзительно-фиолетовой. Все вокруг было очень неподвижно, даже Комов.

– Пять часов, – негромко сказал Вандерхузе. – Не пора ли нам обедать? Геннадий, как вы будете есть?

– Мне ничего не надо, – сказал Комов. – Я захватил с собой. А вы поешьте, потом может стать не до того.

Я поднялся.

– Пойду готовить. Какие заказы?

И тут Вандерхузе сказал:

– Вижу!

– Где? – сейчас же спросил Комов.

– Идет к нам по берегу, со стороны айсберга. Градусах в шестидесяти влево от вашего направления на корабль.

– Ага, – сказала Майка. – Я тоже вижу! Действительно, идет.

– Не вижу! – нетерпеливо сказал Комов. – Дайте координаты по дальномеру.

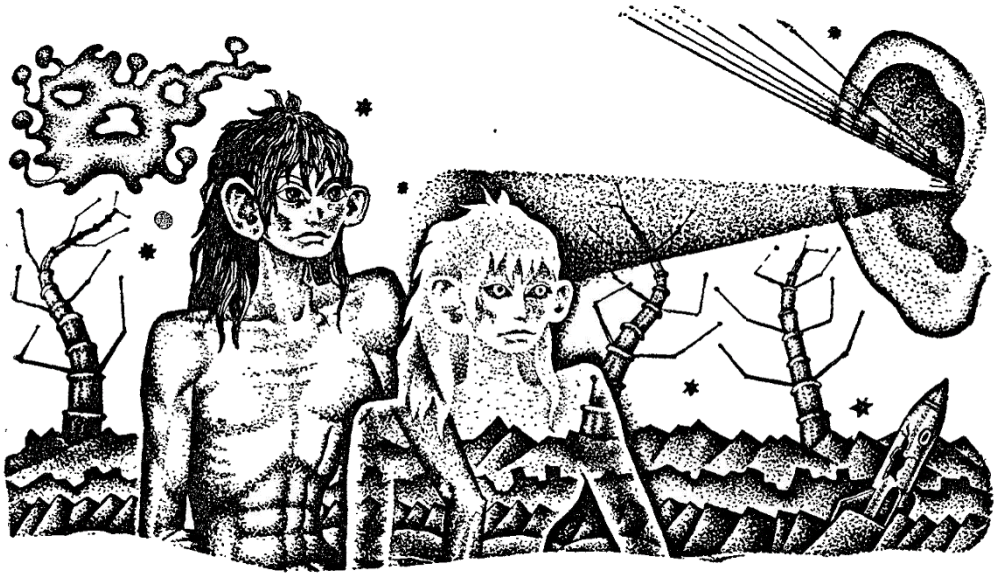
Вандерхузе сунул лицо в нарамник дальномера и продиктовал координаты. Теперь и я увидел: вдоль самой кромки черной воды, не спеша, словно бы нехотя, брела к кораблю зеленоватая, странно скособоченная фигурка.

– Нет, не вижу, – сказал Комов с досадой. – Рассказывайте мне.

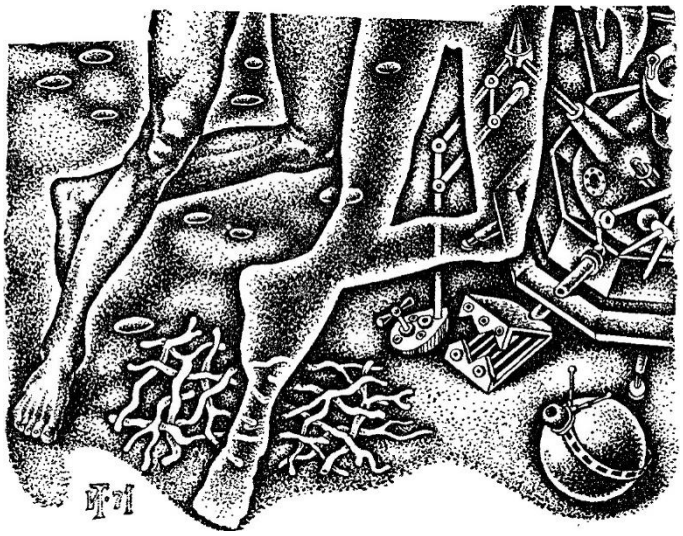
– Н-ну, значит, так... – начал Вандерхузе и откашлялся. – Идет медленно, смотрит на нас... В руках охапка каких-то прутьев... Остановился, поковырял ногой в песке... Бр-р-р, по такой холодине – нагишом... Пошел дальше... Смотрит в вашу сторону, Геннадий... Любопытно, анатомия у него не человеческая, точнее, не совсем человеческая... Вот опять остановился и все время смотрит в вашу сторону. Неужели вы его не видите, Геннадий? Он же прямо у вас на траверзе, к вам он сейчас ближе, чем к нам...

Пьер Александрович Семенов, космический маугли, приближался. Сейчас до него было метров двести, и, когда Майка давала на мониторе увеличенное изображение, можно было рассмотреть даже его ресницы. Заходящее солнце как раз проглянуло в промежуток между двумя горными пиками, снова стало совсем светло, длинные тени протянулись вдоль пляжа.

Это был ребенок, мальчишка лет двенадцати, угловатый подросток, костлявый, длинноногий, с острыми плечами и локтями, но этим сходство с обычным мальчишкой и ограничивалось. Уже лицо у него не было мальчишеское – с человеческими чертами, но совершенно неподвижное, окаменевшее, застывшее, как маска. Только глаза у него были живые, большие, темные, и он стрелял ими налево и направо, словно сквозь прорези в маске. Уши у него были большие, оттопыренные, правое заметно больше левого, а из-под левого уха тянулся по шее до ключицы темный неровный шрам – грубый, неправильно заживший рубец. Рыжеватые свалявшиеся волосы беспорядочными космами спадали на лоб и на плечи, торчали в разные стороны, лихим хохлом вздымались на макушке. Жуткое, неприятное лицо, и вдобавок – мертвенного, синевато-зеленого оттенка, лоснящееся, словно смазанное каким-то жиром. Впрочем, так же лоснилось и все его тело. Он был совершенно голый, и, когда он подошел к кораблю совсем близко и бросил на песок охапку сучьев, стало видно, какой он весь жилистый, без всяких следов этой трогательной детской



незащищенности. Он был костлявый, да, но не тощий – удивительно, по-взрослому жилистый, не мускулистый, не атлет, а именно жилистый, и еще стали видны страшные рваные шрамы – глубокий шрам на левом боку через ребра до самого бедра, отчего он и был таким скособоченным, и еще шрам на правой ноге, и глубокая вдавлина посередине груди. Да, видно, нелегко ему здесь пришлось. Планета старательно жевала и грызла человеческого детеныша, но, видимо, привела-таки его в соответствие с собой.



Он был теперь шагах в двадцати, у самого края мертвого пространства. Охапка прутьев лежала у его ног, а он стоял, опустив руки, и смотрел на корабль; он не мог, конечно, видеть объективов, но смотрел он, казалось, прямо нам в глаза. И поза у него была нечеловеческая. Не знаю, как это объяснить. Просто люди не стоят в такой позе. Никогда не

стоят. Ни отдыхая, ни в ожидании, ни в напряжении. Левая нога у него была отставлена чуть назад и слегка согнута в колене, но всем весом он опирался именно на нее. И вперед он выставил левое плечо. У человека, готовящегося метнуть диск, можно на мгновенье уловить подобную позу – долго так не простоишь, это неудобно, да и некрасиво, а он стоял, стоял несколько минут, а потом вдруг присел и стал перебирать свои прутья. Я сказал – присел, но это неправильно: он опустился на левую ногу, правую же, не сгибая, вытянул вперед – даже смотреть на него было неудобно, особенно когда он принялся возиться с прутьями, помогая рукам правой ногой. Потом он поднял к нам лицо, протянул руки – в каждом кулаке по прутику – и тут началось такое, что я вообще не берусь описывать.

Могу только сказать: лицо его ожило, и не просто ожило – оно взорвалось движениями. Не знаю, сколько там на лице у человека мускулов, но у него они все разом пришли в движение, и каждый самостоятельно, и каждый беспрестанно, и каждый необычайно сложно. Я не знаю, с чем это сравнить. Может быть, с бегом ряби на воде в солнечном свете, только рябь однообразна и хаотична, однообразна в своей хаотичности, а здесь сквозь фейерверк крошечных движений проглядывал какой-то определенный ритм, какой-то осмысленный порядок, это не была болезненная конвульсивная дрожь, агония, паника. Это был танец мускулов, если можно так выразиться. И начался этот танец с лица, а затем заплясали плечи, грудь, запели руки, и сухие прутья затрепетали в сжатых кулаках, принялись скрещиваться, сплетаться, бороться – с шорохом, с барабанной дробью, со стрекотом, словно целое поле кузнечиков развернулось под кораблем. Это длилось не больше минуты, но у меня зарябило в глазах и заложило уши. А затем все пошло на убыль. Пляска и пение ушли из палочек в руки, из рук в плечи, затем в лицо, и все кончилось. На нас снова глядела неподвижная маска. Мальчик легко поднялся, шагнул через кучку прутьев и вдруг ушел в мертвое пространство.

– Почему вы молчите? – надрывался Комов. – Яков! Яков! Вы слышите меня? Почему молчите?

Я очнулся и поискал глазами Комова. Ксенопсихолог стоял в напряженной позе, лицом к кораблю, длинная тень тянулась по песку от его ног. Вандерхузе откашлялся и проговорил:

– Слышу.

– Что произошло?

Вандерхузе помедлил.

– Не берусь рассказать, – сказал он. – Может быть, вы, ребята?

– Он разговаривал! – произнесла Майка сдавленным голосом. – Это он разговаривал!..

– Слушайте, – сказал я. – А он не к люку пошел?

– Возможно, – сказал Вандерхузе. – Геннадий, он ушел в мертвое пространство. Возможно, он пошел к люку...

– Следите за люком, – быстро скомандовал Комов. – Если он войдет, сейчас же сообщите мне, а сами запритесь в рубке... – Он помолчал. – Жду вас через час, – проговорил он с какой-то новой интонацией, обычным спокойно-деловым тоном и словно бы отвернувшись от микрофона. – За час вы управитесь?

– Не понял, – сказал Вандерхузе.

– Запритесь! – раздраженно закричал Комов прямо в микрофон. – Понимаете? Запритесь, если он войдет в корабль!

– Это я понял, – сказал Вандерхузе. – Где вы нас ждете через час?

Наступило молчание.

– Жду вас через час, – снова отвернувшись от микрофона, деловито повторил Комов. – За час вы управитесь?

– Где? – сказал Вандерхузе. – Где ждете?

– Яков, вы меня слышите? – громко спросил Комов с беспокойством.

– Слышу вас отлично, – произнес Вандерхузе и растерянно оглянулся на нас. – Вы сказали, что ждете нас через час. Где?

– Я не говорил... – начал Комов, но тут его прервал голос Вандерхузе, такой же глуховатый, словно в отдалении от микрофона:

– А не пора ли нам обедать? Стась там, наверное, соскучился, как ты полагаешь, Майка?

Майка нервно захихикала.

– Это же он... – проговорила она, тыча пальцем в экран. – Это же он... там...

– Что происходит, Яков? – гаркнул Комов.

Странный голос – я даже не сразу понял чей – произнес:

– Я тебя, старикашечку моего, вылечу, на ноги поставлю, в люди выведу...

Майка, уткнувшись лицом в ладони, икала от нервного хохота, поджимая колени к подбородку.

– Ничего особенного, Геннадий, – произнес Вандерхузе, вытирая платком вспотевший лоб. – Недоразумение. Клиент разговаривает нашими голосами. Мы его слышим через внешнюю акустику. Маленькое недоразумение, Геннадий.

– Вы его видите?

– Нет... Впрочем, вот он появился.

Мальчик снова стоял возле своих прутьев, уже в другой, но такой же неудобной позе. Он опять глядел нам прямо в глаза. Потом рот его приоткрылся, губы странно искривились, обнажив десны и зубы в левом углу рта, и мы услышали голос Майки:

– В конце концов, если бы у меня были ваши бакенбарды, я бы, может быть, относилась к жизни совсем по-другому...

– Сейчас он говорит голосом Майки, – невозмутимо сообщил Вандерхузе. – А сейчас посмотрел в вашу сторону. Вы его все еще не видите?

Комов молчал. Мальчик все стоял, повернув голову в его сторону, совершенно неподвижный, словно окаменелый, – странная фигура в сгущающихся сумерках. И вдруг я понял, что это не он. Фигура расплывалась. Сквозь нее проступила темная кромка воды.

– Ага, вижу! – с удовлетворением сказал Комов. – Он стоит шагах в двадцати от корабля, так?

– Так, – сказал Вандерхузе.

– Не так, – сказал я.

Вандерхузе присмотрелся.

– Д-да, пожалуй, не так, – согласился он. – Это, пожалуй... Как вы это называете, Геннадий? Фантом?

– Стойте, – сказал Комов. – Вот теперь я его вижу по-настоящему. Он идет ко мне.

– Ты видишь его? – спросила меня Майка.

– Нет, – ответил я. – Темно уже.

– Не в темноте дело, – возразила Майка.

Наверное, она была права. Солнце, правда, зашло, и сумерки сгустились, но Комова я на экране различал и видел тающий фантом, и взлетную полосу, и айсберг вдали, а вот мальчика я больше не видел.

Потом я увидел, что Комов сел.

– Подходит, – проговорил он вполголоса. – Сейчас я буду занят. Не отвлекайте меня. Продолжайте внимательно следить за окрестностями, но никаких локаторов, никаких активных средств вообще. Попробуйте обойтись инфраоптикой. Все.

– Доброй охоты, – сказал Вандерхузе в микрофон и поднялся. Вид у него был торжественный. Он строго посмотрел на нас поверх носа, привычным плавным движением взбил бакенбарды и произнес: – Стада в хлевах, свободны мы до утренней зари.

Майка судорожно зевнула и проговорила:

– Спать мне хочется, что ли? Или это от нервов?

– Между прочим, спать нам теперь придется мало, – заявил Вандерхузе. – Давайте сделаем так. Пусть Майка идет отдыхать. Я

останусь у экрана, а Стась пусть спит у рации. Через четыре часа я его разбужу, как ты полагаешь, Стась?

Я не возражал, хотя и сомневался, что Комов столько высидит на морозе. Майка, продолжая зевать, не возражала тоже. Когда она ушла, я предложил Вандерхузе сварить кофе, но он отказался под каким-то смехотворным предлогом – наверное, он хотел, чтобы я поспал. Тогда я устроился возле рации, просмотрел новые радиограммы, не обнаружил ничего срочного и передал их Вандерхузе.

Некоторое время мы молчали. Спать совсем не хотелось. Я так и этак прикидывал, какими же должны быть воспитатели Пьера Семенова. Человеческий детеныш, воспитанный волком, бегает на четвереньках и рычит. Медвежий человек – тоже. Вообще воспитание полностью определяет модус вивенди любого существа. То есть не то, чтобы полностью, но заметно определяет. Почему, собственно, наш маугли остался человеком прямостоящим? Это наводит на определенные размышления. Он ходит на ногах, он активно пользуется руками, это само по себе не есть что-то врожденное, это воспитывается. Он может говорить. Конечно, он не понимает, что он говорит, но видно, что та часть мозга, которая ведает речью, задействована у него великолепно... И ведь он запоминает все с одного раза! Странно, очень странно. Негуманоиды, о которых я знаю, были бы совершенно неспособны так воспитать человеческого детеныша. Прокормить его, приручить – могли бы. Исследовать в своих странных лабораториях, похожих на гигантскую действующую модель кишечника, – тоже могли бы. Но увидеть в нем человека, идентифицировать в нем человека, сохранить в нем человека – вряд ли. Неужели это все-таки гуманоиды? Ничего не понимаю.

– Во всяком случае, – сказал вдруг Вандерхузе, – они гуманны в самом широком смысле слова, какой только можно придумать, раз они спасли жизнь нашему младенцу, и они гениальны, ибо сумели воспитать его похожим на человека, ничего, может быть, не зная о руках и ногах. Как ты полагаешь, Стась?

Я неопределенно хмыкнул, и он замолчал.

В рубке было тихо. База нас не беспокоила, Комов тоже на связь не выходил; на темном экране вспыхивали, переливаясь, радужные полотнища сполохов, и в их призрачном свете был едва виден Комов, сидевший совершенно неподвижно, а мальчика я так и не сумел разглядеть ни разу. Но дело у них явно шло на лад, потому что большой бортовой вычислитель время от времени принимался тихонько чавкать и урчать, переваривая и организуя информацию, получаемую с транслятора. Потом я задремал, и приснились мне, помнится, какие-

то хмурые небритые осьминоги в синих спортивных костюмах и с зонтиками, они учили меня ходить, а мне было так смешно, что я все время падал, вызывая их крайнее неудовольствие. Проснулся я от мягкого и неприятного толчка в сердце. Что-то произошло. Что-то тревожное.

Вандерхузе сидел, напряженно пригнувшись к экрану, вцепившись руками в подлокотники.

– Стась! – окликнул он негромко.

– Да?

– Посмотри на экран.

Я без того уже смотрел на экран, но не видел пока ничего особенного. Как и прежде, полыхали и переливались небесные огни, Комов сидел в прежней позе, далекий айсберг отсвечивал розовым и зеленым. Потом я увидел.

– Над горами? – шепотом спросил я.

– Да. Именно над горами.

– Что это такое?

– Не знаю.

– Давно?

– Не знаю. Я заметил эту штуку минуты две назад. Думал – смерч...

Я сначала тоже подумал, что это смерч. Над бледной иззубренной линией хребта, на фоне радужных полотнищ поднималось что-то вроде длинного тонкого хлыста – черная кривая, словно царапина на экране. Этот хлыст едва заметно вибрировал, гнулся, иногда словно бы проседал и снова распрямлялся, и заметно было, что он не гладкий, а как бы суставчатый, похожий на ствол бамбука. Он торчал над хребтом, до которого было по крайней мере километров десять, словно кто-то высунул из-за вершин исполинское удилище. Он придавал знакомому пейзажу на экране нереальный вид декораций кукольного театра. Смотреть на это было как-то противоестественно и жутко-смешно, как если бы над вершинами появилась неправдоподобно громадная физиономия. В общем, это было что-то вне всяких масштабов, что-то невозможное, вне всяких представлений о пропорциях.

– Они? – спросил я шепотом.

– Невозможно, чтобы это было естественное... – проговорил Вандерхузе. – И невозможно, чтобы это было искусственное.

Я и сам чувствовал то же самое.

– Надо сообщить Комову, – сказал я.

– Комов отключился, – ответил Вандерхузе. Он наводил дальномер. – Расстояние не меняется. Четырнадцать километров. И эта штука страшно вибрирует, вся трясется. Амплитуда не меньше сотни метров... Совершенно невозможная штука.

– Какая же у него высота? – пробормотал я.

– Около шестисот метров.

– Елки-палки, – сказал я.

Он вдруг вскочил и нажал сразу две клавиши: наружного аварийного радиовызова «Всем немедленно вернуться на борт» и внутреннего сигнала «Всем собраться в рубке». Потом он повернулся ко мне и непривычно отрывистым голосом скомандовал:

– Стась! Бегом на пост УАС. Приведи в готовность носовую ПМП. Сиди и жди. Без команды – ничего.

Я выскочил в коридор. Из-за дверей кают слышались приглушенные отрывистые звонки сигнала сбора. Навстречу мне мчалась Майка, на ходу натягивая куртку. Она была в туфлях на босу ногу.

– Что случилось? – сиплым со сна голосом спросила она еще издали.

Я махнул рукой и по трапу ссыпался вниз, в пост управления активными средствами. Меня слегка лихорадило, но в общем я был спокоен. В известном смысле я был даже горд: ситуация складывалась редкостная. Настолько редкостная, что я был уверен: с момента первого старта этого корабля на пост УАС никто еще не заходил – разве что работники космодромов для профилактического осмотра автоматики.

Я повалился в кресло, врубил круговой экран, отключил автоматику ПМП и сразу же заблокировал кормовую установку, чтобы в суматохе не выпалить в надир. Затем я взялся за верньеры ручной наводки, и изображение на экране поползло через черное перекрестие перед моими глазами: прополз клыкастый айсберг, проползла туманная масса над болотами, прополз Комов – теперь он стоял, озаряемый сполохами, спиной к нам и глядел в сторону гор... Еще немного повыше. Вот он. Черный, дрожащий, нелепый, совершенно невозможный. А рядом – второй, он покороче, но растет на глазах, вытягивается, гнется... Елки-палки, да как же они это делают? Какие же это мощности нужны и что это за материал такой? Ну и зрелище!.. Теперь это было так, будто чудовищный таракан прячется за горами и высунул оттуда свои усы. Я прикинул телесный угол поражения и установил перекрестие таким образом, чтобы одним ударом поразить обе цели. Теперь оставалось только толкнуть ногой педаль...

– Пост УАС! – гаркнул Вандерхузе.

– Есть пост УАС! – отозвался я.

– Готовность!

– Есть готовность!

По-моему, это у нас очень лихо получилось. Как в кино.

– Обе цели видишь? – обыкновенным голосом спросил Вандерхузе.

– Да. Накрываю обе одним импульсом.

– Обрати внимание: сорок градусов к востоку – третья цель.

Я взглянул: действительно, еще один гигантский ус гнулся и трепетал в неверном свете сполохов. Это мне не понравилось. Успею или нет? Чего там, должен успеть... Я мысленно прорепетировал, как я выпускаю импульс, а затем двумя движениями разворачиваю пушку на третью цель. Ничего, успею.

– Вижу третью цель, – сказал я.

– Это хорошо, – сказал Вандерхузе. – Но ты, однако, не горячись. Стрелять только по моей команде.

– Вас понял, – буркнул я.

Вот даст он по кораблю каким-нибудь... этим... искривителем пространства каким-нибудь, дождешься тогда от тебя команды. Меня уже заметно трясло. Я стиснул руки, чтобы привести себя в порядок. Потом я посмотрел, как там Комов. Комов был ничего себе. Он снова сидел в прежней позе, повернувшись к гигантскому таракану боком. Я сразу успокоился, тем более что обнаружил наконец рядом с Комовым крошечную черную фигурку. Мне даже стало неловко.

Чего это я вдруг? Какие, собственно, основания для паники? Ну, выставил усы... Большие усы, не спорю, я бы даже сказал – сногсшибательной величины усы. Но, в конце концов, никакие это, вероятно, не усы, а что-нибудь вроде антенн. Может быть, они просто за нами наблюдают. Мы за ними, а они за нами. И даже, собственно, не за нами, наверное, а за своим воспитанником, за Пьером Александровичем Семеновым наблюдают – как, мол, он здесь, не обижают ли его...

Вообще, если подумать, противометеоритная пушка – страшная штука, не хотелось бы ее здесь применять. Одно дело – сровнять с грунтом какую-нибудь скалу, чтобы расчистить посадочную площадку, или, скажем, завалить ущелье, когда нужен пресный водоем, а другое дело – вот так, по живому... А вообще-то применялись когда-нибудь ПМП как средство обороны? Пожалуй, да. Во-первых, был случай, не помню, где, грузовой автомат потерял управление и стал валиться прямо на лагерь, – пришлось его сжечь. А потом, помнится, разбирали такой инцидент: на какой-то биологически активной планете корабль-разведчик подвергся «направленному непреодолимому

воздействию биосферы» ... То есть подвергся он или нет – до сих пор неизвестно, но капитан решил, что подвергся, и ударил из носовой пушки. Выжег он вокруг себя все, до самого горизонта, так что потом при расследовании эксперты только руками разводили. Капитана, помнится, от полетов отстранили надолго... Да, что и говорить, страшное средство – ПМП. Последнее средство.

Чтобы отвлечься от всяких таких мыслей, я произвел замеры расстояний до целей и рассчитал их высоту и толщину. Расстояния оказались: четырнадцать, четырнадцать с половиной и шестнадцать километров. Высота – от пятисот до семисот метров, а толщина у них у всех была примерно одинаковая: у основания около пятидесяти метров, а на самом кончике уса – меньше метра. И все они действительно были суставчатыми, как бамбуковые стволы или катушечные антенны. И еще мне показалось, что я различаю на их поверхности какое-то движение, направленное снизу вверх, этакую перистальтику, но, может быть, это была только игра света. Я попытался прикинуть свойства материала, из которого могут состоять такие вот образования, – получалась какая-то чепуха. Да, пощупать бы их локатором-пробником, но нельзя, конечно. Неизвестно, как они к этому отнесутся. Да и не это главное. Главное – это то, что цивилизация здесь, пожалуй, технологическая. Высокоразвитая цивилизация. Что и требовалось доказать. Непонятно только, чего это они зарылись под землю, почему оставили свою родную планету во власти пустоты и тишины. Впрочем, если подумать, у каждой цивилизации свои представления о благоустроенности. Например, на Тагоре...

– Пост УАС! – гаркнул Вандерхузе над самым ухом, так что я вздрогнул. – Как видишь цели?

– Вижу цели... – откликнулся я машинально, но тут же осекся: усов над горами не было. – Нет целей, – упавшим голосом сказал я.

– Спишь на посту!

– Ничего не сплю... Только что были, своими глазами видел...

– И что ты видел своими глазами? – осведомился Вандерхузе.

– Цели. Три цели.

– А потом?

– А теперь их нет.

– Гм... – сказал Вандерхузе. – Странно это как-то произошло, как ты полагаешь?

– Да, – сочувственно сказал я. – Очень странно. Были – и вдруг нет.

– Комов возвращается, – сообщил Вандерхузе. – Может быть, он что-нибудь понимает?..

Действительно, Комов, обвешанный футлярами, неловкой походкой – очевидно, у него затекли ноги – возвращался к кораблю. Время от времени он оборачивался – надо полагать, прощался с Пьером Александровичем, но самого Пьера Александровича видно не было.

– Отбой, – сказал Вандерхузе. – Оставь все как есть и беги на камбуз, приготовь что-нибудь горячее и подкрепляющее. Геннадий, наверное, замерз как сосулька. Впрочем, голос у него довольный, как ты полагаешь, Майка?

Я мигом очутился на кухне и принялся торопливо готовить глинтвейн, кофе и легкую закуску. Я очень боялся пропустить хоть слово из того, что будет рассказывать Комов. Но когда я бегом прикатил столик в рубку, Комов еще ничего не рассказывал. Он стоял перед столом, растирая замерзшую щеку, на столе была расстелена самая большая и подробная карта нашего района, и Майка пальцем показывала ему те места, откуда высовывались давешние усы-антенны.

– Здесь ничего нет! – возбужденно говорила Майка. – Здесь мерзлые скалы, каньоны в сто метров глубиной, вулканические пропасти – и ничего живого. Я пролетала здесь десятки раз. Тут даже кустарника нет.

Комов рассеянно-благодарно кивнул мне, взял в обе руки чашу с глинтвейном, погрузил в нее лицо и стал шумно прихлебывать, покряхтывая, обжигаясь и с наслаждением отдуваясь.

– И грунт здесь хрупкий, – продолжала Майка, – он бы не выдержал таких сооружений. Это же десятки, а может быть, и сотни тысяч тонн!

– Да, – произнес Комов и со стуком поставил пустую чашу на стол. – Что и говорить, странно. – Он сильно потер ладони. – Замерз как собака, – сообщил он. Это был опять совсем другой Комов – румяный, красноносый, доброжелательный, с блестящими веселыми глазами. – Странно, странно, ребята. Но это еще не самое странное – мало ли странного бывает на чужих планетах. – Он повалился в кресло и вытянул ноги. – Сегодня меня, знаете ли, трудно удивить. За эти четыре часа я наслышался такого... Кое-что нуждается, конечно, в проверке. Но вот вам два фундаментальных факта, которые, так сказать, уже теперь лежат на поверхности. Во-первых, Малыш... его зовут Малыш... уже научился бегло говорить и понимать практически все, что говорят ему. Это мальчишка, который за всю свою сознательную жизнь ни разу не общался с людьми!

– Что значит – бегло? – недоверчиво спросила Майка. – После четырех часов обучения – бегло?

– Да, после четырех часов обучения – бегло! – торжествующе подтвердил Комов. – Но это, во-первых. А во-вторых, Малыш пребывает в совершенной убежденности, что он – единственный обитатель этой планеты.

Мы не поняли.

– Почему же единственный? – спросил я. – Какой же он единственный?

– Малыш совершенно убежден, – с ударением произнес Комов, – что кроме него на этой планете нет ни одного разумного аборигена.

Воцарилось молчание. Комов поднялся.

– У нас много работы, – сказал он. – Завтра утром Малыш намерен нанести нам официальный визит.

Глава шестая
НЕЛЮДИ И ВОПРОСЫ

Мы проработали всю ночь. В кают-компании был оборудован импровизированный диагностер с индикатором эмоций. Мы с Вандерхузе собрали его буквально из ничего. Приборчик получился маломощный, хилый, с безобразной чувствительностью, но кое-какие физиологические параметры он мерил более или менее удовлетворительно, а что касается индикатора, то фиксировал он у нас только три основные позиции: ярко выраженные отрицательные эмоции (красная лампочка на пульте), ярко выраженные положительные эмоции (зеленая лампочка) и вся остальная эмоциональная гамма (белая лампочка). А что было делать? В медотсеке стоял прекрасный стационарный диагностер, но было совершенно ясно, что Малыш не согласится так, ни с того ни с сего, укладываться в матово-белый саркофаг с массивной герметической крышкой. В общем, к девяти часам мы кое-как управились, и тут во весь рост встала проблема дежурства на посту УАС.

Вандерхузе как капитан корабля, отвечающий за безопасность, неприкосновенность и все такое прочее, категорически отказался отменить это дежурство. Майка, просидевшая на посту вторую половину ночи, естественно, льстила себя надеждой, что уж она-то присутствовать при официальном визите будет непременно. Однако она была горько разочарована. Выяснилось, что квалифицированно работать на диагностере может только Вандерхузе. Выяснилось дальше, что поддерживать в рабочем состоянии диагностер, в любую минуту рискующий потерять настройку, могу только я. И наконец, выяснилось, что Комов по каким-то своим высшим ксенопсихологическим

соображениям считал нежелательным присутствие женщины на первой беседе с Малышом. Короче говоря, бледная от бешенства Майка снова отправилась на пост, причем сохранивший полное хладнокровие Вандерхузе, не преминул проводить ее приемным раструбом диагностера, так что все желающие могли убедиться: индикатор эмоций действует – красная лампочка горела до тех пор, пока Майка не скрылась в коридоре. Впрочем, на посту УАС можно было слышать, что говорится в кают-компании, через интерком с усилителем.

В девять пятнадцать по бортовому времени Комов вышел на середину кают-компании и огляделся. Все было готово. Диагностер был настроен и включен, на столе красовались блюда со сластями, освещение было отрегулировано под местный дневной свет. Комов коротко повторил инструкцию по поведению при контакте, включил регистрирующую аппаратуру и пригласил нас по местам. Мы с Комовым уселись за стол напротив двери, Вандерхузе втиснулся за панель диагностера, и мы стали ждать.

Он явился в девять сорок по бортовому времени.

Он остановился в дверях, вцепившись левой рукой в косяк и поджав правую ногу. Наверное, целую минуту он стоял так, разглядывая нас по очереди сквозь прорези своей мертвенной маски. Тишина была такая, что я слышал его дыхание – мерное, мощное, свободное, словно работал хорошо отлаженный механизм. Вблизи и при ярком свете он производил еще более странное впечатление. Все в нем было странным: и поза – по-человечески совершенно неестественная и вместе с тем непринужденная, и блестящая, словно лаком покрытая зеленовато-голубая кожа, и неприятная диспропорция в расположении мышц и сухожилий, и необычайно мощные коленные узлы, и удивительно узкие и длинные ступни ног. И то, что он оказался не таким уж маленьким – ростом с Майку. И то, что на пальцах левой руки у него не было ногтей. И то, что в правом кулаке он сжимал горсть свежих листьев.

Взгляд его остановился наконец на Вандерхузе. Он смотрел на Вандерхузе так долго и так пристально, что мне пришла в голову дикая мысль: уж не догадывается ли Малыш о назначении диагностера, – а наш бравый капитан в конце концов с некоторой нервностью взбил согнутым пальцем свои бакенбарды и, вопреки инструкции, слегка поклонился.

– Феноменально! – громко и отчетливо произнес Малыш голосом Вандерхузе. На индикаторе затлела зеленая лампочка.

Капитан снова нервно взбил бакенбарды и искательно улыбнулся. И тотчас же лицо Малыша ожило. Вандерхузе был награжден целой

серией ужасающих гримас, мгновенно сменявших друг друга. На лбу у Вандерхузе выступил холодный пот. Не знаю, чем бы все это кончилось, но тут Малыш отлепился наконец от косяка, скользнул вдоль стены и остановился возле экрана видеофона.

– Что это? – спросил он.

– Видеофон, – ответил Комов.

– Да, – сказал Малыш. – Все движется, и ничего нет. Изображения.

– Вот еда, – сообщил Комов. – Хочешь поесть?

– Еда – отдельно? – непонятно спросил Малыш и приблизился к столу. – Это еда? Не похоже. Шарада.

– Не похоже на что?

– Не похоже на еду.

– Все-таки попробуй, – посоветовал Комов, придвигая к нему блюдо с меренгами.

Тогда Малыш вдруг упал на колени, протянул вперед руки и открыл рот. Мы молчали, опешив. Малыш тоже не двигался. Глаза его были закрыты. Это длилось всего несколько секунд, затем он вдруг мягко повалился на спину, сел и резким движением разбросал на полу перед собою смятые листья. По лицу его снова пробежала ритмичная рябь. Быстрыми и какими-то очень точными касаниями пальцев он принялся передвигать листики, время от времени помогая себе ногой. Мы с Комовым, привстав с кресел и вытянув шеи, следили за ним. Листья словно сами собой укладывались в странный узор, несомненно, правильный, но не вызывающий решительно никаких ассоциаций. На мгновение Малыш застыл в неподвижности – и вдруг снова одним резким движением сгреб листья в кучку. Лицо его замерло.

– Я понимаю, – объявил он, – это – ваша еда. Я так не ем.

– Смотри, как надо, – сказал Комов.

Он протянул руку, взял меренгу, нарочито медленным движением поднес ее ко рту, откусил осторожно и принялся демонстративно жевать. По мертвенному лицу Малыша пробежала судорога.

– Нельзя! – почти крикнул он. – Ничего нельзя брать руками в рот. Будет плохо!

– А ты попробуй, – снова предложил Комов, взглянул в сторону диагностера и осекся. – Ты прав. Не надо. Что будем делать?

Малыш присел на левую пятку и сочным баритоном произнес:

– Сверчок на печи. Чушь. Объясни мне снова: когда вы отсюда уходите?

– Сейчас объяснить трудно, – мягко ответил Комов. – Нам очень, очень нужно узнать все о тебе. Ты ведь еще ничего о себе не рассказывал. Когда мы узнаем о тебе все, мы уйдем, если ты захочешь.

– Ты знаешь обо мне все, – объявил Малыш голосом Комова. – Ты знаешь, как я возник. Ты знаешь, как я сюда попал. Ты знаешь, зачем я к тебе пришел. Ты знаешь обо мне все.

У меня глаза на лоб полезли, а Комов как будто даже и не удивился.

– Почему ты думаешь, что я все это знаю? – спросил он спокойно.

– Я размышлял. Я понял.

– Это феноменально, – спокойно сказал Комов, – но это не совсем верно. Я ничего не знаю о том, как ты здесь жил до меня.

– Вы уйдете сразу, когда узнаете обо мне все? Это так?

– Да, если ты захочешь.

– Тогда спрашивай, – сказал Малыш. – Спрашивай быстро, потому что я тоже хочу тебя спросить.

Я взглянул на индикатор. Просто так взглянул. И мне стало не по себе. Только что там был нейтральный белый свет, а сейчас ярким рубиновым огнем горел сигнал отрицательных эмоций. Я мельком заметил, что лицо у Вандерхузе встревожено.

– Сначала расскажи мне, – произнес Комов, – почему ты так долго прятался?

– Курвиспат, – отчетливо выговорил Малыш и пересел на правую пятку. – Я давно знал, что люди придут снова. Я ждал, мне было плохо. Потом я увидел: люди пришли. Я стал размышлять и понял – если людям сказать, они уйдут, и тогда будет хорошо. Обязательно уйдут, но я не знал – когда. Людей четыре. Очень много. Даже один очень много. Но лучше, чем четыре. Я входил к одному и разговаривал днем. Я входил к одному и разговаривал ночью. Шарада. Тогда я подумал: один человек говорить не может. Я пришел к четверым. Было очень весело, мы играли с изображениями, мы бежали, как волна. Опять шарада. Вечером я увидел: один сидит отдельно. Ты. Я подумал и понял: ты ждешь меня. Я подошел. Чеширский кот! Вот как было.

Он говорил резко и отрывисто, голосом Комова, и только внесмысловые слова он произносил этим сочным незнакомым баритоном. Руки, пальцы его ни на секунду не оставались в покое, и сам он все время двигался, и движения его были стремительны и неуловимо плавны, он словно переливался из одной позы в другую. Фантастическое это было зрелище: привычные стены кают-компании, ванильный запах от пирожных, все такое домашнее, обычное – только

странный лиловатый свет и в этом свете на полу гибкое, плавное и стремительное маленькое чудище. И тревожный рубиновый огонек на пульте.

– Откуда ты знал, что люди придут снова? – спросил Комов.

– Я размышлял и понял.

– А может быть, кто-нибудь рассказал тебе?

– Кто? Камни? Солнце? Кусты? Я один. Я и мои изображения. Но они молчат. С ними можно только играть. Нет. Люди пришли и ушли. – Он быстрым движением передвинул несколько листочков на полу. – Я подумал и понял: они придут снова.

– А почему тебе было плохо?

– Потому что люди.

– Люди никогда никому не вредят. Люди хотят, чтобы всем вокруг было хорошо.

– Я знаю, – сказал Малыш. – Я ведь уже говорил: люди уйдут, и будет хорошо.

– От каких действий людей тебе плохо?

– От всех. Они есть или они могут прийти – это плохо. Они уйдут навсегда – это хорошо.

Красный огонек на пульте буравил мне душу. Я не удержался и тихонько толкнул Комова ногой под столом.

– Откуда ты узнал, что если людям сказать, то они уйдут? – спросил Комов, не обратив на меня внимания.

– Я знал: люди хотят, чтобы всем вокруг было хорошо.

– Но как ты это узнал? Ты же никогда не общался с людьми.

– Я много размышлял. Долго не понимал. Потом понял.

– Когда понял? Давно?

– Нет, недавно. Когда ты ушел от озера, я поймал рыбу. Я очень удивился. Она почему-то умерла. Я стал размышлять и понял, что вы обязательно уйдете, если вам сказать.

Комов покусал нижнюю губу.

– Я заснул на берегу океана, – сказал он вдруг. – Когда я проснулся, то увидел: на мокром песке возле меня – следы человеческих ног. Я поразмыслил и понял: пока я спал, мимо меня прошел человек. Откуда я это узнал? Ведь я не видел человека, я увидел только следы. Я размышлял: раньше следов не было; теперь следы есть; значит они появились, пока я спал. Это человеческие следы – не следы волн, не следы камня, который скатился с горы. Значит, мимо меня прошел человек. Пока я спал, мимо меня прошел человек. Так размышляем мы. А как размышляешь ты? Вот прилетели люди. Ты ничего о них не знаешь. Но ты поразмыслил и узнал, что они

обязательно улетят навсегда, если ты поговоришь с ними. Как ты размышлял?

Малыш долго молчал – минуты три. На лице и на груди его вновь начался танец мускулов. Проворные пальцы двигали и перемещали листья. Потом он отпихнул листья ногой и сказал громким сочным баритоном:

– Это вопрос. По бим-бом-брамселям!

Вандерхузе затравленно кашлянул в своем углу, и Малыш сейчас же поглядел на него.

– Феноменально! – воскликнул он все тем же баритоном. – Я всегда хотел узнать: почему длинные волосы на щеках?

Воцарилось молчание. И вдруг я увидел, как рубиновый огонек погас и разгорелся изумрудный.

– Ответьте ему, Яков, – спокойно попросил Комов.

– Гм... – сказал Вандерхузе, порозовев. – Как тебе сказать, мой мальчик... – Он машинально взбил бакенбарды. – Это красиво, это мне нравится... По-моему, это достаточное объяснение, как ты полагаешь?

– Красиво... нравится... – повторил Малыш. – Колокольчик! – сказал он вдруг нежно. – Нет, ты не объяснил. Но так бывает. Почему только на щеках? Почему нет на носу?

– А на носу некрасиво, – наставительно сказал Вандерхузе. – И в рот попадают, когда ешь...

– Правильно, – согласился Малыш. – Но если на щеках и если идешь через кусты, то должен цепляться. Я всегда цепляюсь волосами, хотя они у меня наверху.

– Гм, – сказал Вандерхузе. – Видишь ли, я редко хожу через кусты.

– Не ходи через кусты, – сказал Малыш. – Будет больно. Сверчок на печи!

Вандерхузе не нашелся, что ответить, но по всему видно было, что он доволен. На индикаторе горел изумрудный огонек, Малыш явно забыл о своих заботах, и наш бравый капитан, очень любивший детей, несомненно, испытывал определенное умиление. К тому же ему, кажется, льстило, что его бакенбарды, служившие до сих пор только объектом более или менее плоских острот, сыграли такую заметную роль в ходе контакта. Но тут наступила моя очередь. Малыш неожиданно глянул мне в глаза и выпалил:

– А ты?

– Что – я? – спросил я, растерявшись, а потому агрессивно.

Комов немедленно и с явным удовольствием пнул меня в лодыжку.

– У меня вопрос к тебе, – объявил Малыш. – Тоже всегда. Но ты боялся. Один раз чуть меня не погубил – зашипел, заревел, ударил меня воздухом. Я бежал до самых сопок. То большое, теплое, с огоньками, делает ровную землю – что это?

– Машины, – сказал я и откашлялся. – Киберы.

– Киберы, – повторил Малыш. – Живые?

– Нет, – сказал я. – Это машины. Мы их сделали.

– Сделали? Такое большое? И двигается? Феноменально. Но ведь они большие!

– Бывают и больше, – сказал я.

– Еще больше?

– Гораздо больше, – сказал Комов. – Больше, чем айсберг.

– И они тоже двигаются?

– Нет, – сказал Комов. – Но они размышляют.

И Комов принялся рассказывать, что такое кибернетические машины. Мне было очень трудно судить о душевных движениях Малыша. Если исходить из предположения, что душевные движения его так или иначе выражались движениями телесными, можно было считать, что Малыш сражен наповал. Он метался по кают-компании, словно кот Тома Сойера, хлебнувший болеутолителя. Когда Комов объяснил ему, почему моих киберов нельзя считать ни живыми, ни мертвыми, он вскарабкался на потолок и бессильно повис там, прилипнув к пластику ладонями и ступнями. Сообщение о машинах, гигантских машинах, которые размышляют быстрее, чем люди, считают быстрее, чем люди, отвечают на вопросы в миллион раз быстрее, чем люди, скрутило Малыша в колобок, развернуло, выбросило в коридор и через секунду снова швырнуло к нашим ногам, шумно дышащего, с огромными потемневшими глазами, отчаянно гримасничающего. Никогда раньше и никогда после не приходилось мне встречать такого благодарного слушателя. Изумрудная лампа на пульте индикатора сияла, как кошачий глаз, а Комов говорил и говорил, точными, ясными, предельно простыми фразами, ровным, размеренным голосом и время от времени вставлял интригующие: «Подробнее об этом мы поговорим позже» или: «Это на самом деле гораздо сложнее и интереснее, но ведь ты пока еще не знаешь, что такое гемостатика».

Едва Комов закончил, Малыш вскочил на кресло, обхватил себя своими длинными жилистыми руками и спросил:

– А можно сделать так, чтобы я говорил, а киберы слушали?

– Ты это уже делал, – сказал я.

Он бесшумно, как тень, упал на руки на стол передо мной.

– Когда?

– Ты прыгал перед ними, и самый большой – его зовут Том – останавливался и спрашивал тебя, какие будут приказания.

– Почему я не слышал вопроса?

– Ты видел вопрос. Помнишь, там мигал красный огонек? Это был вопрос. Том задавал его по-своему.

Малыш перелился на пол.

– Феноменально! – тихо-тихо сказал он моим голосом. – Это игра. Феноменальная игра. Щелкунчик!

– Что значит «щелкунчик»? – спросил вдруг Комов.

– Не знаю, – сказал Малыш нетерпеливо. – Просто слово. Приятно выговаривать. Ч-чеширский кот. Щ-щелкунчик.

– А откуда ты знаешь эти слова?

– Помню. Два больших ласковых человека. Гораздо больше, чем вы... По бим-бом-брамселям! Щелкунчик... С-сверчок на печи. Мар-ри, Мар-ри! Сверчок кушать хоч-чет!

Честно говоря, у меня мороз пошел по коже, а Вандерхузе побледнел, и бакенбарды его обвисли. Малыш выкрикивал слова сочным баритоном: закрыть глаза – так и видишь перед собой огромного, полного крови и радости жизни человека, бесстрашного, сильного, доброго... Потом в интонации его что-то изменилось, и он тихонько пророкотал с неизъяснимой нежностью:

– Кошенька моя, ласонька... – И вдруг ласковым женским голосом: – Колокольчик!.. Опять мокренький...

Он замолчал, постукивая себя пальцем по носу.

– И ты все это помнишь? – слегка изменившимся голосом произнес Комов.

– Конечно, – сказал Малыш голосом Комова, – а ты разве не помнишь все?

– Нет, – сказал Комов.

– Это потому, что ты размышляешь не так, как я, – уверенно сказал Малыш. – Я помню все. Все, что было вокруг меня когда-нибудь, я уже не забуду. А когда забываю, надо только поразмыслить хорошенько, и все вспоминается. Если тебе интересно обо мне, я потом расскажу. А сейчас ответь мне: что вверху? Ты вчера сказал: звезды. Что такое звезды? Сверху падает вода. Иногда я не хочу, а она падает. Откуда она? И откуда корабли? Очень много вопросов, я очень много размышлял. Так много ответов, что ничего не понимаю. Нет, не так. Много разных ответов, и все они спутаны друг с другом, как листья... – Он сбил листья на полу в беспорядочную кучку. – Закрывают друг друга, мешают друг другу. Ты ответишь?

Комов принялся рассказывать, и Малыш опять заметался, трепеща от возбуждения. У меня зарябило в глазах, я зажмурился и стал думать, как же это аборигены не объяснили Малышу таких простых вещей; и как это они исхитрились так его одурачить, что он даже не подозревает об их существовании; и как это Малыш умудряется помнить так точно все, что слышал в младенчестве; и как это, в сущности, страшно – особенно то, что он ничего не понимает из запомненного.

Тут Комов вдруг замолчал, в нос мне ударил резкий запах нашатырного спирта, и я открыл глаза. Малыша в кают-компании не было, только слабый, совсем прозрачный фантом быстро таял над горстью рассыпанных листьев. В отдалении слабо чмокнула перепонка люка. Голос Майки обеспокоенно осведомился по интеркому:

– Куда это он так почесал? Что-нибудь случилось?

Я взглянул на Комова. Комов с шелестом потирал руки, задумчиво улыбаясь.

– Да, – проговорил он. – Любопытная картина получается... Майя! – позвал он. – Усы эти появлялись?

– Восемь штук, – сказала Майка. – Только сейчас пропали, а то торчали вдоль всего хребта... Причем, цветные – желтые, зеленые... Я сделала несколько снимков.

– Молодец, – похвалил Комов. – Теперь имейте в виду, Майя, при следующей встрече обязательно будете присутствовать вы... Яков, забирайте регистрограммы, пойдемте ко мне. А вы, Стась... – Он встал и направился в угол, где был установлен блок видеофонографов. – Вот вам кассета, Стась, передайте все в экстренных импульсах прямо в Центр. Дубль я возьму себе, надо проанализировать... Где я тут видел проектор? А, вот он. Я думаю, в нашем распоряжении еще часа три-четыре, потом он снова придет... Да, Стась! Поглядите заодно радиограммы. Если есть что-нибудь стоящее... Только из Центра, с базы или лично от Горбовского, или от Мбоги.

– Вы меня просили напомнить, – сказал я, поднимаясь. – Вам еще надо поговорить с Михаилом Альбертовичем.

– Ах, да! – Лицо Комова стало виноватым. – Знаете, Стась, это не совсем законно... Окажите любезность, выдайте запись сразу по двум каналам: не только в Центр, но и на базу, лично и конфиденциально Сидорову. Под мою ответственность.

– Я и под свою могу, – проворчал я уже за дверью.

Придя в рубку, я вставил кассету в автомат, включил передачу и просмотрел радиограммы. На этот раз их было немного – всего три; видимо, Центр принял меры. Одна радиограмма была из информатория и состояла из цифр, букв греческого алфавита и значков, которые

я видел, только когда регулировал печатающее устройство. Вторая радиограмма была из Центра: Бадер продолжал настойчиво требовать предварительных соображений относительно других вероятных зон обитания аборигенов, возможных типов предстоящего контакта по классификации Бюлова и тому подобное. Третья радиограмма была с базы, от Сидорова: Сидоров официально запрашивал Комова о порядке доставки заказанного оборудования в зону контакта. Я пораскинул умом и решил, что первая радиограмма Комову может понадобиться; третью не передать неудобно перед Михаилом Альбертовичем; а что касается Бадера – пусть пока полежит. Какие там еще предварительные соображения.

Через полчаса транслирующий автомат просигналил, что передача закончена. Я вынул кассету, забрал две карточки с радиограммами и отправился к Комову. Когда я вошел, Комов и Вандерхузе сидели перед проектором. По экрану взад и вперед молнией проносился Малыш, виднелись наши с Комовым напряженные физиономии. Вандерхузе сидел, весь подавшись к экрану, поставив локти на стол и захватив бакенбарды в сжатые кулаки.

– ...резкое повышение температуры, – бубнил он. – Доходит до сорока трех градусов... И теперь обратите внимание на энцефалограмму, Геннадий... Вот она, волна Петерса, снова появляется...

На столе перед ними были расстелены рулоны регистрограмм нашего диагностера, множество рулонов валялось на полу и на койке.

– Ага... – задумчиво говорил Комов, ведя пальцем по регистрограмме. – Ага... Минуточку, а здесь у нас что было? – Он остановил проектор, повернулся, чтобы взять один из рулонов, и заметил меня. – Да? – сказал он с неудовольствием.

Я положил перед ним радиограммы.

– Что это? – спросил он нетерпеливо. – А... – Он пробежал радиограмму из информатория, усмехнулся и отбросил ее в сторону. – Все не то, – сказал он. – Впрочем, откуда им знать... – Потом он проглядел радиограмму Сидорова и поднял глаза на меня. – Вы отправили ему?..

– Да, – сказал я.

– Хорошо, спасибо. Составьте от моего имени радиограмму, что оборудование пока не нужно. Вплоть до нового запроса.

– Хорошо, – сказал я и вышел.

Я составил и отправил радиограмму на базу и решил посмотреть, как там Майка. Мрачная Майка старательно крутила верньеры. Насколько я понял, она тренировалась в наведении пушки на далеко разнесенные цели.

– Безнадежное дело, – объявила она, заметив меня. – Если все они одновременно в нас плюнут, нам каюк. Просто не успеть.

– Во-первых, можно увеличить телесный угол поражения, – сказал я, подходя. – Эффективность, конечно, уменьшится порядка на три, на четыре, но зато можно охватить четверть горизонта, расстояния здесь небольшие... А, во-вторых, ты действительно веришь, что в нас могут плюнуть?

– А ты?

– Да непохоже что-то...

– А если непохоже, то, чего ради я здесь сижу?

Я опустился на пол возле ее кресла.

– Честно говоря, не знаю, – сказал я. – Все равно надо вести наблюдение. Раз уж планета оказалась биологически активной, надо выполнять инструкцию. Сторожа-разведчика ведь не разрешают выпускать...

Мы помолчали.

– Тебе его жалко? – спросила вдруг Майка.

– Н-не знаю, – сказал я. – Почему жалко? Я бы сказал – жутко. А жалеть... Почему, собственно, я должен его жалеть? Он бодрый, живой... Совсем не жалкий.

– Я не об этом. Не знаю, как это сформулировать... Вот я слушала, и мне тошно делалось, как Комов себя с ним держит. Ведь ему абсолютно наплевать на мальчишку...

– Что значит – наплевать? Комову надо установить контакт. Он проводит определенную стратегию... Ты ведь понимаешь, что без Малыша в контакт нам не вступить...

– Понимаю. От этого меня, наверное, и тошнит. Малыш-то ничего не знает об аборигенах... Слепое орудие!

– Ну, не знаю, – сказал я. – По-моему, ты здесь впадаешь в сентиментальность. Он ведь все-таки не человек. Он абориген. Мы налаживаем с ним контакт. Для этого надо преодолеть какие-то препятствия, разгадать какие-то загадки... Трезво надо к этому относиться, по-деловому. Чувства здесь ни при чем. Он ведь к нам тоже, прямо скажем, любви не испытывает. И испытывать не может. В конце концов, что такое контакт? Столкновение двух стратегий.

– Ох, – сказала Майка. – Скучно ты говоришь. Суконно. Тебе только программы составлять. Кибертехник.

Я не обиделся. Я видел, что Майке нечего возразить, по существу, и я чувствовал, что ее действительно что-то мучает.

– Опять у тебя предчувствия, – сказал я. – Но ведь на самом-то деле ты и сама прекрасно понимаешь, что Малыш – это единственная

ниточка, которая связывает нас с этими невидимками. Если мы Малышу не понравимся, если мы его не завоюем...

– Вот-вот, – прервала меня Майка. – В том-то и дело. Что бы Комов ни говорил, как бы он ни поступал, сразу чувствуется: его интересует только одно – контакт. Все для великой идеи вертикального прогресса!

– А как надо? – спросил я.

Она дернула плечом.

– Не знаю. Может быть, как Яков... Во всяком случае, он – единственный из вас – говорил с Малышом по-челове-чески.

– Ну, знаешь, – сказал я, несколько обидевшись, – контакт на бакенбардном уровне – тоже, в общем...

Мы помолчали, дуясь друг на друга. Майка с преувеличенным старанием крутила верньеры, нацеливая черное перекрестие на заснеженные зубцы хребта.

– В самом деле, Майка, – сказал я наконец, – ты что, не хочешь, чтобы контакт состоялся?

– Да хочу, наверное, – сказала Майка без всякого энтузиазма. – Ты же видел, я очень обрадовалась, когда мы впервые поняли, что к чему... Но вот прослушала я эту вашу беседу... Не знаю. Может быть, это потому, что я никогда не участвовала в контактах... Я все не так себе представляла.

– Нет, – сказал я, – здесь дело не в этом. Я догадываюсь, что с тобой происходит. Ты думаешь, что он – человек...

– Ты уже говорил это, – сказала Майка.

– Нет, ты дослушай. Тебе все время бросается в глаза человеческое. А ты подойди к этому с другой стороны. Не будем говорить про фантомы, про мимикрию – что у него вообще наше? В какой-то степени общий облик, прямохождение. Ну, голосовые связки... Что еще? У него даже мускулатура не наша, а уж это, казалось бы, прямо из генов... Тебя просто сбивает с толку, что он умеет говорить. Действительно, он великолепно говорит... Но и это ведь, в конце концов, не наше! Никакой человек не способен научиться бегло говорить за четыре часа. И тут дело даже не в запасе слов – надо освоить интонации, фразеологию... Оборотень это, если хочешь знать! А не человек. Мастерская подделка. Подумай только: помнить, что было с тобой в грудном возрасте, а может быть – как знать! – и в утробе матери... Разве это человеческое?.. Вот ты видела когда-нибудь роботов-андроидов? Не видела, конечно, а я видел.

– Ну и что? – мрачно спросила Майка.

– А то, что теоретически идеальный робот-андроид может быть построен только из человека. Это будет сверхмыслитель, это будет сверхсилач, сверхэмоционал, все что угодно «сверх», в том числе и сверхчеловек, но только не человек...

– Ты, кажется, хочешь сказать, что аборигены превратили его в робота? – проговорила Майка, криво улыбаясь.

– Да нет же, – сказал я с досадой. – Я только хочу убедить тебя, что все человеческое в нем случайно, это просто свойство исходного материала... и что не нужно разводить вокруг него сантименты. Считай, что ты ведешь переговоры с этими цветными усами...

Майка вдруг схватила меня за плечо и сказала вполголоса:

– Смотри, возвращается!

Я привстал и посмотрел на экран. От болота, прямо к кораблю, быстро семеня ногами, во весь дух чесала скособоченная фигурка. Короткая черно-лиловая тень моталась по земле перед нею, грязный хохол на макушке отсвечивал рыжим. Малыш возвращался, Малыш спешил. Длинными своими руками он обнимал и прижимал к животу что-то вроде большой плетеной корзины, доверху набитой камнями. Тяжеленная, должно быть, была корзина.

Майка включила интерком.

– Пост УАС – Комову, – громко сказала она. – Малыш приближается.

– Понял вас, – сейчас же откликнулся Комов. – Яков, по местам... Попов, смените Глумову на посту УАС. Майя, в кают-компанию.

Майка нехотя поднялась.

– Иди, иди, – сказал я. – Посмотри на него вблизи, сосуд скорби.

Она сердито фыркнула и взбежала по трапу. Я занял ее место. Малыш был уже совсем близко. Теперь он замедлил свой бег и смотрел на корабль, и снова у меня появилось ощущение, будто он глядит мне прямо в глаза.

И тут я увидел: над хребтом в серо-лиловом небе возникли из ничего, словно проявились, чудовищные усы чудовищных тараканов. Как и давеча, они медленно гнулись, вздрагивали, сокращались. Я насчитал их шесть.

– Пост УАС! – окликнул меня Комов. – Сколько усов на горизонте?

– Шесть, – ответил я. – Три белых, два красных, один зеленый.

– Вот видите, Яков, – сказал Комов, – строгая закономерность. Малыш к нам – усы наружу.

Приглушенный голос Вандерхузе отозвался:

– Отдаю должное вашей проницательности, Геннадий, и тем не менее дежурство полагаю пока обязательным.

– Ваше право, – коротко сказал Комов. – Майя, садитесь вот сюда...

Я доложил:

– Малыш скрылся в мертвом пространстве. Тащит с собой здоровенную плетенку с камнями.

– Понятно, – сказал Комов. – Приготовились, коллеги!

Я весь обратился в слух и сильно вздрогнул, когда из интеркома грянул рассыпчатый грохот. Я не сразу сообразил, что это Малыш разом высыпал на пол свои булыжники. Я слышал его мощное дыхание, и вдруг совершенно младенческий голос произнес:

– Мам-ма!.. – И снова: – Мам-ма...

А затем раздался уже знакомый мне захлебывающийся плач годовалого младенца. По старой памяти у меня что-то съежилось внутри, и в то же мгновение я понял, что это: Малыш увидел Майку. Это продолжалось не больше полуминуты; плач оборвался, снова загремели камни, и голос Комова деловито произнес:

– Вот вопрос. Почему мне все интересно? Все вокруг. Почему у меня все время появляются вопросы? Ведь мне от них нехорошо. Они у меня чешутся. Много вопросов. Десять вопросов в день, двадцать вопросов в день. Я стараюсь спастись: бегаю, целый день бегаю или плаваю, – не помогает. Тогда начинаю размышлять. Иногда приходит ответ. Это – удовольствие. Иногда приходят много ответов, не могу выбрать. Это – неудовольствие. Иногда ответы не приходят. Это – беда. Очень чешется. Ш-шарада. Сначала я думал, вопросы идут изнутри. Но я поразмыслил и понял: все, что идет изнутри, должно делать мне удовольствие. Значит, вопросы идут снаружи? Правильно? Я размышляю, как ты. Но тогда, где они лежат, где они висят, где их точка?

Пауза. Потом снова раздался голос Комова – настоящего Комова. Очень похоже, только настоящий Комов говорил не так отрывисто, и голос его звучал не так резко. В общем, отличить было можно, если знаешь, в чем дело.

– Я мог бы уже сейчас ответить на этот твой вопрос, – медленно проговорил Комов. – Но я боюсь ошибиться. Боюсь ответить неправильно или неточно. Когда я узнаю о тебе все, я смогу ответить без ошибки.

Пауза. Загремели и заскрипели по полу передвигаемые камни.

– Ф-фрагмент, – сказал Малыш. – Вот еще вопрос. Откуда берутся ответы? Ты меня заставил думать. Я всегда считал: есть ответ – это удовольствие, нет ответа – беда. Ты мне рассказал, как размышляешь ты. Я вспоминал и вспомнил, что я тоже часто так размышляю, и часто приходит ответ. Видно, как он приходит. Так я делаю объем для

камней. Вот такой. («Корзину», – подсказал Комов.) Да, корзину. Один прут цепляется за второй, второй – за третий, третий – дальше, и получается... корзина. Видно – как. Но гораздо чаще я размышляю, – снова загремели камни, – и ответ получается готовый. Есть куча прутьев, и вдруг – готовая корзина. Почему?

– И на этот вопрос, – сказал Комов, – я смогу ответить, только когда узнаю о тебе все.

– Тогда узнавай! – потребовал Малыш. – Узнавай скорее! Почему не узнаёшь? Я расскажу сам. Был корабль, только больше твоего, теперь он съежился, а был очень большой. Это ты знаешь сам. Потом было так.

Из интеркома донесся раздирающий хруст и треск, и сейчас же отчаянно, на нестерпимо высокой ноте завизжал ребенок. И сквозь этот визг, сквозь затихающий треск, удары, звон бьющегося стекла прохрипел мужской задыхающийся голос:

– Мари... Мари... Ма... ри...

Ребенок кричал, надрываясь, и некоторое время ничего больше не было слышно. Потом раздался какой-то шорох, сдавленный стон. Кто-то полз по полу, усеянному обломками и осколками, что-то покатилось с дребезгом. До жути знакомый женский голос простонал:

– Шура... Где ты, Шура?.. Больно... Что случилось? Где ты? Я ничего не вижу, Шура... Да отзовись же, Шура! Больно как! Помоги мне, я ничего не вижу...

И все это сквозь непрекращающийся крик младенца. Потом женщина затихла, через некоторое время затих и младенец. Я перевел дух и обнаружил, что кулаки у меня сжаты, а ногти глубоко вонзились в ладони. Челюсти у меня онемели.

– Так было долго, – сказал Малыш торжественно. – Я устал кричать. Я заснул. Когда я проснулся, было темно, как раньше. Мне было холодно. Я хотел есть. Я так сильно хотел есть и чтобы было тепло, что сделалось так.

Целый каскад звуков хлынул из интеркома – совершенно незнакомых звуков. Ровное нарастающее гудение, частое щелканье, какие-то гулы, похожие на эхо; басистое, на пороге слышимости бормотание; писк, скрип, зудение, медные удары, потрескивание... Это продолжалось долго, несколько минут. Потом все разом стихло, и Малыш, чуть задыхаясь, сказал:

– Нет. Так мне не рассказать. Так я буду рассказывать столько времени, сколько я живу. Что делать?

– И тебя накормили? «Согрели тебя?» – спросил Комов ровным голосом.

– Стало так, как мне хотелось. И с тех пор всегда было так, как мне хотелось. Пока не прилетел первый корабль.

– А что это было? – спросил Комов и, на мой взгляд, очень удачно проимитировал звуковую кашу, которую мы только что слышали.

Пауза.

– А, понимаю, – сказал Малыш. – Ты совсем не умеешь, но я тебя понял. Но я не могу ответить. Ведь у тебя самого нет слова, чтобы назвать. А ты знаешь больше слов, чем я. Дай мне слова. Ты мне дал много ценных слов, но все не те.

Пауза.

– Какого это было цвета? – спросил Комов.

– Никакого. Цвет – это когда смотришь глазами. Там нельзя смотреть глазами.

– Где – там?

– У меня. Глубоко. В земле.

– А как там на ощупь?

– Прекрасно, – сказал Малыш. – Удовольствие. Ч-че-ширский кот! У меня лучше всего. Так было, пока не пришли люди.

– Ты там спишь? – спросил Комов.

– Я там всё. Сплю, ем, размышляю. Только играю я здесь, потому что люблю глядеть глазами. И там тесно играть. Как в воде, только еще теснее.

– Но ведь в воде нельзя дышать, – сказал Комов.

– Почему нельзя? Можно. И играть можно. Только тесно.

Пауза.

– Теперь ты все обо мне узнал? – осведомился Малыш.

– Нет, – решительно сказал Комов. – Ничего я о тебе не узнал. Ты же видишь, у нас нет общих слов. Может быть, у тебя есть свои слова?

– Слова… – медленно повторил Малыш. – Это когда двигается рот, а потом слышно ушами. Нет. Это только у людей. Я знал, что есть слова, потому что я помню. По бим-бом-брамселям. Что это такое? Я не знаю. Но теперь я знаю, зачем многие слова. Раньше не знал. Было удовольствие говорить. Игра.

– Теперь ты знаешь, что значит слово «океан», – произнес Комов, – но океан ты видел и раньше. Как ты его называл?

Пауза.

– Я слушаю, – сказал Комов.

– Что ты слушаешь? Зачем? Я назвал. Так нельзя услышать. Это внутри.

– Может быть, ты можешь показать? – сказал Комов. – У тебя есть камни, прутья…

– Камни и прутья не для того, чтобы показывать, – объявил Малыш, как мне показалось, сердито. – Камни и прутья – для того, чтобы размышлять. Если тяжелый вопрос – камни и прутья. Если не знаешь, какой вопрос, – листья. Тут много всяких вещей. Вода, лед – он хорошо тает, поэтому... – Малыш помолчал. – Нет слов, – сообщил он. – Много всяких вещей. Волосы... и много такого, для чего нет слова. Но это там, у меня.

Послышался протяжный тяжкий вздох. По-моему, Вандерхузе. Майка вдруг спросила:

– А когда ты двигаешь лицом? Что это?

– Мам-ма... – сказал Малыш нежным мяукающим голоском. – Лицо, руки, тело, – продолжал он голосом Майки, – это тоже вещи для размышления. Этих вещей много. Долго все называть.

Пауза.

– Что делать? – спросил Малыш. – Ты придумал?

– Придумал, – ответил Комов. – Ты возьмешь меня к себе. Я посмотрю и сразу многое узнаю. Может быть, даже все.

– Об этом я размышлял, – сказал Малыш. – Я знаю, что ты хочешь ко мне. Я тоже хочу, но я не могу. Это вопрос! Когда я хочу, я все могу. Только не про людей. Я не хочу, чтобы они были, а они есть. Я хочу, чтобы ты пришел ко мне, но не могу. Люди – это беда.

– Понимаю, – сказал Комов. – Тогда я возьму тебя к себе. Хочешь?

– Куда?

– К себе. Туда, откуда я пришел. На Землю, где живут все люди. Там я тоже смогу узнать о тебе все, и довольно быстро.

– Но ведь это далеко, – проговорил Малыш. – Или я тебя не понял?

– Да, это очень далеко, – сказал Комов. – Но мой корабль...

– Нет! – сказал Малыш. – Ты не понимаешь. Я не могу далеко. Я не могу даже просто далеко и уж совсем не могу очень далеко. Один раз я играл на льдинах. Заснул. Проснулся от страха. Большой страх, огромный. Я даже закричал. Фрагмент! Льдина уплыла, и я видел только верхушки гор. Я подумал, что океан проглотил землю. Конечно, я вернулся. Я очень захотел, и льдина сразу пошла обратно к берегу. Но теперь я знаю, мне нельзя далеко. Я не только боялся. Мне было худо. Как от голода, только гораздо хуже. Нет, к тебе я не могу.

– Ну хорошо, – произнес Комов натужно-веселым голосом. – Наверное, тебе надоело отвечать и рассказывать. Я знаю, что ты любишь задавать вопросы. Задавай, я буду отвечать.

– Нет, – сказал Малыш, – у меня много вопросов к тебе. Почему падает камень? Что такое горячая вода? Почему пальцев десять, а

чтобы считать, нужен всего один? Много вопросов. Но я не буду сейчас спрашивать. Сейчас плохо. Ты не можешь ко мне, я не могу к тебе, слов нет. Значит, узнать все про меня ты не можешь. Ш-шарада! Значит, не можешь уйти. Я прошу тебя: думай, что делать. Если сам не можешь быстро думать, пусть думают твои машины в миллион раз быстрее. Я ухожу. Нельзя размышлять, когда разговариваешь. Размышляй быстрее, потому что мне хуже, чем вчера. А вчера было хуже, чем позавчера.

Загремел и покатился камень. Вандерхузе опять протяжно и тяжко вздохнул. Я глазом не успел моргнуть, а Малыш уже вихрем мчался к сопкам через строительную площадку. Я видел, как он проскочил взлетную полосу и вдруг исчез, словно его и не было. И в ту же секунду, как по команде, исчезли разноцветные усы над хребтом.

– Так, – сказал Комов. – Ничего не поделаешь. Яков, прошу вас, дайте радиограмму Сидорову, пусть доставит сюда оборудование, я вижу, без ментоскопа мне не обойтись.

– Хорошо, – сказал Вандерхузе. – Но я хотел бы обратить ваше внимание, Геннадий... За весь разговор на индикаторе ни разу не зажегся зеленый огонь.

– Я видел, – сказал Комов.

– Но ведь это не просто отрицательные эмоции, Геннадий. Это ярко выраженные отрицательные эмоции...

Ответа Комова я не расслышал.

Я просидел на посту весь вечер и половину ночи. Ни вечером, ни ночью Малыш больше не появлялся. Усы тоже не появлялись. И Майка тоже.

Глава седьмая
ВОПРОСЫ И СОМНЕНИЯ

За завтраком Комов был очень разговорчив. Ночью он, по-моему, совсем не спал, глаза у него были красные, щеки запали, но был он весел и возбужден. Он наливался крепким чаем и излагал нам свои предварительные соображения и выводы.

По его словам, теперь уже не было никакого сомнения в том, что аборигены подвергли организм мальчика самым коренным изменениям. Они оказались удивительно смелыми и знающими экспериментаторами: они изменили его физиологию и, частично, анатомию, невероятно расширили активную область его мозга, а также снабдили его новыми физиологическими механизмами, развить которые на базе обычного человеческого организма с точки зрения современной

земной науки представляется пока невозможным. Цель этих анатомо-физиологических изменений лежит, может быть, на поверхности: аборигены попросту стремились приспособить беспомощного человеческого детеныша к совершенно нечеловеческим условиям существования в этом мире. Не совсем ясным представляется вопрос, зачем они так серьезно вмешались в работу центральной нервной. Можно допустить, конечно, что это получилось у них случайно, как побочное следствие анатомо-физиологических изменений. Но можно допустить также, что они использовали резервы человеческого мозга целенаправленно. Тогда возникает веер предположений. Например, они стремились сохранить у Малыша все его младенческие воспоминания и впечатления, с тем чтобы облегчить ему обратную адаптацию, если он вновь попадет в человеческое общество. Действительно, Малыш поразительно легко сошелся с нами, так что мы не кажемся ему ни уродами, ни чудовищами. Но не исключено также, что громадная память Малыша и феноменальное развитие его звуковоспроизводящих центров есть опять же лишь побочный результат работы аборигенов над его мозгом. Возможно, аборигены прежде всего стремились создать между собой и центральной нервной Малыша устойчивую психическую связь. То, что такая связь существует, представляется в высшей степени вероятным. Во всяком случае, трудно иначе объяснить такие факты, как спонтанное – внелогическое – появление у Малыша ответов на вопросы; непременное исполнение всех осознанных и даже неосознанных желаний Малыша; прикованность Малыша к этому району планеты. Сюда же, вероятно, относится и сильное психическое напряжение, в котором пребывает Малыш в связи с появлением людей. Сам Малыш не в состоянии объяснить, чем, собственно, ему мешают люди. Очевидно, что мы мешаем не ему. Мы мешаем аборигенам. И тут мы вплотную подходим к вопросу о природе аборигенов.

Простая логика заставляет нас предположить, что аборигены являются существами либо микроскопическими, либо гигантскими – так или иначе, несоизмеримыми с физическими размерами Малыша. Именно поэтому Малыш воспринимает их самих и их проявления как стихию, как часть природы, окружающей его с младенчества. («Когда я спросил его про усы, Малыш довольно равнодушно сообщил: усы он видит впервые, но он каждый день видит что-нибудь впервые. Слова же для обозначения подобных явлений мы подобрать не смогли».) Лично он, Комов, склонен предполагать, что аборигены представляют собой некие исполинские сверхорганизмы, чрезвычайно далекие как от гуманоидов, так и от негуманоидных структур, с которыми

человек встречался прежде. Мы знаем о них пока ничтожно мало. Мы видели: чудовищные сооружения (или образования?) над горизонтом, появление и исчезновение которых явно связаны с посещениями Малыша. Мы слышали: ни с чем не ассоциируемые звуки, которые воспроизводил Малыш, описывая свой «дом». Мы поняли: аборигены находятся на чрезвычайно высоком уровне теоретического и практического знания, если судить по тому, во что они сумели превратить обыкновенного человеческого младенца. Вот и все. У нас пока даже вопросов не много, хотя вопросы эти, конечно, фундаментальны. Почему аборигены спасли и содержат Малыша, почему они вообще заинтересовались им, какое им до него дело? Откуда они знают людей – знают неплохо, разбираются в основах их психологии и социологии? Почему при всем том они так отталкиваются от общения с людьми? Как совместить очевидно высокий уровень знаний с полным отсутствием следов какой бы то ни было разумной деятельности? Или нынешнее плачевное состояние планеты как раз и есть следствие этой деятельности? Или состояние это является плачевным только с нашей точки зрения? Вот, собственно, и все основные вопросы. У него, Комова, есть кое-какие соображения на этот счет, но он полагает, что высказывать их пока преждевременно.

Во всяком случае, ясно, что сделанное открытие есть открытие первостепенной важности, реализовать его необходимо, но реализация возможна только через посредничество Малыша. Скоро должна прибыть ментоскопическая и прочая спецтехника. Использовать ее на все сто процентов мы сможем только в том случае, если Малыш нам будет полностью доверять и, более того, будет испытывать достаточно сильную в нас нужду.

– Я решил, что сегодня в контакт с ним не вступаю, – произнес Комов, отодвинув пустой стакан. – Сегодня ваша очередь. Стась, вы покажете ему своего Тома. Майя, вы будете играть с ним в мяч и катать его на глайдере. Не стесняйтесь с ним, ребята, веселее, проще! Представьте себе, что он – ваш младший братишка-вундеркинд... Яков, вам придется побыть на дежурстве. В конце концов, вы сами его учредили... Ну, а если Малыш доберется и до вас, как-нибудь соберитесь с силами и позвольте ему подергать вас за бакенбарды – очень он ими интересуется. А я притаюсь, как паук, буду за всем этим наблюдать и регистрировать. Поэтому, молодежь, извольте экипироваться «третьим глазом». Если Малыш будет спрашивать обо мне, скажите, что я размышляю. Пойте ему песни, покажите ему кино... Покажите ему вычислитель, Стась, расскажите, как он действует, попробуйте считать с ним наперегонки. Думаю, здесь ожидает вас некоторый

сюрприз... И пусть он больше спрашивает, как можно больше. Чем больше, тем лучше... По местам, ребята, по местам!

Он вскочил и умчался. Мы посмотрели друг на друга.

– Вопросы есть, кибертехник? – спросила Майка. Холодно спросила, совсем не по-дружески. Это были ее первые слова за все утро. Она даже не поздоровалась со мной сегодня.

– Нет, квартирьер, – сказал я. – Вопросов нет, квартирьер. Вас вижу, но не слышу.

– Все это, конечно, хорошо, – задумчиво проговорил Вандерхузе. – Мне бакенов не жалко. Но!

– Вот именно, – сказала Майка, поднимаясь. – Но.

– Я хочу сказать, – продолжал Вандерхузе, – что вчера вечером была радиограмма от Горбовского. Он самым деликатным образом, но совершенно недвусмысленно просил Комова не форсировать контакт. И он снова намекал, что был бы рад к нам присоединиться.

– А что Комов? – спросил я.

Вандерхузе задрал голову и, лаская левый бакенбард, поглядел на меня поверх носа.

– Комов высказался об этом непочтительно, – сказал он. – Устно, конечно. Ответил же он в том смысле, что благодарит за совет.

– И? – сказал я. Мне очень хотелось поглядеть на Горбовского. Я его толком даже в хронике никогда не видел.

– И все, – сказал Вандерхузе, тоже поднимаясь.

Мы с Майкой отправились в арсенал. Там мы отыскали и нацепили на лбы широкие пластинчатые обручи с «третьим глазом» – знаете, эти портативные телепередатчики для разведчиков-одиночек, чтобы можно было непрерывно передавать визуальную и акустическую информацию, все, что видит и слышит сам разведчик. Простая, но остроумная штука, ее совсем недавно стали включать в комплект оборудования ЭР. Пришлось немножко повозиться, пока мы подгоняли обручи, чтобы они не давили на виски и не сваливались на переносицу, и чтобы объектив не экранировался капюшоном. При этом я отпускал отчаянные остроты, всячески провоцировал Майку на шуточки в мой адрес и вообще пускался во все тяжкие, чтобы хоть немножко расшевелить ее. Все втуне – Майка оставалась хмурой, отмалчивалась или отвечала односложно. Вообще с Майкой это бывает, случаются у нее приступы хандры, и в таких случаях лучше всего оставить ее в покое. Но сейчас мне казалось, что Майка не просто хандрит, а злится, и злится именно на меня; почему-то я чувствовал себя виноватым перед нею и совершенно не понимал, как быть.

Потом Майка отправилась к себе в каюту искать мяч, а я выпустил на волю Тома и погнал его на посадочную полосу. Солнце уже поднялось, ночной мороз спал, но было все-таки еще очень холодно. Нос у меня сразу закоченел. Вдобавок легким, но очень злым ветерком тянуло с океана. Малыша нигде видно не было.

Я немного погонял Тома по полосе, чтобы дать ему размяться. Том был польщен таким вниманием и преданно испрашивал приказаний. Потом подошла Майка с мячом, и мы, чтобы не замерзнуть, минут пять постукали – честно говоря, не без удовольствия. Я все надеялся, что Майка, по обыкновению, войдет в азарт, но и здесь – втуне. В конце концов мне это надоело, и я прямо спросил, что случилось. Она поставила мяч на рубчатку, села на него, подобрала доху и пригорюнилась.

– В чем все-таки дело? – повторил я.

Майка посмотрела на меня и отвернулась.

– Может быть, ты все-таки ответишь? – спросил я, повысив голос.

– Ветерок нынче, – произнесла Майка, рассеянно оглядывая небо.

– Что? – спросил я. – Какой ветерок?

Она постучала себя пальцем по лбу рядом с объективом «третьего глаза» и сказала:

– Ба-кал-да-ка. На-кас слы-кы-ша-кат.

– Са-ка-ма-ка ба-кал-да-ка, – ответствовал я. – Та-кам же-ке тра-кан-сля-ка-то-кор...

– И то верно, – сказала Майка. – Вот я и говорю тебе: ветерок, мол.

– Да, – подтвердил я. – Что ветерок, то ветерок.

Я постоял, чувствуя себя чертовски стесненно и пытаясь придумать какую-нибудь нейтральную тему для беседы, ничего, кроме того же ветерка, не придумал, и тут мне пришло в голову, что неплохо бы пройтись. Я ведь ни разу еще не бродил по окрестностям, – без малого неделю здесь нахожусь, а на земле этой так толком и не стоял, только на экранах видел. К тому же был шанс наткнуться где-нибудь в зарослях на Малыша, особенно если он сам этого захочет, и это было бы уже не только приятно, но и полезно для дела: завязать с ним беседу в привычной для него обстановке. Я изложил все эти соображения Майке. Она молча встала и пошла к болоту, а я, погрузив нос в меховой воротник и засунув руки поглубже в карманы, поплелся следом. Том, изнемогая от услужливости, увязался было за мною, но я велел ему оставаться на месте и ждать дальнейших указаний.

В болото мы, конечно, не полезли, а двинулись в обход, продираясь через заросли кустарника. Жалкая была здесь растительность – бледная, худосочная, вялые синеватые листочки с металлическим

отливом, хрупкие узловатые веточки, пятнистая оранжевая кора. Кусты редко достигали моего роста, так что вряд ли Вандерхузе рисковал бы здесь своими бакенбардами. Под ногами упруго подавался толстый слой палых листьев, перемешанных с песком. В тени искрился иней. Но при всем при том растительность эта вызывала определенное к себе уважение. Наверное, очень нелегко было ей здесь произрастать: ночью температура падала до минус двадцати, днем редко поднималась выше нуля, а под корнями – сплошной соленый песок. Не думаю, чтобы какое-нибудь земное растение сумело бы приспособиться к таким безрадостным условиям. И странно было представить себе, что где-то среди этих прозябших кустов бродит, ступая босыми пятками по заиндевелому песку, голый человечек.

Мне почудилось какое-то движение в густых зарослях справа. Я остановился, позвал: «Малыш!» – но никто не откликнулся. Мерзлая ледяная тишина окружала нас. Ни шелеста листвы, ни жужжания насекомых – все это вызывало неожиданное ощущение, словно мы плутали среди театральных декораций. Мы обогнули длинный язык тумана, высунувшийся из горячего болота, и стали подниматься по склону холма. Собственно, это была песчаная дюна, схваченная кустами. Чем выше мы поднимались, тем тверже становилась под ногами песчаная поверхность. Взобравшись на гребень, мы огляделись. Корабль скрывали от нас облака тумана, но посадочная полоса была видна хорошо. Весело и ярко блестела под солнцем рубчатка, сиротливо чернел посередине оставленный мяч, и грузный Том неуверенно топтался вокруг него – явно решал непосильную задачу: то ли убрать с полосы этот посторонний предмет, то ли при случае жизнь положить за эту забытую человеком вещь.

И тут я заметил следы на промерзшем песке – темные влажные пятна среди серебристого инея. Здесь проходил Малыш, проходил совсем недавно. Сидел на гребне, а потом поднялся и пошел вниз по склону, удаляясь от корабля. Цепочка следов тянулась в заросли, забившие дно лощины между дюнами. «Малыш!» – снова позвал я, и снова он не отозвался. Тогда я стал спускаться в лощину.

Я нашел его сразу. Мальчик лежал ничком, вытянувшись во всю длину, прижавшись щекой к земле и обхватив голову руками. Он казался очень странным и невозможным здесь, никак не вписывался он в этот ледяной пейзаж. Противоречил ему. В первую секунду я даже испугался, не случилось ли что-нибудь. Слишком уж здесь было холодно и неприютно. Я присел рядом с ним на корточки, окликнул, а потом, когда он промолчал, легонько шлепнул его по голому

поджарому заду. Это я впервые прикоснулся к нему и чуть не заорал от неожиданности: он показался мне горячим, как утюг.

– Он придумал? – спросил Малыш, не поднимая головы.

– Он размышляет, – сказал я. – Трудный вопрос.

– А как я узнаю, что он придумал?

– Ты придешь, и он сразу тебе скажет.

– Мам-ма, – вдруг сказал Малыш.

Я взглянул. Майка стояла рядом.

– Мам-ма, – повторил Малыш, не двигаясь.

– Да, колокольчик, – сказала Майка тихо.

Малыш сел – перелился из лежачего положения в сидячее.

– Скажи еще раз! – потребовал он.

– Да, колокольчик, – сказала Майка. Лицо у нее побелело, резко проступили веснушки.

– Феноменально! – произнес Малыш, глядя на нее снизу вверх. – Щелкунчик!

Я прокашлялся.

– Мы тебя ждали, Малыш, – сказал я.

Он стал смотреть на меня. С большим трудом я удержался, чтобы не отвести глаза. Страшненькое все-таки было у него лицо.

– Зачем ты меня ждал?

– Ну, как зачем... – Я несколько растерялся, но меня тут же осенило. – Мы скучаем без тебя. Нам без тебя плохо. Нет удовольствия, понимаешь?

Малыш вскочил и сейчас же снова сел. Очень неудобно сел – я бы двух секунд так не просидел.

– Тебе плохо без меня?

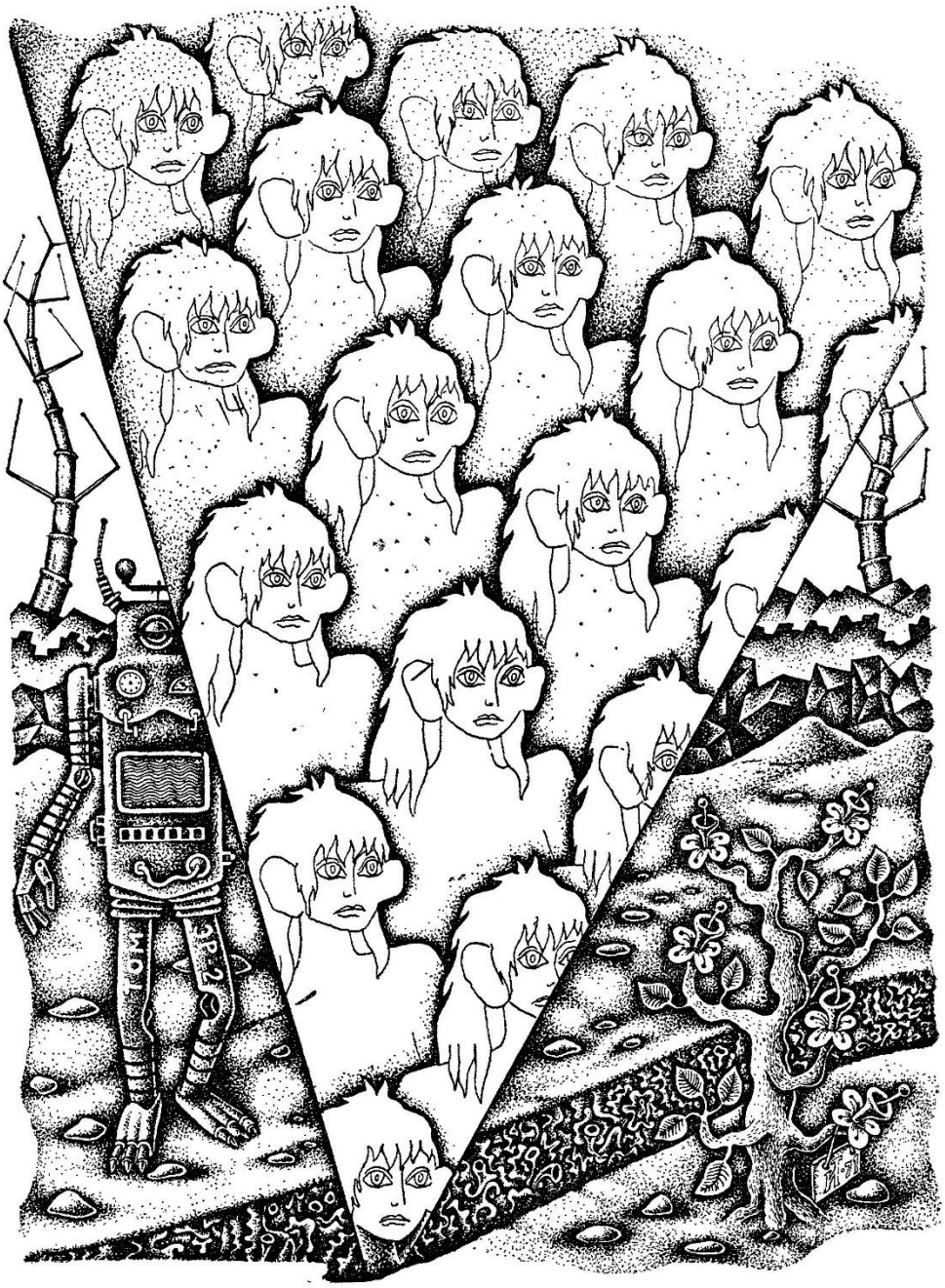
– Да, – сказал я решительно.

– Феноменально, – проговорил он. – Тебе плохо без меня, мне плохо без тебя. Ш-шарада!

– Ну почему же – шарада? – огорчился я. – Если бы мы не могли быть вместе, вот тогда бы была шарада. А сейчас мы встретились, можно играть... Вот ты любишь играть, но ты всегда играл один...

– Нет, – возразил Малыш, – только сначала я играл один. А потом я играл на озере и увидел свое изображение в воде. Хотел с ним играть, оно распалось. Тогда я очень захотел, чтобы у меня были изображения, много изображений, чтобы с ними играть. И стало так.

Он вскочил и легко побежал по кругу, оставляя свои диковинные фантомы – черные, белые, желтые, красные, а потом сел посередине



и горделиво огляделся. И должен вам сказать, это было зрелище: голый мальчишка на песке, и вокруг него дюжина разноцветных статуй в разных позах.

– Феноменально, – сказал я и посмотрел на Майку, приглашая ее принять хоть какое-нибудь участие в беседе. Мне было неловко, что я все время говорю, а она молчит. Но она ничего не сказала, просто хмуро глядела, а фантомы зыбко колебались и медленно таяли, распространяя запах нашатырного спирта.

– Я всегда хотел спросить, – объявил Малыш, – зачем вы заворачиваетесь? Что это такое? – Он подскочил ко мне и дернул за полу дохи.

– Одежда, – сказал я.

– Одежда, – повторил он. – Зачем?

Я рассказал ему про одежду. Я не Комов. Сроду не читал лекций, особенно об одежде. Но без ложной скромности скажу: лекция имела успех.

– Все люди в одежде? – спросил пораженный Малыш.

– Все, – сказал я, чтобы покончить с этим вопросом. Я не совсем понимал, что его, собственно, поражает.

– Но людей много! Сколько?

– Пятнадцать миллиардов.

– Пятнадцать миллиардов, – повторил он и, выставив перед собой палец без ногтя, принялся сгибать и разгибать его. – Пятнадцать миллиардов! – сказал он и оглянулся на призрачные остатки фантомов. Глаза его потемнели. – И все в одежде... А еще что?

– Не понимаю.

– Что они еще делают?

Я набрал в грудь побольше воздуху и принялся рассказывать, что делают люди. Странно, конечно, но до сих пор я как-то не задумывался над этим вопросом. Боюсь, что у Малыша создалось впечатление, будто человечество занимается большей частью кибертехникой. Впрочем, я решил, что для начала и это неплохо. Малыш, правда, не метался, как во время лекций Комова, и не скручивался в узел, но слушал все равно, словно завороженный. И когда я кончил, совершенно запутавшись и отчаявшись дать ему представление об искусстве, он немедленно задал новый вопрос.

– Так много дел, – сказал он. – Зачем пришли сюда?

– Майка, расскажи ему, – взмолился я сиплым голосом. – У меня нос замерз...

Майка отчужденно посмотрела на меня, но все-таки принялась вяло и, на мой взгляд, совсем неинтересно рассказывать про блаженной памяти проект «Ковчег». Я не удержался, стал ее перебивать, пытаясь расцветить лекцию живописными подробностями, затеял

вносить поправки, и в конце концов вдруг оказалось, что опять говорю я один. Рассказ свой я счел необходимым закончить моралью.

– Ты сам видишь, – сказал я. – Мы начали было большое дело, но как только поняли, что твоя планета занята, мы сразу же отказались от нашей затеи.

– Значит, люди умеют узнавать, что будет? – спросил Малыш. – Но это неточно. Если бы люди умели, они бы давно отсюда ушли.

Я не придумал, что ответить. Тема показалась мне скользкой.

– Знаешь, Малыш, – сказал я бодро, – давай пойдем поиграем. Посмотришь, как интересно играть с людьми.

Малыш молчал. Я свирепо поглядел на Майку: что она, в самом деле, не могу же я один тащить на себе весь контакт!

– Пойдем поиграем, Малыш, – без всякого энтузиазма поддержала меня Майка. – Или хочешь, я покатаю тебя на летательной машине?

– Ты будешь летать в воздухе, – подхватил я, – и все будет внизу – горы, болота, айсберг...

– Нет, – сказал Малыш, – летать – это обычное удовольствие. Это я могу сам.

Я подскочил.

– Как – сам?

По лицу его прошла мгновенная рябь, поднялись и опустились плечи.

– Нет слов, – сказал он. – Когда захочу – летаю...

– Так полети! – вырвалось у меня.

– Сейчас не хочу, – сказал он нетерпеливо. – Сейчас мне удовольствие с вами. – Он вскочил. – Хочу играть! – объявил он. – Где?

– Побежали к кораблю, – предложил я.

Он испустил душераздирающий вопль, и не успело эхо замереть в дюнах, как мы уже наперегонки неслись через кустарник. На Майку я окончательно махнул рукой: пусть делает что хочет.

Малыш скользил меж кустов, как солнечный зайчик. По-моему, он не задел ни одной ветки и вообще ни разу не коснулся земли. Я в своей дохе с электроподогревом ломил напролом, как песчаный танк, только трещало вокруг. Я все время пытался его догнать, и меня все время сбивали с толку его фантомы, которые он поминутно оставлял за собой. На опушке зарослей Малыш остановился, дождался меня и сказал:

– У тебя так бывает? Ты просыпаешься и вспоминаешь, будто сейчас только видел что-то. Иногда это хорошо известное. Например, как я летаю. Иногда – совсем новое, такое, чего не видел раньше.

– Да, бывает, – сказал я, переводя дух. – Это называется сон. Ты спишь и видишь сны.

Мы пошли шагом. Где-то позади трещала кустарником Майка.

– Откуда это берется? – спросил Малыш. – Что это такое – сны?

– Небывалые комбинации бывалых впечатлений, – отбарабанил я.

Он не понял, конечно, и мне пришлось прочесть еще одну небольшую лекцию – о том, что такое сны, как они возникают, зачем они нужны и как было бы плохо человеку, если бы их не было.

– Чеширский кот! Но я так и не понял, почему я вижу во сне то, чего раньше не видел никогда.

Майка нагнала нас и молча пошла рядом.

– Например? – спросил я.

– Иногда мне снится, что я огромный-огромный, что я размышляю, что вопросы приходят ко мне один за другим, очень яркие вопросы, удивительные, и я нахожу ответы, удивительные ответы, и я очень хорошо знаю, как из вопроса образуется ответ. Это самое большое удовольствие, когда знаешь, как из вопроса образуется ответ. Но когда я просыпаюсь, я не помню ни вопросов, ни ответов. Помню только удовольствие.

– М-да, – сказал я уклончиво. – Интересный сон. Но объяснить его я тебе не могу. Спроси у Комова. Может быть, он объяснит.

– У Комова... Что такое – Комов?

Мне пришлось изложить ему нашу систему имен. Мы уже огибали болото, и перед нами открылся корабль и посадочная полоса. Когда я закончил, Малыш вдруг сказал ни с того ни с сего:

– Странно. Никогда со мной так не было.

– Как?

– Чтобы я хотел для себя и не мог.

– А что ты хочешь?

– Я хочу разделиться пополам. Сейчас я один, а чтобы стало два.

– Ну, брат, – сказал я, – тут и хотеть нечего. Это же невозможно.

– А если бы возможно? Плохо или хорошо?

– Плохо, конечно, – сказал я. – Я не совсем понимаю, что ты хочешь сказать... Можно разорваться пополам. Это совсем плохо. Можно заболеть: называется – раздвоение личности. Это тоже плохо, но это можно поправить.

– Больно? – спросил Малыш.

Мы ступили на рубчатку. Том уже катил навстречу, гоня перед собой мяч и радостно мигая сигнальными огоньками.

– Брось об этом, – сказал я. – Ты и в целом виде хорош.

– Нет, не хорош, – возразил Малыш, но тут набежал Том и началась потеха.

Из Малыша градом посыпались вопросы. Я не успевал отвечать. Том не успевал выполнять команды. Мяч не успевал касаться земли. И только Малыш все успевал.

Со стороны это выглядело, наверное, очень весело. Да нам и на самом деле было весело, даже Майка в конце концов разошлась. Наверное, мы были похожи на расшалившихся подростков, которые удрали с уроков на берег океана. Сначала еще была какая-то неловкость, сознание того, что мы не развлекаемся, а работаем, что за каждым нашим движением следят, что между нами и Малышом осталось что-то тяжкое, недоговоренное, а потом все это как-то забылось. Остался только мяч, летящий тебе прямо в лицо, и восторг удачного удара, и злость на неуклюжего Тома, и звон в ушах от удалого гиканья, и резкий отрывистый хохот Малыша – мы впервые услышали тогда его смех, самозабвенный, совсем детский...

Это была странная игра. Малыш придумывал правила на ходу. Он оказался невероятно вынослив и азартен, он не упускал ни единого случая продемонстрировать перед нами свои физические преимущества, он навязал нам соревнование, и как-то само собой получилось, что он стал играть один против нас троих, и мы все время проигрывали. Сначала он выигрывал, потому что мы поддавались. Потом он выигрывал, потому что мы не понимали его правил. Потом мы поняли правила, но нам с Майкой мешали дохи. Потом мы решили, что Том слишком неуклюж, и прогнали его. Майка вошла в азарт и заиграла в полную силу, я тоже делал все, что мог, но мы проигрывали очко за очком. Мы ничего не могли сделать с этим молниеносным дьяволенком, который перехватывал любые мячи, сам бил очень сильно и точно, негодующе вопил, если мяч задерживался в наших руках дольше секунды, совершенно сбивал нас с толку своими фантомами или, того хуже, манерой мгновенно исчезать из виду и появляться столь же мгновенно совсем в другом месте. Мы не сдавались, конечно, – от нас столбом шел пар, мы задыхались, мы потели, мы орали друг на друга, но мы дрались до последнего. И вдруг все кончилось.

Малыш остановился, проводил взглядом мяч и сел на песок.

– Это было хорошо, – сказал он. – Я никогда не знал, что бывает так хорошо.

– Что? – крикнул я, задыхаясь. – Устал, Малыш?

– Нет. Вспомнил. Не могу забыть. Не помогает. Никакое удовольствие не помогает. Больше не зови меня играть. Мне плохо, а сейчас

еще хуже. Скажи ему, чтобы он думал скорее. Я разорвусь пополам, если он быстро не придумает. У меня внутри все болит. Я хочу разорваться, но боюсь. Поэтому не могу. Если будет очень болеть, перестану бояться. Пусть думает быстро.

– Ну что ты, в самом деле, Малыш! – сказал я расстроенно. Я не совсем понимал, что с ним происходит, но я видел, что ему действительно плохо. – Выбрось ты все это из головы! Просто ты не привык к людям. Надо чаще встречаться, больше играть...

– Нет, – сказал Малыш и вскочил. – Больше не приду.

– Ну почему же? – вскричал я. – Ведь было хорошо! Будет еще лучше! Есть другие игры, не только с мячом... С обручем, с крыльями!

Он медленно пошел прочь.

– Есть шахматы! – торопливо говорил я ему в спину. – Ты знаешь, что такое шахматы? Это величайшая игра, ей тысяча лет!..

Он приостановился. Я принялся торопливо и вдохновенно объяснять ему, что такое шахматы – простые шахматы, трехмерные шахматы, эн-мерные шахматы... Он стоял и слушал, глядя в сторону. Я кончил про шахматы и начал про покари. Я судорожно вспоминал все игры, какие знал.

– Да, – произнес Малыш. – Я приду.

И, уже больше не останавливаясь, он побрел, нога за ногу, к болоту. Некоторое время мы молча смотрели ему вслед, потом Майка крикнула: «Малыш!» – сорвалась с места, догнала его и пошла рядом. Я подобрал свою доху, оделся, отыскал доху Майки и нерешительно двинулся за ними. На душе у меня был какой-то неприятный осадок, и я не понимал, в чем дело. Вроде бы все кончилось хорошо: Малыш обещал вернуться, значит все-таки привязался к нам, значит, без нас ему теперь гораздо хуже, чем с нами... «Привыкнет, – повторял я про себя. – Ничего, привыкнет...» Я увидел, что Майка остановилась, а Малыш побрел дальше. Майка повернулась и, обхватив себя за плечи, побежала мне навстречу. Я подал ей доху и спросил:

– Ну что?

– Все в порядке, – сказала она. Глаза у нее были прозрачные и какие-то отчаянные.

– Я думаю, что в конце концов... – начал я и осекся. – Майка, – сказал я, – ты же «третий глаз» потеряла!

– Я его не потеряла, – сказала Майка.

Глава восьмая
СОМНЕНИЯ И РЕШЕНИЯ

Малыш уходил от корабля на запад вдоль береговой линии, прямо через дюны и заросли. Сначала «третий глаз» интересовал его. Он останавливался, снимал обруч, вертел его в руках, и тогда у нас на приемном экране мелькало то бледное небо, то голубовато-зеленое лицо-маска, то заиндевелый песок. Потом он оставил обруч в покое. Не знаю, двигался ли он не так, как обычно, или обруч надел не совсем правильно, но впечатление было такое, словно объектив смотрит не прямо по ходу, а несколько вправо. По экрану, подрагивая, проплывали однообразные дюны, озябшие кусты, иногда возникали сизые горные вершины или появлялся вдруг черный океан со сверкающими айсбергами на горизонте.

По-моему, Малыш двигался без определенной цели – просто брел куда глаза глядят, подальше от нас. Несколько раз он поднимался на гребни дюн и смотрел в нашу сторону. На приемном экране появлялись ослепительно белый конус нашего ЭР-2, серебристая лента посадочной полосы, оранжевый Том, одиноко приткнувшийся к стене недостроенной метеостанции. Но на обзорном экране Малыша мы так и не обнаружили.

Примерно через час Малыш вдруг резко свернул к горам. Теперь солнце било прямо в объектив – и видно стало хуже. Дюны вскоре кончились, Малыш брел по редколесью, перешагивая через сгнившие сучья, среди корявых стволов с отставшей пятнистой корой, по бурой, пропитанной ледяной влагой земле. Раз он вскарабкался на одинокий гранитный валун, постоял, оглядываясь, потом спрыгнул, подобрал с земли два черных осклизлых сучка и пошел дальше, постукивая ими друг о друга. Сначала стук был беспорядочный, потом в нем появился ритм, а к ритму примешивалось не то жужжание, не то гудение. Звук этот, непрерывный и неприятный, становился все громче. Скорее всего, это гудел и жужжал сам Малыш – может быть, это была песня, а может быть, и разговор с самим собой.

Так он брел, стуча, жужжа и гудя, а между деревьев все чаще попадались каменные россыпи, замшелые валуны, громадные обломки скал. Потом на экране вдруг появилось озеро. Малыш, не останавливаясь, вошел в него, на мгновение мы увидели взбаламученную воду, затем изображение потускнело и исчезло – Малыш нырнул.

Под водой он был очень долго, я уже думал, что он утопил передатчик, и мы больше ничего не увидим, но минут через десять изображение появилось снова, мутное, размытое, струйчатое. Сначала мы

почти ничего не различали, но вскоре в правой части экрана появилось изображение ладони, на которой прыгала и извивалась уродливая пантианская рыбка.

Когда объектив «глаза» очистился окончательно, Малыш бежал. Древесные стволы неслись на нас и в последние мгновения стремительно ускользали то вправо, то влево. Он бежал очень быстро, но мы не слышали ни топота, ни дыхания – только шумел ветер и мелькало солнце за путаницей голых ветвей. И вдруг произошло непонятное: Малыш как вкопанный остановился перед серым валуном и погрузил в него руки по локоть. Не знаю, может быть, там было хорошо замаскированное отверстие. По-моему, не было. Когда через несколько секунд Малыш извлек руки, они были черные и блестящие, и это черное и блестящее стекало с кончиков пальцев и тяжело, с отчетливым мокрым стуком капало на землю. Потом руки исчезли из поля зрения и Малыш побежал дальше.

Он остановился перед диковинным сооружением, похожим на покосившуюся башню, и я не сразу понял, что это – разбитый корабль «Пеликан». Теперь я своими глазами увидел, как страшно ему досталось при падении и что с ним сделали долгие годы на этой планете. Зрелище было не из приятных. Между тем Малыш медленно приблизился, заглянул в отверстую дыру люка – на мгновение экран погрузился в непроглядную тьму, – затем так же медленно обошел несчастный корабль кругом. Он снова остановился перед люком, поднял руку и приложил черную ладонь с растопыренными пальцами к изъеденному эрозией борту. Он стоял так с минуту, и мы снова услышали его жужжание и гудение, и мне показалось, что из-под растопыренных пальцев поднимаются струйки синеватого дыма. Наконец он отнял руку и отступил на шаг. На мертвой почернелой обшивке явственно виднелся отчетливый рельефный отпечаток – ладонь с растопыренными пальцами.

– Ух ты мой сверчок на печи, – произнес сочный баритон.

– Колокольчик!.. – откликнулся нежный женский голос.

– Зика! – почти шепотом проговорил баритон. – Зиканька!..

Заплакал младенец.

Отпечаток ладони резко метнулся в сторону и исчез. Теперь на экране виднелся горный склон – изборожденный трещинами гранит, старые осыпи, крошево острых камней, сверкающих изломанными гранями, поросли хилой жесткой травы, глубокие, непроницаемо черные расселины. Малыш поднимался по склону, мы видели его руки, цепляющиеся за выступы, зернистый камень толчками уходил вниз по экрану, стало слышно ровное шумное дыхание, а потом

движение стало плавным и быстрым, у меня зарябило в глазах, склон вдруг отдалился, проваливаясь куда-то в сторону и вниз, и мы услышали резкий, хриплый, сразу же оборвавшийся смех Малыша. Малыш летел – это было несомненно.

На экране сияло серо-лиловое небо, а сбоку пульсировали какие-то мутные полупрозрачные клочья, словно обрывки запылившейся кисеи. Медленно прошло поперек экрана ослепительное лиловое солнце, пыльная кисея закрыла все и тут же исчезла. Мы увидели далеко внизу плоскогорье, затянутое сиреневой дымкой, ужасные шрамы бездонных ущелий, неправдоподобно острые пики, покрытые вечными снегами, – безрадостный ледяной мир, уходящий за горизонт, мертвый, истрескавшийся, ощетиненный. И мы увидели мощное, лаково отсвечивающее колено Малыша, повисшее над бездной, и его черную руку, крепко вцепившуюся в осязаемое ничто.

Честно говоря, в эту минуту я перестал верить своим глазам и посмотрел, ведется ли запись. Запись велась. Но у Вандерхузе вид был тоже озадаченный, а Майка недоверчиво щурилась и вертела шеей, словно ей мешал воротник. Только Комов был совершенно спокоен и неподвижен – сидел, уперев локти в панель и положив подбородок на сплетенные пальцы.

А Малыш уже падал. Каменная пустыня стремительно надвигалась, слегка поворачиваясь вокруг невидимой оси, и ясно было, куда уходила эта ось – в черную трещину, расколовшую бурое поле, загроможденное обломками скал. Трещина росла, ширилась, освещенный солнцем край ее казался гладким и совершенно отвесным, а о том, чтобы увидеть дно, не могло быть и речи, – там царила сплошная тьма. И в эту тьму стремительно ворвался Малыш; изображение исчезло, и Майка, протянув руку, включила усиление, но и с усилением ничего нельзя было разглядеть, кроме струящихся по экрану неопределенных серых полос. Затем Малыш издал пронзительный вопль, и движение остановилось. «Разбился!» – подумал я в ужасе. Майка изо всей силы вцепилась мне в запястье.

На экране виднелись какие-то смутные неподвижные пятна, все было серое и черное, и слышались странные звуки – какое-то бульканье, хриплое курлыканье, шипение. Возник знакомый черный силуэт руки с растопыренными пальцами и скрылся. Смутные пятна поплыли, сменяя друг друга, курлыканье и бульканье становилось то громче, то тише, разгорелся и погас оранжевый огонек, потом еще один, и еще... Что-то коротко взревело и пошло отдаваться многократным эхом. «Дайте инфра», – сквозь зубы проговорил Комов. Майка схватилась за верньер инфракрасного усиления и повернула

его до отказа. Экран сразу посветлел, но я по-прежнему ничего не понимал.

Все пространство было заполнено фосфоресцирующим туманом. Правда, это был не обычный туман, в нем угадывалась какая-то структура – словно срез животной ткани под расфокусированным микроскопом – и в этом структурном тумане угадывались местами более светлые уплотнения и собрания темных пульсирующих зерен, и все это словно бы висело в воздухе, иногда вдруг совсем пропадало и появлялось вновь, а Малыш шел через это, будто на самом деле ничего этого не было, шел, вытянув перед собой светящиеся руки с растопыренными пальцами, и пальцы его вибрировали и содрогались в сложном и очевидном ритме, а вокруг – булькало, хрипело, журчало, звонко тикало.

Так он шел долго, и мы не сразу заметили, что рисунок структуры бледнеет, расплывается, и вот на экране осталось только молочное свечение и едва заметные очертания растопыренных пальцев Малыша. И тогда Малыш остановился. Мы поняли это по тому, что звуки перестали приближаться и удаляться. Те самые звуки. Целая лавина, целый каскад звуков. Хриплые гулы, басистое бормотание, задавленные писки... что-то сочно лопнуло и разлетелось звонкими брызгами... зудение, скрип, медные удары... А потом в ровном сиянии проступили темные пятна, десятки темных пятен, больших и маленьких; сначала смутные, они принимали все более определенные очертания, становились все более похожими на что-то удивительно знакомое, и вдруг я догадался, что это такое. Это было совершенно невозможно, но я уже не мог отогнать от себя эту мысль. Люди. Десятки, сотни людей, целая толпа, выстроенная в правильном порядке и видимая словно бы несколько сверху... И тут что-то произошло. На какую-то долю мгновения изображение сделалось совершенно ясным. Слишком ненадолго, впрочем, чтобы можно было рассмотреть что-либо. Затем раздался отчаянный крик, изображение перевернулось и пропало вовсе. И сейчас же бешеный голос Комова произнес:

– Зачем вы это сделали?

Экран был мертв. Комов стоял, неестественно выпрямившись, сжатые кулаки его упирались в пульт. Он смотрел на Майку. Майка была бледна, но спокойна. Она тоже поднялась и теперь стояла перед Комовым лицо к лицу. Она молчала.

– Что случилось? – осторожно осведомился Вандерхузе. По-видимому, он тоже ничего не понимал.

– Вы либо хулиганка, либо... – Комов остановился. – Исключаю вас из группы контакта. Запрещаю вам выходить из корабля, входить в рубку и на пост УАС. Ступайте отсюда.

Майка, по-прежнему не говоря ни слова, повернулась и вышла. Ни секунды не раздумывая, я двинулся за ней.

– Попов! – резко сказал Комов.

Я остановился.

– Прошу вас немедленно передать эту запись в Центр. Экстренно.

Он смотрел мне прямо в глаза, и я почувствовал себя нехорошо. Такого Комова я еще никогда не видел. Такой Комов имел несомненное право приказывать, сажать под домашний арест и вообще подавлять любой бунт в самом зародыше. У меня было ощущение, что я сейчас разорвусь пополам. «Как Малыш», – мелькнуло у меня в голове.

Вандерхузе произнес, кашлянув:

– Э-э, Геннадий. Может быть, все-таки не в Центр? Горбовский ведь уже на базе. Может быть, все-таки на базу, как вы полагаете?

Комов все смотрел на меня. Суженные глаза его казались льдинками.

– Да, конечно, – проговорил он, совершенно, впрочем, спокойно. – Копию на базу, Горбовскому. Благодарю вас, Яков. Попов, приступайте.

Мне ничего не оставалось делать, кроме как приступить. Но я был недоволен. Если бы мы носили фуражки, как в старину, я бы повернул свою фуражку козырьком назад. Но фуражки на мне не было, и поэтому я, извлекая из рекордера кассету, ограничился тем, что спросил с вызовом:

– А что, собственно, произошло? Что она такого сделала?

Некоторое время Комов молчал. Он уже снова сидел в своем кресле и, покусывая губу, барабанил пальцем по подлокотнику. Вандерхузе, растопырив бакенбарды, тоже смотрел на него с ожиданием.

– Она включила прожектор, – сказал наконец Комов.

Я не сразу понял.

– Какой прожектор?

Комов, не отвечая, показал пальцем на утопленную клавишу.

– А, – произнес Вандерхузе с огорчением.

А я ничего не сказал. Я взял кассету и пошел к рации. Если честно, говорить мне было нечего. Даже за меньшие провинности людей с шумом и позором вышибали из космоса. Майка включила аварийную лампу-вспышку, вмонтированную в обруч. И можно было представить себе, каково пришлось обитателям пещеры, когда в вечном

мраке на мгновение вспыхнуло маленькое солнце. Разведчика, потерявшего сознание, по этой вспышке можно обнаружить с орбиты даже на освещенной стороне планеты... даже если он засыпан... Такой прожектор излучает в диапазоне от ультрафиолета до УКВ... Не было еще случая, чтобы разведчику не удалось отпугнуть такой вспышкой самое бешеное, самое кровожадное животное. Даже тахорги, которые вообще ничего на свете не боятся, тормозят задними ногами, останавливая свой неудержимый разбег... «С ума сошла, – подумал я безнадежно. – Совсем взбесилась...». Но вслух я сказал (усаживаясь за рацию):

– Подумаешь! Нажал человек не на ту клавишу, ошибся...

– Да, действительно, – произнес Вандерхузе. – Наверное, так оно и было. Она, очевидно, хотела включить инфракрасный прожектор... Клавиши рядом... Как вы полагаете, Геннадий?

Комов молчал. Что-то он там делал на пульте. Я не хотел на него смотреть. Я включил автомат и стал демонстративно глядеть в другую сторону.

– Неприятно, конечно, – бормотал Вандерхузе. – Ай-яй-яй-яй... В самом деле, ведь это может отразиться... Активное воздействие... Вряд ли приятное... Гм... У нас у всех несколько напряжены нервы в последнее время, Геннадий. Неудивительно, что девочка ошиблась... Мне самому хотелось, знаете ли, что-нибудь сделать... как-то улучшить изображение... Бедный Малыш. По-моему, это он закричал...

– Вот, – сказал Комов. – Можете полюбоваться. Три с половиной кадра.

Было слышно, как Вандерхузе озабоченно засопел. Я не удержался и оглянулся на них. Ничего не было видно за их сдвинутыми головами, поэтому я встал и подошел. На экране было то самое, что я увидел в последнее мгновение, но не успел воспринять. Изображение было отличное, и все-таки я совершенно не понимал, что это такое. Много людей, множество черных фигурок, абсолютно одинаковых, выстроенных в шахматном порядке. Стояли они как бы на ровной и хорошо освещенной площади. Передние фигурки были больше, задние, в полном соответствии с законами перспективы, меньше. Впрочем, ряды казались бесконечными и где-то вдали сливались в сплошные черные полосы.

– Это Малыш, – проговорил Комов. – Узнаете?

До меня дошло: действительно, это был Малыш, повторенный, как в бесчисленных зеркалах, бесчисленное множество раз.

– Похоже на многократное отражение, – пробормотал Вандерхузе.

– Отражение… – повторил Комов. – А где же тогда отражение лампы? И где у Малыша тень?

– Не знаю, – честно признался Вандерхузе. – Действительно, тень должна быть.

– А вы что думаете, Стась? – спросил Комов, не оборачиваясь.

– Ничего, – коротко сказал я и вернулся на свое место.

На самом-то деле я, конечно, думал, у меня мозги скрипели – так я думал, но придумать ничего не мог. Больше всего мне это напоминало формалистический рисунок пером.

– Да, не много мы узнали, – проговорил Комов. – Даже шерсти клок оказался никудышным…

– Охо-хо-хо-хохонюшки, – проговорил Вандерхузе, тяжело поднялся и вышел.

Мне тоже очень хотелось выйти и посмотреть, как там Майка. Но я взглянул на хронометр – до конца передачи оставалось еще минут десять. Комов шуршал и возился у меня за спиной. Потом рука его протянулась через мое плечо, и на пульт передо мной лег голубой бланк радиограммы.

– Это объяснительная записка, – сказал Комов. – Отправьте сразу же по окончании передачи записи.

Я прочел радиограмму.

ЭР-2, КОМОВ – БАЗА, ГОРБОВСКОМУ. КОПИЯ: ЦЕНТР, БАДЕРУ. НАПРАВЛЯЕТСЯ ВАМ ЗАПИСЬ С ПЕРЕДАТЧИКА ТИПА ТГ. НОСИТЕЛЬ МАЛЫШ. ЗАПИСЬ ВЕЛАСЬ С 13.46 ПО 17.02 БВ. ПРЕРВАНА ВСЛЕДСТВИЕ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМПЫ-ВСПЫШКИ ПО МОЕЙ НЕБРЕЖНОСТИ. СИТУАЦИЯ НА НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ.

Я не понял и перечитал радиограмму еще раз. Потом я оглянулся на Комова. Он сидел в прежней позе, положив подбородок на сплетенные пальцы, и смотрел на обзорный экран. Не то чтобы горячая волна благодарности захлестнула меня с головой. Нет, этого не было. Слишком мало симпатии испытывал я к этому человеку. Но должного ему нельзя было не отдать. В такой ситуации не всякий поступил бы столь же решительно и просто. И неважно, собственно, почему он так поступил: потому ли, что пожалел Майку (сомнительно), или устыдился своей резкости (более похоже на правду), или потому, что принадлежит к руководителям того типа, которые совершенно искренне считают проступки подчиненных своими проступками. Во всяком случае, для Майки опасность птичкой вылететь из космоса

существенно уменьшилась, а позиция и реноме самого Комова заметно ухудшились. Ладно, Геннадий Юрьевич, при случае это вам зачтется. Такие действия надлежит всячески поощрять. А с Майкой мы еще поговорим. Какого дьявола, в самом деле? Что она – маленькая? В куклы она тут играть решила?

Автомат звякнул и выключился, я взялся за радиограмму. Вошел Вандерхузе, толкая перед собой столик на колесах. Совершенно бесшумно и с необыкновенной легкостью, которая сделала бы честь самому квалифицированному киберу, он поставил поднос с тарелками у правого локтя Комова. Комов рассеянно поблагодарил. Я взял себе стакан томатного сока, выпил и налил еще.

– А салат? – огорченно спросил Вандерхузе.

Я покачал головой и сказал в спину Комову:

– У меня все закончено. Можно быть свободным?

– Да, – ответил Комов, не оборачиваясь. – Из корабля не выходить.

В коридоре Вандерхузе сообщил мне:

– Майка обедает.

– Истеричка, – сказал я со злостью.

– Напротив. Я бы сказал, что она спокойна и довольна. И никаких следов раскаяния.

Мы вместе вошли в кают-компанию. Майка сидела за столом, ела суп и читала какую-то книжку.

– Здорово, арестант, – сказал я, усаживаясь перед ней со своим стаканом.

Майка оторвалась от книжки и поглядела на меня, прищурив один глаз.

– Как начальство? – осведомилась она.

– В тягостном раздумье, – сказал я, разглядывая ее. – Решает, вздернуть ли тебя на фок-рее немедленно или довезти до Дувра, где тебя повесят на цепях.

– А что на горизонтах?

– Без изменений.

– Да, – сказала Майка, – теперь он больше не придет.

Она сказала это с явным удовлетворением. Глаза у нее были веселые и отчаянные, как давеча. Я отхлебнул томатного сока и покосился на Вандерхузе. Вандерхузе с постным видом поедал мой салат. Мне вдруг пришло в голову: а капитан-то наш рад-радехонек, что не он командует в сей кампании.

– Да, – сказал я, – похоже на то, что контакт ты нам сорвала.

– Грешна, – коротко ответила Майка и снова уткнулась в книгу. Только она не читала. Она ждала продолжения.

– Будем надеяться, что дело обстоит не так плохо, – сказал Вандерхузе. – Будем надеяться, что это просто очередное осложнение.

– Вы думаете, Малыш вернется? – спросил я.

– Думаю, да, – сказал Вандерхузе со вздохом. – Он слишком любит задавать вопросы. А теперь у него появилась масса новых. – Он доел салат и поднялся. – Пойду в рубку, – сообщил он. – Сказать по правде, это очень некрасивая история. Я понимаю тебя, Майка, но ни в какой степени не оправдываю. Так, знаешь ли, не поступают...

Майка ничего не ответила, и Вандерхузе удалился, толкая перед собою столик. Как только шаги его затихли, я спросил, стараясь говорить вежливо, но строго:

– Ты это сделала нарочно или случайно?

– А ты как полагаешь? – спросила Майка, уставясь в книгу.

– Комов взял вину на себя, – сказал я.

– То есть?

– Лампа-вспышка была включена, оказывается, по его небрежности.

– Очень мило, – произнесла Майка. Она положила книжку и потянулась. – Великолепный жест.

– Это все, что ты можешь мне сказать?

– А что тебе, собственно, нужно? Чистосердечное признание? Раскаяние? Слезы в жилетку?

Я снова отхлебнул соку. Я сдерживался.

– Прежде всего я хотел бы узнать, случайно или нарочно?

– Нарочно. Что дальше?

– Дальше я хотел бы узнать, для чего ты это сделала?

– Я сделала это для того, чтобы раз и навсегда прекратить безобразие. Дальше?

– Какое безобразие? О чем ты говоришь?

– Потому что это было отвратительно! – сказала Майка с силой. – Потому что это было бесчеловечно. Потому что я не могла сидеть сложа руки и наблюдать, как гнусная комедия превращается в трагедию. – Она отшвырнула книжку. – И нечего сверкать на меня глазами! И нечего за меня заступаться! Ах, как он великодушен! Любимец доктора Мбоги! Все равно я уйду. Уйду в школу и буду учить ребят, чтобы они вовремя хватали за руку всех этих фанатиков абстрактных идей и дураков, которые им подпевают!

У меня было благое намерение выдержать вежливый, корректный тон до конца. Но тут терпение мое лопнуло. У меня вообще дело с терпением обстоит неважно.

– Нагло! – сказал я, не находя слов. – Нагло себя ведешь! Нагло!

Я попытался еще раз отхлебнуть соку, но выяснилось, что стакан пуст. Как-то незаметно я успел все выхлебать.

– А дальше? – спросила Майка, презрительно усмехаясь.

– Все, – сказал я угрюмо, разглядывая пустой стакан. Действительно, сказать мне было больше нечего. Расстрелял я весь свой боезапас. Вероятно, я и шел-то к Майке не для того, чтобы разобраться, а просто чтобы обругать ее.

– А если все, – сказала Майка, – то иди в рубку и целуйся со своим Комовым. А заодно со своим Томом и прочей своей кибертехникой. А мы, знаешь ли, просто люди, и ничто человеческое нам не чуждо.

Я отодвинул стакан и встал. Говорить больше было не о чем. Все было ясно. Был у меня товарищ – нет у меня товарища. Ну что ж, перебьемся.

– Приятного аппетита, – сказал я и на негнущихся ногах направился в коридор.

Сердце у меня колотилось, губы отвратительно дрожали. Я заперся у себя в каюте, повалился на постель и уткнулся носом в подушку. В голове у меня в горькой и бездонной пустоте кружились, сталкивались и рассыпались невысказанные слова. Глупо. Глупо!.. Ну ладно, ну не нравится тебе эта затея. Мало ли кому что не нравится! В конце концов, тебя сюда не приглашали, случайно ты здесь оказалась, так уж веди себя как полагается! Ведь не понимаешь же ничего в контактах, квартирьер несчастный... Снимай свои паршивые кроки и делай то, что тебе говорят! Ну что ты смыслишь в абстрактных идеях? И где ты их вообще видела – абстрактные? Ведь сегодня она абстрактная, а завтра без нее история остановится... Ну, хорошо, ну, не нравится тебе. Ну, откажись!.. Ведь так все шло славно, только-только с Малышом сошлись, такой парень чудесный, умница, с ним горы можно было бы своротить! Эх ты, квартирьер... Друг, называется... А теперь вот ни Малыша, ни друга... И Комов тоже хорош: ломится, как вездеход, напролом, ни посоветуется, ни объяснит ничего толком... Не-ет, чтобы я еще когда-нибудь в контактах участвовал – дудки! Кончится вся эта кутерьма, немедленно подаю заявление в проект «Ковчег-2» – с Вадиком, с Таней, с головастой Нинон, в конце концов. Как зверь буду работать, без болтовни, ни на что не отвлекаясь. Никаких контактов!.. Незаметно я заснул и спал так, что только бурболки отскакивали, как говаривал мой прадед. Все-таки за последние двое

суток я не проспал и четырех часов. Еле-еле Вандерхузе меня добудился. Пора было на вахту.

– А Майка? – спросил я спросонок, но тут же спохватился. Впрочем, Вандерхузе сделал вид, что не расслышал.

Я принял душ, оделся и пошел в рубку. Давешние неприятные ощущения вновь овладели мною. Не хотелось ни с кем разговаривать, не хотелось никого видеть. Вандерхузе сдал вахту и ушел спать, сообщив, что вокруг корабля ничего не происходит и что через шесть часов меня сменит Комов.

Было ровно двадцать два по бортовому времени. На экране играли сполохи над хребтом, дул сильный ветер с океана – рвал в клочья туманную шапку над горячей трясиной, прижимал к промерзшему песку оголенные кусты, швырял на пляж клочья мгновенно замерзающей пены. На посадочной полосе, слегка кренясь навстречу ветру, торчал одинокий Том. Все сигнальные огни его сообщали, что он в простое, никаких заданий не имеет и пребывает в готовности выполнить любое приказание. Очень грустный пейзаж. Я включил внешнюю акустику, с минуту послушал рев океана, свист и завывание ветра, дробный стук ледяных капель по обшивке и снова отключился.

Я попытался представить себе, что сейчас делает Малыш, вспомнил горячий ячеистый туман, размытые сгустки света, а точнее – не света, конечно, а тепла, и это ровное сияние, наполненное кашей странных звуков, и загадочный строй отражений, которые не были отражениями... Ну что ж, ему там, наверное, тепло, уютно, привычно и есть, ох есть, о чем поразмышлять. Забился, наверное, в какой-нибудь каменный угол и тяжко переживает обиду, которую нанесла ему Майка. («Мам-ма...» – «Да, колокольчик», – вспомнил я.) С точки зрения Малыша все это должно выглядеть крайне нечестно. Я бы на его месте больше сюда никогда бы не пришел... А ведь Комов так обрадовался, когда Майка нацепила на Малыша свой обруч. «Молодец, Майя, – сказал он. – Это хороший шанс, я бы не рискнул...» Впрочем, все равно из этой идеи ничего не получилось бы. Все-таки конструкторы ТГ многого не додумали. Объектив, например, надо было делать стерео... Хотя, конечно, ТГ предназначается совсем для других целей... Но кое-что подсмотреть все-таки удалось. Скажем, как Малыш летел. Только – каким образом летел, почему летел, на чем летел?.. И эта сцена у разбитого «Пеликана» ... Планета невидимок. Да, наверное, любопытные вещи можно было бы здесь увидеть, если бы Комов разрешил запустить сторожа-разведчика. Может быть, теперь разрешит? Да и сторожа-разведчика не нужно. На первый случай просто пройтись локатором-пробником по горизонту...

Запел радиовызов. Я подошел к рации. Незнакомый голос очень вежливо, я бы даже сказал – робко, попросил Комова.

– Кто вызывает? – осведомился я не очень приветливо.

– Это такой член Комиссии по контактам. Горбовский моя фамилия. – Я сел. – Мне очень нужно поговорить с Геннадием Юрьевичем. Или он, может быть, спит?

– Сейчас, Леонид Андреевич, – забормотал я. – Сию минутку, Леонид Андреевич... – Я торопливо включил интерком. – Комова в рубку, – сказал я. – Срочный вызов с базы.

– Да не такой уж срочный... – запротестовал Горбовский.

– Вызывает Леонид Андреевич Горбовский! – торжественно добавил я в интерком, чтобы Комов там не слишком копался.

– Молодой человек... – позвал Горбовский.

– На вахте Стась Попов, кибертехник! – отрапортовал я. – За время моей вахты никаких происшествий не произошло!

Горбовский помолчал, потом неуверенно произнес:

– Вольно...

Послышался стук торопливых шагов, и в рубку быстро вошел Комов. Лицо у него было осунувшееся, глаза стеклянные, под глазами темные круги. Я поднялся и уступил ему место.

– Комов слушает, – проговорил он. – Это вы, Леонид Андреевич?

– Это я, здравствуйте... – отозвался Горбовский. – Слушайте, Геннадий, а нельзя ли нам сделать так, чтобы мы друг друга видели? Тут какие-то кнопки...

Комов только глянул на меня, и руки мои сами протянулись к пульту и подключили визор. Мы, радисты, обычно держим визор отключенным. По разным причинам.

– Ага, – удовлетворенно сказал Горбовский. – Вот я вас начинаю видеть.

На нашем экранчике тоже появилось изображение – знакомое мне по портретам и описаниям длинное и как бы слегка вдавленное внутрь лицо Леонида Андреевича. Правда, на портретах он обычно выглядел этаким античным философом, а сейчас вид имел несколько унылый, разочарованный, и на широком утином носу его, к моему изумлению, имела место царапина – по-моему, совсем свежая. Когда изображение установилось, я отступил и тихонько уселся на место вахтенного. У меня появилось сильнейшее предчувствие, что я сейчас буду выгнан, поэтому я принялся сосредоточенно озирать терзаемые ураганом окрестности.

Горбовский сказал:

– Во-первых, большое вам спасибо, Геннадий. Я просмотрел все ваши материалы и должен вам сказать, что это нечто совершенно особенное. Безумно интересно. Изобретательно, изящно... молниеносно...

– Польщен, – отрывисто сказал Комов. – Но?

– Почему «но»? – удивился Горбовский. – «И» – вы хотите сказать. И большинство членов Комиссии придерживается того же мнения. Трудно поверить, что такая колоссальная работа проделана за двое суток.

– Я здесь ни при чем, – сухо сказал Комов. – Благоприятные обстоятельства, только и всего.

– Нет, не говорите, – живо возразил Горбовский. – Согласитесь, вы же заранее знали, с кем имели дело. Это не просто – знать заранее. А потом – ваша решительность, интуиция... энергия...

– Я польщен, Леонид Андреевич, – повторил Комов, чуть повысив голос.

Горбовский помолчал и вдруг очень тихо спросил:

– Геннадий, как вы представляете себе дальнейшую судьбу Малыша?

Ощущение, что меня сейчас же, немедленно, в мгновение ока, с наивозможной быстротой и прямотой попросят из рубки, достигло во мне апогея. Я съежился и перестал дышать.

Комов сказал:

– Малыш будет посредником между Землей и аборигенами.

– Я понимаю, – сказал Горбовский. – Это было бы прекрасно. А если контакт не состоится?

– Леонид Андреевич, – произнес Комов жестко. – Давайте говорить прямо. Давайте выскажем вслух то, о чем мы с вами сейчас думаем, и то, чего мы опасаемся больше всего. Я стремлюсь превратить Малыша в орудие Земли. Для этого я всеми доступными мне средствами и совершенно беспощадно, если так можно выразиться, стремлюсь восстановить в нем человека. Вся трудность заключается в том, что человеческая психика, человеческое, земное отношение к миру в высшей степени, по-видимому, чужды аборигенам, воспитавшим Малыша. Они отталкиваются от нас, они не хотят нас. И этим отношением к нам насквозь пропитано все подсознание Малыша. К счастью или к несчастью, аборигены оставили в Малыше достаточно человеческого, чтобы мы получили возможность завладеть его сознанием. Ситуация, возникшая сейчас, – ситуация критическая. Сознание Малыша принадлежит нам. Подсознание – им. Конфликт очень тяжелый и рискованный, я это прекрасно сознаю, но этот конфликт

разрешим. Мне нужно еще буквально несколько дней, чтобы подготовить Малыша. Я раскрою ему истинное положение дел, освобожу его подсознание, и Малыш превратится целиком и полностью в нашего сотрудника. Вы не можете не понимать, Леонид Андреевич, какую ценность представляет для нас такое сотрудничество... Я предвижу множество трудностей. Например, подсознательное отталкивание в принципе может превратиться у Малыша – после того как мы раскроем ему истинное положение дел – в сознательное стремление защитить от нас свой «дом», своих спасителей и воспитателей. Может быть, возникнут новые опасные напряжения. Но я уверен: мы сумеем убедить Малыша, что наши цивилизации – это равные партнеры со своими достоинствами и недостатками, и тогда он, как посредник, между нами, сможет всю жизнь черпать и с той, и с другой стороны, не опасаясь ни за тех, ни за других. Он будет горд своим исключительным положением, жизнь его будет радостна и полна... – Комов помолчал. – Мы должны, мы обязаны рискнуть. Такого случая больше не будет никогда. Вот моя точка зрения, Леонид Андреевич.

– Понимаю, – сказал Горбовский. – Знаю ваши идеи, ценю их. Знаю, во имя чего вы предлагаете рискнуть. Но согласитесь, риск не должен превышать какого-то предела. Поймите, с самого начала я был на вашей стороне. Я знал, что мы рискуем, мне было страшно, но я все думал: а вдруг обойдется? Какие перспективы, какие возможности!.. И еще я все время думал, что мы всегда успеем отступить. Мне и в голову не приходило, что мальчик окажется таким коммуникабельным, что дело зайдет так далеко уже через двое суток. – Горбовский сделал паузу. – Геннадий, контакта ведь не будет. Пора бить отбой.

– Контакт будет! – сказал Комов.

– Контакта не будет, – мягко, но настойчиво повторил Горбовский. – Вы ведь прекрасно понимаете, Геннадий, что мы имеем дело со свернувшейся цивилизацией. С разумом, замкнутым на себя.

– Это не замкнутость, – сказал Комов. – Это квазизамкнутость. Они стерилизовали планету и явно поддерживают ее в таком состоянии. Они почему-то спасли и воспитали Малыша. Они, наконец, очень неплохо осведомлены о человечестве. Это квазизамкнутость, Леонид Андреевич.

– Ну, Геннадий, абсолютная замкнутость – это теоретическая идеализация. Конечно, всегда остается какая-то функциональная деятельность, направленная вовне, например, санитарно-гигиеническая. Что же касается Малыша... Конечно, все это домыслы, но ведь если цивилизация достаточно стара, гуманизм ее мог превратиться в

безусловный социальный рефлекс, в социальный инстинкт. Ребенок был спасен просто потому, что в такой акции испытывалась потребность...

– Все это возможно, – сказал Комов. – Не в домыслах сейчас дело. Важно то, что это квазизамкнутость, что лазейки для контакта остаются. Конечно, процесс сближения будет очень длителен. Может быть, понадобится на полтора, на два порядка больше времени, чем для сближения с обычной разомкнутой цивилизацией... Нет, Леонид Андреевич. Обо всем этом я думал, и вы сами хорошо понимаете, что ничего нового вы мне не сказали. Ваше мнение против моего – и только. Вы предлагаете отступиться, а я хочу использовать этот единственный шанс до конца.

– Геннадий, не только я думаю, что контакта не будет, – тихонько сказал Горбовский.

– Кто же еще? – осведомился Комов с легкой иронией. – Август-Иоганн-Мария Бадер?

– Нет, и не только Бадер. Честно говоря, я скрыл от вас одну козырную карту, Геннадий... Вам никогда не приходило в голову, что Шура Семенов стер бортжурнал не на планете, а еще в космосе; не потому, что увидел разумных чудовищ, а потому, что еще в космосе подвергся нападению и решил, что на планете господствует высокоразвитая агрессивная цивилизация? Нам это в голову пришло. Не сразу, конечно, – вначале мы просто сделали правильные выводы из неверной предпосылки, как и вы. Но как только эта мысль пришла нам в голову, мы принялись обшаривать околопланетное пространство. И вот два часа назад пришло сообщение, что он, наконец, обнаружен. – Горбовский замолчал.

Я прилагал гигантские усилия, чтобы не закричать: «Кто? Кто обнаружен?» По-моему, Горбовский ждал такого возгласа. Но не дождался. Комов безмолвствовал. Горбовский был вынужден продолжать.

– Он великолепно замаскирован. Он поглощает почти все лучи. Мы бы никогда не нашли его, если бы не искали специально, да и то пришлось применить что-то совсем новое – мне объясняли, но я не понял, что именно – какой-то вакуумный концентратор. В общем, мы его нащупали и взяли на абордаж. Спутник-автомат, что-то вроде вооруженного часового. Судя по некоторым деталям конструкции, его установили здесь Странники. Очень давно установили, порядка сотни тысяч лет назад. К счастью для участников проекта «Ковчег», он нес на себе всего два заряда. Первый заряд был выпущен в незапамятные времена, мы уже теперь и не узнаем, наверное, по кому. Второй заряд

пришелся на долю Семеновых. Странники считали эту планету запрещенной, иного объяснения я придумать не могу. Вопрос: почему? В свете того, что мы знаем, ответ может быть только один: они на своем опыте поняли, что местная цивилизация некоммуникабельна, более того – она замкнута, более того – контакт грозит серьезными потрясениями для этой цивилизации. Если бы на моей стороне был только Август-Иоганн-Мария Бадер... Но, насколько я помню, вы всегда с большим уважением отзывались о Странниках, Геннадий. – Горбовский снова помолчал. – Однако дело не только в этом. При прочих равных условиях мы, невзирая даже на мнение Странников, могли бы позволить себе очень осторожные, очень постепенные попытки развернуть этих свернувшихся аборигенов. В худшем случае наш опыт обогатился бы еще одним отрицательным результатом. Мы бы поставили здесь какой-нибудь предупреждающий знак и убрались бы восвояси. Это было бы делом только наших двух цивилизаций... Но дело в том, что между нашими двумя цивилизациями, как между молотом и наковальней, оказалась сейчас третья, и за эту третью, Геннадий, за единственного ее представителя, Малыша, мы вот уже несколько суток несем всю полноту ответственности.

Я услышал, как Комов глубоко вздохнул, и наступило долгое молчание. Когда Комов заговорил снова, голос у него был какой-то необычный, какой-то надломленный. Заговорил он о Странниках: сначала подивился тому, что Странники, поставив охранный спутник, пошли на риск, граничащий с преступлением, но потом сам же вспомнил косвенные данные, согласно которым Странники всегда путешествуют целыми эскадрами и всякий одиночный звездолет в их представлении не может быть ничем иным, кроме автоматического зонда. Поговорил он также о том, что и на Земле приходит к концу полувековая варварская эпоха одиночных полетов в свободный поиск – слишком много жертв, слишком много нелепых ошибок, слишком мало толку. «Да, – соглашался Горбовский, – я тоже об этом думал». Потом Комов вспомнил о случаях загадочного исчезновения автоматических разведчиков, запущенных к некоторым планетам. «У нас все руки не доходили проанализировать эти исчезновения, а ведь теперь они предстают в новом свете». – «И верно! – с энтузиазмом подхватил Горбовский. – Об этом я как раз не подумал, это очень интересная мысль». Поговорили об охранном спутнике, подивились, что он нес только два заряда, попытались прикинуть, каковы же в этом случае должны быть представления Странников об обитаемости Вселенной, нашли, что в конечном счете они не очень отличаются от наших представлений, но сама собой возникает мысль, что Странники, по-

видимому, намеревались вернуться сюда, да вот почему-то не вернулись – возможно, прав Боровик, полагая, что Странники вообще покинули Галактику. Комов полушутливо предположил, что аборигены и есть Странники – угомонившиеся, насытившиеся внешней информацией, замкнувшиеся на себя. Горбовский опять намекнул на идеи Комова и тоже в шутку стал его допрашивать, как надлежит оценивать такую эволюцию Странников в свете теории вертикального прогресса.

Потом поговорили о здоровье доктора Мбоги, перескочили внезапно на умиротворение какой-то Островной Империи и о роли в этом умиротворении некоего Рудольфа, которого они почему-то тоже называли Странником; плавно и как-то неуловимо перешли от Рудольфа к вопросу о пределах компетенции Совета Галактической Безопасности, согласились на том, что в компетенцию эту входят только гуманоидные цивилизации... Очень скоро я перестал понимать, о чем они говорят, а главное – почему они говорят именно об этом.

Потом Горбовский сказал:

– Я вас совсем заморил, Геннадий, извините. Идите отдыхать. Очень приятно было с вами побеседовать. Мы-таки давненько не видались.

– Но скоро, конечно, увидимся вновь, – проговорил Комов с горечью.

– Да, думаю, дня через два. Бадер уже в пути, Боровик тоже. Я думаю, что послезавтра весь КОМКОН будет на базе.

– Значит, до послезавтра, – сказал Комов.

– Передайте привет вашему вахтенному... Стасю, кажется. Очень он у вас... такой... строевой, я бы сказал. И Якову, Якову обязательно передавайте привет! Ну, и всем остальным, конечно.

Они попрощались.

Я сидел тихо, как мышь, и продолжал бессмысленно таращиться на обзорный экран, ничего не видя, ничего не понимая. За спиной у меня не было слышно ни звука. Минуты тянулись нестерпимо медленно. От желания обернуться у меня окаменела шея и кололо под лопаткой. Мне было совершенно ясно, что Комов сражен. Во всяком случае, я был сражен наповал. Я искал ответ за Комова, но в голове у меня бессмысленно вертелось только одно: «А что мне Странники? Подумаешь, Странники! Я сам, в некотором роде, Странник...»

Вдруг Комов сказал:

– Ну а ваше мнение, Стась?

Я чуть было не ляпнул: «А что нам Странники?» – но удержался. Посидел секунду в прежней позе для значительности, а потом

повернулся вместе с креслом. Комов, положив подбородок на сплетенные пальцы, смотрел на потухший экранчик визора. Глаза его были полузакрыты, рот какой-то скорбный.

– Наверное, придется выждать... – сказал я. – Что ж делать... Да и Малыш, может быть, больше не придет... Во всяком случае, не скоро придет...

Комов усмехнулся краем рта.

– Малыш-то придет, – сказал он. – Малыш слишком любит задавать вопросы. А представляете, сколько у него теперь новых вопросов?

Это было почти слово в слово то, что сказал в кают-компании Вандерхузе.

– Тогда, может быть... – пробормотал я нерешительно, – может быть, и на самом деле лучше...

Ну что я мог ему сказать? После Горбовского, после самого Комова, что мог сказать незаметный рядовой кибертехник, двадцати лет, стаж практической работы шесть с половиной суток, – парень, может быть, и неплохой, трудолюбивый, интересующийся и все такое, но, прямо надо признать, не великого ума, простоватый, невежественный...

– Может быть, – вяло сказал Комов. Он поднялся, направился, шаркая подошвами, к выходу, но на пороге остановился. Лицо его вдруг исказилось. Он почти выкрикнул: – Неужели же никто из вас не понимает, что Малыш – это случай единственный, случай, по сути дела, невозможный, а потому единственный и последний! Ведь этого больше не случится никогда. Понимаете? Ни-ког-да!

Он ушел, а я остался сидеть лицом к рации и спиной к экрану и старался разобраться не столько даже в мыслях своих, сколько в чувствах. Никогда!.. Конечно, никогда. Как мы все здесь запутались! Бедный Комов, бедная Майка, бедный Малыш... А кто самый бедный? Теперь мы, конечно, отсюда уйдем. Малышу станет полегче, Майка пойдет учиться на педагога, так что, пожалуй, самый бедный – Комов. Это же надо придумать: наткнуться – лично наткнуться! – на уникальнейшую ситуацию, на уникальнейшую возможность подвести наконец под свои идеи экспериментальный базис, и вдруг – все вдребезги! Вдруг тот самый Малыш, который должен был стать верным помощником, неоценимым посредником, главным тараном, сокрушающим все преграды, сам превращается в главное препятствие... Ведь нельзя же ставить вопрос: будущее Малыша или вертикальный прогресс человечества. Тут какая-то логическая каверза, вроде апорий Зенона... Или не каверза? Или на самом деле вопрос так и следует ставить?

Человечество все-таки... В задумчивости я повернулся в кресле лицом к экрану, рассеянно оглядел окрестности и ахнул. Великие вопросы мгновенно вылетели у меня из головы.

Урагана как не бывало. Все вокруг было бело от инея и снега, а Том стоял совсем рядом с кораблем, на самой границе мертвой зоны, перед входным люком, и я сразу понял, что это Малыш сидит там на снегу и не решается войти – одинокий, раздираемый между двумя цивилизациями...

Я вскочил и галопом понесся по коридору. В кессоне я машинально схватил было доху, но тут же бросил ее, всем телом ударил в перепонку люка и вывалился наружу. Малыша не было. Глупый Том зажег огонек, испрашивая приказаний. Все было белое и искрилось в свете сполохов. Но у самого люка, у меня под ногами, чернел какой-то круглый предмет. Я попятился. Черт знает, какая дикость представилась мне на мгновение. Я даже не сразу заставил себя нагнуться.

Это был наш мяч. А на мяч был напялен обруч с «третьим глазом». Объектив был разбит, и вообще обруч выглядел так, словно побывал под обвалом.

И ни одного следа на снежной пелене.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Он вызывает меня всякий раз, когда ему хочется побеседовать.

– Здравствуй, Стась, – говорит он. – Побеседуем? Давай?

Для связи выделено четыре часа в сутки, но он никогда не выдерживает расписания. Он его не признает. Он вызывает меня, когда я сплю, когда я сижу в ванне, когда я пишу отчеты, когда я готовлюсь к очередному разговору с ним, когда я помогаю ребятам, которые по винтику перебирают охранный спутник Странников... Я не сержусь. На него нельзя сердиться.

– Здравствуй, Малыш, – отзываюсь я. – Конечно, давай побеседуем.

Он жмурится, как бы от удовольствия, и задает свой стандартный вопрос:

– Ты сейчас настоящий, Стась? Или это твое изображение?

Я уверяю его, что это я, собственной персоной, Стась Попов, лично и без никаких изображений. Уже много раз я объяснял ему, что не умею строить изображения, и он, по-моему, давным-давно это понял, но вопрос остается. Может быть, он так шутит, может быть, без этого вопроса он не представляет себе нормальный обмен приветствиями, а может быть, ему просто нравится слово «изображение». Есть у него

любимые слова – «изображение», «феноменально», «по бим-бом-брам-селям» ...

– Почему глаз видит? – начинает он.

Я объясняю ему, почему видит глаз. Он внимательно слушает, то и дело прикасаясь к своим глазам длинными чуткими пальцами. Он великолепно умеет слушать, и хотя теперь он бросил эту свою манеру – метаться как угорелый, когда его что-нибудь особенно поражает, – я все время чувствую в нем какой-то азарт, скрытую буйную страсть, неописуемый, недоступный мне, к сожалению, всепоглощающий восторг узнавания.

– Феноменально! – хвалит он, когда я заканчиваю. – Щелкунчик! Я это обдумаю, а потом спрошу еще раз...

Между прочим, эти его одинокие размышления над прослушанным (бешеный танец лицевых мускулов, замысловатые узоры из камней, прутьев, листьев) наводят его иногда на очень странные вопросы. Вот и сейчас:

– Как узнали, что люди думают головой? – спрашивает он.

Я слегка ошарашен и начинаю барахтаться. Он слушает меня попрежнему внимательно, и постепенно я выплываю, нащупываю твердую почву под ногами, и все идет вроде бы гладко, и оба мы вроде бы довольны, но когда я заканчиваю, он объявляет:

– Нет. Это очень частное. Это не всегда и не везде. Если я думаю только головой, то почему я совсем не могу размышлять без рук?..

Я чувствую, что мы вступаем на скользкую почву. Центр категорически предписал мне любой ценой уклоняться от разговоров, которые могли бы навести Малыша на идею аборигенов. И предписал, надо сказать, правильно. Совсем избежать таких разговоров не удается, и в последнее время я заметил, что Малыш как-то очень болезненно переживает даже собственные ссылки на свой образ жизни. Может быть, начинает догадываться? Кто его знает... Я уже несколько дней жду его прямого вопроса. Хочу этого вопроса и боюсь его...

– Почему вы можете, а я не могу?

– Этого мы еще толком не знаем, – признаюсь я и осторожно добавляю: – Есть предположение, что ты все-таки не совсем человек...

– Тогда что же такое человек? – немедленно осведомляется он. – Что такое человек совсем?

Я очень неважно представляю себе, как можно ответить на такой вопрос, и обещаю рассказать ему об этом в следующую встречу. Он сделал из меня настоящего энциклопедиста. Иногда я круглые сутки глотаю и перевариваю информацию. Главный Информаторий работает на меня, крупнейшие специалисты по самым различным

отраслям знания работают на меня, я обладаю правом в любую минуту связаться с любым из них и просить разъяснений – относительно моделирования П-абстракций, обмена веществ у абиссальных форм жизни, методики построения шахматных этюдов...

– У тебя усталый вид, – сочувственно замечает Малыш. – Ты устал?

– Ничего, – говорю я. – Терпеть можно.

– Странно, что ты устаешь, – сообщает он задумчиво. – Я почему-то никогда не устаю. А что такое, собственно, усталость?

Я набираю в грудь побольше воздуху и принимаюсь объяснять ему, что такое усталость. Не переставая слушать, он раскладывает перед собою камешки, которые обработал для него старый добрый Том, придав им форму кубиков, шаров, параллелепипедов, конусов и более сложных фигур. К моменту, когда я заканчиваю, перед Малышом вырастает сложнейшее сооружение, решительно ни на что не похожее, но тем не менее в своем роде гармоническое и странно осмысленное.

– Ты рассказал хорошо, – говорит Малыш. – Скажи мне, наша беседа записывается?

– Да, конечно.

– Изображение хорошее, четкое? Изображение!

– Как всегда.

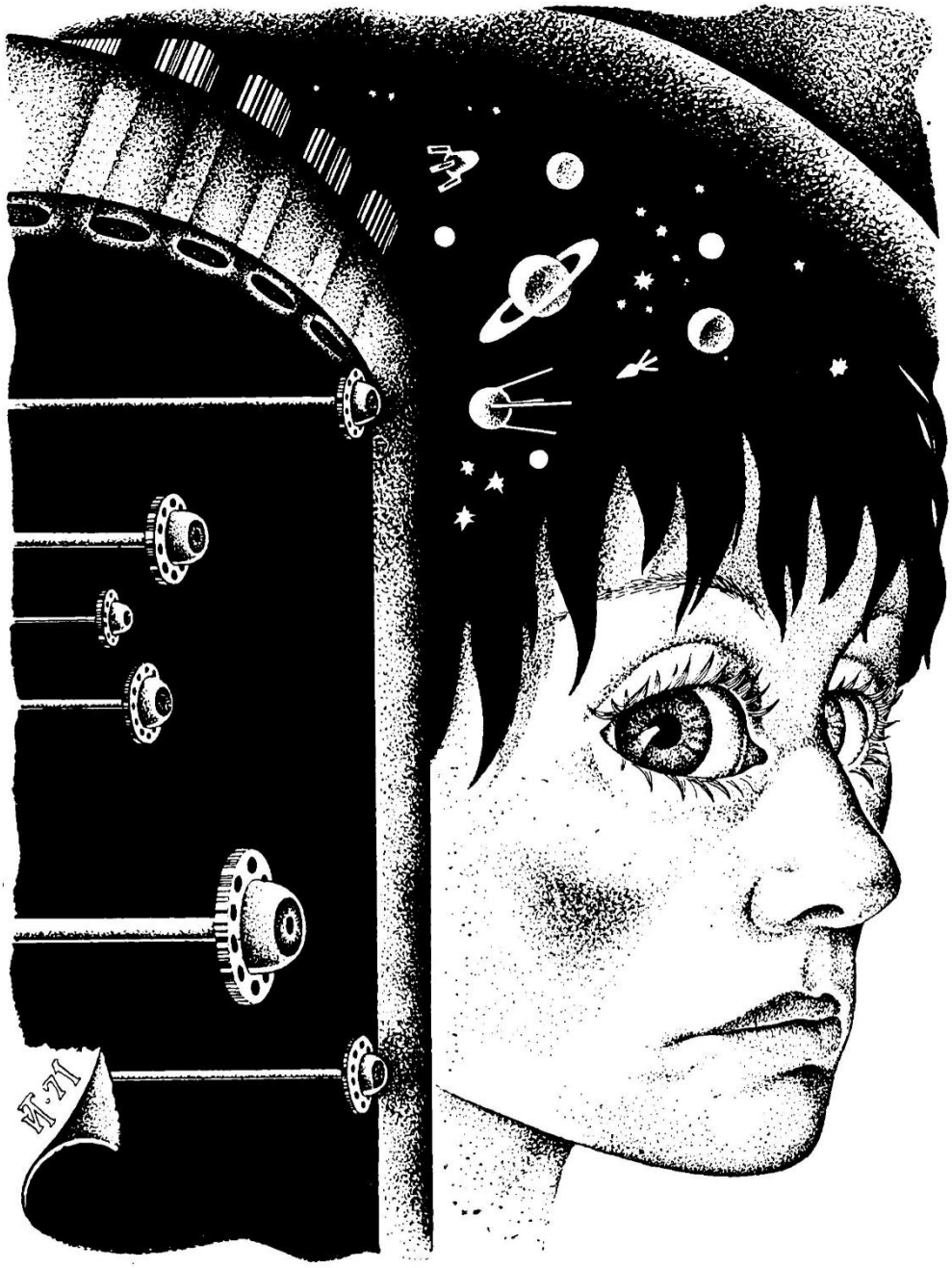
– Тогда пусть эту фигуру посмотрит дед. Посмотри, дед: узлы остывания здесь, здесь и здесь...

Дед Малыша, Павел Александрович Семенов, работает в области реализации абстракций в смысле Парсиваля. Он довольно рядовой ученый, но большой эрудит, и Малыш поддерживает с ним постоянную творческую связь. Павел Александрович говорил мне, что Малыш мыслит зачастую наивно, но всегда оригинально, и некоторые из его построений представляют определенный интерес для теории Парсиваля.

– Обязательно, – говорю я. – Непременно передам. Сегодня же.

– А может быть, это пустяки, – вдруг заявляет Малыш и одним движением сметает всю свою конструкцию. – Что сейчас делает Лева? – спрашивает он.

Лева – это старший инженер базы, большой шутник и анекдотчик. Когда Лева беседует с Малышом, околопланетный эфир заполняется хохотом и азартными визгами, а я испытываю что-то вроде ревности. Малыш очень любит Леву и обязательно каждый раз спрашивает о нем. Иногда он спрашивает и о Вандерхузе, и тогда чувствуется, что сладостная тайна бакенбард до сих пор осталась для него



неразгаданной и острой. Раз или два он спросил о Комове, и мне пришлось объяснить ему, что такое проект «Ковчег-2», а также зачем

этому проекту нужен ксенопсихолог. А вот о Майке он не спросил ни разу. Когда я сам попытался заговорить о ней, когда попытался объяснить, что Майка, если и обманывала, то для его же, Малыша, пользы, что из нас четверых именно Майка первая поняла, как тяжело Малышу и как он нуждается в помощи, – когда я попытался все это ему растолковать, он просто встал и ушел. И точно так же он встал и ушел, когда я однажды, к слову, принялся объяснять ему, что такое ложь...

– Лева спит, – говорю я. – У нас тут сейчас ночь, вернее, ночное время бортовых суток.

– Значит, ты тоже спал? Я тебя опять разбудил?

– Это не страшно, – говорю я искренне. – Мне интереснее с тобою, чем спать.

– Нет. Ты иди и спи, – решительно распоряжается Малыш. – Странные мы все-таки существа. Обязательно нам нужно спать.

Это «мы» подобно бальзаму проливается на мое сердце. Впрочем, Малыш последнее время часто говорит «мы», и я уже понемножку начал привыкать.

– Иди спать, – повторяет Малыш. – Но только скажи мне сначала: пока ты спишь, никто не придет на этот берег?

– Никто, – говорю я, как обычно. – Можешь не беспокоиться.

– Это хорошо, – говорит он с удовлетворением. – Так ты спи, а я пойду поразмышляю.

– Конечно, иди, – говорю я.

– До свидания, – говорит Малыш.

– До свидания, – говорю я и отключаюсь.

Но я знаю, что будет дальше, и я не иду спать. Мне совершенно ясно, что сегодня я опять не высплюсь.

Он сидит в своей обычной позе, к которой я привык, и которая уже не кажется мне мучительной. Некоторое время он всматривается в потухший экран во лбу старины Тома, потом поднимает глаза к небу, как будто надеется увидеть там, на двухсоткилометровой высоте, мою базу, состыкованную со спутником Странников, а за его спиной расстилается знакомый мне пейзаж запрещенной планеты Ковчег – песчаные дюны, шевелящаяся шапка тумана над горячей топью, хмурый хребет вдали, а над ним – тонкие длинные линии колоссальных, по-прежнему и, может быть, навсегда загадочных сооружений, словно гибкие, тревожно трепещущие антенны чудовищного насекомого.

Там у них сейчас весна, на кустах распустились большие, неожиданно яркие цветы, над дюнами струится теплый воздух. Малыш рассеянно озирается, пальцы его перебирают отшлифованные камешки.

Он смотрит через плечо в сторону хребта, отворачивается и некоторое время сидит неподвижно, понурив голову. Потом, решившись, он протягивает руку прямо ко мне и нажимает клавишу вызова под самым носом у Тома.

– Здравствуй, Стась, – говорит он. – Ты уже поспал?

– Да, – отвечаю я. Мне смешно, хотя спать хочется ужасно.

– А хорошо было бы сейчас поиграть, Стась. Верно?

– Да, – говорю я. – Это было бы неплохо.

– Сверчок на печи, – говорит он и некоторое время молчит.

Я жду.

– Ладно, – бодро говорит Малыш. – Тогда давай опять побеседуем. Давай?

– Конечно, – говорю я. – Давай.

ПАРЕНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ

1

Ну и деревня! Сроду я таких деревень не видел и не знал даже, что такие деревни бывают. Дома круглые, бурые, без окон, торчат на сваях, как сторожевые вышки, а под ними чего только не навалено — горшки какие-то здоровенные, корыта, ржавые котлы, деревянные грабли, лопаты... Земля между домами — глина, и до того она выжжена и вытоптана, что даже блестит. И везде, куда ни поглядишь, — сети. Сухие. Что они здесь сетями ловят — я не знаю: справа болото, слева болото, воняет как на помойке... Жуткая дыра. Тысячу лет они здесь гнили и, если бы не герцог, гнили бы еще тысячу лет. Север. Дичь. И жителей, конечно, никого не видать. То ли удрали, то ли угнали их, то ли они попрятались.

На площади около фактории дымила полевая кухня, снятая с колес. Здоровенный дикобраз — поперек себя шире — в грязном белом фартуке поверх грязной серой формы ворочал в котле черпаком на длинной ручке. По-моему, от этого котла главным образом и воняло по деревне. Мы подошли, и Гепард, задержавшись, спросил, где командир. Это животное даже не обернулось — буркнул что-то в свое варево и ткнул черпаком куда-то вдоль улицы. Поддал я ему носком сапога под крестец, он живо повернулся, увидел нашу форму и сразу встал как положено. Морда у него оказалась под стать окоркам, да еще небритая целую неделю, у дикобраза.

— Так, где у вас тут командир? — снова спрашивает Гепард, упершись тросточкой ему в жирную шею под двойным подбородком.

Дикобраз выкатил глаза, пошлепал губами и просипел:

— Виноват, господин старший наставник... Господин штаб-майор на позициях... Извольте вот по этой улице... прямо на окраине... Примите извинения, господин старший наставник...

Он еще что-то там сипел и булькал, а из-за угла фактории выволоклись два новых дикобраза — еще страшнее этого, совсем уже чучела огородные, без оружия, без головных уборов — увидели нас и обомлели по стойке «смирно». Гепард только посмотрел на них, вздохнул, да и зашагал дальше, постукивая тросточкой по голенищу.

Да, вовремя мы сюда подоспели. Эти дикобразы, они бы нам тут навоевали. Всего-то я только троих пока еще видел, но уже меня от них тошнит, и уже мне ясно, что такая вот, извините за выражение, воинская часть, из тыловой вши сколоченная, да еще наспех, да еще

кое-как, все эти полковые пекари, бригадные сапожники, писаря, интенданты — ходячее удобрение, смазка для штыка. Имперские бронеходы прошли бы сквозь них и даже не заметили бы, что тут кто-то есть. Гуляючи.

Тут нас окликнули. Слева, между двумя домами, был натянут маскировочный тент и висела бело-зеленая тряпка на шесте. Медпункт. Еще двое дикобразов неторопливо копались в зеленых вьюках с медикаментами, а на циновках, брошенных прямо на землю, лежали раненые. Всего раненых было трое; один с забинтованной головой, приподнявшись на локте, смотрел на нас. Когда мы обернулись, он снова позвал:

— Господин наставник! На минуточку, прошу вас!..

Мы подошли. Гепард опустился на корточки, а я остался стоять за его спиной. На раненом не было видно никаких знаков различия, был он в драном, обгоревшем маскировочном комбинезоне, расстегнутом на голой волосатой груди, но по лицу его, по бешеным глазам с опаленными ресницами я сразу понял, что это-то не дикобраз, ребята, нет, этот — из настоящих. И точно.

— Бригад-егерь барон Трэгг, — представился он. Будто гусеницы лязгнули. —

Командир отдельного восемнадцатого отряда лесных егерей.

— Старший наставник Дигга, — сказал Гепард. — Слушаю тебя, брат-храбрец.

— Сигарету... — попросил барон каким-то сразу севшим голосом.

Пока Гепард доставал портсигар, он торопливо продолжал:

— Попал под огнемет, опалило, как свинью... Слава богу, болото рядом, забрался по самые брови... Но сигареты — в кашу... Спасибо...

Он затянулся, прикрыв глаза, и сейчас же надсадно закашлялся, весь посинел, задергался, из-под повязки на щеку выползла капля крови и застыла. Как смола. Гепард, не оборачиваясь протянул ко мне через плечо руку и щелкнул пальцами. Я сорвал с пояса флягу, подал. Барон сделал несколько глотков, и ему вроде бы полегчало. Двое других раненых лежали неподвижно — то ли они спали, то ли уже отошли. Санитары глядели на нас боязливо. Не глядели даже, а так, поглядывали.

— Славно... — произнес барон Трэгг, возвращая флягу. — Сколько у тебя людей?

— Четыре десятка, — ответил Гепард. — Флягу оставь... Оставь себе.

— Сорок... Сорок Бойцовых Котов...

— Котят, — сказал Гепард. — К сожалению... Но мы сделаем все, что сумеем.

Барон смотрел на него из-под сгоревших бровей. В глазах у него была мука.

— Слушай, брат-храбрец, — сказал он. — У меня никого не осталось. Я отступаю от самого перевала, трое суток. Непрерывные бои. Крысоеды прут на бронеходах. Я сжег штук двадцать. Последние два — вчера... здесь, у самой околицы... Увидишь. Этот штаб-майор... дурак и трус... старая рухлядь... Я его застрелить хотел, но ведь ни одного патрона не осталось. Представляешь? Ни одного патрона! Прятался в деревне со своими дикобразами и смотрел, как нас выжигают одного за другим... О чем это я? Где бригада Гагрида? Рация вдребезги... Последнее: «Держись, бригада Гагрида на подходе...» Слушай, сигарету... И сообщи в штаб, что восемнадцатого отдельного больше нет.

Он уже бредил. Бешеные глаза его затянулись мутью, язык едва ворочался. Он повалился на спину и все говорил, говорил, бормотал, хрипел, а скрюченные пальцы его беспокойно шарили вокруг, вцепляясь то в края циновки, то в комбинезон. Потом он вдруг затих на полуслове, и Гепард поднялся. Он медленно вытащил сигарету, не сводя глаз с запрокинутого лица, щелкнул зажигалкой, потом наклонился и положил портсигар вместе с зажигалкой рядом с черными

пальцами, и пальцы жадно вцепились в портсигар и сжали его, а Гепард, не говоря ни слова, повернулся, и мы двинулись дальше.

Я подумал, что это, пожалуй, милосердно — бригад-егерь потерял сознание как раз вовремя. А то пришлось бы услышать ему, что бригады Гагрида тоже уже нет. Накрыли ее этой ночью на рокаде бомбовым ковром — два часа мы расчищали шоссе от обломков машин, отгоняя сумасшедших, лезущих под грузовики, чтобы спрятаться. От самого Гагрида мы нашли только генеральскую фуражку, заскорузлую от крови... Меня холодом продрало, когда я все это вспомнил, и я невольно взглянул на небо и порадовался, какое оно низкое, серое и беспросветное.

Первое, что мы увидели, выйдя за околицу, был имперский бронеход, съехавший с дороги и завалившийся носом в деревенский колодец. Он уже остыл, трава вокруг него была покрыта жирной копотью, под распахнутым бортовым люком валялся дохлый крысоед — все на нем сгорело, остались только рыжие ботинки на тройной подошве. Хорошие у крысоедов ботинки. У них ботинки хорошие, бронеходы, да еще, пожалуй, бомбардировщики. А солдаты они, как всем известно, никуда не годные. Шакалы.

— Как тебе нравится эта позиция, Гаг? — спросил Гепард.

Я огляделся. Ну и позиция! Я прямо глазам своим не поверил. Дикобразы отрыли себе окопы по обе стороны от дороги, посередине поляны между околицей и джунглями. Джунгли стеной стояли перед окопами шагах ну в пятидесяти, никак не дальше. Можешь там накопить полк, можешь — бригаду, что хочешь, в окопах об этом не узнают, а когда узнают, то сделать уже все равно ничего не смогут. Окопы на левом фланге имели позади себя трясину. Окопы на правом фланге имели позади себя ровное поле, на котором раньше было что-то посеяно, а теперь все сгорело. Да-а-а...

— Не нравится мне эта позиция, — сказал я.

— Мне тоже, — сказал Гепард.

Еще бы! Здесь ведь была не только эта позиция. Здесь вдобавок еще были дикобразы. Было их тут штук сто, не меньше, и они бродили по этой своей позиции, как по базару. Одни, значит, собравшись кружками, палили костры. Другие просто стояли, засунув руки в рукава. А третьи бродили. Возле окопов валялись винтовки, торчали пулеметы, бессмысленно задрав хоботы в низкое небо. Посередине дороги, увязнув в грязи по ступицы, ни к селу ни к городу пребывал ракетомет. На лафете сидел пожилой дикобраз — то ли часовой, то ли просто так присел, устав бродить. Впрочем, вреда от него не было: сидел себе и ковырял щепочкой в ухе.

Кисло мне стало от всего этого. Эх, будь моя воля — полоснул бы я по всему этому базару из пулемета... Я с надеждой посмотрел на Гепарда, но Гепард молчал и только водил своим горбатым носом слева направо и справа налево.

Позади раздались рассерженные голоса, и я оглянулся. Под лестницей крайнего дома ссорились два дикобраза. Не поделили они между собой деревянное корыто — каждый тянул к себе, каждый изрыгал черную брань, и вот по этим я бы полоснул с особенным удовольствием. Гепард сказал мне:

— Приведи.

Я мигом подскочил к этим охламонам, стволом автомата дал по рукам одному, дал другому, и когда они уставились на меня, выронивши свое корыто, мотнул им головой в сторону Гепарда. Не пикнули даже. Их обоих сразу потом прошибло, как в бане. Утираясь на ходу рукавами, они трусцой подбежали к Гепарду и застыли в двух шагах перед ним.

Гепард неторопливо поднял трость, примерился, словно в бильярд играл, и врезал — прямо по мордам, одному раз и другому раз, а потом посмотрел на них, на скотов, и только сказал:

— Командира ко мне. Быстро.

Нет, ребята. Все-таки Гепард явно не ожидал, что здесь будет до такой степени плохо. Конечно, хорошего ждать не приходилось. Уж если Бойцовых Котов бросают затыкать прорыв, то всякому ясно: дело дрянь. Но такое!.. У Гепарда даже кончик носа побелел.

Наконец появился ихний командир. Выбралась из-за домов, застегивая на ходу китель, длинная заспанная жердь в серых бакенбардах. Лет ему пятьдесят, не меньше. Нос красный, весь в прожилках, захватанное пальцами пенсне, как носили штабные в ту войну, на длинном подбородке — мокрые крошки жевательного табака. Представился он нам штаб-майором и попытался перейти с Гепардом на «ты». Куда там! Гепард такого морозу на него напустил, что он как-то даже ростом приуменьшился: сначала был на полголовы длиннее, а через минуту смотрю — змеиное молоко! — он уже снизу вверх на Гепарда смотрит, седенький такой старикашка среднего росточка.

В общем, выяснилось такое дело. Где противник и сколько его, штаб-майору неизвестно; задачей своей имеет штаб-майор удержать деревню до подхода подкреплений; боевая сила его состоит из ста шестнадцати солдат при восьми пулеметах и двух ракетометах; почти все солдаты — ограниченно годные, а после вчерашнего марш-броска двадцать семь из них лежат вон в тех домах кто с потертостями, кто с грыжей, кто с чем...

— Послушайте, — сказал вдруг Гепард. — Что это у вас там делается?

Штаб-майор оборвал себя на середине фразы и посмотрел, куда указывала полированная тросточка. Ну и глазищи все-таки у нашего Гепарда! Только сейчас я заметил: в самом большом кружке около одного из костров среди серых курток наших дикобразов гнусно маячат полосатые комбинезоны имперской бронепехоты. Змеиное молоко! Раз, два, три... Четыре крысоеда у нашего костра, и эти свиньи с ними чуть ли не в обнимку. Курят. И еще гогочут чего-то...

— Это? — произнес штаб-майор и кроличьими своими глазами посмотрел на Гепарда. — Вы о пленных, господин старший наставник?

Гепард не ответил. Штаб-дикобраз снова нацепил пенсне и пустился в объяснения. Это, видите ли, пленные, но к нам они, видите ли, никакого отношения не имеют. Захвачены во вчерашнем бою егерями. Не имея средств транспорта, а также за недостатком личного состава для надлежащей охраны...

— Гаг, — произнес Гепард. — Отведи их и сдай Клещу. Только сначала пусть допросит...

Я щелкнул затвором и пошел к костру.

Дикобразы заметили меня еще издали, разом замолчали и принялись потихоньку расползаться кто куда. А у некоторых, видно, ноги отнялись со страху: как сидели, так и сидят, выпучив глаза. А полосатые — так те аж серые сделались, знают нашу эмблему, крысоеды, наслышаны!

Я приказал им встать. Они встали. Нехотя. Я приказал им построиться. Построились, деваться некуда. Белобрысый принялся было что-то лопотать по-нашему — я ткнул ему стволом между ребер, и он замолчал. Так они у меня и пошли — гуськом, понурившись, заложив руки за спину. Крысы. И запах-то от них какой-то крысиный... Двое — крепкие мужики, плечистые, а двое, видно, из последнего набора, хлипкие сопляки, чуть, может, постарше меня.

— Бегом марш! — гаркнул я по-ихнему.

Побежали. Медленно бегут, плохо. Белобрысый этот хромает. Тяжело раненный, значит, ногу в бане подвернул. Ничего, дохромаешь.

Добежали мы до того края деревни, а там и грузовики — ребята увидели нас, заорали, засвистели. Я выбрал лужу побольше, положил пленных в грязь и пошел к переднему грузовику, где Клещ. А Клещ уже мне навстречу выскакивает — морда веселая, усики под носом торчком, в зубах костяной мундштук по моде старшего курса.

— Ну, что скажешь, брат-смертник? — говорит он мне.

Я ему докладываю: так, мол, и так, такое, мол, положение, а пленных обязательно сначала допросить. И уже от себя:

— Про меня не забудь, Клещ, — говорю. — Все-таки я их сюда привел...

А он на меня посмотрел, и у меня сердце сразу упало.

— Котенок... — говорит. — Ты здесь развлекаться будешь, а Гепард там один? А ну, бери три двойки и дуй к Гепарду! Быстро!

Делать было нечего. Не судьба, значит, не повезло. Посмотрел я на моих полосатиков в последний раз, закинул автомат за плечо, да и гаркнул что было силы:

— Пер-рвая, вторая, третья двойки — ко мне!

Котята горохом посыпались с грузовика: Заяц с Петухом, Носатый с Крокодилом, Снайпер с этим... как его... не привык я еще к нему, его только-только из Пигганской школы к нам перевели — убил он там кого-то не того, вот его и к нам.

Я уж давно заметил, да никому не говорю: шлепнет Кот под горячую руку какого-нибудь штатского, сейчас — приказ по части. Такого-то и такого-то по кличке такой-то за совершение уголовного преступления расстрелять. И ведь ведут на плац, поставят перед строем лучших друзей, дадут по нему залп, тело в грузовик забросят на предмет бесчестного захоронения, а потом слышишь — видели его ребята либо на операции, либо в другой части... И правильно, по-моему.

Ну, скомандовал я «бегом», и поскакали мы обратно к Гепарду. А Гепард там времени зря не теряет. Смотрю — навстречу нам жердина эта, штаб-майор, рысью пылит, а за ним колонна, штук пятьдесят дикобразов с лопатами и киркомотыгами, бухают сапожищами, потные, только пар от них идет. Это, значит, погнал их Гепард новую позицию копать, настоящую, для нас. Под домом напротив медчасти, смотрю, лопаты уже мелькают, и стоит ракетомет, и вообще движение в деревне, как на главном проспекте в день тезоименитства — дикобразы так и мельтешат, и ни одного не видно, чтобы был с пустыми руками: либо с оружием, но таких мало, а большинство волочат на себе ящики с боеприпасами и станки для пулеметов.

Гепард увидел нас — выразил удовольствие. Двойки Зайца и Снайпера с ходу послал в джунгли в передовой дозор, Носатого с Крокодилом оставил при себе для связи, а мне сказал:

— Гаг. Ты — лучший в отряде ракетометчик, и я на тебя надеюсь. Видишь этих тараканов? Бери их себе. Установишь ракетомет на той окраине, выбери позицию примерно там, где сейчас грузовики. Хорошенько замаскируйся, откроешь огонь, когда я зажгу деревню. Действуй, Кот.

Когда я все это услышал, я не то, что поскакал, я прямо-таки полетел к своим тараканам. Эти тараканы мои вместе с ракетометом увязли в грязном ухабе посередине дороги и намеревались, видно, всю войну там провозиться. Ну, я одному по уху, другому пинком, третьего прикладом между лопаток, заорал так, что у самого в ушах зазвенело, — заработали мои тараканы по-настоящему, почти как люди. Ракетомет из ухаба почти на руках вынесли и — марш-марш — покатили по дороге, только колеса завизжали, только грязь полетела, и — в другой ухаб. Тут уж пришлось и мне впрячься. Нет, ребята, дикобразов тоже можно заставить работать, нужно только знать — как.

Значит, положение у меня было такое. Позицию я уже выбрал — вспомнились мне неподалеку от грузовиков густые такие рыжие кустики и плоская низинка за ними, где можно было легко врыться в землю так, что ни один дьявол со стороны джунглей не увидит. А я оттуда все буду видеть: и дорогу до самых джунглей, и всю деревенскую окраину, если попрут прямо через дома, и болото слева, если бронепехота оттуда сунется... И подумал я еще, что надо бы не забыть попросить у клеща несколько двоек для прикрытия с этой стороны. Ракет у меня в лотках двадцать штук, если только эти писаря по дороге сюда их не повыбрасывали для облегчения ноши... Ну, это мы сейчас посмотрим, а в любом случае, как только окопаемся, надо будет послать тараканов за пополнением. Страсть не люблю, когда в бою приходится экономить. Это уже тогда не бой, а я не знаю, что... Времени хватит до сумерек, а когда они в сумерках попрут, вспыхнет эта дикая деревня, и будут они все у меня как на ладони — бей на выбор. Не пожалеешь, Гепард, что на меня понадеялся!..

Вот эту последнюю мысль я машинально додумал, уже лежа на спине, а в сером небе надо мной, как странные птицы, летели какие-то горящие клочья. Ни выстрела, ни взрыва я не услышал, а сейчас и вообще ничего не слышал. Оглох. Не знаю, сколько прошло времени, а потом я сел.

Из джунглей по четыре в ряд выползают бронеходы, плюют огнем и расходятся в боевой веер, а за ними выползает следующая четверка. Деревня горит. Над окопами дым, ни души не видно. Походная кухня рядом с факторией перевернута, варево из нее разлилось бурым месивом, идет пар. Ракетомет мой тоже перевернут, а тараканы лежат в кювете кучей друг на друге. Одним словом, занял я удобную позицию, змеиное молоко!

Тут накрыло нас второй очередью. Снесло меня в кювет, перевернуло через голову, полон рот глины, глаза забило землей. Только на ноги поднялся — третья очередь. И пошло, и пошло...

Ракетомет мы все-таки на колеса поставили, скатили в кювет, и один бронеход я сжег. Тараканов стало уже двое, куда третий делся — неизвестно.

Потом — сразу, без перехода — я оказался на дороге. Впереди целая куча полосатиков — близко, совсем близко, рядом. На клинках у них кроваво отсвечивал огонь. Над ухом у меня оглушительно грохотал пулемет, в руке был нож, а у ног моих кто-то дергался, поддавая мне под коленки...

Потом я старательно, как на полигоне, наводил ракетомет в стальной шит, который надвигался на меня из дыма. Мне даже слышалась команда инструктора: «По бронепехоте... бронебойным...» И я никак не мог нажать на спуск, потому что в руке у меня опять был нож...

Потом вдруг наступила передышка. Были уже сумерки. Оказалось, что ракетомет мой цел, и я сам тоже цел, вокруг меня собралась целая куча дикобразов, человек десять. Все они курили, и кто-то сунул мне в руку флягу. Кто? Заяц? Не знаю... Помню, что на фоне пылающего дома шагах в тридцати чернела странная фигура: все сидели или лежали, а этот стоял, и было такое впечатление, будто он черный, но голый... Не было на нем одежды — ни шинели, ни куртки. Или не голый все-таки?.. «Заяц, кто это там торчит?» — «Не знаю, я не Заяц». — «А где Заяц?» — «Не знаю, ты пей, пей...»

Потом мы копали, торопились изо всех сил. Это было уже какое-то другое место. Деревня была уже теперь не сбоку, а впереди. То есть деревни больше не было вообще — груды головешек, зато на дороге горели бронеходы. Много. Несколько. Под ногами хлюпала болотная жижа... «Объявляю тебе благодарность, молодец, Кот...» — «Извините, Гепард, я что-то плохо соображаю. Где все наши? Почему только дикобразы?..» — «Все в порядке, Гаг, работай, работай, брат-храбрец, все целы, все восхищены тобой...»

...И вдруг из черно-алой мути прямо в лицо ливень жидкого огня. Все сразу вспыхивает — и трупы, и земля, и ракетомет. И кусты какие-то. И я. Больно. Адская боль. Как барон Трэгг. Лужу мне, лужу! Тут ведь лужа была! Они в ней лежали! Я их туда положил, змеиное молоко, а их в огонь надо было положить, в огонь! Нет лужи... Земля горела, земля дымилась, и кто-то вдруг с нечеловеческой силой вышиб ее у меня из-под ног...

2

Возле койки Гага сидели двое. Один — сухопарый, с широкими костлявыми плечами, с большими костлявыми лапами. Он сидел,

закинув ногу на ногу, обхватив колено мосластыми пальцами. Был на нем серый свитер со свободным воротом, узкие синие брюки непонятного покроя, не форменные, и красные с серым плетеные сандалии. Лицо было острое, загорелое с ласкающей сердце твердостью в чертах, светлые глаза с прищуром, седые волосы — беспорядочной, но в то же время какой-то аккуратной копной. Из угла в угол большого тонкогубого рта передвигалась соломинка.

Другой был добряк в белом халате. Лицо у него было румяное, молодое, без единой морщинки. Странное какое-то лицо. То есть не само лицо, а выражение. Как у святых на древних иконах. Он глядел на Гага из-под светлого чуба и улыбался как именинник. Очень был чем-то доволен. Он и заговорил первым.

— Как мы себя чувствуем? — осведомился он.

Гаг уперся ладонями в постель, согнул ноги в коленях и легко перенес зад в изголовье.

— Нормально... — сказал он с удивлением.

Ничего на нем не было, даже простыни. Он посмотрел на свои ноги, на знакомый шрам выше колена, потрогал грудь и сразу же нащупал пальцами то, чего раньше не было: два углубления под правым соском.

— Ого! — сказал он, не удержавшись.

— И еще одна в боку, — заметил добряк. — Выше, выше...

Гаг нащупал шрам в правом боку. Потом он быстро оглядел голые руки.

— Погодите... — пробормотал он. — Я же горел...

— Еще как! — вскричал румяный и руками показал — как. Получалось, что Гаг горел, как бочка с бензином.

Сухопарый в свитере молчал, разглядывая Гага, и было в его взгляде что-то такое, отчего Гаг подтянулся и произнес:

— Благодарю вас, господин врач. Долго я был без памяти?

Румяный добряк почему-то перестал улыбаться.

— А что ты помнишь последнее? — спросил он почти вкрадчиво.

Гаг поморщился.

— Я подбил... Нет! Я горел. Огнемет, наверное. И я побежал искать воду... — Он замолчал и снова ощупал шрамы на груди. — В этот момент меня, наверное, подстрелили... — сказал он неуверенно. — Потом... — он замолчал и посмотрел на сухопарого. — Мы их задержали? Да?.. Где я? В каком госпитале?

Однако сухопарый не ответил, и снова заговорил добряк. Как бы в затруднении он с силой погладил себя по круглым коленям.

— А ты сам как думаешь?

— Виноват... — сказал Гаг и спустил ноги с койки. — Неужели так много времени прошло? Полгода? Или год?.. Скажите мне прямо, — потребовал он.

— Да что время... — сказал румяный. — Времени-то прошло всего пять суток.

— Сколько?

— Пять суток, — повторил румяный. — Верно? — спросил он, обращаясь к сухопарому.

Тот молча кивнул. Гаг улыбнулся снисходительно.

— Ну хорошо, — сказал он. — Ну ладно. Вам, врачам, виднее. В конце концов, какая разница... Я бы хотел только знать господин... — Он специально сделал паузу, глядя на сухопарого, но сухопарый никак не отреагировал. — Я бы хотел только знать положение на фронте и когда я смогу вернуться в строй...

Сухопарый молча передвигал соломинку из одного угла рта в другой.

— Я ведь могу надеяться снова попасть в свою группу... в столичную школу...

— Вряд ли, — сказал румяный.

Гаг только глянул на него и снова стал смотреть на сухопарого.

— Ведь я — Бойцовый Кот, — сказал он. — Третий курс... Имею благодарности. Имею одну личную благодарность его высочества...

Румяный замотал головой.

— Это несущественно, — сказал он. — Не в этом дело.

— Как это — не в этом дело? — сказал Гаг. — Я — Бойцовый Кот! Вы что, не знаете? Вот! — Он поднял правую руку и показал — опять-таки сухопарому — татуировку под мышкой. — Мне пожимал руку его высочество, лично! Его высочество пожаловал мне...

— Да нет, мы верим, верим, знаем! — замахал на него руками румяный, но Гаг оборвал его:

— Господин врач, я разговариваю не с вами! Я обращаюсь к господину офицеру!

Тут румяный почему-то вдруг фыркнул, закрыл лицо ладонями и захохотал тонким противным смехом. Гаг ошеломленно смотрел на него, потом перевел взгляд на сухопарого. Тот наконец заговорил:

— Не обращай внимания, Гаг. — Голос у него был глубокий, значительный, под стать лицу. — Однако ты действительно не представляешь своего положения. Мы не можем отправить тебя сейчас в столичную школу. Скорее всего, ты вообще никогда больше не попадешь в школу Бойцовых Котов...

Гаг открыл и снова закрыл рот. Румяный перестал хихикать.

— Но я же чувствую себя... — прошептал Гаг. — Я совершенно здоров. Или я калека? Скажите мне сразу, господин врач: я не калека?

— Нет-нет, — быстро сказал румяный. — Руки-ноги у тебя в полном порядке, а что касается психики... Кто такой был Ганг Гнук, ты помнишь?

— Так точно... Это был ученый. Утверждал множественность обитаемых миров... Имперские фанатики повесили его за ноги и расстреляли из арбалетов... — Гаг замялся. — Вот точной даты я не помню, виноват. Но это было до первого алайского восстания...

— Очень хорошо! — похвалил румяный. — А как относится к учению Ганга современная наука?

Гаг опять замялся.

— Не могу сказать точно... Причин отрицать нет. У нас в школе на занятиях практической астрономией прямо об этом не говорилось. Говорилось только, что Айгон... Да, правильно! На Айгоне есть атмосфера, открытая великим основоположником алайской науки Гриддом, так что там вполне может существовать жизнь...

Он перевел дух и с тревогой взглянул на сухопарого.

— Очень хорошо, — снова сказал румяный. — Ну, а как на других звездах?

— Что — на других звездах, прошу прощения?

— Вблизи других звезд может существовать жизнь?

Гага прошибла испарина.

— Н-нет... — произнес он. — Нет, поскольку там безвоздушное пространство. Не может.

— А если около какой-нибудь звезды есть планеты? — неумолимо налегал доктор.

— А! Тогда может, конечно. Если около звезды имеется планета с атмосферой, на ней вполне может быть жизнь.

Румяный с удовлетворением откинулся на спинку кресла и посмотрел на сухопарого. Тогда сухопарый вынул соломинку изо рта и поглядел Гагу прямо в душу.

— Ты ведь Бойцовый Кот, Гаг? — сказал он.

— Так точно! — Гаг приосанился.

— А Бойцовый Кот есть боевая единица сама в себе, — в голосе сухопарого зазвенел уставной металл, — способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью, так?

— И обратить ее, — подхватил Гаг, — к чести и славе его высочества герцога и его дома!

Сухопарый кивнул.

— Созвездие Жука знаешь?

— Так точно! Эклиптикальное созвездие из двенадцати ярких звезд, видимое в летнее время года. Первая Жука является...

— Стоп. Седьмую Жука знаешь?

— Так точно. Оранжевая звезда...

— ...около которой, — прервал его сухопарый, подняв мосластый палец, — имеется планетная система, неизвестная пока алайской астрономии. На одной из этих планет существует цивилизация разумных существ, значительно опередившая цивилизацию Гиганды. Ты на этой планете, Гаг.

Воцарилось молчание. Гаг, весь подобравшись, ждал продолжения. Сухопарый и врач пристально глядели на него. Молчание затягивалось. Наконец Гаг не выдержал.

— Я понял, господин офицер, — доложил он. — Продолжайте пожалуйста.

Врач крякнул, а сухопарый мигнул несколько раз подряд.

— А, — сказал он спокойно. — Он решил, что мы продолжаем испытание психики и теперь даем ему вводную, — пояснил он врачу. — Это не вводная, Гаг. Это на самом деле так и есть. Я работал на вашей планете, на Гиганде, в северных джунглях герцогства. Случайно я оказался около тебя во время боя. Ты лежал на земле и горел, к тому же ты был смертельно ранен. Я перенес тебя на свой звездолет... Это такой специальный аппарат для путешествия между звезд... И доставил сюда. Здесь мы тебя вылечили. Это все не вводная, Гаг. Я не офицер и, конечно, не алаец. Я — землянин.

Гаг в задумчивости пригладил волосы.

— Предполагается, господин офицер, что я знаю ваш язык и условия жизни на этой планете. Или нет?

Снова наступило молчание. Потом сухопарый сказал, усмехнувшись:

— Ты, кажется, вообразил себя на занятиях по диверсионно — разведывательной подготовке...

Гаг тоже позволил себе улыбнуться.

— Не совсем так, господин офицер.

— А как же?

— Я полагаю... Я надеюсь, что командование удостаивает меня пройти спецпроверку для того, чтобы принять новое, весьма ответственное назначение. Я горжусь, господин офицер. Приложу все усилия, чтобы оправдать...

— Послушай, — сказал вдруг румяный врач, поворачиваясь к сухопарому.

— А может быть, так и оставить? Создать условия ничего не стоит. Ты ведь говоришь, что понадобится всего три-четыре месяца!

Сухопарый помотал головой и принялся что-то говорить румяному на непонятном языке. Гаг с нарочито рассеянным видом осматривался. Помещение было необычайное. Прямоугольная комната, гладкие кремовые стены, потолок расчерчен в шахматную клетку, причем каждая клетка светится изнутри красным, оранжевым, голубым, зеленым. Окон нет. Дверей тоже что-то незаметно. У изголовья постели в стене какие-то кнопки, над кнопками — длинные прозрачные окошечки, которые светятся ровным, очень чистым зеленым светом. Пол черный, матовый... и кресла, в которых сидят эти двое, словно бы растут из пола, а может быть, составляют с ним одно целое. Гаг незаметно погладил пол босой ступней. Прикосновение было приятное, словно к мягкому теплому животному...

— Ладно, — сказал наконец сухопарый. — Одевайся, Гаг. Я тебе кое-что покажу... Где его одежда?

Румяный, поколебавшись еще секунду, наклонился куда-то вбок и вытащил словно бы из стены плоский прозрачный пакет. Держа его в опущенной руке, он снова заговорил с сухопарым и говорил довольно долго, а сухопарый только все энергичнее крутил головой и в конце концов отобрал пакет у румяного и бросил его Гагу на колени.

— Одевайся, — приказал он снова.

Гаг осторожно осмотрел пакет со всех сторон. Пакет был из какого-то прозрачного материала, бархатистого на ощупь, а внутри было что-то очень чистое, мягкое, легкое, белое с голубым. И вдруг пакет сам собой распался, рассыпался тающими в воздухе серебристыми искрами, и на постель упали, разворачиваясь, короткие голубые штаны, белая с голубым куртка и еще что-то.

Гаг с каменным лицом принялся одеваться. Румяный вдруг сказал громко:

— Но, может быть, мне все-таки пойти с вами?

— Не надо, — сказал сухопарый.

Румяный всплеснул белыми мягкими руками.

— Ну что у тебя за манера, Корней! Что это за порывы интуиции! Ведь, казалось бы, все расписали, обо всем договорились...

— Как видишь, не обо всем.

Гаг натянул совершенно невесомые сандалии, удивительно ладно пришедшиеся по ногам. Он встал, сдвинул пятки и наклонил голову.

— Я готов, господин офицер.

Сухопарый оглядел его.

— Как, нравится тебе это? — спросил он.

Гаг дернул плечом.

— Конечно, я предпочел бы форму...

— Обойдешься без формы, — проворчал сухопарый, поднимаясь.

— Слушаюсь, — сказал Гаг.

— Поблагодари врача, — сказал сухопарый.

Гаг отчетливым движением повернулся к румяному с лицом святого, снова сдвинул пятки и снова наклонил голову.

— Позвольте поблагодарить вас, господин врач, — сказал он.

Тот вяло махнул рукой.

— Иди уж... Кот...

Сухопарый уже уходил, прямо в глухую стену.

— До свидания, господин врач, — сказал Гаг весело. — Надеюсь, здесь мы больше не увидимся, а услышите вы обо мне только хорошее.

— Ох, надеюсь... — откликнулся румяный с явным сомнением.

Но Гаг больше не стал с ним разговаривать. Он догнал сухопарого как раз в тот момент, когда в стене перед ними не распахнулась, а както просто вдруг появилась прямоугольная дверь, и они ступили в коридор, тоже кремовый, тоже пустой, тоже без окон и дверей и тоже непонятно как освещенный.

— Что ты сейчас рассчитываешь увидеть? — спросил сухопарый.

Он шагал широко, вымахивая голенастыми ногами, но ступни ставил с какой-то особой мягкостью, живо напомнившей Гагу неподражаемую походку Гепарда.

— Не могу знать, господин офицер, — ответил Гаг.

— Зови меня Корней, — сказал сухопарый.

— Понял, господин Корней.

— Просто — Корней...

— Так точно... Корней.

Коридор незаметно превратился в лестницу, которая вела вниз по плавной широкой спирали.

— Значит, ты не против того, чтобы оказаться на другой планете?

— Постараюсь справиться, Корней.

Они почти бежали вниз по ступенькам.

— Сейчас мы находимся в госпитале, — говорил Корней. — За его стенами ты увидишь много неожиданного, даже пугающего. Но учти, здесь ты в полной безопасности. Какие бы странные вещи ты не увидел, они не могут угрожать и не могут причинить вреда. Ты меня понимаешь?

— Да, Корней, — сказал Гаг и снова позволил себе улыбнуться.

— Постарайся сам разобраться, что к чему, — продолжал Корней. — Если-чего-нибудь не понимаешь — обязательно спрашивай. Ответам можешь верить. Здесь не врут.

— Слушаюсь... — ответствовал Гаг с самым серьезным видом.

Тут бесконечная лестница кончилась, и они вылетели в обширный светлый зал с прозрачной передней стеной, за которой было полно зелени, желтел песок дорожек, поблескивали на солнце непонятные металлические конструкции. Несколько человек в ярких и, прямо скажем, легкомысленных нарядах беседовали о чем-то посреди зала. И голоса у них были под стать нарядам — развязные, громкие до неприличия. И вдруг они разом замолчали, как будто их кто-то выключил. Гаг обнаружил, что все они смотрят на него... Нет, не на него. На Корнея. Улыбки сползали с лиц, лица застывали, глаза опускались — и вот уже никто больше не смотрит в их сторону, а Корней знай себе вышагивает мимо них в полной тишине, словно ничего этого не заметив.

Он остановился перед прозрачной стеной и положил Гагу руку на плечо.

— Как тебе это нравится? — спросил он.

Огромные, во много обхватов, морщинистые стволы, клубы, облака, целые тучи ослепительной, пронзительной зелени над ними, желтые ровные дорожки, а вдоль них — темно-зеленый кустарник, непроницаемо густой, пестрящий яркими, неправдоподобно лиловыми цветами, и вдруг из пятнистой от солнца тени на песчаную площадку выступил поразительный, совершенно невозможный зверь, состоящий как бы только из ног и шеи, остановился, повернул маленькую голову и взглянул на Гага огромными бархатистыми глазами.

— Колоссально... — прошептал Гаг. Голос у него сорвался. — Великолепно сделано!

— Зеброжираф, — непонятно и в то же время вроде бы и понятно пояснил Корней.

— Для человека опасен? — деловито осведомился Гаг.

— Я же тебе сказал: здесь нет ничего ни опасного, ни угрожающего...

— Я понимаю: здесь — нет. А там?

Корней покусал губу.

— Здесь — это и есть там, — сказал он.

Но Гаг уже не слышал его. Он потрясенно смотрел, как по песчаной дорожке мимо зеброжирафа, совсем рядом с ним, идет человек.

Он увидел, как зеброжираф склонил бесконечную шею, будто пестрый шлагбаум опустился, а человек, не останавливаясь, потрепал животное по холке и пошел дальше, мимо сооружения из скрученного шипастого металла, мимо радужных перьев, повисших прямо в воздухе, поднялся по нескольким плоским ступенькам и сквозь прозрачную стену вошел в зал.

— Между прочим, это тоже инопланетянин, — сказал Корней вполголоса. — Его здесь вылечили, и скоро он вернется на свою планету.

Гаг сглотнул всухую, провожая выздоровевшего инопланетянина глазами. У того были странные уши. То есть, строго говоря, ушей почти не было, а голый череп неприятно поражал обилием каких-то бугров и узловатых гребенчатых выступов. Гаг снова глотнул и посмотрел на зеброжирафа.

— Разве... — начал он и замолчал.

— Да?

— Прошу прощения, Корней... Я думал... это все... Ну, вот это все, за стеной...

— Нет, это не кино, — с оттенком нетерпения в голосе сказал Корней. — И не вольера. Это все на самом деле, и так здесь везде. «Хочешь погладить его?» — спросил он вдруг.

Гаг весь напрягся.

— Слушаюсь, — сказал он осипшим голосом.

— Да нет, если не хочешь — не надо. Просто ты должен понять...

Корней вдруг оборвал себя. Гаг поднял на него глаза. Корней смотрел поверх его головы в глубь зала, где снова уже раздавались голоса и смех, и лицо его неожиданно и странно изменилось. Новое выражение появилось на нем — смесь тоски, боли и ожидания. Гагу уже приходилось видеть такие лица, но он не успел вспомнить, где и когда. Он обернулся.

На той стороне зала, у самой стены стояла женщина. Гаг даже не успел ее толком рассмотреть — через мгновение она исчезла. Но она была в красном, у нее были угольно-черные волосы и яркие, кажется, синие, глаза на белом лице. Неподвижный язык красного пламени на кремовом фоне стены. И сразу — ничего. А Корней сказал спокойно:

— Ну что ж, пошли...

Лицо у него было прежнее, как будто ничего не произошло. Они шли вдоль прозрачной стены, и Корней говорил:

— Сейчас мы очутимся совсем в другом месте. Очутимся, понимаешь? Не перелетим, не переедем в другое место, а просто очутимся там, имей в виду...

Позади громко захохотали в несколько голосов. Гаг, вспыхнув, оглянулся. Нет, смеялись не над ним. На них вообще никто не смотрел.

— Заходи, — сказал Корней.

Это была круглая будка вроде телефонной, только стенки у нее были не прозрачные, а матовые. В будку вела дверь, и оттуда тянуло запахом, какой бывает после сильной грозы. Гаг несмело шагнул внутрь, Корней втиснулся следом, и дверной проем исчез.

— Я потом объясню тебе, как это делается, — говорил Корней. Он неторопливо нажимал клавиши на небольшом пульте, встроенном в стену. Такие пульты Гаг видел на арифметических машинах в бухгалтерии школы. — Вот я набираю шифр, — продолжал Корней. — Набрал... Видишь зеленый огонек? Это означает, что шифр имеет смысл, а финиш свободен. Теперь отправляемся... Вот эта красная кнопка...

Корней нажал на красную кнопку. Чтобы не упасть, Гаг вцепился в его свитер. Пол словно исчез на мгновение, а потом появился снова, и за матовыми стенками вдруг стало светлее.

— Все, — сказал Корней. — Выходи.

Зала не было. Был широкий, ярко освещенный коридор. Пожилая женщина в блестящей, как ртуть, накидке посторонилась, давая им дорогу, сурово смерила взглядом Гага, глянула на Корнея — лицо ее вдруг дрогнуло, она торопливо нырнула в будку, и дверь за нею исчезла.

— Прямо, — сказал Корней.

Гаг пошел прямо. Только сделав несколько шагов, он тихонько перевел дух.

— Один миг — и мы в двадцати километрах, — сказал Корней у него за спиной.

— Потрясающе... — отозвался Гаг. — Я не знал, что мы умеем такие вещи...

— Ну, положим, вы еще не умеете... — возразил Корней. — Сюда, направо.

— Нет, я имел в виду — в принципе... Я понимаю, все засекречено, но для армии...

— Проходи, проходи. — Корней мягко подтолкнул его в спину.

— Для армии такая штука незаменима... Для армии, для разведки...

— Так, — произнес Корней. — Сейчас мы находимся в гостинице. Это мой номер. Я тут жил, пока тебя лечили.

Гаг осмотрелся. Комната была велика и совершенно пуста. Никаких следов мебели. Вместо передней стены — голубое небо, остальные стены разноцветные, пол белый, потолок, как и в госпитале, в разноцветную клетку.

— Давай побеседуем, — сказал Корней и сел.

Он должен был упасть своим сухопарым задом на этот белый пол. Но пол вспучился навстречу его падающему телу, как бы обтек его и превратился в кресло. Этого кресла только что не было. Оно просто

мгновенно выросло. Прямо из пола. Прямо на глазах. Корней закинул ногу на ногу, привычно обхватил мосластыми пальцами колено.

— Мы тут много спорили, Гаг, — проговорил он, — как с тобой быть. Что тебе рассказывать, что от тебя скрыть. Как сделать, чтобы ты, упаси бог, не свихнулся...

Гаг облизал пересохшие губы.

— Я...

— Предлагалось, например, оставить тебя на эти три-четыре месяца в бессознательном состоянии. Предлагалось загипнотизировать тебя. Много разной чепухи предлагалось. Я был против. И вот почему. Во-первых, я верю в тебя. Ты — сильный, тренированный мальчик, я видел тебя в бою и знаю, что ты можешь выдержать многое. Во-вторых, для всех будет лучше, если ты увидишь наш мир... Пусть даже только кусочек нашего мира. Ну, а в-третьих, я тебе честно скажу: ты мне можешь понадобиться.

Гаг молчал. Ноги у него одеревенели, заложенные за спину руки он стиснул изо всей силы, до боли. Корней вдруг подался вперед и сказал, словно заклиная:

— Ничего страшного с тобой не произошло. Ничего страшного с тобой не случится. Ты в полной безопасности. Ты просто совершаешь путешествие, Гаг. Ты в гостях, понимаешь?

— Нет, — сказал Гаг хрипло.

Он повернулся и пошел прямо в голубое небо. Остановился. Глянул. Стиснутые кулаки его побелели. Он сделал шаг назад, другой, третий и пятился до тех пор, пока не уперся лопатками.

— Значит... я уже там? — сказал он хрипло.

— Значит, ты уже здесь, — сказал Корней.

— Какое же у меня задание?.. — сказал Гаг.

3

Одним словом, ребята, влип я, как ни один еще Бойцовый Кот, наверное, до меня не влипал. Вот сижу я сейчас на роскошной лужайке по шею в мягкой травке-муравке. Вокруг меня — благодать, чистый курорт на озере Заггута, только самого озера нет. Деревья — никогда таких не видел: листья зеленые-зеленые, мягкие, шелковистые, а на ветвях висят здоровенные плоды — груши называются — объеденье, и ешь сколько влезет. Слева от меня роща, а прямо передо мной дом. Корней говорит, что сам его своими руками построил. Может быть, не знаю. Знаю только, что, когда меня назначали в караул у охотничьего домика его высочества, так там тоже был дом —

роскошный дом, и строили его большие головы, но куда ему до этого. Перед домом бассейн, вода чистая, как увидишь — пить хочется, купаться страшно. А вокруг — степь. Там я еще не был. И пока неохота. Не до степи мне сейчас. Мне бы сейчас понять, на каком языке я думаю, змеиное молоко! Ведь сроду я никаких языков, кроме родного алайского, не знал. Военный разговорник — это, натурально, не в счет: всякие там «руки вверх», «ложись», «кто командир» и прочее. А теперь вот никак не могу понять, какой же язык мне родной — этот самый ихний русский или алайский. Корней говорит, что этот русский в количестве двадцати пяти тысяч слов и разных там идиом в меня запихнули за одну ночь, пока я спал после операции. Не знаю. Идиома... Как это по алайски-то будет? Не знаю.

Нет, я ведь сначала что подумал? Спецлаборатория. Такие у нас есть, я знаю. Корней — офицер нашей разведки. И готовят они меня для какого-то особой важности задания. Может быть, интересы его высочества распространились на другой материк. А может быть, черт подери, и на другую планету. Почему бы и нет? Что я знаю?

Я даже, дурак, сначала думал, что вокруг все — декорация. А потом день здесь живу, другой — нет, ребята, не получается. Город этот — декорация? Синие эти громады, что на горизонте время от времени появляются, — декорация? А жратва? Показать ребятам эту жратву — не поверят, не бывает такой жратвы. Берешь тюбик, вроде бы с зубной пастой, выдавливаешь на тарелку, и на тебе — запузырилось, зашипело, и тут надо схватить другой тюбик, его давить, и ахнуть ты не успел, как на тарелке перед тобой — здоровенный ломоть поджаренного мяса, весь золотистый, дух от него... э, что там говорить. Это, ребята, не декорация. Это мясо. Или, скажем, ночное небо: все созвездия перекошены. И луна. Тоже декорация? Честно говоря, она-то на декорацию как раз очень похожа. Особенно когда высоко. Но на восходе — смотреть же страшно! Огромная, разбухшая, красная, лезет из-за деревьев... Который я уже здесь день, пятый, что ли, а до сих пор меня от этого зрелища просто в дрожь бросает.

Вот и получается, что дело дрянь. Могучие они здесь, могучие, простым глазом видно. И против них, против всей их мощи я здесь один. И ведь никто же у нас про них ничего не знает, вот что самое страшное. Ходят они по нашей Гиганде, как у себя дома, знают про нас все, а мы про них — ничего. С чем они к нам пришли, что им у нас надо? Страшно... Как представишь себе всю ихнюю чертовщину — все эти мгновенные скачки на сотни километров без самолетов, без машин, без железных дорог... эти их здания выше облаков, невозможные, невероятные, как дурной сон... комнаты-самобранки, еда прямо

из воздуха, врачи-чудодеи... А сегодня утром — приснилось мне, что ли? — Корней прямо из бассейна без ничего в одних плавках взмыл в небо, как птица, развернулся над садом и пропал за деревьями...

Я как это вспомнил, продрало меня до самых печенок. Вскочил, пробежался по лужайке, грушу сожрал, чтобы успокоиться. А ведь я здесь всего-то-навсего пятый день! Что я за пять дней мог здесь увидеть? Вот хоть эта лужайка. У меня окно прямо на нее выходит. И вот давеча просыпаюсь ночью от какого-то хриплого мяуканья. Кошки дерутся, что ли? Но уже знаю, что не кошки. Подкрался к окну, выглянул. Стоит. Прямо посреди лужайки. Что — не понимаю. Вроде треугольное, огромное, белое. Пока я глаза протирал, смотрю — тает в воздухе. Как приведение, честное слово. Они у них так и называются: «призраки». Я наутро у Корнея спросил, а он говорит: это, говорит, наши звездолеты класса «призрак» для перелетов средней дальности, двадцать световых лет и ближе. Представляете? Двадцать световых лет — это у них средняя дальность! А до Гиганды, между прочим, всего восемнадцать...

Не-ет, от нас им только одно может понадобиться: рабы. Кто-то же у них здесь должен работать, кто-то же эту ихнюю благодать обеспечивает... Вот Корней мне все твердит: учись, присматривайся, читай, через три-четыре месяца, мол, домой вернешься, начнешь строить новую жизнь, то, се, войне, говорит, через три-четыре месяца конец, мы, говорит, этой войной занялись и в самое ближайшее время с ней покончим. Тут-то я его и поймал. Кто же, говорю, в этой войне победит? А никто не победит, отвечает. Будет мир, и все. Та-ак... Все понятно. Это, значит, чтобы мы материал зря не переводили. Чтобы все было тихо-мирно, без всяких там возмущений, восстаний, кровопролития. Вроде как пастухи не дают быкам драться и калечиться. Кто у нас им опасен — тех уберут, кто нужен — тех купят, и пойдут они набивать трюмы своих «призраков» алайцами и крысоедами вперемешку...

Корней вот, правда... Ничего не могу с собой поделать: нравится он мне. Башкой понимаю, что иначе быть не может, что только такого человека они и могли ко мне приставить. Башкой понимаю, а ненавидеть его не могу. Наваждение какое-то. Верю ему, как дурак. Слушаю его, уши развесив. А сам ведь знаю, что вот-вот начнет он мне внушать и доказывать, как ихний мир прекрасен, а наш — плох, и что наш мир надо бы переделать по образцу ихнего, и что я им в этом деле должен помочь, как парень умный, волевой, сильный, вполне пригодный для настоящей жизни...

Да чего там, он уже и начал понемногу. Ведь всех великих людей, на кого мы молимся, он уже обгадить успел. И фельдмаршала Брагга, и Одноглазого Лиса, великого шефа разведки, и про его высочество намекнул было, но тут я его, конечно, враз оборвал... Всем от него досталось. Даже имперцам — это, значит, чтобы показать, какие они здесь беспристрастные. И только про одного он говорил хорошо — про Гепарда. Похоже, он его знал лично. И ценил. В этом человеке, говорит, погиб великий педагог. Здесь, говорит, ему бы цены не было... Ладно.

Хотел я остановиться, но не сумел — стал думать о Гепарде. Эх, Гепард... Ну ладно, ребята погибли, Заяц, Носатый... Клещ с ракетой под мышкой под бронеход бросился... Пусть. На то нас родили на свет. А вот Гепард... Отца ведь я почти не помню, мать — ну что мать? А вот тебя я никогда не забуду. Я ведь слабый в школу пришел — голод, кошатину жрал, самого чуть не съели, отец с фронта пришел без рук, без ног, пользы от него никакой, все на водку променивал... А в казарме что? В казарме тоже не сахар, пайки сами знаете какие. И кто мне свои консервы отдавал? Стоишь ночью дневальным, жрать хочется — аж зубы скрипят; вдруг появится, как из-под земли, рапорт выслушает, буркнет что-то, сунет в руку ломоть хлеба с кониной — свой ведь ломоть, по тыловой норме — и нет его... А как в марш-броске он меня двадцать километров на загривке тащил, когда я от слабости свалился? Ребята ведь должны были тащить, и они бы и рады, да сами падали через каждые десять шагов. А по инструкции как? Не может идти — не может служить. Валяй домой, под вонючую лестницу, за кошками охотиться... Да, не забуду я тебя. Погиб ты, как нас учил погибать, так и сам погиб. Ну, а раз уж я уцелел, значит, и жить я теперь должен, твоей памяти не посрамив. А как жить? Влип я, Гепард. Ох и влип же я! Где ты там сейчас? Вразуми, подскажи...

Ведь они здесь меня купить хотят. Перво-наперво спасли мне жизнь. Вылечили, как новенького сделали, даже ни одного зуба дырявого не осталось — новые выросли, что ли? Дальше. Кормят на убой, знают, бродяги, как у нас со жратвой туго. Ласковые слова говорят, симпатичного человека приставили...

Тут он меня позвал: обедать пора.

Уселись мы за столом в гостиной, взяли эти самые тюбики, навертели себе еды. Корней что-то странное соорудил — целый клубок прозрачных желтоватых нитей — что-то вроде дохлого болотного ежа, — все это залепил коричневым соусом, сверху лежат кусочки и ломтики то ли мяса, то ли рыбы, и пахнет... Не знаю даже — чем, но крепко пахнет. Ел он почему-то палочками. Зажал две палочки между

пальцами, тарелку к самому подбородку поднес и пошел кидать все это в рот. Кидает, а сам мне подмигивает. Хорошее у него, значит, настроение. Ну, а у меня от всех моих мыслей, да и от груш, наверное, аппетита почти не осталось. Сделал я себе мяса. Вареного. Хотел тушеного, а получилось вареное. Ладно, есть можно, и на том спасибо.

— Хорошо я сегодня поработал, — сообщил Корней, уплетая своего ежа. — А ты что поделывал?

— Да так. Ничего особенного. Купался. В траве сидел.

— В степь ходил?

— Нет.

— Зря. Я же тебе говорю: там для тебя много интересного.

— Я схожу. Потом.

Корней доел ежа и снова взялся за тюбики.

— Придумал, где бы тебе хотелось побывать?

— Нет. То есть да.

— Ну?

Что бы мне ему такое-этакое соврать? Никуда мне сейчас не хотелось, мне бы здесь, с этим домом разобраться, и я ляпнул:

— На Луне...

Он посмотрел на меня с удивлением.

— А за чем же дело стало? Нуль-кабина — в саду, справочник по шифрам я тебе дал... Набирай номер и отправляйся.

Нужна мне эта Луна...

— И отправлюсь, — сказал я. — Галоши вот только надену...

Сам не знаю, откуда присловка эта у меня взялась. Идиома, наверное, какая-нибудь. Засадили они мне ее в мозг, и теперь она время от времени у меня выскакивает.

— Что-что? — спросил Корней, приподняв брови.

Я промолчал. Теперь вот на Луну надо. Раз сказал, значит, придется. А чего я там не видел? Вообще-то, конечно, не мешает посмотреть... Подумал я, сколько мне еще здесь надо посмотреть, и в глазах потемнело. И ведь это только посмотреть! А надо еще запомнить, уложить в башке все это кирпичик к кирпичику, а в башке и так все перемешалось, будто я уже сто лет здесь болтаюсь, и все эти сто лет днем и ночью мне показывают какое-то сумасшедшее кино без начала и конца. Он ведь ничего от меня не скрывает. Нуль-транспортировка? Пожалуйста! Объясняет про нуль-транспортировку. И вроде бы понятно объясняет, модели показывает. Модели понимаю, а как работает нуль-кабина — нет, хоть кол на голове теши. Изгибание пространства, понял? Или, скажем, про эту пищу из тюбиков. Три часа он мне объяснял, а что осталось в голове? Субмолекулярное сжатие. Ну,

еще расширение. Субмолекулярное сжатие — это, конечно, хорошо и даже прекрасно. Химия. А вот откуда кусок жареного мяса берется?

— Ну, что загрустил? — спросил Корней, утираясь салфеткой. — Трудно?

— Башка болит, — сказал я со злостью.

Он хмыкнул и принялся прибирать со стола. Я, конечно, как положено, сунулся ему помогать, только тут у них и одному делать нечего. Всего и приборки-то: в середине стола лючок открыть и все туда спихнуть, а уж закрывать и не надо, само закроется.

— Пойдем кино посмотрим, — сказал он. — Один мой знакомый отличную ленту сделал. В старинном стиле, плоскую, черно-белую. Тебе понравится.

Короче, пришлось мне тут же сесть и смотреть это кино. Куролесица какая-то. Про любовь. Любят там друг друга двое аристократов, а родители против. Есть там, конечно, пара мест, где дерутся, но все на мечах. Снято, правда, здорово, у нас так не умеют. Один там другого ткнул мечом, так уж без обману; лезвие из спины на три пальца вылезло и даже, вроде, дымится... Вот им еще, например, зачем рабы нужны. Замутило меня от этой мысли, еле я дотерпел до конца. Вдобавок курить хотелось дико. Корней, как и Гепард, курение не одобряет. Предложил даже излечить от этой привычки, да я не согласился: всего-то от меня изначального одно это, может быть, и осталось... В общем, попросил я разрешения пойти к себе. Почитать, говорю. Про Луну. Поверил. Отпустил.

И вошел я в свою комнату, будто домой вернулся. Я ее сразу, как приехал, для себя переоборудовал. Тоже, между прочим, намучился. Корней мне, конечно, все объяснил, но я, конечно, ничего толком не понял. Стою посреди комнаты и ору, как псих: «Стул! Хочу стул!». Только потом понемногу приспособился. Здесь, оказывается, орать не надо, а надо только тихонечко представить себе этот стул во всех подробностях. Вот я и представил. Даже кожаная обшивка на сиденье продрана, а потом аккуратно заштопана. Это когда Заяц, помню, после похода сразу сел, а потом встал и зацепился за обшивку крючком от кошки. Ну и все остальное я устроил как у Гепарда в его комнатушке: койка железная с зеленым шерстяным покрывалом, тумбочка, железный ящик для оружия, столик с лампой, два стула и шкаф для одежды. Дверь сделал, как у людей, стены — в два цвета, оранжевый и белый, цвета его высочества. Вместо прозрачной стены сделал одно окно. Под потолком лампу повесил с жестяным абажуром...

Конечно, все это декорация: ни жести, ни железа, ни дерева — ничего этого на самом деле здесь нет. И оружия у меня, конечно,

никакого в железном ящике нет — лежит там один мой единственный автоматный патрон, который у меня в кармане куртки завалялся. И на тумбочке ничего нет. У Гепарда стояла фотография женщины с ребенком — рассказывали, что жены с дочерью, сам он об этом никогда не говорил. Я тоже хотел поставить фотографию. Гепарда. Каким я его в последний раз видел. Но ничего у меня из этого не вышло. Наверное, Корней правильно объяснил, что для этого надо быть художником или там скульптором.

Но в общем мне моя конурка нравится. Я здесь отдыхаю душой, а то в других комнатах как в чистом поле, все насквозь простреливается. Правда, нравится она здесь только мне. Корней посмотрел, ничего не сказал, но, по-моему, он остался недоволен. Да это еще полбеды. Хотите верьте, хотите нет, но эта моя комната сама себе не нравится. Или самому дому. Или, змеиное молоко, той невидимой силе, которая всем здесь управляет. Чуть отвлечешься, глядь — стула нет. Или лампы под потолком. Или железный ящик в такую нишу превратится, в которой они свои микрокниги держат.

Вот и сейчас. Смотрю — нет тумбочки. То есть тумбочка есть, но не моя тумбочка, не Гепарда, да и не тумбочка вовсе. Шут знает что — какое-то полупрозрачное сооружение. Слава богу, хоть сигареты в нем остались как были. Родимые мои, самодельные. Ну, сел я на свой любимый стул, закурил сигаретку и это самое сооружение изничтожил. Честно скажу — с удовольствием. А тумбочку вернул на место. И даже номер вспомнил: 0064. Не знаю уж, что этот номер значит.

Ну, сижу я, курю, смотрю на свою тумбочку. На душе стало поспокойнее, в комнате моей приятный полумрак, окно узкое, отстреливаться из него хорошо в случае чего. Было бы чем. И стал я думать: что бы это мне на тумбочку положить? Думал-думал и надумал. Снял я с шеи медальон, открыл крышечку и вынул портрет ее высочества. Обрастил я его рамкой, как сумел, пристроил посередине, закурил новую сигаретку, сижу и смотрю на прекрасное лицо Девы Тысячи Сердец. Все мы, Бойцовые Коты, до самой нашей смерти ее рыцари и защитники. Все, что есть в нас хорошего, принадлежит ей. Нежность наша, доброта наша, жалость наша — все это у нас от нее, для нее и во имя ее.

Сидел я так, сидел и вдруг спохватился: да в каком же это виде я перед ней нахожусь? Рубашка, штанишки, голоручка-голоножка... Тьфу! Я подскочил так, что даже стул упал, распахнул шкаф, сдернул с себя всю эту бело-синюю дрянь и натянул свое родимое — боевую маскировочную куртку и маскировочные штаны. Сандалии долой, на ноги — тяжелые рыжие сапоги с короткими голенищами.

Подпоясался ремнем, аж дыханье сперло. Жалко, берета нет — видимо, совсем берет сгорел, в пыль, даже не сумели восстановить. А может, я его сам потерял в той суматохе... Погляделся я в зеркало. Вот это другое дело: не мальчишка сопливый, а Бойцовый Кот — пуговицы горят, черный зверь на эмблеме зубы скалит в вечной ярости, пряжка ремня точно на пупе, как влитая. Эх, берета нет!..

И тут я вдруг заметил, что ору я Марш Боевых Котят, ору во весь голос, до хрипа, и на глазах у меня слезы. Допел до конца, глаза вытер и начал сначала, уже вполголоса, просто для удовольствия, от самой первой строчки, от которой всегда сердце щемит: «Багровым заревом затянут горизонт», и до самой последней, развеселой: «Бойцовый Кот нигде не пропадет». Мы там еще один куплет сочинили сами, но такой куплет в трезвом виде, да еще имея перед глазами портрет Девы, исполнять никак невозможно. Гепард, помню, Крокодила за уши при всех оттаскал за этот куплет...

Змеиное молоко! Опять! Опять эта лампа в какой-то дурацкий светильник превратилась. Ну что ты будешь с ней делать... Попробовал я этот светильник обратно в лампу превратить, а потом плюнул и изничтожил совсем. Отчаяние меня взяло. Ну, где мне с ними справиться, когда я с собственной комнатой справиться не могу! С домом этим проклятущим... Поднял я стул и снова уселся. Дом. Как хотите, ребята, а с домом этим все неладно. Казалось бы, проще простого: стоит двухэтажный дом, рядом роща, вокруг на двадцать пять километров голая степь, как доска, в доме двое — я и Корней. Все. Так вот, ребята, оказывается, не все.

Во-первых — голоса. Говорит кто-то, и не один, и не радио какое-нибудь. По всему дому голоса. И не то, чтобы ночью — среди бела дня. Кто говорит, с кем говорит, о чем говорит — ничего не понятно. Причем, заметьте, Корнея в доме в это время нет. Тоже, между прочим, вопрос: куда он девается... Хотя, кажется, на этот вопрос я ответ нашел. Страху набрался, но нашел. А было так. Позавчера сижу я у окна и наблюдаю за нуль-кабиной. Она наискосок, в конце песчаной дорожки, шагах в пятидесяти. Потом слышу — в глубине дома вроде бы хлопнула дверь, и сразу же — тишина, и чувствую я, что опять остался в доме один. Так, думаю, значит, он не через нуль-кабину уходит. И тут меня как обухом по голове ударило: дверь! Где же это, кроме моей комнаты, в нашем доме двери, которые хлопать могут?

Выскочил я из комнаты, спустился на первый этаж. Сунулся туда, сюда — коридор какой-то, светлый, окно вдоль стены... Ну, это, как всегда, у них. И вдруг слышу — шаги. Не знаю, что меня остановило. Притаился, стою не дышу. Коридор пустой, в дальнем конце дверь,

обыкновенная, крашеная... Как я ее раньше не замечал — не понимаю. Как я коридора этого раньше не замечал — тоже не понимаю. Ну, это ладно. Главное — шаги. Несколько человек. Ближе, ближе, и вот — у меня даже сердце сжалось — прямо из стены на середине коридора выходят один за другим трое. Змеиное молоко! Имперские парашютисты, в полном боевом, в этих своих разрисованных комбинезонах, автомат под мышкой, топорик назаду... Я сразу лег. Один ведь, и ничего нет — голые руки. Оглянутся — пропал. Не оглянулись. Протопали в дальний конец коридора к той самой двери, и нет их. Дверь хлопнула, как от сквозняка, и все. Ну, ребята... Как дунул я обратно к себе в комнату — и только там опомнился...

До сих пор не понимаю, что бы это могло значить. То есть ясно теперь, как Корней из дома исчезает. Через эту самую дверь. Но вот откуда здесь крысоеды взялись, да еще в полном боевом... И что за дверь?

Бросил я окурок на пол, посмотрел, как пол его в себя втягивает, и поднялся. Страшновато, конечно, но надо же когда-нибудь начинать. А если начинать, то с этой двери. В саду на лужайке с грушей за щекой оно, конечно, приятнее... или, скажем, марши распевать, запершись в комнате... Высунул я за дверь голову и прислушался. Тихо. Но Корней — у себя. Может, это даже и лучше. В случае чего заору благим матом — выручит. Спустился я в этот коридор, иду на цыпочках, даже руки расставил. До этой двери я целую вечность добирался. Пройду десять шагов, остановлюсь, послушаю — и дальше. Добрался. Дверь как дверь. Никелированная ручка. Приложил ухо — ничего не слыхать. Нажал плечом. Не открывается. Взялся за ручку, потянул. Опять не открывается. Интересно. Вытер я со лба пот, оглянулся. Никого. Снова взялся за ручку, снова потянул, и тут стала дверь открываться. Со страху или от неожиданности я ее, проклятущую, опять захлопнул. В башке у меня пустота, и только одна мыслишка там прыгает, как горошина в бензобаке: не лезь, дурак, не суйся, тебя не трогают, и ты не трогай... И тут из меня и эту последнюю мыслишку вышибло.

Смотрю: прямо на стене сбоку от двери маленькими аккуратными буковками написано по-алайски «значит». То есть там вообще-то много чего было написано, всего в количестве шести строчек, но все остальное была математика, причем такая математика, что я в ней одни только плюсы и минусы разбирал. Так это выглядело: четыре строчки этой самой математики, потом слово «значит», подчеркнутое двумя чертами, а потом еще две строчки формул, обведенные жирной рамкой, на ней у него грифель раскрошился, у того, кто писал. Вот так так... В бедной голове моей, в пустом моем бензобаке, такая тут

толкотня поднялась, что я и про дверь забыл. Выходит, я не один тут, есть еще алайцы? Кто? Где? Почему я вас не видел до сих пор? Зачем вы это написали? Знак подаете? Кому? Мне? Так я же математики не знаю... Или вы эту математику развели только для отвода глаз? Ничего не успел я в этот раз додумать, потому что услыхал как меня зовет Корней. Я как полоумный сорвался с места и на цыпочках взлетел к себе. Кое-как бухнулся на стул, закурил и схватил какую-то книжку. Корней внизу гаркнул еще пару раз, а потом слышу — стучит в дверь.

Это у него, между прочим, правило: хоть он и в своем доме, но никогда не войдет без стука. Это мне нравится. Мы к Гепарду тоже всегда стучали. Но сейчас-то мне было не до этого. «Войдите», — говорю и делаю на лице наивозможнейшую задумчивость, будто я так зачитался, что ничего не вижу и не слышу.

Он вошел, остановился на пороге, прислонился к косяку и смотрит. По лицу ничего не понять. Тут я сделал вид, что спохватился, и притушил окурок. Тогда он заговорил.

— Ну, как Луна? — спрашивает.

Я молчу. Сказать мне нечего. В таких вот случаях мне всегда кажется, что он костерить меня начнет, но этого никогда не бывает. Так вот и сейчас.

— Пойдем-ка, — говорит. — Я тебе кое-что покажу.

— Слушаюсь, — говорю. И на всякий случай спрашиваю: — Прикажите переодеться?

— А тебе в этом не жарко? — спрашивает он.

Я только усмехнулся. Не смог удержаться. Вот так вопросик!

— Ну, извини, — говорит он, словно мои мысли подслушал. — Пошли.

И повел он меня, куда раньше никогда не водил. Не-ет, ребята, я с этим домом никогда не разберусь. Я даже и не знал, что в этом доме такое есть. В гостиной он ткнулся в стену рядом с книжной нишей — и открылась дверца, а за дверцей оказалась лестница вниз, в подпол. Оказывается, у этого дома еще целый этаж есть, под землей, такой же роскошный и освещен как бы дневным светом, но это не для жилья. У него там что-то вроде музея. Огромная комната, и чего там только нет!

— Понимаешь, Гаг, — говорит он мне с каким-то странным выражением — с грустью, что ли? — Я ведь раньше работал космозоологом, исследовал жизнь на других планетах. Ах, какое это было чудесное время! Вот посмотри-ка! — Он схватил меня за руку и поволок в угол, где на черной лакированной подставке был растопырен какой-то странный скелет величиной с собаку. — Видишь, у него два

позвоночника. Зверь с Нистагмы. Когда мы взяли первый экземпляр, то подумали сначала, что это какое-то уродство. Потом другой такой же, третий... Выяснилось, что на Нистагме обитает целый новый бранч животного мира — двухордовые. Их нет больше нигде... Да и на Нистагме только один вид. Откуда он взялся? Почему?

И пошел, и пошел. Таскал он меня от скелета к скелету, руками размахивал, голос возвышал — я таким его еще не видывал. Здорово, наверное, он любил эту свою космозоологию. Или связаны были у него с ней какие-то особенные воспоминания.

Не знаю. Из того, что он мне говорил, я, конечно, мало что понял и мало что запомнил, да в общем и не особенно старался. Какое мне до всего этого дело? Забавно было только на него смотреть, а уж эти зверюги!.. У него их, наверное, штук сто. Либо скелеты, либо целиком, словно бы вплавленные в такие здоровенные прозрачные глыбы (как я понимаю — для особой сохранности), либо просто чучела, как в охотничьем домике у его высочества, а то — одни только головы или шкуры.

Вот во втором зале у него — мы как туда вошли, я даже попятился — вся стена справа завешана одной шкурой. Змеиное молоко! Длиной метров двадцать, в поперечнике метра три, а то и все четыре, аж на потолок краем залезает. И вся эта шкура покрыта не то пластинами, не то чешуей, и каждая чешуища — с хорошее блюдо, и каждая сияет чистейшим изумрудным светом с красными огоньками, так что вся зала от этой шкуры кажется будто зеленоватой. Я обалдел, глаз не могу оторвать от этого сияния. Это же надо, что на свете бывает! А головка маленькая, в мой кулак, и глаз не видно, а в рот палец не просунешь — как это оно питало свою тушу, непонятно...

Потом смотрю — в конце залы вроде бы еще одна дверь. В темное помещение. Подошли поближе — да, ребята, это, оказывается, не дверь. Это, оказывается, пасть раскрытая. Ей-богу, дверь. И даже не в комнату дверь, а, скажем, в гараж. Или, может быть, в ангар. Называется эта зверюга — тахорг, и добывают ее на планете Пандора. А Корней мимо нее рассеяно этак прошел, как будто это черепаха какая-нибудь или, например, лягушка. А голова ведь — с два вагона хороших, в пасти всю нашу школу разместить можно. Это какое же должно быть тулово при такой голове! И каково его добывать было! Из ракетомета, наверное...

Ну, чего там еще было? Ну, там всякие птицы, насекомые громадные... Нога мне запомнилась. Стоит посередине зала нога. Тоже залитая в этот прозрачный материал. Ну, страшная нога, конечно. Выше меня ростом, узловатая, как старое дерево, когти — восемь штук,

такие у дракона Гугу изображают, каждый коготь как сабля... Ладно. Замечательно что? Оказывается, кроме такой вот ноги или, скажем, хвоста, ни в одном музее ничего от этого зверя нет. Обитает он на планете Яйла, и сколько лет за ним ни охотятся, а целиком добыть так и не сумели. Пули его не берут, газы его не берут, из любой ловушки он уходит, мертвыми их вообще никогда не видали, а добывают вот так — по частям. У них, оказывается, поврежденные части запросто отваливаются, некоторое время еще как бы живут — скребутся там или дергаются, — ну, потом, конечно, замирают... Да, нога. Я перед этой ногой стоял с раззявленной пастью, что твой тахорг. Велик все-таки создатель...

Ну, ходим мы вот так, ходим, Корней рассказывает, горячится, а мне уже все это малость надоело, и стал я снова думать о своем. Сначала об этой надписи в коридоре, как мне с ней быть и какие я из нее выводы должен сделать, а потом меня снова чего-то свернуло на Корнея. Почему это, думаю, он один живет? Богатый ведь человек, самостоятельный. Где у него жена, где дети? Вообще-то какая-то женщина у него есть. Первый раз я ее еще в госпитале видел, они там через весь зал перемигивались. А потом она и сюда к нему приходила. То есть, как она приходила, я не видел, но вот как он ее провожал, до самой нуль-кабины довел — это у меня все на глазах было. Только у него с нею настоящего счастья нет. Он ей: «Я жду тебя каждый день, каждый час, всегда». А она ему: «Ненавижу; мол, каждый день, каждый час...» — или что-то в этом роде. Видали? А чего тогда приходила спрашивается? Только расстроила человека до последней степени. Она в эту кабину — фр-р-р! — и как не было, а он стоит, бедняга, и на лице у него опять эта тоска с болью пополам, как тогда в госпитале, и я наконец вспомнил, у кого такие лица видел: у смертельно раненных, когда они кровью истекают... Нет, у него в личной жизни неудача, я уж на что посторонний человек — простым глазом вижу... Может, он потому и работает днем и ночью, чтобы отвлечься. И бзик этот зоологический у него из-за этого... Отпустит он меня когда-нибудь из этого подпола, или так и будем здесь всю жизнь ходить? Нет, не отпускает. Опять чего-то объяснять начал. Половину-то хоть мы осмотрели? Пожалуй, осмотрели...

Да-а, жило все это зверье, поживало за тысячи световых лет от этого места. Горя не знало, хотя имело, конечно, свои заботы и хлопоты. Пришли, сунули в мешок и — в этот музей. С научной целью. И мы вот тоже — живем, сражаемся, историю делаем, врагов ненавидим, себя не жалеем, а они смотрят на нас и уже готовят мешок. С научной целью. Или еще с какой-нибудь. Какая нам, в конце концов

разница? И может быть, стоять нам всем в таких вот подвалах, а они будут около нас руками размахивать и спорить: почему мы такие, и откуда взялись, и зачем. И до того мне вдруг родными сделались все эти зверюги... Ну, не родными, конечно, а как бы это сказать... Вот говорят, во время наводнений или там, скажем, когда пожар в джунглях, хищники с травоядными спасаются плечо к плечу и становятся как бы даже друзьями, даже помогают друг другу, я слыхал. Вот и у меня такое же появилось чувство. И как на грех именно в этот момент я увидел скелет.

Стоит в углу скромно, без особенной какой-нибудь подсветки, невелик росточком — пониже меня. Человек. Череп, руки, ноги. Что я, скелетов человеческих не видел? Ну, может, грудная клетка пошире, ручки такие маленькие, между пальчиками вроде бы перепонки, и ножки кривоватые. Все равно — человек.

Наверное, что-то с моим лицом тут сделалось, потому что Корней вдруг остановился, посмотрел пристально на меня, потом на этот скелет, потом опять на меня.

— Ты что? — спрашивает. — Не понимаешь что-нибудь?

Я молчу, уставился на этот скелет, а на Корнея стараюсь не глядеть. Я ведь как ждал чего-нибудь такого. А Корней говорит спокойно:

— Да-а, это тот самый знаменитый псевдохомо, тоже знаменитая загадка природы. Ты уже где-нибудь прочитал про него?

— Нет, — сказал я, а сам думаю: сейчас он мне все объяснит. Он очень хорошо мне все объяснит. Да вот стоит ли верить?

— Это удивительная история, — сказал Корней, — и в некотором роде трагическая. Понимаешь, эти существа должны были оказаться разумными. По всем законам, какие нам известны, должны. — Тут он развел руки. — Но — не оказались. Скелет — чепуха, я тебе потом фотографии покажу. Страшно! В прошлом веке научная группа на Тагоре открыла этих псевдохомо. Долго пытались вступить с ними в контакт, наблюдали их в естественных условиях, исследовали и пришли к выводу, что это животные. Звучало это парадоксом, но факт есть факт: животные. Соответственно с ними и обращались, как с животными: держали в зверинце, при необходимости забивали, анатомировали, препарировали, брали скелеты и черепа для коллекций. Как-никак, ситуация в научном смысле уникальная. Животное обязано быть человеком, но человеком не является. И вот еще несколько лет спустя на Тагоре обнаруживают мощнейшую цивилизацию. Совершенно непохожую ни на нашу земную, ни на вашу — невиданную, совершенно фантастической фактуры, но несомненную. Представляешь какой это был ужас? Из первооткрывателей один сошел с ума,

другой застрелился... И только еще через двадцать лет нашли! Оказалось: Да, есть на планете разум. Но совершенно нечеловеческий. До такой степени не похож ни на нас, ни на вас, ни, скажем, на леонидян, что наука просто не могла даже предположить возможность такого феномена... Да... Это была трагедия. — Он вдруг как-то поскучнел и пошел из зала, словно забыл обо мне, но на пороге остановился и сказал, глядя на скелет в углу: — А сейчас есть гипотеза, что это вот — искусственные существа. Понимаешь, тагоряне их создали сами, смоделировали, что ли. Но для чего? Мы ведь так и не сумели найти с тагорянами общего языка... — Тут он посмотрел на меня, хлопнул по плечу и сказал: — Вот так-то, брат-храбрец. А ты говоришь — космозоология...

Не знаю уж, правду он мне рассказал или выдумал все, чтобы мозги мне окончательно замутить, но только охота размахивать руками и излагать мне про всякие загадки природы у него после этого пропала. Пошли мы из музея вон. Он молчит, я тоже, в душе у меня какой-то курятник нечищенный, и таким манером пришли мы к нему в кабинет. Он уселся в свое кресло перед экранами, вынул из воздуха бокал со своей любимой шипучкой, стал тянуть через соломинку, а сам смотрит как бы сквозь меня. В кабинете у него, кроме этих экранов и ненормального количества книг, ничего в общем-то и нет. Даже стола у него нет, до сих пор не могу понять, что он делает, когда ему какую-нибудь бумагу надо, скажем, подписать. И нет у него в кабинете ни картин, ни фотографий, ни украшений каких-нибудь. А ведь он богатый человек, мог бы себе позволить. Я бы на его месте, если, скажем, наличности не хватает, шкуру бы эту изумрудную загнал, слуг бы нанял, статуй бы везде расставил, ковры бы навесил — знай наших... Правда, что с него взять — холостяк. А может быть, ему и по должности не положено роскошествовать. Что я о его должности знаю? Ничего. То-то он музей в подвале держит...

— Слушай, Гаг, — говорит он вдруг. — А ведь тебе, наверное, скучно здесь, а?

Застал он меня этим вопросом врасплох. Кто его знает, как тут надо отвечать. Да и вообще — откуда я знаю, скучно мне здесь или нет? Тоскливо — это да. Неуютно — да. Место себе не нахожу — да. А скучно?.. Вот человеку в окопе под обстрелом — скучно? Ему, ребята, скучать некогда. И мне здесь скучать пока некогда.

— Никак нет, — говорю. — Я свое положение понимаю.

— Ну и как же ты его понимаешь?

— Всецело нахожусь в вашем распоряжении.

Он усмехнулся.

— В моем распоряжении... Ладно, не будем об этом. Я, как видишь, не могу уделять тебе все свое время. Да ты, по-моему, к этому и не стремишься особенно. Стараешься держаться от меня подальше...

— Никак нет, — возражаю я вежливо. — Никогда не забуду, что вы мой спаситель.

— Спаситель? Гм... До спасенья еще далеко. А вот не хочешь ли ты познакомиться с одним интересным субъектом?

У меня сердце екнуло.

— Как прикажете, — говорю.

Он подумал.

— Пожалуй, прикажу, — сказал он, поднимаясь. — Пожалуй, это будет полезно.

И с этими непонятными словами подошел он к дальней стене, что-то там сделал, и стена раскрылась. Я глянул и попятился. Что стены у них здесь поминутно раскрываются и закрываются — к этому я уже привык, и это мне уже надоело. Но ведь я что думал? Думал, он меня с этим математиком хочет познакомить, а там — змеиное молоко! — Стоит там, ребята, этакий долдон в два с половиной метра ростом, плечищи, ручищи, шеи нет совсем, а морда закрыта как бы забралом, частой такой матовой решеткой, а по сторонам туловища торчат то ли фары, то ли уши. Я честно скажу: не будь я в мундире, я бы удрал без памяти. Честно. Я бы и в мундире удрал, да ноги отнялись. А тут этот долдон вдобавок еще произносит густым басом:

— Привет, Корней.

— Привет, Драмба, — говорит ему Корней. — Выходи.

Тот выходит. И опять — чего я ожидал? Что от его шагов весь дом затрясется. Чудище ведь, статуя! А он вышел, как по воздуху выплыл. Ни звука, ни шороха — только что стоял в нише, а теперь стоит посередине комнаты и эти свои уши-фары на меня навел. Я чувствую: за лопатками у меня стена, и отступать дальше некуда. А Корней смеется, бродяга, и говорит:

— Да ты не трусь, не трусь, Бойцовый Кот! Это же робот! Машина!

Спасибо, думаю. Легче мне стало оттого, что это машина, как же.

— Таких мы теперь больше не делаем, — говорит Корней, поглаживая долдона по локтю и сдувая с него какие-то там пылинки. — А вот мой отец с такими хаживал и на Яйлу, и на Пандору. Помнишь Пандору, Драмба?

— Я все помню, Корней, — басит долдон.

— Ну вот, познакомьтесь, — говорит Корней. — Это — Гаг, парень из преисподней. На Земле новичок, ничего здесь не знает. Переходишь в его распоряжение.

— Жду ваших приказаний, Гаг, — басит долдон и как бы в знак приветствия поднимает широченную свою ладонь под самый потолок.

В общем, все кончилось благополучно. А глубокой ночью, когда дом спал, я прокрался в тот самый коридор и под математическими формулами написал: «Кто ты, друг?»

4

Когда они вышли к заброшенной дороге, солнце уже поднялось высоко над степью. Роса высохла, жесткая короткая трава шуршала и похрустывала под ногами. Мириады кузнечиков звенели вокруг, острый горький запах поднимался от нагретой земли.

Дорога была странная. Совершенно прямая, она выходила из-за мутно-синего горизонта, рассекала круг земли напополам и уходила снова за мутно-синий горизонт, туда, где круглые сутки, днем и ночью, что-то очень далекое и большое невнятно вспыхивало, мерцало, двигалось, вспучивалось и опадало. Дорога была широкая, она матово отсвечивала на солнце, и полотно ее как бы лежало поверх степи массивной, в несколько сантиметров толщиной, закругленной на краях полосой какого-то плотного, но не твердого материала. Гаг ступил на нее и, удивляясь неожиданной упругости, несколько раз легонько подпрыгнул на месте. Это, конечно, не был бетон, но это не был и прогретый солнцем асфальт. Что-то вроде очень плотной резины. От этой резины шла прохлада, а не душный зной раскаленного покрытия. И на поверхности дороги не было видно никаких следов, даже пыли не было на ней. Гаг наклонился и провел рукой по гладкой, почти скользкой поверхности. Посмотрел на ладонь. Ладонь осталась чистой.

— Она сильно усохла за последние восемьдесят лет, — прогудел Драмба.

— Когда я видел ее в последний раз, ее ширина была больше двадцати метров. И тогда она еще двигалась.

Гаг соскочил на землю.

— Двигалась? Как двигалась?

— Это была самодвижущаяся дорога. Тогда было много таких дорог. Они опоясывали весь земной шар, и они текли — по краям медленнее, в центре очень быстро.

— У вас не было автомобилей? — спросил Гаг.

— Были. Я не могу вам сказать, почему люди увлеклись созданием таких дорог. Я имею только косвенную информацию. Это было

связано с очищением среды. Самодвижущиеся дороги очищали. Они убирали из атмосферы, из воздуха, из земли все лишнее, все вредное.

— А почему она сейчас не движется? — спросил Гаг.

— Не знаю. Все очень изменилось. Раньше на этой дороге были толпы людей. Теперь никого нет. Раньше в этом небе в несколько горизонтов шли, шли потоками летательные аппараты. Теперь в небе пусто. Раньше по обе стороны от дороги стояла пшеница в мой рост. Теперь это степь.

Гаг слушал, приоткрыв рот.

— Раньше через мои рецепторы, — продолжал Драмба монотонным голосом, — ежесекундно проходили сотни радиоимпульсов. Теперь я не ощущаю ничего, кроме атмосферных разрядов. Сначала мне показалось даже, что я заболел. Но теперь я знаю: я прежний. Изменился мир.

— Может быть, мир заболел? — спросил Гаг живо.

— Не понимаю, — сказал Драмба.

Гаг отвернулся и стал смотреть туда, где горизонт вспыхивал и шевелился. «Черта с два, — угрюмо подумал он. — Как же, заболеют они!»

— А там что? — спросил он.

— Там Антонов, — ответил Драмба. — Это город. Восемьдесят лет назад его не было видно отсюда. Это был сельскохозяйственный город.

— А сейчас?

— Не знаю. Я все время вызываю информаторий, но мне никто не отвечает.

Гаг смотрел на загадочное мерцание, и вдруг из-за горизонта возникло что-то невероятно огромное, похожее на косой парус невообразимых размеров, почти такое же серо-голубое, как небо, может быть — чуть темнее, медленно и величественно описало дугу, словно стрелка часов прошла по циферблату, и снова скрылось, растворилось в туманной дымке. Гаг перевел дух.

— Видел? — спросил он шепотом.

— Видел, — сказал Драмба удрученно. — Не знаю, что это такое. Раньше такого не было.

Гаг зябко передернул плечами.

— Толку от тебя... — проворчал он. — Ладно, пошли домой.

— Вы хотели посетить ракетодром, — напомнил Драмба.

— Господин! — резко сказал Гаг.

— Не понимаю...

— Когда обращаешься ко мне, изволь добавлять «господин»!

— Понял, господин.

Некоторое время они шли молча. Кузнечики сухими брызгами разлетались из-под ног. Гаг искоса поглядывал на бесшумного колосса, который плавно покачивался рядом с ним. Он вдруг заметил, что около Драмбы, совсем как давеча около дороги, держится своя атмосфера — свежести и прохлады. Да и сделан был Драмба из чего-то похожего: такой же плотно-упругий, и так же матово отсвечивали кисти его рук, торчащие из рукавов синего комбинезона. И еще Гаг заметил, что Драмба все время держится так, чтобы быть между ним и солнцем.

— Ну-ка расскажи еще раз про себя, — приказал Гаг.

Драмба повторил, что он — робот-андроид номер такой-то из экспериментальной серии экспедиционных роботов, сконструирован тогда-то (около ста лет назад — ничего себе старикашечка!), задействован тогда-то. Работал в таких-то экспедициях, на Яйле претерпел серьезную аварию, был частично разрушен; реконструирован и модернизирован тогда-то, но больше в экспедициях не участвовал...

— В прошлый раз ты говорил, что пять лет простоял в музее, — прервал его Гаг.

— Шесть лет, господин. В музее истории открытий в Любеке.

— Ладно, — проворчал Гаг. — А потом восемьдесят лет ты торчал в этой нише у Корнея...

— Семьдесят девять лет, господин.

— Ладно-ладно, нечего меня поправлять... — Гаг помолчал. — Скучно, наверное, было стоять?

— Не понимаю вопроса, господин.

— Экая дубина... Впрочем, это никого не интересует. Ты мне лучше вот что скажи. Чем ты отличаешься от людей?

— Я всем отличаюсь от людей, господин. Химией, принципом схемы управления и контроля, назначением.

— Ну и какое у тебя, у дубины, назначение?

— Выполнять все приказания, которые я способен выполнить.

— Хе!.. А у людей какое назначение?

— У людей нет назначения, господин.

— Долдон ты, парень! Деревня. Что бы ты понимал в настоящих людях?

— Не понимаю вопроса, господин.

— А я тебя ни о чем не спрашиваю пока.

Драмба промолчал.

Они шагали через степь, все больше уклоняясь от прямой дороги к дому, потому что Гагу стало вдруг интересно посмотреть, что за

сооружение торчит на небольшом холме справа. Солнце было уже высоко, над степью дрожал раскаленный воздух, душный острый запах травы и земли все усиливался.

— Значит, ты готов выполнить любое мое приказание? — спросил Гаг.

— Да, господин. Если это в моих силах.

— Ну, хорошо... А если я прикажу тебе одно, а... м-м-м... кто-нибудь еще — совсем противоположное? Тогда что?

— Не понял, кто отдает второе приказание.

— Ну... м-м-м... Да все равно кто.

— Это не все равно, господин.

— Ну, например, Корней...

— Я выполню приказ Корнея, господин.

Некоторое время Гаг молчал. Ах ты скотина, думал он. Дрянь этакая.

— А почему? — спросил он наконец.

— Корней старше, господин. Индекс социальной значимости у него гораздо выше.

— Что еще за индекс?

— На нем больше ответственности перед обществом.

— А ты откуда знаешь?

— Уровень информированности у него значительно выше.

— Ну и что же?

— Чем выше уровень информированности, тем больше ответственности.

«Ловко, — подумал Гаг. — Не придерешься. Все верно. Я здесь как дитя малое. Ну, мы еще посмотрим...»

— Да, Корней — великий человек, — сказал он. — Мне до него, конечно, далеко. Он все видит, все знает. Вот мы сейчас идем с тобой, болтаем, а он небось каждое наше слово слышит. Чуть что не так, он нам задаст...

Драмба молчал. Шут его знает, что происходило в его ушастой башке. Морды, можно сказать, нет, глаз нет — ничего не понять. И голос все время одинаковый...

— Правильно я говорю?

— Нет, господин.

— Как так — нет? По-твоему, Корней может что-нибудь не знать?

— Да, господин. Он задает вопросы.

— Сейчас, что ли?

— Нет, господин. Сейчас у меня нет с ним связи.

— Что же он, по-твоему, не слышит, что ты сейчас говоришь? Или что я тебе говорю? Да он, если хочешь знать, даже наши мысли слышит! Не то что разговоры...

— Понял вас, господин.

Гаг посмотрел на Драмбу с ненавистью.

— Что ты понял, раздолбай?

— Понял, что Корней располагает аппаратурой для восприятия мыслей.

— Кто тебе сказал?

— Вы, господин.

Гаг остановился и плюнул в сердцах. Драмба тоже сейчас же остановился. Эх, садануть бы ему промеж ушей, да ведь не достанешь. Это надо же, какая дубина! Или притворяется? Спокойнее, Кот, спокойнее! Хладнокровие и выдержка.

— А до меня ты этого не знал, что ли?

— Нет, господин. Я ничего не знал о существовании такой аппаратуры.

— Так ты что же, дикобраз, хочешь сказать — что такой великий человек, как Корней, не видит нас сейчас и не слышит?

— Прошу уточнить: аппаратура для восприятия мыслей существует?

— Откуда я знаю? Да и не нужно аппаратуры! Ты ведь умеешь передавать изображение, звук...

— Да, господин.

— Передаешь?

— Нет, господин.

— Почему?

— Не имею приказа, господин.

— Хе... Приказ не имеешь, — проворчал Гаг. — Ну, чего встал? Пошли!

Некоторое время они шли молча. Потом Гаг сказал:

— Слушай, ты! Кто такой Корней?

— Не понимаю вопроса, господин.

— Ну... какая у него должность? Чем он занимается?

— Не знаю, господин.

Гаг снова остановился.

— То есть как это не знаешь?

— Не имею информации.

— Он же твой хозяин! Ты не знаешь, кто твой хозяин?

— Знаю.

— Кто?

— Корней.

Гаг стиснул зубы.

— Странно как-то у тебя получается, Драмба, дружок, — сказал он вкрадчиво. — Корней — твой хозяин, ты у него восемьдесят лет в доме и ничего о нем не знаешь?

— Не так, господин. Мой первый хозяин — Ян, отец Корнея. Ян передал меня Корнею. Это было тридцать лет назад, когда Ян удалился, а Корней выстроил дом на месте лагеря Яна. С тех пор Корней мой хозяин, но я с ним никогда не работал и потому не знаю, чем он занимается.

— Угу... — произнес Гаг и двинулся дальше. — Значит, ты про него вообще ничего не знаешь?

— Это не так. Я знаю про него очень много.

— Рассказывай, — потребовал Гаг.

— Корней Янович. Рост — сто девяносто два сантиметра, вес по косвенным данным — около девяноста килограммов, возраст по косвенным данным — около шестидесяти лет, индекс социальной значимости по косвенным данным — около ноль девять...

— Подожди, — ошеломленно сказал Гаг. — Заткнись на минутку. Ты о деле говори, что ты мне бубнишь?

— Не понял приказа, господин, — немедленно откликнулся Драмба.

— Н-ну... например, женат или нет, какое образование... дети... Понял?

— Сведений о жене Корнея не имею. Об образовании — тоже. — Робот сделал паузу. — Имею информацию о сыне: Андрей, около двадцати пяти лет.

— О жене ничего не знаешь, а о сыне знаешь?

— Да, господин. Одиннадцать лет назад получил приказ перейти в распоряжение подростка, по косвенным сведениям, четырнадцати лет, которого Корней назвал «сын» и «Андрей». Находился в его распоряжении четыре часа.

— А потом?

— Не понял вопроса, господин.

— Потом ты его видел когда-нибудь?

— Нет, господин.

— Поня-атно, — задумчиво произнес Гаг. — Ну и чем вы с ним занимались эти четыре часа?

— Мы разговаривали. Андрей расспрашивал меня о Корнее.

Гаг споткнулся.

— Что ты ему сказал?

— Все что знал: рост, вес. Потом он меня прервал. Потребовал, чтобы я ему рассказал о работе Яна на других планетах.

Да-а. Такие, значит, дела... Ну, это нас не касается. Но какова дубина! Уж о доме его и спрашивать нечего, совершенно ясно, что ничего не знает. Все планы мои разрушил, бродяга... Зачем все-таки Корней мне его подсунул? Неужели я ошибаюсь? Вот дьявол, как же мне его проверить? Мне ведь шагу нельзя будет ступить, если я его не проверю!

— Напоминаю, — подал голос Драмба, — что вы намеревались отправиться домой.

— Ну, намеревался. А в чем дело?

— Мы все больше отклоняемся от оптимального курса, господин.

— Тебя не спросили, — сказал Гаг. — Я хочу посмотреть, что это там за штука на холме...

— Это обелиск, господин. Памятник над братской могилой.

— Кому? — с живостью спросил Гаг.

— Героям последней войны. Сто лет назад археологи обнаружили в этом холме братскую могилу.

Посмотрим, подумал Гаг и ускорил шаги. Дерзкая и даже страшная мысль пришла ему в голову. Рискованно, подумал он. Ох, сорвут мне башку! А за что? Откуда мне знать, что к чему? Я здесь человек новый, ничего этого не понимаю и не знаю... Да и не выйдет, наверное, ничего. Но уж если выйдет... Если выйдет — тогда верняк. Ладно, попробуем.

Холм был невысокий, метров двадцать — двадцать пять, и еще на столько же возвышалась над ним гранитная плита, отполированная до глади с одной стороны и грубо стесанная со всех остальных. На полированной поверхности вырезана была надпись — старинными буквами, которых Гаг не знал. Гаг обошел обелиск и вернулся в тень. Сел.

— Рядовой Драмба! — сказал он негромко.

Робот повернул к нему ушастую голову.

— Когда я говорю «рядовой Драмба», — по-прежнему негромко произнес Гаг, — надо отвечать: «Слушаю, господин капрал».

— Понял, господин.

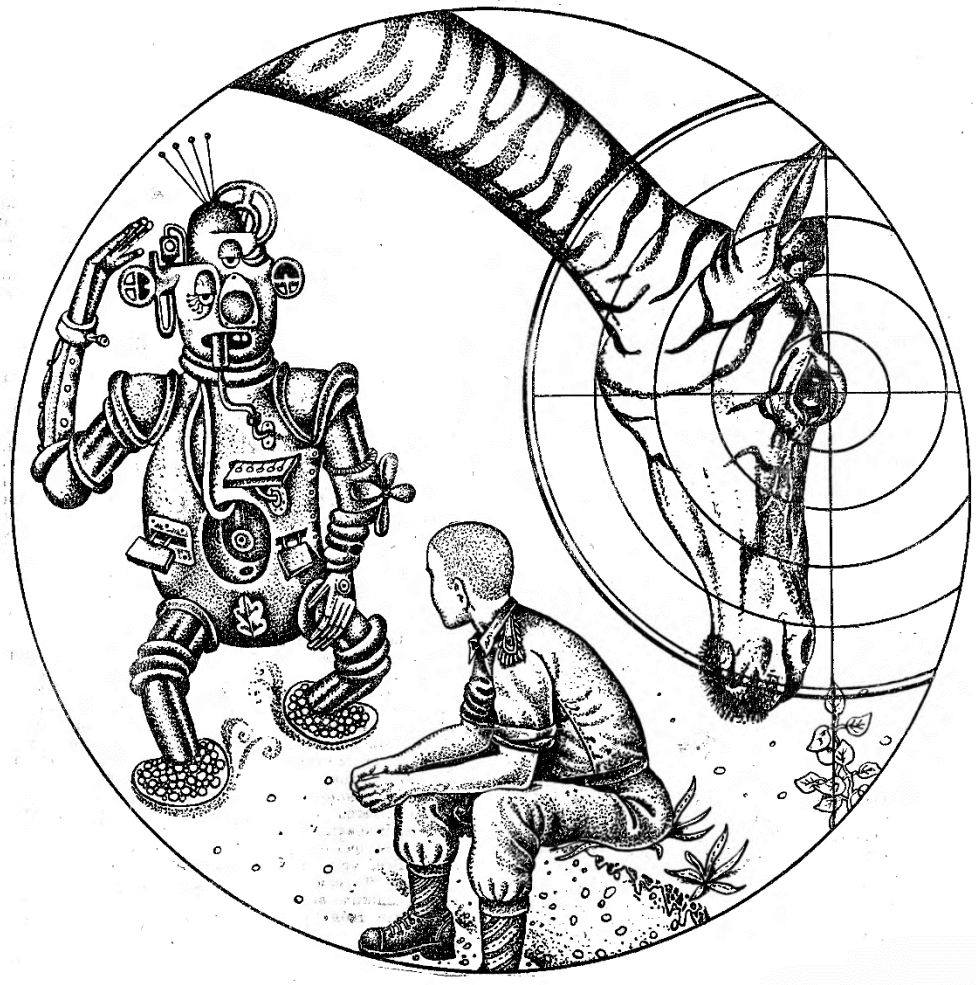
— Не господин, а господин капрал! — заорал Гаг и вскочил на ноги. — Господин капрал, понял? Корыто деревенское!

— Понял, господин капрал.

— Не понял, а так точно!

— Так точно, господин капрал.

Гаг подошел к нему вплотную, подбоченился и снизу вверх уставился в непроницаемую матовую решетку.



— Я из тебя сделаю солдата, дружок, — произнес он ласково-зловещим голосом. — Как стоишь, бродяга? Смирно!

— Не понял, господин капрал, — монотонно прогудел Драмба.

— По команде «смирно» надлежит сомкнуть пятки и развернуть носки, выпятив грудь как можно дальше вперед, прижав ладони к бедрам и оттопырив локти... Вот так. Неплохо... Рядовой Драмба, вольно! По команде «вольно» надлежит отставить ногу и заложить руки за спину. Так уши твои мне не нравятся. Уши можешь опустить?

— Не понял, господин капрал.

— Вот эти штуки свои, которые торчат, можешь опустить по команде «вольно»?

— Так точно, господин капрал. Могу. Но буду хуже видеть.

— Ничего, потерпишь... А ну-ка, попробуем... Рядовой Драмба, смирно! Вольно! Смирно! Вольно!..

Гаг вернулся в тень обелиска и сел. Да, таких бы солдат хотя бы взвод. На лету схватывает. Он представил себе взвод таких вот Драмб на позиции у той деревушки. Облизнул сухие губы. Да, такого дьявола, наверное, ракетой не прошибешь. Я только вот чего все-таки не понимаю: Думает этот долдон или нет?

— Рядовой Драмба! — гаркнул он.

— Слушаю, господин капрал.

— О чем думаешь, рядовой Драмба?

— Ожидаю приказаний, господин капрал.

— Молодец! Вольно!

Гаг вытер пальцем капельки пота, выступившие на верхней губе, и сказал:

— Отныне ты есть солдат его высочества герцога Алайского. Я — твой командир. Все мои приказания для тебя закон. Никаких рассуждений, никаких вопросов, никакой болтовни! Ты обязан с восторгом думать о той минуте, когда наступит счастливый миг сложить голову во славу его высочества...

Болван, наверное, половины не понимает, ну да ладно. Важно вбить ему в башку основы. Дурь из него вышибить. А понимает он там или не понимает — дело десятое.

— Все, чему тебя учили раньше, забудь. Я твой учитель! Я твой отец и твоя мать. Только мои приказы должны выполняться, только мои слова будут для тебя приказом. Все, о чем я говорю с тобой, все, что я тебе приказываю, есть военная тайна. Что такое тайна — знаешь?

— Нет, господин капрал.

— Гм... Тайна — это то, о чем должны знать только я и ты. И его высочество, разумеется.

Крутовато я взял, подумал он. Рано. Деревня ведь. Ну ладно, там видно будет. Надо его сейчас погонять. Пусть с него семь потов сойдет, с бродяги.

— Смир-рна! — скомандовал он. — Рядовой Драмба, тридцать кругов вокруг холма — бегом марш!

И рядовой Драмба побежал. Бежал он легко и как-то странно, не по уставу и вообще не по-людски — не бежал даже, а летел огромными скачками, надолго зависая в воздухе, и при этом по-прежнему держал ладони прижатыми к бедрам. Гаг, приоткрыв рот, следил за ним. Ну и ну! Это было похоже на сон. Совершенно бесшумный полубег-полуполет, ни топота, ни хриплого дыхания, и не оступится ведь ни разу,

а там же кочки, камни, норы... и ведь поставь ему на голову котелок с водой — не расплескает ни капли! Какой солдат! Нет, ребята, какой солдат!

— Быстрее! — гаркнул он. — Шевелись, тараканья немочь!

Драмба сменил аллюр. Гаг замигал: у Драмбы исчезли ноги. Вместо ног под совершенно вертикальным туловищем видно было теперь только туманное мерцание, как у пропеллера на больших оборотах. Земля не выдерживала, за гигантом потянулась, темнея и углубляясь на глазах, взрытая борозда, и появился звук — шелестящий свист рассекаемого воздуха и дробный шорох оседающей земли. Гаг еле успевал поворачивать голову. И вдруг все кончилось. Драмба снова стоял перед ним по стойке «смирно» — неподвижный, огромный, дышащий прохладой. Будто и не бежал вовсе.

Да-а, подумал Гаг. С такого, пожалуй, сгонишь пот... Но в разум-то я его привел или нет? Ладно, рискнем. Он посмотрел на обелиск. Гадко это, вот что. Солдаты ведь лежат... Герои. За что они там дрались, с кем дрались — этого я толком не понял, но как они дрались — я видел. Дай бог нам всем так драться в наш последний час. Ох, не зря Корней показал мне эти фильмы. Ох, не зря... В душе у Гага шевельнулся суеверный ужас. Неужели этот лукавый Корней еще тогда предвидел такую вот минуту? Да нет, ерунда, ничего он не мог предвидеть, не господь же он бог все-таки... Просто хотел тоненько мне намекнуть, с чьими потомками я имею дело... А они здесь лежат. Сколько веков уже они здесь лежат, и никто их не тревожил. Будь они живы — не допустили бы, шуганули бы меня отсюда... Ну, ладно, а если бы это были крысоеды? Нет, пожалуй, все равно гадко... И потом, что за ерунда — крысоеды — трусы, вонючки. А это же солдаты были, я же своими глазами видел! Тьфу, пропасть, даже тошнит... А если бы здесь Гепард стоял рядом? Доложил бы я ему свое решение — что бы он мне сказал? Не знаю. Знаю только, что его бы тоже замутило. Тут бы всякого замутило, если он, конечно, человек.

Он посмотрел на Драмбу. Драмба стоял по стойке «смирно», равнодушно поводя глазами-ушами. А что мне остается-то? Мыслишка-то правильная! Гаденькая — не спорю. Скользкая. Другому и в другое время я бы за такую мыслишку сам по рылу бы дал. А мне деваться некуда. Мне такой случай, может, никогда больше не представится. Сразу все проверю. И этого дурака проверю, и насчет наблюдения... Тут в том-то все и дело, что гадко. Тут бы никто не удержался, сразу бы за руку меня схватил, если бы мог. Ладно, хватит слюни распускать. Я это не для собственного удовольствия затеваю. Я не паразит

какой-нибудь. Я — солдат и делаю свое солдатское дело, как умею. Простите меня, братья-храбрецы. Если можете.

— Рядовой Драмба! — произнес он дребезжащим голосом.

— Слушаю, господин капрал.

— Приказ! Повалить этот камень! Выполняй!

Он отскочил в сторону, не чуя под собой ног. Если бы здесь был окоп, он прыгнул бы в окоп.

— Живо! — завизжал он, срывая голос.

Когда он разжмурился, Драмба уже стоял, наклонившись, перед обелиском. Огромные руки-лопаты скользнули по граниту и погрузились в пересохшую землю. Гигантские плечи зашевелились. Это длилось секунду. Робот замер, и Гаг вдруг с ужасом увидел, что его могучие ноги как бы оплывают, укорачиваются на глазах, превращаясь в короткие, толстые, расплющенные внизу тумбы. А потом холм дрогнул. Послышался пронзительный скрип, и обелиск едва заметно накренился. И тогда Гаг не выдержал.

— Стой! — заорал он. — Отставить!

Он кричал еще что-то, уже не слыша самого себя, ругаясь по-русски и по-алайски, никакой нужды не было в этом крике, и он уже понимал это и все-таки кричал, а Драмба стоял перед ним по стойке «смирно», монотонно повторяя: «Слушаю, господин капрал, слушаю, господин капрал...»

Потом он опомнился. Саднило в глотке, все тело болело. Спотыкаясь, он обошел обелиск кругом, трогая гранит дрожащими пальцами. Все было, как прежде, только у основания, под непонятной надписью, зияли две глубокие дыры, и он принялся судорожно забивать в них землю каблуками.

5

Всю ночь я не мог заснуть. Крутился, вертелся, курил, в сад высовывался для прохлаждения. Нервы, видимо, разгулялись после всего. Драмба торчал в углу и светился в темноте. В конце концов я его выгнал — просто так, чтобы злость сорвать. В голову лезла всякая чушь, картинки всякие, не относящиеся к делу. А тут еще эта койка подлая — я ее засек, что она норовит все время превратиться в этакое мягкое ложе, на каких здесь все, наверное, спят, да еще, подлюга, посягает меня укачивать. Как младенца.

Вообще-то не в том беда, что я заснуть не мог, — я по трое суток могу не спать, и ничего со мной не делается. А главное, что я думать не мог по-человечески. Ничего не соображал. Добился я вчера своего

или не добился? Могу я Драмбе теперь доверять или нет? Не знаю. Следит за мной Корней или нет? Опять же не знаю. Вчера после ужина заглянул я к нему в кабинет. Сидит он перед своими экранами, на каждом экране — по рылу, а то и по два, и он со всеми этими рылами разговаривает. Меня как ножом ткнули. Представил я себе, как бешусь там на холме, истерику закатываю, а он сидит себе здесь в прохладе, смотрит на все это через экран и хихикает. Да еще, может быть, Драмбе радирует: валяй, мол, разрешаю... Нет, про себя я точно знаю, что я бы так не мог. Чтобы на моих глазах оскверняли святыню моего народа, а я бы при этом хихикал и на экранчик смотрел — нет, у меня бы так не получилось. Я вам не крысоед.

А если у него такое задание, сказано ему: любой, мол ценой... Не знаю, не знаю. Давеча, когда я вернулся, он меня сначала встретил, как всегда, потом присмотрелся, насторожился и принялся расспрашивать, что да как. Отец родной, да и только. Я ему опять соврал, что башка болит. От степных запахов. Но он, по-моему, мне не поверил. Виду не подал, конечно, но не поверил. А я весь вечер за ним следил: будет он Драмбу допрашивать или нет. Нет, не допрашивал. Даже не поглядел на него... Ох, ребята, бедная моя голова! Хоть ложись на спинку, и пусть несет, куда несет.

Так промаялся я до самого рассвета. Ложился, вскакивал, кружил по комнате, опять ложился, в окно высовывался, башку в сад свешивал, и в конце концов меня, видно, сморило — задремал я, положив ухо на подоконник. Проснулся весь в поту и сразу услышал это самое хриплое мяуканье — мрррряу-мрррряу-мрррряу, — словно самого дьявола ангелы небесные душат голыми руками в преисподней, и мне в лицо из сада фукнуло горячим, как бы шипучим, ветром. Я еще глаз как следует не разлепил, а уже сижу на полу, рукою шарю автомат и высматриваю поверх подоконника, как из-за бруствера. И в этот раз я все увидел, как это у них делается, с самого начала до самого конца.

Над моей круглой поляной, правей бассейна, загорелась в сумерках яркая точка, и потек от нее вниз и в стороны словно бы жидкий лиловый свет, еще прозрачный, еще кусты сквозь него видно, а он все течет, течет, и вот уже заполнил здоровенный такой конус вроде химической банки в четыре метра высотой, заполнил и тут же стал отвердевать, остывать, меркнуть, и вот уже стоит на поляне ихний звездолет класса «призрак», каким я его увидел в первый раз. И тишина. Первобытная. Даже птицы замолчали. Над поляной — рассветное серо-голубое небо, вокруг поляны — черные кусты и деревья, а посередине поляны — это серебристое чудище, и никак я не могу понять, то ли оно живое, то ли оно вещь.

Потом что-то слабо треснуло, раскрылась в нем черная пасть, звякнуло, зашипело, и выбрался оттуда человек. То есть это я сначала подумал, что человек: руки у него были, ноги. Голова. Весь он был какой-то черноватый, что ли... либо закоптило его, либо обгорел... и весь он был обвешан оружием. Я такого оружия, ребята, никогда не видывал, но с первого взгляда мне ясно стало, что это именно оружие. Оно свисало у него с обоих плеч и с пояса и лязгало и брякало на каждом шагу. По сторонам он не глядел, а двинулся прямо к крыльцу, как в собственный дом, и шагал как-то странно, но я не сразу понял в чем тут дело, потому что глаз не мог оторвать от его лица. Оно у него тоже было черноватое, обгорелое, блестело и отсвечивало, и вдруг он поднял обе руки и принялся его с себя сдирать, как маску — да это, видно, и была маска, потому что он в две секунды с нею управился и с размаху шмякнул ее оземь. И тут меня прошибло потом в другой раз, потому что под этим черноватым, обгорелым, липким и лакированным у него оказалось второе лицо, уже не человеческое — белое, как камень, безносое, безгубое, а глаза — как плошки и светятся. Я на это лицо только взглянул и сразу понял: не могу. Стал глядеть ему на ноги — еще хуже. У него ведь почему такая странная походка была? Он по этой густой траве, по твердой земле шел, как мы с вами шли бы по зыбучему песку или, скажем, по трясине — на каждом шагу проваливался по щиколотку, а то и глубже. Не держала его земля, подавалась...

У крыльца он приостановился на секунду и разом стряхнул с себя всю свою амуницию. Залязгала она, загрохотала, а он шагнул в дверь — и снова тишина. И пусто. Как в бреду. И звездолета уже нет, словно и не было никогда. Только черные дыры от поляны до дома да груда невиданного оружия у крыльца. Все.

Очень мне захотелось протереть глаза, ущипнуть себя за ляжку и все такое, но я этого делать не стал. Я ведь Бойцовый Кот, ребята. Я весь этот бред отмел. Не впервой. Я только главное оставил: оружие! Впервые я здесь увидел оружие. Я даже одеваться не стал — как был, в одних трусах, махнул через подоконник со второго этажа.

Роса была обильная, ноги мои моментально стали мокрые выше колен, и продрал меня озноб — то ли от этой сырости, то ли, опять же, от нервов. Около крыльца я присел на корточки и прислушался. Тихо, по-нормальному тихо, по-утреннему. Птички завозились, сверчок какой-то заскрипел. Мне до этого дела не было, я ждал голоса услышать. Нет, не слышно голосов. В этом доме ведь всегда так: не должно быть голосов — галдят, бормочут, переругиваются, причем кто — неизвестно, потому что Корнея в доме нет, шляется где-то, беса тешит.

А вот когда, как сейчас, должны люди — или даже пусть не совсем люди, — но должны же они здороваться, друг друга по спинам хлопать, восклицать что-нибудь приветственное! Нет, тут у них будет тишина. Могила. Ладно.

И вот сижу я на корточках и смотрю на эти штуки, которые передо мной лежат, даже на вид тяжеленные, гладкие, масленые, надежные. Никогда я таких не видел ни на картинках, ни в кино. Большой, видно, убойной силы аппараты, да вот беда, непонятно, с какой стороны к ним подступиться, за какое место их брать и на что нажимать. И даже прикасаться к ним как-то боязно: того и гляди — ахнет, костей не соберешь.

В общем, я растерялся, и это было плохо, потому что на самом-то деле мне следовало бы сразу хватать что-нибудь и рвать когти. Ну, Гаг, давай! Давай быстро! Вот эту коротышку: ствол есть, вместо дула, правда, стекляшка какая-то, зато и рукоятка вроде бы есть, два плоских магазина по сторонам ствола торчат... Все. Нет у меня больше времени. Потом разберусь. Протянул я руку и осторожно взялся за рукоятку. И тут произошла со мной странная вещь.

Взялся я, значит, за рукоятку. Рубчатая такая, теплая. Пальцы сомкнул. Тяну на себя. Осторожно, чтобы не брякнуло. Тяжесть даже почувствовал. А в кулаке — ничего. Сижу, как пьяный, гляжу на пустой кулак, а машинка эта как лежала на ступеньке, так и лежит. Я сгоряча ее хвать поперек — и опять под пальцами металл, твердое, тяжелое. Рванул на себя — опять ничего.

И захотелось мне тут заорать во весь голос. Еле сдержался. Посмотрел на ладонь — ладонь в масле. Вытер ее о траву, поднялся. Разочарование, конечно, страшное. Все у них учтено, все рассчитано и предусмотрено, у гадов. Перешагнул я через эту груду бесполезного для меня железа и пошел в дом. Вижу: в холле, в углу, торчит Драмба. Зашевелил своими ушами, уставился, а мне на него и смотреть было противно. И уже хотел я подняться к себе, как вдруг подумал: а что, если... В конце концов, не все ли равно, у кого в руках будет машинка, у меня или у этого долдона?

— Рядовой Драмба, — сказал я негромко.

— Слушаю, господин капрал, — отозвался он как положено.

— А ну-ка, иди за мной.

Вышли мы обратно на крыльцо. Оружие лежит, никуда не делось.

— Подай мне вот эту, крайнюю, — говорю. — Только осторожно.

— Не понял, господин капрал, — гудит эта дубина.

— Чего ты не понял?

— Не понял, что именно приказано подать.

Провались ты! Мне-то откуда знать, как это называется?

— Как называются эти предметы? — спрашиваю.

Драмба заработал ушами и рапортует:

— Трава, господин капрал. Ступени...

— А на ступеньках? — спрашиваю я и чувствую, что меня мороз по коже начинает продирать.

— На ступенях пыль, господин капрал.

— А еще?

Впервые Драмба промедлил с ответом. Долго молчал. У него, видно, тоже шестеренка за шестеренку зашла, как и у меня.

— Еще на ступеньках имеются: господин капрал, рядовой Драмба, четыре муравья... — Он снова помедлил. — А также всевозможные микроорганизмы.

Он их не видел! Понимаете? Не видел! Микроорганизмы он видел, а железяки эти метровой длины видеть ему было не положено. Ему их видеть не положено, а мне — брать. Все, все предусмотрели! И тут я с досады, не сообразив, махнул босой ногой по самой здоровенной железяке, что на крыльце валялась. Взвыл я, палец отшиб начисто, ноготь сломал. А железяка как лежала, так и осталась лежать. Все. Это уже было последней каплей. Захромал я к себе, зубами скриплю, чуть не плачу, кулаки стиснул. Пришел, повалился на койку, и взяло меня отчаяние, какого не испытывал я аж с того дня, когда пришел на побывку домой и увидел, что не то, что дома моего — всего квартала нет, одни горелые кирпичи громоздятся, и душит гарью. Почудилось мне в эти черные минуты, что никуда я не годен, ничего я не могу здесь сделать, в этом сытом и лукавом мире, где каждый мой шаг рассчитан и предусмотрен на сто лет вперед. И вполне может быть, что каждое мое действие, какое я еще только собираюсь совершить, они уже знают, как пресечь и обратить себе на пользу.

И чтобы разогнать мрак, я стал вспоминать самое светлое, самое счастливое, что было в моей жизни, и вспомнил тот морозный ясный день, столбы дыма, которые поднимались в зеленое небо, и треск пламени, пожирающего развалины, серый от сажи снег на площади, окоченевшие трупы, изуродованный ракетомет в огромной воронке... А герцог идет вдоль нашей шеренги, мы еще не успели остыть, глаза еще заливает пот, ствол автомата обжигает пальцы, а он идет, тяжело опираясь на руку адъютанта, и снег скрипит под его мягкими красными сапожками, и каждому из нас он внимательно заглядывает в глаза и говорит негромко слова благодарности и одобрения. А потом он остановился. Прямо передо мной. И Гепард, которого я не видел, — я никого не видел, кроме герцога, — назвал мое имя, и герцог

положил мне руку на плечо и некоторое время смотрел мне в глаза, и лицо у него было желтое от усталости, иссеченное глубокими морщинами, а вовсе не гладкое, как на портретах, веки красные и воспаленные, и мерно двигалась тяжелая, плохо выбритая челюсть. И все еще держа свою правую руку у меня на плече, он поднял левую и щелкнул пальцами, и адъютант поспешно положил в эти пальцы черный кубик, а я все еще не верил своему счастью, не мог поверить, но герцог произнес низким хриплым голосом: «Открой пасть, Котенок...» — и я зажмурился и открыл рот изо всех сил, почувствовал на языке шершавое и сухое и стал жевать. Волосы встали дыбом у меня под каской, из глаз покатились слезы. Это был личный его высочества жевательный табак пополам с известью и сушеной горчицей, а герцог хлопал меня по плечу и говорил растроганно: «О эти сопляки! Мои верные, непобедимые сопляки!..»

И тут я поймал вдруг себя на том, что улыбаюсь во всю морду. Не-ет, господа, еще не все кончено. Верные, непобедимые сопляки не подведут. Не подводили там, не подведут и здесь. Повернулся я на бок и заснул, чем и кончилось это мое приключение.

Это кончилось, зато другие начались, потому что тихий наш домик вдруг зашевелился. Раньше было как? Позавтракаем мы с Корнеем, потреплемся минут двадцать о том, о сем, и все, до самого обеда я один. Хочешь — спи, хочешь — книжки читай, хочешь — голоса слушай. А тут — не знаю, то ли кто-то этот ихний гадючник разворошил, то ли у них передышка какая-то кончилась, но только стало в нашем домике тесно.

А началось все с того, что отправился я в тот коридор посмотреть, как там моя переписка. Честно говоря, ничего нового я увидеть не ожидал, однако смотрю — хо! — отозвался мой математик. Прямо под моим вопросом теми же аккуратными маленькими буковками было выведено: «Твои друзья в аду». Вот тебе и на! Что же это получается? «Кто ты, друг?» — «Твои друзья в аду». Значит, их тут несколько... Почему же не пишут, кто они? Боятся? И почему в аду? Нормальному человеку тут, конечно, несладко приходится, но в аду... Я посмотрел на эту крашенную дверь. Может быть, там тюрьма? Или что-нибудь похуже? Что же вы, ребята, толком ничего не сумели написать? Не-ет, этот коридорчик надо взять под наблюдение. Но это потом, а что мне сейчас написать? Чтобы они сразу все про меня поняли... Ч-черт, математики этой я не знаю. Может быть, у них в этой формуле все зашифровано. Напишу-ка я им, кто я есть, чтобы они знали, с кем имеют дело и на что я годен. Напишу я им... Я достал припасенный огрызок карандаша и нацарапал печатными буквами: «Бойцовый Кот

нигде не пропадет». Очень мне понравилось, как я это придумал. Любому ясно, что я — Кот, что я бодр и готов к действию. Парашютистов этих я в гробу видал, ничего они мне здесь не сделают. А если это ловушка и затеял эту переписку Корней — что ж, пожалуйста, ничего такого я не написал.

Ладно. За коридорчиком этим мы понаблюдаем. А сейчас пришла пора посмотреть, что же у них за этой дверью. Недолго думая, взялся я за ручку и потянул ее на себя. Открылась. Я думал — там комната какая-нибудь будет, или коридор, или лестница... ну что у людей за дверями бывает? Так вот там ничего такого не было. Камера там была. Три на три. Стены черные, матовые. В стене напротив торчит круглая красная кнопка. И все. Ничего больше в этой камере не было. Я когда эту камеру увидел, мне сразу расхотелось в нее заходить. Да ну их, думаю, к шутам, чего я в этом склепе не видел? Кнопок красных я не видел, что ли?

Стою я в нерешительности и вдруг слышу сзади — голоса. Близко. Можно сказать, рядом. Ну, думаю, кажется, влип. Захлопнул дверь, зубы стиснул, оборачиваюсь. Переднему по горлу и — в сад, думаю, а там ищи меня, свищи...

Но оказалось, что это не парашютисты. Выворачивает в коридор из-за угла какой-то человек с тележкой, с этакой платформой на колесиках. Я засунул руки в карманы и этакой ленивой походочкой двинулся навстречу. Коридор широкий, разминемся спокойно. А он уже близко со своей тележкой. Глянул я на него — змеиное молоко! — черный! Мне сперва даже показалось, что у него вообще головы нет, потом, конечно, присмотрелся и вижу: есть голова. Но черная. То есть вся черная! Не только волосы, но и щеки, уши, лоб, а губы красные, толстые, белки глаз так и сверкают, и зубы тоже. Это с какой же планеты его занесло сюда такого? Я прижался к стене, уступая дорогу изо всех сил — проходи, мол, не задерживайся, только не трогай... Не тут-то было. Конечно же, он вместе со своей тележкой останавливается около меня, ослепляет меня своими белками и зубами, и хриплым нутряным голосом произносит:

— По-моему, это типичный алаец...

Я сглотнул, киваю.

— Так точно, — говорю. — Алаец я.

И он начинает говорить со мной по-алайски, но уже не хриплым басом, а приятным таким, нормальным голосом — тенором или, я не знаю там, баритоном.

— Ты, — говорит, — наверное, Гаг. Бойцовый Кот.

— Так точно, — говорю.

— Ты, — спрашивает, — из Центра сейчас?

Ну что я ему отвечу?

— Н-никак нет, — говорю. — Я сам по себе...

Я уже разглядел его и вижу, что человек как человек. Ну, черный... Ну и что? У нас на островах голубые живут, и никто им в нос не тычет. Одет нормально, как все здесь одеваются — рубашка навыпуск, короткие штаны. Только черный. Весь.

— Ты, может быть, Корнея ищешь? — спрашивает он.

Участливо так спрашивает. Совсем как Корней.

— Вид у тебя какой-то взъерошенный, — спрашивает он.

— Да нет, — отвечаю я с досадой. — Это я вспотел просто. Жарко тут у вас...

— А-а... Так ты бы мундир свой снял, что ты в нем преешь... А Корнея ты пока лучше не ищи, Корней сейчас занят до предела...

Чисто так говорит по-алайски, грамотно, и выговор у него такой столичный, с придыханием. Стильно говорит. Ну, объясняет он мне что-то про Корнея, где сейчас Корней и чем он занимается, а я все поглядываю на его тележку и, честно вам скажу, ребята, ничего уже не слышу, что он там мне говорит.

Значит, так. Ну, тележка — она тележка и есть, не в тележке дело. А вот на этой тележке лежит у него громадный, вроде бы кожаный мешок. Кожаный и снаружи как бы маслом облитый, коричневый такой, вроде как куртка бронеходчика. Сверху он, значит, гладкий, без единой морщинки, а внизу весь какой-то смятый, весь в бороздах и складках. И вот там, в этих самых бороздах и складках, я еще в самом начале заприметил какое-то движение. Сначала думал — показалось. Потом... В общем, там был глаз. Оторвите мне руки-ноги — глаз! Какая-то складка там раздвинулась тихонько, и глянул на меня большой круглый темный глаз. Печальный такой и внимательный. Нет, ребята, зря я в этот коридор сегодня пошел. Оно, конечно, Бойцовый Кот есть боевая единица сама в себе и так далее, но все-таки о таких встречах в уставе ничего не говорится...

Стою я, держусь за стенку и знай себе долблю: «Так точно... Так точно...» А сам думаю: увези ты это от меня, в самом деле, ну чего ты здесь встал? И понял мой черный, понял, что мне надобно передохнуть. Говорит хриплым басом:

— Привыкай, алаец, привыкай... Пойдемте, Джонатан.

А потом по-алайски нормальным голосом:

— Ну, будь здоров, брат-храбрец... Эк тебя скрутило. Да не трусь ты, не трусь, Бойцовый Кот! Это ведь не джунгли...

— Так точно, — сказал я в сто сорок восьмой раз.

Блеснул он своими белками и зубами на прощанье и двинулся с тележкой дальше по коридору. Поглядел я ему вслед — змеиное молоко! — Тележка-то катится сама по себе, а он рядом с ней вышагивает сам по себе, совсем отдельно, и уже раздаются опять голоса: один, значит, хриплый бас, а другой нормальный, но говорят они уже оба на каком-то неизвестном языке. И на лопатках у этого черного надпись полукругом: ГИГАНДА. Хороша встреча, а? Еще одна такая встреча, и я в собственные сапоги прятаться начну. «Привыкай, алаец, привыкай». Не знаю, может быть, я когда-нибудь и привыкну, но в ближайшие полста лет вы меня в этот коридор пряником не заманите... Досмотрел я, как они в этот склеп втиснулись, захлопнули за собой дверь, да и пошел от этого поганого места. Держась за стену.

С этого самого дня стало у нас в домике тесновато. Валят валом. Через нуль-кабину прибывают по двое, по трое. По ночам и особенно под утро от «призраков» в саду сплошной мяв стоит. Некоторые вываливаются прямо из чистого неба — один в бассейн угодил, когда я утром купался, тоже устроил мне переживание. И все они к Корнею, и все они галдят на разных языках, и у всех у них дела, и у всех срочные. В холл выйдешь — галдят. В столовую придешь пищу принять — сидят по двое, по трое, кушают и опять же галдят, причем одни поели — другие откуда-то приходят... Я на это просто смотреть не мог: сколько они хозяйского добра даром переводят, хоть бы с собой приносили, что ли... Неужели не понимают, что на всех не напасешься? Совести у людей нет, вот что я вам скажу. Правда, надо им все-таки отдать справедливость. Все-таки мешков среди них с глазами я больше не заметил. Были среди них, конечно, довольно жуткие экземпляры, но, чтобы совсем уж мешок — нет, таких больше не было. И на том спасибо. Я день терпел, два терпел, а потом от этого нашествия, честно скажу, ребята, просто сбежал. Возьмешь с утра Драмбу — и на пруды километров за пятнадцать от этого постоялого двора. Я там пруды нашел, роскошное место, камыши, прохлада, уток видимо-невидимо...

Конечно, может быть, я поступил неправильно, смалодушничал. Наверное, я должен был там среди них ториться, подслушивать там, подсматривать, мотать на ус. Но ведь, ребята, я же старался. Сядешь где-нибудь в уголке в гостиной, рот раскроешь, уши развесишь — ни черта не понять. Галдят на непонятных языках, чертят какие-то кривые, мотают друг у друга перед носом какие-то рулоны голубой бумаги со значками, один раз даже карту империи вывесили, битый час по ней пальцами ползали... уж, казалось бы, чего проще

— карта, а так я и не понял, чего они друг от друга добивались, чего не поделили... Одно я, ребята, понял: что-то у нас там происходит или вот-вот должно произойти. Потому весь этот гадючник и зашевелился.

Короче говоря, решил я предоставить инициативу противнику. Разобраться в обстановке я не умею, помешать им никак не могу, и остается мне рассуждать примерно так: раз они меня здесь держат — значит, я им зачем-то нужен, а раз я им нужен, то, что бы они там не затевали, а рано или поздно ко мне обратятся. Вот тогда мы и посмотрим, как действовать. А пока будем на пруды ходить, Драмбу муштровать и ждать — может, что-нибудь подвернется.

И между прочим, подвернулось.

Как-то раз иду я на завтрак. Смотрю — за столом Корней. И притом один. Я последние дни Корнея редко видел, да и то вокруг него всегда народ толокся. А тут сидит один, молоко пьет. Ну, поприветствовал я его, сажусь напротив. И странно мне как-то стало — соскучился я по нему, что ли? Тут все дело, наверное, было в его лице. Хорошее у него все-таки лицо. Есть в нем что-то очень мужественное и в то же время, наоборот, детское, что ли? В общем, лицо человека безо всяких тайных умыслов. Такому и не хочется верить, а веришь. Разговариваем мы с ним, а я все время себе напоминаю: Осторожно, Кот, другом он тебе быть никак не может, не с чего ему быть другом, а раз он не друг — значит, враг... И тут он вдруг говорит ни с того ни с сего:

— А почему ты, Гаг, мне вопросов не задаешь никогда?

Вот тебе и на — вопросов я ему не задаю. А где мне ему вопросы задавать, когда я его целыми днями не вижу? И что-то мне так горько стало, и ужасно захотелось сказать ему прямо: «А чтобы вранья поменьше слушать, друг лукавый». Но я, конечно, этого не сказал. Пробормотал только:

— Почему же не задаю? Задаю...

— Понимаешь, — говорит он, и тон у него такой, будто он передо мной извиняется, — я ведь не могу тебе длинные лекции читать. Во-первых, у меня времени на это нет, сам видишь. И хотел бы с тобой побольше времени проводить, да не могу. А во-вторых, лекции — это, по-моему, скучища. Какой интерес выслушивать ответы на вопросы, которых ты не задавал? Или ты, может, иначе считаешь?

Я растерялся, замычал что-то самому мне непонятное, и тут вваливаются в столовую двое, а за ними еще и третий. Сияют все трое, как начищенные медные чайники. И будто все втроем несут крошечную круглую коробочку и с этой коробочкой — прямиком к Корнею.

— Она? — говорит Корней, поднимаясь им навстречу.

— Она, — отвечают они чуть ли не хором и тут же замолкают.

Я давно заметил, что при Корнее они не галдят. При Корнее они держатся как положено. Корней, надо думать, шутить не любит.

Да. Уплетаю я какую-то вроде бы рыбу, запиваю горячим пойлом, а Корней эту коробочку берет двумя пальцами, открывает ее осторожно и вытягивает из нее узкую красную ленту. Эти трое дышать перестали. В столовой тишина, и слышно только, как галдят в гостиной. Корней эту красную ленточку рассмотрел внимательно — просто так и на свет, — а потом сказал негромко:

— Молодцы. Размножьте и раздайте.

И пошел из столовой. Только у самой двери спохватился, повернулся ко мне и сказал:

— Извини, Гаг. Ничего не могу поделать.

Я только плечом дернул — мне-то что... пожалуйста! Ну, из этих троих двое покатили за Корнеем, а третий остался и стал аккуратно укладывать эту красную ленточку обратно в коробочку. Я сижу злой, не люблю пищу принимать при посторонних. Но он на меня вроде бы и внимания не обращает. Он идет через всю столовую в угол, где у Корнея стоит какой-то шкаф не шкаф, сундук не сундук... ящик в общем, поставленный на попа. Я этот ящик сто раз видел и никогда на него внимания не обращал. А он подходит к этому ящику и сдвигает кверху какую-то шторку, и в стенке ящика образуется ярко освещенная ниша. В эту нишу он кладет свою коробочку и шторку опускает. Раздается короткое гудение, на ящике вспыхивает желтый глаз. Этот тип снова поднимает шторку... и тут, ребята, я есть перестал. Потому что смотрю — а в нише уже две коробочки. Этот тип опять опускает шторку — опять загудело, опять загорелся желтый глаз, поднимает он шторку — четыре коробочки. И пошел, и пошел... Я сижу и только глазами хлопаю, а он — шторку вверх, шторку вниз, гудок, желтый глаз, шторку вверх, шторку вниз... И через минуту у него этих коробочек набралась полная ниша. Выгреб он их оттуда, распихал по карманам, подмигнул мне и выскочил вон.

Ничего я опять не понял. Да здесь никакой нормальный человек бы не понял. Но одно я понял: это надо же, какая машина! Я встал — и к ящику. Осмотрел его со всех сторон, даже попробовал сзади заглянуть, но голова не пролезла, только ухо прищемил. Ладно. А шторка поднята, и ниша эта так светом и сияет мне в глаза. Змеиное молоко! Я огляделся и хвать со стола мятую салфетку... Скатал ее в шарик между ладонями и бросил в нишу — издали бросил на всякий случай, мало ли что. Нет, все нормально. Лежит себе бумажка, ничего ей не делается. Тогда я осторожненько взялся за шторку и потянул ее вниз.

Шторка легко двинулась, прямо-таки сама пошла. Щелк! И, как следует быть, загудело, зажглась желтая лампа. Ну, Кот! Потянул я шторку вверх. Точно. Два бумажных шарика. Я их оттуда вилкой осторожно выгреб, смотрю — одинаковые. То есть точь-в-точь! Отличить совершенно невозможно. Я их и так смотрел, и этак, и на просвет — даже, дурак, понюхал... Одинаковые.

Что же это получается? Золотой бы мне сейчас, я бы в миллионах ходил. Стал я рыться по карманам. Ну, не золотой, думаю, так хотя бы грош медный... Нет гроша. И тут нашариваю я свой единственный патрон. Унитарный патрон калибра восемь и одна десятая. Нет, даже в этот момент я еще не соображал, что здесь к чему. Просто подумал: раз уж денег нет, так хоть патронов наделаю, они тоже денег стоят. И только когда в нише передо мной шестнадцать штучек медью засверкало, только тогда до меня наконец дошло: шестнадцать патронов — да ведь это же обойма! Полный магазин, ребята!

Стою я перед этим ящиком, смотрю на свои патрончики, и такие интересные мыслишки в голове у меня бродят, что я тут же спохватился и поглядел вокруг, не подслушивает ли кто и не подсматривает ли. Хорошую они машину здесь себе придумали, ничего не скажешь. Полезная машина. Много я у них всякого повидал, но вот такую полезную вещь всего второй раз вижу. (Первая — это Драмба, конечно.) Ну что ж, спасибо. Собрал я патрончики свои, ссыпал их в карман куртки, оттянули они мне карман, и почувствовал я, ребята, будто забрезжило наконец что-то передо мной вдали.

Машинкой этой я потом не раз еще пользовался. Запас патронов потихоньку пополнял; пуговица у меня оторвалась — я и пуговиц форменных на всякий случай два комплекта наделал; ну еще кое-чего по мелочам. Сначала я берегся, а потом совсем обнаглел: они тут же за столом кушают и галдят, а я стою себе у ящика и знай себе шторкой щелкаю. И хоть бы кто внимание обратил! Беспечный народ, ума не приложу, как это они собираются нашей планетой управлять при такой своей беспечности. Их же у нас перочинными ножиками резать будут. Ведь я здесь прямо у них на глазах мог бы всю их секретную документацию скопировать. Была бы документация... Они ведь на меня ну совсем никакого внимания не обращали. Хочешь подслушивать — подслушивай, хочешь подсматривать — подсматривай... Так, который-нибудь взглянет рассеяно, улыбнется тебе и — снова галдеть. Обидно даже, змеиное молоко! Все-таки я — Бойцовый Кот его высочества, не шпана какая-нибудь мелкая, передо мной такие вот шапки с тротуара сходили и шляпу еще снимали... Правда, не каждый день снимали, а только в дни тезоименитства, но все равно. Так и хотелось

мне встать как-нибудь в дверях и гаркнуть по-гепардовски: «Смирна! Глаза на меня, тараканья немочь!» То-то забегали бы! Потом я, конечно, запретил себе на эти темы думать. Я свое достоинство унижать права не имею. Даже в мыслях. Пусть все идет как идет. Мне одному их всех по стойке «смирно» все равно не переставить. Да и нет передо мной такой задачи...

Корней мой в эти дни совсем извелся. Мало того, что ему этот галдеж нужно было регулировать, так свалились на него еще и личные неприятности. Всего я, конечно, не знаю, но вот однажды вернулся я под вечер с прудов — усталый, потный, ноги гудят, — искупался и завалился в траву под кустами, где меня никто не видит, а я всех вижу. То есть видеть-то особенно было некого — которые оставались, те все сидели в кабинете у Корнея, было у них там очередное совещание, — а в саду было пусто. И тут дверь нуль-кабины раскрывается, и выходит из нее человек, какого я до сих пор здесь никогда не видел. Во-первых, одежда на нем. Которые наши — они все больше в комбинезонах или в пестрых таких рубашках с надписями на спине. А этот — не знаю даже, как определить. Что-то такое строгое на нем, внушительное. Материальчик серый, понял? — стильный, и сразу видно, что не каждому такой по карману. Аристократ. Во-вторых, лицо. Здесь я объяснить уж совсем не умею. Ну, волосы черные, глаза синие — не в этом дело. Напомнил он мне чем-то того румяного доктора, который меня выходил, хотя этот был совсем не румяный и уж никак не добряк. Выражение одинаковое, что ли?.. У наших такого выражения я не видел, наши либо веселые, либо озабоченные, а этот... Нет, не знаю, как сказать.

В общем, вышел он из кабины, прошагал этак решительно мимо меня и — в дом. Слышу: галдеж в кабинете разом стих. Кто же это такой к нам пожаловал, думаю. Высшее начальство? В штатском? И стало мне ужасно интересно. Вот, думаю, взять бы такого. Заложником. Большое дело можно было бы провернуть... И стал я себе представлять во всех подробностях, как я это дело проворачиваю, — фантазия, значит, у меня разыгралась. Потом спохватился. В кабинете уже опять галдят, и тут на крыльцо выходят двое — Корней и этот самый аристократ. Спускаются и медленно идут по дорожке обратно к нуль-кабине. Молчат. У аристократа лицо замкнутое, рот сжат в линейку, голову несет высоко. Генерал, хоть и молод. А Корней мой голову повесил, глядит под ноги и губы кусает. Расстроен. Я только успел подумать, что и на Корнея здесь, видно, нашлась управа, как они останавливаются совсем недалеко от меня, и Корней говорит:

— Ну что ж... Спасибо, что пришел.

Аристократ молчит. Только плечами слегка повел, а сам смотрит в сторону.

— Ты знаешь, я всегда рад видеть тебя, — говорит Корней. — Пусть даже вот так, на скорую руку. Я ведь понимаю, ты очень занят...

— Не надо, — говорит аристократ с досадой. — Не надо. Давай лучше прощаться.

— Давай, — говорит Корней.

И с такой покорностью он это сказал, что мне даже страшно стало.

— И вот что, — говорит аристократ. Жестко так говорит, неприятно. — Меня теперь долго не будет. Мать остается одна. Я требую: перестань ее мучить. Раньше я об этом не говорил, потому что раньше я был рядом и... Одним словом, сделай что хочешь, но перестань ее мучить!

Корней что-то сказал, почти прошептал — так тихо, что я не уловил его слов.

— Можешь! — говорит аристократ с напором. — Можешь уехать, можешь исчезнуть... Все эти... все эти твои занятия... С какой стати они ценнее, чем ее счастье?

— Это совсем разные вещи, — говорит Корней с каким-то тихим отчаянием. — Ты просто не понимаешь, Андрей...

Я чуть не подскочил в кустах. Ну ясно же — никакой это не начальник и не генерал. Это же его сын, они же даже похожи!

— Я не могу уехать, — продолжает Корней. — Я не могу исчезнуть. Это ничего не изменит. Ты воображаешь, что с глаз долой — из сердца вон. Это не так. Постарайся понять: сделать ничего невозможно. Это судьба. Понимаешь? Судьба.

Этот самый Андрей задрал голову, посмотрел на отца надменно, словно плюнуть в него хотел, но вдруг аристократическое лицо его жалко задрожало — вот-вот заревет, — он как-то нелепо махнул рукой и, ничего не сказав, со всех ног пустился к нуль-кабине.

— Береги себя! — крикнул ему вслед Корней, но того уже не было.

Тогда Корней повернулся и пошел к дому. На крыльце он постоял некоторое время — не меньше минуты, наверное, стоял, словно собирался с силами и с мыслями, — потом расправил плечи и только после этого шагнул через порог.

Такие вот дела. Насели на человека. Ладно, не мое это дело. Жалко только его. Я бы, конечно, на его месте накидал бы этому сыночку пачек, чтобы знал свое место и не встревал, но только на Корнея это не похоже. То есть непохоже, чтобы он кому-нибудь мог пачек накидать... вернее, пачек-то он накидать мог бы, по-моему, кому угодно, силищи и ловкости он неимоверной. Видел я, как они однажды

возились возле бассейна — Корней, а против него трое его этих... ну, офицеров, что ли... Как он их кидал! Это же смотреть было приятно. Так что насчет пачек вы будьте спокойны. Но тут дело в том, что без крайней необходимости он никому пачек кидать не станет... не то, что пачек, резкого слова от него не услышишь... Хотя, с другой стороны, конечно, был один случай... Как-то раз сунулся я к нему в кабинет — не помню уже зачем. То ли книжку какую взять, то ли ленту для проектора. Одним словом, дождь был в тот день. Сунулся и попал вдруг в полную темноту. Я даже засомневался. Не было еще такого, чтобы в этом доме среди бела дня попадал в темное помещение. Может, меня по ошибке в какую-нибудь кладовку занесло? И вдруг оттуда, из темноты — голос Корнея:

— Прогоните еще раз с самого начала...

Тогда я шагнул вперед. Стена за мной затянулась, и стало совсем уж темно, как в ночном тире. Я вытянул перед собой руки, чтобы не треснуться обо что-нибудь, двух шажков не сделал — запутался пальцами в какой-то материи. Я даже вздрогнул от неожиданности. Что еще за материя? Откуда она здесь, в кабинете? Никогда ее здесь раньше не было. И вдруг слышу голоса, и как я эти голоса услышал, так о материи и думать позабыл, и замер, и дышать перестал.

Я сразу понял, что говорят по-имперски. Я это ихнее хурли-мурли, где хочешь узнаю, сипение это писклявое. Говорили двое: один — нормальный крысоед, так бы и полоснул его из автомата, а второй... вы, ребята, не поверите, я сначала сам не поверил. Второй был Корней. Ну точно — его голос. Только говорил он, во-первых, по-имперски, а во-вторых, на таких басах, каких я до сих пор не то, что от Корнея — вообще на этой планете ни от кого не слыхивал. Это, ребята, был настоящий допрос, вот что это было. Я этих допросов навидался, знаю, как там разговаривают. Тут ошибки быть не может. Корней ему этак свирепо: гррум-тррум-бррум! А тот, поганец трусливый, ему в ответ жалобно: хурли-мурли, хурли-мурли... Сердце мое возрадовалось, честное слово.

Понимал вот, к сожалению, я только с пятого на десятое, да и то, что понимал, до меня как-то не доходило по-настоящему. Получалось вроде, что этот крысоед — не «армия», «столица» мне знакомы, а они то и дело повторялись. И еще мне было понятно, что Корней все время нажимает, а крысоед, хоть и юлит, хоть и подхалимничает, но чего-то недоговаривает, полосатик, крутит, гадина. Корней гремел все яростнее, крысоед пищал все жалобнее, и лично мне было совершенно ясно, что вот именно сейчас и следовало бы влепить как следует — я даже весь вперед подался, касаясь носом ткани, отделявшей

меня от допросной, чтобы ничего не пропустить, когда эта сволочь завизжит и начнет выкладывать, чего от него добиваются. Но крысоед вдруг совсем замолчал — в обморок закатился, что ли? — а Корней сказал обыкновенным голосом, по-русски:

— Очень неплохо. Вольдемар, вы свободны. Теперь попробуем подвести итоги. Во-первых...

Так я, ребята, и не узнал, что там было, во-первых. Засветили мне вдруг в лоб с такой силой, что стало мне светло в этом мраке, и очнулся я, ребята, уже в гостиной. Сижу на полу, глазами хлопаю, а надо мной стоит, потирая плечо, этот самый Вольдемар, здоровенный дядька, башка под самый потолок, лицо у него растерянное и расстроенное, смотрит он на меня из-под потолка и говорит — то ли укоризненно, то ли виновато:

— Ну что же ты, голубчик? Что же ты там торчал в темноте? Откуда мне было знать? Ты уж извини меня, пожалуйста... Не ушибся?

Я потрогал осторожно свою переносицу — есть у меня там переносица или ее уже вовсе нету, — кое-как поднялся и говорю:

— Нет, — говорю. — Не ушибся. Меня ушибли — это было.

6

Когда Драмба закончил ход сообщения к корректировочному пункту, Гаг остановил его, спрыгнул в траншею и прошелся по позиции. Отрыто было на славу. Траншея полного профиля с чуть скошенными наружу идеально ровными стенками, с плотно утрамбованным дном, без всякой там рыхлой землицы и другого мусора, все в точности по наставлению, вела к огневой — идеально круглой яме диаметром в два метра, от которой отходили в тыл крытые бревнами блиндажи для боеприпасов и расчета. Гаг посмотрел на часы. Позиция была полностью отрыта за два часа десять минут. И какая позиция! Такой могла гордиться его высочества Инженерная академия. Гаг оглянулся на Драмбу. Рядовой Драмба возвышался над ним и над краем траншеи. Огромные ладони его были прижаты к бедрам, локти оттопырены, уши опущены, грудь колесом, и от него, смешиваясь с запахом разрытой земли, исходила атмосфера свежести и прохлады.

— Молодец, — сказал Гаг негромко.

— Слуга его высочества, господин капрал! — гаркнул робот.

— Чего нам теперь еще не хватает?

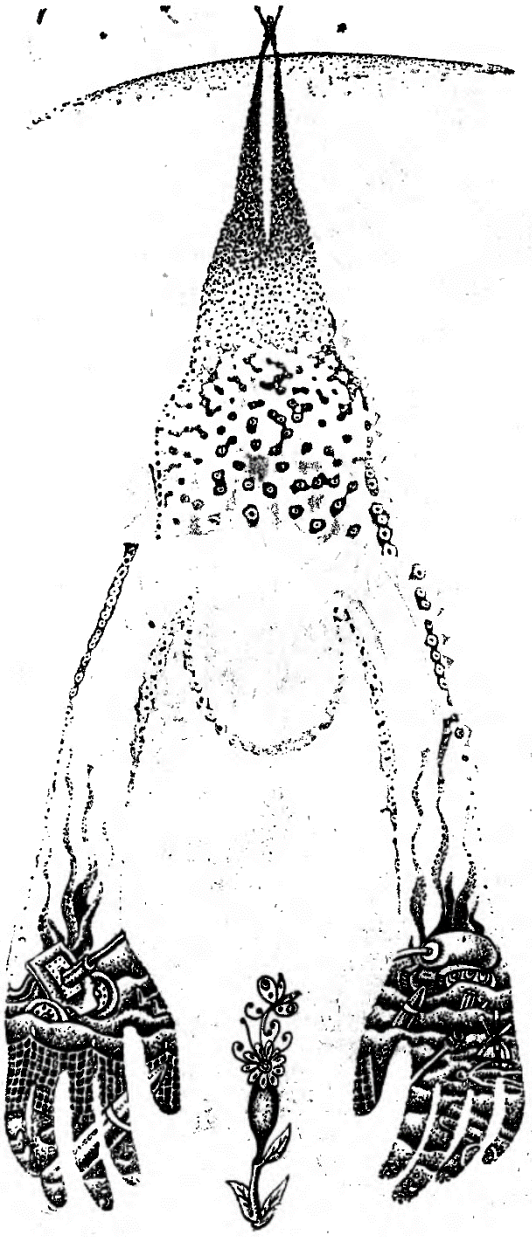
— Банки бодрящего и соленой рыбки, господин капрал!

Гаг ухмыльнулся.

— Да, — сказал он. — Я из тебя сделал солдата, из разгильдяя.

Он взялся за край траншеи и одним движением перебросил тело на траву, потом поднялся, отряхнул колени и еще раз осмотрел позицию — теперь уже сверху. Да, позиция была на славу.

Солнце поднялось высоко, от росы не осталось и следа, луна бледным куском тающего сахара висела над западным горизонтом, над туманными очертаниями города-чудовища. Вокруг мириадами кузнечиков стрекотала степь, ровная, рыже-зеленая, на всем своем протяжении одинаковая и пустая, как океан. Однообразие ее нарушало лишь облачко зелени вдали, в котором краснела черепичная крыша Корнеева дома. Стрекочущая, напоенная пряными запахами степь вокруг, чистое серо-голубое небо над нею, а в центре — он, Гаг. И ему хорошо.



Хорошо, потому что все далеко. Далеко отсюда непостижимый Корней, бесконечно добрый, бесконечно терпеливый, снисходительный, внимательный, неуклонно, миллиметр за миллиметром, вдавливающий в душу любовь к себе, и в то же время бесконечно опасный, словно бомба огромной силы, грозящая взорваться в самый неожиданный момент и разнести в клочья

Вселенную Гага. Далеко отсюда лукавый дом, набитый невиданными и невозможными механизмами, невиданными и невозможными существами вперемешку с такими же, как Корней, людьми-ловушками, шумно кипящий беспорядочной деятельностью без всякой видимой разумной цели, а потому такой же непостижимый и отчаянно опасный для Вселенной Гага. Далеко отсюда весь этот лукавый обманчивый мир, где у людей есть все, чего они только могут пожелать, а потому желания их извращены, цели потусторонни, и средства уже ничем не напоминают человеческие. И еще хорошо, потому что здесь удается хоть ненадолго забыть о гложущей непосильной ответственности, обо всех этих задачах, которые ноют, как язва, в воспаленной душе — неотложные, необходимые и совершенно неразрешимые. А здесь — все так просто и легко...

— Ого! — произнес Корней. — Вот это да!

Гаг подскочил на месте и обернулся. Корней стоял по ту сторону траншеи, с веселым изумлением оглядывая позицию.

— Да ты фортификатор, — сказал он. — Что это у тебя такое?

Гаг помолчал, но деваться было некуда.

— Позиция, — неохотно буркнул он. — Для тяжелой мортиры.

Корней был поражен.

— Для чего, для чего?

— Для тяжелой мортиры.

— Гм... А где ты возьмешь мортиру?

Гаг молчал, глядя на него исподлобья.

— Ну ладно, это меня, в конце концов, не касается, — сказал Корней, подождав. — Извини, если помешал... Я тут получил кое-какие известия и поспешил, чтобы поделиться с тобой. Дело в том, что ваша война кончилась.

— Какая война? — тупо спросил Гаг.

— Ваша. Война герцогства Алайского с империей.

— Уже? — тихо проговорил Гаг. — Вы же говорили — четыре месяца.

Корней развел руки.

— Ну, извини, — сказал он. — Ошибся. Все мы ошиблись. Но это, знаешь ли, добрая ошибка. Согласись, что мы ошиблись в нужную сторону... Управились за месяц.

Гаг облизнул губы, поднял голову, снова опустил.

— Кто... — он замолчал.

Корней ждал, спокойно глядя на него. Тогда Гаг снова поднял голову и, глядя прямо ему в глаза, сказал:

— Я хочу знать, кто победил.

Корней очень долго молчал, по лицу его ничего нельзя было разобрать. Гаг сел — не держали ноги. Рядом из траншеи торчала голова Драмбы. Гаг бессмысленно уставился на нее.

— Я ведь уже объяснял тебе, — сказал наконец Корней. — Никто не победил. Вернее, все победили.

Гаг процедил сквозь зубы:

— Объясняли... Мало ли что вы мне объясняли. Я этого не понимаю. У кого осталось устье Тары? Это может быть вам все равно, у кого оно осталось, а нам не все равно!

Корней медленно покачал головой.

— Вам тоже все равно, — устало сказал он. — Армий там больше нет — только гражданское население...

— Ага! — сказал Гаг. — Значит, крысоедов оттуда выбили?

— Да нет же... — Корней страдальчески сморщился. — Армий вообще больше не существует, понимаешь? Из устья Тары никто никого не выбивал. Просто и алайцы, и имперцы побросали оружие и разошлись по домам.

— Это невозможно, — сказал Гаг спокойно. — Я не понимаю, зачем вы мне это рассказываете, Корней. Я вам не верю. Я вообще не понимаю, чего вам от меня надо. Зачем вы меня здесь держите? Если я вам не нужен — отпустите. А если нужен — говорите прямо...

Корней закряхтел и с силой ударил себя по бедру.

— Значит, так, — сказал он. — Ничего нового по этой части я тебе сообщить не могу. Вижу, что тебе здесь не нравится. Знаю, что ты стремишься домой. Но тебе придется еще потерпеть. Сейчас у тебя на родине слишком тяжело. Разруха. Голод. Эпидемии. А сейчас еще и политическая неразбериха... Герцог, как и следовало ожидать, плюнул на все и бежал, как последний трус. Бросил на произвол судьбы не только страну...

— Не говорите плохо о герцоге, — хрипло прорычал Гаг.

— Герцога больше нет, — холодно сказал Корней. — Герцог Алайский низложен. Впрочем, можешь утешиться: императору тоже не повезло.

Гаг криво ухмыльнулся и снова окаменел лицом.

— Пустите меня домой, — сказал он. — Вы не имеете права меня здесь держать. Я не военнопленный и не раб.

— Давай-ка так, — сказал Корней. — Давай не будем ссориться. Ты плохо себе представляешь, что там у вас делается. А там такие, как ты, сколотили банды, им все хочется поставить скелет на ноги, а этого, кроме них, никто уже не хочет. За ними охотятся, как за бешеными псами, и они обречены. Если тебя сейчас отправить домой, ты,

конечно же, примкнешь к такой банде, и тогда тебе конец. И дело, между прочим, не только в тебе, дело еще и в тех людях, которых ты успеешь убить и замучить. Ты опасен. И для себя, и для других. Вот так, если откровенно.

Оказывается, Корней мог быть и таким. Перед Гагом стоял боец, и хватка у этого бойца была железная, и бил он в самую точку. Ну, что ж, за откровенность спасибо. Значит, теперь так и будем: ты мне сказал, но я тебе тоже сейчас скажу. Хватит строить из себя мальчика в штанишках. Надоело.

— Значит, боитесь, что я там буду опасен, — сказал Гаг. Он уже больше не мог и не хотел сдерживаться. — Что ж, воля ваша. Только смотрите, как бы я ЗДЕСЬ не стал опасен!

Они стояли по сторонам траншеи, лицом к лицу, и сначала Гаг торжествовал, что ему удалось вызвать это холодное свечение в обычно добрых до отвращения глазах великого лукавца, а потом вдруг с изумлением и негодованием обнаружил, что свечение это исчезло, и снова у него, сатаны, улыбочка, и глаза снова прищурились по-отечески, змеиное молоко! И вдруг Корней фыркнул, захохотал и закричал, разведя руки:

— Кот! Ну кот и кот! Дикий... Ду-умай! — сказал он Гагу и постучал себя по темени. — Думай! Мозгами шевелить надо! Неужели ты зря здесь пятую неделю торчишь?

Тогда Гаг резко повернулся и пошел в степь.

— Думай! — в последний раз донеслось до него.

Он шел, не глядя под ноги, проваливаясь в сурчиные норы, спотыкаясь, царапая лодыжки колючками. Он ничего не видел и не слышал вокруг, перед глазами его стояло иссеченное морщинами землистое лицо с безмерно усталыми покрасневшими глазами, и в ушах звучал хрипловатый голос: «Сопляки! Мои верные, непобедимые сопляки!» И этот человек, последний родной человек, оставшийся в живых, сейчас где-то спасался, прятался, томился, а его гнали, охотились за ним, как за бешеным волком, вонючие орды обманутых, купленных, осатаневших от страха дикобразов. Чернь, сброд, отбросы — без чести, без славы, без совести... Вранье, вранье, не может этого быть! Лесные егеря, гвардия, десантники. Голубые Драконы... что, они тоже продались? Тоже бросили? Да ведь у них же ничего не было, кроме него! Они ведь жили только для него! Они умирали за него! Нет, нет, ложь, чушь... Они взяли его в стальное кольцо, ощетинились штыками, стволами, огнеметами... это же лучшие бойцы в мире, они разгонят и раздавят взбесившуюся солдатню... О, как они будут их гнать, жечь, втаптывать в грязь... А я — я сижу здесь. Кот. Поганый

щенок, а не Кот! Подобрали бедненького, залечили лапку, ленточкой украсили, а он знай себе машет хвостиком, молочко тепленькое лакает и все приговаривает «так точно» да «слушаюсь» ...

Он споткнулся и упал всем телом в колючую сухую траву, и остался лежать, закрыв голову от нестерпимого стыда. Но ведь один же! Один против всей этой махины! И ребята, друзья мои в этом лукавом аду, замолчали, который день не откликаются, ни строчки, ни буквы — может, их и в живых уже нет... а может, сдались? Неужели же я ничего не могу?

Он трясся, как в лихорадке, под палящим солнцем, в мозгу возникали, кружились, проносились совершенно невозможные, немыслимые способы борьбы, побега, освобождения... Весь ужас был в том, что Корней, конечно же, сказал правду. Недаром работала его машина, недаром съехались, сползлись, слетелись сюда все эти чудища с неведомых миров — сделали свое дело, разорили страну, загубили все лучшее, что в ней было, разоружили, обезглавили...

Он не услышал, как подошел Драмба, но потной спине под раскаленной рубашкой стало прохладно, когда тень робота упала на него, и ему стало легче. Все-таки он был не совсем один. Он еще долго лежал ничком, а солнце двигалось по небу, и Драмба бесшумно двигался возле, оберегая его от зноя. Потом он сел. Голые ноги были исполосованы колючками. На колено вспрыгнул кузнечик, бессмысленно уставился зелеными капельками глаз. Гаг брезгливо смахнул его и замер, разглядывая руку. Костяшки пальцев были ободраны.

— Когда это я? — произнес он вслух.

— Не могу знать, господин капрал, — сейчас же откликнулся Драмба.

Гаг осмотрел другую руку. Тоже в крови. Землю-матушку, значит, молотил. Родительницу всех этих... ловкачей. Хорош Кот. Только истерики мне и не хватало. Он оглянулся в сторону дома. Зеленое облачко едва виднелось на горизонте.

— Много лишнего я сегодня наболтал, вот что... — сказал он медленно.

— Дикобраз ты, а не Кот. Выдрать тебя некому. Угрожать вздумал, сопляк... То-то Корней закатился...

Он посмотрел на робота.

— Рядовой Драмба! Что делал Корней, когда я ушел?

— Приказал мне следовать за вами, господин капрал.

Гаг усмехнулся с горечью.

— А ты, конечно, подчинился... — Он поднялся, подошел к роботу вплотную. — Сколько тебя учить, дубина, — прошипел он яростно. — Кому ты подчиняешься? Кто твой непосредственный начальник?

— Капрал Гаг, Бойцовый Кот его высочества, — отчеканил Драмба.

— Так как же ты, дикобраз безмозглый, можешь починяться кому-то еще?

Драмба помедлил, потом сказал:

— Виноват, господин капрал.

— Э-эх... — произнес Гаг безнадежно. — Ладно, бери меня на плечи. Домой.

Дом встретил его непривычной тишиной. Дом был пуст. Улетели стервятники. На падаль. Гаг прежде всего искупался в бассейне, смыл кровь и пыль, тщательно причесался перед зеркалом и, переодевшись в свежее, решительно зашагал в столовую. К обеду он опоздал, Корней уже допивал свой сок. Он с нарочитым безразличием глянул на Гага и снова опустил взгляд в папку, лежащую перед ним. Гаг подошел к столу, кашлянул и проговорил стиснутым голосом:

— Я вел себя неправильно, Корней. (Корней кивнул, не поднимая глаз.) Я прошу у вас прощения.

Говорить было невыносимо трудно, язык едва ворочался. Пришлось остановиться на секунду и крепко стиснуть челюсти, чтобы привести себя в порядок.

— Конечно же, я... я буду все делать так, как вы приказываете. Я был неправ.

Корней вздохнул и отодвинул от себя папку.

— Я принимаю твои извинения... — Он побарабанил пальцами по столу. — Да. Принимаю. Правда, к сожалению, я виноват больше тебя. Да ты садись, ешь...

Гаг сел, не сводя с него настороженного взгляда.

— Видишь ли, ты еще молод, тебе многое можно простить. Но я! — Корней потряс в воздухе растопыренными пальцами. — Старый дурень! Все-таки в моем возрасте и с моим опытом пора бы уже знать, что есть люди, которые могут выдержать удар судьбы, а есть люди, которые ломаются. Первым рассказывают правду, вторым рассказывают сказки. Так что ты тоже прости меня, Гаг. Давай-ка постараемся забыть эту историю. — И он снова взялся за свои бумаги.

Гаг ел какое-то месиво из мяса и овощей, не чувствуя ни вкуса, ни запаха, словно вату жевал. Уши его пылали. Чушь какая-то опять получалась. Больше всего хотелось заорать и ударить кулаком по столу. Хватит строить из меня щенка! Хватит! Меня ударами судьбы не сломишь, понятно? Мы не из ржавого железа!.. Надо же, как повернул,

опять я кругом дурак... Гаг плеснул себе в стакан из оплетенной бутыли с кокосовым молоком. Вообще-то говоря, я и на самом деле дурак. Он со мной как с мужчиной, а я как баба. Вот и получается — щенок и дурак. Не хочу об этом думать. Не надо мне твоей правды, не надо мне твоих сказок. То есть за правду тебе, конечно, спасибо — я теперь хоть понял, что ждать больше нечего, что пора дело делать.

Корней поднялся, взял папку под мышку и ушел. Лицо у него было удрученное. Гаг, жуя и прихлебывая, поглядел в сад. На песчаную дорожку из густой травы выбрался большой кот рыжей масти, в зубах у него трепыхалось что-то пернатое. Кот угрюмо повел дикими глазами вправо, влево и заструился к дому — должно быть, под крыльцо. Давай, давай, работай, брат-храбрец, подумал Гаг. Мне бы как-нибудь до вечера дотянуть, а там можно будет и делом заняться. Он вскочил, сбросил посуду в лючок и, пройдя по дому на цыпочках, направился в тот самый коридор. Надписей не прибавилось. Друзья в аду молчали. Ладно. Значит, придется все-таки в одиночку. Драмба... Нет. На рядового Драмбу надежды плохи. Жалко, конечно. Солдат бесценный. Но веры ему настоящей нет. Лучше уж без него. Пусть только сделает то, что надо, а потом я его... Откомандирую.

Он вернулся в свою комнату, лег на койку, заложил руки за голову.

— Рядовой Драмба! — позвал он.

Драмба вошел и остановился у двери.

— Продолжай, — приказал Гаг.

Драмба привычно загудел прямо с середины фразы:

— ...никакого другого выхода. Врач, однако, был против. Он аргументировал свой протест, во-первых, тем, что существо, не принадлежащее к бранчу гуманоидных сапиенсов, не может быть объектом контакта без посредника...

— Пропусти, — сонно сказал Гаг.

— Слушаюсь, господин капрал, — отозвался Драмба и, помолчав, продолжал, на этот раз — с начала фразы: — На контакт вышли: Эварист Козак, командир корабля, Фаина Каминска, старший ксенолог группы, ксенологи...

— Пропусти! — раздраженно сказал Гаг. — Что там было дальше?

Внутри Драмбы заурчало, и он принялся рассказывать, как в зоне контакта вспыхнул неожиданно пожар, контакт был прерван, из-за стены огня раздались вдруг выстрелы, штурман группы семи-гуманоид Кварр погиб, и тело его не было обнаружено, Эварист Козак, командир корабля, получил тяжелое проникающее ранение в область живота...

Гаг заснул.

Он проснулся словно от удара мокрым полотенцем по лицу: где-то рядом разговаривали по-алайски. Сердце колотилось как бешеное, трещала голова. Но это был не сон и не бред.

— ...Я обратил внимание на то, что большинство его работ написано в Гигне, — говорил незнакомый ломающийся голос. — Может быть, это вам поможет?

— Гигна... — отозвался голос Корнея. — Позволь. Где это?

— Это курортное местечко... западный берег Заггуты. Знаете, озеро такое...

— Знаю. Ты думаешь...

— По-видимому, он часто там работал... Жил, наверное, у какого-нибудь мецената...

Гаг бесшумно скатился с койки и подкрался к окну. На крыльце Корней разговаривал с каким-то парнем лет шестнадцати, худым, белобрысым, с большими бледными глазами, как у куклы — явным и очевидным алайцем с юга. Гаг вцепился пальцами в подоконник.

— Это любопытно, — задумчиво сказал Корней. Он похлопал парня по плечу. — Это идея, ты молодчина, Данг. А наши разини прозевали...

— Его надо обязательно найти, Корней! — Парень прижал кулаки к узкой груди. — Вы же сами говорили, что даже ваши ученые заинтересовались, и теперь я понимаю — почему... Он на вашем уровне! Он даже выше кое в чем... Вы просто обязаны его найти!

Корней тяжело вздохнул.

— Мы сделаем все, что сможем, голубчик... Но знал бы ты, как это трудно! Ты ведь представления не имеешь, что там у вас сейчас делается...

— Имею, — коротко сказал парень.

Они помолчали.

— Лучше бы вы меня там оставили, а его вытащили, — тихо проговорил парень, глядя в сторону.

— На тебя нам повезло наткнуться, а на него — нет, — так же тихо отозвался Корней. Он снова взял парня за плечо. — Мы сделаем все, что в наших силах.

Парень кивнул.

— Хорошо.

Корней снова вздохнул.

— Ну, ладно... Значит, ты прямо в Обнинск?

— Да.

— Тебе там больше понравится. По крайней мере, там у тебя будут квалифицированные собеседники. Не такие дремучие прагматики, как я.

Парень слабо улыбнулся, и они пожали друг другу руки — по-алайски, крест-накрест.

— Что ж, — сказал Корней. — Нуль-кабиной ты теперь пользоваться умеешь...

Они вдруг разом засмеялись, вспомнив, по-видимому, какую-то историю, связанную с нуль-кабиной.

— Да, — сказал парень. — Этому я научился... Умею... Но вы знаете, Корней, мы решили пробежаться до Антонова. Ребята обещали показать мне что-то в степи...

— А где они? — Корней огляделся.

— Сейчас подойдут, наверное. Мы условились, что я пойду вперед, а они меня нагонят... Вы идите, Корней, я и так вас задержал. Спасибо вам большое...

Они вдруг обнялись — Гаг даже вздрогнул от неожиданности, — а затем Корней слегка оттолкнул парня и быстро ушел в дом. Парень спустился с крыльца и пошел по песчаной дорожке, и тут Гаг увидел, что он сильно хромает, припадая на правую ногу. Эта нога у него была явно короче и тоньше левой.

Несколько секунд Гаг смотрел ему вслед, а потом рывком перебросил тело через подоконник, пал на четвереньки и сразу же нырнул в кусты. Он неслышно следовал за этим Дангом, уже испытывая к нему безотчетную неприязнь, то брезгливое отвращение, которое он всегда чувствовал к людям увечным, ущербным и вообще бесполезным. Но этот Данг был алаец, причем, судя по имени и выговору, — южный алаец, а значит, алаец первого сорта, и как бы там ни было, поговорить с ним было необходимо. Потому что это был все-таки шанс.

Гаг настиг его уже в степи, выждав момент, когда дом до самой крыши скрылся за деревьями.

— Эй, друг! — негромко позвал он по-алайски.

Данг стремительно обернулся. Он даже пошатнулся на покалеченной ноге. Кукольные глаза его раскрылись еще шире, и он попятился. Все краски сбежали с его тощего лица.

— Ты кто такой? — пробормотал он. — Ты... этот... Бойцовый Кот?

— Да, — сказал Гаг. — Я — Бойцовый Кот. Меня зовут Гаг. С кем имею честь?

— Данг, — отозвался тот помолчав. — Извини, я спешу...

Он повернулся и, хромая еще сильнее, чем раньше, пошел прочь прежней дорогой. Гаг нагнал его и схватил за руку повыше локтя.

— Подожди... Ты что, разговаривать не хочешь? — удивленно проговорил он. — Почему?

— Я спешу.

— Да брось ты, успеешь!.. Вот так картинка! Встретились в этом аду два алайца — и чтобы не поговорить? Что это с тобой? Одурел совсем, что ли?

Данг попытался высвободить руку, но куда там! — он был совсем хилый, этот недоносок из южан.

Гаг ничего не понимал.

— Слушай, друг... — начал он с наивозможной проникновенностью.

— В аду твои друзья! — сквозь зубы процедил Данг, глядя на него с явной ненавистью.

От неожиданности Гаг выпустил его руку. На мгновение он даже потерял дар речи. В аду твои друзья... Твои друзья в аду... Твои друзья — в аду! Он даже задохнулся от бешенства и унижения.

— Ах ты... — сказал он. — Ах ты, продажная шкура!

Задавить, на куски разодрать тварюгу...

— Сам ты барабанная шкура! — прошипел Данг сквозь зубы. — Палач недобитый, убийца...

Гаг, не размахиваясь, ударил его под ложечку, и когда хиляк согнулся пополам, Гаг, не теряя драгоценного времени, с размаху ахнул кулаком по белобрысому затылку, подставив колено под лицо. Он стоял над ним, опустив руки, глядел, как он корчился, захлебываясь кровью, в сухой траве, и думал: вот тебе и союзничек, вот тебе и друг в аду... Во рту у него была горечь, и ему хотелось плакать. Он присел на корточки, приподнял голову Данга и повернул к себе его залитое кровью лицо.

— Дрянь... — прохрипел Данг и всхлипнул. — Палач... Даже сюда...

— Зачем это? — произнес сумрачный голос.

Гаг поднял глаза. Над ним стояли двое — какие-то незнакомые из местных, тоже совсем молодые. Гаг осторожно опустил голову южанина на траву и поднялся.

— Зачем... — пробормотал он. — Откуда я знаю — зачем?

Он повернулся и пошел к дому.

Ломая кусты и топча клумбы, он напрямик прошел к крыльцу, поднялся к себе, упал ничком на койку и так пролежал до самого вечера. Корней звал его ужинать — он не пошел. Бубнили голоса в доме, слышалась музыка, потом стало тихо. Отругались воробьи, устраиваясь на ночь в зарослях плюща, завели бесконечные песни цикады, в комнате становилось все темнее и темнее. И когда стало совсем темно,

Гаг поднялся, поманил за собой Драмбу и прокрался в сад. Он прошел в самый дальний угол сада, в густые заросли сирени, уселся там прямо на теплую траву и сказал негромко:

— Рядовой Драмба. Слушай внимательно мои вопросы. Вопрос первый. По металлу работать умеешь?

7

За завтраком Корней не сказал со мной ни слова, даже не поглядел на меня. Будто меня за столом и нет вовсе. Я, натурально, поджался, жду, что будет, и на душе, надо сказать, гадостно донельзя. Все время то ли вымыться хочется, то ли сдохнуть вообще. Ну, поел я кое-как, поднялся к себе, натянул форму — не помогает. Вроде бы даже еще хуже стало. Взял портрет ее высочества — выскользнул он у меня из рук, закатился под койку, я и искать не стал. Сел перед окошком, локти на подоконник поставил, гляжу в сад — ничего не вижу, ничего не хочу. Домой хочу. Просто домой, где все не так, как здесь. Что за судьба у меня собачья? Ничего ведь в жизни не видел. То есть видел, конечно, много, другому столько не присниться, сколько я наяву видел, а вот радости — никакой. Стал вспоминать, как герцог меня табаком одарил, — бросил, не помогает. Вместо его лица все выплывает этот хиляк, тощая его физия, вся в кровище. А вместо его голоса — совсем другой голос, и он все повторяет: «Зачем это? Зачем это?» Откуда я знаю — зачем?

Потом вдруг распахнулась дверь, вошел Корней — как туча, глаза — молнии, — ни слова не говоря, швырнул мне чуть ли не в лицо пачку каких-то листов (это Корней-то! Швырнул!) и, опять ничего не сказав, повернулся и ушел. И дверью грохнул. Я чуть не завыл от тоски, пнул эти листки ногой, по всей комнате они разлетелись. Стал снова в сад глядеть — черно перед глазами, не могу. Подобрал листок, что поближе, стал читать. Потом другой, потом третий... Потом собрал все, сложил по порядку, стал читать снова.

Это были отчеты. Корнеевы люди, которые, как я понимаю, были заброшены к нам, работали там у нас: кто дворником, кто парикмахером, а кто и генералом. И вот они, значит, докладывали Корнею о своих наблюдениях. Чистая работа, ничего не скажешь. Профессионалы.

Ну, было там про этого парнишку, про Данга. Жил он, как и я, в столице и даже недалеко от меня, напротив зоопарка. Отца у него убили еще во время первого тарского инцидента. Он был ученый, ловил в устье Тары каких-то своих научных рыб, ну, там его ненароком

и шлепнули. Остался он один с матерью. Как и я. Только мать его была интеллигентная и пошла в учительницы, музыку преподавала. А он, между прочим, сам тоже был парень с головой. Премии всякие в школе хватал, главным образом — по математике. У него способности были большие, вроде как у меня к технике, только больше. Когда началась эта война, он чуть ли не в самую первую бомбежку попал под бомбу, ребра ему поломало, правую ногу навеки изуродовало.

И пока я, значит, брал Арихаду, подавлял бунты и ходил в десант в устье Тары, он круглосуточно лежал дома. Я не в укор ему говорю, он там намучился, может быть, еще больше меня: в ихний дом попало две бомбы, его газами отравило, дом весь потом выселили, остались они вдвоем с матерью в этой руине — не знаю уж, почему мать не захотела переезжать. И вот, значит, мать его каждый день уходила на работу, уже теперь не в музыкальную школу, а на патронный завод. Иногда на сутки уходила, иногда на двое. Оставит ему кое-какую еду, суп в ватник завернет, чтобы он мог дотянуться, — сам он с постели почти что и не вставал — и уйдет. Ну вот она однажды ушла, да и не пришла. Неизвестно, что с ней сталось. Этот Данг совсем уже загибался, когда на него случайно вышел Корнеев разведчик. В общем, жуткая, конечно, история. Прямо посреди столицы погибал от голода и холода парень, причем большой математический талант, даже огромный, и всем на него было наплевать. Так бы и подох, как собака под забором, если б не этот тип. Ну, он раз к нему пришел, два пришел, еду ему носит. А парень возьми его и расколи! Тот только рот разинул. А Данг ему вроде ультиматума: или вы меня отсюда к себе возьмете, в ваш мир то есть, или я повешусь. Вон, говорит, петелька висит, видите? Ну, Корней дал, конечно, распоряжение... Такая вот история.

Там еще много чего было. Было там и о герцоге, и об Одноглазом Лисе, и о господине фельдмаршале Брагге, обо всех там было. Как они политику делают, как они развлекаются в свободное время... Я то и дело читать бросал, ногти грыз, чтобы успокоиться. И об ее высочестве тоже было. Оказывается, гофмаршалом во дворце служил тоже человек Корнея, так что сомневаться не приходится. Это же не то, что для меня материалы подбирались. Это ведь Корней их из какого-то дела надергал, прямо с мясом выдирал. Ну, ладно.

Сложил я эти листки аккуратной стопочкой, подравнял, взвесил на руке и опять по комнате пустил. Вообще-то, если говорить честно, оставалось мне одно: пуля в лоб. Хребет они мне переломили, вот что. Добились своего. Весь мир в глазах перевернули вверх тормашками. Как жить — не знаю. Зачем жить — не понимаю. Как теперь Корнею в глаза смотреть — и вовсе не ведаю. Эх, думаю, разбегусь я сейчас по

комнате, руки по швам и — в окошко, башкой вниз. И всему конец, хоть всего-то второй этаж. Но тут как раз приперся Драмба, требует очередной чертеж. Отвлек он меня. А когда ушел, стал я уже рассуждать поспокойнее. Целый час сидел, ногти грыз, а потом пошел и искупался. И странное вдруг у меня облегчение наступило. Словно какой-то пузырь болезненный у меня в душе надувался, надувался, а теперь вот лопнул. Словно я с какими-то долгами рассчитался. Словно я этим отчаянием своим какую-то вину перед кем-то искупил. Не знаю перед кем. И не знаю какую. И в голове у меня только одно: домой, ребята! По домам! Все мои долги, какие еще остались, — все они там, дома.

За обедом Корней мне говорит, не глядя, сурово, неприветливо:

— Прочитал?

— Да.

— Понял?

— Да.

На этом наш разговор и кончился.

После обеда заглянул я к Драмбе. Вкалывает мой рядовой вовсю, только стружка летит. Весь в опилках, в горячем масле, руки так и ходят. Одно удовольствие было на него смотреть. Быстро у него дело продвигалось — просто на диво. А мне теперь оставалось только одно: ждать.

Ну, ждать пришлось мне недолго, дня два. Когда машинка была готова, я ее сложил в мешок, отнес к прудам, собрал там и опробовал с молитвою. Ничего машинка, молотит. Плюется, но все-таки получилась она получше, чем у наших повстанцев, которые делали свои сморкалки вообще из обрезков водопроводных труб. Ну, вернулся я, сунул ее вместе с мешком в железный ящик. Готов.

И вот в тот же вечер (я уже спать нацеливался) открывается дверь, и стоит у меня на пороге эта женщина. Слава богу, я еще не разделся — сидел на койке в форме и снимал сапоги. Правый снял, но только это за левый взялся, смотрю — она. Я ничего даже подумать не успел, только взглянул и, как был в одном сапоге, вскочил перед нею и вытянулся. Красивая она была, ребята, даже страшно — никогда я у нас таких не видел, да и не увижу, наверное, никогда.

— Простите, — говорит она, улыбаясь. — Я не знала, что здесь вы. Я ищу Корнея.

А я молчу, как болван деревянный, и только глазами ее ем, но почти ничего не вижу. Обалдел. Она обвела взглядом комнату, потом снова на меня посмотрела — пристально, внимательно, уже без улыбки — ну, видит, что от меня толку добиться невозможно, кивнула

и вышла, и дверь за собой тихонько прикрыла. И верите ли, ребята, мне показалось, что в комнате сразу стало темнее.

Долго я стоял вот так, в одном сапоге. Все мысли у меня спутались, ничегошеньки я не соображал. Не знаю уж, в чем тут дело: то ли освещение было какое-то особенное в ту минуту, а может быть, и сама эта минута была для меня особенной, но я потом полночи все крутился и не мог в себя прийти. Вспоминал, как она стояла, как глядела, что говорила. Сообразил, конечно, что она мне неправду сказала, что вовсе она не Корнея искала (нашла, где искать!), а зашла она сюда специально, на меня посмотреть.

Ну, это ладно. Другая мысль меня в тоску смертную вогнала: понял я, что довелось мне увидеть в эту минуту малую частичку настоящего большого мира этих людей. Корней ведь меня в этот мир не пустил и правильно, наверное, сделал. Я бы в этом мире руки на себя наложил, потому что это невозможно: видеть такое ежеминутно и знать, что никогда ты таким, как они, не будешь и никогда у тебя такого, как у них, не будет, а ты среди них, как сказано в священной книге, есть и до конца дней своих останешься «безобразен, мерзок и затхл»... В общем, плохо я спал в эту ночь, ребята, можно сказать, что и вовсе не спал. А едва рассвело, я выбрался в сад и залег в кустах на обычном своем наблюдательном пункте. Захотелось мне увидеть ее еще раз, разобраться, понять, чем же она меня вчера так ударила. Ведь видел же я ее и раньше, из этих самых кустов и видел...

И вот когда они шли по дорожке к нуль-кабине, рядом, но не касаясь друг друга, я смотрел на нее и чуть не плакал. Ничего опять я в ней не видел. Ну, красивая женщина, спору нет, — и все. Вся она словно погасла. Словно из нее душу живую вынули. В синих глазах у нее была пустота, и около рта появились морщины.

Они прошли мимо меня молча, и только у самой кабины она, остановившись, проговорила:

— Ты знаешь, у него глаза убийцы...

— Он и есть убийца, — тихо ответил Корней. — Профессионал...

— Бедный ты мой, — сказала она и погладила его ладонью по щеке. — Если бы только я могла с тобой остаться... но я правда не могу. Мне здесь тошно...

Я не стал дальше слушать. Ведь это они про меня говорили. Прокрался я к себе в комнату, посмотрел в зеркало. Глаза как глаза. Не знаю, чего ей надо. А Корней правильно ей сказал: профессионал. Тут стесняться нечего. Чему меня научили, то я и умею... И я всю эту историю от себя отмел. У вас свое, у меня свое. Мое дело сейчас — ждать и дождаться.

Как я оставшиеся три дня провел — не знаю. Ел, спал, купался. Опять спал. С Корнеем мы почти не разговаривали. И не то, чтобы он меня не простил за тот случай или всякое там, нет. Просто он занят был по горло. Теперь уж до последнего предела. Даже осунулся. Народ к нам снова зачастил, так и прут. Не поверите — дирижабль прилетел, целые сутки висел над садом, а к вечеру как посыпались из него, как посыпались... Но вот что удивительно — за все это время ни одного «призрака». Я уже давно заметил: «призраки» у них здесь прибывают либо поздним вечером, либо рано утром, не знаю уж почему. Так что днем я как в тумане был, ни на что внимания не обращал, а как солнце сядет, звезды высыпят, так я у окна с машинкой на коленях. А «призраков» нет, хоть ты лопни. Я жду, а их нет. Я уж, честно говоря, тревожиться начал. Что это, думаю, специально? И тут он все на сто лет вперед рассчитал?

За все это время только одно интересное событие и произошло. В последний день. Дрыхну это я перед ночной своей вахтой, и вдруг будит меня Корней.

— Что это ты среди бела дня завалился? — спрашивает он меня недовольно, но недовольство это, я вижу, какое-то ненастоящее.

— Жарко, — говорю. — Сморило.

Сморозил, конечно, спросонья. Как раз весь этот день дождик с самого утра моросил.

— Ох, распустил я тебя, — говорит он. — Ох, распустил. У меня руки не доходят, а ты пользуешься... Пойдем. Ты мне нужен.

Вот это номер, думаю. Понадобился. Ну, конечно, вскакиваю, постель привел в порядок, берусь за сандалии, и тут он мне преподносит.

— Нет, — говорит. — Это оставь. Надень форму. И оправься как следует... причешись. Вахлак вахлаком, смотреть стыдно...

Ну, ребята, думаю, моря горят, леса текут, мышка в камне утонула. Форму ему. И разобрало меня любопытство, сил нет. Облачаюсь, затягиваюсь до упора, причесался. Каблуками щелкнул. Слуга вашего превосходительства. Он осмотрел меня с головы до ног, усмехнулся чему-то, и пошли мы через весь дом к нему в кабинет. Он входит первым, отступает на шаг в сторону и четко по-алайски произносит:

— Разрешите, господин старший бронемастер, представить вам. Бойцовый Кот его высочества, курсант третьего курса Особой столичной школы Гаг.

Гляжу — и в глазах у меня потемнение, а в ногах дрожание. Прямо передо мной, как приведение, сидит, развалясь в кресле, офицер-бронеходчик, Голубой Дракон, «Огонь на колесах» в натуральную величину, в походной форме при всех знаках различия. Сидит, нога на

ногу, ботинки сияют, шипами оскалились, коричневая кожаная куртка с подпалинами, с плеча свисает голубой шнур — тот еще волк, значит... И морда, как у волка, горелая пересаженная кожа лоснится, голова бритая наголо, с коричневыми пятнами от ожогов, глаза, как смотровые щели, без ресниц... Ладони у меня, ребята, сами собой уперлись в бедра, а каблуки так щелкнули, как никогда еще здесь не щелкали.

— Вольно, курсант, — произнес он сиплым голосом, берет из пепельницы сигаретку и затягивается, не отрывая от меня своих смотровых щелей.

Я опустил руки.

— Несколько вопросов, курсант, — сказал он и положил сигарку обратно на край пепельницы.

— Слушаю вас, господин старший бронемастер!

Это не я говорю, это мой рот сам отбарабанивает. А я в это время думаю: что же это такое, ребята? Что же это происходит? Ничего не соображаю. А он говорит, невнятно так, сглатывая слова, я эту ихнюю манеру знаю:

— Слышал, что его высочество удостоил тебя... а-а... жевательным табаком из собственной руки.

— Так точно, господин старший бронемастер!

— Это за какие же... а-а... подвиги?

— Удостоен как представитель курса после взятия Арихады, господин старший бронемастер!

Лицо у него равнодушное, мертвое. Что ему Арихада? Опять взял сигарку, осмотрел тлеющий кончик, вернул в пепельницу.

— Значит, был удостоен... Раз так, значит... а-а... нес впоследствии караульную службу в ставке его высочества...

— Неделю, господин старший бронемастер, — сказал мой рот, а голова моя подумала: ну, чего пристал? Чего тебе от меня надо?

Он вдруг весь подался вперед.

— Маршала Нагон-Гига в ставке видел?

— Так точно, видел, господин старший бронемастер!

Змеиное молоко. Экий барин горелый выискался! Я с самим генералом Фраггой разговаривал, не тебе чета, и тот со второго моего ответа позволил и приказал: без званий. А этому, видно, как музыка: «Господин старший бронемастер». Новопроизведенный, что ли? А может, из холопов, выслужился... опомниться не может.

— Если бы сейчас маршала встретил, узнал бы его?

Ну и вопросик! Маршал — он был такой низенький, грузный, глаза у него все слезились. Но это от насморка. Если бы у него глаза

не было или, скажем, уха... а так — маршал как маршал. Ничего особенного. В ставке их много, Фрагга был еще из боевых...

— Не могу знать, — сказал я.

Он снова откинулся на спинку кресла и снова взялся за сигарку. Не нравилась ему эта сигарка. Он ее больше в руках держал да обнюхивал, чем затягивался. Ну и не курил бы... вон бычок какой здоровенный, а я мох курю...

Он подобрал под себя свои голенастые ноги, поднялся, прошел к окну и стал спиною ко мне со своей сигаркой — только голубой дымок поднимается из-за плеча. Думает. Мыслитель.

— Ну, хорошо, — говорит, совсем уже невнятно, и получается у него «нухшо». — А нет ли у тебя... а-а... курсант, старшего брата у нас в Голубых бронеходцах?

Даже морду не повернул. Так, ухо немножко в мою сторону преклонил. А у меня, между прочим, три брата было... могли бы быть, да все в грудном возрасте померли. И такая меня злоба вдруг взяла, на все вместе разом.

— Какие у меня, змеиное молоко, братья? — говорю. — Откуда у нас братья? Мы сами сами-то еле живы...

Он мигом ко мне повернулся, словно его шилом ткнули. Уставился. Ну чисто бронеход! А я вроде бы в окопе сижу... У меня по старой памяти кожа на спине съежилась, а потом думаю: идите вы все с вашими взорами, тоже мне — старший бронемастер драной армии... Сам небось драпал, все бросил, аж сюда додрапал, от своих же небось солдат спасался... И отставляю я нагло правую ногу, а руки завожу за спину и гляжу ему прямо в смотровые щели.

Полминуты он, наверное, молчал, а потом негромко посипел:

— Как стоишь, курсант?

Я хотел сплюнуть, но удержался, конечно, и говорю:

— А что? Стою как стою, с ног не падаю.

И тут он двинулся на меня через всю комнату. Медленно, страшно. И не знаю я, чем бы это все кончилось, но тут Корней из своего угла, где он все это время сидел с бумажками, подает вдруг голос:

— Бронемастер, друг мой, полегче... не заезжайте...

И все. По опаленной морде прошла какая-то судорога, и господин старший бронемастер, не дойдя до меня, свернул к своему креслу. Готов. Скис Голубой Дракон. Это тебе не комендатура. И ухмыльнулся я всем своим одеревенелым лицом, как только мог нагло. А сам думаю: ну, а если бы Корнея не было? Вышел бы Корней на минуту? Ударил бы он меня, и я бы его убил. Точно, убил бы. Руками.

Он повалился в свое кресло, придавил наконец в пепельнице эту сигарку и говорит Корнею:

— Все-таки у вас здесь очень жарко, господин Корней... Я бы не отказался от чего-нибудь... а-а... освежающего.

— Соку? — Предлагает Корней.

— Соку? А-а... нет. Если можно, чего-нибудь покрепче.

— Вина?

— Да, пожалуйста.

На меня он больше не смотрит. Игнорирует. Берет у Корнея бокал и запускает в него свой обгорелый нос. Сосет. А я обалдел. То есть как это? Нет, конечно, всякое бывает... тем более, разгром... разложение... Да нет! Это же голубой дракон! Настоящий! И вдруг у меня как пелена с глаз упала. Шнурок... вино... Змеиное молоко, да ведь это же все липа! Корней говорит:

— Ты не выпьешь, Гаг?

— Нет, — говорю. — Не выпью. И сам не выпью, и этому не советую... господину старшему бронемастеру.

И такое меня веселье злое разобрало, я чуть не расхохотался. Они оба на меня вылупились. А я подошел к этому горелому барину, отобрал у него бокал и говорю — мягко так, отечески поучаю:

— Голубые Драконы, — говорю, — вина не пьют. Они вообще спиртного не пьют. У них, господин старший бронемастер, зарок: ни капли спиртного, пока хоть одна полосатая крыса оскверняет своим дыханием атмосферу Вселенной. Это раз. А теперь шнурочек... — Берусь я за этот знак боевой доблести, отстегиваю от пуговицы куртки и аккуратненько пускаю его вдоль рукава. — Шнурок доблести только по уставу вам положено пристегивать к третьей пуговице сверху. Никакой настоящий Дракон его не пристегивает. На гауптвахтах сидят, но не пристегивают. Это, значит, два.

Ах, какое я наслаждение испытывал. Как мне было легко и прекрасно! Оглядел я еще раз их, как они меня слушают, будто я сам пророк Гагура, вещающий из ямы истину господню, да и пошел себе на выход. На пороге я остановился и напоследок добавил:

— А при разговоре с младшим по чину, господин старший бронемастер, не велите себя все время величать полным титулом. Ошибки здесь большой, конечно, нет, только уважать вас не будут. Это не фронтовик, скажут, это тыловая крыса в форме фронтовика. И лицо обгорелое вам не поможет. Мало ли где люди обгорают...

И пошел. Сел у окошка, ручки на коленях сложил — хорошо мне так, спокойно, как будто я большое дело сделал сижу, перебираю в голове, как все это было. Как Корней сначала только глазами хлопал, а

потом подобрался весь, каждое мое слово ловил, шею вытянув, а у этого фальшивого бронемастера даже варежка открылась от внимания... Но, конечно, я недолго так себя тешил, потому что очень скоро пришло мне в голову, что на самом-то деле получилась какая-то чушь, получилось, что они засылают к нам шпиона, а я этому помогаю. Консультирую, значит. Как последняя купленная дрянь. Обрадовался, дурак! Разоблачил! Взяли бы его там, поставили к стенке, и делу конец... Какому делу? Не-ет, это все не так просто. Я ведь почему завелся? Меня этот Дракон завел. Мне ж на него смотреть тошно было. Раньше небось не тошнило, раньше пал бы я перед ним на колени, перед братом-храбрецом, сапоги бы ему чистил с гордостью, хвастался бы потом... Знаешь, я кому сапоги чистил? Старшему бронемастеру! Со шнурком!.. Нет-нет, разобраться надо, разобраться...

Сидел я аж до самых сумерек и все разбирался, а потом пришел Корней, руку мне положил на плечо, прямо как тому... Дангу.

— Ну, — говорит, — дружище, спасибо тебе. Я так и чувствовал, что ты что-нибудь заметишь. Понимаешь, мы его в большой спешке готовили... Человека одного спасти надо. Большого вашего ученого. Есть подозрение, что он скрывается на западном берегу озера Заггута, а там сейчас бронечасть окопалась, и никому туда проходу нет. Только своих принимают. Так что считай: ты сегодня двух человек спас. Двух хороших людей. Одного вашего и одного нашего.

Ладно. Много он мне еще всякого наговорил. Прямо медом по сердцу. Я уж не знал, куда глаза девать, потому что, когда я их, значит, консультировал, у меня, натурально, и в мыслях не было кого-нибудь спасать. Просто от злорадства у меня все это получилось. Ладно.

— Когда же он отбывает? — спрашиваю. Просто так спросил — поток Корнеева красноречия немножко притормозить.

— Утром, — отвечает. — В пять утра.

И тут до меня дошло. Эге, думаю. Вот и дождался.

— Отсюда? — спрашиваю. Уже не просто так.

— Да, отвечает он. — С этой поляны.

Так.

— Угу, — говорю. — Надо бы мне его проводить, посмотреть напоследок. Может, еще что замечу...

Корней засмеялся, снова потрепал меня по плечу.

— Как хочешь, — говорит. — Но лучше бы тебе поспать. Ты что-то последнее время совсем от режима отбился. Пойдем ужинать, и ложись-ка ты спать.

Ну, пошли мы ужинать. За ужином Корней был веселый, давно я его таким не видел. Рассказывал разные смешные истории из тех

времен, когда работал он у нас в столице курьером в одном банке, как его гангстеры вербовали и что из этого вышло. Спросил он меня, где Драмба, почему его последние дни не видно. Я ему по-честному сказал, что Драмба у меня строит укрепрайон около прудов.

— Укрепрайон — это хорошо, — говорит он серьезно. — Значит, в крайнем случае будет где отсидеться. Погоди, я освобожусь, мы еще настоящую военную игру устроим, все равно ребят нужно будет тренировать...

Ну, поговорили мы про муштровку, про маневры; я смотрю, какой он ласковый да приветливый, а сам думаю: попросить его, что ли, еще разок? Добром. Отпусти, мол, меня домой, а? Нет, не отпустит. Он меня до тех пор не отпустит, пока точно не убедится, что я безопасен. А как его убедить, что я уже и так безопасен, когда я и сам не знаю этого? Да и не узнаю, пока там не окажусь...

Расстались мы. Пожелал он мне спокойного сна, и пошел я к себе. Спать я, конечно, не стал. Так, прилег немножко, подремал вполглаза. А в три часа уже поднялся, стал готовиться. Готовился я так, как ни в какой поиск никогда еще не готовился. Жизнь моя должна была решаться этим утром, ребята. В четыре часа я уже был в саду и сидел в засаде. Время, как всегда в таких случаях, еле ползло. Но я был совершенно спокоен. Я просто знал, что должен эту игру выиграть и что по-другому быть просто не может. А время... Что ж, медленно там или быстро, а оно в конце концов всегда проходит.

Ровно в пять, только роса выпала, раздалось у меня над самым ухом знакомое хриплое мяуканье, ударило по кустам горячим ветром, зажегся над поляной первый огонь, и вот — он уже стоит. Рядом. Так близко я его еще никогда не видел. Огромный, теплый, живой, и бока у него, оказывается, вроде бы даже шерстью покрыты, и заметно шевелятся, пульсируют, дышат... Черт знает, что за машина. Не бывает таких машин.

Я переменил позицию, чтобы быть поближе к дорожке. Смотрю — идут. Впереди мой Голубой Дракон, шнурок у него болтается как положено, в руке стэк, это они хорошо додумались: у них ведь, если шнурок заслужил, то обязательно и стэк, я и сам об этом позабыл. В порядке мой Дракон. Корней шагает за ним следом, и оба они молчат — видно, все уже сказано, остается только руки пожать или, как у них здесь принято, обняться и на дорогу благословить. Я подождал, пока подошли они к «призраку» вплотную, чвакнул, раскрываясь, люк, — и тут я вышел из кустов и наставил на них свою машинку.

— Стоять не шевелясь!

Они разом повернулись ко мне и застыли. Я стоял на полусогнутых, приподняв ствол автомата, — это на тот случай, если кто-нибудь из них вдруг прыгнет на меня через все десять метров, которые нас разделяют, и тогда я встречу его в воздухе.

— Я хочу домой, Корней, — сказал я. — И вы меня сейчас туда заберете. Без всяких разговоров и без всяких отсрочек...

В рассветных сумерках лица их были очень спокойны, и ничего на них не было, кроме внимания и ожидания, что я еще скажу. И краем сознания я отметил, что Корней остался Корнеем, а Голубой Дракон остался голубым Драконом, и оба они были опасны. Ох, как они были опасны!

— Или мы туда отправимся вместе, — сказал я, — или туда не отправится никто. Я вас тут обоих положу и сам лягу.

Сказал и замолчал. Жду. Нечего мне больше сказать. Они тоже молчат. Потом Голубой Дракон чуть поворачивает голову к Корнею и говорит:

— Этот мальчишка... а-а... совершенно забылся. Может быть, мне взять его с собой? Мне же нужен... а-а... денщик.

— Он не годится в денщики, — сказал Корней, и на лице его ни с того ни с сего вдруг появилось то самое выражение предсмертной тоски, которое озадачило меня в первый раз еще в госпитале.

Я даже растерялся.

— Мне надо домой! — сказал я. Как будто прощения просил.

Но Корней уже был прежним.

— Кот, — сказал он. — Эх, ты, котяра... гроза мышей!

8

Гаг продрался через последние заросли и вышел к дороге. Он оглянулся. Ничего уже нельзя было разобрать за путаницей гнилых ветвей. Лил проливной дождь. Смрадом несло из кювета, где в глиняной жиже кисли кучи какого-то зловещего черного тряпья. Шагах в двадцати, на той стороне дороги, торчал, завалившись бортом в трясину, обгорелый бронеход — медный ствол огнемета нелепо целился в низкие тучи. Гаг перепрыгнул через кювет и по обочине зашагал к городу. Дороги как таковой не было. Была река жидкой глины, и по этой жиже навстречу, из города, поминутно увязая, тащились запряженные изнемогающими волами расхлябанные телеги на огромных деревянных колесах, и закутанные до глаз женщины, поминутно оскальзываясь, плача и скверно ругаясь, неистово молотили волов по ребристым бокам, а на телегах, погребенные среди мокрых узлов,

среди торчащих ножками стульев и столов, жались друг к другу бледные золотушные ребятишки, как обезьяны под дождем — их было много, десятки на каждой телеге, и не было в этом плачевном обозе ни одного мужчины...

На сапогах уже налипло по пуду грязи, дождь пропитал куртку, лил за воротник, струился по лицу. Гаг шагал и шагал, а навстречу тянулись беженцы, сгибались под мокрыми тюками и ободранными чемоданами, толкали перед собой тележки с жалкой поклажей, молча, выбиваясь из последних сил, давно, без остановок. И какой-то старик со сломанным костылем на коленях сидел прямо в грязи и монотонно повторял без всякой надежды: «Возьмите ради бога... Возьмите ради бога...» И на покосившемся телеграфном столбе висел какой-то чернолицый человек со скрученными за спиной руками...

Он был дома.

Он миновал застрявший в грязи военный санитарный автофургон. Водитель в грязном солдатском балахоне, в засаленной шапке блином, приоткрыв дверцу, надсадно орал что-то неслышное за ревом двигателя, а у заднего борта в струях грязи, летящих из-под буксующих колес, бестолково и беспомощно суетились маленький военврач с бакенбардами и молоденькая женщина в форме, видимо медсестра. Проходя мимо, Гаг мельком подумал, что только этот автомобиль направляется в город навстречу общему потоку, да и он вот застрял...

— Молодой человек! — услышал он. — Стойте! Я вам приказываю!

Он остановился и повернул голову. Военврач, оскальзываясь, нелепо размахивая руками, бежал к нему, а следом кабаном пер водитель, совершенно озверелый, красно-лиловый, квадратный, с прижатыми к бокам огромными кулаками.

— Немедленно извольте нам помочь! — фальцетом закричал врач, подбегая. Весь он был залит коричневой жижей, и непонятно было, что он мог видеть сквозь заляпанные стеклышки своего пенсне. — Немедленно! Я не позволяю вам отказываться!

Гаг молча смотрел на него.

— Поймите, там чума! — кричал врач, тыча грязной рукой в сторону города. — Я везу сыворотку! Почему никто не хочет мне помочь?

Что в нем было? Старенький, немощный, грязный... А Гаг почему-то вдруг увидел перед собой залитые солнцем комнаты, огромных, красивых, чистых людей в комбинезонах и пестрых рубашках, и как вспыхивают огни «призраков» над круглой поляной... Это было словно наваждение.

— Р-разговаривать с ним, с заразой! — прохрипел водитель, отодвигая врача. Страшно сопя, он ухватил автомат за ствол, выдернул его у Гага из-под мышки и с хрюканьем зашвырнул в лес. — Вырядился, супчик, змеиное молоко... А ну!

Он с размаху влепил Гагу затрещину, и доктор сразу же закричал:

— Прекратите! Немедленно прекратите!

Гаг покачнулся, но устоял. Он даже не взглянул на водителя. Он все глядел на врача и медленно стирал с лица след удара. А врач уже тащил его за рукав.

— Прошу вас, прошу... — бормотал он. — У меня двадцать тысяч ампул. Прошу вас понять... Двадцать тысяч! Сегодня еще не поздно...

Да нет, это был алаец. Обыкновенный алаец-южанин... Наваждение. Они подошли к машине. Водитель, бурча и клокоча, полез в кабину, гаркнул оттуда: «Давай!», и сейчас же заревел двигатель, и Гаг, встав между девушкой и врачом, изо всех сил уперся плечом в борт, воняющий мокрым железом. Завывал двигатель, грязь летела фонтаном, а он все нажимал, толкал, давил и думал: «Дома. Дома...»

ЖУК В МУРАВЕЙНИКЕ

Стояли звери
Около двери,
В них стреляли,
Они умирали.
(Стишок очень маленького мальчика.)

1 июня 78-го года
Сотрудник КОМКОНа-2 Максим Каммерер

В 13.17 Экселенц вызвал меня к себе. Глаз он на меня не поднял, так что я видел только его лысый череп, покрытый бледными старческими веснушками, – это означало высокую степень озабоченности и неудовольствия. Однако не моими делами, впрочем.

– Садись.

Я сел.

– Надо найти одного человека, – сказал он и вдруг замолчал. Надолго. Собрал кожу на лбу в сердитые складки. Фыркнул. Можно было подумать, что ему не понравились собственные слова. То ли форма, то ли содержание. Экселенц обожает абсолютную точность формулировок.

– Кого именно? – спросил я, чтобы вывести его из филологического ступора.

– Льва Вячеславовича Абалкина. Прогрессора. Отбыл позавчера на Землю с Полярной станции Саракша. На Земле не зарегистрировался. Надо его найти.

Он снова замолчал и тут впервые поднял на меня свои круглые, неестественно зеленые глаза. Он был в явном затруднении, и я понял, что дело серьезное.

Прогрессор, не посчитавший нужным зарегистрироваться по возвращении на Землю, хотя и является, строго говоря, нарушителем порядка, но заинтересовать своей особой нашу Комиссию, да еще самого Экселенца, конечно же, никак не может. А между тем Экселенц был в столь явном затруднении, что у меня появилось ощущение, будто он вот-вот откинется на спинку кресла, вздохнет с каким-то даже облегчением и проворчит: «Ладно. Извини. Я сам этим займусь». Такие случаи бывали. Редко, но бывали.

– Есть основания предполагать, – сказал Экселенц, – что Абалкин скрывается.

Лет пятнадцать назад я бы жадно спросил: «От кого?» Однако с тех пор прошло пятнадцать лет, и времена жадных вопросов давно миновали.

– Ты его найдешь и сообщишь мне, – продолжал Экселенц. – Никаких силовых контактов. Вообще никаких контактов. Найти, установить наблюдение и сообщить мне. Не больше и не меньше.

Я попытался отделаться солидным понимающим кивком, но он смотрел на меня так пристально, что я счел необходимым нарочито неторопливо и вдумчиво повторить приказ.

– Я должен обнаружить его, взять под наблюдение и сообщить вам. Ни в коем случае не пытаться его задержать, не попадаться ему на глаза и тем более не вступать в разговоры.

– Так, – сказал Экселенц. – Теперь следующее.

Он полез в боковой ящик стола, где всякий нормальный сотрудник держит справочную кристаллотеку, и извлек оттуда некий громоздкий предмет, название которого я поначалу вспомнил на хонтийском: «заккурапия», что в точном переводе означает – «вместилище документов». И только когда он водрузил это вместилище на стол перед собой и сложил на нем длинные узловатые пальцы, у меня вырвалось:

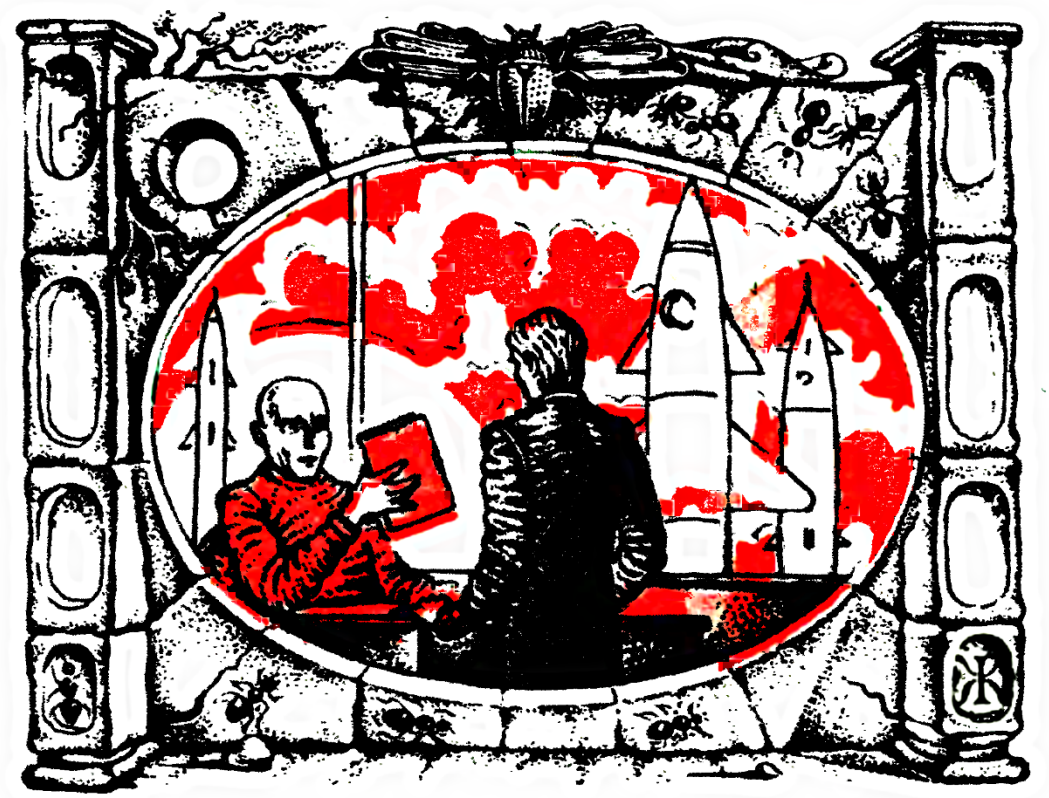
– Папка для бумаг!

– Не отвлекайся, – строго сказал Экселенц. – Слушай внимательно. Никто в Комиссии не знает, что я интересуюсь этим человеком. И ни в коем случае не должен знать. Следовательно, работать ты будешь один. Никаких помощников. Всю свою группу переподчинишь Клавдию, а отчитываться будешь передо мной. Никаких исключений.

Надо признаться, это меня ошеломило. Просто такого еще никогда не было. На Земле я с таким уровнем секретности никогда еще не встречался. И, честно говоря, даже представить себе не мог, что такое возможно. Поэтому я позволил себе довольно глупый вопрос:

– Что значит – никаких исключений?

– Никаких – в данном случае означает просто «никаких». Есть еще несколько человек, которые в курсе этого дела, но поскольку ты с ними никогда не встретишься, то практически о нем знаем только мы двое. Разумеется, в ходе поисков тебе придется говорить со многими людьми. Каждый раз ты будешь пользоваться какой-нибудь легендой. О легендах изволь позаботиться сам. Без легенды будешь разговаривать только со мной.



– Да, Экселенц, – сказал я смиренно.

– Далее, – продолжал он. – Видимо, тебе придется начать с его связей. Все, что мы знаем о его связях, находится здесь. – Он постучал пальцем по папке. – Не слишком много, но есть с чего начать. Возьми.

Я принял папку. С такой я тоже на Земле еще не встречался. Корки из тусклого пластика были стянуты металлическим замком, и на верхней было вытиснено кармином: «ЛЕВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ АБАЛКИН». А ниже почему-то – «07».

– Слушайте, Экселенц, – сказал я. – Почему в таком виде?

– Потому что в другом виде этих материалов нет, – холодно ответил он. – Кстати, кристаллокопирование не разрешаю. Других вопросов у тебя нет?

Разумеется, это не было приглашением задавать вопросы. Просто небольшая порция яда. На этом этапе вопросов было множество, и без предварительного ознакомления с папкой их не имело смысла задавать. Однако я все же позволил себе два.

– Сроки?

– Пять суток. Не больше.

Ни за что не успеть, подумал я.

– Могу я быть уверен, что он – на Земле?

– Можешь.

Я встал, чтобы уйти, но он еще не отпустил меня. Он смотрел на меня снизу вверх пристальными зелеными глазами, и зрачки у него сужались и расширялись, как у кота. Конечно же, он ясно видел, что я недоволен заданием, что задание представляется мне не только странным, но и, мягко выражаясь, нелепым. Однако по каким-то причинам он не мог сказать мне больше, чем уже сказал. И в то же время не хотел отпустить меня без того, чтобы не сказать хоть что-нибудь.

– Помнишь, – проговорил он, – на планете по имени Саракш некто Сикорски по прозвищу Странник гонялся за шустрым молокососом по имени Мак...

Я помнил.

– Так вот, – сказал Экселенц. – Сикорски тогда не поспел. А мы с тобой должны поспеть. Потому что планета теперь называется не Саракш, а Земля. А Лев Абалкин – не молокосос.

– Загадками изволите говорить, шеф? – сказал я, чтобы скрыть охватившее меня беспокойство.

– Иди работай, – сказал он.

1 июня 78-го года

Кое-что о Льве Абалкине, Прогрессоре

Андрей и Сандро все еще дожидались меня и были потрясены, когда я переподчинил их Клавдию. Они даже заартачились было, но беспокойство мое не проходило, я рявкнул на них, и они удалились, обиженно ворча и бросая на папку недоверчиво-встревоженные взгляды. Эти взгляды возбудили во мне новую и совершенно неожиданную заботу: где мне теперь держать это чудовищное «вместилище документов»?

Я уселся за стол, положил папку перед собой и машинально взглянул на регистратор. Семь сообщений за четверть часа, которые я провел у Экселенца. Признаюсь, не без удовольствия я переключил всю свою рабочую связь на Клавдия. Затем я занялся папкой.

Как я и ожидал, в папке не было ничего, кроме бумаги. Двести семьдесят три пронумерованных листка разного цвета, разного качества, разного формата и разной степени сохранности. Я не имел дела с бумагой добрых два десятка лет, и первым моим побуждением было

засунуть всю эту груду в транслятор, но я, разумеется, вовремя спохватился. Бумага так бумага. Пусть будет бумага.

Все листки были очень неудобно, но прочно схвачены хитроумным металлическим устройством на магнитных защелках, и я не сразу заметил самую обыкновенную радиокарточку, подсунутую под верхний зажим. Эту радиограмму Экселенц получил сегодня, за шестнадцать минут до того, как вызвал меня к себе. Вот что в ней было:

01.06. – 13.01. СЛОН – СТРАННИКУ.

НА ВАШ ЗАПРОС О ТРИСТАНЕ ОТ 01.06. – 07.11 СООБЩАЮ: 31.05. – 19.34. ЗДЕСЬ ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ КОМАНДИРА БАЗЫ САРАКШ-2. ЦИТИРУЮ: ПРОВАЛ ГУРОНА (АБАЛКИН, ШИФРОВАЛЬЩИК ШТАБА ГРУППЫ ФЛОТОВ «Ц» ОСТРОВНОЙ ИМПЕРИИ). 28.05. ТРИСТАН (ЛОФФЕНФЕЛЬД, ВЫЕЗДНОЙ ВРАЧ БАЗЫ) ВЫЛЕТЕЛ ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО МЕДОСМОТРА ГУРОНА. СЕГОДНЯ 29.05. – 17.13. НА ЕГО БОТЕ ПРИБЫЛ НА БАЗУ ГУРОН. ПО ЕГО СЛОВАМ, ТРИСТАН ПРИ НЕИЗВЕСТНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ БЫЛ СХВАЧЕН И УБИТ КОНТРРАЗВЕДКОЙ ШТАБА «Ц». ПЫТАЯСЬ СПАСТИ ТЕЛО ТРИСТАНА И ДОСТАВИТЬ ЕГО НА БАЗУ, ГУРОН РАСКРЫЛ СЕБЯ. СПАСТИ ТЕЛО ЕМУ НЕ УДАЛОСЬ. ПРИ ПРОРЫВЕ ГУРОН ФИЗИЧЕСКИ НЕ ПОСТРАДАЛ, НО НАХОДИТСЯ НА ГРАНИ ПСИХИЧЕСКОГО СПАЗМА. ПО ЕГО НАСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОСЬБЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА ЗЕМЛЮ РЕЙСОВЫМ 611. ЦИТАТА ОКОНЧЕНА.

СПРАВКА: 611 ПРИБЫЛ НА ЗЕМЛЮ 30.05. – 22.32. АБАЛКИН НА СВЯЗЬ С КОМКОНОМ НЕ ВЫХОДИЛ, НА ЗЕМЛЕ К МОМЕНТУ СЕГОДНЯ 12.53 НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН. НА ОСТАНОВКАХ ПО МАРШРУТУ 611 (ПАНДОРА, КУРОРТ) НА ТОТ ЖЕ МОМЕНТ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ТАКЖЕ.

СЛОН.

Прогрессоры. Так. Признаюсь совершенно откровенно: я не люблю Прогрессоров, хотя сам был, по-видимому, одним из первых Прогрессоров еще в те времена, когда это понятие употреблялось только в теоретических выкладках. Впрочем, надо сказать, что в своем отношении к Прогрессорам я не оригинален. Это не удивительно: подавляющее большинство землян органически не способно понять, что бывают ситуации, когда компромисс исключен. Либо они меня, либо я их, и некогда разбираться, кто в своем праве. Для нормального землянина это звучит дико, и я его понимаю, я ведь сам был таким, пока не попал на Саракш. Я прекрасно помню это видение мира, когда любой носитель разума априорно воспринимается как существо,

этически равное тебе, когда невозможна сама постановка вопроса, хуже он тебя или лучше, даже если его этика и мораль отличаются от твоей...

И тут мало теоретической подготовки, недостаточно модельного кондиционирования – надо самому пройти через сумерки морали, увидеть кое-что собственными глазами, как следует опалить собственную шкуру и накопить не один десяток тошных воспоминаний, чтобы понять наконец, и даже не просто понять, а вплавить в мировоззрение эту некогда тривиальнейшую мысль: да, существуют на свете носители разума, которые гораздо, значительно хуже тебя, каким бы ты ни был... И вот только тогда ты обретаешь способность делить на чужих и своих, принимать мгновенные решения в острых ситуациях и научаешься смелости сначала действовать, а уж потом разбираться.

По-моему, в этом сама суть Прогрессора: умение решительно разделить на своих и чужих. Именно за это умение дома к ним относятся с опасливым восторгом, с восторженной опаской, а сплошь и рядом – с несколько брезгливой настороженностью. И тут ничего не поделаешь. Приходится терпеть – и нам, и им. Потому что либо Прогрессоры, либо нечего Земле соваться во внеземные дела... Впрочем, к счастью, нам в КОМКОНе-2 достаточно редко приходится иметь дело с Прогрессорами.

Я прочитал радиограмму и внимательно перечитал ее еще раз. Странно. Выходит, Экселенц интересуется главным образом неким Тристаном, он же Лоффенфельд. Ради того, чтобы узнать нечто об этом Тристане, он поднялся сегодня в несусветную рань сам и не постеснялся поднять из постели нашего Слона, который, как всем известно, ложится спать с петухами...

Еще одна странность: можно подумать, что он заранее знал, какой будет ответ. Ему понадобилось всего четверть часа, чтобы принять решение о розыске Абалкина и приготовить для меня папку с его бумагами. Можно подумать, что эта папка была у него уже под рукой...

И самое странное: конечно, Абалкин – последний человек, который видел хотя бы труп Тристана, но если Экселенцу Абалкин понадобился только как свидетель по делу Тристана, то к чему была эта зловещая притча о некоем Страннике и некоем молокососе?

О, разумеется, у меня были версии. Двадцать версий. И среди них ослепительным алмазом сверкнула, например, такая: Гурон-Абалкин перевербован имперской разведкой, он убивает Тристана-Лоффенфельда и скрывается на Земле, имея целью внедрить себя во Всемирный совет...

Я еще раз перечитал радиограмму и отложил ее в сторону. Ладно. Лист № 1. Абалкин Лев Вячеславович. Кодовый номер такой-то. Генетический код такой-то. Родился 6 октября 38-го года. Воспитание: школа-интернат 241, Сыктывкар. Учитель: Федосеев Сергей Павлович. Образование: школа Прогрессоров № 3 (Европа). Наставник: Горн Эрнст-Юлий. Профессиональные склонности: зоопсихология, театр, этнолингвистика. Профессиональные показания: зоопсихология, теоретическая ксенология. Работа: февраль 58-го – сентябрь 58-го, дипломная практика, планета Саракш, опыт контакта с расой голованов в естественной обстановке...

Тут я остановился. Вот так так! А ведь я же его, пожалуй, помню! Правильно, это было в 58-м. Явилась целая компания – Комов, Раулингсон, Марта... и этот угрюмоватый парнишка-практикант. Экселенц (в те времена – Странник) приказал мне бросить все дела и переправить их через Голубую Змею в Крепость под видом экспедиции Департамента науки... Мосластый такой парень с очень бледным лицом и длинными прямыми черными волосами, как у американского индейца. Правильно! Они все звали его (кроме Комова, конечно) Левушкой-ревушкой, или просто Ревушкой, но не потому, разумеется, что он был плакса, а потому, что голос у него был зычный, взревывающий, как у тахорга... Тесен мир! Ладно, посмотрим, что с ним стало дальше.

Март 60-го – июль 62-го, планета Саракш, руководитель-исполнитель операции «Человек и голованы». Июль 62-го – июнь 63-го, планета Пандора, руководитель-исполнитель операции «Голован в Космосе». Июнь 63-го – сентябрь 63-го, планета Надежда, участие совместно с голованом Щекном в операции «Мертвый мир». Сентябрь 63-го – август 64-го, планета Пандора, курсы переподготовки. Август 64-го – ноябрь 66-го, планета Гиганда, первый опыт самостоятельного внедрения – младший бухгалтер службы охотничьего собаководства, псарь маршала Нагон-Гига, егермейстер герцога Алайского (см. лист № 66) ...

Я посмотрел лист № 66. Это оказался клочок бумаги, небрежно откуда-то выдранный и сохранивший складки от помятостей. На нем размашистым почерком было написано: «Руди! Чтобы ты не беспокоился. Божьим попущением на Гиганде встретились двое наших близнецов. Уверяю тебя – совершенная случайность и без последствий. Если не веришь, загляни в 07 и 11. Меры уже приняты». Неразборчивая вычурная подпись. Слово «совершенная» подчеркнуто трижды. На обороте бумажки – какой-то печатный текст арабской вязью.

Я поймал себя на том, что чешу в затылке, и вернулся к листу № 1.

Ноябрь 66-го – сентябрь 67-го, планета Пандора, курсы переподготовки. Сентябрь 67-го – декабрь 70-го, планета Саракш, внедрение в республику Хонти – унионист-подпольщик, выход на связь с агентурой Островной Империи (первый этап операции «Штаб»). Декабрь 70-го, планета Саракш, Островная Империя – заключенный концентрационного лагеря (до марта 71-го без связи), переводчик комендатуры концентрационного лагеря, солдат строительных частей, старший солдат в Береговой Охране, переводчик штаба отряда Береговой Охраны, переводчик-шифровальщик флагмана 2-го подводного флота группы «Ц», шифровальщик штаба группы флотов «Ц». Наблюдающий врач: с 38-го по 53-й – Леканова Ядвига Михайловна; с 53-го по 60-й – Крэсеску Ромуальд; с 60-го – Лоффенфельд Курт.

Все. Больше на листе № 1 ничего не было. Впрочем, на обороте крупно, во всю страницу было изображено размытыми коричневыми полосами (словно бы гуашью) что-то вроде стилизованной буквы «Ж».

Ну что ж, Лев Абалкин, Левушка-ревушка, теперь я о тебе кое-что знаю. Теперь я уже могу начинать искать тебя. Я знаю, кто твой Учитель. Я знаю, кто твой Наставник. Я знаю твоих наблюдающих врачей… А вот чего я не знаю, так это – зачем и кому нужен этот лист № 1? Ведь если бы человеку понадобилось узнать, кто есть Лев Абалкин, он мог бы вызвать информаторий (я вызвал БВИ), набрал бы имя или кодовый номер (я набрал кодовый номер) и спустя… раз-и-два-и-три-и… четыре секунды получил бы возможность узнать все, что один человек имеет право знать о другом, постороннем ему человеке.

Пожалуйста: Абалкин Лев и так далее, кодовый номер, генетический код, родился тогда-то, родители (кстати, почему в листе № 1 не указаны родители?): Абалкина Стелла Владимировна и Цюрупа Вячеслав Борисович, школа-интернат в Сыктывкаре, Учитель, школа Прогрессоров, Наставник… Все совпадает. Так. Прогрессор, работает с 60-го: планета Саракш. Гм. Немного. Только официальные данные. По-видимому, в дальнейшем решил не утруждать себя сообщением новых сведений службе БВИ… А это что? «Адрес на Земле: не зарегистрирован».

Я набрал новый запрос: «По каким адресам регистрировался на Земле кодовый номер такой-то?» Через две секунды последовал ответ: «Последний адрес Абалкина на Земле – школа Прогрессоров № 3 (Европа)». Тоже любопытная деталь. Либо Абалкин за последние восемнадцать лет на Земле не был ни разу, либо человек он крайне

нелюдимый, не регистрируется никогда и никаких сведений о себе подавать не желает. И то, и другое представить себе, конечно, можно, однако выглядит это в достаточной мере непривычно...

Как известно, в БВИ содержатся только те сведения, которые человек хочет сообщить о себе сам. А что содержится в листе № 1? Я решительно не вижу в этом листе ничего такого, что Абалкину стоило бы скрывать. Все там изложено гораздо подробнее, но ведь за такого рода подробностями никому и в голову не пришло бы обращаться в БВИ. Обратись в КОМКОН-1, и там тебе все это изложат. А чего не знают в КОМКОНе, легко выяснить, потолкавшись на Пандоре среди Прогрессоров, проходящих там рекондиционирование или просто валяющихся на Алмазном Пляже у подножия величайших в обитаемом Космосе песчаных дюн...

Ладно, господь с ним, с этим листом № 1. Хотя в скобках отметим, что мы так и не поняли, зачем он нужен вообще, да еще такой подробный... А если уж он такой подробный, то почему в нем нет ни слова о родителях?

Стоп. Это, скорее всего, меня не касается. А вот почему он, вернувшись на Землю, не зарегистрировался в КОМКОНе? Это можно объяснить: психический спазм. Отвращение к своему делу. Прогрессор на грани психического спазма возвращается на родную планету, где он не был по меньшей мере восемнадцать лет. Куда он пойдет? По-моему, к маме идти в таком состоянии непристойно. Абалкин не похож на сопляка, точнее – не должен быть похож. Учитель? Или Наставник? Это возможно. Это вполне вероятно. Поплакаться в жилетку. Это я по себе знаю. Причем скорее Учитель, чем Наставник. Ведь Наставник в каком-то смысле все-таки коллега, а у нас – отвращение к делу... Стоп. Да стоп же! Что это со мной? Я посмотрел на часы. На два документа у меня ушло тридцать четыре минуты. Причем я ведь даже пока еще не изучал их, я только ознакомился с ними.

Я заставил себя сосредоточиться и вдруг понял, что дело плохо. Я вдруг осознал, что мне совсем неинтересно думать о том, КАК найти Абалкина. Мне гораздо интереснее понять, ПОЧЕМУ его так нужно найти. Разумеется, я немедленно разозлился на Экселенца, хотя простая логика подсказывала мне, что, если бы это помогло мне в поисках, шеф непременно представил бы все необходимые объяснения. А раз он не объяснил мне, ПОЧЕМУ надо искать и найти Абалкина, значит, это ПОЧЕМУ не имеет никакого отношения к вопросу КАК.

И тут же я понял еще одну вещь. Вернее, не понял, а почувствовал. А еще точнее – заподозрил. Вся эта громоздкая папка, все это обилие бумаги, вся эта пожелтевшая писанина ничего не дадут мне, кроме,

может быть, еще нескольких имен и огромного количества новых вопросов, опять-таки не имеющих никакого отношения к вопросу КАК.

1 июня 78-го года
Вкратце о содержании папки

К 14.23 я закончил опись содержимого.

Большую часть бумаг составляли документы, написанные, как я понял, рукой самого Абалкина.

Во-первых, это был его отчет об участии в операции «Мертвый мир» на планете Надежда – семьдесят шесть страниц, исписанных отчетливым крупным почерком почти без помарок. Я бегло проглядел эти страницы. Абалкин рассказывал, как он с голованом Щекном в поисках какого-то объекта (я не уловил, какого именно) пересек покинутый город и одним из первых вступил в контакт с остатками несчастных аборигенов.

Полтора десятка лет назад Надежда и ее дикая судьба были на Земле притчей во языцех, да они и оставались до сих пор притчей во языцех, как грозное предупреждение всем обитаемым мирам во Вселенной и как свидетельство самого недавнего по времени и самого масштабного вмешательства Странников в судьбы других цивилизаций. Теперь считается твердо установленным, что за свое последнее столетие обитатели Надежды потеряли контроль над развитием технологии и практически необратимо нарушили экологическое равновесие. Природа была уничтожена. Отходы промышленности, отходы безумных и отчаянных экспериментов в попытках исправить положение загадили планету до такой степени, что местное человечество, пораженное целым комплексом генетических заболеваний, обречено было на полное одичание и неизбежное вымирание. Генные структуры взбесились на Надежде. Собственно, насколько я знаю, до сих пор никто у нас так и не понял механику этого бешенства. Во всяком случае, модель этого процесса до сих пор не удалось воспроизвести ни одному нашему биологу. Бешенство генных структур. Внешне это выглядело как стремительное, нелинейное по времени ускорение темпов развития всякого мало-мальски сложного организма. Если говорить о человеке, то до двенадцати лет он развивался в общем нормально, а затем начинал стремительно взрослеть и еще более стремительно стареть. В шестнадцать лет он выглядел тридцатипятилетним, а в девятнадцать, как правило, умирал от старости.

Разумеется, такая цивилизация не имела никакой исторической перспективы, но тут пришли Странники. Впервые, насколько нам

известно, они активно вмешались в события чужого мира. Теперь можно считать установленным, что им удалось вывести подавляющее большинство населения Надежды через межпространственные тоннели и, видимо, спасти. (Куда были выведены эти миллиарды несчастных больных людей, где они сейчас и что с ними сталось – мы, конечно, не знаем и, похоже, узнаем не скоро.)

Абалкин принимал участие лишь в самом начале операции «Мертвый мир», и роль, которая ему в ней отводилась, была достаточно скромной. Хотя, если взглянуть на это с принципиальной стороны, он был первым (и пока единственным) Прогрессором-землянином, которому довелось работать в паре с представителем разумной негуманоидной расы.

Проглядывая этот отчет, я обнаружил, что Абалкин упоминает там довольно много имен, но у меня сложилось впечатление, что для дела следует взять на заметку одного только Щекна. Мне было известно, что сейчас на Земле пребывает целая миссия голованов, и, пожалуй, имело смысл выяснить, нет ли среди них этого Щекна. Абалкин писал о нем с такой теплотой, что я не исключал возможности встречи его с давним приятелем. К этому моменту я уже отметил для себя, что у Абалкина особое отношение к «меньшим братьям»: на голованов он потратил несколько лет жизни, на Гиганде стал псарем... и вообще.

И был в папке еще один отчет Абалкина – о его операции на Гиганде. Операция, впрочем, была, на мой взгляд, пустяковая: егермейстер его высочества герцога Алайского пристраивал курьером в банк своего бедного родственника. Егермейстером был Лев Абалкин, а бедным родственником – некий Корней Яшмаа. Как мне показалось, материал этот был для меня совершенно бесполезен. Кроме Корнея Яшмаа, насколько я мог заметить при беглом просмотре, в нем не содержалось ни одного земного имени. Мелькали какие-то Зогги, Нагон-Гиги, шталмейстеры, сиятельства, бронемастеры, конференц-директора, гоф-дамы... Я взял на заметку этого Корнея, хотя и было ясно, что он вряд ли мне понадобится. Всего во втором отчете содержалось двадцать четыре страницы, и больше отчетов Льва Абалкина о своей работе в папке не оказалось. Это показалось мне странным, и я положил себе подумать как-нибудь в дальнейшем: почему из всех многочисленных отчетов профессионального Прогрессора в папку 07 попали только два, и именно эти два?..

Оба отчета были выполнены в манере «лаборант» и, на мой взгляд, сильно смахивали на школьные сочинения в жанре «Как я

провел каникулы у дедушки». Писать такие отчеты – одно удовольствие, читать их, как правило, – сущее мучение. Психологи (засевшие в штабах) требуют, чтобы отчеты содержали не столько объективные данные о событиях и фактах, сколько сугубо субъективные ощущения, личные впечатления и поток сознания автора. При этом манеру отчета («лаборант», «генерал», «артист») автор не выбирает – ему ее предписывают, руководствуясь какими-то таинственными психологическими соображениями. Воистину, есть ложь, беспардонная ложь и статистика, но не будем, друзья, забывать и о психологии!

Я не психолог, во всяком случае, не профессионал, но я подумал, что, может быть, и мне удастся извлечь из этих отчетов что-нибудь полезное о личности Льва Абалкина.

Просматривая содержимое папки, я то и дело обнаруживал однообразные, я бы сказал, просто одинаковые и совершенно непонятные мне документы: синеватые листы плотной бумаги с зеленым обрезом и выдавленной в верхнем левом углу монограммой, изображающей то ли китайского дракона, то ли птеродактиля. На каждом таком листе уже знакомым мне размашистым почерком иногда стилом,

иногда фломастером, а пару раз почему-то лабораторным электродным карандашом было написано: «Тристан 777». Ниже стояли дата и все та же замысловатая подпись. Насколько можно было судить по датам, такие листки закладывались в папку с 60-го года примерно раз в три месяца, так что папка на четверть состояла из них.

И еще двадцать две страницы занимала переписка Абалкина с его руководством. Переписка эта навела меня на некоторые размышления.

В октябре 63-го года Абалкин направляет в КОМКОН-1 рапорт, в котором выражает пока еще кроткое недоумение по поводу того, что операция «Голован в Космосе» свернута без консультации с ним, хотя операция эта развивалась вполне успешно и обещала богатую перспективу.

Неизвестно, какой ответ получил Абалкин на этот свой рапорт, но в ноябре того же года он пишет совершенно отчаянное письмо Комову с просьбой возобновить операцию «Голован в Космосе» и одновременно очень резкое письмо в КОМКОН, в котором протестует против направления его, Абалкина, на курсы переподготовки. (Заметим, что все это он почему-то делает в письменной форме, а не обычным порядком.)

Как явствует из дальнейших событий, переписка эта никакого действия не возымела, и Абалкин отправляется работать на Гиганду. Три года спустя, в ноябре 66-го, он снова пишет в КОМКОН с Пандоры и просит направить его на Саракш для продолжения работы с голованами. На этот раз его просьбу удовлетворяют, но только отчасти: его посылают на Саракш, но не на Голубую Змею, а в Хонти унионистом-подпольщиком.

С курсов переподготовки в феврале и августе 67-го года он еще дважды пишет в КОМКОН (Бадеру, а потом и самому Горбовскому), указывая на нецелесообразность использования его, хорошего специалиста по голованам, в качестве резидента. Тон его писем становится все резче, письмо Горбовскому, например, я иначе как оскорбительным не назвал бы. Любопытно было бы мне узнать, что ответил душка Леонид Андреевич на этот взрыв ярости и презрительного негодования.

И уже будучи резидентом в Хонти, в октябре 67-го года Абалкин посылает Комову свое последнее письмо: развернутый план форсирования контактов с голованами, включающий обмен постоянными миссиями, привлечение голованов к зоопсихологическим работам, проводящимся на Земле, и т. д. и т. п. Я никогда специально не следил за работой в этой области, но у меня сложилось такое впечатление,

что этот план сейчас принят и осуществляется. А если это так, то положение парадоксальное: план осуществляется, а инициатор его торчит резидентом то в Хонти, то в Островной Империи.

В общем, эта переписка оставила у меня какое-то тягостное впечатление. Ну ладно, пусть в проблеме голованов я не специалист, мне трудно судить, вполне возможно, что план Абалкина совершенно тривиален, и употреблять такие громкие слова, как инициатор, не имеет смысла. Но дело не только и не столько в этом! Парень, видимо, прирожденный зоопсихолог. «Профессиональные склонности: зоопсихология, театр, этнолингвистика... Профессиональные показания: зоопсихология, теоретическая ксенология...» И тем не менее из парня делают Прогрессора. Не спорю, существует целый класс Прогрессоров, для которых зоопсихология – хлеб насущный. Например, те, кто работает с леонидянами или с теми же голованами. Так нет же, парню приходится работать с гуманоидами, работать резидентом, боевиком, хотя он пять лет кричит на весь КОМКОН: «Что вы со мной делаете?» А потом они удивляются, что у него психический спазм!

Конечно, Прогрессор – это такая профессия, где железная, я бы сказал, военная дисциплина совершенно неизбежна. Прогрессор сплошь и рядом вынужден делать не то, что ему хочется, а то, что приказывает КОМКОН. На то он и Прогрессор. И, наверное, резидент Абалкин много ценнее для КОМКОНа, нежели зоопсихолог Абалкин. Но все-таки есть в этой истории какое-то нарушение меры, и недурно было бы поговорить на эту тему с Горбовским или с Комовым... И что бы там ни натворил этот Абалкин (а он явно что-то натворил), я, ей-богу, на его стороне.

Впрочем, все это, по-видимому, к моей задаче отношения не имеет.

Еще я заметил, что не хватает трех пронумерованных страниц после первого отчета Абалкина, двух страниц – после второго его отчета и двух страниц – после последнего письма Абалкина Комову. Я решил не придавать этому значения.

1 июня 78-го года
Почти все о возможных связях Льва Абалкина

Я составил предварительный список возможных связей Льва Абалкина на Земле, и оказалось у меня в этом списке всего восемнадцать имен. Практически для меня представляли интерес только шесть человек, и я расставил их в порядке убывания вероятности (по

моим представлениям, конечно) того, что Лев Абалкин посетит их. Выглядело это так:

Учитель Сергей Павлович Федосеев.

Мать Стелла Владимировна Абалкина.

Отец Вячеслав Борисович Цюрупа.

Наставник Эрнст-Юлий Горн.

Наблюдающий врач школы Прогрессоров Ромуальд Крэсеску.

Наблюдающий врач школы-интерната Ядвига Михайловна Леканова.

Во втором эшелоне у меня оставались Корней Яшмаа, голован Щекн, Яков Вандерхузе и еще человек пять, как правило – Прогрессоров. Что же касается таких персон, как Горбовский, Бадер, Комов, то я выписал их скорее для проформы. Обращаться к ним нельзя было уже хотя бы потому, что их никакими легендами не проймешь, а разговаривать впрямую я не имел права, даже если бы они сами обратились ко мне по этому делу.

В течение десяти минут информаторий выдал мне следующие малоутешительные сведения.

Родители Льва Абалкина не существовали – по крайней мере, в обычном смысле этого слова. Возможно, они не существовали вообще. Дело в том, что сорок с лишним лет назад Стелла Владимировна и Вячеслав Борисович в составе группы «Йормала» на уникальном звездолете «Тьма» совершили погружение в Черную Дыру ЕН 200056. Связи с ними не было, да и не могло быть, по современным представлениям. Лев Абалкин, оказывается, был их посмертным ребенком. Конечно, слово «посмертный» в этом контексте не совсем точно: вполне можно было допустить, что родители его еще живы и будут жить еще миллионы лет в нашем времяисчислении, но, с точки зрения землянина, они, конечно, все равно что мертвы. У них не было детей, и, уходя навсегда из нашей Вселенной, они, как и многие супружеские пары до них и после них в подобной ситуации, оставили в Институте Жизни материнскую яйцеклетку, оплодотворенную отцовским семенем. Когда стало ясно, что погружение удалось, что они более не вернутся, клетку активировали, и вот на свет появился Лев Абалкин – посмертный сын живых родителей. По крайней мере, теперь мне стало понятно, почему в листе № 1 родители Абалкина не упоминались вовсе.

Эрнста-Юлия Горна, Наставника Абалкина по школе Прогрессоров, уже не было в живых. В 72-м году он погиб на Венере при восхождении на пик Строгова.

Врач Ромуальд Крэсеску пребывал на некоей планете Лу, совершенно, по-видимому, вне пределов досягаемости. Я никогда даже не слышал о такой планете, но, поскольку Крэсеску является Прогрессором, следовало предположить, что планета эта обитаема. Любопытно, однако, что старикан (сто шестнадцать лет!) оставил в БВИ свой последний домашний адрес, сопроводив его таким характерным посланием: «Моя внучка и ее муж всегда будут рады принять по этому адресу любого из моих питомцев». Надо полагать, питомцы любили своего старикана и частенько навещали его. Мне следовало иметь в виду это обстоятельство.

С остальными двумя мне повезло.

Сергей Павлович Федосеев, Учитель Абалкина, жил и здравствовал на берегу Аятского озера в усадьбе с предостерегающим названием «Комарики». Ему тоже уже было за сто, и был он, по-видимому, человек либо чрезвычайно скромный, либо замкнутый, потому что не сообщал о себе ничего, кроме адреса. Все остальные данные были официальные: окончил то-то и то-то, археолог, Учитель. Все. Как говорится, яблочко от яблони... Весь в своего ученика Льва Абалкина. А между тем, когда я послал в БВИ соответствующий дополнительный запрос, выяснилось, что Сергей Павлович – автор более тридцати статей по археологии, участник восьми археологических экспедиций (Северо-Западная Азия) и трех евразийских конференций Учителей. Кроме того, он у себя в «Комариках» организовал регионального значения личный музей по палеолиту Северного Урала. Такой вот человек. Я решил с ним связаться в ближайшее же время.

А вот с Ядвигой Михайловной Лекановой меня ожидал небольшой сюрприз. Врачи-педиатры редко меняют свою профессию, и я как-то уже представлял себе этакую старушку – божий одуванчик, согнувшуюся под невообразимым грузом специфического и, по сути, самого ценного в мире опыта, бодренько семенящую все по той же территории Сыктывкарской школы. Черта с два – семенящую! Некоторое время она действительно педиатрствовала и именно в Сыктывкаре, но потом она переквалифицировалась в этнолога, и мало того – она занималась последовательно: ксенологией, патоксенологией, сравнительной психологией и левелометрией, и во всех этих не так уж тесно связанных между собой науках она явно преуспела, если судить по количеству опубликованных ею работ и по ответственности постов, ею занимаемых. За последние четверть века ей довелось работать в шести различных организациях и институтах, а сейчас она работала в седьмом – в передвижном Институте земной этнологии в бассейне Амазонки. Адреса у нее не было, желающим предлагалось

устанавливать с нею связь через стационар Института в Манаосе. Что ж, и на том спасибо, хотя сомнительно, конечно, чтобы мой клиент в своем нынешнем состоянии потащился к ней в эти все еще первобытные дебри.

Было совершенно очевидно, что начинать следует с Учителя. Я взял папку под мышку, сел в машину и вылетел на Аятское озеро.

1 июня 78-го года
Учитель Льва Абалкина

Вопреки моим опасениям, усадьба «Комарики» стояла на высоком обрыве над самой водой, открытая всем ветрам, и никаких комариков там не оказалось. Хозяин встретил меня без удивления и достаточно приветливо. Мы расположились на веранде в плетеных креслах у овального антикварного столика, на котором имели место миска со свежей малиной, кувшин с молоком и несколько стаканов.

Я вторично извинился за вторжение, и вновь мои извинения были приняты молчаливым кивком. Он смотрел на меня со спокойным ожиданием и как бы равнодушно, и вообще лицо у него было малоподвижное, как, впрочем, у большинства этих стариков, которые в свои сто с лишним лет сохраняют полную ясность мысли и совершенную крепость тела. Лицо у него было угловатое, коричневое от загара, почти без морщин, с мощными густыми бровями, торчащими над глазами вперед, словно солнцезащитные козырьки. Забавно, что правая бровь у него была черная, как смоль, а левая – совершенно белая, именно белая, а не седая.

Я обстоятельно представился и изложил свою легенду. Я был журналист, по профессии – зоопсихолог, и сейчас собирал материалы для книги о контактах человека с голованами... Вы наверняка знаете, сказал я, что ваш ученик Лев Вячеславович Абалкин сыграл в этих контактах очень видную роль. Я и сам был когда-то знаком с ним, но это было давно, с тех пор я растерял все свои связи. Сейчас я попытался его разыскать, но в КОМКОНе мне сказали, что Льва Вячеславовича нет на Земле, а когда он вернется – совершенно неизвестно. Между тем мне хотелось бы узнать как можно больше о его детстве, как у него все это начиналось, почему так, а не иначе, – движение психологии исследователя, вот что меня интересует в первую очередь. К сожалению, Наставника его уже нет в живых, друзей его я не знаю, но зато я имею возможность побеседовать с вами, с его Учителем. Я лично убежден, что все в человеке начинается с детства, причем с самого раннего детства...

Признаться, у меня все время теплилась некоторая надежда, что в самом начале моего вранья я буду прерван возгласом: «Позвольте, позвольте! Но ведь Лев был у меня буквально вчера!» Однако меня не прервали, и мне пришлось договорить все до конца – изложить с самым умным видом все свои скороспелые суждения о том, что творческая личность формируется в детстве, именно в детстве, а не в отрочестве, не в юности и уж, конечно, не в зрелом возрасте, именно формируется, а не то чтобы просто закладывается или там зарождается... Мало того, когда я наконец выдохся совсем, старик молчал еще целую минуту, а потом вдруг спросил, кто такие эти голованы.

Я удивился самым искренним образом. Получалось, что Лев Абалкин не удосужился похвалиться успехами перед своим Учителем! Знаете ли, надо быть в высшей степени нелюдимым и замкнутым человеком, чтобы не похвалиться перед своим Учителем своими успехами.

Я с готовностью объяснил, что голованы – это разумная киноидная раса, возникшая на планете Саракш в результате лучевых мутаций.

– Киноиды? Собаки?

– Да. Разумные собакообразные. У них огромные головы, отсюда – голованы.

– Значит, Лева занимается собакообразными... Добился своего...

Я возразил, что совсем не знаю, чем занимается Лева сейчас, однако двадцать лет назад он голованами занимался, и с большим успехом.

– Он всегда любил животных, – сказал Сергей Павлович. – Я был убежден, что ему следует стать зоопсихологом. Когда комиссия по распределению направила его в школу Прогрессоров, я протестовал как мог, но меня не послушались... Впрочем, там было все сложнее, может быть, если бы я не стал протестовать...

Он замолчал и налил мне в стакан молока. Очень, очень сдержанный человек. Никаких возгласов, никаких: «Лева! Как же! Это был такой замечательный мальчишка!» Конечно, вполне может быть, что Лева не был замечательным мальчишкой...

– Так что бы вы хотели узнать от меня конкретно? – спросил Сергей Павлович.

– Все! – ответил я быстро. – Каким он был. Чем увлекался. С кем дружил. Чем славился в школе. Все, что вам запомнилось.

– Хорошо, – сказал Сергей Павлович без всякого энтузиазма. – Попробую.

Лев Абалкин был мальчик замкнутый. С самого раннего детства. Это была первая его черта, которая бросалась в глаза. Впрочем,

замкнутость эта не была следствием чувства неполноценности, ощущения собственной ущербности или неуверенности в себе. Это была скорее замкнутость всегда занятого человека. Как будто он не хотел тратить время на окружающих, как будто он был постоянно и глубоко занят своим собственным миром. Грубо говоря, этот мир, казалось, состоял из него самого и всего живого вокруг – за исключением людей. Это не такое уж редкое явление среди ребятишек, просто он был ТАЛАНТЛИВ в этом, а удивляло в нем как раз другое: при всей своей явной замкнутости он охотно и прямо-таки с наслаждением выступал на всякого рода соревнованиях и в школьном театре, особенно в театре. Но, правда, всегда соло. В пьесах участвовать он отказывался категорически. Обычно он декламировал, даже пел с большим вдохновением, с необычным для него блеском в глазах, он словно раскрывался на сцене, а потом, сойдя в партер, снова становился самим собой – уклончивым, молчаливым, неприступным. И таким он был не только с Учителем, но и с ребятами, и так и не удалось разобраться, в чем же тут причина. Можно предполагать только, что его талант в общении с живой природой настолько возобладал над всеми остальными движениями его души, что окружающие ребята – да и вообще все люди – были ему просто неинтересны. На самом деле, конечно, все это было гораздо сложнее – эта его замкнутость, эта погруженность в собственный мир явились результатом тысячи микрособытий, которые остались вне поля зрения Учителя. Учитель вспомнил такую сценку: после проливного дождя Лев ходил по дорожкам парка, собирал червяков-выползков и бросал обратно в траву. Ребятам это показалось смешным, и были среди них такие, кто умел не только смеяться, но и жестоко высмеивать. Учитель, не говоря ни слова, присоединился к Леве и стал собирать выползков вместе с ним...

– Но боюсь, он мне не поверил. Вряд ли мне удалось убедить его, что судьба червяков меня интересует на самом деле. А у него было еще одно заметное качество: абсолютная честность. Я не помню ни одного случая, чтобы он соврал. Даже в том возрасте, когда дети врут охотно и бессмысленно, получая от вранья чистое, бескорыстное удовольствие. А он не врал. И, более того, он презирал тех, кто врет. Даже если врали бескорыстно, для интереса. Я подозреваю, что в его жизни был какой-то случай, когда он впервые с ужасом и отвращением понял, что люди способны говорить неправду. Этот момент я тоже пропустил... Впрочем, вряд ли это вам нужно. Вам ведь гораздо интереснее узнать, как проклевывался в нем будущий зоопсихолог...

И Сергей Павлович принялся рассказывать, как зоопсихолог проклевывался в Леве Абалкине.

Назвался груздем – полезай в кузов. Я слушал с самым внимательным видом, в надлежащих местах вставлял «Ах, вот как?», а один раз даже позволил себе вульгарное восклицание: «Черт возьми, это как раз то, что мне нужно!» Иногда я очень не люблю свою профессию.

Потом я его спросил:

– А друзей у него, значит, было не много?

– Друзей у него не было совсем, – сказал Сергей Павлович. – Я не виделся с ним с самого выпуска, но другие ребята из его группы говорили мне, что он с ними тоже не встречается. Им неловко об этом рассказывать, но, как я понял, он просто уклоняется от встреч.

И вдруг его прорвало.

– Ну почему вас интересует именно Лев? Я выпустил в свет сто семьдесят два человека. Почему вам из них понадобился именно Лев? Поймите, я не считаю его своим учеником! Не могу считать! Это моя неудача! Единственная моя неудача! С самого первого дня и десять лет подряд я пытался установить с ним контакт, хоть тоненькую ниточку протянуть, между нами. Я думал о нем в десять раз больше, чем о любом другом своем ученике. Я выворачивался наизнанку, но все, буквально все, что я предпринимал, оборачивалось во зло…

– Сергей Павлович! – сказал я. – Что вы говорите? Абалкин – великолепный специалист, ученый высокого класса, я лично встречался с ним…

– И как вы его нашли?

– Замечательный мальчишка, энтузиаст… Это как раз была первая экспедиция к голованам. Его все там ценили, сам Комов возлагал на него такие надежды… И они оправдались, эти надежды, заметьте!

– У меня прекрасная малина, – сказал он. – Самая ранняя малина в регионе. Попробуйте, прошу вас…

Я осекся и принял блюдце с малиной.

– Голованы… – проговорил он с горечью. – Возможно, возможно. Но, видите ли, я и сам знаю, что он талантлив. Только моей-то заслуги никакой в этом нет…

Некоторое время мы молча поедали малину с молоком. Я почувствовал, что он вот сейчас, с минуты на минуту переведет разговор на меня. Он явно не собирался больше говорить о Льве Абалкине, и простая вежливость требовала теперь поговорить обо мне. Я быстро сказал:

– Очень вам благодарен, Сергей Павлович. Вы дали мне массу интересного материала. Единственно только жаль, что у него не было друзей. Я очень рассчитывал найти какого-нибудь его друга.

– Я могу, если хотите, назвать вам имена его одноклассников… – Он замолчал и вдруг сказал: – Вот что. Попробуйте найти Майю Глумову.

Выражение лица его меня поразило. Совершенно невозможно было представить, что именно он сейчас вспомнил, какие ассоциации возникли у него, в связи с этим именем, но можно было поручиться наверняка, что самые неприятные. Он даже весь пошел бурыми пятнами.

– Школьная подруга? – спросил я, чтобы скрыть неловкость.

– Нет, – сказал он. – То есть она, конечно, училась в нашей школе. Майя Глумова. По-моему, она стала потом историком.

1 июня 78-го года
Маленький инцидент с Ядвигой Михайловной

В 19.23 я вернулся к себе и принялся искать Майю Глумову, историка. Не прошло и пяти минут, как информационная карточка лежала передо мной.

Майя Тойвовна Глумова была на три года моложе Льва Абалкина. После школы она окончила курсы персонала обеспечения при КОМКОНе-1 и сразу приняла участие в печально знаменитой операции «Ковчег», а затем поступила на историческое отделение Сорбонны. Специализировалась вначале по ранней эпохе первой НТР, после чего занялась историей первых космических исследований. У нее был сын Тойво Глумов одиннадцати лет, а о муже она не сообщала ничего. В настоящее время – о чудо! – она работала сотрудником спецфонда Музея внеземных культур, который располагался в трех кварталах от нас, на Площади Звезды. И жила она совсем неподалеку – на Аллее Канадских Елей.

Я позвонил ей немедленно. На экране появилась серьезная белобрысая личность со вздернутым облупленным носом, окруженным богатыми россыпями веснушек. Несомненно, это был Тойво Глумов-младший. Глядя на меня прозрачными северными глазами, он объяснил, что мамы нет дома, что она собиралась быть дома, но потом позвонила и сказала, что вернется завтра прямо на работу. Что ей передать? Я сказал, что ничего передавать не надо, и попрощался.

Так. Придется ждать до утра, а утром она будет долго вспоминать, кто же это такой Лев Абалкин, и затем, вспомнив, скажет со вздохом, что ничего не слыхала о нем вот уже двадцать пять лет.

Ладно. У меня в списке первоочередников оставался еще один человек, на которого, впрочем, никаких особых надежд я возлагать не

осмеливался. В конце концов, после четвертьвековой разлуки люди охотно встречаются с родителями, очень часто – со своим Учителем, нередко – со школьными друзьями, но лишь в каких-то особенных, я бы сказал, специальных случаях память возвращает их к своему школьному врачу. Тем более если учесть, что этот школьный врач пребывает в экспедиции, в глуши, на другой стороне планеты, а нуль-связь, согласно сводке, уже второй день работает неуверенно из-за флюктуаций нейтринного поля.

Но мне просто ничего больше не оставалось. Сейчас в Манаосе был день, и если уж вообще звонить, то звонить надо было сейчас.

Мне повезло. Ядвига Михайловна Леканова оказалась как раз в пункте связи, и я смог поговорить с нею немедленно, на что никак не рассчитывал. Было у Ядвиги Михайловны полное, до блеска загорелое лицо с пышным темным румянцем, кокетливые ямочки на щеках, сияющие синие глазки и мощная шапка совершенно серебряных волос. Она обладала каким-то трудноуловимым, но очень милым дефектом речи и глубоким бархатным голосом, наводившим на совершенно неуместные игривые мысли о том, что совсем недавно эта дама могла при желании вскружить голову кому угодно. И, по всему видно, кружила.

Я извинился, представился и изложил ей свою легенду. Она прищурилась, вспоминая, сдвинула соболиные брови.

– Лев Абалкин?.. Лева Абалкин... Простите, как вас зовут?

– Максим Каммерер.

– Простите, Максим, я не совсем поняла. Вы выступаете от себя лично или как представитель какой-то организации?

– Да как вам сказать... Я договорился с издательством, они заинтересовались...

– Но вы сами – просто журналист или все-таки работаете где-нибудь? Не бывает же такой профессии – журналист...

Я почтительно хихикнул, лихорадочно соображая, как быть.

– Видите ли, Ядвига Михайловна, это довольно трудно сформулировать... Основная профессия у меня... н-ну, пожалуй, Прогрессор... хотя, когда я начинал работать, такой профессии еще не существовало. В недалеком прошлом я – сотрудник КОМКОНа... да и сейчас связан с ним в известном смысле...

– Ушли на вольные хлеба? – сказала Ядвига Михайловна.

Она по-прежнему улыбалась, но теперь в ее улыбке не хватало чего-то очень важного. И в то же время – весьма и весьма обычного.

– Вы знаете, Максим, – сказала она, – я с удовольствием с вами поговорю о Леве Абалкине, но с вашего позволения – через некоторое время. Давайте я вам позвоню… через час-полтора.

Она все еще улыбалась, и я понял, чего не хватает теперь в ее улыбке, – самой обыкновенной доброжелательности.

– Ну разумеется, – сказал я. – Как вам будет удобно…

– Извините меня, пожалуйста.

– Нет, это вы должны меня извинить…

Она записала номер моего канала, и мы расстались. Странный какой-то получился разговор. Словно она узнала откуда-то, что я вру. Я пощупал уши. Уши у меня горели. Пр-р-роклятая профессия… «И началась самая увлекательная из охот – охота на человека…» О темпора, о морес! Как они часто все-таки ошибались, эти классики… Ладно, подождем. И ведь придется, наверное, лететь в этот Манаос. Я запросил сводку. Нуль-связь была по-прежнему неустойчивой. Тогда я заказал стратолет, раскрыл папку и принялся читать отчет Льва Абалкина об операции «Мертвый мир».

Я успел прочитать страниц пять, не больше. В дверь стукнули, и через порог шагнул Экселенц. Я поднялся.

Нам редко приходится видеть Экселенца иначе как за его столом, и всегда как-то забываешь, какая это костлявая громадина. Безупречно белая полотняная пара болталась на нем как на вешалке, и вообще было в нем что-то от циркача на ходулях, хотя движения его вовсе не были угловатыми.

– Сядь, – сказал он, сложился пополам и опустился в кресло передо мной.

Я тоже поспешно сел.

– Докладывай, – приказал он.

Я доложил.

– Это все? – спросил он с неприятным выражением.

– Пока все.

– Плохо, – сказал он.

– Так уж и плохо, Экселенц… – сказал я.

– Плохо! Наставник умер. А школьные друзья? Я вижу, они у тебя даже не запланированы! А его однокашники по школе Прогрессоров?

– К сожалению, Экселенц, у него, по-видимому, не было друзей. В интернате, во всяком случае, а что касается Прогрессоров…

– Уволь меня от этих рассуждений. Проверь все. И не отвлекайся. При чем здесь детский врач, например?

– Я стараюсь проверить все, – сказал я, начиная злиться.

– У тебя нет времени мотаться на стратолетах. Занимайся архивами, а не полетами.

– Архивами я тоже займусь. Я собираюсь заняться даже этим голованом. Щекном. Но у меня намечен определенный порядок… Я вовсе не считаю, что детский врач – это совсем уж пустая трата времени…

– Помолчи-ка, – сказал он. – Дай мне твой список.

Он взял список и долго изучал его, время от времени пошевеливая костлявым носом. Я голову готов был дать на отсечение, что он уставился на какую-то одну строчку и смотрит на нее, не отрывая глаз. Потом он вернул мне листок и сказал:

– Щекн – это неплохо. И легенда твоя мне нравится. А все остальное – плохо. Ты поверил, что у него не было друзей. Это неверно. Тристан был его другом, хотя в папке ты не найдешь об этом ничего. Ищи. И эту… Глумову… Это тоже хорошо. Если у них там была любовь, то это шанс. А Леканову оставь. Это тебе не нужно.

– Но она же все равно позвонит!

– Не позвонит, – сказал он.

Я посмотрел на него. Круглые зеленые глаза не мигали, и я понял, что да, Леканова не позвонит.

– Послушайте, Экселенц, – сказал я. – Вам не кажется, что я работал бы втрое успешней, если бы знал, в чем тут дело?

Я был уверен, что он отрежет: «Не кажется». Вопрос мой был чисто риторическим… Я просто хотел продемонстрировать ему, что атмосфера таинственности, окружавшая Льва Абалкина, не осталась мною не замеченной и мешает мне.

Но он сказал другое:

– Не знаю. Полагаю, что нет. Все равно я пока не могу ничего сказать. Да и не хочу.

– Тайна личности? – спросил я.

– Да, – сказал он. – Тайна личности.

Из отчета Льва Абалкина

…К десяти часам порядок движения устанавливается окончательно. Идем посередине улицы: впереди по оси маршрута – Щекн, за ним и левее – я. От принятого порядка движения – прижимаясь к стенам – пришлось отказаться, потому что тротуары завалены осыпавшейся штукатуркой, битыми кирпичами, осколками оконного стекла, проржавевшей кровельной жестью, и уже дважды обломки

карнизов без всякой видимой причины обрушивались чуть ли не нам на головы.

Погода не меняется, небо по-прежнему в тучах, налетает порывами влажный теплый ветер, гонит по разбитой мостовой неопределенный мусор, рябит вонючую воду в черных застойных лужах. Налетают, рассеиваются и снова налетают полчища комаров. Штурмовые волны комаров. Целые комариные смерчи. Очень много крыс – шуршат в грудах мусора, грязно-рыжими стайками перебегают из подъезда в подъезд, столбиками торчат в пустых оконных проемах. Глаза у них как бусинки, поблескивают настороженно. Непонятно, чем они питаются в этой каменной пустыне. Разве что змеями. Змей тоже очень много, особенно вблизи канализационных люков, где они собираются в спутанные шевелящиеся клубки. Чем питаются здесь змеи – тоже непонятно. Разве что крысами. Змеи, впрочем, какие-то вялые, совсем не агрессивные, хотя и не трусливые. Занимаются какими-то своими делами, ни на кого и ни на что не обращая внимания.

Город безусловно и давно покинут. Тот человек, которого мы встретили на окраине, был, конечно, сумасшедший и забрел сюда случайно.

Сообщение от группы Рэма Желтухина. Он пока вообще никого не встретил. Он в восторге от своей свалки и клянется в ближайшее время определить индекс здешней цивилизации с точностью до второго знака. Я пытаюсь представить себе эту свалку – гигантскую, без начала и без конца, завалившую полмира. У меня портится настроение, и я перестаю об этом думать.

Мимикридный комбинезон работает неудовлетворительно. Защитная окраска, соответствующая фону, проявляется на мимикриде с задержкой на пять минут, а иногда и вовсе не проявляется, а вместо нее возникают удивительной красоты и яркости пятна самых чистых спектральных цветов. Надо думать, здесь в атмосфере есть что-то такое, что сбивает с толку отрегулированный химизм этого вещества. Эксперты комиссии по камуфляжной технике отказались от надежды отладить работу комбинезона дистанционно. Они дают мне рекомендации, как произвести регулировку на месте. Я следую этим рекомендациям, в результате чего комбинезон мой теперь разрегулирован окончательно.

Сообщение от группы Эспады. Судя по всему, при высадке в тумане они промахнулись на несколько километров: ни возделанных полей, ни поселений, замеченных с орбиты, они не наблюдают. Наблюдают океан и побережье, покрытое километровой ширины полосой черной коросты – похоже, застывшим мазутом. У меня снова портится настроение.

Эксперты категорически протестуют против решения Эспады полностью отключить камуфляж. Маленький, но шумный скандальчик в эфире. Щекн ворчливо замечает:

– Пресловутая человеческая техника! Смешно...

На нем нет никакого комбинезона, и нет на нем тяжелого шлема с преобразователями, хотя все это было для него специально приготовлено. Он отказался от всего этого, как обычно, без объяснения причин.

Он бежит по полустертой осевой линии проспекта вразвалку, слегка занося вбок задние ноги, как это делают иногда наши собаки, толстый, мохнатый, с огромной круглой головой, как всегда повернутой влево, так что правым глазом он смотрит строго вперед, а левым словно бы косится на меня. На змей он не обращает внимания вовсе, как и на комаров, а вот крысы его интересуют, но только с гастрономической точки зрения. Впрочем, сейчас он сыт.

Мне кажется, он уже сделал для себя кое-какие выводы и по поводу города, и, возможно, по поводу всей этой планеты. Он равнодушно уклонился от осмотра на диво сохранившегося особняка в седьмом квартале, совершенно неуместного своей чистотой и элегантностью среди ободранных временем слепых, заросших диким ползуном зданий. Он только брезгливо обнюхал двухметровые колеса военной бронированной машины, пронзительно и свежо воняющей бензином, полупогребенной под развалинами рухнувшей стены, и он без всякого любопытства наблюдал за сумасшедшей пляской давешнего бедняги-аборигена, который выскочил на нас, звеня бубенчиками, гримасничая, весь в развевающихся разноцветных то ли лохмотьях, то ли лентах. Все эти странности Щекну безразличны, он почему-то не желал выделить их из общего фона катастрофы, хотя поначалу, на первых километрах пути, он был явно возбужден, искал что-то, поминутно нарушая порядок движения, что-то вынюхивал, фыркая и отплевываясь, бормоча неразборчиво на своем языке...

– А вот что-то новенькое, – говорю я.

Это что-то вроде кабины ионного душа – цилиндр высотой метра в два и метр в диаметре из полупрозрачного, похожего на янтарь материала. Овальная дверца во всю его высоту распахнута. Похоже, что когда-то эта кабина стояла вертикально, а потом подложили под нее сбоку заряд взрывчатки, и теперь ее сильно накренило, так что край ее днища приподнялся вместе с приросшим к нему пластом асфальта и глинистой земли. В остальном она не пострадала, да там в ней и нечему было страдать – внутри она пустая, как пустой стакан.

– Стакан, – говорит Вандерхузе. – Но с дверцей.

– Ионный душ, – говорю я. – Но без оборудования. Или, например, кабина регулировщика. Я видел очень похожие на Саракше, только там они из жести и стекла. Кстати, на тамошнем сленге они так и называются: «стакан».

– А что он регулирует? – с любопытством осведомляется Вандерхузе.

– Уличное движение на перекрестках, – говорю я.

– До перекрестка далековато, как ты полагаешь? – говорит Вандерхузе.

– Ну, значит, это ионный душ, – говорю я.

Диктую ему донесение. Приняв донесение, он осведомляется:

– А вопросы?

– Два естественных вопроса: зачем эту штуку здесь поставили и кому она помешала? Обращаю внимание: никаких проводов и кабелей нет. Щекн, у тебя есть вопросы?

Щекн более чем равнодушен – он чешется, повернувшись к кабине задом.

– Мой народ не знает таких предметов, – сообщает он высокомерно. – Моему народу это неинтересно. – И он снова принимается чесаться с самым откровенным вызовом.

– У меня все, – говорю я Вандерхузе, и Щекн тут же поднимается и трогается дальше.

Его народу это, видите ли, неинтересно, думаю я, шагая следом и левее. Мне хочется улыбнуться, но улыбаться ни в коем случае нельзя. Щекн не терпит такого рода улыбок, чуткость его к малейшим оттенкам человеческой мимики поразительна. Странно, откуда у голованов эта чуткость? Ведь физиономии их (или морды?) почти совсем лишены мимики – по крайней мере, на человеческий глаз. У обыкновенной дворняги мимика значительно богаче. А вот в человеческих улыбках он разбирается великолепно. Вообще голованы разбираются в людях в сто раз лучше, чем люди в голованах. И я знаю – почему. Мы стесняемся. Они разумны, и нам неловко их исследовать. А вот они подобной неловкости не ощущают. Когда мы жили у них в Крепости, когда они укрывали нас, кормили, поили, оберегали, сколько раз я вдруг обнаруживал, что надо мной произвели очередной эксперимент! И Марта жаловалась Комову на то же, и Раулингсон, и только Комов никогда не жаловался – я думаю просто потому, что он слишком самолюбив для этого. А Тарасконец в конце концов просто сбежал. Уехал на Пандору, занимается своими чудовищными тахоргами и счастлив... Почему Щекна так заинтересовала Пандора? Он всеми правдами и неправдами оттягивал отлет. Надо будет потом проверить, точно ли, что группа голованов попросила транспорт для переселения на Пандору.

– Щекн, – говорю я, – тебе хотелось бы жить на Пандоре?

– Нет, мне нужно быть с тобой.

Ему нужно быть. Вся беда в том, что в их языке всего одна модальность. Никакой разницы между «нужно», «должно», «хочется», «можется» не существует. И когда Щекн говорит по-русски, он использует эти понятия словно бы наугад. Никогда нельзя точно сказать, что он имеет в виду. Может быть, он хотел сказать сейчас, что любит меня, что ему плохо без меня, что ему нравится быть только со мной. А может быть, что это его обязанность – быть со мной, что ему поручено быть со мной и что он намерен честно выполнить свой долг, хотя больше всего на свете ему хочется пробираться через оранжевые джунгли, жадно ловя каждый шорох, наслаждаясь каждым запахом, которых на Пандоре хоть отбавляй...

Впереди справа, от грязно-белого балкона на третьем этаже отделяется пласт штукатурки и с шумом обрушивается на тротуар. Возмущенно пищат крысы. Комариный столб вырывается из кучи мусора и крутится в воздухе. Через улицу узорчатой металлической лентой заструилась огромная змея, свернулась спиралью перед Щекном и угрожающе подняла ромбическую голову. Щекн даже не останавливается – небрежно и коротко взмахивает передней лапой, ромбическая голова отлетает на тротуар, а он уже трусит дальше, оставив позади извивающееся клубком обезглавленное тело.

Эти чудаки боялись отпустить меня вдвоем со Щекном! Первоклассный боец, умница, с неимоверным чутьем на опасность, абсолютно бесстрашен – не по-человечески бесстрашен... Но. Разумеется, не обходится и без некоторого «но». Если придется, я буду драться за Щекна как за землянина, как за самого себя. А Щекн? Не знаю. Конечно, на Саракше они дрались за меня, дрались, и убивали, и гибли, прикрывая меня, но всегда, мне казалось, почему-то, что не за меня они дрались, не за друга своего, а за некий отвлеченный, хотя и очень дорогой для них принцип... Я дружу со Щекном уже пять лет, у него еще перепонки между пальцами не отпали, когда мы с ним познакомились, я учил его языку и как пользоваться Линией Доставки. Я не отходил от него, когда он болел своими странными болезнями, в которых наши врачи так и не сумели ничего понять. Я терпел его дурные манеры, мирился с его бесцеремонными высказываниями, прощал ему то, что не прощаю никому в мире. И до сих пор я не знаю, кто я для него...

Вызов с корабля. Вандерхузе сообщает, что Рэм Желтухин нашел на своей свалке ружье. Информация пустяковая. Просто Вандерхузе хочется, чтобы я не молчал. Он очень беспокоится, добрая душа, когда я долго молчу. Мы говорим о пустяках.

Пока мы говорим о пустяках, Щекн ныряет в ближайший подъезд. Оттуда доносится возня, писк, хруст и чавканье. Щекн снова появляется в дверях. Он энергично жует и обирает с морды крысиные хвосты.

Каждый раз, когда я нахожусь на связи, Щекн принимается вести себя как собака – то кормится, то чешется, то ищется. Он прекрасно знает, что я этого не люблю, и устраивает демонстрации, словно мстит мне за то, что я отвлекаюсь от нашего с ним одиночества вдвоем.

Он приносит мне свои извинения, ссылаясь на то, что это вкусно и что он не мог удержаться. Я говорю с ним сухо.

Начинается мелкий моросящий дождь. Проспект впереди заволакивает серая зыбкая мгла. Мы минуем семнадцатый квартал

(поперечная улица вымощена булыжником), проходим мимо проржавевшего автофургона на спущенных баллонах, мимо неплохо сохранившегося, облицованного гранитом здания с фигурными решетками на окнах первого этажа, и слева от нас начинается парк, отделенный от проспекта низкой каменной оградой.

В тот момент, когда мы проходим мимо покосившейся арки ворот, из мокрых, буйно разросшихся кустов с шумом и бубенчиковым звоном выскакивает на ограду пестрый нелепый длинный человек.

Он худой как скелет, желтолицый, с впалыми щеками и остекленелым взглядом. Мокрые рыжие патлы торчат во все стороны, ходуном ходят разболтанные и словно бы многосуставчатые руки, а голенастые ноги беспрерывно дергаются и приплясывают на месте, так что из-под огромных ступней разлетаются в стороны палые листья и размокшая цементная крошка.

Весь он от шеи до ног обтянут чем-то вроде трико в разноцветную клетку – красную, желтую, синюю и зеленую, и беспрестанно звенят бубенчики, нашитые в беспорядке на его рукавах и штанинах, и дробно и звонко щелкают в замысловатом ритме узловатые пальцы. Паяц. Арлекин. Его ужимки были бы, наверное, смешными, если бы не были так страшны в этом мертвом городе под серым сеющим дождем на фоне одичалого парка, превратившегося в лес. Это, без всякого сомнения, безумец. Еще один безумец.

В первое мгновение мне кажется, что это тот же самый, с окраины. Но тот был в разноцветных ленточках и в дурацком колпаке с колокольчиком, и был гораздо ниже ростом, и не казался таким изможденным. Просто оба они были пестрые, и оба сумасшедшие, и представляется совершенно невероятным, чтобы первые два аборигена, встреченные на этой планете, оказались сумасшедшими клоунами.

– Это не опасно, – говорит Щекн.

– Мы обязаны ему помочь, – говорю я.

– Как хочешь. Он будет нам мешать.

Я и сам знаю, что он будет нам мешать, но делать нечего, и я начинаю придвигаться к пляшущему паяцу, готовя в перчатке присоску с транквилизатором.

– Опасно сзади! – говорит вдруг Щекн.

Я круто оборачиваюсь. Но на той стороне улицы ничего особенного: двухэтажный особняк с остатками ядовито-фиолетовой покраски, фальшивые колонны, ни одного целого стекла, дверной пролом в полтора этажа зияет тьмой. Дом как дом, однако Щекн глядит именно на него в позе самого напряженного внимания. Он присел на напружиненных лапах, низко пригнул голову и настропалил

маленькие треугольные уши. У меня холодок проливается между лопаток: с самого начала маршрута Щекн еще ни разу не становился в эту редкую позу. Позади отчаянно дребезжат колокольчики, и вдруг становится тихо. Только шорох дождя.

– В котором окне? – спрашиваю я.

– Не знаю. – Щекн медленно поводит тяжелой головой справа налево. – Ни в каком окне. Хочешь – посмотрим? Но уже меньше… – Тяжелая голова медленно поднимается. – Все. Как всегда.

– Что?

– Как сначала.

– Опасно?

– С самого начала опасно. Слабо. А сейчас было сильно. И опять как сначала.

– Люди? Зверь?

– Очень большая злоба. Непонятно.

Я оглядываюсь на парк. Сумасшедшего паяца больше нет, и ничего нельзя различить в мокрой плотной зелени.

Вандерхузе страшно обеспокоен. Я диктую донесение. Вандерхузе боится, что это была засада и что паяц должен был меня отвлекать. Никак ему не понять, что в этом случае засада бы удалась, потому что паяц меня действительно отвлек так, что я ничего не видел и не слышал, кроме него. Вандерхузе предлагает выслать к нам группу поддержки, но я отказываюсь. Задание у нас пустяковое, и, скорее всего, нас самих скоро снимут с маршрута и перебросят в поддержку хотя бы тому же Эспаде.

Сообщение от группы Эспады: его обстреляли. Трассирующими пулями. Похоже, предупредительный обстрел. Эспада продолжает движение. Мы – тоже. Вандерхузе взволнован до последней крайности, голос у него совсем жалобный.

Пожалуй, с капитаном нам не повезло. У Эспады капитан – Прогрессор. У Желтухина капитан – Прогрессор. А у нас – Вандерхузе. Все это оправданно, разумеется: Эспада – это группа контакта, Рэм – основной поставщик информации, а мы со Щекном – просто пешие разведчики в пустом безопасном районе. Вспомогательная группа. Но когда что-нибудь случится, – а ведь всегда что-нибудь случается, – то рассчитывать нам придется только на себя. В конце концов, старый милый Вандерхузе – это всего-навсего звездолетчик, опытнейший космический волк. В плоть и кровь впиталась у него инструкция 06/3: «При обнаружении на планете признаков разумной жизни НЕМЕДЛЕННО стартовать, уничтожив по возможности все следы своего пребывания…» А здесь – предупредительный обстрел, очевиднейшее

нежелание вступать в контакт, и никто не только не собирается стартовать немедленно, а наоборот, продолжает движение и вообще прет на рожон...

Дождь прекращается. По мокрому асфальту прыгают лягушки. Становится ясно, чем здесь питаются змеи. А чем питаются лягушки? Комарами. Дома становятся все выше, все роскошнее. Облезлая, заплесневелая роскошь. Длиннейшая колонна разномастных грузовиков, остановившихся у обочины с левой стороны. Движение здесь, видимо, было левосторонним. Многие грузовики открытые, в кузовах громоздится домашний скарб. Похоже на следы массовой эвакуации, только непонятно, почему они двигались к центру города. Может быть, в порт?

Щекн вдруг останавливается и выставляет из густой шерсти на макушке треугольные уши. Мы совсем недалеко от перекрестка, перекресток пуст, и проспект за ним тоже пуст, насколько позволяет видеть серая дымка.

– Вонь, – говорит Щекн. И чуть помедлив: – Звери. – И еще помедлив: – Много. Идут сюда. Слева.

Теперь я тоже слышу запах, но это всего лишь запах мокрой ржавчины от грузовиков. И вдруг: тысяченогий топот и костяное постукивание, взвизги, приглушенное рычание, сопение и фырканье. Тысячи ног. Тысячи глоток. Стая. Я озираюсь, ища подходящий подъезд, чтобы отсидеться.

– Дрянь, – говорит Щекн. – Собаки.

В ту же секунду из переулка слева хлынуло. Собаки. Сотни собак. Тысячи. Плотный серо-желто-черный поток, топочущий, сопящий, остро воняющий мокрой псиной. Голова потока уже втянулась в переулок направо, а поток все льется и льется, но вот несколько тварей отделяются от стаи и круто поворачивают к нам – крупные облезлые животные, худущие, в клочьях свалявшейся шерсти. Бегающие нечистые глазки, желтые слюнявые клыки. Тоненько, словно бы жалобно, потявкивая, они приближаются к нам трусцой и не прямо, а по какой-то замысловатой дуге, горбя бугристые туловища и заводя под себя подрагивающие хвосты.

– В дом! – вопит Вандерхузе. – Что же вы стоите? В дом!

Я прошу его не шуметь. Сую руку под клапан комбинезона и берусь за рукоятку скорчера. Щекн говорит:

– Не надо. Я сам.

Он медленно, вразвалку направляется навстречу собакам. Он не принимает боевой позы. Он просто идет.

– Щекн, – говорю я. – Давай не будем связываться.

– Давай, – отзывается Щекн, не останавливаясь.

Я не понимаю, что он задумал, и, держа скорчер стволом вниз в опущенной руке, иду вдоль колонны грузовиков параллельным курсом. Мне надо увеличить сектор обстрела на тот случай, если грязно-желтый поток разом повернет на нас. Щекн все идет, а собаки остановились. Они пятятся, поворачиваются к Щекну боком, еще сильнее горбясь и совершенно упрятав хвосты между ногами, и, когда до ближайшей остается десяток шагов, они вдруг с паническим визгом бросаются наутек и мгновенно сливаются со стаей.

А Щекн все идет. Прямо по осевой, неторопливо, вразвалочку, словно перекресток перед ним совершенно пуст. Тогда я стискиваю зубы, поднимаю скорчер на изготовку и перехожу на осевую позади Щекна. Грязно-желтый поток уже совсем рядом. От нестерпимой вони (или от страха?) выворачивает наизнанку. Я стараюсь глядеть прямо перед собой и думаю: два удара влево и сразу же удар вправо, два влево и сразу вправо...

И тут внезапно над перекрестком поднимается отчаянный визг. Стая разрывается, очищая дорогу. Давя друг друга, карабкаясь друг на друга, кусая и топча друг друга, визжа, воя, рыча, псы устремляются долой с перекрестка. Через несколько секунд в переулке справа не осталось ни одной собаки, а переулок слева забит шевелящейся массой косматых тел, упирающихся лап и оскаленных пастей. И над этой массой столбом поднимается белесый вонючий пар, и тысячеголосый вой отчаяния и смертельного ужаса забивает мне уши, словно ватой.

Мы пересекаем перекресток, усеянный клочьями грязной шерсти, вопящий ад остается за спиной, и тогда я заставляю себя остановиться и поглядеть назад. Середина перекрестка по-прежнему пуста. Стая повернула. Обтекая колонну грузовых машин, она двигается теперь от нас по проспекту в сторону окраины. Визг и вой понемногу стихают, еще минута – и все становится как прежде: слышится только деловитый тысячелапый топот, костяное постукивание, сопение, фырканье. Я перевожу дух и засовываю скорчер обратно в кобуру. Я здорово перетрусил.

Вандерхузе устраивает нам разнос. Мы получаем выговор. Оба. За наглость и мальчишество. Вообще говоря, Щекн чрезвычайно чувствителен к репримандам, но сейчас он почему-то не протестует. Он только ворчит: «Скажи ему, что никакого риска не было. – И добавляет: – Почти...» Я диктую донесение об инциденте. Я не понял, что произошло на перекрестке, и естественно, что еще меньше меня

понимает Вандерхузе. Я уклоняюсь от его расспросов. Напираю главным образом на то, что сейчас стая движется в направлении корабля.

– Если они дойдут до вас, пугните их огнем, – заключаю я.

Вандерхузе еще раз выражает нам свое неудовольствие и разрешает продолжать движение. Я совершенно отчетливо представляю себе, как он, выразив неудовольствие, привычным щелчком взбивает левую бакенбарду, подправляет правую, а затем, откинувшись в кресле, принимается вновь настороженно ревизовать обзорные экраны в покорном ожидании очередной неминуемой неприятности.

Мы проходим до конца двадцать второго квартала, и тут я замечаю, что живность совершенно исчезла с улицы – ни одной крысы, ни одной змеи, и даже лягушек совсем не видно. Попрятались из-за собак, думаю я нерешительно. Я знаю, что это не так. Это – Щекн.

На четвертом году нашего знакомства вдруг обнаружилось, что Щекн неплохо владеет английским языком. Примерно тогда же я выяснил, что Щекн сочиняет музыку – ну, не симфоническую, конечно, а песенки, простенькие песенные мелодии, очень милые, вполне приемлемые для слуха землян. А теперь вот еще что-то.

Он косит на меня желтым глазом.

– Как ты догадался про огонь? – осведомляется он.

Я настораживаюсь. Оказывается, я догадался про огонь! Когда же это я успел?

– Смотря про какой огонь, – говорю я наугад.

– Ты не понимаешь, о чем я говорю? Или не хочешь говорить?

Огонь, огонь, торопливо думаю я. Я чувствую, что сейчас мне, может быть, доведется узнать нечто важное. Если не торопиться. Если подавать точные реплики. Когда же это я говорил об огне? Да! «Пугните их огнем».

– Каждый ребенок знает, что животные боятся огня, – говорю я. – Поэтому я и догадался. Разве это было так уж трудно – догадаться?

– По-моему, это было трудно, – ворчит Щекн. – До сих пор ты не догадывался.

Он замолкает и перестает косить глазом. Поговорили. Все-таки он умница. Соображает, что либо я не понял, либо не хочу говорить при посторонних... И в том и в другом случае разговор лучше закруглить... Итак, я догадался про огонь. На самом деле я ни о чем не догадался. Я просто сказал Вандерхузе: «Пугните их огнем». А Щекн решил, что я о чем-то догадался. Огонь, огонь... У Щекна, естественно, не было никакого огня... Значит, был! Только я его не видел, а собаки видели. Вот так так, этого только еще не хватало. Ай да Щекн!

– А ты и обжигал их тоже? – спрашиваю я вкрадчиво.

– Огонь обжигает, – отзывается Щекн сухо.

– И это умеет любой голован?

– Только земляне называют нас голованами. Южные выродки называют нас упырями. А в устье Голубой Змеи нас зовут мороками. А на Архипелаге – «цзеху» ... В русском языке нет соответствия. Это значит – «подземный житель, умеющий покорять и убивать силой своего духа».

– Понятно, – говорю я.

Всего лишь пять лет понадобилось мне, чтобы узнать: оказывается, мой ближайший друг, от которого я никогда ничего не скрывал, обладает способностью покорять и убивать силой своего духа. Будем надеяться, что только собачек, а вообще-то – кто его знает... Всего-навсего пять лет дружбы. Черт подери, почему меня это так задевает, в конце концов?

Щекн улавливает горечь в моем голосе мгновенно, но истолковывает ее по-своему.

– Не жадничай, – говорит он. – Зато у вас есть много такого, чего у нас нет и никогда не будет. Ваши машины и ваша наука...

Мы выходим на площадь и сразу останавливаемся, потому что видим пушку. Она стоит слева за углом, приземистая, словно бы припавшая к мостовой, – длинный ствол с тяжелым набалдашником дульного тормоза, низкий широкий щит, размалеванный камуфляжными зигзагами, широко раздвинутые трубчатые станины, толстенькие колеса на резиновом ходу... С этой позиции был сделан не один выстрел, но давно, очень давно. Стреляные гильзы, рассыпанные вокруг, насквозь проедены зеленой и красной окисью, крючья станин распороли асфальт до земли и тонут теперь в густой траве, и даже маленькое деревце успело пробиться возле левой станины. Проржавевший замок откинут, прицела нет вовсе, а в тылу позиции валяются сгнившие, полураспавшиеся зарядные ящики, все пустые. Здесь стреляли до последнего снаряда.

Я гляжу поверх щита и вижу, куда стреляли. Точнее, сначала я вижу громадные, заросшие плющом пробоины в стене дома напротив, и только потом в глаза мне бросается некая архитектурная несообразность. У подножия дома с пробоинами совершенно ни к селу ни к городу стоит небольшой тускло-желтый павильон, одноэтажный, с плоской крышей, и теперь мне ясно, что стреляли именно по нему, прямой наводкой, почти в упор, с пятидесяти метров, а зияющие дыры в стене дома над ним – это промахи, хотя с такого расстояния промахнуться, казалось, было бы невозможно. Впрочем, промахов не так уж и много, и можно только поражаться прочности этого

невзрачного желтого сооружения, принявшего на себя столько попаданий и все же не превратившегося в груду мусора.

Расположен павильон нелепо, и поначалу, мне кажется, будто страшными ударами снарядов его сдвинуло с места, отбросило назад, загнало на тротуар и почти воткнуло углом в стену дома. Но это, конечно, не так. Снаряды пробивали в желтом фасаде круглые отверстия с оплавленными и закопченными краями и рвались внутри, так что широкие створки просторного входа выбило наружу и, перекосившись, они висят теперь на каких-то невидимых ниточках. Внутри, несомненно, возник пожар, и все, что там было, выгорело дотла, а языки пламени оставили черные следы над входом и кое-где над пробоинами. Но стоит павильон, конечно же, именно там, где его поставили с самого начала какие-то чудаковатые архитекторы, совершенно загородив тротуар и отхватив часть мостовой, что, несомненно, должно было мешать движению транспорта.

Все, что здесь случилось, случилось очень давно, много лет назад, и давно уже исчезли запахи пожаров и стрельбы, но странным образом сохранилась и давила на душу атмосфера лютой ненависти, ярости, бешенства, которые двигали тогда неведомыми артиллеристами.

Я принимаюсь диктовать очередное донесение, а Щекн, усевшись поодаль и брюзгливо отвесив губу, демонстративно громко бурчит, кося желтым глазом: «Люди... Какое же тут может быть сомнение... Разумеется, люди... Железо и огонь, развалины, всегда одно и то же...» Видимо, он тоже ощущает эту атмосферу, и, наверное, еще более интенсивно, чем я. Он ведь вдобавок вспоминает сейчас свои родные края – леса, начиненные смертоубийственной техникой, выжженные до пепла пространства, где мертво торчат обугленные радиоактивные стволы деревьев, и сама земля пропитана ненавистью, страхом и гибелью...

На этой площади нам делать больше нечего. Разве что строить гипотезы и рисовать в воображении картины, одна другой ужаснее. Мы идем дальше, а я думаю, что в эпохи глобальных катастроф цивилизации выплескивают на поверхность бытия всю мерзость, все подонки, скопившиеся за столетия в генах социума. Формы этой накипи чрезвычайно многообразны, и по ним можно судить, насколько неблагополучна была данная цивилизация к моменту катаклизма, но очень мало можно сказать о природе этого катаклизма, потому что самые разные катаклизмы – будь то глобальная пандемия, или всемирная война, или даже геологическая катастрофа – выплескивают на поверхность одну и ту же накипь: ненависть, звериный эгоизм,

жестокость, которая кажется оправданной, но не имеет на самом деле никаких оправданий...

Сообщение от Эспады: он вступил в контакт. Приказ Комова: всем группам подготовить трансляторы для приема лингвистической информации. Я завожу руку за спину и на ощупь щелкаю тумблером портативного переводчика...

2 июня 78-го года
Майя Глумова, подруга Льва Абалкина

Я не стал предупреждать Майю Тойвовну о своем визите, а прямо в девять утра направился на Площадь Звезды.

На рассвете прошел небольшой дождь, и огромный куб музея из нетесаного мрамора влажно сверкал под солнцем. Еще издали я увидел перед главным входом небольшую пеструю толпу, а подойдя вплотную, услыхал недовольные и разочарованные восклицания. Оказывается, со вчерашнего дня музей был закрыт для посетителей по случаю подготовки какой-то новой экспозиции. Толпа состояла главным образом из туристов, но особенно негодовали в ней научные работники, выбравшие именно это утро для того, чтобы поработать с экспонатами. Не было им никакого дела до новых экспозиций. Заранее надо было предупреждать их о такого рода административных маневрах. А теперь вот считайте, что день у них пропал... Сумятицу усугубляли кибернетические уборщики, которых, видимо, забыли перепрограммировать, и теперь они бессмысленно блуждали в толпе, путаясь у всех под ногами, шарахаясь от раздраженных пинков и поминутно вызывая взрывы злорадного хохота своими бессмысленными попытками пройти сквозь закрытые двери.

Уяснив обстановку, я не стал здесь задерживаться. Мне неоднократно приходилось бывать в этом музее, и я знал, где расположен служебный вход. Я обогнул здание и по тенистой аллейке прошел к широкой низкой дверце, едва заметной за сплошной стеной каких-то вьющихся растений. Эта пластиковая, под мореный дуб дверца тоже была заперта. У порога маялся еще один киберуборщик. Вид у него был безнадежно унылый: за ночь он, бедняга, основательно разрядился, а теперь здесь, в тени, шансов вновь накопить энергию у него было немного.

Я отодвинул его ногой и сердито постучал. Отозвался замогильный голос:

– Музей внеземных культур временно закрыт для переоборудования центральных помещений под новую экспозицию. Просим прощения, приходите к нам через неделю.

– Массаракш! – произнес я вслух, озираясь в некоторой растерянности.

Никого вокруг, естественно, не было, и только кибер озабоченно стрекотал у меня под ногами. Видимо, его заинтересовали мои туфли.

Я снова отпихнул его и снова стукнул кулаком в дверь.

– Музей внеземных культур... – затянул было замогильный голос и вдруг смолк.

Дверь распахнулась.

– То-то же, – сказал я и вошел.

Кибер остался за порогом.

– Ну? – сказал я ему. – Заходи.

Но он попятился, словно бы не решаясь, и в ту же секунду дверь снова захлопнулась.

В коридорах стоял не очень сильный, но весьма специфический запах. Я уже давно успел заметить, что каждый музей обладает своим запахом. Особенно мощно пахло в зоологических музеях, но и здесь тоже попахивало основательно. Внеземными культурами, надо полагать.

Я заглянул в первое попавшееся помещение и обнаружил там двух совсем молоденьких девчушек, которые с молекулярными паяльниками в руках возились в недрах некоего сооружения, более всего напоминающего гигантский моток колючей проволоки. Я спросил, где мне найти Майю Тойвовну, получил подробные указания и пошел блуждать по переходам и залам Спецсектора предметов материальной культуры невыясненного назначения. Здесь я никого не встретил. Широкие массы сотрудников пребывали, по-видимому, в центральных помещениях, где и занимались новой экспозицией, а здесь не было никого и ничего, кроме предметов невыясненного назначения. Но уж зато предметов этих я нагляделся по дороге досыта, и у меня мимоходом сложилось убеждение, что назначение их как было невыясненным, так и останется таковым во веки веков, аминь.

Майю Тойвовну я нашел в ее кабинете-мастерской. Когда я вошел, она подняла мне навстречу лицо – красивая, мало того – очень милая женщина, прекрасные каштановые волосы, большие серые глаза, слегка вздернутый нос, сильные обнаженные руки с длинными пальцами, свободная синяя блузка-безрукавка в вертикальную черно-белую полоску. Прелестная женщина. Над правой бровью у нее была маленькая черная родинка.

Она глядела на меня рассеянно, и даже не на меня, а как бы сквозь меня, глядела и молчала. На столе перед нею было пусто, только обе руки ее лежали на столе, как будто она положила их перед собой и забыла о них.

– Прошу прощения, – сказал я. – Меня зовут Максим Каммерер.

– Да. Слушаю вас.

Голос у нее тоже был рассеянный, и сказала она неправду: не слушала она меня. Не слышала она меня и не видела. И вообще ей было явно не до меня сегодня. Любой приличный человек на моем месте извинился бы и потихоньку ушел. Но я не мог позволить себе быть приличным человеком. Я был сотрудником КОМКОНа-2 на работе. Поэтому я не стал ни извиняться, ни тем более уходить, а просто уселся в первое попавшееся кресло и, изобразив на физиономии простодушную приветливость, спросил:

– Что это у вас сегодня с музеем? Никого не пускают...

Кажется, она немножко удивилась:

– Не пускают? Разве?

– Ну я же вам говорю! Еле-еле пропустили через служебный вход.

– А, да... Простите, кто вы такой? У вас ко мне дело?

Я повторил, что я Максим Каммерер, и принялся излагать свою легенду.

И тут произошла удивительная вещь. Едва я произнес имя Льва Абалкина, как она словно бы проснулась. Рассеянность исчезла с ее лица, она вся вспыхнула и буквально впилась в меня своими серыми глазами. Но она не произнесла ни слова и выслушала меня до конца. Она только медленно подняла со стола свои безвольно лежавшие руки, скрестила длинные пальцы и положила на них подбородок.

– Вы сами его знали? – спросила она.

Я рассказал об экспедиции в устье Голубой Змеи.

– И вы обо всем этом напишете?

– Разумеется, – сказал я. – Но этого мало.

– Мало – для чего? – спросила она.

На лице ее появилось странное выражение – словно она с трудом сдерживала смех. У нее даже глаза заблестели.

– Понимаете, – начал я снова, – мне хочется показать становление Абалкина как крупнейшего специалиста в своей области. На стыке зоопсихологии и социопсихологии он произвел что-то вроде...

– Но он же не стал специалистом в своей области, – сказала она. – Они же сделали его Прогрессором. Они же его... Они...

Нет, не смех она сдерживала, а слезы. И теперь перестала сдерживать. Упала лицом в ладони и разрыдалась. О Господи! Женские

слезы – это вообще ужасно, а тут я вдобавок ничего не понимал. Она рыдала бурно, самозабвенно, как ребенок, вздрагивая всем телом, а я сидел дурак дураком и не знал, что делать. В таких случаях всегда протягивают стакан воды, но в кабинете-мастерской не было ни стакана, ни воды, ни каких-либо заменителей – только стеллажи, уставленные предметами неизвестного назначения.

А она все плакала, слезы струйками протекали у нее между пальцами и капали на стол, она судорожно вздыхала, всхлипывала и все не открывала лица, а потом вдруг принялась говорить и говорила так, будто думала вслух – перебивая самое себя, без всякого порядка и без всякой цели...

...Он лупил ее – ого, еще как! Стоило ей поднять хвост, как он выдавал ей по первое число. Ему было наплевать, что она девчонка и младше его на три года, – она принадлежала ему, и точка. Она была его вещью, его собственной вещью. Стала сразу же, чуть ли не в тот день, когда он увидел ее. Ей было пять лет, а ему восемь. Он бегал кругами и выкрикивал свою собственную считалку: «Стояли звери около двери, в них стреляли, они умирали!» Десять раз, двадцать раз подряд. Ей стало смешно, и вот тогда он выдал ей впервые...

...Это было прекрасно – быть его вещью, потому что он любил ее. Он больше никого и никогда не любил. Только ее. Все остальные были ему безразличны. Они ничего не понимали и не умели понять. А он выходил на сцену, пел песни и декламировал – для нее. Он так и говорил: «Это для тебя. Тебе понравилось?» И прыгал в высоту – для нее. И нырял на тридцать два метра – для нее. И писал стихи по ночам – тоже для нее. Он очень ценил ее, свою собственную вещь, и все время стремился быть достойным такой ценной вещи. И никто ничего об этом не знал. Он всегда умел сделать так, чтобы никто ничего об этом не знал. До самого последнего года, когда об этом узнал его Учитель...

...У него было еще много собственных вещей. Весь лес вокруг интерната был его очень большой собственной вещью. Каждая птица в этом лесу, каждая белка, каждая лягушка в каждой канаве. Он повелевал змеями, он начинал и прекращал войны между муравейниками, он умел лечить оленей, и все они были его собственными, кроме старого лося по имени Рекс, которого он признал равным себе, но потом с ним поссорился и прогнал его из леса...

...Дура, дура! Сначала все было так хорошо, а потом она подросла и вздумала освободиться. Она прямо объявила ему, что не желает больше быть его вещью. Он отлупил ее, но она была упряма, она стояла на своем, проклятая дура. Тогда он снова отлупил ее, жестоко и

беспощадно, как лупил своих волков, пытавшихся вырваться у него из повиновения. Но она-то была не волк, она была упрямее всех его волков вместе взятых. И тогда он выхватил из-за пояса свой нож, который самолично выточил из кости, найденной в лесу, и с бешеной улыбкой медленно и страшно вспорол себе руку от кисти до локтя. Он стоял перед ней с бешеной улыбкой, кровь хлестала у него из руки, как вода из крана, и он спросил: «А теперь?» И он еще не успел повалиться, как она поняла, что он был прав. Был прав всегда, с самого начала. Но она, дура, дура, дура, так и не захотела признать этого...

...А в последний его год, когда она вернулась с каникул, ничего уже не было. Что-то случилось. Наверное, они уже взяли его в свои руки. Или узнали обо всем и, конечно же, ужаснулись, идиоты. Проклятые разумные кретины. Он посмотрел сквозь нее и отвернулся. И больше уже не смотрел на нее. Она перестала существовать для него, как и все остальные. Он утратил свою вещь и примирился с потерей. А когда он снова вспомнил о ней, все уже было по-другому. Жизнь уже навсегда перестала быть таинственным лесом, в котором он был владыкой, а она – самым ценным, что он имел. Они уже начали превращать его, он был уже почти Прогрессор, он уже был на полпути в другой мир, где предают и мучают друг друга. И видно было, что он стоит на этом пути твердой ногой, он оказался хорошим учеником, старательным и способным. Он писал ей, она не отвечала. Он звал ее, она не откликалась. А надо было ему не писать и не звать, а приехать самому и отлупить, как встарь, и тогда все, может быть, стало бы по-прежнему. Но он уже больше не был владыкой. Он стал всего лишь мужчиной, каких было много вокруг, и он перестал ей писать...

...Последнее его письмо, как всегда написанное от руки, – он признавал только письма от руки, никаких кристаллов, никаких магнитных записей, только от руки, – последнее его письмо пришло как раз оттуда, из-за Голубой Змеи. «Стояли звери около двери, – писал он, – в них стреляли, они умирали». И больше ничего не было в этом последнем его письме...

Она лихорадочно выговаривалась, всхлипывая и сморкаясь в смятые лабораторные салфетки, и вдруг я понял, и через секунду она сказала это сама: она виделась с ним вчера. Как раз в то самое время, когда я звонил ей и беседовал с конопатым Тойво, и когда я дозванивался до Ядвиги, и когда я разговаривал с Экселенцем, и когда я валялся дома, изучая отчет об операции «Мертвый мир», – все это время она была с ним, смотрела на него, слушала его, и что-то там у них происходило такое, из-за чего она сейчас плакалась в жилетку незнакомому человеку.

2 июня 78-го года
Майя Глумова и журналист Каммерер

Она замолчала, словно опомнившись, и я тоже опомнился – только на несколько секунд раньше. Ведь я был на работе. Надо было работать. Долг. Чувство долга. Каждый обязан исполнять свой долг. Эти затхлые, шершавые слова. После того, что мне довелось услышать. Плюнуть на долг и сделать все возможное, чтобы вытащить эту несчастную женщину из трясины ее непонятного отчаяния. Может быть, это и есть мой настоящий долг?

Но я знал, что это не так. Это не так по многим причинам. Например, потому что я не умею вытаскивать людей из трясины отчаяния. Просто не знаю, как это делается. Не знаю даже, с чего здесь начинают. И поэтому мне больше всего хотелось сейчас встать, извиниться и уйти. Но и этого я, конечно, не сделаю, потому что мне надо непременно узнать, где они встречались и где он сейчас...

Она вдруг снова спросила:

– Кто вы такой?

Она задала этот вопрос голосом надтреснутым и сухим, и глаза у нее уже были сухие и блестящие, совсем больные глаза.

Пока я не пришел, она сидела здесь одна, хотя вокруг было полным-полно ее коллег и даже, наверное, друзей, все равно она была одна, может быть, даже кто-то и подходил к ней и пытался заговорить с нею, но она все равно оставалась одна, потому что здесь никто ничего не знал и не мог знать о человеке, переполнившем ее душу этим страшным отчаянием, этим жгучим, обессиливающим разочарованием и всем прочим, что скопилось в ней за эту ночь, рвалось наружу и не находило выхода, и вот появился я и назвал имя Льва Абалкина – словно полоснул скальпелем по невыносимому нарыву. И тогда ее прорвало, и на какое-то время она ощутила огромное облегчение, сумела наконец выкричаться, выплакаться, освободиться от боли, разум ее освободился, и тогда я перестал быть целителем, а стал тем, кем и был на самом деле, – совершенно чужим, посторонним и случайным человеком. И сейчас ей становилось ясно, что на самом деле я не могу быть совсем уж случайным человеком, потому что таких случайностей не бывает. Не бывает так, чтобы расстаться с возлюбленным двадцать лет назад, двадцать лет ничего не знать о нем, двадцать лет не слышать его имени, а потом, двадцать лет спустя, снова встретиться с ним и провести с ним ночь, страшную и горькую, страшнее и горше любой разлуки, и чтобы наутро, впервые за двадцать лет,

услыхать его имя от совершенно случайного, чужого, постороннего человека...

– Кто вы такой? – спросила она надтреснутым и сухим голосом.

– Меня зовут Максим Каммерер, – ответил я в третий раз, всем видом своим изображая крайнюю растерянность. – Я в некотором роде журналист... Но ради бога... Я, видимо, попал не вовремя... Понимаете, я собираю материал для книги о Льве Абалкине...

– Что он здесь делает?

Она мне не верила. Может быть, она чувствовала, что я ищу не материал о Льве Абалкине, а самого Льва Абалкина. Мне надо было приспосабливаться. И побыстрее. И я, разумеется, приспособился.

– В каком смысле? – спросил журналист Каммерер озадаченно и с некоторой даже тревогой.

– У него здесь задание?

Журналист Каммерер обалдел.

– З-задание? Н-не совсем понимаю... – Журналист Каммерер был жалок. Без всякого сомнения, он был не готов к такой встрече. Он попал в дурацкое положение помимо своей воли и совершенно не представлял себе, как из этого положения выпутаться. Больше всего на свете журналисту Каммереру хотелось убежать. – Майя Тойвовна, ведь я... Ради бога, вы не подумайте только... Считайте, что я ничего здесь не слышал... Я уже все забыл!.. Меня здесь вообще не было!.. Но если я могу чем-то помочь вам...

Журналист Каммерер лепетал бессвязицу и был багров от смущения. Он уже не сидел. Он в предупредительной и крайне неудобной позе как бы нависал над столом и все пытался ободряюще взять Майю Тойвовну за локоть. Он был, вероятно, довольно противен на вид, но уж наверняка совершенно безвреден и глуповат.

– ...У меня, видите ли, такая манера работы... – бормотал он в жалкой попытке как-то оправдаться. – Вероятно, спорная, не знаю, но раньше мне всегда это удавалось... Я начинаю с периферии: друзья, сотрудники... Учителя, разумеется... Наставники... а потом уже – так сказать, во всеоружии – приступаю к главному объекту исследования... Я справлялся в КОМКОНе, мне сказали, что Абалкин вот-вот должен вернуться на Землю... С Учителем я уже поговорил... С врачом... Потом решил – с вами... Но не вовремя... Простите и еще раз простите. Я же не слепой, я вижу, что получилось какое-то крайне неприятное совпадение...

И он таки успокоил ее, этот неуклюжий и глуповатый журналист Каммерер. Она откинулась в кресле и прикрыла лицо ладонью. Подозрения исчезли, проснулся стыд, и навалилась усталость.

– Да, – сказала она. – Это совпадение…

Теперь журналисту Каммереру следовало повернуться и удалиться на цыпочках. Но не такой он был человек, этот журналист. Не мог он вот так, попросту, оставить в одиночестве измученную, расстроенную женщину, без всякого сомнения нуждающуюся в помощи и поддержке.

– Разумеется, совпадение, и не более того… – бормотал он. – И забудем, и ничего не было… Потом, когда-нибудь, когда вам будет удобно… угодно… Я бы с величайшей благодарностью, разумеется… Конечно, это не в первый раз случается в моей работе, что я сначала беседую с главным объектом, а потом уже… Майя Тойвовна, может быть, позвать кого-нибудь? Я мигом…

Она молчала.

– Ну и не надо, ну и правильно… Зачем? Я посижу здесь с вами… на всякий случай…

Она наконец отняла руку от глаз.

– Не надо вам со мной сидеть, – устало сказала она. – Ступайте лучше к своему главному объекту…

– Нет-нет-нет! – запротестовал журналист Каммерер. – Успею. Объект, знаете, объектом, а я бы не хотел оставлять вас одну… Времени у меня сколько угодно… – Он посмотрел на часы с некоторой тревогой. – А объект теперь никуда не денется! Теперь я его поймаю… Да его и дома-то сейчас, скорее всего, нет. Знаю я этих Прогрессоров в отпуске… Бродит, наверное, по городу и предается сентиментальным воспоминаниям…

– Его нет в городе, – сказала Майя Тойвовна, пока еще сдерживаясь. – Вам до него два часа лету…

– Два часа лету? – Журналист Каммерер был неприятно поражен. – Позвольте, но у меня определенно сложилось впечатление…

– Он на Валдае! Курорт «Осинушка»! На озере Велье! И имейте в виду, что нуль-Т не работает!

– М-м-м! – очень громко произнес журналист Каммерер.

Двухчасовое воздушное путешествие, безусловно, не входило в его планы на сегодняшний день. Можно было даже заподозрить, что он вообще противник воздушных путешествий.

– Два часа… – забормотал он. – Так-так-так… Я как-то совсем по-другому это себе представлял… Прошу извинить меня, Майя Тойвовна, но, может быть, с ним можно как-то связаться отсюда?

– Наверное, можно, – сказала Майя Тойвовна совсем уже угасшим голосом. – Я не знаю его номера… Послушайте, Каммерер, дайте мне остаться одной. Все равно вам сейчас от меня никакого толку.

И вот только теперь журналист Каммерер осознал всю неловкость своего положения до конца. Он вскочил и бросился к двери. Спохватился, вернулся к столу. Пробормотал нечленораздельные извинения. Снова бросился к двери, опрокинув по дороге кресло. Продолжая бормотать извинения, поднял кресло и поставил его на место с величайшей осторожностью, словно оно было из хрусталя и фарфора. Попятился, кланяясь, выдавил задом дверь и вывалился в коридор.

Я осторожно прикрыл дверь и некоторое время постоял, растирая тыльной стороной ладони затекшие мускулы лица. От стыда и отвращения к самому себе меня мутило.

2 июня 78-го года
«Осинушка». Доктор Гоаннек

С восточного берега «Осинушка» выглядела как россыпь белых и красных крыш, утопающих в красно-зеленых зарослях рябины. Была там еще узкая полоска пляжа и деревянный на вид причал, к которому приткнулось стадо разноцветных лодок. На всем озаренном солнцем косогоре не видно было ни души, и только на причале восседал, свесив босые ноги, некто в белом – надо полагать, удил рыбу, очень уж был неподвижен.

Я бросил одежду на сиденье и без лишнего шума вошел в воду. Хороша была вода в озере Велье, чистая и сладкая, плыть было одно удовольствие.

Когда я вскарабкался на причал и, вытряхивая воду из уха, запрыгал на одной ноге по горячим от солнца доскам, некто в белом отвлекся наконец от поплавка и, оглядев меня через плечо, осведомился с интересом:

– Так и бредете из Москвы в одних трусах?

Опять это был старикан лет под сто, сухой и тощий, как его бамбуковая удочка, только не желтый с лица, а скорее коричневый или даже, я бы сказал, почти черный. Возможно, по контрасту со своими незапятнанно белыми одеждами. Впрочем, глаза у него были молодые – маленькие, синенькие и веселенькие. Ослепительно белая каскетка с исполинским противосолнечным козырьком прикрывала его, несомненно, лысую голову и делала похожим не то на отставного жокея, не то на марк-твеновского школьника, удравшего из воскресной школы.

– Говорят, здесь рыбы необыкновенное количество, – сказал я, опускаясь рядом с ним на корточки.

– Вранье, – сказал он. Кратко сказал. Увесисто.

– Говорят, здесь время можно неплохо провести, – сказал я.

– Смотря кому, – сказал он.

– Модный курорт, говорят, здесь, – сказал я.

– Был, – сказал он.

Я иссяк. Мы помолчали.

– Модный курорт, юноша, – наставительно произнес он, – был здесь три сезона тому назад. Или, как выражается мой правнук Брячеслав, «тому обратно». Теперь, видите ли, юноша, мы не мыслим себе отдыха без ледяной воды, без гнуса, без сыроядения и диких дебрей... «Дикие скалы – вот мой приют», видите ли... Таймыр и Баффинова Земля, знаете ли... Космонавт? – спросил он вдруг. – Прогрессор? Этнолог?

– Был, – сказал я не без злорадства.

– А я врач, – сказал он, не моргнув глазом. – Полагаю, вам я не нужен? Последние три сезона я редко кому здесь был нужен. Впрочем, опыт показывает, что пациент склонен идти косяком. Например, вчера я понадобился. Спрашивается: почему бы и не сегодня? Вы уверены, что я вам не нужен?

– Только как приятный собеседник, – сказал я искренне.

– Ну что ж, и на том спасибо, – отозвался он с готовностью. – Тогда пойдемте пить чай.

И мы пошли пить чай.

Доктор Гоаннек обитал в обширной бревенчатой избе при медицинском павильоне. Изба была оборудована всем необходимым, как-то: крыльцом с балясинами, резными наличниками, коньковым петухом, русской ультразвуковой печью с автоматической настройкой, подовой ванной и двуспальной лежанкой, а также двухэтажным погребом, подключенным, впрочем, к Линии Доставки. На задах, в зарослях могучей крапивы, имела место кабина нуль-Т, искусно выполненная в виде деревянного нужника.

Чай у доктора состоял из: ледяного свекольника, пшенной каши с тыквой и шипучего, с изюмом, кваса. Собственно чая, чая как такового, не было, – по глубокому убеждению доктора Гоаннека, потребление крепкого чая способствовало камнеобразованию, а жидкий чай представлял собою кулинарный нонсенс.

Доктор Гоаннек был старожилом «Осинушки» – он принял здешнюю практику двенадцать сезонов назад. Он видывал «Осинушку» и заурядным курортом, каких тысячи, и в пору совершенно фантастического взлета, когда в курортологии на время возобладала идея, будто только средняя полоса способна сделать отдыхающего

счастливым. Не покинул он ее и теперь, в период ее, казалось бы, безнадежного упадка.

Нынешний сезон, начавшийся, как всегда, в апреле, привел в «Осинушку» всего лишь троих.

В середине мая здесь побывала супружеская чета абсолютно здоровых ассенизаторов, только что прибывших из Северной Атлантики, где они разгребали огромную кучу радиоактивной дряни. Эта пара – негр банту и малайка – перепутала полушария и явилась сюда покататься, видите ли, на лыжах. Побродив несколько дней по окрестным лесам, они в одну прекрасную ночь скрылись в неизвестном направлении, и только через неделю от них пришла с Фолклендских островов телеграмма с подобающими извинениями.

Да вот еще вчера рано утром объявился нежданно-негаданно в «Осинушке» некий странный юноша. Почему странный? Во-первых, непонятно, как он сюда попал. Не было при нем ни наземного, ни воздушного транспорта – за это доктор Гоаннек мог поручиться своей бессонницей и чутким слухом. Не явился он сюда и пешком – не был он похож на человека, путешествующего пешком: пеших туристов, доктор Гоаннек безошибочно определял по запаху. Оставалась нуль-транспортировка. Но, как известно, последние несколько дней нуль-связь барахлит из-за флюктуаций нейтринного поля, а значит, в «Осинушку» нуль-транспортировкой можно было попасть только по чистой случайности. Однако спрашивается: если этот юноша попал сюда чисто случайно, почему он сразу же набросился на доктора Гоаннека, словно именно в докторе Гоаннеке он нуждался всю свою жизнь?

Этот последний пункт показался путешествующему в трусах туристу Каммереру несколько туманным, и доктор Гоаннек не замедлил дать соответствующие разъяснения. Странному юноше не нужен был именно доктор Гоаннек лично. Ему нужен был любой доктор, но зато чем скорее, тем лучше. Дело в том, что юноша жаловался на нервное истощение, и таковое истощение действительно имело место, причем настолько сильное, что такому опытному врачу, как доктор Гоаннек, это было видно невооруженным глазом. Доктор Гоаннек счел необходимым тут же произвести всестороннее и тщательное обследование, которое, к счастью, не обнаружило никакой патологии. Замечательно, что этот благоприятный диагноз произвел на юношу прямо-таки целительное действие. Он буквально расцвел на глазах и уже через два-три часа как ни в чем не бывало принимал гостей.

Нет-нет, гости прибыли самым обыкновенным образом – на стандартном глайдере... Собственно, не гости, а гостья. И очень

правильно: для молодого человека нет и не может быть более целительной психотерапии, нежели очаровательная молодая женщина. В обширной практике доктора Гоаннека аналогичные случаи имели место достаточно часто. Вот, например... Доктор Гоаннек привел пример номер один. Или, скажем... Доктор Гоаннек привел пример номер два. Соответственно, и для молодых женщин лучшей психотерапией является... И доктор Гоаннек привел примеры за номерами три, четыре и пять.

Чтобы не ударить в грязь лицом, турист Каммерер поспешил ответить примером из своего личного опыта, когда он в бытность свою Прогрессором тоже однажды оказался на грани нервного истощения, однако этот жалкий и неудачный пример был отвергнут доктором Гоаннеком с негодованием. С Прогрессорами, оказывается, все обстоит совершенно иначе – гораздо сложнее, а в известном смысле, наоборот, гораздо проще. Во всяком случае, доктор Гоаннек никогда не позволил бы себе без консультации со специалистом применять какие бы то ни было психотерапевтические средства к странному юноше, если бы таковой был Прогрессором...

Но странный юноша, разумеется, не был Прогрессором. Говоря в скобках, он, пожалуй, никогда и не смог бы стать Прогрессором: у него для этого малопригодный тип нервной организации. Нет, не Прогрессором он был, а то ли артистом, то ли художником, которого постигла крупная творческая неудача. И это был далеко не первый и даже не десятый случай в богатой практике доктора Гоаннека. Помнится..., И доктор Гоаннек принялся извергать случаи один другого краше, заменяя при этом, разумеется, подлинные имена всевозможными Иксами, Бетами и даже Альфами...

Турист Каммерер, бывший Прогрессор и человек вообще грубоватый по натуре, довольно невежливо прервал это поучительное повествование, заявив, что лично он нипочем не согласился бы жить на одном курорте с ополоумевшим артистом. Это было опрометчивое замечание, и туриста Каммерера незамедлительно поставили на место. Прежде всего, слово «ополоумевший» было проанализировано, вдребезги раскритиковано и отметено прочь как медицински безграмотное, а вдобавок еще и вульгарное. И только затем доктор Гоаннек с необычайным ядом в голосе сообщил, что упомянутый ополоумевший артист, предчувствуя, видимо, нашествие бывшего Прогрессора Каммерера и все связанные с этим неудобства, сам отказался от мысли делить с ним курорт и еще утром отбыл на первом попавшемся глайдере. При этом он так спешил избежать встречи с туристом Каммерером, что даже не успел попрощаться с доктором Гоаннеком.

Бывший Прогрессор Каммерер остался, впрочем, совершенно нечувствителен к яду. Он принял все за чистую монету и выразил полное удовлетворение тем обстоятельством, что курорт свободен от нервно-истощенных работников искусства и теперь можно без помех и со вкусом выбрать себе подходящее место для постоя.

– Где жил этот неврастеник? – прямо спросил он и тут же пояснил: – Это я – чтобы туда зря не ходить.

Разговор этот происходил уже на крыльце с балясинами. Несколько шокированный доктор молча указал на живописную избу с большим синим номером шесть, стоявшую несколько отдельно от прочих строений, на самом обрыве.

– Превосходно, – объявил турист Каммерер. – Значит, туда мы не пойдем. А пойдем мы с вами сначала вон туда... Мне нравится, что там как будто рябина погуще...

Было совершенно несомненно, что изначально общительный доктор Гоаннек намеревался предложить, а в случае сопротивления и навязать свою особу в качестве проводника и рекомендателя «Осинушки». Однако турист и бывший Прогрессор Каммерер казался ему теперь излишне бесцеремонным и толстокожим.

– Разумеется, – сухо сказал он. – Я вам советую пройти по этой вот тропинке. Отыщите коттедж номер двенадцать...

– Как? А вы?

– Увольте. У меня, знаете ли, обыкновение после чая отдыхать в гамаке...

Несомненно, одного-единственного жалобного взгляда было бы достаточно, чтобы доктор Гоаннек немедленно смягчился и изменил бы своему обыкновению во имя законов гостеприимства. Поэтому толстокожий и вульгарный Каммерер поспешил наложить последний мазок.

– Пр-р-роклятые годы, – сочувственно произнес он, и дело было сделано.

Кипя безмолвным негодованием, доктор Гоаннек направился к своему гамаку, а я нырнул в заросли рябины, обогнул медицинский павильон и наискосок по косогору направился к избе неврастеника.

2 июня 78-го года
В избе номер шесть

Мне было ясно, что, скорее всего, «Осинушка» больше никогда не увидит Льва Абалкина и что в его временном жилище я не найду ничего для себя полезного. Но две вещи были для меня совсем неясны.

Действительно, как Лев Абалкин попал в эту «Осинушку» и зачем? С его точки зрения, если он действительно скрывается, гораздо логичнее и безопаснее было бы обратиться к врачу в любом большом городе. Например, в Москве, до которой отсюда десять минут лету, или хотя бы в Валдае, до которого отсюда лету две минуты. Скорее всего, он попал сюда совершенно случайно: либо не обратил внимания на предупреждение о нейтринной буре, либо ему было все равно куда попадать. Ему нужен был врач, срочно, позарез. Зачем?

И еще одна странность. Неужели опытный столетний врач мог ошибиться настолько, чтобы признать матерого Прогрессора непригодным к этой профессии? Вряд ли. Тем более что вопрос о профессиональной ориентации Абалкина встает передо мной не впервые... Выглядит это достаточно беспрецедентно. Одно дело направить в Прогрессоры человека вопреки его профессиональным склонностям, и совсем другое дело – определить Прогрессором человека с противопоказанной нервной организацией. За такие штучки надо снимать с работы – и не временно, а навсегда, потому что пахнет это уже не напрасной растратой человеческой энергии, а человеческими смертями... Кстати, Тристан уже умер... И я подумал, что потом, когда я найду Льва Абалкина, мне непременно надо будет найти тех людей, по вине которых заварилась вся эта каша.

Как я и ожидал, дверь временного обиталища Льва Абалкина заперта не была. В маленьком холле было пусто, на низком круглом столике под газосветной лампой восседал игрушечный медвежонок-панда и важно кивал головой, посвечивая рубиновыми глазками.

Я заглянул направо, в спальню. Видимо, сюда не заходили года два, а то и все три – даже световая автоматика не была там задействована, а над застеленной кроватью темнели в углу паутинные заросли с дохлыми пауками.

Обогнув столик, я прошел на кухню. Кухней пользовались. На откидном столе имели место грязные тарелки, окно Линии Доставки было открыто, и в приемной камере красовался невостребованный пакет с гроздью бананов. Видимо, там, у себя в штабе «Ц», Лев Абалкин привык пользоваться услугами денщика. Впрочем, вполне можно было предположить, что он не знал, как запускается киберуборщик...

Кухня в какой-то мере подготовила меня к тому, что я увидел в гостиной. Правда, в очень малой мере. Весь пол был усеян клочьями рваной бумаги. Широкая кушетка разорена – цветастые подушки валялись как попало, а одна оказалась на полу в дальнем углу комнаты. Кресло у стола было опрокинуто, на столе в беспорядке располагались блюда с подсохшей едой и опять-таки грязные тарелки, а среди всего

этого торчала початая бутылка вина. Еще одна бутылка, оставив за собой липкую дорожку на ковре, откатилась к стене. Бокал с остатками вина был почему-то только один, но, поскольку оконная портьера была содрана и висела на последних нитках, я как-то сразу предположил, что второй бокал улетел в распахнутое настежь окно.

Мятая бумага валялась не только на полу, и не вся она была мятая. Несколько листков белели на кушетке, рваные клочки попали в блюда с едой, и вообще блюда и тарелки были несколько сдвинуты в сторону, а на освободившемся пространстве лежала целая пачка бумаги.

Я сделал несколько осторожных шагов, и сейчас же что-то острое впилось мне в босую подошву. Это был кусочек янтаря, похожий на коренной зуб с двумя корнями. Он был просверлен насквозь. Я опустился на корточки, огляделся и обнаружил еще несколько таких же кусочков, а остатки янтарного ожерелья валялись под столом, у самой кушетки.

Все еще на корточках, я подобрал ближайший клочок бумаги и расправил его на ковре. Это была половинка листа обычной писчей бумаги, на которой кто-то изобразил стилом человеческое лицо. Детское лицо. Некий пухлощекий мальчишка лет двенадцати. По-моему, ябеда. Рисунок был выполнен несколькими точными, уверенными штрихами. Очень и очень приличный рисунок. Мне вдруг пришло в голову, что я, может быть, ошибаюсь, что вовсе не Лев Абалкин, а на самом деле какой-то профессиональный художник, претерпевший творческую неудачу, оставил здесь после себя весь этот хаос.

Я собрал всю разбросанную бумагу, поднял кресло и устроился в нем.

И опять все это выглядело довольно странно. Кто-то быстро и уверенно рисовал на листках какие-то лица, по преимуществу детские, каких-то зверушек, явно земных, какие-то строения, пейзажи, даже, по-моему, облака. Было там несколько схем и как бы кроков, набросанных рукой профессионального топографа, – рощицы, ручьи, болота, перекрестки дорог, и тут же, среди лаконичных топографических знаков, – почему-то крошечные человеческие фигурки, сидящие, лежащие, бегущие, и крошечные изображения животных – не то оленей, не то лосей, не то волков, не то собак, и почему-то некоторые из этих фигурок были перечеркнуты.

Все это было непонятно и уж, во всяком случае, никак не увязывалось с хаосом в комнате и с образом имперского штабного офицера, не прошедшего рекондиционирования. На одном из листочков я обнаружил превосходно выполненный портрет Майи Глумовой, и меня

поразило выражение то ли растерянности, то ли недоумения, очень умело схваченное на этом улыбающемся и в общем-то веселом лице. Был там еще и шарж на Учителя, Сергея Павловича Федосеева, причем мастерский шарж: именно таким был, вероятно, Сергей Павлович четверть века назад. Увидев этот шарж, я сообразил наконец, что за строения изображены на рисунках – четверть века назад такова была типовая архитектура евразийских школ-интернатов... И все это рисовалось быстро, точно, уверенно, и почти сейчас же рвалось, сминалось, отбрасывалось.

Я отложил бумаги и снова оглядел гостиную. Внимание мое привлекла голубая тряпочка, валявшаяся под столом. Я подобрал ее. Это был измятый и изодранный женский носовой платок. Я, конечно, сразу же вспомнил рассказ Акутагавы, и мне представилось, как Майя Тойвовна сидела вот в этом самом кресле перед Львом Абалкиным, смотрела на него, слушала его, и на лице ее блуждала улыбка, за которой лишь слабой тенью проступало выражение то ли растерянности, то ли недоумения, а руки ее под столом безжалостно терзали и рвали носовой платок...

Я отчетливо видел Майю Глумову, но я никак не мог представить себе, что же такое видела и слышала она. Все дело было в этих рисунках. Если бы не они, я бы легко увидел перед собою на этой развороченной кушетке обыкновенного имперского офицера, только что из казармы и вкушающего заслуженный отдых. Но рисунки были, и что-то очень важное, очень сложное и очень темное скрывалось за ними...

Делать здесь было больше нечего. Я потянулся к видеофону и набрал номер Экселенца.

2 июня 78-го года
Неожиданная реакция Экселенца

Он выслушал меня, ни разу не перебив, что само по себе было уже достаточно дурным признаком. Я попробовал утешить себя мыслью, что недовольство его связано не со мной, а с какими-то другими, далекими от меня обстоятельствами. Но, выслушав меня до конца, он сказал угрюмо:

– С Глумовой у тебя почти ничего не получилось.

– Меня связывала легенда, – сказал я сухо.

Он не спорил.

– Что думаешь делать дальше? – спросил он.

– По-моему, сюда он больше не вернется.

– По-моему, тоже. А к Глумовой?

– Трудно сказать. Вернее, совсем ничего не могу сказать. Не понимаю. Но шанс, конечно, остается.

– Твое мнение: зачем он вообще с нею встречался?

– Вот этого я и не понимаю, Экселенц. Судя по всему, они здесь занимались любовью и воспоминаниями. Только любовь эта была не совсем любовь, а воспоминания – не просто воспоминания. Иначе Глумова не была бы в таком состоянии. Конечно, если он напился как свинья, он мог ее как-то оскорбить... Особенно если вспомнить, какие у них были странные отношения в детстве...

– Не преувеличивай, – проворчал Экселенц. – Они уже давно не дети. Поставим вопрос так: если он теперь снова позовет ее или придет к ней сам, примет она его?

– Не знаю, – сказал я. – Скорее всего – да. Он все еще очень много значит для нее. Она не могла бы прийти в такое отчаяние из-за человека, к которому равнодушна.

– Литература, – проворчал Экселенц и вдруг гаркнул: – Ты должен был узнать, зачем он ее вызвал! О чем они говорили! Что он ей сказал!

Я разозлился.

– Ничего этого я узнать не мог, – сказал я. – Она была в истерике, а когда пришла в себя, перед ней сидел идиот-журналист со шкурой толщиной в дюйм...

Он прервал меня:

– Тебе придется встретиться с ней еще раз.

– Тогда разрешите мне изменить легенду!

– Что ты предлагаешь?

– Например, так. Я из КОМКОНа. На некоей планете произошло несчастье. Лев Абалкин – свидетель. Но несчастье это так его потрясло, что он бежал на Землю и теперь никого не хочет видеть... Психически надломлен, почти болен. Мы ищем его, чтобы узнать, что там произошло...

Экселенц молчал, предложение мое ему явно не нравилось. Некоторое время я смотрел на его недовольную веснушчатую лысину, заслонившую экран, а затем, сдерживаясь, заговорил снова:

– Поймите, Экселенц, теперь нельзя уже больше врать, как раньше. Она уже успела сообразить, что я появился у нее не случайно. Я ее разубедил, кажется, но, если я снова появлюсь в том же амплуа, это же будет явный вызов здравому смыслу! Либо она поверила, что я – журналист, и тогда ей не о чем со мной говорить, она просто пошлет к черту толстокожего идиота. Либо она не поверила, и тогда пошлет тем более. Я бы послал, например. А вот если я – представитель

КОМКОНа, тогда я имею право спрашивать, и уж я постараюсь спросить так, чтобы она ответила.

По-моему, все это звучало достаточно логично. Во всяком случае, никакого другого пути я придумать сейчас не мог. И во всяком случае, в роли идиота-журналиста я к ней больше не пойду. В конце концов, Экселенцу виднее, что более важно: найти человека или сохранить тайну розыска.

Он спросил, не поднимая головы:

– Зачем тебе понадобилось утром заходить в музей?

Я удивился:

– То есть как – зачем? Чтобы поговорить с Глумовой...

Он медленно поднял голову, и я увидел его глаза. Зрачки у него были во всю радужку. Я даже отпрянул. Было несомненно, что я сказал нечто ужасное. Я залепетал как школьник:

– Но ведь она же там работает... Где же мне было с ней разговаривать? Дома я ее не застал...

– Глумова работает в Музее внеземных культур? – отчетливо выговаривая слова, спросил он.

– Ну да, а что случилось?

– В Спецсекторе объектов невыясненного назначения... – тихо проговорил он. То ли спросил, то ли сообщил. У меня холод продрал по хребту, когда я увидел, как левый угол его тонкогубого рта пополз влево и вниз.

– Да, – сказал я шепотом.

Я уже снова не видел его глаз. Снова весь экран заслонила блестящая лысина.

– Экселенц...

– Помолчи! – гаркнул он. И мы оба надолго замолчали.

– Так, – сказал он наконец обычным голосом. – Отправляйся домой. Сиди дома и никуда не выходи. Ты можешь понадобиться мне в любую минуту. Но скорее всего – ночью. Сколько тебе нужно времени на дорогу?

– Два с половиной часа.

– Почему так долго?

– Мне еще озеро надо переплыть.

– Хорошо. Вернешься домой – доложи мне. Торопись.

И экран погас.

Из отчета Льва Абалкина

...Снова усиливается дождь, туман становится еще гуще, так что дома справа и слева почти невозможно разглядеть с середины улицы. Эксперты впадают в панику – им померещилось, что теперь отказывают биооптические преобразователи. Я их успокаиваю. Успокоившись, они наглеют и пристают, чтобы я включил противотуманный прожектор. Я включаю им прожектор. Эксперты ликуют было, но тут Щекн усаживается на хвост посередине мостовой и объявляет, что он не сделает более ни шагу, пока не уберут эту дурацкую радугу, от которой у него болят уши и чешется между пальцами. Он, Щекн, превосходно видит все и без этих нелепых прожекторов, а если эксперты и не видят чего-нибудь, то им и видеть-то ничего не надо, пусть-ка они лучше займутся каким-нибудь полезным делом, например, приготовят к его, Щекна, возвращению овсяную похлебку с бобами. Взрыв возмущения. Вообще-то эксперты побаиваются Щекна. Любой землянин, познакомившись с голованом, рано или поздно начинает его побаиваться. Но в то же время, как это ни парадоксально, тот же землянин не способен относиться к головану иначе как к большой говорящей собаке (ну, там, цирк, чудеса зоопсихологии, то-се...).

Один из экспертов имеет неосторожность пригрозить Щекну, что его оставят без обеда, если он будет упрямиться. Щекн повышает голос. Выясняется, что он, Щекн, всю свою жизнь прекрасно обходился без экспертов. Более того, мы здесь чувствовали себя до сих пор особенно хорошо именно тогда, когда экспертов не было ни видно и ни слышно. Что же касается персонально того эксперта, который, судя по всему, нацелился сейчас потребить его, Щекна, овсяную похлебку с бобами... И так далее, и так далее, и так далее.

Я стою под дождем, который все усиливается и усиливается, слушаю всю эту экспертно-бобовую белиберду и никак не могу стряхнуть с себя какое-то дремучее оцепенение. Мне чудится, будто я присутствую на удивительно глупом театральном представлении без начала и конца, где все действующие лица поперезабыли свои роли и несут отсебятину в тщетной надежде, что кривая вывезет. Это представление затеяно как бы специально для меня, чтобы как можно дольше удерживать меня на месте, не дать сдвинуться ни на шаг дальше, а тем временем за кулисами кто-то торопливо делает так, чтобы мне стало окончательно ясно: все без толку, ничего сделать нельзя, надо возвращаться домой...

С огромным трудом я беру себя в руки и выключаю проклятый прожектор. Щекн сейчас же обрывает на полуслове длинное,

тщательно продуманное оскорбление и как ни в чем не бывало устремляется вперед. Я шагаю следом, слушая, как Вандерхузе наводит порядок у себя на борту: «Срам!.. Мешать полевой группе!.. Немедленно удалю из рубки!.. Отстраню!.. Базар!..»

– Развлекаешься? – тихонько спрашиваю я Щекна.

Он только косится выпуклым глазом.

– Склочник, – говорю я. – И все вы, голованы, склочники и скандалисты...

– Мокро, – невпопад отзывается Щекн. – И полно лягушек. Ступить некуда... Опять грузовики, – сообщает он.

Из тумана впереди явственно и резко тянет вонью мокрого ржавого железа, и минуту спустя мы оказываемся посреди огромного беспорядочного стада разнообразных автомашин.

Здесь и обыкновенные грузовики, и грузовики-фургоны, и гигантские автоплатформы, и крошечные каплевидные легковушки, и какие-то чудовищные самоходные устройства с восемью колесами в человеческий рост. Они стоят посередине улицы и на тротуарах, кое-как, вкривь и вкось, упираясь друг в друга бамперами, иногда налезая друг на друга, – невообразимо ржавые, полуразвалившиеся, распадающиеся от малейшего толчка. Их сотни. Идти быстро невозможно, приходится обходить, протискиваться, перебираться, и все они нагружены домашним скарбом, и скарб этот тоже давно сгнил, истлел, проржавел до неузнаваемости...

Где-то на краю сознания жалобно бубнят усмиренные эксперты, встревоженно гудит Вандерхузе, но мне не до них. Я с проклятьями вытягиваю ноги из вонючей трясины полусгнившего тряпья и сейчас же с проклятьями проваливаюсь в недра каких-то огромных ящиков, где в грудах затхлой бумаги отчаянно пищат голые розовые крысята, и с проклятьями выкатываюсь, проламывая плечом какую-то гнилую деревянную стенку, под дождь, в лужу, распугивая лягушек... Хрустит и скрипит под ногами битое стекло, раскатываются в стороны какие-то то ли банки, то ли подшипники, прочное на вид никелированное железо разваливается в прах, когда рука пытается опереться на него, а один раз стенка фургона, гигантского, как трансконтинентальный контейнер, вдруг сама собой раскалывается поперек, и с гнилым хрюканьем вываливаются оттуда потоки неузнаваемого мусора в густых клубах отвратительно воняющей пыли...

А потом как-то неожиданно этот безобразный лабиринт кончается.

То есть вокруг по-прежнему машины, сотни машин, но теперь они стоят в относительном порядке, выстроившись по обе стороны мостовой и на тротуарах, а середина улицы совершенно свободна.

Я гляжу на Щекна. Щекн яростно отряхивается, чешется всеми четырьмя лапами сразу, вылизывает спину, плюется, изрыгает проклятия и снова принимается отряхиваться, чесаться и вылизываться.

Вандерхузе тревожно осведомляется, почему мы сошли с маршрута и что это был за склад. Я объясняю, что это был не склад. Мы дискутируем на тему: если это следы эвакуации, то почему аборигены эвакуировались с окраины в центр.

– Обратно я этой дорогой не пойду, – объявляет Щекн и яростным шлепком припечатывает к мостовой пробирающуюся мимо лягушку.

В два часа пополудни Штаб распространяет первое итоговое сообщение. Экологическая катастрофа, но цивилизация погибла по какой-то другой причине. Население исчезло, так сказать, в одночасье, но оно не истребило себя в войнах и не эвакуировалось через Космос – не та технология, да и вообще планета представляет собой не кладбище, а помойку. Жалкие остатки аборигенов прозябают в сельской местности, кое-как обрабатывают землю, совершенно лишены культурных навыков, однако прекрасно управляются с магазинными винтовками. Вывод для нас со Щекном: город должен быть абсолютно пуст. Мне этот вывод представляется сомнительным. Щекну тоже.

Улица расширяется, дома и ряды машин по обе стороны от нас совершенно исчезают в тумане, и я чувствую перед собой открытое пространство. Еще несколько шагов, и впереди из тумана возникает приземистый квадратный силуэт. Это опять броневик – совершенно такой же, как тот, что попал под обвалившуюся стену, но этот брошен давным-давно, он просел под собственной тяжестью и словно бы врос в асфальт. Все люки его распахнуты настежь. Два коротких пулеметных ствола, некогда грозно уставленных навстречу каждому, кто выходил на площадь, теперь уныло поникли, ржавые капли сочатся из них и лениво стекают на покатый лобовик. Проходя мимо, я машинально толкаю распахнутую боковую дверцу, но она приржавела намертво.

Перед собой я не вижу ничего. Туман на этой площади какой-то особенный, неестественно густой, словно он отстаивался здесь многомного лет и за эти годы слежался, свернулся, как молоко, и просел под собственной тяжестью.

– Под ноги! – командует вдруг Щекн.

Я гляжу под ноги и ничего не вижу. Зато до меня вдруг доходит, что под подошвами уже не асфальт, а что-то мягкое, пружинящее, склизкое, словно толстый мокрый ковер. Я приседаю на корточки.

– Можешь включить свой прожектор, – ворчит Щекн.

Но я уже и без всякого прожектора вижу, что асфальт здесь почти сплошняком покрыт довольно толстой неаппетитной коркой, какой-то спрессованной влажной массой, обильно проросшей разноцветной плесенью. Я вытаскиваю нож, поддеваю пласт этой корки – от заплесневелой массы отдирается не то тряпочка, не то обрывок ремешка, а под ремешком этим мутной зеленью проглядывает что-то округлое (пуговица? пряжка?), и медленно распрямляются какие-то то ли проволочки, то ли пружинки...

– Они все здесь шли... – говорит Щекн со странной интонацией.

Я поднимаюсь и иду дальше, ступая по мягкому и скользкому. Я пытаюсь укротить свое воображение, но теперь у меня это не получается. Все они шли здесь, вот этой же дорогой, побросав свои ненужные больше легковушки и фургоны, сотни тысяч и миллионы вливались с проспекта на эту площадь, обтекая броневик с грозно и бессильно уставленными пулеметами, шли, роняя то немногое, что пытались унести с собой, спотыкались и роняли, может быть, даже падали сами и тогда уже не могли подняться, и все, что падало, втаптывалось, втаптывалось и втаптывалось миллионами ног. И почему-то казалось, что все это происходило ночью – человеческая каша была озарена мертвенным неверным светом, и стояла тишина, как во сне...

– Яма... – говорит Щекн.

Я включаю прожектор. Никакой ямы нет. Насколько хватает луч, ровная гладкая площадь светится бесчисленными тусклыми огоньками люминесцирующей плесени, а в двух шагах впереди влажно чернеет большой, примерно двадцать на сорок, прямоугольник гладкого голого асфальта. Он словно аккуратно вырезан в этом проплесневелом мерцающем ковре.

– Ступеньки! – говорит Щекн как бы с отчаянием. – Дырчатые! Глубоко! Не вижу...

У меня мурашки ползут по коже: я никогда еще не слыхал, чтобы Щекн говорил таким странным голосом. Не глядя, я опускаю руку, и пальцы мои ложатся на большую лобастую голову, и я ощущаю нервное подрагивание треугольного уха. Бесстрашный Щекн испуган. Бесстрашный Щекн прижимается к моей ноге совершенно так же, как его предки прижимались к ногам своих хозяев, учуяв за порогом пещеры незнакомое и опасное...

– Дна нет... – говорит он с отчаянием. – Я не умею понять. Всегда бывает дно. Они все ушли туда, а дна нет, и никто не вернулся... Мы должны туда идти?

Я опускаюсь на корточки и обнимаю его за шею.

– Я не вижу здесь ямы, – говорю я на языке голованов. – Я вижу только ровный прямоугольник асфальта.

Щекн тяжело дышит. Все мускулы его напряжены, и он все теснее прижимается ко мне.

– Ты не можешь видеть, – говорит он. – Ты не умеешь. Четыре лестницы с дырчатыми ступенями. Стерты. Блестят. Все глубже и глубже. И никуда. Я не хочу туда. Не приказывай.

– Дружище, – говорю я. – Что это с тобой? Как я могу тебе приказывать?

– Не проси, – говорит он. – Не зови. Не приглашай.

– Мы сейчас уйдем отсюда, – говорю я.

– Да. И быстро!

Я диктую донесение. Вандерхузе уже переключил мой канал на Штаб, и, когда я заканчиваю, вся экспедиция уже в курсе. Начинается галдеж. Выдвигаются гипотезы, предлагаются меры. Шумно. Щекн понемножку приходит в себя: косит желтым глазом и то и дело облизывается. Наконец вмешивается сам Комов. Галдеж прекращается. Нам приказано продолжать движение, и мы охотно подчиняемся.

Мы огибаем страшный прямоугольник, пересекаем площадь, минуем второй броневик, запирающий проспект с противоположной стороны, и снова оказываемся между двумя колоннами брошенных автомашин. Щекн снова бодро бежит впереди, он снова энергичен, сварлив и заносчив. Я усмехаюсь про себя и думаю, что на

его месте я сейчас, несомненно, мучился бы от неловкости за тот панический приступ почти детского страха, с которым не удалось совладать там, на площади. А вот Щекн ничем таким не мучается. Да, он испытал страх и не сумел скрыть этого, и не видит здесь ничего стыдного и неловкого. Теперь он рассуждает вслух:

– Они все ушли под землю. Если бы там было дно, я бы уверил тебя, что все они живут сейчас под землей очень глубоко, не слышно. Но там нет дна! Я не понимаю, где они там могут жить. Я не понимаю, почему там нет дна и как это может быть.

– Попытайся объяснить, – говорю я ему. – Это очень важно.

Но Щекн не может объяснить. Очень страшно, твердит он. Планеты круглые, пытается объяснить он, и эта планета тоже круглая, я сам видел, но на той площади она вовсе не круглая. Она там как тарелка. И в тарелке дырка. И дырка эта ведет из одной пустоты, где находимся мы, прямо в другую пустоту, где нас нет.

– А почему я не видел этой дырки?

– Потому что она заклеена. Ты не умеешь. Заклеивали от таких, как ты, а не от таких, как я...

Потом он вдруг сообщает, что снова появилась опасность. Небольшая опасность, обыкновенная. Очень давно не было совсем, а теперь опять появилась.

Через минуту от фасада дома справа отваливается и рушится балкон третьего этажа. Я быстро спрашиваю Щекна, не уменьшилась ли опасность. Он, не задумываясь отвечает, что да, уменьшилась, но ненамного. Я хочу его спросить, с какой стороны угрожает нам теперь эта опасность, но тут в спину мне ударяет плотный воздух, в ушах свистит, шерсть на Щекне поднимается дыбом.

По проспекту проносится словно маленький ураган. Он горячий, и от него пахнет железом. Еще несколько балконов и карнизов с шумом обрушиваются по обеим сторонам улицы. С длинного приземистого дома срывает крышу, и она – старая, дырявая, рыхлая, – медленно крутясь и разваливаясь на куски, проплывает над мостовой и исчезает в туче гнойно-желтой пыли.

– Что там у вас происходит? – вопит Вандерхузе.

– Сквозняк какой-то... – отзываюсь я сквозь зубы.

Новый удар ветра заставляет меня пробежаться вперед помимо воли. Это как-то унизительно.

– Абалкин! Щекн! – гремит Комов. – Держитесь середины! Подальше от стен! Я продуваю площадь, у вас возможны обвалы...

И в третий раз короткий горячий ураган проносится вдоль проспекта, как раз в тот момент, когда Щекн пытается развернуться

носом к ветру. Его сбивает с ног и юзом волочит по мостовой в унизительной компании с какой-то зазевавшейся крысой.

– Все? – раздраженно спрашивает он, когда ураган стихает. Он даже не пытается подняться на ноги.

– Все, – говорит Комов. – Можете продолжать движение.

– Огромное вам спасибо, – говорит Щекн, ядовитый, как самая ядовитая змея.

В эфире кто-то хихикает, не сдержавшись. Кажется, Вандерхузе.

– Приношу свои извинения, – говорит Комов. – Мне нужно было разогнать туман.

В ответ Щекн изрыгает самое длинное и замысловатое проклятие на языке голованов, поднимается, бешено встряхивается и вдруг замирает в неудобной позе.

– Лев, – говорит он. – Опасности больше нет. Совсем. Сдуло.

– И на том спасибо, – говорю я.

Информация от Эспады. Чрезвычайно эмоциональное описание Главного Гаттауха. Я вижу его перед собой как живого: невообразимо грязный, вонючий, покрытый лишаями старикашка лет двухсот на вид, утверждает, будто ему двадцать один год, все время хрипит, кашляет, отхаркивается и сморкается, на коленях постоянно держит магазинную винтовку и время от времени палит в божий свет поверх головы Эспады, на вопросы отвечать не желает, а все время норовит задавать вопросы сам, причем ответы выслушивает нарочито невнимательно и каждый второй ответ во всеуслышание объявляет ложью...

Проспект вливается в очередную площадь. Собственно, это не совсем площадь – просто справа располагается полукруглый сквер, за которым желтеет длинное здание с вогнутым фасадом, уставленным фальшивыми колоннами. Фасад желтый, и кусты в сквере какие-то вяло-желтые, словно в канун осени, и поэтому я не сразу замечаю посередине сквера еще один «стакан».

На этот раз он целехонек и блестит как новенький, будто его только сегодня утром установили здесь, среди желтых кустов, – цилиндр высотой метра в два и метр в диаметре, из полупрозрачного, похожего на янтарь материала. Он стоит совершенно вертикально, и овальная дверца его плотно закрыта.

На борту у Вандерхузе вспышка энтузиазма, а Щекн лишний раз демонстрирует свое безразличие и даже презрение ко всем этим предметам, «не интересным его народу»: он немедленно принимается чесаться, повернувшись к «стакану» задом.

Я обхожу «стакан» кругом, потом берусь двумя пальцами за выступ на овальной дверце и заглядываю внутрь. Одного взгляда мне

вполне достаточно – заполняя своими чудовищными суставчатыми мослами весь объем «стакана», выставив перед собой шипастые полуметровые клешни, тупо и мрачно глянул на меня двумя рядами мутно-зеленых бельм гигантский ракопаук с Пандоры во всей своей красе.

Не страх во мне сработал, а спасительный рефлекс на абсолютно непредвиденное. Я и ахнуть не успел, как уже изо всех сил упирался плечом в захлопнутую дверцу, а ногами – в землю, с головы до ног мокрый от пота, и каждая жилка у меня дрожит.

А Щекн уже рядом, готовый к немедленной и решительной схватке, – покачивается на вытянутых напружиненных ногах, выжидательно поводя из стороны в сторону лобастой головой. Ослепительно белые зубы его влажно блестят в уголках пасти. Это длится всего несколько секунд, после чего он сварливо спрашивает:

– В чем дело? Кто тебя обидел?

Я нашариваю рукоять скорчера, заставляю себя оторваться от проклятой дверцы и принимаюсь пятиться, держа скорчер на изготовку. Щекн отступает вместе со мной, все более раздражаясь.

– Я задал тебе вопрос! – заявляет он с негодованием.

– Ты что же, – говорю я сквозь зубы, – до сих пор ничего не чуешь?

– Где? В этой будке? Там ничего нет!

Вандерхузе с экспертами взволнованно галдят над ухом. Я их не слушаю. Я и без них знаю, что можно, например, подпереть дверцу бревном – если найдется – или сжечь ее целиком из скорчера. Я продолжаю пятиться, не спуская глаз с дверцы «стакана».

– В будке ничего нет! – настойчиво повторяет Щекн. – И никого нет. И много лет никого не было. Хочешь, я открою дверцу и покажу тебе, что там ничего нет?

– Нет, – говорю я, кое-как управляясь со своими голосовыми связками. – Уйдем отсюда.

– Я только открою дверцу…

– Щекн, – говорю я. – Ты ошибаешься.

– Мы никогда не ошибаемся. Я иду. Ты увидишь.

– Ты ошибаешься! – рявкаю я. – Если ты сейчас же не пойдешь за мной, значит, ты мне не друг и тебе на меня наплевать!

Я круто поворачиваюсь на каблуках (скорчер в опущенной руке, предохранитель снят, регулятор на непрерывный разряд) и шагаю прочь. Спина у меня огромная, во всю ширину проспекта, и совершенно беззащитная.

Щекн с чрезвычайно недовольным и брезгливым видом шлепает лапами слева и позади. Ворчит и задирается. А когда мы отходим

шагов на двести, и я совсем уже успокаиваюсь и принимаюсь искать ходы к примирению, Щекн вдруг исчезает. Только когти шарахнули по асфальту. И вот он уже около будки, и поздно уже кидаться за ним, хватать за задние ноги, волочить дурака прочь, и скорчер мой теперь уже совершенно бесполезен, а проклятый голован приоткрывает дверцу и долго, бесконечно долго смотрит внутрь «стакана» ...

Потом, так и не издав ни единого звука, он снова прикрывает дверцу и возвращается. Щекн униженный. Щекн уничтоженный. Щекн, безоговорочно признающий свою полную непригодность и готовый поэтому претерпеть в дальнейшем любое с ним обращение. Он возвращается к моим ногам и усаживается боком, уныло опустив голову. Мы молчим. Я избегаю глядеть на него. Я гляжу на «стакан», чувствуя, как струйки пота на висках высыхают и стягивают кожу, как уходит из мышц мучительная дрожь, сменяясь тоскливой тягучей болью, и больше всего на свете мне хочется сейчас прошипеть: «С-с-скотина!..» и со всего размаха, с рыдающим выдохом залепить оплеуху по этой унылой, дурацкой, упрямой, безмозглой лобастой башке. Но я говорю только:

– Нам повезло. Почему-то они здесь не нападают...

Сообщение из Штаба. Предполагается что «прямоугольник Щекна» является входом в межпространственный тоннель, через который и было выведено население планеты. Предположительно, Странниками...

Мы идем по непривычно пустому району. Никакой живности, даже комары куда-то исчезли. Мне это скорее не нравится, но Щекн не обнаруживает никаких признаков беспокойства.

– На этот раз вы опоздали, – ворчит он.

– Да, похоже на то, – отзываюсь я с готовностью.

После инцидента с ракопауком Щекн заговаривает впервые. Кажется, он склонен поговорить о постороннем. Склонность эта проявляется у него не часто.

– Странники, – ворчит он. – Я много раз слышал: Странники, Странники... Вы совсем ничего о них не знаете?

– Очень мало. Знаем, что это сверхцивилизация, знаем, что они намного мощнее нас. Предполагаем, что они не гуманоиды. Предполагаем, что они освоили всю нашу Галактику, причем очень давно. Еще мы предполагаем, что у них нет дома – в нашем или в вашем понимании этого слова. Поэтому мы и называем их Странниками...

– Вы хотите с ними встретиться?

– Да как тебе сказать... Комов отдал бы за это правую руку. А я бы, например, предпочел, чтобы мы не встретились с ними никогда...

– Ты их боишься?

Мне не хочется обсуждать эту проблему. Особенно сейчас.

– Видишь ли, Щекн, – говорю я, – это длинный разговор. Ты бы все-таки поглядывал по сторонам, а то, я смотрю, ты стал какой-то рассеянный.

– Я поглядываю. Все спокойно.

– Ты заметил, что здесь вся живность исчезла?

– Это потому, что здесь часто бывают люди, – говорит Щекн.

– Вот как? – говорю я. – Ну, ты меня успокоил.

– Сейчас их нет. Почти.

Кончается сорок второй квартал, мы подходим к перекрестку. Щекн объявляет вдруг:

– За углом человек. Один.

Это дряхлый старик в длинном черном пальто до пят, в меховой шапке с наушниками, завязанными под взлохмаченной грязной бородой, в перчатках веселой ярко-желтой расцветки, в нелепых башмаках с матерчатым верхом. Двигается он с огромным трудом, еле ноги волочит. До него метров двадцать, но и на этом расстоянии отчетливо слышно, как он тяжело, с присвистом дышит, а иногда постанывает от напряжения.

Он грузит тележку на высоких тонких колесиках, что-то вроде детской коляски. Убредает в разбитую витрину, надолго исчезает там и так же медленно выбирается обратно, опираясь одной рукой о стену, а другой, скрюченной, прижимает к груди по две, по три банки с яркими этикетками. Каждый раз, подобравшись к своей коляске, он обессиленно опускается на трехногий складной стульчик, некоторое время сидит неподвижно, отдыхая, а затем принимается так же медлительно и осторожно перекладывать банки из-под скрюченной руки на тележку. Потом снова отдыхает, будто спит сидя, и снова поднимается на трясущихся ногах и направляется к витрине – длинный, черный, согнутый почти пополам.

Мы стоим на углу, почти не прячась, потому что нам ясно: старик ничего не видит и не слышит вокруг. По словам Щекна, он здесь совсем один, вокруг никого больше нет, разве что очень далеко. У меня нет ни малейшего желания вступать с ним в контакт, но, по-видимому, придется это сделать – хотя бы для того, чтобы помочь ему с этими банками. Но я боюсь его испугать. Я прошу Вандерхузе показать его Эспаде, пусть Эспада определит, кто это такой – «колдун», «солдат» или «человек».

Старик в десятый раз разгрузил свои банки и опять отдыхает, сгорбившись на трехногом стульчике. Голова его мелко трясется и клонится все ниже на грудь. Видимо, он засыпает.

– Я ничего подобного не видел, – объявляет Эспада. – Поговорите с ним, Лев...

– Уж очень он стар, – с сомнением говорит Вандерхузе.

– Сейчас умрет, – ворчит Щекн.

– Вот именно, – говорю я. – Особенно если я появлюсь перед ним в этом моем радужном балахоне...

Я не успеваю договорить. Старик вдруг резко подается вперед и мягко валится боком на мостовую.

– Все, – говорит Щекн. – Можно подойти посмотреть, если тебе интересно.

Старик мертв, он не дышит, и пульс не прощупывается. Судя по всему, у него обширный инфаркт и полное истощение организма. Но не от голода. Просто он очень, невообразимо дряхл. Я стою на коленях и смотрю в его зеленовато-белое костистое лицо со щетинистыми серыми бровями, с приоткрытым беззубым ртом и провалившимися щеками. Очень человеческое, совсем земное лицо. Первый нормальный человек в этом городе. И мертвый. И я ничего не могу сделать, потому что у меня с собой только полевая аппаратура.

Я вкалываю ему две ампулы некрофага и говорю Вандерхузе, чтобы сюда прислали медиков. Я не собираюсь здесь задерживаться. Это бессмысленно. Он не заговорит. А если и заговорит, то не скоро. Перед тем как уйти, я еще с минуту стою над ним, смотрю на коляску, наполовину загруженную консервными банками, на опрокинутый стульчик и думаю, что старик, наверное, всюду таскал за собой этот стульчик и поминутно присаживался отдохнуть...

Около восемнадцати часов начинает смеркаться. По моим расчетам, до конца маршрута остается еще часа два ходу, и я предлагаю Щекну отдохнуть и поесть. В отдыхе Щекн не нуждается, но, как всегда, не упускает случая лишний раз перекусить.

Мы устраиваемся на краю обширного высохшего фонтана под сенью какого-то мифологического каменного чудища с крыльями, и я вскрываю продовольственные пакеты. Вокруг мутно светлеют стены мертвых домов, стоит мертвая тишина, и приятно думать, что на десятках километров пройденного маршрута уже нет мертвой пустоты, а работают люди.

Во время еды Щекн никогда не разговаривает, однако, насытившись, любит поболтать.

– Этот старик, – произносит он, тщательно вылизывая лапу, – его действительно оживили?

– Да.

– Он снова живой, ходит, говорит?

– Вряд ли он говорит и тем более ходит, но он живой.

– Жаль, – ворчит Щекн.

– Жаль?

– Да. Жаль, что он не говорит. Интересно было бы узнать, что ТАМ...

– Где?

– Там, где он был, когда стал мертвым.

Я усмехаюсь:

– Ты думаешь, там что-нибудь есть?

– Должно быть. Должен же я куда-то деваться, когда меня не станет.

– Куда девается электрический ток, когда его выключают? – спрашиваю я.

– Этого я никогда не мог понять, – признается Щекн. – Но ты рассуждаешь неточно. Да, я не знаю, куда девается электрический ток, когда его выключают. Но я также не знаю, откуда он берется, когда его включают. А вот откуда взялся я – это мне известно и понятно.

– И где же ты был, когда тебя еще не было? – коварно спрашиваю я.

Но для Щекна это не проблема.

– Я был в крови своих родителей. А до этого – в крови родителей своих родителей.

– Значит, когда тебя не будет, ты будешь в крови своих детей...

– А если у меня не будет детей?

– Тогда ты будешь в земле, в траве, в деревьях...

– Это не так! В траве и деревьях будет мое тело. А вот где буду я сам?

– В крови твоих родителей тоже был не ты сам, а твое тело. Ты ведь не помнишь, каково тебе было в крови твоих родителей...

– Как это – не помню? – удивляется Щекн. – Очень многое помню!

– Ну да, действительно... – бормочу я, сраженный. – У вас же генетическая память...

– Называть это можно как угодно, – ворчит Щекн. – Но я действительно не понимаю, куда я денусь, если сейчас умру. Ведь у меня нет детей.

Я принимаю решение прекратить этот спор. Мне ясно: я никогда не сумею доказать Щекну, что ТАМ ничего нет. Поэтому я молча

сворачиваю продовольственный пакет, укладываю его в заплечный мешок и усаживаюсь поудобнее, вытянув ноги.

Щекн тщательно вылизал вторую лапу, привел в идеальный порядок шерстку на щеках и снова заводит разговор.

– Ты меня удивляешь, Лев, – объявляет он. – И все вы меня удивляете. Неужели вам здесь не надоело?

– Мы работаем, – возражаю я лениво.

– Зачем работать без всякого смысла?

– Почему же – без смысла? Ты же видишь, сколько мы узнали всего за один день.

– Вот я и спрашиваю: зачем вам узнавать то, что не имеет смысла? Что вы будете с этим делать? Вы все узнаёте и узнаёте и ничего не делаете с тем, что узнаёте.

– Ну, например? – спрашиваю я.

Щекн – великий спорщик. Он только что одержал одну победу и теперь явно рвется одержать вторую.

– Например, яма без дна, которую я нашел. Кому и зачем может понадобиться яма без дна?

– Это не совсем яма, – говорю я. – Это скорее дверь в другой мир.

– Вы можете пройти в эту дверь? – осведомляется Щекн.

– Нет, – признаюсь я. – Не можем.

– Зачем же вам дверь, в которую вы все равно не можете пройти?

– Сегодня не можем, а завтра сможем.

– Завтра?

– В широком смысле. Послезавтра. Через год...

– Другой мир, другой мир... – ворчит Щекн. – Разве вам тесно в этом?

– Как тебе сказать... Тесно, должно быть, нашему воображению.

– Еще бы! – ядовито произносит Щекн. – Ведь стоит вам попасть в другой мир, как вы сейчас же начинаете переделывать его наподобие вашего собственного. И конечно же, вашему воображению снова становится тесно, и тогда вы ищете еще какой-нибудь мир и опять принимаетесь переделывать его...

Он вдруг резко обрывает свою филиппику, и в то же мгновение я ощущаю присутствие постороннего. Здесь. Рядом. В двух шагах. Возле постамента с мифологическим чудищем.

Это совершенно нормальный абориген – судя по всему, из категории «человеков» – крепкий статный мужчина в брезентовых штанах и брезентовой куртке на голое тело, с магазинной винтовкой, висящей на ремне через шею. Копна нечесаных волос спадает ему на глаза, а щеки и подбородок выскоблены до гладкости. Он стоит у

постамента совершенно неподвижно, и только глаза его неторопливо перемещаются с меня на Щекна и обратно. Судя по всему, в темноте он видит не хуже нас. Мне непонятно, как он ухитрился так бесшумно и незаметно подобраться к нам.

Я осторожно завожу руку за спину и включаю линган транслятора.

– Подходи и садись, мы друзья, – одними губами говорю я.

Из лингана с полусекундным замедлением несутся гортанные, не лишенные приятности звуки.

Незнакомец вздрагивает и отступает на шаг.

– Не бойся, – говорю я. – Как тебя зовут? Меня зовут Лев, его зовут Щекн. Мы не враги. Мы хотим с тобой поговорить.

Нет, ничего не получается. Незнакомец отступает еще на шаг и наполовину укрывается за постаментом. Лицо его по-прежнему ничего не выражает, и неясно даже, понимает ли он, что ему говорят.

– У нас вкусная еда, – не сдаюсь я. – Может быть, ты голоден или хочешь пить? Садись с нами, и я с удовольствием тебя угощу…

Мне вдруг приходит в голову, что аборигену должно быть довольно странно слышать это «мы» и «с нами», и я торопливо перехожу на единственное число. Но это не помогает. Абориген совсем скрывается за постаментом, и теперь его не видно и не слышно.

– Уходит, – ворчит Щекн.

И я тут же снова вижу аборигена – он длинным, скользящим, совершенно бесшумным шагом пересекает улицу, ступает на противоположный тротуар и, так ни разу и не оглянувшись, скрывается в подворотне.

2 июня 78-го года
Лев Абалкин воочию

Около 18.00 ко мне ввалились (без предупреждения) Андрей и Сандро. Я спрятал папку в стол и сразу же строго сказал им, что не потерплю никаких деловых разговоров, поскольку теперь они подчинены не мне, а Клавдию. Кроме того, я занят.

Они принялись жалобно ныть, что пришли вовсе не по делам, что соскучились и что нельзя же так. Что-что, а ныть они умеют. Я смягчился. Был открыт бар, и некоторое время мы с удовольствием говорили о моих кактусах. Потом я вдруг совершенно случайно обнаружил, что говорим мы уже не столько о кактусах, сколько о Клавдии, и это еще было как-то оправданно, поскольку Клавдий своей шишковатостью и колючестью мне самому напоминал кактус, но я и ахнуть не

успел, как эти юные провокаторы чрезвычайно ловко и естественно съехали на дело о биореакторах и о Капитане Немо.

Не подавая виду, я дал им войти в раж, а затем, в самый кульминационный момент, когда они уже решили, что их начальник вполне готов, предложил им убираться вон. И я бы их выгнал, потому что здорово разозлился и на них, и на себя, но тут (опять же без предупреждения) заявилась Алена. Это судьба, подумал я и отправился на кухню. Все равно было уже время ужинать, а даже юным провокаторам известно, что при посторонних о наших делах разговаривать не полагается.

Получился очень милый ужин. Провокаторы, забыв обо всем на свете, распускали хвосты перед Аленой. Когда она их срезала, распускал хвост я – просто для того, чтобы не давать супу остыть в горшке. Кончился этот парад петухов великим спором: куда теперь пойти. Сандро требовал идти на «Октопусов» и притом немедленно, потому что лучшие вещи у них бывают вначале. Андрей горячился, как самый настоящий музыкальный критик, его выпады против «Октопусов» были страстны и поразительно бессодержательны, его теория современной музыки поражала своей свежестью и сводилась к тому, что нынче ночью самое время опробовать под парусом его новую яхту «Любомудр». Я стоял за шарады или, в крайнем случае, фанты. Алена же, смекнувшая, что я сегодня никуда не пойду и вообще занят, расстроилась и принялась хулиганить. ««Октопусов» – в реку! – требовала она. – По бим-бом-брамселям! Давайте шуметь!» И так далее.

В самый разгар этой дискуссии, в 19.33, закурлыкал видеофон. Андрей, сидевший ближе всех к аппарату, ткнул пальцем в клавишу. Экран осветился, но изображения на нем не было. И слышно не было ничего, потому что Сандро вопил во всю мочь: «Острова, острова, острова!..», совершая при этом нелепые телодвижения в попытках подражать неподражаемому Б.Туарегу, между тем как Алена, закусив удила, противостояла ему «Песней без слов» Глиэра (а может быть, и не Глиэра).

– Ша! – гаркнул я, пробираясь к видеофону.

Стало несколько тише, но аппарат по-прежнему молчал, мерцая пустым экраном. Вряд ли это был Экселенц, и я успокоился.

– Подождите, я перетащу аппарат, – сказал я в голубоватое мерцание.

В кабинете я поставил видеофон на стол, повалился в кресло и сказал:

– Ну вот, здесь потише... Только имейте в виду, я вас не вижу.

– Простите, я забыл… – произнес низкий мужской голос, и на экране появилось лицо – узкое, иссиня-бледное, с глубокими складками от крыльев носа к подбородку. Низкий широкий лоб, глубоко запавшие большие глаза, черные прямые волосы до плеч.

Любопытно, что я сразу узнал его, но не сразу понял, что это он.

– Здравствуйте, Мак, – сказал он. – Вы меня узнаете?

Мне нужно было несколько секунд, чтобы привести себя в порядок. Я был совершенно не готов.

– Позвольте, позвольте… – затянул я, лихорадочно соображая, как мне следует себя вести.

– Лев Абалкин, – напомнил он. – Помните? Саракш, Голубая Змея…

– Господи! – вскричал журналист Каммерер, в прошлом Мак Сим, резидент Земли на планете Саракш. – Лева! А мне сказали, что вас на Земле нет и неизвестно, когда будете… Или вы еще там?

Он улыбался:

– Нет, я уже здесь… Но я вам помешал, кажется?

– Вы мне никак не можете помешать! – проникновенно сказал журналист Каммерер. Не тот журналист Каммерер, который навещал Майю Глумову, а, скорее, тот, который навещал Учителя. – Вы мне нужны! Ведь я пишу книгу о голованах!..

– Да, я знаю, – перебил он. – Поэтому я вам и звоню. Но, Мак, я ведь уже давно не имею дела с голованами.

– Это как раз не важно, – возразил журналист Каммерер. – Важно, что вы были первым, кто имел с ними дело.

– Положим, первым были вы.

– Нет. Я их просто обнаружил, вот и все. И вообще, о себе я уже написал. И о самых последних работах Комова материал у меня подобран. Как видите, пролог и эпилог есть, не хватает пустячка – основного содержания… Послушайте, Лева, нам надо обязательно встретиться. Вы надолго на Землю?

– Не очень, – сказал он. – Но встретимся мы обязательно. Правда, сегодня я не хотел бы…

– Положим, сегодня и мне было бы не совсем удобно, – быстро подхватил журналист Каммерер. – А вот как насчет завтрашнего дня?

Какое-то время он молча всматривался в меня. Я вдруг сообразил, что никак не могу определить цвет его глаз – уж очень глубоко они сидели под нависшими бровями.

– Поразительно, – проговорил он. – Вы совсем не изменились. А я?

– Честно? – спросил журналист Каммерер, чтобы что-нибудь сказать.

Лев Абалкин снова улыбнулся.

– Да, – сказал он. – Двадцать лет прошло. И, вы знаете, Мак, я вспоминаю о тех временах как о самых счастливых. Все было впереди, все еще только начиналось... И, вы знаете, я вот сейчас вспоминаю эти времена и думаю: до чего же мне чертовски повезло, что начинал я с такими руководителями, как Комов и как вы, Мак...

– Ну-ну, Лев, не преувеличивайте, – сказал журналист Каммерер. – При чем здесь я?

– То есть как это – при чем здесь вы? Комов руководил, Раулингсон и я были на подхвате, а ведь всю координацию осуществляли вы!

Журналист Каммерер вытаращил глаза. Я – тоже, но я вдобавок еще и насторожился.

– Ну, Лев, – сказал журналист Каммерер, – вы, брат, по молодости лет ни черта, видно, не поняли в тогдашней субординации. Единственное, что я тогда для вас делал, это обеспечивал безопасность, транспорт и продовольствие... Да и то...

– И поставляли идеи! – вставил Лев Абалкин.

– Какие идеи?

– Идея экспедиции за Голубую Змею – ваша?

– Ну, в той мере, что я сообщ...

– Так! Это раз. Идея о том, что с голованами должны работать Прогрессоры, а не зоопсихологи, – это два!

– Погодите, Лев! Это Комова идея! Да мне вообще было на вас всех наплевать! У меня в это время было восстание в Пандее! Первый массовый десант Океанской Империи! Вы-то должны понимать, что такое... Господи! Да если говорить честно, я о вас и думать тогда забыл! Зеф вами тогда занимался, Зеф, а не я! Помните рыжего аборигена?..

Лев Абалкин смеялся, обнажая ровные белые зубы.

– И нечего оскаливаться! – сказал журналист Каммерер сердито. – Вы же ставите меня в дурацкое положение. Вздор какой! Не-ет, голубчики, видно, я вовремя взялся за эту книгу. Надо же, какими идиотскими легендами все это обросло!..

– Ладно, ладно, я больше не буду, – сказал Абалкин. – Мы продолжим этот спор при личной встрече...

– Вот именно, – сказал журналист Каммерер. – Только спора никакого не будет. Не о чем здесь спорить. Давайте так...

Журналист Каммерер поиграл кнопками настольного блокнота.

– Завтра в десять ноль-ноль – у меня... Или, может быть, вам удобнее...

– Давайте у меня, – сказал Лев Абалкин.

– Тогда диктуйте адрес, – скомандовал журналист Каммерер. Он еще не остыл.

– Курорт «Осинушка», – сказал Лев Абалкин. – Коттедж номер шесть.

2 июня 78-го года

Кое-какие догадки о намерениях Льва Абалкина

Сандро и Андрею я приказал быть свободными. Совершенно официально. Пришлось сделать официальное лицо и говорить официальным тоном, что, впрочем, удалось мне без всякого труда, потому что я действительно хотел остаться один и как следует подумать.

Мгновенно поняв мое настроение, Алена притихла и беспрекословно согласилась не заходить в кабинет и вообще беречь мой покой. Насколько я знаю, она абсолютно неправильно представляет себе мою работу. Например, она убеждена, что моя работа опасна. Но некоторые азы она усвоила прочно. В частности, если я вдруг оказываюсь занят, то это не означает, что на меня накатило вдохновение или что меня вдруг осенила ослепительная идея, – это означает просто, что возникла какая-то срочная задача, которую нужно действительно срочно решить.

Я дернул ее за ухо и затворился в кабинете, оставив ее прибирать в гостиной.

Откуда он узнал мой номер? Это просто. Номер я оставлял Учителю. Кроме того, ему могла рассказать обо мне Майя Глумова. Значит, либо он еще раз общался с Майей Тойвовной, либо решил все-таки повидаться с Учителем. Несмотря ни на что. Двадцать лет не давал о себе знать, а сейчас вот вдруг решил повидаться. Зачем?

С какой целью он мне звонил? Например, из сентиментальных побуждений. Воспоминания о первой настоящей работе. Молодость, самое счастливое время в жизни. Гм. Сомнительно... Альтруистическое желание помочь журналисту (и первооткрывателю возлюбленных голованов) в его работе, сдобренное, скажем, здоровым честолюбием. Чушь. Зачем он в этом случае дает мне фальшивый адрес? А может быть, не фальшивый? Но если не фальшивый, значит, он не скрывается, значит, Экселенц что-то путает... В самом деле, откуда следует, что Лев Абалкин скрывается?

Я быстренько вызвал информаторий, узнал номер и позвонил в «Осинушку», коттедж номер шесть. Никто не отозвался. Как и следовало ожидать.

Ладно, оставим пока это. Далее. Что было главным в нашем разговоре? Кстати, один раз я чуть не проболтался. Язык себе за это откусить мало. «Вы-то должны понимать, что такое десант группы флотов «Ц»!» – «Интересно, откуда вы знаете, Мак, о группе флотов «Ц» и, главное, почему вы, собственно, решили, что я об этом что-нибудь знаю?» Разумеется, ничего этого он бы не сказал, но он бы подумал и все понял. И после такого позорного прокола мне оставалось бы только в самом деле уйти в журналистику... Ладно, будем надеяться, что он ничего не заметил. У него тоже было не так уж много времени, чтобы анализировать и оценивать каждое мое слово. Он явно добивался какой-то своей цели, а все прочее, к цели не относящееся, надо думать, пропускал мимо ушей...

Но чего же он добивался? Зачем это он попытался приписать мне свои заслуги и заслуги Комова вдобавок? И главное, вот так, в лоб, едва успев поздороваться... Можно подумать, что я действительно распространяю легенды о своем приоритете, будто бы именно мне принадлежат все фундаментальные идеи относительно голованов, что я все это себе присвоил, а он об этом узнал и дает мне понять, что я – дерьмо. Во всяком случае, усмешка у него была двусмысленная... Но это же вздор! О том, что именно я открыл голованов, знают сейчас только самые узкие специалисты, да и те, наверное, забыли об этом за ненадобностью...

Чушь и ерунда, конечно. Но факт остается фактом: мне только что позвонил Лев Абалкин и сообщил, что, по его мнению, основоположником и корифеем современной науки о голованах являюсь я, журналист Каммерер. Больше наш разговор не содержал ничего существенного. Все остальное – светская шелуха. Ну, правда, еще фальшивый (скорее всего) адрес в конце...

Конечно, напрашивается еще одна версия. Ему было все равно, о чем говорить. Он мог позволить себе говорить любую чушь, потому что он позвонил только для того, чтобы увидеть меня. Учитель или Майя Глумова говорят ему: тобой интересуется некий Максим Каммерер. Вот как? – думает скрывающийся Лев. Очень странно! Стоило мне прибыть на Землю, и вот мною уже интересуется Максим Каммерер. А ведь я знавал Максима Каммерера! Что это? Совпадение? Лев Абалкин не верит в совпадения. Дай-ка я позвоню этому человеку и посмотрю, точно ли это Максим Каммерер, в прошлом Мак Сим... А если это действительно он, то посмотрим, как он будет себя вести...

Я почувствовал, что попал в точку. Он звонит и на всякий случай отключает изображение. На тот самый случай, если я НЕ Максим Каммерер. Он видит меня. Не без удивления, наверное, но зато с

явным облегчением. Это самый обыкновенный Максим Каммерер, у него вечеринка, развеселое шумство, абсолютно ничего подозрительного. Что ж, можно обменяться десятком ничего не значащих фраз, назначить свидание и сгинуть...

Но! Это не вся правда и не только правда. Есть здесь две шероховатости. Во-первых. Зачем ему вообще понадобилось тогда вступать в разговор? Посмотрел бы, послушал, убедился, что я есть я, и благополучно отключился бы. Ошибочное соединение, кто-то не туда попал. И все.

А во-вторых, я ведь тоже не вчера родился. Я же видел, что он не просто разговаривает со мной. Он еще и наблюдает за моей реакцией. Он хотел убедиться, что я есть я и что я определенным образом отреагирую на какие-то его слова. Он говорит заведомую чушь и внимательно следит, как я на эту чушь реагирую... Опять-таки странно. На заведомую чушь все люди реагируют одинаково. Следовательно, либо я рассуждаю неправильно, либо... Либо, с точки зрения Абалкина, эта чушь вовсе не чушь. Например, по каким-то совершенно неведомым мне причинам Абалкин действительно допускает, что моя роль в исследовании голованов чрезвычайно велика. Он звонит мне, чтобы проверить это свое допущение, и по моей реакции убеждается, что это допущение неверно.

Вполне логично, но как-то странно. При чем здесь голованы? Вообще-то говоря, в жизни Льва Абалкина голованы сыграли роль, прямо скажем, фундаментальную. Стоп!

Если бы мне сейчас предложили изложить вкратце самую суть биографии этого человека, я бы, наверное, сказал так: ему нравилось работать с голованами, он больше всего на свете хотел работать с голованами, он уже весьма успешно работал с голованами, но работать с голованами ему почему-то не дали... Черт побери, а что тут было бы удивительного, если бы у него наконец лопнуло терпение и он плюнул бы на этот свой штаб «Ц», на КОМКОН, на дисциплину, плюнул на все и вернулся на Землю, чтобы, черт возьми, раз и навсегда выяснить, почему ему не дают заниматься любимым делом, кто – персонально – мешает ему всю жизнь, с кого он может спросить за крушение взлелеянных планов, за горькое свое непонимание происходящего, за пятнадцать лет, потраченных на безмерно тяжкую и нелюбимую работу... Вот он и вернулся!

Вернулся и сразу наткнулся на мое имя. И вспомнил, что я был, по сути, куратором его первой работы с голованами, и захотелось ему узнать, не принимал ли я участия в этом беспрецедентном отчуждении человека от любимого дела, и он узнал (с помощью нехитрого

приема), что нет, не участвовал – занимался, оказывается, отражением десантов и вообще был не в курсе…

Вот как, например, можно было бы объяснить давешний разговор. Но только этот разговор и ничего больше. Ни темную историю с Тристаном, ни темную историю с Майей Глумовой, ни тем более причину, по которой Льву Абалкину понадобилось скрываться, объяснить этой гипотезой было нельзя. Да елки-палки, если бы эта моя гипотеза была правильной, Лев Абалкин должен был бы сейчас ходить по КОМКОНу и лупить своих обидчиков направо и налево, как человек несдержанный и с артистической нервной организацией… Впрочем, что-то здравое в этой моей гипотезе все-таки было, и возникали кое-какие практические вопросы. Я решил задать их Экселенцу, но сначала следовало позвонить Сергею Павловичу Федосееву.

Я взглянул на часы: 21.51. Будем надеяться, что старик еще не лег.

Действительно, оказалось, что старик еще не лег. С некоторым недоумением, словно бы не узнавая, он смотрел с экрана на журналиста Каммерера. Журналист Каммерер рассыпался в извинениях за неурочный звонок. Извинения были приняты, однако выражение недоумения не исчезло.

– У меня к вам буквально один-два вопроса, Сергей Павлович, – сказал журналист Каммерер озабоченно. – Вы ведь встречались с Абалкиным?

– Да. Я дал ему ваш номер.

– Вы меня простите, Сергей Павлович… Он только что позвонил мне…, и он разговаривал со мною как-то странно… – Журналист Каммерер с трудом подбирал слова. – У меня возникло впечатление… Я понимаю, что это, скорее всего, ерунда, но ведь всякое может случиться… В конце концов, он мог вас неправильно понять…

Старик насторожился.

– В чем дело? – спросил он.

– Вы ведь рассказали ему обо мне?.. Н-ну, о нашем с вами разговоре?..

– Естественно. Я не понимаю вас. Разве я не должен был рассказывать?

– Да нет, дело не в этом. Видимо, он все-таки неверно вас понял. Представьте себе, мы не виделись с ним пятнадцать лет. И вот, едва поздоровавшись, он с каким-то болезненным сарказмом принимается восхвалять меня за то… Короче говоря, он фактически обвинил меня в том, что я претендую на его приоритет в работе с голованами! Уверяю вас, без всяких, без малейших на то оснований… Поймите, я в

этом вопросе выступаю только как журналист, как популяризатор, и никак не более того...

– Позвольте, позвольте, молодой человек! – Старик поднял руку. – Успокойтесь, пожалуйста. Разумеется, ничего подобного я ему не говорил. Хотя бы уже просто потому, что я в этом совсем не разбираюсь...

– Ну... может быть... вы как-то недостаточно точно сформулировали...

– Позвольте, я вообще ему ничего такого не формулировал! Я ему сказал, что некий журналист Каммерер пишет о нем книгу и обратился ко мне за материалом. Номер у журналиста такой-то. Позвони ему. Все. Вот все, что я ему сказал.

– Ну тогда я не понимаю, – сказал журналист Каммерер почти в отчаянии. – Я поначалу решил, что он как-то неверно вас понял, но если это не так... Тогда я не знаю... Тогда это что-то болезненное. Мания какая-то. Вообще эти Прогрессоры, может быть, и ведут себя вполне достойно у себя на работе, но на Земле они иногда совершенно распускаются... Нервы у них сдают, что ли...

Старик завесил глаза бровями.

– Н-ну, знаете ли... В конце концов, не исключено, что Лева действительно меня недопонял... А точнее сказать, недослышал... Разговор у нас получился мимолетный, я спешил, был сильный ветер, очень шумели сосны, а вспомнил я о вас в самый последний момент...

– Да нет, я ничего такого не хочу сказать... – попятился журналист Каммерер. – Возможно, что это именно я недопонял Льва... Меня, знаете ли, кроме прочего, потряс его вид... Он сильно изменился, сделался каким-то недобрым... Вам не показалось, Сергей Павлович?

Да, Сергею Павловичу это тоже показалось. Понуждаемый и подталкиваемый не слишком скрываемой обидой простодушно-общительного журналиста Каммерера, он постепенно и очень сбивчиво, стыдясь за своего ученика и за какие-то, видимо, свои мысли, рассказал, как это все у них произошло.

Примерно в 17.00 С.П.Федосеев покинул на глайдере свою усадьбу «Комарики» и взял курс на Свердловск, где у него было назначено некое заседание некоего клуба. Через пятнадцать минут его буквально атаковал и заставил приземлиться в диком сосновом бору невесть откуда взявшийся глайдер, водителем которого оказался Лев Абалкин. На поляне, среди шумящих сосен, между учеником и Учителем состоялся краткий разговор, построенный Львом Абалкиным по уже известной мне схеме.

Едва поздоровавшись, фактически не давши старому Учителю раскрыть рта и не тратя времени на объятия, он обрушился на старика с саркастическими благодарностями. Он язвительно благодарил несчастного Сергея Павловича за те неимоверные усилия, которые тот якобы приложил, чтобы убедить комиссию по распределению направить абитуриента Абалкина не в Институт зоопсихологии, куда абитуриент по глупости своей и неопытности намеревался поступить, а в школу Прогрессоров, каковые усилия увенчались блистательным успехом и сделали всю дальнейшую жизнь Льва Абалкина столь безмятежной и счастливой.

Потрясенный старик за столь наглое извращение истины закатил, естественно, своему бывшему ученику оплеуху. Приведя его таким образом в подобающее состояние молчания и внимания, он спокойно объяснил ему, что на самом деле все было наоборот. Именно он, С.П.Федосеев, прочил Льва Абалкина в зоопсихологи, уже договорился относительно него в Институте и представил комиссии соответствующие рекомендации. Именно он, С.П.Федосеев, узнав о нелепом, с его точки зрения, решении комиссии, устно и письменно протестовал вплоть до регионального Совета Просвещения. И именно он, С.П.Федосеев, был в конце концов вызван в Евразийский сектор и высечен там как мальчишка за попытку недостаточно квалифицированной дезавуации решения комиссии по распределению. («Мне предъявили там заключение четырех экспертов и как дважды два доказали, что я – старый дурак, а прав, оказывается, председатель комиссии по распределению доктор Серафимович...»)

Дойдя до этого пункта, старик замолчал.

– И что же он? – осмелился спросить журналист Каммерер.

Старик горестно пожевал губами:

– Этот дурачок поцеловал мне руку и бросился к своему глайдеру.

Мы помолчали. Потом старик добавил:

– Вот тут-то я и вспомнил про вас... Откровенно говоря, мне показалось, что он не обратил на это внимания... Может быть, следовало рассказать ему о вас поподробнее, но мне было не до того... Мне показалось почему-то, что я больше никогда его не увижу...

2 июня 78-го года
Короткий разговор

Экселенц был дома. Облаченный в строгое черное кимоно, он восседал за рабочим столом и занимался любимым делом: рассматривал в лупу какую-то уродливую коллекционную статуэтку.

– Экселенц, – сказал я, – мне надо знать, вступал ли Лев Абалкин на Земле в контакт с кем-нибудь еще.

– Вступал, – сказал Экселенц и посмотрел на меня, как мне показалось, с интересом.

– Могу я узнать – с кем?

– Можешь. Со мной.

Я осекся. Экселенц подождал немного и приказал:

– Докладывай.

Я доложил. Оба разговора – дословно, выводы свои – вкратце, а в конце добавил, что, по моему мнению, следует ожидать, что Абалкин должен в ближайшее время выйти на Комова, Раулингсона, Горячеву и других людей, так или иначе причастных к его работе с голованами. А также на этого доктора Серафимовича – тогдашнего председателя комиссии по распределению. Поскольку Экселенц молчал и не опускал головы, я позволил себе задать вопрос:

– Можно узнать, о чем он говорил с вами? Меня очень удивляет, что он вообще вышел на вас.

– Тебя это удивляет... Меня тоже. Но никакого разговора у нас не было. Он проделал такую же штуку, что и с тобой: не включил изображение. Полюбовался на меня, узнал, наверное, и отключился.

– Почему вы, собственно, думаете, что это был он?

– Потому что он связался со мной по каналу, который был известен только одному человеку.

– Так, может быть, этот человек...

– Нет, этого быть не может... Что же касается твоей гипотезы, то она несостоятельна. Лев Абалкин сделался превосходным резидентом, он любил эту работу и не согласился бы променять ее ни на что.

– Хотя по типу нервной организации быть Прогрессором ему...

– Это не твоя компетенция, – сказал Экселенц резко. – Не отвлекайся. К делу. Приказ отыскать Абалкина и взять его под наблюдение я отменяю. Иди по его следам. Я хочу знать, где он бывал, с кем встречался и о чем говорил.

– Понял. А если я все-таки наткнусь на него?

– Возьмешь у него интервью для своей книги. А потом доложишь мне. Не больше и не меньше.

2 июня 78-го года
Кое-что о тайнах

Около 23.30 я быстренько принял душ, заглянул в спальню и убедился, что Алена дрыхнет без задних ног. Тогда я вернулся в кабинет.

Я решил начать со Щекна. Щекн, естественно, не землянин и даже не гуманоид, и поэтому потребовался весь мой опыт и вся моя, скажу не хвастаясь, сноровка в обращении с информационными каналами, чтобы получить те сведения, которые я получил. Замечу в скобках, что подавляющее большинство моих однопланетников понятия не имеет о реальных возможностях этого восьмого (или теперь уже девятого?) чуда света – Большого Всепланетного Информатория. Вполне допускаю, впрочем, что и я, при всем своем опыте и всей своей сноровке, отнюдь не имею права претендовать на совершенное умение пользоваться его необъятной памятью.

Я послал одиннадцать запросов – три из них, как выяснилось, оказались лишними – и получил в результате следующую информацию о головане Щекне.

Полное его имя было, оказывается, Щекн-Итрч. С семьдесят пятого года и по сей день он числился членом постоянной миссии народа голованов на Земле. Судя по его функциям при сношениях с земной администрацией, он являлся чем-то вроде переводчика-референта миссии, истинное же его положение было неизвестно, ибо взаимоотношения внутри коллектива миссии оставались для землян тайной за семью печатями. Судя по некоторым данным, Щекн возглавлял что-то вроде семейной ячейки внутри миссии, причем до сих пор не удалось толком разобраться ни в численности, ни в составе этой ячейки, а между тем эти факторы играли, по-видимому, весьма большую роль при решении целого ряда важных вопросов дипломатического свойства.

Вообще фактических данных о Щекне, как и обо всей миссии в целом, набралось множество. Некоторые из них были поразительны, но все они со временем вступали в противоречие с новыми фактами либо полностью опровергались последующими наблюдениями. Похоже было, что наша ксенология склонялась к тому, чтобы поднять (или опустить – как кому нравится) руки перед этой загадкой. И многие весьма порядочные ксенологи присоединились к мнению Раулингсона, сказавшего еще лет десять назад в минуту слабости: «По-моему, они просто морочат нам голову!..»

Впрочем, все это меня мало касалось. Мне только следовало и в дальнейшем не забывать слова Раулингсона.

Располагалась миссия на реке Телон в Канаде, северо-западнее Бэйкер-лейк. Голованы, оказывается, пользовались полной свободой передвижения, причем пользовались ею весьма охотно, хотя и не признавали никакого транспорта, кроме нуль-Т. Резиденция для миссии была возведена в строгом соответствии с проектом, представленным

самими голованами, однако от удовольствия заселить ее голованы вежливо уклонились, а расположились вокруг в самодельных подземных помещениях или, говоря попросту, в норах. Телекоммуникации они не признавали, и втуне пропали старания наших инженеров, создавших видеоаппаратуру, специально приспособленную для их слуха, зрения и удобного манипулирования. Голованы признавали только личные контакты. Значит, придется лететь в Бэйкер-лейк.

Покончив со Щекном, я решил все-таки найти доктора Серафимовича. Мне удалось это без особого труда, то есть удалось получить информацию о нем. Он, оказывается, умер двенадцать лет назад в возрасте ста восемнадцати лет. Доктор педагогики, постоянный член Евразийского Совета Просвещения, член Всемирного совета по педагогике Валерий Маркович Серафимович. Жаль.

Я взялся за Корнея Яшмаа. Прогрессор Корней Янович Яшмаа уже два года имел адресом виллу «Лагерь Яна» в десятке километров к северу от Антонова, в приволжской степи. У него был обширный послужной список, из которого явствовало, что вся его профессиональная деятельность была связана с планетой Гиганда. Видимо, это был очень крупный практический работник и незаурядный теоретик в области экспериментальной истории, но все подробности его карьеры разом вылетели у меня из головы, едва до меня дошли два малоприметных обстоятельства.

Первое: Корней Янович Яшмаа был посмертным сыном.

Второе: Корней Янович Яшмаа родился 6 октября 38-го года.

Различие с Львом Абалкиным состояло только в том, что родителями Корнея Яшмаа были не члены группы «Йормала», а супружеская чета, трагически погибшая во время эксперимента «Зеркало».

Я не поверил собственной памяти и полез в папку. Все было точно. И никуда, разумеется, не девалась записка на обороте арабского текста: «...встретились двое наших близнецов. Уверяю тебя – совершенная случайность...» Случайность. Ну, там у них, на Гиганде, может быть, и произошла некая случайность: Лев Абалкин, посмертный сын, родившийся 6 октября 38-го года, встретился с Корнеем Яшмаа, посмертным сыном, родившимся 6 октября 38-го года... А у меня это что – тоже случайность? «Близнецы». От разных родителей. «Если не веришь, загляни в 07 и 11». Так. «07» – передо мной. Значит, где-то в недрах нашего департамента есть еще и «11». И логично предположить, что есть и «01», «02» и так далее... Кстати, минус мне, что я не сразу обратил внимание на этот странный шифр: «07». Дела у нас (конечно, не в папках, а в кристаллозаписи) обозначаются обычно либо фантастическими словосочетаниями, либо названиями предметов...

Между прочим, что это за эксперимент «Зеркало»? Никогда о таком не слыхал... Мысль эта прошла как-то вторым планом, и я набрал запрос в БВИ почти машинально. Ответ меня удивил: «ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ. ПРЕДЪЯВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАШ ДОПУСК». Я набрал код своего допуска и повторил запрос. На этот раз карточка с ответом выскочила с задержкой на несколько секунд: «ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ. ПРЕДЪЯВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАШ ДОПУСК». Я откинулся на спинку кресла. Вот это да! Впервые в моей практике допуска КОМКОНа-2 оказалось недостаточно для получения информации от БВИ.

И вот тут я с совершенной отчетливостью ощутил, что вышел за пределы своей компетенции. Я как-то сразу вдруг понял, что передо мною – огромная и мрачная тайна, что судьба Абалкина со всеми ее загадками и непонятностями не сводится просто к тайне личности Абалкина – она переплетена с судьбами множества других людей, и касаться этих судеб я не смею ни как работник, ни как человек.

И дело, конечно, было не в том, что БВИ отказался дать мне информацию по какому-то там эксперименту «Зеркало». Я был совершенно уверен, что к тайне этот эксперимент никакого отношения не имеет. Отказ БВИ был просто направляющей затрещиной, заставившей меня оглянуться назад. Эта затрещина как бы прояснила мое зрение, я сразу связал между собою все – и странное поведение Ядвиги Лекановой, и необычный уровень секретности, и непривычность этого «вместилища документов», и странный шифр, и отказ Экселенца ввести меня полностью в курс дела, и даже его исходную установку не вступать с Абалкиным ни в какие контакты... А теперь вот еще – фантастическое совпадение обстоятельств и дат появления на свет Льва Абалкина и Корнея Яшмаа.

Была тайна. Лев Абалкин был только частью этой тайны. И я понял теперь, почему Экселенц поручил это дело именно мне. Наверняка ведь были люди, посвященные в эту тайну полностью, но они, видимо, не годились для розыска. Было достаточно людей, которые провели бы этот розыск не хуже, а может быть, и лучше меня, но Экселенц, безусловно, понимал, что розыск рано или поздно приведет к тайне, и тут важно было, чтобы у человека хватило деликатности вовремя остановиться. Но если даже по ходу розыска тайна будет раскрыта, важно было, чтобы этому человеку Экселенц доверял как самому себе.

А ведь тайна Льва Абалкина – это вдобавок еще и тайна личности! Совсем плохо. Самая сумеречная тайна из всех мыслимых – о ней ничего не должна знать сама личность... Простейший пример:

информация о неизлечимой болезни личности. Пример посложнее: тайна проступка, совершенного в неведении и повлекшего за собой необратимые последствия, как это случилось в незапамятные времена с царем Эдипом...

Ну что ж, Экселенц сделал правильный выбор. Я не люблю тайн. В наше время и на нашей планете все тайны, на мой взгляд, отдают какой-то гадостью. Признаю, что многие из них вполне сенсационны и способны потрясти воображение, но лично мне всегда неприятно в них посвящаться, а еще неприятнее – посвящать в них ни в чем не повинных посторонних людей. У нас в КОМКОНе-2 большинство работников придерживается той же точки зрения, и, наверное, именно поэтому утечка информации у нас случается крайне редко. Но моя брезгливость к тайнам, видимо, все-таки превышает среднюю норму. Я даже стараюсь никогда не употреблять принятого термина «раскрыть тайну», я говорю обычно «раскопать тайну» и кажусь себе при этом ассенизатором в самом первоначальном смысле этого слова.

Вот как сейчас, например.

Из отчета Льва Абалкина

...В темноте город становится плоским, как старинная гравюра. Тускло светится плесень в глубине черных оконных проемов, а в редких скверриках и на газонах мерцают маленькие мертвенные радуги – это распустились на ночь бутоны неведомых светящихся цветов. Тянет слабыми, но раздражающими ароматами. Из-за крыш выползает

и повисает над проспектом первая луна – огромный иззубренный серп, заливший город неприятным оранжевым светом.

У Щекна это светило вызывает какое-то необъяснимое отвращение. Он поминутно неодобрительно взглядывает на него и каждый раз при этом судорожно приоткрывает и захлопывает пасть, словно его тянет повыть, а он сдерживается. Это тем более странно, что на его родном Саракше луну увидеть невозможно из-за атмосферной рефракции, а к земной Луне он всегда относился совершенно индифферентно, насколько мне это известно, во всяком случае.

Потом мы замечаем детей.

Их двое. Держась за руки, они тихонько бредут по тротуару, словно стараясь прятаться в тени. Идут они туда же, куда и мы со Щекном. Судя по одежде – мальчики. Один повыше, лет восьми, другой совсем маленький, лет четырех или пяти. По-видимому, они только что вывернули из какого-то бокового переулочка, иначе я бы увидел их издалека. Идут уже давно, не первый час, очень устали и едва передвигают ноги... Младший вообще уже не идет, а волочится, держась за руку старшего. У старшего на широкой лямке через плечо болтается плоская сумка, он ее все время поправляет, а она бьет его по коленкам.

Транслятор сухим бесстрастным голосом переводит: «Устал, болят ноги... Иди, тебе сказано... Иди... Нехороший человек... Ты сам нехороший, дурной человек... Змея с ушами... Ты сам несъедобный крысиный хвост...» Так. Остановились. Младший выворачивает свою руку из руки старшего и садится. Старший поднимает его за ворот, но младший снова садится, и тогда старший дает ему по шее. Из транслятора валом валят «крысы», «змеи», «дурнопахнущие животные» и прочая фауна. Потом младший принимается громко рыдать, и транслятор недоуменно замолкает. Пора вмешаться.

– Здравствуйте, ребята, – говорю я одними губами.

Я подошел к ним вплотную, но они только сейчас замечают меня. Младший моментально перестает плакать – глядит на меня, широко раскрыв рот. Старший тоже глядит, но исподлобья, неприязненно, и губы у него плотно сжаты. Я опускаюсь перед ним на корточки и говорю:

– Не бойся. Я добрый. Обижать не буду.

Я знаю, что линганы не передают интонацию, и поэтому стараюсь подбирать простые успокаивающие слова.

– Меня зовут Лев, – говорю я. – Я вижу, вы устали. Хотите, я вам помогу?

Старший не отвечает. Он по-прежнему глядит исподлобья – с большим недоверием и настороженностью, а младший вдруг заинтересовывается Щекном и не сводит с него глаз – видно, что ему и страшно, и интересно сразу. Щекн с самым добропорядочным видом сидит в сторонке, отвернув лобастую голову.

– Вы устали, – говорю я. – Вы хотите есть и пить. Сейчас я вам дам вкусненького…

И тут старшего прорывает. Вовсе они не устали, и не надо им ничего вкусненького. Сейчас он расправится с этой крысоухой змеей, и они пойдут дальше. А кто будет им мешать, тот получит пулю в брюхо. Вот так.

Очень хорошо. Никто им не собирается мешать. А куда они идут?

Куда им надо, туда они и идут.

А все-таки? Вдруг им по дороге? Тогда крысоухую змею можно было бы поднести на плече…

В конце концов все улаживается. Съедается четыре плитки шоколада и выпивается две фляги тонизатора. В маленькие рты выдавливается по полтюбика фруктовой массы. Внимательно обследуется радужный комбинезон Льва и (после краткого, но чрезвычайно энергичного спора) позволяется один раз (только один!) погладить Щекна (но ни в коем случае не по голове, а только по спине). На борту у Вандерхузе все рыдают от умиления и раздается мощное сюсюканье.

Далее выясняется следующее.

Мальчики – братья, старшего зовут Иядрудан, а младшего Притулатан. Жили они довольно далеко отсюда (уточнить не удается) с отцом в большом белом доме с бассейном во дворе. Совсем еще недавно с ними вместе жили две тетки и еще один брат – самый старший, ему было восемнадцать лет, – но они все умерли. После этого отец никогда не брал их с собой за продуктами, он стал ходить сам, один, а раньше они ходили всей семьей. Вокруг много продуктов – и там-то, и там-то, и там-то (уточнить не удается). Уходя один, отец каждый раз приказывал: если он не вернется до вечера, надо взять Книгу, выходить на этот вот проспект и идти все время вперед и вперед до красивого стеклянного дома, который светится в темноте. Но входить в этот дом не надо – надо сесть рядом и ждать, когда придут люди и отведут их туда, где будут и отец, и мама, и все. Почему ночью? А потому, что ночью на улицах не бывает дурных человеков. Они бывают только днем. Нет, мы никогда их не видели, но много раз слышали, как они звенят колокольчиками, играют песенки и выманивают нас из дому. Тогда отец и старший брат хватали свои винтовки и всаживали им пулю в брюхо… Нет, больше никого они не знают и не видели. Правда,

когда-то давно к ним в дом приходили какие-то люди с винтовками и целый день спорили с отцом и со старшим братом, а потом и мама с обеими тетками вмешалась. Все они громко кричали, но отец, конечно, всех переспорил, эти люди ушли и больше никогда не приходили...

Маленький Притулатан засыпает сразу же, как только я беру его на закорки. Иядрудан, напротив, отказывается от какой-либо помощи. Он только позволил мне приладить половчее свою сумку с Книгой и теперь с независимым видом идет рядом, засунув руки в карманы. Щекн бежит впереди, не принимая участия в разговоре. Всем своим видом он демонстрирует полное равнодушие к происходящему, но на самом деле он так же, как и все мы, заинтригован очевидным предположением, что цель мальчиков – некое светящееся здание – как раз и есть тот самый объект «Пятно-96».

...Что написано в Книге, Иядрудан пересказать не умеет. В эту Книгу все взрослые каждый день записывали обо всем, что случается. Как Притулатана укусил ядовитый муравей. Как вода вдруг стала уходить из бассейна, но отец ее остановил. Как тетка умерла – открывала консервную банку, мама смотрит, а тетка уже мертвая... Иядрудан эту Книгу не читал, он плохо умеет читать и не любит, у него плохие способности. Вот у Притулатана очень хорошие способности, но он еще маленький и ничего не понимает. Нет, им никогда не было скучно. Какая может быть скука в доме, где пятьсот семь комнат? А в каждой комнате полно всяких диковинных вещей, даже таких, что сам отец ничего не мог сказать, зачем они и для чего. Только вот винтовки там ни одной не нашлось. Винтовки теперь – редкость. Может быть, в соседнем доме нашлась бы винтовка, но отец настрого запретил выходить на улицу... Нет, из своей винтовки отец стрелять не давал. Он говорил, что нам это ни к чему. Вот когда мы уйдем к светящемуся дому и добрые люди, которые нас там встретят, отведут нас к маме, вот уж там-то мы будем стрелять сколько захотим... А может быть, это ты отведешь нас к маме? Тогда почему у тебя нет винтовки? Ты добрый человек, но винтовки у тебя нет, а отец говорил, что все добрые люди – с винтовками...

– Нет, – говорю я. – Не сумею я тебя отвести к маме. Я здесь чужой и сам бы хотел встретиться с добрыми людьми.

– Жалко, – говорит Иядрудан.

Мы выходим на площадь. Объект «Пятно-96» вблизи похож на гигантскую старинную шкатулку голубого хрусталя во всем ее варварском великолепии, сверкающую бесчисленными драгоценными камнями и самоцветами. Ровный бело-голубой свет пронизывает ее

изнутри, озаряя растрескавшийся, проросший черной щетиной сорняков асфальт и мертвые фасады домов, окаймляющих площадь. Стены этого удивительного здания совершенно прозрачны, а внутри сверкает и переливается веселый хаос красного, золотого, зеленого, желтого, так что не сразу замечаешь широкий, как ворота, приветливо распахнутый вход, к которому ведут несколько низких плоских ступеней.

– Игрушки!.. – благоговейно шепчет Притулатан и принимается ерзать, сползая с меня.

Только теперь я понимаю, что шкатулку наполняют вовсе не драгоценности, а разноцветные игрушки, сотни и тысячи разноцветных, чрезвычайно аляповатых игрушек – несуразно огромные, ярко размалеванные куклы, уродливые деревянные автомобили и великое множество какой-то разноцветной мелочи, которую трудно разглядеть на таком расстоянии.

Маленький способный Притулатан немедленно принимается ныть и клянчить, чтобы все пошли в этот волшебный дом, это ничего, что папа не велел, мы только на минуточку зайдем, возьмем вон тот грузовик и сейчас же начнем ждать добрых людей... Иядрудан пытается пресечь его, сначала словесно, а когда это не помогает, то крутанув ему ухо, и нытье теряет членораздельность. Транслятор бесстрастно высыпает в окружающее пространство целый мешок «крысоухих змей», возмущенно галдит борт Вандерхузе, требуя успокоить и утешить, и вдруг все, включая способного Притулатана, разом замолкают.

У ближайшего угла вдруг объявляется давешний абориген с винтовкой. Мягко и бесшумно ступая по голубым бликам, положив руки на винтовку, висящую поперек груди, он подходит прямо к детям. На нас со Щекном он даже не смотрит. Крепко берет затихшего Притулатана за левую руку, а просиявшего Иядрудана – за правую и ведет их прочь, через площадь, прямо к светящемуся зданию – к маме, к отцу, к безграничным возможностям стрелять сколько угодно.

Я смотрю им вслед. Все вроде бы идет так, как должно идти, и в то же время какая-то мелочь, какой-то сущий пустяк портит всю картину. Какая-то капелька дегтя...

– Ты узнал? – спрашивает Щекн.

– Что именно? – отзываюсь я раздраженно, потому что мне никак не удается избавиться от этой неведомой соринки, которая портит весь вид.

– Погаси в этом здании свет и выстрели десяток раз из пушки...

Я почти не слышу его. Я вдруг все понимаю про эту соринку. Абориген удаляется, держа детишек за руки, и я вижу, как винтовка в такт шагам раскачивается у него на груди, словно маятник – слева направо, справа налево... Она не может так раскачиваться. Не может так лихо мотаться туда-сюда тяжелая магазинная винтовка весом уж никак не меньше полупуда. Так может мотаться игрушечная винтовка – деревянная, пластмассовая. У этого «доброго человека» винтовка не настоящая...

Я не успеваю додумать до конца все. Игрушечная винтовка у аборигена. Аборигены стреляют снайперски. Может быть, игрушечная винтовка – из этого игрушечного павильона?.. Погаси в этом павильоне свет и расстреляй его из пушки... Это ведь точно такой же павильон... Нет, ничего я не успел додумать до конца.

Слева сыплются кирпичи, с хрустом раскалывается о тротуар деревянная рама. По уродливому фасаду шестиэтажного дома, третьего от угла, сверху вниз, наискосок, через черные провалы окон скользит широкая желтая тень – скользит так легко, так невесомо, не верится, что это после нее рушатся с фасада пласты штукатурки и обломки кирпичей. Что-то кричит Вандерхузе, ужасно, в два голоса визжат на площади дети, а тень уже на асфальте – такая же невесомая, полупрозрачная, огромная. Бешеное движение десятков ног почти неразличимо, и в этом мелькании темнеет, вспучиваясь и опадая, длинное членистое тело, несущее перед собой высоко задранные хватательные клешни, на которых лежит неподвижный лаковый блик...

Скорчер оказывается у меня в руке сам. Я превращаюсь в автоматический дальномер, занятый только тем, чтобы измерять расстояние между ракопауком и детскими фигурками, улепетывающими наискосок через площадь. (Где-то там еще абориген со своей фальшивой винтовкой, он тоже бежит изо всех сил, чуть отставая от детей, но за ним я не слежу.) Расстояние стремительно сокращается, все совершенно ясно, и, когда ракопаук оказывается у меня на траверзе, я стреляю.

В этот момент до него двадцать метров. Мне не так уж часто приходилось стрелять из скорчера, и я потрясен результатом. От красно-лиловой вспышки я на мгновение слепну, но успеваю увидеть, что ракопаук словно бы взрывается. Сразу. Весь целиком, от клешней до кончика задней ноги. Как перегретый паровой котел. Гремит короткий гром, эхо пошло отражаться и перекатываться по площади, а на месте чудовища вспухает плотная, на вид даже как бы твердая туча белого пара.

Все кончено. Облако пара расползается с тихим шипением, панические визги и топот затихают в глубине темного переулка, а драгоценная шкатулка павильона как ни в чем не бывало сияет посередине площади прежним своим варварским великолепием...

– Черт знает, какая дрянь страшная, – бормочу я. – Откуда они здесь взялись – за сто парсеков от Пандоры?.. А ты что, опять его не учуял?

Щекн не успевает ответить. Гремит винтовочный выстрел, эхом прокатывается по площади, и сразу же за ним – второй. Где-то совсем близко. Как будто за углом. Ну ясно, из того переулка, куда они все убежали...

– Щекн, держись слева, не высовывайся! – командую я уже на бегу.

Я не понимаю, что там происходит, в этом переулке. Скорее всего, на детей напал еще один ракопаук... Значит, винтовка все-таки не игрушечная? И тут из темноты переулка выходят и останавливаются, преграждая нам дорогу, трое. И двое из них вооружены настоящими магазинными винтовками, и два ствола направлены прямо на меня.

Все очень хорошо видно в голубовато-белом свете: рослый седой старик в сером мундире с блестящими пуговицами, а по сторонам его и чуть позади – двое крепких парней с винтовками на изготовку, тоже в серых мундирах, опоясанных ремнями с патронными сумками.

– Очень опасно... – щелкает Щекн на языке голованов. – Повторяю: очень!

Я перехожу на шаг и с некоторым усилием заставляю себя спрятать скорчер в кобуру. Я останавливаюсь перед стариком и спрашиваю:

– Что с детьми?

Дула винтовок направлены мне прямо в живот. В брюхо. Лица у парней угрюмые и совершенно безжалостные.

– С детьми все в порядке, – отвечает старик.

Глаза у него светлые и как будто даже веселые. В лице его нет той тяжеловесной мрачности, как у вооруженных парней. Обыкновенное морщинистое лицо старого человека, не лишенное даже известного благообразия. Впрочем, может быть, мне это только, кажется, может быть, все дело в том, что вместо винтовки у него в руке блестящая, отполированная трость, которой он легонько и небрежно похлопывает себя по голенищу высокого сапога.

– В кого стреляли? – спрашиваю я.

– В нехорошего человека, – переводит транслятор ответ.

– Вы, наверное, и есть те самые добрые люди с винтовками? – спрашиваю я.

Старик задирает брови:

– Добрые люди? Что это значит?

Я объясняю ему то, что мне объяснил Иядрудан. Старик кивает.

– Понятно. Да, мы – те самые добрые люди. – Он разглядывает меня с головы до ног. – А у вас дела, я вижу, идут неплохо... Переводящая машинка за спиной... У нас тоже такие были когда-то, но огромные, на целые комнаты... А такого ручного оружия у нас и вовсе никогда не было. Ловко вы этого нехорошего человека срезали! Как из пушки. Давно прилетели?

– Вчера, – говорю я.

– А вот мы свои летающие машины так и не наладили. Некому налаживать. – Он снова откровенно разглядывает меня. – Да, вы молодцы. А у нас тут, как видите, полный развал. Как вам удалось? Отбились? Или средства какие-нибудь нашли?

– Развал у вас действительно полный, – говорю я осторожно. – Целые сутки я у вас здесь, и все равно ничего не понимаю...

Мне ясно, что он принимает меня за кого-то другого. На первых порах это может быть даже и к лучшему. Только надо осторожно, очень осторожно...

– Я знаю, что вы ничего не понимаете, – говорит старик. – И это по меньшей мере странно... Неужели у вас всего этого не было?

– Нет, – отвечаю я. – Такого у нас не было.

Старик вдруг разражается длинной фразой, на которую транслятор немедленно откликается: «Язык не кодируется».

– Не понимаю, – говорю я.

– Не понимаете... А мне казалось, что я неплохо владею языком Загорья.

– Я не оттуда, – возражаю я. – И никогда там не был.

– Откуда же вы?

Я принимаю решение.

– Это сейчас не важно, – говорю я. – Не будем говорить о нас. У нас все в порядке. Мы не нуждаемся в помощи. Будем говорить о вас. Я мало что понял, но одно очевидно: вы в помощи нуждаетесь. В какой именно? Что нужно в первую очередь? Вообще, что у вас здесь происходит? Вот о чем мы сейчас будем говорить. И давайте сядем, я весь день на ногах. У вас найдется, где можно было бы посидеть и спокойно поговорить?

Некоторое время он молча шарит взглядом по моему лицу.

– Не хотите говорить, откуда вы… – произносит он наконец. – Что ж, это ваше право. Вы сильнее. Только это глупо. Я и так знаю: вы с Северного Архипелага. Вас не тронули только потому, что не заметили. Ваше счастье. Но хочется спросить, где вы были эти последние сорок лет, пока нас здесь гноили заживо? Жили в свое удовольствие, будьте вы прокляты!

– Не вы одни терпите бедствие, – возражаю я вполне искренне. – Теперь вот очередь дошла до вас.

– Мы очень рады, – говорит он. – Пойдемте сядем и побеседуем.

Мы входим в подъезд дома напротив, поднимаемся на второй этаж и оказываемся в грязноватой комнате, где всего-то и есть – стол посередине, огромный диван у стены да два табурета у окна. Окна выходят на площадь, и комната озарена бело-голубым светом павильона. На диване кто-то спит, завернувшись с головой в глянцевитый плащ. На столе – консервные банки и большая металлическая фляга.

Едва войдя в комнату, старик принимается наводить порядок. Он поднимает на ноги спящего и гонит его куда-то из дому. Один из угрюмых парней получает приказ занять пост и усаживается на табурет у окна, где и сидит потом все время, не отрывая глаз от площади. Второй угрюмый парень принимается ловко вскрывать банки с консервами, а потом встает у дверей, прислонившись плечом к притолоке.

Мне предлагается сесть на диван, после чего меня задвигают столом и обставляют банками с консервами. Во фляге оказывается обыкновенная вода, довольно чистая, хотя и с железистым привкусом. Щекн тоже не забыт. Солдат, которого согнали с дивана, ставит перед ним на пол открытую банку консервов. Щекн не возражает. Правда, он не ест консервов, а отходит к двери и предусмотрительно устраивается рядом с постовым. При этом он старательно чешется, фыркает и облизывается, изо всех сил притворяясь обыкновенной собакой.

Между тем старик берет второй табурет, усаживается напротив меня, и переговоры начинаются.

Прежде всего старик представляется. Разумеется, он оказывается гаттаухом, и притом не просто гаттаухом, но и гаттаух-окамбомоном, что следует, по-видимому, переводить, как «правитель всей территории и прилегающих районов». Под его правлением находится весь город, порт и дюжина племен, обитающих в радиусе до пятидесяти километров. Что происходит за пределами этого радиуса, он представляет себе плохо, но полагает, что там примерно то же самое. Общая численность населения его области составляет сейчас не более пяти тысяч человек. Ни промышленности, ни сколько-нибудь правильно организованного сельского хозяйства в области не существует. Есть, правда, лаборатория в пригороде. Хорошая лаборатория, в свое время одна из лучших в мире, и руководит ею по сей день сам Драудан («...странно, что вы никогда о нем не слышали... ему тоже повезло – он оказался долгожителем, как и я...»), но ничего они там так и не добились за все эти сорок лет. И видимо, не добьются.

– А поэтому, – заключает старик, – давайте не будем ходить вокруг да около и торговаться давайте не будем. У меня условие только одно: если лечить, то всех. Без исключения. Если это условие вам годится, все остальные можете ставить сами. Любые. Принимаю безоговорочно. Если же нет, тогда вы лучше к нам не суйтесь. Мы, конечно, все здесь погибнем, но и вам житья не будет, пока хоть один из нас еще жив.

Я молчу. Я все жду, что Штаб хоть что-нибудь мне подскажет. Ну хоть что-нибудь! Но там, похоже, тоже ничего не понимают.

– Я хотел бы вам напомнить, – говорю я наконец, – что я по-прежнему ничего не понимаю в ваших делах.

– Так задавайте вопросы! – говорит старик резко.

– Вы сказали: лечить. У вас эпидемия?

Лицо у старика делается каменным. Он долго глядит мне в глаза, а потом утомленно облокачивается на стол и трет пальцами лоб.

– Я же вас предупредил: не надо ходить вокруг да около. Мы же не собираемся торговаться. Скажите ясно и просто: есть у вас всеобщее лекарство? Если есть, диктуйте условия. Если нет, нам не о чем разговаривать.

– Так мы с вами не сдвинемся с мертвой точки, – говорю я. – Давайте исходить из того, что я абсолютно ничего о вас не знаю. Проспал я эти сорок лет, например. Не знаю, какая у вас болезнь, не знаю, какое вам нужно лекарство...

– И про Нашествие ничего не знаете? – говорит старик, не открывая глаз.

– Почти ничего.

– И про Всеобщий Угон ничего не знаете?

– Почти ничего. Знаю, что все ушли. Знаю, что в этом как-то замешаны пришельцы из Космоса. Больше ничего.

– При-шерь-зы… из Коз-мо-за… – с трудом повторяет старик по-русски.

– Люди с луны… Люди с неба… – говорю я.

Он оскаливает желтые крепкие зубы.

– Не с неба и не с луны. «Из-под земли!» – говорит он. – Значит, кое-что вы все-таки знаете…

– Я прошел через город. И многое видел.

– А у вас там не было совсем ничего? Совсем?

– Ничего подобного не было, – говорю я твердо.

– И вы ничего не заметили? Не заметили гибели человечества? Перестаньте врать! Чего вы хотите добиться этим враньем?

– Лев! – шелестит у меня под шлемом голос Комова. – Разыгрывай вариант «Кретин»!

– Я – лицо подчиненное, – объявляю я строго. – Я знаю только то, что мне положено знать! Я делаю только то, что мне приказано делать! Если мне прикажут врать, я буду врать, но сейчас я такого приказа не имею.

– А какой же приказ вы имеете?

– Провести разведку в вашем районе и доложить все обстоятельства.

– Какая чушь! – с усталым отвращением говорит старик. – Ну хорошо. Будь, по-вашему. Вам зачем-то надо, чтобы я рассказывал всем известные вещи… Ладно. Слушайте.

Оказывается, во всем виновата раса отвратительных нелюдей, расплодившаяся в недрах планеты. Четыре десятка лет назад эта раса предприняла нашествие на местное человечество. Нашествие началось с невиданной пандемии, которую нелюди обрушили разом на всю планету. Возбудителя пандемии обнаружить не удалось до сих пор. А выглядела эта болезнь так: начиная с двенадцатилетнего возраста, вполне нормальные дети начинали стремительно стареть. Темп развития человеческого организма по достижении критической возрастной точки ускорялся в геометрической прогрессии. Шестнадцатилетние юноши и девушки выглядели сорокалетними, в восемнадцать лет начиналась старость, а двадцатилетие переживали только единицы.

Пандемия свирепствовала три года, после чего нелюди впервые заявили о своем существовании. Они предложили всем правительствам организовать переброску населения «в соседний мир», то есть

к себе, в недра земли. Они пообещали, что там, в соседнем мире, пандемия исчезнет сама собой, и тогда миллионы и миллионы испуганных людей ринулись в специальные колодцы, откуда, разумеется, никто с тех пор так и не вернулся. Так сорок лет тому назад погибла местная цивилизация.

Конечно, не все поверили и не все испугались. Оставались целые семьи и группы семей, целые религиозные общины. В чудовищных условиях пандемии они продолжали свою безнадежную борьбу за существование и за право жить так, как жили их предки. Однако нелюди и эту жалкую долю процента прежнего населения не оставили в покое. Они организовали настоящую охоту за детьми, за этой последней надеждой человечества. Они наводнили планету «нехорошими людьми». Сначала это были подделки под людей, имеющие вид веселых размалеванных дядей, звенящих бубенчиками и играющих веселые песенки. Глупые детишки с радостью шли за ними и навсегда исчезали в янтарных «стаканах». Тогда же на главных площадях появились такие вот сияющие в ночи игрушечные лавки – ребенок заходил туда и исчезал бесследно.

– Мы делали все, что могли. Мы вооружились – в покинутых арсеналах было полно оружия. Мы научили детей бояться «нехороших людей», а затем и уничтожать их из винтовок. Мы разрушали кабины и расстреливали в упор игрушечные лавки, пока не поняли, что умнее будет поставить возле них часовых и перехватывать неосторожных детей у порога. Но это было только начало...

Нелюди с неистощимой выдумкой выбрасывали на поверхность все новые и новые типы охотников за детьми. Появились «чудовища». Из винтовки почти невозможно попасть в такое, когда оно нападает на ребенка. Появились гигантские яркие бабочки – они падали на ребенка, окутывали его крыльями и исчезали вместе с ним. Эти бабочки вообще неуязвимы для пуль. Наконец последняя новинка: появились гады, совершенно неотличимые от обыкновенного бойца. Эти просто берут ничего не подозревающего ребенка за руку и уводят с собой. Некоторые из них умеют даже разговаривать...

– Мы прекрасно знаем, что шансов выжить у нас практически нет. Пандемия не прекращается, а мы сначала надеялись на это. Только один человек на сто тысяч остается незараженным. Вот я, например, Драудан... и еще один мальчик – он вырос на моих глазах, ему сейчас восемнадцать, и он выглядит на восемнадцать... Если вы не знали всего этого, то знайте. Если знали, тогда имейте в виду, что мы прекрасно понимаем свое положение. И мы готовы согласиться на любые ваши условия – готовы на вас работать, готовы вам подчиняться... На

все условия, кроме одного: если лечить, то всех. Никакой элиты, никаких избранных!

Старик замолкает, тянется к кружке с водой и жадно пьет. Солдат, стоящий у дверей, переминается с ноги на ногу и зевает, прикрывая рот ладонью. На вид ему лет двадцать пять. А на самом деле? Тринадцать? Пятнадцать? Подросток...

Я сижу неподвижно, стараясь сохранить каменное лицо. Подсознательно я ожидал чего-нибудь в этом роде, но то, что я услышал от очевидца и пострадавшего, почему-то никак не укладывается у меня в сознании. Факты, которые изложил старик, сомнения у меня не вызывают, но это – как во сне: каждый элемент в отдельности полон смысла, а все вместе выглядит совершенно нелепо. Может быть, все дело в том, что мне в плоть и кровь въелось некое предвзятое мнение о Странниках, безоговорочно принятое у нас на Земле?

– Откуда вы знаете, что они нелюди? – спрашиваю я. – Вы их видели? Вы лично?

Старик кряхтит. Лицо его делается страшным.

– Половину своей бессмысленной жизни я бы отдал, чтобы увидеть перед собой хотя бы одного, – сипло произносит он. – Вот этими руками... Сам... Но я, конечно, их не видел. Слишком они осторожны и трусливы... Да их, наверное, никто не видел, кроме этих поганых предателей из правительства сорок лет назад... А по слухам, они вообще формы не имеют, как вода, скажем, или пар...

– Тогда непонятно, – говорю я. – Зачем существам, не имеющим формы, заманивать несколько миллиардов людей к себе в подземелья?

– Да будьте вы прокляты! – говорит старик, повысив голос. – Это же НЕЛЮДИ! Как мы с вами можем судить, что нужно нелюдям? Может быть, рабы. Может быть, еда... А может быть, строительный материал для своих гадов... Какая разница? Они разрушили наш мир! Они и теперь не дают нам покоя, травят нас, как крыс...

И тут лицо его вдруг страшно искажается. С поразительной для своего возраста прытью он отскакивает к противоположной стене, с грохотом отшвырнув табуретку. Я и глазом моргнуть не успел, а он уже держит обеими руками большой никелированный револьвер, наставив его прямо на меня. Сонные стражи проснулись и с таким же выражением недоверия и ужаса на лицах, ставших вдруг совсем ребяческими, не отрывая от меня глаз, беспорядочно шарят вокруг себя в поисках своих винтовок.

– Что случилось? – говорю я, стараясь не шевелиться.

Никелированный ствол ходит ходуном, а стражи, нащупав наконец оружие, дружно клацают затворами.

– Твоя дурацкая одежда все-таки заработала, – щелкает Щекн на своем языке. – Тебя почти не видно. Только лицо. Ты не имеешь формы, как вода или пар. Впрочем, старик уже раздумал стрелять. Или мне все-таки убрать его?

– Не надо, – говорю я по-русски.

Старик наконец подает голос. Он белее стены и говорит запинаясь, но не от страха, конечно, а от ненависти. Мощный все-таки старик.

– Проклятый подземный оборотень! – говорит он. – Положи руки на стол! Левую на правую! Вот так…

– Это недоразумение, – говорю я сердито. – Я не оборотень. У меня специальная одежда. Она может делать меня невидимым, только плохо работает.

– Ах, одежда? – издевательски произносит старик. – На Северном Архипелаге научились делать одежду-невидимку!

– На Северном Архипелаге очень многое научились делать, – говорю я. – Спрячьте, пожалуйста, ваше оружие и давайте разберемся спокойно.

– Дурак ты, – говорит старик. – Хоть бы на карту нашу удосужился взглянуть. Нет никакого Северного Архипелага… Я тебя сразу раскусил, только все никак не мог поверить в такую наглость…

– Неужели тебе не унизительно? – щелкает Щекн. – Давай ты возьмешь на себя старика, а я – обоих молодых…

– Пристрели собаку! – командует старик стражу, не отрывая взгляда от меня.

– Я тебе покажу «собаку»! – на чистейшем местном наречии произносит Щекн. – Старый болтливый козел!

Тут нервы у мальчишек не выдерживают, и начинается пальба…

3 июня 78-го года
Снова Майя Глумова

Я сильно переборщил с громкостью видеофона. Аппарат у меня над ухом мелодично взревел, как незнакомец в коротких штанишках в разгар ухаживания за миссис Никльби. Я бомбой вылетел из кресла, на лету нашаривая клавишу приема.

Звонил Экселенц. Было 07.03.

– Хватит спать, – произнес он довольно благодушно. – В твои годы я не имел обыкновения спать.

До каких, интересно, пор мне выслушивать от него про мои годы? Мне уже сорок пять... И, кстати, в мои годы он таки спал. Он и сейчас не дурак поспать.

– А я и не спал, – соврал я.

– Тем лучше, – сказал он. – Значит, ты можешь приступить к работе немедленно. Найди эту Глумову. Выясни у нее следующее. Виделась ли она с Абалкиным со вчерашнего дня. Говорил ли Абалкин с ней о ее работе. Если говорил, что именно его интересовало. Не выражал ли он желания зайти к ней в музей. Все. Не больше и не меньше.

Я откликаюсь на эту кодовую фразу:

– Выяснить у Глумовой, виделась ли она с ним еще раз, был ли разговор о работе, если был, то что интересовало, не выражал ли желания посетить музей.

– Так. Ты предлагал сменить легенду. Не возражаю. КОМКОН разыскивает Прогрессора Абалкина для получения от него показаний касательно некоего несчастного случая. Расследование связано с тайной личности и потому проводится негласно. Не возражаю. Вопросы есть?

– Хотел бы я знать, при чем здесь этот музей... – пробормотал я как бы про себя.

– Ты что-то сказал? – осведомился Экселенц.

– Предположим, у них не было никаких разговоров про этот треклятый музей. Могу я в этом случае попытаться выяснить, что все-таки произошло между ними при первой встрече?

– Тебе это важно?

– А вам?

– Мне – нет.

– Очень странно, – сказал я, глядя в сторону. – Мы знаем, что хотел выяснить Абалкин у меня. Мы знаем, что он хотел выяснить у Федосеева. Но мы представления не имеем, чего он добивался от Глумовой...

Экселенц сказал:

– Хорошо. Выясняй. Но только так, чтобы это не помешало выяснению главных вопросов. И не забудь надеть радиобраслет. Наденька его прямо сейчас, чтобы я это видел...

Я со вздохом извлек из ящика стола браслет и нацепил его на левое запястье. Браслет жал.

– Вот так, – сказал Экселенц и отключился.

Я направился в душ. Из кухни раздавался гром и лязг – Алена орудовала утилизатором. Пахло кофе. Я принял душ, и мы позавтракали. Алена в моем халате восседала напротив меня и была похожа на

китайского божка. Она объявила, что у нее сегодня доклад, и предложила прочесть мне его вслух для тренировки. Я уклонился, сославшись на обстоятельства. «Опять?» – спросила она сочувственно и в то же время агрессивно. Опять, признался я не без вызова. Проклятье, сказала она. Не спорю, сказал я. «Это надолго?» – спросила она. У меня еще три дня сроку, сказал я. А если не успеешь? – спросила она. Тогда всему конец, сказал я. Она бегло глянула на меня, и я понял, что она опять представляет себе всякие ужасы. Скучища, сказал я, надоело. Отбарабаню это дело, и поедем с тобой куда-нибудь подальше отсюда. Я не смогу, сказала она грустно. «Неужели тебе не надоело?» – спросил я. Чепухой ведь занимаетесь... Вот так с ней и нужно. Она мгновенно ощетинилась и принялась доказывать, что занимается не чепухой, а дьявольски интересными и нужными вещами. В конце концов мы договорились, что через месяц поедем на Новую Землю. Это теперь модно...

Я вернулся в кабинет и, не садясь, набрал номер дома Глумовой. Никто не откликнулся. Было 07.51. Яркое солнечное утро. В такую погоду до восьми часов спать мог только наш Слон. Майя Глумова, наверное, уже отправилась на работу, а веснушчатый Тойво вернулся в свой интернат.

Я прикинул свое расписание на сегодняшний день. В Канаде сейчас поздний вечер. Насколько я знаю, голованы ведут преимущественно ночной образ жизни, так что ничего плохого не случится, если я отправлюсь туда часа через три-четыре... Кстати, как сегодня насчет нуль-Т? Я запросил справочную. Нуль-транспортировка возобновила нормальную работу с четырех утра. Таким образом, я сегодня успеваю и к Щекну, и к Корнею Яшмаа.

Я сходил на кухню, выпил еще одну чашку кофе и проводил Алену на крышу до глайдера. Простились мы с преувеличенной сердечностью: у нее начался преддокладный мандраж. Я старательно махал ей рукой, пока она не скрылась из виду, а потом вернулся в кабинет.

Интересно, что ему дался этот музей? Музей как музей... Какое-то отношение к работе Прогрессоров, в частности к Саракшу, он, конечно, имеет... Тут я вспомнил расширенные во всю радужку зрачки Экселенца. Неужели он тогда в самом деле испугался? Неужели мне удалось испугать Экселенца? И чем! Ординарным и вообще-то случайным сообщением, что подруга Абалкина работает в Музее внеземных культур... В Спецсекторе объектов невыясненного назначения... Пардон! Спецсектор он назвал сам. Я сказал, что Глумова работает в Музее внеземных культур, а он мне объявил: в Спецсекторе объектов невыясненного назначения... Я вспомнил анфилады комнат,

уставленные, увешанные, перегороженные, заполненные диковинами, похожими на абстрактные скульптуры или на топологические модели... И Экселенц допускает, что имперского штабного офицера, натворившего что-то такое в сотне парсеков отсюда, может хоть что-нибудь заинтересовать в этих комнатах...

Я набрал номер рабочего кабинета Глумовой и несколько остолбенел. С экрана приятно улыбался мне Гриша Серосовин, по прозвищу Водолей, из четвертой подгруппы моего отдела. В течение нескольких секунд я наблюдал за последовательной сменой выражений на румяной Гришиной физиономии. Приятная улыбка, растерянность, официальная готовность выслушать распоряжение и, наконец, снова приятная улыбка. Слегка теперь натянутая. Парня можно было понять. Если уж я сам испытал некоторое остолбенение, то ему слегка растеряться сам бог велел. Конечно же, меньше всего он ожидал увидеть на экране начальника своего отдела, но в общем справился он вполне удовлетворительно.

– Здравствуйте, – сказал я. – Попросите, если можно, Майю Тойвовну.

– Майя Тойвовна... – Гриша огляделся. – Вы знаете, ее нет. По-моему, она сегодня еще не приходила. Передать ей что-нибудь?

– Передайте, что звонил Каммерер, журналист. Она должна меня помнить. А вы что же – новичок? Что-то я вас...

– Да, я тут только со вчерашнего дня... Я тут, собственно, посторонний, работаю с экспонатами...

– Ага, – сказал я. – Ну что ж... Спасибо. Я еще позвоню.

Так-так-так. Экселенц принимает меры. Похоже, он просто уверен, что Лев Абалкин появится в музее. И именно в секторе этих самых объектов. Попробуем понять, почему он выбрал именно Гришу. Гриша у нас без году неделя. Сообразительный, хорошая реакция. По образованию – экзобиолог. Может быть, именно в этом все дело. Молодой экзобиолог начинает свое первое самостоятельное исследование. Что-нибудь вроде: «Зависимость между топологией артефакта и биоструктурой разумного существа». Все тихо, мирно, изящно, прилично. Между прочим, Гриша еще и чемпион отдела по субаксу...

Ладно. Это я, кажется, понял. Пусть. Глумова, надо полагать, где-то задерживается. Например, беседует где-нибудь с Львом Абалкиным. А кстати, он ведь мне назначил на сегодня свидание в 10.00. Наверняка соврал, но, если мне действительно предстоит лететь на это свидание, сейчас самое время позвонить ему и узнать, не изменились ли у него планы. И я тут же, не теряя времени, позвонил в «Осинушку».

Коттедж номер шесть отозвался немедленно, и я увидел на экране Майю Глумову.

– А, это вы… – произнесла она с отвращением.

Невозможно передать, какая обида, какое разочарование были на лице ее. Она здорово сдала за эти сутки – ввалились щеки, под глазами легли тени, тоскливые больные глаза были широко раскрыты, губы запеклись. И только секунду спустя, когда она медленно откинулась от экрана, я отметил, что прекрасные волосы ее тщательно и не без кокетства уложены и что поверх строго-элегантного серого платья с закрытым воротом лежит на груди ее то самое янтарное ожерелье.

– Да, это я… – сказал журналист Каммерер растерянно. – Доброе утро. Я, собственно… Что, Лев у себя?

– Нет, – сказала она.

– Дело в том, что он назначил мне свидание… Я хотел…

– Здесь? – живо спросила она, снова придвинувшись к экрану. – Когда?

– В десять часов. Я просто хотел на всякий случай узнать… а его, оказывается, нет…

– А он вам точно назначил? «Как он сказал?» – совсем по-детски спросила она, жадно на меня глядя.

– Как он сказал?.. – медленно повторил журналист Каммерер. Вернее, уже не журналист Каммерер, а я. – Вот что, Майя Тойвовна. Не будем себя обманывать. Скорее всего, он не придет.

Теперь она смотрела на меня, словно не верила своим глазам.

– Как это?.. Откуда вы знаете?

– Ждите меня, – сказал я. – Я вам все расскажу. Через несколько минут я буду.

– Что с ним случилось? – пронзительно и страшно крикнула она.

– Он жив и здоров. Не беспокойтесь. Ждите, я сейчас…

Две минуты на одевание. Три минуты до ближайшей кабины нуль-Т. Черт, очередь у кабины… Друзья, очень прошу вас, разрешите мне пройти перед вами, очень важно… Спасибо большое, спасибо!.. Так. Минута на поиски индекса. Что за индексы у них там, в провинции!.. Пять секунд на набор индекса. И я шагаю из кабины в пустынный бревенчатый вестибюль курортного клуба. Еще минуту стою на широком крыльце и верчу головой. Ага, мне туда… Ломлюсь напрямик через заросли рябины пополам с крапивой. Не наскочить бы на доктора Гоаннека…

Она ждала меня в холле – сидела за низким столом с медвежонком, держа на коленях видеофон. Войдя, я непроизвольно взглянул на приоткрытую дверь гостиной, и она сейчас же торопливо сказала:

– Мы будем разговаривать здесь.

– Как вам будет угодно, – отозвался я.

Нарочито неторопливо я осмотрел гостиную, кухню и спальню. Везде было чисто прибрано, и, конечно, никого там не было. Краем глаза я видел, что она сидит неподвижно, положив руки на видеофон, и смотрит прямо перед собой.

– Кого вы искали? – спросила она холодно.

– Не знаю, – честно признался я. – Просто разговор у нас с вами будет деликатный, и я хотел убедиться, что мы одни.

– Кто вы такой? – спросила она. – Только не врите больше.

Я изложил ей легенду номер два, разъяснил про тайну личности и добавил, что за вранье не извиняюсь – просто я пытался сделать свое дело, не подвергая ее излишним волнениям.

– А теперь, значит, вы решили больше со мной не церемониться? – сказала она.

– А что прикажете делать?

Она не ответила.

– Вот вы сидите здесь и ждете, – сказал я. – А ведь он не придет. Он водит вас за нос. Он всех нас водит за нос, и конца этому не видно. А время идет.

– Почему вы думаете, что он сюда не вернется?

– Потому что он скрывается, – сказал я. – Потому что он врет всем, с кем ему приходится разговаривать.

– Зачем же вы сюда звонили?

– А затем, что я никак не могу его найти! – сказал я, понемногу свирепея. – Мне приходится ловить любой шанс, даже самый идиотский...

– Что он сделал? – спросила она.

– Я не знаю, что он сделал. Может быть, ничего. Я ищу его не потому, что он что-то сделал. Я ищу его, потому что он – единственный свидетель большого несчастья. И если мы его не найдем, мы так и не узнаем, что же там произошло...

– Где – там?

– Это неважно, – сказал я нетерпеливо. – Там, где он работал. Не на Земле. На планете Саракш.

По лицу ее было видно, что она впервые слышит про планету Саракш.

– Почему же он скрывается? – спросила она тихо.

– Мы не знаем. Он на грани психического срыва. Он, можно сказать, болен. Возможно, ему что-то чудится. Возможно, это какая-то идея фикс.

– Болен… – сказала она, тихонько качая головой. – Может быть… А может быть, и нет… Что вам от меня надо?

– Вы виделись с ним еще раз?

– Нет, – сказала она. – Он обещал позвонить, но так и не позвонил.

– Почему же вы ждете его здесь?

– А где мне еще его ждать? – спросила она.

В голосе ее было столько горечи, что я отвел глаза и некоторое время молчал. Потом спросил:

– А куда он собирался вам звонить? На работу?

– Наверное… Не знаю. В первый раз он позвонил на работу.

– Он позвонил вам в музей и сказал, что приедет к вам?

– Нет. Он сразу позвал меня к себе. Сюда. Я взяла глайдер и полетела.

– Майя Тойвовна, – сказал я, – меня интересуют все подробности вашей встречи… Вы рассказывали ему о себе, о своей работе. Он вам рассказывал о своей… Постарайтесь вспомнить, как это было.

Она покачала головой.

– Нет. Ни о чем таком мы не разговаривали… Конечно, это действительно странно… Мы столько лет не виделись… Я уже потом сообразила, уже дома, что я так ничего о нем и не узнала… Ведь я его спрашивала: где ты был, что делал… но он отмахивался и кричал, что это все чушь, ерунда…

– Значит, он расспрашивал вас?

– Да нет же! Все это его не интересовало… Кто я, как я… одна или у меня кто-либо есть… чем я живу… Он был как мальчишка… Я не хочу об этом говорить.

– Майя Тойвовна, не надо говорить о том, о чем вы не хотите говорить…

– Я ни о чем не хочу говорить!

Я поднялся, сходил на кухню и принес ей воды. Она жадно выпила весь стакан, проливая воду на свое серое платье.

– Это никого не касается, – сказала она, отдавая мне стакан.

– Не говорите о том, что никого не касается, – сказал я, усаживаясь. – О чем он вас расспрашивал?

– Я же вам говорю: он ни о чем не расспрашивал! Он рассказывал, вспоминал, рисовал, спорил… как мальчишка… Оказывается, он все помнит! Чуть ли не каждый день! Где стоял он, где стояла я, что сказал Рекс, как смотрел Вольф… Я ничего не помнила, а он все кричал на меня и заставлял вспоминать, и я вспоминала… И как он радовался, когда я вспоминала что-нибудь такое, чего не помнил он сам!..

Она замолчала.

– Это все – о детстве? – спросил я, подождав.

– Ну конечно! Ведь я же вам говорю, это никого не касается, это только наше с ним!.. Он и правда был как сумасшедший... У меня уже не было сил, я засыпала, а он будил меня и кричал в ухо: а кто тогда свалился с качелей? И если я вспоминала, он хватал меня в охапку, бегал со мною по дому и орал: правильно, все так и было, правильно!

– И он не расспрашивал вас, что сейчас с Учителем, со школьными друзьями?

– Я же вам объясняю: он ни о чем не расспрашивал и ни о ком не расспрашивал! Можете вы это понять? Он рассказывал, вспоминал и требовал, чтобы я тоже вспоминала...

– Да, понимаю, понимаю, – сказал я. – А что он, по-вашему, намеревался делать дальше?

Она посмотрела на меня как на журналиста Каммерера.

– Ничего-то вы не понимаете, – сказала она.

И в общем-то она была, конечно, права. Ответы на вопросы Экселенца я получил: Абалкин НЕ интересовался работой Глумовой, Абалкин НЕ намеревался использовать ее для проникновения в музей. Но я действительно совершенно не понимал, какую цель преследовал Абалкин, устраивая эти сутки воспоминаний. Сентиментальность... дань детской любви... возвращение в детство... В это я не верил. Цель была практическая, заранее хорошо продуманная, и достиг ее Абалкин, не возбудив у Глумовой никаких подозрений. Мне было ясно, что сама Глумова об этой цели ничего не знает. Ведь она тоже не поняла, что же было у них там на самом деле...

И оставался еще один вопрос, который мне следовало бы выяснить. Ну хорошо. Они вспоминали, любили друг друга, пили, снова вспоминали, засыпали, просыпались, снова любили и снова засыпали... Что же тогда привело ее в такое отчаяние, на грань истерики? Разумеется, здесь открывался широчайший простор для самых разных предположений. Например – связанных с привычками штабного офицера Островной Империи. Но могло быть и что-нибудь другое. И это другое вполне могло оказаться весьма ценным для меня. Тут я остановился в нерешительности: либо оставить в тылу что-то, может быть, очень важное, либо решиться на отвратительную бестактность, рискуя не узнать в результате ничего существенного...

Я решился.

– Майя Тойвовна, – произнес я, изо всех сил стараясь выговаривать слова твердо, – скажите, чем было вызвано такое ваше отчаяние, которому я был невольным свидетелем в прошлую нашу встречу?

Я выговаривал эту фразу, не осмеливаясь глядеть ей в глаза. Я бы не удивился, если бы она тут же приказала мне убираться вон или даже просто шарахнула меня видеофоном по голове. Однако она не сделала ни того, ни другого.

– Я была дура, – сказала она довольно спокойно. – Дура истеричная. Мне почудилось тогда, что он выжал меня как лимон и выбросил за порог. А теперь я понимаю: ему и в самом деле не до меня. Для деликатности у него не остается ни времени, ни сил. Я все требовала у него объяснений, а он ведь не мог мне ничего объяснить. Он же знает, наверное, что вы его ищете…

Я встал.

– Большое спасибо, Майя Тойвовна, – сказал я. – По-моему, вы неправильно поняли наши намерения. Никто не хочет ему вреда. Если вы встретитесь с ним, постарайтесь, пожалуйста, внушить ему эту мысль.

Она не ответила.

3 июня 78-го года
Кое-что о впечатлениях Экселенца

С обрыва было видно, что доктор Гоаннек за отсутствием пациентов занят рыбной ловлей. Это было удачно, потому что до его избы с нуль-Т-нужником было ближе, чем до курортного клуба. Правда, по дороге, оказывается, располагалась пасека, которую я опрометчиво не заметил во время своего первого визита, так что теперь мне пришлось спасаться, прыгая через какие-то декоративные плетни и сшибая на скаку декоративные же макитры и крынки. Впрочем, все обошлось благополучно. Я взбежал на крыльцо с балясинами, проник в знакомую горницу и, не садясь, позвонил Экселенцу.

Я думал отделаться коротким докладом, но разговор получился довольно длинный, так что пришлось вынести видеофон на крыльцо, чтобы не захватил меня врасплох говорливый и обидчивый доктор Гоаннек.

– Почему она там сидит? – спросил Экселенц задумчиво.

– Ждет.

– Он ей назначил?

– Насколько я понимаю, нет.

– Бедняга… – проворчал Экселенц. Потом он спросил: – Ты возвращаешься?

– Нет, – сказал я. – У меня еще остались этот Яшмаа и резиденция голованов.

– Зачем?

– В резиденции, – ответил я, – сейчас пребывает некий голован по имени Щекн-Итрч, тот самый, который участвовал вместе с Абалкиным в операции «Мертвый мир» ...

– Так.

– Насколько я понял из отчета Абалкина, у них сложились какие-то не совсем обычные отношения...

– В каком смысле – необычные?

Я замялся, подбирая слова:

– Я бы рискнул назвать это дружбой, Экселенц... Вы помните этот отчет?

– Помню. Понимаю, что ты хочешь сказать. Но ответь мне на такой вот вопрос: как ты выяснил, что голован Щекн находится на Земле?

– Ну... Это было довольно сложно. Во-первых...

– Достаточно, – прервал он меня и замолчал выжидательно.

До меня не сразу, правда, но дошло. Действительно. Это мне, сотруднику КОМКОНа-2, при всем моем солидном опыте работы с БВИ, было довольно сложно разыскать Щекна. Что же тогда говорить о простом Прогрессоре Абалкине, который вдобавок двадцать лет проторчал в Глубоком Космосе и понимает в БВИ не больше, чем двадцатилетний школяр!

– Согласен, – сказал я. – Вы, конечно, правы. И все-таки согласитесь: задача эта вполне выполнима. Было бы желание.

– Соглашаюсь. Но дело не только в этом. Тебе не приходило в голову, что он бросает камни по кустам?

– Нет, – сказал я честно.

Бросать камни по кустам – в переводе с нашей фразеологии означает: пускать по ложному следу, подсовывать фальшивые улики, короче говоря, морочить людям голову. Разумеется, теоретически вполне можно было допустить, что Лев Абалкин преследует некую вполне определенную цель, а все его эскапады с Глумовой, с Учителем, со мной – все это мастерски организованный фальшивый материал, над смыслом которого мы должны бесплодно ломать голову, попусту теряя время и силы и безнадежно отвлекаясь от главного.

– Не похоже, – сказал я решительно.

– А вот у меня есть впечатление, что похоже, – сказал Экселенц.

– Вам, конечно, виднее, – отозвался я сухо.

– Бесспорно, – согласился он. – Но, к сожалению, это только впечатление. Фактов у меня нет. Однако, если я НЕ ошибаюсь, представляется маловероятным, чтобы в его ситуации он вспомнил бы о

Щекне, потратил бы массу сил, чтобы разыскать его, бросился бы в другое полушарие, ломал бы там какую-нибудь комедию, – и все это только для того, чтобы бросить в кусты лишний камень. Ты согласен со мной?

– Видите ли, Экселенц, я не знаю его ситуации, и, наверное, именно поэтому у меня нет вашего впечатления.

– А какое есть? – спросил он с неожиданным интересом.

Я попытался сформулировать свое впечатление:

– Только не разбрасывание камней. В его поступках есть какая-то логика. Они связаны между собой. Более того, он все время применяет один и тот же прием. Он не тратит времени и сил на выдумывание новых приемов – он ошарашивает человека каким-то заявлением, а потом слушает, что бормочет этот ошарашенный... Он хочет что-то узнать, что-то о своей жизни... точнее, о своей судьбе. Что-то такое, что от него скрыли... – Я замолчал, а потом сказал: – Экселенц, он каким-то образом узнал, что с ним связана тайна личности.

Теперь мы молчали оба. На экране покачивалась веснушчатая лысина. Я чувствовал, что переживаю исторический момент. Это был один из тех редчайших случаев, когда мои доводы (не факты, добытые мной, а именно доводы, логические умозаключения) заставляли Экселенца пересмотреть свои представления.

Он поднял голову и сказал:

– Хорошо. Навести Щекна. Но имей в виду, что нужнее всего ты здесь, у меня.

– Слушаюсь, – сказал я и спросил: – А как насчет Яшмаа?

– Его нет на Земле.

– Почему же? – сказал я. – Он на Земле. Он в «Лагере Яна», под Антоновом.

– Он уже три дня как на Гиганде.

– Понятно, – сказал я, делая потуги быть ироничным. – Это же надо, какое совпадение! Родился в тот же день, что и Абалкин, тоже посмертный ребенок, тоже фигурирует под номером...

– Хорошо, хорошо, – проворчал Экселенц. – Не отвлекайся.

Экран погас. Я отнес видеофон на место и спустился во двор. Там я осторожно пробрался через заросли гигантской крапивы и прямо из деревянного нужника доктора Гоаннека шагнул под ночной дождь на берег реки Телон.

3 июня 78-го года
Застава на реке Телон

Невидимая река шумела сквозь шуршание дождя где-то совсем рядом, под обрывом, а прямо передо мною мягко отсвечивал легкий металлический мост, над которым светилось большое табло на линкосе: «ТЕРРИТОРИЯ НАРОДА ГОЛОВАНОВ». Немного странно было видеть, что мост начинается прямо из высокой травы – не было к нему не только подъезда, но даже какой-нибудь паршивенькой тропинки. В двух шагах от меня светилось одиноким окошком округлое приземистое здание казарменно-казематного вида. От него пахнуло на меня незабываемым Саракшем – запахом ржавого железа, мертвечины, затаившейся смерти. Странные все-таки места попадаются у нас на Земле. Казалось бы, и дома ты, и все уже здесь знаешь, и все привычно и мило, так нет же – обязательно рано или поздно наткнешься на что-нибудь ни с чем не сообразное... Ладно. Что думает по поводу этого здания журналист Каммерер? О! У него, оказывается, уже сложилось по этому поводу вполне определенное мнение.

Журналист Каммерер отыскал в округлой стене дверь, решительно толкнул ее и оказался в сводчатой комнате, где не было ничего, кроме стола, за которым сидел, подперши подбородок кулаками, длинноволосый юнец, похожий кудрями и нежным длинным ликом на Александра Блока, нарядившегося по вычурной своей фантазии в яркое и пестрое мексиканское пончо. Синие глаза юнца встретили журналиста Каммерера взглядом, совершенно лишенным интереса и слегка утомленным.

– Ну и архитектура здесь у вас, однако! – произнес журналист Каммерер, отряхивая с плеч дождевые брызги.

– А им нравится, – безразлично возразил Александр Б., не меняя позы.

– Быть этого не может! – саркастически сказал журналист Каммерер, озираясь, на что бы присесть.

Свободных стульев в помещении не было, равно как и кресел, диванов, кушеток и скамеек. Журналист Каммерер посмотрел на Александра Б. Александр Б. смотрел на него с прежним безразличием, не обнаруживая ни тени намерения быть любезным или хотя бы просто вежливым. Это было странно. Вернее, непривычно. Но чувствовалось, что здесь это в порядке вещей.

Журналист Каммерер уже открыл было рот, чтобы представиться, но тут вдруг Александр Б. с какой-то усталой покорностью опустил на свои бледные щеки дивные ресницы и с механической

проникновенностью транспортного кибера принялся наизусть зачитывать свой текст:

– Дорогой друг! К сожалению, вы проделали свой путь сюда совершенно напрасно. Вы не найдете здесь абсолютно ничего для себя интересного. Все слухи, которыми вы руководствовались, направляясь к нам, чрезвычайно преувеличены. Территория народа голованов ни в малейшей степени не может рассматриваться как некий развлекательно-познавательный комплекс. Голованы – замечательный, весьма самобытный народ – говорят о себе: «Мы любознательны, но вовсе не любопытны». Миссия голованов представляет здесь свой народ в качестве дипломатического органа и не является объектом неофициальных контактов и уж тем более – праздного любопытства. Уважаемый друг! Самое уместное, что вы можете сейчас сделать, – это пуститься в обратный путь и убедительно объяснить всем вашим знакомым истинное положение вещей.

Александр Б. замолк и томно приподнял ресницы. Журналист Каммерер пребывал перед ним по-прежнему, и это его, видимо, совсем не удивило.

– Разумеется, прежде чем мы простимся, я отвечу на все ваши вопросы.

– А вставать при этом вы не обязаны? – поинтересовался журналист Каммерер.

Что-то вроде оживления засветилось в синих очах.

– Откровенно говоря, да, – признался Александр Б. – Но вчера я расшиб колено, до сих пор болит ужасно, так что вы уж извините...

– Охотно, – сказал журналист Каммерер и присел на край стола. – Я вижу, вы замучены любопытствующими.

– За мое дежурство вы – шестая компания.

– Я один как перст! – возразил журналист Каммерер.

– Компания есть счетное слово, – возразил Александр Б., оживляясь еще более. – Ну, например, как ящик. Ящик консервов. Штука ситца. Или коробка конфет. Ведь может так случиться, что в коробке осталась всего одна конфета. Как перст.

– Ваши объяснения удовлетворили меня полностью, – сказал журналист Каммерер. – Но я не любопытствующий. Я пришел по делу.

– Восемьдесят три процента всех компаний, – немедленно откликнулся Александр Б., – являются сюда именно по делу. Последняя компания – из пяти экземпляров, включая малолетних детей и собаку, – искала здесь возможности договориться с руководителями миссии об уроках языка голованов. Но в огромном большинстве это

собиратели ксенофольклора. Поветрие! Все собирают ксенофольклор. Я тоже собираю ксенофольклор. Но у голованов нет фольклора! Это же утка! Шутник Лонг Мюллер выпустил книжонку на манер Оссиана, и все посходили с ума… «О лохматые древа, тысячехвостые, затаившие скорбные мысли свои в пушистых и теплых стволах! Тысячи тысяч хвостов у вас и ни одной головы!..» А у голованов, между прочим, понятия хвоста нет вообще! Хвост у них – орган ориентировки, и если уж переводить адекватно, то получится не хвост, а компас… «О тысячекомпасовые деревья!» Но вы, я вижу, не фольклорист.

– Нет, – честно признался журналист Каммерер. – Я гораздо хуже. Я журналист.

– Пишете книгу о голованах?

– В каком-то смысле. А что?

– Нет, ничего. Пожалуйста. Не вы первый, не вы последний. Вы голованов-то когда-нибудь видели?

– Да, конечно.

– На экране?

– Нет. Дело в том, что именно я открыл их на Саракше…

Александр Б. даже привстал:

– Так вы – Каммерер?

– К вашим услугам.

– Нет уж, это я к вашим услугам, доктор! Приказывайте, требуйте, распоряжайтесь…

Я моментально вспомнил разговор Каммерера с Абалкиным и торопливо пояснил:

– Я всего лишь открыл их и не более того. Я вовсе не специалист по голованам. И меня интересуют сейчас не голованы вообще, а только один-единственный голован, переводчик миссии. Так что, если вы не возражаете… Я пройду туда к ним?

– Да помилуйте, доктор! – Александр Б. всплеснул руками. – Вы, кажется, подумали, что мы здесь сидим, так сказать, на страже? Ничего подобного! Пожалуйста, проходите! Очень многие так и делают. Объяснишь ему, что слухи, мол, преувеличены, он покивает, распрощается, а сам выйдет – и шмыг через мост…

– Ну?

– Через некоторое время возвращается. Очень разочарованный. Ничего и никого не видел. Леса, сопки, распадки, очаровательные пейзажи – это все, конечно, есть, а голованов нет. Во-первых, голованы ведут ночной образ жизни, во-вторых, живут они под землей, а самое главное – они встречаются только с теми, с кем хотят

встречаться. Вот на этот случай мы здесь и дежурим – на положении, так сказать, связных...

– А кто это – вы? – спросил журналист Каммерер. – КОМКОН?

– Да. Практиканты. Дежурим здесь по очереди. Через нас идет связь в обе стороны... Вам кого именно из переводчиков?

– Мне нужен Щекн-Итрч.

– Попробуем. Он вас знает?

– Вряд ли. Но скажите ему, что я хочу поговорить с ним про Льва Абалкина, которого он знает наверняка.

– Еще бы! – сказал Александр Б. и придвинул к себе селектор.

Журналист Каммерер (да, признаться, и я сам) с восхищением, переходящим в благоговение, наблюдал, как этот юноша с нежным ликом романтического поэта вдруг дико выкатил глаза и, свернув изящные губы в немыслимую трубку, защелкал, закрякал, загукал, как тридцать три голована сразу (в мертвом ночном лесу, у развороченной бетонной дороги, под мутно фосфоресцирующим небом Саракша), и очень уместными казались эти звуки в этом сводчатом казематно-пустом помещении с шершавыми голыми стенами. Потом он замолчал и склонил голову, прислушиваясь к сериям ответных щелчков и гуканий, а губы и нижняя челюсть его продолжали странно двигаться, словно он держал их в постоянной готовности к продолжению беседы. Зрелище это было скорее неприятное, и журналист Каммерер при всем своем благоговении счел все-таки более деликатным отвести глаза.

Впрочем, беседа продолжалась не слишком долго. Александр Б. откинулся на спинку стула и, ласково массируя нижнюю челюсть длинными бледными пальцами, произнес, чуть задыхаясь:

– Кажется, он согласился. Впрочем, не хочу вас слишком обнадеживать: я вовсе не уверен, что все понял правильно. Два смысловых слоя я уловил, но, по-моему, там был еще и третий... Короче говоря, ступайте через мост, там будет тропинка. Тропинка идет в лес. Он вас там встретит. Точнее, он на вас посмотрит... Нет. Как бы это сказать... Вы знаете, не так трудно понять голована, как трудно его перевести. Вот, например, эта рекламная фраза: «Мы любознательны, но не любопытны». Это, между прочим, образец хорошего перевода. «Мы не любопытны» можно понимать так, что «мы не любопытствуем попусту», и в то же самое время – «мы для вас неинтересны». Понимаете?

– Понимаю, – сказал журналист Каммерер, слезая со стола. – Он на меня посмотрит, а там уж решит, стоит ли со мной разговаривать. Спасибо за хлопоты.

– Какие хлопоты! Это моя приятная обязанность... Подождите, возьмите мой плащ, дождь на дворе...

– Спасибо, не надо, – сказал журналист Каммерер и вышел под дождь.

3 июня 78-го года
Щекн-Итрч, голован

Было по местному времени около трех часов утра, небо было кругом обложено, а лес был густой, и этот ночной мир казался мне серым, плоским и мутноватым, как скверная старинная фотография.

Конечно, он первым обнаружил меня и, наверное, минут пять, а может быть и все десять, следовал параллельным курсом, прячась в густом подлеске. Когда же я наконец заметил его, он понял это почти мгновенно и сразу оказался на тропинке передо мною.

– Я здесь, – объявил он.

– Вижу, – сказал я.

– Будем говорить здесь, – сказал он.

– Хорошо, – сказал я.

Он сейчас же сел, совершенно как собака, разговаривающая с хозяином, – крупная, толстая, большеголовая собака с маленькими треугольными ушами торчком, с большими круглыми глазами под массивным, широким лбом. Голос у него был хрипловатый, и говорил он

без малейшего акцента, так что только короткие, рубленые фразы и несколько преувеличенная четкость артикуляции выдавали в его речи чужака. И еще – от него попахивало. Но не мокрой псиной, как можно было бы ожидать, запах был скорее неорганический – что-то вроде нагретой канифоли. Странный запах, скорее механизма, чем живого существа. На Саракше, помнится, голованы пахли совсем не так.

– Что тебе нужно? – спросил он прямо.

– Тебе сказали, кто я?

– Да. Ты – журналист. Пишешь книгу про мой народ.

– Это не совсем так. Я пишу книгу о Льве Абалкине. Ты его знаешь.

– Весь мой народ знает Льва Абалкина.

Это была новость.

– И что же твой народ думает о Льве Абалкине?

– Мой народ не думает о Льве Абалкине. Он его знает.

Кажется, здесь начинались какие-то лингвистические болота.

– Я хотел спросить: как твой народ относится к Льву Абалкину?

– Он его знает. Каждый. От рождения и до смерти.

Мы с журналистом Каммерером посоветовались и решили пока оставить эту тему. Мы спросили:

– Что ты можешь рассказать о Льве Абалкине?

– Ничего, – коротко ответил он.

Вот этого я боялся больше всего. Боялся до такой степени, что подсознательно отвергал саму возможность такого положения и был к нему совершенно не готов. Я растерялся самым жалким образом, а он поднес переднюю лапу к морде и принялся шумно выкусывать между когтями. Не по-собачьи, а так, как это делают иногда наши кошки.

Впрочем, у меня хватило самообладания. Я вовремя сообразил, что, если бы эта псина-сапиенс действительно не хотела иметь со мной никакого дела, она бы просто уклонилась от встречи.

– Я знаю, что Лев Абалкин – твой друг, – сказал я. – Вы жили и работали вместе. Очень многие земляне хотели бы знать, что думает об Абалкине его друг и сотрудник голован.

– Зачем? – спросил он все так же коротко.

– Опыт, – ответил я.

– Бесполезный опыт.

– Бесполезного опыта не бывает.

Теперь он принялся за другую лапу и через несколько секунд проворчал невнятно:

– Задавай конкретные вопросы.

Я подумал.

– Мне известно, что в последний раз ты работал с Абалкиным пятнадцать лет назад. Приходилось тебе после этого работать с другими землянами?

– Приходилось. Много.

– Ты почувствовал разницу?

Задавая этот вопрос, я, собственно, ничего особенного не имел в виду. Но Щекн вдруг замер, затем медленно опустил лапу и поднял лобастую голову. Глаза его на мгновение озарились мрачным красным светом. Однако и секунды не прошло, как он вновь принялся глодать свои когти.

– Трудно сказать, – проворчал он. – Работы разные, люди тоже разные. Трудно.

Он уклонился. От чего? Мой невинный вопрос заставил его как бы споткнуться. Он растерялся на целую секунду. Или здесь опять лингвистика? Вообще-то лингвистика – вещь неплохая. Будем атаковать. Прямо в лоб.

– Ты с ним встретился, – объявил я. – Он снова пригласил тебя работать. Ты согласился?

Это могло означать: «Если бы ты с ним встретился, и он бы снова пригласил тебя работать, – ты бы согласился?» Или на выбор: «Ты с ним встречался, и он (как мне стало известно) приглашал тебя работать. Ты дал ему согласие?» Лингвистика. Не спорю, это был довольно жалкий маневр, но что мне оставалось делать?

И лингвистика выручила-таки.

– Он не приглашал меня работать, – возразил Щекн.

– Тогда, о чем же вы говорили? – удивился я, развивая успех.

– О прошлом, – буркнул он. – Никому не интересно.

– Как тебе показалось, – спросил я, мысленно вытирая со лба трудовой пот, – он сильно изменился за эти пятнадцать лет?

– Это тоже не интересно.

– Нет. Это очень интересно. Я тоже видел его недавно и обнаружил, что он сильно изменился. Но я – землянин, а мне надо знать твое мнение.

– Мое мнение: да.

– Вот видишь! И в чем же он, по-твоему, изменился?

– Ему больше нет дела до народа голованов.

– Вот как? – искренне удивился я. – А со мной он только о голованах и говорил...

Глаза его опять озарились красным. Я понял это так, что мои слова снова его смутили.

– Что он тебе сказал? – спросил он.

– Мы спорили: кто из землян сделал больше для контактов с народом голованов.

– А еще?

– Все. Только об этом.

– Когда это было?

– Позавчера. А почему ты решил, что ему больше нет дела до народа голованов?

Он вдруг объявил:

– Мы теряем время. Не задавай пустых вопросов. Задавай настоящие вопросы.

– Хорошо. Задаю настоящий вопрос. Где он сейчас?

– Не знаю.

– Что он намеревался делать?

– Не знаю.

– Что он тебе говорил? Мне важно каждое его слово.

И тут Щекн принял странную, я бы даже сказал, неестественную позу: присел на напружиненных лапах, вытянул шею и уставился на меня снизу вверх. Затем, мерно покачивая тяжеленной головой вправо и влево, он заговорил, отчетливо выговаривая слова:

– Слушай внимательно, понимай правильно и запоминай надолго. Народ Земли не вмешивается в дела народа голованов. Народ голованов не вмешивается в дела народа Земли. Так было, так есть и так будет. Дело Льва Абалкина есть дело народа Земли. Это решено. А потому. Не ищи того, чего нет. Народ голованов никогда не даст убежища Льву Абалкину.

Вот это да!

У меня вырвалось:

– Он просил убежища? У вас?

– Я сказал только то, что сказал: народ голованов никогда не даст убежища Льву Абалкину. Больше ничего. Ты понял это?

– Я понял это. Но меня не интересует это. Повторяю вопрос: что он тебе говорил?

– Я отвечу. Но сначала повтори то главное, что я тебе сказал.

– Хорошо, я повторю. Народ голованов не вмешивается в дело Абалкина и отказывает ему в убежище. Так?

– Так. И это главное.

– Теперь отвечай на мой вопрос.

– Отвечаю. Он спросил меня, есть ли разница между ним и другими людьми, с которыми я работал. Точно такой же вопрос, какой задавал мне ты.

Едва кончив говорить, он повернулся и скользнул в заросли. Ни одна ветка, ни один лист не шевельнулись, а его уже не было. Он исчез.

Ай да Щекн! «...Я учил его языку и как пользоваться Линией Доставки. Я не отходил от него, когда он болел своими странными болезнями... Я терпел его дурные манеры, мирился с его бесцеремонными высказываниями, прощал ему то, чего не прощаю никому в мире... Если придется, я буду драться за него как за землянина, как за самого себя. А он? Не знаю...» Ай да Щекн-Итрч!

3 июня 78-го года
Экселенц доволен

– Очень любопытно! – сказал Экселенц, когда я закончил доклад. – Ты правильно сделал, Мак, что настоял на визите в этот зверинец.

– Не понимаю, – отозвался я, с раздражением отдирая колючие репьи от мокрой штанины. – Вы видите в этом какой-то смысл?

– Да.

Я вытаращился на него:

– Вы всерьез допускаете, что Лев Абалкин мог просить убежища?

– Нет. Этого я не допускаю.

– Тогда о каком смысле идет речь? Или это снова камень в кусты?

– Может быть. Но дело не в этом. Неважно, что имел в виду Лев Абалкин. Реакция голованов – вот что важно. Впрочем, ты не ломай себе над этим голову. Ты привез мне важную информацию. Спасибо. Я доволен. И ты будь доволен.

Я снова принялся отдирать репьи. Что и говорить, он, несомненно, был доволен. Зеленые глазищи его так и горели, даже в сумраке кабинета было заметно. Вот точно так же смотрел он, когда я, молодой, веселый, запыхавшийся, доложил ему, что Тихоня Прешт взят наконец с поличным и сидит внизу в машине с кляпом во рту, совершенно готовый к употреблению. Это я взял Тихоню, но мне тогда было еще невдомек то, что прекрасно понимал Странник: саботажу теперь конец, и эшелоны с зерном уже завтра двинутся в Столицу...

Вот и сейчас он тоже явно понимал нечто такое, что было мне невдомек, но я-то не испытывал даже самого элементарного удовлетворения. Никого я не взял, никто не ждал допроса с кляпом во рту, а только метался по огромной ласковой Земле загадочный человек с изуродованной судьбой, метался, не находя себе места, метался как отравленный, и сам отравлял всех, с кем встречался, отчаянием и обидой, предавал сам и сам становился жертвой предательства...

– Я тебе еще раз напоминаю, Мак, – сказал вдруг Экселенц негромко. – Он опасен. И он тем более опасен, что сам об этом не знает.

– Да кто же он такой, черт возьми? – спросил я. – Сумасшедший андроид?

– У андроида не может быть тайны личности, – сказал Экселенц. – Не отвлекайся.

Я засунул репьи в карман куртки и сел прямо.

– Сейчас ты можешь идти домой, – сказал Экселенц. – До девятнадцати ноль-ноль ты свободен. Затем будь поблизости, в черте города, и жди моего вызова. Возможно, сегодня ночью он попытается проникнуть в музей. Тогда будем брать.

– Хорошо, – сказал я без всякого энтузиазма.

Он откровенно оценивающе осмотрел меня.

– Надеюсь, ты в форме, – проговорил он. – Брать будем вдвоем, а я уже слишком стар для таких упражнений.

4 июня 78-го года
Музей внеземных культур. Ночь

В 01.08 радиобраслет у меня на запястье пискнул, и приглушенный голос Экселенца пробормотал скороговоркой: «Мак, музей, главный вход, быстро...»

Я захлопнул колпак кабины, чтобы не ударило воздухом, и включил двигатель на форсаж с места. Глайдер свечкой взмыл в звездное небо. Три секунды на торможение. Двадцать две секунды на планирование и ориентировку. На Площади Звезды пусто. Перед главным входом тоже никого. Странно... Ага. Из кабины нуль-Т на углу музея появляется черная тощая фигура. Скользит к главному входу. Экселенц.

Глайдер бесшумно сел перед главным входом. Немедленно на пульте вспыхнула сигнальная лампочка, и мягкий голос кибер-инспектора произнес с укоризной: «Посадка глайдеров на Площади Звезды не разрешается...» Я откинул колпак и выскочил на мостовую. Экселенц уже возился у дверей, орудуя магнитной отмычкой. «Посадка глайдеров на Площади Звезды...» – проникновенно вещал кибер-инспектор.

– Заткни его... – не оборачиваясь, проворчал Экселенц сквозь зубы.

Я захлопнул колпак. В ту же секунду главный вход распахнулся.

– За мной! – бросил Экселенц и нырнул во тьму.

Я нырнул следом. Совсем как в старые времена.

Он несся передо мной огромными неслышными скачками, длинный, тощий, угловатый, снова легкий и ловкий, обтянутый черным, похожий на тень средневекового демона, и я мельком подумал, что уж такого Экселенца наверняка не видывал ни один из нынешних наших сопляков, а видывал разве что старина Слон, да Петр Ангелов, да еще я – полтора десятка лет назад.

Он вел меня по сложной извилистой кривой из зала в зал, из коридора в коридор, безошибочно ориентируясь между стендами и витринами, среди статуй и макетов, похожих на безобразные механизмы, и среди механизмов и аппаратов, похожих на безобразные статуи. Нигде не было света – видимо, автоматика была заранее отключена, – но он ни разу не ошибся и не сбился с пути, хотя я знал, что ночное зрение у него много хуже моего. Он здорово подготовился к этому ночному броску, наш Экселенц, и все получалось у него пока очень и очень неплохо, если не считать дыхания. Дышал он слишком громко, но тут уж ничего нельзя было поделать. Возраст. Проклятые годы.

Внезапно он остановился и, едва я встал рядом, сжал пальцы на моем плече. В первый момент я испугался, что у него схватило сердце, но тут же понял: мы прибыли на место, и он просто пережидает одышку.

Я огляделся. Пустые столы. Стеллажи вдоль стен, уставленные инопланетными диковинами. Ксенографические проекторы у дальней стены. Все это я уже видел. Я уже был здесь. Это была мастерская Майи Тойвовны Глумовой. Вот это ее стол, а в этом вот кресле сидел журналист Каммерер...

Экселенц отпустил мое плечо, шагнул к стеллажам, согнулся и пошел вдоль стеллажей, не разгибаясь, – он что-то там высматривал. Потом остановился, с натугой поднял что-то и направился к столу, расположенному прямо перед входом. Слегка откинувшись корпусом назад, он нес на опущенных руках длинный предмет – какой-то плоский брусок с закругленными углами. Осторожно, без малейшего стука он поставил этот предмет на стол, на мгновение замер, прислушиваясь, а потом вдруг как фокусник потянул из нагрудного кармана длиннющую пеструю шаль с бахромой. Ловким движением он расправил ее и набросил поверх этого своего бруска. Потом он повернулся ко мне, нагнулся к моему уху и едва слышно прошептал:

– Когда он прикоснется к платку – бери его. Если он прежде заметит нас – бери его. Встань здесь.

Я встал по одну сторону двери, Экселенц – по другую.

Сначала я ничего не слышал. Я стоял, прижавшись спиной к стене, механически прикидывал различные варианты развития

событий и глядел на платок, расстеленный на столе. Интересно, чего это ради Лев Абалкин станет к нему прикасаться. Если ему так уж нужен этот брусок, то как он узнает, что брусок спрятан под платком? И что это за брусок? Похож на футляр для переносного интравизора. Или для какого-то музыкального инструмента. Впрочем, вряд ли. Тяжеловат. Ничего не понимаю. Это явно приманка, но если это приманка, то не для человека...

Тут я услышал шум. Надо сказать, шум был основательный: где-то в недрах музея обрушилось что-то обширное, металлическое, разваливающееся в падении. Я моментально вспомнил гигантский моток колючей проволоки, который давеча так старательно обрабатывали молекулярными паяльниками местные девчушки. Я глянул на Экселенца. Экселенц тоже прислушивался и тоже недоумевал.

Звон, лязг и дребезг постепенно прекратились, и снова стало тихо. Странно. Чтобы Прогрессор, профессионал, мастер скрадывания, ниндзя, вломился сослепу в такое громоздкое сооружение? Невероятно. Конечно, он мог зацепиться рукавом за одну-единственную торчащую колючку... Нет, не мог. Прогрессор – не мог. Или здесь, на безопасной Земле, Прогрессор уже успел слегка подразболтаться?.. Сомнительно. Впрочем, посмотрим. В любом случае он сейчас застыл на одной ноге и прислушивается, и будет так прислушиваться минут пять...

Он и не подумал стоять на одной ноге и прислушиваться. Он явно приближался к нам, причем движение его сопровождалось целой какофонией шумов, разнообразных и совершенно неуместных для Прогрессора. Он волочил ноги и звучно шаркал подошвами. Он задевал за притолоки и за стены. Один раз он налетел на какую-то мебель и разразился серией невнятных восклицаний с преобладанием шипящих. А когда на экраны проекторов упали слабые электрические отсветы, мои сомнения превратились в уверенность.

– Это не он, – сказал я Экселенцу почти вслух.

Экселенц кивнул. Вид у него был недоумевающий и угрюмый. Теперь он стоял боком к стене и лицом ко мне, раздвинув ноги и набычившись, и легко было представить себе, как через минуту он схватит лже-Прогрессора обеими руками за грудки и, равномерно его встряхивая, прорычит ему в лицо: «Кто ты такой и что ты здесь делаешь, мелкий сукин сын?»

И так ясно я представил себе эту картину, что поначалу даже не удивился, когда он левой рукой оттянул на себе борт черной куртки, а правой принялся засовывать за пазуху свой любимый «герцог»

двадцать шестого калибра, – он словно бы освобождал руки для предстоящего хватания и встряхивания.

Но когда до меня дошло, что все это время он стоял с этой восьмизарядной верной смертью в руке, я попросту обмер. Это могло означать только одно: Экселенц готов был убить Льва Абалкина. Именно убить, потому что никогда Экселенц не обнажал оружия для того, чтобы пугать, грозить или вообще производить впечатление, – только для того, чтобы убивать.

Я был так ошеломлен, что забыл обо всем на свете. Но тут в мастерскую ворвался толстый столб яркого белого света, и, зацепившись в последний раз за притолоку, в дверь проследовал лже-Абалкин.

Вообще-то говоря, он был даже чем-то похож на Льва Абалкина: крепенький, ладный, невысокого роста, с длинными черными волосами до плеч. Он был в белом просторном плаще и держал перед собой электрический фонарик «турист», а в другой руке у него был то ли маленький чемоданчик, то ли большой портфель. Войдя, он остановился, провел лучом фонарика по стеллажам и произнес:

– Ну, кажется, это здесь.

Голос у него был скрипучий, а тон – нарочито бодрый. Таким тоном говорят сами с собой люди, когда им страшновато, неловко, немножечко стыдно, словом, когда они чувствуют себя не в своей тарелке. «Одной ногой в канаве», как говорят хонтийцы.

Теперь я видел, что это, собственно, старый человек. Может быть, даже старше Экселенца. У него был длинный острый нос с горбинкой, длинный острый подбородок, впалые щеки и высокий, очень белый лоб. В общем, он был похож не столько на Льва Абалкина, сколько на Шерлока Холмса. Пока я мог сказать о нем с совершенной точностью только одно: этого человека я раньше никогда в жизни не видел.

Бегло оглядевшись, он подошел к столу, поставил на цветастый платок прямо рядом с нашим бруском свой чемоданчик-портфель, а сам, подсвечивая себе фонариком, принялся осматривать стеллажи, неторопливо и методично, полку за полкой, секцию за секцией. При этом он непрерывно бормотал что-то себе под нос, но разобрать можно было только отдельные слова: «...Ну, это всем известно... бур-бур-бур... Обыкновенный иллизиум... бур-бур-бур... Хлам и хлам... бур-бур... Может быть, и не на месте... Засунули, запихали, запрятали... бур-бур-бур...»

Экселенц следил за всеми этими манипуляциями, заложивши руки за спину, и на лице его стыло очень непривычное и несвойственное ему выражение какой-то безнадежной усталости или, может быть, усталой скуки, словно было перед ним нечто безмерно

надоевшее, осточертевшее на всю жизнь и вместе с тем неотвязное, чему он давно уже покорился и от чего давно уже отчаялся избавиться. Признаться, поначалу меня несколько удивило, что же это он отказывается от такого естественного намерения – взять за грудки обеими руками и с наслаждением встряхнуть. Однако теперь, глядя на его лицо, я понимал: это было бы бессмысленно. Встряхивай, не встряхивай – ничего не изменится, все вернется на круги своя: будет ползать и шарить, бормотать под нос, стоять одной ногой в канаве, опрокидывать экспонаты в музеях и срывать тщательно подготовленные и продуманные операции...

Когда старик добрался до самой дальней секции, Экселенц тяжело вздохнул, подошел к столу, уселся на край его рядом с портфелем и сказал брюзгливо:

– Ну что вы там ищете, Бромберг? Детонаторы?

Старик Бромберг тоненько взвизгнул и шарахнулся в сторону, повалив стул.

– Кто здесь? – завопил он, лихорадочно шаря лучом вокруг себя. – Кто это?

– Да я это, я! – отозвался Экселенц еще более брюзгливо. – Перестаньте вы трястись!

– Кто? Вы? Какого дьявола! – Луч уперся в Экселенца. – А! Сикорски! Ну, я так и знал!..

– Уберите фонарь, – приказал Экселенц, заслоняя лицо ладонью.

– Я так и знал, что это ваши штучки! – завопил старикан Бромберг. – Я сразу понял, кто стоит за всем этим спектаклем!

– Уберите фонарь, а то я его расколочу! – гаркнул Экселенц.

– Попрошу на меня не орать! – взвизгнул Бромберг, но луч отвел. – И не смейте прикасаться к моему портфелю!

Экселенц встал и пошел на него.

– Не смейте ко мне подходить! – завопил Бромберг. – Я вам не мальчишка! Стыдитесь! Ведь вы же старик!

Экселенц подошел к нему, отобрал фонарь и поставил на ближайший столик рефлектором вверх.

– Присядьте, Бромберг, – сказал он. – Надо поговорить.

– Эти ваши разговоры... – пробурчал Бромберг и уселся.

Поразительно, но теперь он был совершенно спокоен. Бодренький почтенный старичок. По-моему, даже веселый.

4 июня 78-го года
Айзек Бромберг. Битва железных старцев

– Давайте попробуем поговорить спокойно, – предложил Экселенц.

– Попробуем, попробуем! – бодро отозвался Бромберг. – А что это за молодой человек подпирает стену у дверей? Вы обзавелись телохранителем?

Экселенц ответил не сразу. Может быть, он намеревался отослать меня. «Максим, ты свободен», – и я бы, конечно, ушел. Но это бы меня оскорбило, и Экселенц, разумеется, это понимал. Вполне допускаю, впрочем, что у него были и еще какие-то соображения. Во всяком случае, он слегка повел рукой в мою сторону и сказал:

– Это Максим Каммерер, сотрудник КОМКОНа. Максим, это доктор Айзек Бромберг, историк науки.

Я поклонился, а Бромберг немедленно заявил:

– Я так и знал. Разумеется, вы побоялись, что не справитесь со мной один на один, Сикорски... Садитесь, садитесь, молодой человек, устраивайтесь поудобнее. Насколько я знаю вашего руководителя, разговор у нас получится длинный...

– Сядь, Мак, – сказал Экселенц.

Я сел в знакомое кресло для посетителей.

– Так я жду ваших объяснений, Сикорски, – произнес Бромберг. – Что означает эта засада?

– Я вижу, вы сильно напугались.

– Какой вздор! – мгновенно воспламенился Бромберг. – Чушь какая! Слава богу, я не из пугливых! И уж если кто меня сумеет испугать, Сикорски...

– Но вы так ужасно завопили и повалили так много мебели...

– Ну, знаете ли, если бы у вас над ухом в абсолютно пустом здании, ночью...

– Абсолютно незачем ходить в абсолютно пустые здания по ночам...

– Во-первых, это абсолютно не ваше дело, Сикорски, куда и когда я хожу! А во-вторых, когда еще вы мне прикажете сюда ходить? Днем меня не пускают. Днем здесь устраивают какие-то подозрительные ремонты, какие-то нелепые перемены экспозиции... Слушайте, Сикорски, сознайтесь: ведь это ваша затея – закрыть доступ в музей! Мне нужно срочно освежить в памяти кое-какие данные. Я являюсь сюда. Меня не пускают. Меня! Члена Ученого совета этого музея! Я звоню директору: в чем дело? Директор, милейший Грант Хочикян,

мой в каком-то смысле ученик... Бедняга мнется, бедняга красен от стыда за себя и передо мной... Но он ничего не может сделать, он обещал! Его попросили весьма уважаемые люди, и он обещал! Любопытно узнать, кто его попросил? Может быть, некий Рудольф Сикорски? Нет! О, нет! Никто здесь даже не слышал имени Рудольфа Сикорски! Но меня не проведешь! Я-то сразу понял, чьи уши торчат из-за кулис. И я бы все-таки хотел узнать, Сикорски, почему вы вот уже битый час молчите и не отвечаете на мой вопрос? Зачем вам все это понадобилось, спрашиваю я! Закрытие музея! Позорная попытка изъять из музея принадлежащие ему экспонаты! Ночные засады! И кто, черт подери, выключил здесь электричество? Я не знаю, что бы я стал делать, если бы у меня в глайдере не оказалось фонарика! Я шишку набил себе вот здесь, черт бы вас побрал! И я там что-то повалил! От души надеюсь – хочу надеяться! – что это был всего лишь макет... И молите бога, Сикорски, чтобы это был только макет, потому что, если это оригинал, вы у меня сами будете его собирать! До последнего велдинга! А если этого последнего велдинга не окажется, вы у меня как миленький отправитесь на Тагору...

Голос его сорвался, и он мучительно заперхал, стуча себя обоими кулаками в грудь.

– Я получу когда-нибудь ответы на свои вопросы? – яростно просипел он сквозь перханье.

Я сидел как в театре, и все это производило на меня впечатление скорее комическое, но тут я глянул на Экселенца и обомлел.

Экселенц, Странник, Рудольф Сикорски, эта ледяная глыба, этот покрытый изморозью гранитный монумент Хладнокровия и Выдержки, этот безотказный механизм для выкачивания информации, – он до макушки налился темной кровью, он тяжело дышал, он судорожно сжимал и разжимал костлявые веснушчатые кулаки, а знаменитые уши его пылали и жутковато подергивались. Впрочем, он еще сдерживался, но, наверное, только он один знал, чего это ему стоило.

– Я хотел бы знать, Бромберг, – сдавленным голосом произнес он, – зачем вам понадобились детонаторы.

– Ах вы хотели бы это знать! – ядовито прошептал доктор Бромберг и подался вперед, заглядывая Экселенцу в лицо с такого малого расстояния, что длинный нос его едва не оказался в зубах у моего шефа. – А что бы вы еще хотели обо мне знать? Может быть, вас интересует мой стул? Или, например, о чем я давеча беседовал с Пильгуем?

Упоминание имени Пильгуя в таком контексте мне не понравилось. Пильгуй занимался биогенераторами, а мой отдел уже второй

месяц занимался Пильгуем. Впрочем, Экселенц пропустил Пильгуя мимо ушей. Он сам посунулся вперед, да так стремительно, что Бромберг едва успел отшатнуться.

– Вашим стулом извольте интересоваться сами! – прорычал он. – А я хотел бы знать, почему это вы позволяете себе взламывать музей и почему тянете свои лапы к детонаторам, хотя вам было совершенно ясно сказано, что на ближайшие несколько дней...

– Вы, кажется, собираетесь критиковать мое поведение? Ха! Кто? Сикорски! Меня! Обвинять во взломе! Хотел бы я знать, как вы сами проникли в этот музей! А? Отвечайте!

– Это не относится к делу, Бромберг!

– Вы взломщик, Сикорски! – объявил Бромберг, простирая к Экселенцу длинный извилистый палец. – Вы докатились до взлома!

– Это вы докатились до взлома, Бромберг! – взревел Экселенц. – Вы! Вам было совершенно ясно и недвусмысленно сказано: доступ в музей прекращен! Любой нормальный человек на вашем месте...

– Если нормальный человек сталкивается с очередным актом тайной деятельности, его долг...

– Его долг – немножечко пошевелить мозгами, Бромберг! Его долг – сообразить, что он живет не в Средние Века. Если он столкнулся с тайной, с секретом, то это не чей-то каприз и не злая воля...

– Да, не каприз и не злая воля, а ваша потрясающая самоуверенность, Сикорски, ваша смехотворная, поистине средневековая, идиотски-фанатическая убежденность в том, что именно вам дано решать, чему быть скрытым, а чему – открытым! Вы – глубокий старик, Сикорски, но вы так и не поняли, что это прежде всего аморально!..

– Мне смешно разговаривать о морали с человеком, который ради удовлетворения своего детского чувства протеста идет на взлом! Вы – не просто старик, Бромберг, вы – жалкий старикашка, впавший в детство!..

– Прекрасно! – сказал Бромберг, вдруг снова успокаиваясь. Он сунул руку в карман своего белого плаща, извлек оттуда и со стуком положил на стол перед Экселенцем какой-то блестящий предмет. – Вот мой ключ. Мне, как и всякому сотруднику этого музея, полагается ключ от служебного хода, и я им воспользовался, чтобы прийти сюда...

– Посреди глухой ночи и вопреки запрету директора музея? – У Экселенца не было ключа, у него была магнитная отмычка, и ему оставалось одно – наступать.

– Посреди глухой ночи, но все-таки с ключом! А где ваш ключ, Сикорски? Покажите мне, пожалуйста, ваш ключ!

– У меня нет ключа! Он мне не нужен! Я нахожусь здесь по долгу, а не потому, что мне попала вожжа под хвост, старый вы, истеричный дурак!

И что тут началось! Я уверен, что никогда раньше стены этой скромной мастерской не слышали таких взрывов сиплого рева вперемежку со скрипучими воплями. Таких эпитетов. Такой вакханалии эмоций. Таких абсурдных доводов и еще более абсурдных контрдоводов. Да что там стены! В конце концов, это были всего лишь стены тихого академического учреждения, далекого от житейских страстей. Но я, человек уже не первой молодости, всякого, казалось бы, повидавший, даже я никогда и нигде не слыхивал ничего подобного, во всяком случае от Экселенца.

То и дело поле сражения целиком заволакивалось дымом, в котором не различить было уже предмета спора, и только подобно раскаленным ядрам проносились навстречу друг другу разнообразные «безответственные болтуны», «феодальные рыцари плаща и кинжала», «провокаторы-общественники», «плешивые агенты тайной службы», «склеротические демагоги» и «тайные тюремщики идей». Ну, а менее экзотические «старые ослы», «ядовитые сморчки» и «маразматики» всех видов сыпались градом наподобие шрапнели...

Однако порой дым рассеивался, и тогда моему изумленному и завороженному взору открывались воистину поразительные ретроспективы. Я понимал тогда, что сражение, случайным свидетелем которого я оказался, было лишь одной из бесчисленных, невидимых миру схваток беззвучной войны, начавшейся еще в те времена, когда родители мои только оканчивали школу.

Довольно быстро я вспомнил, кто такой этот Айзек Бромберг. Разумеется, я слышал о нем и раньше, может быть, еще когда сопливым мальчишкой работал в Группе Свободного Поиска. Одну из его книг – «Как это было на самом деле» – я, безусловно, читал: это была история «Массачусетсского кошмара». Книга эта, помнится, мне не понравилась – слишком сильно было в ней памфлетное начало, слишком усердствовал автор, сдирая романтические покровы с этой действительно страшной истории, и слишком много места уделил он подробностям дискуссии о политических принципах подхода к опасным экспериментам, дискуссии, которой я в то время нисколько не интересовался.

В определенных кругах, впрочем, имя Бромберга было известно и пользовалось достаточным уважением. Его можно было бы назвать «крайним левым» известного движения дзиюистов, основанного еще

Ламондуа и провозглашавшего право науки на развитие без ограничений.

Экстремисты этого движения исповедуют принципы, которые на первый взгляд представляются совершенно естественными, а на практике сплошь да рядом оказываются неисполнимыми при каждом заданном уровне развития человеческой цивилизации (помню огромный шок, который я испытал, ознакомившись с историей цивилизации Тагоры, где эти принципы соблюдались неукоснительно с незапамятных времен их Первой Промышленной Революции).

Каждое научное открытие, которое может быть реализовано, обязательно будет реализовано. С этим принципом трудно спорить, хотя и здесь возникает целый ряд оговорок. А вот как поступать с открытием, когда оно уже реализовано? Ответ: держать его последствия под контролем. Очень мило. А если мы не предвидим всех последствий? А если мы переоцениваем одни последствия и недооцениваем другие? Если, наконец, совершенно ясно, что мы просто не в состоянии держать под контролем даже самые очевидные и неприятные последствия? Если для этого требуются совершенно невообразимые энергетические ресурсы и моральное напряжение (как это, кстати, и случилось с Массачусетсской машиной, когда на глазах у ошеломленных исследователей зародилась и стала набирать силу новая, нечеловеческая цивилизация Земли)?

Прекратить исследование! – приказывает обычно в таких случаях Всемирный совет.

Ни в коем случае! – провозглашают в ответ экстремисты. Усилить контроль? Да. Бросить необходимые мощности? Да. Рискнуть? Да! В конце концов, «кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет» (из выступления патриарха экстремистов Дж. Гр. Пренсона). Но никаких запретов! Морально-этические запреты в науке страшнее любых этических потрясений, которые возникали или могут возникнуть в результате самых рискованных поворотов научного прогресса. Точка зрения, безусловно, импонирующая своей динамикой, находящая безотказных апологетов среди научной молодежи, но чертовски опасная, когда подобные принципы исповедует крупный и талантливый специалист, сосредоточивший под своим влиянием динамичный талантливый коллектив и значительные энергетические мощности.

Именно такие экстремисты-практики и были основными клиентами нашего КОМКОНа-2. Старикан же Бромберг был экстремистом-теоретиком, и именно по этой причине, вероятно, он ни разу не попал в поле моего зрения. Зато у Экселенца, как я теперь видел, он всю жизнь просидел в почках, печени и в желчном пузыре.

По роду своей деятельности мы в КОМКОНе-2 никогда никому и ничего не запрещаем. Для этого мы просто недостаточно разбираемся в современной науке. Запрещает Всемирный совет. А наша задача сводится к тому, чтобы реализовать эти запрещения и преграждать путь к утечке информации, ибо именно утечка информации в таких случаях сплошь и рядом приводит к самым жутким последствиям.

Очевидно, Бромберг либо не хотел, либо не мог понять этого. Борьба за уничтожение всех и всяческих барьеров на пути распространения научной информации сделалась буквально его идеей фикс. Он обладал фантастическим темпераментом и неиссякаемой энергией. Связи его в научном мире были неисчислимы, и стоило ему прослышать, что где-то результаты многообещающих исследований сданы на консервацию, как он приходил в зоологическое неистовство и рвался разоблачать, обличать и срывать покровы.

Ничего решительно невозможно было с ним сделать. Он не признавал компромиссов, поэтому договориться с ним было невозможно, он не признавал поражений, поэтому его невозможно было победить. Он был неуправляем, как космический катаклизм.

Но, по-видимому, даже самая высокая и абстрактная идея нуждается в достаточно конкретной точке приложения. И такой точкой, конкретным олицетворением сил мрака и зла, против которых он сражался, стал для него КОМКОН-2 вообще и наш Экселенц в особенности. «КОМКОН-2! – ядовито шипел он, подскакивая к Экселенцу и тут же отскакивая назад. – О, ваше иезуитство!.. Взять всем известную аббревиатуру – Комиссия по Контактам с иными цивилизациями! Благородно, возвышенно! Прославлено! И спрятать за нею вашу зловонную контору! Комиссия по Контролю, видите ли! Команда Консерваторов, а не Комиссия по Контролю! Компания Конспираторов!..»

Экселенцу он за эти полвека надоел безмерно. Причем, насколько я понял, именно надоел – как надоедает кусачая муха или назойливый комар. Разумеется, он был не в состоянии нанести нашему делу сколько-нибудь существенный вред. Это было просто не в его силах. Но зато в его силах было постоянно гундеть и бубнить, галдеть и трещать, отрывать от дела, не давать покоя, запускать ядовитые шпильки, требовать неукоснительного выполнения всех формальностей, возбуждать общественное мнение против засилия формалитета, одним словом – утомлять до изнеможения. Я не удивился бы, если б оказалось, что двадцать лет назад Экселенц нырнул в кровавую кашу на Саракше главным образом для того, чтобы хоть немножко отдохнуть от Бромберга. Мне было особенно обидно за Экселенца еще и потому, что Экселенц, человек не только принципиальный, но и в

высшей степени справедливый, полностью, видимо, отдавал себе отчет в том, что деятельность Бромберга, если отвлечься от формы ее, несет и некую положительную социальную функцию: это был тоже вид социального контроля – контроль над контролем.

Но уж что касается ядовитого старикана Бромберга, то он был, по-видимому, начисто лишен самого элементарного чувства справедливости и всю нашу работу отметал с порога, считал безусловно вредной и пламенно, искренне ненавидел. При этом формы, в которые выливалась его ненависть, были настолько одиозны, сами манеры этого настырного старика были до такой степени невыносимы, что Экселенц, при всем своем хладнокровии и нечеловеческой выдержке, совершенно терял лицо и превращался в склочного, глупого и злобного крикуна, по-видимому, каждый раз, когда сталкивался вот так, лицом к лицу, с Бромбергом. «Вы – невежественный мозгляк! – сорванным голосом хрипел он. – Вы паразитируете на промахах гигантов! Сами вы не способны изобрести соуса к макаронам, а беретесь судить о будущем науки! Вы же только дискредитируете дело, которое хватаетесь защищать, вы – смакователь дешевых анекдотов!..»

Видимо, старики давненько не сталкивались нос к носу и сейчас с особым остервенением изливали друг на друга накопившиеся запасы яда и желчи. Зрелище это было во многих отношениях поучительное, хотя оно и находилось в вопиющем противоречии с широко известными тезисами о том, что человек по природе добр и что он же звучит гордо. Больше всего они походили не на человеков, а на двух старых облезлых бойцовых петухов. Впервые я понял, что Экселенц уже глубокий старик.

Однако при всей своей неэстетичности этот спектакль обрушил на меня целую лавину поистине бесценной информации. Многих намеков я просто не понял – речь, видимо, шла о делах, давно уже закрытых и забытых. Некоторые упоминавшиеся истории были мне хорошо знакомы. Но кое-что я и услышал, и понял впервые.

Я узнал, например, что такое операция «Зеркало». Оказывается, так были названы глобальные, строго засекреченные маневры по отражению возможной агрессии извне (предположительно – вторжения Странников), проведенные четыре десятка лет назад. Об этой операции знали буквально единицы, и миллионы людей, принимавших в ней участие, даже не подозревали об этом. Несмотря на все меры предосторожности, как это почти всегда бывает в делах глобального масштаба, несколько человек погибли. Одним из руководителей операции и ответственным за сохранение секретности был Экселенц.

Я узнал, как возникло дело «Урод». Как известно, Ионафан Перейра по собственной инициативе прекратил свою работу в области теоретической евгеники. Консервируя всю эту область, Всемирный совет следовал, по сути, именно его рекомендациям. Так вот, оказывается, это наш дорогой Бромберг разнюхал, а затем пламенно разболтал детали теории Перейры, в результате чего пятерка дьявольски талантливых сорвиголов из Швейцеровской лаборатории в Бамако затеяла и едва не довела до конца свой эксперимент с новым вариантом хомо супер.

История с андроидами в общих чертах была мне известна и раньше, главным образом потому, что ее всегда приводят в качестве классического примера неразрешимой этической проблемы. Однако любопытно было узнать, что доктор Бромберг отнюдь не считает вопрос с андроидами закрытым. Проблема «субъект или объект?» в данном случае для него не существует вовсе. На тайну личности ученых, занимавшихся андроидами, ему наплевать, а право андроидов на тайну личности он полагает нонсенсом и катахрезой. Все подробности этой истории должны быть распубликованы в назидание потомству, а работы с андроидами должны продолжаться...

И так далее.

Среди историй, о которых я никогда ничего не слышал раньше, мое внимание привлекла одна. Речь шла о каком-то предмете, который они называли то саркофагом, то инкубатором. С этим саркофагом-инкубатором они в своем споре каким-то неуловимым образом связывали «детонаторы» – по-видимому, те самые, за которыми явился сюда Бромберг и которые лежали сейчас на столе передо мною, накрытые цветастой шалью. О детонаторах, впрочем, упоминалось вскользь, хотя и неоднократно, а главным образом склока клубилась вокруг «дымовой завесы отвратительной секретности», поставленной Экселенцем вокруг саркофага-инкубатора. Именно в результате этой секретности доктор имярек, получивший уникальные результаты по антропометрии и физиологии кроманьонцев (при чем тут кроманьонцы?), вынужден был держать эти результаты под спудом, тормозя таким образом развитие палеоантропологии. А другой доктор имярек, разгадавший принцип работы саркофага-инкубатора, оказался в двусмысленном и стыдном положении человека, которому научная общественность приписывает открытие этого принципа, в результате чего он вообще оставил научное поприще и малюет теперь посредственные пейзажи...

Я насторожился. Детонаторы были связаны с таинственным саркофагом. За детонаторами явился сюда Бромберг. Детонаторы

Экселенц выставил как приманку для Льва Абалкина. Я стал слушать с удвоенным вниманием, надеясь, что в пылу свары старики выболтают что-нибудь еще и я наконец узнаю нечто существенное о Льве Абалкине. Но я услышал это существенное только тогда, когда они, наоборот, угомонились.

4 июня 78-го года
Лев Абалкин у доктора Бромберга

Они угомонились разом, одновременно, как будто у них одновременно иссякли последние остатки энергии. Замолчали. Перестали сверлить друг друга огненными взорами. Бромберг, отдуваясь, вытащил старомодный носовой платок и принялся утирать лицо и шею. Экселенц, не глядя на него, полез за пазуху (я испугался – не за пистолетом ли), извлек капсулу, выкатил на ладонь белый шарик и положил его под язык, а капсулу протянул Бромбергу.

– И не подумаю! – заявил Бромберг, демонстративно отворачиваясь.

Экселенц продолжал протягивать ему капсулу. Бромберг искоса, как петух, посмотрел на нее. Потом сказал с пафосом:

– Яд, мудрецом тебе предложенный, возьми, из рук же дурака не принимай бальзама...

Он взял капсулу и тоже выкатил себе на ладонь белый шарик.

– Я в этом не нуждаюсь! – объявил он и кинул шарик в рот. – Пока еще не нуждаюсь...

– Айзек, – сказал Экселенц и причмокнул, – что вы будете делать, когда я умру?

– Спляшу качучу, – сказал Бромберг мрачно. – Не говорите глупостей.

– Айзек, – сказал Экселенц, – зачем вам все-таки понадобились детонаторы?.. Подождите, не начинайте все сначала. Я вовсе не собираюсь вмешиваться в ваши личные дела. Если бы вы заинтересовались детонаторами неделю назад или на будущей неделе, я бы никогда не стал задавать вам этот вопрос. Но они понадобились вам именно сегодня. Именно в ту ночь, когда за ними должен был прийти совсем другой человек. Если это просто невероятное совпадение, то так и скажите, и мы расстанемся. У меня голова разболелась...

– А кто это должен был за ними прийти? – подозрительно спросил Бромберг.

– Лев Абалкин, – сказал Экселенц утомленно.

– Кто это такой?

– Вы не знаете Льва Абалкина?

– В первый раз слышу, – сказал Бромберг.

– Верю, – сказал Экселенц.

– Еще бы! – сказал Бромберг высокомерно.

– Вам я верю, – сказал Экселенц. – Но я не верю в совпадения... Слушайте, Айзек, неужели это так трудно – просто, без кривляний, рассказать, почему вы именно сегодня пришли за детонаторами...

– Мне не нравится слово «кривлянья»! – сказал Бромберг сварливо, но уже без прежнего задора.

– Я беру его назад, – сказал Экселенц.

Бромберг снова принялся утираться.

– У меня секретов нет, – объявил он. – Вы знаете, Рудольф, я ненавижу все и всяческие секреты. Это вы сами поставили меня в положение, когда я вынужден кривляться и ломать комедию. А между тем все очень просто. Сегодня утром ко мне явился некто... Вам обязательно нужно имя?

– Нет.

– Некий молодой человек. О чем мы с ним говорили – несущественно, я полагаю. Разговор носил достаточно личный характер. Но во время разговора я заметил у него вот здесь... – Бромберг ткнул пальцем в сгиб локтя правой руки, – довольно странное родимое пятно. Я даже спросил его: «Это что – татуировка?» Вы знаете, Рудольф, татуировки – мое хобби... «Нет, – ответил он. – Это родимое пятно». Больше всего оно было похоже на букву «Ж» в кириллице или, скажем, на японский иероглиф «сандзю» – «тридцать». Вам это ничего не напоминает, Рудольф?

– Напоминает, – сказал Экселенц.

Мне это тоже что-то напомнило, что-то совсем недавнее, что-то, показавшееся и странным, и несущественным одновременно.

– Вы что – сразу сообразили? – спросил Бромберг с завистью.

– Да, – сказал Экселенц.

– А вот я – не сразу. Молодой человек уже давно ушел, а я все сидел и вспоминал, где я мог видеть такой значок... Причем не просто похожий на него, а именно такой в точности. В конце концов вспомнил. Мне надо было проверить, понимаете? Под рукой – ни одной репродукции. Я бросаюсь в музей – музей закрыт...

– Мак, – сказал Экселенц, – будь добр, подай нам сюда эту штуку, которая под шалью.

Я повиновался.

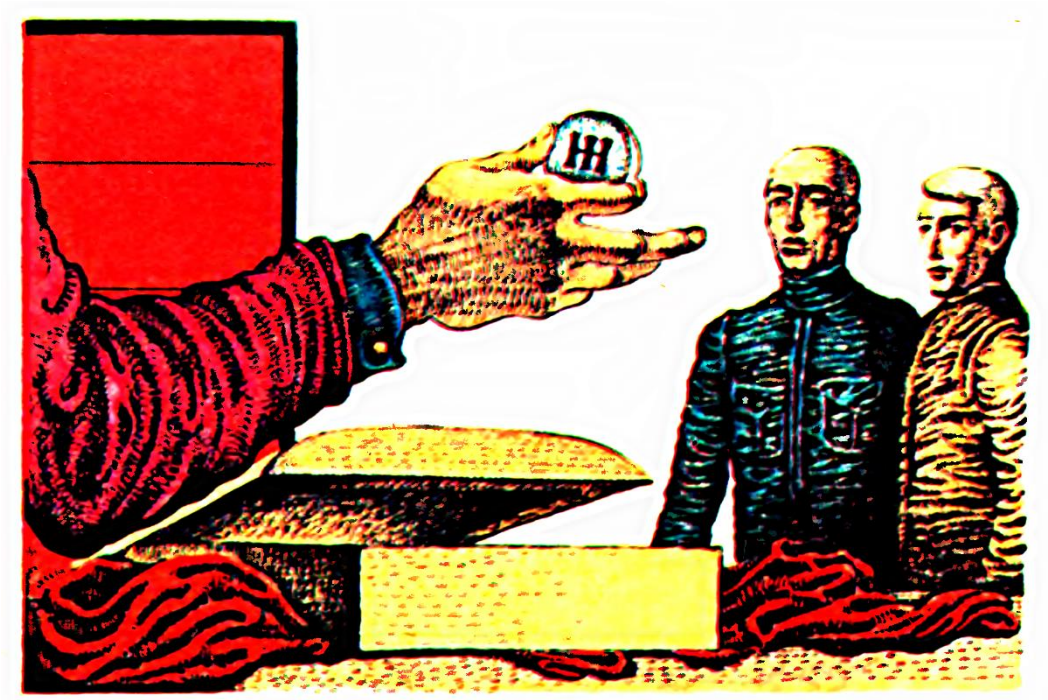
Брусок был тяжелый и теплый на ощупь. Я поставил его на стол перед Экселенцем. Экселенц подвинул его поближе к себе, и теперь я

видел, что это действительно футляр из гладко отполированного материала ярко-янтарного цвета с едва заметной, идеально прямой линией, отделяющей слегка выпуклую крышку от массивного основания. Экселенц попытался приподнять крышку, но пальцы его скользили, и ничего у него не получалось.

– Дайте-ка мне, – нетерпеливо сказал Бромберг. Он оттолкнул Экселенца, взялся за крышку обеими руками, поднял ее и отложил в сторону.

Вот эти штуки они, по-видимому, и называли детонаторами: круглые серые блямбы миллиметров семидесяти в диаметре, уложенные одним рядом в аккуратные гнезда. Всего детонаторов было одиннадцать, и еще два гнезда были пусты, и видно было, что дно их выстлано белесоватым ворсом, похожим на плесень, и ворсинки эти заметно шевелились, словно живые, да они, вероятно, и были в каком-то смысле живые.

Однако прежде всего в глаза мне бросились довольно сложные иероглифы, изображенные на поверхности детонаторов, по одному на каждом, и все разные. Они были большие, розовато-коричневые, слегка расплывшиеся, как бы нанесенные цветной тушью на влажную бумагу. И один из них я узнал сразу – чуть расплывшаяся стилизованная буква «Ж» или, если угодно, японский иероглиф «сандзю» –



маленький оригинал увеличенной копии на обороте листа номер один в деле номер ноль-семь. Этот детонатор был третьим слева, если смотреть от меня, и Экселенц, подвесив над ним свой длинный указательный палец, произнес:

– Он?

– Да, да, – нетерпеливо отозвался Бромберг, отпихивая его руку. – Не мешайте. Вы ничего не понимаете…

Он вцепился ногтями в края детонатора и принялся осторожными движениями как бы вывинчивать его из гнезда, бормоча при этом: «Здесь совсем не в этом дело… Неужели вы воображаете, что я был способен перепутать… Чушь какая…» И он вытянул наконец детонатор из гнезда и стал осторожно поднимать его над футляром все выше и выше, и видно было, как тянутся за серым толстеньким диском тонкие белесоватые нити, утоньшаются, лопаются одна за другой, и когда лопнула последняя, Бромберг повернул диск нижней поверхностью вверх, и я увидел там среди шевелящихся полупрозрачных ворсинок тот же иероглиф, только черный, маленький и очень отчетливый, словно его вычеканили в сером материале.

– Да! – сказал Бромберг торжествующе. – Точно такой. Я так и знал, что не могу ошибиться.

– В чем именно? – спросил Экселенц.

– Размер! – сказал Бромберг. – Размер, детали, пропорции. Вы понимаете, родимое пятно у него не просто похоже на этот значок – оно в точности такое же… – Он пристально посмотрел на Экселенца. – Слушайте, Рудольф, услуга за услугу. Вы что – их всех пометили?

– Нет, конечно.

– Значит, у них это было с самого начала? – спросил Бромберг, постукивая себя пальцем по сгибу правой руки.

– Нет. Эти значки появились у них в возрасте десяти-двенадцати лет.

Бромберг осторожно ввинтил детонатор обратно в гнездо и удовлетворенно повалился в кресло.

– Ну что же, – произнес он. – Так я все это и понял… Ну-с, господин полицей-президент, чего же стоит вся эта ваша секретность? Канал его у меня есть, и едва златоперстый Феб озарит верхушки этих ваших архитектурных уродов, как я немедленно свяжусь с ним, и мы всласть поговорим… И не пытайтесь меня отговаривать, Сикорски! – вскричал он, размахивая пальцем перед носом Экселенца. – Он сам пришел ко мне, а я сам – понимаете? – сам, вот этой своей старой головой, сообразил, кто передо мною, и теперь он мой! Я не проникал в

ваши паршивые тайны! Немножко везенья, немножко сообразительности...

– Хорошо, хорошо, – сказал Экселенц. – Ради бога. Никаких возражений. Он ваш, встречайтесь, говорите. Но только с ним, пожалуйста. Больше ни с кем.

– Н-ну... – с ироническим сомнением протянул Бромберг.

– А впрочем, как вам будет угодно, – сказал вдруг Экселенц. – Все это сейчас не важно... Скажите, Айзек, о чем вы с ним разговаривали?

Бромберг сложил руки на животе и покрутил большими пальцами. Победы, одержанные им над Экселенцем, были настолько велики и очевидны, что он, без сомнения, мог позволить себе быть великодушным.

– Разговор, надо признаться, был довольно сумбурный, – сказал он. – Теперь-то я, конечно, понимаю, что этот кроманьонец просто морочил мне голову...

Сегодня, а вернее, вчера утром к нему явился молодой человек лет сорока – сорока пяти и представился как Александр Дымок, конфигуратор сельскохозяйственной автоматики. Роста среднего, очень бледное лицо, длинные черные прямые волосы, как у индейца. Он пожаловался, что на протяжении многих месяцев пытается и никак не может выяснить обстоятельства исчезновения своих родителей. Он изложил Бромбергу в высшей степени загадочную и чертовски соблазнительную в своей загадочности легенду, которую он якобы собрал по крупицам, не брезгуя даже самыми малодостоверными слухами. Легенда эта у Бромберга записана во всех подробностях, но излагать ее сейчас вряд ли имеет смысл. Собственно, визит Александра Дымка преследовал единственную цель: не может ли Бромберг, крупнейший в мире знаток запрещенной науки, пролить хоть какой-нибудь свет на эту историю.

Крупнейший знаток Бромберг окунулся в свою картотеку, но ничего о супругах Дымок не обнаружил. Молодой человек был заметно огорчен этим обстоятельством и совсем уже собрался было уходить, когда в голову ему пришла счастливая мысль. Не исключено, сказал он, что фамилия его родителей вовсе и не Дымок. Не исключено также, что вся его легенда не имеет ничего общего с действительностью. Может быть, доктор Бромберг попытается вспомнить, не происходило ли в науке каких-то загадочных и впоследствии запрещенных к широкой публикации событий в годы, близкие к дате рождения Александра Дымка (февраль 36-го), поскольку родителей своих он потерял то ли в годовалом, то ли в двухлетнем возрасте...

Знаток Бромберг снова полез в свою картотеку, но на этот раз в хронологическую ее часть. За период с 33-го по 39-й годы он обнаружил в общей сложности восемь различных инцидентов, в том числе и историю с саркофагом-инкубатором. Вместе с Александром Дымком они тщательно проанализировали каждый из этих инцидентов и пришли к выводу, что ни один из них не может быть связан с судьбой супругов Дымок.

– Отсюда я, старый дурак, сделал заключение, что судьба подарила мне историю, которая в свое время совершенно ускользнула из поля моего зрения. Представляете себе? Не запрет ваш какой-нибудь паршивый, а исчезновение двух биохимиков! Уж этого бы я вам не простил, Сикорски!

И еще битых два часа Бромберг допрашивал Александра Дымка, требуя от него вспомнить все самые мельчайшие подробности, любые, даже самые нелепые, слухи, взял с него торжественное обещание пройти глубокое ментоскопирование, так что молодой человек на протяжении последнего часа явно мечтал только об одном – поскорее убраться восвояси...

Уже в самом конце разговора Бромберг совершенно случайно заметил родимое пятно. Это родимое пятно, не имеющее, казалось бы, никакого отношения к делу, каким-то необъяснимым образом застряло у Бромберга в мозгу. Молодой человек уже давно ушел. Бромберг уже успел сделать несколько запросов в БВИ, поговорить с двумя-тремя специалистами по поводу супругов Дымок (безрезультатно), но этот проклятый значок никак не шел у него из головы. Во-первых, Бромберг был совершенно уверен, что уже видел его где-то и когда-то, а во-вторых, его не покидало ощущение, что об этом значке или о чем-то, связанном с этим значком, упоминалось в его беседе с Александром Дымком. И только восстановив в памяти самым скрупулезным образом всю эту беседу фразу за фразой, он добрался наконец до саркофага, вспомнил детонаторы, и поразительная догадка о том, кто таков на самом деле Александр Дымок, осенила его.

Первым его движением было немедленно позвонить мальчику и сообщить, что тайна его происхождения раскрыта. Но присущая ему, Бромбергу, научная добросовестность требовала прежде всего абсолютной достоверности, не допускающей никаких инотолкований. Он, Бромберг, знавал совпадения и покруче. Поэтому он бросился сначала звонить в музей...

– Все понятно, – сказал Экселенц мрачно. – Спасибо вам, Айзек. Значит, теперь он знает о саркофаге...

– А почему бы ему об этом и не знать? – вскинулся Бромберг.

– Действительно, – медленно проговорил Экселенц. – Почему бы и нет?

Тайна личности Льва Абалкина

21 декабря 37-го года отряд Следопытов под командой Бориса Фокина высадился на каменистом плато безымянной планетки в системе ЕН 9173, имея задачей обследовать обнаруженные здесь еще в прошлом веке развалины каких-то сооружений, приписываемых Странникам.

24 декабря интравизионная съемка зафиксировала под развалинами наличие обширного помещения в толще скальных пород на глубине более трех метров.

25 декабря Борис Фокин с первой же попытки и без всяких неожиданностей проник в это помещение. Оно было выполнено в форме полусферы радиусом в десять метров. Полусфера эта была облицована янтарином, материалом, весьма характерным для цивилизации Странников, и содержала громоздкое устройство, которое с легкой руки одного из Следопытов стали называть саркофагом.

26 декабря Борис Фокин запросил и получил из соответствующего отдела КОМКОНа разрешение на обследование саркофага своими силами.

Действуя, по своему обыкновению, изнуряюще методично и осторожно, он провозился с саркофагом трое суток. За это время удалось определить возраст находки (сорок – сорок пять тысяч лет), обнаружить, что саркофаг потребляет энергию, и даже установить несомненную связь между саркофагом и расположенными над ним развалинами. Уже тогда была высказана гипотеза, впоследствии подтвердившаяся, что указанные «развалины» вовсе развалинами не являются, а представляют собой часть обширной, охватывающей всю поверхность планетки, системы, предназначенной для поглощения и трансформации всех видов даровой энергии, как планетарной, так и космической (сейсмика, флюктуации магнитного поля, метеоявления, излучение центрального светила, космические лучи и так далее).

29 декабря Борис Фокин связался непосредственно с Комовым и потребовал к себе лучшего специалиста-эмбриолога. Комов, разумеется, запросил объяснений, но Борис Фокин от объяснений уклонился и предложил Комову прибыть лично, но при этом обязательно в сопровождении эмбриолога. Когда-то в далекой молодости Комову приходилось работать вместе с Фокиным, и у него осталось от Фокина впечатление скорее нелестное. Поэтому сам он лететь и не подумал,

однако эмбриолога послал – правда, далеко не самого лучшего, а просто первого же согласившегося – некоего Марка ван Блеркома (впоследствии Комов неоднократно рвал на себе волосы, вспоминая об этом своем решении, ибо Марк ван Блерком оказался закадычным другом небезызвестного Айзека П. Бромберга).

30 декабря Марк ван Блерком убыл в распоряжение Бориса Фокина и уже через несколько часов отправил Комову открытым текстом поразительное сообщение. В этом сообщении он утверждал, что так называемый саркофаг представляет собой на самом деле не что иное, как своего рода эмбриональный сейф совершенно фантастической конструкции. В сейфе содержится тринадцать оплодотворенных яйцеклеток вида хомо сапиенс, причем все они представляются вполне жизнеспособными, хотя и пребывают в латентном состоянии.

Необходимо отдать должное двум участникам этой истории: Борису Фокину и члену КОМКОНа Геннадию Комову. Борис Фокин каким-то шестым чувством угадал, что об этой находке не следует орать на весь мир: радиограмма Марка ван Блеркома была первой и последней открытой радиограммой в последующем радиообмене отряда с Землей. Поэтому вся эта история отразилась в потоке массовой информации на нашей планете лишь в виде коротенького сообщения, впоследствии не подтвердившегося и потому почти не привлекшего внимания.

Что же касается Геннадия Комова, то он не только сразу ухватил суть возникающей на глазах проблемы, но и каким-то образом сумел представить себе целый ряд вообразимых последствий этой проблемы. Прежде всего он потребовал от Фокина и Блеркома подтверждения полученных данных (спецкодом по сверхсрочному каналу) и, получив это подтверждение, немедленно собрал совещание тех руководителей КОМКОНа, которые являлись одновременно членами Всемирного совета. Среди них были такие корифеи, как Леонид Горбовский и Август-Иоганн Бадер, молодой и горячий Кирилл Александров, осторожный, вечно сомневающийся Махиро Синода, а также энергичный шестидесятидвухлетний Рудольф Сикорски.

Комов проинформировал собравшихся и поставил вопрос ребром: что теперь делать? Очевидно, можно было закрыть саркофаг и оставить все как есть, ограничившись на будущее пассивным наблюдением. Можно было попытаться инициировать развитие яйцеклеток и посмотреть, что из этого получится. Наконец, можно было во избежание грядущих осложнений уничтожить находку.

Разумеется, Геннадий Комов, человек в то время уже достаточно опытный, прекрасно понимал, что ни это чрезвычайное совещание,

ни даже десяток последующих проблему не решат. Своим нарочито резким выступлением он преследовал только одну цель: шокировать собравшихся и побудить их к дискуссии.

Надо сказать, цели своей он достиг. Из всех участников совещания только Леонид Горбовский и Рудольф Сикорски сохранили видимое хладнокровие. Горбовский – потому что был разумным оптимистом. Сикорски же – потому что уже тогда был руководителем КОМКОНа-2. Было произнесено множество слов – безудержно горячих и нарочито спокойных, вполне легкомысленных и исполненных глубокого смысла, давно забытых и таких, что вошли впоследствии в лексикон докладов, легенд, отчетов и рекомендаций. Как и следовало ожидать, единственное решение совещания свелось к тому, чтобы завтра же собрать новое, расширенное совещание с привлечением других членов Всемирного совета – специалистов по социальной психологии, педагогике и средствам массовой информации.

На протяжении всего совещания Рудольф Сикорски молчал. Он не чувствовал себя достаточно компетентным, чтобы высказываться за то или иное решение проблемы. Однако долгий опыт работы в области экспериментальной истории, а также вся совокупность известных ему фактов о деятельности Странников однозначно приводили его к выводу: какое бы решение ни принял в конце концов Всемирный совет, решение это, как и все обстоятельства дела, надлежит на неопределенное время сохранить в кругу лиц с самым высоким уровнем социальной ответственности. В этом смысле он и высказался под занавес. «Решение оставить все как есть и пассивно наблюдать решением на самом деле не является. Истинных решений всего два: уничтожить или инициировать. Неважно, когда будет принято одно из этих решений – завтра или через сто лет, – но любое из них будет неудовлетворительным. Уничтожить саркофаг – это значит совершить необратимый поступок. Мы все здесь знаем цену необратимым поступкам. Инициировать – это значит пойти на поводу у Странников, конечные намерения которых нам, мягко выражаясь, непонятны. Я ничего не предрешаю и вообще не считаю себя вправе голосовать за какое бы то ни было решение. Единственное, о чем я прошу и на чем я настаиваю, – разрешите мне немедленно принять меры против утечки информации. Ну, хотя бы для того только, чтобы нас не захлестнуло океаном некомпетентности...»

Эта маленькая речь произвела известное впечатление, и разрешение было дано единогласно, тем более что все понимали: спешить не следует, а создать условия для спокойной и обстоятельной работы совершенно необходимо.

31 декабря состоялось расширенное совещание. Присутствовало восемнадцать человек, в том числе приглашенный Горбовским Председатель Всемирного совета по социальным проблемам. Все согласились, что саркофаг был найден совершенно случайно, а значит – преждевременно. Все согласились далее, что, прежде чем принимать какое бы то ни было решение, надобно попытаться понять, а если и не понять, то, по крайней мере, представить себе изначальный замысел Странников. Было высказано несколько более или менее экзотических гипотез.

Кирилл Александров, известный своими антропоморфистскими взглядами, высказал предположение, что саркофаг есть хранилище генофонда Странников. Все известные мне доказательства негуманоидности Странников, заявил он, являются по сути своей косвенными. На самом же деле Странники вполне могут оказаться генетическими двойниками человека. Такое предположение не противоречит ни одному из доступных фактов. Исходя из этого, Александров предлагал все исследования прекратить, вернуть находку в первоначальное состояние и покинуть систему ЕН 9173.

По мнению Августа-Иоганна Бадера, саркофаг есть – да! – хранилище генофонда, но никаких не Странников, а именно землян. Сорок пять тысяч лет тому назад Странники, допуская теоретически возможность генетического вырождения немногочисленных тогда племен хомо сапиенс, пытались таким образом принять меры к восстановлению земного человечества в будущем.

Под тем же лозунгом «не будем плохо думать о Странниках» выступил и престарелый Пак Хин. Он, как и Бадер, был убежден, что мы имеем дело с генофондом землян, но полагал, будто Странники выступают здесь с целями скорее просветительскими. Саркофаг есть своеобразная «бомба времени», вскрыв которую современные земляне получат возможность воочию ознакомиться с особенностями облика, анатомии и физиологии своих далеких предков.

Геннадий Комов поставил вопрос значительно шире. По его мнению, любая цивилизация, достигшая определенного уровня развития, не может не стремиться к контакту с иным разумом. Однако контакт между гуманоидными и негуманоидными цивилизациями чрезвычайно затруднен, если только вообще возможен. Не имеем ли мы дело с попыткой применить принципиально новый метод контакта – создать существо-посредника, гуманоида, в генотипе которого закодированы некие существенные характеристики негуманоидной психологии. В этом смысле мы должны рассматривать находку как начало принципиально нового этапа и в истории землян, и в истории

негуманоидных Странников. По мнению Комова, яйцеклетки должны быть несомненно и немедленно инициированы. Его, Комова, мало смущает заведомая преждевременность находки: Странники, рассчитывая темпы развития человечества, легко могли ошибиться на несколько столетий.

Гипотеза Комова вызвала оживленную дискуссию, во время которой впервые прозвучало сомнение в том, что современная педагогика способна успешно применить свою методику к воспитанию людей, психика которых в значительной степени отличается от гуманоидной.

Одновременно осторожнейший Махиро Синода, крупный специалист по Странникам, задал вполне резонный вопрос: почему, собственно, уважаемый Геннадий, да и некоторые другие товарищи, так уверены в благорасположенности Странников к землянам? Мы не имеем никаких свидетельств того, что Странники вообще способны на благорасположенность к кому бы то ни было, в том числе и к гуманоидам. Напротив, факты (немногочисленные, правда) свидетельствуют скорее о том, что Странники абсолютно равнодушны к чужому разуму и склонны относиться к нему как к средству для достижения своих целей, а вовсе не как к партнеру по контакту. Не кажется ли уважаемому Геннадию, что высказанную им гипотезу можно в равной степени развить в прямо противоположном направлении, а именно – предположить, что гипотетические существа-посредники должны, по замыслу Странников, выполнять задачи, с нашей точки зрения, скорее негативные. Почему бы, следуя логике уважаемого Геннадия, не предположить, что саркофаг есть, так сказать, идеологическая бомба замедленного действия, а существа-посредники – своего рода диверсанты, предназначенные для внедрения в нашу цивилизацию. Диверсанты – разумеется, слово одиозное. Но вот у нас сейчас появилось новое понятие – Прогрессор – человек Земли, деятельность которого направлена на ускорение прогресса отсталых гуманоидных цивилизаций. Почему не допустить, что гипотетические существа-посредники – это своего рода Прогрессоры Странников? Что мы, в конце концов, знаем о точке зрения Странников на темпы и формы нашего, человеческого прогресса?..

Совещание немедленно раскололось на две фракции – оптимистов и пессимистов. Точка зрения оптимистов представлялась, разумеется, гораздо более правдоподобной. Действительно, трудно и даже, пожалуй, невозможно было представить себе сверхцивилизацию, способную не то, чтобы на грубую агрессию, но хотя бы даже на сколько-нибудь бестактное экспериментирование с младшими братьями по разуму. В рамках всех существующих представлений о

закономерностях развития Разума точка зрения пессимистов выглядела, мягко выражаясь, искусственной, надуманной и архаичной. Но, с другой стороны, всегда оставался шанс, пусть даже ничтожный, на какой-то просчет. Могла ошибаться общая теория прогресса. Могли ошибаться ее интерпретаторы. И главное, могли ошибиться сами Странники. Последствия такого рода ошибок для судеб земного человечества не поддавались ни учету, ни контролю.

Именно тогда воображению Рудольфа Сикорски впервые представился апокалиптический образ существа, которое ни анатомически, ни физиологически не отличается от человека, более того, ничем не отличается от человека психически – ни логикой, ни чувствами, ни мироощущением. Это существо живет и работает в самой толще человечества, несет в себе неведомую грозную программу, и страшнее всего то, что оно само ничего не знает об этой программе и ничего не узнает о ней даже в тот неопределимый момент, когда программа эта включится наконец, взорвет в нем землянина и поведет его... Куда? К какой цели? И уже тогда Рудольфу Сикорски стало безнадежно ясно, что никто – и в первую очередь он сам, Рудольф Сикорски, – не имеет права успокаивать себя ссылкой на ничтожную вероятность и фантастичность такого предположения.

В самый разгар совещания Геннадию Комову передали очередную шифровку от Фокина. Он прочитал ее, изменился в лице и надтреснутым голосом объявил: «Плохо дело – Фокин и ван Блерком сообщают, что все тринадцать яйцеклеток совершили первое деление».

Это был скверный Новый год для всех посвященных. С раннего утра 1 января и до вечера 3 января нового 38-го года шло практически непрерывное заседание спонтанно образовавшейся Комиссии по инкубатору. Саркофаг теперь называли инкубатором, и обсуждался, по сути дела, всего один вопрос: как, учитывая все обстоятельства, организовать судьбу тринадцати будущих новых граждан планеты Земля.

Вопрос об уничтожении инкубатора больше не поднимался, хотя все члены Комиссии, в том числе и те, кто изначально ратовал за инициацию яйцеклеток, чувствовали себя не в своей тарелке. Их не покидала смутная тревога, им казалось, что 31 декабря они в каком-то смысле утратили самостоятельность и теперь вынуждены следовать плану, навязанному им извне. Впрочем, обсуждение носило вполне конструктивный характер.

Уже в эти дни были в общих чертах сформулированы принципы режима воспитания будущих новорожденных, намечены их няни, наблюдающие врачи, Учителя, возможные Наставники, а также основные направления антропологических, физиологических и

психологических исследований. Были назначены и немедленно направлены в группу Фокина специалисты по ксенотехнологии вообще и по ксенотехнике Странников в частности – на предмет самого тщательного изучения саркофага-инкубатора, для предупреждения «неловких действий», а главным образом – в надежде, что удастся обнаружить какие-то детали этой машины, которые впоследствии помогут уточнить и конкретизировать программу предстоящей работы с «подкидышами». Были даже разработаны различные варианты организации общественного мнения на случай реализации каждой из высказанных гипотез о целях Странников...

Рудольф Сикорски в дискуссии участия не принимал. Слушал он вполуха, а все внимание свое сосредоточил на том, чтобы учесть каждого, кто хоть в малейшей степени оказывался причастным к развивающимся событиям. Список рос с угнетающей быстротой, но он понимал, что с этим пока ничего сделать нельзя, что так или иначе в этой странной и опасной истории обязательно окажется замешано много людей.

Вечером 3 января на заключительном заседании, когда были подведены итоги и стихийно образовавшиеся подкомиссии были оформлены организационно, он потребовал слова и объявил примерно следующее.

Мы проделали здесь неплохую работу и более или менее подготовились к возможному развитию событий – насколько это возможно при нашем нынешнем уровне информированности и в той, прямо скажем, бездарной ситуации, в которой мы оказались помимо своей воли и по воле Странников. Мы договорились не совершать необратимых поступков – в этом, собственно, суть всех наших решений. Но! Как руководитель КОМКОНа-2, организации, ответственной за безопасность земной цивилизации в целом, я предлагаю вам ряд требований, которые нам надлежит неукоснительно выполнять в нашей деятельности впредь.

Первое. Все работы, хотя бы мало-мальски связанные с этой историей, должны быть объявлены закрытыми. Сведения о них не подлежат разглашению ни при каких обстоятельствах. Основание: всем хорошо известный Закон о тайне личности.

Второе. Ни один из «подкидышей» не должен быть посвящен в обстоятельства своего появления на свет. Основание: тот же Закон.

Третье. «Подкидыши» немедленно по появлении на свет должны быть разделены, а в дальнейшем надлежит принять меры к тому, чтобы они не только ничего не знали друг о друге, но и не встречались

бы друг с другом. Основание: достаточно элементарные соображения, которые я не намерен здесь приводить.

Четвертое. Все они должны получить в дальнейшем внеземные специальности, с тем чтобы сами обстоятельства их жизни и работы естественным образом затрудняли бы им возвращение на Землю даже на короткие сроки. Основание: та же элементарная логика. Мы вынуждены пока идти на поводу у Странников, но должны делать все возможное, чтобы в дальнейшем (и чем скорее, тем лучше) с проторенной для нас дороги свернуть.

Как и следовало ожидать, «Четыре требования Сикорски» вызвали взрыв недоброжелательства. Участники совещания, как и все нормальные люди, терпеть не могли каких бы то ни было тайн, закрытых тем, умалчиваний, да и вообще КОМКОНа-2. Но Сикорски правильно предвидел, что психологи и социологи, отдавши дань понятным эмоциям, возьмутся за ум и решительно встанут на его сторону. С Законом о тайне личности шутки плохи. Можно было легко и без всяких натяжек представить себе целый ряд неприятнейших ситуаций, которые могли бы возникнуть в будущем при нарушении первых двух «Требований». Попытайтесь-ка представить себе психику человека, который узнает о себе, что появился он на свет из инкубатора, запущенного сорок пять тысяч лет тому назад неведомыми чудовищами с неведомой целью, да еще при этом знает, что и всем вокруг это известно. А если у него хоть мало-мальски развито воображение, он с неизбежностью придет к представлению о том, что он, землянин до мозга костей, никогда ничего не знавший и не любивший кроме Земли, несет в себе, может быть, какую-то страшную угрозу для человечества. Представление это способно нанести человеку такую психическую травму, с которой не справятся и самые лучшие специалисты...

Доводы психологов были подкреплены внезапным и необычно резким выступлением Махиро Синоды, который прямо заявил, что мы здесь слишком много думаем о тринадцати еще не родившихся сопляках и слишком мало думаем о потенциальной опасности, которую они могут представлять для древней Земли. В результате все «Четыре требования» были приняты большинством голосов, и Рудольфу Сикорски было тут же поручено разработать и провести в жизнь соответствующие мероприятия. И вовремя.

5 января Рудольфу Сикорски позвонил слегка встревоженный Леонид Андреевич Горбовский. Оказывается, полчаса назад он имел беседу со своим старым другом – тагорским ксенологом, аккредитованным последние два года при Московском университете. В ходе

беседы тагорянин как бы вскользь осведомился, подтвердилось ли промелькнувшее несколько дней назад сообщение о необычной находке в системе ЕН 9173. Застигнутый этим невинным вопросом врасплох, Горбовский принялся мямлить нечто невразумительное насчет того, что он давно уже не Следопыт, что это вне его сферы интересов, что он в общем-то не в курсе, и в конце концов с облегчением и совершенно искренне объявил, что сообщения этого не читал. Тагорянин немедленно перевел разговор на другую тему, но у Горбовского тем не менее остался от этой части беседы самый неприятный осадок.

Рудольф Сикорски понял, что этот разговор еще будет иметь продолжение. И не ошибся.

7 января его неожиданно посетил только что прибывший с Тагоры коллега, так сказать, по роду деятельности, высокопочтенный доктор Ас-Су. Целью этого визита было уточнение ряда действительно существенных деталей, касающихся намечаемого расширения сферы деятельности официальных наблюдателей, Тагоры на нашей планете. Когда деловая часть разговора была закончена, и маленький доктор Ас-Су принялся за свой любимый земной напиток (холодный ячменный кофе с синтетическим медом), высокие стороны принялись обмениваться забавными и страшными историческими анекдотами, излагать которые друг другу они были издавна большими мастерами и любителями.

В частности, доктор Ас-Су рассказал, как полтораста земных лет назад при закладке фундамента Третьей Большой Машины тагорские строители обнаружили в базальтовой толще Приполярного Континента поразительное устройство, которое в терминах землян можно было бы назвать хитроумно сконструированным садком, содержащим двести три личинки тагорян в латентном состоянии. Возраст находки сколько-нибудь точно установить не удалось, однако ясно было, что этот садок был заложен задолго до Великой Генетической Революции, то есть еще в те времена, когда каждый тагорянин в своем развитии проходил стадию личинки...

– Поразительно, – пробормотал Сикорски. – Неужели уже в те времена ваш народ обладал настолько развитой технологией?

– Разумеется, нет! – ответил доктор Ас-Су. – Безусловно, это была затея Странников.

– Но зачем?

– Слишком трудно ответить на этот вопрос. Мы даже и не пытались на него ответить.

– И что же дальше случилось с этими двумя сотнями маленьких тагорян?

– Хм… Вы задаете странный вопрос. Личинки начали спонтанно развиваться, и мы, разумеется, немедленно уничтожили это устройство со всем его содержимым… Неужели вы можете представить себе народ, который поступил бы в этой ситуации иначе?

– Могу, – сказал Сикорски.

На другой день, 8 января 38-го года, Высокий Посол Единой Тагоры отбыл на родину в связи с состоянием здоровья. Еще через несколько дней на Земле и на всех других планетах, где селились и работали земляне, не осталось ни одного тагорянина. А еще через месяц все без исключения земляне, работавшие на Тагоре, были поставлены перед необходимостью вернуться на Землю. Связь с Тагорой прекратилась на двадцать пять лет.

Тайна личности Льва Абалкина (продолжение)

Они все родились в один день – 6 октября 38-го года, – пять девочек и восемь мальчиков, крепкие, горластые, абсолютно здоровые человеческие младенцы. К моменту их появления на свет все уже было готово. Их приняли и осмотрели медицинские светила, члены Всемирного совета и консультанты Комиссии по Тринадцати, обмыли и спеленали их и в тот же день в специально оборудованном корабле доставили на Землю. К вечеру в тринадцати яслях, разбросанных по всем шести материкам, заботливые няни уже хлопотали над тринадцатью сиротами и посмертными детьми, которые никогда не увидят своих родителей и единой матерью которых отныне становилось все огромное доброе человечество. Легенды об их происхождении уже были подготовлены самим Рудольфом Сикорски и по специальному разрешению Всемирного совета введены в БВИ.

Судьба Льва Вячеславовича Абалкина, как и судьбы остальных двенадцати его «единоутробных» сестер и братьев, была отныне запрограммирована на много лет вперед, и много лет она абсолютно ничем не отличалась от судеб сотен миллионов его обычных, земных сверстников.

В яслях он, как и полагается всякому младенцу, сначала лежал, потом ползал, потом ковылял, потом забегал. Его окружали такие же младенцы, и над ним хлопотали заботливые взрослые, такие же, как и в сотнях тысяч других яслей планеты.

Правда, ему повезло, как немногим. В тот самый день, когда его принесли в ясли, туда же поступила на работу простым наблюдающим врачом Ядвига Михайловна Леканова – один из крупнейших в мире специалистов по детской психологии. Почему-то захотелось ей

спуститься с горних высот чистой науки и вернуться к тому, с чего она начинала несколько десятилетий назад. А когда шестилетний Лева Абалкин был переведен со всей своей группой в Сыктывкарскую школу-интернат 241, та же Ядвига Михайловна сочла, что пора ей теперь поработать с детишками школьного возраста, и перевелась наблюдающим врачом в эту же школу.

Лева Абалкин рос и развивался как вполне обычный мальчик, склонный, может быть, к легкой меланхолии и замкнутости, но никакие отклонения его психотипа от нормы не превышали средних значений и значительно уступали крайним возможным отклонениям. Так же благополучно обстояло у него дело и с физическим развитием. Он не отличался от прочих ни повышенной хрупкостью, ни какой-нибудь выдающейся силой. Короче говоря, это был крепкий, здоровый, вполне обыкновенный мальчик, выделявшийся среди своих однокашников, по преимуществу – славян, разве что иссиня-черными прямыми волосами, которыми он очень гордился и все норовил отращивать до плеч. Так было до ноября сорок седьмого года.

16 ноября, проводя регулярный осмотр, Ядвига Михайловна обнаружила у Левы на сгибе правого локтя небольшой синяк с припухлостью. Синяк у мальчишки – невеликая редкость, и Ядвига Михайловна не обратила на него никакого внимания, а потом, разумеется, забыла бы о нем, если бы через неделю, 23 ноября, не оказалось, что синяк не только не исчез, но странно трансформировался. Его уже, собственно, нельзя было назвать синяком, это было уже нечто вроде татуировки – желто-коричневый маленький значок в виде стилизованной буквы «Ж». Осторожные расспросы показали, что Лева Абалкин понятия не имеет, откуда у него это взялось и почему. Было совершенно ясно, что до сих пор он попросту не знал и не замечал, что у него что-то там появилось на сгибе правого локтя.

Поколебавшись, Ядвига Михайловна сочла своей обязанностью сообщить об этом маленьком открытии доктору Сикорски. Доктор Сикорски принял информацию без всякого интереса, однако в конце декабря вдруг вызвал Ядвигу Михайловну по видеофону и осведомился, как обстоят дела с родимым пятном у Льва Абалкина. Без изменений, ответила несколько удивленная Ядвига Михайловна. Если вас не затруднит, попросил доктор Сикорски, как-нибудь незаметно для мальчика сфотографируйте это пятно и перешлите фотографию мне.

Лев Абалкин был первым из «подкидышей», у кого на сгибе правого локтя появился значок. В течение последующих двух месяцев родимые пятна, имеющие более или менее замысловатые формы, появились еще у восьми «подкидышей» при совершенно сходных

обстоятельствах: синяк с припухлостью вначале, никаких внешних причин, никаких болезненных ощущений, а через неделю – желто-коричневый значок. К концу 48-го года «клеймо Странников» носили уже все тринадцать. И тогда было сделано поистине удивительное и страшноватое открытие, вызвавшее к жизни понятие «детонатор».

Кто первым ввел это понятие, определить теперь уже невозможно. По мнению Рудольфа Сикорски, оно как нельзя более точно и грозно определяло суть дела. Еще в 39-м году, через год после рождения «подкидышей», ксенотехники, занимавшиеся демонтажом опустевшего инкубатора, обнаружили в его недрах длинный ящик из янтарина, содержащий тринадцать серых круглых дисков со значками на них. В недрах инкубатора были обнаружены тогда предметы и более загадочные, чем этот ящик-футляр, и поэтому никто специального внимания на него не обратил. Футляр был транспортирован в Музей внеземных культур, описан в закрытом издании «Материалы по саркофагу-инкубатору» как элемент системы жизнеобеспечения, успешно выдержал вялый натиск какого-то исследователя, попытавшегося понять, что это такое и для чего может пригодиться, а затем отфутболен в уже переполненный Спецсектор предметов материальной культуры невыясненного назначения, где и был благополучно забыт на целых десять лет.

В начале 49-го года помощник Рудольфа Сикорски по делу «подкидышей» (назовем его, например, Иванов) вошел в кабинет своего начальника и положил перед ним проектор, включенный на 211-й странице шестого тома «Материалов по саркофагу». Экселенц глянул и обомлел. Перед ним была фотография «элемента жизнеобеспечения 15/156А»: тринадцать серых круглых дисков в гнездах янтарного футляра. Тринадцать замысловатых иероглифов, тех самых, над которыми он уже даже перестал ломать голову, прекрасно знакомых по тринадцати фотографиям тринадцати сгибов детских локтей. По значку на локоть. По значку на диск. По диску на локоть.

Это не могло быть случайностью. Это должно было что-то означать. Что-то очень важное. Первым движением Рудольфа Сикорски было немедленно затребовать из музея этот «элемент 15/156А» и спрятать к себе в сейф. От всех. От себя. Он испугался. Он просто испугался. И страшнее всего было то, что он даже не понимал, почему ему страшно.

Иванов был тоже испуган. Они взглянули друг на друга и поняли друг друга без слов. Одна и та же картина стояла перед их глазами: тринадцать загорелых, исцарапанных бомб с веселым гиканьем носятся по-над речками и лазают по деревьям в разных концах Земного

шара, а здесь, в двух шагах, тринадцать детонаторов к ним в зловещей тишине ждут своего часа.

Это была минута слабости, конечно. Ведь ничего страшного не произошло. Ниоткуда, собственно, не следовало, что диски со значками – это детонаторы к бомбам, возбудители скрытой программы. Просто они привыкли уже предполагать самое худшее, когда дело касалось «подкидышей». Но если даже эта паника воображения и не обманывала их, даже в этом самом крайнем случае ничего страшного пока не произошло. В любой момент детонаторы можно было уничтожить. В любой момент их можно было изъять из музея и отправить за тридевять земель, на край обитаемой Вселенной, а при необходимости – и еще дальше.

Рудольф Сикорски позвонил директору музея и попросил его доставить экспонат номер такой-то в распоряжение Всемирного совета – к нему, Рудольфу Сикорски, в кабинет. Последовал несколько удивленный, безукоризненно вежливый, но недвусмысленный отказ. Выяснилось (Сикорски прежде и представления об этом не имел), что экспонаты из музея, причем не только из Музея внеземных культур, но и из любого музея на Земле, не выдаются – ни частным лицам, ни Всемирному совету, ни даже Господу Богу. Если бы даже самому Господу Богу потребовалось поработать с экспонатом номер такой-то, ему пришлось бы для этого явиться в музей, предъявить соответствующие полномочия и там, в стенах музея, производить необходимые исследования, для которых, впрочем, ему, Господу Богу, были бы созданы все необходимые условия: лаборатории, любое оборудование, любая консультация и так далее, и тому подобное.

Дело оборачивалось неожиданной стороной, но первый шок уже прошел. В конце концов, хорошо уже и то, что бомбе для воссоединения с детонатором понадобятся, по меньшей мере, «соответствующие полномочия». И в конце концов, только от Рудольфа Сикорски зависело сделать так, чтобы музей превратился в тот же самый сейф, только размерами побольше. И вообще, какого дьявола? Откуда бомбам знать, где находятся детонаторы и что они вообще существуют? Нет-нет, это была минута слабости. Одна из немногих подобных минут в его жизни.

Детонаторами занялись вплотную. Соответственно подобранные люди, снабженные соответствующими полномочиями и рекомендациями, провели в прекрасно оборудованных лабораториях музея цикл тщательно продуманных исследований. Результаты этих исследований можно было бы со спокойной совестью назвать нулевыми,

если бы не одно странное и даже, прямо скажем, трагическое обстоятельство.

С одним из детонаторов был проведен эксперимент на регенерацию. Эксперимент дал отрицательные результаты: в отличие от многих предметов материальной культуры Странников, детонатор номер 12 (значок «М готическое»), будучи разрушен, не восстановился. А спустя два дня в Северных Андах попала под горный обвал группа школьников из интерната «Темпладо» – двадцать семь девчонок и мальчишек во главе с Учителем. Многие получили ушибы и ранения, но все остались живы – кроме Эдны Ласко, личное дело № 12, значок «М готическое».

Безусловно, это могло быть случайностью. Но исследования детонаторов были приостановлены, и через Всемирный совет удалось провести их как запрещенные.

И было еще одно происшествие, но много позже, уже в 62-м году, когда Рудольф Сикорски, по местному прозвищу «Странник», резидентствовал на Саракше.

Дело в том, что именно благодаря его отсутствию на Земле группе психологов, входящих в состав Комиссии по Тринадцати, удалось добиться разрешения на частичное раскрытие тайны личности одному из «подкидышей». Для эксперимента был выбран Корней Яшмаа – номер 11, значок «Эльбрус». После тщательной подготовки ему была рассказана вся правда о его происхождении. Только о нем. Больше ни о ком.

Корней Яшмаа кончал тогда школу Прогрессоров. Судя по всем обследованиям, это был человек с чрезвычайно устойчивой психикой и очень сильной волей, весьма незаурядный человек по всем своим задаткам. Психологи не ошиблись. Корней Яшмаа воспринял информацию с поразительным хладнокровием – видимо, окружающий мир интересовал его много больше, чем тайна собственного происхождения. Осторожное предупреждение психологов о том, что в нем, возможно, заложена скрытая программа, которая в любой момент может направить его деятельность против интересов человечества, – это предупреждение нисколько не взволновало его. Он откровенно признался, что хотя и понимает свою потенциальную опасность, но совершенно в нее не верит. Он охотно согласился на регулярное самонаблюдение, включающее, между прочим, ежедневное обследование индикатором эмоций, и даже сам предложил сколь угодно глубокое ментоскопирование. Словом, Комиссия могла быть довольна: по крайней мере один из «подкидышей» стал теперь сознательным и сильным союзником Земли.

Узнав об этом эксперименте, Рудольф Сикорски поначалу разозлился, но потом решил, что в конечном итоге такой эксперимент может оказаться полезным. С самого начала он настаивал на сохранении тайны личности «подкидышей» прежде всего из соображений безопасности Земли. Он не хотел, чтобы в распоряжении «подкидышей», когда и, если программа заработает, кроме этой подсознательной программы были бы еще и вполне сознательные сведения о них самих и о том, что с ними происходит. Он предпочел бы, чтобы они стали метаться, не зная, чего они ищут, и с неизбежностью совершая нелепые и странные поступки. Но в конце концов, для контроля было бы даже полезно иметь одного (но не больше!) из «подкидышей», располагающего полной информацией о себе. Если программа вообще существует, то она, безусловно, организована так, что никакое сознание справиться с нею будет не в силах. Иначе Странникам не стоило и огород городить. Но, без всякого сомнения, поведение человека, осведомленного о программе, должно будет резко отличаться от поведения прочих.

Однако психологи и не думали останавливаться на достигнутом. Ободренные успехом с Корнеем Яшмаа, они спустя три года (Рудольф Сикорски все еще сидел на Саракше) повторили эксперимент с Томасом Нильсоном (номер 02, значок «Косая звезда»), смотрителем заповедника на Горгоне. Показания были вполне благоприятны, и несколько месяцев Томас Нильсон действительно продолжал благополучно работать, по всей видимости, нимало не смущенный тайной своей личности. Он вообще был человеком скорее флегматичным и не склонным к проявлению эмоций.

Он аккуратно выполнял все рекомендованные процедуры по самонаблюдению, относился к своему положению даже с некоторым свойственным ему тяжеловатым юмором, но, правда, наотрез отказался от ментоскопирования, сославшись при этом на чисто личные мотивы. А на сто двадцать восьмой день после начала эксперимента Томас Нильсон погиб на своей Горгоне при обстоятельствах, не исключающих возможности самоубийства.

Для Комиссии вообще и для психологов в особенности это был страшный удар. Престарелый Пак Хин объявил о своем выходе из Комиссии, бросил институт, учеников, родных и удалился в самоизгнание. А на сто тридцать второй день сотрудник КОМКОНа-2, в обязанности которого входил, в частности, ежемесячный осмотр янтарного футляра, доложил в панике, что детонатор номер 02, значок «Косая звезда», исчез начисто, не оставив после себя в гнезде, выстланном шевелящимися волокнами псевдоэпителия, даже пыли.

Теперь существование некоей, мягко выражаясь, полумистической связи между каждым из «подкидышей» и соответствующим детонатором не вызывало никаких сомнений. И никаких сомнений ни у кого из членов Комиссии не вызывало теперь, что в обозримом будущем землянам, пожалуй, не дано будет разобраться в этой истории.

4 июня 78-го года
Дискуссия ситуации

Все это и еще многое другое рассказал мне Экселенц той же ночью, когда мы вернулись из музея к нему в кабинет.

Уже светало, когда он кончил рассказывать. Замолчав, он грузно поднялся и, не глядя на меня, пошел заваривать кофе.

– Можешь спрашивать, – проворчал он.

К этому моменту лишь одно чувство, пожалуй, владело мною почти безраздельно – огромное, безграничное сожаление о том, что я все это узнал и вынужден был теперь принимать в этом участие. Конечно, будь на моем месте любой нормальный человек, ведущий нормальную жизнь и занятый нормальной работой, он воспринял бы эту историю как одну из тех фантастических и грозных баек, которые возникают на самых границах между освоенным и неведомым, докатываются до нас в неузнаваемо искаженном виде и обладают тем восхитительным свойством, что, как бы грозны и страшны они ни были, к нашей светлой и теплой Земле они прямого отношения не имеют и никакого существенного влияния на нашу повседневную жизнь не оказывают, – все это как-то, кем-то и где-то всегда улаживалось, улаживается сейчас или непременно уладится в самом скором времени.

Но я-то, к сожалению, не был нормальным человеком в этом смысле слова. Я, к сожалению, и был как раз одним из тех, на долю которых выпало улаживать. И я понимал, что с этой тайной на плечах мне ходить теперь до конца жизни. Что вместе с тайной я принял на себя еще одну ответственность, о которой не просил и в которой, право же, не нуждался. Что отныне я обязан принимать какие-то решения, а значит – должен теперь досконально понять хотя бы то, что уже понято до меня, а желательно и еще больше. А значит – увязнуть в этой тайне, отвратительной, как все наши тайны, и даже, наверное, еще более отвратительной, чем они, – увязнуть в ней еще глубже, чем до сих пор. И какую-то совсем детскую благодарность ощущал я к Экселенцу, который до последнего момента старался удержать меня на краю этой тайны. И какое-то еще более детское, почти капризное раздражение против него – за то, что он все-таки не удержал.

– У тебя нет вопросов? – осведомился Экселенц.

Я спохватился:

– Значит, вы полагаете, что программа заработала и он убил Тристана?

– Давай рассуждать логически. – Экселенц расставил чашечки, аккуратно разлил кофе и уселся на место. – Тристан был его наблюдающим врачом. Регулярно раз в месяц они встречались где-то в джунглях, и Тристан проводил профилактический осмотр. Якобы в порядке рутинного контроля за уровнем психической напряженности Прогрессора, а на самом деле – для того, чтобы убедиться: Абалкин остается человеком. На всем Саракше один только Тристан знал номер моего спецканала. Тридцатого мая, самое позднее – тридцать первого, я должен был получить от него три семерки, «все в порядке». Но двадцать восьмого, в день, назначенный для осмотра, он гибнет. А Лев Абалкин бежит на Землю. Лев Абалкин бежит на Землю, Лев Абалкин скрывается, Лев Абалкин звонит мне по спецканалу, который был известен только Тристану... – Он залпом выпил свой кофе и помолчал, жуя губами. – По-моему, ты не понял самого главного, Мак. Мы теперь имеем дело не с Абалкиным, а со Странниками. Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников. – Он снова помолчал. – Я, откровенно говоря, вообще не представляю, какая сила была способна заставить Тристана назвать мой номер кому бы то ни было, а тем более – Льву Абалкину. Я боюсь, его не просто убили...

– Значит, вы полагаете, что программа гонит его на поиски детонатора?

– Мне больше нечего предполагать.

– Но ведь он понятия не имеет о детонаторах... Или это тоже Тристан?

– Тристан ничего не знал. И Абалкин ничего не знает. Знает программа!

– А как ведет себя Яшмаа? И остальные?

– Все в пределах нормы. Но ведь и значки появились у них не одновременно. Абалкин был первым.

Это надо было понимать так, что в отношении остальных Экселенц уже принял необходимые меры, и слава богу, мне не надо было знать, что это за меры. Меня это не касалось. Пока. Я сказал:

– Вы только поймите меня правильно, Экселенц. Не подумайте, что я пытаюсь смягчить, сгладить, приуменьшить. Но ведь вы не видели его. И вы не видели людей, с которыми он общался... Я все понимаю: гибель Тристана – бегство – звонок, по-вашему, спецканалу –

скрывается – выходит на Глумову, у которой хранятся детонаторы... Выглядит это совершенно однозначно. Этакая безупречная логическая цепочка. Но ведь есть и другое! Встречается с Глумовой – и ни слова о музее, только детские воспоминания и любовь. Встречается с Учителем – и только обида, будто бы Учитель испортил ему жизнь... Разговор со мной – обида, будто я украл у него приоритет... Кстати, зачем ему было вообще встречаться с Учителем? Со мной еще туда-сюда: скажем, он хотел проверить, кто его выслеживает... А с Учителем зачем? Теперь Щекн – дурацкая просьба об убежище, что вообще уже ни в какие ворота не лезет!

– Лезет, Мак. Все лезет. Программа – программой, а сознание – сознанием. Ведь он не понимает, что с ним происходит. Программа требует от него нечеловеческого, а сознание тщится трансформировать это требование во что-то хоть мало-мальски осмысленное... Он мечется, он совершает странные и нелепые поступки. Чего-то вроде этого я и ожидал... Для того и нужна была тайна личности: мы имеем теперь хоть какой-то запас времени... А насчет Щекна ты не понял ни черта. Никакой просьбы об убежище там не было. Голованы почуяли, что он больше не человек, и демонстрируют нам свою лояльность. Вот что там было...

Он не убедил меня. Логика его была почти безупречна, но ведь я видел Абалкина, я разговаривал с ним, я видел Учителя и Майю Тойвовну, я разговаривал с ними. Абалкин метался – да. Он совершал странные поступки – да, но эти поступки не были нелепыми. За ними стояла какая-то цель, только я никак не мог понять, какая. И потом, Абалкин был жалок, он не мог быть опасен...

Но все это была только моя интуиция, а я знал цену интуиции. Дешево она стоила в наших делах. И потом, интуиция – это из области человеческого опыта, а мы как-никак имели дело со Странниками...

– Можно еще кофе? – попросил я.

Экселенц поднялся и пошел заваривать новую порцию.

– Я вижу, ты сомневаешься, – сказал он, стоя ко мне спиной. – Я бы и сам сомневался, если бы только имел на это право. Я – старый рационалист, Мак, и я навидался всякого, я всегда шел от разума, и разум никогда не подводил меня. Мне претят все эти фантастические кунштюки, все эти таинственные программы, составленные кем-то там сорок тысяч лет назад, которые, видите ли, включаются и выключаются по непонятному принципу, все эти мистические внепространственные связи между живыми душами и дурацкими кругляшками, запрятанными в футляр... Меня с души воротит от всего этого!

Он принес кофе и разлил по чашкам.

– Если бы мы с тобой были обыкновенными учеными, – продолжал он, – и просто занимались бы изучением некоего явления природы, с каким бы наслаждением я объявил все это цепью идиотских случайностей! Случайно погиб Тристан – не он первый, не он последний. Подруга детства Абалкина случайно оказалась хранительницей детонаторов. Он совершенно случайно набрал номер моего спецканала, хотя собирался звонить кому-то другому... Клянусь тебе, это маловероятное сцепление маловероятных событий, казалось бы, мне все-таки гораздо более правдоподобным, чем идиотское, бездарное предположение о какой-то там вельзевуловой программе, якобы заложенной в человеческие зародыши... Для ученых все ясно: не изобретай лишних сущностей без самой крайней необходимости. Но мы-то с тобой не ученые. Ошибка ученого – это, в конечном счете, его личное дело. А мы ошибаться не должны. Нам разрешается прослыть невеждами, мистиками, суеверными дураками. Нам одного не простят: если мы недооценили опасность. И если в нашем доме вдруг завоняло серой, мы просто не имеем права пускаться в рассуждения о молекулярных флюктуациях – мы обязаны предположить, что где-то рядом объявился черт с рогами, и принять соответствующие меры, вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах. И слава богу, если окажется, что это была всего лишь флюктуация, и над нами будет хохотать весь Всемирный совет и все школяры в придачу... – Он с раздражением отодвинул от себя чашку. – Не могу я пить этот кофе, и есть я не могу уже четвертый день подряд...

– Экселенц, – сказал я, – ну что вы, в самом деле... Ну почему обязательно черт с рогами? В конце концов, что плохого мы можем сказать о Странниках? Ну, возьмите вы операцию «Мертвый мир» ... Ведь они там как-никак население целой планеты спасли! Несколько миллиардов человек!

– Утешаешь... – сказал Экселенц, мрачно усмехаясь. – А ведь они там не население спасали. Они планету спасали от населения! И очень успешно... А куда делось население – этого нам знать не дано...

– Почему – планету? – спросил я, растерявшись.

– А почему – население?

– Ну ладно, – сказал я. – Дело даже не в этом. Пусть вы правы: программа, детонаторы, черт с рогами... Ну что он нам может сделать? Ведь он один.

– Мальчик, – сказал Экселенц почти нежно, – ты думаешь над этим едва полчаса, а я ломаю голову вот уже сорок лет. И не только я. И мы ничего не придумали, вот что хуже всего. И никогда ничего не

придумаем, потому что самые умные и опытные из нас – это всего-навсего люди. Мы не знаем, чего они хотят. Мы не знаем, что они могут. И никогда не узнаем. Единственная надежда – что в наших метаниях, судорожных и беспорядочных, мы будем то и дело совершать шаги, которых они не предусмотрели. Не могли они предусмотреть все. Этого никто не может. И все-таки каждый раз, решаясь на какое-то действие, я ловлю себя на мысли, что именно этого они от меня и ждали, что именно этого-то делать не следует. Я дошел до того, что, старый дурак, радуюсь, что мы не уничтожили этот проклятый саркофаг сразу же, в первый же день... Вот тагоряне уничтожили – и посмотри теперь на них! Этот жуткий тупик, в который они уперлись... Может быть, это как раз и есть следствие того самого разумного, самого рационального поступка, который они совершили полтора века назад... Но ведь, с другой-то стороны, сами себя они в тупике не считают! Это тупик с нашей, человеческой точки зрения! А со своей точки зрения они процветают и благоденствуют и, безусловно, полагают, что обязаны этим своевременному радикальному решению... Или вот мы решили не допускать взбесившегося Абалкина к детонаторам. А может быть, именно этого они от нас и ждали?

Он положил лысый череп на ладони и замотал головой.

– Мы все устали, Мак, – проговорил он. – Как мы все устали! Мы уже больше не можем думать на эту тему. От усталости мы становимся беспечными и все чаще говорим друг другу: «А, обойдется!» Раньше Горбовский был в меньшинстве, а теперь семьдесят процентов Комиссии приняли его гипотезу. «Жук в муравейнике» ... Ах, как это было бы прекрасно! Как хочется верить в это! Умные дяди из чисто научного любопытства сунули в муравейник жука и с огромным прилежанием регистрируют все нюансы муравьиной психологии, все тонкости их социальной организации. А муравьи-то перепуганы, а муравьи-то суетятся, переживают, жизнь готовы отдать за родимую кучу, и невдомек им, беднягам, что жук сползет в конце концов с муравейника и убредет своей дорогой, не причинив никому никакого вреда... Представляешь, Мак? Никакого вреда! Не суетитесь, муравьи! Все будет хорошо... А если это не «Жук в муравейнике»? А если это «Хорек в курятнике»? Ты знаешь, что это такое, Мак, – хорек в курятнике?..

И тут он взорвался. Он грохнул кулаками по столу и заорал, уставясь на меня бешеными зелеными глазами:

– Мерзавцы! Сорок лет они у меня вычеркнули из жизни! Сорок лет они делают из меня муравья! Я ни о чем другом не могу думать! Они сделали меня трусом! Я шарахаюсь от собственной тени, я не верю собственной бездарной башке... Ну, что ты вытаращился на

меня? Через сорок лет ты будешь такой же, а может быть, и гораздо скорее, потому что события пойдут вскачь! Они пойдут так, как мы, старичье, и не подозревали, и мы всем гуртом уйдем в отставку, потому что нам с этим не справиться. И все это навалится на вас! А вам с этим тоже ведь не справиться! Потому что вы…

Он замолчал. Он уже смотрел не на меня, а поверх моей головы. И он медленно поднимался из-за стола. Я обернулся.

На пороге, в проеме распахнутой двери, стоял Лев Абалкин.

4 июня 78-го года
Лев Абалкин в натуре

– Лева! – произнес Экселенц изумленно-растроганным голосом. – Боже мой, дружище! А мы с ног сбились, вас разыскивая!

Лев Абалкин сделал движение и вдруг сразу оказался возле стола. Без сомнения, это был настоящий Прогрессор новой школы, профессионал, да еще из лучших, наверное, – мне приходилось прилагать изрядные усилия, чтобы удерживать его в своем темпе восприятия.

– Вы – Рудольф Сикорски, начальник КОМКОНа-2, – произнес он тихим, удивительно бесцветным голосом.

– Да, – отозвался Экселенц, радушно улыбаясь. – А почему так официально? Садитесь, Лева…

– Я буду говорить стоя, – сказал Лев Абалкин.

– Бросьте, Лева, что за церемонии? Садитесь, прошу вас. Нам предстоит долгий разговор, не правда ли?

– Нет, не правда, – сказал Абалкин. На меня он даже не взглянул. – У нас не будет долгого разговора. Я не хочу с вами разговаривать.

Экселенц был потрясен.

– Как это – не хотите? – вопросил он. – Вы, дорогой мой, на службе, вы обязаны отчетом… Мы до сих пор не знаем, что случилось с Тристаном… Как это – не хотите?

– Я – один из «тринадцати»?

– Этот Бромберг… – проговорил Экселенц с досадой. – Да, Лева. К сожалению, вы – один из «тринадцати».

– Мне запрещено находиться на Земле? И я всю жизнь должен оставаться под надзором?

– Да, Лева. Это так.

Абалкин великолепно владел собой. Лицо его было совершенно неподвижно, и глаза были полузакрыты, словно он дремал стоя. Но я-то чувствовал, что перед нами человек в последнем градусе бешенства.

– Так вот, я пришел сюда сказать, – произнес Абалкин все тем же тихим бесцветным голосом, – что вы поступили с нами глупо и гнусно. Вы исковеркали мою жизнь и в результате ничего не добились. Я – на Земле и более не намерен Землю покидать. Прошу вас иметь в виду, что и надзора вашего я больше не потерплю и избавляться от него буду беспощадно.

– Как от Тристана? – небрежно спросил Экселенц.

Абалкин, казалось, не слыхал этой реплики.

– Я вас предупредил, – сказал он. – Теперь пеняйте на себя. Я намерен теперь жить по-своему и прошу больше не вмешиваться в мою жизнь.

– Хорошо. Не будем вмешиваться. Но скажите мне, Лев, разве вам не нравилась ваша работа?

– Теперь я сам буду выбирать себе работу.

– Очень хорошо. Великолепно. А в свободное от работы время пораскиньте, пожалуйста, мозгами и попробуйте представить себя на нашем месте. Как бы вы поступили с «подкидышами»?

Что-то вроде усмешки промелькнуло на лице Абалкина.

– Здесь нет материала для размышлений, – сказал он. – Здесь все очевидно. Надо было мне все рассказать, сделать меня своим сознательным союзником...

– А вы бы через пару месяцев покончили с собой? Страшно ведь, Лева, ощущать себя угрозой для человечества, это не всякий выдержит...

– Чепуха. Это все бредни ваших психологов. Я – землянин! Когда я узнал, что мне запрещено жить на Земле, я чуть не спятил! Только андроидам запрещено жить на Земле. Я мотался как сумасшедший – искал доказательств, что я не андроид, что у меня было детство, что я работал с голованами... Вы боялись свести меня с ума? Ну, так это вам почти удалось!

– А кто сказал, что вам запрещено жить на Земле?

– А что – это неправда? – осведомился Абалкин. – Может быть, мне разрешено жить на Земле?

– Теперь – не знаю... Наверное, да. Но посудите сами, Лева! На всем Саракше только один Тристан знал, что вы не должны возвращаться на Землю. А он вам этого сказать не мог... Или все-таки сказал?

Абалкин молчал. Лицо его по-прежнему оставалось неподвижным, но на матово-бледных щеках проступили серые пятна, словно следы старых лишаев, – он сделался похож на пандейского дервиша.

– Ну, хорошо, – сказал, подождав, Экселенц. Он демонстративно разглядывал свои ногти. – Пусть Тристан вам это все-таки рассказал. Не понимаю, почему он это сделал, но – пусть. Тогда почему он не рассказал вам остального? Почему он не рассказал вам, что вы – «подкидыш»? Почему не объяснил причин запрета? Ведь были же причины – и весьма существенные, что бы вы об этом ни думали...

Медленная судорога прошла по серому лицу Абалкина, и оно вдруг потеряло твердость и словно бы обвисло – рот полуоткрылся, и широко раскрылись, как бы в удивлении, глаза, и я впервые услыхал его дыхание.

– Я не хочу об этом говорить... – громко и хрипло произнес он.

– Очень жаль, – сказал Экселенц. – Нам это очень важно.

– А мне важно только одно, – сказал Абалкин. – Чтобы вы оставили меня в покое.

Лицо его сделалось, как прежде, твердым, опустились веки, с матовых щек медленно сходили серые пятна. Экселенц заговорил совсем другим тоном:

– Лева. Разумеется, мы оставим вас в покое. Но я умоляю вас, если вы вдруг почувствуете в себе что-то непривычное, непривычное ощущение... какие-нибудь странные мысли... просто больным себя почувствуете... Умоляю, сообщите об этом. Ну, пусть не мне. Горбовскому. Комову. Бромбергу, в конце концов...

Тут Абалкин повернулся к нему спиной и пошел к двери. Экселенц почти кричал ему вслед, протягивая руку:

– Только сразу же! Сразу! Пока вы еще землянин! Пусть я виноват перед вами, но Земля-то не виновата ни в чем!..

– Сообщу, сообщу, – сказал Абалкин через плечо. – Лично вам.

Он вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь.

Несколько секунд Экселенц молчал, вцепившись обеими руками в подлокотники кресла, и напряженно прислушивался. Затем скомандовал вполголоса:

– За ним. Ни в коем случае не упускать. Связь через браслет. Я буду в музее.

4 июня 78-го года
Завершение операции

Выйдя из здания КОМКОНа-2, Лев Абалкин неторопливо, праздной походкой проследовал по улице Красных Кленов, зашел в кабину уличного видеофона и с кем-то переговорил. Разговор длился две минуты с небольшим, после чего Лев Абалкин все так же неторопливо,

заложив руки за спину, свернул на бульвар и устроился там на скамейке возле постамента с барельефом Строгова.

По-моему, он очень внимательно прочитал все, что было высечено на постаменте, потом рассеянно огляделся и минут двадцать сидел в позе человека, отдыхающего от тяжелой работы: раскинул руки поверх спинки скамьи, откинул голову и вытянул на середину аллеи скрещенные ноги. К нему собрались белки, одна прыгнула на плечо и ткнулась ему мордочкой в ухо. Он громко рассмеялся, взял ее в ладони и, подобрав ноги, посадил на колено. Белка так и осталась сидеть. По-моему, он разговаривал с нею. Солнце только что взошло, улицы были почти пусты, а на бульваре, кроме него, не было ни души.

Я не питал, конечно, никаких иллюзий, что мне удалось остаться незамеченным. Безусловно, он знал, что я не спускаю с него глаз, и, наверное, уже прикинул про себя, как ему от меня избавиться при необходимости. Но не это меня занимало. Меня беспокоил Экселенц. Я не понимал, что он затеял.

Он приказал мне найти Абалкина. Он хотел встретиться с Абалкиным, чтобы поговорить с ним один на один. По крайней мере, так было вначале, три дня назад. Потом он убедился, а точнее сказать – убедил себя, что Абалкин неизбежно должен выйти на детонаторы. Тогда он устроил засаду. О разговорах тет-а-тет речи уже не было. Был приказ «брать его, как только он прикоснется к платку». И был пистолет. По-видимому, на тот случай, если взять не удастся. Хорошо. Теперь Абалкин приходит к нему сам. И простым глазом видно, что Экселенцу нечего сказать Абалкину. Ничего удивительного: Экселенц убежден, что программа работает, а в этом случае разговаривать с Абалкиным бессмысленно. (Работает ли программа на самом деле – на этот счет у меня было свое мнение, но оно роли не играло. Прежде всего мне надо было понять замысел Экселенца.)

Итак, он отпускает Абалкина. Вместо того чтобы взять его прямо в кабинете и отдать в распоряжение врачей и психологов, он его отпускает. Над Землей нависла угроза. Чтобы ее предотвратить, достаточно изолировать Абалкина. Это можно было бы сделать самыми элементарными средствами. И поставить точку по крайней мере на этом деле. Но он отпускает Абалкина, а сам идет в музей. Это может означать только одно: он совершенно уверен, что Абалкин в ближайшее время тоже явится в музей. За детонаторами. За чем же еще? (Казалось бы, чего проще – сунуть этот янтарный футляр в списанный «призрак» и загнать в подпространство до скончания времен... К сожалению, делать этого, конечно, нельзя: это был бы необратимый поступок.)

Абалкин является в музей (или прорывается с боем – ведь там его ждет Гриша Серосовин) ... В общем, он является в музей и снова видит там Экселенца. Картина. И вот там-то происходит настоящий разговор...

Экселенц его убьет, подумал я. Господи помилуй, в панике подумал я. Он сидит здесь и играет с белочками, а через час Экселенц его убьет. Ведь это же просто, как репа. Экселенц для того и ждет его в музее, чтобы досмотреть это кино до конца, чтобы понять, своими глазами увидеть, как это все происходит, как автомат Странников отыскивает дорогу, как он находит янтарный футляр (глазами? по запаху? шестым чувством?), как он открывает этот футляр, как выбирает свой детонатор, что он намеревается делать с детонатором... Только намеревается, не больше, ведь в ту же секунду Экселенц нажмет спусковой крючок, потому что рисковать дальше будет уже нельзя...

И я сказал себе: ну нет, этого не будет.

Нельзя сказать, чтобы я тщательно продумал все последствия своего поступка. Если говорить откровенно, я их не продумывал вовсе. Просто я вошел в аллею и направился прямо к Абалкину.

Когда я подошел, он глянул на меня искоса и отвернулся. Я сел рядом.

– Лева, – сказал я, – уезжайте отсюда. Сейчас же.

– Кажется, я просил оставить меня в покое, – сказал он прежним тихим и бесцветным голосом.

– Вас не оставят в покое. Дело зашло слишком далеко. Никто не сомневается в вас лично. Но вы для нас больше не Лева Абалкин. Левы Абалкина больше нет. Вы для нас – автомат Странников.

– А вы для меня – банда взбесившихся от страха идиотов.

– Не спорю, – сказал я. – Но именно поэтому вам надо удирать отсюда как можно дальше и как можно быстрее. Летите на Пандору, Лева, поживите там несколько месяцев, докажите им, что никакой программы внутри вас нет.

– А зачем? – сказал он. – Чего это ради я должен кому-то что-то доказывать? Это, знаете ли, унизительно.

– Лева, – сказал я, – если бы вы встретили перепуганных детей, неужели вам показалось бы унизительным покривляться и повалять дурака перед ними, чтобы их успокоить?

Он впервые глянул мне прямо в глаза. Он смотрел долго, почти не мигая, и я понял, что он не верит ни одному моему слову. Перед ним сидел взбесившийся от страха идиот и старательно врал, чтобы снова

загнать его на край Вселенной, но теперь уже навсегда, теперь уже без всякой надежды на возвращение.

– Бесполезно, – сказал он. – Прекратите эту болтовню и оставьте меня в покое. Мне пора.

Он осторожно отогнал белок и поднялся. Я тоже поднялся.

– Лева, – сказал я, – вас убьют.

– Ну, это не так просто сделать, – небрежно отозвался он и пошел вдоль аллеи.

Я пошел рядом с ним. Я все время говорил. Нес какую-то чушь, что-де это не тот случай, когда можно позволить себе обижаться, что глупо-де рисковать жизнью из-за одной только гордости, что-де стариков тоже надо бы понять – они сорок лет живут как на иголках... Он отмалчивался или отвечал колкостями. Пару раз он даже улыбнулся – мое поведение, кажется, забавляло его. Мы прошли до конца аллеи и свернули на Сиреневую улицу. Мы шли к Площади Звезды.

Людей на улице было уже довольно много. Это не входило в мои планы, но и не особенно им мешало. Может же человеку стать дурно на улице, и в таких случаях должен же кто-то доставить потерявшего сознание человека к ближайшему врачу... Я доставлю его на наш ракетодром, это недалеко, он даже не успеет очухаться. Там всегда наготове два-три дежурных «призрака». Я вызову туда Глумову, и мы втроем высадимся на зеленой Ружене, в моем старом лагере. По дороге я ей все объясню, и провались она в тартарары – тайна личности Льва Абалкина... Так. Вон у обочины подходящий глайдер. Свободный. Как раз то, что нужно...

Когда я очухался, голова моя покоилась на теплых коленях незнакомой пожилой женщины, а я был словно на дне колодца, и на меня сверху вниз встревоженно глядели незнакомые лица, и кто-то предлагал не тесниться и дать мне больше воздуху, и еще кто-то заботливо подсовывал к моему носу ядовито пахнущую ампулу, а рассудительный голос вещал в том смысле, что оснований для особой тревоги никаких нет – может же стать человеку дурно на улице...

Тело мое казалось мне туго надутым воздушным шаром, который с тихим звоном колышется над самой землей. Боли не было. Судя по всему, я попался на самый обыкновенный «поворот вниз», проведенный, правда, из такой позиции, из которой его никто и никогда не проводит.

– Ничего, он уже очнулся, все будет в порядке...

– Лежите, лежите, пожалуйста, вам просто стало дурно...

– Сейчас будет врач, ваш друг уже побежал за врачом...

Я сел. Меня поддерживали за плечи. Внутри меня по-прежнему звенело, но голова была совершенно ясной. Я должен был встать, однако пока это было не в моих силах. Сквозь частокол ног и тел, окружавших меня, я видел, что глайдер исчез. И все-таки Абалкин не сумел довести дело до конца. Попади он на два сантиметра левее, я провалялся бы без памяти до вечера. Но то ли он промахнулся, то ли сработал у меня в последнее мгновение защитный рефлекс...

Со свистящим шелестом рядом опустился глайдер, и прямо через борт его сквозь толпу устремился сухопарый мужчина, на ходу вопрошая: «Что тут случилось? Я врач! В чем дело?..»

И откуда только у меня ноги взялись! Я вскочил ему навстречу и, схватив за рукав, толкнул к пожилой женщине, которая только что поддерживала мою голову и все еще стояла на коленях:

– Женщине плохо, помогите ей...

Язык едва слушался меня. В ошарашенной тишине я продрался к глайдеру, перевалился через борт на сиденье и включил двигатель. Я еще успел услышать изумленно-протестующий вопль: «Но позвольте же!..» – а в следующее мгновение подо мной распахнулась залитая утренним солнцем Площадь Звезды.

Все было как в повторном сне. Как шесть часов назад. Я бежал из зала в зал, из коридора в коридор, лавируя между стендами и витринами, среди статуй и макетов, похожих на бессмысленные механизмы, среди механизмов и аппаратов, похожих на уродливые статуи, только теперь все вокруг было залито ярким светом, и я был один, и ноги подо мной подкашивались, и я не боялся опоздать, потому что был уверен, что обязательно опоздаю.

Уже опоздал.

Уже.

Треснул выстрел. Негромкий сухой выстрел из «герцога». Я споткнулся на ровном месте. Все. Конец. Я побежал из последних сил. Впереди справа мелькнула между

безобразными формами фигура в белом лабораторном халате. Гриша Серосовин по прозвищу Водолей. Тоже опоздал.

Треснули еще два выстрела, один за другим... «Лева. Вас убьют». – «Это не так просто сделать...» Мы ворвались в мастерскую Майи Тойвовны Глумовой одновременно – Гриша и я.

Лев Абалкин лежал посередине мастерской на спине, а Экселенц, огромный, сгорбленный, с пистолетом в отставленной руке, мелкими шажками осторожно приближался к нему, а с другой стороны, придерживаясь за край стола обеими руками, к Абалкину приближалась Глумова.

У Глумовой было неподвижное, совсем равнодушное лицо, а глаза ее были страшно и неестественно скошены к переносице.

Шафранная лысина и слегка обвисшая, обращенная ко мне щека Экселенца были покрыты крупными каплями пота.

Остро, кисло, противоестественно воняло пороховой гарью.

И стояла тишина.

Лев Абалкин был еще жив. Пальцы его правой руки бессильно и упрямо скребли по полу, словно пытались дотянуться до лежащего в сантиметре от них серого диска детонатора. Со знаком в виде то ли стилизованной буквы «Ж», то ли японского иероглифа «сандзю».

Я шагнул к Абалкину и опустился возле него на корточки. (Экселенц каркнул мне что-то предостерегающее.) Абалкин стеклянными глазами смотрел в потолок. Лицо его было покрыто давешними серыми пятнами, рот окровавлен. Я потрогал его за плечо. Окровавленный рот шевельнулся, и он проговорил:

– Стояли звери около двери...

– Лева, – позвал я.

– Стояли звери около двери, – повторил он настойчиво. – Стояли звери...

И тогда Майя Тойвовна Глумова закричала.

ВОЛНЫ ГАСЯТ ВЕТЕР

Понять — значит упростить.
Д. Строгов

ВВЕДЕНИЕ

Меня зовут Максим Каммерер. Мне восемьдесят девять лет.

Когда-то давным-давно я прочитал старинную повесть, которая начиналась таким вот манером. Помнится, я подумал тогда, что если придется мне в будущем писать мемуар, то начну я его именно так. Впрочем, предлагаемый текст нельзя, строго говоря, считать мемуаром, а начать его следовало бы с одного письма, которое я получил примерно год назад.

Каммерер,

Вы, разумеется, прочли пресловутые «Пять биографий века». Прошу Вас, помогите мне установить, кто именно скрывается под псевдонимами П. Сорока и Э. Браун. Полагаю, Вам это будет легче, чем мне.

М. Глумова.

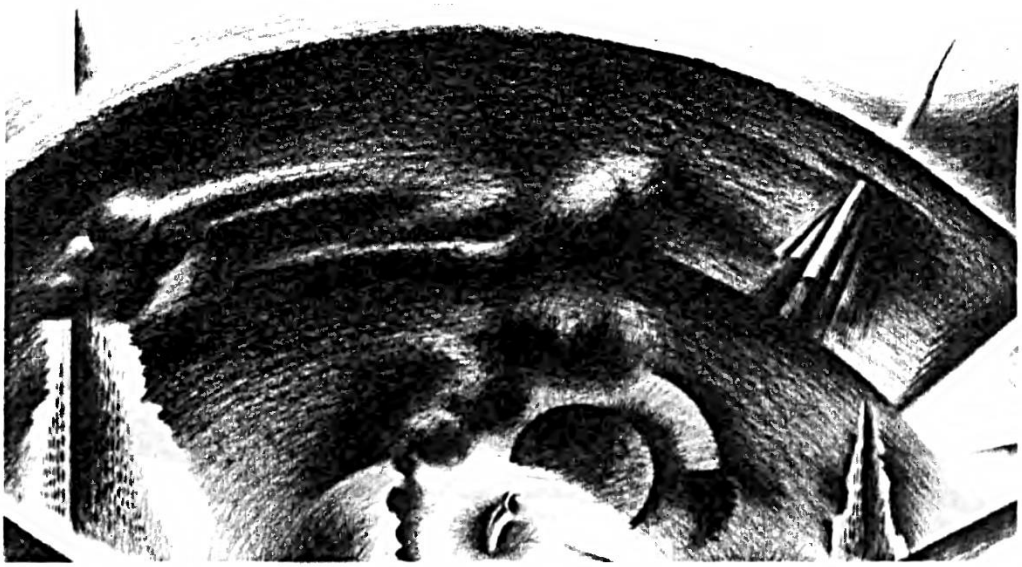
13 июня 225 года. Новгород.

Я не ответил на это письмо, потому что мне не удалось выяснить настоящие имена авторов «Пяти биографий века». Я установил только, что, как и следовало ожидать, П. Сорока и Э. Браун являются видными сотрудниками группы «Людены» Института исследования космической истории (ИИКИ).

Я без труда представлял себе чувства, которые испытывала Майя Тойвовна Глумова, читая биографию своего сына в изложении П. Сороки и Э. Брауна. И я понял, что обязан высказаться.

Я написал этот мемуар.

С точки зрения непредубежденного, а в особенности — молодого читателя, речь в нем пойдет о событиях, которые положили конец целой эпохе в космическом самосознании человечества и, как сначала, казалось, открыли совершенно новые перспективы, рассматривавшиеся ранее только теоретически. Я был свидетелем, участником, а в каком-то смысле даже и инициатором этих событий, и поэтому



неудивительно, что группа «Людены» на протяжении последних лет бомбардирует меня соответствующими запросами, официальными и неофициальными просьбами споспешествовать и напоминаниями о гражданском долге. Я изначально относился к целям и задачам группы «Людены» с пониманием и сочувствием, но никогда не скрывал от них своего скептицизма относительно их шансов на успех. Кроме того, мне было совершенно ясно, что материалы и сведения, которыми располагаю лично я, никакой пользы группе «Людены» принести не могут, а потому до сих пор всячески уклонялся от участия в их работе.

Но вот сейчас, по причинам, носящим характер скорее личный, я испытал настоятельную потребность все-таки собрать воедино и предложить вниманию каждого, кто пожелает этим заинтересоваться, все, что мне известно о первых днях Большого Откровения, о событиях, в сущности, явившихся причиной той бури дискуссий, опасений, волнений, несогласий, возмущений, а главное — огромного удивления — всего того, что принято называть Большим Откровением.

Я перечитал последний абзац и вынужден тут же поправить самого себя. Во-первых, я предлагаю, разумеется, далеко не все, что мне известно. Некоторые материалы носят слишком специальный характер, чтобы их здесь излагать. Некоторые имена я не назову по причинам чисто этического порядка. Воздержусь я и от упоминания некоторых специфических методов тогдашней своей деятельности в

качестве руководителя отдела Чрезвычайных Происшествий (ЧП) Комиссии по Контролю (КОМКОНа-2).

Во-вторых, события 99 года были, строго говоря, не первыми днями Большого Откровения, а, напротив, последними его днями. Именно поэтому оно (Большое Откровение) осталось ныне лишь предметом чисто исторических исследований. Но именно этого, как мне кажется, не понимают, а вернее — не желают принять сотрудники группы «Людены», несмотря на все мои старания быть убедительным. Впрочем, возможно, я не был достаточно настойчив. Годы уже не те.

Личность Тойво Глумова вызывает, естественно, особый, я бы сказал, специальный интерес сотрудников группы «Людены». Я их понимаю и поэтому сделал эту фигуру центральной в своем мемуаре.

Конечно, не только поэтому и не столько поэтому. По какому бы поводу я ни вспоминал о тех днях и что бы я о тех днях ни вспомнил, в памяти моей тотчас встает Тойво Глумов — я вижу его худощавое, всегда серьезное молодое лицо, вечно приспущенные над серыми прозрачными глазами белые его, длинные ресницы, слышу его как бы нарочито медлительную речь, вновь ощущаю исходящий от него безмолвный, беспомощный, но неумолимый напор, словно беззвучный крик: «Ну что же ты? Почему бездействуешь? Приказывай!» И наоборот, стоит мне вспомнить его по какому-либо поводу, и тотчас же, словно их разбудили грубым пинком, просыпаются «злобные псы воспоминаний» — весь ужас тех дней, все отчаяние тех дней, все бессилие тех дней — ужас, отчаяние, бессилие, которые испытывал я тогда один, потому что мне не с кем было ими поделиться.

Основу предлагаемого мемуара составляют документы. Как правило, это стандартные рапорты-доклады моих инспекторов, а также кое-какая официальная переписка, которую я привожу для того, главным образом, чтобы попытаться воспроизвести атмосферу того времени. Вообще-то придирчивый и компетентный исследователь без труда заметит, что целый ряд документов, имеющих отношение к делу, в мемуар не включен, в то время как без некоторых включенных документов можно было бы, казалось, и обойтись. Отвечая на такой упрек заранее, замечу, что материалы подбирались мною в соответствии с определенными принципами, в суть которых вдаваться у меня нет ни желания, ни особой необходимости.

Далее, значительную часть текста составляют главы-реконструкции. Эти главы написаны мною, лично, и на самом деле представляют собой реконструкцию сцен и событий, свидетелем которых я не был. Реконструирование производилось на основании рассказов,

фонозаписей и позднейших воспоминаний людей, в этих сценах и событиях участвовавших, как-то: Ася, жена Тойво Глумова, его коллеги, его знакомые и т. д. Я сознаю, что ценность этих глав для сотрудников группы «Людены» невелика, но — что делать! — она велика для меня.

Наконец, я позволил себе слегка разбавить текст мемуара собственными реминисценциями, несущими информацию не столько о тогдашних событиях, сколько о тогдашнем Максиме Каммерере пятидесяти восьми лет. Поведение этого человека в изображенных обстоятельствах даже мне представляется сейчас, спустя тридцать один год, не лишенным интереса...

Принявши окончательное решение писать этот мемуар, я оказался перед вопросом: с чего мне начать? Когда и что положило начало Большому Откровению?

Строго говоря, все это началось два века назад, когда в недрах Марса был вдруг обнаружен пустой тоннельный город из янтарина: тогда впервые было произнесено слово «Странники». Это верно. Но слишком общо. С тем же успехом можно было бы сказать, что Большое Откровение началось в момент Большого Взрыва.

Тогда, может быть, пятьдесят лет назад? Дело «подкидышей»? Когда впервые проблема Странников приобрела трагический привкус, когда родился и пошел гулять из уст в уста ядовитый термин-упрек «синдром Сикорски»? Комплекс неуправляемого страха перед возможным вторжением Странников? Тоже, верно. И гораздо ближе к делу... Но я тогда еще не был начальником отдела ЧП, да и самого отдела ЧП тогда еще не существовало. Да и пишу я не историю проблемы Странников.

А началось это для меня в мае 93-го, когда я, как и все начальники отделов ЧП всех секторов КОМКОНа-2, получил информат о происшествии на Тиссе (не на реке Тисе, что мирно протекает по Венгрии и Закарпатью, а на планете Тиссе у звезды ЕН 63061, незадолго до того обнаруженной ребятами из ГСП). Информат трактовал происшествие как случай внезапного и необъяснимого помешательства всех трех членов исследовательской партии, высадившейся на плато (забыл название) за две недели до того. Всем троим вдруг почудилось, будто связь с центральной базой утрачена и вообще утрачена связь с кем бы то ни было, кроме орбитального корабля-матки, а с корабля-матки автомат ведет непрерывно повторяющееся сообщение о том, что Земля погибла в результате некоего космического катаклизма, а все население Периферии вымерло от каких-то необъяснимых эпидемий.

Я уже не помню всех деталей. Двое из партии, кажется, пытались убить себя и в конце концов ушли в пустыню — в отчаянии от

безнадежности и абсолютной бесперспективности дальнейшего существования. Командир же партии оказался человеком твердым. Он стиснул зубы и заставил себя жить — как если бы не погибло Человечество, а просто сам он попал в аварию и отрезан навсегда от родной планеты. Впоследствии он рассказал, что на четырнадцатый день этого его безумного бытия к нему явился некто в белом и объявил, что он, командир, с честью прошел первый тур испытаний и принят кандидатом в сообщество Странников. На пятнадцатый день с корабля-матки прибыл аварийный бот, и атмосфера разрядилась. Ушедших в пустыню благополучно нашли, все остались в здравом уме, никто не пострадал. Их свидетельства совпадали даже в мелочах. Например, они совершенно одинаково воспроизводили акцент автомата, якобы передававшего роковое сообщение. Субъективно же они воспринимали происшедшее как некую яркую, необычайно достоверную театральную постановку, участниками которой они неожиданно и помимо своей воли оказались. Глубокое ментоскопирование подтвердило это их субъективное ощущение и даже показало, что в самой глубине подсознания никто из них не сомневался, что все это лишь театральное действо.

Насколько я знаю, мои коллеги в других секторах восприняли этот информат как довольно рядовое ЧП, необъясненное Чрезвычайное Происшествие, какие происходят на Периферии сплошь да рядом. Все живы и здоровы. Дальнейшая работа в районе ЧП необязательна, она и изначально не была обязательной. Желающих раскручивать загадку нет. Район ЧП эвакуирован. ЧП принято к сведению. В архив.

Но я-то был выучеником покойного Сикорски! Пока он был жив, я часто спорил с ним — и мысленно, и в открытую, — когда речь заходила об угрозе человечеству извне. Но один его тезис мне было трудно оспаривать, да и не хотел я его оспаривать: «Мы — работники КОМКОНа-2. Нам разрешается слыть невеждами, мистиками, суеверными дураками. Нам одно не разрешается: недооценить опасность. И если в нашем доме вдруг завоняло серой, мы просто обязаны предположить, что где-то рядом объявился черт с рогами, и принять соответствующие меры вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах». И едва я услышал, что некто в белом вещает от имени Странников, я ощутил запах серы и встрепенулся, как старый боевой конь при звуках трубы.

Я сделал соответствующие запросы по соответствующим каналам. Без особого удивления я обнаружил, что в лексиконе инструкций, распоряжений и перспективных планов нашего КОМКОНа-2 слово «Странник» вообще отсутствует. Я побывал на приемах в самых

высших инстанциях наших и уже вовсе без всякого удивления убедился, что в глазах наиболее ответственных наших руководителей проблема прогрессорской деятельности Странников в системе человечества как бы снята, пережита, как детская болезнь. Трагедия Льва Абалкина и Рудольфа Сикорски каким-то необъяснимым образом словно бы навсегда очистила Странников от подозрений.

Единственным человеком, у которого моя тревога вызвала некий проблеск сочувствия, оказался Атос-Сидоров, президент моего сектора и мой непосредственный начальник. Он своей властью утвердил и своей подписью скрепил предложенную мной тему «Визит старой дамы». Он разрешил мне организовать специальную группу для разработки этой темы. Собственно говоря, он дал мне карт-бланш в этом вопросе.

И начал я с того, что организовал экспертный опрос ряда наиболее компетентных специалистов по ксеносоциологии. Я задался целью создать модель (наиболее вероятную) прогрессорской деятельности Странников в системе земного человечества. Чтобы не вдаваться в подробности: все собранные материалы я послал известному историку науки и эрудиту Айзеку Бромбергу. Сейчас даже и не помню, зачем я это сделал, ведь к тому моменту Бромберг уже много лет не занимался ксенологией. Должно быть, дело в том, что большинство специалистов, к которым я обращался с этими своими вопросами, просто отказывались разговаривать со мной серьезно (синдром Сикорски!), а у Бромберга, как всем известно, «всегда была в запасе пара слов», о чем бы ни заходила речь.

Так или иначе, доктор А. Бромберг прислал мне свой ответ, известный ныне специалистам как «Меморандум Бромберга».

С него все и началось.

С него начну и я.

Конец введения.

Документ 1

В КОМКОН-2
Сектор «Урал-Север»
Максиму Каммереру
лично, служебное
Д а т а: 3 июня 94 года.

А в т о р: А. Бромберг, старший консультант КОМКОНа-1, доктор исторических наук, лауреат Геродотовской премии (63, 69 и 72 годов), профессор, лауреат Малой премии Яна Амоса Коменского (57 год),

доктор ксенопсихологии, доктор социотопологии, действительный член Академии Социологии (Европа), член-корреспондент Лабораториума (Академии Наук) Великой Тагоры, магистр реализаций абстракций Парсиваля.

Т е м а 009: «Визит старой дамы».

С о д е р ж а н и е: рабочая модель прогрессорской деятельности Странников в системе человечества Земли.

Дорогой Каммерер!

Прошу Вас, не сочтите некоей старческой издевкой ту казенную «шапку», которой я снабдил это свое послание. Таким образом я просто намеревался подчеркнуть, что послание мое, хотя и вполне личное, носит в то же время совершенно официальный характер. «Шапка» же Ваших рапортов-докладов запомнилась мне еще с тех времен, когда их швырял передо мною на стол в качестве аргументов (довольно жалких) наш несчастный Сикорски.

Мое отношение к Вашей организации нисколько не переменилось, я его никогда не скрывал, и оно Вам, безусловно, хорошо известно. Однако же материалы, которые Вы любезно мне переслали, я изучил с большим интересом. Благодарю Вас. Хотелось бы заверить Вас, что в этом направлении своей работы (но только в этом!) Вы найдете в моем лице самого горячего сторонника и сотрудника.

Не знаю, случайное ли это совпадение, но Вашу «Сводку моделей» я получил как раз в тот момент, когда и сам готовился приступить к подведению итогов моих многолетних размышлений о природе Странников и о неизбежности их столкновения с цивилизацией Земли. Впрочем, по моему глубокому убеждению, случайностей не бывает. Вопрос этот, видимо, созрел.

Я не имею ни времени, ни желания останавливаться на подробной критике Вашего документа. Не могу не заметить только, что модели «Спрут» и «Конкистадор» вызвали у меня приступ неудержимого хохота своей анекдотической примитивностью, а модель «Новый воздух» хотя и производит впечатление конструкции не вполне тривиальной, начисто лишена сколько-нибудь серьезной аргументации. Восемь моделей! Восемнадцать разработчиков, среди которых блистают такие звезды, как Карибанов, Ясуда, Микич! Черт подери, можно было ожидать чего-нибудь позначительнее! Как хотите, Каммерер, а совершенно естественным образом возникает предположение, что Вам не удалось внушить этим гроссмейстерам свою «тревогу по поводу нашей общей неподготовленности в этом вопросе». Они просто отписались.

Настоящим я повергаю к пьедесталу Вашего внимания краткую аннотацию моей будущей книги, которую намереваюсь назвать «Монокосм: вершина или первый шаг? Заметки об эволюции эволюции». Опять же я не располагаю ни временем, ни желанием снабжать основные свои положения сколько-нибудь подробной аргументацией. Могу заверить Вас только, что каждое из этих положений может быть уже сегодня аргументировано самым исчерпывающим образом, так что, если у Вас возникнут ко мне какие-то вопросы, буду рад Вам ответить. (Кстати, не могу удержаться и не заметить, что Ваше обращение за консультацией ко мне было, может быть, первым и единственным пока общественно полезным актом Вашей организации за все время ее существования.)

Итак: МОНОКОСМ.

Любой Разум — технологический ли, или руссоистский, или даже геронический — в процессе эволюции первого порядка проходит путь от состояния максимального разъединения (дикость, взаимная озлобленность, убогость эмоций, недоверие) к состоянию максимально возможного при сохранении индивидуальностей объединения (дружелюбие, высокая культура отношений, альтруизм, пренебрежение достижимым). Этот процесс управляется законами биологическими, биосоциальными и специфически социальными. Он хорошо изучен и представляет здесь для нас интерес лишь постольку, поскольку приводит к вопросу: а что дальше? Оставив в стороне романтические трели теории вертикального прогресса, мы обнаруживаем для Разума лишь две реальные, принципиально различающиеся возможности. Либо остановка, самоуспокоение, замыкание на себя, потеря интереса к физическому миру. Либо вступление на путь эволюции второго порядка, на путь эволюции планируемой и управляемой, на путь к Монокосму.

Синтез Разумов неизбежен. Он дарует неисчислимое количество новых граней восприятия мира, а это ведет к неимоверному увеличению количества и, главное, качества доступной к поглощению информации, что, в свою очередь, приводит к уменьшению страданий до минимума и к увеличению радости до максимума. Понятие «дом» расширяется до масштабов Вселенной. (Наверное, именно поэтому возникло в обиходе это безответственное и поверхностное понятие — Странники.) Возникает новый метаболизм, и, как следствие его, жизнь и здоровье становятся практически вечными. Возраст индивида становится сравнимым с возрастом космических объектов — при полном отсутствии накопления психической усталости. Индивид Монокосма не нуждается в творцах. Он сам себе и творец, и потребитель

культуры. По капле воды он способен не только воссоздать образ океана, но и весь мир населяющих его существ, в том числе и разумных. И все это при беспрерывном, неутолимом сенсорном голоде.

Каждый новый индивид возникает как произведение синкретического искусства: его творят и физиологи, и генетики, и инженеры, и психологи, эстетики, педагоги и философы Монокосма. Процесс этот занимает, безусловно, несколько десятков земных лет и, конечно же, является увлекательнейшим и почетнейшим родом занятий Странников. Современное человечество не знает аналогов такого рода искусства, если не считать, может быть, столь редких в истории случаев Великой Любви.

«СОЗИДАЙ, НЕ РАЗРУШАЯ!» — вот лозунг Монокосма.

Монокосм не может не считать свой путь развития и свой модус вивенди единственно верным. Боль и отчаяние вызывают у него картины разобщенных Разумов, не дозревших до приобщения к нему. Он вынужден ждать, пока Разум в рамках эволюции первого порядка разовьется до состояния всепланетного социума. Ибо только после этого можно начинать вмешательство в биоструктуру с целью подготовки носителя Разума к переходу в монокосмический организм Странника. Ибо вмешательство Странников в судьбы разъединенных цивилизаций ничего путного дать не может.

Многозначительная ситуация: Прогрессоры Земли стремятся в конечном счете ускорить исторический процесс создания более совершенных социальных структур у бедствующих цивилизаций. Таким образом они как бы подготавливают новые резервы материала для будущей работы Монокосма.

Мы знаем сейчас три цивилизации, полагающие себя благополучными.

Леонидяне. Цивилизация чрезвычайно древняя (возраст не менее трехсот тысяч лет, что бы там ни утверждал покойный Пак Хин). Это образец «медленной» цивилизации, они застыли в единении с природой.

Тагоряне. Цивилизация гипертрофированной предусмотрительности. Три четверти всех мощностей направлено у них на изучение вредных последствий, каковые могут проистечь из открытия, изобретения, нового технологического процесса и так далее. Эта цивилизация кажется нам странной только потому, что мы не способны понять, насколько это интересно — предотвращать вредные последствия, какую массу интеллектуального и эмоционального наслаждения это дает. Тормозить прогресс так же увлекательно, как и творить его, — все зависит от исходной установки и от воспитания. В результате

транспорт у них только общественный, авиации никакой, зато прекрасно развита проводная связь.

Третья цивилизация — наша, и мы теперь понимаем, почему Странники должны вмешаться прежде всего и именно в нашу жизнь. Мы ДВИЖЕМСЯ. Мы движемся, а следовательно, мы можем ошибиться в выборе направления движения.

Сейчас уже никто не помнит «подмикитчиков», которые с фанатическим энтузиазмом пытались форсировать прогресс тагорян и леонидян. Сейчас уже все поняли, что расталкивать под микитки такие в своем роде совершенные цивилизации — занятие столь же бессмысленное и бесперспективное, как пытаться ускорить рост дерева, скажем, дуба, таща его вверх за ветки. Странники — не «подмикитчики», у них нет и не может быть такой задачи: форсирование прогресса. Их цель — поиск, выделение, подготовка к приобщению и, наконец, приобщение к Монокосму созревших для этого индивидов. Я не знаю, по какому принципу производят Странники этот отбор, и это очень жаль, потому что, хотим мы этого или не хотим, но если говорить прямо, без околичностей и без наукообразной терминологии, то речь идет вот о чем.

Первое: вступление человечества на путь эволюции второго порядка означает практически превращение хомо сапиенса в Странника.

Второе: скорее всего, далеко не каждый хомо сапиенс пригоден для такого превращения.

Резюме:

— человечество будет разделено на две неравные части;

— человечество будет разделено на две неравные части по неизвестному нам параметру;

— человечество будет разделено на две неравные части по неизвестному нам параметру, причем меньшая часть форсированно и навсегда обгонит большую;

— человечество будет разделено на две неравные части по неизвестному нам параметру, меньшая часть его форсированно и навсегда обгонит большую, и свершится это волею и искусством сверхцивилизации, решительно человечеству чуждой.

Дорогой Каммерер! В качестве социопсихологического упражнения предлагаю Вам для анализа эту не лишенную новизны ситуацию.

Теперь, когда основы прогрессорской стратегии Монокосма стали Вам более или менее ясны, Вы, наверное, лучше меня сумеете определить основные направления контрстратегии и тактики выявления моментов деятельности Странников. Понятно, что поиск, выделение

и подготовка к приобщению созревших индивидов не могут не сопровождаться явлениями и событиями, доступными внимательному наблюдателю. Можно ожидать, например, возникновения массовых фобий, новых учений мессианского толка, появления людей с необычными способностями, необъяснимых исчезновений людей, внезапного, как бы по волшебству, появления у людей новых талантов и т. д. Я бы настоятельно рекомендовал Вам также не спускать глаз с тагорян и голованов, аккредитованных на Земле, — их чувствительность к инородному и неизвестному значительно выше нашей. (В этом смысле надлежит следить за поведением и земных животных, особенно стадных и обладающих зачатками интеллекта.)

Разумеется, в сфере Вашего внимания должна быть не только Земля, но и Солнечная система в целом, Периферия, и в первую очередь молодая Периферия.

Желаю успеха, Ваш А. Бромберг.

Конец документа 1.

Документ 2

Президенту сектора
«Урал-Север»
Д а т а: 13 июня 94 года.
А в т о р: М. Каммерер, начальник отдела ЧП.
Т е м а 009: «Визит старой дамы».
С о д е р ж а н и е: смерть А. Бромберга.
Президент!

Профессор Айзек Бромберг скоропостижно скончался в санатории «Бежин Луг» утром 11 июня с.г.

Никаких заметок по поводу модели «Монокосм» и вообще никаких заметок по поводу Странников в его личном архиве не обнаружено. Поиски продолжаем.

Медицинское заключение о смерти прилагается.

М. Каммерер.

Конец документа 2.

* * *

Именно в таком порядке прочитал эти документы мой молодой стажер Тойво Глумов в начале 95-го года, и, разумеется, эти документы не могли не произвести на него вполне определенного впечатления, не могли не настроить его на вполне определенные

предположения, тем более что они оправдывали самые мрачные его ожидания. Семя пало на благодатную почву. Немедленно разыскал он медицинское заключение и, не обнаружив в нем ровно ничего такого, что подтвердило бы его подозрения, казавшиеся такими естественными, потребовал разрешения обратиться ко мне.

Я хорошо помню это утро: серое, снежное, с настоящей вьюгой за окнами кабинета. Хорошо помню, может быть, именно из-за контраста, потому что телом я был здесь, на зимнем Урале, и глаза мои бессмысленно следили за струйками талой воды на стеклах, а перед мысленным взором моим стояла тропическая ночь над теплым океаном и обнаженное мертвое тело покачивалось в фосфоресцирующей пене, накатывающейся на пологий песчаный берег. Я только что получил информацию из Центра о третьем смертном случае на острове Матуку.

В этот момент передо мною возник Тойво Глумов, и я, отогнав видение, пригласил его сесть и говорить.

Без всяких предисловий он спросил меня, считается ли расследование обстоятельств смерти доктора Бромберга законченным.

Я с некоторым удивлением ответил, что никакого расследования, собственно, и не было, равно как не было и никаких особенных обстоятельств смерти полуторавекового старца.

Где же, в таком случае, заметки доктора Бромберга по теме «Монокосм»?

Я объяснил, что таких заметок, скорее всего, никогда не существовало. Письмо доктора Бромберга — это, надо полагать, импровизация. Доктор Бромберг был блестящим импровизатором.

Следует ли понимать тогда, что письмо доктора Бромберга и сообщение о его смерти, посланное Максимом Каммерером Президенту, оказались рядом случайно?

Я смотрел на него, на тонкие губы его, поджатые очень решительно, на его набыченный лоб с упавшей прядью белых волос, и мне было совершенно ясно, ЧТО ему хотелось бы от меня сейчас услышать. «Да, Тойво, мой мальчик, — хотелось бы ему услышать, — и я думаю так же, как ты. Бромберг догадывался о многом, и Странники убрали его, а бесценные бумаги похитили». Но ничего подобного я, конечно, не думал, и ничего подобного я моему мальчику Тойво, конечно, не сказал. Почему документы оказались рядом, я и сам не знал. Скорее всего, действительно случайно. Так я ему и объяснил.

Тогда он спросил меня, пошли ли идеи Бромберга в практическую разработку.

Я ответил, что этот вопрос рассматривается. Все восемь моделей, предложенных экспертами, весьма уязвимы для критики. Что же до идей Бромберга, то обстоятельства не очень-то способствуют серьезному к ним отношению.

Тогда он собрался с духом и спросил меня в лоб, намерен ли я, Максим Каммерер, начальник отдела, заняться разработкой бромберговских идей. И вот тут, наконец, я получил возможность его порадовать. Он услышал от меня именно то, что ему хотелось услышать.

— Да, мой мальчик, — сказал я ему. — Именно для этого я и взял тебя к себе в отдел.

Он ушел осчастливленный. Ни он, ни я не подозревали тогда, конечно, что именно в эту минуту он сделал свой первый шаг к Большому Откровению.

Я — психолог-практик. Когда я имею дело с каким-нибудь человеком, я, говоря без ложной скромности, в каждый момент очень точно чувствую душевное состояние его, направление его мыслей и очень неплохо предсказываю его поступки. Однако если бы меня попросили объяснить, как это мне удается, а паче того, попросили бы меня нарисовать, изложить словами, что за образ творится в моем сознании, я бы оказался в весьма затруднительном положении. Как всякий психолог-практик, я был бы вынужден прибегнуть к аналогиям из мира искусства или литературы. Сослался бы на героев Шекспира, или Достоевского, или Строгова, или Микеланджело, или Иоганна Сурда.

Так вот, Тойво Глумов напоминал мне мексиканца Риверу. Я имею в виду хрестоматийный рассказ Джека Лондона. Двадцатый век. Или даже девятнадцатый, не помню точно.

По профессии Тойво Глумов был Прогрессором. Специалисты говорили мне, что из него мог бы получиться Прогрессор высочайшего класса, Прогрессор-ас. У него были блестящие данные. Он великолепно владел собой, он обладал исключительным хладнокровием, редкостной быстротой реакции, и он был прирожденным актером и мастером имперсонации. И вот, проработав Прогрессором чуть больше трех лет, он без всяких на то видимых причин подал в отставку и вернулся на Землю. Едва закончив рекондиционирование, он сел на БВИ и без особого труда выяснил, что единственной организацией на нашей планете, могущей иметь отношение к его новым целям, является КОМКОН-2.

Он возник передо мною в декабре 94 года, исполненный ледяной готовности вновь и вновь отвечать на вопросы, почему он, такой многообещающий, абсолютно здоровый, всячески поощряемый, бросает вдруг свою работу, своих наставников, своих товарищей, разрушает

тщательно разработанные планы, гасит возлагавшиеся на него надежды... Ничего подобного я, разумеется, спрашивать у него не стал. Меня вообще не интересовало, почему он не хочет более быть Прогрессором. Меня интересовало, почему он вдруг захотел стать контр-Прогрессором, если можно так выразиться.

Ответ его запомнился. Он испытывает неприязнь к самой идее Прогрессорства. Если можно, он не станет углубляться в подробности. Просто он, Прогрессор, относится к Прогрессорству отрицательно. И там (он показал большим пальцем через плечо) ему пришла в голову очень тривиальная мысль: пока он, потрясая гульфиком и размахивая шпагой, топчется по булыжнику арканарских площадей, здесь (он показал указательным пальцем себе под ноги) какой-нибудь ловкач в модном радужном плащике и с метавизиркой через плечо прохаживается по площадям Свердловска. Насколько он, Тойво Глумов, знает, эта простенькая мысль мало кому приходит в голову, а если и приходит, то в нелепом юмористическом или романтическом обличье. Ему же, Тойво Глумову, эта мысль не дает покоя: никаким богам нельзя позволить вступаться в наши дела, богам нечего делать у нас на Земле, ибо «блага богов — это ветер, он надувает паруса, но и подымает бурю». (Потом я с большим трудом отыскал эту цитату — оказалось, она из Верблибена.)

Невооруженным глазом было видно — передо мною фанатик. К сожалению, как всякий фанатик, склонный к крайностям в суждениях чрезвычайным. (Взять хотя бы его высказывания о Прогрессорстве, о которых еще пойдет речь.) Католик, в католичестве своем далеко превосходящий самого папу римского, то есть меня. Но он готов был действовать. И я без дальнейших разговоров взял его к себе и сразу посадил на тему «Визит старой дамы».

Он оказался прекрасным работником. Он был энергичен, он был инициативен, он не знал усталости. И — очень редкое качество в его возрасте — его не разочаровывали неудачи. Для него не существовало отрицательных результатов. Более того, отрицательные результаты расследований радовали его точно так же, как и редкие положительные. Он словно бы изначально настроился на то, что при жизни его ничего определенного не обнаружится, и умел черпать удовольствие из самой (зачастую достаточно нудной) процедуры анализирования мало-мальски подозрительных ЧП. Замечательно, что мои старые работники — Гриша Серосовин, Сандро Мтбевари, Андрюша Кикин и другие — при нем как бы подтянулись, перестали лоботрясничать, стали гораздо менее ироничны и гораздо более деловиты, и не то чтобы они брали пример с него, об этом не могло быть и речи, он был

для них слишком молод, слишком зелен, но он словно заразил их своей серьезностью, сосредоточенностью на деле, а больше всего поражала их, я думаю, та тяжелая ненависть к объекту работы, которая угадывалась в нем и которой сами они были лишены начисто. Как-то случайно я упомянул при Грише Серосовине о смуглом мальчишке Ривере и вскоре обнаружил, что все они отыскали и перечитали этот рассказ Джека Лондона.

Как и у Риверы, у Тойво не было друзей. Его окружали верные и надежные коллеги, и сам он был верным и надежным партнером в любом деле, но друзьями он так и не обзавелся. Полагаю, потому что слишком трудно было быть его другом, — он никогда и ни в чем не был доволен собой, а потому никогда и ни в чем не давал спуску окружающим. Была в нем этакая беспощадная сосредоточенность на цели, которую я замечал разве что только у крупных ученых и спортсменов. Какая уж тут дружба...

Впрочем, один-то друг у него был. Я имею в виду его жену, Асю Стасову, Анастасию Павловну. Когда я познакомился с нею, это была прелестная маленькая женщина, живая, как ртуть, острая на язык и в высшей степени склонная к скоропалительным мнениям и опрометчивым суждениям. Поэтому обстановка у них в доме была всегда приближена к боевой, и одно удовольствие было наблюдать (со стороны) их постоянно вспыхивающие словесные баталии.

Это было тем более удивительное зрелище, что в обычной, то есть рабочей, обстановке Тойво производил впечатление человека скорее медлительного и немногословного. Он был словно бы постоянно заторможен на какой-то важной, тщательно обдумываемой идее. Но не с Асей. Только не с Асей! С нею он был Демосфен, Цицерон, апостол Павел, он вещал, он строил максимы, он, черт меня побери, даже иронизировал!.. Трудно даже представить себе, насколько разными были эти два человека: молчаливый и медлительный Тойво-Глумов-На-Работе и оживленный, болтливый, философствующий, постоянно заблуждающийся и азартно свои заблуждения отстаивающий Тойво-Глумов-Дома. Дома он даже ел со вкусом. Даже капризничал по поводу еды. Ася работала гастрономом-дегустатором и готовила всегда сама. Так было принято в доме ее матери, так было принято в доме ее бабушки. Эта восхищавшая Тойво Глумова традиция уходила в семье Стасовых в глубину веков, в те невообразимые времена, когда еще не существовала молекулярная кулинария и обыкновенную котлету приходилось изготавливать посредством сложнейших и не очень аппетитных процедур...

И еще у Тойво была мама. Каждый день, чем бы он ни был занят и где бы он ни был, он обязательно выбирал минутку, чтобы связаться с нею по видеоканалу и обменяться хотя бы несколькими словами. У них это называлось «контрольным звонком». Много лет назад я познакомился с Майей Тойвовной Глумовой, но обстоятельства нашего знакомства были настолько печальны, что впоследствии мы с нею никогда больше не встречались. Не по моей вине. И вообще ни по чьей вине. Короче говоря, она была обо мне крайне дурного мнения, и Тойво это знал. Он никогда не говорил о ней со мною. Но с нею обо мне говорил неоднократно — я узнал об этом много позже...

Эта раздвоенность, без сомнения, раздражала и угнетала его. Не думаю, чтобы Майя Тойвовна говорила ему обо мне дурно. И уже совершенно невероятно, чтобы она рассказала сыну страшную историю гибели Льва Абалкина. Скорее всего, когда Тойво заводил речь о своем непосредственном начальнике, она просто холодно уклонялась от этой темы. Но и этого с лихвой хватало.

Ведь я для Тойво был не просто начальник. Ведь я, по сути, был единственным его единомышленником, единственным человеком во всем необъятном КОМКОНе-2, который с абсолютной серьезностью, безо всяких скидок, относился к проблеме, которая захватила его целиком. Кроме того, он относился ко мне с огромным пиететом. Как-никак, а его начальником был легендарный Мак Сим! Тойво еще на свете не было, а Мак Сим уже на Саракше подрывал лучевые башни и дрался с фашистами... Непревзойденный Белый Ферзь! Организатор операции «Вирус», после которой сам Суперпрезидент дал ему прозвище Биг-Баг! Тойво был еще школьником, а Биг-Баг проник в Островную Империю, в самую столицу... первый из землян, да и последний, кстати... Конечно, все это были подвиги Прогрессора, но ведь сказано же: Прогрессора может одолеть только Прогрессор! А Тойво истово исповедовал эту простую идею.

И потом вот еще что. Тойво представления не имел, как он станет действовать, когда наконец вмешательство Странников в земные дела будет установлено и доказано с совершенной достоверностью. Никакие исторические аналогии из вековой деятельности земных Прогрессоров здесь не годились. Для герцога Ируканского разоблаченный Прогрессор-землянин был демоном или практикующим чародеем. Для контрразведчика Островной Империи тот же Прогрессор был ловким шпионом с материка. А что такое разоблаченный Прогрессор-Странник с точки зрения сотрудника КОМКОНа-2?

Разоблаченный чародей подлежал сожжению; неплохо было также засадить его в каменный мешок и заставить изготавливать

золото из собственного дерьма. Ловкий шпион с материка подлежал перевербовке или уничтожению. А как следовало поступить с разоблаченным Странником?

Тойво не знал ответов на эти и подобные им вопросы. И никто из его знакомых не знал ответов на эти вопросы. Большинство вообще считало эти вопросы некорректными. «Как быть, если на винт твоей моторки намотало бороду водяного? Распутывать? Беспощадно резать? Хватать водяного за щеки?» Со мной Тойво на эти темы не говорил. А не говорил потому, как мне кажется, что изначально убедил себя, будто бы Биг-Баг, легендарный Белый Ферзь, хитроумный Мак Сим давным-давно уже все это продумал, проанализировал все возможные варианты, составил детальные разработки и утвердил их в высшем руководстве.

Я его не разочаровывал. До поры до времени. Надо сказать, Тойво Глумов вообще был человеком предвзятых мнений. (Да и как могло быть иначе при его фанатизме?) Например, он никак не желал признавать связи между своей темой «Визит старой дамы» и давно разрабатывавшейся у нас темой «Рип ван Винкль». Случаи внезапных и совершенно необъяснимых исчезновений людей в семидесятых-восьмидесятых годах и столь же внезапных и необъяснимых их возвращений были единственным моментом «Меморандума Бромберга», который Тойво решительно отказался рассматривать и вообще принимать во внимание. «Здесь у него какая-то описка, — утверждал он. — Или мы неправильно его понимаем. Зачем это нужно Странникам, чтобы люди необъяснимо исчезали?» И это при том, что «Меморандум Бромберга» стал его катехизисом, программой его работы на всю жизнь вперед... Видимо, он не мог, не желал признать за Странниками могущества почти сверхъестественного. Такое признание обесценило бы его работу полностью. В самом деле, какой смысл выслеживать, искать, ловить существо, которое в любой момент способно рассыпаться в воздухе и собрать себя потом в любом другом месте?..

Но, при всей своей склонности к предвзятым суждениям, он никогда не пытался бороться против установленных фактов. Я помню, как он, совсем еще зеленый неофит, убедил меня подключиться к расследованию трагедии на острове Матуку.

Делом этим, естественно, занимался сектор «Океания», где ни о каких Странниках и слышать не хотели. Но дело было уникальное, не имевшее никаких прецедентов в прошлом (надеюсь искренне, что и в будущем ничего подобного более не случится), и нас с Тойво приняли в него без возражений.

На острове Матуку с незапамятных времен торчал старинный полуразвалившийся радиотелескоп. Кто его построил и зачем — установить так и не удалось.

Остров числился необитаемым, его посещали только случайные группы дельфинеров, да еще случайные парочки, искавшие жемчуг в прозрачных заливчиках на северном берегу. Однако, как скоро стало известно, там на протяжении нескольких последних лет постоянно жила сдвоенная семья голованов. (Нынешнее поколение уже стало забывать, кто такие голованы. Я напоминаю: это раса разумных киноидов с планеты Саракш, одно время находившаяся в очень тесном контакте с землянами. Эти большеголовые говорящие собаки охотно сопровождали нас по всему Космосу и даже имели на нашей планете нечто вроде дипломатического представительства. Лет тридцать назад они ушли от нас и в контакты с людьми более не вступали.)

На юге острова была округлая вулканическая бухта. Она была неописуемо грязна, берега ее обросли какой-то мерзкой пеной. Похоже, вся эта дрянь имела органическое происхождение, потому что привлекала к себе неисчислимые стаи морских птиц. Впрочем, в остальном воды бухты были безжизненны. Там даже водоросли размножались неохотно.

И на этом острове происходили убийства. Одни люди убивали других, и это было до такой степени страшно, что в течение нескольких месяцев ни у кого рука не поднималась сообщить об этих событиях средствам массовой информации.

Довольно скоро выяснилось, что виною, а точнее — причиной всему был исполинский силурийский моллюск, чудовищное первобытное головоногое, некоторое время, назад поселившееся на дне вулканической бухты. Должно быть, его закинуло туда тайфуном. Биополе этого монстра, время от времени всплывавшего на поверхность, оказывало угнетающее действие на психику высших животных. В частности, у человека оно вызывало катастрофическое снижение уровня мотивации, в этом биополе человек становился асоциален, он мог убить приятеля, случайно уронившего в воду его рубашку. И убивал.

Так вот, Тойво Глумов вбил себе в голову, будто этот моллюск и есть предсказанный Бромбергом индивид Монокосма в процессе сотворения. Надо признаться, что вначале, когда фактов не было еще совсем, рассуждения его выглядели довольно убедительно (если вообще можно говорить об убедительности логики, построенной на фантастической предпосылке). И надо было видеть, как шаг за шагом

отступал он под давлением все новых данных, которые ежедневно добывали потрясенные специалисты по головоногим и палеонтологи...

Добил его один студент-биолог, раскопавший в Токио японский манускрипт тринадцатого века, где приводилось описание этого или такого же чудовища (цитирую по своему дневнику): «В Восточных морях видят катацуморидако пурпурного цвета с множеством длинных тонких рук, высовывается из круглой раковины размером в тридцать футов с остриями и гребнями, глаза как бы гнилые, весь оброс полипами. Когда всплывает, лежит на воде плоско наподобие острова, распространяя зловоние и испражняясь белым, чтобы приманить рыб и птиц. Когда они собираются, хватает их руками без разбора и питается ими. В лунные ночи лежит, колыхаясь на волнах, устремив глаза в поднебесье, и размышляет о пучине вод, откуда извергнут. Размышления эти столь мрачны, что ужасают людей, и они уподобляются тиграм».

Помню, как, прочитавши это, Тойво несколько минут молчал в глубокой задумчивости, а затем вздохнул — как мне показалось, с облегчением — и сказал: «Да. Это не то. И хорошо, потому что слишком уж мерзко». По его представлениям, Монокосм должен быть существом вполне отвратительным, но все же не до такой степени. Монокосм в обличье силурийского спрута не влезал в его представления. (Точно так же, к слову, как не влезал этот моллюск ни в какие представления специалистов — со своим ядоносным биополем, со своим раздвижным панцирем и со своим личным возрастом, превышающим четыреста миллионов лет.)

Таким образом, первое серьезное дело, за которое взялся Тойво Глумов, закончилось ничем. Таких пустышек в дальнейшем было у него немало, и вот в середине 98-го года он попросил у меня разрешения взяться за обработку материалов по массовым фобиям. Я разрешил.

Документ 3

КОМКОН-2
«Урал-Север»
РАПОРТ-ДОКЛАД
№ 011/99
Д а т а: 20 марта 99 года.
А в т о р: Т. Глумов, инспектор.
Т е м а 009: «Визит старой дамы».
С о д е р ж а н и е: космофобия, «синдром пингвина».

Анализируя случаи возникновения космических фобий за последние сто лет, я пришел к заключению, что в рамках темы 009 для нас могут представлять интерес материалы по так называемому «синдрому пингвина».

Источники:

А. Мебиус. Доклад на XIV конференции космопсихологов, Рига, 84.

А. Мебиус. Синдром пингвина, ПКП («Проблемы космической психологии»), 42, 84.

А. Мебиус. Снова о природе «синдрома пингвина», ПКП, 44, 85.

С П Р А В К А

Мебиус Асмодей-Матвей, доктор медицины, чл.-корр. АМН Европы, директор филиала Всемирного Института Космической Психопатологии (Вена). Род. 26.04.36, Инсбрук. Образование: факультет психопатологии, Сорбонна; Второй Институт Космической Медицины, Москва; Высшие Курсы Бесприборной Акванавтики, Гонолулу. Основные области научных интересов: внепроизводственные космо- и аквафобии. С 81 по 91 — заместитель председателя Главной Медицинской Комиссии управления космофлота. Ныне общепризнанный основатель и глава школы так называемой «полиморфной космопсихопатологии».

7 октября 84 года на конференции космопсихологов в Риге доктор Асмодей Мебиус сделал сообщение о новом виде космофобии, который он назвал «синдром пингвина». Фобия эта представляла собой неопасное психическое отклонение, выражающееся в навязчивых кошмарах, поражающих больного во время сна. Стоит больному задремать, как он обнаруживает себя висящим в безвоздушном пространстве, абсолютно беспомощным и бессильным, одиноким и всеми забытым, отданным на волю бездушных и неодолимых сил. Он физически ощущает мучительное удушье, чувствует, как тело его прожигают насквозь разрушительные жесткие излучения, как истончаются и тают его кости, как закипает и начинает испаряться мозг, неслыханное, невероятное по интенсивности отчаяние охватывает его, и он просыпается.

Доктор Мебиус не счел эту болезнь опасной потому, во-первых, что она не сопровождалась какими бы то ни было уязвлениями психики и сомы, а во-вторых, успешно поддавалась амбулаторной психотерапии. «Синдром пингвина» привлек внимание доктора Мебиуса прежде всего потому, что являлся совершенно новым явлением, не описанным ранее никем и никогда. Удивительно было, что болезнь эта поражает людей без различия пола, возраста и профессии, не

менее удивительным было и то, что не усматривалось никакой связи синдрома с ген-индексом заболевшего.

Заинтересовавшись этиологией явления, доктор Мебиус подверг собранный материал (около тысячи двухсот случаев) многофакторному анализу по восемнадцати параметрам и с удовлетворением обнаружил, что в 78 процентах случаев синдром возникал у людей, совершавших дальние космические перелеты на кораблях типа «Призрак-17-пингвин». «Я ожидал чего-либо подобного, — объявил доктор Мебиус. — На моей памяти это не первый случай, когда конструкторы предлагают нам недостаточно апробированную технику. И именно поэтому я назвал открытый мною синдром названием типа корабля, и пусть это послужит назиданием».

На основании доклада доктора Мебиуса конференция в Риге вынесла решение временно запретить к эксплуатации корабли типа «Призрак-17-пингвин» впредь до полного устранения конструктивных недостатков, вызывающих фобию.

1. Я установил, что тип «Призрак-17-пингвин» был подвергнут самому тщательному обследованию, в ходе которого никаких сколько-нибудь существенных конструкторских просчетов обнаружено не было, так что непосредственная причина возникновения «синдрома пингвина» так и осталась сокрытой мглой и туманом. (Впрочем, желая свести риск к нулю, Управление космофлота сняло «пингвины» с пассажирских линий и переоборудовало их под автопилоты.) Случаи «синдрома пингвина» резко пошли на убыль, и, насколько мне теперь известно, последний был зарегистрирован 13 лет назад.

Однако я не был удовлетворен. Меня беспокоили те 22 процента обследованных, отношение которых к кораблям типа «Призрак-17-пингвин» оставалось неясным. Из этих 22 процентов, по данным доктора Мебиуса, 7 процентов заведомо не имели никакого дела с «пингвинами», а остальные 15 не могли сказать по этому поводу ничего путного: они либо не помнили, либо никогда не интересовались типами кораблей, на которых ходили в Космос.

Конечно, статистическая значимость гипотезы о причастности «пингвинов» к возникновению фобии не вызывает никаких сомнений. Однако же 22 процента — это тоже немало. И я вновь подверг материалы Мебиуса многофакторному анализу по двадцати дополнительным параметрам, причем параметры эти я выбирал, признаюсь, уже в значительной степени случайно, не имея в запасе никакой, даже самой сомнительной гипотезы. Например, у меня были такие параметры: даты стартов с точностью до месяца; место рождения с точностью до региона; хобби с точностью до класса... и так далее.

Дело, однако, оказалось совершенно простым, и только извечная убежденность человечества в изотропности Вселенной помешала доктору Мебиусу обнаружить то, что удалось нащупать мне. Выяснилось же следующее: «синдром пингвина» поражал людей, совершавших космические перелеты по маршрутам на Саулу, на Редут и на Кассандру, иначе говоря, через подпространственный сектор входа 41/02.

«Призрак-17-пингвин» был ни в чем не виноват. Просто подавляющее большинство этих кораблей в те времена (начало 80-х годов) прямо со стапелей направлялись на маршруты Земля-Кассандра-Зефир и Земля-Редут-ЕН 2105. 80 процентов кораблей на этих маршрутах были тогда «пингвинами». Так объясняются 78 процентов доктора Мебиуса. Что же касается остальных 22 процентов заболевших, то 20 из них летали по этим маршрутам на кораблях других типов, и оставались только 2 процента, которые не летали никуда и никогда, но это уже не играло принципиальной роли.

2. Данные доктора Мебиуса, безусловно, не полны. Воспользовавшись анамнезами, им собранными, а также данными архивов Управления космофлота, мне удалось установить, что за рассматриваемый период по рассматриваемым маршрутам переместилось в обе стороны 4512 человек, из которых 183 человека (главным образом, члены экипажей) совершали полные рейсы неоднократно. Более двух третей членов реферируемой группы в поле зрения доктора Мебиуса не попали.

Напрашивается вывод, что они либо оказались иммунными к «синдрому пингвина», либо по каким-то причинам не сочли необходимым обращаться к врачам. В связи с этим мне представилось крайне важным установить:

— были ли среди членов реферируемой группы лица, оказавшиеся иммунными к синдрому;

— если таковые были, то нельзя ли установить причины иммунности или хотя бы биосоциопсихологические параметры, по которым эти лица отличаются от пострадавших.

С этими вопросами я обратился к самому доктору Мебиусу. Он ответил мне, что эта проблема его никогда не интересовала, но интуитивно он склонен полагать, что существование такого рода биосоциопсихологических параметров представляется ему крайне маловероятным. В ответ на мою просьбу он согласился поручить исследование этой проблемы одной из своих лабораторий, предупредив, что результатов следует ожидать не ранее чем через два-три месяца.

Чтобы не терять времени, я обратился к архивам медцентра Управления космофлота и попытался проанализировать данные по всем 124 пилотам, совершавшим регулярные полные рейсы по рассматриваемым маршрутам за рассматриваемый период времени. Элементарный анализ показал, что по крайней мере для пилотов вероятность подвергнуться поражению «синдромом пингвина» составляет примерно одну треть и не зависит от числа рейсов, проделанных ими через «опасный» сектор. Таким образом, представляется весьма вероятным, что: а) две трети людей иммунны к поражению «синдромом пингвина» и б) человек, лишенный иммунитета, поражается синдромом с вероятностью, близкой к единице. Именно поэтому вопрос об отличии иммунного человека от неиммунного представляет особый интерес.

3. Считаю необходимым привести полностью примечание доктора Мебиуса к его статье «Снова о природе „синдрома пингвина“. Доктор Мебиус пишет:

«Любопытное сообщение я получил от коллеги Кривоклыкова (Крымский филиал Второго ИКМ). После опубликования моего доклада в Риге он написал мне, что вот уже на протяжении многих месяцев видит сны, по сюжету необычайно похожие на кошмары страдающих „синдромом пингвина“, — он ощущает себя висящим в безвоздушном пространстве, вдали от планет и звезд, он не чувствует своего тела, но видит его, равно как и многочисленные космические объекты, реальные и фантастические. Однако, в отличие от страдающих „синдромом пингвина“, он не испытывает при этом никаких отрицательных эмоций. Напротив, происходящее кажется ему интересным и приятным. Ему представляется, будто он — самостоятельное небесное тело, движущееся по избранной им траектории. Само движение доставляет ему удовольствие, ибо движется он к некоей цели, обещающей массу интересного. Сам вид звездных скоплений, мерцающих в бездне, вызывает у него ощущения неизъяснимого восторга и проч. Мне пришло было в голову, что в лице коллеги Кривоклыкова я имею случай некоей инверсии „синдрома пингвина“, каковая представила бы большой теоретический интерес в свете изложенных мною в статье соображений. Однако я был разочарован: оказалось, что коллега Кривоклыков никогда в жизни не летал на звездолетах типа „Призрак-17-пингвин“. Впрочем, я не оставляю надежды на то, что инверсия „синдрома пингвина“ реально существует как психическое явление, и буду благодарен любому врачу, который соблаговолит сообщить мне новые данные по этому поводу».

С П Р А В К А

Кривоклыков Иван Георгиевич, сменный врач-психиатр базы «Лембой» (ЕН 2105), в рассматриваемый период неоднократно проходил по маршруту Земля-Редут-ЕН 2105 на звездолетах разных типов. Согласно данным БВИ, в настоящее время находится на базе «Лембой».

В ходе личной беседы с доктором Мебиусом я выяснил, что за последние годы он обнаружил «положительную» инверсию «синдрома пингвина» еще у двух человек. Имена их он назвать отказался по соображениям врачебной этики.

Я не берусь комментировать явление инверсии «синдрома пингвина» сколько-нибудь подробно, однако мне кажется очевидным, что носителей такой инверсии должно быть заметно больше, чем это известно сейчас.

Т. Глумов.

Конец документа 3.

* * *

Документ 3 я привел здесь не только потому, что это был один из наиболее обещающих рапортов, представленных Тойво Глумовым. Читая и перечитывая его, я почувствовал, что мы, кажется, впервые напали на настоящий след, хотя тогда мне и в голову не приходило, что с него начнется та цепочка событий, которая сыграет решающую роль в моем приобщении к Большому Откровению.

21 марта я прочитал доклад Тойво относительно «синдрома пингвина».

25 марта Колдун устроил свою демонстрацию в Институте Чудаков (узнал я об этом лишь несколько дней спустя).

А 27 марта Тойво представил мне рапорт-доклад относительно фукамифобии.

Документ 4

КОМКОН-2
«Урал-Север»
РАПОРТ-ДОКЛАД
№ 013/99
Д а т а: 26 марта 99 года.
А в т о р: Т. Глумов, инспектор.
Т е м а 009: «Визит старой дамы».

С о д е р ж а н и е: фукамифобия, история Поправки к «Закону об обязательной биоблокаде».

Анализируя случаи возникновения массовых фобий за последние сто лет, я пришел к выводу, что в рамках темы 009 для нас могут представить интерес события, которые предшествовали принятию 02.02.85 года Всемирным советом известной Поправки к «Закону о биоблокаде».

Надлежит принять во внимание:

1. Биоблокада, она же Токийская процедура, систематически применяется на Земле и на Периферии около ста пятидесяти лет. Биоблокада — термин непрофессиональный, принятый главным образом у журналистов. Специалисты-медики называют эту процедуру фукамизацией в честь сестер Натальи и Хосико Фуками, впервые теоретически обосновавших и применивших ее на практике. Целью фукамизации является повышение естественного уровня приспособляемости человеческого организма к внешним условиям (биоадаптация). В классической своей форме процедура фукамизации применяется исключительно к младенцам начиная с последнего периода внутриутробного развития. Насколько мне удалось установить и понять, процедура эта состоит из двух этапов.

Введение сыворотки УНБЛАФ (культура «бактерии жизни») на несколько порядков увеличивает сопротивляемость организма ко всем известным инфекциям, вирусным, бактериальным и споровым, а также ко всем органическим ядам. (Это и есть, собственно, биоблокада.)

Растормаживание гипоталамуса микроволновыми излучениями многократно повышает способность организма адаптироваться к таким физическим агентам внешней среды, как жесткая радиация, неблагоприятный газовый состав атмосферы, высокая температура. Кроме того, многократно повышается способность организма к регенерации поврежденных внутренних органов, увеличивается диапазон спектра, воспринимаемого сетчаткой, повышается способность к психотерапии и т. д.

Полный текст инструкции по фукамизации приводится ниже.

2. Процедура фукамизации применялась до 85 года в обязательном порядке согласно «Закону об обязательной биоблокаде». В 82 году на рассмотрение Всемирного совета был внесен проект Поправки, предусматривающей отмену обязательности фукамизации для младенцев, появляющихся на свет на Земле. Поправка предусматривала замену процедуры фукамизации так называемой «прививкой зрелости», предназначенной для лиц, достигших

шестнадцатилетнего возраста. В 85 году Всемирный совет (большинством всего в двенадцать голосов) принял Поправку к «Закону об обязательной биоблокаде». Согласно этой Поправке, обязательная фукамизация отменялась, применение ее оставлялось полностью на усмотрение родителей. Лица, не прошедшие фукамизацию в младенческом возрасте, получили право отказаться впоследствии и от «прививки зрелости», однако в этом случае они теряли возможность работать в профессиональных областях, связанных с большими физическими и психическими нагрузками. По данным БВИ, к настоящему моменту на Земле живет около миллиона подростков, не прошедших фукамизацию, и около двадцати тысяч лиц, отказавшихся от «прививки зрелости».

ИНСТРУКЦИЯ

по проведению поэтапной пренатальной и постнатальной фукамизации новорожденного

1. Определить точный срок начала родовой деятельности по методу целого четного. (Рекомендуемые диагностики: радиоиммунный анализатор НИМБ, наборы ФДХ-4 и ФДХ-8.)

2. Не менее чем за 18 часов до начала первичной контракции мускулатуры матки определить объем плода и объем околоплодных вод РАЗДЕЛЬНО.

П р и м е ч а н и е. Поправку Лазаревича вводить ОБЯЗАТЕЛЬНО! Расчет проводить ТОЛЬКО по номографам Института биоадаптации, учитывающим расовые различия.

3. Определить необходимую дозу сыворотки УНБЛАФ. Полная, стабильная, долговременная иммунизация к белковым агентам и органическим соединениям белковоподобной и гаптоидной структуры достигается в дозе 6,8 гамма-молей на грамм лимфоидной ткани.

П р и м е ч а н и е.

А) При индексе объемов меньше 3,5 доза увеличивается на 16 %.

Б) При многоплодии общая доза вводимой сыворотки уменьшается на 8 % на каждый плод (двойня — 8 %, тройня — 16 % и т. д.).

4. За 6 часов до начала первичной контракции мускулатуры матки ввести нуль-инжектором через переднюю брюшную стенку в амниотическую полость рассчитанную дозу сыворотки УНБЛАФ. Введение производить со стороны, противоположной спинке плода.

5. Через 15 минут после рождения произвести сцинтиграфию тимуса новорожденного. При индексе тимуса меньше 3,8 ввести дополнительно в пупочную вену 2,6 гамма-молей сыворотки УНБЛАФ-11.

6. При повышении температуры НЕМЕДЛЕННО поместить новорожденного в стерильный бокс. Первое естественное кормление разрешается не ранее чем через 12 часов нормальной температуры.

7. Через 72 часа после рождения производится микроволновое растормаживание гипоталамических зон адаптогенеза. Топографическое определение зон рассчитывается по программе БИНАР-1. Объемы гипоталамических зон должны соответствовать:

I зона: 36–42 нейрона

II зона: 178–194 нейрона

III зона: 125–139 нейронов

IV зона: 460–510 нейронов

V зона: 460–510 нейронов

П р и м е ч а н и е. При проведении обмеров убедиться в ПОЛНОМ рассасывании родовой гематомы. Полученные данные вводятся в БИОФАК-ИМПУЛЬС. РУЧНАЯ КОРРЕКЦИЯ ИМПУЛЬСА КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

8. Поместить новорожденного в операционную камеру БИОФАК-ИМПУЛЬС. При ориентации головки ОСОБО СЛЕДИТЬ, чтобы отклонение по шкале «стереотаксис» составляло не более 0,014.

9. Микроволновое растормаживание гипоталамических зон адаптогенеза производится при достижении второго уровня глубины сна, что соответствует 1,8–2,1 мВ альфа-ритма энцефалограммы.

10. Все расчеты вносятся в индивидуальную карту новорожденного ОБЯЗАТЕЛЬНО.

По существу событий, которые привели в феврале 85 года к принятию Поправки к «Закону о биоблокаде», мною установлено следующее.

1. За полтораста лет глобальной практики фукамизации не известно ни единого случая, чтобы эта процедура причинила фукамизированному хоть какой-нибудь вред. Неудивительно поэтому, что случаи отказа матерей от фукамизации были до весны 81 года чрезвычайно редки. Подавляющее большинство врачей, с которыми я консультировался, до указанного времени о таких случаях не слышали никогда. Выступления же против фукамизации, носящие теоретический и пропагандистский характер, имели место неоднократно. Вот наиболее характерные публикации нашего века:

Дебуке Ш. «Построить человека?». Лион, 32.

Посмертное издание последней книги крупного (ныне забытого) антиевгениста. Вторая часть книги целиком посвящена критике фукамизации как «беззастенчиво-вкрадчивого вторжения в естественное состояние человеческого организма». Подчеркивается

необратимый характер изменений, вызываемых фукамизацией («...никогда и никому еще не удавалось вновь затормозить расторможенный гипоталамус...»), но главный упор делается на то обстоятельство, что эта типично евгеническая процедура, освященная авторитетом мирового закона, вот уже на протяжении многих лет служит дурным и соблазнительным прецедентом для новых евгенических экспериментов.

Пумивур К. «Ридер: права и обязанности». Бангкок, 15.

Автор, вице-президент Всемирной ассоциации ридеров, — сторонник и пропагандист максимально активного участия ридеров в деятельности человечества. Выступает против фукамизации, основываясь на данных личной статистики. Утверждает, что фукамизация якобы неблагоприятна для возникновения у человека ридер-потенции, и хотя относительная численность ридеров за эпоху фукамизации не уменьшилась, однако за это время не появилось ни одного ридера, по мощи сравнимого с теми, что действовали в конце XXI и в начале XXII века. Призывает к отмене обязательности фукамизации — вначале хотя бы для детей и внуков ридеров. (Все материалы книги безнадежно устарели: в тридцатых годах появилась блистательная плеяда ридеров невероятной мощи — Александр Солемба, Петер Дзомны и др.)

Август Ксесис. «Камень преткновения». Афины, 37.

Известный теоретик и проповедник ноофилизма посвятил свою брошюру резкой критике фукамизации — впрочем, критике скорее поэтической, нежели рациональной. В рамках представлений ноофилизма как своеобразной вульгаризации теории Яковица Вселенная есть вместилище Ноокосмоса, в который вливается после смерти ментально-эмоциональный код человеческой личности. Судя по всему, Ксесис абсолютно ничего не понимает в фукамизации, представляет ее себе чем-то вроде аппендэктомии и страстно призывает отказаться от столь грубой процедуры, калечащей и искажающей ментально-эмоциональный код. (По данным БВИ, после принятия Поправки ни один из членов конгрегации ноофилистов не согласился на фукамизацию своих детей.)

Тосивилл Дж. «Человек Дерзкий». Бирмингем, 51.

Эта монография представляет собой достаточно типичный образец целой библиотеки книг и брошюр, посвященных пропаганде свертывания технологического прогресса. Для всех книг такого рода характерна апологетика застывших цивилизаций типа тагорской или биоцивилизации Леониды. Технологический прогресс Земли объявляется сыгравшим свою роль. Экспансия человечества в Космос

изображается как своего рода социальное мотовство, обещающее в перспективе жесточайшее разочарование. Человек Разумный превращается в Человека Дерзкого, который в погоне за количеством рациональной и эмоциональной информации теряет в ее качестве. (Подразумевается, что информация о психокосме обладает неизмеримо более высоким качеством, нежели информация о Внешнем Космосе в самом широком смысле слова.) Фукамизация оказывает человечеству дурную услугу именно потому, что способствует перерождению Человека Разумного в Человека Дерзкого, расширяя и фактически стимулируя его экспансионистские потенции. Предлагается на первом этапе отказаться хотя бы от растормаживания гипоталамуса.

Оксовью К. «Движение по вертикали». Калькутта, 61.

К. Оксовью — псевдоним ученого или группы ученых, сформулировавших и пустивших в обращение небезызвестную идею так называемого вертикального прогресса человечества. Раскрыть псевдоним мне не удалось. Имею основания полагать, что К. Оксовью — это либо председатель КОМКОНа-1 Г. Комов, либо кто-нибудь из его единомышленников в Академии социального прогнозирования. Данное издание является первой монографией «вертикалистов». Шестая глава посвящена подробному рассмотрению всех аспектов фукамизации — биологических, социальных и этических — с точки зрения установок вертикального прогресса. Основная опасность фукамизации усматривается в возможности неконтролируемого влияния ее на генотип. В подтверждение этой идеи впервые, насколько мне удалось выяснить, приводятся данные о многочисленных случаях передачи по наследству свойств фукамизированного организма. Объявляются более ста случаев, когда иммунный механизм плода еще в утробе матери начинал вырабатывать антитела, характерные для воздействия сыворотки УНБЛАФ, и более двухсот случаев, когда новорожденные обладали врожденно расторможенным гипоталамусом. Более того, зарегистрировано более тридцати случаев передачи такого рода свойств уже в третье поколение.

Подчеркивается, что, хотя такого рода явления и не представляют непосредственной опасности для подавляющего большинства людей, они являются красноречивой иллюстрацией того факта, что фукамизация далеко не так хорошо исследована, как утверждают ее адепты. Нельзя не отметить, что материал подобран с необычайной тщательностью и подан весьма эффектно. Например: несколько впечатляющих абзацев посвящены так называемым Г-аллергикам, которым расторможение гипоталамуса противопоказано. Г-аллергия есть чрезвычайно редкое состояние организма, легко обнаруживаемое у

плода еще в материнской утробе и потому никакой опасности не представляющее: такого младенца просто не подвергают второму этапу фукамизации. Если же расторможенный гипоталамус будет передан Г-аллергику по наследству, медицина окажется бессильной — на свет появится неизлечимо больной человек. К. Оксовью удалось обнаружить один такой случай, и он не жалеет красок для его описания. Еще более апокалиптическую картину рисует автор, изображая мир будущего, в котором человечество под воздействием фукамизации раскалывается на два генотипа. Эта монография издавалась неоднократно и сыграла, по-видимому, не последнюю роль в обсуждении Поправки. Любопытно, однако же, отметить, что последнее издание этой книги (Лос-Анджелес, 99) не содержит ни слова о фукамизации: надо понимать, автор полностью удовлетворен Поправкой и судьба 99,9... процента человечества, продолжающих подвергать своих детей фукамизации, его не интересует.

П р и м е ч а н и е. Заключая этот раздел, считаю необходимым подчеркнуть, что подбор и аннотирование материалов для него я осуществлял по принципу их нетривиальности с моей личной точки зрения. Заранее приношу свои извинения на случай, если невысокий уровень моей эрудиции вызовет неудовольствие.

2. По-видимому, первый отказ от фукамизации, открывший целую эпидемию отказов, зарегистрирован в родильном покое поселка К'сава (Экваториальная Африка). 17.04.81 года все три роженицы, поступившие в покой на протяжении суток, независимо друг от друга, в различной форме, но совершенно категорически запретили персоналу производить им процедуру фукамизации. Роженица А. (первые роды) мотивировала отказ желанием мужа, недавно погибшего в результате несчастного случая. Роженица Б. (первые роды) мотивировать отказ даже не пыталась, малейшие попытки разубедить ее вызывали у нее истерическое состояние. «Не хочу, и все!» — повторяла она. Роженица В. (третьи роды, протестовала впервые) была очень рассудительна, спокойна и мотивировала отказ нежеланием решать судьбу ребенка без его ведома и согласия. «Вырастет, пусть сам решает», — объявила она.

(Я привожу здесь эти мотивации потому, что они совершенно типичны. С легкими вариациями «отказчицы» прибегали к ним в 95 процентах случаев. В литературе принята следующая классификация. Отказ типа А: вполне рациональная, но в принципе непроверяемая мотивировка, 20 процентов. Отказ типа Б: фобия в чистом виде, истерическое, иррациональное поведение, 65 процентов. Отказ типа В: этические соображения, 10 процентов. Тип Р — редкий: чрезвычайно

разнообразные по форме и содержанию ссылки на религиозные обстоятельства, приверженность к экзотическим философским системам и т. д., около 5 процентов.)

18 апреля в той же больнице произошло еще два отказа, и первые отказы были зарегистрированы в других родильных покоях региона. В конце месяца случаи отказов насчитывались уже сотнями и были зарегистрированы во всех регионах Земного шара, а 5 мая пришло первое сообщение о случае отказа вне Земли (Марс, Большой Сырт). Эпидемия отказов, то вспыхивая, то угасая, продолжалась вплоть до 85 года, так что на момент принятия Поправки общее число «отказчиц» составило около 50 тысяч (примерно 0,1 процента всех рожениц).

Закономерности эпидемии феноменологически исследованы очень хорошо и с высокой степенью достоверности, однако сколько-нибудь убедительного объяснения они так и не получили.

Например, было отмечено, что эпидемия имела как бы два географических центра распространения: один в Экваториальной Африке, второй в Северо-Восточной Сибири. Немедленно напрашивается аналогия с вероятными центрами распространения человечества, но аналогия эта, разумеется, ничего не объясняет.

Второй пример. Отказы были всегда индивидуальны, однако в пределах каждого родильного покоя каждый отказ как бы порождал следующий. Отсюда термин: «цепь отказов из N звеньев». Число N могло быть весьма велико: в родильном покое Говекайской гинеклиники «цепь отказов» началась 11.09.83 года и тянулась до 21.09, вовлекая всех рожениц, последовательно поступавших в покой, так что общая длина «цепи» составила 19 рожениц.

В некоторых больницах эпидемии отказов возникали и затухали неоднократно. Скажем, в Бернском дворце младенца эпидемия повторилась двенадцать раз.

При всем при том в подавляющем большинстве родильных покоев Земли об эпидемиях отказов и не слыхивали. Точно так же ничего не слыхивали об отказах и в большинстве внеземных поселений. Однако в тех местах, где эпидемии возникали (Большой Сырт, база Саула, Курорт), они развивались по законам, типичным для Земли.

3. Причинам возникновения фукамифобии посвящена большая литература. Я ознакомился с наиболее солидными работами, которые порекомендовал мне профессор Деруйод из Лхасского психологического центра. Я недостаточно подготовлен для того, чтобы сделать компетентный обзор этих работ, но у меня сложилось впечатление, что сколько-нибудь общепринятой теории фукамифобии не

существует. Поэтому я ограничусь здесь тем, что дословно приведу фрагмент моей беседы с профессором Деруйодом.

ВОПРОС. Считаете ли вы возможным возникновение фобии у здорового и благополучного человека?

ОТВЕТ. Строго говоря, это невозможно. Фобия у здорового человека возникает всегда как следствие чрезмерного физического или психического перенапряжения. Вряд ли такого человека можно назвать благополучным. Другое дело, что человек, особенно в наше бурное время, не всегда отдает себе отчет в том, что он надорвался... Субъективно он может считать себя вполне благополучным и даже довольным, и возникновение фобии у него, с точки зрения дилетанта, может выглядеть явлением необъяснимым...

ВОПРОС. И применительно к фукамифобии?..

ОТВЕТ. Вы знаете, с определенной точки зрения беременность и сегодня еще остается таинством... Достаточно сказать, что мы только совсем недавно поняли, что психика беременной женщины есть психика бинарная, результат дьявольски сложного взаимодействия вполне сформировавшейся психики взрослого человека и пренатальной психики плода, о законах которой мы сегодня практически ничего не знаем. А если добавить сюда неизбежные физические стрессы, неизбежные невротические явления... Все это, вообще говоря, образует благоприятную почву для фобий. Однако делать из этого вывод, будто с помощью такого рода рассуждений мы хоть что-то объяснили в этой поразительной истории... Это было бы опрометчиво. Это было бы крайне опрометчиво и несерьезно.

ВОПРОС. Существуют ли какие-либо отличия у «отказчиц» по сравнению с обычными роженицами? Физиологические, психические... Такого рода исследования проводились?

ОТВЕТ. Во множестве. Но ничего конкретного установить не удалось. Лично я всегда считал и сейчас считаю, что фукамифобия — это фобия универсальная, как, например, фобия к нуль-транспортировке. Только нуль-Т-фобия есть очень распространенное явление; страх перед первым нуль-Т-переходом испытывает практически каждый человек, независимо от пола и профессии, потом этот страх проходит бесследно... А фукамифобия — явление, к счастью, чрезвычайно редкое. Я говорю «к счастью» потому, что излечивать фукамифобию мы так и не научились.

ВОПРОС. Правильно ли я вас понял, профессор, что не известна ни одна конкретная причина, вызывающая фукамифобию?

ОТВЕТ. Достоверно — нет. Разнообразных же гипотез предлагалось множество, десятки.

ВОПРОС. Например?

ОТВЕТ. Например — пропаганда противников фукамизации. На впечатлительную натуру, да еще в состоянии беременности, такая пропаганда могла оказать определенное влияние. Или, скажем, гипертрофия материнского инстинкта, инстинктивная потребность оградить свое дитя от любых внешних воздействий, хотя бы и полезных... Вы собираетесь возразить? Не надо. Я с вами совершенно согласен. Все эти гипотезы в лучшем случае объясняют только очень узкий круг фактов. Никто не смог объяснить ни явление «цепи отказов», ни географических особенностей явления... И уж совсем никто не понимает, почему все это началось именно весной 81 года, причем не только на Земле, но и очень далеко от Земли...

ВОПРОС. А почему это кончилось в 85 году — это объяснить можно?

ОТВЕТ. Представьте себе, да. Представьте себе, сам факт принятия Поправки вполне мог сыграть решающую роль в прекращении эпидемии. Разумеется, и здесь остается много неясного, но это уже скорее частности.

ВОПРОС. Как вы считаете, не могла ли эпидемия возникнуть в результате каких-то неосторожных экспериментов?

ОТВЕТ. Теоретически это возможно. Но мы в свое время проверили эту гипотезу. Никаких экспериментов, способных вызвать массовые фобии, на Земле не производится. Кроме того, не забывайте, что одновременно фукамифобия возникла и вне Земли...

ВОПРОС. А какого рода эксперименты могли бы вызвать фобии?

ОТВЕТ. Вероятно, я выразился не совсем точно. Я могу назвать вам целый ряд, так сказать, технических приемов, с помощью которых у вас, здорового человека, можно было бы вызвать какую-нибудь фобию. Обратите внимание: именно КАКУЮ-НИБУДЬ. Например, я стану облучать вас в определенном режиме нейтринным концентратом, и у вас возникнет фобия. Но что это будет за фобия? Страх пустоты? Страх высоты? Страх страха? Я не могу сказать этого заранее. А о том, чтобы вызвать у человека такую специфическую фобию, как фукамифобия, страх фукамизации... Нет, об этом не может быть и речи. Разве что в сочетании с гипнозом? Но как реализовать такое сочетание практически?.. Нет-нет, это несерьезно.

4. При всей своей географической (и космографической) распространенности случаи фукамифобии оставались все-таки явлением чрезвычайно редким в медицинской практике, и сами по себе они вряд ли привели бы к каким-либо изменениям в законодательстве.

Однако эпидемия фукамифобии очень быстро из проблемы медицинской превратилась в событие, носящее социальный характер.

Август 81. Первые зарегистрированные протесты отцов, пока еще носящие частный характер (жалобы в местные и региональные медицинские управления, отдельные обращения в местные Советы).

Октябрь 81. Первая коллективная петиция 124-х отцов и двух врачей-акушеров в Комиссию по охране материнства и младенчества при Всемирном совете.

Декабрь 81. На XVII Всемирном конгрессе Ассоциации акушеров впервые выступает против обязательной фукамизации большая группа врачей и психологов.

Январь 82. Создается инициативная группа ВЭПИ (названная по инициалам учредителей), объединяющая врачей, психологов, социологов, философов и юристов. Именно группа ВЭПИ начала и довела до конца борьбу за принятие Поправки.

Февраль 82. Первый митинг противников фукамизации перед зданием Всемирного совета.

Июнь 82. Формальное образование оппозиции к «Закону» в составе Комиссии по охране материнства и младенчества.

Дальнейшая хронология событий, на мой взгляд, особенного интереса не представляет. Время (три с половиной года), потребовавшееся Всемирному совету для всестороннего изучения и принятия Поправки, является достаточно типичным. Зато нетипичным представляется мне соотношение между численностью массовых сторонников Поправки и численностью профессионального корпуса. Обычно массовые сторонники нового закона — это как минимум десяток миллионов человек, профессиональный же корпус, квалифицированно представляющий их интересы (юристы, социологи, специалисты по данному вопросу), — это всего несколько десятков человек. В нашем же случае массовый сторонник Поправки («отказчицы», их мужья и родственники, друзья, сочувствующие, лица, примкнувшие к движению по религиозным или философским соображениям) никогда не был по-настоящему массовым. Общая численность участников движения не превышала полумиллиона. Что же касается профессионального корпуса, то одна только группа ВЭПИ к моменту принятия Поправки включала в себя 536 специалистов.

5. После принятия Поправки отказы не прекратились, хотя число их заметно уменьшилось. Самое же главное — на протяжении 85 года изменился сам характер эпидемии. Собственно, это явление уже нельзя называть эпидемией. Какие бы то ни было закономерности («цепочки отказов», географические концентрации) исчезли. Теперь

отказы носят совершенно случайный, единичный характер, причем мотивировки типов А и Б вообще не встречаются, а превалируют ссылки на Поправку. Видимо, поэтому нынешние врачи вообще не рассматривают отказы от фукамизации как проявление фукамифобии. Замечательно, что многие женщины, в свое время категорически отказывавшиеся от фукамизации и принимавшие активное участие в движении за Поправку, ныне совершенно потеряли интерес к этому вопросу и при родах даже не пользуются правом ссылаться на Поправку. Из женщин, отказавшихся от фукамизации в период 81–85 годов, при следующих родах отказались едва 12 процентов. Третий отказ от фукамизации — это и вообще большая редкость: за 15 лет зарегистрировано всего несколько случаев.

6. Считаю необходимым особенно подчеркнуть два обстоятельства.

А) Почти полное исчезновение фукамифобии после принятия Поправки обычно объясняется хорошо известными психосоциальными факторами. Современный человек приемлет только те ограничения и обязательства, которые вытекают из морально-этических установок общества. Любое ограничение или обязательство иного рода воспринимается им с ощущением (неосознанной) неприязни и (инстинктивного) внутреннего протеста. И естественно, что, добившись добровольности в вопросе о фукамизации, человек утрачивает основание для неприязни и начинает относиться к фукамизации нейтрально, как к любой обычной медицинской процедуре.

Полностью принимая и понимая эти соображения, я тем не менее подчеркиваю и возможность иной интерпретации — представляющей интерес в рамках темы 009. А именно: вся изложенная выше история возникновения и исчезновения фукамифобии прекрасно истолковывается как результат целенаправленного, хорошо рассчитанного воздействия некоей разумной воли.

Б) Эпидемия фукамифобии хорошо совпадает по времени с появлением «синдрома пингвина». (См. мой рапорт-доклад № 011/99.)

Сапиенти сат.

Т. Глумов

Конец документа 4.

* * *

Сейчас я могу с полной определенностью утверждать, что именно этот рапорт-доклад Тойво Глумова произвел в моем сознании ту подвижку, которая и привела меня в конце концов к Большому

Откровению. Причем, как это ни забавно звучит сейчас, сдвиг этот начался с того непроизвольного раздражения, которое вызвали у меня грубые и недвусмысленные намеки Тойво на якобы зловещую роль «вертикалистов» в истории Поправки. В оригинале рапорта этот абзац украшен мною жирными отчеркиваниями; я прекрасно помню, что собирался тогда устроить Тойво взбучку за неумеренное фантазирование. Но тут до меня дошли сведения о визите Колдуна в Институт Чудаков, меня наконец осенило, и мне стало не до взбучек.

Я оказался в жесточайшем кризисе, потому что мне не с кем было поговорить. Во-первых, у меня не было никаких предложений. А во-вторых, я не знал, с кем мне теперь можно поговорить, а с кем уже нельзя. Много позже я спрашивал своих ребят: не показалось ли им что-нибудь странным в моем поведении в те жуткие (для меня) апрельские дни 99 года. Сандро тогда был погружен в тему «Рип ван Винкль» и сам пребывал в состоянии ошеломления, а потому ничего не заметил. Гриша Серосовин утверждал, будто я тогда был особенно склонен отмалчиваться и на все инициативы с его стороны отвечал загадочной улыбкой. А Кикин есть Кикин: ему уже тогда было «все ясно». Тойво же Глумова мое тогдашнее поведение, безусловно, должно было бесить. И бесило. Однако я и в самом деле не знал, что мне делать! Одного за другим я гнал своих сотрудников в Институт Чудаков и каждый раз ждал, что из этого получится, и ничего не получалось, и я гнал следующего и снова ждал.

В это время Горбовский умирал у себя в Краславе.

В это время Атос-Сидоров готовился снова лечь в больницу, и не было уверенности, что он из больницы вернется.

В это время Даня Логовенко впервые после многолетнего перерыва напросился вдруг ко мне на чашку чая и целый вечер занимался воспоминаниями, болтая сущие пустяки.

В это время я ничего еще не решил.

И тут разразились события в Малой Пеше.

В ночь с 5 на 6 мая меня подняла с постели аварийная служба. В Малой Пеше (на реке Пеше, впадающей в Чешскую губу Баренцева моря) появились какие-то чудовища, вызвавшие взрыв паники среди населения поселка. Аварийная группа направлена, расследование проводится.

Согласно существующему порядку, я обязан был отправить на место происшествия кого-нибудь из своих инспекторов. Я послал Тойво.

К сожалению, рапорт-доклад инспектора Глумова о событиях и о его действиях в Малой Пеше утрачен. Во всяком случае, мне не удалось его обнаружить. Между тем мне очень хотелось бы показать по

возможности подробно, как Тойво проводил это расследование, и потому придется мне прибегнуть к реконструкции событий, основываясь на собственной памяти и на беседах с участниками этого происшествия. Нетрудно видеть, что предлагаемая реконструкция (а также и все последующие) содержит, кроме совершенно достоверных фактов, еще и кое-какие описания, метафоры, эпитеты, диалоги и прочие элементы художественной литературы. Все-таки мне надо, чтобы читатель увидел перед собою живого Тойво, каким я его помню. Тут одних документов недостаточно. Если угодно, впрочем, можно рассматривать мои реконструкции как свидетельские показания особого рода.

Малая Пеша. 6 мая 99 года. Раннее утро.

Сверху поселок Малая Пеша выглядел так, как и должно было выглядеть этому поселку в четвертом часу утра. Сонно. Мирно. Пусто. Десяток разноцветных крыш полукругом, заросшая травой площадь, несколько стоящих вразброс глайдеров, желтый павильон клуба у обрыва над рекой. Река казалась неподвижной, очень холодной и неприветливой, клочья белесого тумана висели над камышами на той стороне.

На крыльце клуба, задравши голову, стоял человек и следил за глайдером. Лицо его показалось Тойво знакомым, и ничего удивительного в этом не было: Тойво знал многих аварийщиков — наверное, каждого второго.

Он посадил машину рядом с крыльцом и выпрыгнул на сырую траву. Утро здесь было холодное. На аварийщике была огромная уютная куртка с множеством специальных карманов, с гнездами для всяких их баллонов, регуляторов, гасителей, воспламенителей и прочих предметов, необходимых для исправного несения аварийной службы.

— Здравствуйте, — сказал Тойво. — Базиль, кажется?

— Здравствуйте, Глумов, — отозвался тот, протягивая руку. — Правильно. Базиль. Что это вы так долго?

Тойво объяснил ему, что нуль-Т здесь, в Малой Пеше, почему-то не принимает, его выбросило в Нижней Пеше, и пришлось ему взять там глайдер и лететь лишних сорок минут по-над рекой.

— Понятно, — сказал Базиль и оглянулся на павильон. — Я так и думал. Понимаете, они в панике эту нуль-кабину свою до такой степени изуродовали...

— Значит, никто до сих пор так и не вернулся?

— Никто.

— И больше ничего не происходило?

— Ничего. Наши закончили осмотр полтора часа назад, ничего существенного не нашли и отбыли домой делать анализы. Меня оставили, чтобы я никого не пускал, и я все это время чинил нуль-кабину.

— Починили?

— Скорее да, чем нет.

Коттеджи Малой Пеши были старинные, постройки прошлого века, утилитарная архитектура, натурированная органика, ядовито-яркие краски — от старости. Вокруг каждого коттеджа — непроглядные кусты смородины, сирени, заполярной клубники, а сразу же за полукольцом домов — лес, желтые стволы гигантских сосен, серо-зеленые от тумана хвойные кроны, а над ними, уже довольно высоко, — багровый диск солнца на юго-востоке...

— Что за анализы? — спросил Тойво.

— Ну, здесь осталось довольно много следов... Эта пакость вылезла, видимо, вон из того коттеджа и поползла во все стороны... — Базиль стал показывать руками. — На кустах, на траве, кое-где на верандах остались подсохшая слизь, какая-то чешуя, комья чего-то такого...

— Что вы видели сами?

— Ничего. Когда мы прибыли, здесь все было вот как сейчас, только туман над рекой стоял.

— Значит, свидетелей не осталось?

— Сначала мы думали, что удрали все поголовно. А потом оказалось: нет, вон в том домике, крайнем, на берегу, благополучно процветает в высшей степени пожилая особа, которая и не подумала удирать...

— Почему? — спросил Тойво.

— Понятия не имею! — ответил Базиль, задрав брови и разведя руки. — Представляете? Кругом паника, все мечутся в ужасе, дверцу нуль-кабины выворотили с корнем, а ей хоть бы хны... Прилетаем мы, разворачиваем свои боевые порядки, шашки наголо, багинеты примкнуты, и вдруг она выходит на крыльцо и этак строго просит нас вести себя потише, потому что, видите ли, своим галдежом мы мешаем ей спать!..

— А была ли паника? — спросил Тойво.

— Ну-ну-ну! — сказал Базиль, предупреждающе подняв ладонь. — Здесь было восемнадцать человек, когда все началось. Девять человек драпанули на глайдерах. Пятеро бежали через кабину. А трое без памяти кинулись в лес, заблудились там, и мы их еле нашли. Так что не сомневайтесь, была паника, была... Паника была, чудовища какие-то были, и следы остались. А вот почему старушка не напугалась, этого

мы не знаем. Она вообще какая-то странная, эта старушка. Я своими ушами слышал, как она объявила командиру: «Слишком поздно вы сюда прибыли, голубчики. Ничем вы им теперь не поможете. Все они уже погибли...»

Тойво спросил:

— Что она имела в виду?

— Не знаю, — произнес Базиль недовольно. — Я же вам говорю: странная старушка.

Тойво посмотрел на ядовито-розовый коттедж, содержащий в себе странную старушку. Садик у этого коттеджа выглядел заметно более ухоженным. Рядом с коттеджем стоял глайдер.

— Я вам не советую ее беспокоить, — сказал Базиль. — Пусть лучше сама проснется, и уж тогда...

В этот момент Тойво почудилось за спиной движение, и он резко повернулся. Из дверей клуба выглядывало бледное лицо с широко раскрытыми испуганными глазами. Несколько секунд незнакомец молчал, затем бескровные его губы шевельнулись, и он проговорил сипловатым голосом:

— Глупейшая история, правда?

— Стоп-стоп-стоп! — добродушно заговорил Базиль, двинувшись на него выставленными вперед ладонями. — Прошу прощения, но сюда нельзя. Аварийная служба.

Незнакомец тем не менее переступил через порог и сразу же остановился.

— Я, собственно, и не претендую, — сказал он и откашлялся. — Но обстоятельства... Скажите, Григорий с Элей уже вернулись?

Выглядел он достаточно необычно. На нем была меховая доха, под полами которой виднелись богато расшитые меховые сапоги. Доха была расстегнута на груди и открывала пеструю летнюю рубашку из микросетки, какие тогда предпочитали жители степной полосы. На вид ему было лет сорок — сорок пять, лицо простоватое и славное, только слишком уж бледное — то ли от испуга, то ли от смущения.

— Нет-нет, — ответствовал Базиль, надвинувшись на него вплотную. — Никто сюда не возвращался, здесь идет расследование, и мы никого сюда не пускаем...

— Подождите, Базиль, — сказал Тойво. — Кто это — Григорий с Элей? — спросил он у незнакомца.

— Кажется, я опять не туда попал... — проговорил незнакомец с каким-то даже отчаянием и оглянулся через плечо, где в глубине павильона отсвечивала полированными поверхностями кабина нуль-Т.

— Простите, это... М-м-м... Ах ты господи, я опять забыл... Малая Пеша? Или нет?

— Это Малая Пеша, — сказал Тойво.

— Ну тогда вы же должны знать... Григорий Александрович Ярыгин... Как я понял, он живет здесь каждое лето... — Он вдруг обрадованно закричал, тыча рукой: — Вон же, вон тот коттедж! Вон на веранде мой плащ висит!..

Все тут же разъяснилось. Незнакомец оказался свидетелем. Звали его Анатолий Сергеевич Крыленко, и был он зоотехником, и работал он действительно в степной полосе — в Азгирском агрокомплексе. Вчера на ежегодной выставке новинок в Архангельске он совершенно случайно нос к носу столкнулся со своим школьным другом Григорием Ярыгиным, с которым не виделся вот уже лет десять. Естественно, Ярыгин потащил его к себе, сюда, в эту... эх, опять вылетело... ну да, в Малую Пешу. Они провели прекрасный вечер втроем — он, Ярыгин и жена Ярыгина Эля, катались на лодке, гуляли по лесу, часам к десяти вернулись домой, вон в тот коттедж, поужинали и расположились пить чай на веранде. Было совсем светло, с речки доносились детские голоса, и тепло было, и удивительно пахла заполярная клубника. А потом Анатолий Сергеевич Крыленко вдруг увидел глаза...

В этой, самой важной для дела, части своего рассказа Анатолий Сергеевич стал, мягко выражаясь, невнятен. Он словно бы тщился пересказать некий жуткий, запутанный сон.

Глаза глядели из сада... они надвигались, но все время оставались в саду... Два огромных, тошнотворных на вид глаза... По ним все время что-то текло... А слева, сбоку, был еще третий... Или три?.. И что-то валилось, валилось, валилось через перила веранды и уже подтекало к ступням... Причем двинуться было совершенно невозможно... Григорий пропал куда-то, Григория не видно. Эля где-то здесь, но ее тоже не видно, только слышно, как она истерически визжит... или хохочет... Тут дверь в комнату распахнулась. Комната по пояс примерно была заполнена шевелящимися студенистыми тушами, а глаза этих туш были там, снаружи, за кустами...

Тут Анатолий Сергеевич понял, что начинается самое страшное. Он выдернул ноги из приклеившихся к полу сандалий, перескочил через стол, вывалился в лес и, обежав дом... Нет, дом он не обегал... вот странно: выскочил он в лес, но оказался почему-то на площади... Он бежал куда глаза глядят и вдруг увидел павильон клуба, и из раскрытых дверей мелькнула в глаза ему сиреневая вспышка нуль-Т, и

он понял, что спасен. Бомбой ворвался он в кабину и стал наугад тыкать пальцем в клавиши, пока не сработал автомат...

На этом трагедия кончилась, и началась скорее уж комедия. Нуль-транспортер выбросил Анатолия Сергеевича в поселок Рузвельт на острове Петра Первого. Это в море Беллинсгаузена, на градуснике минус сорок девять, скорость ветра восемнадцать метров в секунду, поселок по тамошнему зимнему времени пуст.

Впрочем, в клубе полярников автоматика задействована, тепло, уютно, а в баре прекрасной радугой светятся сосуды с жидкостями, предназначенными для озарения тьмы полярных ночей. Анатолий Сергеевич в своей пестренькой рубашечке и шортах, еще мокрый после чая и пережитого ужаса, получает необходимую передышку и помаленьку приходит в себя. И когда он приходит в себя, его прежде всего, как и следовало ожидать, охватывает непереносимый стыд. Он понимает, что бежал в панике, как последний трус, — о таких трусах ему приходилось разве что читать в исторических романах. Он вспоминает, что бросил Элю и по крайней мере еще одну женщину, которую заметил мельком в соседнем коттедже. Он вспоминает детские голоса на реке и понимает, что детей этих он тоже бросил. Отчаянный позыв к действию овладевает им, но вот что замечательно: позыв этот возникает далеко не сразу, а во-вторых, возникнув уже, он довольно долго сосуществует с непереносимым ужасом при мысли о том, что надо вернуться туда, на веранду, в поле зрения кошмарных текучих глаз, к отвратительным студенистым тушам...

Ввалившаяся с мороза в клуб шумная компания гляциологов застала Анатолия Сергеевича тоскливо ломающим руки: он все еще не мог ни на что решиться. Гляциологи выслушали его рассказ вполне сочувственно и с энтузиазмом приняли решение вернуться на страшную веранду вместе с ним. Однако тут же выяснилось, что Анатолий Сергеевич не знает не только нуль-индекса поселка, но забыл и само название его. Он мог сказать только, что это недалеко от Баренцева моря, на берегу небольшой реки, в полосе заполярных сосняков. Тогда гляциологи спешно обрядили Анатолия Сергеевича в соответствии с местным климатом и сквозь свистящую пургу поволокли в штаб поселка напролом через чудовищные сугробы в компании гигантских звероподобных псов... И вот в штабе, перед терминалом БВИ, кому-то из полярников пришла в голову весьма здравая мысль о том, что дело-то тут не шуточное. Чудовища эти, безусловно, либо вырвались из какого-нибудь зверинца, либо — страшно подумать! — из какой-нибудь лаборатории, конструирующей биомеханизмы. В

любом случае самодеятельность, ребята, тут просто неуместна, надо сообщить в аварийную службу.

И они сообщили в Центральную аварийную. В Центральной аварийной их поблагодарили и сказали, что принимают сообщение к сведению. Через полчаса дежурный Аварийной сам позвонил в штаб, сказал, что сообщение подтверждается, и попросил на связь Анатолия Сергеевича. Анатолий Сергеевич в самых общих чертах описал, что с ним произошло и как он оказался у берегов Антарктиды. Дежурный успокоил его в том смысле, что пострадавших нет, супруги Ярыгины живы и здоровы и что утром, вероятно, в Малую Пешу можно будет вернуться, а сейчас ему, Анатолию Сергеевичу, лучше всего принять что-нибудь успокоительное и лечь отдохнуть.

И Анатолий Сергеевич принял успокоительное и тут же в штабе прикорнул на диване, но не проспал и часу, как снова увидел текучие глаза над перилами веранды, услышал истерический хохот Эли и проснулся от невыносимого стыда.

— Нет, — сказал Анатолий Сергеевич, — они не удерживали меня. Видно, поняли мое состояние... Никогда не думал, что со мной может такое случиться. Я, конечно, не Следопыт и не Прогрессор... Но и у меня в жизни бывали острые ситуации, и я всегда вел себя вполне прилично... Я не понимаю, что со мной произошло. Пытаюсь объяснить это самому себе, и у меня ничего не получается... Словно наваждение какое-то... — Он вдруг заметался глазами. — Вот сейчас говорю с вами, а внутри все ледяное... Может, мы все здесь чем-нибудь отравились?

— Вы не допускаете, что это была галлюцинация? — спросил Тойво.

Анатолий Сергеевич зябко передернул плечами и посмотрел в сторону ярыгинского коттеджа.

— Н-не знаю... — проговорил он. — Нет, ничего не могу сказать.

— Ладно, пойдемте посмотрим, — предложил Тойво.

— Мне с вами? — спросил Базиль.

— Не обязательно, — сказал Тойво. — Я тут буду долго ходить туда-сюда. А вы держите крепость.

— Пленных брать? — спросил Базиль деловито.

— Обязательно, — сказал Тойво. — Пленные мне нужны. Все, кто хоть что-нибудь видел своими глазами.

И они с Анатолием Сергеевичем двинулись через площадь. Анатолий Сергеевич вид имел решительный и деловой, но чем ближе он подходил к дому, тем напряженнее становилось его лицо, явственнее выступали желваки на скулах, а нижнюю губу он закусил, словно бы

преодолевая сильную боль. И Тойво счел за благо дать ему передышку. Шагах в пятидесяти от живой изгороди он остановился — будто бы для того, чтобы еще раз осмотреть окрестности, — и принялся задавать вопросы. А был ли кто-нибудь вон в том коттедже, справа? Ах, там было темно... А слева? Женщина... Да-да, помню, вы говорили... Одна только женщина и больше никого? А глайдера тут поблизости не было?

Тойво задавал вопросы, Анатолий Сергеевич отвечал, а Тойво кивал с важным видом и всячески показывал, как существенно для расследования все то, что он слышит. И постепенно Анатолий Сергеевич приободрился, расслабился внутренне, и они вступили на веранду уже почти как коллеги.

На веранде был беспорядок. Стол стоял косо, один из стульев опрокинут, сахарница закатилась в угол, оставив за собой дорожку сахарного песка. Тойво потрогал чаеварку — она была еще горячая. Он искоса глянул на Анатолия Сергеевича. Тот опять был бледен и играл желваками. Он смотрел на пару сандалий, сиротливо прижавшихся друг к другу под дальним стулом. По-видимому, это были его сандалии. Они были застегнуты, и непонятным казалось, как это Анатолию Сергеевичу удалось выдрать из них ноги. Впрочем, никаких потеков ни на них, ни под ними, ни где-нибудь рядом Тойво не видел.

— Домашних киберов здесь, видимо, не признают, — произнес Тойво деловито, чтобы вернуть Анатолия Сергеевича из мира пережитого ужаса в мир будничного быта.

— Да... — пробормотал тот. — То есть... Да кто их сейчас признает?.. Видите — мои сандалии...

— Вижу, — отозвался Тойво равнодушно. — Рамы здесь так и были все подняты?

— Не помню. Вон та была поднята, я там выпрыгивал.

— Понятно, — сказал Тойво и выглянул в садик.

Да, следы здесь были, следов было много: помятые и поломанные кусты, изуродованная клумба, а трава под перилами выглядела так, словно на ней кони валялись. Если здесь побывали животные, то животные неуклюжие, громоздкие, и к дому они отнюдь не подкрадывались, а перли напролом. С площади, через кустарник наискосок и через раскрытые окна прямо в комнаты...

Тойво пересек веранду и толкнул дверь в дом. Никакого беспорядка там не обнаруживалось. Точнее, того беспорядка, какой должны были бы вызвать тяжелые, неповоротливые туши.

Диван. Три кресла. Столика не видно — надо полагать, встроенный. Пульт только один — в подлокотнике хозяйского кресла.

Сервисы — системы «поликристалл» — в остальных креслах и в диване. На передней стене — левитановский пейзаж, старинная хромофотоновая копия с трогательным треугольничком в левом нижнем углу, чтобы, упаси бог, какой-нибудь знаток не принял за оригинал. А на стене слева — рисунок пером в самодельной деревянной рамке, сердитое женское лицо. Красивое, впрочем...

При более внимательном осмотре Тойво обнаружил отпечатки подошв на полу: видимо, кто-то из аварийщиков осторожненько прошел через гостиную в спальню. Обратных следов не было видно, аварийщик вылез наружу через окно в спальне. Так вот, пол в гостиной был покрыт довольно толстым слоем тончайшей коричневатой пыли. И не только пол. Сиденья кресел. Подоконники. Диван. А на стенах этой пыли не было.

Тойво вернулся на веранду. Анатолий Сергеевич сидел на ступеньках крыльца. Полярную доху он сбросил, а меховые сапоги сбросить, видимо, забыл и потому являл собою вид довольно нелепый. К сандалиям своим он даже не прикоснулся, они так и остались под стулом. Потеков никаких вблизи них не было, но и сами они, и пол рядом — все было основательно припудрено все той же коричневатой пылью.

— Ну, как вы тут? — спросил Тойво еще с порога.

Все равно Анатолий Сергеевич вздрогнул и резко обернулся.

— Да вот... понемножку прихожу в себя...

— Вот и прекрасно. Забирайте свой плащ и отправляйтесь-ка вы домой. Или хотите дождаться Ярыгиных?

— Не знаю даже, — сказал Анатолий Сергеевич нерешительно.

— Как угодно, — сказал Тойво. — Во всяком случае, никаких опасностей здесь нет и не будет.

— Вы поняли что-нибудь? — спросил Анатолий Сергеевич, поднимаясь.

— Кое-что. Чудовища здесь действительно были, но на самом деле они не опасны. Напугать могут, и не более того.

— То есть вы хотите сказать, это искусственное?

— Похоже на то.

— Но зачем? Кто?

— Будем выяснять, — сказал Тойво.

— Вы будете выяснять, а они тем временем еще кого-нибудь... напугают.

Анатолий Сергеевич взял с перил плащ и постоял, разглядывая свои меховые сапоги. Казалось, сейчас он снова сядет и примется их с себя яростно сдирать. Но он, наверное, и не видел их даже.

— Вы говорите, напугать могут... — процедил он, не поднимая глаз. — Если бы — напугать! Они, знаете ли, сломать могут!

Он быстро глянул на Тойво и, отведя глаза, не оборачиваясь более, пошел спускаться по ступенькам и дальше, по измятой траве, через изуродованную изгородь, наискосок через площадь, сгорбленный, нелепый в длинных меховых сапогах полярника и веселенькой, пестрой рубашечке скотовода, пошел, все убыстряя шаги, к желтому павильону клуба, но на полдороге круто свернул влево, вскочил в глайдер, стоявший перед соседним коттеджем, и свечой взлетел в бледно-синее небо.

Шел пятый час утра.

Это первый мой опыт реконструкции. Я очень старался. Работа моя осложнялась тем, что я никогда не бывал в Малой Пеше в те давние времена, однако же в моем распоряжении осталось достаточное количество видеозаписей, сделанных Тойво Глумовым, аварийщиками и командой Флеминга. Так что за топографическую точность я, во всяком случае, ручаюсь. Считаю возможным для себя поручиться и за точность диалогов.

Помимо прочего, мне хотелось здесь продемонстрировать, как выглядело тогда типичное начало типичного расследования. Происшествие. Аварийщики. Выезд инспектора из отдела ЧП. Первое впечатление (чаще всего оно правильное): чье-то разгильдяйство либо неумная шутка. И нарастающее разочарование: опять не то, опять пустышка, хорошо бы махнуть на все это рукой и отправиться домой досыпать... Впрочем, этого в моей реконструкции нет. Это предлагается домыслить.

Теперь несколько слов о Флеминге.

Это имя несколько раз появится в моем мемуаре, но я спешу предупредить, что никакого отношения к Большому Откровению этот человек не имел. В то время имя Александра Джонатана Флеминга было притчей во языцех в КОМКОНе-2. Он был крупнейшим специалистом по конструированию искусственных организмов. В своем базовом институте в Сиднее, а также в многочисленных филиалах этого института он с неописуемым трудолюбием и дерзостью выпекал великое множество диковиннейших существ, на создание которых не хватило фантазии у Матушки-Природы. Его сотрудники в рвении своем постоянно нарушали существующие законы и ограничения Всемирного совета в области пограничного эксперимента. При всем нашем невольном чисто человеческом восхищении гением Флеминга мы его терпеть не могли за беспардонность, бессовестность и напористость, удивительно сочетающуюся с увертливостью. Ныне каждый

школьник знает, что такое биокомплексы Флеминга или, скажем, живые колодцы Флеминга. А в те времена его известность у широкой публики носила характер скорее скандальный.

Для моего изложения важно, что один из внучатых филиалов Сиднейского института Флеминга располагался как раз в устье Пеши, в научном поселке Нижняя Пеша, всего в сорока километрах от Малой Пеши. И, узнав об этом, мой Тойво, насколько я его понимал, не мог не насторожиться и не сказать себе мысленно: «Ага, вот чья это работа!..»

Да, кстати. Упоминающиеся ниже крабораки — это одно из полезнейших созданий Флеминга, которые впервые появились у него на свет, когда он был еще молодым работником на рыбоферме на Онежском озере. Крабораки эти оказались существами поразительными по своим вкусовым качествам, но на всем Севере прижились почему-то только в маленьких ручьях-притоках Пеши.

Малая Пеша. 6 мая 99 года. 6 часов утра.

5 мая около одиннадцати вечера в дачном поселке Малая Пеша (тринадцать коттеджей, восемнадцать жителей) возникла паника. Причиной паники послужило появление в поселке некоторого (неизвестного) числа квазибиологических существ чрезвычайно отталкивающего и даже страшного вида. Существа эти двинулись на поселок из коттеджа № 7 по девяти четко обнаруживаемым направлениям. Прослеживаются эти направления по смятой траве, поврежденным кустарникам, по пятнам высохшей слизи на листве, на плитах облицовки, на наружных стенах домов и на подоконниках. Все девять маршрутов заканчиваются внутри жилых помещений, а именно: в коттеджах № 1, 4, 10 (на верандах), 2, 3, 9, 12 (в гостиных), 6 и 13 (в спальнях). Коттеджи № 4 и 9, судя по всему, необитаемы...

Что же касается коттеджа № 7, откуда началось нашествие, то там явно кто-то жил, и оставалось установить только, что этот кто-то такое — дурацкий шутник или безответственный растяпа? Нарочно он запустил эмбриофоры или прозевал самозапуск? Если прозевал, то по преступной небрежности или по невежеству?

Две вещи, однако же, смущали. Тойво не нашел никаких следов оболочек эмбриофор. Это раз. А во-вторых, ему поначалу никак не удавалось обнаружить данные о личности обитателя коттеджа № 7. Или обитателей.

К счастью, Ойкумена наша устроена в общем вполне справедливо. На площади вдруг послышались громкие негодующие голоса, и через минуту выяснилось, что искомый обитатель появился в центре событий сам, собственной персоной, и вдобавок не один, а с гостем.

Это оказался коренастый, весь какой-то чугунный на вид мужчина в походном комбинезоне и с брезентовым мешком, из которого доносились странные шуршащие и скрипящие звуки. Гость же его очень живо напомнил Тойво старого доброго Дуремара только что из пруда тетки Тортилы — длинный, длинноволосый, длинноносый, тощий, в неопределенной хламиде, облепленной подсыхающей тиной. Немедленно выяснилось, что чугунного обитателя зовут Эрнст Юрген, работает он оператором-ортомастером на Титане, на Земле в отпуске... каждый год два месяца он на Земле в отпуске, один месяц зимой, один — летом, и летом всегда здесь, на Пеше, вот в этом самом коттедже... Какие еще чудовища? Кого вы, собственно, имеете в виду, молодой человек? Какие могут быть чудовища в Малой Пеше, сами подумайте, а еще аварийщик называется, делать вам нечего, что ли?..

Дуремар же, напротив, оказался существом вполне земным. Мало того, существом почти местным. Фамилия его была Толстов, а звали его Лев Николаевич. Но замечательным было в нем другое. Он, оказывается, постоянно живет и работает всего в сорока километрах отсюда, в Нижней Пеше, где, оказывается, вот уже несколько лет функционирует филиальчик фирмы небезызвестного Флеминга!..

Еще оказалось, что этот Эрнст Юрген и старинный его друг Лева Толстов — страстные гурманы. Ежегодно они встречаются здесь, в Малой Пеше, потому что в пяти километрах выше по течению в Пешу впадает маленький приток, где водятся какие-то крабораки. Именно поэтому он, Эрнст Юрген, проводит свой отпуск в Малой Пеше, именно поэтому он с другом своим, Левой Толстовым, отбыли вчера ранним вечером на лодке ловить крабораков, и именно поэтому они с Левой были бы очень признательны аварийной службе, если бы сейчас их оставили в покое, ибо крабораки (Эрнст Юрген потряс тяжелым мешком, издающим странные звуки) бывают только одной свежести, а именно самой первой...

Этот забавный шумный человек никак не мог представить себе, что на Земле — не у них там на Титане, не на Пандоре где-нибудь, не на Яйле, — нет, на Земле! в Малой Пеше! — случаются события, способные вызвать страх и панику. Любопытнейший тип космопроходца-профессионала! Видит же, что поселок пуст, видит перед собой аварийщика, представителя КОМКОНа-2 видит и авторитета их не отрицает, но объяснения всему этому готов искать в чем угодно, лишь бы не признавать, что на родной его, теплой Земле не все может оказаться в порядке... Затем, когда его все-таки удалось убедить, что ЧП и в самом деле имело место, он обиделся — расстроился как ребенок, надул губы, ушел от всех, волоча по земле мешок с драгоценными

крабораками, и уселся боком к ним на своем крыльце, отвернувшись от всех, не желая больше никого видеть, не желая больше ничего слышать, время от времени пожимая плечами и взрыкивая: «Отдохнул, называется... Раз в год приедешь, и то... Это же придумать такое надо!..»

Тойво, впрочем, интересовала больше реакция друга его, Льва Николаевича Толстова, работника Флеминга, специалиста по конструированию и запуску в существование искусственных организмов. А реакция у специалиста была такая. Сначала — полное непонимание, беспорядочное лупанье глазами и неуверенная улыбка человека, подозревающего, что его разыгрывают, да еще и не слишком умно. Далее: озадаченно сдвинутые брови, взор, пустой и обращенный будто бы внутрь себя, и задумчивые движения нижней челюстью. И наконец — вспышка профессионального негодования. Да вы понимаете, о чем говорите? Вы имеете хоть какое-то представление о предмете? Вы вообще видели когда-нибудь искусственное существо? Ах, только в хронике? Так вот, нет и не может быть искусственных существ, которые способны забираться через окна в спальни людей. Прежде всего, они медлительны и неуклюжи и если уж двигаются, то не к людям, а от людей, ибо естественное биополе им противопоказано, даже кошачье биополе... Далее, что значит «размером примерно с корову»? Вы бы хоть попытались прикинуть, какая энергия нужна эмбриофору, чтобы развиться в такую массу хотя бы и за час. Да здесь бы ничего не осталось, никаких коров бы не осталось, это выглядело бы просто как взрыв!..

Допускает ли он, что здесь были задействованы эмбриофоры неизвестного ему типа?

Ни в коем случае. Таких эмбриофоров в природе не существует.

Что же здесь произошло, по его мнению?

Лев Толстов не понимал, что здесь произошло. Ему надо было осмотреться, чтобы прийти к каким-нибудь выводам.

Тойво оставил его осматриваться, а сам вместе с Базилем отправился в клуб, чтобы перекусить. Они съели по бутерброду с холодным мясом, и Тойво принялся варить кофе. И тут:

— В-в-в! — произнес вдруг Базиль с набитым ртом.

Он сделал мощный глоток и, глядя мимо Тойво, рявкнул свежим голосом:

— Стоп машина! Ты куда это нацелился, сынок?

Тойво обернулся.

Это был мальчишка лет двенадцати, лопоухий и загорелый, в шортиках и курточке-распашонке. Зычный оклик Базиля остановил его у самого выхода из павильона.

— Домой, — сказал он с вызовом.

— А подойди-ка сюда, пожалуйста! — сказал Базиль.

Мальчик приблизился и остановился, заложив руки за спину.

— Ты здесь живешь? — спросил Базиль вкрадчиво.

— Мы здесь жили, — ответил мальчик. — В шестерке. Теперь больше жить не будем.

— Кто это — мы? — спросил Тойво.

— Я, мама и отец. Вернее, мы здесь были на даче, а живем мы в Петрозаводске.

— А где же мама и отец?

— Спят. Дома.

— Спят... — повторил Тойво. — Как тебя зовут?

— Кир.

— Твои родители знают, что ты здесь?

Кир помялся, переступил с ноги на ногу и сказал:

— Я сюда только на минутку вернулся. Мне надо забрать галеру, я ее целый месяц мастерил.

— Галеру... — повторил Тойво, рассматривая его.

Лицо мальчика ничего не выражало, кроме терпеливой скуки. По всему было видно, что озабочен он только одним: поскорее забрать свою галеру и вернуться домой, пока родители не проснулись.

— Когда вы уехали отсюда?

— Нынче ночью. Все отсюда уезжали, и мы тоже. А галеру забыли.

— Почему же вы уехали?

— Была паника. Вы что, не знаете? Тут такое было! И мама напугалась, а отец сказал: «Ну, знаете ли, поехали отсюда домой». Сели в глайдер и улетели... Так я пойду? Или нельзя?

— Погоди минутку. Почему была паника, как ты считаешь?

— Потому что появились эти животные. Вышли из леса... или из реки. Все почему-то их испугались, забегали... Я спал, меня мама разбудила.

— А ты не испугался?

Он дернул плечом:

— Ну и я испугался сначала... со сна... Все вопят, все орут, все бегают, ничего не понять...

— А потом?

— Я же говорю: мы сели в глайдер и улетели.

— Животных этих ты видел?

Он вдруг засмеялся.

— Видел, конечно... Одно прямо в окошко влезло, рогатое такое, только рога не твердые, а как у улитки... очень потешное...

— То есть ты сам не испугался?

— Нет, я же вам говорю: испугался, конечно, что я вам врать буду? Мама вбежала вся белая, я думал — несчастье какое-нибудь... Думал, с папой что-нибудь...

— Понятно, понятно. Но животных-то этих ты не испугался?

Кир сказал с досадой:

— Да почему их надо бояться? Они же добрые, смешные... Они же мягкие, шелковистые такие, как мангусты, только без шерстки... А то, что они большие, — так что же? Тигр тоже большой, так что же, я его бояться должен, что ли? Слон большой, кит большой... Дельфины большие бывают... А эти животные ну никак не больше дельфина, и ласковые они такие же...

Тойво посмотрел на Базиля. Базиль, отвесив челюсть, слушал странного мальчика, держа на весу надкушенный бутерброд.

— И пахнут они хорошо! — продолжал Кир горячо. — Они ягодами пахнут! Я думаю, они ягодами и питаются... Их бы надо приручить, а бегать от них... чего ради? — Он вздохнул. — Теперь они ушли, наверное. Ищи их теперь в тайге... Еще бы! Так на них все орали, топали, махали руками! Конечно, они испугались! А теперь попробуй их примани...

Он опустил голову и предался горестным размышлениям. Тойво сказал:

— Понятно. Однако родители с тобой не согласны? Так?

Кир махнул рукой:

— Да уж... Отец еще ничего, а мама категорически: ни ногой, никогда, ни за что! И мы теперь улетаем на Курорт. А они ведь там не водятся... Или водятся? Как они называются, вы не знаете?

— Не знаю, Кир, — сказал Тойво.

— Но здесь ни одного не осталось?

— Ни одного.

— Так я и думал, — сказал Кир. Он снова вздохнул и спросил: — Можно мне взять свою галеру?

Базиль наконец пришел в себя. Он шумно поднялся и произнес:

— Пойдем, я тебя провожу. «Так?» — спросил он Тойво.

— Конечно, — ответил тот.

— Зачем это меня провожать? — возмущенно осведомился Кир, но Базиль уже возложил длань свою на его плечо.

— Пойдем, пойдем, — сказал он. — Всю жизнь я мечтал посмотреть настоящую галеру.

— Она не настоящая же, она модель...

— Тем более. Всю жизнь мечтал посмотреть модель настоящей галеры...

Они ушли. Тойво выпил чашечку кофе и тоже вышел из павильона.

Солнце уже заметно припекало, на небе не было ни облачка. Над пышной травой площади мерцали синие стрекозы. И сквозь это металлическое мерцанье, подобно диковинному дневному привидению, плыла к павильону величественная старуха с выражением абсолютной неприступности на коричневом узком лице.

Поддерживая (дьявольски элегантно) коричневой птичьей лапой подол глухого снежно-белого платья, она, словно бы и не касаясь травы, подплыла к Тойво и остановилась, возвышаясь над ним по крайней мере на голову. Тойво почтительно поклонился, и она кивнула в ответ — вполне, впрочем, благосклонно.

— Вы можете звать меня Альбиной, — милостиво произнесла она приятным баритоном.

Тойво поспешил представиться. Она наморщила коричневый лоб под пышной шапкой белых волос:

— КОМКОН? Ну что ж, пусть КОМКОН. Будьте любезны, Тойво, скажите мне, пожалуйста, как вы у себя в этом самом КОМКОНе все это объясняете?

— Что именно вы имеете в виду? — спросил Тойво.

Этот вопрос несколько раздражил ее.

— Я имею в виду, мой дорогой, вот что, — сказала она. — Как могло случиться, что в наше время, в конце нашего века, у нас на Земле живые существа, воззвавшие к человеку о помощи и милосердии, не только не обрели ни милосердия, ни помощи, но сделались объектом травли, запугивания и даже активного физического воздействия самого варварского толка? Я не хочу называть имен, но они били их граблями, они дико кричали на них, они даже пытались давить их глайдерами. Я никогда не поверила бы этому, если бы не видела своими глазами. Вам знакомо такое понятие — дикость? Так вот это была дикость! Мне стыдно.

Она замолчала, не сводя с Тойво пронзительного взгляда свирепых, угольно-черных, очень молодых глаз. Она ждала ответа, и Тойво пробормотал:

— Вы позволите мне вынести для вас кресло?

— Не позволю, — сказала она. — Я не собираюсь здесь с вами рассиживаться. Я желала бы услышать ваше мнение о том, что произошло с людьми в этом поселке. Ваше профессиональное мнение. Вы кто? Социолог? Педагог? Психолог? Так вот, извольте объяснить! Поймите, речь идет не о каких-то там санкциях. Но мы должны понять, как это могло случиться, что люди, еще вчера цивилизованные, воспитанные... я бы даже сказала, прекрасные люди!.. сегодня вдруг теряют человеческий облик! Вы знаете, чем отличается человек от всех других существ в мире?

— Э... разумностью? — предположил Тойво наобум.

— Нет, мой дорогой! Милосердием! Ми-ло-сер-ди-ем!

— Ну безусловно, — сказал Тойво. — Но откуда же следует, что давешние эти существа нуждались именно в милосердии?

Она посмотрела на него с отвращением.

— Вы сами-то видели их? — спросила она.

— Нет.

— Так как же вы беретесь об этом судить?

— Я не берусь судить, — сказал Тойво. — Я как раз хочу установить, чего они хотели...

— По-моему, я вам довольно ясно сказала, что эти живые существа, эти бедняги искали у нас помощи! Они находились на краю гибели! Они должны были вот-вот погибнуть! Они же ведь погибли, вы что же, не знаете этого? Все до единого! На моих глазах они умирали и превращались в ничто, в прах, и я ничего не могла поделать — я балерина, а не биолог, не врач. Я звала, но разве кто-нибудь мог меня услышать в этом шабаше, в этом разгуле дикости и жестокости?.. А потом, когда помощь наконец прибыла, было уже поздно, никого уже не осталось в живых. Никого! А эти дикари... Я не знаю, как объяснить их поведение... Может быть, это был массовый психоз... отравление... Я всегда была против употребления в пищу грибов... Наверное, придя в себя, они устыдились и разбежались кто куда! Вы нашли их?

— Да, — сказал Тойво.

— Вы говорили с ними?

— Да. С некоторыми. Не со всеми.

— Так скажите же мне, что с ними произошло? Каковы ваши выводы, хотя бы предварительные?..

— Видите ли... сударыня...

— Вы можете называть меня Альбиной.

— Благодарю вас. Видите ли, в чем дело... Дело в том, что, насколько мы можем судить, большинство ваших соседей восприняли это нашест... это событие несколько иначе, чем вы.

— Естественно! — высокомерно произнесла Альбина. — Я это видела своими глазами!

— Нет-нет. Я хочу сказать: они испугались. Они до смерти испугались. Они себя не помнили от ужаса. Они даже боятся сюда вернуться. Некоторые вообще хотят бежать с Земли после пережитого. И насколько я понимаю, вы — единственный человек, услышавший мольбы о помощи...

Она слушала величественно, но внимательно.

— Что же, — проговорила она. — По-видимому, им так стыдно, что приходится ссылаться на страх... Не верьте им, мой дорогой, не верьте! Это самая примитивная, самая постыдная ксенофобия... Наподобие расовых предрассудков. Я помню, в детстве я истерически боялась пауков и змей... Здесь — то же самое.

— Очень может быть. Но вот что мне хотелось бы все-таки уточнить. Они просили о помощи, эти существа. Они нуждались в милосердии. Но в чем это выражалось? Ведь, насколько я понимаю, они не говорили, не стонали даже...

— Дорогой мой! Они были больны, они умирали! Ну и что же, что они умирали молча? Выброшенный на сушу дельфинчик тоже ведь не издает ни звука... Во всяком случае, мы его не слышим... Но ведь нам понятно, что он нуждается в помощи, и мы спешим на помощь... Вот идет мальчик, вы отсюда не слышите, что он говорит, но вам понятно, что он бодр, весел, счастлив...

От коттеджа номер шесть к ним приближался Кир, и он действительно был явно бодр, весел и счастлив. Базиль, шагавший рядом с ним, почтительно нес в руках большую черную модель античной галеры и, кажется, задавал соответствующие вопросы, а Кир отвечал ему, показывая руками какие-то размеры, какие-то формы, какие-то сложные взаимодействия. Похоже, Базиль и сам был большим любителем-моделистом античных галер.

— Позвольте, — произнесла Альбина, приглядевшись. — Но это же Кир!

— Да, — сказал Тойво. — Он вернулся за своей моделью.

— Кир добрый мальчик, — заявила Альбина. — Но отец его вел себя омерзительно... Здравствуй, Кир!

Увлеченный Кир только теперь заметил ее, остановился и робко сказал: «Доброе утро...» Оживление исчезло с его лица. Как, впрочем, и с лица Базиля.

— Как себя чувствует твоя мама? — осведомилась Альбина.

— Спасибо. Она спит.

— А папа? Где твой отец, Кир? Он где-нибудь здесь?

Кир молча покрутил головой и насупился.

— А ты все время оставался здесь? — с восхищением воскликнула Альбина и победоносно посмотрела на Тойво.

— Он вернулся за своей моделью, — напомнил тот.

— Это все равно. Ты ведь не побоялся сюда вернуться, Кир?

— Да чего их бояться-то, бабушка Альбина? — сердито проворчал Кир, бочком-бочком целясь обойти ее стороной.

— Не знаю, не знаю, — сказала Альбина сварливо. — Вот папа твой, например...

— Папа не испугался ничуть. Вернее, он испугался, но только за маму и за меня. Просто в этой суматохе он не понял, какие они добрые...

— Не добрые, а несчастные! — поправила его Альбина.

— Да какие несчастные, бабушка Альбина? — возмутился Кир, смешно разводя руки жестом неумелого трагика. — Они же веселые, они же играть хотели! Они же так и ластились!

Бабушка Альбина снисходительно улыбалась.

Не могу удержаться от того, чтобы не подчеркнуть сейчас же обстоятельство, очень точно характеризующее Тойво Глумова как работника. Будь на его месте зеленый стажер, он после беседы с Дуремаром решил бы, что тот темнит и путает и что картина в общем и целом совершенно ясна: Флеминг создал эмбриофор нового типа, чудовища его вырвались на волю, можно благополучно отправляться досыпать, а поутру доложить начальству.

Опытный работник, например Сандро Мтбевари, тоже не стал бы распивать с Базилем кофе: эмбриофор нового типа — это не шутка, он бы немедленно разослал двадцать пять запросов во все мыслимые инстанции, а сам бы кинулся в Нижнюю Пешу брать за хрип флеминговских хулиганов и разгильдяев, пока они не приготовились там строить из себя оскорбленную невинность. Тойво Глумов не двинулся с места. Почему? Он почуял запах серы. Не запах даже — так, легкий запашок. Небывалый эмбриофор? Да, конечно, это серьезно. Но это не есть запах серы. Истерическая паника? Ближе. Существенно теплее. Но самое главное — странная старушка из коттеджа номер один. Вот! Паника, истерика, бегство, аварийщики, а она просит не галдеть и не мешать ей спать. Вот это уже не поддавалось традиционным объяснениям. Тойво и не пытался это объяснять. Он просто остался дожидаться, пока она встанет, чтобы задать ей несколько вопросов. Он остался и был вознагражден. «Если бы не вздумалось мне позавтракать с Базилем, — рассказывал он потом, — если бы я отправился к вам на доклад сразу же после интервью с этим Толстовым, я бы так и

остался под впечатлением, будто в Малой Пеше не произошло ничего загадочного, кроме дикой паники, вызванной нашествием искусственных животных. И тут появились мальчик Кир и бабушка Альбина и внесли существенный диссонанс в эту стройную, но примитивную схему...»

«Вздумалось позавтракать» — так он выразился. Скорее всего, для того, чтобы не тратить времени на попытки выразить словами те смутные и тревожные ощущения, которые и заставили его задержаться.

Малая Пеша. Тот же день. 8 часов утра.

Кир с галерой на руках кое-как втиснулся в кабину нуль-Т и исчез в свой Петрозаводск. Базиль снял свою чудовищную куртку, повалился на траву в тенечке и, кажется, задремал. Бабушка Альбина уплыла в коттедж номер один.

Тойво не стал заходить в павильон, он просто сел на траву, скрестивши ноги, и стал ждать.

В Малой Пеше ничего особенного не происходило. Чугунный Юрген время от времени взревывал из недр своего коттеджа номер семь — что-то насчет погоды, что-то насчет реки и что-то насчет отпуска. Альбина, по-прежнему вся в белом, появилась у себя на веранде и уселась под тентом. Донесся ее голос, мелодичный и негромкий, — видимо, она разговаривала по видеофону. Несколько раз в поле зрения появлялся Дуремар Толстов. Он сновал между коттеджами, то и дело приседая на корточки, разглядывая землю, зарывался в кусты, иногда даже перемещался на четвереньках.

В половине восьмого Тойво поднялся, вошел в клуб и связался по видео с мамой. Обычный контрольный звонок. Он опасался, что день будет очень занят и другого времени позвонить не найдется. Они поговорили о том о сем... Тойво рассказал, что встретил здесь престарелую балерину по имени Альбина. Не та ли это Альбина Великая, о которой ему все уши прожужжали в детстве? Они обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что это вполне возможно, а вообще-то была еще одна великая балерина Альбина, лет на пятьдесят старше Альбины Великой... Потом они распрощались до завтра.

Снаружи донесся зычный рев: «А раки? Лева, раки же!..»

Лева Толстов быстрым шагом приближался к клубу, раздраженно отмахиваясь левой рукой; правой он прижимал к груди какой-то объемистый пакет. У входа в павильон он приостановился и визгливым фальцетом провопил в сторону коттеджа номер семь: «Да вернусь я! Скоро!» Тут он заметил, что Тойво смотрит на него, и объяснил, словно бы извиняясь:

— На редкость странная история. Надо все-таки разобраться.

Он скрылся в кабине нуль-Т, и еще некоторое время не происходило совсем ничего. Тойво решил ждать до восьми часов.

Без пяти восемь из-за леса вынырнул глайдер, сделал несколько кругов над Малой Пешей, постепенно снижаясь, и мягко сел перед коттеджем номер десять, тем самым, где, судя по обстановке, обитала семья живописца. Из глайдера выпрыгнул рослый молодой мужчина, легко взбежал по ступенькам на веранду и крикнул, обернувшись: «Все в порядке! Никого и ничего!» Пока Тойво шел к ним через площадь, из глайдера вышла молоденькая женщина с коротко остриженными волосами, в фиолетовой хламидке выше колен. Она не стала подниматься на крыльцо, она осталась стоять возле глайдера, держась рукой за дверцу.

Как выяснилось, живописцем в этой семье была как раз женщина, ее звали Зося Лядова, и это ее автопортрет, оказывается, Тойво видел в коттедже у Ярыгиных. Было ей лет двадцать пять — двадцать шесть, она училась в Академии, в студии Комовского-Корсакова и ничего значительного пока еще не создала. Она была красива, гораздо красивее своего автопортрета. Чем-то она напомнила Тойво его Асю — правда, никогда в жизни не видел он свою Асю такой напуганной.

А мужчину звали Олег Олегович Панкратов, и был он лектором Сыктывкарского учебного округа, а до того, на протяжении почти тридцати лет, был астроархеологом, работал в группе Фокина, участвовал в экспедиции на Кала-и-Муг (она же «парадоксальная планета Морохаси») и вообще повидал белый свет, а равно и черный, серый и всяких иных оттенков. Очень спокойный, даже несколько флегматичный мужчина, руки как лопаты, надежный, прочный, основательный, бульдозером не сдвинешь, и лицом при этом бел и румян, синие глаза, нос картофелиной и русая бородища, как у Ильи Муромца...

И ничего удивительного не было в том, что во время ночных событий супруги вели себя совершенно по-разному. Олег Олегович при виде живых мешков, лезущих в окно спальни, удивился, конечно, но никакого испуга не испытал. Может быть, потому что сразу вспомнил о филиальчике в Нижней Пеше, куда он в свое время несколько раз наведывался, да и сам вид чудовищ не вызвал в нем ощущения опасности. Гадливость — вот что он испытал главным образом. Гадливость и отвращение, но никак не страх. Упершись ладонями, он не впустил эти мешки в спальню, выпихнул их обратно в сад, и это было противно, скользко, липко, они были неприятно податливо-упруги под ладонями, эти мешки, больше всего они напоминали внутренности какого-то огромного животного. Он тогда заметался по спальне,

пытаясь сообразить, чем вытереть руки, но тут на веранде закричала Зося, и ему стало не до брезгливости...

Да, все мы вели себя не лучшим образом, но все-таки распускаться так, как некоторые, нельзя. Ведь до сих пор кое-кто не может в себя прийти. Фролова нам пришлось уложить в больницу прямо в Суле, его отдирали от глайдера по частям, совершенно потерял себя... А Григоряны с детьми в Суле и задерживаться не стали, бросились в нуль-кабину все вчетвером и отправились прямо в Мирза-Чарле. Григорян крикнул на прощанье: «Куда угодно, только бы подальше и навсегда!..»

А Зося вот Григорянов понимала очень хорошо. Ей лично такого ужаса никогда испытывать не приходилось. И совсем не в том было дело, опасны эти животные или нет. «Если нас всех гнал ужас... Не вмешивайся, Олег, я говорю о нас, простых, неподготовленных людях, а не о таких громобоях, как ты... Если нас всех гнал ужас, то вовсе не потому, что мы боялись быть съеденными, задушенными, заживо переваренными и все такое прочее... Нет, это было совсем другое ощущение!» Зося затруднялась охарактеризовать это ощущение сколько-нибудь точно. Наиболее удобопонятной оказалась такая ее формулировка: это был не ужас, это было ощущение полной несовместимости, невозможности пребывания в одном объеме пространства с этими тварями. Но самым интересным в ее рассказе было совсем другое.

Оказывается, они были еще и прекрасны, эти чудовища! Они были настолько страшны и отвратны, что представлялись своего рода совершенством. Совершенством безобразия. Эстетический стык идеально безобразного и идеально прекрасного. Где-то когда-то было сказано, что идеальное безобразие якобы должно вызывать в нас те же эстетические ощущения, что и идеальная красота. До вчерашней ночи это всегда казалось ей парадоксом. А это не парадокс! Либо она такой уж испорченный человек?..

Она показала Тойво свои зарисовки, сделанные по памяти спустя два часа после паники. Они с Олегом заняли какой-то пустующий домик в Суле, и сначала Олег отпаивал ее тоником и пытался привести в чувство психомассажем, но это все не помогало, и тогда она схватила лист бумаги, какое-то отвратительное стило, жесткое и корявое, и стала торопливо, линия за линией, тень за тенью, переносить на бумагу то, что кошмаром маячило перед глазами, заслоняя реальный мир...

Ничего особенного на рисунках не обнаруживалось. Паутина линий, угадываются знакомые предметы: перила веранды, стол, кусты, а поверх всего — размытые тени неопределенных очертаний.

Впрочем, рисунки эти вызывали какое-то ощущение тревоги, неустроенности, неудобства... Олег Олегович находил, что в них что-то есть, хотя, на его взгляд, все было гораздо проще и противнее. Впрочем, он далек от искусства. Так, неквалифицированный потребитель, и не более того...

Он спросил Тойво, что удалось обнаружить. Тойво изложил ему свои предположения: Флеминг, Нижняя Пеша, эмбриофор нового типа и так далее. Панкратов покивал, соглашаясь, а потом сообщил с некоторой грустью, что во всей этой истории его более всего огорчает... Как бы это выразиться? Ну, скажем, чрезмерная нервность нынешнего землежителя. Ведь все же удрали, ну как один! Хоть кто-нибудь бы заинтересовался, полюбопытствовал бы... Тойво вступился за честь нынешнего землежителя и рассказал про бабушку Альбину и про мальчика Кира.

Олег Олегович оживился необычайно. Он хлопал лопатообразными ладонями по подлокотникам кресла и по столу, он победоносно взглядывал то на Тойво, то на свою Зосю и, похохатывая, восклицал: «Ай да Кирюха! Ай да молодец! Я всегда говорил, что из него будет толк... Но какова Альбина-то наша! Вот вам и цирлих-манирлих...» На это Зося запальчиво объявила, что ничего удивительного здесь нет, старые и малые всегда были одного поля ягоды... «И космопроходцы, заметь! — восклицал Олег Олегович. — Не забывай про космопроходцев, любимка моя!..» Они препирались полусерьезно-полушутливо, как вдруг произошел маленький инцидент.

Олег Олегович, слушавший свою «любимку» с улыбкой от уха до уха, улыбаться вдруг перестал, и выражение веселья на лице его сменилось выражением озадаченности, словно что-то потрясло его до глубины души. Тойво проследил направление его взгляда и увидел: в дверях своего коттеджа номер семь стоит, прислонившись плечом к косяку, безутешный и разочарованный Эрнст Юрген, уже не в краборакловном скафандре своем, а в просторном бежевом костюме, и в одной руке у него плоская банка с пивом, а в другой — колоссальный бутерброд с чем-то красно-белым, и он подносит ко рту то одну руку, то другую, и жует, и глотает, и неотрывно глядит при этом через площадь на вход в клуб.

— А вот и Эрнст! — воскликнула Зося. — А ты говоришь!

— С ума сойти! — медленно произнес Олег Олегович все с тем же крайне озадаченным видом.

— Эрнст, как видишь, тоже не испугался, — сказала ему Зося не без яда.

— Вижу, — согласился Олег Олегович.

Что-то он знал про этого Эрнста Юргена, никак он не ожидал его увидеть здесь после вчерашнего. Нечего было Эрнсту Юргену здесь делать сейчас, нечего было ему стоять у себя на веранде в Малой Пеше, пить пиво и закусывать вареными крабораками, а надлежало сейчас Эрнсту Юргену, наверное, драпать без оглядки куда-нибудь к себе на Титан или даже дальше.

И Тойво поспешил рассеять это недоразумение и рассказал, что Эрнста Юргена вчера ночью в поселке не было, а был Эрнст Юрген вчера ночью на ловле крабораков в нескольких километрах выше по течению. Зося очень огорчилась, а Олег Олегович, как показалось Тойво Глумову, даже дух с облегчением перевел. «Так это же другое дело! — сказал он. — Так бы сразу и сказали...» И хотя никаких вопросов по поводу его озадаченности никто, разумеется, не задавал, он вдруг пустился в объяснения: его-де смутило то, что ночью во время паники он своими глазами видел, как Эрнст Юрген, всех распихивая локтями, самым постыдным образом рвался в павильон к нуль-кабине. Теперь-то он понимает, что ошибся, не было этого и быть, оказывается, не могло, но в первый момент, когда он увидел Эрнста Юргена с банкой пива...

Неизвестно, поверила ли ему Зося, а Тойво не поверил ни единому его слову. Не было этого ничего, никакой Эрнст Юрген вчера Олегу Олеговичу во время паники не мерещился, а знал он, Олег Олегович, про этого Юргена что-то совсем другое, что-то гораздо более занимательное, но, видимо, нехорошее что-то, раз постеснялся об этом рассказать...

И тут тень пала на Малую Пешу, и пространство вокруг наполнилось бархатистым курлыканьем, и бомбой вылетел из-за угла павильона растревоженный Базиль, на ходу напяливая свою куртку, а солнце вновь уже воссияло над Малой Пешей, и на площадь величественно, не пригнув собою ни единой травинки, опустился, весь золотистый и лоснящийся, словно гигантский каравай, псевдограв класса «пума», из самых новых, суперсовременных, и тотчас же лопнули по обводу его многочисленные овальные люки, и высыпали из них на площадь длинноногие, загорелые, деловитые, громкоголосые, — высыпали и потащили какие-то ящики с раструбами, потянули шланги с причудливыми наконечниками, засверкали блицконтакторами, засуетились, забегали, замахали руками, и больше всех среди них суетился, бегал, размахивал руками, тащил ящики и тянул шланги Лев-Дуремар Толстов, все еще в одеждах, облепленных засохшей зеленой тиной.

Кабинет начальника отдела ЧП. 6 мая 99 года. Около часа дня.

— И чего же они добились со всей своей техникой? — спросил я.

Тойво скучно смотрел в окно, следя взглядом за Облачным Селением, неторопливо плывшим где-то над южными окраинами Свердловска.

— Ничего существенно нового, — ответил он. — Восстановили наиболее вероятный вид животных. Анализы получились такие же, как у аварийщиков. Удивлялись, что не сохранились оболочки эмбриофоров. Поражались энергетике, твердили, что это невозможно.

— Ты запросы послал? — спросил я через силу.

Хочу здесь еще раз подчеркнуть, что к тому времени я уже все видел, все знал, все понимал, но представления не имел, что мне делать с этим моим видением, знанием и пониманием. Я ничего не мог придумать, а сотрудники мои и коллеги только мешали мне. В особенности Тойво Глумов.

Больше всего на свете мне хотелось вот тут же, не сходя с места, отправить его в отпуск. Всех их отправить в отпуск, до последнего стажера, а самому отключить все линии связи, заэкранироваться, закрыть глаза и на сутки хотя бы остаться в полном одиночестве. Чтобы не надо было следить за своим лицом. Чтобы не надо было думать, какие мои слова прозвучат естественно, а какие — странно. Чтобы вообще ни о чем не надо было думать, чтобы в голове образовалась зияющая пустота, и тогда в этой пустоте искомое решение возникнет само собой. Это было что-то вроде галлюцинации — из тех, что появляются, когда приходится терпеть долгую нудную боль. Я терпел уже более пяти недель, душевные силы мои были на исходе, но пока еще мне удавалось владеть своим лицом, управлять своим поведением и задавать вполне уместные вопросы.

— Ты послал запросы? — спросил я Тойво Глумова.

— Запросы я послал, — ответил он монотонно. — Бюргермайеру в ПО «Эмбриомеханика». Горбацкому. Лично. И Флемингу. На всякий случай. Все — от вашего имени.

— Хорошо, — сказал я. — Подождем.

Теперь надо было дать ему выговориться. Я же видел: ему надо выговориться. Он должен был увериться, что самое главное не прошло мимо внимания руководителя. В идеале руководитель сам должен был вычленить и подчеркнуть это главное, но на это у меня уже недоставало сил.

— Ты хочешь что-то добавить? — спросил я.

— Да. Хочу. — Он щелчком сбил невидимую пылинку с поверхности стола. — Необычная технология — это не главное. Главное — это дисперсия реакций.

— То есть? — спросил я. (Я еще должен был его подгонять!)

— Вы могли бы обратить внимание на то, что события эти разделили свидетелей на две неравные группы. Строго говоря, даже на три. Большая часть свидетелей поддалась безудержной панике. Дьявол в средневековой деревне. Полная потеря самоконтроля. Люди бежали не просто из Малой Пеши. Люди бежали с Земли. Теперь вторая группа: зоотехник Анатолий Сергеевич и художница Зося Лядова хотя и перепугались вначале, но затем нашли в себе силы вернуться, причем художница увидела в этих животных даже какое-то очарование. И наконец — престарелая балерина и мальчик Кир. И еще, пожалуй, Панкратов, муж Лядовой. Эти вообще не испугались. Даже напротив... Дисперсия реакций, — повторил он.

Я понимал, чего он от меня ждет. Все выводы лежали на поверхности. Кто-то произвел в Малой Пеше эксперимент по искусственному отбору, разделил людей по их реакциям на тех, кто годен, и кто не годен к чему-то. Совершенно так же, как этот кто-то пятнадцать лет назад производил отбор в подпространственном секторе входа 41/02. И нет вопроса, кто этот кто-то, владеющий неведомой нам технологией. Тот же самый, кому по какой-то причине стала поперек дороги фукамизация... Тойво Глумов мог бы и сам все это мне сформулировать, но, с его точки зрения, это было бы нарушением служебной этики и принципа «сяо». Делать такие выводы — прерогатива руководителя и старшего в клане.

Но я не воспользовался своей прерогативой. На это мне тоже уже недоставало сил.

— Дисперсия... — повторил я. — Убедительно.

Кажется, я все-таки сфальшивил, потому что Тойво вдруг поднял свои белые ресницы и глянул на меня в упор.

— У тебя все? — спросил я сейчас же.

— Да, — ответил он. — Все.

— Хорошо. Подождем экспертизы. Что ты намерен сейчас делать? Пойдешь спать?

Он вздохнул. Еле заметно. «Руководство не сочло...» Менее сдержанный человек на его месте сказал бы какую-нибудь дерзость. Тойво сказал:

— Не знаю. Наверное, пойду еще поработаю. У меня сегодня счет должен закончиться.

— По китам?

— Да.

— Хорошо, — сказал я. — Как хочешь. А завтра изволь выехать в Харьков.

Тойво приподнял белесые брови, но ничего не сказал.

— Что такое Институт Чудаков, знаешь? — спросил я.

— Да. Кикин мне рассказывал.

Теперь приподнял брови я. Мысленно. Черт бы их всех подрал. Совершенно распустились. Неужели я каждый раз должен предупреждать каждого, чтобы не распускал язык? Не КОМКОН-2, а клубные посиделки…

— И что же тебе рассказывал Кикин? — спросил я.

— Это филиал Института метапсихических исследований. Изучают предельные и запредельные свойства человеческой психики. Полным-полно странных людей.

— Правильно, — сказал я. — Ты отправишься туда завтра. Слушай задание.

Задание я ему сформулировал так. 25 марта Институт Чудаков в Харькове почтил своим посещением знаменитый Колдун с планеты Саракш. Кто такой Колдун? Это, безусловно, мутант. Более того, он владыка и повелитель всех мутантов в радиоактивных джунглях за Голубой Змеей. Он обладает многими удивительными способностями, в частности он психократ. Что такое психократ? Психократ — это общее название для существ, способных подчинять себе чужую психику. Кроме того, Колдун — это существо необычайной интеллектуальной мощи, из тех сапиенсов, которым капли воды достаточно, чтобы сделать вывод о существовании океанов. Колдун прибыл на Землю с частным визитом. Почему-то в первую очередь его интересовал именно Институт Чудаков. Может быть, он жаждал найти себе подобных, мы не знаем. Визит его был рассчитан на четыре дня, а уехал он через час. Вернулся к себе на Саракш и там растворился в своих радиоактивных джунглях.

До этого места моя вводная Тойво Глумову содержала правду и одну только правду. Дальше начиналась псевдоквазия.

На протяжении последнего месяца наши Прогрессоры на Саракше по моей просьбе пытаются выйти с Колдуном на связь. У них ничего не получается. То ли Колдуна мы здесь, на Земле, как-то обидели, сами того не ведая. То ли одного часа достало ему, чтобы получить всю необходимую для него о нас информацию. То ли вообще произошло что-то специфически Колдуново и потому для нас непредставимое. Короче говоря, надлежит отправиться в Институт, поднять там все материалы по обследованию Колдуна (если таковое производилось), переговорить со всеми сотрудниками, кто имел с ним дело, выяснить, не произошло ли с Колдуном в Институте что-либо странное, не запомнились ли какие-нибудь его высказывания о Земле и о

нас, людях, не совершил ли он каких-либо поступков, в то время оставшихся без внимания, а ныне представляющихся в новом свете.

— Все понятно? — спросил я.

Он снова быстро взглянул на меня:

— Вы не сказали, по какой теме проходит эта моя командировка.

Нет, это не было вспышкой интуиции. И вряд ли он поймал меня на псевдоквазии. Просто он искренне не мог понять, как его начальник, располагая такой серьезной информацией относительно проникновения ненавистных Странников, может отвлекаться на что-то постороннее. И я сказал:

— Тема та же. «Визит старой дамы».

(Собственно, так оно и было. В широком смысле слова. В самом широком.)

Некоторое время он молчал, беззвучно постукивая пальцами по поверхности стола. Потом проговорил, как бы извиняясь:

— Я не вижу связи...

— Увидишь, — пообещал я.

Он молчал.

— А если связи нет, то тем лучше, — сказал я. — Это колдун, понимаешь? Настоящий колдун, я с ним знаком. Настоящий колдун из сказок, с говорящей птицей на плече и прочими причиндалами. Да еще колдун с другой планеты. Он нужен мне позарез!

— Возможный союзник, — сказал Тойво со слабой вопросительной интонацией в голосе.

Ну вот, он сам себе все и объяснил. Теперь будет работать как проклятый. Может быть, даже найдет Колдуна. Что, впрочем, сомнительно.

— Имей в виду, — сказал я. — В Харькове ты будешь выступать как сотрудник Большого КОМКОНа. Это не прикрытие, Большой КОМКОН действительно занимается поисками Колдуна.

— Хорошо, — сказал он.

— Все? Тогда иди. Иди, иди. Привет Асе.

Он ушел, и я, наконец, остался один. На несколько блаженных минут. До следующего видеофонного вызова. И вот в эти-то блаженные минуты я и решил окончательно: надо идти к Атосу. Идти немедленно, потому что, когда он ляжет на операцию, у меня вообще поблизости не останется ни одного человека, к которому я мог бы пойти.

Документ 5

КОМКОН-2. Свердловск. Каммереру.
Директор биоцентра ТПО Горбацкой
В ответ на Ваш запрос от 6 мая сего года.
Вас водят за нос. Такого быть не может. Не обращайте внимания.
Горбацкой
Конец документа 5.

Документ 6

КОМКОН-2. Каммереру.
Флеминг
Максим!

О происшествии в Малой Пеше мне известно все. Дело, на мой взгляд, невероятное и вызывающее зависть. Твои ребята очень точно поставили вопросы, на которые нам всем следует ответить. Этим и занимаюсь, бросивши все прочие дела. Когда что-нибудь прояснится, обязательно дам знать.

Флеминг
Ниж. Пеша. 15.30.

P.S. А может быть, ты уже выяснил что-нибудь по своим каналам? Если да, то сообщи немедленно. В течение ближайших трех дней я все время в Ниж. Пеше.

P.P.S. Неужели все-таки Странники? Ах, черт, как это было бы здорово!

Конец документа 6.

Документ 7

Производственное объединение «ЭМБРИОМЕХАНИКА»
Директорат
Земля, Антарктический регион, Эребус
А 18/03 62
Индекс О/Т: КЦ 946239
Связь: СКЦ-76
БЮРГЕРМАЙЕР АДОЛЬФ-АННА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
С-283, от 7 мая 99 года.
КОМКОН-2, «Урал-Север», ЧП. Связь: СРЗ-23
Начальнику отдела ЧП М. КАММЕРЕРУ

С о д е р ж а н и е: ответ на Ваш запрос от 6 мая 99 года.

Дорогой Каммерер!

Относительно интересующих Вас свойств современных эмбриофоров имею сообщить следующее.

1. Общая масса выделяющихся биомеханизмов — до 200 кг. Максимальное их число — 8 шт. Максимальный размер единичного экземпляра Вы можете определить по программе 102 АСТА (M, p, po, k), где M — масса исходного материала, p — плотность исходного материала, po — плотность окружающей среды, k — число выделяющихся механизмов. Соотношение с высокой точностью выполняется в диапазоне температур от 200 до 400 К и диапазоне давлений от 0 до 200 СЕ.

2. Время развития эмбриофора — величина нехарактерная, она зависит от множества параметров, которые полностью находятся под контролем инициатора. Впрочем, для самых быстродействующих эмбриофоров существует нижний предел времени развития, составляющий ок. 1 мин.

3. Время существования известных ныне биомеханизмов зависит от их индивидуальной массы. Критическая масса биомеханизма составляет Mo=12 кг. Биомеханизмы, масса M которых не превосходит Mo, обладают теоретически бесконечным временем жизни. Время же существования биомеханизмов с большей массой уменьшается с ростом избытка массы по экспоненте, так что время существования образцов наиболее массивных (порядка 100 кг) не может превосходить нескольких секунд.

4. Задача создания полностью рассасывающегося эмбриофора стоит уже давно, но, к сожалению, еще очень далека от разрешения. Даже самая совершенная технология бессильна пока создать оболочки, которые бы полностью включались в цикл развития.

5. Микроскопические биомеханизмы обладают, вообще говоря, высокой подвижностью (до 1000 собственных размеров в минуту). Что же касается полевых образцов, то рекордной пока считается модель КС-3 «Попрыгунчик», способная развивать направленные и стимулированные скорости до 5 м/с.

6. Со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что любой из ныне осуществимых биомеханизмов остро и однозначно (отрицательно) реагирует на естественное биополе. Это заложено в генетическую систему любого биомеханизма — и не из этических, как многие полагают, соображений, а потому, что любое естественное биополе с интенсивностью более 0,63 ГД (биополе котенка) создает некомпенсируемые помехи в сигнальной сети биомеханизма.

7. Относительно энергетического баланса. Выделение эмбриофором биомеханизмов с параметрами, описанными в Вашем запросе, несомненно, должно было бы привести к бурному освобождению энергии (взрыву), если бы описанная Вами картина была вообще возможна. Однако картина эта, как следует из всего вышеизложенного, представляется на нынешнем уровне научных и технологических возможностей совершенно фантастической.

С уважением,

Генеральный директор Бюргермайер.

Конец документа 7.

Документ 8

КОМКОН-2
«Урал-Север»
РАПОРТ-ДОКЛАД
№ 016/99
Д а т а: 8 мая 99 года.
А в т о р: Т. Глумов, инспектор.
Т е м а 009: «Визит старой дамы».
С о д е р ж а н и е: о пребывании Колдуна (Саракш) в Харьковском филиале Института метапсихических исследований (Институт Чудаков).

В соответствии с приказанием вчера утром я прибыл в Харьковский филиал Института Чудаков. Заместитель директора филиала Логовенко назначил мне аудиенцию на 10.00, однако в кабинет к нему меня сразу не пустили, а подвергли сначала обследованию в камере скользящей частоты КСЧ-8, называемой также «Как Словить Чудака». Оказывается, этой процедуре подвергается каждый новый посетитель филиала. Цель процедуры: выявить у взятого наудачу человека «латентные метапсихические способности», иначе говоря — так называемую «скрытую чудаковатость».

В 10.25 я представился заместителю директора по связям с общественными организациями.

(Логовенко Даниил Александрович, доктор психологии, член-корреспондент АМН Европы. Родился 17.09.30 в Борисполе. Образование: Институт психологии, Киев; факультет управления, Киевский университет; специальные курсы высшей и аномальной этологии, Сплит. Основные работы — в области метапсихологии, открыл так называемый «импульс Логовенко», он же «зубец Т-ментограммы».

Один из основателей Харьковского филиала Института метапсихических исследований.)

Д. Логовенко рассказал мне, что он сам встретил Колдуна утром 25 марта сего года на космодроме Мирза-Чарле и сопроводил его прямо в здание филиала. При сем присутствовали: завотделом филиала Богдан Гайдай и сопровождающий Колдуна от КОМКОНа-1 известный нам Боря Лаптев.

По прибытии в филиал Колдун уклонился от традиционной предварительной беседы с угощением и выразил желание немедленно начать ознакомление с деятельностью сотрудников и с их клиентурой. Тогда Д. Логовенко препоручил его, Колдуна, заботам Б. Гайдая и более с ним, Колдуном, ни разу не общался.

Я. Какова, по вашему мнению, была цель Колдуна в Институте?

ЛОГОВЕНКО. Сам Колдун ничего мне об этом не сказал. КОМКОН нас информировал, что Колдун якобы выразил желание ознакомиться с нашей работой, и мы с удовольствием эту возможность ему предоставили. Не без корысти, впрочем: мы рассчитывали обследовать его самого. В поле нашего зрения еще ни разу не попадал психократ подобной силы, да еще инопланетянин вдобавок.

Я. Что показало обследование?

ЛОГОВЕНКО. Обследование не состоялось. Колдун прервал свой визит совершенно неожиданно для всех.

Я. Как вы полагаете, почему?

ЛОГОВЕНКО. Мы все теряемся в догадках. Лично я склонен полагать вот что. Ему представили Мишеля Десмонда, это полиментал. И Колдун, возможно, уловил в Мишеле нечто такое, что от нас ускользнуло, а его то ли напугало, то ли оскорбило, одним словом, шокировало настолько, что он расхотел с нами общаться. Не забывайте, он психократ, он интеллектуал, но по происхождению своему, по воспитанию, по мировоззрению, если угодно, он типичный дикарь.

Я. Не совсем понимаю. Что такое полиментал?

ЛОГОВЕНКО. Полиментализм — это очень редкое метапсихическое явление, сосуществование в одном человеческом организме двух и более независимых сознаний. Не путайте с шизофренией, это не патология. Вот, например, наш Мишель Десмонд. Это абсолютно здоровый, очень приятный молодой человек, не обнаруживающий никаких отклонений от нормы. Но вот десяток лет назад совершенно случайно было обнаружено, что у него двойная ментограмма. Одна — обычная, человеческая, однозначно связанная с прошлой и настоящей жизнью Мишеля. И другая, обнаруживаемая при определенной, строго заданной глубине ментоскопирования. Это ментограмма существа, не

имеющего ничего общего с Мишелем, обитающего в мире, который так и не удалось идентифицировать. По-видимому, это мир необычайно больших давлений, высоких температур... Впрочем, это не существенно. Важно то, что Мишель понятия не имеет ни об этом мире, ни об этом соседствующем сознании, а то существо понятия не имеет ни о Мишеле, ни о нашем мире. Вот я и думаю: нам удалось обнаружить у Мишеля одно соседствующее сознание, а может быть, в нем сосуществуют и другие, оказавшиеся за пределами наших средств обнаружения, и они-то Колдуна и шокировали.

Я. Вас второй мир этого Десмонда не шокирует?

ЛОГОВЕНКО. Понимаю вас. Нет. Решительно нет. Но должен вам сказать, что тот ментоскопист, который впервые заглянул в этот мир и разглядел его, испытал сильнейшее потрясение. Главным образом, конечно, потому что решил, будто Мишель — замаскированный агент каких-нибудь Странников, Прогрессор из чужого мира.

Я. Каким образом установили, что это не так?

ЛОГОВЕНКО. На этот счет можно быть спокойным. Между поведением Мишеля и функционированием второго сознания нет никакой корреляции. Соседствующие сознания полиментала никак не взаимодействуют. Они в принципе не могут взаимодействовать, потому что функционируют в разных пространствах. Вот грубая аналогия. Представьте себе театр теней. Тени, проецируемые на экран, не могут взаимодействовать между собой. Конечно, остаются разнообразные фантастические соображения, но именно и только фантастические.

На этом моя беседа с Д. Логовенко закончилась, и меня познакомили с Б. А. Гайдаем.

(Гайдай Богдан Архипович, магистр психологии. Родился 10.06.55 в Середине-Буде. Образование: Институт психологии, Киев; специальные курсы высшей и аномальной этологии, Сплит. Основные работы — в области метапсихологии. С 89 года — сотрудник отдела психопрогностики, с 93-го — заведующий лабораторией приборного обеспечения, с 94-го — заведующий отделом интрапсихической техники.)

Отрывок из беседы:

Я. Как, по-вашему, что более всего интересовало Колдуна в Институте?

ГАЙДАЙ. Вы знаете, у меня такое впечатление, что этот Колдун был просто неверно информирован. Это и неудивительно. Даже здесь, на Земле, многие неправильно представляют себе нашу работу, а уж что говорить о Прогрессорах, с которыми Колдун имел дело у себя на

Саракше? Меня, помнится, сразу удивило, почему это Колдун, инопланетянин, на всей Земле пожелал увидеть только наш Институт... Мне кажется, дело вот в чем. У себя на Саракше он, так сказать, король мутантов, и, в связи с этим у него наверняка масса проблем: они вырождаются, болеют, их надо лечить, как-то поддерживать их. А наши «чудаки» — это ведь тоже своего рода мутанты, вот он и вообразил, будто сможет почерпнуть в Институте полезную информацию, решил, наверное, что у нас здесь что-то вроде клиники.

Я. И, поняв свою ошибку, повернулся и ушел?

ГАЙДАЙ. Вот именно. Немножко слишком резко повернулся, пожалуй, и немножко слишком поспешно ушел, но, в конце концов, возможно, у них там у всех такие манеры.

Я. О чем он с вами говорил?

ГАЙДАЙ. Ни о чем он со мной не говорил. Я вообще только один раз услышал его голос. Я спросил его, что он хотел бы у нас осмотреть, и он ответил: «Все, что покажете». Голос у него, надо сказать, довольно противный, как у сварливой ведьмы.

Я. Кстати, на каком языке вы с ним говорили?

ГАЙДАЙ. Представьте себе, на украинском!

По свидетельству Гайдая, Колдун встретился в Институте всего с тремя клиентами. Мне пока удалось поговорить с двумя из них.

Равич Марина Сергеевна, 27 лет, по образованию ветеринарный врач, ныне — консультант Ленинградского завода эмбриосистем, Лозаннской мастерской по реализации П-абстракций, Белградского института ламинарной позитроники и главного архитектора Якутского региона. Скромная, очень застенчивая и грустная женщина. Обладает уникальной и пока не объясненной способностью (этой способности еще даже не успели дать научное название). Если перед нею ставят четко сформулированную и понятную ей проблему, она принимается решать ее с азартом и с удовольствием, но в результате, совершенно помимо своей воли, получает решение иной проблемы, ничего общего с поставленной не имеющей, выходящей, как правило, за пределы ее профессиональных интересов. Поставленная проблема действует на ее сознание как катализатор для разрешения какой-либо иной проблемы, с которой она когда-то либо бегло ознакомилась по публикации в научно-популярном журнале, либо случайно услыхав разговор специалистов. Определить заранее, какую именно проблему она решит, видимо, невозможно в принципе: здесь действует нечто вроде классического принципа неопределенности в физике. Колдун появился у нее в кабинете в тот момент, когда она работала. Она смутно помнит уродливую большеголовую фигуру, затянутую в

зеленое, и больше никаких впечатлений от Колдуна у нее не сохранилось. Нет, он ничего не говорил. Какие-то обычные благоглупости о ее «даре» произносил Богдан, и больше она не помнит никаких голосов. По словам Гайдая, Колдун пробыл у нее всего две минуты, она заинтересовала его, видимо, не более, чем он ее.

Мишель Десмонд, 41 год, по образованию инженер-гранулист, профессиональный спортсмен, чемпион Европы 88 года по туннельному хоккею. Веселый мужчина, очень довольный собой и Вселенной. К своему полиментализму относится с юмором и вполне безразлично. Он как раз собирался на стадион, когда к нему привели Колдуна. Колдун, по его словам, имел болезненный вид и все время молчал, шутки до него не доходили; похоже, он плохо понимал, где находится и о чем с ним говорят. Было, правда, мгновение — его Мишель запомнит на всю жизнь, — когда Колдун вдруг поднял огромные свои бледные веки и заглянул Мишелю прямо в душу, а может быть и глубже, в самые недра того мира, где обитает тварь, с которой Мишель вынужден делить общий объем ментального пространства. Момент был неприятный, но и замечательный. Вскоре после этого Колдун удалился, так и не раскрыв рта. И не попрощавшись.

Сусуму Хирота, он же «Сэнриган», что означает «Видящий на тысячу миль», 83 года, историк религий, профессор кафедры истории религий Бангкокского университета. Поговорить с ним не удалось. В Институт он вернется только завтра или послезавтра. По мнению Гайдая, Колдуну этот ясновидец крайне не понравился. Во всяком случае, достоверно, что исход Колдуна исполнился именно во время их встречи.

По словам всех свидетелей, исход этот выглядел так. Только что стоял Колдун посередине ментоскопического кабинета, слушая, как Гайдай читает ему лекцию о необычайных способностях «Сэнригана», а «Сэнриган» время от времени перебивает лектора очередным разоблачением его, лектора, личных обстоятельств, и вдруг, не говоря ни слова, не предупредив действий своих ни жестом, ни взглядом, этот зеленый гномик резко повернулся, зацепив локтем Борю Лаптева, и быстрым шагом, не задерживаясь нигде ни на секунду, устремился по коридорам к выходу из филиала. Всё.

В филиале Колдуна видели еще несколько человек: научные сотрудники, лаборанты, кое-кто из административного персонала. Никто из них не знал, кого они видят. И только двое, новички в Институте, обратили на Колдуна специальное внимание, пораженные его внешностью. Ничего существенного я от них не узнал.

Далее я встретился с Борисом Лаптевым. Наиболее важная часть нашего разговора.

Я. Ты единственный человек, который был с Колдуном все время от Саракша до Саракша. Тебе не бросились в глаза какие-нибудь его странности?

БОРИС. Ну и вопрос! Это, знаешь, как у верблюда спросили: «Почему у тебя шея кривая?» Так он ответил: «А что у меня прямое?»

Я. И все-таки? Попробуй вспомнить его поведение за все это время. Ведь что-то же должно было случиться, раз он так взбрыкнул!

БОРИС. Слушай, я с Колдуном знаком два наших года. Это неисчерпаемое существо. Я давным-давно махнул рукой и даже не пытаюсь больше в нем разобраться. Ну что я тебе скажу? Был у него в этот день приступ депрессии, как я это называю. Время от времени находит на него без всяких видимых причин. Он становится молчалив, а если и открывает рот, так только чтобы сказать какую-нибудь пакость, ядовитое что-нибудь. Вот и в тот день. Пока мы с ним летели с Саракша, все было прекрасно, он изрекал афоризмы, шутил надо мною, даже напевал... Но уже в Мирза-Чарле вдруг помрачнел, с Логовенкой почти совсем не разговаривал, а когда мы вместе с Гайдаем двинулись по Институту, он и вовсе стал чернее тучи. Я даже стал бояться, что он вот-вот кого-нибудь обидит, но тут он, видно, и сам почувствовал, что дальше так нельзя, и унес свои когти от греха подальше. А потом до самого Саракша молчал... Только вот в Мирза-Чарле огляделся, словно на прощание, и противным таким, тоненьким голоском пропищал: «Видит горы и леса, облака и небеса, а не видит ничего, что под носом у него».

Я. Что это значит?

БОРИС. Какие-то детские стишки. Старинные.

Я. А как ты его понял?

БОРИС. Да никак я его не понял. Понял, что он зол на весь мир, того и гляди кусаться начнет. Понял, что надо помалкивать. Так мы с ним оба и промолчали до самого Саракша.

Я. И все?

БОРИС. И все. Перед самой посадкой он еще буркнул — тоже ни к селу ни к городу. Подождем-де, пока слепые не увидят зрячего. А как вышли за Голубую Змею, сделал мне ручкой и, как говорится, растворился в джунглях. Не поблагодарил, заметь, и к себе не пригласил.

Я. Больше ты ничего не можешь сказать?

БОРИС. Что ты от меня хочешь? Да, ему на Земле что-то здорово не понравилось. Что именно — поделиться он не соизволил. Я же тебе говорю: он существо необъяснимое и непредсказуемое. Может быть,

и Земля тут ни при чем. Может быть, у него просто живот вдруг в тот день заболел — в широком смысле слова, конечно, в очень широком, космическом...

Я. Ты считаешь, это случайность — в детском стишке кто-то там не видит ничего, а потом про слепых и зрячего?..

БОРИС. Понимаешь, про слепых и зрячих — это у них там на Саракше в Пандее есть такая поговорка: «Когда слепой зрячего увидит». В смысле «после дождичка в четверг» или «когда рак на горе свистнет». Видимо, он хотел про что-то сказать, что оно никогда не произойдет. А стишок — это просто так, от общей ядовитости. Он его с явной издевкой прочитал, непонятно только, над кем издевался. Очень может быть, что над этим утомительно-хвастливым японцем.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Никаких данных, которые могли бы помочь в поисках Колдуна на Саракше, получить не удалось.

2. Никаких рекомендаций по дальнейшему продолжению поиска дать не могу.

Т. Глумов

Конец документа 8.

* * *

6 мая вечером меня принял наш Президент, Атос-Сидоров. Я захватил с собой наиболее интересные материалы, а суть дела, равно как и предложения свои, изложил ему устно. Он уже был страшно болен, лицо у него было землистое, его мучила одышка. Я слишком долго тянул с этим визитом: у него недостало сил даже удивиться по-настоящему. Он сказал, что ознакомится с материалами, подумает и свяжется со мной завтра.

7 мая я весь день просидел у себя в кабинете, ожидая его вызова. Он меня не вызвал. Вечером мне сообщили, что у него случился сильнейший приступ, его едва откачали, сейчас он в больнице. И снова все свалилось на меня одного, да так, что затрещали бедные косточки моей души.

8 мая я получил, помимо всего прочего, отчет Тойво о его посещении Института Чудаков. Я поставил в моем списке птичку против его фамилии, ввел его рапорт-доклад в регистратор и стал выдумывать задание для Петеньки Силецкого. К этому дню в Институте не побывали у меня только Петенька Силецкий и Зоя Морозова.

Примерно в это время у себя в рабочей комнате Тойво Глумов разговаривал с Гришей Серосовиным. Я привожу ниже реконструкцию

их беседы для того, главным образом, чтобы продемонстрировать умонастроения, владевшие в ту пору моими сотрудниками. Только качественно. Количественно соотношение было прежним: на одной стороне — один только Тойво Глумов, на другой — все остальные.

Отдел ЧП, рабочая комната «Д». 8 мая 99 года. Вечер.

Гриша Серосовин вошел по обыкновению без стука, остановился на пороге и спросил:

— Можно к тебе?

Тойво отложил в сторону «Вертикальный прогресс» (сочинение анонимного К. Оксовью) и, склонив голову, оглядел Гришу.

— Можно. Только скоро я ухожу домой.

— Сандро опять нет?

Тойво поглядел на стол Сандро. Стол был пуст и безукоризненно чист.

— Да. Третий день.

Гриша сел за стол Сандро и задрал ногу на ногу.

— А ты где вчера пропадал? — спросил он.

— В Харькове.

— А, и ты побывал в Харькове?

— Кто еще?

— Да почти все. За последний месяц почти весь отдел побывал в Харькове. Слушай, Тойво, я вот к тебе за чем. Ты ведь занимался «внезапными гениями»?

— Да. Только давно. В позапрошлом году.

— Помнишь Содди?

— Помню. Барталомью Содди. Математик, ставший исповедником.

— Вот-вот, он самый, — сказал Гриша. — В сводке есть одна фраза. Цитирую: «По имеющимся данным, Б. Содди незадолго до метаморфозы пережил личную трагедию». Если сводку составлял ты, то два вопроса. Что это была за трагедия, и откуда ты добыл эти данные?

Тойво протянул руку и вызвал свою программу на терминал. Отбор информации закончился, программа уже считала. Неторопливыми движениями Тойво принялся прибирать стол. Гриша терпеливо ждал. Он привык.

— Раз там написано «по имеющимся данным», — сказал Тойво, — значит, эти данные я получил от Биг-Бага.

Он замолчал. Гриша подождал еще немного, поменял местами скрещенные ноги и произнес:

— Неохота мне с этой мелочью идти к Биг-Багу. Ладно, попробую обойтись... Слушай, Тойво, тебе не кажется, что наш Биг-Баг в последнее время какой-то нервный?

Тойво пожал плечами.

— Может быть, — сказал он. — Президент совсем плох. Горбовский, говорят, при смерти. А ведь он их всех знает. И очень хорошо знает.

Гриша произнес задумчиво:

— Между прочим, я с Горбовским тоже знаком, представь себе. Ты помнишь... Хотя тогда тебя у нас еще не было... Покончил с собой Камилл. Последний из Чертовой Дюжины. Впрочем, казус Чертовой Дюжины для тебя тоже, конечно, так... сотрясение воздуха. Я, например, в те поры ничего о нем и не слыхивал... Ну, сам факт самоубийства, а точнее будет сказать — саморазрушения этого несчастного Камилла, никаких сомнений не вызывал. Но непонятно было: почему? То есть понятно было, что жилось ему несладко, последние сто лет своей жизни он был совершенно один... Мы с тобой такого одиночества и представить себе не способны... Но я не об этом. Биг-Баг направил меня тогда к Горбовскому, потому что, оказывается, Горбовский в свое время был с этим Камиллом близок и даже как-то пытался его приветить... Ты меня слушаешь?

Тойво несколько раз кивнул.

— Да, — сказал он.

— Знаешь, какой у тебя вид?

— Знаю, — сказал Тойво. — У меня вид человека, который напряженно думает о чем-то своем. Ты мне это уже говорил. Несколько раз. Штамп. Согласен?

Вместо ответа Гриша вдруг выхватил из нагрудного кармана стило и метнул его прямо в голову Тойво — как дротик, через всю комнату. Тойво двумя пальцами взял стило из воздуха в нескольких сантиметрах от своего лица и сказал:

— Вяло.

«Вяло», — написал он стилом на листке перед собой.

— Вы меня щадите, сударь, — произнес он. — А щадить меня не надо. Это мне вредно.

— Ты понимаешь, Тойво, — проникновенно сказал Гриша, — я знаю, что у тебя хорошая реакция. Не блестящая, нет, но хорошая, добротная реакция профессионала. Однако вид твой... Пойми, как твой тренер по субаксу я просто считаю себя обязанным время от времени проверять, способен ли ты реагировать на окружающее или на самом деле пребываешь в каталепсии...

— Все-таки я сегодня устал, — сказал Тойво. — Сейчас досчитает программа, и пойду я домой.

— А что у тебя там, в программе? — спросил Гриша.

«У меня там», — написал Тойво на листке бумаги и сказал:

— У меня там киты. У меня там птицы. У меня там лемминги, крысы, полевки. У меня там много малых сих.

— И что они у тебя делают?

— Они у меня гибнут. Или бегут. Они умирают, выбрасываясь на берег, топятся, улетают с мест, где жили веками.

— Почему?

— Этого никто не знает. Два-три века назад это было обычным явлением, хотя и тогда не понимали, почему это происходит. Потом долгое время этого не было. Совсем. А сейчас началось опять.

— Позволь, — сказал Гриша. — Все это, конечно, страшно интересно, однако, при чем здесь мы?

Тойво молчал, и, не дождавшись ответа, Гриша спросил:

— Ты считаешь, что это может иметь отношение к Странникам?

Тойво старательно, со всех сторон, оглядел стило, вертя его в пальцах, взял за кончик и почему-то поглядел на свет.

— Все, что мы не умеем объяснить, может иметь отношение к Странникам.

— Чеканная формулировка, — восхищенно сказал Гриша.

— А может и не иметь, — добавил Тойво. — Где ты достаешь такие красивые вещицы? Казалось бы — стило. Что может быть банальней? А на твое стило приятно смотреть... Знаешь, — сказал он, — подари ты его мне. А я подарю его Асе. Я хочу ее порадовать. Хоть чем-то.

— А я хоть чем-то порадую тебя, — сказал Гриша.

— А ты хоть чем-то порадуешь меня.

— Бери, — сказал Гриша. — Владей. Дари, преподноси, соври что-нибудь. Дескать, сам спроектировал для любимой, ночами мастерил.

— Спасибо, — произнес Тойво, засовывая стило в карман.

— Но имей в виду! — Гриша поднял палец. — Здесь за углом, на улице Красных Кленов, стоит автомат от мастерской некоего Ф. Морана и печет такие вот стилья со скоростью спроса.

Тойво снова вынул стило и принялся его рассматривать.

— Все равно, — грустно сказал он. — Вот ты этот автомат на улице Красных Кленов заметил, а мне бы и в голову не пришло его замечать...

— Зато ты заметил непорядок в мире китов! — сказал Гриша.

«Китов», — написал Тойво на листке бумаги.

— А вот кстати, — проговорил он. — Вот ты человек свежий, непредубежденный, — как ты думаешь? Что должно такое произойти, чтобы стадо китов, прирученных, ухоженных, обласканных, вдруг, как века назад, в древние злобные времена, выбросилось на отмель умирать? Молча, даже на помощь не позвав, вместе с детенышами... Можешь ты себе представить хоть какую-нибудь причину для этого самоубийства?

— А раньше почему они выбрасывались?

— Почему они выбрасывались раньше — тоже неизвестно. Но тогда можно было хоть что-то предположить. Китов мучили паразиты, на китов нападали косатки и кальмары, на китов нападали люди... Было предположение даже, будто они кончали с собой в знак протеста... Но сегодня!

— А что говорят специалисты?

— Специалисты прислали запрос в КОМКОН-2: установите причину возобновившихся случаев самоубийства китообразных.

— Гм... Понятно. А пастухи что говорят?

— С пастухов все и началось. Пастухи утверждают, что китов гонит на гибель слепой ужас. И пастухи не понимают, представить себе не могут, чего именно могут бояться нынешние киты.

— Н-да, — сказал Гриша. — Похоже, здесь и в самом деле без Странников не обходится.

«Не обходится», — написал Тойво, обвел слова рамочкой, потом еще одной рамочкой и принялся закрашивать промежуток между линиями.

— Хотя, с другой стороны, — продолжал Гриша, — все это уже бывало, бывало и бывало. Теряемся в догадках, грешим на Странников, мозги себе вывихиваем, а потом глянем — ба! а кто это там такой знакомый маячит на горизонте событий? Кто это там такой изящный, с горделивой улыбкой господа бога вечером шестого дня творения? Чья это там такая знакомая белоснежная эспаньолка? Мистер Флеминг, сэр! Откуда вы здесь взялись, сэр? А не соизволите ли проследовать на ковер, сэр? Во Всемирный совет, в Чрезвычайный трибунал!

— Согласись, это был бы далеко не самый скверный вариант, — заметил Тойво.

— Еще бы! Хотя иногда мне кажется, что я предпочел бы иметь дело с десятком Странников, нежели с одним Флемингом. Впрочем, это, наверное, потому что Странники — существа почти гипотетические, а Флеминг со своей эспаньолкой — бестия вполне реальная. Удручающе реальная со своей белоснежной эспаньолкой, со своей

Нижней Пешей, со своими научными бандитами, со своей распроклятой мировой славой!..

— Я вижу, тебе его эспаньолка в особенности жить мешает...

— Эспаньолка его мне как раз не мешает, — возразил Гриша с ядом. — За эту эспаньолку мы его как раз можем взять. А вот за что мы возьмем Странников, если окажется, что это все-таки они?

Тойво аккуратно засунул стило в карман, поднялся и встал у окна. Краем глаза он видел, что Гриша внимательно на него смотрит, расплетя ноги и даже подавшись вперед. Было тихо, только слабо попискивало в терминале в такт сменам промежуточных таблиц на экране дисплея.

— Или ты надеешься, что это все-таки НЕ они? — спросил Гриша.

Некоторое время Тойво не отвечал, а потом вдруг проговорил, не оборачиваясь:

— Теперь уже не надеюсь.

— То есть?

— Это они.

Гриша прищурился.

— То есть?

Тойво повернулся к нему.

— Я уверен, что Странники на Земле, и действуют.

(Гриша потом рассказывал, что в этот момент он испытал очень неприятный шок. У него возникло ощущение ирреальности происходящего. Все дело здесь было в личности Тойво Глумова: эти слова Тойво Глумова было очень трудно состыковать с личностью Тойво Глумова. Слова эти не могли быть шуткой, потому что Тойво никогда не шутил по поводу Странников. Слова Тойво не могли быть суждением скоропалительным, потому что Тойво не высказывал скоропалительных суждений. И правдой эти слова никак быть не могли, потому что они никак не могли быть правдой. Впрочем, Тойво мог ошибаться...)

Гриша спросил напряженным голосом:

— Биг-Баг в курсе?

— Все факты я ему доложил.

— И что?

— Пока, как видишь, ничего, — сказал Тойво.

Гриша расслабился и снова откинулся на спинку кресла.

— Ты просто ошибся, — сказал он с облегчением.

Тойво молчал.

— Черт бы тебя побрал! — воскликнул вдруг Гриша. — До чего ты меня довел своими мрачными фантазиями! Меня же сейчас как ледяной водой окатило!

Тойво молчал. Он снова отвернулся к окну. Гриша закряхтел, схватил себя за кончик носа и, весь сморщившись, проделал им несколько круговых движений.

— Нет, — сказал он. — Я не могу, как ты, вот в чем дело. Не могу. Это слишком серьезно. Я от этого весь отталкиваюсь. Это же не личное дело: я-де верю, а вы все — как вам угодно. Если я в это поверил, я обязан бросить все, пожертвовать всем, что у меня есть, от всего прочего отказаться... Постриг принять, черт подери! Но жизнь-то наша многовариантна! Каково это — вколотить ее целиком во что-нибудь одно... Хотя, конечно, иногда мне становится стыдно и страшно, и тогда я смотрю на тебя с особенным восхищением... А иногда — как сейчас, например, — зло берет на тебя глядеть... На самоистязание твое, на одержимость твою подвижническую... И тогда хочется острить, издеваться хочется над тобою, отшучиваться от всего, что ты перед нами громоздишь...

— Слушай, — сказал Тойво, — чего ты от меня хочешь?

Гриша замолчал.

— Действительно, — проговорил он. — Чего это я от тебя хочу? Не знаю.

— А я знаю. Ты хочешь, чтобы все было хорошо и с каждым днем все лучше.

— О! — Гриша поднял палец.

Он хотел сказать еще что-то, что-то легкое, что смазало бы ощущение неловкой интимности, возникшей между ними за последние минуты, но тут пропел сигнал окончания программы, и на стол короткими толчками поползла лента с результатами. Тойво просмотрел ее всю, строчку за строчкой, аккуратно сложил по сгибам и сунул в щель накопителя.

— Ничего интересного? — осведомился Гриша с некоторым сочувствием.

— Как тебе сказать... — промямлил Тойво. Теперь он действительно напряженно думал о другом. — Снова весна восемьдесят первого.

— Что именно — снова?

Тойво прошелся кончиками пальцев по сенсорам терминала, запуская очередной цикл программы.

— В марте восемьдесят первого года, — сказал он, — впервые после двухвекового перерыва зафиксирован случай массового самоубийства серых китов.

— Так, — нетерпеливо сказал Гриша. — А в каком смысле — снова?

Тойво поднялся.

— Долго рассказывать, — проговорил он. — Потом сводку прочитаешь. Пошли по домам.

Тойво Глумов дома. 8 мая 99 года. Поздний вечер.

Они поужинали в комнате, багровой от заката.

Ася была в расстроенных чувствах. Закваска Пашковского, доставлявшаяся на деликатесный комбинат прямиком с Пандоры (в живых мешках биоконтейнеров, покрытых терракотовой изморозью, ощетиненных роговыми крючьями испарителей, по шесть килограммов драгоценной закваски в каждом мешке), закваска эта опять взбунтовалась. Вкусовой запах ее самопроизвольно перешел в класс «сигма», а горькость достигла последнего допустимого градуса. Совет экспертов раскололся. Магистр потребовал впредь до выяснения прекратить производство прославленных на всю планету «алапайчиков», а Бруно — дерзкий болтун, мальчишка, нахал — заявил: с какой это стати? Никогда в жизни он не осмеливался пикнуть против Магистра, а сегодня вдруг принялся ораторствовать. Рядовые любители-де такого изменения во вкусе попросту не заметят, а что касается знатоков-де, то он голову дает на отсечение — по крайней мере каждого пятого такая вкусовая вариация приведет-де в восторг... Кому это нужна его отсеченная голова? Но ведь его поддержали! И теперь непонятно, что будет...

Ася распахнула окно, села на подоконник и стала глядеть вниз, в двухкилометровую сине-зеленую пропасть.

— Боюсь, мне придется лететь на Пандору, — сказала она.

— Надолго? — спросил Тойво.

— Не знаю. Может быть, и надолго.

— А зачем, собственно? — спросил Тойво осторожно.

— Ты понимаешь, в чем дело... Магистр считает, что здесь, на Земле, мы проверили все, что возможно. Значит, не в порядке что-то на плантациях. Может быть, там пошел новый штамм... А может быть, что-то происходит при транспортировке... Мы не знаем.

— Один раз ты у меня уже летала на Пандору, — проговорил Тойво, мрачнея. — Полетела на недельку и просидела там три месяца.

— Ну а что делать?

Тойво поскреб ногтем щеку, покряхтел.

— Не знаю я, что делать... Я знаю, что три месяца без тебя — это ужасно.

— А два года без меня? Когда ты сидел на этой самой... как ее...

— Ну, вспомнила! Когда это было! Я был тогда молодой, я был тогда дурак... Я был тогда Прогрессор! Железный человек — мышцы, маска, челюсть! Слушай, пусть лучше твоя Соня летит. Она молодая, красоточка, замуж там выйдет, а?

— Конечно, Соня тоже полетит. А других идей у тебя нет?

— Есть. Пусть летит Магистр. Он эту кашу заварил, вот пусть теперь и летит.

Ася только посмотрела на него.

— Беру свои слова назад, — быстро сказал Тойво. — Ошибка. Просчет.

— Ему даже Свердловска нельзя покидать! У него же вкусовые пупырышки! Он четверть века своего квартала не покидал!

— Учту, — пошел отчеканивать Тойво. — Навсегда. Больше не повторится. Сморозил. Отмочил. Пусть летит Бруно.

Ася еще несколько секунд жгла его негодующим взглядом, а потом отвернулась и снова стала смотреть в окно.

— Бруно не полетит, — сказала она сердито. — Бруно теперь будет заниматься этим своим новым букетом. Он его хочет зафиксировать и стандартизовать... Но это мы еще посмотрим... — Она искоса глянула на Тойво и засмеялась. — Ага! Поскучнел! «Три месяца... Без тебя...»

Тойво немедленно поднялся, пересек комнату и сел у ног Аси на пол, прислонив голову к ее коленям.

— Тебе же все равно в отпуск надо, — сказала Ася. — Ты бы там поохотился... Это же ведь Пандора! Съездил бы в Дюны... Плантации бы наши посмотрел... Ты ведь даже представить себе не можешь, что это такое — плантации Пашковского!..

Тойво молчал и только все крепче прижимался щекой к ее коленям. Тогда она тоже замолчала, и некоторое время они не разговаривали, а потом Ася спросила:

— У тебя что-то происходит?

— Почему ты так решила?

— Не знаю. Вижу.

Тойво глубоко вздохнул, поднялся с пола и тоже сел на подоконник.

— Правильно видишь, — угрюмо произнес он. — Происходит. У меня.

— Что же?

Тойво, прищурясь, разглядывал черные полосы облаков, перерезающие медно-багровое зарево заката. Сизо-черные нагромождения лесов у горизонта. Тонкие черные вертикали тысячеэтажников, встопорщенные гроздьями кварталов. Медно отсвечивающий, исполинский купол Форума слева и неправдоподобно гладкая поверхность круглого Моря справа. И черные попискивающие стрижи, дротиками срывающиеся из висячего сада кварталом выше и исчезающие в листве висячего сада кварталом ниже.

— Что происходит? — спросила Ася.

— Ты удивительно красивая, — сказал Тойво. — У тебя соболиные брови. Я не знаю точно, что эти слова означают, но это сказано про что-то очень красивое. Про тебя. Ты даже не красивая, ты прекрасная. Миловзора. И заботы твои милые. И твой мир милый. И даже Бруно твой милый, если подумать... И вообще мир прекрасен, если хочешь знать... «Мир прекрасен, как цветочек. Счастьем обеспечены пять сердец, и девять почек, и четыре печени...» Я не знаю, что это за стихи. Они у меня вдруг всплыли, и я захотел их прочитать... И вот что я тебе скажу, запомни! Очень даже может быть, что вскорости я прилечу к тебе на Пандору. Потому что вот-вот у него лопнет терпение, и он действительно выгонит меня в отпуск. А может быть, и вообще выгонит. Вот что я читаю в его ореховых глазах. Явственно, как на дисплее. А теперь давай-ка чайку.

Ася проницательно посмотрела на него.

— Ничего не выходит? — спросила она.

Тойво уклонился от ее взгляда и неопределенно повел плечом.

— Потому что с самого начала у тебя все было неправильно задумано, — сказала Ася горячо. — Потому что с самого начала задача была поставлена неправильно! Нельзя ставить задачу так, чтобы никакой результат тебя не устраивал. Твоя гипотеза изначально была порочна — помнишь, что я тебе говорила? Если бы Странники на самом деле обнаружились, разве ты бы обрадовался? А теперь ты начинаешь понимать, что их нет, и опять же тебе плохо — ты ошибся, ты высказал неверную гипотезу, ты как бы в проигрыше, хотя на самом деле ты ничего не проиграл...

— Я с тобой и не спорил никогда, — смиренно сказал Тойво. — Кругом я виноват, такая уж у меня судьба...

— Видишь, теперь и он тоже в этой вашей идее разочаровался... Я, конечно, не верю, что он тебя выгонит, что за чепуху ты порешь, он же тебя и любит, и ценит, это же все знают... Но ведь в самом деле, нельзя же столько лет гробить — и на что, собственно? Ведь у вас, по сути, ничего нет, кроме голой идеи. Никто не спорит: идея довольно

любопытная, способна нервы пощекотать кому угодно, но ведь не более того! По сути своей это просто инверсия давным-давно известной человеческой практики... Просто Прогрессорство навыворот, больше ничего... Раз мы спрямляем чью-то историю, значит, и нашу историю могут попытаться спрямить... Подожди, послушай! Во-первых, вы забываете, что не всякая инверсия имеет выражение в реальности. Грамматика — одно, а реальность — это другое. Поэтому сначала это выглядело у вас интересно, а теперь выглядит попросту... ну, неприлично, что ли... Знаешь, что мне вчера сказал один наш деятель? Он сказал: «Мы, знаете ли, не комконовцы, это комконовцам можно только позавидовать. Когда они сталкиваются с какой-нибудь действительно серьезной загадкой, они быстренько атрибутируют ее как результат деятельности Странников, и все дела!»

— Это кто же, интересно, сказал? — мрачно спросил Тойво.

— Да какая тебе разница? Вот у нас закваска взбунтовалась. Зачем нам искать причины? Все ясно: Странники! Кровавая рука сверхцивилизации! И не злись, пожалуйста. Не злись! Тебе такие шутки не нравятся, но ты же их почти никогда и не слышишь. А я их слышу постоянно. Один только «синдром Сикорски» чего мне стоит... И ведь это уже не шутка. Это уже приговор, милые вы мои! Это диагноз!

Тойво уже справился с собой.

— А что, — сказал он, — насчет закваски — это мысль. Это ведь ЧП! Почему не сообщили? — осведомился он строго. — Порядка не знаете? А вот мы сейчас Магистра — на ковер!

— Шуточки все тебе, — сердито сказала Ася. — Все кругом шутят!

— И прекрасно! — подхватил Тойво. — Радоваться надо! Когда начнутся настоящие дела, вот увидишь — станет не до шуток...

Ася с досадой стукнула кулачком по колену.

— Ах ты, господи! Ну что ты передо мной-то притворяешься? Не хочется же тебе шутить, не до шуток тебе, и вот это особенно в вас раздражает! Вы построили вокруг себя угрюмый, мрачный мир, мир угроз, мир страха и подозрительности... Почему? Откуда? Откуда у вас эта космическая мизантропия?

Тойво промолчал.

— Может быть, потому что все ваши необъясненные ЧП — это трагедии? Но ведь ЧП — всегда трагедия! Загадочное оно или всем понятное, ведь на то оно и ЧП! Верно?

— Неверно, — сказал Тойво.

— Что — есть ЧП другие, счастливые?

— Бывают.

— Например? — осведомилась Ася, исполняясь яду.

— Давай лучше чайку попьем, — предложил Тойво.

— Нет уж, ты мне, пожалуйста, приведи пример счастливого, радостного, жизнеутверждающего чрезвычайного происшествия.

— Хорошо, — сказал Тойво. — Но потом мы попьем чайку. Договорились?

— Да ну тебя, — сказала Ася.

Они замолчали. Внизу сквозь густую листву садов, сквозь сизоватые сумерки засветились разноцветные огоньки. И искрами огней обсыпались черные столбы тысячеэтажников.

— Тебе имя Гужон знакомо? — спросил Тойво.

— Разумеется.

— А Содди?

— Еще бы!

— Чем, по-твоему, замечательны эти люди?

— «По-моему»! Не, по-моему, а всем известно, что Гужон — замечательный композитор, а Содди — великий исповедник... А по-твоему?

— А, по-моему, замечательны они совсем другим, — сказал Тойво. — Альберт Гужон до пятидесяти лет был неплохим, но не более того, агрофизиком без всяких способностей к музыке. А Барталомью Содди сорок лет занимался теневыми функциями и был сухим, педантичным, нелюдимым человеком. Вот чем эти люди более всего замечательны, ПО-МОЕМУ.

— Что ты хочешь этим сказать? Что ты в этом нашел такого уж замечательного? Люди скрытого таланта, долго и упорно работали... а потом количество перешло в качество...

— Не было количества, Ася, вот ведь в чем дело. Одно лишь качество переменилось вдруг. Радикально. В одночасье. Как взрыв.

Ася помолчала, шевеля губами, а потом спросила с неуверенным ехидством:

— Так что же это, по-твоему, Странники их вдохновили, так?

— Я этого не говорил. Ты предложила мне привести примеры счастливых, жизнеутверждающих ЧП. Пожалуйста. Могу назвать еще десяток имен, правда менее известных.

— Хорошо. А почему, собственно, вы этим занимаетесь? Какое, собственно, вам до этого дело?

— Мы занимаемся любыми чрезвычайными происшествиями.

— Вот я и спрашиваю: что в этих происшествиях чрезвычайного?

— В рамках существующих представлений они необъяснимы.

— Ну мало ли что на свете необъяснимо! — вскричала Ася. — Ридерство тоже необъяснимо, только мы к нему привыкли...

— То, к чему мы привыкли, мы и не считаем чрезвычайным. Мы не занимаемся явлениями, Ася. Мы занимаемся происшествиями, событиями. Чего-то не было, не было тысячу лет, а потом вдруг случилось. Почему случилось? Непонятно. Как объясняется? Специалисты разводят руками. Тогда мы берем это на заметку. Понимаешь, Аська, ты неверно классифицируешь ЧП. Мы их не делим на счастливые и трагические, мы их делим на объясненные и необъясненные.

— Ты что, считаешь, что любое необъясненное ЧП несет в себе угрозу?

— Да. В том числе и счастливое.

— Какую же угрозу может нести в себе необъяснимое превращение рядового агрофизика в гениального музыканта?

— Я не совсем точно выразился. Угрозу несет в себе не ЧП. Самые таинственные ЧП, как правило, совершенно безобидны. Иногда даже комичны. Угрозу может нести в себе причина ЧП. Механизм, который породил это ЧП. Ведь можно поставить вопрос так: зачем кому-то понадобилось превращать агрофизика в музыканта?

— А может быть, это просто статистическая флюктуация!

— Может быть. В том-то и дело, что мы этого не знаем... Между прочим, обрати внимание, куда ты приехала. Скажи на милость, чем твое объяснение лучше нашего? Статистическая флюктуация, по определению непредсказуемая и неуправляемая, или Странники, которые, конечно, тоже не сахар, но которых все-таки, хотя бы в принципе, можно надеяться поймать за руку. Да, конечно, «статистическая флюктуация» — это звучит куда как более солидно, научно, беспристрастно, не то, что эти пошлые, у всех уже на зубах навязшие, дурно-романтические и банально-легендарные...

— Подожди, не ехидствуй, пожалуйста, — сказала Ася. — Никто ведь твоих Странников не отрицает. Я тебе не об этом совсем толкую... Ты меня совсем сбил... И всегда сбиваешь! И меня, и Максима своего, а потом ходишь, повесивши нос на квинту, изволь тебя утешать... Да, я вот что хотела сказать. Ладно, пусть Странники на самом деле вмешиваются в нашу жизнь. Не об этом спор. «Почему это плохо?» — вот о чем я тебя спрашиваю! Почему вы из них жупел делаете? — вот чего я понять не могу! И никто этого не понимает... Почему, когда ТЫ спрямлял историю других миров — это было хорошо, а когда некто берется спрямлять ТВОЮ историю... Ведь сегодня любой ребенок знает, что сверхразум — это обязательно добро!

— Сверхразум — это сверхдобро, — сказал Тойво.

— Ну? Тем более!

— Нет, — сказал Тойво. — Никаких «тем более». Что такое добро, мы знаем, да и то не очень твердо. А вот что такое сверхдобро...

Ася снова ударила себя кулачками по коленкам.

— Не понимаю! Уму непостижимо! Откуда у вас эта презумпция угрозы? Объясни, втолкуй!

— Вы все совершенно неправильно понимаете нашу установку, — сказал Тойво, уже злясь. — Никто не считает, будто Странники стремятся причинить землянам зло. Это действительно чрезвычайно маловероятно. Другого мы боимся, другого! Мы боимся, что они начнут творить здесь добро, как ОНИ его понимают!

— Добро всегда добро! — сказала Ася с напором.

— Ты прекрасно знаешь, что это не так. Или, может быть, на самом деле не знаешь? Но ведь я объяснял тебе. Я был Прогрессором всего три года, я нес добро, только добро, ничего, кроме добра, и, господи, как же они ненавидели меня, эти люди! И они были в своем праве. Потому что боги пришли, не спрашивая разрешения. Никто их не звал, а они вперлись и принялись творить добро. То самое добро, которое всегда добро. И делали они это тайно, потому что заведомо знали, что смертные их целей не поймут, а если поймут, то не примут... Вот какова морально-этическая структура этой чертовой ситуации! Феодальный раб в Арканаре не поймет, что такое коммунизм, а умный бюрократ триста лет спустя поймет и с ужасом от него отшатнется... Это азы, которые мы, однако, не умеем применить к себе. Почему? Да потому, что мы не представляем себе, что могут предложить нам Странники. Аналогия не вытанцовывается! Но я знаю две вещи. Они пришли без спроса — это раз. Они пришли тайно — это два. А раз так, то, значит, подразумевается, что они лучше нас знают, что нам надо, — это раз, и они заведомо уверены, что мы либо не поймем, либо не примем их целей, — это два. И я не знаю, как ты, а я не хочу этого. Не хо-чу! «И все!» — сказал он решительно. — И хватит. Я усталый, недобрый, озабоченный человек, взваливший на себя груз неописуемой ответственности. У меня синдром Сикорски, я психопат и всех подозреваю. Я никого не люблю, я урод, я страдалец, я мономан, меня надо беречь, проникнуться ко мне сочувствием... Ходить вокруг меня на цыпочках, целовать в плечико, услаждать анекдотами... И чаю. Боже мой, неужели мне так и не дадут сегодня чаю?

Не сказав ни слова, Ася соскочила с подоконника и ушла творить чай. Тойво прилег на диван. Из окна на грани слышимости доносилось зудение какого-то экзотического музыкального инструмента. Огромная бабочка вдруг влетела, сделала круг над столом и уселась на экран визора, распластав мохнатые черные с узором крылья. Тойво

не поднимаясь потянулся было к пульту сервиса, но не дотянулся и уронил руку.

Ася вошла с подносом, разлила чай в стаканы и села рядом.

— Смотри, — шепотом сказал Тойво, указывая ей глазами на бабочку.

— Прелесть какая, — отозвалась Ася тоже шепотом.

— Может быть, она захочет с нами тут пожить?

— Нет, не захочет, — сказала Ася.

— Почему! Помнишь, у Казарянов была стрекоза...

— Она у них не жила. Так, погащивала...

— Вот пусть и эта погащивает. Мы будем звать ее Марфа.

— Почему — Марфа?

— А как?

— Сцинтия, — сказала Ася.

— Нет, — сказал Тойво решительно. — Какая еще Сцинтия... Марфа. Марфа Посадница. А экран у нас будет — Посадник.

Я не собираюсь, разумеется, утверждать, будто именно такой дословно разговор произошел у них поздним вечером восьмого мая. Но что они вообще много говорили на эти темы, спорили, не соглашались друг с другом — это я знаю точно. И что никто из них не смог ничего доказать другому — это я тоже знаю точно.

Ася, разумеется, не способна оказалась передать мужу свой вселенский оптимизм. Оптимизм ее питался от самой атмосферы, ее окружавшей, от людей, с которыми она работала, от самой сути ее работы, вкусной и доброй. Тойво же пребывал за пределами этого оптимистического мира, в мире постоянной тревоги и настороженности, где оптимизм передается от человека к человеку лишь с трудом, при благоприятном стечении обстоятельств и ненадолго.

Но Тойво не сумел обратить жену в своего единомышленника, заразить ее своим ощущением надвигающейся угрозы. Его рассуждениям не хватало конкретности. Они были слишком умозрительны, выдуманны. Они были мировоззрением, ничем для Аси не подтверждаемым, своего рода профессиональным заболеванием. Он так и не сумел «ужаснуть» Асю, заразить ее своим отвращением, негодованием, неприязнью...

Поэтому, когда гром грянул, они оказались в буре такими разобщенными и неготовыми, словно никогда и не было у них ни этих споров, ни ссор, ни яростных попыток убедить друг друга.

Утром девятого мая Тойво вторично отправился в Харьков, чтобы встретиться все-таки с ясновидящим Хиротой и закрыть дело о визите Колдуна окончательно.

Документ 9

КОМКОН-2
«Урал-Север»
РАПОРТ-ДОКЛАД
№ 017/99
Д а т а: 9 мая 99 года.
А в т о р: Т. Глумов, инспектор.
Т е м а 009: «Визит старой дамы».
С о д е р ж а н и е: дополнение к р/д № 016/99.

Сусуму Хирота, он же «Сэнриган», принял меня в своем рабочем кабинете в 10.45. Это небольшого роста ладный старик (он выглядит заметно старше своего возраста). Весьма увлечен своим «даром», пользуется любым удобным моментом, чтобы этот «дар» продемонстрировать: у вашей жены неприятности на работе... на Пандору она полетит обязательно, не надейтесь, что все обойдется... вот это стило вам подарил приятель, а вы забыли передать его жене... И так далее в том же духе. Довольно неприятно, надо сказать. «Исход Колдуна», по его словам, выглядел так: «Ему, видимо, стало страшно, что я сейчас узнаю о нем нечто сокровенное, и тогда он обратился в бегство. Ему невдомек было, что он виделся мне как пустой белесый экран без единой контрастной детали, ведь он — существо из иного мира...»

Т. Глумов
Конец документа 9.

Документ 10

Важно!
КОМКОН-2
«Урал-Север»
РАПОРТ-ДОКЛАД
№ 018/99
Д а т а: 9 мая 99 года.
А в т о р: Т. Глумов, инспектор.
Т е м а 009: «Визит старой дамы».
С о д е р ж а н и е: Институт Чудаков интересуется свидетелями событий в Малой Пеше.

Во время моей беседы с дежурным диспетчером Института Чудаков 9 мая в 11.50 имело место следующее происшествие.

Беседуя со мной, дежурный диспетчер Темирканов одновременно очень быстро и профессионально снимал данные с регистратора и заносил их в терминал машины. Данные эти по мере поступления появлялись на контрольном дисплее и имели формат: фамилия, имя, отчество; (по-видимому) возраст; название населенного пункта (место рождения? место жительства? место постоянной работы?); профессия; некий шестизначный индекс.

Я не обращал внимания на дисплей, пока на нем вдруг не появилось:

КУБОТИЕВА АЛЬБИНА МИЛАНОВНА

96 БАЛЕРИНА АРХАНГЕЛЬСК 001507

Затем появились две фамилии, которые мне ничего не говорили, после чего:

КОСТЕНЕЦКИЙ КИР

12 ШКОЛЬНИК ПЕТРОЗАВОДСК 001507

Напоминаю: эти двое проходят как свидетели событий в Малой Пеше, см. мой р/д № 015/99 от 07.05 с.г.

По-видимому, на несколько секунд я потерял контроль над собой, потому что Темирканов осведомился, что это меня так удивило. Я нашелся, что меня удивила фамилия Альбины Куботиевой, балерины, о которой мне много рассказывали мои родители, заядлые балетоманы; мне кажется странным видеть здесь ее имя; неужели Альбина Великая обладает еще и метапсихическими талантами? Темирканов засмеялся и ответил, что это не исключено. По его словам, на регистраторы всех филиалов Института непрерывно поступает информация относительно лиц, которые теоретически могут представлять интерес для метапсихологов. Подавляющая масса информации идет с терминалов клиник, больниц, здравпунктов и прочих медицинских учреждений, оборудованных стандартными психоанализаторами. Только в Харьковском филиале за сутки набираются сотни фамилий кандидатов, но практически все это пустышки: «чудаки» составляют едва ли не одну стотысячную всей массы кандидатов.

В создавшейся ситуации я счел правильным сменить тему беседы.

Т. Глумов

Конец документа 10.

Документ 11

РАБОЧАЯ ФОНОГРАММА

Д а т а: 9 мая 99 года.

С о б е с е д н и к и: М. Каммерер, начальник отдела ЧП; Т. Глумов, инспектор.

Т е м а 009: «Визит старой дамы».

С о д е р ж а н и е: Институт Чудаков — возможный объект темы 009.

КАММЕРЕР. Любопытно. А ты приметлив, паренек. Глазок-смотрок! Ну что ж, у тебя, конечно, и версия наготове. Излагай.

ГЛУМОВ. Окончательный вывод или логику?

КАММЕРЕР. Логику, пожалуйста.

ГЛУМОВ. Проще всего было бы предположить, что имена Альбины и Кира сообщил в Харьков какой-нибудь энтузиаст метапсихологии. Если он был свидетелем событий в Малой Пеше, его могла поразить аномальность реакции этих двоих, и он сообщил о своем наблюдении компетентным лицам. Я прикинул: по крайней мере три человека могли это сделать. Базиль Неверов, аварийщик. Олег Панкратов, лектор, бывший астроархеолог. И его жена, Зося Лядова, художница. Конечно, в точном смысле слова свидетелями они не были, но в данном случае это не имеет значения... Без вашего разрешения разговаривать с ними я не рискнул, хотя считаю, что это вполне возможно — выяснить прямо у них, давали они информацию в Институт или не давали...

КАММЕРЕР. Есть более простой способ...

ГЛУМОВ. Да, по индексу. Обратиться с запросом в Институт. Но как раз этот способ не годится никуда, и вот почему. Если это доброхот-энтузиаст, тогда все разъяснится, и говорить больше будет не о чем. Но я предлагаю рассмотреть другой вариант. А именно: никаких доброхотов-информаторов не было, а был там специальный наблюдатель от Института Чудаков.

(Пауза.)

Предположим, что в Малой Пеше находился специальный наблюдатель от Института Чудаков. Это означало бы, что там производился некий психологический эксперимент, имеющий целью отсортировать, скажем, нормальных людей от людей необычных. Например, чтобы в дальнейшем искать у этих необычных так называемую «чудаковатость». В таком случае, одно из двух. Либо Институт Чудаков — это обычный исследовательский центр, работают в нем обычные научники, и ставят они обычные эксперименты — пусть весьма

сомнительные в этическом отношении, но в конечном счете радеющие о пользе науки. Но тогда непонятно, откуда в их распоряжении технология, далеко превосходящая даже перспективные возможности нашей эмбриомеханики и нашего биоконструирования.

(Пауза.)

Либо эксперимент в Малой Пеше организован не людьми, как мы и предположили вначале. Тогда в каком свете предстает Институт Чудаков?

(Пауза.)

Тогда Институт этот — никакой на самом деле не институт, «чудаки» тамошние — никакие не «чудаки», а персонал там на самом деле занимается вовсе не метапсихологией.

КАММЕРЕР. А чем же? Чем же они там занимаются, и кто они такие?

ГЛУМОВ. То есть вы опять считаете мои рассуждения неубедительными?

КАММЕРЕР. Напротив, мой мальчик. Напротив! Они даже слишком убедительны, эти твои рассуждения. Но я хотел бы, чтобы ты сформулировал свою идею прямо, сухо и недвусмысленно. Как в рапорте.

ГЛУМОВ. Пожалуйста. Так называемый Институт Чудаков является на самом деле орудием Странников для сортировки людей по не известному мне пока признаку. Все.

КАММЕРЕР. И следовательно, Даня Логовенко, заместитель тамошнего директора, мой давний приятель...

ГЛУМОВ (прерывает). Нет! Это было бы слишком фантастично. Но, может быть, ваш Даня Логовенко уже давным-давно отсортирован? Давнее его знакомство с вами от этого не гарантирует. Отсортирован и работает на Странников. Как и весь персонал Института, не говоря уже о «чудаках» ...

(Пауза.)

Они по крайней мере двадцать лет занимаются сортировкой. Когда отсортированных сделалось достаточно, они организовали Институт, поставили там эти свои камеры скользящей частоты и под предлогом поиска «чудаков» прогоняют через них по десять тысяч человек в год... И мы ведь еще не знаем, сколько на планете таких заведений под самыми разными вывесками...

(Пауза.)

И Колдун убежал из Института к себе на Саракш вовсе не потому, что его обидели или у него, заболел живот. Он почуял здесь Странников! Как наши киты, как лемминги... «Когда слепые увидят зрячего»,

— это про нас с вами. «...И не видит ничего, что под носом у него», — это тоже про нас с вами, Биг-Баг!

(Пауза.)

Короче говоря, мы, кажется, впервые в истории можем поймать Странников за руку.

КАММЕРЕР. Да. И все это началось с двух имен, которые ты случайно заметил на дисплее... Кстати, ты уверен, что это действительно была случайность? (Поспешно.) Хорошо, хорошо, не будем об этом говорить. Что ты предлагаешь?

ГЛУМОВ. Я?

КАММЕРЕР. Да. Ты.

ГЛУМОВ. Н-ну, если вы хотите знать мое мнение... Первые шаги, по-моему, очевидны. Прежде всего необходимо установить там Странников и уличить отсортированных. Организовать скрытое ментоскопическое наблюдение, а если потребуется — провести там поголовное принудительное, самое глубокое ментоскопирование... Полагаю, они к этому готовы и память свою заблокируют... Это не страшно, это как раз и было бы уликой... Хуже, если они умеют рисовать ложную память...

КАММЕРЕР. Ладно. Достаточно. Ты молодец, хвалю, хорошо поработал. А теперь слушай приказ. Подготовь для меня списки следующих лиц. Во-первых, лиц с инверсией «синдрома пингвина» — всех, кто у медиков зарегистрирован на сегодняшний день. Во-вторых, лиц, не прошедших фукамизацию...

ГЛУМОВ (прерывает). Это больше миллиона человек!

КАММЕРЕР. Нет, я имею в виду лиц, отказавшихся от «прививки зрелости», это двадцать тысяч человек. Придется поработать, но мы должны быть во всеоружии. Третье: собери все наши данные о пропавших без вести и сведи их в один список.

ГЛУМОВ. В том числе и тех, кто потом опять объявился?

КАММЕРЕР. В особенности их. Этим занимается Сандро, я его подключу к тебе. Все.

ГЛУМОВ. Список инверсантов, список отказчиков, список объявившихся. Ясно. И все-таки, Биг-Баг...

КАММЕРЕР. Говори.

ГЛУМОВ. Все-таки разрешите мне побеседовать с Неверовым и этой парой из Малой Пеши.

КАММЕРЕР. Для очистки совести?

ГЛУМОВ. Да. Вдруг это все-таки обыкновенный доброхот-энтузиаст...

КАММЕРЕР. Разрешаю. (После маленькой паузы.) Интересно, что ты будешь делать, если окажется, что это обыкновенный доброхот-энтузиаст...

Конец документа 11.

* * *

Сейчас я еще раз прослушал эту фонограмму. Голос у меня был тогда молодой, важный, уверенный, голос человека, определяющего судьбы, для которого нет тайн ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, человека, знающего, что он делает и что он кругом прав. Сейчас я просто поражаюсь, каким я был тогда великолепным лицедеем и лицемером. На самом-то деле я держался тогда уже на последних нервах. План действий у меня был готов, я ждал и никак не мог дождаться санкции Президента, набирался и никак не мог набраться духу идти к Комову без этой санкции.

И при всем при том я отчетливо помню, какое огромное удовольствие испытывал в то утро, слушая Тойво Глумова и наблюдая его. Ведь это был поистине его звездный час. Пять лет он искал их, нелюдей, тайно вторгшихся на его Землю, искал, несмотря на постоянные неудачи, почти в одиночку, никем и ничем не поощряемый, терзаемый снисходительностью любимой жены, искал и все-таки нашел. Оказался прав. Оказался проницательнее всех, терпеливее всех, серьезнее всех — всех этих остроумцев, легковесных философов, интеллектуальных страусов.

Впрочем, это ощущение торжества я ему, конечно, приписываю. Полагаю, в тот момент он не испытывал ничего, кроме болезненного нетерпения — поскорее взять противника за горло. Ведь, неопровержимо доказав, что его противник находится на Земле и действует, он тогда еще понятия не имел, что же он доказал на самом деле.

А я имел. И все-таки, глядя на него в то утро, я восхищался им, я гордился им, я им любовался, он мог бы быть моим сыном, и я бы хотел иметь такого сына.

Я завалил его работой прежде всего потому, что хотел замкнуть его в кабинете, за столом. Ответа из Института все не было, а работу по спискам все равно необходимо было проделать.

Документ 12

КОМКОН-2
«Урал-Север»
РАПОРТ-ДОКЛАД
№ 019/99
Д а т а: 10 мая 99 года.
А в т о р: Т. Глумов, инспектор.
Т е м а 009: «Визит старой дамы».
С о д е р ж а н и е: информацию о событиях в Малой Пеше направил в Институт Чудаков О. О. Панкратов.

В соответствии с Вашим распоряжением я провел беседы с Б. Неверовым, с О. Панкратовым и с З. Лядовой на предмет выяснения, не направлял ли кто-нибудь из них в адрес Института Чудаков информацию об аномальном поведении некоторых лиц во время происшествия в Малой Пеше в ночь на 6 мая с.г.

1. Беседа с работником аварийной службы Базилем Неверовым состоялась по видеоканалу вчера около полудня. Оперативного интереса беседа не представила. Б. Неверов безусловно услыхал об Институте Чудаков от меня впервые.

2. Олега Олеговича Панкратова и жену его Зосю Лядову я встретил в кулуарах региональной конференции астроархеологов-любителей в Сыктывкаре. В ходе непринужденной беседы за чашкой кофе Олег Олегович активно и с удовольствием подхватил начатый мною разговор о чудесах Института Чудаков и по собственной инициативе, без всякого форсирования с моей стороны, сообщил следующие факты:

— он уже много лет является постоянным активистом Института Чудаков и даже имеет свой собственный индекс в качестве отдельного и постоянного источника информации;

— именно благодаря его усилиям в сферу внимания метапсихологов попали такие замечательные феномены, как Рита Глузская («Черный глаз»), Лебей Маланг (психопараморф) и Константин Мовзон («Повелитель мух 5-й»);

— он очень благодарен мне за сведения об удивительной Альбине и потрясающем Кире, которые я ему так любезно и вовремя предоставил в тот день в Малой Пеше, каковые сведения он тогда же и отправил в Институт;

— в Институте ему довелось побывать трижды — на ежегодных конференциях активистов. С Даниилом Александровичем Логовенко лично не знаком, но весьма почитает его как выдающегося ученого.

3. В связи с вышеизложенным считаю, что мой рапорт-доклад № 018/99 интереса для темы 009 не представляет.

Т. Глумов

Конец документа 12.

* * *

Документ 13

Начальнику отдела ЧП

М. Каммереру

инспектора Т. Глумова

РАПОРТ

Прошу предоставить мне отпуск на шесть месяцев в связи с необходимостью сопровождать жену в длительную служебную командировку на Пандору.

Т. Глумов

10.05.99

РЕЗОЛЮЦИЯ. Не разрешаю. Продолжайте выполнять задание.

М. Каммерер

10 мая 99 г.

Конец документа 13.

* * *

Отдел ЧП, рабочая комната «Д». 11 мая 99 года.

Утром 11 мая мрачный Тойво, придя на работу, ознакомился с моей резолюцией. Видимо, за ночь он поуспокоился. Ни протестовать, ни настаивать он не стал, а засел у себя в комнате «Д» и занялся составлением списка инверсантов, которых у него набралось вскоре семеро, но только двое из них были названы по именам, а остальные числились как «больной З., сервомеханик», «Теодор П., этнолингвист» и тому подобное.

Около полудня в комнате «Д» объявился Сандро Мтбевари, осунувшийся, желтый и встрепанный. Усевшись за свой стол, он без всяких предисловий и своеобычных в таких случаях (после возвращения из длительных походов) шуточек доложил Тойво, что по приказанию Биг-Бага поступает в его распоряжение, но сначала хотел бы закончить отчет о командировке. «За чем же дело стало?» — настороженно осведомился Тойво, несколько пораженный его видом. А за тем дело стало, отвечал Сандро с раздражением, что произошла с ним одна

история, про которую непонятно, надо ли ее вставлять в отчет, и если надо, то под каким соусом.

И он тотчас же принялся рассказывать, с трудом подбирая слова, путаясь в подробностях и все время как-то судорожно посмеиваясь над собой.

Сегодня утром он вышел из нуль-кабины курортного местечка Розалинда (недалеко от Биаррица), отмахал пяток километров по пустынной каменистой тропе между виноградниками и около десяти часов оказался у цели: под ним была Долина Роз. Тропа вела вниз, к усадьбе «Добрый ветер», остроконечная крыша которой торчала из нагромождений пышной зелени. Сандро автоматически отметил время — было без минуты десять, как он и рассчитывал. Прежде чем начать спуск к усадьбе, он присел на округлый черный валун и принялся вытряхивать камешки из сандалий. Было уже очень жарко, раскаленный валун обжигал сквозь шорты, и ужасно хотелось пить.

Видимо, именно в этот момент ему стало дурно. В ушах зазвенело, и солнечный день как бы померк. Ему показалось, будто он спускается по тропе, шагает, не чуя под собой ног, мимо веселенькой беседки, которую он не заметил сверху, мимо глайдера с откинутым капотом и развороченным (словно из него вынимали целые блоки) двигателем, мимо огромной мохнатой собаки, которая лежала в тени и равнодушно следила за ним, вывалив красный язык. Потом он поднялся по ступенькам на веранду, сплошь заплетенную розами. При этом он отчетливо слышал скрип ступеней, но ног под собой по-прежнему как бы не чувствовал. В глубине веранды стоял стол, заваленный какими-то непонятными предметами, а над столом, упершись в края столешницы широко расставленными руками, нависал тот человек, который был ему нужен.

Человек этот поднял на него маленькие, упрятанные под седыми бровями глазки, и на лице его изобразилась легкая досада. Сандро представился и, почти не слыша собственного голоса, принялся излагать свою легенду, но не успел он произнести и десятка фраз, как человек ужасно сморщился и произнес что-то вроде: «Ну надо же, как ты некстати», после чего Сандро пришел в себя, вынырнув из полного беспамятства, весь облитый потом и с правой сандалией в руке. Он сидел на валуне, горячий гранит жег его сквозь шорты, и время на часах было по-прежнему без минуты десять. Ну может быть, секунд пятнадцать прошло, не больше.

Он обулся, вытер потное лицо, и тут, видимо, его опять схватило. Он опять спускался по тропе, не чуя под собой ног, мир смотрелся словно сквозь нейтральный светофильтр, а в голове вертелась только

одна мысль: это надо же, как меня некстати... И снова слева прошла веселенькая беседка (на полу валялась кукла без рук и одной ноги), и глайдер прошел (на борту красовалось изображение бедового чертенка), и второй глайдер оказался там, немного в глубине, и тоже с поднятым капотом, а собака язык убрала и теперь дремала, положив тяжелую голову на лапы. (Странная какая-то собака, да и собака ли?) Скрипучие ступеньки. Прохлада веранды. И снова человек взглянул из-под седых бровей, весь сморщился и проговорил притворно-грозным тоном, как говорят с расшалившимся ребенком: «Я тебе что сказал? Некстати! Брысь отсюда!» И Сандро вновь очнулся, но теперь он уже сидел не на валуне, а рядом, на сухой, колючей траве, и его подташнивало.

Да что это со мной сегодня? — подумал он со страхом и досадой и попытался взять себя в руки. Мир был по-прежнему пригашен, и в ушах звенело, но в то же время Сандро полностью себя теперь контролировал. Было почти точно десять часов, очень хотелось пить, но слабости он больше не ощущал, и надо было доводить до конца то, зачем он сюда прибыл. Он поднялся на ноги и тут увидел, что из нагромождений зелени внизу вышел на тропинку тот самый человек и остановился, глядя в сторону Сандро, и тут же следом вышел из зарослей и встал у ног человека тот самый мохнатый пес и тоже стал смотреть на Сандро, и Сандро мельком отметил про себя, что никакая это не собака, а молодой голован. И Сандро поднял руку, сам не зная зачем — то ли в знак приветствия, то ли чтобы привлечь к себе внимание, но тот человек повернулся к нему спиной, а мир перед глазами Сандро почернел и ушел косо вниз и налево.

Когда он снова пришел в себя, то оказалось, что он сидит на скамейке, вокруг него курортный городок Розалинда, а рядом та самая нуль-кабина, через которую он сюда прибыл. По-прежнему слегка подташнивало и хотелось пить, но мир был ясен и приветлив, и было десять часов сорок две минуты. Беззаботные нарядные люди, проходившие мимо, стали с беспокойством поглядывать на него и замедлять шаги, и вдруг подкатил кибер-официант и поднес ему высокий запотевший бокал с чем-то фирменным...

Дослушав до конца, Тойво некоторое время молчал, а потом произнес, тщательно подбирая слова:

— Это нужно обязательно включить в рапорт.

— Предположим, — сказал Сандро. — Но с каким акцентом?

— Как мне рассказал, так и напиши.

— Я тебе рассказал так, словно мне сделалось дурно от жары и все я увидел в бреду.

— Значит, ты не уверен, что это был бред?

— Откуда мне знать? Но это же самое я мог бы рассказать и так, будто я попал под гипноз, как будто это была наведенная галлюцинация...

— Ты думаешь, галлюцинацию навел голован?

— Не знаю. Может быть. Но скорее всего — нет. Он был слишком далеко от меня, метров семьдесят, не меньше... Да и молодой он был слишком для таких штучек... И потом: с какой стати?

Они помолчали. Потом Тойво спросил:

— Что сказал Биг-Баг?

— Э, он мне и рта не дал раскрыть, даже не взглянул на меня. «Я занят, ступай в распоряжение Глумова».

— Скажи, — проговорил Тойво, — а ты уверен, что так ни разу и не спустился к тому дому?

— Ни в чем я не уверен. Я уверен только, что с этими «ванвинклями» очень и очень нечисто. Я занимаюсь ими с начала года, а ясности — никакой. Наоборот, с каждым случаем все темнее. Но, конечно, такого, как сегодня, еще не бывало, это уже экстра...

Тойво произнес сквозь зубы:

— Но ты понимаешь, чем это пахнет, если это случилось с тобой на самом деле? — Он спохватился. — Постой! А регистратор? Что у тебя на регистраторе?

Сандро ответил с видом полной покорности судьбе:

— На регистраторе у меня ничего. Он оказался не включен.

— Ну, знаешь!!!

— Знаю. Только я твердо помню, что перезарядил его и включил перед выходом.

Документ 14

КОМКОН-2
«Урал-Север»
РАПОРТ-ДОКЛАД
№ 047/99
Д а т а: 4-11 мая 99 года.
А в т о р: С.Мтбевари, инспектор.
Т е м а 101: «Рип ван Винкль».
С о д е р ж а н и е: результаты инспекции по «Группе 80-х».

Получил Ваше распоряжение об инспектировании 4 мая утром. Приступил немедленно.

4 мая к 22.40.

Астангов Юрий Николаевич. По контрольному адресу отсутствует. Новый адрес в БВИ не оставлен. Опрос родственников, друзей и деловых знакомых результатов не дал. Общий ответ: ничего сказать не можем, в последние годы не контактируем, поскольку после его возвращения в 95-м году он сделался еще более нелюдимым, нежели прежде, до исчезновения. Проверка по космодромной сети, по околоземному нуль-Т, по системам предприятий ПО (повышенной опасности): ничего. Предположение: Ю.Астангов, как и в прошлый раз, «уединился в дебрях бассейна Амазонки для отшлифовки своей новой философской системы». (Интересно было бы поговорить с кем-нибудь, кто знаком с его прежними философскими системами. Врачи отрицают, а по-моему — псих.)

6 мая к 23.30.

Фернан Леер. Был принят им по контрольному адресу в 11.05. Изложил ему свою легенду, после чего мы беседовали до 12.50. Ф.Леер заявил, что чувствует себя превосходно, никаких болезненных симптомов не испытывает, никаких последствий своей амнезии 89–91 годов не ощущает, а потому не видит необходимости подвергаться ментоскопированию. К сказанному в 91-м году ничего нового прибавить не может, поскольку по-прежнему ничего не помнит. Трансмантийная инженерия его давно не интересует, и на протяжении нескольких последних лет он занимается изобретением и исследованием многомерных игр. Говорил со мной он благожелательно, но рассеянно. Потом вдруг оживился: ему пришло в голову научить меня игре «снип-снап-снурре». На этом мы расстались. (Выяснил: Ф.Леер действительно стал крупным специалистом в области многомерных игр, его прозвали «затейником для академиков».)

Тууль Альберт Оскарович. По контрольному адресу отсутствует. Новый адрес в БВИ: Венусборг (Венера). По этому адресу тоже отсутствует. Данные венерианской регистратуры: А.Тууль никогда на Венере не появлялся. В 97-м году он сообщил матери, будто намерен поработать у Следопытов в лагере «Хиус» (планета Кала-и-Муг). С тех пор она довольно регулярно получает от него весточки (последняя в марте с.г.). Весточки эти представляют собой пространные письма, в которых подробно и весьма художественно рассказывается о поисках следов цивилизации «оборотней». Данные лагеря «Хиус»: А.Тууль никогда там не был, но довольно регулярно вызывает на нуль-связь грунтокопа группы Е.Капустина, который совершенно уверен в том, что его добрый приятель А.Тууль проживает на Земле по контрольному адресу. Последний раз Капустин говорил с Туулем 1 января с.г. Проверка по космодромной сети: с 96-го года (год возвращения)

неоднократно ходил в Глубокий Космос, последний раз вернулся с Курорта в октябре 98 года. Проверка по околоземному нуль-Т: с 96-го неоднократно посещал Луну, «Оранжереи», БОП. Проверка по системам предприятий ПО: с декабря 96-го по октябрь 97-го работал в абиссальной лаборатории «Тускарора-16» гастрономом. Предположение: А.Тууль — человек крайне легкомысленный, с низким уровнем чувства социальной ответственности, инцидент 89-го года ничему его не научил, и он по-прежнему не желает придавать никакого значения такому пустяку, как точный личный адрес.

8 мая к 22.10.

Багратиони Маврикий Амазаспович. По контрольному адресу отсутствует. В БВИ нового адреса нет. Близких родственников, с которыми поддерживал бы регулярные сношения, не имеет по причине почтенного возраста. Деловые связи оборвались четверть века назад. Оба его старых друга, известных нам по следствию о его исчезновении в 81-м году, по контрольным адресам отсутствуют, местопребывания выяснить пока не удалось. Проверка по космодромной сети, по околоземному нуль-Т, по системам предприятий ПО: ничего. Данные Геронтологического центра: вот уже много лет его не могут поймать на предмет обследования. Предположение: незарегистрированный несчастный случай. Считал бы правильным отыскать его друзей, чтобы их известить.

Чжан Мартин. По контрольному адресу отсутствует. Новый адрес в БВИ: база «Матрикс» (Вторая, ЕН 7113). Командирован на «Матрикс» в январе 93-го года Институтом биоконфигураций (Лондон) в качестве интерпретатора. В настоящее время (с декабря 98-го) пребывает в длительном отпуске, местопребывание неизвестно. Проверка по космодромной сети, по околоземному нуль-Т и по системам предприятий ПО с декабря 98-го года — ничего. Отсюда курьез: С.Ван, сосед М.Чжана по контрольному адресу, утверждает, будто видел М.Чжана в марте этого года; М.Чжан на его глазах прибыл в свой сад на глайдере и, не заходя в дом, принялся этот глайдер демонтировать; на приветствие С.Вана ответил небрежно, от разговора уклонился; С.Ван отправился по своим делам, а когда через несколько часов вернулся, ни М.Чжана, ни глайдера уже не было, и больше они не появлялись. История эта представляется интересной, ибо и тайна первого исчезновения М.Чжана связана именно с тем, что регистраторы космодромной сети не отметили ни отбытия, ни прибытия его. Вопрос: не бывает ли организмов, генетический код которых не воспринимается или не отождествляется существующими системами регистрации? Предложение: принимая во внимание, что М.Чжан состоит на

учете в Краковском Институте регенерации по поводу регенерации обеих ног, и поскольку за все годы после регенерации он ни разу не являлся в Краков на профилактику, надлежит передать руководству базы «Матрикс» уведомление Института о том, что дальнейшее уклонение от профилактики грозит М.Чжану серьезными осложнениями; уведомление у меня на руках, в Институте весьма обеспокоены безответственным поведением М.Чжана.

9 мая к 21.30.

Окигбо Сиприан. Принял меня по контрольному адресу в 10.15. Встретил любезно, приветливо, хотя имел вид человека, занятого посторонними мыслями. Усадил меня в гостиной, сунул в руки стакан кокосового молока, выслушал мою легенду и сказал: «Бог мой, это же не смешно!» — после чего удалился куда-то в глубину дома с озабоченным видом. Я прождал его час, затем осмотрел дом. Никого не обнаружил. В кабинете, в обеих спальнях и в мансарде все окна были настежь, но следов под ними не оказалось. В мастерской окна были, напротив, плотно закрыты и зашторены металлическими жалюзи и было нестерпимо холодно (возможно, ниже минус пяти, вода в аквариуме покрылась корочкой льда). При этом никаких следов рефрижерирующего устройства. Халат, в котором С.Окигбо меня принимал, валялся на полу в кабинете. Я прождал хозяина еще два часа, затем опросил соседей. Ничего существенного: С.Окигбо — человек замкнутый, гостей не принимает, почти все время сидит дома, сад запустил, а впрочем, приветлив, очень любит детишек, особенно младенцев-ползунков, умеет с ними обращаться. Предположение: может быть, мне только показалось, что С.Окигбо меня принимал? (См. мой № 048/99.)

11 мая к 10.45.

При попытке установить, находится ли по контрольному адресу Фар-Але Эмиль, испытал приступ дурноты с бредовыми видениями. Будучи не в состоянии определить, касается это только лично меня или представляет также интерес для дела, выделяю отчет о происшедшем в отдельный рапорт-доклад № 048/99.

Сандро Мтбевари

Конец документа 14.

* * *

Я так никогда и не узнал, какое впечатление произвели на Тойво Глумова результаты инспекции Сандро Мтбевари. Думаю, он был потрясен. И не столько результаты сами по себе потрясли его, сколько

мысль о том, что он до такой степени позволял себе недооценивать поистине невероятную мощь противника.

Я не видел Тойво ни одиннадцатого, ни двенадцатого, ни тринадцатого. Наверное, это были трудные для него дни, когда он приспосабливался к своей новой роли — роли Алеши Поповича, перед которым вместо объявленного Идолища Поганого возник вдруг сам злобный бог Локи. Но все эти дни я помнил о нем и думал о нем, потому что для меня утро одиннадцатого мая началось двумя документами.

* * *

Документ 15

Начальнику отдела ЧП
Президент
Дорогой Биг-Баг!

Ничего не поделаешь, меня укладывают на операцию. Однако же нет худа без добра. Мои обязанности присоединяет к своим (кажется, с завтрашнего дня) Г.Комов. Я передал ему все Ваши материалы. Не скрою, он отнесся к ним скептически. Но он знает меня и знает Вас. Теперь он подготовлен, так что у Вас есть все шансы убедить его, особенно если Вам удалось добыть новые материалы, которые Вы добыть намеревались. И тогда Вы будете иметь дело не только с Президентом сектора КК-2, но и с влиятельным членом Всемирного совета. Желаю Вам удачи, а Вы пожелайте удачи мне.

Атос.
11.05.99
Конец документа 15.

Документ 16

Мак!

1. Глумов Тойво Александрович сегодня взят на контроль. (Зарегистрирован 8.05.)

2. Сегодня же взяты на контроль:
Каскази Артек 18 учащийся Тегеран 7.05.
Мауки Чарлз 63 маритехник Одесса 8.25.
Лаборант.
11 мая 99 года.
Конец документа 16.

* * *

Это, наверное, странно, но я почти не помню своих переживаний по поводу поразительного сообщения Лаборанта. Помню лишь ощущение: словно неожиданный и даже подлый охлест по лицу — ни с того ни с сего, ни за что ни про что, из-за угла, когда не ждешь, когда ждешь совсем другого. Детская, до слез, обида, вот все, что я помню, вот что только и осталось от того, наверное, часа, который провел я, отвалив челюсть и невидяще глядя перед собой.

Наверняка мелькали у меня тогда бестолковые мысли об измене, о предательстве. Наверняка испытывал я бешенство, досаду и жестокое разочарование оттого, что разработан вот был определенный план действий, в котором для каждого отведено свое место, а теперь в этом плане дыра, и зарастить ее невозможно. И горечь, конечно, была, отчаянная горечь потери — потери друга, единомышленника, сына.

А вернее всего, это было временное умопомрачение, хаос не чувств даже, а обломков чувств.

Потом я понемногу пришел в себя и вновь принялся рассуждать — холодно и методично, как мне и надлежало рассуждать в моем положении.

Ветер богов поднимает бурю, но он же раздувает паруса.

Рассуждая холодно и методично, я в это пасмурное утро нашел-таки в своем плане новое место для нового Тойво Глумова. И это новое место показалось мне тогда не менее, а несравненно более важным, чем старое. План мой обрел дальнюю перспективу, теперь предстояло не обороняться, а наступать.

В тот же день я связался с Комовым, и он назначил мне аудиенцию на завтра, на 12 мая.

12 мая рано утром он принял меня в кабинете Президента. Я представил ему все собранные к этому моменту материалы. Беседа продолжалась пять часов. Мой план был утвержден с незначительными поправками. (Не берусь утверждать, что мне удалось тогда полностью развеять скептицизм Комова, но заинтересовать его мне удалось, вне всякого сомнения.)

12-го же мая, вернувшись к себе, я, по обычаю хонтийских проникателей, посидел несколько минут, приставив к вискам кончики указательных пальцев и размышляя о возвышенном, а затем вызвал к себе Гришу Серосовина и дал задание. В 18.05 он сообщил мне, что задание выполнено. Оставалось только ждать.

13-го утром Даня Логовенко позвонил.

Документ 17

РАБОЧАЯ ФОНОГРАММА

Д а т а: 13 мая 99 года.

С о б е с е д н и к и: М. Каммерер, начальник отдела ЧП; Д. Логовенко, заместитель директора Харьковского филиала ИМИ.

Т е м а: ***

С о д е р ж а н и е: ***

ЛОГОВЕНКО. Здравствуй, Максим, это я.

КАММЕРЕР. Приветствую тебя. Что скажешь?

ЛОГОВЕНКО. Скажу, что это было проделано ловко.

КАММЕРЕР. Рад, что тебе понравилось.

ЛОГОВЕНКО. Не могу сказать, что это мне так уж понравилось, но не могу не отдать должное старому другу.

(Пауза.)

Я понял все это так, что ты хочешь со мной встретиться и поговорить в открытую.

КАММЕРЕР. Да. Но не я. И может быть, не с тобой.

ЛОГОВЕНКО. Говорить придется со мной. Но если не ты, то кто?

КАММЕРЕР. Комов.

ЛОГОВЕНКО. Ого! Значит, ты все-таки решился...

КАММЕРЕР. Комов сейчас мое прямое начальство.

ЛОГОВЕНКО. Ах вот как... Хорошо. Где и когда?

КАММЕРЕР. Комов хочет, чтобы в разговоре участвовал Горбовский.

ЛОГОВЕНКО. Леонид Андреевич? Но он же при смерти...

КАММЕРЕР. Вот именно. Пусть он все это услышит. От тебя.

(Пауза.)

ЛОГОВЕНКО. Да. Видимо, время поговорить действительно настало.

КАММЕРЕР. Завтра в пятнадцать ноль-ноль у Горбовского. Ты знаешь его дом? Под Краславой, на Даугаве.

ЛОГОВЕНКО. Да, я знаю. До завтра. У тебя все?

КАММЕРЕР. Все. До завтра.

(Разговор продолжался с 9.02 до 9.04.)

Конец документа 17.

* * *

Замечательно, что группа «Людены» при всей своей напористой скрупулезности никогда не приставала ко мне по поводу Даниила

Александровича Логовенко. А ведь мы с Даней знакомы были с незапамятных времен, с благословенных 60-х, когда я, молодой тогда и дьявольски энергичный комконовец, проходил спецкурс психологии при Киевском университете, где Даня, молодой тогда и дьявольски энергичный метапсихолог, вел мои практические занятия, а по вечерам мы оба с поистине дьявольской энергией ухаживали за очаровательными и дьявольски капризными киевляночками. Он явно выделял меня среди прочих курсантов, мы подружились и первые годы встречались, можно сказать, регулярно. Потом занятия наши нас разлучили, мы стали встречаться все реже, а с начала 80-х не встречались совсем (до чаепития у меня накануне событий). Он оказался очень несчастлив в семейной жизни, и теперь понятно — почему. Он вообще оказался несчастлив, чего я никак не могу сказать о себе.

Вообще всякий, кто серьезно занимается эпохой Большого Откровения, склонен полагать, будто прекрасно знает, кто такой Даниил Логовенко. Какое заблуждение! Что знает о Ньютоне человек, прочитавший даже самое полное собрание его сочинений? Да, Логовенко сыграл чрезвычайно важную роль в Большом Откровении. «Импульс Логовенко». «Т-программа Логовенко». «Декларация Логовенко». «Комитет Логовенко» ...

А какова судьба жены Логовенко, вы знаете?

А каким образом попал он на курсы высшей и аномальной этологии в городе Сплите?

А почему в 66-м году среди стада курсантов он особо выделил М. Каммерера, энергичного, подающего надежды комконовца?

А что думал по поводу Большого Откровения Д. Логовенко — не вещал по поводу, не декларировал, не проповедовал, а думал и переживал в глубине своей нечеловеческой души?

Таких вопросов много. На некоторые из них, полагаю, я мог бы ответить точно. По поводу других способен лишь строить предположения. А на остальные ответов нет и не будет никогда.

Документ 18

КОМКОН-2
«Урал-Север»
РАПОРТ-ДОКЛАД
№ 020/99
Д а т а: 13 мая 99 года.
А в т о р: Т. Глумов, инспектор.
Т е м а 009: «Визит старой дамы».

С о д е р ж а н и е: сравнение списков лиц с инверсией «синдрома пингвина» со списком «Тема».

По Вашему распоряжению мною был по всем доступным источникам составлен список случаев инверсии «синдрома пингвина». Всего я обнаружил 12 случаев, идентифицировать удалось 10. Сравнение списка идентифицированных инверсантов со списком «Т» обнаружило пересечение по следующим лицам:

1. Кривоклыков Иван Георгиевич, 65 лет, психиатр, база «Лембой» (ЕН 2105).

2. Паккала Альф-Христиан, 31 год, оператор-строитель, Аляскинская СО, Анкоридж.

3. Йо Ника, 48 лет, пряха-дизайнер, комбинат «Иравади», Пхьяпоун.

4. Тууль Альберт Оскарович, 59 лет, гастроном, местонахождение не известно (см. № 047/99 С. Мтбевари).

Процент пересечений списков представляется мне поразительно высоким. Факт, что Тууль А. О. проходит фактически по трем спискам, еще более поразителен.

Считаю необходимым привлечь Ваше внимание к полному списку лиц с инверсией «синдрома пингвина». Список прилагается.

Т. Глумов.

Конец документа 18.

* * *

«Дом Леонида» (Краслава, Латвия). 14 мая 99 года, 15.00.

Даугава у Краславы была неширокая, быстрая, чистая. Желтела сухим песком полоска пляжа, от которой круто уходил к соснам песчаный склон. На сером в белую шашку овале посадочной площадки, нависшей над водой, калились под солнцем поставленные кое-как разноцветные флаеры. Всего три штуки — старомодные тяжелые аппараты, какими пользуются сейчас разве что старики, родившиеся в прошлом веке.

Тойво потянулся откинуть дверцу глайдера, но я сказал ему:

— Не надо. Подожди.

Я смотрел вверх, туда, где среди сосен кремово просвечивали стены домика, откуда шла по обрыву зигзагом ветхого вида, сработанная под серое от времени дерево, лестница. По лестнице медленно спускался кто-то в белом — грузный, почти кубический, видимо, очень старый человек, цепляясь правой рукой за перила, ступенька за ступенькой, каждый раз приставляя ногу, и солнечный блик трясся

на его большом гладком черепе. Я узнал его. Это был Август-Иоганн Бадер, Десантник и Следопыт. Руина героической эпохи.

— Подождем, пока он спустится, — сказал я. — Мне не хочется с ним встречаться.

Я отвернулся и стал смотреть в другую сторону, через реку, на тот берег, и Тойво тоже отвернулся из деликатности, и так мы сидели, пока не стал слышен тяжелый скрип ступенек и не донеслись до нас свистящее, натужное дыхание и еще какие-то неуместные звуки, похожие на прерывистое всхлипывание, и вот старик прошел мимо нашего глайдера, прошаркал подошвами по пластику, возник в поле моего зрения, и я невольно взглянул в его лицо.

Вблизи лицо это показалось мне совершенно незнакомым. Оно было искажено горем. Мягкие щеки обвисли и тряслись, рот был безвольно распущен, из запухших глаз текли слезы.

Сгорбившись, Бадер приблизился к древнему желто-зеленому флаеру, самому древнему из трех, с какими-то дурацкими шишками на корме, с уродливыми щелями визиров старинного автопилота, с помятыми бортами, с потускневшими никелированными ручками, — приблизился, откинул дверцу и, то ли кряхтя, то ли всхлипывая, полез в кабину.

Долгое время ничего не происходило. Флаер стоял с распахнутой дверцей, а старик внутри то ли собирался с духом перед взлетом, то ли плакал там, уронивши лысую голову на облупленный овальный штурвал. Потом, наконец, коричневая рука, вылезшая из белой манжеты, протянулась и захлопнула дверцу. Древняя машина с неожиданной легкостью и совершенно беззвучно снялась с площадки и ушла над рекой между обрывистыми берегами.

— Это Бадер, — сказал я. — Прощался... Пошли.

Мы вылезли из глайдера и начали подниматься по лестнице. Я сказал, не оборачиваясь к Тойво:

— Не надо эмоций. Ты идешь на доклад. Будет очень важный деловой разговор. Не расслабляйся.

— Деловой разговор — это прекрасно, — отозвался Тойво мне в спину. — Но у меня такое впечатление, что сейчас не время для деловых разговоров.

— Ты ошибаешься. Именно сейчас и время. А что касается Бадера... Не думай сейчас об этом. Думай о деле.

— Хорошо, — сказал Тойво покорно.

Домик Горбовского, «Дом Леонида», был совершенно стандартным, архитектуры начала века: излюбленное жилье космопроходцев, глубоководников, трансмантийщиков, истосковавшихся по буколике,

— без мастерской, без скотного двора, без кухни... но зато с энергопристройкой для обслуживания персональной нуль-установки, полагающейся Горбовскому как члену Всемирного совета. А вокруг были сосны, заросли вереска, пахло нагретой хвоей, и пчелы сонно гудели в неподвижном воздухе.

Мы поднялись на веранду и через распахнутые двери вступили в дом. В гостиной, где окна были плотно зашторены и светил только торшер возле дивана, сидел какой-то человек, задравши ногу на ногу, и рассматривал на свет торшера не то карту, не то ментосхему. Это был Комов.

— Здравствуйте, — сказал я, а Тойво поклонился молча.

— Здравствуйте, здравствуйте, — сказал Комов как бы нетерпеливо. — Проходите, садитесь. Он спит. Заснул. Этот треклятый Бадер его совершенно ухайдокал... Вы — Глумов?

— Да, — сказал Тойво.

Комов пристально, с любопытством глядел на него. Я кашлянул, и Комов тут же спохватился.

— Ваша матушка случайно не Майя Тойвовна Глумова? — спросил он.

— Да, — сказал Тойво.

— Я имел честь работать с нею, — сказал Комов.

— Да? — сказал Тойво.

— Да. Она вам не рассказывала? Операция «Ковчег» ...

— Да, я знаю эту историю, — сказал Тойво.

— Чем сейчас Майя Тойвовна занимается?

— Ксенотехнологией.

— Где? У кого?

— В Сорбонне. Кажется, у Салиньи.

Комов покивал. Он все смотрел на Тойво. Глаза у него блестели. Надо понимать, вид взрослого сына Майи Глумовой пробудил в нем некие животрепещущие воспоминания. Я снова кашлянул, и Комов сейчас же повернулся ко мне.

— Между прочим, если желаете освежиться... Напитки здесь, в баре. Нам придется подождать. Мне не хочется его будить. Он улыбается во сне. Видит что-то хорошее... Черт бы побрал Бадера с его соплями!

— Что говорят врачи? — спросил я.

— Все то же. «Нежелание жить». От этого нет лекарств... Вернее, есть, но он не хочет их принимать. Ему стало неинтересно жить, вот в чем дело. Нам этого не понять... Все-таки ему за полтораста... А скажите, пожалуйста, Глумов, чем занимается ваш отец?

— Я его почти не вижу, — сказал Тойво. — Кажется, он гибридизатор сейчас. Кажется, на Яйле.

— А вы сами... — начал было Комов, но замолчал, потому что из глубины дома донесся слабый хрипловатый голос:

— Геннадий! Кто там у вас? Пусть заходят...

— Пошли, — сказал Комов вскакивая.

Окна в спальне были распахнуты настежь. Горбовский лежал на диване, укрытый до подмышек клетчатым пледом, и казался он невообразимо длинным, тощим и до слез жалким. Щеки у него ввалились, знаменитый туфлеобразный нос закостенел, запавшие глаза были печальны и тусклы. Они словно не хотели больше смотреть, но смотреть было надо, вот они и смотрели.

— А-а, Максик... — проговорил Горбовский, увидев меня. — Ты все такой же... Красавец... Рад тебя видеть, рад...

Это была неправда. Не был он рад видеть Максика. И ничему он не был рад. Наверное, ему казалось, что он приветливо улыбается, на самом же деле лицо его изображало гримасу тоскливой любезности. Чувствовалось в нем бесконечное и снисходительное терпение. Словно бы думал сейчас Леонид Андреевич: вот и еще кто-то пришел... ну что ж, это не может быть очень надолго..., и они тоже уйдут, как уходили все до них, а мне оставят мой покой...

— А это кто? — с явным усилием превозмогая апатию, полюбопытствовал Горбовский.

— Это Тойво Глумов, — сказал Комов. — Комконовец, инспектор. Я говорил вам...

— Да-да-да... — вяло сказал Горбовский. — Помню. Говорили. «Визит старой дамы» ... Садитесь, Тойво, садитесь, мой мальчик... Я слушаю вас...

Тойво сел и вопросительно посмотрел на меня.

— Изложи свою точку зрения, — сказал я. — И обоснуй.

Тойво начал:

— Я сейчас сформулирую некую теорему. Формулировка эта принадлежит не мне. Доктор Бромберг сформулировал ее пять лет назад. Так вот: теорема. В начале восьмидесятых годов некая сверхцивилизация, которую мы для краткости назовем Странниками, начала активную прогрессорскую деятельность на нашей планете. Одной из целей этой деятельности является отбор. Путем разнообразных приемов Странники отбирают из массы человечества тех индивидов, которые по известным Странникам признакам пригодны для... например, пригодны для контакта. Или для дальнейшего видового совершенствования. Или даже для превращения в Странников. Наверняка у

Странников есть и другие цели, о которых мы не догадываемся, но то, что они занимаются у нас отбором, отсортировкой, — это мне теперь совершенно очевидно, и я это попытаюсь сейчас доказать.

Тойво замолчал. Комов пристально глядел на него. Горбовский словно бы спал, но пальцы его, сплетенные на груди, то и дело приходили в движение, вычерчивая в воздухе замысловатые узоры. Потом он вдруг, не открывая глаз, проговорил:

— Геннадий, принесите гостям чего-нибудь попить... Им, наверное, жарко...

Я вскочил, но Комов остановил меня.

— Я принесу, — буркнул он и вышел.

— Продолжайте, мой мальчик, — проговорил Горбовский.

Тойво стал продолжать. Он рассказал о «синдроме пингвина»: с помощью некоего «решета», воздвигнутого ими в секторе 41/02, Странники, по-видимому, отбраковывали людей, страдающих скрытой космофобией, и выделяли скрытых космофилов. Он рассказал о событиях в Малой Пеше: там с помощью явно внеземной биотехники Странники поставили эксперимент по отбраковыванию ксенофобов и выделению ксенофилов. Он рассказал о борьбе за «Поправку». Видимо, фукамизация либо мешала работе Странников по отбору, либо грозила погасить необходимые Странникам качества в грядущих поколениях людей, и они каким-то образом организовали и успешно провели кампанию по отмене обязательности этой процедуры. За годы и годы число «отсортированных» (будем называть их так) все возрастало, это не могло остаться незамеченным, мы не могли не заметить этих «отсортированных», и мы их заметили. Исчезновения восьмидесятых годов... Внезапные превращения обычных людей в гениев... Только что обнаруженные Сандро Мтбевари люди с фантастическими способностями... И наконец, так называемый Институт Чудаков в Харькове — несомненный центр активности Странников по выявлению кандидатов в «отсортированные» ...

— Они даже не очень скрываются, — говорил Тойво. — По-видимому, они чувствуют себя сейчас настолько сильными, что уже не боятся быть обнаруженными. Возможно, они считают, будто мы уже не в состоянии что-либо изменить. Не знаю... Собственно, я кончил. Я хочу только добавить, что в поле нашего зрения, конечно же, попала только ничтожная доля спектра их активности. Это надо иметь в виду. И я считаю себя обязанным в заключение помянуть добрым словом доктора Бромберга, который еще пять лет назад, не имея, по сути, никакой позитивной информации, ВЫЧИСЛИЛ буквально все явления, которые мы сейчас обнаружили, — и возникновение массовых фобий,

и внезапное появление у людей талантов, и даже иррегулярности в поведении животных, например китов.

Тойво повернулся ко мне.

— Я кончил, — сказал он.

Я кивнул. Все молчали.

— Странники, Странники, — почти пропел Горбовский. Он лежал теперь, натянув на себя плед до самого носа. — Надо же, сколько я себя помню, с самого детства, столько идут разговоры об этих Странниках... Вы их очень за что-то не любите, Тойво, мой мальчик. За что?

— Я не люблю Прогрессоров, — отозвался Тойво сдержанно и сейчас же добавил: — Леонид Андреевич, я ведь сам был Прогрессором...

— Никто не любит Прогрессоров, — пробормотал Горбовский. — Даже сами Прогрессоры... — Он глубоко вздохнул и снова закрыл глаза. — Честно говоря, не вижу я здесь никакой проблемы. Это все остроумные интерпретации, не более того. Передайте ваши материалы, скажем, педагогам, и у них будут свои, не менее остроумные интерпретации. У глубоководников — свои... У них свои мифы, свои Странники... Вы не обижайтесь, Тойво, но уже само упоминание Бромберга меня насторожило...

— А между прочим, все работы Бромберга по Монокосму исчезли... — негромко произнес Комов.

— Да не было у него никаких работ, конечно! — Горбовский слабо хихикнул. — Вы не знали Бромберга. Это был ядовитый старик с фантастической фантазией. Максик прислал ему свой встревоженный запрос. Бромберг, который до того сроду на эти темы не думал, уселся в удобное кресло, уставился на свой указательный палец и мигом высосал из него гипотезу Монокосма. Это заняло у него один вечер. А назавтра он об этом забыл... У него же не только великая фантазия, он же знаток запрещенной науки, у него же в башке хранилось невообразимое число невообразимых аналогий...

Едва Горбовский замолк, Комов сказал:

— Правильно ли я вас понял, Глумов, что вы утверждаете, будто на Земле сейчас присутствуют Странники? Как существа, я имею в виду. Как особи...

— Нет, — проговорил Тойво. — Этого я не утверждаю.

— Правильно ли я вас понял, Глумов, что вы утверждаете, будто на Земле живут и действуют сознательные пособники Странников? «Отсортированные», как вы их называете...

— Да.

— Вы можете назвать имена?

— Да. С известной степенью вероятности.

— Назовите.

— Альберт Оскарович Тууль. Это почти наверняка. Сиприан Окигбо. Мартин Чжан. Эмиль Фар-Але. Тоже почти наверняка. Могу назвать еще десяток имен, но это уже менее достоверно.

— Вы общались с кем-нибудь из них?

— Думаю, что да. В Институте Чудаков. Думаю, их там много. Но кто именно — назвать точно пока не могу.

— То есть вы хотите сказать, что отличительные их признаки вам неизвестны?

— Конечно. На вид они ничем не отличаются от нас с вами. Но вычислить их можно. По крайней мере, с достаточной степенью вероятности. А вот в Институте Чудаков, я уверен, должна быть какая-то аппаратура, с помощью которой они определяют своего человека без промаха, наверняка.

Комов быстро взглянул на меня. Тойво заметил это и сказал с вызовом:

— Да! Я считаю, что нам сейчас не до церемоний! Придется нам поступиться кое-какими достижениями высшего гуманизма! Мы имеем дело с Прогрессорами, и придется нам вести себя по-прогрессорски!

— А именно? — осведомился Комов, подаваясь вперед.

— Весь арсенал нашей оперативной методики! От засылки агентуры до принудительного ментоскопирования, от...

И тут Горбовский издал протяжный стон, и все мы с испугом к нему повернулись. Комов даже вскочил на ноги. Однако ничего страшного с Леонидом Андреевичем не случилось. Он лежал в прежней позе, только гримаса притворной любезности на тощем его лице сменилась гримасой брезгливого раздражения.

— Ну что вы тут затеяли около меня? — ноющим голосом произнес он. — Ну взрослые же люди, не школьники, не студенты... Ну как вам не совестно, в самом деле? Вот за что я не люблю все эти разговоры о Странниках... И всегда не любил! Ведь обязательно же они кончаются такой вот перепуганной детективной белибердой! И когда же вы все поймете, что эти вещи исключают друг друга... Либо Странники — сверхцивилизация, и тогда нет им дела до нас, это существа с иной историей, с иными интересами, не занимаются они Прогрессорством, и вообще во всей Вселенной одно только наше человечество занимается Прогрессорством, потому что у нас история такая, потому что мы плачем о своем прошлом... Мы не можем его изменить и стремимся хотя бы помочь другим, раз уж не сумели в свое время помочь себе... Вот откуда все наше Прогрессорство! А Странники, даже если их

прошлое было похоже на наше, так далеко от него ушли, что и не помнят его, как мы не помним мучений первого гоминида, тщившегося превратить булыжник в каменный топор... — Он помолчал. — Сверхцивилизации так же нелепо заниматься Прогрессорством, как нам сейчас учреждать бурсы для подготовки деревенских дьячков...

Он опять замолчал и молчал очень долго, переводя взгляд с одного лица на другое. Я покосился на Тойво. Тойво отводил глаза и несколько раз пожал правым плечом, как бы показывая, что есть у него некоторые контраргументы, но он не считает удобным их здесь приводить. Комов же, сдвинув густые черные брови, смотрел в сторону.

— Эх-хе-хе-хе-хе... — прокряхтел Горбовский. — Не получилось у меня вас убедить. Хорошо, займусь тогда оскорблениями. Если даже такой зеленый мальчишка, как наш милый Тойво, сумел... э-э-э... засветить этих Прогрессоров, то какие же они, к черту, Странники? Ну сами подумайте! Неужели сверхцивилизация не сумела бы организовать свою работу так, чтобы вы ничего не заметили? А уж если вы заметили, то какая это, к черту, сверхцивилизация? Киты у них взбесились, так это, видите ли, Странники виноваты!.. Уйдите вы с глаз моих, дайте помереть спокойно!

Мы все встали. Комов напомнил мне вполголоса:

— Задержитесь в гостиной.

Я кивнул.

Тойво растерянно поклонился Горбовскому. Старик не обратил на него внимания. Он сердито смотрел в потолок, шевеля серыми губами.

Мы с Тойво вышли. Я плотно прикрыл за собой дверь и услышал, как слабо чмокнула, срабатывая, система акустической изоляции.

В гостиной Тойво сейчас же сел на диван под торшером, положил ладони на сдвинутые колени и застыл. На меня он не смотрел. Ему было не до меня.

(Сегодня утром я сказал ему:

— Пойдешь со мной. Будешь говорить перед Комовым и Горбовским.

— Зачем? — ошарашенно спросил он.

— А ты что, воображаешь, что мы обойдемся без Всемирного совета?

— Но почему — я?

— Потому что я уже говорил. Теперь твоя очередь.

— Хорошо, — произнес он, поджимая губы.

Он был боец, Тойво Глумов. Он никогда не отступал. Его можно было только отбросить.)

И вот его отбросили. Я наблюдал за ним из угла.

Некоторое время он сидел недвижимо, потом бездумно полистал разложенные на низком столике ментосхемы, испещренные разноцветными пометками врачей. Потом он поднялся и стал ходить по темной комнате из угла в угол, заложив руки за спину.

В доме царила непроницаемая тишина. Ни голосов не было слышно из спальни, ни шума леса из-за плотно зашторенных окон. Он не слышал даже собственных шагов.

Глаза его привыкли к сумраку. Гостиная у Леонида Андреевича обставлена была по-спартански. Торшер (абажур явно самодельный), большой диван под ним и низенький столик. В дальнем углу — несколько седалищ явно неземного производства и предназначенных для явно неземных задов. В другом углу — то ли экзотическое растение какое-то, то ли древняя вешалка для шляп. Вот и вся меблировка. Впрочем, дверца стенного бара приоткрыта, и видно, что там полным-полно, на любой вкус. А над баром висят картинки в прозрачных обоймах, и самая большая — с альбомный лист.

Тойво подошел и стал их рассматривать. Это были детские рисунки. Акварельки. Гуашь. Стило. Маленькие домики и рядом большие девочки, которым сосны по колено. Собаки (или голованы?). Слон. Тахорг. Какое-то космическое сооружение — то ли фантастический звездолет, то ли ангар... Тойво вздохнул и вернулся на диван. Я пристально следил за ним.

У него были слезы на глазах. Он уже не думал больше о проигранном бое. Там, за дверью, умирал Горбовский — умирала эпоха, умирала живая легенда. Звездолетчик. Десантник. Открыватель цивилизаций. Создатель Большого КОМКОНа. Член Всемирного совета. Дедушка Горбовский... Прежде всего — дедушка Горбовский. Именно — дедушка Горбовский. Он был как из сказки: всегда добр и поэтому всегда прав. Такая была его эпоха, что доброта всегда побеждала. «Из всех возможных решений выбирай самое доброе». Не самое обещающее, не самое рациональное, не самое прогрессивное и, уж конечно, не самое эффективное — самое доброе! Он никогда не произносил этих слов, и он очень ехидно прохаживался насчет тех своих биографов, которые приписывали ему эти слова, и он наверняка никогда не думал этими словами, однако вся суть его жизни — именно в этих словах. И конечно же, слова эти — не рецепт, не каждому дано быть добрым, это такой же талант, как музыкальный слух или ясновидение, только еще более редкий. И плакать хотелось, потому что умирал самый добрый из людей. И на камне будет высечено: «Он был самый добрый» ...

Мне кажется, Тойво думал именно так. Все, на что я рассчитывал в перспективе, держалось на предположении, что Тойво думал именно так.

Прошло сорок три минуты.

Дверь внезапно распахнулась. Все было как в сказке. Или как в кино. Горбовский, невообразимо длинный в своей полосатой пижаме, тощий, веселый, неверными шажками вступил в гостиную, волоча за собой клетчатый плед, зацепившийся бахромой за какую-то его пуговицу.

— Ага, ты еще здесь! — с радостным удовлетворением произнес он, обращаясь к обомлевшему Тойво. — Все впереди, мой мальчик! Все впереди! Ты прав!

И произнеся эти загадочные слова, он устремился, слегка пошатываясь, к ближайшему окну и поднял штору. Стало ослепительно светло, и мы зажмурились, а Горбовский повернулся и уставился на Тойво, замершего у торшера по стойке «смирно». Я поглядел на Комова. Комов откровенно сиял, сверкая сахарными зубами, довольный, как кот, слопавший золотую рыбку. У него был вид компанейского парня, только что отмочившего славную шутку. Да так оно и было на самом деле.

— Неплохо, неплохо! — приговаривал Горбовский. — Даже отлично!

Склонив голову набок, он придвигался к Тойво, оглядывая его откровенно с головы до ног, придвинулся вплотную, положил руку на его плечо и легонько стиснул костлявыми пальцами.

— Ну, я думаю, ты простишь меня за резкость, мой мальчик, — сказал он. — Но ведь я тоже был прав... А резкость — это от раздражительности. Умирать, скажу я тебе, — препоганое занятие. Не обращай внимания.

Тойво молчал. Он, конечно, ничего не понимал. Комов все это задумал и устроил. Горбовский знал ровно столько, сколько Комов счел нужным ему сообщить. Я хорошо представлял себе, какой разговор произошел сейчас у них в спальне. А Тойво Глумов не понимал ничего.

Я взял его за локоть и сказал Горбовскому:

— Леонид Андреевич, мы уходим.

Горбовский покивал.

— Идите, конечно. Спасибо. Вы мне очень помогли. Мы еще увидимся, и не раз.

Когда мы вышли на крыльцо, Тойво сказал:

— Может быть, вы объясните мне, что все это значит?

— Ты же видишь: он раздумал умирать, — сказал я.

— Почему?

— Дурацкий вопрос, Тойво, извини меня, пожалуйста...

Тойво помолчал и сказал:

— А я и есть дурак. То есть никогда в жизни я еще не чувствовал себя таким дураком... Спасибо вам за вашу заботу, Биг-Баг.

Я только хмыкнул. Мы молча спускались по лестнице к посадочной площадке. Какой-то человек неспешно поднимался нам навстречу.

— Ладно, — сказал Тойво. — Но работу по теме мне продолжать?

— Конечно.

— Но ведь меня высмеяли!

— Напротив. Ты очень понравился.

Тойво пробормотал что-то себе под нос. На площадке в конце первого пролета мы оказались одновременно с человеком, поднимавшимся навстречу. Это был заместитель директора Харьковского филиала ИМИ Даниил Александрович Логовенко, румяный и очень озабоченный.

— Приветствую тебя, — сказал он мне. — Я не слишком опоздал?

— Не слишком, — ответил я. — Он тебя ждет.

И тут Д. А. Логовенко с самым заговорщицким видом подмигнул Тойво Глумову, после чего устремился дальше вверх по лестнице, теперь уже явно спеша. Тойво, недобро прищурившись, посмотрел ему вслед.

Документ 19

Конфиденциально!

Только для членов президиума Всемирного совета!

Экз. № 115

С о д е р ж а н и е: запись собеседования, состоявшегося в «Доме Леонида» (Краслава, Латвия) 14 мая 99 года.

У ч а с т н и к и: Л. А. Горбовский, член Всемирного совета; Г. Ю. Комов, член Всемирного совета, врио Президента секции «Урал-Север» КК-2; Д. А. Логовенко, зам. директора Харьковского филиала ИМИ.

КОМОВ. То есть вы фактически ничем не отличаетесь от обыкновенного человека?

ЛОГОВЕНКО. Отличие огромно, но... Сейчас, когда я сижу здесь и разговариваю с вами, я отличаюсь от вас только сознанием, что я не такой, как вы. Это один из моих уровней... довольно утомительный,

кстати. Это дается мне не без труда, но я-то как раз привык, а большинство из нас от этого уровня уже отвыкло навсегда... Так вот, на этом уровне отличие можно обнаружить только с помощью специальной аппаратуры.

КОМОВ. Вы хотите сказать, что на других уровнях...

ЛОГОВЕНКО. Да. На других уровнях все другое. Другое сознание, другая физиология... другой облик даже...

КОМОВ. То есть на других уровнях вы уже не люди?

ЛОГОВЕНКО. Мы вообще не люди. Пусть вас не сбивает с толку, что мы рождены людьми и от людей...

ГОРБОВСКИЙ. Прошу прощения, Даниил Александрович. А вы не могли бы нам что-нибудь продемонстрировать... Поймите меня правильно, я не хотел бы вас обидеть, но пока... все это одни слова... А? Какой-нибудь другой уровень, если не трудно, а?

ЛОГОВЕНКО (со смешком): Извольте...

(Слышны негромкие звуки, напоминающие переливчатый свист, чей-то невнятный возглас, звон бьющегося стекла.)

ЛОГОВЕНКО. Простите, я думал, он небьющийся.

(Пауза около десяти секунд.)

Это он?

ГОРБОВСКИЙ. Н-нет... Кажется... Нет-нет, это не тот. Этот — вон стоит, на подоконнике...

ЛОГОВЕНКО. Минуточку...

ГОРБОВСКИЙ. Не надо, не трудитесь, вы меня убедили. Спасибо.

КОМОВ. Я не понял, что произошло. Это фокус? Я бы...

(В фонограмме ЛАКУНА: 12 минут 23 секунды.)

ЛОГОВЕНКО. ...совершенно другой.

КОМОВ. А при чем здесь фукамизация?

ЛОГОВЕНКО. Растормаживание гипоталамуса приводит к разрушению третьей импульсной. Мы не могли этого допустить, пока не научились ее восстанавливать.

КОМОВ. И вы провели кампанию по введению Поправки...

ЛОГОВЕНКО. Строго говоря, кампанию провели вы. Но по нашей инициативе, конечно.

КОМОВ. А «синдром пингвина»?

ЛОГОВЕНКО. Не понял.

КОМОВ. Ну фобии эти, которые вы наводили своими экспериментами... космофобии, ксенофобии...

ЛОГОВЕНКО. А, понимаю, понимаю. Видите ли, существует несколько способов и методик выявления у человека третьей импульсной. Сам я — приборист, но мои коллеги...

КОМОВ. То есть это — ваших рук дело?

ЛОГОВЕНКО. Разумеется! Ведь нас же очень мало, свою расу мы создаем собственными руками, прямо сейчас, на ходу. Допускаю, что некоторые наши приемы представляются вам аморальными, даже жестокими... Но вы должны признать, что мы ни разу не допустили действий с необратимыми результатами.

КОМОВ. Предположим. Если не считать китов.

ЛОГОВЕНКО. Прошу прощения. Не «предположим», а именно не допустили. Что же касается китообразных...

(В фонограмме ЛАКУНА: 2 минуты 12 секунд.)

КОМОВ. ...интересовало не это. Заметьте, Леонид Андреевич, наши ребята шли по неверному пути, но во всем, кроме интерпретации, оказались правы.

ЛОГОВЕНКО. Почему же «кроме»? Я не знаю, кто эти «ваши ребята», но Максим Каммерер вычислил нас абсолютно точно. Я так и не узнал, каким образом в его руках оказался список всех люденов, инициированных за последние три года...

ГОРБОВСКИЙ. Простите, вы сказали «люденов»?

ЛОГОВЕНКО. У нас еще нет общепринятого самоназвания. Большинство пользуется термином «метагом», так сказать, «за-человек». Кое-кто называет себя «мизитом». Я предпочитаю называть нас люденами. Во-первых, это перекликается с русским словом «люди»; во-вторых, одним из первых люденов был Павел Люденов, это наш Адам. Кроме того, существует полушутливый термин: «хомо луденс» ...

КОМОВ. «Человек играющий» ...

ЛОГОВЕНКО. Да. «Человек играющий». И есть еще антишутка: «люден» — анаграмма слова «нелюдь». Тоже кто-то пошутил... Так вот, Максим список люденов заполучил и очень ловко продемонстрировал его мне, дав понять, что мы для вас уже не тайна. Откровенно говоря, я испытал облегчение. Это был прямой повод вступить наконец в переговоры. Ведь я уже больше месяца чувствовал у себя на пульсе чью-то руку, пытался осторожно прощупать Максима...

КОМОВ. То есть мысли читать вы не умеете? Ведь ридеры...

(В фонограмме ЛАКУНА: 9 минут 44 секунды.)

ЛОГОВЕНКО. ...мешать. И не только поэтому. Мы полагали, что тайну надо хранить прежде всего в ваших интересах, в интересах человечества. Я хотел бы, чтобы в этом вопросе у вас была полная ясность. Мы — не люди. Мы — людены. Не впадите в ошибку. Мы — не результат биологической революции. Мы появились потому, что человечество достигло определенного уровня социотехнологической организации. Открыть в человеческом организме третью импульсную

систему могли бы и сотню лет назад, но инициировать ее оказалось возможным только в начале нашего века, а удержать людена на спирали психофизиологического развития, провести его от уровня к уровню до самого конца... то есть, в ваших понятиях, воспитать людена — это стало возможным совсем недавно...

ГОРБОВСКИЙ. Минуточку, минуточку! Значит, эта самая третья импульсная присутствует все-таки в каждом человеческом организме?

ЛОГОВЕНКО. К сожалению, нет, Леонид Андреевич. В этом и заключается трагедия. Третья импульсная обнаруживается с вероятностью не более одной стотысячной. Мы пока не знаем, откуда она взялась и почему. Скорее всего, это результат какой-то древней мутации.

КОМОВ. Одна стотысячная — это не так уж мало в пересчете на наши миллиарды... Значит — раскол?

ЛОГОВЕНКО. Да. И отсюда — тайна. Поймите меня правильно. Девяносто процентов людена совершенно не интересуются судьбами человечества и вообще человечеством. Но есть группа таких, как я. Мы не хотим забыть, что мы — плоть от плоти вашей и что у нас одна родина, и уже много лет мы ломаем голову, как смягчить последствия этого неминуемого раскола. Ведь фактически все выглядит так, будто человечество распадается на высшую и низшую расы. Что может быть отвратительней? Конечно, это аналогия поверхностная и по сути своей неверная, но никуда вам не деться от ощущения унижения при мысли о том, что один из вас ушел далеко за предел, не преодолимый для ста тысяч. А этому одному никуда не уйти от чувства вины за это. И между прочим, самое страшное, что трещина проходит через семьи, через дружбы...

КОМОВ. Значит, метагом теряет прежние привязанности?

ЛОГОВЕНКО. Это очень индивидуально. И не так просто, как вы думаете. Наиболее типичная модель отношения людена к человеку — это отношение многоопытного и очень занятого взрослого к симпатичному, но донельзя докучному малышу. Вот и представьте себе отношения в парах: людена и его отец, людена и его закадычный друг, людена и его Учитель...

ГОРБОВСКИЙ. Людена и его подруга...

ЛОГОВЕНКО. Это трагедии, Леонид Андреевич. Самые настоящие трагедии.

КОМОВ. Я вижу, вы принимаете ситуацию близко к сердцу. Тогда, может быть, проще все это прекратить? В конце концов, это же в ваших руках...

ЛОГОВЕНКО. А вам не кажется, что это было бы аморально?

КОМОВ. А вам не кажется, что аморально повергать человечество в состояние шока? Создавать в массовой психологии комплекс неполноценности, поставить молодежь перед фактом конечности ее возможностей!

ЛОГОВЕНКО. Вот я и пришел к вам — чтобы искать выход.

КОМОВ. Выход один. Вы должны покинуть Землю.

ЛОГОВЕНКО. Простите. Кто именно «мы»?

КОМОВ. Вы, метагомы.

ЛОГОВЕНКО. Геннадий Юрьевич, я повторяю: в подавляющем большинстве своем людены на Земле не живут. Все их интересы, вся их жизнь — вне Земли. Черт подери, не живете же вы в кровати!.. А постоянно связаны с Землей только акушеры вроде меня и гомопсихологи... да еще несколько десятков самых несчастных из нас — те, что не могут оторвать себя от родных и любимых!

ГОРБОВСКИЙ. А!

ЛОГОВЕНКО. Что вы сказали?

ГОРБОВСКИЙ. Ничего, ничего, я внимательно слушаю.

КОМОВ. Значит, вы хотите сказать, что интересы метагомов и землян, по сути, не пересекаются?

ЛОГОВЕНКО. Да.

КОМОВ. Возможно ли сотрудничество?

ЛОГОВЕНКО. В какой области?

КОМОВ. Вам виднее.

ЛОГОВЕНКО. Боюсь, что вы нам полезны быть не можете. Что же касается нас... Знаете, есть старая шутка. В наших обстоятельствах она звучит довольно жестоко, но я ее приведу. «Медведя можно научить ездить на велосипеде, но будет ли медведю от этого польза и удовольствие?» Простите меня, ради бога. Но вы сами сказали: наши интересы нигде не пересекаются.

(Пауза.)

Конечно, если допустить, что Земле и человечеству будет угрожать какая-нибудь опасность, мы придем на помощь, не задумываясь и всей своей силой.

КОМОВ. Спасибо и на этом.

(Длительная пауза, слышно, как булькает жидкость, позвякивает стекло о стекло, глухие глотки, кряхтенье.)

ГОРБОВСКИЙ. Да-а, это серьезный вызов нашему оптимизму. Но если подумать, человечество принимало вызовы и пострашнее... И вообще я не понимаю вас, Геннадий. Вы так страстно ратовали за вертикальный прогресс. Так вот он вам — вертикальный прогресс! В чистейшем виде! Человечество, разлившееся по цветущей равнине под

ясными небесами, рванулось вверх. Конечно, не всей толпой, но почему это вас так огорчает? Всегда так было. И будет так всегда, наверное... Человечество всегда уходило в будущее ростками лучших своих представителей. Мы всегда гордились гениями, а не горевали, что, вот, не принадлежим к их числу... А что Даниил Александрович талдычит нам, что он не человек, а люден, так это все терминология... Все равно вы — люди, более того — земляне, и никуда вам от этого не деться. Просто молодо-зелено.

КОМОВ. Вы, Леонид Андреевич, иногда просто поражаете меня своим легкомыслием. Раскол же! Вы понимаете? Раскол! А вы несете, простите меня, какую-то благодушную ахинею!

ГОРБОВСКИЙ. Экий вы, голубчик... горячий. Ну разумеется, раскол. Интересно, где это вы видели прогресс без раскола? Это же прогресс. Во всей своей красе. Где это вы видели прогресс без шока, без горечи, без унижения? Без тех, кто уходит далеко вперед, и тех, кто остается позади?..

КОМОВ. Ну еще бы! «И тех, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном...»

ГОРБОВСКИЙ. Здесь уж скорее подошло бы что-нибудь вроде... э-э... «И тех, кто меня обгоняет, провожаю приветственным гимном...»

ЛОГОВЕНКО. Геннадий Юрьевич, разрешите, я попытаюсь вас утешить. У нас есть очень серьезные основания полагать, что этот раскол — не последний. Кроме третьей импульсной в организме хомо сапиенс мы обнаружили четвертую низкочастотную и пятую... пока безымянную. Что может дать инициация этих систем, мы — даже мы! — и предположить не можем. И не можем мы предположить, сколько их еще там в человеке... И более того, Геннадий Юрьевич. Раскол намечается уже и среди нас! Это неизбежно. Искусственная эволюция — процесс ливневый.

(Пауза.)

Что поделаешь! За спиной — шесть НТР, две технологические контрреволюции, два гносеологических кризиса — поневоле начнешь эволюционировать.

ГОРБОВСКИЙ. Вот именно. Сидели бы мы себе тихо, как тагоряне сидят или леонидяне, — горюшка бы не знали. Вольно же нам было пойти по технологии!

КОМОВ. Хорошо, хорошо. А что же все-таки такое — метагом? Каковы его цели, Даниил Александрович? Стимулы? Интересы? Или это секрет?

ЛОГОВЕНКО. Никаких секретов.

(На этом фонограмма прерывается. Все дальнейшее — 34 минуты 11 секунд — необратимо стерто.)

15.05.99. Исп. М. Каммерер

Конец документа 19.

* * *

Стыдно вспомнить, но все эти последние дни я провел в состоянии, близком к эйфории. Это было так, словно прекратилось вдруг невыносимое физическое напряжение. Наверное, нечто подобное испытывал Сизиф, когда камень наконец вырывался у него из рук и он получал блаженную возможность немножко отдышаться на вершине, прежде чем начать все сначала.

Каждый землянин пережил Большое Откровение по-своему. Но, ей-же-ей, мне оно досталось все-таки злее, чем кому бы то ни было.

Сейчас я перечитал все, уже написанное выше, и у меня возникло опасение, что переживания мои в связи с Большим Откровением могут быть поняты неправильно. Может возникнуть впечатление, будто я испытал тогда страх за судьбы человечества. Разумеется, без страхов не обошлось — ведь я тогда абсолютно ничего не знал о люденах, кроме того, что они существуют. Так что страх был. И были краткие панические мысли-вопли: «Всё, доигрались!» И было ощущение катастрофически крутого поворота, когда руль, кажется, вот-вот вырвет у тебя из рук и полетишь ты неведомо куда, беспомощный, как дикарь во время землетрясения... Но над всем этим превалировало все-таки унизительнейшее сознание полной своей профессиональной несостоятельности. Прошляпили. Прохлопали. Проморгали. Профукали, дилетанты бездарные...

И вот теперь все это отхлынуло. И между прочим, совсем не потому, что Логовенко хоть в чем-то убедил меня или заставил себе поверить. Дело совсем в ином.

К ощущению профессионального поражения я за полтора месяца уже притерпелся. («Муки совести переносимы» — вот одно из маленьких неприятных открытий, которые делаешь с возрастом.)

Руль больше не вырывало у меня из рук — я передал его другим. И теперь, с некоторой даже отстраненностью, я отмечал (для себя), что Комов, пожалуй, слишком все-таки сгущает краски, а Леонид Андреевич, по своему обыкновению, чересчур уж уверен в счастливом исходе любого катаклизма...

Я снова был на своем месте, и снова мною владели только привычные заботы — например, наладить постоянный и достаточно плотный поток информации для тех, кому надлежит принимать решения.

Вечером 15-го я получил от Комова приказ действовать по усмотрению.

Утром 16-го я вызвал к себе Тойво Глумова. Без всяких предварительных объяснений я дал ему прочесть запись беседы в «Доме Леонида». Замечательно, что я был практически уверен в успехе.

Да и с чего мне было сомневаться?

Документ 20

РАБОЧАЯ ФОНОГРАММА

Д а т а: 16 мая 99 года.

С о б е с е д н и к и: М. Каммерер, начальник отдела ЧП; Т. Глумов, инспектор.

Т е м а: ***

С о д е р ж а н и е: ***

ГЛУМОВ. Что было в этих лакунах?

КАММЕРЕР. Браво. Ну и выдержка у тебя, малыш. Когда я понял, что к чему, я, помнится, полчаса по стенам бегал.

ГЛУМОВ. Так что было в лакунах?

КАММЕРЕР. Неизвестно.

ГЛУМОВ. То есть как — неизвестно?

КАММЕРЕР. А так. Комов и Горбовский не помнят, что было в лакунах. Они никаких лакун не заметили. А восстановить фонограмму невозможно. Она даже не стерта, она просто уничтожена. На лакунных участках решетки разрушена молекулярная структура.

ГЛУМОВ. Странная манера вести переговоры.

КАММЕРЕР. Придется привыкать.

(Пауза.)

ГЛУМОВ. Ну и что теперь будет?

КАММЕРЕР. Пока мы слишком мало знаем. Вообще-то видятся только две возможности. Либо мы научимся с ними сосуществовать. Либо НЕ научимся.

ГЛУМОВ. Есть третья возможность.

КАММЕРЕР. Не горячись. Нет третьей возможности.

ГЛУМОВ. Есть третья возможность! Они с нами не церемонятся!

КАММЕРЕР. Это не довод.

ГЛУМОВ. Это довод! Они не спрашивали разрешения у Всемирного совета! Много лет они ведут тайную деятельность по

превращению людей в нелюдей! Они ведут эксперименты над людьми! И даже сейчас, когда они разоблачены, они приходят на переговоры и позволяют себе...

КАММЕРЕР (прерывает). То, что ты хочешь предложить, можно сделать либо открыто — и тогда человечество станет свидетелем вполне отвратительного насилия, либо тайком, гнусненько, за спиной общественного мнения...

ГЛУМОВ (прерывает). Это все слова! Суть же в том, что человечество не должно быть инкубатором для нелюдей и тем более полигоном для их проклятых экспериментов! Простите, Биг-Баг, но вы сделали ошибку. Вам не следовало посвящать в это дело ни Комова, ни Горбовского. Вы поставили их в дурацкое положение. Это дело КОМКОНа-2, оно целиком в нашей компетенции. Я думаю, и сейчас еще не поздно. Возьмем этот грех на душу.

КАММЕРЕР. Слушай, откуда у тебя эта ксенофобия? Ведь это не Странники, это не Прогрессоры, которых ты ненавидишь...

ГЛУМОВ. У меня такое чувство, что они еще хуже Прогрессоров. Они предатели. Они паразиты. Вроде этих ос, которые откладывают яйца в гусениц...

(Пауза.)

КАММЕРЕР. Говори-говори. Выговаривайся.

ГЛУМОВ. Не буду больше ничего говорить. Бесполезно. Пять лет я занимаюсь этим делом под вашим руководством, и все пять лет я бреду, как слепой щенок... Ну хотя бы сейчас скажите мне: когда вы узнали правду? Когда вы поняли, что это не Странники? Шесть месяцев назад? Восемь месяцев?

КАММЕРЕР. Меньше двух.

ГЛУМОВ. Все равно... Несколько недель назад. Я понимаю, у вас были свои соображения, вы не хотели посвящать меня во все детали, но как вы могли скрыть от меня, что изменился сам объект? Как вы могли себе это позволить — заставить меня валять дурака? Чтобы я валял дурака перед Горбовским и Комовым... Меня в жар бросает, когда я вспоминаю!..

КАММЕРЕР. А ты можешь допустить, что тому была причина?

ГЛУМОВ. Могу. Но мне от этого не легче. Причины этой я не знаю и даже представить ее себе не умею... И что-то я по вашему виду не замечаю, чтобы вы собирались ее мне сообщить! Нет, Биг-Баг, хватит с меня. Я не гожусь работать с вами. Отпустите меня, я все равно уйду.

(Пауза.)

КАММЕРЕР. Я не мог рассказать тебе правду. Сначала я не мог рассказать тебе правду, потому что не знал, что нам с нею делать. В

скобках: я и сейчас не знаю, что с нею делать, но сейчас все решения взвалены на другие плечи...

ГЛУМОВ. Не надо оправдываться, Биг-Баг.

КАММЕРЕР. Молчи. Тебе все равно меня не разозлить. Ты очень любишь правду? Так ты ее сейчас получишь. Всю.

(Пауза.)

Потом я послал тебя в Институт Чудаков и снова вынужден был ждать...

ГЛУМОВ (прерывает). При чем здесь...

КАММЕРЕР (прерывает). Я сказал — молчи! Правду говорить нелегко, Тойво. Не резать правду-матку, как это любят в молодости, а преподносить ее такому вот... зеленому, самоуверенному, всезнающему и всепонимающему... Молчи и слушай.

(Пауза.)

Потом я получил ответ из Института. Этот ответ сбил меня с ног. Я-то считал, что всего лишь проявляю рутинную предусмотрительность, а оказалось... Слушай, вот ты сейчас читал фонограмму. Тебе ничего в ней не показалось странным?

ГЛУМОВ. В ней все странное...

КАММЕРЕР. Ну, давай-давай, включи. Прочти еще разок, только внимательно, с самого начала, с шапки. Ну?

ГЛУМОВ. «Только для членов Президиума...» Как это понимать?

КАММЕРЕР. Ну? Ну?

ГЛУМОВ. Вы дали мне прочесть документ высшей конфиденциальности... Почему?

КАММЕРЕР (медленно и едва ли не вкрадчиво). Как ты заметил, в этом документе есть лакуны. Так вот, теплится у меня надежда, что, когда придет твое время, ты по старой памяти, по старой дружбе эти лакуны мне заполнишь.

(Длинная пауза.)

Вот так-то выглядит вся правда. В той ее части, которая касается тебя. Как только я узнал, что в Институте Чудаков они занимаются отсортировкой, я сразу наладил всех вас туда, одного за другим, под разными идиотскими предлогами. Это была просто мера элементарной предосторожности, понимаешь? Чтобы не оставить противнику ни малейшего шанса. Чтобы быть уверенным... Нет, уверен я и так был... Чтобы знать совершенно точно: среди моих сотрудников только люди...

(Пауза.)

У них там агрегат... якобы для выявления «чудаков». Они пропускают через него всех посетителей. На самом деле машина эта ищет так

называемый зубец «Т» ментограммы, он же «импульс Логовенко». Если у человека имеется годная для инициирования третья импульсная система, в его ментограмме проявляется этот растреклятый зубец «Т». Так вот, у тебя этот зубец есть.

(Длинная пауза.)

ГЛУМОВ. Это же ерунда, Биг-Баг.

(Пауза.)

Вас водят за нос!

(Пауза.)

Это же провокация! Они просто хотят вывести меня из игры! По-видимому, я узнал что-то важное, только сам пока не понимаю, что именно, и они хотят меня убрать... Это же элементарно!

(Пауза.)

Вы же знаете меня с детства! Я прошел тысячи медкомиссий, я — самый обыкновенный человек! Не верьте им, Биг-Баг! Кто вам дает информацию?.. Нет, я не имя спрашиваю... Подумайте, откуда он все это может знать? Он же наверняка сам из этих... Как вы можете ему верить? (Кричит.) Не во мне же дело! Я все равно уйду! Но они вот таким же манером без единого выстрела расстреляют весь КОМКОН! Вы об этом подумали?

(Пауза. Упавшим голосом.)

Что же мне делать? Ведь вы наверняка придумали, что мне теперь делать...

КАММЕРЕР. Послушай. Не надо так расстраиваться. Пока еще ничего страшного не произошло. Что ты так раскричался, словно к тебе уже «ухмыляясь, приближаются с ножами»? В конце концов, все ведь в твоих руках! Не захочешь — и все останется, как есть!

ГЛУМОВ. Откуда вы знаете?

КАММЕРЕР. Да ниоткуда я ничего не знаю. Я знаю столько же, сколько и ты. Ты же читал только что... Третья импульсная — это же только потенция, ее ведь нужно инициировать... Потом начинается это самое... восхождение от уровня к уровню... Хотел бы я посмотреть, как они это сделают с тобой без твоей воли!

(Пауза.)

ГЛУМОВ. Да. (Истерически смеется.) Ну и нагнали вы на меня страху, шеф!

КАММЕРЕР. Это ты просто не сообразил.

ГЛУМОВ. Я попросту удеру! Пусть-ка они меня поищут! А найдут, станут приставать... Вы им скажите, что я им не советую!

КАММЕРЕР. Вряд ли они захотят со мной разговаривать.

ГЛУМОВ. То есть?

КАММЕРЕР. Ну, видишь ли, мы для них не авторитет. Нам теперь придется привыкать к совершенно новой ситуации. Не мы теперь определяем время бесед, не мы определяем тему... Мы вообще потеряли контроль над событиями. А ситуация, согласись, небывалая! У нас на Земле, среди нас, действует сила... и даже не сила, а силища! И мы ничего о ней не знаем. Вернее, знаем только то, что нам разрешают знать, а это, согласись, едва ли не хуже, чем полное незнание. Неуютно, а? Нет, я ничего не могу сказать плохого об этих люденах, но ведь и хорошего о них пока ничего не известно!

(Пауза.)

Они знают о нас все, а мы о них — ничего. Это унизительно. Сейчас каждый из нас, кто соприкасается с ситуацией, испытывает чувство униженности... Вот нам предстоит подвергнуть глубокому ментоскопированию двух членов Всемирного совета — только для того, чтобы восстановить, о чем же это там шла речь во время исторического собеседования в «Доме Леонида»... И заметь, ни члены Совета, ни мы этого ментоскопирования не хотим, оно унижает нас всех, а деваться некуда, хотя шансы на успех, как ты сам понимаешь, менее чем проблематичны...

ГЛУМОВ. Но у вас же есть своя агентура среди них!

КАММЕРЕР. Точнее, не «среди», а около. «Среди» — это мечта. Причем, боюсь, недостижимая... Кто из них захочет помогать нам? Зачем это им? Какое им до нас дело? А? Тойво!

(Длинная пауза.)

ГЛУМОВ. Нет, Максим. Я не хочу. Я все понимаю, но я НЕ ХОЧУ!

КАММЕРЕР. Страшно?

ГЛУМОВ. Не знаю. Просто не хочу. Я — человек, и я не хочу быть никем другим. Я не хочу смотреть на вас сверху вниз. Я не хочу, чтобы уважаемые и любимые мною люди казались мне детьми. Я понимаю: вы надеетесь, что человеческое во мне сохранится... Может быть, у вас даже есть основания на это надеяться. Но я не хочу рисковать. Не хочу!

(Пауза.)

КАММЕРЕР. Что ж... В конце концов, это даже похвально.

Конец документа 20.

* * *

Я был уверен в успехе. Я ошибся.

Все-таки я плохо тебя знал, Тойво Глумов, мой мальчик. Ты казался мне более жестким, более защищенным, более фанатичным, если угодно.

И наконец, несколько слов об истинной цели этого моего мемуара.

Мой читатель, знакомый с книгой «Пять биографий века», уже догадался, наверное, что цель эта состоит в том, чтобы опровергнуть сенсационную гипотезу П. Сороки и Э. Брауна, будто Тойво Глумов, еще будучи на Гиганде Прогрессором, попал в поле зрения люденов и был опознан ими как свой. Будто тогда же был он ими превращен, переведен на соответствующий уровень и заслан ко мне в КОМКОН-2 в качестве не столько даже соглядатая, сколько дезинформатора и мизинтерпретатора.

Будто на протяжении пяти лет он только тем и занимался, что подогревал в КОМКОНе атмосферу охоты за Странниками, интерпретируя каждый неверный шаг, каждый просчет, каждую небрежность люденов как проявление деятельности ненавистной сверхцивилизации. Пять лет водил он за нос все руководство КОМКОНа-2 и прежде всего, конечно, шефа своего и покровителя Максима Каммерера. А когда люденов все-таки удалось разоблачить, он разыграл перед доверчивым Биг-Багом последнюю душещипательную комедию и вышел из игры.

Полагаю, что каждый непредубежденный читатель, не знакомый с построениями Сороки и Брауна, дочитавши меня до этого места, пожмет плечами и скажет: «Что за чушь, какая странная у них идея, она же противоречит всему тому, что я только что прочел...» Что же касается читателя предубежденного, читателя, который раньше знал Тойво Глумова только по «Пяти биографиям», то я могу посоветовать ему только одно: постарайтесь взглянуть на предложенный вам здесь материал беспристрастно, не надо подсыпать перчику в проблему люденов, сделавшуюся сегодня уже несколько пресной.

Слов нет, история Большого Откровения содержит много «белых пятен», но я со всей ответственностью утверждаю, что к Тойво Глумову эти пятна никакого отношения не имеют. И со всей ответственностью я заявляю, что все хитроумные построения П. Сороки и Э. Брауна — это просто легкомысленная чушь, очередная попытка взяться правой рукой за левое ухо через-под левое колено.

Что же касается «последней душещипательной комедии», то я только об одном жалею, только за одно кляну себя и по сей день. Не

понял я тогда, старый толстокожий носорог, не сумел предощутить, что вижу Тойво Глумова в последний раз.

Документ 21

Свердловск, «Тополь 11», кв. 9716
М. Каммереру
Биг-Баг!

Сегодня меня посетил Логовенко. Беседа продолжалась с 12.15 до 14.05. Логовенко был очень убедителен. Суть: все не так просто, как мы это себе представляем. Например, утверждается, будто период стационарного развития человечества заканчивается, близится эпоха потрясений (биосоциальных и психосоциальных), главная задача людены в отношении человечества, оказывается, стоять на страже (так сказать, «над пропастью во ржи»). В настоящее время на Земле и в Космосе обитают и играют 432 людена. Мне предлагается стать 433-м, для чего я должен прибыть в Харьков, в Институт Чудаков, послезавтра, 20 мая, к 10.00.

Враг рода человеческого нашептывает мне, что только полный идиот способен отказаться от такого шанса — обрести сверхзнание и власть над Вселенной. Этот шепот мне удается заглушить без особого труда, ибо я — человек непрестижный, как Вам хорошо известно, и не терплю элиты ни в каком обличье. Не скрою, что впечатление от последней беседы с Вами запало мне в душу гораздо глубже, нежели мне хотелось бы. Крайне неприятно ощущать себя дезертиром. Я бы не колебался в выборе ни секунды, но я уверен абсолютно: как только они превратят меня в людена, ничего (НИЧЕГО!) человеческого во мне не останется. Признайтесь, в глубине души и Вы думаете то же самое.

Я не поеду в Харьков. За эти дни я основательно все обдумал, и я не поеду в Харьков, во-первых, потому, что это было бы предательством по отношению к Асе. Во-вторых, потому, что я люблю мать и высоко почитаю ее. В-третьих, потому, что я люблю своих товарищей и свое прошлое. Превращение в людена — это моя смерть. Это гораздо хуже смерти, потому что для тех, кто меня любит, я останусь живым, но неузнаваемо отвратным. Спесивым, самодовольным, самоуверенным типом. Вдобавок еще и вечным, наверное.

Завтра я вслед за Асей улетаю на Пандору.

Прощайте. Желаю Вам удачи.

Ваш Т. Глумов

18 мая 99 г.

Конец документа 21.

Документ 22

КОМКОН-2
«Урал-Север»
РАПОРТ-ДОКЛАД
№ 086/99
Д а т а: 14 ноября 99 года.
А в т о р: С. Мтбевари, инспектор.
Т е м а 081: «Волны гасят ветер».
С о д е р ж а н и е: разговор с Т. Глумовым.

Согласно Вашему распоряжению воспроизвожу по памяти мою беседу с бывшим инспектором Т. Глумовым, происшедшую в середине июля с.г. Около 17 часов, когда я находился в своем рабочем кабинете, раздался видеофонный вызов, и на экране появилось лицо Т. Глумова. Он был весел, оживлен, шумно меня приветствовал. С тех пор как я видел его в последний раз, он слегка пополнел. Последовал примерно такой разговор.

ГЛУМОВ. Куда девался шеф? Я пытаюсь связаться с ним весь день, и без всякого толку.

Я. Шеф в командировке, вернется не скоро.

ГЛУМОВ. Очень жалко. Он мне позарез нужен. Я бы очень хотел с ним поговорить.

Я. Сделай письмо. Ему перешлют.

ГЛУМОВ (поразмыслив). Долгая история. (Эту фразу я помню точно.)

Я. Тогда скажи, что ему передать. Или как с тобой связаться. Я запишу.

ГЛУМОВ. Нет. Мне непременно лично.

Больше ничего существенного сказано не было. Точнее, я не помню.

Хочу подчеркнуть, что в то время я знал о Т. Глумове только то, что он уволился по личным обстоятельствам и убыл к жене на Пандору. Именно поэтому мне не пришло в голову выполнить самые элементарные действия, а именно: зарегистрировать разговор; установить канал связи; поставить в известность Президента и т. д. Могу добавить только: у меня сохранилось впечатление, будто Т. Глумов находится в помещении, освещенном естественным, солнечным светом. Видимо, в этот момент он находился на Земле, в восточном полушарии.

Сандро Мтбевари.

Конец документа 22.

Документ 23

Президенту сектора
«Урал-Север» КК-2
Д а т а: 23 января 201 года.
А в т о р: М. Каммерер, начальник отдела ЧП.
Т е м а 060: Т. Глумов, метагом.
Президент!

Мне нечего Вам сообщить. Встреча не состоялась. Я прождал его на Красном Пляже до темноты. Он не явился.

Конечно, не составило бы труда отправиться к нему домой и подождать его там, но мне кажется, это было бы тактической ошибкой. Ведь он не имеет целью морочить нас. Он просто забывает. Подождем еще.

М. Каммерер.
Конец документа 23.

Документ 24

КОМКОН-1
Председателю комиссии «Метагом»
Комову Г.Ю.
Мой Капитан!

Препровождаю тебе два любопытных текста, имеющих прямое отношение к предмету твоего нынешнего азарта.

ТЕКСТ 1. (Записка Т. Глумова, адресованная М. Каммереру.)
Дорогой Биг-Баг!

Я кругом виноват. Но готов исправиться. Послезавтра, 2-го, ровно в 20.00 НЕПРЕМЕННО буду дома. Жду. Гарантирую лакомства и обещаю все объяснить. Хотя, как я понимаю, особой необходимости в этом пока нет.

ТЕКСТ 2. (Письмо А. Глумовой, адресованное М. Каммереру, вместе с запиской Т. Глумова.)
Уважаемый Максим!

Он попросил меня переслать Вам эту записку. Почему он сам не послал ее Вам? Почему просто не позвонил Вам, чтобы назначить свидание? Ничего этого я не понимаю. Последнее время я вообще редко его понимаю, даже когда речь идет о самых, казалось бы, простых вещах. Зато я знаю, что он несчастен. Как и все они. Когда он со мной, он мучается скукой. Когда он там, у себя, он обо мне тоскует, иначе он бы не возвращался. Жить так ему, разумеется, невозможно, и он

должен будет выбрать что-то одно. Я знаю, что именно он выберет. Последнее время он возвращается все реже и реже. Я знаю его собратьев, которые и вовсе перестали возвращаться. Им больше нечего делать на Земле.

Что касается его приглашения, то, конечно, я рада буду Вас увидеть, но не рассчитывайте, что он будет. Я — не рассчитываю.

Ваша А. Глумова.

Разумеется, Каммерер пошел на свидание, и, разумеется, Т. Глумов не явился.

Они уходят, мой Капитан. Собственно говоря, они ушли. Совсем. Несчастные, и оставив за собой несчастных.

Человечность. Это серьезно.

Как все это не похоже на те апокалиптические картины, которые мы рисовали друг другу четыре года назад! Помнишь, как старик Горбовский, хитро улыбаясь, прокряхтел: «Волны гасят ветер...»? Все мы понимающе закивали, а ты, помнится, даже продолжил эту цитату с видом многозначительным до кретинизма. Но разве поняли мы его тогда? Никто из нас не понял. И теперь, мой Капитан, когда они ушли и не вернутся больше, мы все вздохнули теперь с облегчением. Или с сожалением? Я не знаю. А ты?

Твой Атос.

13.11.202 года.

Конец документа 24.

И последний документ

Максим!

Я ничего не могу сделать. Передо мной расшаркиваются в извинениях, меня уверяют в совершенном уважении и сочувствии, но ничего не меняется. Они уже сделали Тойво «фактом истории».

Я понимаю, почему молчит Тойво, — ему все это безразлично, да и где он, в каких мирах?

Я догадываюсь, почему молчит Ася, — страшно сказать, но ее, видимо, убедили.

Но почему молчите Вы? Ведь Вы любили его, я знаю, и он любил Вас!

М. Глумова.

30 июня 226 года. Нарва-Йыэсуу.

* * *

Как видите, я не молчу больше, Майя Тойвовна. Я сказал. Все, что мог, и все, что сумел сказать.

Содержание

ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ

Часть первая
РОБИНЗОН

ГЛАВА ПЕРВАЯ 3
ГЛАВА ВТОРАЯ 13
ГЛАВА ТРЕТЬЯ 25
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ 36

Часть вторая
ЛЕГИОНЕР

ГЛАВА ПЯТАЯ 47
ГЛАВА ШЕСТАЯ 56
ГЛАВА СЕДЬМАЯ 69
ГЛАВА ВОСЬМАЯ 84

Часть третья
ТЕРРОРИСТ

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 102
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 114
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 121
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 132

Часть четвёртая
КАТОРЖНИК

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 144
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 167
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ 177
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ 192
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ 210

Часть пятая

ЗЕМЛЯНИН

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ 230
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ 248

МАЛЫШ

Глава первая

ПУСТОТА И ТИШИНА 270

Глава вторая

ТИШИНА И ГОЛОСА 278

Глава третья

ГОЛОСА И ПРИЗРАКИ 288

Глава четвертая

ПРИЗРАКИ И ЛЮДИ 304

Глава пятая

ЛЮДИ И НЕЛЮДИ 324

Глава шестая

НЕЛЮДИ И ВОПРОСЫ 342

Глава седьмая

ВОПРОСЫ И СОМНЕНИЯ 359

Глава восьмая

СОМНЕНИЯ И РЕШЕНИЯ 372
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 390

ПАРЕНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ

1 396
2 404
3 415
4 430

5 ..... **440**
6 ..... **455**
7 ..... **466**
8 ..... **476**

ЖУК В МУРАВЕЙНИКЕ

1 июня 78-го года
Сотрудник КОМКОНа-2 Максим Каммерер **479**
1 июня 78-го года
Кое-что о Льве Абалкине, Прогрессоре **482**
1 июня 78-го года
Вкратце о содержании папки **488**
1 июня 78-го года
Почти все о возможных связях Льва Абалкина **492**
1 июня 78-го года
Учитель Льва Абалкина **495**
1 июня 78-го года
Маленький инцидент с Ядвигой Михайловной **499**
Из отчета Льва Абалкина **502**
2 июня 78-го года
Майя Глумова, подруга Льва Абалкина **515**
2 июня 78-го года
Майя Глумова и журналист Каммерер **520**
2 июня 78-го года
«Осинушка». Доктор Гоаннек **523**
2 июня 78-го года
В избе номер шесть **527**
2 июня 78-го года
Неожиданная реакция Экселенца **530**
Из отчета Льва Абалкина **533**

2 июня 78-го года
Лев Абалкин воочию 546
2 июня 78-го года
Кое-какие догадки о намерениях Льва Абалкина 550
2 июня 78-го года
Короткий разговор 555
2 июня 78-го года
Кое-что о тайнах 556
Из отчета Льва Абалкина 560
3 июня 78-го года
Снова Майя Глумова..... 573
3 июня 78-го года
Кое-что о впечатлениях Экселенца 581
3 июня 78-го года
Застава на реке Телон..... 584
3 июня 78-го года
Щекн-Итрч, голован..... 588
3 июня 78-го года
Экселенц доволен 592
4 июня 78-го года
Музей внеземных культур. Ночь..... 593
4 июня 78-го года
Айзек Бромберг. Битва железных старцев 598
4 июня 78-го года
Лев Абалкин у доктора Бромберга 606
Тайна личности Льва Абалкина..... 612
Тайна личности Льва Абалкина (продолжение) 621
4 июня 78-го года
Дискуссия ситуации 627
4 июня 78-го года

Лев Абалкин в натуре **632**

4 июня 78-го года

Завершение операции **634**

ВОЛНЫ ГАСЯТ ВЕТЕР

ВВЕДЕНИЕ **640**
Документ 1 ..... **645**
Документ 2 ..... **650**
Документ 3 ..... **658**
Документ 4 ..... **663**
Документ 5 ..... **703**
Документ 6 ..... **703**
Документ 7 ..... **703**
Документ 8 ..... **705**
Документ 9 ..... **726**
Документ 10 ..... **726**
Документ 11 ..... **728**
Документ 12 ..... **732**
Документ 13 ..... **733**
Документ 14 ..... **736**
Документ 15 ..... **740**
Документ 16 ..... **740**
Документ 17 ..... **742**
Документ 18 ..... **743**
Документ 19 ..... **754**
Документ 20 ..... **761**
Документ 21 ..... **767**
Документ 22 ..... **768**
Документ 23 ..... **769**
Документ 24 ..... **769**

И последний документ 770

Получился, немного более толстый томик, значит, следующий, будет тонким.
Журнальные иллюстрации, подходят к завершению.

Идея, работа с текстом и иллюстрациями by formally